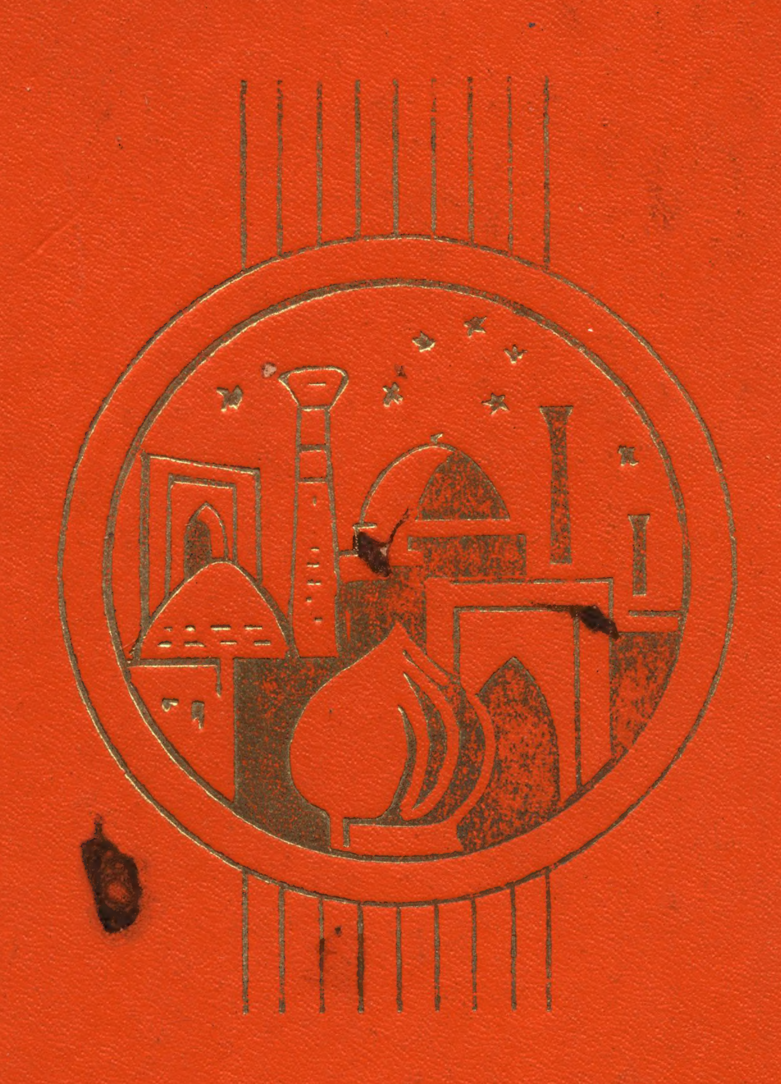
СЕРГЕЙ БОРОДИН



ЗВЕЗДЫ НАД САМАРКАНДОМ

СЕРГЕЙ БОРОДИН

ЗВЕЗДЫ НАД САМАРКАНДОМ

Трилогия

●

КНИГА ПЕРВАЯ

ХРОМОЙ ТИМУР

●

КНИГА ВТОРАЯ

КОСТРЫ ПОХОДА

ТАШКЕНТ
«УЗБЕКИСТАН»
1981

Б 83 **Бородин Сергей.**

Звезды над Самаркандом: Трилогия. Кн. I. «Хромой Тимур»; Кн. 2. «Костры похода».—Т. :«Узбекистан», 198[illegible]. 720 с.

Роман-эпопея «Звезды над Самаркандом» писателя лауреата Государственн[illegible] премии СССР Сергея Бородина (1902—1974 гг.) давно завоевал широкое читательск[illegible] признание, переводился на многие языки народов СССР, издавался за рубежом. [illegible] произведении дается широкая панорама исторической эпохи на рубеже XIV—XV ве[illegible]ков, правдиво описывается сложная и противоречивая фигура грозного правителя [illegible] завоевателя Тамерлана, сумевшего за короткий срок создать огромную империю.

Роман создавался автором в течение более чем двух десятилетий и был удостоен республиканской Государственной премии имени Хамзы.

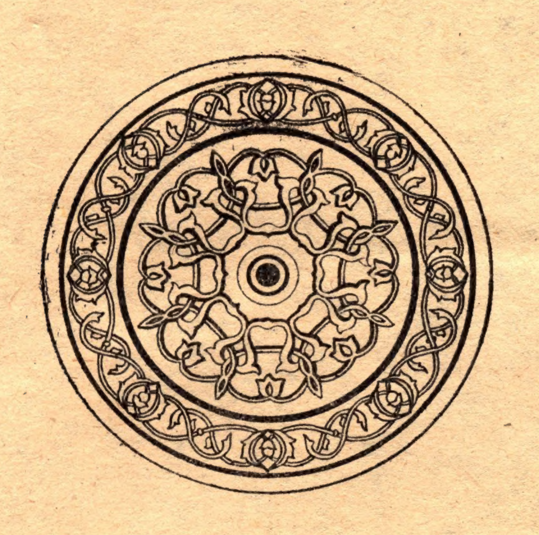
В данный том вошли первая и вторая книги трилогии.

Р2

Б $\frac{70302-60}{М351(04)-81}$ 81 4702570200

книга первая

ХРОМОЙ ТИМУР



Прозван бысть Темирь-Аксак,— Темирь бо зоветься татарским языком железо, Аксак же — хромец, и тако толкуется —«железный хромец», яко от вещи и от дел имя приял.

Никоновская летопись.

Часть первая

ГОД 1399-й

Первая глава

САД

Темна, тепла самаркандская ночь.

Листва ночного сада черна. Тьма под деревьями подобна спекшейся крови.

Над мраком сада сияет серебряное небо, и тонкая струя ручья отсвечивает в ответ небесным светилам, постукивая камушками дна, словно перебирая перламутровые зерна нескончаемых четок.

Тишину в саду строго велено блюсти до утра: в этом саду спит повелитель мира.

Старый Тимур вернулся домой из победоносного похода. В растоптанной Индии еще не осела пыль, поднятая копытами его конницы, еще идут сюда караваны, груженные несметной добычей, идут слоны и табуны коней, идут раненые по длинным дорогам через горы, пустыни, мимо могил и развалин.

В старом густом саду на окраине Самарканда, на ореховом полу, у двери, раскрытой в сад, на стопе стеганых одеял спит Тимур один, хмуро вдыхая прохладу родины.

А под деревьями, над ручьем, в распахнутом шелковом шатре спит старая жена повелителя Сарай-Мульк-ханым.

Старая, седая, почерневшая на ветру и зное бесчисленных дорог, всюду побывала она, волочась за ним по его воле. Видывала битвы и зарева в песках Хорезма, когда муж приказал срыть с лица земли дерзкий город Ургенч, срыть Ургенч, посмевший укрыть лживого Хусейна Суфи. Терпела морозы и метели, когда муж пошел помочь Тохтамышу сесть над Золотой Ордой. Нежилась под сенью садов Шираза, где зрели сладостные, невиданные плоды. Опасливо глядела на зеленую ширь Каспийского моря, когда шли поворошить Азербайджан, где на серебряных блюдах подавали ей тяжелых осетров, отваренных в меду с красным перцем. Дивилась высоте гор и чистым потокам в тесноте Грузинской земли, где ей понравилось темное мясо туров, печенное на углях. Пила густое, как черная смола, и нежное, как молоко, вино Армении, когда ветер, благоухающий розами, раздувал края ее шатра, стоявшего на склоне багровой, каменистой, бесплодной земли.

Старшая из жен, лишь изредка, издали видела она длинного, хромого мужа, не желавшего ходить без нее в походы и в походах не желавшего ходить к ней. Видела она много рек, но просторнее и страшней Аму нигде нет. Видела пустыни Афганистана и дворцы Кабула, куда свозили к ней сокровища из растерзанной Индии. Он свирепствовал там, далеко от нее, но день изо дня являлись от него гонцы справиться о ее здоровье и вручить столь редкостные подарки, каких не видывала она и во сне. Но на что ни глядела, чему ни дивилась, чем ни тешилась, милее самаркандских садов места на земле нет.

И вот спит она крепко, дыша запахом сырой глины, по которому тосковала во всякой иной стране.

Но семилетний мальчик рядом с ней не спит.

Он лежит возле бабушки, откинув голову на худенькие запрокинутые руки, и глядит в небо. А в небе, между черными крыльями ветвей, вспыхивают звезды, меркнут, трепещут, то будто на краю ветвей, то будто в непонятном далеке. И если они далеки,— велики, а если на краю ветвей,— подобны огненным бабочкам.

На широких коврах вокруг шатра спят бабушкины рабыни,— персиянки, армянки; спят, не смея и во сне вольно вздохнуть; лишь звякнут спросонок браслетом ли о браслет, серьгой ли об ожерелье.

Мальчик смотрит в серебряную бездну небес, дивясь сочетаниям созвездий.

Темен и тих сад.

Неслышно несут свой караул воины; ходят, сопровождаемые огромными степными псами; ходят неслышные, невидимые. Да в дальнем конце, едва просвечивая из-за деревьев, горит костер.

Там, у суровых резных ворот, стражи, сменившись с караула, над углями пекут печенку, а на огне, в широком котле, варят просяную бузу.

На старом ковре сидит начальник караула Кыйшик, что в походах умеет прибрать к рукам все, до чего бы ни дотянулись руки. А до чего руки не дотянутся, дотягивается мечом.

Позевывая, нежится на шерстяном чекмене неразговорчивый Дангаса, готовый слушать сквозь дремоту любой разговор, лишь бы самому не говорить.

Каменным лбом повернулся к огню Дагал, с достоинством крутя между пальцами длинный свисающий ус.

Но быстроглазому Аяру не сидится. То он возится у очага, то, присаживаясь на корточки, вмешивается в разговор. Днем он прискакал из Бухары, гонцом от правителя города и теперь, как и эти, отслужившие караул воины, свободен на всю ночь и на весь последующий день.

Аяр носит бороду, но она так редка, что ее и не видно на изъе-

денном оспой подбородке. Лишь ладонь порой тревожно касается подбородка: не растрепалась ли борода.

Огонь временами разгорается жарче. Багряные отблески вспыхивают то на позолоченных скобах грузных ворот, то на медных бляхах, вбитых в резное твердое дерево, то на острых шлемах Кыйшика и Дагала, на стальных наручьях Аяра, на золотой серьге дремлющего Дангасы.

Разговаривая негромко, стража поглядывает — то нетерпеливо на котел, то несмело — в темноту сада: туда, под сень деревьев, не велено ходить никому,— там, скрытый тьмой и тишиной, отдыхает их повелитель. Каждому доводилось видывать его издали и вблизи,— в толчее битвы, либо в дыму пожаров, по его слову убивать или рушить, умирать или грабить, лицезреть его гнев на врагов и досаду его, если вопли покоренных народов ему мешали. Но видеть его в этом саду не смел никто из воинов: здесь он отдыхал от войн.

Дымок костра, ударяясь о закопченную стену, розоватым туманом расплывался между деревьями, и сад казался за дымом еще глуше, как глубина моря.

Разговаривали негромко, чтобы слышать малейший шорох из сада. Неподвижно, сторожко лежали псы, большие, свирепые, с круглыми ушами, обрезанными, чтобы слух их был чутче, с хвостами, обрубленными, чтобы шаг их был легче. Но и глаза псов тревожно косились на шелесты и лепеты листьев, мешавших слушать сад.

Кыйшик ворчливо припоминал богатства и диковины, пограбленные не им. Сокровища Индии, языческие древние храмы, где со стен свисали покрывала, расшитые жемчугами и рубинами, где высились идолы, выплавленные из красного золота, а самоцветные каменья и алмазы сияли на щеках, на лбу, на ладонях, на запястьях идолов. Стены, изукрашенные каменными изваяниями птиц, зверей и нагих бесстыдниц, окаменевших в танце в одних лишь браслетах на щиколотках. Живых людей некогда было разглядывать,— золото блистало на женщинах, на мужчинах, на детях...

Крутя ус, Дагал презрительно сплюнул:

— Жалкий народ,— не искал жалости!

Но Аяр, глянув сквозь улыбку строгим карим глазом, не согласился:

— Кто не ищет жалости, не жалок, а страшен; с тем берегись!

Кыйшик, начальник караула, посмотрел на Аяра удивленно:

— Не нам ли страшен?

Если б Аяр не был испытанным гонцом,— а в гонцы отбирались лишь самые бесстрашные, самые верные и самые сообразительные из воинов, воины, за которых поручался кто-нибудь из самых сильных людей,— Кыйшик заподозрил бы, что Аяр в Индии оробел.

Но Аяру почудилось в удивлении Кыйшика недоверие к смелости его, и он скрыл свою обиду усмешкой:

— Не каждому дано сердце льва! Вам дано, а из нас кому равняться с вами? Кому?— в недоумении поднял брови Аяр.

Дагалу показалось, что Аяр заискивает перед начальником караула, и он взглянул на Аяра презрительно из-под своего плоского, тяжелого лба. Но Аяр пренебрег этим взглядом, досказав:

— Если б не шли вперед львы, за кем бы плелись остальные? А? За кем?

— А мы тогда и не пошли б!— неожиданно проговорился Дангаса.

Дагал удивился:

— А сокровища так и остались бы у язычников?

Кыйшик рассердился:

— Что ты! Зачем? Нам самим надо!

Дангаса на своем чекмене вздохнул:

— А помногу ли нам досталось?

Кыйшик грозно приподнялся:

— Как? Как ты сказал?

— Я-то?..— встревожился Дангаса.

Но Аяр выручил его:

— Он не сказал. Он спросил.

— То-то!

Замолчали, глядя в огонь: кому охота перечить начальнику,— с врагом не церемонились, но своих начальников волновать не смели, за этим строго следил Тимур. Молчали, глядя в огонь.

Виделись им в огне недавние видения иной страны. На деревьях,— то тяжелые плотные листья, то легкая, перистая листва. Цветы большие и лоснящиеся, как медные щиты. Идольские храмы, облепленные причудливыми изваяниями. Костяные троны, изукрашенные резьбой и золотыми кружевами. Горячие лошади, накрытые ковровыми чепраками, седлами красных и зеленых сафьянов, тисненных золотом. Слоны огромные, как горы, послушные, как телята, слоны с беседками на спинах, а в узорных беседках, за прозрачными занавесками, такие...

— Много ходили по земле, а этакого не видывали! — ответил своим раздумьям Дагал.

— Еще поглядим! — неторопливо сказал Дангаса.

— Ну?— усомнился Дагал.

— Разве он успокоится? Опять нас поведет.

— Куда?

— Он знает, где лежит золото. За тысячи верст видит. Он знает, как его брать.

— Думаешь, пойдет?

Дангаса, развалившись на своем чекмене, ответил твердо:

— Пойдет! Глаза-то у всех одинаковы: на свое радуются, на чужое зарятся.

Кыйшик забеспокоился, нет ли дерзости в таких словах:

— Прыток ты! Пойди-ка к сотнику, скажи: «Пора со двора!» А он тебе: «Ладно. Спасибо, брат! Без тебя не догадался б, в поход не собрался б!»

Все поняли,— такой разговор опасен; сотника учить кто дерзнет!

Аяр усмехнулся, пропустив бороду под ладонью:

— Дело воина блистать мечом, а не языком.

Дангаса смолчал, но обиделся: никогда он не мешает другим говорить, а самому случилось слово сказать, каждый норовит прицепиться.

Опять неподвижными глазами уставились в огонь.

Опять виделись им в огне недавние дни в Индии.

Как трещали шелка, когда их сдирали со стен храмов вместе с написанными на них богопротивными изображениями; как, будто зерна, сыпались в медные кувшины самоцветные камни и алмазы; как рушились разукрашенные идолами, как живыми, стены храмов,— рушились во славу аллаха, ибо Тимур повелел не щадить идольских притонов и кумирен, противных исламу и слугам его. Как вопили женскими голосами языческие жрецы, видя поругание своих святынь, бородатые, а хилые, как старухи. Как женщины кидались на воинов Тимура, пытаясь ножами, иглами, ногтями, зубами дорваться до горла. Даже под мечами корчась, призывали гнев своих будд на помощь. Дети, прыткие, как обезьяны, со стен, с деревьев, из расщелин в развалинах, то камнем, то осколком стены, то хоть обломком дерева изловчались кидать в непобедимых воинов Тимура. Схваченные не смирялись, вгрызались зубами в руки, не ждали жалости, не просили милости. Буза закипала в котле.

Виделись города Индии не такими, какими их брали, а какими покинули. Осколки изукрашенных стен на дорогах. Обгорелые, черные костяки садов, потравленные до голой земли поля. А земля плодородная, добрая: воды много! Но покрыли ту землю не зернами, а трупами, смрадом от гниющих тел; лежали на земле старые, молодые, женщины, дети,— не трупы воинов, воины полегли прежде, при защите городов,— трупы простого народа, который хоть и за меч не брался, но и в плен не шел,— строптивый, скрытный, непокорный, не желавший открывать своих знаний, скрывавший свои ремесла и уменье, негодный для рабства народ.

Сто тысяч пленников согнали там в одно место, чтобы гнать их дальше, к себе в Самарканд. Сто тысяч ремесленников, художников, зодчих, разных дел умельцев, сто тысяч самых ис-

кусных людей Индии, из которых ни один не хотел сознаться, в каком ремесле искусен, в какой науке славен, в каком деле силен. Нелегко было опознать мастеров во множестве прочих людей, но опознали, отобрали, собрали их по всем городам и трущобам Индии, погнали в одно место. Они шли, не поднимая голов, глядя лишь в землю, не говоря ни слова, не прося ни воды, ни хлеба, с опущенными руками, шатаясь от усталости и голода, шли, опустив глаза, не глядя на победителей,— будто столь мерзок был вид у непобедимого бесстрашного воинства Тимура! А когда поставили их всех вместе в просторной иссохшей котловине, он сам приехал взглянуть на них. Но и на него ни один не поднял глаз, но и перед ним ни один не заговорил, сто тысяч их стояло бессильных от дороги, ран, голода, и вокруг такая нависла тишина, будто не сто тысяч людей было здесь, а мертвая, вытоптанная земля Индии. И Тимур спросил:

— Чего это они?

— Ясно: намереваются восстать!— шепнул духовный наставник Тимура святой сейид Береке.

Тогда сто тысяч людей, связанных, посиневших от слабости, вдруг начали поднимать головы, и взгляды их, встречая его взгляд, не трепетали, все они прямо, свободно, бесстрашно смотрели ему в глаза. И победителю мира стало страшно.

Тимур так круто поворотил коня, что конь присел.

— Всех убить надо!— прохрипел Тимур и поскакал прочь.

Не потупляя глаз, не отодвигаясь, не заслоняясь, молча смотрели они на ножи и сабли хлынувшей на них конницы.

Аяр встал вытащить головни из-под бузы, чтоб не так шибко кипело. Он любил возиться и стряпать возле огня: дни Аяра проходили в седле, ночи на случайных ночлегах, и давно родным очагом казался Аяру огонек под котлом, где бы ни довелось его развести,— в углу ли постоялого двора, в пустой ли необозримой степи.

Виделся воинам в жарких углях возвратный поход через пустыню, раскаленную добела, где приходилось ноги коней обвертывать мокрыми тряпками, чтоб не полопались копыта. Виделись такие же, как эта, ночи, когда стояло войско на левом берегу реки, ожидая своего череда переправляться домой, когда пели соловьи в зарослях маслин и в кустарниках, силясь заглушить ржанье несметных лошадей и голоса неисчислимых воинств Тимура! Когда от края до края земли горели костры, застилая на сотню верст небеса тяжелым жирным дымом.

Вдруг стража замерла, глядя в сад остекленевшими глазами, затаив дыхание: из-под деревьев неслышно, будто не по земле ступая, а по воздуху, шел к ним ребенок в тонких шелковых зеленых штанах, в полупрозрачной алой рубахе до колен,

в белой тюбетейке на голове. Отсветы костра струились, будто стекая с алого шелка его рубахи. Лицо его было бледно, а глаза смело, прямо, пристально смотрели в глаза воинов.

Ребенок шел к ним, а псы лежали неподвижно, прижав к земле головы и не сводя с него глаз.

Воины не смели шелохнуться, не понимая,— въявь ли видят перед собой это дитя, кажущееся прозрачным в его легкой одежде.

Лишь Кыйшик упруго вскочил на ноги, будто прыгнул в седло, и, почтительно прижав к груди руки, склонился:

— Привет и послушание царевичу!

И Мухаммед-Тарагай, внук Тимура, сын Шахруха, семилетний мальчик, поднятый с постели бессонницей, на покорный привет старого дедушкиного воина ответил благосклонным приветом.

Мгновенье он постоял молча.

Стражи застыли перед ним вокруг истертого, грязного ковра. Оружие их лежало по краям ковра. В котле клокотала буза.

Аяр замер возле котла, не смея шевельнуть рукой, протянутой к головне.

Легко скинув вытканные золотом кабульские туфли, узенькими босыми ногами мальчик ступил на заскорузлый ковер и сел.

Тогда и воины, подобравшись, сели вокруг.

Царевич повернулся к Дагалу, самому рослому и мощному из всех:

— Звезды...

— Да, да?..— не понял Дагал, куда показывает царевич.

— Можно их взять руками?

Воин, тысячи верст прошедший из края в край по земле, десятки городов рушивший, сотни людей изничтоживший, сам стерпевший несчетное число ран, переспросил:

— Звезды-то?..

— Да. Можно их взять руками?

Немало добра отнято у поверженных людей этими вот руками: бывало и золото, случались и алмазы. Но Дагал беспомощно и сокрушенно глянул на свои мускулистые, черные ладони:

— Не доводилось!

— А достать их?

Никому из воинов не случалось думать, далеко ли до звезд. В долгие дороги, в дальние страны хаживали, но о богатствах, ожидавших их в конце пути, знал лишь один человек — их повелитель. Но Тимур водил их по земным дорогам: неужто этому царевичу земных алмазов мало, неужто этот поведет свои воинства за самими звездами?

Воины смотрели на него опасливо и покорно: что ж, если

настанет его время, если он поведет, пойдут: может, там-то и хватит каждому вволю и алмазов, и всего прочего.

Кыйшик ответил осторожно:

— Достать? На то воля великого амира. Прикажет — пойдем.

— А если с дерева? Влезть на самое высокое... На старый чинар! Оттуда достанешь?

Может, он их испытывает? Может, в словах его притча? Может, надо так отвечать, как в сказке: верно ответишь, и за то сразу перед тобой — счастье на всю жизнь.

Неожиданно ответил молчаливый Дангаса:

— Нет, они не на дереве.

— А стрела до них долетит?

— Может, из большого лука? Да ведь большой лук не здесь, большие луки все там.

Дангаса махнул рукой в сторону, где за тьмой, за холмами, за десяток верст отсюда стоял воинский стан.

Нет, от них не добьешься ответа! Царевич задумчиво посидел, пытаясь острым ноготком сколупнуть с ковра черное засохшее пятно. Повременил, задумчиво разглядывая, как синий язык огня лижет черное брюхо котла: Аяр позабыл вытащить из-под котла головню.

Наконец он встал и в раздумье остановился возле своих туфель с золотыми носами, круто загнутыми назад.

Кыйшик, ловко схватив одной рукой туфли, другой рукой охватил колени царевича и понес его в глубь запретного сада. Собаки бежали рядом, и тут выяснилось, что этим псам сад хорошо знаком,— незаметно от воинов они бегали сюда лакомиться объедками, и у царевича были даже имена для каждой из них.

Сарай-Мульк-ханым в тревоге уже стояла среди своих одеял, а рабыни переспрашивали одна другую, не видал ли кто-нибудь, куда мог уйти царевич Мухаммед-Тарагай. Но ужас перед карами, ожидавшими их за беспечный сон, еще не успел их обуять: воин вынес мальчика из-под деревьев и, не смея приблизиться, осторожно опустил его на землю. Кыйшик замер, ожидая слов грозной, бездумной, безжалостной, не знающей удержу своей воле, старшей жены Тимура.

Но она сама так была напугана исчезновением внука, так ясно представила гнев повелителя, если б с мальчиком случилась беда, что радость, когда она увидела ребенка, переполнила ее:

— Нашлась пропажа?

Она сама подошла к воину, сама расспросила,— где был ее внук, что говорил, что ему говорили.

От воина крепко пахло потом, конским и человеческим, кожей и особым, острым запахом людей, долго носивших желез-

ное оружие; голова от этих запахов у царевича кружилась, пока воин его нес.

Но теперь он не отходил от воина, слушая слова бабушки и с удивлением заметил: она добродушно кивнула воину. Такой милости не удостаивались от нее даже самые знатные из дедушкиных людей.

Она обняла мальчика за плечи и отвела к одеялам:

— Отвернись-ка лицом от звезд. Спи-ка, спи!

Понемногу улеглись и служанки.

И снова сад затих.

Едва солнце коснулось вершин сада и золотисто-розовый луч поскользнулся на лазоревом куполе дворца, от повелителя пришли звать царевича.

Мальчик опустился возле ручья на корточки; китаянки, служившие ему, лили на его ладони теплую воду из серебряного кувшина, украшенного узорами бирюзы.

Умываясь, мальчик читал давно знакомую, отчеканенную на ручке кувшина надпись: «Мухаммед Бухари».

«Значит, бухарца, чеканившего этот кувшин, звали тоже Мухаммедом... Зачем позвал дедушка?»

Было еще очень рано.

Но двор перед дворцом уже успели полить и подмести.

Павлины, то, пригнувшись, перебегали через двор, то, воскликнув что-то кошачьими голосами, распускали радужные лучи длинных синих хвостов.

Вдоль галереи, в тени стройных, как стрелы, мраморных серых столбов, уже толпились придворные в затканных золотом алых, синих, зеленых шелковых, бархатных широких халатах, ожидая, когда повелитель вспомнит о них. Нежные, расшитые золотом или жемчугом чалмы, белые, розовые, голубые, зеленые; шапки из русских седых бобров или розово-дымчатых соболей; высокие тюбетеи изощренной красоты; тихий шелест тканей и мягких сапог; воздух, полный благовоний, добытых в дальней Смирне, в горячем Египте, на базарах Багдада или в руинах Индии,— все здесь смешалось в единое сияние, благоухание, трепет.

И едва в галерее появился царевич, предшествуемый посланным от повелителя, все замерли, и каждый встретил мальчика благоговейным поклоном, а он, никому из них не отвечая в отдельности, прошел мимо по всей длинной галерее с поднятой головой, ни на кого не глядя, но с прижатой к сердцу рукой в знак общего к ним всем своего благоволения.

Тридцать шесть столбов по четыре шага между каждым — длинный путь, когда так плотно один к другому толпятся и кланяются ему могущественнейшие, знатнейшие, властнейшие

люди мира от низовьев Волги до Тигра-реки, от льдов Енисея до реки Инда.

И, кто знает, может, прихоть либо причуда этого внука для Тимура окажется милей многолетних заслуг и подвигов любого из вельмож царства.

Но ребенок прошел свой длинный путь, ни одному из сотни склонившихся ничем не выразив ни гнева, ни милости.

Лишь когда резная, темная, украшенная перламутром дверь закрылась за царевичем, все эти надменные, спесивые, самодовольные, бесстрашные и выносливые люди снова ожили и снова негромко заговорили между собой.

А мальчик кинулся бегом из зала в зал, обогнав посланного, то подпрыгивая на одной ноге, то, как козленок, скача боком, пока не достиг невысокой дверцы.

За ней, на чинаровом полу, у двери, распахнутой в сад, на маленьком ковре сидел длинный, сухощавый старик в черном, обшитом зеленой каймой халате. Темное, почти черное, с медным отливом, его сухое лицо повернулось к мальчику, и глаза — быстрые, пристальные, молодые — зорко пробежали по всему маленькому, легкому любимому облику внука:

— Встал?

Мальчик стоял, склонившись в почтительном поклоне.

— Сядь!

Когда на краю того же тесного коврика мальчик сел, поджав ноги, дед протянул ему китайскую фарфоровую чашку крепкого летнего кумыса:

— Пей!

— Благодарствую, дедушка!

Внук не успел сделать и двух глотков, Тимур спросил:

— У тебя бессонница?

Глоток комком застрял в горле мальчика, но рука не дрогнула, и он спокойно поставил чашку на коврик:

— Редко.

— Люди спят, а ты гоняешься по саду за пустыми вопросами... Как за ночными бабочками!

— Не за вопросами, а за ответами, дедушка.

— Надо у меня спрашивать.

— Вы тоже спали, дедушка.

— Мы не в походе. Дождись, пока встану. Не тебе людей надо спрашивать. Тебя люди должны спрашивать. Мой внук ты. Понял?

Откуда он узнал об этой ночной прогулке? Откуда он все узнает? Он всегда знает все раньше всех!

— Хотелось поскорее узнать, дедушка.

— Как брать звезды руками?

— Да. Это.

— Я сам скажу. Слушай...

Но дед задумался, прежде чем сказать, и, видно, какая-то неожиданная мысль или какое-то воспоминание рассердило его:

— Звезды хороши, когда ты преследуешь врага. Они никуда не годятся, когда тебя преследует враг. Понял?

Мальчик взглянул лукаво:

— А разве вас можно преследовать?

— А разве нет? — улыбнулся Тимур.

Он редко улыбался. Мальчик взглянул смелей:

— Чтобы преследовать, надо, чтоб вы убегали. А разве вы можете убегать?

— Бегать я перестал с тех пор как мне перебили ногу. Но с тех пор как правая рука у меня отсохла, никто не вырывался из моих рук. До того я бегал, а меня ловили. А я тогда был намного старше тебя. Мне уже было лет... двадцать пять тогда.

Редко дед говорил кому-нибудь так просто о своих былых делах. В них очень много было такого, о чем незачем вспоминать повелителю мира. Ведь уже не было никого во всем мире, кто мог бы тягаться силой и могуществом с этим длинным, как тень, сухим, больным, сухоруким, хромым стариком.

Он поднял с коврика ту же плоскую, разрисованную синим узором чашку и глотнул кумыса.

— Звезды?... Звезды, мальчик, надо брать на земле. Их добывают с мечом в руках. Руке надо быть крепкой. Крепче железа. Пускай меч переломится, а руке нельзя ломаться: в руке надо держать всех, кого ни встретишь—и тех, что идут с тобой, и тех, что бегут от тебя, а тех, что вздумают становиться против, тут же давить, сразу! Тогда все, чего пожелаешь, все возьмешь. А человеку много надо. У человека во всем нужда. Нуждами кормится сила, как конь травой. Сила! Вот какую звезду надо держать в руке. Тогда все звезды будут у тебя под ногами; какую вздумаешь, ту и возьмешь? Понял? Всегда это помни. Понял?

Он отпил еще несколько глотков кумыса, разглядывая бледное длинное лицо мальчика с пухлыми губами.

Внезапно рот мальчика сжался, губы вдруг стали тонкими. Дед, пытливо присматриваясь, отклонился:

— Разве тебе плохо в походах? С воинами?

Губы внука разжались в ласковой улыбке:

— Когда бываете с нами вы, всегда хорошо, дедушка.

«Еще слишком ребенок!»— подумал Тимур и сказал:

— Скоро приедут послы. Ступай одевайся.

Мальчик спрыгнул прямо в сад и пошел под деревьями, не подозревая, что дедушка по-прежнему пытливо смотрит ему вслед.

Вспугнув павлинов, он прошел к другому дворцу. Там распо-

ложился в нарядных залах и комнатах пышный гарем деда. Там жили и его младшие внуки, по обычаю отнятые от матерей и отданные на воспитание бабкам. Но бабки — старшие жены Тимура получали на воспитание не родных своих внуков: родные им внуки воспитывались другими женами Тимура. Он считал, что родные бабушки, как и родные матери, вырастят ему балованных, изнеженных царевичей, а ему нужны были твердые, смелые, будущие повелители необозримого царства.

Однако растившую его Сарай-Мульк-ханым мальчик звал бабушкой и любил ее. А бабушка стремилась вырастить такого царевича, чтобы, выросши, он всех своих братьев затмил удалью и умом.

Так старухи щеголяли друг перед другом внуками, как давно когда-то щеголяли они одна перед другой станом, лицом, нарядами и властью над сердцем повелителя.

Вторая глава

БАЗАР

В Самарканде на базаре оживился и зашумел народ.

Огромные, как деревянные солнца, колеса арб покатились по булыжным мостовым. Водоносы заплескали голубой водой желтую базарную пыль; огромными, как деревья, метлами сторожа вымели щедро политую землю площадей и переулков; но лавочники мягкими вениками снова подмели места перед своими палатками, не столько по надобности, сколько для порядка, теша свою гордость хозяев этого кусочка базара, где по своей охоте вольны они и подметать и торговать, и, перебирая четки, размышлять, почему никогда ни на одном базаре не бывает столько покупателей, сколько хотел бы купец. Века шли, базары шумели, ветшали, строились заново, тысячи тысяч людей выкрикивали на разные лады названия своих товаров, деньги повышались в цене и теряли цену, а всегда покупателей было меньше, чем желалось купцам.

Открываются палатки, и в их глубине вспыхивают шелка или медные подносы, груды деревянных, пестро расписанных седел, лохматые свитки тяжелых ковров, золотые кружева браслетов и ожерелий, товары местных изделий и привозные со всего света,— русские меха и льняные полотна, фарсидские зеркала в разрисованных оправах, китайские зеленовато-белые блюда и чаши, персидские голубовато-белые, расписанные синью кувшины и вазы, гератское золотое шитье по красному сафьяну, тугой, серебрящийся хорезмийский каракуль, благовонные смолы из Смирны и тысячи иных товаров, ни названия, ни применения коих никому не снятся, пока покупатель не приметит их в одной из тысяч лав-

чонок, теснящихся по всем извилистым улицам от Железных ворот до Синего Дворца Тимура.

Открываются палатки, теснящиеся по боковым рядам, по переулкам, под крытыми переходами; продавцы мелочей расстилают коврики под каменными куполами на перекрестках, в нишах древних зданий, у стен бань и мечетей, у ворот караван-сараев, всякий пристраиваясь там, где на его безделицу случается спрос.

А на плоских, просторных крышах харчевен расстилают привольные ковры, стелят узкие одеяла, раскладывают подушки для почтенных гостей, буде кто пожелает здесь кушать, поглядывая сверху на суету, гам и гомон базара.

Открываются снизу вверх навесы убогих лавчонок, где работают и живут кустари и ремесленники всяких дел.

Открываются лавчонки кузнецов, где подмастерья и ученики на весь начинающийся долгий день снова вздувают огонь в узких, как кровоточащие раны, горнах.

Открываются лавчонки медников и серебряников, и розовые огоньки утра загораются на чеканных боках кувшинов, на хитрых узорах блюд, на выпуклых, как мышцы, гранях медных щитов, на серебре, изукрашенном бирюзой, на меди, где высечены деревья и крепости, на подносах, способных вместить вареного быка, и на крошечных чернильницах для узких, как кинжалы, пеналов.

Открываются мастерские седельников, где громоздятся едва просохшие от пестрых красок деревянные седла. А у соседей — колыбели, еще более пестрые и веселые. Высятся один над другим тонкорасписанные и окованные медью сундуки, от просторных свадебных и кочевых, куда уложится не один десяток одеял и добрая сотня халатов, до изукрашенных тончайшими узорами крошечных ларцов для колец, ожерелий и женских тайн.

Открываются мастерские оружейников, где мирно, как вязанки хвороста, молчаливо лежат связки мечей или копий, стоят наискосок, прислоненные к стенам, стопки надетых друг на друга шлемов, круглых либо граненых, стальных либо железных, а то и серебряных с чеканами по краям или с надписями золотом и чернью.

Не охватишь единым взглядом всех рядов, а в каждом ряду — свои товары, резные двери или меха, домотканина либо посуда, глиняные кувшины гончаров или коренастые кумганы медников, дымчатое самаркандское стекло или багряные самаркандские бархаты, изделия кузнецов или живописцев.

Достают мастера орудия своего дела: мастер арб — острый тяжелый тесак, а живописец — кисть, легкую и тонкую, как девичья ресничка. Колесники поднимают широкие карагачевые молотки, а серебряники точат стальные резцы, острые, как жала.

Равно искусны и прилежны руки мастеров, равно изощрено

опытом и усердием их зрение, но как не схожи орудия их труда, так и доходы их не равны и не схожи. И чаще случается здесь, что чем тяжелее орудие в руках мастера, тем легче его кошелек.

Еще негромки говоры купцов между собой, степенны и немногословны утренние приветы, будто все берегут свой голос и силы для приближающегося желанного начала торговли.

Един язык купцов, но перемешаны языки ремесленников, очутившихся здесь по своему ли желанию либо по воле несокрушимого завоевателя, с востока ли от китайских степей или из тесных городов Кашгара, с запада ли с Армянских и Грузинских гор, с севера ли из низовых городов Поволжья и Золотой Орды, с юга ли из Ирана и Кабулистана.

Смешались в базарных закоулках у кустарей языки китайский и русский, сжатая речь хорезмийца с напевным говором уйгура, индийские тягучие слова и легкие, как стихи, слова иранца.

Смешались судьбы людей — вольных и пленных, выжитых из родной земли нуждой или произволом правителей, уведенных с отчих полей воинами либо сбежавших сюда от еще большего гнета.

Проснулся самаркандский базар.

Снова загудели, вливаясь в единый гул, разговоры людей, первые вопли разносчиков, заливистые ревы ослов, жалобные молитвы верблюдов. Потекли, сливаясь в единый смрад, запахи пряностей и приправ, острый дым из харчевни и нежный пар из пекарен, схожие с запахом меди запахи мясных рядов; вонь боен и скотопригонных дворов; благоухания темных лавчонок, торгующих благовониями и тайными товарами для женских услад; свежие, как юность, запахи плодов и ягод.

Как и в прежние утра и дни, опять вскрикивали и плакали на невольничьем рынке, где продавали девушек и детей, щелкали плетки и гремели окрики в ряду, где продавались молодые рабы.

Ревели быки на скотных рынках и ржали кони на конных площадях. Протискивались сквозь базар запоздалые стада баранов, сгоняемых сюда со степей, и растекался по переулкам горький запах полыни, пыли и горячей шерсти, не успевшей за ночь остыть от степного зноя.

Все двигалось, все спешило занять свои места к тому мгновенью, когда все замрет, чтобы опуститься на утреннюю молитву, за коей последует начало торговли, в те годы столь же необходимой и желанной, как сама жизнь.

Солнце разгоралось. Алые, золотые, белые пятна света проникали сквозь щели крыш и перекрытий базара, падали на халаты купцов, на лохмотья ремесленников, на протертые маслом тела рабов, выведенных на продажу, на серые лохмотья рабов, выведенных на работу. Вспыхивали на мордах коней и на зеленых каблуках туфель, на белых чалмах и на алых коврах. Пятна свет-

лого утра — узкие, как мечи, кругленькие, как деньги, широкие, как ковры.

Утро.

С высоких минаретов, с папертей, со стен мечетей заголосили заунывными, воющими возгласами призывы к молитве.

Смолк базар.

Иноверцы потеснились к стенам или отошли прочь с глаз правоверных, а мусульмане, то падая на колени, то повергаясь ниц, восславили бога, опасаясь, что милостивый, милосердный, не помилует он их и не пошлет им удачи в делах, если не воздать ему должное, как воздают должное хозяевам караван-сараев или старостам своих цехов, ибо недремлющее око многочисленных слуг божиих неусыпно следило за каждым, кто не соблюдал надлежащего числа поклонов или не проявлял набожности в своих речах. В дела купцов, в торговую жизнь базара, в своеволие сильных и в бесправие слабых слуги божии не вникали, ибо этого не требовали от них ни коран, ни шариат.

Молились во дворах мечетей, молились у своих лавчонок, молились на крышах, куда забрались покушать, молились на темной земле возле боен, молились возле безмолвных рабов,— всюду, кого где застал призыв к молитве,— покупатели и купцы, ремесленники и чиновники, нагие и нарядные, властные и покорные, люди Тимурова ханства и чужеземные мусульмане.

Когда замерли последние слова молитвы, каждый кинулся, сбивая других, к своему месту на торжище, на ходу подтыкая выпущенный на время молитвы конец чалмы или торопясь свернуть свой коврик, пока незнакомый человек не ухитрился его присвоить.

Торговля началась.

Едва стукнули о мостки харчевен первые медяки, едва звякнули первые деньги в ладонях купцов, хлынули на базар нищие, дервиши, странствующие монахи, питомцы народной милости, питомцы суеверий и страха перед гневом божиим.

Пошли в острых ковровых колпаках, с острыми, как копья, посохами в твердых руках десятки каландаров — бродячих монахов сурового и могучего братства накшбендиев, властно подставляя для подаяний черные кокосовые чаши. Кто решится отказать каландару? Они не берут ничего из подаяний себе, они все сносят в единую чашу своему наставнику, а тот распределяет между ними собранное во имя божие с пользой для себя. Горе тому, кто обидит каландара,— улицы города узки, малолюдны, а посохи каландаров остры, как копья,— страшно смертному встретить оскорбленного каландара, если братство каландаров разрешит своему брату утолить обиду и показать гнев.

В стертые до блеска чаши из желтых тыкв принимали подаяния дервиши других братств.

Заскорузлые, мозолистые ладони протягивали нищие, потерявшие зрение или руку и за то отринутые своими цехами; земледельцы, согнанные сильными людьми с отчей земли; странники, лишенные крова и родины.

Богобоязненные мусульмане расточали свои даяния разборчиво: падало серебро,— пухленькие теньги, маленькие теньгачи, прозванные «мири»— княжескими или «акча»— беленькими,— падало серебро в кокосовые чаши опасных и зорких каландаров; падала медь,— большие темные «даньги»; небольшие «нимданьги»— полушки, маленькие «пулы»— грошики, падала со стуком медь в глубокие тыквы; обломки черствой лепешки или слова благих пожеланий доставались прохожим нищим.

А в харчевнях уже поспевало мясо на углях, в котлах закипала густая утренняя похлебка; в деревянных решетах, объятые горячим паром, наполняя воздух запахом баранины и лука, варились большие кашгарские пельмени, на широких плетенках поблескивали горячим маслом только что вынутые из глиняных жаровен треугольные пирожки. Эта утренняя пища тут же распродавалась. Приказчики торопливо доставляли ее своим хозяевам,— не бросать же купцам торговлю ради пирожков или чашки с похлебкой, да им и достоинство не дозволяло начинать торговый день в харчевне: у кого настоящее дело, тот встречает свой день при деле, а в харчевню с утра идут лишь бездельники да всяких иных званий люди, коим нечего терять в самый деловой час дня.

А ремесленники по своим мастерским обходились одной горячей лепешкой да чашкой холодной воды. Но и от той лепешки приходилось отламывать кусок дервишу, другой убогому, а остальное делить с нищими, среди которых всегда находились либо давние товарищи, либо незадачливые друзья.

Не мало народу ело и в самих харчевнях, поглядывая, как мимо проезжают нарядные, надменные всадники, сопровождаемые пешими конюхами, пешими стремянными и слугами: чем больше слуг окружало всадника, тем благосклоннее, в знак своего достоинства отвечал он на поклоны встречных. Ехали родичи тимуровых вельмож, давно собравшиеся сами стать вельможами. Медлительно проходили богословы или пожилые начетчики, памятуя, что торопливость тешит дьявола и гневит бога, ибо, как ни торопись, предназначенное тебе сбудется, а что не суждено, то не достанется. Шли в накинутых на голову глухих халатах женщины позади своих мужей, или предшествуемые возросшими сыновьями, или сопутствуемые столь же плотно закрытыми старушками. Проезжали начальники тимуровых войск, дразня глаза праздношатающегося люда, городских гуляк и зорких купцов индийскими украшениями на оседловке ли коней, на одежде ли, на вооружении ли; простым воинам запрещалось появляться в го-

роде с оружием, кроме короткого ножа для разрезания мяса и дынь.

Индия... Индия!

У всех она была на уме, все говорили, толковали, шептались, молчали и мечтали о ее сокровищах, о несметной добыче, захваченной там и еще не довезенной до Самарканда, двигающейся где-то по караванным путям, на горбах тысяч верблюдов.

Индия!

В рядах тревожно гадали о товарах, какие оттуда придут. Засылали соглядатаев к знающим людям, выведать, что везут оттуда, что понадобится туда. Держали наготове деньги, чтобы скупить по дешевке даровую добычу из рук счастливцев, придержать ее, выждать время, и не торопясь, помаленьку сбыть по настоящей цене.

Прежние товары неподвижно лежали на складах. Большие купцы сбывали их лишь по мелочам, сбывали кустарям, которым хочешь не хочешь приходилось брать то, из чего изготовляли они свои изделия,— медь и кожу, серебро и шерсть, свинец и меха,— не дожидаясь ни пока подешевеет сырье, ни пока подорожают изделия. Больших сделок никто не совершал: Индия!

Все напряженно следили за движением караванов оттуда, боясь упустить счастливый час, которого уже не воротишь долгими годами мелкой торговлишки.

Торговцы почтительно кланялись большим купцам: ведь многие из них вот-вот еще выше поднимутся на грудах обильных прибылей, а мелкоте базарной еще неизвестно, достанется ли и мелкий-то барыш! И купцы шли благодушные, уверенные в своих планах и расчетах, ожидая индийских богатств в свои руки, как случается предвкушать угощение, идя в гости к хлебосольному хозяину; шли, распахнув дорогие халаты, чтобы все видели, что в этаком добре дома у них недостатка нет.

В одной из людных харчевен сидел еще бурый от дорожного ветра конопатый Аяр, полюбопытствовавший после базаров Бухары и далекого Термеза взглянуть на самаркандский базар.

В харчевне теснились воины, отпущенные на день из ближних станов; дервиши, обособлявшиеся по укромным углам или у темных стен; пригородные огородники, успевшие сбыть свой урожай перекупщикам; старшины цехов, зашедшие встретиться и потолковать с мастерами, забредшими из других городов; богословы — ученики в пышных чалмах и заношенных домотканых халатах, обходившиеся вареным горохом в ожидании доходных мест; конюхи больших купцов и сановников — покрасоваться обносками, доставшимися от хозяев; перепелятники, восхвалявшие ярость своих питомцев, дремавших за пазухами либо глядевших змеиными головками из хозяйских рукавов.

Все здесь говорили, каждый о своем, похваляясь либо жалу-

ясь, бахвалясь либо сетуя. И каждый неприметно, как перепел из рукава, настороженно подглядывал и подслушивал, каждый чаял вырвать хоть клок шерсти из чьих-нибудь нерасторопных рук в свою руку.

Помалкивали лишь дервиши, зорко вглядываясь в соседей, чутко вслушиваясь в людские разговоры.

Один из городских гуляк от нечего делать лениво расспрашивал Аяра, хороши ли на термезском базаре дыни:

— Там, небось, против нашего тишина. Чем там торговать,— пылью да мусором?

Время от времени опасливо проверяя, не растрепалась ли борода, с достоинством поддерживал разговор Аяр, привычный к таким случайным беседам в случайных местах:

— Какая может быть там тишина, когда это на пути в Индию?

— Сейчас туда кто едет? Всякий оттуда едет, оттуда добро везет.

— Не думаете ли вы, что дорога отсюда туда не годится, чтобы ехать оттуда сюда?

— Верно!— засмеялся собеседник.— Мне это не пришло в голову. А кто едет сюда оттуда? Караваны, говорят, еще не дошли до Балха.

— Караванов много. И в Термезе уже стоят, а перед моим выездом из Бухары уже и туда дошли два больших каравана.

— В Бухару?

Аяр спохватился, не сказал ли лишнего? Но потрогал бороду и успокоился: ему никто не наказывал помалкивать о караванах.

— Да, из Индии.

Один из дервишей поставил свою чашу и, опустив над ней иссиня-черную курчавую бороду, замер: это была новость!

Аяр и не догадывался, как долго ждали эту весть на самаркандском базаре. Индия!

Но рассеянный собеседник тотчас забыл о ней, заглядевшись, как осанисто ехали к своим складам именитые купцы, красуясь статными конями арабских кровей, сжимая в руках плетки, будто рукоятки сабель, плетки, либо унизанные крупными зернами бирюзы, либо увенчанные бадахшанскими рубинами. На базаре знали, что не только эту вот плетку, а и добрую половину кожевенных запасов Самарканда держит в руке Мулло Фаиз; а у Саманбая запасено мехов чуть ли не на всех скорняков самаркандских. Такие владеют складами, где лежат у них тюки кож, сукон, шелков; привозных, местных, всяких товаров.

Сидя в караван-сараях возле своих складов, они покупают и продают, не сходя с места, доверяя дела приказчикам или родичам, коим и надлежит знать торговое дело и уметь за полушку купить телушку.

Но Аяр и собеседник его забыли и о купцах и друг о друге, когда уйгур подал им белую трепещущую лапшу с горячей острой подливкой.

А кожевенник Мулло Фаиз сошел с седла, отдал повод подоспевшим слугам и, неторопливо приветствуя окружающих, сел на ковер перед своим складом в богатом караван-сарае Шамсинур-Ата.

Вскоре один из каландаров протянул ему кокосовую чашу за подаянием, опустив над чашей иссиня-черную курчавую бороду и потупив глаза.

Не глядя на дервиша, Мулло Фаиз кинул ему полушку.

— Мало!— сказал монах.

Мулло Фаиз насторожился. Вторая полушка стукнула медью о черное дно.

— Мало!— повторил монах.

Оглядевшись, не замечает ли кто их разговора, Мулло Фаиз пробормотал:

— Молись за меня!

Монах ответил ему нараспев, будто читая молитву:

— Караваны из Индии вошли в Бухару.

— Давно?

— Четыре дня назад.

— Что везут?

— Не знаю.

— Велики?

— Не знаю.

— Молись за меня!

И Мулло Фаиз кинул в чашу третью полушку.

Дервиш огладил ладонями кудри своей бороды, бормоча славословия богу, и еще не успел отойти от купца, как Мулло Фаиз, стараясь скрыть от недобрых глаз беспокойство, кликнул своего хилого, оборванного приказчика и велел разузнать по базару, не приезжал ли кто из Бухары.

За этим разговором небрежно ответил Мулло Фаиз на сердечный поклон Мулло Камара, маленького, не старого, но уже и не молодого, еще не седого но уже и не черного, какого-то серого, одетого в простой серый халат, с туго повязанной серой чалмой на маленькой голове, мелкими, суетливыми шагами проходившего мимо обремененного торговыми заботами осанистого Мулло Фаиза.

Мулло Камар прошел, опираясь на простую палочку, в конец Кожевенного ряда, где позади лавчонок жил он в низеньком темном маленьком караван-сарае, жил в неприметной угловой келье и целыми днями просиживал у ее порога, не имея в рядах ни лавки, ни палатки, ни даже своего места. В этот дальний угол старого караван-сарая в Кожевенном ряду изредка на протяжении дня к нему заходили неприметные базарные людишки или заглядыва-

ли дервиши за подаянием. Даже привратника не было на этом дворе, а служил лишь мальчик Ботурча для уборки двора и на посылки немногочисленных здешних постояльцев.

Пройдя к своей келье, Мулло Камар вынес из ее полумрака на свет небольшую истертую козью шкуру и узкую, в потемневшем переплете старую книгу. Покряхтывая, он сел и раскрыл желтые, словно восковые, страницы стихов Хафиза и с явным наслаждением, как смакуют глоток за глотком редкостное вино, углубился в них.

Вскоре к нему пришел длинный, как лезвие меча, узконосый человек с глазами, столь близко сдвинутыми, что иной раз казалось, будто они соприкасаются над переносицей.

Он наклонился над Мулло Камаром и, глядя куда-то вдаль, в одну точку, заикаясь, сказал:

— По базару прошел слух: до Бухары из Индии уже дошли два каравана.

Осторожно, бережно отложив на край шкуры книгу, Мулло Камар заговорил с пришедшим, которого на базаре звали Саблей.

— Так, так. Караваны те вьючились в Балхе. Мне об том давно дано знать. А знают на базаре, чего везут?

— Из сил выбиваются узнать, да неоткуда.

— Так, так...

Мулло Камар сидел молча, лишь под одним из усов чуть сверкнула быстрая усмешка.

В ворота заглянул дервиш, нараспев восхваляя пророка, но благочестивый напев глохнул в тесноте двора и не возносился, а ударялся о низенькие створки ветхих дверей, как чад перед непогодой. Никто дервишу не откликнулся, никто не кинул ему подаяния, пока не дошел он до Мулло Камара. Остановившись возле козьей шкуры, он было возгласил молитву, но Мулло Камар, деловито и спокойно глянув дервишу в глаза, перебил:

— Святой брат!..

Дервиш прислушался, продолжая молитвенно покачивать головой.

Мулло Камар достал и подержал перед глазами дервиша большую серебряную деньгу, украшенную тамгой Тимура — тремя кольцами, сдвинутыми в треугольник. За такую деньгу на базаре давали двадцать восемь ведер ячменя, за такую деньгу продавали барана. Дервиш навострил ухо.

— Святой брат! В Бухару вошли первые караваны из Индии...

Дервиш, затаив дыхание, молчал; Мулло Камар повторил:

— Из Индии. Двести верблюдов. Везут кожи. Кожи везут. Запомнил? Молись за меня.

И деньга, блеснув белой искрой даже в тусклом свете этого двора, скатилась в чашу дервиша.

А дервиш, будто и не останавливался у козьей шкуры, пошел дальше, воспевая похвалы пророку, мимо притворенных либо запертых на замок низеньких темных дверец, вышел за ворота и вскоре оказался в самой гуще людного ряда.

Едва дервиш ушел, Мулло Камар зашел к себе в келью и позвал Саблю вслед за собой. Там он достал плоский, как хлебец, маленький сундучок, в какие-то давние времена разукрашенный искусной кистью: среди румяных роз на синих листьях пели красные соловьи.

Мулло Камар велел Сабле пересчитать все, что хранилось в сундучке, а потом отдал сундучок Сабле, и тот длинными пальцами ловко завернул его в свой кушак, будто и не сундучок у него в узелке, а пара хлебцев.

В это время застенчивый приказчик Мулло Фаиза толкался среди торговых рядов, прикидываясь восхищенным то китайскими чашками, то исфаринскими сушеными персиками, будто невзначай выспрашивая, не приезжал ли кто из Бухары.

Пренебрегая разговором с таким оборванцем, торговцы отвечали ему неохотно и не сразу. Нелегко удалось ему разузнать, что накануне перед вечером в караван-сарай на Тухлом водоеме прибыл из Бухары армянский купец Геворк Пушок.

Приказчик знал в этом караван-сарае привратника Левона и присел у ворот, дожидаясь, пока Левон управится и выглянет.

— А!— удивился Левон.— Чего сидишь?

— Шел мимо. Жарко. Отдыхаю.

— Вижу, богаче не стал.

— При такой духоте в дырявом легче. Что нового?

— Ничего достойного.

— Новые гости у вас есть?

— На то и караван-сарай.

— Откуда?

— С торговых дорог.

Левон отвернулся, собираясь уйти во двор.

Приказчик достал пару грошей, похожих на сплюснутые катышки:

— Нашел по дороге, не знаю, куда деть?

Левон подставил ладонь:

— Дай, посмотрю.

Перекатывая жалкие черные гроши с ладони на ладонь, Левон пожаловался:

— Вчера прибыл один с Бухары, да скуп.

— А что говорит?

— Насчет чего?

— Караваны туда не приходили?

— Караваны-то?

— Да, да, караваны.

— Какие?

— Из Индии.

— Ах, караваны? И, милый мой, сколько их идет со всех сторон во все стороны. Идут, идут. Одни отсюда, другие оттуда. Под звон караванов один самаркандский певец песни поет, как под звон струн, с рассвета до ночи. Тем и кормится. Прислушайся-ка: звенят, несмолкаемо, звенят и звенят, идут и идут. Тем и кормится!

— Певец-то?

— Да и народ.

— Верно. Теперь караванов много.

— В том-то и дело.

— Ну и что ж?

— Певец, вот, кормится, а нам что? Какая от них польза? Остается одно: двор подметать.

И опять Левон, взявшись за веник, помыкнулся уйти прочь от ворот. Но приказчик опять удержал его:

— А у меня еще одна находка!— и показал медную полушку.

Левон волосатым пальцем прошмыгнул под усами:

— Не велика...

— Как сказать!...

— Да как ни говори!

— А есть?

— Смотря по деньгам.

— Удвоим.

— Должны бы быть.

— От самого слышал?

— Не со мной разговаривал: однако так и есть.

— И много.

— Не считал.

— А если прибавить?

— Врать не буду.

— А чего везут?

— Не глядел.

— Прибавлю!

— Из твоего доверия выйду, если скажу.

— Не надо. Бери свое.

— Спасибо. Наведывайся.

На том и расстались.

Но пока тянулся этот разговор, лавочник по прозвищу Сабля открыл свою темную, глубокую, тесную, как щель, лавчонку, где торговал пучками вощеной дратвы, варом и всякой сапожной мелочью.

Сев с краю от своих товаров, он под коврик позади себя поставил плоский сундучок и прикрыл его, чтоб в глаза не бросалось.

Мимо шли покупатели с яркими либо линялыми узелками, куда увязаны были их покупки.

Провели из темницы узников, закованных в цепи, почти нагих, изможденных, обросших клочьями диких волос. Их сопровождал страж; в желтые долбленые тыквы они собирали подаяния, принимая их руками, изукрашенными драгоценными кольцами. Это были родичи кочевого лукавого хана, лет за десять до того казненного по приказу Тимура. В снисхождение к их царственной крови, как к потомкам Чингиза, Тимур дозволил им вдобавок к скудной темничной еде собирать подаяния на самаркандском базаре и оставил им на пальцах редчайшие алмазы и лалы, дабы своим видом напоминали они народу о победах Тимура и о том, что Тимур не жаден на чужое достояние, но щедр и снисходителен.

Сабля бросил им старый позеленевший грош и отвернулся, уловив кислый тюремный запах.

Дервиш, проходя мимо, протянул гнусавым напевом:

— Двое больших мусульман смутились духом...

— Бог с ними! Мы им поможем!..— ответил Сабля и ничего не бросил дервишу, да тот и не протягивал ему своей чаши. Дервиш деловито направился в глубь кожевенных рядов и там подошел к Мулло Фаизу:

— Во имя бога милостивого, милосердного...

— Бог поможет, а я с утра...

— Щедрость украшает мусульманина.

— Излишняя красота обременяет!— рассердился Мулло Фаиз, которому сейчас было не до богоугодных дел.

— Два каравана в Бухаре!

Мулло Фаиз насторожился:

— Я всегда щедр во имя божие.

Дервиш протянул ему чашу. Медь глухо ударилась о широкое дно.

Дервиш быстро выплеснул полушку обратно на ковер Мулло Фаизу:

— Помолюсь о ниспослании истинной милости творцам истинной щедрости. Деньги подобны зернам пшеницы: чем гуще посев, тем изобильнее жатва.

— Была бы земля плодородна!

— Она вся вспахана, обильно полита, озарена сиянием бога истинного, милосердного...

Кто слышал слова дервиша со стороны, казалось, он занят набожным, нескончаемым славословием бога,— напев его звучал для всякого так привычно, что в слова этого напева уже давно никто не вникал.

Мулло Фаиз не без сомнения всыпал в чашу сразу три гроша.

— Мало.

— Верное дело?

— Мало посеешь,— пожалеешь, когда жатве настанет время. Сокрушение иссушит душу твою и воскликнешь: о, если б вложил я, смертный, каплю солнца в ниву сию, ныне взял бы я урожай золотой пщеницы.

— В самом деле?

— И то мало.

Но отдать серебряную теньгу Мулло Фаиз поскупился. Нехотя он бросил дервишу одну беленькую,— четверть теньги.

— Два каравана из Индии.

— Если только это...

И рука Мулло Фаиза потянулась было всунуться в чашу за своим серебром. Но дервиш отвел чашу от протянутой руки в сторону:

— Беседуем мы о золотом посеве, а ты и единое зерно норовишь с корнем выдернуть!

— Но это мне уже известно!...

— Число знаешь?

— Без обмана?

— Как милосердие божие...

— Ну?

— Два по сту.

— А товар?

— Один корыстолюбец тщился с одного зерна пожать два урожая за един год. Но бог милостивый, милосердный...

— Охо! До урожая-то сеятель исчахнет от нужды, да от...

— Виден человек начитанный в книгах. Однако сеятели, хирея в нужде, доживают до урожая: иначе кто собрал бы урожай с полей, коим милостивый...

Поеживаясь и не заботясь о своей осанке, Мулло Фаиз достал еще одну беленькую, но, прежде чем расстаться с ней, переспросил:

— Еще неизвестно, годно ли сие зерно для моей, для моей, Мулло Фаиза, нивы...

— Клади!

Рука Мулло Фаиза сразу ослабела, беленькая капелька серебра выкатилась из ладони, но чаша дервиша своевременно оказалась на ее пути. Округлившиеся глаза Мулло Фаиза приблизились к носу дервиша:

— Смотри, святой брат! Неужели кожи?

— Мало жертвуешь.

— Э! От твоих слов сундук мой не тяжелеет, а...

— А без моих слов он вовсе рассыпался бы.

— Молись за меня! — и Мулло Фаиз, чтобы скорее отвязаться от дервиша, подкинул ему еще несколько подвернувшихся,

грошей, не заметив, что с ними попали и еще две серебряных капельки.

Мулло Фаиз, растерянно озираясь, еще не успев сообразить, с чего начинать спасение своих сундуков, заметил приказчика, скромно присевшего в сторонке.

— Ну?

Приказчик не без предосторожностей, чтоб посторонним ушам не услышалось, сообщил:

— Слух верен. Есть караван.

— А что везет?

— Это неизвестно.

— А почем?

— И это неизвестно, ежели неизвестно что...

— А сколько?

— Не говорят.

— Ах, боже мой!— но гнев Мулло Фаиза не успел войти в оболочку слов, как Мулло Фаиз вдруг понял, что надо спешить, пока весть о таком потоке кожи не дошла до ушей базара. Тогда цены на кожи настолько упадут, что весь склад Мулло Фаиза станет дешевле одной лавчонки сапожника.

— Беги на базар! Слушай, выпытывай, не надо ли кому кож. Из кожи лезь,— сбывай кожи!.. Нет, стой! Пойду сам.

Торопливо, но стараясь сохранить степенность, отчего еще больше путался в полах своих раздувающихся халатов, он кинулся по рядам.

В кожевенных рядах купцы дивились, глядя, как Мулло Фаиз сам снизошел до их лавчонок.

— Не надо ли кому кож?— спрашивал он.

Но торговцы удивлялись: если б им понадобились кожи, всякий нашел бы Мулло Фаиза. И догадывались: что-то случилось, если Мулло Фаиз сам побежал распродавать свой склад. Он увеличил сомнения и любопытство, приговаривая:

— Недорого отдам. Уступлю против прежнего.

— А почем?

— По сорок пять вместо прежних пятидесяти.

— Обождем.

— А ваша цена?

— Мы не нуждаемся.

Но Сабля, спокойно восседая с краю от своих жалких товаров, небрежно спросил:

— Кожи, что ли, Мулло Фаиз?

— Продаю.

— Дорого? Сорок пять против прежних пятидесяти.

— Почему скинули с пятидесяти?

— Хочу товар перевести в деньги. Жду товаров из Индии.

— Все ждем. Везут!
— В том-то и дело.
— Садитесь.
— Некогда.
— Садитесь, говорю.
— Берете?
— Смотря по цене.
— Я сказал.
— Шутите? Цена пятнадцать.
— Это не дратва. Лучшие кожи: волжские есть, есть монгольские.
— Против индийских, думаю, это дрова, а не кожи.
— Индийских?
— Вы разве не слышали?
— А вы уже пронюхали?
— О чем?
Мулло Фаиз спохватился и деловито спросил:
— Берете или шутите?
— Зачем шутить? Цена пятнадцать.
«Неужели уже знает?»— покосился кожевенник на Саблю. Но ответил с прежним достоинством:
— Скину до сорока.
— Больше пятнадцати не дам.
— Тридцать пять!— воскликнул Мулло Фаиз, сам не слыша своего голоса, оглушенный твердостью, с какой Сабля называл эту небывалую, ничтожную цену.
— Я не толковать, не торговаться пригласил вас, Мулло Фаиз,— солидно, как первейший купец, осадил Сабля богатейшего кожевенника Самарканда,— я беру, плачу наличными. Цена — пятнадцать. Завтра будет десять. Но завтра кож ни у кого не останется, а мне надо взять.
— Разве другие уже продали?
— Кто еще не продал — продаст. Пятнадцать лучше десяти, не так ли?
— Да?..
— Если говорить о кожах, а если о грехах,— десять лучше пятнадцати!
— Мне не до шуток.
— Потому я и держу деньги наготове.
— Двадцать!— вдруг решился Мулло Фаиз.
— Больше пятнадцати не дам.
Отказ от такой неслыханной уступки и небывалая на самаркандском базаре твердость Сабли убедили Мулло Фаиза, что дела плохи и надо спешить:
— Берите!

— Сперва глянем, хорош ли товар. Да и сколько его там?

На душе у кожевенника стало еще тревожней. Товар был хорош, он всю жизнь торговал кожами. Дело это перешло к нему от отца, семья их занималась этой торговлей исстари: сказывают, прадед еще от Чингиза кожи сюда возил. Мулло Фаиз плохими товарами не торговал, лежалого сбывать не мог: тогда от него ушли бы покупатели, а большой купец без покупателей — как голова без туловища. Прежде он не дозволил бы чужому человеку даже через щель заглядывать к себе на склад и тем паче рыться у себя на складе, но теперь и весь склад отдан, и товар продан весь, до последнего лоскута, и уже не выгонишь чужого приказчика со своего склада.

Сабля, между тем, позвал:

— Эй, Дереник!

Из-за лавчонки высунулась голова длинноволосого армянина. Сабля распорядился:

— Огляди-ка товар у купца,— каков, сколько.

— Не долго ли он будет ходить?— встревожился Мулло Фаиз, заметив, что к Сабле направляется остробородый, худой, как костяк, старик Садреддин-бай, опережая своими костями раздувающийся легкий халат.

— Слыхал, кожи берете?— спросил, подходя, Садреддин-бай у Сабли, мраморными глазами вглядываясь в ненавистного ему Мулло Фаиза.

— Если цена подойдет!— ответил Сабля.

— А почем положите?

— Сегодня пятнадцать! Завтра десять.

Старик так резко сел на край лавки, что раздался треск то ли досок, то ли костей.

— Почем?— переспросил он, и показалось, что ухо его вытянулось, как хобот, к самому рту Сабли.

— Как взял у Мулло Фаиза, так и вам предложу: пятнадцать.

Садреддин-бай осипшим голосом просвистел Мулло Фаизу:

— И вы отдали?

С достоинством, гордо и даже как будто весело, не желая терять лица перед извечным соперником, Мулло Фаиз подтвердил:

— Отдал!

— Зачем?

— Деньги получить.

— Зачем?

— Чтобы спасти их!— с отчаянием признался Мулло Фаиз.

Садреддин-бай, известный на весь Самарканд своей скаредностью, торопливо просипел:

— И я отдам. Но по той же цене. Меньше не возьму.

— Пятнадцать? Не много?— как бывалый купец подзадорил

старого купца Сабля.

— Окончательно!

— Ну, уж ради первой сделки... ладно!— согласился Сабля.

От Сабли пошли вместе, удивляя этим весь базар, никогда до того не узнававшие в лицо друг друга Садреддин-бай и Мулло Фаиз.

— Куда теперь деть эти деньги?— размышлял Мулло Фаиз.— Я, кроме кож, ничем не торговал.

— Отец мой торговал с Индией...

— Чем?

— Нашим шелком.

— Так и сделаю! Закупаю наши шелка. А вы!

— Надо спасать деньги! Предлагаю складчину. Закупим наших шелков на всю наличность, пока базар не опомнился.

Мулло Фаиз решительно согласился.

На одном из складов с шелковым товаром они долго торговались, но, несмотря на уступчивость шелковщика, денег у них достало лишь на несколько жалких кип.

После покупки скаред Садреддин-бай пригласил Мулло Фаиза к себе в гости и, прежде считавший ниже своего достоинства ходить по чужим домам, Мулло Фаиз радостно принял приглашение, как единственный просвет за все это, хотя и солнечное, но столь страшное утро.

Теперь им оставалось ждать дней, когда Индия предъявит спрос на полосатые бекасамы Самарканда, и тогда заработать по сто за десять. Тогда дело пойдет еще веселей, чем шло до сего времени.

После полуденной молитвы по всему базару толковали и шептали, что Сабля скупил за утро все кожевенные запасы по всему городу.

— Сабля? Постой, постой... Откуда у него деньги?

— Платил наличными!

— Сабля? Наличными? За всю кожу в городе? Тут что-то не-то!

Но как ни прикидывали, не смогли распутать этого узелка.

А Сабля пришел к Мулло Камару и отчитывался в своих покупках, возвратив хозяину опустелый сундучок.

Мулло Камар обстоятельно допросил своего приказчика, не ускользнул ли хоть один крупный кожевенник из их рук.

— Нет!— твердо отвечал Сабля.— И мелких-то почти всех опорожнили.

— Ну вот, видишь, как помогает испуг торговле!— пробормотал, запрятывая свой сундучок, Мулло Камар.

В Кожевенном ряду, тревожась за свои товары, обувщики избрали двоих почтенных купцов и просили их выведать, какие ко-

жи везут из Индии, какая ожидается на них цена и когда их можно ждать.

Весь базар к этому времени уже знал, что накануне из Бухары прибыл армянский купец и остановился по обычаю всех армян в караван-сарае у Тухлого водоема.

К нему направились послы Кожевенного ряда порасспросить о бухарских делах. У Левона узнали, что армянин еще никуда не выходил: с утра мучила его лихорадка, а теперь отпустила, и он пьет кумыс.

Армянин, заслышав голоса у ворот, сам вышел из низкой дверцы. Глядя обувщикам навстречу, он стоял в черном высоком шерстяном колпаке. Длинные волосы вились из-под колпака пышными завитками, и темные до синевы кудри мешались с кудрями яркой, глубокой седины. Его узкий синий кафтан был перехвачен широким малиновым кушаком, а из-под широких распахнутых пол кафтана сверкали радостными, как праздник, узорами толстые шерстяные чулки. Весь он, маленький, коренастый, упругий, казался мягким и легким. Его бородатое лицо, большие, как у верблюжонка, глаза, круглые, темные губы — все гостеприимно улыбалось обувщикам, и он словоохотливо заговорил с ними.

После долгих поклонов и добрых пожеланий, как это всегда бывает между людьми разной веры, чтобы убедиться во взаимном расположении, обувщики спросили о караванах из Индии.

Левон насторожил ухо.

Армянин, не таясь, попросту признался:

— Я сам видел первые два каравана.

— Два? И велики?

— По сотне верблюдов.

— Ну, не так велики!— успокоился один обувщик.

— У нас ходят и по тысяче!— гордясь перед чужеземцем размахом самаркандской торговли, воскликнул другой.

— Невелики-то — невелики, да и товар таков

— Каков? Кожи ведь!

— Кожи? Из Индии?

— А что?

— Откуда ж там кожи? Никогда Индия кожи не вывозила; сама брала.

— Это верно!— переглянулись купцы.— Об индийских кожах слыхивать не приходилось.

— Да их там и не было! Мы же ей через Хорезм закупали,— восклицал армянин,— еще отцы наши. А я за ними до Волги, даже до Москвы езжу.

Армянина явно разморила лихорадка, а может быть и кумыс.

— А что ж везут?

— Шелк.

— Шелк?

— В Индии ведь теперь лет на сто о шелках забудут: до шелков ли ей! Вот и вывозят. Здесь сбывать.

— У нас свои есть.

— Свои теперь задаром никто брать не станет: вы индийских шелков разве не видели?

— Видывать-то видывали, да цена-то на них,— не приступишься.

— Ну, теперь только бери. Даровое не жалко.

Обувщики снова переглянулись; каждый подумывал, не встретить ли на полпути такой караван, да и перекупить. А где достать денег? Да и выжидать придется, пока цена станет. До году выжидать. И то, если взять весь товар, тогда можно цену удержать, иначе расчета нет...

Головы их быстро работали, а языки говорили что-то совсем другое.

— Так вы ведь обувщики!— сказал армянин, разгадав их мысли, заслоненные водопадом слов.

— А что?

— А кожевенники у вас богаты товаром?

— Откуда? В прежние-то разы вы сами привозили кожу.

— Кожу? Кожу-то я везу да я еще и у вас прикупил бы.

— Почем?— замерли обувщики.

— А какая у вас цена?

— Стояла по пятьдесят, да кончилась.

— Я взял бы хоть по семьдесят. Сколько бы ни было!

Обувщикам показалось, что снится им сон:

— Зачем?

— Ваш государь скоро пойдет в новый поход.

— Слух такой был. Сегодня с утра у него в саду послов принимали, а после совет собрался.

— Войскам, что из Индии шли, приказано остановиться. Тем, что до Аму дошли, велено через реку не переправляться. Тем, что дошли до Бухары, стоят в Бухаре. Остальным — остановиться там, где находятся.

— Верно. Из тех, что с повелителем сюда дошли, никого не распускают. Это похоже на новый поход.

— А кожи причем?— любопытствовал другой обувщик.

— Ежели новый поход, понадобится новая обужа на всех. Так?— рассуждал совсем разомлевший армянин и сам отвечал:— Так! Ежели остановлены в Балхе, значит, поход не на север пойдет? Так? Так! А ежели не на север, придется обойтись той кожей, какая есть под рукой. Так? Так! Ведь босыми пятками вашим воинам сверкать не гоже? Нет, не гоже! А значит, сколько за нее

ни спроси, возьмут. Так? Вот и цена!

— Такой не было!

— Такого и войска не было. Оно с каждым походом растет. Как русские поют: одного ордынца разрубишь, два ордынца встают. Теперь у вашего государя такая сила, что она без войны, она все ваше царство съест. Теперь ей надо без передыха воевать. Без передыха на чужой хлеб нападать. А чтобы ей идти, ей обужа нужна, а на обужу — кожа. Так?

Узнав о словах армянина, каждый попытался сохранить их для одного себя, втайне. Но мгновенье спустя знали уже все: на кожу будет небывалый спрос, а по спросу — и цена.

Осторожные обувщики и шорники припрятали свои скудные кожевенные запасы. Башмачники припрятали туфли и сапоги, оставив на полках и ковриках только каблуки и набойки да и на эту мелочь оживился спрос.

Днем Геворк Пушок сколько ни толкался по тесным базарным переулкам, ни в лавках, ни в караван-сараях уже не видел он ни клочка кожи. И душа его возликовала, хотя и скрывал он ликование и нетерпение на своем лице.

Забрел он в караван-сарай и к Мулло Камару.

Мулло Камар вежливо подвинулся на своей истертой коже, но Пушок побрезговал на нее садится, присел на корточках и, будто невзначай, спросил:

— Не слыхали, не продает ли кто кож?

— Кож?

— Нет ли где продажных?

— А цена?

— Прижимать не стану.

— Да и не прижмешь. Сам бы взял, да нету.

— А почем бы взяли?

— У кого товар, у того и цена! — развел руками Мулло Камар.

— Пятьдесят можно дать.

— По пятьдесят вчера было.

— А товару много?

Армянин объявил:

— Тридцать пять верблюдов.

— Он здесь? — оживился Мулло Камар.

— Нет, за городом.

— Как за глаза цену давать? По пятьдесят взял бы.

— Кожи ордынские.

— Из Бухары-то?

В Бухаре лежали, а завезены с Волги. Сам за ними ездил.

— На самую Волгу?

— И до Москвы доезжал.

— Больше пятидесяти цены не было. Днем по пятнадцать брали.

— Ловко кто-то закупку провел.

— Ловко! — согласился Мулло Камар.

— Однако по городу кое-кто придержал! — забывая о своих интересах, не без злорадства похвастал Пушок своими сведениями.

— Каждый спешил продать; кто станет прятать? — насторожился Мулло Камар.

— Саблю знаете?

— Саблю? — переспросил оторопевший Мулло Камар и чтобы скрыть тревогу, сделал вид, что с усилием припоминает:

— Сабля... Сабля...

— Который дратвой...

— А что?

— Пятьдесят кип из покупки отобрал наилучших и велел припрятать.

— Кому ж это велел?

— Одному армянину.

— Ну, едва ли...

Пушку показалось обидным, что какой-то серенький торгаш не доверяет его осведомленности.

— Я-то знаю: его приказчик Дереник...

— Путает что-нибудь.

— Сам же он отвез к нему на двор.

И вдруг по просиявшему лицу Мулло Камара Пушок понял: не следовало бы говорить того, что сказано; того, что по молодости доверено Дереником Геворку Пушку, как соотечественнику; да и свой товар не так легко сбывать, если по базару пойдет слух, что в городе есть непроданные кожи...

— Лихорадка замучила! — вытер внезапно вспотевший лоб армянин. — Вот я и разговорился. Да вам-то я верю: вы человек тихий.

— А зачем шуметь? Базар шумит, а купцу надо помалкивать.

— Опять лихорадка! Пойду полежу! — и Пушок пошел, обмахиваясь влажным платочком.

А Мулло Камар, сидя на истертой козьей шкуре, терпеливо ожидая чего-то, известного ему одному, медленно перелистывал стихи Хафиза и некоторые из них читал нараспев, вслушиваясь в тайные созвучия давно знакомых газелл:

О, если та ширазская турчанка
Моим захочет сердцем обладать,
Не поскуплюсь за родинку на щечке
Ей Бухару и Самарканд отдать...

Третья глава

КУПЦЫ

Мулло Камар читал Хафиза, вслушиваясь в тайные созвучия лукавых газелл.

Базар кипел за воротами.

Там пересекались дороги всего мира. Со всех сторон купцы тянули сюда свои караваны. Через пустыни и степи, через леса и горы везли сюда купцы все, чем красны самые дальние города, чем славны умелые руки мастеров в чужедальних странах.

На пути подстерегала купцов корысть иноземных владык, удаль разбойных племен, зной в безводных песках, волны в бездонных морях, скользкие тропы в горах над безднами.

Но купцы шли, шли и тянули свои караваны сюда, чуя за тысячи верст запах самаркандского золота, хотя и клялись простодушным, что деньги не пахнут.

Пахнут! Пахнут костями, истлевшими под сухой полынью степей; кораблями, сгнившими на песчаных берегах морей; падалью на караванных путях; удалью на званых пирах; тяжелой кровью земледельцев; ременной плетью землевладельцев; нарядами и усладами; жирной едой да чужой бедой.

Не радостен,— горек и тяжел этот запах, не с веселым сердцем,— с тревогой, с опаскою, нетерпеливо принюхиваясь, тянутся на его зов купцы по всем дорогам, сквозь все бездорожья вселенной на самаркандский базар.

И легко становится на купеческом сердце, когда ступят пушистые ноги караванов на землю амира Тимура,— далеко растеклась молва, что на его земле путь купцам безопасен: стоят на торговых путях крепкие караван-сараи с запасами воды, еды и корма. Никто тут не посягает на купеческое добро, никто не мешает торговым людям,— все открыто для них, завоеваны для них безопасные дороги во все стороны по всем землям Тимура.

День ото дня богаче становится город Самарканд, тяжелеют сундуки у вельмож и купцов самаркандских, а через них полнятся и широкие, окованные булатной сталью, тысячами мечей заслоненные, сундуки Тимура.

Оттого и люден, и шумен, как сотня горных потоков, самаркандский базар.

Но упоенного стихами Мулло Камара отвлекла от книги внезапная тишина.

Он подсунул книгу под шкуру, встал, настороженный, и мелкими торопливыми шагами, как ослик, засеменил по двору к воротам.

Незадолго перед вечерней молитвой вдруг смолк весь базарный шум: расталкивая короткими палками народ, в широчайших кожаных штанах, расшитых пестрыми шелками, под большими шапками

из красных лисиц, через базар бежали Тимуровы скороходы и, задыхаясь, оповещали:

— Амир Тимур Гураган!

— Амир Тимур Гураган!

В этот обычный день выезд повелителя в город был нежданным, он всех захватил врасплох.

Купцы кинулись наспех захлопывать свои лавчонки, люди полезли на крыши, на стены, сталкивая одни других, цепляясь друг за друга, прижимаясь к стенам улиц; рабы и купцы, иноверцы и дервиши, богословы и ремесленники, персы и армяне, русские и ордынцы, арабы и китайцы, хорезмийцы и хорасанцы, купцы из Ясы, мастера из Тавриза и Ургенча,— все перемешались, стиснутые в узкой щели позади пехоты, уже протянувшей перед собой бородатые копья, чтобы освободить проезд.

Все замерли, вытягиваясь друг из-за друга, чтобы хоть на мгновенье взглянуть на того, кто после долгих дорог войны проследует сейчас здесь узкой базарной улицей.

Проскакали воины с красными косицами, спущенными со шлемов. И тотчас, не по обычаю, без передовых охранителей, без боковых стражей, один, проехал он сам.

Жемчужная сетка спускалась до глаз по челке поджарого вороного коня. Блеснули тонкие серебряные узоры на голубом сафьяне седла.

Не глядя на народ, он сидел в седле наискось, чуть сутулясь, будто пробивался сквозь неистовый встречный ветер; глаза его сузились, губы тесно сжались, борода плотно прижалась к груди, и смотрел он вперед прямо перед собой, будто готовый, как тигр, прыгнуть на горло того, кого, казалось, уже приметил где-то там, впереди, куда нес его резвым шагом вороной конь.

На несколько шагов позади следовали за ним внуки,— любимец Мухаммед-Султан, сын покойного Джахангира, и двое малолетних внуков, сыновей Шахруха,— Мухаммед-Тарагай с Ибрагим-Султаном,— на веселых гнедых жеребцах, украшенных золототкаными попонами, золотыми кистями, свисающими из-под конских глоток. Золотые розы и звезды, вышитые на багровых и зеленых бархатах халатов, вспыхивали и сверкали, когда внуки амира проезжали через узкие полосы солнечного света, и тогда казалось, что по базару кто-то расплескивает пригоршни огня.

И лишь поодаль следовал за царевичами двор Тимура, его спутники во всех походах, соратники его и сподвижники. Их было много. И все сокровища их слились в единую блистающую, клокочущую золотом и драгоценностями реку, переполнившую узкое русло извилистой базарной улицы.

Это ехали близкие Тимуру люди, которых ранним утром в тот день видел на дедушкиной террасе семилетний Мухаммед-Тарагай.

Весь день они провели у Тимура. То стояли в светлой, высокой зале, пока медленно и пышно, по строго установленному обычаю длился прием послов; то сидели на коврах, напряженно вслушиваясь в слова повелителя, пожелавшего поставить в Самарканде такую мечеть, какой еще не было и никогда не будет в мире.

Тимур сам говорил скупо, отрывисто, железными словами, и перед глазами людей вставало это здание, какого еще никто не видел на земле.

Тимур говорил, глядя в узоры ковра, застилавшего пол, словно перед его глазами распростерся мир, исполосованный реками, дорогами, горами, полями, каналами, городами; мир, посредине которого Тимур возвышал сокровищницу всех захваченных им сокровищ мира,— Самарканд. И посреди этой сокровищницы теперь, на склоне жизни и на вершине своих побед, собрав вместе все богатства Индии, задумал он воздвигнуть мечеть во славу божию и в напоминание о своей собственной славе.

Тимур говорил, а рядом молча сидел потомок Чингиза, сын хана Суюргатмыша, узкоглазый, почти безбородый, безбровый, суровый Султан-Махмуд-хан, друг Тимура, верный и бесстрашный воин. Храня древнее почтение к чингизову роду, Тимур никогда не называл себя ханом,— ханом его огромного ханства назывался этот молчаливый, послушный друг. От его имени Тимур чеканил свои деньги, от его имени объявлял указы, если не хотел этих указов издавать сам.

Этим ханом, как прежде отцом этого хана, Тимур, как ладонью, заслонялся от своей славы, хотя с годами она стала так обширна, что эта ладонь уже не могла заслонить его ни от ее прямых ослепительных лучей, ни от ее палящего зноя.

Когда Тимур, досказав свою мечту, взглянул на хана, Султан-Махмуд-хан молча опустил глаза в то место ковра, куда прежде смотрел Тимур. И Тимур спросил:

— Поняли?

Не придворные ответили ему, не хан, не внуки: не их спрашивал Тимур. Ему ответили стоявшие тихо и неподвижно у стен, стоявшие неприметно, позади пышной знати, просто одетые простые люди,— зодчие, художники, мастера разных дел, которым из года в год он поручал претворять свои замыслы в каменные громады; неосязаемые мечты — в вечную твердь.

Многое уже было создано этими отборными мастерами обширного ханства,— дворцы, усыпальницы, мечети, рабаты; многие из их созданий уже сверкали под ясной синевой небес своею словно влажной синевою; высились среди садов, словно застывшие сады. В родном Шахрисябзе Тимур построил дворец, какого никогда не видывали ни в одном из славнейших городов вселенной, построил во славу рода своего. В Ясе уже строили усыпальницу и мечеть

над могилой святого хаджи Ахмада Ясийского, на страх кочевникам, на утверждение несокрушимой мощи Тимура...

Теперь задумал он сооружение еще величественнее, еще выше и богаче, не только на удивление и страх врагам, не только во славу своего рода, но во славу самого бога, единственного в мире, кого Тимур еще не смог ни одолеть, ни напугать, и потому единственного, кого сам побаивался.

Тимур поговорил с мастерами, добиваясь, чтобы им ясно стало его желание, но сам их не расспрашивал,— он их спросит после, когда, обдумав его слова, они соберутся рассказать ему свои затеи. Он отпустил мастеров и распорядился кормить гостей, а сам с внуками ушел на женскую половину дворца и обедал там.

Но мечта о величественной мечети разгоралась все жарче.

Перед вечерней молитвой ему вздумалось осмотреть место, где зодчие поставят задуманную мечеть. Он приказал расчистить ему дорогу на базарную площадь, велел всем ехать туда за собой и запросто, в домашней одежде, поехал в город.

Так случилось его внезапное появление на базаре.

Он выехал на базарную площадь и остановился посредине, озираясь по сторонам.

Под навесами громоздились тяжелые длинные полосатые мешки риса. Вдали зеленели и желтели груды ранних дынь, арбузов, тыкв. Распростерлись ряды круглых корзин, полных, как драгоценными камнями, рубиновыми и янтарными алычами.

Розовато-желтые, золотясь на вечереющем солнце, раскинулись невдалеке древние холмы Афросиаба, словно оспой, покрытые тысячами могильных холмиков.

Мерцая на солнце голубыми искрами, встали в ряд бирюзовые купола стройных гробниц Шахи-Зинда, от самого верхнего каменного купола над могилой Кусама-ибн-Аббаса до тех, что укрыли под своими сводами жен, родичей и друзей Тимура, самых близких ему людей.

Он смотрел, скрывая задумчивость, своим тяжелым взглядом, вот он воздвигнет здесь новые бирюзовые купола. Стены молитв приблизятся к стенам покоя. Он воздвигнет и еще много куполов, дворцов и гробниц над друзьями, чтоб все соединилось здесь, в этом городе, в единый каменный, лазурный, вечный сад на вечное напоминание о нем, который столько стран вытоптал и окровавил, чтобы синеву небес низвести на самаркандскую глину.

Мастера уже ждали его здесь. Они стояли, вглядываясь в его глаза, когда он озирался по сторонам, и вместе с ним взирали на эти склоны Афросиаба, где, по преданию, некогда стояли шатры Александра Македонского, и на ряды усыпальниц, которым отдано столько вдохновения и мастерства, что мастера, строившие их, уже не боялись даже Тимура,— не опасались ни смерти, ни кары:

они уже свершили в жизни своей то, что казалось им смыслом жизни.

Тимур смотрел на тесные ряды лавчонок, на серые коренастые, видно древние, ниши и своды маленьких мечетей, караван-сараев, бань, где охорашивались около своих гнезд коричневые самаркандские горлинки, и приказал строителям:

— Сройте это. Вам станет видней.

От этих слов заскрипел на своем седле ходжа Махмуд Давуд, один из знатнейших ходжей Тимуровой державы,— он от всех таил, чтоб не пятнать священного достоинства ходжи, что на этом базаре и на этой площади стоят и его караван-сараи, бани и склады, купленные на чужое имя, и что немало лавочников торгует тут на его деньги.

Будто из снисхождения к торговому люду, он проворчал:

— Тут много разных хозяев. Надо бы сперва с ними, со всеми, уладить...

Тимур сердито прервал его:

— Хозяин тут один: я! И приказываю тебе, ходжа Махмуд, завтра тут расчистить всю площадь. Сотня рабов с мотыгами и ломами, вот кто тебе поможет, и тысяча хозяев этого мусора не посмеет пикнуть. Понял?

— А убытки?

— Вернут на другом базаре. Пока я воюю, умные купцы не разорятся. А за дураков я перед богом не ответчик!

И величественный ходжа, которому златотканый халат, надетый поверх нижних халатов, мешал, как следовало, поклониться, прохрипел:

— Слышал, государь! Слышал...

Тимур, не слушая ходжу, кивнул другому вельможе, Мухаммеду Джельду:

— А тебе, Мухаммед, велю следить за всеми работами. Ходжа Махмуд отвечает, чтоб в свое время, в свой час было здесь у строителей все, что надо. Ты отвечаешь, чтоб в свое время, в свой час, каждый строитель здесь делал все, что надо. Слышал, ходжа Махмуд?

— Слышал, государь!

— Слышал, Мухаммед?

— Слышал...

— За все отвечаете мне. Мне.

В знак привета и в поощрение Тимур кивнул мастерам и обратно поехал через базар другими улицами. Проезжая Кожевенный ряд, он уловил крепкий, густой, как дым, запах кож и покосился на кожевенников.

Вдруг в просвете между лавчонками он увидел низкую арку маленького караван-сарая.

В этой арке стоял маленький человек в серой чалме, в сером халате и низко кланялся Тимуру, прижав руки к груди.

Тимур, столкнувшись с ним взглядом, кивнул.

Заметив вопрос во взгляде повелителя, Мулло Камар еще раз поклонился и, не дожидаясь, пока мимо проедут, красуясь своим богатством вельможи, отвернулся от них и ушел в сумеречную тень старого караван-сарая. Читать было уже темно. Не раскрывая книги, он сел на своей истертой козьей шкуре и послал Ботурчу в харчевню за чашкой горячей баранины.

Пытливо глянул на еще светлое небо — не собирается ли темнеть, и крикнул вслед Ботурче:

— Поживей поворачивайся!

А базар дивился: сам Обладатель счастливой звезды, как звали Тимура, удостоил своим взглядом ничем не примечательного, неразговорчивого купца, приезжающего в Самарканд откуда-то из казахских степей, не то из Ташкента, не то из Сайрама, не то из Суганака.

Но ничто из событий этого дня — ни шум, ни тишина, ни хлынувший вслед за тишиной сильнейший шум,— ничто не коснулось уединенного дома, где восседали в небольшой комнате под расписным потолком, среди стен, украшенных нишами и гипсовыми полочками, на шелковистом иомудском ковре, перед шелковой скатертью, хозяин дома Садреддин-бай и его почтенный гость Мулло Фаиз.

Хотя хозяин, из разумной бережливости, не держал в доме хорошего риса, хотя мясо столь запеклось на солнце и обветрилось, что уже не смогло развариться, хотя вина, следуя наставлениям шариата, но вопреки городским обычаям, гостю не подали, хотя каждой рисинкой в этом доме хозяин дорожил, как собственным глазом, и гость и хозяин были очень довольны друг другом, не могли наговориться и друг на друга нарадоваться,— так совпадала каждая их мысль, так общи оказались их желания и надежды.

Общими оказались и тревоги, угнетавшие их: как выдержать товар, как набить ему цену, как не упустить того желанного, вожделенного часа, до наступления коего цены еще не возросли до предела, по миновании коего цены пойдут вниз. И как найти то место на земле, где цена на этот товар поднимется в тот час премного выше, чем на остальных базарах мира, как достичь этого места и в целости доставить туда свой товар.

И оба собеседника силились скрыть нараставшую в них тревогу, которая уже сосала их, как змея.

Мулло Фаиз любезно заметил:

— Красив у вас дом!

— Шестьдесят лет стоит. В год моего рождения построен.

— Красив!

— Отец мой торговал шелками; понимал красоту.

— Не тесноват?

— По семье. Простор в городе кому нужен? Город — не степь. В те времена, бывало, хан на год сядет, а за год спешит столько богатств собрать, сколько давние ханы и за сто лет не скапливали. А через год этого хана прирежут, другой садится, опять все сначала идет. До построек ли было!

— А все же дом хорош, построен толково!

— В те годы мастера были редки. От мелких ханов и народ мельчал, и торговля шла мелкая, а барыш держался на случае. Не то что теперь,— торгуй с кем хочешь, вези товар, куда хочешь, поезжай, куда ни взглянется. Тогда из города выглянуть не всякий смел; караваны с поклажами издалека не ходили; от ночлега до ночлега дойдут, бога благодарят, что живы: за каждым камнем — разбойники, в каждом городе — свои начальники, свои порядки. С кого шкуру драть? С кого ж, как не с купца. Пока товар довезут, ему такая цена нарастает, что уж и не знают, почем его продавать, чтобы не разориться. Раз довезут, а два раза еле живы — нагишом домой добираются. Разве это торговля была? Мученье! Разве на этом разживешься?

— А говорят, в прежние годы, в молодости-то, и повелитель грешил...

— Из-за камушков выглянуть да обчистить. Мог! Да зато потом разобрался: больше расчету нас оборонять, а не разорять. Вон как поднялся.

— Еще бы!

— Да что об том вспоминать. Голова ведь одна у каждого.

— Ну, мы-то друг у друга в доверии!

— Не беспокойтесь. А все же... Да и в торговле по-прежнему: ухо надо держать востро!

— На то и торговля. Надо вперед смотреть.

— Разориться-то и нынче можно; у кого голова с трещиной.

— Верно! Соображать и нынче следует.

— А как соображать? Как вперед заглянуть? Что там увидишь? Дороги стали длиннее, а при длинных дорогах и глазам надо дальше видеть.

— Верно! На том конце длинной дороги караван вышел, а тебе на другом конце надо знать, чего он везет.

— По нынешним делам доходнее самим ездить.

— А вы что же?

— Я-то тяжел на подъем.

— Мне хоть и шестьдесят, я бы поехал, если расчет будет. До Трапезунта дорога спокойная, своя. До Индийского моря через

весь Иран,— своя. Теперь до Хиндустана ходи без опасенья. На армянские базары езжай, как к себе домой. Золотой Орде прошло время. До Китая, вот, правда,— своей дороги еще нет.

— Турки османские недавно наших караванщиков порезали.

— Дерзки! Но порезали они не наших, а генуэзцев. Да другие-то генуэзцы с той стороны намедни привезли товар, провезли!

— Видел их. Они до Трапезунта морем доходят. Нам к ним ехать боязно: не мусульманский народ. Как торговать с неверными?

— Русы, однако ж, с нами торгуют.

— Дальше сарая ордынского русы сами не ходят. Русский товар к нам сарайские купцы возят.

— Однако ж, в Орде с ними торгуемся. Ни нам от русов, ни русам от нас убытка нет. А тоже — не мусульмане.

— Не мусульмане, а без их товаров не обойтись.

Мулло Фаиз взглянул опасливо на дверь, нет ли за ней ушей богослова, и, прищурив глаза, сказал убежденно:

— Когда хочешь торговать с выгодой, спор о вере отбрось; спорь о ценах.

— Да, длинны наши дороги. И как эту даль угадать, как?

— Да, гадай не гадай...

Садреддин-бай решился доверить Мулло Фаизу:

— Намедни к звездочетам ходил. Когда из Хиндустана еще смутные слухи шли.

— И что ж?

— Угадал звездочет.

— Как это?

— Индийская звезда, говорит, ушла из треугольника Стрельца в треугольник Весов. А весы — это торговля.

— Угадал!

— Наука!

— А где он, звездочет этот?

— У гробницы Живого Царя.

— Не погадать ли?

— Я не прочь.

— Но гадайте опять вы. Дело у нас общее, а как гадать, вы уже знаете...

Вскоре оба кожевенника снова протолкались через базар, торопясь к Железным воротам. Надо было поспеть к усыпальницам Шахи-Зинда и управиться с гаданьем, прежде чем муллы позовут верующих на вечернюю молитву, прежде чем городские ворота закроются на ночь.

Как всегда, по холмам Афросиаба среди могил бродили одинокие люди,— чтецы корана, плакальщицы, землекопы с мотыгами. У лазурных усыпальниц толпились длинноволосые дервиши в своих темных ковровых лохмотьях. Муллы в снежных чалмах,

вельможи в индийских цветных тюрбанах, нежных, как утренние облака. Женщины, скрытые под серыми плотными накидками, обшитыми цветными шелками либо бисером или жемчугами.

Под гулкими сводами некоторых усыпальниц гудели унылые голоса читающих коран. Арабские слова звучали здесь благозвучней и правильнее, чем когда бы то ни было говорили сами арабы.

Благоухания казались здесь почти зримыми, как шелка, плотные, но прозрачные. Их тоже можно было бы называть шелками, если бы благоухания могли шелестеть и если б нежность их стала столь же осязаемой: тогда их можно было бы растягивать на аршинах и продавать в базарных рядах.

Ряды усыпальниц вставали уступами, одна над другой, не схожие между собой, как люди, погребенные под ними, и все же столь близкие и столь схожие, как люди одного народа, одного племени.

По крутой тропе поднявшись в гору, свернули к гробнице Кусама-ибн-Аббаса. В обители, построенной царицей Туман-ака для дервишей, богомольцев и странников, Садреддин-бай увидел столь же костлявого, как и сам он, смуглого, белобородого звездочета.

Из почтительного смирения Садреддин-бай остановился и поклонился звездочету издали.

Смуглый старик, восседавший на коврике, сотканном из белой и черной шерсти, перебирал перламутровые четки и смотрел прямо перед собой. Он, казалось, ничего не видел ни вокруг себя, ни на всей этой бренной земле: люди, царства, города изменяют свой лик, дряхлеют, сходят с лица земли, но неизменными, бессмертными остаются небесные светила, тайные письмена созвездий, где посвященный может прочесть любое предначертание, судьбы людей, городов, царств. Можно не знать хитрых сплетений букв в земных книгах,— для мудрости довольно того, что начертано на небесах перстом милостивого, милосердного.

Длинный конец чалмы свисал с плеча на черные складки халата. И не разберешь, что было белей — чалма ли эта, борода ли его, перламутровые ли его четки, белый ли узор на черной шерсти ковра.

Слева от старика, не смея пребывать на одном ковре со своим наставником, кротко и неподвижно замерло трое его учеников, бледных, безмолвных, бесстрастных. Они сидели в ряд, не спуская глаз с наставника, и невольно повторяли каждое движение его лица, а пальцы их шевелились, словно перебирали четки, хотя четок в их пальцах не было.

Садреддин-бай поклонился еще раз.

Звездочет, не удостаивая купца взглядом, пробормотал:

— Говори.

Тогда Садреддин-бай шагнул к нему ближе и опустился у края ковра:

— Обеспокоен я, святой отец.

— Тревоги неизбывно снедают сердце смертного; каждый жаждет познать, доколе терпеть уныние, отколе снизойдет утоление, где порог счастья и дверь удачи...

— Истинно так, святой отец!

— Имя?

Садреддин-бай назвался.

— Давно ли живешь?

Садреддин-бай назвал год своего рождения и месяц своего рождения.

— Твоя звезда третья в созвездии Барана.

Садреддин-бай подтвердил:

— Истинно так.

— Откуда знаешь?— насторожился звездочет, и Садреддин-бай уловил, что удостоен мимолетным взглядом прорицателя.

— Уже заглядывал в книгу судьбы проницающим взором очей ваших.

— Отойди до утра, ибо милостивый являет нам зрение лишь в ночной тьме. Днем мы слепы. Ночью зрячи. Утром уста наши откроют вам, что глазам нашим откроется в полночь.

Садреддин-бай, не вставая, еще раз поклонился звездочету, а когда встал, тонкий платочек с деньгами остался на его месте.

Пятясь, кожевенник возвратился к Мулло Фаизу, и дальше они пятились уже рядом, не сводя глаз с бесстрастного, неподвижного смуглого старика.

Лишь миновав дервишей и паломников, Садреддин-бай негромко сказал:

— Милостив бог, что посылает таких прозорливцев на грешную землю нашу.

— Ответит-то он когда?

— Он сказал: утром.

И хотя они всего лишь задали вопрос, и хотя еще целую ночь предстояло прождать до ответа, на душе у них посветлело и наступило то успокоение, которого так желал каждый из них.

Проталкиваясь в глубокий проход под сводами Железных ворот, кожевенники задержались: из города, теснясь, ехали с базара пригородные торговцы, крестьяне, огородники, садовники, распродавшие свои товары и спешившие в окрестные селения, пока не стемнело.

Топотали копытцами торопливые ослики, под пустыми корзинами, глиняными кувшинами или иной поклажей,— покидая город под пытливыми взглядами стражей, никто не решался ехать, все шли

пешком, кланяясь воинам караула и острыми палочками направляя ослов на истинный путь.

Прошли пыльные, быстроглазые цыганки, волоча черноруких ребят. На женских лицах, смуглых и смелых, синели пятнышки священной татуировки, у тех между бровями, у других — на скулах или на подбородке. Над ноздрями темнели серебряные украшения, но все меркло перед неверной, порывистой красотой их горячих лиловых глаз.

Садреддин-бай и Мулло Фаиз, пропуская мимо эту грешную красоту, сплюнули не без досады, а когда решились было вступить под своды ворот, им встретился восседающий на жалком сером осле Мулло Камар, выезжающий из города.

Оба купца пренебрежительно ответили на неизменный поклон этого ничтожного торгаша, столько лет толкающегося в базарной толчее, то будто исчезающего куда-то, то снова возникающего в тесных закоулках кожевенных рядов.

Никто из купцов даже не взглянул вслед Мулло Камару, свернувшему на дорогу мимо Шахи-Зинда, под раскидистые столетние карагачи, где на коврах сидели горожане, пожелавшие отдохнуть за городскими стенами, калеки, проголодавшиеся крестьяне, прокаженные в глиняных пещерах, воины на берегу ручья.

У края дороги то высились гробницы святых, то плоские харчевни, источавшие пахучий дымок, то каменные ворота загородных дворцов.

Сменяли друг друга то бирюзовые купола мечетей, то лазурные стены дворцов, то изразцовые ниши садовых ворот, то, в просвете между стенами,— озаренные вечереющим солнцем зеленые клеверные поля или огороды, то снова — каменные стены садов.

Мулло Камар острой палкой ободрял своего осла, а сам задумчиво подглядывал на эти знакомые пригороды многолюдного, великого Самарканда.

Четвертая глава

САД

Некогда жил Мулло Камар в Суганаке, в степном городе, где на просторной, ровной, как блюдо, площади купцы вели не малый торг. Само название Суганак — воинское название, оно означает колчан, и время от времени случается Суганаку оправдывать свое имя, когда стены города заполняются воинами, как колчан стрелами. Отсюда прямая дорога лежит к северу, на базары Золотой Орды, а оттуда недалеко и до Руси, и до Новгородских базаров. И на восток открыты дороги из Суганака,— в полынные,

голубые степи кочевников, в далекий суровый Моголистан, а оттуда — в Китай. В Суганак приходят товары из Золотой Орды, хоть и торгует она не своими, а русскими товарами. А взамен Золотая Орда скупает здесь товары иранские и армянские, а скоро индийские тоже пройдут через купцов Суганака в Золотую Орду, а через нее — на Русь и в Новгород, а через Новгород поплывут они дальше, в страны мрака и холода, и в заморские, в немецкие и во фряжские земли.

Невелик Суганак, где отец Мулло Камара продавал шелка, а скупал кожи и меха. Невелик Суганак,— а родина! Там и рос Мулло Камар, там и перенял от отца торговое дело, оттуда возил кожи в Иран, а из Ирана привозил шелка и краски. Длинны были у купцов дороги, долог был купеческий путь, но суганакские купцы по-своему понимали имя родного города,— был их базар колчаном, а купцы его — стрелами, и чем дальше залетит стрела, тем больше доставалось ей барыша и почета.

Зарилась на торговый Суганак Золотая Орда, пытались грабить базар кочевые завистники. Но город стоял крепко по-прежнему, хотя уже не столь бойко торговал, как бывало, ибо много караванных дорог за последние двадцать лет свернуло на Самарканд, сплелось там с другими дорогами. Без войн, без стрел и мечей завоевал торговый Самарканд торговлю степного Суганака, как разорил он базары на десятках других древних торговых городов,— от Ургенча в Хорезме до множества таких, от которых даже имен не осталось.

Двенадцать лет назад Тимур застал Мулло Камара в Ширазе. Оказался степной купец в осажденном городе, и кинулись было осажденные персы грабить бухарский караван-сарай. Но кожи к тому времени купец уже продал, а за шелка заплатил лишь малый задаток. Оказалось, нечего брать персам у этого купца, кроме золота, но золото не велико, золото он успел укрыть, а жизнь отнимать персы у него не стали.

Так бы и вернулся Мулло Камар в Суганак, потеряв задаток и с пустыми руками, да не таков был Мулло Камар. Когда ворвались Тимуровы войска в город, Мулло Камар приметил, кому из наибольших ширазских шелковщиков довелось потерять жизнь, и объявил Тимуровым начальникам, что весь склад у того купца закуплен для Суганака и не к лицу, мол, своим же воинам разорять своего же купца. А когда эти начальники ему не поверили, он, постукивая палочкой по мощеным площадям Шираза, проник до начальников превыше стоящих и поклонился им. И случилось услышать его жалобы самому Тимуру. Повелителю пришелся по душе этот бесстрашный жалобщик, и Тимур строго сказал:

— Не к лицу моим воинам грабить моего купца.

И хотя немалую часть со склада пришлось преподнести властным соотечественникам, нашлись в городе и верблюды для каравана, и караванщики для верблюдов.

В тот раз на ширазских улицах, где много валялось всякого добра под ногами у победителей, подобрал Мулло Камар книжку в зеленом тисненом переплете. С ней он не расстается с тех пор, хотя давно запомнил наизусть все газеллы Хафиза.

А теперь он проехал по вечерней, остывающей дороге из Самарканда на задумчивом осле, время от времени понукая его острой палочкой, и на закате встали перед купцом изукрашенные изразцами и мозаикой каменные ворота сада Дилькушо, что означает «Восхищающий сердце».

Он оставил осла у привратника, а сам прошел в просторную постройку, прозванную «подворотней», где невдалеке от ворот могли отдыхать воины, сдавшие караул; воины, ожидающие своего времени; всякий народ, прибывший по делам хозяина.

А хозяина предстояло ждать до утра: по вечерам к нему никого не пускали.

Мулло Камар снял с осла козью шкуру, расстелил ее и собирался уже вздремнуть в уголке, но увидел Аяра.

Не раз случалось купцу встречаться с этим доверенным воином на ночевках в разных караван-сараях, на разных дорогах: гонец и купец всегда в пути. А война и торговля в стране Тимура всегда шли бок о бок по одной тропе: воин пограбит, купец перекупит,— обоим в пользу, оба в барыше.

Много полезного узнает от воина пытливый купец; многое откроет и расскажет со скуки, из доверия к воинству купец беспечный. Поэтому Мулло Камар дорожил таким знакомцем, как глазастый, ушастый, смекалистый Аяр.

И долго говорили они о караван-сараях, стоящих от Самарканда до Бухары, о караванах, что гостят на иных из этих постоялых дворов, о товарах на караванах, о всяких слухах и происшествиях.

А едва вздремнули, оказалось, что настала пора помыться холодной водой из ручья, восславить аллаха и приниматься за дела.

В прохладной темной листве сада ночь еще длилась, но птицы уже пересвистывались и мелькали, то безбоязненно подлетали серые длиннохвостые сорокопуты, то вдруг золотая иволга вспыхивала из-под деревьев, а трава, освобождаясь от росы, пахла остро и радостно.

Соловей защелкал. Серая славка попыталась перещеголять соловья чистыми, стройными свистами. По темной, еще влажной дорожке, в обход парадных дверей, Мулло Камара провели во дворец.

Еще утро едва обозначилось, а Тимур уже сидел, попивая ку-

мыс из китайской чашки. По его знаку провожатые оставили купца наедине с Рожденным под счастливой звездой.

Тимур помолчал, глядя через раскрытую дверь в сад, где ирисы и пионы уже отцвели, но в полную силу цвели розы и среди них любимые его розовые с багровой сердцевинкой, цветущие гроздьями на одном стебле. Эти розы он приказал называть сорока братьями, но народ звал их прежним прозвищем — «сорок разбойников». Это название когда-то омрачало Тимура, но ему казалось, что народ давно усвоил то прозвище, каким он сам называет эти цветы.

Мулло Камар постоял в почтительном поклоне.

— Ну, как?— спросил Тимур.

— Купил.

— Много?.

— Все, что было. У кого мелочь, тех не тревожил.

— Почем?

— По двадцать.

— Пять себе берешь?

Сердце Мулло Камара похолодело: «Все знает!»

Но Мулло Камар даже бровью не повел, только развел руками:

— Не пять, государь, а четыре: по одному с кипы дал своему человеку.

— И трех хватит.

— Не обижай, государь.

— Больших запасов не осталось?

— Есть у армянина, да не в городе: держит в караван-сарае за три часа пути отсюда.

— Чего ж не везет сюда?

— Цены ждет.

— А много?

— Тридцать пять верблюдов. Семьдесят вьюков, по пять кип на вьюк...

— Триста пятьдесят. Почем просил?

— По семьдесят.

— Возьмем дешевле. Поторгуйся для порядка.

Когда, откланявшись, пятясь, Мулло Камар уже отошел к дверям, Тимур вдруг спросил:

— А в каком караван-сарае?

— Армянин?

— На что он мне? Кожи.

— У Кутлук-бобо.

— Надо караван выманить затемно. А договоришься — да знать. Понял?.

— Понял, понял, государь.

— Ладно. Ступай в казну: возьмешь по четыре — хватит.

— Благодарствую, государь.

Но Тимур уже не смотрел на поклоны Мулло Камара.

Не разгибая правой ноги, он захромал по залам, расписанным мягкими кистями гератских живописцев,— сады, полные барсов, газелей и розовых попугаев в гибких склонах темно-зеленой листвы; царская охота среди зеленых холмов, где красный конь вскинул лысую голову, когда нарядный всадник спустил стрелу и скачущая газель споткнулась, ибо стрела пригвоздила ей ухо к заднему копытцу; две красавицы любуются на охоту из-за холма; вот сам он сидит в точеной легкой беседке, беседуя с женами, которых художник нарядил в персидские платья, хотя они носят одежды своих народов, а не иранские! Вот битва за Шираз, а вот и самый Шираз! И снова Тимур увидел себя на коне, таким, каким стал теперь, а не таким, каким был двенадцать лет назад, когда брал Шираз, а у стремени стоит согбенный дервиш в лохмотьях, опоясанный веревкой,— прославленный поэт Хафиз...

Двенадцать лет прошло. Многие тогда восхваляли газеллы Хафиза, а между ними и ту, что показалась оскорбительной завоевателю мира. И когда Тимуру сказали, что среди ширазских дервишей скрывается этот самый Хафиз, Тимур велел привести поэта.

В тот день, когда Тимур собрался на охоту и уже сел в седло, ему доложили, что поэт выслежен, схвачен и приведен.

Повелитель глянул с коня на этого жалкого оборванца: стар, борода остра и седа, брови широки, густы и черны, а большой нос темен, как у пьяницы, но глаза дерзки и взгляд тверд, а под усами — ухмылка. Эта самая ухмылка и рассердила Тимура: при нем еще никто не ухмылялся, а только улыбались, плакали и кланялись.

Тимур хотел было наказать поэта палками, но сперва сказал:

— Я весь мир перевернул, собирая достойное, чтобы украсить свои города, а паче всех — Самарканд, главнейший из городов мира. Как же ты посмел раздавать мои города за какие-то там родинки на щечках!

Хафиз, грустно улыбнувшись, подергал свои лохмотья и без поклона ответил:

— Видишь сам, государь, до чего довело меня такое мотовство!

— Ну, то-то!— ответил Тимур, не зная, что сказать в ответ этому дерзкому старику, и тронул серебряными каблуками чуткие бока коня. Конь пошел, за повелителем двинулись его спутники, торопясь выехать на охотничий простор из Шираза, смердящего мертвечиной.

Поэт остался позади, на краю двора, неподвижно пропуская перед собой пышный двор завоевателя, словно делал смотр высокомерным пришельцам. И теперь, разглядывая эту роспись, Тимур

впервые вспомнил, что двенадцать лет назад еще жил на свете старый, неуживчивый поэт Хафиз.

Редко случалось Тимуру оставаться одному в эти часы и прохаживаться без людей, разглядывая то, что создано по его воле.

У входа в одну из зал он остановился: оттуда слышались голоса. Говорили по-персидски,— это художники разговаривали и даже напевали там.

Они еще не заметили его. Он постоял в дверях, приглядываясь к людям, свободным от его взгляда; живописец весело изображал на стене битву в Индии: войска осаждают Дели. Бесстрашно врубился в сечу исполнительный старший внук — Мухаммед-Султан. Похож. Нос с горбинкой, широко расставленные глаза, тяжелые скулы, веселый, бесстрашный умный взгляд. Верно уловил гератец то, что любил в этом внуке сам Тимур.

Гияс-аддин, историк, объясняет живописцу, как было дело. Это его голос так окает и так певуч. А напевают, сидя на полу, ученики, растирая краски.

Но вдруг все застыли, неподвижные, неживые, будто изображенные на стене: один из учеников увидел Тимура и, обомлев, нечаянно свистнул.

Все стали вдруг вдвое меньше. Кисть живописца несколько раз мазнула по небу черной краской, а намеревался он положить тень на карнизе башни.

Тимур сердито сказал:

— Работайте!

И велел принести сюда кресло.

Когда он сел, работа никак не могла наладиться. Ученики путали краски, а мастер по сто раз проводил кистью по одним и тем же уже написанным линиям.

Лишь Гияс-аддин заметно оживился и заговорил изысканнее, громче, певучее, и запрокидывал голову так, словно это он сам брал сейчас город Дели, сам кидался на приступ, не страшась индийских стрел. Тимур холодно сощурил и без того узкие свои глаза: ведь битву-то эту историк наблюдал издалека, с безопасного холмика!

Но когда Тимур, невольно увлекшись, сам начал подсказывать то одну, то другую черту, мастер как бы вновь увидел написанную им битву, снова под его рукой заблистали свежие линии, возникли всадники, показались слоны,— Тимурово войско тогда только-что захватило этих слонов и направило их на врага, но само боялось их больше, чем враг, боялось больше, чем всех врагов на свете.

Тимур послал за младшими внуками,— они не видели ни этой битвы, ни самой Индии. Пускай привыкают смотреть, как по воле деда мастера украшают мир, как по слову его встают на земле ди-

ковинные города, в городах — дворцы, вокруг дворцов — сады, а во дворцах — живопись.

Вскоре за спиной деда встал маленький Мухаммед-Тарагай, которого за гордую осанку, сперва в шутку, а потом уж и по привычке, все во дворце звали великим князем — Улугбеком.

Другого царевича — Ибрагим-Султана не дозвались: он еще спал, и не так-то легко его поднять, умыть и одеть, чтобы с честью показать взыскательному деду. А этот Улугбек — всегда под рукой, вроде старшего — Мухаммед-Султана.

— Ну, как?— спросил Тимур Улугбека.

— Так и не показали вы нам Индию, дедушка.

— Жизнь впереди. Еще много городов увидишь.

И строго добавил:

— Если перестанешь засматриваться на звезды.

— Звезды чище, дедушка.

— Что, что?—не понял Тимур.— Чище чего?

— Там меньше пыли, дедушка.

Живописцы посмели засмеяться. Тимур рассердился:

— Пыли? Если б туда была дорога, я бы и там поднял пыль!

— Да, дороги никто не знает.

— И незачем знать. Дел и на земле много.

Сюда, сидя в черном, отделанном перламутром багдадском кресле, Тимур позвал вельможу, наблюдавшего за постройкой в Ясе.

Вскоре вразвалку вошел мавляна Убайдулла Садр, строитель мавзолея и мечети над могилой набожного поэта хаджи Ахмада Ясийского.

Тимур, не поворачивая головы, взглянул на этого ученого старика, коренастого, кривоногого, похожего на кочевника. Все на нем было новое, слежавшееся в сундуке, не успевшее расправиться после того, как для этого дня было вынуто из сундука, а казалось, будто весь Садр со всей своей одеждой пропылен мелкой дорожной пылью.

— Ну, как, мавляна?— спросил Тимур.

— Строим.

— Пятый год строим!— ответил Тимур.

— Все привозное, а возить далеко.

— Подарок мой получили?

Тимур велел отлить из бронзы большие светильники и подсвечники. Их искусно отлил отличный мастер Изз-аддин, сын тоже искусного мастера Тадж-аддина, которого Тимур привел когда-то среди тысячи пленных мастеров из Исфагана иранского.

— Уже поставили у гробницы.

— Хороши?

Лучших нигде не бывало!— поднял брови Убайдулла Садр.

— Что ж теперь?

— Кончили котел. Отлили такой...

Тимур заметил, что брови Убайдуллы снова поднялись, и передразнил его:

— ...Что лучших нигде не бывало?

Тимур не любил, когда из лести или боязни ему не отвечали прямо и ясно. Но Убайдулла заупрямился:

— Да, не бывало!— уверенно и обиженно ответил он нахмурившемуся повелителю.

— Чем же он так хорош?

— Отлит искусно.

— А величина?

— И величины такой не было, и работа...

— Чья?

— Абдал-Азиз отливал.

— Самаркандский?

— Отец его вами приведен, государь, из Тавриза. Тоже мастер был, звали его Сарвар-аддин.

— Помню Сарвара. Значит, сыновья в отцов пошли? Наша земля не порушила мастерства иноземцев?

— Укрепила! Сын искусней отца. На котле надпись отлита.

— Какая?— насторожился Тимур.

Убайдулла быстро достал из-за пазухи листок прозрачной лощеной бумаги и, отстранив его на всю длину руки, шепотом прочитал, а потом пересказал своими словами.

— Написали, что отлит он по слову вашему нынешнего восемьсот первого года, в месяце шаввале, в двадцатый день, для воды...

И, складывая бумажку, покачал головой:

— Едва довезли. Ведь отливали его в Карнаке. Через этакую даль этакую тяжесть пришлось волочить!

— Не мал?— пытливо взглянул Тимур.

— Говорю, государь: не было такой величины.

— То-то! Это ведь для степей. Понял? Степняков знаешь?

— За эти годы узнал.

— А как их понимаешь?

— Насчет чего?

— Надо, чтоб перед глазами у них громады высились. Народ такой: малого не замечают, глаза их привыкли к простору. Кочевники! Широко шагают, мелких камушков не замечают, под ноги не глядят, далеко смотрят. Вот и надо, чтобы издалека, за много часов пути уже видели: стоит в степи огромный мавзолей. А войдут — увидят: стоит в мавзолее огромный котел. Лежит в мавзолее великий святой. Стоят вокруг святого громадные светильники. И задумаются: поставлено это в степи кем? Когда увидят, как это все велико, скажут: великое может воздвигнуть только великий.

Велика, скажут, сила того, кто этакое воздвиг. Будут бояться нас, будут слушаться. Не посмеют соваться против великой силы. Понял?

— Понял, государь.

— То-то!

Их разговор неожиданно прервал живописец, писавший взятие Дели и давно опустивший кисть, чтобы послушать слова покорителя мира.

— Дозвольте спросить, великий государь.

— Спроси.

— Я, великий государь, знаю моего земляка Изз-аддина. Он не только светильники, но и петли для дверей делал, и всякие иные украшения. Редкий мастер. Можно целый день глядеть на маленький кусочек его изделия и дивиться: «Ай-яй, как сделано!» А выходит, если о работе судить по величине работы, незачем глаза свои иступлять над тонкостью малого? Если кочевник все привык разглядывать издали, он и не разглядит ни тонкости мельчайшего узора истинных мастеров, ни великого труда их над малым? Вот чего я не понял, великий государь.

— Вот ты какой! Скажу, если спрашиваешь. Вы, персы, вдаль смотреть не умеете. На все глядите в упор. Ладонь свою разглядываете, а врага вдали не видите. Оттого и проглядели вы свое царство. Оттого и пришлось вам не для своих шахов, а для ханов монгольских изощряться. А надо, чтобы все было велико. Чтоб издалека было видно. А когда подойдешь да всмотришься: «А из чего это большое состоит?» Чтобы всякий сказал: «Ого! Да тут каждую песчинку разглядывать надо; да тут одна петля на двери дороже большого дома; да тут один кирпич под ногой дороже большого поля! Во что ж обошлась этакая громада? Каково ж богатство и могущество того, кто это смог?» Так я строю,— огромное по размеру, но из драгоценных песчинок. А вы песчинки цените, а большого создать не смеете. Зато и нет у вас ничего, персы!

Гияс-аддин изображал всем своим лицом, каждым движением благоговение и восхищение перед словами Тимура.

Живописец задумался, бессмысленно макая кисть в краску: в его памяти раскинулась родина, как большой, великий ковер, прекрасный и драгоценный. Ткали его, ткали, не жалея ни глаз, ни рук, а когда соткали, его отняли чужие руки. И вот весь он затоптан, весь чужой.

Убайдулла Садр умными, оттянутыми к вискам глазами разглядывал живописца: мать Убайдуллы была монгольского рода, и он унаследовал от нее любовь к степи; в словах Тимура что-то обидело его, но чем обидело, он не мог осознать, и только смотрел на перса с неожиданным для себя сочувствием и приязнью.

Улугбек неподвижно стоял позади кресла, а ладонь его гладила черное дерево спинки.

Дав указания Убайдулле Садру, Тимур встал и неторопливо, хромая, один пошел, больше не глядя на роспись стен, чем-то озабоченный: подошло время принимать своих вельмож и говорить с ними не о пустых вещах, а о делах государства.

Пятая глава

КАРАВАН

День еще разгорался, а Мулло Камар уже возвратился из сада и, не сходя с осла, остановился у Железных ворот.

Его удивил не шум,— здесь людно и шумно было всегда,— а столбы пыли, поднятой до самых небес, словно самаркандский базар подожжен неприятелем. Удушливая пыль застилала все вокруг, оседая на людях, на деревьях, залезая в глаза, забивая горло.

В облаках пыли исчезали въезжавшие в ворота всадники, исчезали пешеходы, бежавшие рысью, чтобы скорее пробиться сквозь эти то серые, то почему-то бурые тучи пыли.

Всего ночь прошла, а Мулло Камар, протиснувшись через щель Железных ворот, уже не узнал торговой площади. Казалось, дьяволы собрались сюда из преисподней и мотыгами, кирками, ломами ломали мало-помалу весь знакомый мир старинной площади. Пыль взвивалась, когда глыбы стен или кровли лавок рушились под ударами. Из конца в конец всей площади лязгало железо о камни, трещало дерево, тяжело ухали, рушась, стены или ворота, и всюду поднимались новые и новые облака пыли, сбиваясь в тучи, и медленно расплывались, застилая небо.

По временам из пыли выскакивали купцы, высоко задирая полы халатов, и, прыгая через обломки, спешили унести в безопасное место узлы с товарами или скопившийся в лавках всякий скарб.

На неподвижном коне в облаках пыли, словно неумолимый завоеватель, восседал ходжа Махмуд Давуд, окруженный подручными и слугами.

Он сурово следил, чтоб ничья рука не содрогнулась, сокрушая все, что встречалось на пути разрушителей: повелитель повелел расчистить всю площадь, и никогда еще не было того, чтобы слово свое пришлось ему сказать дважды.

Иные из купцов кидались было к ходже Махмуду, воздевая руки к небу или хватаясь за голову в отчаянии, взывая пощадить их достояние. Но слуги ходжи Махмуда перехватывали жалобщиков и, не скупясь на пинки и подзатыльники, отталкивали прочь.

Воины, как в захваченном вражеском городе, стояли, вооружен-

женные копьями и мечами, и указывали въезжающим в Железные ворота окружной путь, в объезд площади.

Сотник, возглавляя конную стражу, следил, чтобы народ не толпился, не задерживался в этом месте.

Скрипели десятки арб, вывозя за город щебень, обломки, мусор.

Обо всем этом историк Шараф-аддин из Иезда впоследствии записал в «Книге побед»:

«В воскресенье четвертого дня месяца Рамазана восемьсот первого года, когда луна, бывшая в созвездии Льва, отвернулась от шестиугольника солнца и соединилась с шестиугольником Венеры, в час счастливый и предсказанный по звездам, зодчие положили основание постройке...»

Но созидание началось разрушением, и осел Мулло Камара ревел неистовым голосом, потрясенный всем происходящим, а сам Мулло Камар чихал и чихал, пытаясь закрыть лицо платочком или протирая глаза, слезившиеся от пыли.

Наконец свернул в переулок, где редко приходилось бывать,— вдоль узкой дороги на уровне земли зияли лачуги мастерских, там, в полумраке, сидели склоненные над работой ремесленники, чеканя кувшины или ведра, чеканя бляхи для сбруй, выковывая замки или колокольцы,— лязг, визг, свирест, звон, стукотня — все сливалось в нестерпимый гул, сквозь который что-то вдруг бухало или шипело. Из чанов вырывались клочья пара, когда в воду падало откованное изделие. Воздух был зеленоват и густ от едкой гари и смрада, от острой вони кислот и сплавов.

В лад работе покачивались лица мастеров с черными от копоти носами, с губами синими, сжатыми, с размазанной по лбу или по щекам сажей или железной пылью. Порой из-под этого нагара сверкала белая, будто не живая кожа. Временами кое-где вскрикивали и всплакивали детские голоса — ремесленники не только работали, но многие и жили в тесноте этих мазанок: одни на ворохах мусора и обрезков в хозяйских мастерских, другие — в глиняных норах на изжитом тряпье. Были тут и коренные самаркандцы, и много персов, и грузин, согнанных еще за десяток лет до того из родной земли, от прежних горнов в город Самарканд.

Мулло Камар обменялся приветом с Назаром-кольчужником. Седой, лохматый, сероглазый Назар давно был знаком Мулло Камару, с того дня, когда со своими учениками Назар прошел через Суганак из Золотой Орды, когда Тимур выговорил у Тохтамыша русских мастеров, умевших ковать кольчуги. Лучшими кольчугами считал Тимур русские кольчуги, но среди мастеров, работавших в ордынском Сарае, никто не ковал оружия, хотя и знали это дело у себя на Руси. И с Назаром пришлось в Орде договариваться долго и мягко, чтобы он согласился вернуться к ремеслу, коему обучен

был на Руси, до захвата его в ордынский полон: слово, данное Тимуру, Тохтамышу надлежало строго соблюсти, и ордынцы проводили Назара бережно, с честью, как вольного мастера, да и Тимур велел беречь его как берегут дорогое оружие.

Когда проезжал Назар через Суганак, многие ходили смотреть на Назара. Ордынцы, провожавшие его до Суганака и тут передавшие его старосте оружейников, рассказали, как по всему Сараю искали такого мастера, но русские оружейники — как камень: если что решат, на том и останутся. А решили они издавна, может лет за сто, а может и ранее, до того, что никто из них Орде не скует ни меча, ни кольчуги, ни ножа, ни шлема, какими бы карами ни карали их за отказ от прежнего уменья; на том и Назар стоял, да нельзя было от такого мастера отступиться,— поклялись Назару, что не Орде его кольчуги достанутся, не на Русь в них пойдут, а достанутся они грозному Тимуру, перед коим сам Тохтамыш дрожит. С этим и пошел Назар, позвав за собой своих учеников, коим хоть и не случалось ковать кольчуг, но молоты и клещи в руках удавалось держать крепко. В те дни ехал из Суганака в Самарканд Мулло Камар, к нему в караван и дали Назара к месту довести. С того и повелось знакомство; а упорство ли их, твердость ли души в них обоих — вырастило в них друг к другу обоюдную приязнь.

Проехал Мулло Камар и через тихую слободу, где молчаливо работали ткачи шелков, ткачихи простых, хлопчатых тканей, а какие-то высокие женщины с голубоватой кожей, с черными прядями, выбивающимися из-под серых покрывал, пряли пряжу и сучили нитки; они тоже работали открыто, как и все ремесленники, чтобы покупатели видели их работу, чтобы никто не усомнился в их изделиях, не заподозрил какой-либо тайны или обмана в их дешевом товаре: тут, на глазах, лежало сырье, тут можно поглядеть и на самый труд.

Так проехал Мулло Камар через слободы ювелиров и шорников, через слободы, где ткали сукна, через Книжный ряд, полный чинных, белобородых писцов, переплетчиков, торговцев книгами и пеналами, где продавцы вели себя пристойнее и почтительнее, чем те грамотеи, что здесь толклись, разглядывая книги и редко имея средства на покупку их.

Проехал Мулло Камар мимо седельников и мастеров колыбелей, где постукивали, как молоточки, небольшие острые тесаки по белому дереву, благоухали свежие краски и лаки и расписными башнями высились сундуки.

Выехав в Кожевенный ряд, Мулло Камар не вошел к себе в караван-сарай, а, в воротах отдав осла Ботурче, пошел пешком мимо знакомых палаток. Ботурча же повел осла на задний двор, где под каменными складами темнели подвалы со стойлами для ослов и лошадей.

Мулло Камар вышел к Тухлому водоему, где на широких нарах над водой разместились посетители харчевни и из тяжелых глиняных чаш ели острые кашгарские кушанья, тянули нескончаемые белые ленты пахучей лапши; запрокинув голову, забивали себе в рот нежные большие пельмени; хлебали из чашек жирные, огненные от перца, душные от приправ похлебки. Здесь обгорали над углями куски мяса, трещал жир, капая на угли, а синий дымок над жаровнями манил прохожих запахами опаленного жира и лука. Веселые, круглолицые, черноусые, лоснящиеся, румяные кашгарцы зазывали прохожих, славя свою стряпню и рассчитывая на голод прохожих как на лучшую приправу ко всякому блюду.

Но проголодавшийся Мулло Камар устоял. Никакой соблазн в жизни не сбивал его с извилистой, узкой, зыбкой, опасной, но манящей стези торговли.

Не откликнувшись на зовы кашгарцев, он вошел в ворота армянского караван-сарая и узнал у Левона, что Пушка опять томит и ломает лихорадка.

Без шапки, с кудрями, прилипшими к горячему лбу, армянин лежал и еле поднял голову при появлении Мулло Камара:

— Ох, что скажете, почтеннейший?

— Окончательная цена?

— Цена изменилась.

— Как?

— Восемьдесят. Дешевле не отдам.

— Шестьдесят. Больше не ждите.

— Мое слово твердо.

— Шестьдесят пять. Последнее слово.

— Последнее: семьдесят пять.

— Когда получу товар?

— Когда вам нужно?

— Завтра к началу базара.

— Как же я повезу его? Ночью?

— Везите ночью.

— Опасно.

— У нас купцы в безопасности. Это Мавераннахр, а не Золотая Орда. Дам задаток.

— Задаток?.. Меньше как по пяти не возьму.

— Берите по пяти.

— Давайте!

— Когда выйдет караван?

Оказалось, болезнь подобна одеялу. Едва Мулло Камар вытянул из-за пазухи кисет с деньгами, Пушок скинул свою болезнь и встал:

— Сейчас пошлю сказать, чтоб вышли затемно, а к рассвету уже дошли бы до городских ворот. Хочу поскорей разделаться с

этим караваном и ехать в Ясы за новым товаром. А может, и к ордынцам, в Сарай. Глядя по делам.

По обычаю, вызвали троих свидетелей, чтобы видели, как один купец платит, а другой получает.

Пушок нетерпеливо, как ребенок перед лакомством, топтался, пока Мулло Камар отсчитывал деньги.

Завершив сделку, все отправились в харчевню к кашгарцам, где всех угощал Пушок как совершивший продажу. Но, изнывая от голода, Мулло Камар, прежде чем зайти в харчевню, пошел к себе и послал Ботурчу за Саблей.

Час спустя не на задумчивом осле, а на резвом иноходце Сабля выехал из города и поскакал по той дороге, где поутру оставил свои следы ослик Мулло Камара.

В открытой лавчонке Сабли до возвращения хозяина остался торговать дратвой его приказчик Дереник.

Какой-то синебородый дервиш, проходя мимо, полюбопытствовал:

— Далеко ли отбыл хозяин?

— Зуб у него заболел. Поехал на Сиаб, помолиться Ходаньяру об исцелении.

— Господь поможет верующему!— подтвердил дервиш.

А Сабля, проскакав шесть верст единым духом, сошел у ворот царского сада Дилькушо и вошел в подворотню.

Там нашел он, как было приказано Мулло Камаром, конопатого Аяра и передал ему то, что велел передать Мулло Камар:

— Скажи, мол, так: после ночной молитвы, но часа за три до первой утренней, верблюд выйдет на свой путь. Так велел сказать Мулло Камар, а какой верблюд и какая дорога, я смекал-смекал, пока не смекнул. Да уж смекну, будь уверен.

Аяр сверкнул карим, быстрым, как удар, взглядом:

— Смекай, смекай... Посиди здесь!— ткнул Аяр пальцем в угол.

— Чего ж сидеть? Мне пора назад.

— Сиди, сиди. Здесь ни жарко, ни ярко. На свет не вылезай, язык не высовывай.

Сабле эти слова не понравились, но в царской подворотне кто будет спорить? Он сел в темный, уединенный уголок.

Вскоре пришли за ним двое воинов и повели следом за собой мимо длинного ряда персиков, опустивших до травы длинные листья гибких веток, отягощенных еще не собранным урожаем.

Когда Сабля невольно нагнулся к упавшему на тропинку белому пушистому персику, воин поощрил его:

— Возьми, возьми. Кушай.

Но этот персик был последним, что поднял Сабля в жизни своей. Его вскоре ввели под темные каменные своды, скрипнула тяжелая, обитая скобами дверь, и Сабля остался один в тесной, про-

хладной, темной келье, где вволю мог думать о прожитой жизни и тщетно искать свою вину, которой никогда не было. Сабля не знал, что так приказал Тимур.

Долго ждал Сабля, что Аяр распахнет дверь и крикнет: «Выходи прытче, тут ошибка вышла!» Но двери никто не открыл ни в тот день, ни в следующий. Да и Аяра ему больше никогда не пришлось встречать, как не довелось ему встречать ни Мулло Камара, ни Дереника-приказчика, ни свою жену Сарахон, ни свою собачонку Коктая. За сорок лет своей жизни только он и покрасовался, и порадовался на базаре, только и поторговал от души один день за сорок лет жизни!

— Эй, Дереник! Где ж твой хозяин?— спрашивали на другой день купцы.

— Зуб у него болит!— отвечал Дереник, а у самого зуб на зуб не попадал от страшных предчувствий.

Затемно караван, вызванный армянином, вышел из караван-сарая Кутлук-бобо.

Привратники светили двумя маслянистыми пятнами мигающих фонарей, пока со скрежетом растворялись ворота и верблюды с поклажей проходили через полосы света, то тревожно прижимаясь друг к другу, то царственно, гордо выступая, и скрывались во тьме.

Когда выехали вслед за последним верблюдом последние караульщики, восседая на ослах и сжимая в руках торчащие вверх пики, ворота закрылись, и в караван-сарае опять наступила тишина, временами нарушаемая вздохами гератского купца: ему всегда снилось что-то страшное, пока он спал на груде жестких тюков, с коими боялся расстаться на ночь.

Луна уже ушла, но утро еще не брезжило. Бывалый караван-вожатый ехал впереди на осле. Позади следовали четверо его караульных с пиками, крепко сжатыми в руках. Еще двое ехало после десятого верблюда. Последние четверо — вслед за последним верблюдом. Над всем караулом торчали прямо вверх крепко сжатые пики, а впереди у караван-вожатого с бедра свисал длинный меч и на бугристых местах полосовал дорожную пыль.

Как всегда, перед рассветом небо потемнело.

Но дорогу эту караван-вожатый прошел из конца в конец сотню раз.

Ночь была темна и прохладна. Свыкнувшись с темнотой, глаза различали какие-то деревья в стороне от дороги, стены какого-то высокого строения слева,— может быть, гробницы, может быть, сторожевой башни, и вскоре дорога пошла книзу, а справа и слева, горбясь, поднялись холмы, и показалось, что в сгустившейся тьме стоят какие-то люди.

Аяр стоял в ночной тьме, и нравилось ему, как пахнет сухой горечью степная полынь. Небо казалось светлее земли, но среди высоких холмов сгустилась непроглядная темень, и не было видно даже всадников и коней, стоявших рядом на самой дороге.

Тайное дело поручил Аяру царский сотник. Немало требовалось заслуг, чтобы получить такое доверие. Немало провез он свернутых в трубочку писем, много раз прокрадывался мимо вражеских дозоров, неся засунутый за голенище сапога кожаный кошелек с тайным указом, или скакал, не щадя коней, пересаживаясь с запаленных на застоявшихся, не имея при себе ничего, но бормоча на память несколько непонятных слов, чтобы шепнуть их в конце пути на ухо нужному человеку. Царский гонец Аяр.

И когда уверились в нем начальники, когда поняли, что и на огне не скажет Аяр лишнего слова, дали ему задачу, какая не требовала ни особой сноровки, ни особой смелости, а только одного — держать язык за зубами.

Когда издалека унылым гортанным воплем звякнул колокол на заднем верблюде каравана, лошади в темноте захрапели, затоптались: всадники подтянули еще раз подпруги, поправили стремена, а некоторые сели в седла.

Но Аяр тогда только сел, когда звон колокола совсем приблизился, и, пропустив мимо себя караван-вожатого, внезапно спросил:

— Эге! Чей караван?

Тут подъехали остальные воины и, не сходя с седел, взялись за древки пик, трепетавших над головами ослабевших караульщиков.

— Кто дозволил ходить по ночам?

Караван-вожатый обрел дар речи, не столько видя, сколько привычным ухом слыша воинское вооруженье на всадниках:

— Стража, что ль?

— Ты сперва отвечай.

— А что? Исстари ночью ходим. Когда ж ходить? Днем жара.

— Сколько вас?

— Десять в карауле, а я один.

— Заворачивай направо. Караульщики, слезай. Охранять караван будем сами. Палки свои отдайте, чтоб не уколоться впотьмах. Трогай!

И, не слезая с осла, караван-вожатый повернул на боковую тропу.

Передовой верблюд с достоинством повернулся за ним следом, увлекая задних, тоже соблюдавших свое достоинство и задиравших головы кверху, будто читают небесные письмена. Но звезды уже истаяли, близился рассвет.

Караульщики отдали воинам свои пики: выехали они караван

охранять, а не людей убивать. Если охранять берутся другие, оружие в руках — лишняя ноша.

Однако, оттеснив караульщиков от каравана, им велели слезть с ослов и сесть на землю. Убивать никого не стали, а приказали сидеть тут до света, а если надо — и после рассвета, пока не придут и не скажут, куда им отсюда дальше идти.

Так эти десять человек и просидели до утра.

Сидели смирно среди голых холмов, глядя, как поднимается солнце и как хлопотливый черный жук покатил по серой земле ровно обкатанный шарик в какое-то нужное жуку место.

Лишь когда солнце припекло, а тени вблизи никакой не оказалось, решились поочередно бегать в сторону, под одинокое дерево, недолго посидеть в тени, и снова возвращались, чтобы отпустить в тень других караульщиков.

Чтобы утолить жажду, они подыскивали себе небольшие камушки и перекатывали их под языком. Поэтому разговаривали мало. Да и о чем было разговаривать? Если кто что и видел,— видели все: вот уж сколько времени нанимались они всей дружиной на охрану караванов из конца в конец. Одних купцов проводят, к другим нанимаются. В Тимуровом царстве неопасно караульщикам, карауль безбоязненно. А в дальние места ходить опасались, не нанимались.

Теперь, впервые за долгое время, сидели они без своего оружия. Многие из них и не догадались бы наниматься на охрану караванов, если б в то или иное время, при том или ином случае не досталось одним из них копье, другим — от копья наконечник, кем потерянные, как найденные, про то не всякий скажет. Но уж если попала в руки человеку такая вещь, не зря же ей лежать, надо добывать из нее пользу. И теперь никто не знал, как быть, когда все они остались без пик. Но старший из них рассудил:

— Где караван, там и пики.

И все опять успокоилось.

За караван не тревожились, поелику воины взяли у них оружие и взялись сами охранять караван, а им дали передышку.

Один из караульщиков вдруг с оглядкой раскрутил жгут своего кушака и достал закатанный в нем позеленевший наконечник копья:

— Гляньте-ка!

Наконечник пошел по нетерпеливым, то сухим, то влажным, то заскорузлым, то скользким ладоням караульщиков:

— Дай-ка гляну!

— О!

— Не железный.

— Откуда он?

— На песке нашел. Давно. Как через Хорезм шли.

— Это тогда, у колодца?
— А что?
— Я приметил, ты тогда что-то нашел.
— Ну и что?
— Да как бы чего не было...
— А что?
— Да мало ли что! Оружие у нас взяли? «А это, спросят, откуда? Украл?»
— Да он не железный.
— А ведь оружие!
— Это не железо.
— А что?
— Сплав.
— Не золото?
— Сплав, говорю.
— А все же оружие!
— Ну и что?
— Брось, да и все.
— А не скажете?
— Нет, бросай.

Обладатель понес бронзовый наконечник копья, изображавший львиную голову, отирая большим пальцем гладкую, как тело, бронзу. Он кинул его в какую-то трещину на земле. Вернувшись, сказал:

— Кинул.

За каждым его шагом следили все, и все отозвались одобрительно:

— Так и надо.
— И если что, мы ничего не видели! — предостерег старший из них.

Так они и сидели, пока не разыскали их посланные от Геворка Пушка и посланные от Кутлук-бобо.

Только тогда караульщики поняли, что караван пропал. Но сколько ни смотрели во все стороны, нигде не осталось от каравана никаких следов, а тропы вились отсюда во все стороны, и днем никак не разберешь, по какой из них ушел караван под покровом беззвездной, предрассветной тьмы.

Больше никто никогда не видел в этих местах ни этого каравана, ни караван-вожатого, и лишь черные жуки катили свои шарики по глубокой борозде, прочерченной в холмистых местах дороги каким-то острым железом.

Весь базар в Самарканде видел в тот день Геворка Пушка. Он бегал по своему караван-сараю, простоволосый, со всклокоченными кудрями, в халате без кушака, начисто забыв о лихорадке,

и не только утратил охоту к разговорам, но почти совсем онемел.

Не раз забегал он в кожевенные ряды расспросить, нет ли среди кожевенников слухов о пропавших кожах, не пытались ли разбойники кому-нибудь эти кожи сбыть. Не забывал он и о Мулло Камаре, но сперва Ботурча не допустил армянина до своего постояльца, загородив дорогу:

— Почивает!

В другой раз сказал, что Мулло Камар встал, но ушел в харчевню.

И вдруг Мулло Камар резвой своей походочкой, постукивая по двору палочкой, сам вошел к армянину, приговаривая:

— Ах, нехорошо! Забыли уговор? Уже день настал, а где кожи?

— Как где? Вы не знаете?

— Знать надо вам: товар ваш. Кто так делает,— задаток взяли, а товар спрятали?

— Как спрятал?

— А где он?

— Как где?

— Если он здесь, давайте. Или — задаток назад!

— Да он же пропал!

— Если пропал товар, задаток не пропал. Давайте назад! Видите: собрались люди. Смотрят. Слушают. Вот наши свидетели. Я давал задаток? Вы видели?

Армянин молча вытащил из своего тайника вчерашний кисет с деньгами и возвратил купцу.

Мулло Камар развязал узелок, сел на ступеньке и перед глазами столпившихся зевак начал считать свои деньги.

Быстро повернувшись к армянину, с веселой искоркой в глазах, Мулло Камар вдруг спросил:

— А товар-то вы везли хороший?

— Еще бы!— замер армянин.

— Весь товар хорош?

— Кожа к коже. Как на подбор.

— Так ли?

— Еще бы!— повторил Пушок.

Одна из денег показалась Мулло Камару неполновесной:

— Эту следует заменить.

— Так она у меня от вас же!

— Надо было смотреть, когда брали, а я такую принять не могу. Кто ее у меня примет?

И Мулло Камар протянул ее одному из зевак.

Деньга прошла через десяток рук и вернулась к Мулло Камару. Все согласились: деньга нехороша, чекан ее стерся, и не поймешь, когда и кто ее чеканил; может, тысячу лет назад.

Армянин спохватился: все его деньги были в товаре. А товар пропал. Только теперь он окончательно понял, что у него ничего не осталось. И неправду он говорил накануне о цене, по какой согласен он взять кожи в Самарканде. Но не из пустого бахвальства он бахвалился, а затем, чтобы набить цену на кожи и в горячке сбыть с рук залежавшийся в Бухаре, забракованный бухарскими купцами, отчасти подопревший свой товар. Оттого и не ввозил Пушок эти кожи в город, рассчитывая продать их за глаза и оптом. И совсем было это дело сладилось, и задаток уже звенел в руках, а теперь так оно повернулось, что и ничтожную деньгу заменить нечем.

Но среди зевак толклись и армяне, и слава о бесславии Пушка могла разнестись по всем торговым дорогам.

Чтобы сохранить достоинство, армянин достал с груди древний серебряный византийский образок, материнское благословение, с которым не расставался на своем торговом пути. Благочестиво хранимое, достал и преподнес Мулло Камару:

— Драгоценная вещь. В столь тяжкий день примите и не придирайтесь ко мне.

Мулло Камар прикинул образок на своей чуткой ладони и снисходительно опустил к себе в кожаный кисет.

Мулло Фаиз зашел за Садреддин-баем, и оба, пренебрегая базарными разговорами и слухами, то любезно кланяясь известным людям, то наскоро отвечая на поклоны неизвестных встречных, протолкались к воротам и вышли за город.

Солнце жгло окаменелую глину дороги. Пыль пыхтела под ногами, разбрызгиваясь, как масло. На Афросиабе кого-то хоронили,— мужчины в синих халатах стояли, заслоняя бирюзовое небо, столпившись вокруг того, чей голос уже отзвучал на городском базаре.

В стороне серыми столбиками замерли под гладкими покрывалами женщины, ожидая, пока мужчины засыплют могилу и уйдут, чтобы подойти и в свой черед оплакать покойника.

Садреддин-бай не любил смотреть на похороны и отвернулся, когда пришлось проходить мимо опустевших носилок, накрытых смятой сюзаной.

Все так же сидел в углу смуглый звездочет. Так же выслушал их, глядя мимо, в небеса.

Выждав, пока пришедшие прониклись страхом и уважением к святому месту, так сказал звездочет Садреддин-баю:

— Сквозь сияние млечного пути непрозреваема ваша звезда, почтеннейший. По линии жизни вам надлежит идти столь осмотрительно, чтоб не наступить на развернутый шелк чалмы вашей, подобной млечному пути, проплывающему по океану вечности...

Звездочет опустил глаза на перламутровые четки с черной кисточкой под большим зерном.

Купцы постояли, ожидая дальнейших слов.

Звездочет молчал, погруженный в глубокое раздумье, медленно-медленно перебирая четки.

Наконец купцы догадались, что сказанное — это все, что прочел звездочет в небесной книге.

Тогда пошли назад, удивленные и встревоженные.

— Как это понять?— гадал Мулло Фаиз.

Слова его надлежит толковать так: он советует нам торговать шелком. Иначе зачем бы он упомянул шелк чалмы? Но советует торговать осторожно, не спешить, глядеть, куда ставишь ногу, чтобы по неосмотрительности не наступить на свою же выгоду.

Мулло Фаиз усомнился:

— А не о смерти ли он сказал? Вдумайтесь, когда и зачем развертывают чалму? Чтобы запеленать в нее мусульманина, когда он умрет, перед тем как опустить мусульманина в могилу. К этому он и сказал: «океан вечности». Иначе что может означать океан вечности?

Но Садреддин-бай, как каждый шестидесятилетний, давно уже перебрал в памяти всех известных ему стариков, доживших до девяноста лет; перебрал их имена многократно, как немногочисленные зерна коротких четок, уверенный, что он не слабее этих людей ни духом, ни плотью. Поэтому мрачное толкование пророчества он поспешно отверг:

— Вы упустили другие из вещих слов. Ученый сказал: моя звезда не прозревается сквозь сияние млечного пути. А потом пояснил, что млечный путь — это шелк. Смысл в этом тот, что жизнь мою заслоняет шелк; столь много скопится его, когда разрастутся мои склады. А вам он ничего не сказал!

— Я не спрашивал.

— Это верно. Но...

— Но он сказал,— настаивал Мулло Фаиз,— шелк-то этот проплывает. Он не в руках у вас, а заслоняет вас и проплывает мимо!

— Вас, видно, радует, если дурное толкование вещих слов падет на мою голову, а не на вашу.

Садреддин-бай не ошибся: как ни крепко беда связала их вместе, Мулло Фаиз втайне ликовал, что не ему изрек звездочет столь темное пророчество, а Садреддин-баю. Купец всегда рад, если стрела беды ударяет в лавку соседа.

Он, смутившись, молчал, а Садреддин-бай назидательно добавил:

— Слова прозорливцев требуют размышлений. Не следует спешить с толкованием мудрого откровения.

К вечеру, когда возвратились все искатели пропавшего каравана, армянин погрузился в беспредельное уныние. И когда горе его достигло вершины отчаяния и рука уже порывалась вынуть из-за пояса кривой нож, отцовский подарок при последней разлуке, вдруг осенила Пушка ясность: он встал и пошел в Синий Дворец, где предстал пред верховным судьей и закричал:

— По всему свету славят Самарканд. Безопасны его дороги, говорят. Крепки его караван-сараи, говорят. Великий амир охраняет купцов, говорят. Я всему верил. Тысячу дорог прошел, через сотню городов товар провез, нигде не грабили, а здесь ограблен. Мне за жалобу нечем заплатить, а жалуюсь: такого великого амира слава разглашена по всему свету. Кем? Торговыми людьми. Так? Так! А что тут делают с торговыми людьми? А? Теперь другая слава пойдет: пошел купец в Самарканд веселый, пришел назад голый. Так? Так!

Верховный судья хорошо знал, как строго следил Тимур за честью самаркандской торговли, сколько путей расчистил он мечами, сколько городов растоптал, чтоб не были их базары ни богаче, ни изобильнее самаркандского. Сколько поставил караван-сараев, крепких, безопасных. Сколько денег и товаров самого великого амира обращалось на всех базарах Мавераннахра и по сопредельным странам в руках опытных, оборотистых, смелых купцов.

Вопли взлохмаченного армянина обеспокоили верховного судью: чтобы не прогневать сурового повелителя, надо перед всеми ушами, перед всеми глазами, прежде всякой молвы молвить такое слово, чтоб крик этот обратить не в хулу, а во славу самаркандской торговле.

А вокруг толпились у дверей, у стен, в каждой щели, просители, истцы, ответчики, жалобщики, писцы и всякий иной судейский люд, вплоть до свидетелей, ожидающих, чтобы кто-нибудь нанял их в свидетели, о чем бы ни понадобилось свидетельствовать. Все эти люди многоречивы, пронырливы, беспокойны, неутомимы, а многие затем и ходят сюда, чтобы ловить всякие слухи, чтобы потом не без выгоды разносить во все стороны всякий вздор.

И судья сказал:

— У нас нет разбойников. Видел ли кто-нибудь их в лицо? Нет такого человека, ибо разбойников у нас нет и торговые пути безопасны и приятны во все края, где бы ни ступала стопа великого амира нашего. Если же появился злодей, найдем, приведем, накажем. Если у вас нет денег, не давайте их нам: добрая слава Самарканда дороже золота. Будет так: куда ни приведут вас дела, везде скажете: «Великий амир сурово карает всех, кто мешает купцам торговать». Сурово карает, и вы увидите это! Будьте спокойны. Идите с миром.

Пушок возвратился, ободренный словами судьи. Гости, стояв-

шие в этом караван-сарае, пришли расспросить Пушка о судье, каждый звал Пушка к себе побеседовать, покушать, ибо в торговом деле каждому грозило так же вот, в единый час, потерять нажитое за всю жизнь; всю жизнь истинный купец идет по лезвию меча; одних венчает золото, других — меч.

Вечерело.

Горлинки бродили по краю плоской крыши и томно, нетерпеливо вызывали: «Геворк армянин, Геворк армянин...»

Ночь предстояла душная, и Пушок велел стелить ему постель на крыше: незачем запираться в затхлой келье тому, кого уже невозможно ограбить и не за что убивать.

В пятницу ранним утром к армянину пришел верховного судьи писец и весело вошел в келью. Скользкими взглядами, будто липкими пальцами, ощупал он голые стены и пустые углы сводчатой комнаты.

Было писцу непривычно приносить благоприятную весть в столь убогое жилище:

— Злодеи изловлены. Осуждены. Нынче по заслугам примут наказание. Справедливый судья наш велел сказать: если пожелает почтеннейший купец взглянуть сам на совершение наказания, да пожалует!

Нетерпеливо повязывал Пушок кушак вокруг живота, широкий и длинный, как чалма, а шапку надевал, горячась, суя в то же время ноги в туфли; спешил, будто злодеи успеют ускользнуть, если он не поторопится.

Писец провел армянина к галерее и поставил на углу расчищенной площади, чтоб все происходящее Пушок мог видеть, как купец привык разглядывать товар — почти на ощупь.

Перед галереей в ряд стояли конные воины в блистающих острых шлемах, с копьями в руках.

Всю площадь окружала пешая стража в полном вооруженье, суровая, безмолвная, плотно составленная плечом к плечу. На мышастом вислозадом коне перед строем топтался свирепый есаул конного караула.

Из-за спин воинов со всех сторон пестрели чалмы, шапки, тюбетеи, колпаки разноплеменного самаркандского народа. Пушок не ожидал, что столько народу сойдется к этой небольшой площади перед Синим Дворцом.

Пушок удивился и такому стечению народа, и суровому облику воинов; армянин не знал, что все было бы проще, как бывало это здесь почти каждый день, если б в Синем Дворце не случился в тот день сам Тимур.

Его не было видно: он мог смотреть сюда через многие двери из глубины дворца, но на галерею вышли его вельможи. Расступив-

шись, они пропустили вперед двоих младших царевичей, и те остановились на краю галереи. Плечи конной стражи заслоняли мальчиков до колен.

Из ворот дворца выехал начальник городской стражи в блистающем золотом халате, опоясанный золотым поясом, в шапке из золотистой лисы на голове. Золотой конь присел под хозяином, а хозяин сдерживал коня, чтоб пешие стражи, следуя за ним, не отставали.

Стражи в синих стальных кольчугах поверх серых халатов, в стальных шлемах с красными косицами шли по трое.

За стражами вели двоих злодеев.

Связанные руки обоих злодеев, заломленные назад, соединял один аркан, как соединило их одно злодеяние.

Пушок удивился: вели длинноносого Саблю, а связан с ним был собственный Пушка караван-вожатый.

Когда осужденных вывели, поставили перед народом, стражи расступились, начальник городской стражи подскакал к галерее и, спешившись, подошел к ее краю.

Верховный судья вышел из-за царевичей и, склонившись к стоявшему внизу начальнику, вручил ему скатанное серой трубочкой решение судьи, одобренное печатью повелителя.

Начальник почтительно приложил бумагу к устам и понес ее, высоко держа над головой, к своему коню.

Поднявшись в седло, он, по-прежнему высоко над головой подняв серую бумажку, повез ее к злодеям.

Они стояли помертвелые.

Щеки Сабли ввалились, лицо было серым, и оттого Сабля еще больше стал похож на свое прозвище. Глаза его тупо, ничего не видя, глядели вперед.

Золотой всадник остановился перед Саблей и, еще раз тронув свитком свои уста, развернул указ.

Голос его, пока он читал, ревел и рычал, будто не двое связанных стояло перед ним, а страшные, вооруженные войска сильных врагов, готовых к битве.

Пока он читал, Улугбек оглянулся. Позади стояли ближний дедушкин вельможа Мухаммед Джельд и святой сейид Береке.

— Красиво читает!— кивнул Джельд.

— Горланит наобум какую-то чушь: он же неграмотный.

— А выправка!

— Я видел в Индии, как он оробел, когда надо было порубить опасных пленников перед битвой за Дели.

— Всякого оторопь возьмет — ведь сто тысяч!

— Сто, но связанных!

— А все же... Связанных, но сто тысяч.

Едва золотой всадник дочитал, из ворот вышло двое невысоких

шустрых юношей в серых коротких кафтанах с закатанными по локоть рукавами, с кривыми саблями в левых руках и с черными ременными плетками, свисавшими спереди,— палачи.

Если б в решении говорилось о наказании плетьми, сабли висели бы у палачей на поясах, а правыми руками они несли бы плетки. Но плетки висели на поясе, а вдетые в ножны сабли зажаты в левых руках,— значит, злодеев ждала смерть.

Шустрые палачи ловко, как неживых, поставили осужденных на колени.

— Молитесь!— прорычал золотой всадник и начал громко читать молитву над притихшей площадью. Но слов ее он не знал, никак не мог заучить, и только рычал то чуть подвывая, то быстро и неразборчиво бормоча, звуком голоса подражая словам молитвы.

Когда ему показалось, что для молитвы прочитано вполне достаточно, он снова отчетливо и громко проревел:

— Аминь!

— И вся площадь глухим гулом повторила: «Аминь!»— и воины, и народ, и палачи — все провели ладонями по бородам вниз, в знак покорности милостивому, милосердному.

К золотому всаднику подскакал есаул. Начальник городской стражи передал есаулу бумагу для исполнения, а сам на вертящемся коне отъехал к подножию галереи.

Один из палачей вынул из ножен саблю, отступил на шаг и рванулся, будто кинул себя вперед, но устоял на месте, а голова караван-вожатого вдруг откатилась в сторону, туловище сперва село на пятки, потом повалилось набок, дернув привязанные к нему руки Сабли.

Сабля не двинулся, словно деревянный, и, когда палач снова отступил на шаг, только чуть ниже склонил голову.

— Плохой удар,— сказал Джельд,— скосил челюсть.

— Высоко взял,— согласился святой сейид Береке.

Палач бережливо вытер клинок об одежду казненного Сабли, и палачи, повернувшись, пошли вслед за стражами, а стража вслед за золотым всадником.

Улугбек оглянулся на привычное, довольное, с плутоватой усмешкой в глазах, лицо Джельда.

Джельд не торопился посторониться перед царевичами, и Улугбек был раздосадован этим.

Они прошли внутрь дворца и узнали, что Тимур все это время играл в шахматы с Мухаммед-Султаном.

Услышав их, Тимур, не оборачиваясь, поднял палец, предостерегая:

— Не мешайте!

Царевичи присели на краю того же большого ковра, присматриваясь к игре.

— Берегись!— крикнул Тимур и сделал тот двойной ход конем, на который игрок имеет право один раз за всю игру, ход, который игроки берегут на крайний случай. Оказалось, ферзь Мухаммед-Султана попал под удар дедушки. На выигрыш почти не оставалось надежды, но внук двинул слона, и неожиданно игра снова осложнилась.

— Какой индийский слон!— в раздумье пробормотал Тимур, быстро ища место для ответного удара.

И вот простой ход конем вдруг определил победу Тимура.

Дедушка отлично играл, редко удавалось ему найти опасного противника. Он отвернулся от доски, словно сразу о ней позабыв, даже не порадовавшись победе, ибо никогда не сомневался в своих силах.

— Ну?— спросил он младших внуков.— Где были?

— Смотрели наказание.

— Армянин доволен?

Царевичи переглянулись: какой армянин? Как это дедушка всегда все знает?

А Пушок между тем приступил к есаулу.

Есаул, спешившись, стоял, строго следя, как стража отгоняла любопытствующих из народа от казненных.

Деловито перешагнув через синюю струйку крови, Пушок спросил:

— Великий есаул! А где же моя кожа?

— Какая?— озадачился есаул.

— Похищенная злодеями.

— Этими?— пнул есаул одну из двух голов, валявшихся у его ног.

— Ими!

Есаул шутливо наступил на голову и повернул ее вверх лицом. Судорога еще двигала мертвыми щеками, рот Сабли открылся, и на губах, как почудилось армянину, мерцала мелкая дрожь.

— Вот, спрашивайте: «Куда спрятал?» А мне откуда знать? Он не признался.

Пушок жадно глядел в помертвелый рот: а вдруг й вправду голова заговорит и скажет,— ведь ему необходимо знать, куда ж они сволокли триста пятьдесят тюков его кож; ведь где-то они еще лежат; ведь не могли, не успели же они сбыть весь товар за столь недолгое время; ведь так ловко, так скоро их поймали и так строго, по справедливости, наказали, а товар опоздали захватить. Неужели опоздали?!

Он смотрел на темную голову. Судороги застывали, лицо мертвело, словно сквозь кожу проступал белый воск... И теперь никто в мире не сможет ответить купцу по такому неотложному делу.

Растерянно Пушок постоял еще, словно все еще ожидая ответа

от головы, размышляя: «Караван-вожатый, какой негодяй, был, значит, с ними в сговоре, сам к ним караван привел!»

Он негодовал на этих мертвецов, и это негодование сейчас заглушало весь ужас полного разоренья, он еще не решался об этом думать: горе купцу, разорившемуся в чужой земле. Дома ему помогают купеческие братства, там можно оставить в залог дом или землю или найти поручителей, а тут братства армянских купцов нет, а другим нет дела до армянина, рухнувшего в преисподнюю.

Он побрел по дороге.

Его обгоняли возвращавшиеся к торговле базарные завсегдатаи, купцы и покупатели, беседуя о совершившемся правосудии.

— Ну и Сабля!

— И не подумал бы,— тихий был человек.

— Тих-то тих, а кожи-то как скупил: раз хапнул, и нет кож во всем городе.

— Мы-то удивлялись: откуда у него деньги. Вон откуда!

— Столько денег честной торговлей не наторгуешь.

— Тем паче — дратвой!

— Дратва — для отвода глаз. Я давно замечал: похож на разбойника. Помните, какие у него глаза были,— два вместе.

Торопливо, выпятив живот, часто-часто взмахивая короткими ручками, почти бежал бойкий хлебник вслед за широко шагающим высоким колесником, усмехаясь:

— Недаром его Саблей звали,— сами видели, саблей он и кормился.

— Саблей и награжден!

Испитой, круглоглазый лавочник, широко разевая светлые глаза, говорил с тревогой, на ходу заглядывая в лицо спутнику:

— Вот тебе и тихий. С людьми надо — ух как!.. Как подумаю, столько лет наискосок от него торговал — страх берет. Как узнал его, так и у меня дух захватило: страшно!

Перепрыгивая через канавы, прошли в туго опоясанных халатах обувщики, давние покупатели Сабли:

— Кожу-то у него дома нашли!

— Вернули армянину?

— В казну взяли: армянин свою ордынской объявил, а от Сабли вывезли монгольскую.

— Видно, и на северных дорогах разбойничал.

— А откуда ж бы ему досталась такая!

— Ясно! А которую скупил?

— И та, думаю, вся в казну. Разбойничья — куда ж ее?

— Ясно! Не бросать же.

Пушок едва доплелся до своей кельи.

В этот час на постоялом дворе никого не было: все занимались

торговыми делами, все ушли на базар. А Пушку там уже нечего делать!

Он сел на пороге, размышляя:

«Прежде чем отрубить головы, почему не спросили, куда делись кожи? Надо было спросить. Ведь это всякий понимать должен. Так? Так! Купец без товара — не купец. А? Не купец!.. Кому отрубили голову? Разбойникам или купцу? Купцу! Так? Так! Вот что наделали!»

Царевичам редко приходилось бывать в Синем Дворце — только в те дни, когда дед привозил их сюда для каких-нибудь скучных дел.

Темное неприютное здание строго высилось в сердце Самарканда, глядя на тесную площадь недобрым лицом.

По сторонам дворца лепились низкие сводчатые пристройки, занятые государственными управлениями, караулами, писцами. Во дворце хранились архивы, казна, сокровища великого амира, склады оружия, хозяйственные запасы для войск, личные припасы Тимура. В подвалах — темницы и сокровищницы; во дворах — мастерские дворцовых ремесленников, тут работавших, тут живших, тут и кончавших жизнь,— собственные мастерские великого амира, работавшие для него самого, для его семьи, для его войск и слуг; многое из дворцовых изделий сдавалось и купцам на вывоз.

Здесь было полно избранных, отовсюду приведенных, лучших мастеров, ковавших оружие, шивших обувь, чеканивших деньги, разбиравших меха, ткавших редчайший самаркандский пурпурный бархат, выдувавших стеклянные изделия, изощрявшихся в тончайших работах из золота и серебра.

Сотни мастеров ютились на задворках Синего Дворца. Так нагромоздилось помещение над помещением, мастерская над мастерской, что за плотными, крепкими стенами не было ни видно, ни слышно этих сотен людей, не смевших здесь ни петь, ни плакать, ни громко говорить.

Сотни воинов стояли в других частях дворца, в сердце Тимуровой столицы; сотни отборных испытанных воинов, но мало кто догадывался, сколько их там и есть ли они там.

Синий Дворец над Самаркандом стоял молчаливо, хмуро, чем-то похожий на своего хозяина, и без крайнего дела сюда никто не ходил.

В нескольких богатых, мрачных залах иногда останавливался Тимур принимать знатных, но докучливых людей или своих подданных, недостойных посещать его сады и нарядные жилые дворцы.

Тимур здесь разбирал мелкие дела, городские нужды, а верховный судья принимал здесь жалобы и вершил суд.

Когда дед пошел в приемную залу, царевичи сошли в сад, зажатый стенами старых зданий, уцелевших от прежних, издавна стоявших здесь дворцов, пропахший конюшнями и мусорными ямами сад.

Редко приходилось прохаживаться по этому саду.

Улугбек шел, взявшись за руку с Ибрагим-Султаном. Вдоль дорожек торчали, как мечи, листья ирисов, давно отцветших. Ирисов в садах не любили сажать, их считали кладбищенскими цветами и опасались; ходило поверье, что вслед за ирисами в дом идет смерть. Но во дворце, где столько жило и умирало людей, никому неведомых, сам амир редко жил, и поэтому садовники решились посадить прекрасные лиловые цветы, воспетые еще в древних песнях, столько раз украшавшие миниатюры гератских живописцев. Теперь лишь над редкими кустами желтели, как клочья истлевшей бумаги, остатки давно увядших цветов.

Но с персиковых гибких веток свешивались белые, зеленоватые и желтые плоды, покрытые мягким налетом, окруженные зелеными кудрями длинных листьев.

Под одним из деревьев мальчики увидели своего старшего брата Мухаммед-Султана, пригнувшего ветку и выбиравшего с нее самые спелые, мелкие, почти белые персики.

Мальчики остановились, не решаясь мешать своему взрослому, давно женатому брату. Но он крикнул:

— Иди сюда, Улугбек! Ибрагим!

Они подошли. Он протянул им на ладони теплые, маленькие, пушистые плоды:

— Такие только здесь растут. А я их люблю. Откуда их сюда завезли, не знаю. Хотел у себя посадить, садовники таких нигде не нашли.

Ибрагим ответил так же хозяйственно, как говорил старший брат:

— А почему садовники не возьмут отсюда черенки для прививки?

Ибрагим дружил с садовниками, вникал в их дела и предпочитал их общество обществу придворных вельмож, которых побаивался.

Улугбек сказал:

— Я люблю гладкие, зеленые, без пушка!

Ибрагим, между тем, облился соком:

— Очень вкусно.

— Мухаммед-Султан щелчком стряхнул опаловые капельки с его халата и ответил:

— Тех везде много, без пушка. А Пушка видели?

— Пушка?

— Это армянин, у которого пропали кожи. Мне его показали

у судьи — он весь распушился, халат распахнул, грудь волосата, как у барана, глазами ворочает, как шальной, а я смотрел и думал: ты ворочаешь глазами, а я знаю, где твои кожи! Очень смешно.

— Откуда же вы знаете? — почтительно полюбопытствовал Улугбек.

Тимур строго соблюдал в семье неписаные обычаи своего джагатайского рода. Младшим сыновьям или внукам прививалось безропотное почтение к старшим братьям: старшие братья считались наравне с дядьями; обращаться к ним следовало со смирением и послушанием.

Из многих внуков Тимура Мухаммед-Султан был не только старшим внуком; был он старшим сыном старшего сына, Джахангира, умершего давно, лет двадцать назад.

Не младшим сыновьям, а сыну старшего сына оставлял состарившийся Тимур после себя свое место в мире. И весь народ давно знал об этом решении повелителя; и войска знали, и военачальники, и вельможи, и жены Тимура со всеми их внуками, и если не всем это казалось справедливым, всем оно казалось непреложным. Да и сам Мухаммед-Султан, простой, приветливый, безбоязненный в битвах, не раз отличавшийся беспримерной отвагой, решительный в своих действиях, нравился воинам и устрашал врагов.

Чтобы приучить народ к этому внуку и чтобы сыновьям не вздумалось оспаривать у племянника право на старшинство, Тимур приказал еще лет пять назад отчеканить деньги с именем Мухаммед-Султана, и они уже давно потекли по рукам народа.

Сыновей у Тимура осталось мало — только двое еще жили — Мираншах и Шахрух.

Но внуков у Тимура росло немало, хотя родство их между собой очень перепуталось: из сыновей старшего сына, Джахангира, выросло двое — Мухаммед-Султан и Пир-Мухаммед. Но, родные по отцу, они родились от разных матерей. От одной матери с Мухаммед-Султаном родился Халиль-Султан, хотя от разных отцов. Но отцы их оба были сыновьями Тимура — Джахангир и Мираншах; после смерти Джахангира его жен и его имущество Тимур отдал другому своему сыну — Мираншаху. Улугбек с Ибрагим-Султаном оба родились от Шахруха, родились в одном и том же году, почти в одно время, но от разных матерей — Улугбек от Гаухар-Шад-аги, джагатайки, дочери Гияс-аддина Тархана — ее предок спас жизнь Чингиз-хана, и весь род ее чванился этой заслугой, — а Ибрагим-Султан родился не от жены, от наложницы, персидской царевны, красавицы, которую старая царица Сарай-Мульк-ханым называла не по имени, а кличкой Перстенек. Были у Тимура внуки и от его сына Омар-Шейха — восемнадцатилетний Пир-Мухаммед, тезка старшего брата, и пятнадцатилетний

Искандер, названный в честь Александра Македонского, о чем Искандер часто напоминал не только сверстникам, но и вельможам, когда удавалось к слову сказать: «мой тезка — македонец». Даже Султан-Хусейна, внука от одной из своих дочерей, Тимур растил у себя.

Для деда все они были родными внуками, и среди них Тимур отдыхал, ради них напрягал свои силы для новых походов, для новых завоеваний, расширяя землю, чтобы внукам его было просторно среди ее богатств и раздолий.

Дед строго следил за царевичами, малейшую их ссору кропотливо разбирал сам. Он хотел, чтобы все они стали сильными владыками больших и славных стран, разных областей, но единого государства, словно возможно разделить себя на несколько частей, разбросать самого себя по разным странам, а в нужный час вновь слагаться в единое тело, грозно вставать прежним, могучим, вечным хозяином мира — Тимуром.

Царевичи стояли под персиками, и Улугбек любопытствовал:

— Откуда же вы знаете? Ведь сегодня двоим отрубили головы за то, что они ничего не сказали.

— Наоборот, им отрубили головы, чтобы они нечего не сказали.

— Не понимаю.

— Ведь кожи у дедушки!

— Но воровали эти злодеи!— возразил Улугбек.

— Если б воровали они, кожи были бы у них, а ведь кожи у дедушки!

— Тогда за что же их убили?

— Не убили, а наказали. Сабля знал такое, чего простому человеку не надо знать. Чтобы не болтал, его сперва заперли, но потом его надо было куда-то деть! К тому же надо было всему базару показать, что ворам у нас нет пощады, а где взять воров?

— А другой?

— Тоже мог наболтать лишнего: его впотьмах прихватили вместе с кожами.

В разговор вмешался Ибрагим:

— Лицо у этого Сабли было очень глупым.

Улугбек засмеялся:

— Неизвестно, как бы ты сам выглядел на его месте.

— Не знаю: в нашем роду еще никто не умирал от сабли.

— А дядя?

— Дядю Омар-Шейха курды убили не саблей, а пронзили стрелой.

Мухаммед-Султан, опасаясь соком персика закапать халат, вытянул вперед длинную шею и губами стаскивал с персика кожицу. Стоя так, он подтвердил:

— Это правда: пробили стрелой.

Тем временем Тимур, сидя в небольшой зале, спрашивал своего казначея:

— Запасов войску надолго хватит?

— Индийских?

— Всех.

— Взятого из Индии до осени вполне хватит.

— Всех, спрашиваю! Всех! — закричал Тимур, раздраженный, что казначей его амир Курбан не отвечает прямо.

— До осени!..— оробев, бормотал амир.

— Где же годовой запас?

— Войск слишком много.

— Не твое дело, сколько; их столько, сколько мне надо! Где годовой запас?

— Я берусь прокормить до весны...

— Не ты кормишь, я кормлю. Твое дело беречь, когда тебе велели беречь. Где запас?

— Все цело! Все цело! — пятясь, бормотал амир, видя, как Тимур встает, глядя в упор, куда-то между его глазами.— Пускай проверят. Все цело!

— Взять! — крикнул Тимур, и слово это сверкнуло, как сабля, над головой амира Курбана, и на мгновенье Курбан замер, сомневаясь: не отсек ли ему голову Тимур.

А Тимур уже говорил твердым, негромким, но далеко слышным голосом:

— Эй, Эгам-Берды-хан! Проверь все склады. Чтоб завтра знать счет каждому зерну, каждому лоскуту, чего сколько и где что лежит. И оружие проверить, и все припасы. Пускай люди считают хоть ночь напролет: я отсюда не уеду, пока не сосчитаете всего. А этого Курбана не выпускать. Пускай ждет, чем счет кончится. Ступайте!

К вечеру Тимур устал.

Он полежал в небольшой зале с дверями, открытыми в сад. Младшие царевичи, ходившие смотреть лошадей, проходили под деревьями.

Он подозвал мальчиков и отпустил:

— Поезжайте-ка домой. Надо вам доехать, пока не стемнело. Возьмите охрану покрепче: мало ли что случается в дороге.

Сам редко брал большую охрану, но внуков рачительно берег, опасался за каждого.

Когда мальчики ушли, приказал:

— Приведите ко мне армянина.

— Кожевенника?

— Был кожевенник, а кем будет, увидим.

Пушок за эти немногие дни не раз переходил от светлых надежд к черному отчаянию.

Он расхаживал по всему двору в спустившихся толстых чулках, забывая надеть туфли; в халате, накинутом на плечи, нечесаный, не понимая, ждать ли, что кожи найдутся, или ждать уже нечего. Оставалось, как бродяге, идти пешком в Бухару, где торговали знакомые армяне, земляки, просить их помощи. Но когда идти и как? Ночью — сожрут шакалы. Ему казалось, что шакалы с их плачущим воем неодолимы. Многими опасностями пренебрегал, а шакалов очень боялся. Днем — идти жарко: жару он привык пережидать в холодке...

Мусульмане, считавшие предосудительным выражение горя, ибо все происходит по божьей воле, пренебрежительно отнеслись к Пушку: надлежит покориться судьбе, а не хвататься за волосы,— как себя за волосы ни тяни, голову из беды не вытянешь.

Армяне, уважавшие удачливых, изворотливых людей, стыдились за Пушка, в столь неприглядном виде представлявшего армянское купечество.

Больше никто не шел к нему ни с искренним сочувствием, ни с вежливым утешением.

И вдруг, уже перед вечером, на постоялый двор вошел царский скороход с повелением Пушку незамедлительно явиться в Синий Дворец.

— Нашлись кожи?— очнулся Пушок.

— Приказано звать вас, почтеннейший. Зачем и к кому, знать не приказано.

Предшествуемый скороходом, перед которым расступался весь базар, сопровождаемый тремя джагатайскими воинами для охраны, Пушок последовал в Синий Дворец.

Его провели через опустелые гулкие залы, и армянин, переступив страшный порог, обомлел и замер у двери.

— Ты что же, в Самарканде гнилье думал сбыть?— крикнул Тимур.

— Виноват, великий владыка!

— Я берегу Самарканд, чтоб тут дрянью торговали? А?

— Но часть хорошей была...

Однако Пушок увидел глаза Тимура и добавил:

— Часть, правда, залежалась.

— Залежалась! И пускай бы лежала в Бухаре. В Трапезунт бы вез, в Багдад, там торгуй, твое дело. А ты норовил меня обмануть! А?

— Виноват, великий владыка! Откуда ж я мог знать, что вы сами захотите их купить.

Голова Тимура отшатнулась:

— Я? Купить? И не думал. О другом речь: нельзя на самар-

кандский базар гнилье везти. Слух пойдет, худая слава пойдет по свету о самаркандских товарах. Ты подумал об этом? Ты чужеземец, тебе все равно. А мне не все равно: я тут. Вот о чем тебе говорят.

Пушок робко и не без горечи напомнил Тимуру:

— Теперь мне уже нечем торговать.

— То-то. Говорят, хороший купец, а плутуешь!

Эти слова ободрили Пушка:

— На то и торговля.

— Плутуй в другом месте; в Самарканде нельзя.

— Впервые такая беда.

— Кто много по дорогам ходит, нет-нет да и споткнется. Кто взаперти сидит, тому спотыкаться негде.

— Так споткнулся, великий владыка, что и голову поднять сил нет.

— Деловой голове валяться обидно.

— Очень обидно, да встать-то как?

— Сразу не встанешь, а подниматься надо.

Тимур опустил лицо, но исподлобья, испытующе глядя на Пушка, деловито спросил:

— Кроме кож, чем торговал? Куда ездил?

— Вдалеке бывал. Еще с отцом случилось побывать в святом городе Константинополе; много раз в Орду ездил; доводилось доходить до Москвы.

— Что возил?

— Разное, кому что!

— А Москве?

— Здешние товары. Винные ягоды, кишмиш, персики сушеные, шелка, рис. Изделия здешних мастеров хорошо берут — чеканные кувшины, хорошие сабли, изукрашенные. Оружие любят.

— А оттуда что брал?

— Меха: соболей, белку серую, горностая, куницу, бобра, зайцев крашеных; рыбий клей, лесные орехи. Мечи. Кольчуги там хороши.

— Очень хороши!— одобрил Тимур. Армянин ему понравился.

— Теперь их там не добудешь!

— Кольчуг? Почему?

— Самим, говорят, надобны.

— Вот, смекни, можешь ли повезти туда индийский товар? Хороший. Чтоб славу нашу не уронить.

— Откуда ж товар взять? Не на что.

— А проехать сумеешь?

— Орда, как затычка, на пути. Но с перевалкой в Сарае да при сговоре с сарайским купечеством пробраться можно. Провез бы, да на товар мощи нет.

— Дам. Тебе покажут, отберешь. Вези. А назад ехать соберешься — изловчись, закупи кольчуг. Не добудешь кольчуг, вези меха. За кольчуги, если привезешь, сам поблагодарю.

— Мне и в залог оставить нечего, и на дорогу ничего нет.

— То-то. Через неделю купцы готовят караван в Орду, с тысячу верблюдов. Из них сотню завьючишь ты. Управишься за неделю?

— Да хоть за час!— пьяным голосом взвизгнул Пушок.

— Сто верблюдов, двести вьюков. Цени доверие. Не обманешь?

Армянин, как во хмелю, только руками разводил.

— На дорогу дадут. На сборы сейчас получишь. Залог не возьму: тебе нечего дать, мне нечего опасаться. Обманешь — меня не обойдешь, куда денешься?

Тимур улыбнулся своим мыслям: кто станет его обманывать? Есть ли место, куда не дотянулась бы его карающая рука? В Москве спрячется? А на что он ей нужен?

Оставалось лишь договориться о доле Пушка в этом деле: был Пушок купцом, стал приказчиком. Не он первый: Тимуру нужны оборотистые купцы, что залежалую кожу ловчат в золото перевернуть, такие сумеют вывернуться.

На постоялый двор Пушок вернулся без охраны. Но перед ним и без охраны расступались: голова его бойко поднялась, борода закурчавилась, плечи расправились, и снова ступал он по базарной улице мягко, как по коврам шел.

Едва вернулся, велел кашгарцам готовить целого барана на всех гостей, стоявших на этом постоялом дворе, а сам пошел в Кожевенный ряд.

Он зашел в маленький караван-сарай и увидел Мулло Камара, уединенно поглощавшего вареный рис из глиняной чашки.

Чашку Мулло Камар тут же отставил и, вытирая платком руки, встал:

— Милости просим! Возвратились?

— Сейчас вернулся.

— Доброе дело!

— Пришел вас просить к себе: барашка со мной разделить.

— Благодарствую.

— К тому же серебряный образок прошу возвратить, полноценную деньгу вам принес. Свежий чекан.

— Образок? Вы же не в залог его дали, образку хозяин я.

— Мусульманину он бесполезен, а мне дорог.

— Красивая вещь.

— Хорошая. Вот вам деньга, прошу.

— Кто же за одну деньгу продаст такую вещь? В ней одного серебра денег на пять. А работа? К тому же древняя вещь. Дороже десяти стоит.

— Однако вам она досталась дешевле!

— Я ее не крал, обманом не выманивал. Дали ее мне взамен деньги, а теперь я к ней привык, она мне дороже стала.

— Десять — это много.

— Десять — это своя цена. Я не сказал, что отдам за десять. Цена ей пятнадцать. Берете?

— Покажите.

— Да вы на нее всю жизнь смотрели — забыли?

— Покажите!

— Пожалуйста.

Мулло Камар сходил в келью, порылся в кисете и вынул оттуда византийской образок с награвированным искусной рукой барашком, лестницей, с какими-то неизвестными надписями на обратной стороне:

— Вот он!

— В него, однако, была ввинчена золотая петелька, чтоб подвесить.

— С петелькой я его и за двадцать не отдам,— золото!

— Пятнадцать даю.

— Меньше двадцати не возьму.

— Давайте!

За эту цену не только византийского барашка, гурт живых можно было купить. Но не пускать же по свету материнское благословенье!

Образок возвратился на свое потайное место на армянской груди.

Пушок собрался идти. Мулло Камар спросил:

— Друзья-то когда у вас соберутся?

— Какие?

— Вы же пришли звать меня барашка кушать.

— Ладно, пожалуйста. Пойдемте.

Они пошли через Кожевенный ряд, но армянину не о чем стало говорить с купцом. Они шли молча, поглядывая на затихающую в сумерках торговлю.

— Кож-то нигде не видно!— сказал Пушок.

— Придерживают,— согласился Мулло Камар.

— Я теперь кожами не торгую!— не без гордости проговорился Пушок.

— И слава богу: меньше гнилья у нас будет.

— Откуда вы знаете?— растерялся Пушок.— Вы же за глаза брали?

— Откуда?— Мулло Камар пожевал губами, не спеша отве-

тить на опасный вопрос.— Откуда? Да все оттуда же: Сабля-то признался, а мне верный человек донес.

— Сабля не признался! В том-то и дело!

— Сабля-то? А откуда ж бы я знал?— не отступил Мулло Камар.

— Не весь товар плох был. Были и хорошие.

— Сохранил меня бог: чуть-чуть не разорился!

Теперь потупился Пушок, огорченный, что приходится говорить о таком неловком деле:

— Кто ж виноват? Надо было сперва на товар взглянуть, а тогда и цену давать.

— Слава богу, не успел получить товара. Да видите: я не обидчив, согласился вашего барашка отведать, к вам в гости иду. Нет, не обидчив.

Опять помолчали.

Пушок миролюбиво полюбопытствовал:

— Вы что же, через неделю?

— Через неделю идем.

— Мы тоже.

— Далеко?

— Трапезунт.

— Кожи?

— Нет, индийский товар.

— Тоже?

— Слава богу! Повезем.

Едва они вошли в ворота постоялого двора, их, низко кланяясь, встретил оживленный Левон:

— Пожалуйте. Все готово.

Запахи, сладостные, как песни райских птиц, охватили их среди веселого щебета кипящих в масле пряностей и приправ.

Длинный ковер протянулся вдоль двора. Длинная скатерть белела, расшитая синими китайскими письменами. Стопки лепешек уже высились по краям скатерти, и кашгарцы распоряжались в углу двора у пылающих очагов, над котлами.

Из келий выглядывали постояльцы, нетерпеливо принюхиваясь к кашгарской стряпне.

Солнце меркло.

Левон готовил фонари, протирал их и прилаживал светильники.

Вскоре над длинным рядом людей, восседавших за угощением, уже горели фонари, подвешенные на крепком канате, освещая обломки лепешек, руки, блестящие от жира, смуглые куски мяса, густую зелень лука, белые, красные груды овощей и плодов.

Из глиняных кувшинов в плоские чашки наливали вино, казавшееся черным. Армяне говорили о дружбе, которая скрепляет лю-

дей воедино и укрепляет их стойкость против встречного ветра, а ветер всегда дует, пока караваны идут из края в край.

Вздыхая, с дрожью в горле, будто после плача или после обиды, Пушок слушал доброжелательные слова гостей.

Каждый из них был ему опасен. Каждый купец опасен купцу, когда у купца есть деньги или хороший товар. Но Пушок пил, как родное вино, мирные рассказы о дальних торговых городах, где доводилось бывать этим людям. Одни из них хвалили покупателей Генуи; другие, не скрывая превосходства, признавались, что здешние свои закупки везут в Венецию. Этим предстояло в одном караване с Мулло Камаром идти до Трапезунта. А оттуда они сядут на корабли, поплывут мимо анатолийских разбойничьих берегов до Конста́нтинополя, а может и дальше поплывут морем. А Мулло Камар?

Мулло Камар, которому выпитое вино придавало молчаливость, неохотно дал понять, что часть товара попробует провезти до Египта.

— А турки?

— Я сказал: попробую. Я не говорил «провезу».

— А разграбят?

— В другой раз попробую.

— Опять разграбят.

— Узнаю, где обходить надо — в третий раз пойду.

— А зарежут?

— Я мусульманин. Не зарежут. Оберут да и отпустят.

— Разоренье хуже ножа!

— Товару хватит. Была б дорога!

Армяне на мгновенье смолкли: не боится разоренья? Сильный купец! Один из сидевших рядом пошутил:

— Мусульманин, а пьете вино.

— Вино? Это виноградный сок!

Купцы смеялись.

А он, захмелев, глядел на вспотевших, волосатых, кричащих людей и думал:

«Шум какой!»

И опять думал:

«Знали б, чей товар везу — знали б, что нас разорят. Мы этих турков легче разорим. А у нас сотню верблюдов захватят — мы взамен тысячу поведем! Вам — верно; вам — страшно: ударит волна по кораблику и — буль-буль — пошли ваши закупки в пучину черноморскую. И конец вам. Пойдете по Константинополю просить в монастырях кусочек хлеба. Многие побираются там, а такими ж были, как вы сейчас. А нам не страшно! У нас...»

— Что везете?— спрашивал, придвинувшись, старый армянин с бородой, выкрашенной в огненно-красную краску.

Мулло Камар думал: «Рассчитывает, что я опьянел».
И спросил простодушно:
— В Трапезунт?
— В Египет.
— Рис.
Армянин выпучил огромные, обросшие волосами глаза.
— В Египет? Там рису, что ли, нет?
— Есть, да не такой.
— А...— отодвинулась красная борода, поняв, что Мулло Камар ни во хмелю, ни в огне правды не скажет.
А Пушок ласково, с любовью смотрел на гостей: всю жизнь встречаются они одни с другими где-нибудь, то на постоялых дворах, то на базарах. Встречаются, опасливо, пытливо, настороженно приглядываются один к другому, при случае перебивают выгодное дело друг у друга, снова расходятся в разные концы дальних дорог на долгие годы; снова сталкиваются на чутком ночлеге, разглядывая один в другом перемены, расспрашивая допоздна о событиях в покинутых городах — и опять забывают друг друга, едва звякнет колокол каравана и верблюды поднимут на горбах заветную поклажу в новый путь.
И опять идут караваны.
Народы и языки сменяют друг друга.
Шумят и остаются позади базары, а караваны идут, идут мимо развалин городов, где базары надолго отшумели.
Проходят между песчаных барханов, где песок струится, как морские волны по отлогому берегу.
Проходят мимо огороженных, как крепости, полей, где люди пашут или сеют.
Идут мимо полей, где собирают урожай.
Идут мимо нищих хижин в нищих селениях, где всегда какие-то женщины плачут и кричат, а оборванные старики молчат и смотрят искоса неподвижными глазами. Смотрят, как проходят караваны и проносят в далекие города, в чужие страны многое из того, что добыто на этой земле, многое из того, без чего нет не только радости, а и жизни на этой земле.
Проносят караваны мимо, в далекие края, то, чего никогда не оставят в этих нищих селениях, где людям нечем платить.

Шестая глава

САД

Караван шел медлительной, вечной поступью сквозь сухую степную тьму. Ночь кончалась. Звезды тускнели.
На длинных переходах между караван-сараями, вдоль торговых путей в стране Тимура стояли коренастые глиняные стороже-

вые башни, где на гладких крышах в темные ночи стража разводила огни.

Тлея, дымясь, светился кизяк малиновым жаром и, приметив его путеводный свет, увереннней, смелей вели вожатые за собой караваны, хотя и без того каждый знал, что торговые пути в землях Тимура безопасны.

Впереди каравана на осле, на мягкой подстилке, восседал староста каравана, за ним ехали его караванщики, за караванщиками — охрана, за нею купцы, а за купцами, подоткнув под себя аркан, свисавший из ноздри головного верблюда, ехал караван-вожатый.

Караван-вожатый порой затягивал тягучую древнюю песню, но и, певши ее, привычным ухом прислушивался, как ровно позвякивает колокол под брюхом заднего верблюда, а чуть собьется, чуть дрогнет его размеренный звон, и сердце вздрагивало: нет ли беды в караване?

Ночь кончалась.

Впереди, на башнях, успокоительно дотлевали костры. Осталась в стороне темная груда глиняных деревенских строений, где, видно, все спали, а может и вымерли: даже псы не залаяли.

И снова безлюдная ночная степь охватила караван со всех сторон.

— Деревню Курган прошли,— сказал, будто себе самому, вожатый.

Никто не отозвался: дремали на своих ослах караванщики, дремали в стеганых халатах купцы, дремал певец, нанятый купцами для утехи в долгой дороге, мирно дремали охранники, ибо дороги в землях Тимура безопасны.

Лишь Геворк Пушок сквозь дремоту приоткрыл глаза, солидно сидя на крепком, резвом осле. Приметив, что уже расплывается синим дымком по степи предрассветная прохлада, плотнее запахнул свой белый шерстяной чекмень и опять задремал, уставший от дневных разговоров с попутчиками.

Теша свою гордость, вдосталь наговорился Пушок с попутчиками, и, из снисходительного расположения к ним, каждому к слову успел намекнуть, что товар он везет ценнейший, а хозяин у него знатнейший, чтоб все в караване разумели, что, мол, не простой купец едет, не залежалые кожи везет, не в короткую поездку выехал, а на широкий торговый простор. Но бывалые попутчики и без тех намеков еще в Самарканде смекнули, чья это сотня верблюдов столь завидно завьючена в дальнюю дорогу.

Дальняя дорога Геворка Пушка только-только начиналась. Еще самому ему темны ее предстоящие повороты, ее подъемы, кручи и пропасти.

Из Самарканда вышли затемно.

Зной переждали на знакомом дворе Кутлуб-бобо, а как жара спала, снова вышел караван на свой путь.

Сперва слушали певца, идя среди степи, поросшей голубой иссохшей травой. В стороне оставались то сады, где вдруг мелькала змейкой воркотливая струйка ручья, то придавленные к земле глиняные мазанки деревень.

Устав от певца, разговаривали: Пушку никак не молчалось. Всю дорогу набухали в нем и распирали его всякие утешительные мысли о начатом долгом пути, о базарах, что шумят в далеком далеке впереди, о хитрецах, что потщатся выманить у купца за бесценок товары да наколются на стойкую выдержку Пушка...

А когда говорить устали, совсем уже смерклось, и снова запел певец, сеча струны острыми пальцами.

В темноте пропустили встречный большой караван из Суганака...

«Так же вот и Мулло Камар где-то сейчас шествует по своей стезе!»— подумалось Геворку Пушку.

Незаметно купцы и певцы смолкли, предавшись дремоте, и лишь тяжелая кость бессонно бултыхалась внутри плоского колокола, качавшегося под брюхом заднего верблюда: мерно, будто сердце, билась кость о гулкую медь.

Достигал этот звон темных деревень, да мало кто внимал ему в ночное время; земледельцы, намаявшись за день, спали на ветерке, на глиняных кровлях, втащив следом за собой и лестницы, чтоб не коснулся их сна никакой чужой человек.

Лишь те, кому случилось в ту ночь поливать поле либо караулить виноградники, могли, вслушавшись, понять по звону,— велик ли караван, тяжело ли навьючен, по какой дороге идет.

Но никому здесь не было дела до караванов: какое дело крестьянам, куда идут и что несут эти, невидимые в ночи, молчаливые верблюды. Лишь на краю одной из деревень, не на крышах лежа, а на теплой, черствой, пахучей земле, вслушивались люди в поступь этого каравана.

И один из лежавших хриповато спросил:

— А те ли это?

Задыхающийся голос ему отозвался:

— Я за их звоном до самой стоянки шел. Они на стоянку стали, а я сюда дошел,— звон их помню.

— Верно ли?

— Я звон их помню — те самые.

— Гляди!..

И замолчали.

И молчали, пока караван, почти что над ними, проходил медлительной, вечной поступью сквозь сухую степную тьму.

Тимур, не поднимая головы, приоткрыл глаза. В комнате было

темно и душно, но вверху, под потолком, через каменную резьбу слухового окна уже сквозила предрассветная синева.

Он лежал во тьме, будто на дне ямы.

Светильники не горели: он не любил, когда рассвет пробивался сквозь пламя светильников; Тимур любил, когда рассвет приходил из ночной тьмы.

Протянув руку к пышным душистым одеялам, Тимур потрепал по бедру девушку, спавшую здесь эту ночь:

— Выспалась?

Но девушка крепко спала.

Он дернул туго завязанный пояс ее шаровар:

— Вставай! Утро идет.

Она сразу проснулась, но не откликнулась, обомлев спросонок. Он быстро поднялся на ноги и стоял, широкой ладонью разглаживая слежавшееся лицо, а она еще не решалась шевельнуться, ожидая, что он может опуститься к ней.

Стоя, он повторил нетерпеливо, досадливо:

— Вставай, вставай.

Она вскочила, зазвенев украшениями, надетыми на нее с вечера, подтянула пояс и, удивляясь, что он так и остался не развязанным, воскликнула:

— И!?

Нашаривая свой халат, он торопил ее:

— Ступай!

Но в темноте она не могла разобрать, где та дверца, через которую ее ввели вечером, и куда теперь надо уйти.

Она переминалась, не умея скрыть ни своей робости, ни своего удивления, все еще ожидая от него других слов.

Это ее замешательство или удивление смутило Тимура. Не глядя ей в глаза, он привычной рукой подтолкнул девушку к двери:

— Поспала и будет. Иди!

Она побежала за дверь, быстро-быстро стуча по ковру резвыми пятками, а он, волоча за собой халат, вышел в соседнюю комнату.

Здесь уже чуть брезжил свет. С обычного места Тимур поднял высокий, узкогорлый кувшин, взяв его, как гуся, за шею, и присел над мраморной плитой, вложенной в пол.

Вода из кувшина заструилась, утекая через норки, невидимые на сером квадрате плиты.

Холод воды освежил и ободрил тело, но удивление ушедшей девушки омрачило ему удовольствие от омовенья.

Он мылся, сидя на корточках; не вставая, вытерся; с досадой кинул на пол полотенце; захватив халат, встал и порывисто всунул в рукав неживую правую руку.

Такую досаду случалось ему переживать, когда какой-нибудь непокорный город или какой-нибудь самонадеянный князишка сомневались в его силах, медлили с изъявлением покорности.

Он задумался:

«Какая там непокорность! У наложницы! Чем она раздосадовала? Удивилась, ждала...»

Его раздумье прервал привратник первой двери амир Мурат-хан, брат царевны Гаухар-Шад.

Едва заслышав плеск воды, он встал в соседней комнате, где спал, по обычаю, на одеялах, постеленных вдоль порога. Постояв за дверью, он выждал положенное время и вошел к Тимуру, говоря:

— Близится время первой молитвы, государь.

Тимур, как всегда, пропустив мимо ушей напоминание о молитве, спросил:

— Ну, что там?

Мурат-хан помог Тимуру натянуть халат на здоровую руку и напомнил:

Великая госпожа ждет вас, государь.

Еще вчера Тимур дал согласие утро провести у Сарай-Мульк-ханым: ей хотелось о чем-то поговорить с ним.

— Распорядись одевать.

Привратник вышел, чтобы прислать слуг.

Стоя возле высокого опустевшего кувшина, Тимур опять задумался:

«Удивилась? Но чем это меня так досадует?..»

Слуги внесли свежие халаты, и опять его раздумье прервалось.

Он хмурился, пока на его руки натягивали халаты, и велел опоясать себя широким ремнем. Этот пояс, украшенный большими золотыми бляхами вперемежку с кольцами, усаженными рубинами, он надевал, когда сердился на кого-то или намеревался раздавить своим гневом провинившегося.

Вскоре по всему дому и по всему саду уже шептались:

«Сегодня повелитель суров».

Многие из вельмож, ждавшие, чтобы обратиться к нему по своим делам, заспешили, не глядя по сторонам, к коновязям, чтобы затемно, пока Тимур не заметил их, убраться отсюда: сохрани бог попасть на глаза повелителю, когда он суров. В подобные дни он, случается, такое припомнит, о чем, казалось, давно позабыто,— память на всякое зло у Тимура не ржавела десятками лет.

Он прошел в комнаты великой госпожи.

Этот дворец поставили и сад Дилькушо разбили всего два года назад для другой жены Тимура, для Тукель-ханым, на которой он тогда женился.

Тукель-ханым, дочь Хызр-Ходжи-хана, она, как и Сарай-Мульк-ханым, была из прямых правнучек Чингиза, и в знак уважения к ханскому достоинству своей невесты старый Тимур сам выезжал ей навстречу до Чиназа и ждал там, пока ее везли по степи из Моголистана.

Ожидая ее там, он съездил в Ясы поклониться могиле святого хаджи Ахмеда Ясийского и взглянуть, как подвигается возведение гигантской усыпальницы над святой могилой.

Дождавшись Тукель-ханым, он привез ее в этот сад и подарил его ей.

Она стала второй хозяйкой в гареме, первой после великой госпожи Сарай-Мульк-ханым. Остальные жены отодвинулись, уступая место этой шустрой, деловитой, гнусавой девчонке.

Она получила звание меньшей госпожи. Но в ее дворце несколько богатых комнат было отведено великой госпоже, а в саду на самом красивом месте великая госпожа поставила свой шатер, расшитый золотом, вытканный в Китае, самый высокий из шатров сада. И только у великой госпожи было право приглашать мужа или обращаться к нему в любой день. Все остальные жены, а во главе их и меньшая госпожа, смирно ждали предназначенных им дней. И лишь в случае особо важном могли обратиться к мужу, однако не иначе, как через великую госпожу.

Тимур прошел в небольшую залу, где встретила его, покорно кланяясь, посреди бархатного ковра, вся украшенная драгоценностями, но босая, седая, проворная Сарай-Мульк-ханым, которую вслед за внуками, во дворце, да и в народе, уже давно звали госпожой бабушкой,— Биби-ханым:

— Здоровы ли, государь?

— Благодарствую. А ты как?

Под распахнутым верхним халатом она увидела застегнутую пряжку широкого пояса. Муж давно уже встречается с ней при застегнутом поясе, в знак того, что здесь халатов снимать не намерен.

И она снова поклонилась ему.

Они прошли в прохладную залу, где через все окна, настежь раскрытые в сад, доносились голоса птиц,— там наступало утро, и в этот миг какая-то горихвостка восславила звонкой россыпью то жемчужное мгновенье, когда воздух уже расплавил синеву рассвета, но еще не покорился румянцу зари.

В зале чувствовался запах чада: видно, когда готовили эту залу, здесь горели светильники, но их погасили и унесли — все знали: он любил спокойный приход утра из предрассветной мглы.

Он сел у стены напротив окон, на узкое одеяло. Жена заложила ему за спину пышную подушку; шелк заскрипел, когда он привалился к подушке, и жена тут же положила другую ему под локоть; шелк этой подушки зашелестел под ним.

Храня свежую утреннюю тишину, старуха молчала. Молчал и Тимур, глядя, как за окном неподвижно стоят густые деревья, еще темные от росы. Их стволы снизу были обложены китайскими изразцами, и казалось, что раскидистые, большие деревья растут из стройных голубых ваз.

Едва Сарай-Мульк-ханым слегка хлопнула в ладоши, вбежали рабыни и застелили ковер тяжелой скатертью. Поверх тяжелой постелили легкую, пеструю. Принесли блюда и чаши, а в них — лишь то, что ел по утрам Тимур,— холодную баранину, обжаренную до смуглоты, а к ней — ансурийский лук в уксусе и головку молодого чесноку, холодную дичь, горячих лепешек и чашку свежих, подернутых пенкой сливок.

Лишь когда рабыни ушли, Тимур разорвал лепешку и макнул в густые, как масло, сливки.

Тогда жена заговорила с ним о новостях гарема, о внуках.

Ему от нее было привычно слышать похвалы Халиль-Султану и Улугбеку,— еще бы: ее любимцы, ее питомцы! Так Туман-ака похваливает своего питомца — Ибрагима, приукрашивая его успехи в сочинении стихов.

Но об Улугбеке Тимур знал и от своих проведчиков, поэтому верил жене.

Уже не первый год радовал внук бабушку успехами в письме,— писал, как самый искусный писец.

— Письму его азербайджанец учил, который новым почерком пишет, этот самый Мир-Али, которого вы привезли из Тебриза. Он тут вроде падишаха среди писцов. Я ему и приказала учить мальчика почерку. А теперь учителя хвалят его любознательность в науках.

— Улугбеку муллой не быть!— сказал Тимур.

— Лошадей любит,— возразила она.

— Надо его к охоте приохочивать.

— Его Халиль завтра звал на охоту. Да не знаю, соберутся ли?

— А почему бы не собраться?

— Мы ведь гостью ждем.

Тимур промолчал, чтобы не выдать своей досады: гостья едет, а ему еще ничего не донесли о том. Теперь, хмурясь, он не знал, о ком говорит жена. Чтобы скрыть свою неосведомленность, снова взял ломтик лепешки и, макая ее в сливки, ел.

Но и Сарай-Мульк-ханым замолчала, ожидая, как отнесется он к известию о приезде снохи.

— Думаешь, гостья охоте помешает?

— Да ведь — мать; как уедешь?

«Мать? Чья? Гаухар-Шад, мать Улугбека, находилась при Шахрухе на юге; Севин-бей, мать Халиль-Султана, находилась

при Мираншахе, на западе. Какая из них прибывает? Что случилось? Зачем?»

— Гостья?— переспросил он.

— Хан-заде едет; ночью от нее гонец прибыл.

«Обе они ханские дочери, обе — хан-заде...»

То, что об этом приезде жена узнала раньше, чем он сам, рассердило его. Новая досада крепко приросла к прежней досаде: эта старуха никак не угомонится, везде у нее — нюх и слух. Ее, пожалуй, во дворцах больше опасаются, чем его самого: он ведь не может всех мелочей знать, а она знает все и все помнит. И знает, какую новость как повернуть для своей выгоды. При дворе его боятся, а ее опасаются; ей спешат угодить прежде, чем ему!

«Хан-заде?— думал он, снова и снова макая лепешку в сливки.— Что могло случиться? Где? На юге, на западе?»

Он поднял голову и взглянул на старуху. Он встретил приветливый, без обычного лукавства, ее темный взор.

— А что у вас толкуют об этом?

— Скачет сама по себе, видно — не с доброй вестью. Никто ее не звал. Зачем? Гадать — гадаем, а разгадки нет?

— Где она?

— Ночует в караван-сарае Кутлук-бобо. Днем тут будет.

Он оживился:

«В Кутлук-бобо! Значит, гостья едет с запада. Значит, едет Севин-бей. Значит, что-то случилось у Мираншаха!»

Этого сына Тимур не любил, всегда держал от себя подальше. Но его жену считал старшей и первой среди своих снох: внучка ордынского Узбек-хана, племянница хорезмийского хана, дочь Ак-Суфи, она была взята в жены старшему сыну Тимура — Джахангиру, по ней Джахангир звался гураганом, как теперь, по ней же, гураганом зовется Мираншах. Она родила Тимуру двоих внуков, самых милых ему, если не считать Улугбека. Ее старшего сына Тимур давно объявил своим наследником. Она тогда станет матерью повелителя, матерью, царицей ,когда Тимура не будет среди живых царей.

— Да,— сказал Тимур,— Халилю не до охоты будет. А Улугбека отправь; пускай он сам охоту ведет. Пускай привыкает. Не всегда ж ему за старших братьев хорониться. Распорядись, чтоб хороших охотников ему дали. А я с ним пошлю Мурат-хана, он ведь дядя ему. Пускай проедутся.

— Не молод ли Улугбек для таких...

— Нам некогда ждать, пока ему годы выйдут. Мы с тобой...

— О том и я, государь, хотела поговорить.

— О чем?

— Годы наши... Мне уже за шестьдесят.

— И что же?

— Хотелось по себе память оставить, да и себе место подготовить.

— Твое право, царица.

Она задумалась. Он ждал.

— Затеяла я могилку себе сложить. Детей мне бог не послал; кто обо мне похлопочет, как сама не похлопочу? Средств у вас не прошу,— своими обойдусь. На то и прошу вашего дозволенья.

Опять досадно:

«Рассчитывает пережить мужа: мужа, мол, уже не будет, а детей нет, некому об ее могилке похлопотать будет. Старуха соображает, что мне уже шестьдесят пять, что уже недолго...»

Но он не мог отказать ей в просьбе: она старшая жена, дочь хана Казана. Ради ее родословной он и взял ее себе из многих красавиц, доставшихся ему из гарема эмира Хусейна, когда тридцать лет назад разрешил убить этого Хусейна, долголетнего друга, соправителя, соратника, брата некогда любимой Ульджай. Когда эмир Кейхосров убил Хусейна, Тимур раздал его вдов, а эту поставил над всеми своими женами, приучил почитать ее как царицу, по ней назвался гураганом, ее брал с собой в страны, по которым проходил, как ураган:

— Воля твоя, царица.

— А около могилки пристрою я мадрасу. Чтоб тихо было вокруг: пускай там сидят мальчики, книги читают, писать учатся. Будто я, как нынче, опять их ращу.

Еще ни одной мадрасы для обучения юношей не построил Тимур. Он считал, что дело воина и государя — радеть о славе, о чести, о вере. А царицам или купцам приличествует строить ханаки — обители для благочестивых паломников и дервишей,— мадрасы — школы для обучения жаждущих знания.

— Строй, царица, строй. А где?

— Да ведь сколько уж из нашей семьи погребено у Шахи-Зинды...

— Какая ж мадраса за городской стеной?

— Нет, за городской стеной не годится... А хотелось поближе. Может, около вашей мечети, на Рисовом базаре... А?

— А почему там?

— Меньше ломать придется. Каменных строений там мало. А гнилые бревна с навесами недорого снести.

Тимур одобрил:

— Хозяйственно рассудила!

Но опять его взяла досада: затеяла строиться рядом с его большой мечетью; не уступает, за ним, за самим тянется!

Тимур мрачнел, пережевывая с чесноком сухой ломтик печеной косули.

Он протянул руку к пустой чаше, и жена налила ему пенистого кумысу из глиняного кувшина.

Он повторил:

— Хозяйственно рассудила!..

Она уловила не только досаду, а и гнев в его голосе. Но гнев повелителя не встревожил ее: свой гнев он на других сорвет, а его согласие при ней останется.

Ханаку для дервишей, чтоб молились богу, другая жена Тимура — Туркан-ака — уже построила возле могилы Живого царя, на Афросиабе. Внук и наследник Тимура Мухаммед-Султан начал строить ханаку около мавзолея Рухабад, а мадрасу — рядом со своим жилым домом. Но мадрасу около гробницы еще никто не строил, это Сарай-Мульк-ханым придумала.

«Какая радетельница о просвещенье!» — с досадой покосился Тимур на старуху.

Но она усердно занималась куропаткой, ловко разламывая ее белыми сильными пальцами.

«Сколько колец!» — щурясь, присмотрелся он к ее сокровищам.

Кольца были редкостные. Среди них — древнейшие; может, с пальцев самого Чингиза; может, иные блистали на руках хорезмийских ханов, шахов иранских, китайских императоров, раджей Индии. Золото иных было темно или красно; на камнях темнели странные надписи, чьи-то головы или магические знаки.

Какие-то из них подарил Тимур. Иные сохранились от девических лет, пришли из ее монгольского рода; остались от эмира Хусейна; сорваны с растерзанных красавиц в растоптанных странах; поднесены купцами или вельможами, искавшими ее покровительства.

В это утро она надела лишь малую толику того, чем обладала, остальное лежало во многих ее кованых ларцах: имей она тысячу пальцев, их не хватило бы надеть все кольца! А пальцев у нее — всего десять, как у простой рабыни!

Откинувшись на подушки, Тимур медленно пил кумыс и поглядывал на посуду, расставленную по скатерти: большое блюдо из красной египетской глины, а царица могла бы поставить золотое, персидское, он ей дарил такие; чашки из зеленоватой китайской глины, прозрачные на свет, но глиняные — ни золота, ни серебра она не поставила. Нынче по всем хорошим домам едят с персидских либо с индийских, с золотых либо с серебряных блюд, нынче в Самарканде ни персидские, ни армянские, ни индийские редкости — не в диковину, — понавезли! Но Сарай-Мульк-ханым привередлива: чего у людей много, тем не украсишься.

Она не поставила перед ним ничего такого, на что он уже нагляделся; поставила то, что везти было далеко, что довезти было почти немыслимо, — ни до Египта, ни до Китая руки его еще не дотянулись.

«Египет...— думал, попивая кумыс, Тимур,— там есть пожива: их давно никто не проведывал. А поперёк дороги сидит Баязед. Сидит и тешится, что от меня Византию заслоняет. Сам на нее меч точит, а мой меч отводит. А мы поглядим, отведет ли? А мы поглядим, чей крепче. Мой меч еще без зазубрин. А ежели без дела полежит,— глядишь, проточит ржа на нем зазубринку!»

Он молчал, попивая кумыс. А по многим городам, на востоке отсюда и на западе, стояли его войска, готовясь в новый поход.

Новый поход, как и все свои прежние походы, Тимур готовил втайне. Сперва все дело обдумывал сам, никому о мыслях своих не говоря ни слова. Он готовил войско, проверял его снаряжение, вооружал, пополнял, но куда оно двинется, но когда оно двинется, знал до времени только сам.

«Египет... Сколько времени надобно, чтоб собраться? Какой дорогой лучше? В обход, сделать вид, что пошли по другую добычу, а потом в неожиданном месте повернуть, да и... Какой дорогой лучше?..»

Он резко поставил чашку и приподнялся:

— А зачем она едет?

— Гостья зачем?

— Что говорят?

— Может, Халиль-Султан ее звал,— он ведь жениться собрался. Может, вызвал ее просить вас.

— Просить? Разве я против?

— Да ведь невеста-то...

— А есть и невеста?

— В том и дело...

— Кто?

— С улицы. Из ремесленного сословья!

— Какого это?

Она, опустив глаза, прочитала протяжно, подражая чтецам газелл:

Отец узором кожи тиснит.
Дочка взором Халиля теснит.

Видно, в гареме уже давно судачат об этом, если успели и стишки сочинить. Но Тимур пренебрег явной насмешкой старухи над внуком, спросив:

— А что она?

— Есть что-то, конечно. Но можно было и красивей сыскать.

— Взял бы ее во двор,— не на всякой женятся.

Старуха насмешливо вздохнула:

— Любовь!

Тимур строго сказал:

— Пройдет! Халиль не соловей, девка — не роза.

— А все ж...
— Он у тебя, что ли, просил... заступничества?
— Сам вас просить намерен.
— Настойчив!
— Горяч, смел, сердцем чист. За то и хвалю.
— А слушаться, как все, должен. Семнадцатый год ему; пора понимать.
— Пора бы...
— Эту ко двору возьмет, а невесту найдем. Мать его — внучка Узбек-хана, а сам он...
Тимур с раздражением подумал об отце Халиля, о своем сыне Мираншахе:
«Нет, не должен Халиль ставить себя ниже этого неповоротливого, лютого кабана!»
— Ко двору возьмет!..— повторил Тимур.
— Упрямится.
— Ну, так пускай покажет.
— Ее?
— Сперва пускай покажет.
Сарай-Мульк-ханым задумалась:
«Как это устроить?»
Тимур прервал ее:
— Ну? Зачем едет?
— Сперва я и подумала: за сына просить едет. Да нет, не то.
— А что?
— Если б за сына, зачем бы ей без спросу ехать?
— Как без спросу?
— От гонца выведали: выехала от мужа тайно; скачет без промедленья; караван при ней невелик, весь на конях; выехала, когда Мираншах на охоте был; смекаем: без спросу поехала. Вот что!
— Длинноват у гонца язык.
— Мы спрашивали, как ему не говорить?
— Я спрошу его сам.
Тимур нетерпеливо поднялся с подушек, говоря:
— Ты ее по чести встреть.
— К ней уж поехали Мухаммед-Султан с Халилем. А я от себя свою арбу послала, кабульскую.
«Знает, старуха, кого как принять,— думал, сердясь, Тимур.— Небось, даже меньшую госпожу не допускает до своей позлащенной колесницы, а тут своих белогривых кобыл за снохой шлет. Чует, что станет сноха сильна, когда Мухаммед мое место займет когда меня схоронят...»
Он уже пошел, но старуха опять заговорила:
— Так могилку-то себе...
Тимур сердито отмахнулся:

— Я же сказал: строй!

— Завтра же и приступлю.

— А, хоть сейчас!

И ушел теми быстрыми скачками, не предвещавшими ничего доброго, как выходил к коню, когда наступал час посылать войско в битву.

В одном из прохладных подвалов он сел и велел воинам привести к нему гонца Севин-бей.

Начальник стражи замялся:

— Не ускакал ли? Он собирался назад, к своей госпоже навстречу.

— А ускакал,— настичь!

Но гонец еще седлал, когда его отозвали и повели к повелителю.

Тимур казался еще суровее, когда вышел в установленное время к своим вельможам.

Он спрашивал коротко, и надо было отвечать без запинки, без промедления, сразу... Особенно в такой день, когда он спрашивал, глядя в пол, чтоб не пугать людей своим тяжелым взглядом.

Узнав от казначея, что прибыл один из караванов с индийской поклажей, Тимур велел, прежде чем убрать поклажу в сундуки, разобрать ее и разложить по залам в Синем Дворце:

— Я гляну, хорошо ли довезено.

Обсудив многие дела, Тимур окончил прием и отпустил советников и царедворцев в город, предложив им после четвертой молитвы, перед закатом, явиться в Синий Дворец подивиться индийским диковинам. Но и приглашая, он не поднял глаз.

Оставшись один, он позвал Мурат-хана:

— Объяви всем царицам: ехать в город; ждать там прибывающую госпожу. Сюда не вернемся. А в какой сад выедем, в городе объявлю.

Вскоре по всем залам просторного дворца поднялась суета. Окриками, перекличкой, топотом слуг наполнился весь дворец и весь сад, где только что даже царицы и вельможи говорили лишь шепотом.

А Тимур уже выезжал из ворот, оставляя позади всю поднявшуюся суету, и чинно ехали за ним, каждый на своем месте, спутники, охрана, воины, словно все давно знали об отъезде и давно собрались: он не потерпел бы, если б кто-нибудь замешкался, если б чья-нибудь подпруга оказалась слабой, если б чьи-нибудь ножны не пристегнулись к ремню,— он давно всех приучил жить так, чтоб каждую минуту мог повести их, куда б ему ни вздумалось,— на городское ли гулянье, на битву ли к индийским городам.

СИНИЙ ДВОРЕЦ

Синий Дворец высился над Самаркандом, поблескивая изразцами, темными, как ночное небо.

За крепкими стенами с башнями по углам теснились десятки строений, дворов, кладовых, мастерских.

На Оружейном дворе, в глубине просторных подвалов, под черными сводами лязгало железо, плавились сплавы, били молоты по прозрачным, как красный воск, брускам.

Пламя горнов то там, то тут отсвечивало кровавыми каплями на грудах готового ковья,— наконечников копий, островерхих шлемов, сабельных клинков и кинжалов, ожидавших часа, когда вынесут их из глубокого мрака на белый свет.

Голубой и зеленый чад слоился под сводами и неторопливо уползал наружу через низкие двери; но оружейники не смели выглянуть из-под темных сводов, пока старшина дворцовых ковачей и литейщиков не кликнет их на недолгий отдых, проглотить лепешку с похлебкой да отдышаться в душном воздухе Оружейного двора.

Низкие ниши выходили на тесный двор, обстроенный множеством других ниш, где в глубине, за тяжелыми дверями кладовых и складов, хранились запасы оружия, откованного здесь или свезенного сюда из походов.

В те дни старшины торопили мастеров. Едва ковачи успевали отковаться от одного заказа, как их скликали на новую ковку.

Кладовщикам было приказано пересчитать оружие на складах, пересмотреть старые кладовые. На двор выволакивали груды ржавья. Опытные оружейники перебирали и скользкие свежие сабли, смазанные салом, и тронутые ржавчиной, щербатые, иззубренные мечи.

На эти дни сюда созвали и многих свободных мастеров из городских слобод. Косторезов,— вырезать и наклепать рукоятки на поврежденные сабли, обрукоятить новоковые клинки; оружейников,— разобрать чужеземное оружие: годное обновить, хлам разобрать на перековку.

Вызвали сюда и кольчужника Назара, туляка.

Он пришел со своим подмастерьем Борисом. Их поместили под навесом, куда и сносили из кольчуг то, что залежалось по дворцовым кладовым.

Кольчуг оказалось немного. Были тут старые, кое-где помятые, а то и пробитые кольчуги. Борис перебирал их и расправлял, а Назар разглядывал их, неторопливо, пристально, одну за другой, будто читал книгу за книгой.

Седые космы Назара перехватывал узкий ремешок, чтобы во-

лосы не лезли в глаза, но косматые брови часто опускались, хмурясь, до самых глаз: он видел пути, пройденные многими из этих молчаливых участниц былых походов, вынутых для похода предстоящего.

— Гляди, Борис, сколько кольчуг наволочено, а цельных не видать.

— С побиенных содраны.

— Вцеле добрый воин в полон не дастся, ежели кольчугой оборонен.

— А ты вон сам их ковать искусен, а в полону живешь.

— Попрекаешь, сынок?

— Не попрек, а спрос: лестна ли человеку неволя, когда может он меч добыть?

— Можем добыть, да не надо.

— Чего это?

Назар широким черным ногтем обскабливал кольцо на одной из кольчуг:

— Смолистая ржа-то.

— А что?

— Небось, кровь.

— Чистой тут ни одной не видно.

— Вот, гляди: эта склепана неведомо кем, незнамо когда. Вся излежалась: ей уж в походы не хаживать, а виды она видывала, ратные кличи слыхивала. И гляди,— наша она.

— По чем узнал?

— На месте склепки, на каждом конце — будто змеиная головка,— наша старая клепка. Глянь другую,— головка длинная, язычком,— то ковали персияне, а может, арабы в Дамаске. Их работу знаю,— на взгляд приятна, да меч ее сечет. А наша круглая клепка мечу не дается, ее только прорубить можно, а чтоб по воину так рубануть, сперва надо, чтоб воин под удар подставился. Клепать надо три, а то и четыре махоньких кольца, одно в одно. Из махоньких кольчиков скуешь,— большим мечом не просечешь. Из больших колец скуешь,— малый меч ее рассечет: в ней отжиму нет, она удар будто лбом принимает. Разумеешь?

— Учи, учи. Слушаю.

— А чего ты хмурый такой?

Круглолицый, узконосый, румяный, Борис по нраву своему был застенчив, а чтоб скрыть свою досадную стеснительность, напускал на себя мешковатость, а в разговоре — неразговорчивость. Однако Назар к этому привык, и удивило его какое-то невеселое раздумье Бориса.

— Учи, учи. После спрошу.

— Учись. Кольчуга — оружие дорогое, простому воину она не по плечу. Если какой и добудет ее в бою, со врага совлачит, сам

в нее не облачится: к ней разом всяк потянется, кто сильней, кто знатней, тот ею и завладает.

— Учи, учи...

— Вот, гляди,— одинарной выковки. Это и от стрелы не заслонит, не токмо от копья. Такие в латынских землях, в каменных городах куются. Такие надевают от собственного своего страха, для успокоения, чтоб не боязно было в темную ночь из дому выглянуть, там не то что у нас,— мы, вон, в одной холстинке через дебри леса на медведей либо на вепрей хаживаем, на Орду— грудь нараспашку — с одним топором выходим. И, слава богу, живем.

— В полону-то?

— Это ты да я, а речь — об нашем народе.

— Ты да я, а уйти могли бы: меча на дорогу достали бы.

— И доставать не надо: понадобятся — возьмем. Да не надо.

— Опять «не надо!» Это как так?

— Глянь-ка на сей двор. Вон всего сколько повытаскали.

— Видать, собираются.

— А куда?

— А кто ж их знает? Не успели воротиться, а уж опять... Каков поп, таков и приход.

— Тут, сынок, приход сам себе подходящего попа нашел,— хром, а неусидчив, сухорук, а драчлив. Им и нужен такой,— они набегут, награбят, выжгут чужое, вытопчут, да и ко двору. А двор-то,— вот он. Гляди да приглядывайся: чего воруют, чем торгуют, востро ли мечи наточены да куда поворочены. Я гляну, ты глянешь, а нашего народу тут не так мало: одни торгуют, другие ремесленничают, третьи — в полону. С тем — словом перекинешься, с другим — молчком переглянешься, ан и выйдет, не мало тут нас для такого-то далека. А через нас на Руси хорошо знают, каков народ здешний, каково ему эту горькую чашу пить; каков царь здешний,— чтоб нашему народу от той чаши загодя отстраниться. Потому, сынок, и не тянись за мечом: мы без меча тут сильнее. А с простым людом нам и тут не тесно. Кто нас в слободе обижает? Никто! А ведь со всякими народами тут хлеб-соль делим, почасту над одной бедой слезы льем, безо всякого слова друг другу себя высказываем.

— Я на слободу не в обиде.

— Людей распознавай не по языку, а как дома распознавал, так и здесь распознай. Земля едина, единым богом сотворена. И все мы — один одному — братья; иноязыкого не обижай, а кровного своего не давай в обиду.

Кольчуги из их рук ложились каждая на свое место,— ветхие в сторону, рваные — в другую.

— Цельных-то не видать!— посетовал Борис.

— И слава богу: на разбой идут, а себя берегут. Битва — дело святое, когда народ на оборону встает, а когда на разбойное дело сбираются, грех тому, кто им оружье кует.

— Вон, весь подвал гудмя-гудит,— куют; наша слобода вся в чаду,— куют. Выходит, все мы грех творим?

— Не по доброй воле. Оружье тот им кует, кто им на ковье железо дает; кто на грабеж их шлет, а сам сидит — добычи ждет.

— А мы что же?

Но в это время к ним подошел старшина Оружейного двора.

— Как, почтенные мастера, процветают дела ваши?

— Благодарение за спрос,— цветут, будто розы.

— Они еще пышнее раскроются, когда сии железа снова в поход сгодятся. Надо их поскорей обновить.

— Какие уж тут обновки,— одна худоба.

— И на худой чекмень заплатки ставят, да дольше нового носят.

— Носят, да не по праздникам.

— Чекмень новый не к празднику, а на будний день шьют.

— Верно!— согласился Назар и подмигнул Борису:— Им эти походы и впрямь — будний день: шесть дней разбой, день — перебой.

Старшина, не поняв тульской скороговорки Назара, полюбопытствовал:

— Что это говоришь?

— Об этих кольчугах.

— А что?

— Чинить их, говорю, долго.

— Нет, нет,— надо скорей. Все оружье велено просмотреть наскоро да выправить быстро.

Борис кивнул Назару:

— А что я говорил?

— То и говорил!— согласился Назар.

Предстояло новыми кольцами заклепать прорехи, пробоины. А ведь не об сук в лесу, не о гвоздь в сарае, а копьями либо мечами, в крови и в сече, прорваны те прорехи, за каждой вслед чья-то жизнь обрывалась.

— Новые выковать легче, чем это рванье склепать!— невесело сказал Назар.

Но как отклонить заказ? В Орде на смерть шли, но зарока не рушили, врага не вооружали. Сюда же зашли по согласию, здесь приходилось принимать заказ.

Когда зной стал спадать, мастеров позвали полдневать.

Из черных утроб подземных кузниц пошли наверх, на свет, щурясь, черные, обгорелые, усталые ковачи, мечевщики, литейщики. Иные из них были медлительны, седы; другие — плечисты,

поворотливы. Но никто из них не был ни бодр, ни шустр, ни весел. Многие тяжело закашлялись, глотнув вольного воздуха, хотя и не был тут воздух ни волен, ни свеж,— весь он был иссушен духотой двора, пропылен едкой городской пылью, горек от смрадов, струящихся снизу, из подвалов или со смежных дворов, заслонен от солнца и ветра четырехъярусной высотою Синего Дворца.

Друг за другом выходили наверх мастера со своими выучениками, учениками, подмастерьями; разные люди, разных земель уроженцы. На разных языках говорили они в детстве и росли по-разному. И вот выросли, мастерству обучились, и завладел их мастерством, заграбастал их таланты хромой Тимур.

Во вражде и в безделье каждый говорит по-своему, в дружбе и в труде люди ищут общего языка; тут, в рабстве, им слова опостылели; молча шли люди через этот смрадный, унылый двор к дощатому настилу, где в тяжелых глиняных чашках ставили им мучную похлебку, накрытую черствыми лепешками.

Ели молча, уставясь неподвижными глазами в еду. Не жирно кормил их хозяин, а высчитывал за прокорм хозяйственно: кому мало было одной чашки, давалась другая, но за особый счет. А когда приходило время расчета, оказывалось, получать мастерам нечего, иной раз и должок прирастал. Тимур за работу платил и в долг мастеров кормил; мастерам за работу платил больше, выученикам поменьше, ученикам пропитание давал в долг. И к тому времени, когда возрастал заработок мастера, скапливался у него и долг, и оказывалось, каким мастерством ни владей, сколько изделий ни выделывай, всей жизни не хватит, чтоб из долгов выбиться, чтобы на вольный свет из подвалов Синего Дворца выйти. А этих мастеров числили вольными, их отличали от рабов, евших хозяйский хлеб задаром, но тоже крепко прикованных к тяжелым стенам Синего Дворца.

Поодаль от прочих старшина сам сел с кольчужниками,— принимал дорогих мастеров как гостей, угощал за хозяйский счет, занимал разговорами.

Назар издали разглядывал обедавших оружейников.

— Разный у вас народ набран. Каких тут только нет!

Старшина ответил с осуждением:

— Меж ними и язычники есть,— идольские изображения на себе носят, и христиане. Государь со всех сторон насобирал: наилучших из лучших. А народ дрянной: одним у нас жарко, другим холодно. Эти вот по оружию мастера; на соседнем дворе кузнецы, а рядом — шорники; с той стороны двор медников да серебреников; за ними — поближе к чистому двору — Золотой двор,— там золотых дел мастера. А по ту сторону от дворца — ткачи, бархаты ткут...

Назар вздохнул:

— Сразу видать,— людям не по себе. Жарко ли им, студено ли, а каждый — гляжу — хмур, да изнурен.

Старшина сплюнул:

— Такой народ! Сами ж и виноваты: работы вволю, крыша — над головой, а злы, неразговорчивы. Чего не хватает? Э, да что на них смотреть!

Борис заметил:

— У нас, в слободе, хоть и разных языков люди, а веселей.

Старшина с досадой отвернулся:

— С теми еще трудней говорить. Возомнили себя свободными! Я бы их...

Борис начал было размышлять.

— Небось, у каждого своя земля в памяти. У каждого свой род, свое отечество...

— Род у каждого свой!— согласился старшина.— Вон и наш народ свою память от разных корней ведет. На севере кочевник — от Белого Гуся, «каз ах» зовется; поюжней от них,— от Сорока Дев,—«кырк кыз». Другие — от Желтых Коней,—«сар ат», эти больше по городам ютятся, к торговле тянутся, ремеслом кормятся; к западу — Черная Шапка,—«кара калпак», у них овец много и меха хороши. На юге — Белый Гребешок,—«тадж ак», их за то так зовут, что раньше всех белую чалму носить начали, усердный народ, сады растит, а к войне усердия не имеет, в походы ходить ленится; их в горах много. Корень свой у каждого, каждый в свою землю воткнут.

— Вот и я об том же,— согласился Борис.— А эти из своей земли вырваны, вот и чахнут.

— А ну их! Кушайте!— протянул к блюду руку нахмурившийся старшина.

В это время со стороны ворот послышались громкие, смелые голоса,— верно, разговаривали какие-то вольные люди, и вслед за собой они провели через весь двор стройного гнедого коня, заседланного столь богато, что народ замер, глядя на затканный золотом алый чепрак, на зеленую мягкую попону, на высокое персидское седло с острой лукой.

Конь прошел, окруженный конюхами, чуть припадая на переднюю ногу.

Тотчас кликнули старосту конюшего двора:

— Расковался конь.

— Чей это?

— Царевичев.

— Чей, чей?

— Халиль-Султана. В пути расковался.

— Разберемся, кто его ковал!

Коня провели мимо сидевших за едой мастеров, мимо Назара с Борисом, мимо обгорелых литейщиков.

Конь, наступив копытом на чей-то халат, скрылся за воротами Кузнецкого двора, где стояли кузни позади царских конюшен. Туда ушли и встревоженные кузнецы, следом за ними поспешил и оружейный старшина, хотя над этими кузнецами стоял конюшенный староста.

На Оружейном дворе снова затихло на время недолгой обеденной передышки.

Возвращаясь под навес, Назар не торопясь прошел мимо разложенных груд всякого оружия.

Борис снова кивнул:

— Собираются!

— Знамо.

— А куда?

— Про то у царя не дознаешься. Он до последнего часа помалкивает. Бывает, уж и в поход идут, а никак не поймут,— куда.

— Любит навалиться невзначай.

— По-разбойницки. Как смолоду привык. Подстеречь, да и оглушить из-за камушка. Он ведь тем и начал. Сперва десяток головорезов себе подобрал, по ночам на чужие гурты набегали, овец крали. Тут его пастухи подстерегли, ногу переломили, на правой руке два меньших пальца подсекли, самую руку из плеча вывернули. А он отлежался да опять за свое. Тем и начал. А после к нему пошли приставать разные бездельные гуляки, набралось их уже человек со сто, пошли караваны грабить. Наживу промеж собой делили. Охотников до наживы сбежалось к нему уже с тысячу сабель. Осмелели. На городские базары решились нападать, на караван-сараи. Народ отчаянный, таких добром не угомонишь. Сильные люди стали их к себе на подмогу звать, стали ихнему главарю, нынешнему государю-то, говорить: служи, мол, нам, а мы тебя в князья выведем. Он и поддался. Прежде купцов разорял, а тут сам торговать начал, награбленное добро сбывать. Стал уж не грабить, а оборонять купцов. Они его поняли, поддержали. Уж он начал купцов ублажать, а князей своих усмирять, чтоб торговать не мешали. Древних князей прогнал, на их земли посадил своих разбойников. Чужих купцов грабит, со своими делится. Эти за него, а он за них. На том и поднялся. Со стороны глянешь,— будто и царь на царстве, а приглядишься,— разбойничья ватага. Какова была, такова и поныне. Было десять человек, стало двести тысяч. Крали пару овец из стада, а нонче уж на царства набегают. А разницы нет,— маленькая ли собака, большой ли волкодав,— все одно — собака.

— Смело ты говоришь!

— Насмотрелся, сынок,— вот и разглядел это дело.

— Смел он; охоч до войн. Стар, а угомона не знает.

— Доколи никто его не угомонил. По чужим кузням ходит, домой некован приходит. А настанет пора время,— подкуют.

— Подковать-то некому!

— Найдутся. К нам, вон, опасается идти.

— Может, и соберется?

— Надо приглядывать. Ведь он был, да осекся. Ведь дороги наши ему известны, до самого Ельца доходил, когда Тохтамыша разбил под Чистополем.

— Значит, знает наши дороги?

— Знает, да помалкивает. Он, прежде чем пойдет куда, сперва всю дорогу насквозь просмотрит. Не зная дорог, никуда не ходит. Ежели до Ельца доходил, считай знает дорогу до Новгорода.

— А чего ж вернулся?

— Смекает: Тохтамыша ему б не разбить, не разбей мы Золотой Орды лет за десять до того, на поле Куликовом. Вот и опасается. А нам все ж надо во все глаза глядеть,— что за силы у него, куда те силы нацелены. Ты учись тут не столь кольчуги клепать, как эти дела смекать. То первое наше дело. Мы их трогать не станем, нам незачем. А он ежели это умыслит, нам надо своих загодя остеречь. Вот наше первое дело! Затем я и пошел сюда, когда меня сюда позвали.

— Накуем мы ему кольчуг, а он их даст Орде: надевайте, мол, дружки, да порушьте мне Москву белокаменну.

— Орде не даст. Доколе мы сильны, Орда ему не опасна. Ослабеем мы — усилится Орда: это ему будет нож в спину. Он умен, он это понимает. Да надо приглядывать, долго ли будет умен: ведь от удач и мудрец дуреет.

— А ну как соберутся они на нас,— как же до своих ту весть довести?

— Я одному скажу, тот — другому. Как кольчугу клепаем, звено за звеном, от колечка к колечку.

— По народу, значит?

— По народу, сынок. Ведь народ наш свою отчизну, как кольчуга, покрывает. Кольцо в кольцо вклепано,— попробуй-ка, пробей-ка, коли все кольца в единый покров скованы. Нами она вся окольчужена, тем и сильна на веки веков наша земля.

— А другие земли?

— Мало таких земель, сынок. Исстари у нас одно: чужого не ищем, своего не теряем.

Старшина подошел, еще на ходу делясь новостями:

— Ну вот, ездил Халиль-Султан, царевич, мать встречать. На

обратном пути конь его об камень споткнулся, подкова долой; сам еле в седле усидел. Теперь розыск идет, кто коня ковал? Каждый там друг на друга валит, никому нет охоты сознаться. Попробуй-ка сознаться,— ого!

— И не сознаться нехорошо: одного виноватого не сыщут, со всех взыщут, всем заодно — беда.

В это время у ворот сверкнул зеленым чекменем высокий быстрый юноша.

Вскакивая на ноги, старшина успел шепнуть с опаской:

— Вот он! Теперь берегись.

Белое лицо, тонкий нос с горбинкой, широко расставленные, по-монгольски узкие, но густо опушенные ресницами глаза; лоб и под чалмой высок, а рот твердо сжат.

Быстро идя через двор, помахивая тяжелой плеткой, в распахнутом чекмене на алом халате, в красных запылившихся сапожках, Халиль-Султан крикнул:

— Эй, староста!

С Кузнецкого двора выбежал к нему на широко расставленных круглых ногах узкоглазый, почти безбородый конюшенный староста и, вытянув вперед растопыренные ладони, приговаривал:

— Не тревожься, царевич! Не тревожься! Я им найду управу. Я их научу царских коней ковать. Я им...

— Молчи, пока тебе не скажут!— остановил его Халиль-Султан.

Староста, оробев, бормотал:

— Ведь, государь, разве сам я ковал?

— Слушай, говорю! Виноватого не искать! Слышал?

И еще староста ничего не успел ответить, Халиль-Султан повернулся на каблуках и, пощелкивая по сапогу плеткой, ушел со двора.

Старшина нерешительно опять присел возле Назара:

— Видали? Вон какой! Изо всей семьи — один этакий: в Индии сам на вражьи копья кидался, а своих воинов берег. Никого напрасно не дает в обиду. А зря: не доведет это до добра, бояться его перестанут. Потом станет каяться, да поздно. До того прост,— если в харчевне остановится кумысу хлебнуть, за кумыс хозяину деньги платит. Не по-царски это: до добра это не доведет.

И старшина, рассерженный Халилем, пошел на Кузнецкий двор послушать тамошние разговоры.

Борис сказал:

— Смел царевич!

— А может, опаслив?— спросил Назар.

И снова они занялись разбором кольчуг.

Узкая каменная лестница внутри толстой стены вела с Оружейного двора во дворец.

Халиль-Султан пошел переодеться после пыльной дороги.

За раскрытой дверью в небольшой зале, обняв друг друга, обменивались первыми словами привета бабушка Сарай-Мульк-ханым и усталая с пути, молчаливая, невеселая царевна Севин-бей, мать Халиля. Поодаль от них стояли Мухаммед-Султан со своей старшей женой, а возле бабушки — Улугбек.

Женщины обнимались, бормоча обычные, как молитвы, вопросы о благополучии в доме, о детях, о дороге; бормотали их, торопясь высказать все надлежащие вопросы, чтобы поскорее посмотреть друг другу в глаза и понять все, что изменилось в каждой за время разлуки.

Халиль не решился в пыльной одежде вступить в нарядную залу бабушки. Он прошел мимо, но приметил: брат Мухаммед-Султан ограничился тем, что сбросил перед дверью чекмень и сапоги и так, босой, в дорожном халате, стоял на бабушкином ковре.

Вскоре Халиль вернулся вымытый, в чистой, светлой шелковой одежде.

Все уселись кружком, но мать на вопросы великой госпожи отвечала коротко, опустив глаза, не поднимая своей печальной головы.

Севин-бей было лет сорок пять, но в ее черных волосах Халиль заметил седину, которой не было прежде.

По ее сдержанным словам, по всем ее напряженным, скупым движениям было видно, что не радостные дела привели ее в Самарканд, не на веселье она сюда так неожиданно приехала.

Когда Сарай-Мульк-ханым по обычаю спросила ее о муже, о царевиче Мираншахе, Севин-бей, не поднимая глаз, ответила так тихо, что Улугбек даже вытянул шею, чтобы расслышать ее слова:

— По-прежнему нездоров. Третий год, с тех пор как на охоте упал с лошади, нездоров. С головой у него нехорошо.

Великой госпоже не терпелось узнать причину ее приезда; старуха спрашивала то одно, то другое, пытаясь выведать, какое дело привело сюда сноху, но гостья отвечала коротко, подавленная своей печалью.

Сарай-Мульк-ханым спросила:

— Может, сама ты нездорова? Не полечиться ли к нам приехала? У государя есть хорошие лекари.

— С государем мне самой надо поговорить.

Старуха насторожилась:

— О Халиле, что ли?

Халиль-Султан, как и Улугбек, находился на ее попечении по

решению деда. Внуков своих он отбирал от их матерей со дня рождения и отдавал на воспитание своим женам. Вмешательство матерей в дела воспитания считалось дерзостью, но если они хотели что-нибудь спросить о своих сыновьях, спрашивать надлежало у воспитательницы, у бабушки, а не у деда.

Но Севин-бей, чтобы отстранить ревнивую подозрительность великой госпожи, попыталась улыбнуться и погладила ее руку:

— Нет, нет, о своем деле. А что Халиль?

— Жениться вздумал.

— Правда, Халиль?— взглянула мать на царевича. Халиль-Султан опустил глаза под ее взглядом:

— Я говорил бабушке. Но она пока отмалчивается.

Сарай-Мульк-ханым живо ответила:

— Тебя не было утром. А ответ есть, дедушка хочет сперва посмотреть твою невесту.

— Это не по обычаю!— смело возразил Халиль-Султан.

— Дедушка сам создает обычаи. Как он решит, так люди должны жить!— резко поправила бабушка внука.

Старуху раздосадовало и упрямство, и непослушание питомца. Ей неловко было, что при своей матери Халиль так несговорчив, так непокорен со своей воспитательницей. Но она тотчас доверчиво сказала царевне:

— Он послушен, прилежен. Читать, правда, не любит, но тут уж я ничего не поделаю, это — дело учителей. Каков он в походах,— сама знаешь, весь народ его смелость славит. А с этой невестой никак его не уломаю.

— С какой невестой?

Старуха сказала удивленно и возмущенно:

— Не хочет ни одной, кроме одной!

Мухаммед-Султан засмеялся, повернувшись к Халилю.

Халиль рассердился, но ничем этого не выдал, лишь глаза прищурились, и Севин-бей со щемящей нежностью заметила, как они похожи между собой, ее мальчики. Она улыбнулась, спрашивая старуху:

— И что же? Вы против?

— В нашей семье самим государем порядок установлен,— жениться надо на достойных, брать из ханских семей, начиная с меня самой. А Халиль подобрал себе...

Старуха не решилась сказать так прямо, как поутру говорила мужу,— ей не хотелось обижать внука.

Дернув, как бы от удивления, плечом, она договорила:

— Подобрал себе дочь неизвестного человека.

— Его весь Самарканд знает, весь народ, он ремесленный староста, знаменитый мастер...

— Народ — это еще не Самарканд. Самарканд строим, укра-

шаем, прославляем мы. Мастера делают то, что мы заказываем. И тебе не гоже себя ронять.

— Но я хочу, чтобы моей женой была...

Сарай-Мульк-ханым поспешно прервала его:

— Я не спорю. Я тебя выслушала. Я говорила с дедушкой. Я передаю тебе его волю. Он государь, а не я.

— Ладно. Я ее приведу!

— Кстати, и я взгляну, что за сноха у меня будет,— улыбнулась мать.

— Еще неизвестно, будет ли!— сердито возразила великая госпожа.

— А когда? Куда?— спросил Халиль.

— Сегодня. Сюда!— строго ответила бабушка.

— Так скоро?

— Ты же сам торопил меня!

— Успею ли?

— Твое дело.

— Тогда разрешите мне пойти?

— Да, времени остается мало.

Уже встав, Халиль-Султан развел руками, повернувшись к старшему брату:

— Не зря вы сказали: «дурная примета», когда конь у меня споткнулся. А я еще подкову потерял.

И добавил, улыбаясь бабушке:

— Надо б вернуться, а я приехал. И в такой день вы такую задачу мне задали!

— Сам меня торопил, не взыщи!— поежилась Сарай-Мульк-ханым.

— Смелей, Халиль!— снова засмеялся Мухаммед-Султан.

— А я не знал этой приметы!— звонко, с испугом сказал Улугбек.

Это было первое, что он сказал сегодня. Он только внимательно слушал, сидя около бабушки и внимательно вникая в разговоры взрослых.

Его неожиданные слова рассмешили Севин-бей. Впервые она засмеялась и погладила мальчика по плечу:

— Я тебе привезла подарок.

— Спасибо, тетя.

— Будешь беречь?

— Очень!

— Помни обо мне...

И она достала откуда-то из складок пояса небольшой кривой кинжал в сафьяновых ножнах с усыпанной рубинами рукояткой:

— Он меня в дороге хранил; пусть хранит и тебя на твоих дорогах.

В ее словах прозвучало что-то столь горестное, что Улугбек поцеловал ее подарок, прежде чем принялся разглядывать его.

— Какая сталь!— восхитился мальчик.

— Ее привозят арабы из Дамаска. А рукоятку делали мои мастера, азербайджанцы. Они хорошо умеют.

— Коня перековали!— быстро сказал конюх Халиль-Султану, едва царевич появился у выхода.

— Пускай отдохнет. Подай другого.

И минуту спустя, он уже скакал на застоявшемся и оттого баловном, веселом коне.

Ехать самому в дом невесты — это тоже было не по обычаю; этого не допускало и его достоинство. Но мусульманскими обычаями часто пренебрегали в Тимуровом Самарканде: сам Тимур предпочитал монгольские обычаи, и народ, вслед за своим государем, тоже охотно отступал от стеснительных установлений шариата везде, где это не грозило земными карами и неприятностями.

И как мог соблюсти свое достоинство царевич, когда государь велел показать ему невесту сегодня же!

В слободе Халиль-Султан спешился. Отдал своей охране коня и несмело взялся за медный молоток, привешенный к тяжелым чинаровым воротам над низенькой, как лаз, калиткой.

Во двор он вошел, встреченный старым мастером.

Он поговорил со стариком, как всегда, почтительно, внимательно, вникая в его работу, поглядел новое изделие и вдруг, сам прервав свои медленные, почтительные слова, заговорил тревожно, нетерпеливо,— настало время говорить прямо:

— Дедушка хочет видеть мою невесту.

— Мою дочку?

— Без этого не дает согласия.

— А даст?

— А вы?

Мастер недолго подумал, потом ответил огорченно:

— Ах, если б не были вы царевичем!

— Ну, как же быть?

— Тогда б мы устроили отличную свадьбу! Я бы не поскупился на хороший плов: ведь не всякий так легко разбирается в моей работе, я бы рад был такому зятю.

— Вашу работу я ценю!

— Я передал бы вам все свое...

Но старик опомнился:

— Как же быть?

И порывисто взялся за рукав царевича!

— Пойдемте прямо к ней!

Он повел Халиль-Султана во внутренний дворик, и жених увидел ее над маленьким водоемом.

Она стояла под старыми деревьями в простой, длинной, ниже колен, белой рубахе, из-под которой до щиколоток спускались желтые шаровары.

Отец подвел жениха к дочери, смущенно говоря:

— Скажите ей сами.

Она поклонилась гостю низко, но не отошла, осталась на своем месте, подпуская его ближе.

Халиль, поклонившись, не отнимая прижатой к сердцу руки, сказал:

— Чтобы ответить мне, дедушка желает видеть тебя.

Ее брови, сросшиеся на переносице, плавно протягивались к вискам, как крылья хищной птицы, парящей на степном раздолье над затаившейся добычей.

И эта птица чуть покачнулась, но тотчас выровнялась, и девушка лишь спросила:

— Когда?

— Сейчас.

— Мне сперва надо одеться.

Отец не сдержал своей тревоги и страха:

— Собирайся же скорей! Соображаешь ты, куда зовут?

— Я успею!— спокойно ответила девушка.

Ее звали Шад-Мульк. Ее имя означало — радостное сокровище. Это имя давалось как прозвище в царских гаремах, а ей оно досталось при рождении, словно ее трудолюбивый отец предвидел необыкновенную судьбу своей длиннобровой дочки.

Она присела у водоема и, не стесняясь Халиль-Султана, из неуклюжего глиняного кувшина лила на ладонь воду и умывалась.

Халиль нетерпеливо похлестывал плеткой по халату.

Она неторопливо прошла в дом, где ее обступили возбужденные женщины, что-то ей суя в руки,— украшения ли, одежды ли,— их сбивчивые, крикливые голоса достигали тесного дворика, где оба — отец невесты и жених — сидели, не находя никаких слов для разговора, лишь временами переглядываясь и вежливо кивая друг другу.

А в это время Тимур прислал сказать великой госпоже, что желает видеть гостью и всех цариц.

Все встали и пошли к повелителю.

В зале перед дверью Тимура остановились и, стоя, разговаривали, пока остальные жены повелителя собирались на его приглашенье.

Когда пришла шустрая ханская дочь Тукель-ханым, самая

молодая из Тимуровых жен, но вторая по старшинству в гареме, вся зала заблистала алмазами и самоцветами меньшой госпожи. Ее высокую кожаную рогатую шапку унизывали алмазы. Позвякивали ее ожерелья китайского дела, где нежные жемчуга стиснулись в тяжелых золотых ободках. Шуршала обшитая жемчугами по вороту, по обшлагам, по подолу длинная желтая, затканная зеленовато-золотыми драконами тяжелая рубаха; жемчугами обшитый низ шаровар над скованными золотом зелеными шагреневыми туфлями, все сияло на ней, затмевая густо нарумяненные скулы, густо набеленные щеки. И лишь желтые, как у рыси, глаза она ничем не могла украсить,— ничто не приставало к ним: ни радость, ни печаль, ни стыд, ни раздумье.

Она прошла, не приветствуя младших жен.

Туман-ака, которой было больше тридцати лет, отданная Тимуру двенадцатилетней девочкой, прожившая с повелителем долгую жизнь, взглянула на эту монгольскую куклу с яростью, затопотала маленькими ногами, но сдержала себя и осталась стоять строго и неподвижно.

Чолпан-Мульк-ага, монголка, дочь бесстрашного Хаджи-бека, ходившая с Тимуром на Золотую Орду и на Иран не в спокойном царском обозе, а вместе с войском, среди опасных невзгод, отвернула в сторону прекрасное, воспетое поэтами лицо и закрыла глаза, чтобы не заплакать от обиды.

А Тукель-ханым прошла мимо их всех и стала рядом с Сарай-Мульк-ханым, сдержанно одной лишь ей поклонившись.

И всем показалось, что великая госпожа рядом с меньшой госпожой стоит, как нищенка, в своем драгоценном, но строгом одеянье.

Стоя рядом с великой госпожой, Тукель-ханым допустила царевну-гостью поздороваться с собой.

Когда, по обычаю, Севин-бей подошла к ней, справляясь о ее здоровье и о благополучии ее дома, Тукель-ханым лишь коротко отвечала, считая ниже своего достоинства самой спрашивать.

Но в это время младшие внуки — Улугбек с Ибрагимом — раскрыли обе створки темной двери, и вышел Тимур.

Тукель-ханым сжалась, будто над ней замахнулись плеткой, и мгновенно оказалась позади Сарай-Мульк-ханым, а Тимур, протянув руку, пошел к побледневшей Севин-бей, обнял сноху и потом, держа ладонь на ее плече, но отстранив ее на длину руки, спрашивал, глядя царевне прямо в глаза.

На вопрос о муже она ответила:

— Это, отец, я и приехала сама вам рассказать.

Он скользнул взглядом по своим женам и внукам и быстро предупредил ее:

— Расскажешь потом.

Ободряя Севин-бей, он сжал на ее плече пальцы.

Попятившись, она ему поклонилась:

— Позвольте поднести вам мое скромное приношенье.

Стараясь не выдать любопытства, жены сдвинулись в широкий, но плотный круг, оставив место лишь для Тимура с царевичами да проход для слуг, вносивших подарки.

Она привезла свекру две азербайджанские сабли с бирюзовыми рукоятками, окованное серебром персидское седло, расписанное искусным живописцем, где изображалась охота на тигров и на фазанов, и плотную синюю, вышитую серебром попону, о которой сказала:

— Эту я сама, как сумела, вышивала для вас, отец.

— Милая моя,— ответил Тимур,— синее прилично надевать, когда кого-нибудь хоронят или оплакивают.

— Я вышивала ее, оплакивая свою жизнь, отец. Обмытое слезами, приносит удачу.

Он нахмурился, убедившись, что она привезла ему нехорошие вести о его сыне:

— Твое имя означает радость, а ты в слезах!

И добавил:

— Вечером все расскажешь.

Он подумал:

«Весь день сегодня досада за досадой!»

Она поклонилась своим свекровьям и каждой дарила что-нибудь из разнообразных изделий искусных азербайджанских или грузинских вышивальщиц.

Начав со старшей, великой госпожи Сарай-Мульк-ханым, вслед за ней она поклонилась не Тукель-ханым, как следовало по положению меньшой царицы, а второй по возрасту — Туман-ака, и по зале пронесся, как ветерок, шелест шелков на оживившихся женах Тимура.

Так подносила она свекровьям свои подарки, одной за другой, соблюдая порядок по их возрасту.

Последней она протянула свое подношенье разъяренной Тукель-ханым. Это были прекрасные туфельки, расшитые цветными шелками, на красных каблучках. А внутри каблучков звенели колокольчики.

Такой подарок был бы забавен для девочки, а не для царицы. Тукель-ханым медлила протянуть к нему руки.

Но Севин-бей сказала все тем же негромким голосом:

— Пусть звенит каждый ваш шаг, царица.

И Тукель-ханым пришлось обнять свою сноху.

В это время одна из рабынь шепнула великой госпоже, что Халиль-Султан возвратился и ждет указаний от бабушки.

— Один?— шепотом спросила Сарай-Мульк-ханым.

— С красавицей!

— Пусть ждут в моей комнате.

Оглядевшись, бабушка заметила, что Мухаммед-Султан стоит от нее далеко, а Улугбек был рядом.

«Удобнее было бы послать к ним Мухаммеда с женой, да они вон где!»— подумала старуха и притянула к себе Улугбека:

— Ступай ко мне в комнату, мальчик; посиди там, с Халилем. Я потом позову.

— Что-нибудь случилось с Халилем?

Улугбек спросил это так звонко, что дед услышал его и взглянул в глаза старой царицы.

— Пока ничего!— ответила Сарай-Мульк-ханым.

И Улугбек, охваченный любопытством, бегом побежал к Халилю, а старуха глазами дала знать Тимуру, что Халиль исполнил волю деда и привел свою избранницу к нему напоказ.

Тимур, подозвав Мухаммед-Султана, чтоб шел с ним рядом, пригласил всех:

— Пойдемте, я вам покажу индийские...

Он запнулся, подбирая слово. «Редкости»— ему не хотелось сказать: что бы ни доставалось ему, он делал вид, что видывал кое-что получше; «драгоценности»— не хотелось говорить: он не хотел показывать, что драгоценности всей вселенной могут что-либо прибавить к тому, чем он уже владеет.

— Ну эти... индийские находки. Пойдемте! Взгляните. Это всего лишь с одного каравана, но все же... находки.

Слово ему понравилось. В детстве у него была собака, которую еще его отец, Тарагай, прозвал этой кличкой — Ульджай, что значит находка. Его жену, сестру эмира Хусейна, тоже так звали. Он ее лет тридцать пять назад убил сгоряча, но забыл об этом, как забыл и то, что этим словом называют не только находку, но и добычу. В этом смысле многие и поняли слово повелителя.

Он ввел их в верхний зал, куда через настежь раскрытые двери врывалось яркое вечереющее солнце.

Пылало красное золото больших чаш и ваз. Радугами сияли развернутые шелка; камни мерцали из грузных серебряных блюд, на рукоятках оружия, на каких-то больших затейливых предметах, литых из золота и похожих на шапки, надетые одна на другую.

Все эти груды сокровищ, разложенных во всю длину залы, невозможно было охватить одним взглядом, и вошедшие замерли, еще не видя ничего в отдельности, упиваясь всем множеством, сложенным здесь.

Одна лишь Сарай-Мульк-ханым смотрела на все это спокойно и разборчиво.

А Тукель-ханым присела, чтобы присмотреться к чему-то небольшому, потом вытянулась на носки, чтоб заглянуть за какую-то вазу, готовая ухватиться за все, что ни попадало ей на глаза.

Все стояли позади Тимура, не решаясь ни к чему приблизиться без его приглашения, а он не приглашал приближаться, через сощуренные глаза любуясь их восхищеньем и вожделеньем.

Вдруг он велел Мухаммед-Султану:

— Приведи Халиля с его... находкой.

И тотчас, забыв о сокровищах, все женщины нетерпеливо повернулись к двери, кроме одной лишь Тукель-ханым, высматривавшей, какие из сокровищ можно выпросить у скупого на подарки мужа,— он охотнее одаривал воинов, чем жен, одну лишь Сарай-Мульк-ханым любил удивлять щедростью, чтобы не обижалась на скупость его любви к ней.

Первым вошел Халиль-Султан.

Скромно позади него шла девушка, сопровождаемая стариком отцом. Ее вел за руку Улугбек, которого она успела покорить несколькими чистосердечными словами.

Все с удивлением смотрели: на ней не было никаких украшений. Простая белая, длинная, ниже колен, рубаха, желтые неширокие шаровары до щиколоток, обшитые понизу лишь узенькой зеленой тесьмой. Хорошая, но не драгоценная шапочка на голове под прозрачным розовым покрывалом.

Стройная, широкая в плечах, с крепкими скулами и длинными, от виска до виска, узкими бровями, сросшимися на переносице. А глаза быстры и не по-девичьи смелы.

Она поклонилась, угадав, что этот старик, стоявший обособленно и глянувший на нее быстрым, сразу все увидевшим взглядом,— дед жениха.

Она еще ничего не видела, кроме его длинного темного лица и под темно-русыми усами — его выпуклые пунцовые губы с лиловой, почти черной каймой по краям.

В ответ на ее поклон он небрежно коснулся рукой сердца и спросил:

— Как зовут?

— Шад-Мульк.

— Ну вот, еще одно сокровище засияло в этой обители!— хмуро сказал Тимур.

Только теперь она заметила все, что было разложено в зале. Много рассказывали при ней о царских богатствах, но ей и не снилось видеть столько сразу...

Тимур спросил у ее отца:

— Это ты выдумал для нее царское имя?

— Осмелился, государь!— пробормотал мастер.— Разве я мог подумать...

Но чего он не мог подумать, старик так и не сказал повелителю, а только сокрушенно развел руками. И это движение что-то напомнило Тимуру. Но он не мог никак вспомнить:

«Кого напоминало это движение старика?»

Память его напряглась, и вдруг вспомнилось то же, что несколько дней назад встало в памяти во дворце Дилькушо:

«А! Так со мной разговаривал тот бесстыдник — поэт в Ширазе!»

Это воспоминание чем-то раздосадовало Тимура.

Он отвернулся к девушке, удивленный, как спокойно любуется она тем, что взволновало цариц Самарканда! Не жадность была в ее восхищении, а удовольствие от созерцания красоты.

Все стояли в безмолвии.

Дав ей время налюбоваться, он спросил:

— Нравятся?

Она не сразу ответила. Ей не хотелось выразить преклонение перед тем, что не раз при ней проклинали. Не ценность, а красота вещей нравились ей. Но пути, по которым пришли сюда эти вещи, ей были ненавистны,— у отца часто говорили об этих путях. И главное: ей хотелось показать бескорыстие своей любви к Халилю.

Ее молчание рассердило Тимура: ему должны отвечать сразу! И он нетерпеливо крикнул:

— Нравятся?

Ее оскорбило, что старик кричит на нее, как на рабыню. Она громко, гневно ответила:

— Пахнут кровью сокровища!

Тимур застыл от ее дерзости.

Халиль шагнул было между нею и дедом, но сдержался.

Окружающие замерли.

Лишь Тукель-ханым засмеялась, тихо, но слишком громко для наступившей тишины.

Тимур вдруг решительно нагнулся над широкой чашей, до краев наполненной крупным жемчугом, и, запустив в глубь чаши руку, поднял полную горсть невиданных жемчужин.

Показалось, что в его зеленоватой руке жемчуг замерцал розоватым сиянием.

Одним рывком Тимур оказался перед лицом неподвижной Шад-Мульк.

Царицы попятились, ожидая, что он разорвет ее или швырнет в нее драгоценными горошинами.

Но Тимур медленно поднес жемчуг к ее лицу, тихо приговаривая:

— На, понюхай. Если пахнет, не бери.

Шад-Мульк стояла побелевшая:

«Если не взять?.. Отклонить подарок,— это, по обычаю, такое оскорбление, что... Тогда не будет надежды на согласие старика и, значит, счастья с Халилем не будет. Не взять — потерять Халиля. Взять...»

Но додумать не было времени.

Она тихо, мелко дрожала, пока принимала на растянутый край своего покрывала этот царский дар.

А приняв, отступила на шаг, чтобы иметь расстояние для поклона.

Тимур, отвернувшись от нее, глядя на весь свой гарем, облегченно вздохнул и назидательно сказал:

— Ну, то-то!

Чуть склонив голову набок, сощурился в каком-то раздумье и, победоносный, отошел от Шад-Мульк мимо потупившегося Халиль-Султана.

Он прошел до конца всей залы и подождал там, стоя от всех в стороне, пока все прошлись вдоль индийской добычи.

Сарай-Мульк-ханым подошла к Севин-бей и, обняв ее, пригласила:

— Пойдемте, покушаем.

А проходя около безмолвно стоявших Халиля и его любимой, великая госпожа позвала девушку:

— Пойдемте и вы.

Тотчас Улугбек снова взял ее руку:

— Пойдемте, пожалуйста!

И повел ее вслед за бабушкой, возглавлявшей шествие всего гарема через длинный ряд комнат, где уже собрались приглашенные Тимуром его вельможи.

Многие из них много лет подряд видели проходящий перед их рядами гарем своего повелителя. Многие из его жен, неповторимые красавицы, некогда блиставшие, как немеркнущие звезды, отблистали, померкли, навеки упали в сухую землю Афрасиаба, погребены под куполами Шахи-Зинды. Никто уже и не вспоминает их имена.

Но эти шли мимо по персидским коврам так неприветливо, так надменно, словно владели тайной бессмертия, как вечные звезды, и вечным могуществом, а все вельможи и знатнейшие мужи Мавераннахра, склонившиеся перед царственным шествием, были всего лишь тенями, обреченными на такое же бесследное исчезновение, как исчезает тень, едва померкнет солнце.

Но всем им казалось, что солнце Тимура будет сиять всегда.

Он по-прежнему стоял, ожидая, пока все женщины выйдут.

Мухаммед-Султан и Халиль остались.

Старик-мастер, один, заложив руки за спину, осматривал каждое из сокровищ, словно лепешки или глиняные кувшины на базаре.

Тимуру показался забавным такой деловитый осмотр. Он подошел к старому мастеру:

— Нравится?

— Чисто.

— Что чисто?

— Работа. Это где ж такие мастера?

— В Индии!

— А... Вон что!— вдруг испугался старик.— Тогда ясно!

— Что ясно?

— Вот это все.

— А...— не понял его Тимур, но не хотел переспрашивать.

Он отошел к Халилю и сказал:

— Нам не подойдет.

Халиль предугадал решение деда и смело возразил:

— Она мне подходит. Мне, дедушка!

— А ты... Разве не мой?

— Разве семья и войско — одно и то же?

— Семья одна. От твоей жены родятся мои правнуки. А правнуков своих...

Тимур, встретив взгляд Халиля, почувствовал железное упрямство внука, и все досады этого дня готовы были вспыхнуть в приступе неудержимой ярости.

Но старик сдержал себя:

— Разве у деда нет прав на правнуков?

И считая, что ответил внуку ясно, добавил:

— Иди.

Но когда Халиль, понурясь, пошел было к выходу, Тимур его остановил.

— Ты что же?

— А что, дедушка?

— Этого старика прими, угости. Одари! Понял?

И когда с ним остался один Мухаммед-Султан, распорядился звать в залу своих вельмож.

Солнце уже западало, и свет в зале стал густым и прозрачным, как свежий мед.

Вельможи, вступив в залу, пошли мимо сокровищ безмолвные, ступая по ковру неслышно, как сновидения.

Глаза их не видели ничего, кроме груд сокровищ.

Натыкаясь друг на друга, наступая друг другу на ноги, шли

зачарованные, немые, глядя то на все сразу, то на что-нибудь одно, столь обольстительное, что затмевало все остальное.

Лица у одних раскраснелись, словно перед ними пылал нестерпимый огонь; другие вспотели так, что вороты халатов потемнели, а пот струился и струился из-под чалм, со лба, застилал глаза; третьи шли, стиснув зубы, шевеля пальцами, будто ощупывали что-то. Иные, насупившись, глядели с ненавистью на то, что ускользнуло из их рук.

У святого сейида Береке нижняя челюсть отвисла, и мелкой дрожью трепетала его борода, как птица, у которой вдруг отсекли голову.

Тимур смотрел на своих сподвижников, радуясь.

Его радовало, что они не насытились. Пока не иссякнет в них эта жажда и эта страсть, их не покинет сила, они останутся с ним, не отступят, не выдадут, не изменят.

Ему хотелось крикнуть им:

— Берите! Хватайте!

Не жалко было отдать: он смолоду любил делиться добычей,— тем он и держал вокруг себя смелых, отпетых головорезов. Но он знал их. Они растерзали бы здесь друг друга. Такую ошибку он сделал однажды в молодости, но больше не ошибался и приучил их терпеливо ждать, пока он начнет дележ. И слово его бывало нерушимо. Если ж осмеливался кто-нибудь пожелать большего или раньше, чем выходило по череду, горе ждало того — в пример остальным.

Он уже устал.

Ему хотелось уйти: силы иссякли.

Но уйти было нельзя: пока он стоял здесь, все проходили вдоль добычи чинно, степенно, молча. Но в том, что им хватит на это сил без него, он не был уверен и ждал, пока они обойдут всю залу.

И когда они перешли в другую залу, где было разложено всякое редкое оружие, всякие диковины из дерева или из кости, он вышел с ними и туда, как пастух, ведущий стадо на новое пастбище.

Лишь когда все было огляжено, он приказал запереть двери опустевших зал, ключи взял себе, а к замкам приставил крепкий караул надежных воинов: час дележа еще не настал.

Может быть сказались годы,— он испытал такой отлив сил, что готов был лечь тут же, на полу, в проходной галерее, и поэтому не пошел к женам, пировавшим по случаю приезда Севин-бей, а ушел в тихую комнату, сел у окна, велел подать вина и смотрел на погружающийся в голубую мглу Самарканд, где лишь вершины деревьев еще пылали закатом над плоским простором города, над потемневшими карнизами мечетей, дворцов, караван-сараев.

Выпив чашку густого красного вина, он позвал Мурат-хана и велел передать великой госпоже, что ждет сюда Севин-бей.

Сарай-Мульк-ханым вошла разгоряченная пиром, разговорами и вином, но, взглянув на лицо мужа, быстро оправила платье и покрывало, чтоб складки легли строже и проще.

Севин-бей осталась такой же, как днем,— видно, все это время ей было не до пира, не до разговоров.

— Благополучно доехала?— спросил Тимур,

— Благодарствую, отец. Даже не видела дороги.

— Что с тобой?

— Со мной меньше, чем с вашим сыном.

Рука Тимура дрогнула, лицо поднялось:

— Что с ним?

— Берегитесь его, отец!

Пальцы старика хрустнули, так крепко он сжал кулак.

— Что с ним, спрашиваю!

— Он одичал. Он все разрушает. Он всех ненавидит, кроме тех, с кем пьянствует. Он замышляет против вас, отец!

— Нет!— твердо возразил Тимур.— Ты что-то путаешь.

Сарай-Мульк-ханым участливо предложила ей:

— Ты, может, сперва отдохнула б с дороги?

Но Тимур прервал жену:

— Молчи! Не твое дело.

— Я, отец, не от дороги устала. Меня измучил ваш сын.

— Поссорились?

— Он все разрушает, отец!

— Давно?

— Третий год он нездоров. Упал с лошади, ударился головой и началось.

— Расскажи.

— В Султании он велел разрушить тот прекрасный дворец, который вам нравился. Я спросила: «Зачем?» Он сказал: «Там замурованы сокровища, я их искал». Никаких сокровищ не оказалось. Но я ему поверила. Вдруг в Тебризе он приказал развалить гробницу Рашид-ад-дина, историка, а кости его приказал вынести и закопать на еврейском кладбище. Я опять спросила: «Зачем?» Он ответил: «Этот негодяй непочтительно писал о мусульманах». Я сказала: «Вы любите читать историю; разве там есть подобные поступки?»

Тимур переспросил ее:

— Он любит читать историю?

— Он приказал, чтобы ученый Наджм-ад-дин перевел для него с арабского сочинения Ибн-аль-Асира. И хорошо вознаградил переводчика, а книгу бережно хранит.

— Вот как? Дальше...

— Тогда он вдруг крикнул: «О моем отце говорят, что он создает прекрасные здания. Я хочу, чтобы обо мне говорили, что я ничего не создал, но разрушил лучшие здания мира». Я сказала: «Ваш отец создает величайшее государство». Он ответил: «А обо мне скажут, что величайшее государство отца разрушил его сын мирза Мираншах. И прославят не отца, а меня, потому что разрушать веселее!» Я сказала: «Не следует так поступать!» Он расхохотался, а потом вдруг кинулся на меня, выхватил нож...

— Он не посмел бы!..— крикнул Тимур, вскакивая, глядя на сноху округлившимися глазами.

Но сдержал себя и, не веря ей и от этого успокаиваясь и желая успокоить ее, покачал головой:

— Нет, он... Не осмелился бы. Я его знаю: смелости в нем нет!

— Отец!

Тимур уловил и попрек, и скорбь в этом слове, и подошел ближе.

Она торопливо распоясала верхний халат; распахнула нижний халат:

— Смотрите!

Тимур отступил, не сводя глаз с ее рубахи.

— Я не снимала ее, отец, всю дорогу. Я спешила показать ее вам.

Изрезанная ножом, густо запятнанная засохшей кровью, ее рубаха дрожала перед глазами Тимура.

Брови старика опустились к глазам. Глаза потупились. Он безмолвно стоял, сразу осунувшись, тяжело думая о чем-то.

Севин-бей нетвердой рукой пыталась завязать тесьму халата, но зеленая кисточка мешала ей затянуть узелок.

Сарай-Мульк-ханым запахнула ее халат и обняла сноху.

Старик отошел от них, опустился около окна, прижал ладонь к глазам и заплакал, тяжело содрогаясь.

Только правая, сухая рука оставалась безучастной и беспомощной.

Он сидел один в темноте, около окна.

Он знал, что Мираншах безумствует в странах, доверенных его разуму: об этом рассказал гонец, об этом сообщили проведчики. От других людей было известно, что в Иране и в Азербайджане народ осмелел. Неизвестные люди нападали на воинов, приходилось усиливать охрану караванов, проходящих через эти земли на Самарканд. Распустились и бесчинствовали приятели Мираншаха, забывая об их долге укреплять власть в покоренных странах; налоги, взысканные с земледельцев, попадали не в казну, а в сундуки приближенных Мираншаха, а сам он пьянствовал, охотился, расширял и украшал свой гарем, опустошал казну государства. А за спиной у Мираншаха безбоязненно и безнаказан-

но хозяйничает осман Баязед с очень большим, с очень крепким войском.

В Герате властвует другой сын Тимура, отец Улугбека, Шахрух. Этот не пьет вина, не любит охоты и столь послушен своей жене Гаухар-Шад, что даже гарем свой не расширяет. А ведь Шахруху нет еще и двадцати пяти лет! Он предан благочестию и наукам. Пять раз в день он перед всем народом выходит в мечеть на молитву, а в остальное время читает книги или ведет душеспасительные беседы с благочестивыми людьми. Он ничего не берет себе из государственной казны, но и обогатить эту казну не стремиться, а мог бы: у некоторых из его соседей можно было бы кое-что добыть. Деньги он тратит на покупку книг, окружил себя переписчиками книг, художниками, украшающими книги, ханжами, дервишами, какими-то сирийскими шейхами, блюстителями мусульманских истин. А делами государства занимается его жена. Гаухар-Шад, мать Улугбека,— своенравная, беспокойная дочка спесивого заносчивого Гияс-аддина Тархана.

Народы, подвластные Шахруху, персы, афганцы, белуджи, все они позабыли, что Шахрух не ими возведен на царство, а поставлен Тимуром; забыли, что земли их — лишь частица великой державы Тимура.

«Благочестивый мальчик!»— думал Тимур о ненавистном Шахрухе, сжимая губы, сощуривая глаза.

«Надо напомнить дерзким о своей силе. Опустошить земли Баязеда. Разорить там базары и купцов, чтоб не мешали торговать купцам Самарканда. Надо срыть крепостные стены в османских городах, чтоб не лелеяли опасных надежд. На непокорных надо навести ужас!»

«Но всех надо застать врасплох. Иначе каждый вздумает сопротивляться, с каждым понадобится борьба».

«Надо поход готовить втайне, всех обмануть, напасть внезапно, всех застать врасплох!»

Надо спокойно подумать, надо рассчитать, какую из дорог выбрать,— прямую ли через Мираншаха, чтобы весь Западный Иран и все земли Закавказья, отданные Мираншаху, привести в порядок. Или обмануть Баязеда, пройти на юг, проверить дела у Шахруха и оттуда, резко повернув к западу, быстрыми переходами навалиться на зазевавщегося Баязеда. Дорога через Мираншаха прямей; через Шахруха — намного длиннее. Но иногда самый дальний путь бывает самым коротким к победе.

Но покоя, чтоб все обдумать, не было. Весь этот день, одна за другой, обжигали его досада за досадой:

«Халиль, упрямец, посмел возражать. Из-за девки посмел спорить с дедом! Его девка говорила противные слова о сокровищах. Ее тут же раздавить бы, но тогда слух о ее дерзких ответах раз-

несся бы по всему городу, по всему народу. Надо было ее осрамить; удалось осрамить, и она поняла это». Но досада осталась.

«Севин-бей родила ему двоих лучших внуков. Он любил ее за это; он уважал ее как внучку самого Узбек-хана, ради нее он пощадил ее отца Ак-Суфи. А Мираншах не посчитался с тем почетом, каким окружал ее Тимур. Мираншах казался дурашливым гулякой, нерешительным, трусливым, безопасным. Ему нельзя было доверить государственных дел, но кусок своего царства отец ему доверил. А он оказался не дурашливым, а свирепым; не трусом, а зверем».

«Кабан! Свиреп, а неповоротлив...»

«Кабан! Норовит тупым рылом все взрыть, во что ни уткнется рыло. А что повыше, а что по сторонам, того не видит, пока всем задом не развернется!»

Это не только досада, это и предостережение ему!

Досадой была и затея великой госпожи строить мадрасу напротив его мечети. Но эта досада не столь была б велика, если б Тимуру не хотелось отказать старухе. Досаднее всего было, что хотелось отказать, а он не посмел. Не посмел, не решился!

А началось еще на рассвете, девчонка, наложница, которой он и замечать бы не должен, она первая раздосадовала его. Чем? С утра он сам не понял, чем. Теперь ясно: она удивилась, что за всю ночь он не подумал о ее поясе! Досада явилась, когда она с таким упрямством ждала, прежде чем уйти. Как оскорбленно взглянула, как насмешливо затопотали ее босые пятки, когда она побежала к себе!

Эта первая досада была бы не столь тяжела, если б была только оскорбительна. Нет, и она была предостережением: владыка мира стал стар!

Весь этот день то одно, то другое напоминало ему, что силы уходят, а сил надо много, чтоб крепко держать весь мир!

Он сидел в темноте, обдумывая все, что случилось за день. Это было его правилом,— прежде чем уйти спать, припомнить, обдумать и оценить угасший день. Вспомнить правильные поступки и найти причины ошибок.

За весь этот день он не мог вспомнить ни одного правильного поступка. В каждом случае можно было поступить иначе. От рассвета до ночи не было ни одного поступка, о котором было бы можно сказать, что иначе нельзя было поступить. Ни одного...

Ночная свежесть и полная тьма успокаивали его. Но утешения не было.

И усталость его была какой-то новой, непривычной,— не тело устало, тело ему повиновалось, устала воля: не было желания ни встать, ни идти, ни спать.

Он посмотрел в окно.

Под поздним небом город был уже неразличим.

Лишь в одном месте, слева от базара, какую-то высокую стену слабо освещал колеблющийся свет очага.

«Это, пожалуй, на дворе у хана, у Султан-Махмуда,— он любит допоздна сидеть у очага, глядеть, как в котле ему варят ужин; что-нибудь простое варят».

В это время за дверью, в темном коридоре, кто-то торопливо прошел.

Тимур насторожился: ночью каждому во дворце надлежало быть на своем месте, чтобы каждого, если надо, Тимур мог и в темноте найти, на ощупь, как халат или кувшин.

«Кто мог пройти? Куда?»

Тимур прислушивался.

Вскоре шаги повторились.

Кто-то шел сюда.

Кто-то встал на пороге, видно, пытаясь рассмотреть эту комнату в темноте.

Тимур затаился, прижавшись к стене, и рука его сжала рукоятку кинжала, всегда засунутого за пояс.

Голос Мурат-хана:

— Государь!

Тимур нехотя отозвался.

Я вас везде ищу, государь!

— Что там?

— У ворот — человек. Просит допуска: «Особая весть»,— говорит.

— Кто это?

— Купец.

— Чего ему?

— Обещает только вам сказать.

— Откуда?

— Не говорит. Спину ослу сбил до костей. Сам еле на ногах стоит. Видно, издалека.

— Приведите. Дайте свету.

Внесли светильник и поставили на полу. Тимур не сдвинулся с места, лениво глядя на дверь.

В двери он увидел сопровождаемого воинами покрытого густой пылью невысокого человека в сером от пыли халате.

По высокой шапке Тимур вспомнил Геворка Пушка и строго сказал:

— Сперва отряхнулся б!

— Государь! До того ли?

— А что?

Пушок, переступая порог, еле держался на широко расставленных ногах и не имел сил ни согнуться для поклона, ни пасть на

колени, и лишь глядел на Тимура обветренными глазами из-под отяжелевших от пыли ресниц.

Тимур, не шевельнувшись, осмотрел его:

— Чего ты такой?

— Караван ограблен!

— Потому я и послал тебя...

И сказав это, подумал:

«Головой он, что ли, ударился?»

— Он-то и ограблен!

— Мой?— оторопел Тимур.

— Увы, государь!

— Где?

— По дороге на Бухару. Напротив Кургана.

— Тут? Рядом! А ты?

— Бежал к вам.

— А разбойники?

— Ушли.

— Не поймали?

— Никого. Да и некому: стража спала.

Одним тигриным прыжком Тимур выскочил за дверь:

— Где начальник караула? Царевича звать, Мухаммед-Султана! За ханом послать, чтоб сразу сюда скакал.

Уже в другой зале Тимур приказывал:

— Эй, Мухаммед! Распорядись созывать совет! Немедля сюда! И чтоб лишнего,— никого! Эй, эмир Хусаин!..

Таким голосом Тимур командовал в самые опасные минуты боя.

— Эй, Мурат-хан! Остереги великую госпожу: Улугбека не отпускать на охоту! Никому из гарема не соваться за город.

Огромными прыжками он проносился через весь дворец.

Воины, сидевшие у дверей, вскакивали, спросонок хватаясь за мечи или копья.

Зажигались светильники, факелы.

Со двора уже мчались гонцы и скороходы созывать воевод, советников, начальников караулов.

Весь Синий Дворец проснулся. Отсветы огней блистали на гладких, как вода, изразцах. По ночным облакам зарумянилось дымное зарево. Псы завыли по всему городу, напуганные внезапным пробуждением, словно в город уже ворвался враг.

Мухаммед-Султан допытывался:

— Война, дедушка?

— Разбойники под самым городом. Понимаешь? Нет? Не понимаешь?

Но, чтобы слышать деда, надо было бежать следом за ним: дед не останавливался ни на минуту.

Тимур нетерпеливо сжимал кулак:

— Чего ж еще не собрались? Где они?

Позванные уже въезжали во двор, поспешали наверх, на зов своего повелителя, спрашивая друг друга:

— Война?

— Какая-то страшная весть!

А Тимур уже стоял среди залы. Рука его дрожала, чего не случалось ни в одной битве.

— Посмели грабить! Здесь! Меня! И сумели!

Он кричал так, что воздух дрожал:

— Кто? Где они?

Вельможи молчали, удивленные и озадаченные. Тимур кричал, пытаясь объяснить им происшедшее.

— Не побоялись! Посмели! Сумели! И ушли. Не понимаете? А я понимаю, я знаю!

Ему невозможно было сказать им, что сам он когда-то вот так же начинал... А теперь кто-то другой! У него за спиной!

Но вельможи стояли, не постигая всей опасности происшедшего.

Начальник городской охраны Самарканда эмир Музаффар-ад-дин попытался успокоить Тимура:

— Государь! Ведь совсем недавно был такой случай. И всех поймали и наказали.

— Где?

— Около Кутлуб-бобо! Тогда... караван с кожами...

Он осекся, увидев застывшие глаза онемевшего Тимура.

Но никаких голосов не было слышно в той отдаленной комнате, где Пушок остался один и не знал, ждать ли здесь, уходить ли?

Светильник чадил. Рыжая струйка копоти тянулась вверх, и какая-то большая розовато-дымная бабочка, залетев на свет, вертелась странными кругами, падая вниз, взмывая вверх.

Пламя светильников множилось в многоцветных отблесках на глади зеленых изразцов, покрывавших низ стен, на шелковом ворсе просторного ковра, на яхонтах и лалах, украшавших шапки и перстни, на золотых шишаках княжеских колпаков, на золотом шитье тяжелых халатов.

Созванные сюда советники Тимура оделись, как одевались обычно, являясь ко двору,— повелитель не простил бы, если б в одежде поднятых с постелей вельмож заметил признаки спешки или ночной небрежности, как не простил бы, если б они вздумали так нарядиться в поход, в поход все отправлялись в простых, удобных одеждах, а величались там один перед другим лишь красотой оружия.

Пока длился этот ночной совет, Тимур сидел, опершись о круглые парчовые подушки, протянув негнувшуюся ногу в мягком, как чулок, сапоге, и поглядывал исподлобья на говоривших.

Чем дольше шло время, тем меньше он вникал в слова своих советников, все глубже уходя в свое раздумье, все яснее видя предстоящее дело.

Когда начальник города эмир Аргун-шах заговорил о возмутительной дерзости грабителей, о грехе воровства и о небесных карах, от коих разбойники не увильнут, Тимур прервал его складную речь, поднимаясь.

— Считать грехи — дело мулл. Это их забота. А нам некогда.

Он подозвал писца, оглядел всех и встал.

Советники вскочили на ноги, боясь проронить хотя бы одно из его слов.

Зорко следя за каждым, застыли позади Тимура джагатаи — неподвижные телохранители с короткими копьями в крепких руках.

Справа от повелителя строго стоял Мухаммед-Султан. А Тимуру не стоялось. Поворачиваясь к советникам то правым, то левым плечом, он, прямо глядя в глаза тому, к кому обращался, приказывал.

Эмиру Аргун-шаху он поручил обшарить селения вокруг Самарканда и выведать, нет ли бездельников в тех селениях, нет ли пришлых, нет ли непокорных людей. И тех, кто хотя и не грабил еще, но может стать грабителем, выловить.

Музаффар-аддину Тимур велел осмотреть торговые дороги вокруг во все стороны на сутки пути.

Он велел разослать приказы начальникам областей, чтобы хватали всех, кто без дела покажется на торговых дорогах, а схваченных спрашивать сразу, пытливо, без жалости.

Тимур приказал писцу взять расписки со всех, кому дал приказания. Еще за много лет до того, по завету бывалого Карачара, он ввел правило брать перед битвой подписи воевод, получивших приказы. Но этот обычай исполняли перед битвами; на мирном совете он потребовал подписей в первый раз, и все поняли, что он взыщет со своих советников сразу, пытливо, без жалости.

Он ушел, сопровождаемый одним лишь Мухаммед-Султаном.

Джагатаи тотчас стали перед дверью, которая его скрыла, и оперлись о свои легкие, но крепкие копья.

Советники молча и торопливо кинулись к выходу, стеснившись и протискиваясь в двери, словно он мог и через стену увидеть, что кто-нибудь из них нерасторопен, неповоротлив, неисполнителен.

Приняв решение и распорядившись, Тимур успокоился, но ему еще не хотелось покоя: на ходу лучше думалось.

И он шел из залы в залу, из освещенных зал — в темные, из пустых — в те, где стояла стража.

В одной из темных зал он подошел к окну.

В ночном городе то тут, то там трепетали на стенах отсветы освещенных дворов. Кое-где разгорались новые: видно, в свои дома возвращались те, с кем он говорил сейчас, а может, соседи приходили к соседям разузнать, что за тревога в городе, куда и зачем скачут по темным улицам всадники, почему усилены караулы у городских ворот, почему во дворце горят факелы и светятся окна.

— Город не спит,— сказал Мухаммед-Султан.

— А о чем они говорят, знаешь?

— Говорят?.. О том, что разбойники на караван напали.

— Они говорят: «Ограблено десять караванов с несметными сокровищами». Они говорят: «Вражеские войска ворвались в нашу страну, захватили Фергану, или Балх, или Хорезм». Они говорят: «Восстание в Султании, Герат горит!» Ты знаешь, что такое слух?

— Слух, дедушка?..

— Слух растет, как песчаная буря. Чем больше людей, тем сильней эта буря. Слух разрастается, искажая сбывшееся; слух порождает мечты о несбыточном. Слух — это большая сила. А силы всегда надо держать в своих руках, чтоб всякая сила служила тебе, а не врагу. Все силы надо держать воедино, чтоб ударить в цель. Чтоб, как слуги, слухи служили тебе. Понял?

— Нет, дедушка, что за сила слух о пожаре в Герате, если там мир и тишина?

— А ты подумай...

Тимур смотрел на ночной Самарканд.

Огней не было видно: огни горели в глубине дворов, их заслоняли стены, карнизы, деревья, но по отсветам на стенах видно было, что там горели факелы или очаги,— отсветы трепетали, на мгновенье заслонялись длинными тенями, возникали вновь. Кое-где свет на стенах лежал неподвижно,— там горели фонари, поставленные на землю. Некоторые из отсветов погасали, другие разгорались, розовые или желтые, вытянутые по высоте строений либо распластанные по ширине коренастых стен.

— Ты подумай...— в раздумье повторил Тимур, прикидывая, как извлечь пользу из этой ночной тревоги, из пересудов всполошенных горожан. И вдруг оживился и заговорил быстро, будто уже не осталось времени на разговоры: он не любил ничего откладывать, если уже знал, как надо поступить.

— Базар! Надо слухом взбудоражить базар. Понял?

— Зачем, дедушка?

— Чтоб базар зашумел. Чтоб купцы встревожились. Из них каждый испугается: не потерять бы время. А что надо продавать, что покупать,— чтоб не знали. Тут и надо направить их. Слухом направить, а вслед за слухом, когда у них глаза разгорятся, кинуть им товар. Надо подумать, какой нам товар сбыть? Понял?

Тимур опять неторопливо пошел по дворцу, через залы, где горели светильники, и через темные. Всюду стояли стражи.

— Надо подумать, что сперва сбыть. Понял?

Мухаммед-Султан молчал.

Тимур опять заговорил:

— Ты смекай: по городу пошел слух: «Война!» Если его не остановить, завтра с базара его понесут во все стороны, по всей стране. А его нельзя выпускать. В поход надо идти молча, незаметно. Когда подойдешь, тогда кричи и кидайся на врага. Разом! Но пока точишь меч, точи молча, тогда он острей наточится. По городу пошел слух: «Разбойники!» Если этот слух разойдется — другие разбойники ободрятся. А как мне отсюда уйти, когда здесь неведомые злодеи разбойничают? Сперва их надо найти, потом сказать, что были, да пойманы; потом так их наказать, чтоб весь город охнул. Тогда весь Самарканд присмиреет. Чем тверже твоя рука, тем мягче рука врага. Ты это помни! Врагов много. Враги везде.

Он остановился и прохрипел тихо, но гневно,— Мухаммед-Султан едва расслышал:

— Они даже в семье есть. В нашей. Нож держи под рукой. Под рукой, понял? Но знай их всех; с глаз их не спускай. И если что... то разом! Понял?

Тимур поверил Мухаммед-Султану то, чего не доверял никому, кроме этого внука, своего наследника. Поверил, чтоб вытеснить из своего наследника все колебания, все сомнения, чтоб внук все видел глазами деда, чтоб все слышал ушами деда, чтоб через много лет еще жил дед в этом внуке и продолжал бы свои дела руками внука, примечал бы опасных врагов глазами внука и устами внука говорил бы им свой приговор.

Опять, хромая, он шел, а Мухаммед-Султан следовал чуть поотстав, приноравливая свои шаги к хромоте деда.

Оба были длинны, широки в плечах, и воинам, смотревшим им вслед из темноты, эти двое, входившие в освещенную залу, на мгновенье казались одним человеком, двоившимся в глазах. Но мгновенье спустя Тимур падал вниз на больную ногу, и сходство исчезало.

— Слышал,— Мираншах озверел. А на что нам зверь? Нам нужен такой, чтоб звери его боялись. А Шахрух в Герате замолился. А на что нам такой мулла? Один каждый день при всем народе буянит; другой пять раз на день при всем народе молится. А надо, чтоб их пореже видели; чем реже будут их видеть, тем больше бояться будут. А кого боятся, того слушаются. Мне надо самому сходить к ним. А как идти, когда тут разбойничают? При мне злодействуют, а без меня разгуляются. Что ты тогда сделаешь?

— Я?

— Ты. Тебя тут оставлю. Твердо правь.

— Разве я не тверд, дедушка?

— Тверд, а мягковат.

— Ну, злодеи этого не скажут!— громко задышав, обиделся Мухаммед-Султан.— Мягковат! Нет, не скажут, дедушка!

— Ты знай: ты хорош, хоть и мягок со своими, зато с врагами тверд. Ты тем плох, что и со своими не надо мягчиться. В мягкой руке из иного червяка скорпион вырастает. Понял?

Он остановился в зале, где горел светильник, но никого не было.

— Без меня сыщешь разбойников? Припугнешь? А? А то как я пойду? Поход большой, дорога долгая, а они, знаешь,— сегодня их десятеро; через неделю — сотня; через месяц их—тысяча! Они один к одному набегают, когда у них — удача, добыча, дележ. Я знаю! Их надо схватить. Куда б ни заползли, где б ни затаились,— сыскать, раздавить. В самом начале, пока их... Ведь неизвестно, сколько их!

— Не мудрено узнать, дедушка.

— Как это?

— Узнаем, много ли пограблено...

Тимур, застыв на кривой ноге, вскинул озадаченное лицо к внуку:

— Чего ж ты молчал?

— О чем?

— Вот об этом! С этого и надо начать: сколько пограблено? Что пограблено? Узнаем, чего им надо,— поймем, кто они. Узнаем, сколько пограблено,— поймем, много ли их. А где он?

— Кто, дедушка?

— Армянин этот, где?

— Я его не видел.

— А его не подослали? Это правда, что он сказал?

— Я его не видел, дедушка.

— А где он?

Мухаммед-Султан по голосу деда понял, что дед раздосадован. Раздосадован на себя самого, что поспешил, что не расспросил как надо, а сразу поверил, сразу кинулся народ поднимать. Это редко случалось с Тимуром. Да и случалось ли прежде? Что с ним?

— Найдем! — успокоительно сказал внук.

— Ищи!— приказал Тимур уже не прежним доверчивым шепотом деда, а порывистым голосом повелителя.

Мухаммед-Султан вернулся в пройденную залу к караульным воинам.

Но воины единодушно и твердо отвечали царевичу:

— Купец? Нет, назад не проходил.

Мухаммед-Султан поспешил к Тимуру:

— Армянин где-то здесь.

Тимур нетерпеливо повторил:

— Ищи!

И вдруг вспомнил, что говорил с купцом в маленькой боковой комнате.

— Ну-ка, пойдем!

Они увидели светильник и струйку копоти, утончавшуюся кверху, словно чья-то невидимая рука сучила прядь бурой шерсти.

С краю от двери, как на бегу сраженный стрелой, лежал, раскинувшись, пыльный и оттого особенно бледный, застывший Пушок.

— Кто его?— отстранился Тимур.

Мухаммед-Султан склонился к купцу:

— Он дышит.

— Что с ним? — не понимал Тимур.

— Заснул.

Восьмая глава

СИНИЙ ДВОРЕЦ

Мухаммед-Султан, едва Тимур отпустил его, уехал к себе, но в дом не пошел, а велел постелить постель в саду на широкой тахте под деревьями: он мог еще до свету понадобиться деду, а дед не любил ждать, когда кто-нибудь ему надобился.

Ночной воздух был свеж, влажен, тих. Но царевич много раз тревожно просыпался: то ему слышались глухие голоса с улицы и он приподымался, прислушиваясь, то казалось, что в ворота стучат, и он сбрасывал одеяло:

«За мной от дедушки!»

Опять засыпал и опять вслушивался.

Было бы спокойней ночевать в Синем Дворце, да не хотелось летнюю ночь проводить в каменных стенах: с детства дед приучил их всех летними ночами спать в распахнутых шатрах или под сенью деревьев, или в степи под открытым высоким небом.

Дед всех приучал летом кочевать с места на место, ночуя в садах ли, в степях ли, в долинах ли между гор, на берегах ли прохладных рек, в шатрах, окруженных сотнями других шатров, где размещались слуги, воины, приближенные или родичи.

Когда утренний порыв ветра колыхнул листву, Мухаммед-Султан увидел посветлевшее небо и пошел к восьмиугольному водоему, осененному длинными ветвями плакучих китайских ив.

С вершин до самой воды свисали их гибкие, как девичьи косы, ветки. Длинные узкие листья плавали в серой, прозрачной, холодной воде.

Пока он мылся, заворковали горлинки, и царевич снова встревожился:

«Не опоздать бы!»

Но прежде чем пойти к своему еще безмолвному, спящему дому, он прошел по дорожке, вымощенной восьмиугольными плитками, к островерхому стройному своду новых ворот, сложенных из светлых, как тело, желтоватых кирпичиков.

Над глубокой нишей зодчий выложил цветную мозаику, и она казалась влажной и прохладной в этот ранний час утра.

Через эти ворота Мухаммед-Султан перешагнул в каменный дворик, весь заставленный стопами свежих кирпичей, ящиками с известью, рядами изразцов, разложенных по всему двору в том порядке, как их уложат на стенах.

Здесь строилась мадраса для приюта паломников и просвещенных странников и ханака, куда Мухаммед-Султан втайне намеревался перенести прах какого-нибудь святого, чтобы ханака обрела себе покровителя на небесах.

Горлинки ворковали, давно бы пора ехать в Синий Дворец, но за все эти сутки, с того часа, как братья выехали в сарай Кутлук-бобо навстречу Севин-бей, своей матери, не было у Мухаммед-Султана минуты посмотреть на строительство, а посмотреть не терпелось: что выходит из затеи, обдуманной сообща со старым искусным зодчим; что нового возникло здесь за вчерашний день.

По еще непросохшей известке он узнал ряды вчерашней кладки. Определился изразцовый узор на одной линии, составившей ряд синих мозаичных звезд.

Показалось, что сделано мало: как и дед, Мухаммед-Султан был нетерпелив со строителями, ему думалось, что строить можно гораздо быстрей. Он попрекнул бы, даже припугнул бы зодчих за медлительность. Но зодчие еще не пришли. Лишь бездомные каменщики, остававшиеся здесь ночевать на длинных, пыльных войлоках вдоль еще сырых стен, спали, прикрывшись домоткаными халатами или серым рваньем. А кому совсем нечем было накрыться, спали, свернувшись комком. Некоторые уже поднялись. Один стоял, упершись ладонями в стену, и никак не мог откашляться.

Мухаммед-Султан прошел мимо, будто они лишь кучи глины и щебня, сваленные у стен.

Выйдя на задний двор, где бывал редко, Мухаммед-Султан вдохнул острый парной запах конюшен и увядшей люцерны. Конюхи мыли и чистили неспокойных лошадей, прежде чем засед-

лать и поставить их под навес на переднем дворе, где полагалось держать лошадей наготове. Лошади артачились, но конюхи не решались на них покрикивать в столь раннее время, когда в доме еще спали.

Обходя по голубовато-белой земле черные пятна луж, Мухаммед-Султан вышел к протянутой вдоль длинной стены террасе, накрытой веселой росписью невысокого потолка.

Здесь повсюду сидели домашние рабы и слуги, ожидавшие не царевича, а домоправителя или ключарей, чтобы каждому заняться своим делом,— кому нести припасы на кухню, кому отвешивать ячмень на конюшню, кому выдавать известь строителям.

Наскоро одевшись, Мухаммед-Султан поехал к деду, успокаивая себя: «Старик, не смыкавший глаз во всю эту ночь, на заре проспит дольше обычного».

На галерее Синего Дворца, где придворным полагалось степенно ожидать приглашения к повелителю, вельможи, съехавшиеся на прием, тревожно толпились, перешептываясь, озабоченные, помрачневшие.

Мухаммед-Султан не остановился расспросить о причинах их тревоги: он, как и дед, не любил спрашивать; предпочитал узнавать обо всем стороной или от проведчиков,— самому спрашивать людей считал унизительным для своего достоинства.

В дверях его встретил эмир Шах-Мелик, которого за испытанную верность и смелость любил Тимур. С Шах-Меликом Мухаммед-Султан бывал в походах, бок о бок с ним бился в битвах; случалось им и пировать рядом, и ночевать у одного костра.

— Что-то вельможи сегодня...— пожал плечом Мухаммед-Султан, больше удивляясь, чем спрашивая.

— Государь не велел никого к себе пускать. Он удручен поведением мирзы Мираншаха и не желает видеть людей.

— А вельможи?

— Одни говорят: «Государь заболел»; другие: «Опечален, оплакивает участь своего заблудшего сына».

— А государь?

Никого не допускает к себе.

— Видели его?

— Нет. Приема не будет. Всем разрешено ехать домой. Но все толкутся, ждут: «Может, он пожелал испытать их усердие!»

— А вы?

— Тоже. Вдруг я ему понадоблюсь?

Мухаммед-Султан ничего не ответил и прошел к деду.

Тимур сидел в той небольшой комнате, где в эту ночь заснул армянский купец.

Пушка уже не было: едва он проснулся, повелитель призвал

его и долго, придирчиво расспрашивал. Расспросив, велел ему отправиться в одну из келий над дворцовыми кладовыми, а в город не показываться.

— Выспался? — спросил Тимур своего наследника.

В этом вопросе Мухаммед-Султан уловил насмешку: «Я мол, старик, повелитель мира, если надо, обхожусь без сна, а у тебя, мальчишки, сил меньше, тебе отдых необходим, сон в саду между розами!»

Может быть Тимур и не насмехался; может быть, это лишь почудилось мнительному, самолюбивому царевичу, но Мухаммед-Султан не сумел скрыть обиды:

— Не до сна было. Ездил домой осмотреть строительство.

— Нравится?

— Медленно работают.

— А ты плетей не жалей. Корми людей мясом досыта и без жалости бей их ремнями. Они станут проворней, дело пойдет веселей.

— Развеселю!

— Ты умеешь!

В этих словах была долгожданная похвала. Еще года за три до этого, перед походом в Индию, дед приказал Мухаммед-Султану построить или обновить крепости на границах с монголами. Тогда намечался поход на Китай и следовало на пути туда поставить передовые войска, сложить надежные припасы для войск, привести в порядок окрестные области.

Мухаммед-Султан обновил обветшавшие стены во многих городах, крепко и хорошо сложил новые надежные крепости, но дед пошел не в Китай, а в Индию, и за событиями индийского похода забылось, как быстро, в глухих степях, воздвиг Мухаммед-Султан стены из кирпича, сумел воодушевить усердных строителей, жестоко наказать нерадивых и подавить непокорных.

Только сейчас, вскользь, сказал дед те два слова, которых Мухаммед-Султан ждал три года: «Ты умеешь!» И Тимур, заметив, что внук понял похвалу, спросил:

— Что во дворце?

— Вельможи толкуют, будто вы, дедушка, вестями о Мираншахе омрачены.

— Это хорошо.

— Не понимаю.

— Пойди, подтверди: «Дедушка весь в слезах. Никого не хочет видеть!» А ко мне проведи поодиночке, стороной, эмира Шах-Мелика, эмира Аллахдаду, Рузмат-хана. Поодиночке. А прежде пошли ко мне Улугбека. Прежде, чем приведешь эмиров. Понял? И заготовь указ: эмиру Мурат-хану ехать в те го-

рода, что ты строил по границе с монголами. Чтоб он проверил, целы ли там припасы, сколько их там, каковы войска.

— В припасах эмир Мурат-хан не ошибется. А в войсках он мало смыслит, дедушка.

— Запасы проверит, и хорошо. Надо, чтоб он это время был подальше от сестрицы, от царевны Гаухар-Шад. Пока он здесь, ей в Герате многое слышно из того, о чем шепчутся в Самарканде. А зачем им там все слышать?

— Вчера от него поскакал гонец с письмом в Герат.

— Когда?

— Вчера, дедушка.

— Когда, спрашиваю, после приезда твоей матери?

— После пира у царицы бабушки.

— Сейчас же отправь надежного гонца вслед. Настичь, письмо взять! А эмиру нынче ж заготовить указ: чтоб завтра до свету он выехал к северу. Ступай, распорядись.

Улугбек явился, как всегда, почтительный; кланяясь деду, стал в дверях.

— Говорят, ты искусен в письме?

— Учителя меня хвалят. Показать, дедушка?

— Покажи. И захвати побольше бумаги; будем писать.

— И вы тоже, дедушка?

— Посмотрим.

Улугбек звонко рассмеялся: дедушка, за всю жизнь не написавший ни одной буквы, вдруг вздумал писать!

Тимур нахмурился:

— Живо!

Улугбек исчез, будто его тут и не было.

Тимур, оставшись один, водил пальцем по ковру, словно записывал на тугом ворсе какие-то непреклонные свои решения: так сосредоточенно и сурово было его лицо.

Вскоре маленький царевич снова появился. Тимур увидел в его руках большой бумажник из толстой кожи, покрытой золотым тисненьем. Улугбек достал свои упражнения в письме.

— Покажи-ка!

Непослушными, непривычными к бумаге пальцами старик перевертывал почти прозрачные, лощеные листы самаркандской бумаги. Страницы, заполненные черными ровными рядами строк, кое-где украшались красными пятнышками слов, написанных киноварью, в знак уважения к их священному смыслу.

Бумага морщилась, когда ее перелистывал Тимур. Он переворачивал листы, царапая их коротким, толстым ногтем большого пальца, и внизу каждой страницы от ногтя оставался глубокий след.

— Где же тут ты писал?

— Это все писал я. Красиво?

— А я не знаю, что ты написал.

— Я спрашиваю, красиво ли, дедушка?

— Как я могу это сказать? Я же не знаю, что написано. Сперва надо знать смысл, тогда видно будет, красиво ли это.

— Учитель говорит, я пишу лучше Ибрагима!

— Ты слова пишешь! А смысл ты умеешь писать?

— В каждом слове свой смысл!

— Разве большой смысл пишется тоже одним словом?

— Я не знаю, дедушка.

— Ведь в разговоре иной пустяк приходится многими словами сказывать. Ты умеешь писать каждое слово?

— Умею.

— И числа?

— И числа.

— Не ошибешься?

— Я теперь редко делаю ошибки.

— Ты будешь писать здесь.

— А что, дедушка?

— Я тебе скажу. Ты будешь писать здесь. И отсюда никуда не выйдешь, пока я тебя не отпущу. Несколько дней. Ты бумаги много принес?

— Чистой?

— На которой пишут.

Улугбек неуверенно показал несколько чистых листов.

— Никому нельзя знать, о чем ты будешь писать здесь. И о том, что ты сидишь здесь, знать нельзя никому. Понял? Ты жить будешь здесь. Пить и есть — со мной. И кого б ты ни увидел, о чем бы ни услышал, сидеть тихо и молчать. Понял? Вот твое место, сиди здесь.

В это время пришел Мухаммед-Султан.

Тимур достал из-за пазухи расшитый шелковыми голубыми звездами синий тонкий платок, вытер губы и, не выпуская платка из рук, распорядился:

— Кличь их. По одному.

Вошел эмир Шах-Мелик, на ходу расправляя широкую каштановую бороду, и, даже кланяясь, продолжал ее расправлять, словно от ее красоты зависело его благополучие.

— Твои войска готовы?

— Хоть сейчас на приступ, государь!

— Оружия всем хватает?

— Запаслись. Хватит. Есть новые воины, те снаряжены хуже.

— Надо, чтоб снарядились.

— У них ничего нет, чтоб купить все, что надо.

— Пускай займут у десятников. Десятники подкрепились в

Индии, найдут чем помочь. В походе рассчитаются. Обуты хорошо?

— А разве пойдем на север?

— Видно будет, куда. А разве к югу босыми их поведешь?

— Босыми нехорошо.

— То-то. Обуй! И сам присмотри, и тысячникам твоим вели каждого осмотреть, проверить каждого: чтоб пара сапог на ногах была исправная; чтоб пара новых, запасных, в мешке лежала. Понял?

— Понял, государь. Да вот беда: обувщики жалуются,— кож в городе нет, не из чего...

— А ты вели: пускай твои сотники да и тысячники по кожевенным рядам походят, пускай покупают все, что найдут, пускай посулят купцам любую цену, какую бы купцы ни заломили. Пускай платят: босыми в поход не ходят. Позор тебе будет, ежели твое войско у меня на левом крыле в рваной обуже в поход двинется. Разбойники мы, что ли? Обуй и проверь: чтоб запасная пара у каждого воина в мешке лежала. Сколько б ни запросили купцы! Хороший воин в походе все расходы и долги вернет. А плохой воин из похода назад не приходит. Слышал, эмир Шах-Мелик?

— Слышал, государь.

— Распишись в слышанном. Дай, Улугбек, листок чистой бумаги.

И когда Шах-Мелик написал, Тимур сказал Улугбеку:

— Прочитай, мирза, что написал здесь своей рукой наш эмир.

Улугбек, видно, подражая своему учителю, выпрямился и тонким от прилежания голоском начал:

— Это, дедушка, писано почерком, именуемым насх. Однако без соблюдения знака забар над словами...

— Стой; как писано, чем писано, пропусти. Начни с того, что там написано.

— А написано...

Улугбек старательно разобрал неровный, дрожащий почерк смелого, умного военачальника.

Шах-Мелик удивился:

— В этом возрасте я еще не владел...

— Не спеши хвалить!— перебил его Тимур.— Успехи младших растут не от хвалы, а от взысканий. Так написано в одной книге из Индии.

— Вы ее читали? — спросил удивленный Улугбек.

— Тебе сказано: ты посажен сюда слушать, а не спрашивать.

И повернулся к Шах-Мелику:

— А мы тут сидим и, вот видишь, плачем.

Он поднял к глазам свой синий платок и утер узкие, горячие, сухие свои глаза.

Эмир Шах-Мелик хотел сказать что-нибудь в утешение повелителю, но ничего не придумал, а говорить обычные слова не посмел.

— Недостойно ведет себя наш сын, мирза Мираншах: разрывает нашу печень злодействами, несправедливостью, бессмысленным разрушением святынь; тому ли мы учили этого несчастного! Он попрал и справедливость, и милосердие, тому ли мы учили его!

Шах-Мелик стоял, сострадательно покачивая головой и участливо разводя руками. Его сочувствие было видно Тимуру, и повелитель, опустив голову, махнул рукой, сжимавшей платок:

— Иди, иди... Иди, эмир; поторопись, исполни, как сказано. Спрячь расписку, Улугбек; береги.

И снова поднес платок к глазам, чтобы не смотреть на поклоны своего соратника, пятящегося к двери.

Но едва эмир Шах-Мелик вышел, Тимур спокойно сказал Мухаммед-Султану.

— Зови, Мухаммед.

И когда Мухаммед-Султан ввел эмира Аллахдаду, Тимур снова прижал платок к глазам.

Эмир Аллахдада, привыкший к железной твердости своего повелителя, растерялся, увидев Тимура в печали, от неожиданности оробел и опустился на ковер гораздо дальше от повелителя, чем полагалось.

Тимур оценил его поведение как скромность и повиновение и милостиво расспросил эмира, достойно ли вооружены его воины.

Эмир Аллахдада начальствовал над конницей в том десятитысячном войске, которым командовал эмир Шах-Мелик. В индийском походе эта конница подчинялась Шах-Мелику, но в мирные дни всадники эмира Аллахдады были независимы и подчинялись ему одному.

Эту конницу, как и любой из отрядов, Тимур мог придать к другому десятитысячному отряду, мог ее усилить новым отрядом и пустить в поход под началом самого эмира Аллахдады.

— Оружия у всех достаточно? Богато вооружены?

— Достаточно, государь. Не богато, но достаточно. Безоружных нет.

— Откуда ж оружие у свежих воинов?

— Да у нас набралось в Индии; я приберег, дал свежим.

— А почему в казну не сдал?— спросил Тимур.

— Не столь оно было богато, чтоб казну загружать.

— Даром раздал?

— Почти даром, государь. Одолжил; да ведь когда они рассчитаются? Многие предстанут перед престолом всевышнего раньше, чем разделаются с земными долгами.

— А ты их оружие снова соберешь, снова продашь?

— Да зачем же оружию зря на земле валяться? Обязательно соберем!

— Так!— насупился Тимур, но спохватился и деловито поднес платок к лицу.— Так! Жаль твоих всадников,— со всяким ржавьем в бой пойдут.

— Сами же вы, государь, премудрую истину говорили: «Хорош не тот воин, что с богатым оружием в битву ходит, да с пустыми руками из битвы приходит, а тот хорош, что с пустыми руками в битву идет, да назад приходит с богатым оружием».

— И так бывает, с богатым оружием пойдут, с богатой добычей вернутся. Как в Индии с эмиром Шейх-Нураддином было; весь его отряд блистал оружием, а пошли на дерзкое племя,— вернулись, сгибаясь под тяжестью золота!

— Я помню.

— То-то. А обуты хорошо?

— Мы?

— Твои всадники.

— Конным подковы дай, а сапоги найдутся.

Тимур скрыл платком новый прилив досады. Вздохнув, он строго ответил:

— Я велю проверить: ежели у кого сапоги ветхие, а запасных в мешках нет, взыщу с тебя.

— Запасные не у всех есть, а на ногах ветхих не сыщешь.

— Чтоб были запасные! Последи! Смотри!..

Тимур, не досказав, только взмахнул рукой с платком так, как, случалось, давал знак палачу.

Эмир Аллахдада, поклонившись, ожидал дальнейших указаний, но Тимур велел ему писать расписку.

— Виноват, государь: неграмотен!

— Плох тот начальник!..— прикрикнул было Тимур, досада которого искала выхода, но спохватился, вспомнив, что и сам неграмотен.

Сердясь, он велел Улугбеку написать:

«Мне, эмиру Аллахдаде, приказано: всем моим воинам иметь при себе по запасной паре сапог».

Улугбек старательно написал это самым красивым почерком.

Тимур сказал:

— Прочитай-ка!

Улугбек, как трудный урок, не без гордости прочитал написанное.

— Годится! — одобрил дед. И приказал эмиру. — Приложи палец.

Улугбек макнул тростничок в чернильницу и усердно начернил большой круглый палец Аллахдады.

— Прижмите, пожалуйста! — попросил он круглолицего, круглобородого, круглоглазого, черного, как арап, воеводу.

И когда тот прижал палец к бумаге, вышла большая, кругля клякса, не имевшая никаких следов пальца. Но Улугбек вежливо похвалил:

— Как печать!

Отпустив этого эмира, Тимур вызывал одного за другим воевод, кладовщиков, царских ключарей, дворцовых старост; посылал тайных гонцов проверить, хорошо ли сохранились запасы зерна в больших крепостях на юге и на западе, на путях, где могут пройти большие войска, если это понадобится повелителю.

Писали расписки; записывали для памяти показания спрошенных людей.

Кладовщиками Тимур ставил испытанных воинов, отличившихся бесстрашием и преданностью, когда вражеский меч или стрела лишали этих соратников либо рук, либо ног. Навсегда закрыв для этих мужей путь подвигов, враги были бессильны лишить их верности повелителю, и Тимур призревал тех из раненых, на кого в счастливую минуту падал его милостивый взгляд.

Ветеранам дано было право говорить с повелителем стоя, не опускаясь ни на колени, как полагалось вельможам, ни на одно правое колено, как надлежало военачальникам и джагатаям.

Кладовщикам Тимур приказал увязать все запасы кож так, чтоб можно было завтра же вьючить их на дальние караваны.

Ключарям приказал разобрать запасы оружия и связать его, как вяжут оружейники для сдачи купцам.

С этих слуг царственного порога он не брал расписок: эти и без расписок хитрить не посмеют.

Поэтому, пока шли разговоры о складах и о запасах, Улугбек бездельничал. Ему вздумалось острым тростничком обвести восьмигранные плитки нижней облицовки стены. Одна из плиток сразу стала четче, обведенная каймой черной туши, но едва он принялся за вторую, тростничок неожиданно расщепился так, что зачинить его было невозможно.

Он поспешил успокоить дедушку, вскакивая:

— Ничего! Я принесу другой; я сейчас.

Но Тимур недовольно остановил его:

— Сиди!

И велел Мухаммед-Султану послать слугу к писцам:

— Пускай побольше принесет, да чтоб сказал там, что это тебе понадобилось. Тебе! Понял?

Когда тростнички были принесены, Тимур сказал Улугбеку:

— Запиши: на первом складе...

— Четыреста семьдесят два тюка!— быстро подсказал Улугбек, заметив, что старик запнулся, припоминая.

— А на втором? — сощурил глаза Тимур.

— Двести пятьдесят четыре!— так же без запинки ответил Улугбек.

— А у Бахрама под ключом?

— Триста девятнадцать.

— Памятлив! — одобрил Тимур.— Записывай, у кого сколько.

Так записали они запасы кож, и запасы оружия, и запасы одежды, и мешки ячменя, и риса, и пшеницы, и гороха,— все помнил Улугбек, ни в чем не сбился.

Но записывая названия крепостей, где хранились большие запасы зерна, мальчик сбивался: ему легче удавалось записать фарсидские имена, чем джагатайские. Для написания джагатайских названий у него еще не было должного навыка.

— Памятлив! — присматриваясь к внуку, снова сказал Тимур.

Когда подошел час зноя, Тимур откинулся на подушку и велел принести холодного кумыса.

В конце лета в Самарканде ночи становятся холодны, а дни знойны: полуденный ветер уже не приносит с гор ни свежести, ни бодрости.

Наступили часы отдыха.

Слуг и воинов из ближних помещений отпустили. Только этих двоих внуков Тимур оставил с собой — Мухаммед-Султана и Улугбека.

На Мухаммед-Султана Тимур перенес свою любовь к незабвенному Джахангиру. Семнадцати лет умер этот сын, самый старший и единственный милый ему из сыновей. Потеряв его, он невзлюбил младших, словно они отняли душу у Джахангира, чтобы дышать самим. Он невзлюбил их, хотя они были еще младенцами, когда Джахангир лег в могилу. Они рождались от наложниц, от таджичек и персиянок, а монгольские царевны не рожали ему сыновей. Ему же хотелось оставить по себе сына ханской крови, чтобы его сын нес в себе кровь и продолжал славу двух настоящих воителей,— Чингизову и Тимурову, чтоб соединились навеки эти две славы в его сыне. И лишь один Джахангир соединял их в себе. И лишь в одном Джахангире сызмалу виден был достойный продолжатель начатых дел. А теперь в Мухаммед-Султане, в нем одном, билось единым биением сердце Чингизово, Тимурово и Джахангирово. Из двоих сыно-

вей Джахангира только он был сыном Севин-бей, внучки ордынского хана Узбека. Другой сын Джахангира, Пир-Мухаммед, рожденный от персиянки, был умен, но не был воином. И Тимур отослал его подальше, дал ему страны на границах с Индией.

Часто, неприметно следя за Мухаммед-Султаном, Тимур вспоминал Джахангира:

— Похож!

Особенно отчетливым было сходство, когда Мухаммед-Султан, обидевшись, подавлял в себе гнев; когда, вскинув голову, нетерпеливо выезжал в битву; и когда, наклонив голову, играл на бубне, вслушиваясь в рокот кожи, разогретой над костром.

А Улугбека дед любил за то, что мальчик был еще так мал; за то, что так гордо нес свое маленькое тельце мимо самых больших людей. Тимура умиляло, что мальчик все примечал, все помнил, все понимал, но скрывал это, пока вдруг где-нибудь не проговаривался, обнажая на мгновенье свои сокровенные думы, радовавшие Тимура и удивлявшие своей ясностью:

— Зорок! Смышлен!

И вслед за приливом радости повелителя всякий раз охватывала тревога:

— Мал! Еще лет десять надо ждать. Не меньше!

Из остальных внуков столь же любил Халиль-Султана: любил за отвагу, за любовь к походам, за уменье разобраться в битве и вести за собой воинов на любую смерть. Ведь всего год назад в Индии, когда враг поставил перед войсками Тимура строй огромных слонов, привычные ко всяким осадам воины оробели: кидаться на приступ на каменные стены крепостей было привычно, кидаться на живых, неведомых, огромных животных — страшно. Страх остановил Тимурово войско, и тогда, глядя лишь вперед, выхватив из чьих-то рук копье, пятнадцатилетний Халиль-Султан кинулся на слона и пронзил копьем его хобот, а за царевичем вслед уже мчались его опомнившиеся всадники, и слоновый заслон был смят.

Но Халиль-Султан и сердил Тимура: независимых Тимур не терпел; от него все должны были зависеть, все и во всем мгновенно повиноваться ему одному.

Он облокотился о подушку, взяв холодного, со льда, кумыса, и сказал:

— На бубне бы тебе поиграть, Мухаммед! Нельзя,— услышат. Тут не похороны и не пир, не праздник. Вели-ка позвать чтеца. Послушаем книгу.

Когда Мухаммед-Султан встал, Тимур вспомнил:

— Стой! Пускай приведут историка, который о наших походах пишет. Что у него написано?

— Гияс-аддина? — спросил Улугбек.

— Откуда знаешь?

— Бабушка ему велела учить меня.

— А...— проворчал Тимур, оскорбившись, что Сарай-Мульк-ханым не потрудилась сперва спросить мужа, каким учителям обучать этого внука.

От калитки вдоль всего двора тянулся длинный мощеный ход, накрытый виноградными лозами, поднятыми на коренастых столбах.

Гроздья поспевшего винограда синими или янтарными рядами свисали над всей дорожкой. На иные из гроздей хозяин надел яркие шелковые мешочки — оберегая урожай от ос и от птиц.

Мастер вел Халиль-Султана, хвалясь обильным урожаем и рассказывая, как удалось ему увеличить урожай, подкармливая корни и укорачивая длину лоз.

Но царевич не слушал мастера, хотя и поддакивал его словам кивками головы. Останавливаясь у того или другого корня, он тревожно оглядывал весь зеленый двор, водоем под сенью раскидистых деревьев, деревянную тахту, застланную полосатым ковром, заслоненную кустами роз.

Розы зацвели своим вторым за лето цветеньем, еще не обильным, но всегда радостным в августе, когда даже в дворцовых садах роз мало.

Но Шад-Мульк нигде не было видно.

Халиль-Султан стеснялся спросить о ней у ее отца.

Царевич останавливался, когда мастер, теша гордость удачливого садовода, объяснял, какими хитростями можно заставить розу цвести с мая до октября.

Халиль-Султан наклонялся к цветам, когда мастер предлагал убедиться, сколь различен запах между различными породами роз. Но глаза царевича не отрывались от квадратного двора, где не было его любимой, которую он привык всегда заставать здесь.

После разговора с дедушкой, когда ее с отцом проводили из дворца с честью, неся перед гостями факелы, а вслед за ними подарки и гостинцы, после того тяжкого вечера прошла целая ночь, прежде чем он смог явиться к ней.

А ее не видно. И Халиль-Султана одолевали сомнения и тревога:

«Может, она так оскорблена, что больше никогда не пожелает говорить со мной!»

Но мастер ничем не выказывал ни обиды за вчерашнюю встречу, ни своего удивления богатствами Синего Дворца, ни восторга, что сам повелитель вселенной говорил с ним.

Это удивляло и чем-то досадовало Халиль-Султана:

«Этому нищему старику все нипочем: будто сходил на базар за дыней. Царевич входит к нему во двор, а он встречает цареви-

ча, словно к нему зашел сосед-завсегдатай; царевич сватает его дочь, а он прикидывает в уме, толков ли молодец, будет ли тароват в ремесле тиснильщика; сам великий повелитель допускает его к себе в дом, а он входит туда, будто в лавку горшечника; повелитель говорит с ним, а он отвечает, будто беседует с соседом по лавчонке в базарном ряду!»

И у Халиль-Султана при этом странном старике зарождались робость и стеснительность, которых не испытывал он, снисходительно говоря с начальниками десятков тысяч грозных, могучих войск или поторапливая, а то и похлестывая плеткой нерасторопных воевод перед приступом на непокорные города.

Там, чего бы он ни натворил, он мог заслониться дедушкой; здесь же все, что хотелось ему сделать или сказать, было противно дедушкиной воле, и Халиль был беззащитен и беспомощен перед этим мастером, который в своем простом и прямом деле всегда мог заслониться сотнями тысяч своих сограждан, таких же ремесленников, мелких торговцев, рабочего люда,— всегда готовых поддержать товарища.

Потому и не было робости в сердце мастера; потому и не было твердости в сердце царевича.

Халиль-Султан видел черный кожаный бурдюк с кумысом, полный и влажный, подвешенный в тени над прохладной струей ручья.

На краю водоема стоял неуклюжий глиняный кувшин с надколотым носиком, лежал алый шелковый лоскуток — ее!— а ее не было.

— Розы подрезывать надо. Отцвела,— и долой! Весь побег долой,— она дает на смену свежий побег. А в свежем побеге—сила; он зацветет! Однако сперва понять надо: где подрезывать? Коротко срежешь,— она не в цветы, а в рост силу отдаст; высоко срежешь,— она хоть и завяжет цветы, а соку до них не дотянет, завязь зачахнет либо расцветет мелким цветком, а в нем — ни красы, ни благоухания.

— Да, надо знать, как срезать!..— соглашался царевич.

— В этом все дело!— хвастался мастер, которому за всю жизнь в голову не пришло погордиться или похвалиться своим замечательным мастерством тиснильщика и которому казалась обидно малой и недостаточной любая похвала его успехам в саду.

— В этом все дело!— гордо повторял он, довольный, что этому любезному юноше так нравятся взращенные здесь цветы.

В желтой клетке из сухой тыквы громко и неожиданно выкрикнул перепел прямо над головой Халиль-Султана.

Царевич поднял голову и увидел ее!

Она собиралась слезть с дерева и узкой пяткой нащупывала верхнюю ступеньку лестницы, прислоненной к стволу.

Как рванулось тело Халиля, помочь ей! Но он сдержался, ожидая, пока она сама спустится на землю.

— Груши собирает,— объяснял мастер.— Если их трясти, спелые разбиваются в лепешку. Надо снимать с веток руками; не давать им доспеть: пускай доспевают в корзине.

— Да, надо снимать руками...— соглашался царевич.

— Про то я и говорю,— одобрил мастер юношу.

Ее шаровары не закрывали светлых щиколоток: ее ступни, спускавшиеся по ступенькам, казались выточенными индийским резцом из слоновой кости.

Став на землю, она поклонилась ему:

— Здравствуйте.

И постояла, склоненная, пока он ответил на ее поклон.

Эставила корзину с грушами подле лестницы и неторопливо ушла к прудику помыть руки.

Сомнения и тревоги в сердце Халиль-Султана не убавились при встрече с ней.

Мастер провел его к тахте и усадил на тощем одеяльце из дешевого, грубого шелка.

Вскоре она принесла медный поднос и нож с простой деревянной рукояткой. И опять ушла.

На подносе медник отчеканил купол и минареты Мекки. Грубым почерком, заменив звездами забары над буквами, он начеканил какие-то стихи, которых царевич не мог понять, ибо арабского языка не знал.

— Это из корана?— спросил Халиль-Султан, чтобы сказать что-нибудь

— Нет!— ответил мастер.— Это стихи Маджнуна. Был такой арабский поэт. Сошел с ума от безответной любви. Может, слышали?

— Да.

— Вот, это один его стих.

— Странный поднос, на нем изображено святилище, а стихи— любовные.

— Этот поднос у меня от деда. Дед захотел стать мусульманином и начал с того, что пошел в Мекку. Там добрые люди подарили ему этот поднос в знак поощрения раскаявшемуся язычнику. А что удивляет вас? Это святилище священно. И любовь тоже священна.

Халиль впервые взглянул на мастера радостным, благодарным, удивленным взглядом:

— Вы сказали: любовь священна!

— Потому я и не мешаю моей дочери. А почему бы еще я не стал удерживать ее?

Радость вскипела в Халиле с такой силой, что разорвала бы

ему грудь, если б он не распахнул порывистыми руками свои халаты, не открыл бы грудь свежим благоуханиям этого прекрасного сада.

— Замечательный поднос,— восхитился он, осторожно опуская его между собой и мастером, опуская так осторожно, словно медь могла рассыпаться мелкими черепками от удара о ковер.

Мастер придвинул поднос к себе, взял нож и, постукивая лезвием по отогнутому краю подноса, ждал, пока Шад-Мульк доставала из холодного ручья продолговатую зеленую дыню, обмывала ее чистой водой и несла к отцу.

— Садись с нами!— сказал ей мастер.

Она села на край тахты, не поднимая ног на ковер, словно готовая каждую минуту уйти прочь.

Она не взглянула на Халиля.

Она смотрела, как мастер умело вспарывал дыню; срезав ее концы, как он резал ее вдоль, сперва пополам, точным, сильным взмахом ножа; как вывалил семена, а потом половинку снова вдоль разрезал на две длинные четверти и потом, сеча их поперек, быстро нарезал толстые ломтики, заполнившие весь поднос.

— Это из Черной степи дыня. Кушайте!— говорил хозяин, разламывая лепешку и раскладывая ее ломти вокруг подноса.

— До Черной степи три дня пути!— удивился Халиль-Султан.

— Вам, на арабском коне,— три дня. А земледелец на осле везет эти дыни оттуда сюда неделю. Потому они и редки у нас. Наши самаркандские тоже хороши, да не столь. Эти рассыпчаты во рту, сладостны, душисты. Такие сочные плоды любят сухую степь, где даже и трава до корня иссыхает. И чем суше степь, тем сочнее в ней дыни; чем жарче зной, тем они слаще...

— Да, да...— соглашался с хозяином Халиль-Султан, снова задумываясь о чем-то своем.

— Ну вот... Вы сидите, кушайте. А мне надо пойти, докончить работу. Вечером заказчик придет. Я ему делаю бумажник. Он ждет богатой работы. Тиснить велел золотом, вытиснить арабские стихи из книги Абу-Теммама; а книга эта стара, неразборчива, ей лет двести. Но — воля заказчика; он мне и эту книгу принес. Неживые стихи.

— А вы знаете по-арабски?— рассеянно спросил Халиль.

— Наше ремесло требует. Разные бывают заказчики. Мой отец учился арабскому у деда, а я — у отца.

— Да...— рассеянно соглашался Халиль.

— Вы кушайте. Я пойду, а не то к вечеру не кончу. И они остались вдвоем.

— Я беспокоился, хорошо ли ты провела эту ночь.

— Обидно было,— ответила Шад-Мульк.

— В Синем Дворце?

— Ваш дед глянул на меня так, будто я потерянная подкова.

— Не понимаю: как?

— Валяюсь на дороге в пыли, и всякий проходит мимо.

Халиль-Султан несмело улыбнулся:

— Дорогая моя, мимо подков не проходят: они приносят счастье тому, кто их найдет; их поднимают и уносят домой.

— Не знаю, принесу ли я счастье вашему дому.

— Конечно!

— Ваши бабки отнеслись ко мне, будто я индийская обезьяна.

— Опять не понимаю: как?

— У Тукель-ханым ручная обезьяна из Индии. Ее принесли к царице, и она сперва дала ей орехов, а когда обезьяна забила за обе щеки орехи, царица щелкнула ее по носу. Сперва ласкала, потом угощала, а под конец щелкнула по носу и велела убрать.

— Вот как?

— Я никогда не забуду, как они смотрели на меня. Как переглядывались между собой, если я брала их угощенья. А какие лакомства! Раньше я таких не видела. Я даже не знала, что такие есть. Но вино я не пила.

Он внимательно ловил и обдумывал каждое ее слово, с мучительной ясностью видя весь этот длительный пир, длительную казнь, устроенную ей надменными, самодовольными царицами в порицание ей за дерзостную любовь к царевичу.

— Не пила?

— Нет. Боялась захмелеть. А я хотела остаться трезвее их всех. Там только ваша мать не пила. Она одна меня не обижала. Я брала из ее рук все, чем она хотела меня угостить. Потому что она печальная и несчастная.

— Почему? — с горестью спросил Халиль-Султан, хотя уже подробно знал, почему на том пиру так печальна была Севинбей.

— Не знаю, — ответила Шад-Мульк. — Но она лучше их всех, этих цариц, сколько б их там ни было... Не будет нам счастья, Халиль.

С болью он вскрикнул:

— Почему?

— Они не отдадут вас мне.

Он сердито ответил, с угрозой:

— Отдадут!

Его брови нахмурились. Глаза замерцали недобрым огнем и сузились; он стал очень похож и на брата своего Мухаммед-Султана, и на деда своего — Тимура Гурагана. Он повторил:

— Отдадут. Мы сильнее их!

— Мы?

— Дедушке шестьдесят пятый год, а мне семнадцатый. Если подождать...

Ее лицо посветлело. Она впервые за этот день взглянула ему в глаза:

— Я подожду. Успокойтесь, Халиль: я подожду.

— Мне, может быть, придется снова уйти в поход. Пройдет год; пройдет два года. Время идет,— тебе пора идти замуж. Для тебя два года — убыль. Мне старость дедушки — прибыль. Прибыль сил перед ним. А он один, остальные нам мешать не станут. Да и не смогут помешать.

— Я сказала: успокойтесь. Даже если на это уйдет вся моя жизнь, Халиль, я подожду.

Он ничего ей не смог сказать.

Он протянул к ней ладонь и посмотрел ей в глаза.

Она положила ему на ладонь свою маленькую, крепкую руку.

Не сжимая, бережно держа ее руку на ладони, он долго сидел молча, раздумывая, нет ли еще средств изменить решение деда и повернуть течение своей любви в благоприятное русло.

Она молчала, пока он не встал.

Он встал, вспомнив, что мог понадобиться деду.

Она шла, чуть отстав, но не отнимая у него свою руку, по всей длинной дорожке под виноградными лозами и гроздьями, мимо темных суковатых кольев, до калитки.

Возвращаясь к деду, счастливый Халиль-Султан ехал через базар, и конь его проталкивался через такую суету и оживление, какие в эти полуденные часы даже на самаркандском базаре случались редко.

Среди базарных завсегдатаев, купцов и покупателей, виднелись пешие и конные воины, военачальники, дворцовые старшины,— столько всюду толпилось людей и все были столь возбуждены, что даже проезд царевича не прервал их криков и говора. Даже перед ним расступались нехотя, и, едва с надлежащими поклонами пропустив его, снова спешили друг к другу, продолжать свои дела.

Под навесами торговых рядов виднелись сотники, окруженные торговыми людьми. Хотя на базар редкие из сотников или тысячников вышли в шлемах, но по косам, свисавшим из-под тюбетеек или высоких шапок, по серьгам в ушах сразу узнавались воины; а окружали их круглые шапки или синие чалмы купцов.

Купцы вели с воинами какие-то споры, взмахивая руками, будто призывали пророка в свидетели, что говорят правду.

В одной из ниш большого караван-сарая длинный, костлявый старик в темном купеческом халате, окруженный несколькими воинами, кричал им:

— Если б был товар, о братья! Если б был!..

В полутьме тесных кожевенных рядов столпилось столько возбужденных людей, что сопровождавшая Халиль-Султана конная стража с трудом расчищала ему проезд, оттесняя народ конями, бессильная перекричать гул говоривших и споривших людей: все толпились среди улицы, а лавки зияли темной пустотой и на полках в их глубине не было видно никакого товара.

В других рядах оказалось безлюдно и тихо. Купцы дремали возле груд всякой всячины, чем каждый из них торговал; покупателей почти не было здесь — все, кто был полюбознательней, ушли в Кожевенный ряд, и ни через Гончарный, ни через Шелковый, ни через Медный ряд никто не мешал всадникам ехать рысью.

Так доехал Халиль-Султан до Синего Дворца и пошел к деду.

Едва он вошел, Улугбек приложил палец к губам:

— Тихо!

Дед слушал чтеца, и Халиль-Султан тихо опустился на ковер, украдкой придвинул к себе подушку и, облокотившись, стал слушать. Гияс-аддин читал свое описание похода в Индию:

«Хвала Повелителю,— да возвеличится его имя и да восславится упоминание его!— который в то счастливое время ввел Землю в могущественный завиток Човгана...»

Халиль-Султан не понял, что это за завиток, в коем вся Земля уместилась, и взглянул на братьев. Мухаммед-Султан тоже, видно, не понял. Но маленький Улугбек сидел, не отрывая от чтеца глаз, и вникал с явным восхищением в изысканные, витиеватые завитки этой выспренней речи.

«И бог сделал все пространство Земли полем для прогулок его царского, чистокровного коня, превознесенного до небес счастья...»

Тимур слушал внимательно, слегка покачиваясь вслед за размеренными словами чтеца.

«Он насаждал правосудие и в распространении справедливостей превзошел всех властителей мира, в назидание всем опустошителям мира, сорвав пояс отваги с самого Марса...»

Тимур слегка покачивался вслед чтению, а Гияс-аддин славословил Тимура.

Историк, как соловей, запрокидывал голову и закрывал глаза, когда прерывал восхваление чтением стихов, долженствовавших передать те чувства, какие он бессилен был выразить словами историка.

До описания битв в Индии Гияс-аддин еще не дошел, повествуя о прежних походах завоевателя.

Тимур насторожился, когда историк прочел:

«...по океанским волнам, смывшим с небесного свода венец угнетения, прошла успокоительная рябь по океану крови, ибо те, что надменно попирали ногами землю, были втоптаны в землю

копытами его коней. Всюду, куда ни устремлял он свои победоносные знамена, его встречали на конях Победа и Торжество. Он грозным ураганом причудливой Судьбы сметал с лица земли жилища и достояние врагов, кидаясь на поля кровопролитных битв и на луга охот за жизнями.

Солнце скрылось в тучах пыли, поднятых им; звезды содрогались от подобного молниям блеска его подков».

Тимур спокойно покачивался вслед за славословиями Гияс-аддина, как покачивался бы, подтверждая слова корана, если бы читалась не история, а коран.

Гияс-аддин читал:

«Воины, как волны, гонимые ураганом ярости, пришли в волнение и, обнажив свои, подобные месяцам, сабли, кинулись сносить головы, а своими сверкающими, как алмазы, кинжалами принялись исторгать жемчужины жизней из заблудших людей...

И столько пролилось крови, что воды реки Зенде-Руда вышли из берегов. Из тучи сабель хлынул такой дождь, что от потоков его нельзя было пройти по улицам Исфахана...»

Тимур опять замер и нахмурился. Но Гияс-аддин не заметил этого и восторженно продолжал:

«Речная гладь блистала от крови, как заря в небесах, как алое вино в хрустальной чаше... В городе Исфахане из трупов нагромоздили высокие горы, а за городом сложили большие башни из вражеских голов, высотою своей поднявшиеся выше городских зданий».

И, в упоении вскинув руку, как певец, Гияс-аддин закончил эту часть стихами:

Меч кары там, как леопард, ходил:
И смерть раскрыла пасть, как крокодил...

Тимур сидел, хмурясь, но не прерывал историка.

«После сего его высочайшее стремя двинулось на Шираз. От пыли, поднятой конницей Измерителя Вселенной, почернел воздух Фарса, а Небо испытало ревность к Земле, ибо она целовала копыта Повелителя!..»

От грохота барабанов,
От рева труб боевых
Покачнулись вершины
Каменных гор вековых!..

Тимур успокоился, но больше не покачивался и внимательно слушал.

«От Солнца божественной помощи рассеялся мрак битвы, и Тохтамыш со своим воинством вцепился рукою слабости в подол бегства и принялся быстро измерять ковер Земли...»

Улугбек засмеялся, но зажал ладошкой рот, едва встретил строгий взгляд деда.

— Дедушка! Как убегали ордынцы, это правда?

Дед был недоволен, что ему помешали слушать, но ответил:

— Еще бы!

Гияс-аддин небрежным, но плавным движеним руки закинул за спину свесившийся конец чалмы и низко поклонился Тимуру, державшему опустевшую чашу:

— Дозволено ли продолжать, о государь?

— Читай.

«Много ангелоподобных тюрчанок и луноликих красавцев, игривыми глазами взиравших на кровь своих возлюбленных, попали в силки плена; и желания победителей насытились».

К этому историк добавил стихи о том, что хотя и отважен молодой олень, ему все же не следует сталкиваться со львом.

Гияс-аддин торжественно поклонился Халиль-Султану. Царевич, отслонившись от подушки, сел прямо, не умея скрыть своего беспокойства и волнения; историк, памятуя любовь повелителя к этому отважному внуку, написал о Халиль-Султане:

«Он окунулся в кровопролитные битвы и водовороты Смерти.

В одной из битв враг выставил ряд могучих, огромных, страшных, как Океан, слонов. И тогда Халиль-Султан, повернувшись к врагу, выхватил саблю и кинулся на слона, подобного горе, свирепого, истинного дьявола по нраву и гнусного, как черт, хобот его, будто клюшка при игре в поло, подхватывал, как шары, головы человеческие и уносил их в небытие...»

Улугбек прервал чтеца:

— Дедушка! А вы говорили: Халиль ударил слона пикой!

— Видишь, Мухаммед старший из всех вас, а не мешает нам слушать.

Но Улугбек добивался истины:

— Ведь я только спросил!..

Тимур повернулся к Халиль-Султану:

— Скажи ему сам,— как?

Халиль-Султан, досадуя, что прервалось чтение того места, где написано о нем, пожал плечами:

— Право, не помню. Да и не все ли равно?

Тимур кивнул чтецу, и Гияс-аддин снова склонился над книгой:

«История не знает случая, чтобы в какие бы то ни было времена, какой бы то ни было царевич, в расцвете юности своей, решился бы на подобный подвиг и тем вписал бы на странице дней и ночей славу имени своего и своей чести!..

С шести сторон Неба слышится пророчество, что под сенью

своего деда, могущественного, как небесный свод, под милостивым взглядом своего счастливого отца...»

Тимур выронил или отбросил чашу, стиснув кулак при этом мимолетном напоминании о Мираншахе.

Улугбек быстро подхватил чашу, откатившуюся в его сторону, и, ставя ее на место около кувшина с кумысом, сказал:

— Ничего, дедушка,— она не разбилась.

А Гияс-аддин, не заметив выпавшей из рук повелителя чаши, не услышав слов маленького царевича, продолжал славить Халиль-Султана:

«Он добьется осуществления своих желаний, пойдет стопами счастья по широкой дороге благополучия...»

Халиль-Султану стало легко от этих слов; он сразу уверовал, что пророчество историка нерушимо и непременно сбудется: ведь Халиль-Султану было так необходимо осуществление того желания, которое во весь этот день жгло его, томило, наполняло счастливыми предчувствиями.

Царевич сидел, не вникая в дальнейшее чтение, погруженный в радостное раздумье, мечтая, готовый по единому слову своей Шад-Мульк кинуться и сокрушить, как индийского слона, любое препятствие на пути к их союзу.

Халиль-Султан очнулся от своих мечтаний, лишь когда Гияс-аддин столь же почтительно, как прежде ему, поклонился Улугбеку:

«В том походе участвовали: Высокая Колыбель, Балкис своего времени и своего века, убежище и заступница всех цариц мира, Сарай-Мульк-ханым,— да приумножится ее величие и да славится во веки веков ее целомудрие!

И победоносный царевич всего человечества, божий блеск, именной перстень царский, рубин из копей безграничного счастья, царевич Улугбек-бохадур,— да длится его власть и слава!..

И сколь ни желалось Повелителю Мира видеть их при себе в этом походе, сколь ни тягостной казалась ему разлука с ними, со светом своих очей, с плодом своего сердца, но Повелитель Мира опасался, что зной Индии — сохрани господь!— повредит благословенному здоровью Улугбека. И Повелитель предпочел стерпеть боль разлуки, но не прерывать священной войны...

Благочестивая ревность о вере заставила Повелителя подавить любовь к Улугбеку и оставить его. Но как бы далеко ни оставался внук от ставки своего деда, он всем своим существом, всем обликом своим всюду предстоял перед духовным взором Повелителя в его ставке, во все время похода...»

— Правда, дедушка?— с любопытством спросил Улугбек.

Тимур снисходительно, подавляя в себе нетерпение, кивнул:

— Еще бы!

А Гияс-аддин продолжал:

«В среду 25 сафара, в полдень, Великий Повелитель достиг крепости Батмир...

Правителем и военачальником в ней был раджа Дульчин...

Гордясь неприступностью крепостных стен и численностью своих войск, раджа вытащил голову из ярма повиновения, а шею — из ошейника покорности. Могущественное войско Повелителя двинулось на него.

На правом крыле шли амир Сулейман-шах, амир Шейх-Нур-аддин и Аллахдада; на левом — царевич Халиль-Султан-бохадур и амиры.

Было перебито множество темнолицых защитников крепости, у коих в головах дул ветер дерзаний. Была захвачена большая добыча, но в захвате крепости случилась задержка, и от Повелителя воспоследовал мирозавоевательный приказ: «Каждому амиру надлежит напротив своего стана копать подкоп и подвести те подкопы под городскую стену...»

— Это правда: такой приказ был!— сказал Тимур, кивнув историку.

Ободренный этим, Гияс-аддин выпрямился; от воодушевления кровь прилила к его впалым щекам, и голос его зазвучал громче:

«Когда осажденный раджа понял, что сопротивление бесполезно, от ужаса в голове у него закипели мозги, желчь закипела в груди, он сошел с пути своеволия, избрав смирение и слезы средством своего спасения, умоляя Повелителя смыть его грехи со страниц жизни чистой водой милосердия и прощения, зачеркнуть чертою пощады его проступки и провинности.

«В пятницу 27 сафара раджа Дульчин выехал из крепости, сопровождаемый шейхом Саад-аддином и Аджуданом, прибыл в ставку Убежища Вселенной, удостоился поцеловать ковер Повелителя, преподнес охотничьих соколов и три девятки коней под золотыми седлами. Царевичам и амирам он подарил лошадей. Ему были оказаны царские милости и снисхождения, подарены одежда из золотой парчи, золотой пояс и венец».

— И помирились?— спросил Улугбек.

Тимур покосился на беспокойного внука, но промолчал, а историк, торопливо улыбаясь, не без жеманства подмигнул:

— О, еще нет! Соблаговолите слушать дальше:

«Всякая тварь, одурманенная гордыней и беспечностью, если даже кончиком волос своих выйдет из повиновения и воспротивится воле счастливого, могущественного Завоевателя, она останется без дома, без имущества, без тела и души.

В той крепости много было гордецов, головы коих столь возвысились, что макушки их терлись о небесный свод; много было оголтелых смельчаков, вознесшихся в своей заносчивости до луны

и созвездий; также и среди жителей оказалось множество идолопоклонников, безбожников, заблудших людей, и огонь царского гнева запылал.

Воспоследовал мирозавоевательный указ войскам вступить в город и поджечь все здания...»

— Был указ!— подтвердил Тимур.

Халиль-Султан невольно кивнул головой: он тоже был при том — ведь еще и года не прошло с тех пор!

Гияс-аддин продолжал:

«Жители-идолопоклонники сами предали огню своих жен и детей, и все свое имущество; жители-мусульмане сами зарезали своих жен и детей, как ягнят, и оба эти народа, неверные и мусульмане, как единый народ, соединившись, решились на отчаянное сопротивление могучему воинству Повелителя. Они стали подобны могучим тиграм и слонам, крепкие, ожесточившиеся сердцами, как леопарды и драконы, железные сердцем; и на них кинулось могущественное войско Повелителя мира, подобное страшному наводнению, разъяренному Океану. И пламя битвы поднялось высоко кверху...

Десять тысяч злобных врагов было сметено в водоворот несчастья, сгорело в пламени битвы...

Воспоследовал мирозавоевательный указ, во исполнение коего все было разрушено, опустошено, стерто с лица земли так, что ни от людей, ни от города не осталось никаких следов».

Тимур нахмурился и смолчал об этом указе.

«Ты сказал бы, что тут никогда никто не жил; что никогда не было и не могло тут быть не только дворцов, но и хижин...»

И в оправдание происшедшего Гияс-аддин прочитал стих из корана:

«Хвала аллаху... К нему — возвращение; в нем — конец всему сущему».

Затем Гияс-аддин распрямился и продолжал:

«Все, что было захвачено, из золота, серебра, лошадей, одежды, Повелитель соизволил пожаловать войскам».

Гияс-аддин, видно, устал читать: он разогнулся над книгой, положенной на черную, украшенную перламутром подставку и отпил кумыса из чаши, давно стоявшей у него под рукой.

Но Тимур задумался, молча сощурился, словно припоминая что-то или провидя нечто предстоящее, или просто обдумывая только что прочитанную часть книги.

Он молчал, пока историк небольшими глотками, вежливо улыбаясь то одному, то другому из царевичей, пил кумыс. Однако едва Гияс-аддин поставил на ковер опустевшую чашу, Тимур в раздумье сказал:

— Так смотрят на нас, когда мы идем.

Гияс-аддин не понял, как надлежит истолковать эти слова повелителя, но не решился просить разъяснения, перевернул страницу книги, заглядывая вперед и выжидая, не скажет ли повелитель еще чего-либо.

Но Тимур только кивнул ему:

— Читай.

И Гияс-аддин начал читать дальше.

Он дочитал до того места, где войска Тимура собрались в поход на Дели:

«Царевичи и амиры покорнейше доложили Повелителю, что от берега реки Синда до сего места взято в плен около ста тысяч индусов, безбожных идолопоклонников и мятежников, кои собраны в лагере.

Памятуя, что во время битв они душой и сердцем склонялись в сочувствии делийским идолопоклонникам и что им может взбрести в голову напасть на победоносное войско, дабы присоединиться к тем делийским идолопоклонникам, воспоследовал мирозавоевательный указ Покорителя Мира, чтобы всех индусов, захваченных войском...»

Гияс-аддин никак не мог перевернуть страницу. Слиплись ли листки, или его палец соскальзывал со страницы. Улугбек заметил испуг в глазах историка, страх, что эта заминка разгневает повелителя, но Тимур сказал:

— Правильно. Так и надо. Это ты верно сумел объяснить, зачем я приказал их убить.

— Страница сто девятая!— заметил Улугбек.

Гияс-аддин, поклонившись в благодарность за одобрение, перевернул лист и продолжал:

...Убили. Из их крови образовались потоки:

Поток кровавых волн
Потек со всех сторон;
Под самый свод небес
Всплеснулись гребни волн!

«Из придворных богоугодный мавляна Насир-аддин Омар, храбрость коего до того проявлялась лишь в отличном знании стихов корана и четкого изложения богословских изречений, наметил себе десятерых пленников. И он, дотоле даже ни единой овцы не заклавший, в тот день поспешил исполнить приказ Повелителя и всех десятерых индусов собственноручно предал мечу борцов за веру...»

— Так!— встрепенулся Тимур и прервал историка. Он одобрительно кивнул Гияс-аддину:

— Ты хитро объяснил, почему мне пришлось их убить.

Он помолчал, обдумывая все читанное историком. Лицо его снова нахмурилось:

— А зачем написал, что я их убил? Вначале ты написал, что я убил жителей одного города; потом — другого; потом опять об избиении жителей. Это было наказание, а не избиение. Мы сжигали города, мы наказывали жителей, но не это было нашей целью в походах! Потом об этих пленных... Зачем?

Гияс-аддин бормотал, оправдываясь:

— Я ведь по вашему повелению, о великий государь! Я взял за основу записи Низам-аддина Омара, ибо вам было угодно заметить, что те записи показались вам слишком краткими! Поелику прежде я был погружен в изучение богословия...

Тимур строго сказал:

— Когда повар готовит обед, у него и нож, и руки бывают в крови и в сале. А судят о поваре по кушанью на блюде, а не по крови на его ноже! А?

Гияс-аддин поспешил восхититься:

— Истинно так, о великий государь!

— То-то!— успокоился Тимур.— Лучше пиши о боге. О вере! Незачем твоему высокому уму падать в земную пыль.

Гияс-аддин ничего не находил ни в оправдание себе, ни в объяснение своей книги.

Тимур, не снимая книги с подставки, закрыл ее.

— Оставь нам свое сочинение: мы дочитаем его... потом.

Гияс-аддин, не решаясь больше прикоснуться к своей книге, отодвинулся от нее.

Не сводя с нее глаз, встал и, непонятно было кому, повелителю или этой своей книге, так низко-низко он поклонился, прежде чем выйти отсюда навсегда.

Тимур приказал Улугбеку убрать книгу, а Халиля послал распорядиться, чтобы слуги несли обед:

— Будем судить о поваре по кушанью на блюде! Понял?— сказал он Улугбеку.

Мальчик бережно вкладывал искусно переплетенную книгу в шелковый чехол, оставленный историком вместе с книгой, и промолчал.

Во все это время придворные еще толпились на переднем дворе и на крыльце, ожидая, не утихнет ли печаль повелителя и не призовет ли он их к себе.

Но их он не звал.

Он велел провести к себе армянского купца Геворка Пушка, ожидавшего своего времени где-то на задворках Синего Дворца.

Девятая глава

КУПЦЫ

В тот предрассветный час, когда Мухаммед-Султан еще мылся на краю своего восьмиугольного водоема, со всего города уже спешили к базару торговые люди, купцы, перекупщики, ремесленники.

Спешили, пробегая по тесным щелям глиняных переулков, пересекая перекрестки, где над водоемами склонялись деревья и взлетали горлинки.

Бежали мимо мечетей, где верующие уже ждали призыва к первой молитве.

Спешили к своим лавчонкам, чтобы, наскоро обменявшись приветами или, с нарочитой медлительностью, почтительными поклонами, поскорей взглянуть на товары, разложить их к началу торговли, поделиться с соседями новостями и мнениями о минувшей ночи, обсудить виды на предстоящий день.

Минувшая ночь всех взволновала. Даже те, кто безмятежно проспал все голоса и суету этой ночи, даже и они уже знали: в Синем Дворце что-то случилось, был там совет до утра, куда-то мчались гонцы оттуда, огни пылали там всю ночь...

Говорили: какой-то оборванный чужеземец кричал у городских ворот, требуя допуска к повелителю. Но никто не знал, что за человек это был и откуда,— оставалось лишь гадать и догадываться. И каждый гадал по-своему, и каждый придумывал всему этому такое объяснение, от которого одних обуревала радость, а других пробирала дрожь.

В базарных рядах, кроме хозяев, еще никого не было,— даже караульные еще только поднимались с ночных подстилок, поеживаясь от утренней прохлады, позевывая, потуже запахиваясь в свои латаные халаты. Купцы шептались друг с другом, отводя собеседника от любопытных ушей в сторонку.

Каждый торопился разгадать, думая не столько о том, что миновало ночью, сколько о том, как откликнется эта ночь на дневных делах. А когда человек торопится с разгадкой, редко она дается человеку: трудную задачу легко решать в покое, а в суете и к легкой задаче не подберешь ключа.

— Человек ночью стучался в город. Стражи не хотели пускать, да пришлось: он этакое шепнул, что пришлось!

— А по виду, что за человек?

— Сказывают: ничего не разберешь,— весь волосат; под волосами — ни лица, ни голоса,— ничего! Взяли его; допустили к самому повелителю. А человек тот весь ободран, весь в крови! И началось! Оттуда — гонцы; туда — полководцы. Огни пылают; кони ржут; боевые трубы...

— И трубы трубили?..
— Ой, право, не знаю. Не слыхал.
— Да вы же сказали!..
— Я?
— Что же, мы ослышались, что ли?
Третий мрачно прошептал:
— Трубы — значит война!
— Я не говорил «трубили»!— оробел рассказчик и уже косил глазом в сторонку, чтобы шмыгнуть прочь от опасного разговора.
Шептались и в другом закоулке:
— Утешение вселенной, государь наш, всю ночь учил своих воителей. Учил, учил! И решили: отправить огромные караваны, множество нашего товара, в дальние края. И есть слух: будут из нас, из купцов, избирать, кому с теми караванами ехать. А кто поедет, назад вернется весь в жемчугах, весь в золоте. Там золото нипочем, там из него подковы куют, там из него колеса на арбы ставят. А деньги там — железные и кожаные.
— Да где же это?
— Там, куда караваны пойдут.
— А куда? Куда пойдут?
— Ну это...— рассказчик делал немое лицо в знак того, что на такой вопрос он отвечать не смеет,— сам, мол, если смекалист, смекай.
И собеседник, чтоб не потерять достоинства, делал вид, что и сам смекнул: дело ясное!
В третьем закоулке говорили:
— Колчан Доблестей, государь наш, задумал поднять торговлю нашу превыше прежнего. И ныне так торгуем, как дедам нашим и не снилось, а впредь станем много выгодней торговать. И ныне налоги с нас, против былых времен, скинуты вчетверо...
— Ну, братья мои, хотя и не вчетверо...
— Вам сколько ни скинь, все мало! А нонче ночью решили еще скостить.
— Это зачем же?
— Затем, что небывалые товары сюда идут; небывалые покупатели едут!
— С товаром или за товаром? И что означает оборванный гонец?
— Ночной? А разве это гонец?
— А кто?
Тогда третий собеседник объявил:
— Я у самих ворот живу. Стражи сказывали: это известный полководец.
— Наш?
— А чей же?

— Значит, наших разбили? Значит, враг появился?

— Как так?

— Если сам полководец явился в этаком виде, в ночной час, всякий понимает: разбили все его воинство, один он уцелел и, чтоб его не поймали, днем скрывался, ночью скакал. Вот и доскакал с известием.

— Похоже на истину...

— Когда же это было, чтобы наших разбивали!

— Не вражеский же полководец к нам прискакал,— он к своему царю поскачет.

— Похоже на истину, братья мои. Подумайте: пропустят ли простого человека сразу к Прибежищу угнетенных? А этого сразу пропустили. И когда? Среди ночи! Когда смиренный сын своего кровного отца не решится пробудить; а тут самого разбудили! Похоже на истину!

— А что за человек это был?

— Ростом очень высок. Глаза в крови. Голос, как труба. Весь в кольчугах. Мечи сверкают. Стражи раз глянули, узнали, разом ворота настежь: въезжай скорей!

— Значит, война?

— Этого я не сказал. Об этом говорить...

— Вы говорили, около ворот живете...

— Около самых ворот Шейх-заде.

— Да он-то ведь въехал через ворота Фируза... Это в другом конце города! А говорите «война!»

— Не сам я слышал! Слух такой был: я слышал от тех, кто от стражей слышал...

— Хорошо, когда поход отсюда, когда война отсюда в другие земли идет. И торговать веселей, и каждый день — новости. И редкие товары дешевле купить, а ходовые можно подороже сбыть.

— Тут, братья мои, не то! Тут другое: этот сюда примчался; не сюда ли она идет, война? А! Не сюда ли, братья мои? Надо б заранее разведать: ведь это не одно и то же,— отсюда туда ходить, или она оттуда сюда придет. А?

— Кого же повелитель наш сюда допустит!

— А когда это было, братья мои, чтоб враги допуска спрашивали? Надо им, они и пробиваются.

— До нас не пробьются. У нас базар большой. Не жирно ли им будет на такой базар пробиться?

— Надо выведать, братья мои. Может, закопать лишнее, прибрать. Может, и самим заблаговременно от этих мест в тихие горы съездить?

— А может, какие особые товары понадобятся? Вдруг да великий спрос начнется! Я так понимаю: надо товар готовить, чтоб

под рукой был. Просмотреть его, освежить, разобрать; насчет цен промежду собой накрепко уговориться. И прочее.

— Я уговориться не прочь, братья мои. Да как? Ведь цена станет по спросу. Сперва надо спрос узнать. Да и то понять: кто покупает? С денежного покупателя — один запрос; с худого — не запросишь, если хочешь продать.

Подошли другие купцы, опоздавшие к началу беседы:

— Слыхали?

— А что?

— Около Аму-реки, на переправе, из Индии...

— А что?

— Караваны шли? Несметную добычу везли? Нету тех караванов! Тю-тю!

— Как, как?

— Охрана была превеликая. А ото всех уцелел один воин. Едва добрался, кричит: нету караванов. Захвачены!

— Кем же?

— Несметные калмыцкие орды. Нахлынули из Кашгара.

— Кашгар — одна сторона. Индия — другая.

— Достигли наших переправ. Перехватили путь из Индии. Теперь наши сбираются, пойдут навстречу, Самарканд заслонять. Чтоб до нас — сохрани бог — не добрались.

— Говорил я, братья мои! Что ж делать?

— Не спешите. Откуда слух?

— Моего зятя брат в Синем Дворце — писцом. А тому писцу воин сказывал. А тот воин у самого повелителя ночью на страже стоял.

— Ну, братья мои, похоже на истину!

Но тревоги истекшей ночи еще лишь начинали расти на бл гоприятной базарной земле, вытоптанной за тысячу лет не толь.. подошвами купцов и покупателей, но и сапогами завоевателей.

Кого только не побывало на самаркандском базаре за тысяч лет! Уже позабылись имена тех народов, что лили свою кровь пробиваясь сюда, чтобы лить здесь кровь самаркандцев. Скольк раз за тысячу лет оказывалось могущество Самарканда попра ным, стены разбитыми, люди погубленными, сокровища расхище ными!

Ведь и сам Тимур начал с того, что вместе с амиром Хусейн ворвался в Самарканд, держа кровавый меч над головой, а ра говор с народом самаркандским начал казнями, нарушением свои клятв, расправой с людом ремесленным, но понравился купцам беседой с людом торговым. А не договорись он с купцами, не домысли великой своей выгоды от той договоренности, и пила бы утоптанная земля базара кровь тех, кто ее утоптал.

— Чего же еще ждать, братья мои?

Но шепоты и разговоры смолкли: с мечетей позвали народ к молитве и подошло время, помолившись, торговать.

Кто был ревностнее, отошли от торговых рядов к мечетям, расстелили свои коврики или платки в тесных рядах молящихся. В недолгое время, пока мулла не возгласил славословия аллаху, пошли со своими чашами и скорлупами дервиши по рядам мусульман, опустившихся на колени в ожидании начала молитвы. Пошли, ступая пыльными босыми ногами по молитвенным коврикам и по чистым платкам, собирая подаяния. Все кидали им, кто что мог; не примечая пыльных следов на разостланных чистых платках, куда предстояло прикладываться лбом на молитве: ступни дервишей священны и след их — след праведников.

Протяжные трубные возгласы мулл возносились перед рядами молящихся, а каждый, стоя на коленях, падая ниц, бормоча молитву, думал свое:

«Господи, господи, вразуми; не дай оплошать рабу твоему; просвети, дабы не проглядеть мне выгоды своей; поспособствуй мне, смертному, достичь корысти своей; грешен, грешен,— ты один, господи, велик и многомилостив!»

И, расходясь с молитвы, все еще бормотали как молитву:

«Как бы не оплошать; как бы не прозевать...»

А в харчевнях уже сидели завсегдатаи, ждали, пока поспеют пирожки и лепешки, испечется конина, прожарится баранина. Приметив незнакомых посетителей, разведывали, что за человек и откуда.

Приметили: много в то утро показалось на базаре людей из Синего Дворца,— прохаживались по рядам, заходили в харчевни. Были тут и дворцовые писцы с медными пеналами за поясом; и посыльные в круглых шапках из красных лисиц, и других званий дворцовые слуги.

Купцы с этими людьми осторожно затевали разговоры, в харчевнях присаживались к ним поближе, рассчитывая выведать новости о происшествиях в Синем Дворце:

— Что-то нонче ночью по городу езда была; здоров ли государь наш, Колчан Доблестей?

— Езда? Была. Послы прибыли. О торговле договариваться. О прибылях толковать.

— А чего ночью, дня им мало?

— Государственное дело.

— Так, значит, послы?

— Послы.

— Любопытно бы знать, откуда?

— От великих султанов и владык.

— Каких же товаров ждать?

— Разных.

— А любопытно бы знать!

— Не приказано оглашать.

И так по всем харчевням, по всем закоулкам, где бы ни спросили дворцовых людей, всем любопытствующим был один ответ:

— Прибыли послы. Ожидается большая торговля. Какие товары закупают, какие сюда везут,— не приказано оглашать.

Эта весть отмела, как мусор, все остальные слухи. Но купцам не стало легче: надо было разгадать, какие товары придержать, что надо поскорей сбыть. Знать бы, откуда послы, куда повезут свои закупки, видно было бы, чего в тех странах не хватает, какой товар бывал там в прежние годы, на какие здешние товары зарятся тамошние купцы. А потому первое дело,— узнать, откуда прибыли послы. Они въехали в город в ночной тьме и словно растаяли к утру, вместе с ночными тенями.

Нехотя, без обычных бесед и напутствий, даже без обычного запроса, продавали купцы товар мелким покупателям: бери щепотку черного перца, драгоценного, как золотой порошок, бери чашку соли или ляжку баранины и уходи, не мешай купцам беседовать о большой торговле.

Даже горшечники и сундучники призадумались, будто польстится Китай на глиняные горшки или Египет на пустые сундуки самаркандские.

А может, от христиан послы? Из городов Рума, из Генуи или Венеции, с теплого моря. А может, навезут драгоценную пушнину из Москвы? Навезут золотых соболей, черных лисиц, голубых белок, белых горностаев по сходным ценам. А те меха закупить бы тут разом, а потом везти на юг и на запад, где на этот русский товар, на меха, дадут золота вдвое больше, чем весят сами меха, жаркие, пушистые; в руках они дышат, как живые; к ним прикоснешься,— ласкают, как девушки; к ним принюхаешься,— кедровым орехом пахнут или жареным миндалем; на воротник их положишь,— они любой шелк затмевают, любой бархат с ними рядом домотканиной кажется.

Давно Самарканд заглядывается на эти товары. Бывало, возили их москвитяне по Волге до Астрахани, а оттуда — на Хорезм, с Хорезма на Бухару,— старая дорога, проторенная. Да перехватила ту дорогу Золотая Орда; только и торговли теперь у нее — закупать товар в Москве либо в Новгороде да перепродавать в Самарканд.

Разбив золотоордынского Тохтамыша, пошел было Тимур дальше, за московской пушниной, повел на Москву свое непобедимое воинство, да дорога на Москву оказалась длинна, темными лесами загорожена, непроглядными метелями завешена, вьюгами, порошей запорошена дальняя Москва.

И остановился Тимур в Ельце. Тут проведал, что уже вышли

на него рати московские, идут с пением воинских песен, несут впереди ратей святыню, с коей за десять лет до того на Куликово поле выходили, когда Золотую Орду растерзали булатом мечей тяжелых, затоптали копытами северных коней.

И повернул Тимур назад. И ушел. И с тех пор только косил в ту сторону прищуренными глазами, и даже память о том, как уходил из Ельца, приказал истребить.

Но памятью о железном госте остались в Русской земле доспехи непобедимого воинства. И века спустя плуг пахаря там или сям вывернет из широко раскинувшихся тучных пашен то джагатайскую кривую саблю, смешавшуюся с истлевшими костьми, то позолоченный шлем на Орловщине, то самаркандского чекана стремена под Курском.

А если с Москвой не воевать, отчего б с ней не торговать?

Ведь целы в летописях и описи товаров, привозившихся из русских городов в Хорезм за сотни лет до Тимура; целы описи товаров, потребных русским, закупленных лет за триста до того в Хорезме; уцелели имена купцов, ездивших до Астрахани из Хорезма и приезжавших из Астрахани в Хорезм. Нынче стеной стала поперек той дороги Золотая Орда. Но договорись с Москвою Тимур,— прахом рассыплется Орда, как гнилые ворота, сразу раскроется сквозной простор от Индийского океана до берегов Балтики, до Варяжского моря; протянутся торговые пути от Инда и Ганга до Западной Двины; встанут караван-сараи под сенью берез и сосен; зазвенят колокольцы караванов над рекой Волховом!

Не мечом расчищать надо ту дорогу,— меч иступится о такую даль,— не мечом, а кошелем; не копытами конницы ее утаптывать, а мягкими подошвами купеческих сапожков. Ведь не зря Тимур, как своих воинов, берег самаркандских купцов. Воины захватывали ему добычу, купцы обращали добычу в золото, приумножали ее стоимость во много крат. А чем дальше везешь товар, тем он дороже становится.

И многие из купцов, хаживавших в Сарай ордынский, переглядывались;

— О, если б эти послы да были б послами московскими!..

Но слух о послах заслонился новым слухом.

Позже прежних дворцовых людей показались поодиночке другие, оттуда же, из Синего Дворца. От этих стало известно, что, может, и прибыли послы да не за тем ли, чтоб договориться о совместном походе? Звать в поход на север, на Китай, на Хотан, через холодную землю. Что для того похода ладят закупить в Самарканде запасы кож, сколько б ни предложили им, почем бы ни запросили.

И опять, как незадолго до того, из уст в уста пошло гулять

по всем лавкам, по всем караван-сараям, по всем рядам, по всем чуланам тревожное слово — «кожа». Покатилось слово по базару, и купцы уныло расступались перед ним, давая ему дорогу, золотом звенело оно, барыши и прибыли оно в себе таило, а в руки никому не давалось, да и не было рук, чтоб по-хозяйски к нему протянуться: нигде не осталось кож.

И еще знатней стало это слово к полудню, когда показались в кожевенных рядах знатные военачальники,— тысячники, а за ними — сотники. Спрашивали сапогов, льстились на скудные кожевенные остатки, предлагали мастерам большие, доходнейшие заказы на обужу для войск, давали цену, какую ни запроси.

Купцы, опустив руки, стояли, прислонившись спиной к стенам, безучастно глядя на такой приступ покупателей.

— Видали? Теперь ясно: к северу пойдут!

— Ясно!

— Теперь кожу им только давай. Теперь бы...

— А где ее взять?

— Теперь бы...

Но оставалось только стоять, прислонившись к стене, будто никакого дела до кож нет у этих приумолкших торговцев.

А когда появились и простые воины, базар переполнился. Они теснились, толкались, настаивали, выспрашивая, не залежалось ли у кого продажной обужи, постукивали деньгами, подкидывали на ладонях серебро, торопясь исполнить мирозавоевательный приказ и ко дню осмотра и проверки иметь на себе исправные сапоги да в мешке при себе запасную пару.

Таков был порядок в Тимуровом войске: земледельцы ли, кочевники ли, созванные в ополчение, должны были взять с собой в поход запас еды, один колчан, тридцать штук стрел, один лук, налучье и щит. На каждых двоих конных воинов, когда призывались кочевники, кроме двух лошадей под седлом, должна быть еще одна заводная лошадь. Каждый десяток воинов должен был иметь купленную в складчину палатку, два заступа, одну мотыгу, один топор, один серп, одно шило, десять иголок, вязку веревок, одну крепкую шкуру и один котел. Все это воины заводили за свой счет, без ущерба для царской казны.

Большая часть из этих припасов давно была заготовлена. Но указ о сапогах появился лишь поутру, и теперь всяк по-своему кинулся его исполнять. Тысячники и сотники спешили закупить побольше кож, чтобы перепродать их воинам, воины спешили сами купить, чтобы не залезать в быстро возрастающие долги к своим воеводам.

Но кож не было.

Купцы уже все вынули, если у кого было запасено или припрятано, из тайников, из сундуков, из домашних припасов. Часа

не прошло,— все было сбыто, а спрос еще только начинался, а цена лишь начинала расти.

Еще не настал полуденный зной, а уже ничего кожевенного по всему базару не осталось. Уже перекраивали на сапоги кожу с седел и со всяких иных кожевенных изделий. А спрос еще только начинался.

Разыскали исконных кожевенников — и Мулло Фаиза, и Садреддин-бая, но они только разводили руками, оглушенные базарной сутолокой.

Не на мягкие тюфячки, на голые кирпичи сел обессилевший Мулло Фаиз в той нише караван-сарая Шамсинур-ата, где достойно торговал еще недели за две до этого дня.

Он сидел, беспомощно привалившись к стене, и, если б не стена, не было бы сил сидеть. Уставясь круглыми глазами в землю, не поднимая глаз на тысячника, приступавшего к нему, сетовал:

— Весь товар вышел. Вышел. Весь товар.

— Съели вы его, что ли?

— Сами не знаем, куда делся. Не поймем, куда. Был, совсем недавно был. Еще в носу запах его не выветрился; чую запах. Чую! Будто они рядом, кожи. И сколько было! О господи! До самого верху навалены; полным-полны склады. Никто не брал. Радовались, что сбыли. А теперь — хоть плачь!

— А еще первейший кожевенник! — с досадой сплюнул тысячник, уходя.

— Хоть плачь!— покорно твердил ему вслед Мулло Фаиз.

Но ни на минуту не мог присесть жилистый, непоседливый старик Садреддин-бай: сновал по всем знакомым щелям, шарил по мастерским сапожников и шорников, по лавкам и караван-сараям, возникал то в одном, то в другом конце необъятного самаркандского базара, одухотворенный надеждой на небывалую выручку. Но кож нигде не было.

Он за бесценок сбыл ненавистные тюки полосатого бекасама, сбыл шелк, чтобы собрать хоть немного денег для перекупки кож. Но деньги стучали в тощем, длинном, морщинистом кисете, болтавшемся на животе, а кож нигде не было.

У ворот караван-сарая Шамсинур-ата несколько сотников окружили Садреддин-бая, суля ему:

— Любую цену дадим, отец. Уступите кожу. Ищите, находите,— любую цену дадим!

Но, взмахивая полами темного купеческого халата, он только жалобно восклицал:

— Если б был товар, о братья! Если б был!..

Так ожесточенно покупатели осаждали купца, будто не костлявый старец перед ними, а вражеская башня, полная защитни-

ков и сокровищ, под которую надо подвести подкоп, а еще лучше свалить ее одновременным натиском. Так они были заняты, что не заметили, как мимо проехал на стройном тонконогом гнедом коне, высясь на высоком седле, славный по всему войску царевич Халиль-Султан; проехал в простом халате, но такой веселый и приветливый,— радость, переполнявшая царевича после слов желанной Шад-Мульк, украшала нарочитую простоту его одежды, как золотое шитье.

Сопровождавшие его охранители, одетые много наряднее своего царевича, тускнели в блеске радости, озарявшей Халиль-Султана.

И едва они проехали, народ тут же вернулся к прерванным разговорам и пересудам:

— А может, послать бы куда? За кожами...

— А куда?

— Да есть же города, где кожи лежат.

— Лежат!— вздыхали купцы.— В Хорезме лежат, в Ясе лежат.

— Вот бы туда и послать!

— Нам-то они сейчас нужны!

— Скоро ли их довезешь из Хорезма!

— Длинна дорога... А надо сейчас!

Гонец повез письмо эмира Мурат-хана в Герат.

Отправляясь из Синего Дворца, он получил с дворцовой конюшни самую захудалую лошаденку, какая только нашлась у конюшего: царский гонец по пути имел право менять свою лошадь на любую встречную, какая б ему ни приглянулась, кто б на ней ни ехал; царскому гонцу никто не смел отказать, за такой отказ полагалось суровое наказание. А потому на выезд гонцам хороших лошадей не давали: какую ни дай, ей на эту конюшню уже не вернуться, предназначено ей сгинуть где-то в чужих руках.

Выехал, и лошадь, дохнув привольным ветром степей, сперва бодрилась, шла веселой игрой да вскоре выдохлась.

Как ни хлестал ее, как ни долбил ей бока каблуками всадник, из черепахи сокола не выдолбишь.

Вез письмо гонец и поглядывал на встречных. Ничего завидного не встречалось: ехали крестьяне на арбах, но их кони натруженные в упряжке, под седлом не разыграются. И не велика честь гонцу льститься на упряжную лошадь, с деревенщиной мену затевать, на мужицкую худобу зариться.

Так и вез гератец письмо, прикидываясь перед встречными, что этакая езда ему по нраву: нрав, мол, у каждого свой. Но, едва разминувшись со встречным, едва оставшись один, нещад-

но хлестал и горячил своего одра, всей душой торопясь в Герат, где народ смирней и еда жирней на степенном дворе Шахруха.

Так и не изловчился до жары сменять скакуна, а как время подошло к полудню, заехал в степной рабат полдневать.

В то же утро в Синем Дворце Мухаммед-Султан вызвал Аяра и послал его вслед за гератским гонцом.

Аяр сам зашел на конюшню и, как ни упрямился, как ни изловчался конюший, чтоб сбыть Аяру мухортого коня с мокрецом, Аяр и себе самому, и своей охране подобрал крепких, выносливых коней. Да и в охрану себе выбрал из джагатайского караула двоих приглянувшихся ему воинов — неразговорчивого Дангасу да тяжелого на руку Дагала.

Едва выехал за город, пустил коня, и только пыль метнулась в сторону, стелясь по ветру, да на макушке гонцовой шапки забилась красная коса, сплетенная из трех прядей шелка — знак личного слуги повелителя мира.

Далеко впереди — Герат. Восемь дней положено гонцу на дорогу до Герата. Есть время у Аяра, чтоб настичь переднего гонца, да не терпится.

Белым пламенем зноя полыхает и слепит небо. Дальние горы тлеют в сизом мареве. Степь горяча, как свежая зола. Мазанки деревень светятся, будто облепленные расплавленным серебром. Ветер сушит и обжигает губы, свет режет глаза, колени горят на жарких боках коня; благо, что плотный халат укрывает тело от зноя, что круглая лисья шапка затеняет темя. Аяр, упершись лбом встречь ветру, хлещет, резвит, гонит коня по степи...

А двоим спутникам нельзя отставать: нельзя задерживать царского гонца. И джагатаи скачут следом то дорожной обочиной, то степной целиной, куда ни ведет их за собой нетерпеливый Аяр.

Попадаются по дороге харчевни в густой тени круглых карагачей или под живой, пятнистой тенью чинар, у края прохладного пруда, у любезного огонька в очаге.

Пережидая в харчевнях зной, смотрят люди вслед трем всадникам, мчащимся по открытой степи; трем безудержным всадникам, коих не конь везет, а черт несет! И, лениво переговариваясь, обсуждают в харчевнях:

— Царский гонец!

— Может, от самого.

— Может,— вон как идут!

— Не случилось ли что?

— Не наше дело.

А из-под копыт вспархивают жаворонки. Кое-где медные, как кувшины, коршуны откатываются в сторону, ленясь взлететь.

Вдруг, трепеща, раскрываются, как веера, бирюзовые с медными краями остроносые ракши и, проводив всадников, косым полетом возвращаются к земле.

У птиц есть время переждать зной, у людей есть право на прохладу в полуденные часы, но не у доброго гонца. Гонцу надлежит опережать усталость, гнать прочь зной — покой и прохлада ждут гонца лишь в конце пути.

Но как ни скоро проскакивал Аяр мимо придорожных пристанищ, острым глазом успевал оглянуть и путников, прохлаждающихся в тени, и коней, опустивших головы к кормушкам на приколах и у коновязей.

Зной начал спадать, когда в голубом сиянии степи поднялся серый купол над колодцем и коренастые стены заезжего двора.

Здесь спешились.

В тени ворот сидели караульные, играя в кости. Они не прервали игры, когда Аяр с джагатаями провели во двор своих потемневших коней.

Старший конюх, принимая из Аяровых рук поводья, покачал головой:

— Как разгорячили коней!

— Знойно! — ответил Аяр.

— А зной,— постой, не лезь в огонь.

— Тебе, видно, лошадь нужней царского дела! — пристыдил его Аяр.

Но старший конюх не сробел:

— Без коня и гонец — пешка.

— Ну, ну!

Они прошли на широкую террасу, где по истертым паласам лежали стеганые подстилки. Тут отдыхали проезжие. Кто дремал, дожидаясь вечера, пока кормятся лошади или верблюды. Кто неторопливо, лениво вел беседу над подносом с ломтями лепешки и дыни, ожидая, пока на кухне варится еда.

Аяр зорко озирался.

Во дворе стоймя стояли высокие узкие мешки из грубой бурой шерсти, снятые с верблюдов вьюки. И хотя по всему было видно, что в мешках не зерно везлось, стайка воробьев, деловито перекликаясь, суетилась то между мешками, то вспархивая на мешки, ища дыр либо щелей.

Верблюдов во дворе не было,— их согнали в степь, пастись перед последним, ночным переходом до Самарканда.

Двое степняков сидели в тени у стены, поставив рядом бурдюки с кумысом и плоские медные чашки. Сидели молча, равнодушно ожидая, пока проснется жажда в том или другом из дремавших проезжих.

Время от времени кто-нибудь подходил к степнякам, брал с

земли чашу и протягивал к бурдюку. Хозяин нацеживал тонкой струйкой свежий, пенящийся серебристый кумыс и, отвалив бурдюк на прежнее место, сам, как бы отстраняясь, отваливался к стене, безучастный к расчету за отданный напиток. Но вдруг, оживляясь, ворочал бурдюк, чтоб взболтать кумыс, наливал очередную чашку и снова замирал в тени, карими умными глазами внимательно разглядывая все, что показывалось во дворе,— людей, птиц, лошадей, стоявших в тени под низкими навесами, голубенькую трясогузку, перебегавшую по горячей, солнечной земле.

Аяр прошел под навес к лошадям.

Конюх хорошо знал Аяра, столько раз проезжавшего этой дорогой, а случалось — и ночевавшего здесь. Да и Аяр помнил этого конюха: такое круглое, губошлепое лицо не скоро забудешь.

Когда, разглаживая встрепанную ветром бороденку, Аяр остановился под навесом, конюх сказал , с трудом ворочая толстым языком:

— Еще бы малость скакал, запалил бы лошадь: вся смокла, еле не пала.

Не отвечая, Аяр похлопывал на прощанье шею своего коня и разглядывал стоявших лошадей.

Конюх опять сказал:

— Дела гладкие?

— А что?

— Один гонец был, да отбыл. Вот и ты явился. Куда столько гонцов!

— Давно отбыл?

— Сидел, ел, соловую лошадь взял и поехал.

— А прежняя где?

— На луга погнали: тут не выхолишь,— холку седлом до жил сбил, увалень. Плохо заседлал, а сидел плотно.

— Коня-то ему резвого дали?

— На взгляд неплох, да неходок.

— Приготовь-ка нам вон тех трех коней.

— Купцы едут.

— Пересядут на других. Заседлывай.

— Слово слыхано, дело делано. Заседлаю своими седлами.

— А чьими ж? Я не барышник, седлами не меняюсь.

— Полежи в холодке, лошадей подготовлю.

— Седлай, седлай.

Только теперь Аяр спокойно подсел к своим спутникам.

Рядом разговаривали четверо проезжих; видно, с большого каравана, ожидавшего ночной поры.

Один из них был старый седой длиннолицый китаец. В синем

узком халате, в черной шапочке на голове, он сидел, опершись о вьюк, и говорил по-фарсидски, чуть гнусавя и напевая слова:

— Пыльно. Солнца много. Отлично: постоялых мест много — спокойно. Везешь шелк, везешь ситец — спокойно. Устал — сиди, пей, вода чистая; мясо, как масло, на языке тает. Ваши люди дело любят. Каждый свое. Вы джагатай?

Молодой купец, распахнув стеганый халат, положив на палас неразмотанную серую чалму, то вытирал платком голую голову, то гладил гордую бороду.

— Я? Таджик.

— Я слышал ночью вашу беседу; джагатайский язык.

— По-фарсидски мы говорим с нашими отцами о делах; по-джагатайски — с матерями о доме. Оба языка родные нам.

Воин, возглавлявший охрану их каравана, сказал:

— А у нас в Кеше не так: по-фарсидски с нами говорят матери; по-джагатайски — отцы. Но это точно — оба языка родные для нас.

— Большая земля ваша. Солнца много. Люди умные, землю любят, скот любят. Сады зелены, поля политы, скот сыт. Своего бы хватило, а чужое хватаете.

Воин быстро взглянул на купца, ожидая, чтоб тот ответил. Купец нахмурился.

— Войска хватают, что плохо лежит; перекладывают, чтоб лежало получше. А мы торгуем. На какой товар спрос, тот ищем. Где пройдет война, там золото дешевеет, а зерно дорожает. Туда везем зерно, а назад золото.

Морщинистое, но светлое, словно восковое, лицо китайца опустилось. Он обеими руками поднял чашу и, хотя она и не была полна, осторожно поднес к губам.

Аяр тихо сказал своим джагатаям:

— Недавно уехал. Лошадь получил слабую.

— Далеко не уйдет! — уверенно сказал Дагал.

Дангаса возразил:

— Он уж скачет, а мы сидим.

Аяр покосился в сторону навеса:

— Седлают.

Дангаса умиротворенно вздохнул:

— Были б лошади крепки, а нам что!

И вскоре они снова были в седлах, опять засияла степь вокруг и затрепетала красная косица позади Аяровой шапки.

Небольшая деревня легла на Аяровой дороге.

Он и проскакал бы через нее, мимо невысоких глиняных стен, мимо голубых рядов раскидистого лоха, склонявшего гибкие ветки в дорожную пыль. Аяр проскакал бы мимо чужой

здешней жизни, если б не крики за одной из стен, если б не воины, мелькнувшие в одном из узеньких проулков между стенами.

Осадив коня, Аяр завернул в проулок и подъехал к воинам:

— Что тут?

Сперва воины глянули на Аяра недружелюбно и надменно, но, приметив красную косицу на гонцовой шапке, спохватились:

— Вон он, наш старшой.

Старшой, возглавлявший десяток конных, был разгорячен, повернулся к Аяру с яростью, заслоняя небольшой двор.

А во дворе вскрикивали и причитали женщины, ветхий, но широкоплечий старик, сидя на земле, раскачивался, охая:

— Ой-вой-вой...

Аяр спросил десятника:

— Что тут?

А десятник, признав царского гонца, сразу оробел, заморгал, заулыбавшись:

— Злодеев ловлю.

— Каких это?

— Грабителей. Приказано всех хватать.

— А что здесь?

— Вон старика забираю.

— Злодей? Грабил?

— Нет еще. А может начнет грабить? Дело такое: лучше перебрать, чем оставить.

Неожиданно старик перестал охать. Подняв лицо, покачал головой:

— Я со двора шестой год не схожу. Совсем стар. Какой из меня разбойник? Не гожусь я в разбойники. Бывало, ходил, в походах бывал. Грабливал, по приказу грабливал, когда повелитель на то нас водил. А нынче уж не гожусь. Уж не трогайте! Сил нет на разбой! Хлебом клянусь!

Аяр заступился:

— Может, он и взаправду стар?

— Откуда мне знать? — усомнился десятник.— Ведь говорил же разбойные слова.

— Как это?

— Эти земли повелитель соизволил отдать Сафарбеку, тысячнику. А язычники при битве за Дели пробили Сафарбека стрелой. А у него — ни детей, ни родни. Здешние жители сказали: «Хозяин убит, работать не на кого; мы ячмень растили, мы ячмень себе соберем». Хорошо они сказали?

— Как сказать!— уклонился Аяр от трудного вопроса.

Десятник гневно глянул на крестьянина:

— В том-то и дело. А этот старик еще хуже сказал: «Один камень свалился,— сказал,— другой навалится». Каково?

Аяр перемолчал.

Десятник посетовал:

— Это дело повелителя — навалится камень либо нет. Смекай: старик за повелителя распорядился. А? Чего ж от него ждать? Такого надо долой с дороги. Приказано: дороги очистить, всякую колючку с дороги прочь. А это не колючка,— за повелителя рассудил! А?

Но дряхлый старик смотрел на Аяра каким-то хотя и незнакомым, но и не чужим взглядом. Аяр негромко ответил десятнику:

— Старик знает,— где повелитель приказал камню лежать, там будет лежать камень. Повелитель крепости кладет, а если враг с тех стен камень сбросит, каждый из нас поспешит на то место другой положить. Разве дело делийским язычникам у нас наши камни передвигать? Это и сказал старик. Его седину уважать надо — он с повелителем в походы ходил до старости. Ведь сказал же он: «В походах бывал, когда повелитель на то нас водил». Такого лучше не трогать.

Старшой забеспокоился:

— Не трогать?

— Повелитель не любит, когда его сподвижников трогают. Приведете такого к судье, а судья вас спросит: «Где, спросит, была ваша голова, почтеннейший? Если вы без головы обходитесь, мы вас от нее освободим!» А разве вам ее не жалко? Разве у вас их две?

— Да ну его, этого старика! — решительно отвернулся старшой и торопливо пошел к своему седлу, махнув воинам, чтоб ехали следом.

Старик, не вставая с земли, устало кивнул Аяру:

— Спасибо, сынок. Не так ты мои слова растолковал, да верно понял.

Не впервой было Аяру заслонять людей от воинов. Когда-то давно, мимоходом, разорили Тимуровы воины родной Аяров очаг; отца убили за то, что нечем было воина угостить. Много лет прошло. Стал воином сам Аяр. Достиг чести быть дворцовым гонцом. А нет-нет, да и просыпалось сердце, когда касался ушей вопль народа о помощи.

Задумчиво выехал между душными шершавыми стенами из тесноты проулка, отслоняясь от низко свисавших длинных пушистых листьев лоха, отягченного бронзовыми гроздьями мелких плодов.

Налево повернул десятник со своей конницей, направо поскакал в степь Аяр. Какая-то горечь жгла его; сердясь неведомо

на что, нещадно хлестал он усердного коня и мчался быстрее прежнего.

Степь начала холмиться. Даль вокруг виделась уже не столь широко. И вскоре, как во сне, перед ним предстал гератский гонец. Холмы ли, повороты ли дороги заслоняли его, но не издали, а почти прямо перед собой увидел Аяр гератца на соловой лошади и, настигая, крикнул:

— А ну-ка! Стой!

Удивленный гератец обернулся, натянув поводья.

— Стой, говорю! — повторил Аяр, радуясь, что гератцу не дали охраны и что вокруг не было ни души — ни встречных, ни поперечных.

— Далеко скачешь? — спросил Аяр.

Но гератец не успел ответить: Дагал, проносясь на своем коне, на полном скаку хлестнул гератца плетью по голове, соловый конь глупо вскинул задними ногами, и прежний гонец, перелетев через конскую голову, плотно распростерся на колкой траве.

Аяр прикрикнул на Дагала:

— Ты что?

— А что?

— Сперва надо б узнать, где у него письмо.

— А вон оно!— показал Дагал, сразу приметивший наметанным оком край кожаного бумажника у гератца за голенищем правого сапога.

— А все ж без моего слова...

Но Дангаса поспешил оправдать горячность Дагала:

— А поговоривши с человеком, как его убьешь?

Дагал, сам не умевший объяснять свои поступки, благодарно моргнул Дангасе:

— Верно!

Пока Аяр вытягивал из-за голенища плотно засунутый бумажник, Дагал вздумал выкручивать у мертвеца серебряную серьгу.

Серьга не поддавалась. Дагал, вытянув нож, хотел рассечь мочку уха, но Аяр вскрикнул:

— Не тронь!

— Чужое ухо жалеешь? — недружелюбно отстранился Дагал.

— Не чужое ухо, а твою голову.

Аяр, раскрыв бумажник, увидел сплющенную трубочку письма и залепивший письмо круглый ярлычок: «От амира Мурат-Шаха».

— Оно!

Затем Аяр осмотрел гератца.

Бурая вьющаяся, раскидистая борода сплелась со стеблями цикория, и в ее волосках сиял синий цветок.

Аяр повернул неживую голову, глянуть рану. Кровь сочилась и впитывалась в землю из пробитого темени: Дагал умело владел свинчаткой, вплетенной в конец его ременной плетки.

— А ну-ка, давай его назад на коня! — распорядился Аяр и, беспокойно оглядывая степь вокруг, приговаривал:

— Давай, давай...

Дагал, отслоняясь от кровоточащей головы, поднял гератца. Дангаса всунул ногу мертвеца в стремя. Аяр проверил:

— Поглубже вдень. Да поверни! Не то выскользнет.

Дангаса повернул носок сапога так, чтоб нога плотно застряла в стремени. Аяр махнул рукой:

— Ладно. Отпускай.

Они бросили тело, и оно снова ударилось головой оземь, но ступня в стремени засела крепко.

— Гони!

Все вернулись в седла, и Дагал, закрутив плеткой над головой, крикнул на солового коня, как крутят плеткой и кричат степные табунщики, гоня перед собой или заворачивая на выпасах конские косяки.

Конь, выросший в степи, испуганно рванулся вперед, шарахнулся, удивленный нежданной ношей, и как-то боком поскакал, волоча за собой гератца, бившегося головой о ссохшуюся землю, о комья и камни.

А следом, по-прежнему крутя свинчаткой над головой, дико гикая, пригнувшись, несся за ним Дагал, опередив Аяра.

Когда он увидел, что одуревшему коню уже нет удержу, что теперь он доволочит мертвого гонца до своей конюшни, Дагал поотстал, поравнялся с Аяром и, смущенно теребя длинный ус, сказал хмуро:

— Насчет моей головы...

— А что?

— Благодарю за остереженье.

— Понял?

— Догадался.

— Нам надо, чтоб люди видели: гератец конем убит. А конь серьгу из ушей не вынет.

— Спасибо. Я догадался.

И, ни о чем больше не говоря, они поехали назад к Самарканду; не так, как прежде, не спеша, держась не прямой дороги, а сторонними тропами, пока не объехали того двора, где взяли своих лошадей и куда, верно, уже воротился конь с мертвым гонцом.

У Пушка, вышедшего от повелителя, лицо было вдохновенно, но походке его недоставало прежней легкости: тело саднило от вчерашней скачки, будто доселе ехал он верхом на пылающей головне.

Он спешил к новым делам, но в одном из узких переходов армянина перехватил святой сейид Береке и поспешил поклониться купцу.

На поклон могущественного сейида Пушок от неожиданности не успел ответить. Но когда Береке задержал его, купец остановился неохотно: ему не терпелось приступить к новым делам.

Редко сейиду Береке случалось говорить с кем бы то ни было столь ласковым, почтительным, почти просительным голосом, как спросил он Пушка:

— Осмеливаюсь беспокоить вас, почтеннейший брат Геворк, да ниспошлет господь вам свою милость, да простреет щедрость свою на дела ваши!

— Я христианин, и едва ли...

— Христианин? На то воля господня: без его воли никакая тварь на земле не передвинет волоса в бороде своей. Богу угодно, чтоб вы были христианином, и вы, почтеннейший, лишь исполняете волю всевышнего! Нет греха и в делах ваших...

— В торговых? Какой же в торговом деле грех!

— Нет, нет,— никакого греха. Посему и вознамерился я спросить вас о торговом деле.

— Меня?

— Какие из верблюдов в караване вашем подверглись ограблению? Начиная с какого?

Пушок поклялся повелителю ни словом не сеять слухов о нападении на караван. Пушок не знал, был ли сейид на ночном совете, но заподозрил: «Не испытывает ли меня недоверчивый повелитель?»

Пропустив мимо столь опасный вопрос, купец склонил голову набок, как бы припоминая:

— Разве торговля и ограбление — одно и то же?

— Разве я это сказал?

— Вы намеревались спросить о торговле, а спрашиваете об ограблении. Ограблен караван? Какой?

Выходило, что это сейид Береке сеет слухи о нападении на караван.

— Спрашиваю вас, почтеннейший, яснее: верблюды с моим товаром целы? Первые сорок два? Сорок под вьюками и два с приказчиками. Богдасар — мой приказчик. Христианин.

— Если б грабителем был я, может быть, я и знал бы о каком-либо грабеже. Но я купец.

— Почтеннейший! Вы были там! Вспомните!

— От бесплодных воспоминаний у купца не растет выручка.

Береке быстро снял кольцо со своего длинного костлявого пальца и протянул Пушку:

— Скромный подарок. В кольце — смарагд, а смарагд веселит душу и проясняет память.

— Проясняет?

Пушок деловито примерил кольцо на короткие смуглые, поросшие жесткими кудряшками пальцы. На первые три пальца не наделось, но на безымянный подошло, и камень сверкнул в темной глубине зеленым огнем. Береке ждал.

— За подарок благодарствую,— поклонился Пушок,— но моей памяти и смарагд не проясняет: караван припоминаю, был караван; ограбления не помню: никакого Богдасара не могу вспомнить.

— Тогда что же? Это другой караван? — удивился Береке.— Вы шли через Фирузабад?

— Через Фирузабад?.. Богдасар... Не помню.

Береке облегченно вздохнул:

— Как хорошо! Значит, ограблен другой караван! А если другой...

Он не договорил. Пушок перестал существовать для сейида. Невидящими глазами он смотрел куда-то мимо Пушка и ушел в глубину дворца, шагая надменно, не замечая ни стражей, ни встречных, не снисходя отвечать на поклоны, словно углубленный в благочестивые раздумья. Все опасливо расступались перед ним, духовным наставником повелителя, молитвенником о ниспослании сокрушительных побед над дерзновенными врагами, предстателем перед всевышним за жалких грешников, погрязших в неизменной деловой суете.

«Как хорошо! — думал Береке.— Однако...»

Он остановился, оглушенный внезапным сомнением:

«Ночью всем ясно было — ограблен караван, по пути на Фирузабад. В караване был этот язычник Геворк, коего в преисподней давно ждет дьявол. Как же я ему поверил? Или он боялся меня огорчить? Богдасар ограблен? За смарагд я его...»

А Пушок поправил смарагд на безымянном пальце и снова заспешил к заманчивому неотложному делу.

Но путь его заградил широкобедрый, утолщенный многими халатами, знатнейший и спесивейший из самаркандских вельмож — амир ходжа Махмуд-Дауд.

Над нетерпеливым Пушком прогудел густой голос ходжи:

— Стой, купец!

Пушок слегка оробел перед этим горбоносым толстяком, пе-

ред светлым мясистым лицом, окаймленным узким ободком жиденькой бороды.

Ходжа говорил, тесня Пушка большим животом:

— Ну-ка, расскажи-ка,— как?

Пушок, даже если бы и хотел протиснуться между стеной и ходжой, не смог бы: проход был плотно заткнут ходжой.

— Так как же, а? Мои там целы?

— Милостивый амир! Откуда мне знать?

— Хитришь?

Пушок смолчал. Ходжа наступал, вынуждая Пушка пятиться.

— Хитришь? А? Я достоверно узнал: ты-то и есть оттуда. А хитришь, купец? А? Хитришь!

— Милостивый амир! Сейчас я не откуда-нибудь, сейчас я от повелителя. Цело ли где и что цело, о том он один знает. Возможно ли нам в своих знаниях превосходить его?

Ходжа задумался:

«Да! Повелитель не терпит, чтоб подданные превосходили его даже длиной бороды. Но не к повелителю же идти узнавать о караване! Он в печали, ему не до караванов. А вдруг уже нет каравана, все расхищено! А если расхищено, это же разорение! О караване надо непреложно знать!»

Но пока, тяжело дыша, ходжа думал, Пушок не мог уйти.

Сам он еще так недавно многое бы дал, чтоб знать о своем караване, который вышел из Кутлук-бобо и доныне неведомо, может, все еще идет где-то — по земле ли, по облакам ли, по звездам ли...

Пушок, глядя в парчовый узор тяжелого халата ходжи, думал:

«Страх одолевает ходжу. Знать хочет! А заносчив, требует от меня ответа, будто я ему приказчик, а не царский купец. А я... царский купец! Так? Меня повелитель послал, он мне этакое дело дал! Он меня торопит. За промедленье сурово взыщет. Так? А этот заткнул дверь задом, чесноком мне в лицо дышит, сопит...»

— Ну-ка, милостивый амир! У меня государственное дело. Я от самого иду. Он торопит, а вы задерживаете. Так? А вы знаете, как государь строг, если его слугам мешают? Строг? Строг! Посторонитесь-ка!

С ходжой не говорили так. Если же этот лохматый купец дерзает этак разговаривать, значит, ему дана власть!

— Пожалуйста! Пожалуйста. Я только намеревался спросить вас. Беспокойно мне: как они там, мои верблюжатки. Идут ли, стоят ли, целы ли? Если б подобное случилось с вами, вы бы поняли мое волненье! Я вас не задерживаю. А все же... целы они? Что?

— Не знаю. Не знаю, милостивый амир!

Пушок протискивался между стеной и ходжой. Ходжа прижимался к стене, пропуская купца.

Взглянув на умоляющий, заискивающий облик ходжи, Пушок и не вспомнил о своем пропавшем караване, весь охваченный новыми мыслями:

«Сам повелитель послал меня! Чуть возвысил я голос, могущественный ходжа влип в стену. Святейший сейид не посмел возвысить на меня голос. Никто не посмеет меня коснуться, ни перечить мне, ни отказать мне, когда я выполняю волю повелителя мира! Так? Так. Это сила! Сила в моих руках! Так? Так».

— Какое мне дело до ваших товаров! Оставьте!—отстранился Пушок.— Оставьте!

Но ходжа не мог отпустить купца, знавшего судьбу заветных верблюдов ходжи Махмуд-Дауда, судьбу его имущества, его могущества.

Махмуд-Дауд вцепился в рукав армянина:

— Пожалуйста. Одно слово: целы или пропали? Одно слово! Хотя бы часть уцелела! Хотя бы часть!

— Не знаю. Я выполняю волю повелителя!

Когда по воле повелителя ходжа Махмуд-Дауд сокрушал лавки, палатки, караван-сараи, купеческое добро и свои собственные бани и склады, дабы расчистить место для замышленной повелителем мечети, он не знал жалости. Он сокрушал. Он сокрушил бы и достояние Пушка, будь у него достояние. Он сокрушил бы и самого Пушка, попадись Пушок ему во власть! Сокрушил бы, раздавил бы, чтоб и этой наглой шапки от него не осталось! И ту истоптал бы! Но купчишка шествует от повелителя. Чует свою силу, свою неприкосновенность. Теперь его не тронь. Теперь, чуть что, он побежит к самому!

Глядя вслед Пушку, прислонившийся к стене ходжа Махмуд-Дауд колебался,— не кинуться ли за Пушком вслед, не попытаться ли умолить его, улестить, как ни унизительно это.

«Унизительно? А разоренье не хуже ли униженья?»

И кинулся вдогонку за Пушком.

Но стражи никого не впускали на тот двор, куда свернул Пушок. Они отторгли Махмуд-Дауда от купца, как недавно на базаре отторгали купцов от Махмуд-Дауда.

Тяжело ступая, медленно пошел ходжа Махмуд-Дауд на крыльцо, где по-прежнему толклись вельможи, ожидая, не покличет ли их Тимур.

На дворе завьючивали верблюдов.

Пушок хозяйственно прошел среди тяжелых вьюков, подозвал услужливого караван-вожатого и негромко заговорил с ним.

Юркие приказчики следили за вьючкой, покрикивая на вьюч-

ников, либо подсобляя им укладывать кладь поскладней на покорно возлежащих верблюдов. По восемь пудов мешок, по два мешка на вьюк.

Позвякивая ключами, кладовщики присматривали за рабами, таскавшими со складов мешки к вьючникам.

А в стороне седлали или расседлывали лошадей. Какие-то всадники входили, ведя в поводу своих усталых лошадей; другие оглядывали оседловку, прежде чем выехать со двора.

На этом дворе, засоренном сеном и всяким мусором, было шумно от окриков, разговоров, конского ржанья, верблюжьего рева. Никто и не взглянул, когда прибыли сюда трое всадников, опаленных горячим ветром, потемневших от степной дороги, от долгой езды.

Один из них, кинув наземь поводья, даже не обернулся, принял ли их конюх, решительно пошел ко двору. И хотя он не потрудился даже отряхнуться, даже лицо не обтер от пыли, хотя ни на вельможу, ни на полководца не был похож, стражи беспрепятственно его пропустили через нижнее крыльцо во дворец: позади его шапки свисала красная косица гонца.

Хотя Пушок и не знал Аяра, но купцу в этом гонце сразу полюбилась беззаботная легкость, с какой Аяр шел через двор; понравился веселый, смелый, сметливый взгляд его быстрых глаз.

Любуясь, как шел Аяр,— прижав локти к телу, чуть наклонив набок голову, не глядя по сторонам, собранный, складный,— Пушок смотрел ему вслед, пока Аяр не вступил в чертоги повелителя.

Там, так же без промедленья, гонца провели к Мухаммед-Султану.

Царевич стоял с Музаффар-аддином и о чем-то настойчиво выспрашивал этого хмурого высокого амира.

Увидев Аяра, Мухаммед-Султан отошел от амира, сказав:

— Постойте здесь, да припомните: ясно надо вспомнить каждое его слово... Поняли? Каждое слово!

И подошел к Аяру.

— Ну?

Аяр молча протянул царевичу бумажник.

Мухаммед-Султан, стоя спиной к амиру, раскрыл бумажник, осторожно ногтем, не разрывая, сколупнул ярлычок и развернул письмо.

— Оно самое!— сказал царевич, не отрывая от письма глаз.— Иди.

Аяр, так же молча, вышел. А Мухаммед-Султан, даже не глянув на амира, понес письмо к деду.

Сколько ни сновал Садреддин-бай по всем закоулкам базара, сколько ни шарили по всем чуланам самаркандские кожевенники, кожи иссякли.

— Что ж, с наших стад что ли, кожу сдирать?— гадали кожемяки.— Да за день ее не вымнешь, а надо скорей.

Ветер мел мусор по опустелым рядам. Купцы толпились, шепчась или крича, в базарных углах, оставив впусте переулки с пустыми лавками.

Проходили какие-то караваны. Перед ними сторонились, не прерывая разговоров, не глядя на ковровые изукрашенные кистями наряды верблюдов, на багровую бахрому их уздечек, на пунцовые султаны над головами, на причудливые знаки их тканых покрывал, на поклажу, отправлявшуюся в далекие дали либо донесенную издалека в Самарканд. Что за дело базару до проданного товара; что за дело купцам до чужих поклаж, когда нужен товар, которого на базаре нет.

За всей этой суетой никто и не приметил, как под вечер сюда вошел через Железные ворота большой караван. Никто не посмотрел, как ехали впереди караван-вожатый с хозяином. Как бодро ступали верблюды, хотя никогда не бывает у них такой бодрости после большого перехода. Как ехали на бодрых конях приказчики и на сытых ослах караванщики, как лишь чуть запылились, будто только что навьючены, ковровые покрывала на вьюках. Никто не приметил и того, что вошел караван без охраны.

Караван прошел через торговые ряды к Тухлому водоему, и хозяин с караван-вожатым сошли у караван-сарая армянских купцов.

Так велик был караван, что не мог вместиться во дворе у армян. Пришлось вводить верблюдов во двор по десятку. Едва развьючив, выводили одних, на их место вели следующих.

Ожидавшие своего череда верблюды заполнили всю улицу перед караван-сараем.

Жевавшие в харчевнях завсегдатаи отодвинулись от еды, разглядывая теснившихся, ревущих верблюдов. Голоса беседующих глохли в жалобном верблюжьем реве. Уже не жареным мясом пахло в харчевне, а потной верблюжьей шерстью.

— Что за караван?— гадали в харчевне.— Откуда? На конец пути пришли, а у верблюдов на губах зеленая слюна висит. Видать, недавно кормлены.

— Да гляньте-ка,— это ведь пограбленный армянин!

— Откуда? Он на Орду с караваном ушел.

— Он!

— Похож!

Уже не до еды стало, не до бесед: что за притча, с одним караваном ушел, с другого слезает?

А он слез, Геворк Пушок; слез и стоял в воротах, приглядывая за развьючкой.

Он так был занят этим, что не приметил, как мимо прошел и засел в соседней харчевне столь полюбившийся ему Аяр.

Вручив бумажник царевичу, Аяр ушел на воинский двор, отчистился, отмылся, шапку с косицей оставил, а надел простую тканую тюбетейку и пошел пройтись по городу.

В здешней харчевне ему нравились маленькие, едкие от приправ пельмени. Ожидая их, он устало поглядывал на развьючивающийся караван, на серую струю воды, падавшую из каменного желоба в Тухлый водоем.

А слух о прибытии армянского купца уже несся по базару, как дымок, гонимый вечерним ветром.

Вокруг караван-сарая уже собрались ротозеи и обессилевшие от нынешнего безделья купцы. Поглядывали в просветы между верблюдами. Пригинались, чтоб глянуть из-под верблюдов, истинно ли по ту сторону каравана стоит Пушок, или кто другой, схожий.

Нет, это был Пушок!

Кое-кто из более деловых пошел в обход длинного каравана, чтоб зайти на ту сторону и подобраться к Пушку.

Всех опередил Садреддин-бай.

Он появился перед купцами, обсуждавшими приезд Пушка. Едва он поднял голову к вьюкам, ноздри его дрогнули.

«Кожи!»

Он быстро обернулся, опасаясь, не уловил ли кто-нибудь этот ожегший его душу вопль. Но душевные вопли не слышны для окружающих.

Садреддин-бай вплотную подбежал к каравану. И еще яснее уловил знакомый, вожделенный, восхитительный запах кож!

Тогда, как пловцы ныряют в омут, он, пригнувшись, юркнул под верблюжьи животы и мгновенно предстал перед армянином:

— С благополучным прибытием, почтеннейший!

— Благодарствую.

— Издалека ли?

— Да вот... караванный путь... Сами знаете.

Разве можно сказать, что путь был недолог и недалек, что незадолго перед тем вышел весь этот караван из крепости, из-под сени Синего Дворца, прошел снаружи городских стен и через Железные ворота снова вступил в город, прошел по базарным улицам.

Если б это сказать, как бы расшумелся слухами и толками самаркандский базар!

Как бы заговорили купцы о своем благодетеле, о высоком своем покровителе, о повелителе мира Тимуре!

Пушок нашел ответ:

— Вот, потерялся у меня караван, думали — пропал, да, благодарение богу, по милости повелителя,— вот он!

— А товар?—не слушая Пушка, допытывался Садреддин-бай.

— По покупателю. Кому что.

— Мне бы кож.

— Много?

— А почем?

— По сту.

Садреддин-бай отступил, жуя губами, но тотчас приступил опять.

— Я ослышался. Почем, почтеннейший?

— По сту.

Тощий кошелек беспомощно качнулся на животе старика, но Садреддин-бай решительно схватился за него.

— Дам задаток на сто кип. Полный расчет через два дня.

— Наличными по сту. Иначе — сто двадцать пять.

— Окончательно?

— Деньги ваши, товар мой.

— Сто десять.

— Видите, я еще не развьючился. Так? Еще торговать не начал. Еще с купцами не потолковал. Так? Хотите брать — берите по моей цене. Нет — ждите, какая на завтрашний день станет.

— Вот, берите задаток.

— Сколько тут?

— За десять кип.

— За десять дали, а хватаетесь за сто!— пренебрежительно отмахнулся Пушок.

— Пускай! Вашу руку!

— На почин!— уступил Пушок.— Сто кип по сто двадцать пять ваши. Расчет завтра вечером.

— Я просил два дня.

— Не могу ждать.

— Давайте!

Но купцы уже обступали Пушка, обегая караван, протискиваясь между верблюдами, выныривая из-под верблюдов.

— Кожи!— несся слух по базару.

Опустел Кожевенный ряд, к Тухлому водоему бежали, как на пожар. Вскоре верблюдов уже с трудом удавалось провести на развьючку или вывести со двора, так стиснулся со всех сторон народ,— кто закупать кожи, кто поглядеть на торговлю больших купцов.

Некоторые, накланявшись Пушку, заводили разговор издалека:

— Как так случилось, почтеннейший,— не успели мы вас проводить, как назад встречаем?

— Лихорадка затрепала. Пришлось воротиться!— нетерпеливо вздыхал Пушок, чувствуя в себе такую полноту сил, такой преизбыток бодрости и здоровья, каких за всю жизнь не было. Даже забыл, что зад все еще саднил от недавней скачки, намученный сегодняшней, хотя и недолгой ездой.

Но другие приступили без обиняков:

— Что за товар?

— А чего вам?

— Не кожи?

— А если кожи?

— Берем...

— Сколько надо?

— Цена?

— Сто пятьдесят.

— За кипу?!

— А что?

— Мы как ни спешили, по пятнадцать едва успели сбыть!

— Давно?

— Да какое там давно!

— А нынче цена другая. Тогда и я соглашался на семьдесят.

— Мы помним!

— А теперь привез. Берите. Завтра может подорожать.

— А сказывали, будто у вас кожи пропали!

— Нашлись.

— Ну и цена!

Кто еще мялся, переглядываясь, другие уже протискивались к армянину платить.

Садреддин-бай один толкался по опустелым переулкам, разыскивая то одного, то другого из ростовщиков.

Но и постоянные ростовщики, и меняла, тоже иногда дававшие деньги в рост, тут же вычитали месячный нарост долга, давали деньги с таким расчетом, что заимодавцы, оступись только, попадали к ним в неоплатное рабство.

— Ваш залог?— спрашивал ленивый, огромный, как слон, почти весь прикрытый своим животом, перс-ростовщик, у костлявого Садреддин-бая.

— Дом заложу.

— Стоимость?

— Оцениваю в пять тысяч!

— Неслыханно! Кому нужен дом?

— Отличный дом.

— Дом купца в лавке с товаром. А она у вас есть? Она полна товара?

— Вы же знаете меня! Я у вас брал. Всегда рассчитывался.

— Какая мне радость, если со мной рассчитываются в срок!

— Я очень прошу. Одолжите.

— Дом приму за одну тысячу.

— Но ему цена десять! В пять его всегда считают при закладе.

— Уже закладывали?

— Однажды. Давно.

— Тысяча.

— Не хватит!

— Сколько надо?

— Двенадцать.

— При закладе пяти! Что вы!

С трудом раздобыл Садреддин-бай три тысячи под залог дома и, подписав расписку на шесть тысяч и закладную на дом, кинулся в армянский караван-сарай.

Наступал вечер. Но у Тухлого водоема по-прежнему толкались купцы, добиваясь кож от Пушка.

Караван перестали развьючивать. По десятку, по два десятка верблюдов уходили вслед то за одним, то за другим из купцов. Были такие покупатели, что сразу по десятку верблюдов уводили за собой, когда к Пушку пробился, наконец, совсем истомленный духотой и давкой Мулло Фаиз:

Почтеннейший! С благополучным прибытием!

— Благодарствую.

— Благосклонно ли взирает всевышний на успехи ваши?

— Вам кож?

— Цена?

— Все распродал. Осталось мешков тридцать.

— Почем за кипу?

— Двести.

— А?

Мулло Фаиз мягко привалился к стене, сполз и сел у ног Пушка, удивленный, что язык его отчего-то застревает между зубами.

Он попытался раздвинуть челюсть, но правая рука не поднялась.

Он поднял левую руку ко рту, но в глазах его потемнело, и он покатился куда-то с порога вниз, в разверзшуюся бездну, во тьму.

Только сердце еще билось, как будто медленно-медленно шел над ним караван; медленно, как во сне: мягко, почти неслышно ступая. И вот уже ничего не стало слышно совсем.

Теперь обступили Мулло Фаиза, пытаясь его поднять. Подняли, понесли, но Садреддин-бай, встретившийся им, отстранился,

прижался к стене, пропуская их, досадуя, что ему загородили дорогу, а едва бесчувственного Мулло Фаиза пронесли мимо, кинулся к Пушку:

— Вот! Здесь три.

— Вы зарились на сто. Значит, надо двенадцать с половиной. Долой одну из задатка...

— Там одна с четвертью!

— Не спорьте из-за четверти, почтеннейший. Я даром вас ждал, что ли?

— Но я обещался на завтрашний вечер, а принес сегодня!

— К тому же, цена изменилась.

— Как?

— Двести.

— Это не по уговору!

— Вот, я верну задаток, за вычетом четверти.

— За что?

— За ожидание.

— Это... Знаете...

— Хорошо!— перебил Пушок, не любивший обижать людей, совсем почти охмелевший от всего происшедшего, и потому благодушный.— Хорошо! Учту и четверть: берете по двести?

— Это значит, сколько же я смогу взять?

— Посчитаем...

Вечер густел.

Пушок даже еще и не побывал у себя в келье. Еще и с хозяином караван-сарая не успел повидаться, а весь товар уже был сбыт. И почем! По какой цене сбыт!

И на дворе стало уже пусто,— ни одного вьюка! И караванвожатый увел своих верблюдов из города, а прошло всего лишь три или четыре часа!

— Какую келью пожелаете занять?— спрашивал у Пушка Левон.— Прежнюю?..

— Да. Прежнюю.

— А где же поклажа ваша? Что туда отнести?

— Поклажа?— спохватился Пушок.— Поклажа? Я не взял... Она на прежнем караван-сарае. Я так. Без поклажи.

Он устал.

— Приготовьте мне постель, Левон. А я пойду в харчевню. Я хочу есть.

И вскоре Пушок сел над водоемом, под маслянистым пятном фонаря, свисавшего с гибкой ветки китайской ивы.

И Пушок никак не в силах был вспомнить, что за человек тихо сидит перед ним в зеленой шахрисябзской тюбетейке; где видел он этого приятного человека? Когда? Кажется, будто совсем недавно. Но где?

Аяр тихо сидел, слушая, как в темноте воркует вода, натекая из каменного желоба в Тухлый водоем.

Пакля, заткнутая в маленькую глиняную чернильницу, чтоб чернила не сохли и не проливались, зацепилась за острие тростничка, и Улугбек испачкал пальцы.

Он слюнявил и вытирал их о подкладку халатика, а Тимур терпеливо ждал, пока внук снова сможет писать то, что ему говорится.

Улугбек писал уже третий указ из тех указов, что должны быть наготове, когда понадобится их огласить.

— Прочитай-ка!— кивнул Тимур на бумажный листок.

И, все еще вытирая палец, мальчик перечитал недописанную страницу:

«...Поелику на самаркандском базаре кож в достатке нет, дозволяется воинам выйти без запасных пар обужи, а запасаться будем в пути по тем местам, где кожевенный товар найдется в достатке.

Поелику оружейные купцы жаловались на оружейников, что на изделия свои цен не скинули и в торге упорствуют, дать оружейным купцам из наших кладовых...»

В это время вошел Мухаммед-Султан. И Тимур, приняв из его рук письмо, покосился на Улугбека:

— Поди-ка, отмой свои руки. Водой отмой.

Когда Улугбек вышел, Тимур развернул и осмотрел письмо. Что он видел в этих непонятных черточках, точках и завитках? Он осмотрел желтоватый листок плотной шелковой бумаги и вернул Мухаммед-Султану:

— Читай.

Мухаммед-Султан медленно, не так бойко, как это умел Улугбек, принялся разбирать письмо амира Мурат-хана к его сестре Гаухар-Шад в Герат.

— Так, так... Приветы, благие пожелания, не читай. Не трать времени, не то Улугбек вернется, а письмо ведь к его матери. Мало ли что... Начинай сразу с дела.

Но, чтобы найти то место, где начиналось это дело, Мухаммед-Султану понадобилось еще больше времени, чем читать подряд.

Бормоча, он начинал читать то одно, то другое место, но все это были приветы или пышные восклицания, или благочестивые ссылки на коран.

Наконец он нашел:

«Прибыла сюда хан-заде от почтенного мирзы Мираншаха, и государь гневен и печален.Если и вынет стрелу из колчана гне-

ва своего, ударит острие ее в западную сторону, а вам мир, благоволение и процветание».

«Бумажники хорошие заказал здешнему искусному мастеру, по воле, изъявленной благословенным мирзой Шахрухом, и первый образец получу завтра и пошлю...»

— Не в ином каком смысле написано про бумажники?— призадумался Тимур.

— Если и в ином, не пошлет: завтра амира здесь уже не будет.

— Хорошо. Успокаивает Шахруха,— пойдем, мол, на Мираншаха. Хорошо, пускай Шахрух со своей царицей мирно спит. Письмо заклей, чтоб неприметно было, и опять отошли. Пускай в Герате читают. А гонец, чтоб на словах там сказал,— послано, мол, было с другим гонцом да по пути случилось несчастье. А государю, мол, о том неизвестно! Понял?

Вернулся Улугбек.

Мухаммед-Султан быстро скрутил письмо трубочкой и всунул себе в рукав.

— Еще что?— спросил Тимур Мухаммед-Султана.

— Амир Музаффар допросил двоих: пойманы на дороге из Кургана. Бормочут какую-то небылицу, ничего нельзя понять.

— Где они?

— Внизу.

— Пойдем, я сам их спрошу.

И они втиснулись в узкий проход, откуда круто, винтом, спускалась тесная лестница вниз, в подвалы Синего Дворца, где за двойными стенами, в полутьме, под низкими сводами, разместились тайные тюрьмы и темницы, откуда голос человеческий не проникал наружу, где в бурые кирпичи вбиты были черные кольца и скобы, где властвовали самые надежные, самые доверенные из слуг повелителя мира.

Тимур сходил по крутой лестнице боком, осторожно спуская с высокого косого порога хромую ногу.

Мухаммед-Султан поотстал, чтоб в темноте не задеть сапогом руку деда, то скользящую ладонью по стене, то упирающуюся пальцами в пройденные ступени.

Улугбек, оставшись один, чтобы занять время, вынул из шелкового чехла книгу Гияс-аддина и раскрыл ее на том месте, где дедушка прервал чтеца.

Мальчик читал:

«После сего Повелитель Мира принял непреклонное решение выступить на город Дели».

«Звездочеты и звездословы, основу всех дел и основ связующие с указаниями звезд, втайне гадали о предстоящем по сочетанию благоприятных и зловещих созвездий. Но великий повели-

тель, Вместитель добродетелей халифа, исходил из советов благочестивых людей, освобождающих умы человеческие от ложных мыслей и суеверий тех людей, что не спорят ни о троичности лица божьего, ни о шестерице, в силу чистой веры своей. Он отверг прорицания, не поверил указаниям звезд и рукою надежды ухватился за аркан божьего милосердия...»

Темнело.

Буквы сливались. Мальчик снова вложил книгу в чехол. Ему запомнилось, как красиво это написано:

«По сочетанию благоприятных и зловещих созвездий...»

Темнело быстро, как всегда быстро темнеет в Самарканде в первые дни сентября.

Светильников еще не принесли.

Мальчик следил из наступающей темноты, как за окном, высоко в небе, вспыхивает, мерцает, все еще не смея загореться своим белым огоньком, какая-то далекая звезда.

Десятая глава

САД

Прошла неделя, как повелитель замкнулся в уединенном углу своего обширного дома.

А над городом сентябрьское утро светилось белым, прозрачным светом.

Тяжелые листья устлали дно ручьев, и вода стала чистой и прохладной. И вдоль дорог, и поперек садов по ручьям плыли спелые плоды, опавшие с веток в воду.

Розы цвели своим осенним цветением, и у всех городских гуляк сияли заткнутые за ухо либо подоткнутые под чалмы алые розы или лиловые ветки душистой мяты.

Многие из самаркандцев на это время уезжали в загородные сады, в деревни, где у горожан были земли и дачи, где еще с весны жили их семьи. Уезжали купцы, уезжали торговцы, но вельможи не смели покинуть город и уйти из-под серой тени дворца, опасаясь, что повелитель призовет их и прогневается, если их не окажется у его порога.

Серая тень дворца покрывала, как кошмой, каменный двор, где спозаранок толклись приближенные и придворные Тимура. Прошла уже неделя, как повелитель не выходил к ним и не звал их к себе, отягченный вестями о своем безрассудном сыне Мираншахе.

Изо дня в день вельможи толпились и томились, перешептываясь об одном и том же:

— Что повелитель?

— По-прежнему; сокрушается.

— Не подослать ли к нему? Успокоить, уговорить,— дела ведь замерли, государство ждет.

— А кто пойдет? Кому голова надоела?

И разговор смолкал.

Привыкли подолгу толпиться у царского порога. Поосвоились, пообжились здесь: расстелив попоны, сидели во дворе вдоль холодных стен в сырой тени, потчевали друг друга домашними лакомствами, посылали слуг на базар за дынями или шербетом, за пирожками или халвой.

Сидели на попонах, не решаясь ни одеял себе подстелить, ни подушек подложить; сидели, будто на недолгом привале в походе, готовые без раздумья сесть в седло или ворваться в битву, едва пожелает этого повелитель. Сидели, многозначительно и глубокомысленно беседуя между собой, чтоб со стороны казалось, что они все озабочены великими заботами о благе всего государства, что, если б они не сидели здесь, повелитель не смог бы вершить своего могущественного правления.

За эти дни сюда откуда-то прибывали, а отсюда куда-то уезжали гонцы. Куда-то уходили и откуда-то приходили под своды крытых дворов караваны, запыленные ветрами дальних дорог или наряженные в дальние дороги. Жизнь Синего Дворца не прерывалась. Может быть, стала оживленней и беспокойней. Иногда во дворец звали кого-нибудь из вельмож, но говорил с ними царевич Мухаммед-Султан, и после разговора воеводы выходили неразговорчивые, озабоченные, торопливые, спешили к коновязи и уже не возвращались посидеть на попоне с остальными придворными.

За эти дни на базаре случилась небывалая цена на кожи, когда въехал в город со своим товаром Геворк Пушок. Повсюду на базаре, в каждом купеческом доме, по всему городу толковали о неслыханной торговле армянского купца, а Пушок, распродавшись, сказался больным и укрылся в одном из загородных садов Тимура, куда царский садовник позвал его погостить, пока разговоры притихнут и пока повелитель не призовет своего купца для новых дел.

Могло бы случиться, что иной из покупателей Пушка вздумал бы высказать свои обиды или попреки Пушку, ибо на другой же день цены на кожу упали с двухсот за кипу до прежних пятидесяти, а к вечеру сползли до тридцати. Спрос упал. Воины перестали зариться на кожевенные товары, ибо вышел милостивый указ повелителя, разрешавший воинам обходиться одной парой сапог.

Садреддин-бай перенес деньги от ростовщика к Пушку, а купленные кипы кож даже не успел взять: спрос упал, цена кувырком

покатилась книзу, как золотой динар в дервишескую чашу — безвозвратно.

Свой дом Садреддин-баю уже не на что стало выкупать из заклада, нечем стало даже выплачивать нараставшую лихву ростовщикам, и старик, захватив лишь пару халатов да маленький древний коврик, навсегда ушел из-под отчего крова, коим еще недавно столь восхищался покойный Мулло Фаиз.

Но купцу надлежит торговать. Если купец бросает торговлю, он перестает быть купцом. Садреддин-бай устоял под тяжестью разоренья, как ни грузна была тяжесть,— ни кости купца не треснули, ни мозги не помрачились: еще остались закупленные у Пушка кипы кож, хотя и потерявшие цену, но отличные, клейменные в Золотой Орде.

Садреддин-бай поселился в бедном ветхом караван-сарае у Батурбая, по соседству с прежней кельей Мулло Камара. На той двери висел длинный, как рукоятка сабли, замок с крутой дужкой,— видно, Мулло Камар намеревался опять, возвратившись, поместиться здесь. У себя же в келье, на полках, Садреддин-бай сложил заветные кожи, для начала распоров лишь одну из кип.

Не было средств ни на то, чтоб снять лавку в Кожевенном ряду, ни даже на такую лавчонку, какую некогда снимал Сабля. С краю от бывшей саблиной лавчонки, прямо на земле, Садреддин-бай расстелил маленький коврик и разложил на нем связки дратвы, деревянные каблуки, кожевенные обрезки, скупленные по дешевке у больших сапожников и потребные сапожникам мелким. Положил немного кож с золотоордынскими клеймами.

Когда по всему базару цены упали до пятидесяти, Садреддин-бай отдавал свои за сорок девять. Когда сползли до тридцати, один Садреддин-бай не побоялся просить за кипу по двадцать восемь.

Хотя еще и не бойко шла торговля, но Садреддин-бай уже торговал. Не прошло и недели,— весь базар знал, что дратву, и каблуки, и обрезки дешевле всех можно купить у Садреддин-бая. День ото дня у старика прибавлялось покупателей.

Кожевенный ряд и удивлялся, и негодовал, что Садреддин-бай, прежде славившийся скупостью, прижимистый, неуступчивый, ныне сбивает цену во всем ряду, торгуя чуть что не в убыток себе, сидя, как нищий, на коврике у дороги.

Но все чаще и чаще покупатели останавливались у этого коврика. К этому коврику шли сапожники через весь ряд, минуя других торговцев: хотя и не намного дешевле, чем у других, покупали они здесь припасы для своего ремесла, а все же дешевле, и в сапожном деле эта ничтожная выгода имела свой вес.

А у Садреддин-бая расход на себя и на свою торговлю стал столь незначительным, что недобор в цене окупался возрастающим

спросом и оборотом. Доходы старика, день ото дня возрастая, намного превышали его повседневный расход.

Торговое колесо снова начинало крутиться в его сухих, цепких, неустанных руках.

Не раз за эти дни спускался Тимур по узкой лестнице в полутьму дворцового подземелья.

Одного за другим ставили перед повелителем оборванных, полуголых, усталых людей, и Тимур сам спрашивал их, как попали они на караванную дорогу, не из деревни ли Кургана шли; где жили, что делали...

Одни говорили, что шли на базар, другие клялись, что направлялись проведать родных в Самарканде, третьи отмалчивались, и этих били бичами, перетягивали ремнями, а они кричали от боли или неожиданно умирали, так и не сказав ничего занятного.

— Эти вот, небось, разбойники!— говорили о них палачи, кланяясь повелителю после того, как уже ничего нельзя было выпытать у онемевших жертв.

И слова палачей понемногу успокаивали Тимура.

В один из дней перед повелителем стоял худой, оборванный человек со странной рыжей бородой, расползшейся по груди несколькими вьющимися струями. Синие его глаза, обведенные красным ободком бессонных век, смотрели на Тимура не то с укором, не то с удивлением.

— Дограбился?— спросил Тимур.

— Кого?

Тимура удивило, что узник разговаривает с ним независимо, будто они двое собеседников на базаре, и как бы торопясь закончить наскучивший разговор. А Тимур только собрался начать этот разговор.

— Дограбился? Попался?

— Какой грабеж? Там курица, тут пара арбузов. Сам, небось, знаешь, двух арбузов в одной руке не унесешь. Вот и жил помаленьку. Что за грабеж! Грабят с оружием, людей режут, золото загребают,— тогда грабеж. А у меня мелкое дело.

— Сознался?

— А я и не отпирался. Как меня спросили, я сразу отвечал: там курицу, тут арбуз либо дыню,— случалось, на то и большая дорога.

— А как на Курганскую дорогу попал?

— На базар шел.

— На какой?

— На Самарканд целился.

— Зачем?

— По тому же делу.

— Грабить?
— Да не грабеж это! Я же говорю; это не грабеж.
— А караван встречал?
— Было дело. Десять, а может, и пятнадцать караванов прошло, пока сюда шел.
— Грабил?
— Куда мне! Разбойник я, что ли? Я по мелочам. На караван напасть — сила нужна, вооруженье, сподвижники.
— Набрал бы!
— Сподвижников? Откуда? Князь я, что ли? Тимур я, что ли?
— Как ты сказал?
— Власти во мне нет, говорю, сподвижников собирать.
— А о Тимуре ты как сказал?
— Он большой человек, княжеский. Ему что!
— Ты с кем говоришь?
— Тут темно, не разгляжу. Со мной тут за эту неделю столько разговоров наразговаривали, я и не помню, с кем только ни говорил.
— Не сознаешься?
— В чем?
— В ограблении каравана.
— Нет. Не мое дело. На караван не замахивался. Я за то берусь, что мне по плечу, тем и кормлюсь.
— А если б другой корм нашелся?
— Я не прочь. Была б жизнь полегче.
— Сам откуда?
— С гор. Матчу знаешь?
— Оттуда?
— С нее.
Тимур спросил стража:
— На нем какое оружие было?
— Ничего не захватили. Нож для дынь, небольшой.
— Где он у него был?
— В чехле на поясе.
— Злодеи днем оружия снаружи не носят. Днем оружие прятать надо. Если нож днем был на виду — это не оружие,— сказал Тимур и снова спросил у горца:
— Давно воруешь?
— С тех пор как из дому ушел.
— А дома?
Неожиданно для Тимура узник засмеялся. Вопрос показался горцу наивным, а может быть, и глупым:
— Что ж украдешь у нас в Матче? Камень? Или дерево? Там на семью одно дерево шелковичное есть, ягоды сбирают, сушат, толкут, муку водой размочат, тем и питаются. А то и сухую муку жуют. А больше ничего нет. Камень! Кругом камень. У кого два

дерева на семью, те богаче живут, а и у тех украсть нечего.
— Как зовут?
— Деревню?
— Тебя.
— Пулат-Шо.
Тимур приказал стражу:
— Пусти его. Пускай убирается.
И велел вести следующего.
Тимур заметил, как темен этот представший перед ним человек. Так смугло было его лицо, что эта смуглота казалась синеватой. Синей чернью отливали его длинные волосы, его борода; черны были и его губы. И одежда его — халат и штаны — тоже была черной, из черной шерсти. Но халат свой он надел прямо на голое тело.
— Где твоя рубаха?
— Сопрела по дороге, господин.
— Далеко шел?
— Из-под Дамаска.
— Араб?
— Перс.
— Зачем шел?
— Работать.
— Кем?
— Бумагу делать.
— Куда шел?
— В Самарканд.
— Здесь сами бумагу делают.
— Не так. Я по-новому умею. Быстрее, тоньше. Не столь шерстит.
— Шерстит? — не понял Тимур.
— Моя глаже.
— А!.. Ну, ну. А караван встречал?
— Много караванов.
— Где?
— По всей дороге.
— А под Курганом?
— В Кургане я ночевал. Я за эту дорогу сто раз ночевал, господин, но здесь все спрашивают меня про караван в Кургане. Я говорил-говорил. И опять одно и то же «Курган — караван, караван — Курган». Пока я спал в Кургане, караванов не видел и не слышал. Когда проснулся, в деревне стоял ограбленный караван, да я его не видел, к нему стражи никого не подпускали. Грозные стражи, господин. Но я разумею так: стражам надлежит никого не допускать к каравану до ограбления, а если он уже ограблен, поздно его охранять!

И сказав это, перс сверкнул двумя полумесяцами ярко-белых зрачков. Улыбнулся ли он глазами, в гневе ли так взглянул, Тимур не успел понять: в лице узника снова все стало темным.

— Как ты зашел к нам?

— Через Аму, господин. На переправе всех пускают в эту страну и никого не выпускают отсюда. Если узнают, что идет сюда купец или ремесленник, сразу пускают.

— Да,— подтвердил Тимур,— такой указ был. Чтобы богатела людьми наша страна. Чтобы не оскудевала,— не выпускают.

— А когда я пошел, вдруг меня схватили. Зачем было пускать, если здесь нельзя ходить?

— Можно ходить. А грабить нельзя!

— Тогда надо грабителей хватать.

— Ты вздумал нас учить?

— Охотно, господин. У вас хорошо делают бумагу. А моя лучше. Сам хочу делать и учить могу.

— Посмотрим, что ты за мастер!— решил Тимур и велел отвести перса в дворцовые мастерские, где уже много лет толкли в деревянных ступах, разливали на ситах, сушили, проклеивали славную самаркандскую бумагу из шелковых отходов.

Туда повели черного перса.

Из полутьмы темницы в полутьму мастерской, из неволи в рабство, откуда уже не было иного исхода, кроме конечного, одного — в полную тьму могилы.

К повелителю на допрос ввели следующего узника.

И снова Тимур спрашивал, торопясь допытаться до истины. кто ограбил караван в Кургане.

Он не мог уйти из Самарканда, не разведав, велика ли была шайка, пограбившая караван. Надо было успокоиться, прежде чем уйти. А идти было пора.

И снова, и снова, то спрашивая, то пытая, он ставил перед собой людей, схваченных на больших караванных дорогах, и всех тех, кто попался воинам на пути из Кургана.

Но сколько ни спускался он к узникам в темницу, не было ни одного сознавшегося в ограблении верблюдов Геворка Пушка.

И понемногу Тимур успокоился: если б была там большая или крепкая ватага грабителей, кто-нибудь выдал бы ее.

Тимур говорил царевичу:

— Караван ограбили дерзкие грабители. Дерзкие, но только грабители. Награбились, теперь успокоились, пока награбленного не проедят. Опасен тот грабитель, который грабит ради грабежа, а не ради утробы. Там были дерзкие грабители и беспечная охрана. Ты тут займись, Мухаммед,— суров будь с той охраной,

а караванщиков остереги на будущее время, чтоб брали надежную охрану.

— Из той охраны воины до того оробели, что разбежались. Я велел сыскать их. Да их нигде нет!

— Сыщи. А попадутся, накажи; на удивленье накажи! А я пойду. Мне пора. Ты тут смотри!..

— Я смотрю, дедушка!

— И кто б ни был — выйдет из-под рук, хватай! Понял? И никакой жалости! Но с толком!

И так, разговаривая, опять поднимались они крутыми ступенями, по узкому горлу винтовой каменной лестницы, наверх во дворец.

Мухаммед-Султан послал за Аяром.

Пока по двору искали гонца, Мухаммед смотрел с высокой террасы на дорогу в город.

Вдали, мимо дворца, по большой дороге от Игольниковых ворот в город везли на арбах, в мешках и в корзинах, вьюками на ослах, в глубоких плетенках и на лошадях в переметных сумах обильные урожаи пригородных садов, бахчей, огородов.

На десятки верст вокруг Самарканда доспевал виноград в бесчисленных виноградниках,— где на высоких перекладинах, свесив над дорожками тяжелые гроздья, где на тонких, упругих дугах, а ближе к горам — расстеленный по земле.

С высоких опор свисали длинные ветви, отяжеленные плодами. Пахло в садах яблоками и айвой, сухим запахом груш. Только синие сливы почти не пахли, подернутые голубым загаром.

На бахчах поспели дыни. Их приятное благоуханье в эти дни наполняло базары. Дынями пахло на городских улицах, в глиняных переулках, во дворах и в комнатах.

Мухаммед-Султан смотрел вниз с террасы, как мирная жизнь струилась мимо.

Крестьяне везли на базар свои урожаи. Дыни высовывались из мешков и корзин: то длинные, полосатые; то круглые, желтые; то гладкие, пятнистые, крапчатые; то ребристые мутно-зеленые; то голубоватые, зимние с шершавой кожурой, которые всю зиму висят под кровлями в камышовых сетках, чем дольше висят, тем слаще становятся. И у каждой — свой неповторимый вкус и запах. Пахнут дыни миндалем и ванилью, мятой или хвоей.

За двадцать семь лет своей жизни Мухаммед-Султан проехал много дорог, крепко сидя в седле. Много стран проехал, городов и садов, деревень, степей, гор... И там, куда прибывал, начинались битвы или иные воинские дела: укрепление городов, сборы войск, наказание непокорных. Мирный труд земледельца он счи-

тал почти забавой, недостойной мужественных людей: человек должен быть воином, ибо, чем больше воинских доблестей в человеке, тем почтеннее человек и тем крепче его власть.

К этому Мухаммед-Султана приучил дед. Внук послушно, без колебаний усваивал поучения деда.

Но порой случалось, что, позабыв дедушкины наставления, долговязый, сутуловатый царевич завистливо смотрел на таких вот крестьян, заскорузлой рукой понукавших ослами, бивших землю острыми мотыгами, блистающими на солнце, увязавших босыми ногами в вязкой, ласковой глине, когда направляют воду на свои поля.

Они жили, осененные спокойным небом. Им некуда было спешить со своей зеленой ими выхоленной земли. Их овевали ветры, полные запахами плодов, цветов, ботвы, сырой земли. Вокруг цвели деревья или гряды, ворковали ручьи или голуби, и вся эта земля, далеко окрест покрытая рядами гряд или купами садов, вся она была украшена, пробуждена, оплодотворена ударами круглых, сверкающих мотыг, словно в них скрывалась животворящая колдовская сила, какой не было ни в молниеносных ударах сабли, ни в могучих ударах копья, ни в магических боевых кличах, коим предназначено не порождать, а пресекать жизнь.

С мирной земли ехали крестьяне по большой дороге на базар. Сентябрьское утро сияло над ними белым, прозрачным светом, а царевич смотрел на солнечную дорогу из сумеречной тени дворца и разглядывал, удивляясь, как красив на вороном коне простой желтый сыромятный ремень сбруи, как забавно выглядит осел, весь серый, как мышонок, но с черными ушами, длинными, как у зайца. Как статен старик, царственно шествующий с пастушеской палкой, хотя халат старика обтрепан до колен и на плече распоролся. Как шаловливы и смелы ребята, бегущие, играя, среди лошадей и арб.

Мухаммед-Султан был скуп на слова и на улыбки, воспитанный под надзором деда и считавший деда примером во всем — в повадках, в походке, во взглядах на все, на что бы ни взглядывал.

Он и сейчас смотрел на дорогу сурово, словно боялся показать людям ласковое лицо, хотя все эти прохожие и проезжие нравились ему, влекли его. Лицо его оставалось суровым, хотя никому с дороги он не был виден, да и мало кто вглядывался в этот надменный дом, мало кто не спешил миновать поскорее эту хмурую крепость, скупую на милости и щедрую на кары, мало кто думал о жителях этой крепости. Люди проходили, влекомые на базар своими нуждами, горестями, надеждами.

Мухаммед-Султан смотрел на дорогу сурово, но пристально, был увлечен всем, что возникало на дороге и проходило, забыв

не только о комнате, откуда он смотрел, но и о себе самом, и не слышал, что уже давно позади него у входа молча стоит Аяр.

Мухаммед-Султан, старший внук повелителя, вырос, чуждаясь общих забав с другими царевичами, своими младшими братьями, откровенных разговоров с кем-либо из своих ровесников. Он ни с кем не делился ни мечтами, хотя мечтал о многом; ни мыслями, хотя нередко задумывался над тем, что видел; ни радостями, хотя случалось, что удачи радовали его. Тем суровее и молчаливее становился он всякий раз, чем сильнее было в нем желание поделиться своими чувствами. Постепенно раздумья и склонности его стали тайными, а тайные мечты и раздумья сильнее владеют человеком, чем чувства открытые и высказанные.

И как ни замкнуто, как ни сурово бывало его лицо при встречах с близкими, они не столько разумом угадывали, сколько сердцем чувствовали в Мухаммеде его глубоко затаенную жизнь. Дед его чувствовал и предостерегал своего наследника, требуя от него суровости, строгости, жестокости к подчиненным. Мать его, Севин-бей, чувствовала в своем старшем сыне Мухаммеде, что цела, не растрачена, хоть и затаена в нем та душевная нежность, какую в младенческие годы он еще не умел скрывать. Братья чувствовали в нем ту заботливую, любовную приязнь к ним, с которой он их оберегал, опекал или одаривал. Лишь изредка прорывались наружу тайные чувства Мухаммед-Султана, лишь тогда, когда он напевал, подыгрывая себе на бубне. Ему казалось, что не им сложенный напев и не им сочиненные слова надежно скрывают его затаенные чувства. Но у хищников не бывает такого горячего и чистого голоса, и если б его сердце было мертво, оно не трепетало бы от простых, печальных, ласковых слов, когда он вспоминал старинные песни.

Среди проезжих на дороге показался небольшой отряд воинов, возвращавшихся откуда-то в крепость. Мухаммед-Султан вдруг опомнился и обернулся.

Аяр стоял неподвижно, ожидая Мухаммед-Султана, и царевич взглянул на гонца суровее, чем всегда:

— Ты это что же?..

Аяр не знал, к чему относится вопрос царевича, и, чуть склонив голову, молчал.

— Оплошал!

— Знать бы чем, государь-царевич.

— Гератского гонца конь растрепал. И ладно бы, кого кони не трепят? Да вот смех: почему у мертвеца правая нога в левом стремени застряла! Задом наперед он, что ли, скакал? А?

Сердце Аяра остановилось. Лоб разом стал влажен и холоден. Но ответил он, не отводя глаз от царевича:

— Спешили, государь. Дело днем было, а дело темное, чужих глаз опасались, спешили.

— Чужие глаза и приметили. Темя разбито,— ладно: когда конь волок, гонец теменем об камень ударился. А про стремя, как объяснишь?

— Оплошал.

— Я это и сказал тебе: оплошал. А разве я буду тебя обманывать?

Мухаммед-Султан помолчал.

Аяр стоял, твердо зная, что по порядку заслужил тайной и скорой кары. Если б им обменяться местами, если б приговор говорил Аяр, он сказал бы: «Обезглавить гонца, чтоб не торчала среди царских слуг оплошавшая голова; чтоб язык гонца — сохрани бог!— не смолол лишнего слова».

Аяру и в голову не приходило каяться, просить пощады и милости: государственное дело, плошать нельзя.

Страха на душе не было: десятки раз кидался Аяр в битвы, кидался на смерть, уцелевал. Тут не уцелеть.

Он стоял, ожидая последнего слова царевича. Готовый сейчас же, как прежде вскакивал в седло и мчался на край света, выйти. Не к конюху, а к палачу. И поскакать столь же горячо и нетерпеливо не на край света, а на тот свет.

Мухаммед-Султан, исподлобья глядя в затвердевшие глаза Аяра, сказал:

— Ступай.

— Куда, государь?— удивился Аяр.

— К себе. Отдыхай.

— Вот как?

— Поскачешь в Герат.

Мухаммед-Султан, отвернувшись, сразу забыл об Аяре, больше не замечая гонца, не знавшего, благодарить ли царевича за незаслуженную милость.

Мухаммед-Султан забыл об Аяре, удивленный: в боковой двери затаилась, прислонившись к темной створке, маленькая девочка в алой рубашке, глядя карими пытливыми глазами.

Мухаммед-Султан, улыбнувшись, пошел к ней:

— Ты что?

Она прижалась щекой к его руке и промолчала.

— Ты зачем сюда?

Она сжала в ладони его палец, но ладонь ее была меньше его пальца.

— Как ты сюда попала?

— С мамой.

— Давно?

— Сейчас.

— Мама где?
— У госпожи бабушки.
— А ты?
— Вас искала.
— Пойдем.
Пятилетнюю девочку звали Угэ-бики. Она была старшей дочкой Мухаммед-Султана, и он ее понес, обеими руками прижимая к груди, а она, с высоты отцовского роста, смотрела на богатые комнаты дворца, куда впервые решилась пройти сама, без матери.
Воины застывали в поклоне, когда царевич проходил мимо со своей теплой, нежной ношей.
Он проходил, раздумывая: зачем его жена приехала в неурочное время к Сарай-Мульк-ханым? Сама приехала? Или ее позвали? А если позвали, зачем? Что случилось?
— Что случилось, Угэ-бики? Зачем приехали?
— Нас позвала госпожа бабушка.
— Кого?
— Меня и маму.
— Зачем?
— Мне не успели сказать... Я ушла к вам.
Мухаммед-Султан заторопился, но до покоев цариц не дошел,— его задержал величественный Музаффар-аддин:
— Государь-царевич!
Прижимая к себе дочку, Мухаммед-Султан взглянул на вельможу, назначенного привратником первой двери после отъезда Мурат-хана на север.
— Слушаю.
— К повелителю прибыл купец из Сарая.
— Мало ли купцов...
— Свой.
— Кто?
— Тугай-бек, джагатаи.
— Позовите.
Мухаммед-Султан опустил дочку и подозвал одного из стражей:
— Проводи царевну до порога великой госпожи.
Обиженная, что отец сам не донес ее до бабушки, девочка пошла, не оглядываясь на воина.
Пятилетняя Угэ-бики, вся изукрашенная старинными изделиями монгольских мастеров, видно, наследством от бабушек,— серьгами, запястьями, ожерельями, с воткнутыми в золотую трубочку филиновыми перьями на шапке, охраняющими от сглаза, сердито поглядывала из-под вычерненных бровей бойкими глазами, подняв подрумяненное и подбеленное круглое личико.
Она, быстро топоча маленькими ногами, шла с достоинством

пожилой царицы, и воин, следуя за ней, едва поспевал, грузно и грубо шагая от непривычки ходить пешком.

Мухаммед-Султан стоял, глядя, как по каменной лестнице к нему торопливо поднимается сарайский купец.

Купец был сед, но борода его, как это часто случалось у родовитых джагатаев, росла плохо: жесткие пучки волос пробились из-под нижней губы, на скулах, на горле, но в единую бороду не соединились, а белели порознь на очень смуглом, плотном, лоснящемся лице. Темно-зеленый халат тесно облегал его плечи, туго опоясанный по бедрам жгутом красного кушака.

Вся эта одежда была хорошо знакома Мухаммед-Султану: черная, круглая, гладкая шапочка на голове, желтые сапоги на высоком каблуке. И хотя царевич не видел каблуков купца, но знал, что у желтых сапог задник зеленый, а каблук окован медными гвоздиками,— так одевались купцы в Орде. Но этот сарайский купец был не ордынцем, а джагатаем, из того почтенного рода барласов, из коего происходил сам Тимур.

— Есть вести?— негромко спросил царевич, едва ответив на учтивые поклоны купца.

— Затем и прискакал!

— Пойдем!

Мухаммед-Султан повел Тугай-бека в те дальние покои, куда не допускали никого, где уединился повелитель, обособившись от сподвижников, необходимых в походах и бесполезных здесь.

Оставив Тугай-бека ждать за дверью, царевич вошел к Тимуру.

Улугбек читал дедушке какую-то книгу, слегка нараспев, как принято у придворных чтецов, но Темур едва ли вникал в изысканные фарсидские рассуждения: он сидел, опустив голову, сощурив глаза, думая о чем-то своем и чертя по ковру пальцем, будто писал. Когда палец неграмотного повелителя вычерчивал на ковре непонятные знаки, это означало, что повелитель чем-то обеспокоен, ищет решения какой-то задачи, о которой не решается никому сказать, угнетен заботой, коей ни с кем не желает поделиться, остерегается опасности, которую еще не знает как отвратить.

Улугбек читал, и, видно, эта тягучая, плавная книжная речь помогала старику спокойно думать.

Мухаммед-Султан знал: раздумий Тимура не следует прерывать.

Но решился:

— Из Орды, из Сарая, Тугай-бек барлас, проведчик, прибыл, дедушка.

Тимур рывком поднял к царевичу строгое лицо, а рука, только что в раздумье чертившая по ковру, сжалась в кулак:

— А что?

— Дознаться?

Тимур скосил глаза в сторону, будто стремительно оглядел весь длинный путь до Сарая, будто обшарил все сарайские закоулки и все ханство ордынское и, как комок дерна, опрокинул всю Орду навзничь, оглядел в ней все корешки и опять поставил тот дерн на место:

— Зови; пускай здесь говорит.

Едва переступив порог, Тугай-бек упал на колени и на коленях приблизился к краю ковра, на котором сидел Тимур.

Коленопреклоненный, он неподвижно ждал, пока повелитель разглядывал своего джагатая.

— Ну?

— Опять Орда с москвитянами билась.

— Давно?

— Едва узнали, я сюда поспешил.

— Далеко?

— На Ворскле-реке.

— И как?

— Тяжело Орде. Но удача есть: князя у москвитян убили.

— Знатного или ратного?

— Ратного. Андрея. Князя Полоцкого.

— Большой князь.

— Нынешней великой княгине московской Софье дядя.

— Не тем славен. Он на Куликово с Донским ходил.

Еще лет пятнадцать назад хан Тохтамыш рассказывал Тимуру о Куликовской битве, называл имена ордынских князей и царевичей, павших в той битве под русскими мечами, называл и русских воевод, со славой порубивших великую ордынскую силу, скинувших ордынцев в Дон-реку.

Рассказывал Тохтамыш и о братьях Ольгердовичах. Андрей Ольгердович Полоцкий бился у Донского на правом крыле, когда москвитяне разбили лучших воевод ордынских на реке Воже.

Андрей Ольгердович на совете в Чернаве призывал русских князей перейти Дон, первыми напасть на Мамаево войско. Андрей Ольгердович со своим братом Дмитрием Брянским бился и на Куликовом поле во главе Запасного полка.

Крепко служил Москве Андрей Полоцкий, не щадя жизни. Годы его давно перевалили на восьмой десяток, а он не выпускал меча из рук, пока не лег на песчаном мысу Ворсклы-реки, разбросав по заливным лугам посеченные напоследок ордынские головы.

Не то Тимуру дорого, что Орда свалила этого бесстрашного литвина, славного русского богатыря. То дорого Тимуру, что не стихают битвы между Русью и Ордой: доколе они бьются между

собою, доколе не стихнет их вражда навеки, дотоле не ударит Орда в спину Тимура. Без Тимура кто даст ей оружия и денег на борьбу с Москвой, кто поможет ей подняться после разгромов, чтоб снова кинуться на москвитян! С кем стали бы торговать ордынцы, куда сбывали бы добычу своих набегов, товары, закупленные на русских торжищах, если б не было самаркандского базара.

— Кто же от кого бежал?

— Ордынцы, великий государь! Их мало было.

— Вот уж двадцатый год пошел, как ордынцы от москвитян бегут, сколько б ни было тех ордынцев. С Вожи-реки, с Дона-реки, с Москвы-реки, куда б ни добежали, где б ни вынули сабель, назад бегут, побросавши свои пожитки. А надо, чтобы опять сабли точили да опять набегали на Русь.

— Я, великий государь, до ушей хана не раз доносил: наши купцы, мол, помогут; денег соберем, мол; оружия в Самарканде закупим; только, мол, не уступайте, не миритесь, не то Русь сама на вас наступит. А ордынских мурз понукал: не робейте, разбитую морду утрите, да опять идите, не то Русь сама ее вам вытрет, коли голову с вас снесет. Купцам тот порядок выгоден — на Руси закупают, нам вдвое дороже продают. Не торгуй они промежду Москвой и Самаркандом, чем бы им было торговать? Своего товара у них нет. Не купцы они, а барышники, великий государь.

— Дело ремесленников — делать товар, дело купцов — продавать товар. Купцам нет дела до рук, делавших товары. Ни ордынским, ни нашим, ни русским.

— А мне думалось: москвитяне на своем природном богатстве наживаются; наши самаркандские...

Но Тугай-бек спохватился, сообразив: самаркандские на том богатеют, что мирозавоевательные мечи Тимура из чужих сундуков мечут, и смолк, замялся.

Тимур сказал:

— Орда не станет нам мешать, доколе крепка Москва. А Москва крепка!

И кулак Тимура разжался.

Будто сбросив мешавшее дышать одеяло, он глубоко, облегченно вздохнул и повеселел.

Повелитель милостиво глянул на Тугай-бека:

— Сед стал.

— Легко ли, великий государь,— более десяти лет в Сарае.

— Торговать тяжело?

— Тяжело купцом притворяться. Везде глаза да уши. Живу, глаз не смыкая, уши навострив, без отдыха десять лет!

— Сюда неприметно ли выбрался?

— Товар повез.

— Прибылен ли товар?

— Разоренье: ордынская кожа. Вез-вез, а она тут нынче нипочем. Одна надежда: привез меха из русских лесов, через Великий Булгар закупленные.

— Великий?

— Нынче они свой город так называть начали. Кончилась их междоусобица, Сувар-город смирился. Булгар поднялся.

— Велик?

— Мастерами знатен. Медники, литейщики, кузнецы. Всякие ремесленники. И книги пишут. Народ к Руси тянет, да хан не велит. Золотой Орде нынче свой народ нелегко держать. Булгарцы — исстари купцы да в ремесле искусники. Таких хану держать трудней, чем темных скотоводов с нищими пахарями.

— Где им тяжелее, там легче нам! — веселел Тимур.

— Не та нынче Орда. Булгары голову подняли. Татарами, монгольским именем прозвались, а от монгольских, от чингизовых обычаев вспять к отеческим, к булгарским тянут. Язык свой татарским именуют, а он у них прежний, булгарский. Ханы свой род от Чингиз-хана, от Бату-хана, от Узбек-хана ведут, а указы нынче не чингизовым, не монгольским языком, не монгольским письмом пишут, а булгарским языком. Вот и выходит, великий государь,— полтора века монголы владеют тем народом, землю их за свою почитают, города их ордынскими именуют, а народ как был, так и остался, сам по себе. Живой.

Тимура что-то кольнуло в словах испытанного проведчика, эти слова чем-то встревожили завоевателя и повелителя мира, но радость, что Орда по-прежнему скована враждой и тяжбой с Москвою, что не у Тимура, а у ордынского хана своеволен и вольнолюбив народ, была устойчивей минутной горечи, над которой Тимур не успел задуматься.

Тимур веселел. Из тягостей и досад этой недели поднимался прежний, самоуверенный, завоеватель, как из треснувшей скорлупы встает на ноги беркут и расправляет крылья, и озирает зоркими глазами весь окоем до самого небосклона.

Он отпустил Тугай-бека и встал:

— Клич, Мухаммед, вельмож. Я выйду к ним. Пора повидаться.

— А мы еще не дочитали, дедушка! — вскочил на ноги засидевшийся Улугбек, еще не веря, что наскучившее недельное сиденье с дедом окончилось.— Разве не будем читать?

— Дочитаем, мальчик. В другом месте, в другой раз. Теперь иди к бабушке. Скажи, пускай сбирается. В сад поедем, пировать будем.

— В сад! — вскрикнул Улугбек, кидаясь к двери, забыв на полу раскрытую книгу, забыв стопку чистой бумаги, чернильни-

цу, тростнички,— все, что было его хозяйством в эти дни, о чем не мало заботился он во всю эту тягостную неделю.

Проскакивая мимо воинов, он стремился к тому порогу, коего не смели переступать ни воины караула, ни первейшие вельможи,— к порогу бабушки, в Садовый дворец.

А Тимуру принесли праздничные халаты, опоясывали его золотым поясом, готовя повелителя к выходу.

Вельможи во дворе, свыкнувшись с беспечным сиденьем на попонах, застигнутые царским зовом врасплох за праздными разговорами, оторопели, растерялись; чтоб собраться с мыслями, принялись отряхиваться, разглаживать смявшиеся халаты, расправлять бороды, никак не решаясь идти во дворец, сомневаясь, чего там ждать,— милостей ли, гнева ли после стольких дней ожидания.

Но опомнились и кинулись к дверям, едва заметили, что один или двое из вельмож уже вступают в дверь и могут первыми предстать перед очами повелителя, если остальные промешкают здесь.

И тогда, испугавшись своей нерасторопности, все сразу втиснулись в дверь, давя друг друга локтями, оттягивая передних за полы и за вороты халатов, опираясь на недавних собеседников, дабы самим протиснуться вперед.

Несколько человек застряло в дверях. Снаружи вталкивали их во внутрь дворца, чтобы поскорее самим туда добраться.

Мухаммед-Султан, стоя посреди залы, смотрел на эту давку и сумятицу, ожидая, пока втиснутся, наконец, эти десятки властных сподвижников деда, сановных, знатных, степенных.

Кто-то из передних споткнулся о ковер.

Через него перевалилось двое других сподвижников, сбитых с ног усердием отставших.

Наконец все они, кто ползком, кто пятясь, вытягивая из давки полы своих застрявших халатов, кто в размотавшейся и повисшей, как слоновый хобот, чалме, ввалились в залу.

Неподвижно и молча подождав, пока все они наконец встали по своим местам, пока кое-как выправились, царевич дал знак стражам открывать мерцающую перламутром дверь и неторопливо пошел навстречу деду.

Вельможи ханства рядами сидели на полу по всей огромной зале. На высоком седалище, украшенном резной слоновой костью, восседал Тимур, держа в руке платочек, расшитый синими звездами.

Кротким печальным голосом он спрашивал у вельмож о различных делах, и они отвечали ему негромко, участливые к печали, гнетущей их повелителя.

Но проницательный, зоркий взгляд повелителя оглядывал каждого в этой зале, каждого хозяйственно оценивал, каждому предопределял место в задуманном деле.

Тихо было в зале, вельможи сидели на полу рядами, как на молитве в мечети, и каждый, едва уловив на себе взгляд повелителя, вздрагивал и сжимался, и спешил услужливо улыбнуться Тимуру.

Не сразу сумел встать на затекшие ноги рыхлый ходжа Махмуд Давуд, когда Тимур спросил:

— Благополучно ли подвигается строительство соборной мечети, брат Махмуд?

— По милости божией, от утра до вечера трудимся.

— Я спросил не о том, сколько делали; я спросил, сколько сделали.

— Не щадя сил, государь!

Тимур поднес к глазам платочек, чтобы скрыть гнев.

И многие из вельмож скорбно вздохнули, дабы выразить сочувствие Тимуровой скорби.

— Что же...— вздохнул Тимур,— мы сами взглянем. Собирайтесь и поедем в сад.

И обширная зала, увенчанная высотой могучего купола, опустела. Ласточки, залетевшие в окна, удивленно промчались через весь ее простор, и свист их казался нестерпимо громким под гулкими сводами. Ласточки кружились по зале, вылетали, возвращались веселыми стайками, то кидались в высоту под своды, то стремительно опускались к ковру.

Может быть, старые ласточки, собираясь отсюда в теплые страны, хотели показать молодым красоту сокровищ покидаемой родины.

Но сокровищ родины не было здесь: огромный ковер, распростертый по всему полу, выткали девичьи пальцы мастериц Ирана; некогда он устилал полы пятничной мечети Исфахана и с превеликим трудом был перевезен завоевателю в Синий Дворец. Над иранскими газелями и розами, над иранскими барсами и попугаями проносились самаркандские ласточки. Индийские резчики создали высокое седалище, из делийского храма перенесенное завоевателю в Синий Дворец. Азербайджанские зодчие, привезенные из Тебриза, изукрасили высокие своды залы глазурью, полосатыми столбиками, изразцовыми нишами, будто там, под куполом, прилепился целый город, сказочный город с беседками, с вазами, полными цветов, с темной синевой, казавшейся бездонной. Мечтательному взгляду чудилось, что оттуда, с недостижимой высоты, глядят вниз длиннобровые, круглолицые красавицы, таясь за полосатыми витыми колонками, за ветвями, за кустами цветов.

Обманутые ласточки взлетали туда, но крылья их скользили по гладкой глазури, и вокруг сияли только камни, оживленные руками пленников.

Проезжая из дворца к строительству, Тимур заметил, что купцы успели приготовиться к его приезду,— дорогу устилали ковры, кони шли через базар неслышно, словно шагали по облакам. В красных рядах над лавками висели полотнища нарядных тканей, кожевники выставили тисненные золотом кожи, медники вывесили сотни чеканных подносов и кувшинов. Народ принарядился, чтобы, теснясь вдоль улиц позади стражей, с честью пропустить через базар защитника самаркандской торговли.

Тимур милостиво смотрел на купцов, примечая среди них то одного, то другого из тех, что запомнились ему по прежним поездкам, что попадались ему на глаза в прежние годы.

Он встревожился, когда в одной из харчевен приметил нескольких воинов. Воины забрались туда, позарившись на кашгарскую еду, а теперь притаились за купеческими спинами, боясь попасть на глаза своим военачальникам. Тимур опознал их по косам, свисавшим из-под шапок, по серьгам в ушах. Тимур успокоился, распознав по длинным усам, что воины эти — джагатаи, коим разрешалось многое из того, что запрещалось остальным воинам. Блюстители благочестия втайне считали предосудительными для мусульман многие повадки Тимуровых воинов, а джагатаев и не считали за мусульман, но предусмотрительно помалкивали: своя голова никому не мешает!

Правоверным мусульманам надлежало брить головы, дабы не уподобляться нечестивым парсам, а воины Тимура носили на монгольский лад косы. Надлежало подстригать усы над губой, но джагатаи и этим правилом пренебрегали, да и сам Тимур в походах не подстригал усов.

Благочестивым людям Тимуровы воины казались дьяволами и язычниками, но сами воины считали себя истинными мусульманами, а язычниками звали своих противников, ибо Тимур нередко воодушевлял воинов благочестивыми возгласами. Слыша от повелителя, что Индия — страна язычников, воины веселее кидались там на любые дела. Слыша от блюстителей благочестия, что Иран — страна богоотступников, Тимурово войско всякую жестокость в Иране считало подвигом благочестия. И, славословя Тимура, поэты и ученые называли его Прибежищем Веры, Щитом Ислама, Колчаном Божьего Гнева и Мечом Справедливости, Свои походы Тимур называл священными войнами, и войска его часто несли над собой зеленые знамена защитников веры.

Бывало, что и супротивные войска выходили навстречу Тимуру под такими же зелеными знаменами, как случилось это при

походе на Хорезм, когда Кайхосров, изменник, поднял зеленое знамя и шел, окруженный прославленными богословами и муллами.

И тогда битвы становились особенно жаркими, ибо обе стороны верили в свое священное предназна ение.

Но еще с тех времен, когда под первым зеленым знаменем двинулись в поход первые арабские полководцы, это знамя не предвещало ни мира, ни милосердия, оно прикрывало корысть и разбой, под ним скрывались угнетение и жестокость, ибо его поднимали затем, чтоб, свергнув чужого тирана, отдать опустевшее место своему.

Тимур успокоился, в загулявших воинах узнав джагатаев. Джагатаи охраняли крепость и город, остальных же воинов Тимур запретил отпускать из воинских станов: он держал их наготове, лишь сам один зная тот день, когда пошлет их в поход. И лишь сам один он знал, как уже недалек тот долгожданный день. Он выехал, на то место базара, где еще недавно был Рисовый торг. Выехал, и остановился, удивленный,— там, где он указал начать строительство, еще рыли ямы и забивали в их глубину камни и щебень основы. На большом просторе работали сотни землекопов, скрипели колеса арб, кричали надсмотрщики, подхлестывая строителей. Скатывали с арб тяжелые камни, катили их по земле и сбрасывали в глубину ям. В мешках выносили землю из тех ям, что еще не были дорыты. Люди не смели разговаривать между собой и трудились молча, покорные голосу десятников.

После полуденного зноя, слегка отдохнувшие, строители работали усердно. Под немигающим оком повелителя усердие их удвоилось. Мышцы напрягались на их полунагих телах, зубы обнажались на их напряженных лицах, когда тяжесть камней или ноши превосходила силу людей.

Но Тимур смотрел, недовольный и удивленный,— по другую сторону дороги тоже работали землекопы и носильщики. Тоже кое-где еще рыли ямы и выносили наверх мешки или корзины с землей, но на отдельных участках уже трудились каменщики, уже стояли зодчие со своими угольниками, проверяя кладку. Эти работали быстрей, веселей, а строили они не соборную мечеть во имя господне, а мадрасу по прихоти великой госпожи Сарай-Мульк-ханым.

Дав ей согласие на постройку, он не думал, что столь проворно она сумеет приняться за дело,— а видно, зодчие уже подготовили ей чертеж той мадрасы, и нашлись главари строительства, и мастеров сыскали.

«А может, она сперва все подготовила, а потом спросила моего согласия? Знала, что не откажу! В свою власть верила!»

И Тимур уже не столько смотрел на свое строительство, сколько с тайной ненавистью приглядывался к работе ее мастеров. И ему казалось, что их усердие несказанно выше, что их прилежание, их резвость, их веселье утешительны для нее, а ему обидны.

Но, ревниво косясь на зодчих с угольниками, на полуголых смуглых каменщиков, возводивших ряд за рядом кирпичную стену, молчал.

«А уж и кирпич где-то ей обжигают!»— думал он.

И наконец хмуро повернулся к ходже Махмуд Дауду.

— Где же ты был раньше?

Ходжа не понял своего повелителя.

— Строить надо! Понял?— крикнул Тимур, с досадой глядя на этого послушного, но слишком важного вельможу.— Ямы роете? А где стены?

— Сперва подоснову крепим.

— Давно укрепили бы!

— Пока мы здесь ямы роем да подоснову крепим, по другим местам кирпичи готовят. Известь подвозят. В горы народ послан камни гранить. Мраморы добывать. У нас все делают по порядку — одно кончим, к тому дню другое готово будет. От зари до зари работаем.

— Вели смолы запасти да факелы палить, чтоб до зари, затемно начинать. А работать не до заката, а до ночи. Понял?

— Исполним, государь.

— То-то! Мне некогда ждать. Мне строить надо.

Тогда ходжа Махмуд, давно приметивший завистливые взгляды повелителя в сторону строившейся мадрасы, решился заметить:

— Наша великая госпожа мадрасу строит. Слава и честь великой госпоже. Но людям у нее легко: кормит их всласть. Отдых им дает. Частыми наездами ободряет...

— А откуда кирпич берет?

— При сносе зданий на базаре весь старый кирпич приказала скупить. Пока свежий ей обжигают, старым обходится.

— А почему ты не скупил?

— Старый вниз не годится. Вниз надо крепкий класть.

— А ей старый кладут!

— Ей и ямы вырыли неглубоко. Такое строение недолго простоит, тяжести верхних рядов не выдержит. Так зодчие говорят, государь.

Тимур повеселел от мысли:

«Строит-строит, а оно — трах!— и развалится!»

Он уже веселее глянул на расторопных строителей мадрасы. И подумал, тоже не без тайного смеха:

«Мадрасу строить начала, а могилку себе рыть не торопится!»

И досада на Сарай-Мульк-ханым сменилась дружелюбным раздумьем обо всей ее затее:

«Строит! Хочет по себе память оставить. И ведь распорядительна! Зодчих сама нашла, старый кирпич скупить догадалась!..»

Он сознавал, что уже гордится ею, своей старой, беспокойной, деловитой женой. Она ему по плечу! Она с честью несет тяжелое бремя его жены, великой госпожи, о которой шепотом рассказывают всякие небылицы по всему народу, по всей земле, по всему миру, среди друзей и среди врагов.

«Среди друзей?— задумался он, глядя, как четверо чернокожих силачей катят перед собой огромный неуклюжий камень.— А есть ли друзья?»

И он повторил ходже Махмуду Дауду:

— О факелах помни. Торопи людей. Чтоб зодчие не дремали! Я с тебя взыщу. Помни, Махмуд,— с тебя взыщу! Понял? Мне надо, чтоб хорошо работали, но чтоб скоро. Людей не жалей. Людей хватит. Люди затем господом созданы, чтоб славить имя господне. А соборная мечеть — это великое славословие господу нашему, милостивому, милосердному. Понял?

И, не дожидаясь, пока ходжа Махмуд Дауд соберется с мыслями, он задорно вскинул старую голову и поехал между ямами своего строительства и еще невысокими, но уже растущими стенами царицыной мадрасы.

Тимур ехал неторопливо, из-под придорожных деревьев оглядывая пригороды, загородные дачи на холмах, обросшие пышными купами карагачей или прямыми, как мечи, тополями.

Холмы лоснились от иссохшей, будто позлащенной, травы, но их заслоняли то густые сады, то голубоватые стены усадеб.

Конь шел, позвякивая серебром сбруи, покачивая гордо вскинутой головой, а Тимур сидел, как всегда, склонившись вперед и опустив неживую руку.

Чуть поотстав, по обе стороны дороги ехали стражи с круглыми, окованными медью щитами и в высоких шлемах, а позади растянулся длинный поезд его спутников.

Под Улугбеком сухощавый мышастый текинский конь шел непослушно, норовя вырваться вперед, а мальчику надлежало ехать позади Мухаммед-Султана, рядом с Халилем, и Улугбек всю дорогу был занят борьбой со своим норовистым, самолюбивым конем, боясь нарушить строгий порядок поезда.

Они ехали в Северный сад или, как звали его еще,— в Прохладный сад, благоустроенный года за два до того для дочери Мираншаха, сестры Халиля.

Улугбек не знал, что дедушка еще накануне распорядился, чтобы великая госпожа Сарай-Мульк-ханым вывезла цариц и всю семью за город. Мальчик мирно спал, когда старик среди ночи, поднявшись наверх из темницы, уверив себя, что разбой под Курганом удался грабителям не из-за их силы, а из-за беспечности караула, один прошел в соседний Садовый дворец, где помещались царицы, и велел великой госпоже везти их в Прохладный сад.

Тимур, возвеличивая, украшая, прославляя Самарканд, всегда тяготился городской жизнью. Ему не сиделось на месте, его тянуло с места на место, из сада в сад, из города в город, из страны в страну. Он мог долгими часами сидеть в седле, не зная усталости, когда многие из его спутников уже теряли силы и мечтали об отдыхе. Конь под ним уставал, но, пересев на свежего, Тимур мог снова ехать, глядя вокруг на земной простор.

Уехав, наконец, из Синего Дворца, он любовался пологими склонами иссохших за лето золотистых или розоватых холмов, глубиной неба, налившегося осенней синевой, темными кронами одиноких могучих деревьев.

Еще издали услышали рев труб и удары больших бубнов,— сад встречал хозяина.

Длинные медные трубы — карнаи, которыми перед битвой или после боя подавали знак войскам, ревели над трубачами, запрокинувшими голову в небо, чтобы выше возносился трубный гул.

Десяток трубачей в нарядных, ярких халатах то приседал под тяжестью труб, то, выпрямляясь, оглашал всю окрестность торжественным, зловещим, грозным ревом.

Бубны поддерживали этот рев и, казалось, стадо ревущих слонов скачет с тяжелым топотом навстречу хозяину.

Но сквозь эти грозные могучие гулы пробилась задушевная песня свирелей, словно девичьи голоса.

И конь повелителя прошел по устланному коврами мостику через ручей в грузные каменные ворота Прохладного сада.

Между тесными рядами голубых тополей по узкой дороге Тимур проехал к дворцу.

Большие четырехугольные пруды, обрамленные белым мрамором, отражали густую синеву неба, а на воде плавали пунцовые яблоки.

Стая газелей пересекла дорожку, сверкнув белыми брюшками.

Огненные фазаны мелькнули в ярко-зеленой траве.

Тимур спустился с седла на руки подхвативших его слуг, и двое старых барласов, доживавших бурную жизнь в тишине этого сада, взяли повелителя под руки и бережно повели к высокому седалищу, осененному ветвями могучих чинар.

Он оперся о подушку и оглядел сад.

От вековых деревьев кругом было много тени, но с севера сад был открыт ветрам, и туда, на север, с царского седалища открывался далекий простор, до самого неба.

Тимур приметил, что далеко, в глубине этого простора, время от времени поблескивая сталью оружия, проходит большое войско.

«Нур-аддин повел свой тюмень,— подумал Тимур,— рано вывел. Им приказано всю ночь идти. Устанут люди...»

Он поспешил отвести глаза от этой дали ,чтоб другие не смотрели туда вслед за ним: не все столь зорки, как он, многие и не разглядят, кто это движется там в далеком далеке, а тем, что могут разглядеть, незачем туда вглядываться,— мало ли куда проходят войска,— он один знает, куда им надо идти в этот день, когда сам он сел в тени Прохладного сада и просит гостей располагаться на большой круглой площадке, устланной плотными коврами и мягкими тюфячками.

Журчат и позвякивают струи водометов. Гости молчат, не смея нарушить тишину сада, пока молчит хозяин. Шелестят на свежем ветерке деревья. Прокричал удивленным голосом фазан.

— Отдыхайте!— сказал Тимур и, наломав лепешку, начал пир.

Певец, подыгрывая себе на бубне, запел, скрытый кустами шиповника.

Из-за длинного ряда цветущих роз вышли мальчики и, хлопнув в ладоши, пошли плясать древнюю пляску, гибкие и легкие, улыбаясь гостям. А бубны то четко отмеряли их шаг, то, гулко гудя, ободряли плясунов, то замирая, чуть рокотали, словно выговаривали тайные слова.

Вдруг выскочили шуты в нелепых нарядах и, заспорив между собой, рассмешили гостей.

Несколько газелей, кем-то вспугнутых, промчались между пирующими по коврам и скрылись столь быстро, что некоторые из гостей переглянулись: «Не померещилось ли?»

В глубине сада, за деревьями, бухали барабаны и пели свирели. Улугбек, улучив время, пробрался туда.

Над поляной, окаймленной алыми цветами шалфея, высоко протянулся тугой канат, и старик-канатоходец легко шел по своему тонкому, почти невидимому пути, словно по воздуху, вознося в небо тяжелый пестрый шест.

Неистовствовали свирели, ухал барабан, а старик шел над головами гостей, следивших за каждым движением канатоходца, и вдруг:

— Ах!— дрогнули зрители, когда неприметным движением старик сбросил себя с каната, но не сорвался вниз, а только сел на канат верхом, крепко держа перед собой свой тяжелый шест.

Улугбек прохаживался от поляны к поляне. Многие из почтенных гостей прогуливались с ним по саду.

На высоких ходулях плясали мальчики. Забавно вышагивали по земле их длинные палки, словно не мальчик наверху, а сами палки пляшут, ловко переходя между цветами; будто не мальчик ходулями, а эти разрисованные красные палки играют мальчиком, который наверху взмахивал руками и мерно постукивал, как кастаньетами, серыми камушками в красных неопрятных руках.

Факир морочил голову гостям, показывая всякие хитрости с мотком веревок. То завязывал узелок и давал каждому проверить, крепко ли он завязан, а потом одним движением развязывал его. То разрезал протянутые веревки и, похлопав по разрезу ладонями, показывал эти веревки цельными, без следов разреза. То продергивал две веревки из рукава в рукав через халат и давал двоим гостям крепко держать за оба конца веревок, а сам спокойно снимал с этих веревок халат, и никто не мог понять, как это ему удавалось,— снять халат, когда гости крепко держали оба конца веревок в своих руках.

Никто не мог понять хитростей факира, но Улугбек подумал:

«Надо это понять! Это очень надо понять: факир умеет, а дедушка этакого не умеет! Я научусь. Вот удивлю Ибрагима!»

Улугбек расхаживал по всему саду.

У боковых ворот, где помещалась стража, принимали горожан, вызванных сюда с базара. Прибывали ремесленники, купцы, разные люди, необходимые, чтобы гулянье в саду было веселым.

Здесь сгружали всякую поклажу, привезенную с базара в сад. Всякие припасы и диковины. Когда все это, разложенное на блюдах или на кожах, подается гостям, все становится одинаковым, а здесь каждая корзина была полна чем-то неповторимым и занимательным.

Улугбек разглядывал, сколь красивы горные куропатки с их тонко прорисованным, как на китайских шелках, опереньем, с коралловыми ногами и клювами. Даже убитые, они были нарядны, уложенные рядами в круглых корзинах.

Горные козы, пробитые стрелами охотников, испачканные почерневшей кровью, казалось, смотрели потускневшими глазами на нарядного царевича, безучастные к тем, кто их волок мимо, скинув с ослов на землю. Их рога, круто загнутые, как витки раковин, бились по земле.

Улугбек смотрел на поваров, окровавленными руками отбиравших дичь к ужину, на баранов, торопливо бежавших в угол сада, на бойню. На мешки с дынями, столь тяжелые, что рабы покряхтывали, пронося их мимо.

Прибывшие ремесленники, дружно помогая друг другу, несли какие-то громоздкие вьюки под деревья и на лужайки.

Улугбек ходил следом за ремесленниками смотреть, как они развязывали свою поклажу, как развертывали непонятные вьюки

и доставали редкости, привезенные, чтобы порадовать повелителя и подивить его гостей.

Быстро ловкими, умелыми руками люди строили беседки, странные, причудливые; растягивали пестрые шелка и парусину над площадками, где готовились всякие забавы.

В другом конце сада устанавливали яркие драгоценные палатки для цариц и наложниц повелителя.

На глазах вырастал в саду причудливый город, где ни одно сооружение не повторяло другого. Где под раскидистыми ветвями сияли шатры из шелков, индийских и гилянских, из китайской златотканой парчи или из иранских и хорезмийских ковров.

Ловкие руки мастеров сплетали шалаши из гибких ивовых прутьев или из золотистого камыша для тех, кому ночь покажется душной, кто пожелает ночевать в шалашах, где легче дышится и снятся забавные сны.

Выпустили стаю разноцветных попугаев, чтобы их оперенье мелькало в садовой зелени. И они, перекрикиваясь, вертелись на ветвях все одного и того же дерева, не решаясь разлучиться в этом неизведанном лесу, полном неумолкаемых бубнов и свирелей, песен и плясок.

Улугбек шел все дальше и дальше по просторному саду.

Беседовавшие или развлекавшиеся вельможи вставали, приветствуя царевича, говорили ему ласковые слова, иногда учтиво просили прикоснуться к их лакомствам, и каждый придумывал что-нибудь веселое, чтобы потешить царевича.

Улугбек отвечал им шутками на шутки, и царедворцы запоминали его слова, чтобы, приукрасив, потом пересказывать их, распространяя по всей стране молву о поразительной тонкости ума и любезности этого мальчика, любимого внука могущественного Тимура.

Ранним утром Тимур из глубины дворца взглянул на сад.

Гости проснулись и, переговариваясь, готовились к утренней молитве,— мылись около прудов, расправляли сложенные на ночь халаты, повязывали чалмы, прохаживались под деревьями, но далеко не отходили, боясь опоздать к выходу повелителя.

Тимур не торопился, желая дать гостям время собраться к молитве. Сам он усердно молился лишь тогда, когда его молитву могли видеть люди. В это утро он жадно вдыхал сырой запах сада, запахи кипящего масла и жарящегося мяса. Сад готовился к празднику, и Тимуру хотелось праздновать, а не молиться.

Нехотя он, наконец, вышел на площадку перед дворцом и сам расстелил перед собой узкий молитвенный коврик.

Он стоял, пока за его спиной становились рядами его соратники и гости.

Сейид Береке вышел вперед, читать молитву.

Но Тимур стоял, разглядывая коврик, вытканный в Дамаске, любуясь изображением Каабы.

Он думал:

«Иранские девушки ткут лучше. Они ухитряются завязать... Сколько узелков? Рассказывали мне, при Улугбеке рассказывали. Надо его спросить, помнит ли? Памятлив! А иранские девушки...»

Опустив лицо к коврику, он размышлял об иранских девушках: прежде они ему нравились, теперь он их избегает. Он опустился на колени, повторяя все движения стоящего впереди сейида Береке.

«Не оплошают ли повара?..— думал он.— Музаффар-аддин впервые распоряжается праздником, Мурат-хан умел, а этот не оплошал бы... Не осрамил бы перед гостями...»

Позади Тимура молились его старшие внуки — Мухаммед-Султан, Халиль-Султан, и сын тимуровой дочери Султан-Хусейн. Они стояли на молитве не в чалмах, а в шапках и в драгоценных тюбетеях, а из-под тюбетеев на плечи спускались косы. У Султан-Хусейна в мочке сверкала серьга с большим голубым алмазом. С царевичами рядом стоял хан Мавераннахра Султан-Махмуд-хан, тоже гордившийся своей длинной монгольской косой.

Косы носили и многие из гостей. Некоторые военачальники одевались в плотные, короткие, туго опоясанные кафтаны, обувались в сапоги на высоких каблуках,— все они мало напоминали благочестивых воинов веры, эти завоеватели мира, но блюстители благочестия величали их воинами ислама.

Едва сейид Береке воскликнул последние слова молитвы, Тимур повернулся к внукам и, опираясь на руку Мухаммед-Султана, пошел в сад.

Когда все расступились, пропуская повелителя, Тимур сказал царевичу:

— Выспроси у Шах-Мелика, каковы вести,— далеко ли прошли войска. Дошли они до своих мест?

Мухаммед-Султан пошел в сторону, будто любуясь розами, а Тимур, идя между рядами могучих деревьев, разглядывал весь этот призрачный город, выросший в саду.

Самаркандские ремесленники силились превзойти одни других, изощряясь друг перед другом хитрыми затеями, удивляя друг друга расточительством и тем славя каждый свое сословие.

Пекари воздвигли беседку из печеного хлеба, украшенную причудливыми завитками и узорами из теста. Она была на диво сооружена, словно не хлебопеки ее испекли, а искусные зодчие.

Корзинщики сплели из камыша слона, поставили на нем беседку, и слон шел, управляемый спрятанными внутри мастерами, а в беседке наверху дудошники играли на камышовых свирелях.

И во всем этом слоне не было ни единого узелка, ни единой нитки, ни клея,— все это было сплетено из одного лишь камыша, камышом скреплено, камышом украшено. Даже пышный султан над головой слона был лишь камышовой метелкой.

Скорняки сшили столь искусно звериные шкуры, что, забравшись внутрь этих шкур, разгуливали около мехового шатра, и казалось, что шатер населен диким зверьем, приветствующим Тимура, как своего повелителя.

Повсюду пестрели шатры, палатки, беседки. Мастера, происходящие из разных стран, оделись каждый в одежды своей родины, и каждое сословие что-нибудь измыслило для увеселения видавших виды царедворцев Тимура, то поражая их ловкими выдумками, то веселя острословием.

Все явились сюда по слову Тимура, и каждое сословие щеголяло перед другим: ремесленники и торговцы, купцы и садоводы, продавцы тканей и жемчугов, менялы и ростовщики, повара и хлебопеки, мясники и портные, башмачники и ткачи.

Тимур шел впереди гостей. Остановившись, чтобы разглядеть камышового слона, он спросил:

— А ресницы у него камышовые?

И тотчас ловкий корзинщик ухитрился, выдернув пучок слоновых ресниц, показать:

— Из камыша, государь.

— То-то!— строго ответил Тимур.

Иногда приостанавливался послушать певца, если голос нравился или наряд на певце оказывался занятным.

Около качелей, на небольшой лужайке, Тимура ожидали иноземные купцы, случившиеся в ту пору в Самарканде.

Тимур распорядился, чтобы из них выбрали знатнейших и допустили к нему.

Он увидел китайцев в синих узких халатах, генуэзцев в нелепых кафтанах, с неприкрытыми, как у аистов, ногами. Нарядных армян в высоких шапках...

Качели крутились, подобные большому мельничному колесу, то поднимая пестрые беседки, полные гостей, вверх, то низвергая их книзу. И гости то пели, взмывая вверх, то вскрикивали, низвергаясь к земле.

Геворк Пушок стоял среди армян. Лицо Пушка лоснилось, кудри благообразно облегали его ласковое лицо. Глаза сияли.

Тимур одарил чужеземных гостей и из всех отличил Геворка Пушка,— подарил ему парчовый халат и редкостную соболью шапку. Так хороша была шапка, что остальные купцы сгрудились вокруг, чтобы разглядеть ее и погладить, а многие из вельмож удивленно переглянулись: не с каждым столь щедр бывает их повелитель.

Когда прошли дальше и снова появился Мухаммед-Султан, Тимур сказал:

— Вечером, Мухаммед, проведи ко мне армянина Пушка. Неприметно. Понял? Дам ему товар,— пускай опять к Москве пробирается, через Великий Булгар.

Базар вторгся в сад повелителя. Закрасовались товары, прельщая гуляющих гостей. Купцы вознамерились превзойти друг друга редкостью своих товаров, их добротной, тонкой выделкой. Многое восхваляли купцы зазывными голосами, многое такое, чего не сыщешь в обычный торговый день в базарных рядах. Сокровища, созданные трудолюбием и талантами ремесленников, здесь обогащали и прославляли не создателей этих диковин, не мастеров, а купцов.

Гости, стесняясь друг перед другом выказать скаредность, брали завидные товары не торгуясь, каков бы ни был запрос, сами расхваливая вещи до покупки, чтобы другие примечали, что не простым повседневным хламом, а диковинками прельщаются они, окруженные купцами.

Базар вторгся в сад. И сад замер — ни шума листвы, ни птичьих перекличек не стало слышно, сад наполнился возгласами купцов:

— Вот, вот! Китайский шелк! Гляньте-ка! Аисты тут живые. Дохни на них, полетят. А попугаи-то, как радуга! Ну и шелка!

— Гляньте-ка на мои булаты! От дамасских мастеров. Только что выкованы. Гнутся, будто лоза! А чекан! А чернь!.. Насечка-то какова!..

— Плохо ли расшито? Седло кожаное, а будто ковровое. Кожа кожей расшита. Из Великого Булгара! Вчера привезены. Таких не бывало! Да и дождешься ли таких!

На больших тисненых кожах повара понесли горных козлов, запеченных целыми тушами.

Юноши, сгибаясь, по двое несли большие корчаги с густым, почти черным самаркандским вином.

Тимур позвал гостей пировать.

Идя обратно к дворцу, он услышал певучий голос, излишне громкий в этом саду.

Он посмотрел в ту сторону и около кустистых смоковниц увидел Улугбека, которому что-то восхищенно повествовал историк Гияс-аддин.

Еще пир был в разгаре, еще полуденный зной не достиг глубин этого сада, когда Мухаммед-Султан прошел к пирующему деду и, опустившись позади, негромко сказал:

— Шах-Мелик удостоверился: все тюмени стоят на предназначенных местах, дедушка.

Султан-Махмуд-хан, сидевший справа от Тимура, один слышал эти негромкие слова. Он с удивлением взглянул на повелителя:

— Поход, государь?

Тимур, объявлявший походы от имени хана, ничего не ответил ему, но громко сказал гостям:

— Близится время зноя и дневной молитвы. Помолимся, отдохнем.

— Аминь!— дружно ответили гости, поднимаясь.

Тимур ушел во дворец.

Вскоре, шелестя шелками, перед ним предстала великая госпожа.

— Я тебя звал...— говорил ей Тимур, идя впереди в уединенные комнаты,— ты готовься, за всем пригляди. Чтобы все было взято, что надо.

— Всех повезем?

— Может быть, долго проходим, надо всех взять.

Она не спросила, ни куда они пойдут, ни когда; она знала, он не скажет. Даже слова «поход» он не скажет.

Она ждала, чтобы он сам ответил на те вопросы, которых она не смела ему задать.

— Мальчиков повезешь с учителями. Там сразу не найдется учителей... Этого не бери, историка. Другого найдем. Этого в свою мадрасу возьми. Богословом. Ее вот-вот тебе закончат, твою мадрасу, раньше могилки.

Великая госпожа промолчала.

— То-то!— кивнул он ей.

Она нехотя сказала:

— Историк Гияс-аддин старателен.

Тимуру не понравилось, что она защищает какого-то богослова, когда следовало объяснить, как это она ухитрилась опередить его на строительстве!

— Старание без толку бесполезно!— ответил он.

Они сидели в прохладе, в полутемной глубокой комнате, вдали от окон.

— Севин-бей поправляется?— спросил он.

— Успокоилась. Назад не спешит.

— Скажи ей, пускай у нас живет. Незачем ей туда ехать. Этот сад отдам ей. Для Мираншаховой дочери насаждал, а его жена будет тут хозяйкой.

— Мираншах обидится.

— Не успеет.

Сарай-Мульк-ханым поняла: Тимур проговорился, поход пойдет на запад, на Мираншаха.

Он опять сказал:

— Смотри, чтоб все было готово. Ничего не забудь. Никого не обидь.

— Я распоряжусь.

— Пора. Распоряжайся.

Она поняла, что надо идти. Он сказал ей вслед:

— Тут в саду, чтоб заметно не было. Обозы готовь, а сами все здесь оставайтесь.

— Я знаю.

Она ушла, озабоченная: сад был полон гостей, жены вельмож гостили на ее половине сада. Они вникали во все, расспрашивали обо всем, они могли заметить малейшую перемену в жизни гарема, если не остеречься.

Зной проходил. Снова веял прохладный ветерок со стороны гор.

Тимур опять пошел по саду.

Разговаривая то с одними из гостей, то с другими, он проходил, останавливался, снова уходил под сень деревьев, появлялся на лужайках и в цветниках.

Возле роз он встретил старика, опрятного, благообразного, как богослов, но с кривым ножом в темных заскорузлых пальцах.

Тимур подошел к своему садовнику, с которым не раз случалось разговаривать, когда задумывали разбивку нового сада.

Тимур заботился о великолепии своих садов. Он устраивал сады, иногда соединяя несколько старых и объединяя их единым замыслом. Так устроили этот сад, так устроили сад Дилькушо и Вороний Сад. Но и заново он приказывал насаждать сады. Этим летом, когда он возвращался из Индии, самаркандские садоводы приготовили ему новый сад, в Даргомской степи, и назвали этот сад Давлет-Абадом, местопребыванием властителя. Сюда пересадили множество взрослых деревьев, и степь накрылась тенью.

Еще лет тридцать назад он велел построить себе дворец на каменистых, бесплодных Чупан-Атинских склонах, откуда открывался просторный вид на Самарканд. И на каменистой, бесплодной земле садоводы насадили вокруг дворца густой и пышный сад, прозванный Узорочьем Мира,— Накши-Джехан.

У каждой из его жен были свои сады и дворцы в садах. Почти каждый год перед ним раскрывали двери нового сада.

Он строил загородные дворцы и окружал их садами, четко разбитыми, прекрасными садами, где от ранней весны до осенних морозов, сменяя друг друга, цвели цветы.

Самаркандские садоводы умели пересаживать с места на место взрослые, плодоносящие деревья, и, перекочевав из одного сада в другой, эти деревья продолжали цвести и плодоносить,

словно переезды для них столь же привычны, как и для их непоседливого хозяина.

Он приказывал из далеких походов перевозить в свои сады деревья, невиданные в Самарканде. Сажали растения, до него не росшие на этой земле,— сажали померанцы и лимоны, сахарный тростник и пальмы. Многие из них гибли зимой, но иные осваивались и росли.

И вот глава самаркандских садоводов, самый почтенный и самый искусный из них,— Шихаб-аддин Ахмад-Заргаркаши, улыбаясь, показывал Тимуру новые розы:

— Я велел, государь, привезти их из Индии. Таких у нас не было. Теперь будут.

— На здоровье!— одобрил Тимур.

И осмотрел плотную зелень низкорослых кустиков.

Около одного из четырехугольных прудов стояли, беседуя, самаркандские ученые. Один из них, кланяясь с излишним усердием, объяснил:

— Мы затем здесь, государь, чтобы любоваться серебряными рыбами.

— С большим основанием вы могли бы любоваться друг другом, ибо вашими просвещенными трудами украшен мой Самарканд.

Все они склонили свои головы, увенчанные подобными облакам чалмами, в безмолвном ответе на лестные слова повелителя.

— Ваши дела, государь, столь велики, что в их сиянии меркнут все наши науки и добродетели.

— Однако об этих делах никто еще не написал достойного сочинения.

— Нет достойной руки, чтобы передать все величие ваших дел, государь.

— Ты историк?— взглянул Тимур на худощавого смуглого человека с небольшой узкой бородкой, плоско спускающейся на грудь.

Перед походом в Индию Тимуру представляли его среди других ученых Самарканда. У повелителя была хорошая память,— тех, кого он видел, он помнил всю жизнь.

— Мне лестно, государь, что своего слугу мы удостоили вспомнить.

— Но имя твое я позабыл.

— Низам-аддин Шами.

— Я дам тебе книгу, которую надо опять написать. Надо написать проще. Ясным языком, чтобы каждому человеку все было понятно.

— Это трудно, государь,— народ темен и...

— Если напишешь просто и ясно, прочтут многие, если туманно, не прочтет никто,— строго перебил Тимур.— Но писать ее надо так, чтобы ученые радовались красоте ясного слога. Я дам сочинение муллы, который писал о земле, думая о небесах. Поэтому земные дела ему показались мрачными. А надо видеть красоту земных дел, и тогда ясны станут все наши дела и все величие земли, ибо ее создал бог.

— Благодарствую, государь, за высокое доверие.

— Я дам тебе сочинение муллы и, когда я пойду в поход, ты пойдешь со мной, чтобы продолжать это сочинение.

Он ушел, оставив ученых над рыбами, сверкавшими в голубой воде то серебром чешуи, то красными плавниками. Но как ни прекрасны были эти рыбы, ученые уже не смотрели на них: ученых озадачили слова Тимура:

«Писать, чтобы каждому было понятно...»

А они учились всю жизнь, изощрялись в различных толкованиях предметов, чтобы, лишь пройдя через все ступени познания, уже на склоне лет научиться понимать друг друга.

— Это трудно!— раздумывая, говорил Низам-аддин.

— Это невозможно!— сказал один из богословов.— Вы правильно изволили изложить свою мысль повелителю, сказав: «народ темен».

— Я понимаю повелителя,— ответил Низам-аддин,— народ темен, неграмотен, он не прочтет этой книги. Никогда не прочтет, ибо никогда не овладеет грамотой. Но каждый из грамотных людей должен и ныне и впредь читать о красоте подвигов завоевателя Вселенной. Каждый из грамотных.

Богослов улыбнулся:

— Я пятнадцать лет учился, пока овладел грамотой. Это дорого стоит. Не всякий захочет голодать, чтобы учиться, а учиться, чтобы голодать. Нищий грамотей так и сгинет в нищете.

Они стояли около воды.

Наступал вечер.

Певцы пели. Свирели, бубны, струны наполняли все пространство сада праздничной радостью.

С крутого насыпного холма, со своего высокого седалища, Тимур смотрел на пирующих.

Сад медленно погружался во мглу.

Зажигались факелы.

Мухаммед-Султан, присев позади Тимура, тихо сказал:

— Обозы вышли из города. Остались только ваши джагатаи и тот тюмень, который вы оставляете мне.

Не ответив ему, Тимур поднялся:

— Братья!

Голос его прогремел зычно, как на поле битвы, докатившись до отдаленных углов сада.

Гости замерли, зажав в руках куски мяса или горсти жирного риса.

— Завтра нам надо идти. Сбирайтесь!

Ранним утром над крепостью взревели карнаи.

Народ Самарканда кинулся на улицы, еще не зная, встречать ли кого, провожать ли.

Было десятое сентября тысяча триста девяносто девятого года.

Из крепости уходило войско.

Оно было невелико, словно повелитель вышел куда-то неподалеку. Он ехал в темном простом халате, как случалось ему проезжать по городу, когда он переезжал из дворца во дворец или из сада в сад.

Тащился обоз, окруженный воинами. И тоже был он невелик.

Мухаммед-Султан ехал с дедом, провожая его до Бухары. Царевич оставался правителем страны, и дед припоминал, не забыл ли о чем-нибудь предупредить внука.

Перед закатом войска миновали пригородные сады, и раскрылась степь, выгоревшая под летним солнцем.

Из-под коней взлетали кузнечики, тяжело перелетала ожиревшая саранча, вспыхивая алыми крыльями, погасавшими, едва она касалась земли.

Улугбек, сидя в бабушкиной кабульской арбе, длинной, укрытой плотными китайскими шелками, которым ни зной, ни дожди не страшны, смотрел сквозь щель на саранчу, на зеленые пятна сочных колючек, устоявших против зноя и против безводья.

Стаи птиц пролетали стороной, низко стелясь над степью: розовые скворцы спускались на саранчовые стаи.

А саранча ползла, тяжело взлетала, похрустывала под колесами, налипала на ободья.

От колес отбегали огромные пауки, волоча мертвую саранчу, чтоб растерзать и сожрать ее в укромной канавке.

Войско шло. Обгоняя арбы, проезжали воины.

Всюду по пути ждали их высланные загодя обозы и припасы. Благодаря такому порядку войско шло налегке, шло быстро: все ждало его впереди — отдых, еда, оружие.

Впереди ждали битвы, победы, добычи.

Темнело.

Улугбек лежал, глядя на меркнущую степь сквозь крутящиеся спицы кабульского колеса.

Узкая кровавая полоса растеклась по-над землей в той стороне, куда шло войско. Впереди уже стоят наготове те дедушкины войска, которым приказано присоединиться к нему по пути на запад.

Крутились колеса арб.

Мальчик лежал в арбе, глядя, как погасала заря, как загорались, вспыхивали над степью большие белые звезды.

Сквозь спицы крутящегося колеса он смотрел на эти странные привлекательные звезды, словно с каждым поворотом колеса приближаясь к ним.

Арба укачивала его. Он засыпал. Но, борясь со сном, снова взглядывал, любуясь, как темна самаркандская ночь, как тиха.

Часть вторая

СУЛТАНИЯ

Одиннадцатая глава

ЦАРЕВИЧИ

Мухаммед-Султан, простившись с Тимуром в Бухаре, вернулся с Худайдадой, своим визирем, в Самарканд и ранним утром подъехал к городским воротам.

По осеннему небу, вытянув свои гусиные шеи, летели облака, и солнечный свет то загорался на нарядах горожан, вышедших встречать нового правителя, то вдруг тускнел.

Начальник города Аргун-шах взял узду царевича коня и по коврам, устилавшим дорогу, ввел правителя в городские ворота.

Мухаммед-Султан спешился. Навстречу ему шла его семья — мать его Севин-бей, жены, сын Мухаммед-Джахангир, маленькие, затейливо разряженные дочки.

Стоя среди семьи, Мухаммед-Султан принимал подарки от встречающих.

Аргун-шах подарил ему девять коней под ковровыми чепраками. Сын — девять белых китайских ваз, расписанных птицами, летящими или притаившимися среди растений и гор. Вазы были почти того же роста, как и мальчик, но он настоял, что сам вручит их отцу.

Крепко стискивая тяжелый фарфор слабенькими руками, путаясь в голубом, обшитом золотом длинном халате, он каждый раз, отдав подарок, низко кланялся отцу.

Этого правнука по желанию Тимура назвали в честь отца — Мухаммедом, в честь деда — Джахангиром. Тимур хотел, чтобы оба имени напоминали о прямой линии от прадеда к правнуку: сын наследника когда-нибудь сам наследует власть над безропотным миром: «Пусть и в именах будущих владык мира вечно живет слава моей семьи, на страх тем, кого еще нет на свете, тем, которые народятся для повиновения нашему могуществу, непреклонному, несокрушимому, вечному».

Старшины торговых сословий положили перед правителем лучшие из своих товаров.

Звездочеты преподнесли ему благоприятный гороскоп, суливший скорое одержание победы над противником.

Когда старейший из звездочетов замогильным голосом читал ему гороскоп, Мухаммед-Султан то поглядывал по сторонам, то досадливо почесывал щеку.

Аргун-шах, знавший царевича с младенчества, знал и его привычку: если почесывает щеку, значит, чем-то недоволен, чего-то ждет, чего-то ищет.

«Чего?— тревожно думал Аргун-шах, продолжая беспечно и восторженно улыбаться тонкими губами.— Или... кого?»

И наконец улыбка его расплылась по всему лицу: «А! Его... его!»

Но тотчас он снова задумался: «А причем гороскоп?»

Мухаммед-Султан перестал почесывать щеку и, не глядя на подносимые дары, опустил глаза.

Другие вельможи, исподволь посматривая на нового своего правителя, гадали, о чем бы тут мог думать Мухаммед-Султан, что сулит его дума народу, над которым теперь Мухаммед-Султан стал полновластен. Надолго стал полновластен, на все то время, доколе повелитель мира пробудет в новом большом походе, а если старый повелитель не вернется,— навсегда.

Долго длилась встреча. Говорились изысканные приветствия, подносились дары за дарами. Едва слуги убирали одни дары, на ковре возникали новые.

Наконец Мухаммед-Султан поклонился всем, сказал милостивые слова и, подхваченный десятком рук, поднялся в седло.

Теперь он ехал впереди. Следом за ним — сын Мухаммед-Джахангир. Следом за Мухаммед-Джахангиром Аргун-шах, возглавивший самаркандских вельмож.

Позади всадников следовала в расписных повозках семья Мухаммед-Султана, а за повозками вели дареных коней, и длинная вереница слуг несла принятые подарки.

По обе стороны улиц, базаров свисали ковры, расшитые ткани и покрывала. На крышах играли свирельщики, барабанщики, трубили трубачи, пели певцы...

Издалека завидели Мухаммед-Султана каменщики, клавшие мадрасу на его дворе. Со стен им было видно, как ехал он там, внизу, будто на игрушечном коне, будто вырезанный из бумаги. Как игрушки в бродячем китайском балагане, следовали за ним цветистые всадники, топорщились кверху то ли бунчуки, то ли знамена. Посверкивала сталь, вспыхивало золото.

Ненадолго их заслонил от каменщиков купол Рухабада, но вскоре, совсем уже близко, шествие показалось вновь.

— Прибыли!— сказал сухой, гибкий, голый по пояс старик, хватая подкинутый ему снизу тонкий, звонкий кирпич.

— Дождались!— ответил другой каменщик, ловко кладя кирпич в ряд, на известь.

— Хозяин!— сказал, хватая очередной кирпич, сухой старик.

Другой каменщик, положив и этот кирпич на известь, выровнял его рядом с прежним и, стукнув по кирпичу кулаком, чтоб плотнее лег, подтвердил:

— Прибыл!

Но снизу уже снова подкинули кирпич; мерный бесперебойный лад труда не оставлял времени на разговоры.

Снова взлетел кирпич, и снова, не глядя, схватил его на лету сухой старик и подал каменщику. За тем, чтоб строители не сбивались с порядка, недремлющим оком надзирали безмолвные стражи с длинными, гибкими прутьями в руках.

Наконец Мухаммед-Султан покинул гостей и, пока они рассаживались в большой длинной зале под высоким расписным потолком, вышел со двора и пошел через сад к строительству.

Один Аргун-шах шел за ним вперевалочку, прихватывая полы раздувающегося халата.

— А скажите-ка...— проговорил, не оборачиваясь, Мухаммед-Султан, но, не договорив, усомнился: «Удобно ли спрашивать?»

Аргун-шах, преодолевая одышку, поторопился догнать царевича, чтоб слышать ясней.

— Что-то я не заметил мирзу Искандера.

Аргун-шах даже остановился от неожиданности: «Угадал я, угадал! Его-то он и высматривал, когда гороскоп читали! Его, его!..»

— Здоров ли?— снова проговорил царевич.

— Здоров он, здоров. Да он ведь позавчера уехал. Еще позавчера, да.

— А знал, что нынче я приеду? Что я приеду нынче, он знал?

Аргун-шах удивился, как жестко звучит голос царевича, как у деда! При деде царевич так не говорил. И, оробев, Аргун-шах не посмел покривить душой.

— Еще бы!

— Знал?

— Едва вы из Бухары выехали, тут уже все знали!

— И уехал?

— И уехал, да.

Они подошли к узкой нише ворот, от коих по обе стороны ставились две башни, еще едва поднявшиеся над уровнем ниши.

Перед воротами царевич остановился и свежими, отдохнувшими за поездку глазами поглядел на изразцовый узор. Изо дня в день глядя, как клали здание, он не мог понять, хорошо ли оно. Теперь взглянул, как бы впервые это увидел, и остановился.

Обагренная октябрьскими ветрами листва сада будто расступилась, дабы не затмевать небесной лазури ворот. Узоры свивались в гроздья, в соцветия, и казались вплавленными в голубой

воздух, рядом с плотной, словно выкованной из тяжелой меди, листвой осени.

Мухаммед-Султан, сутулясь, неподвижно стоял на тонких ногах,туго обтянутых высокими сапогами, прикидывая, не оплошал ли в чем мастер.

Аргун-шах, замерев позади царевича, не глядел на новозданье. Он глядел на царевича: что-то в нем изменилось. Так же сутуловат; так же, но по-иному. Прежде казалось, что сутуловат он от почтения к деду, от послушания, от скромности. А нынче — не то. Нынче, кажется, сутуловат он так, будто пригнулся, примериваясь, приглядываясь, прислушиваясь; пригнулся, как воин, перед тем, как разогнуться для удара. Иной он какой-то нынче, с прежним не сравним. И Аргун-шах, попятившись, одернул свой халат и, разгладив бороду, распрямился.

Не оглянувшись, царевич через забрызганный известью порог вошел во дворик. Заметив царевича внизу под собой, сухой старик сказал, перекидывая кирпич каменщику:

— Вот он!

Каменщик тоже взглянул и остерег старика:

— Гляди, дядя Муса!

— А что?

— Ему на голову не ур...

Не надо б было говорить под руку! Подкинутый снизу кирпич ткнулся в пальцы старого Мусы, полетел назад и стукнулся у самых ног царевича.

— Эй!— крикнули снизу.

— Кто это?— проревел, вскакивая на стену, страж.

Размеренный лад кладки смешался.

По крутым ступеням Мусу сволокли вниз, а место его тут же занял другой строитель.

Во дворе его уже ждали нижние стражи и, чтоб не тревожить царевича, поволокли виноватого за стену.

Аргун-шах вздрогнул и метнулся от неожиданности, услышав рядом столь знакомый жесткий голос Тимура:

— Ремня!

Аргун-шах быстро глянул по сторонам. Откуда он? Нет, его тут не было. Это сказал Мухаммед-Султан.

Аргун-шах еще попятился и застыл поодаль, все больше робея перед царевичем, больше, чем робел перед Тимуром: о Тимуре Аргун-шах все знал. Знал, когда он опасен, и знал, как уберечься от опасности. А тут надо было сперва приглядеться:

Аргун-шах подумал:

— Как это повезло, что мне раньше всех в Самарканде удалось понять: не так-то он прост, этот царевич; ну и наследник у Тимура! Ой, не прост!

О Мухаммед-Султане давно знали: он в походах суров. Ему Тимур сорок тысяч войска давал, когда он заслонял царство от кочевников, когда строил крепости и подновлял старые на севере, по реке Ашпаре. Еще пять лет назад, двадцатилетним царевичем, прошел он с немалым войском через весь Иран, к берегам Персидского залива, взыскать с богатого острова Ормузд дань и недоимки от Мухаммед-шаха Ормуздского. Царствуя на острове, закрытом ото всех врагов морскими волнами, богатея на торговле между Ираном, Индией и Китаем, перепродавая амбру, жемчуг, алые шелка и пряности, Мухаммед-шах накопил на своем острове несметные сокровища, уверенный в их безопасности. Но едва прослышав о приближении Мухаммед-Султана, он выслал ему вперед дань за год, триста тысяч динаров, и поклялся выплатить все невыплаты за прежние годы, отдав в счет долга немало золота, вьюки жемчуга и китайских тканей. Исполнив наказ деда, внук не пошел дальше и вернулся довольный, что, не обнажив меча, устрашил Мухаммед-шаха на его неприступных островах. А не поспеши Мухаммед-шах, Мухаммед-Султан перешел бы через море, сумел бы перейти, если так приказал ему дед.

Мухаммед-Султан не шевельнулся, когда увидел, что зодчий, строящий эти стены, идет к нему.

Зодчий Мухаммед-бини-Махмуд, исфаханец, хилый, седой, с очень маленьким лицом и очень большими круглыми лиловыми глазами, остановился и как-то странно, не то вздернув плечо над головой, не то уронив голову под плечо, поклонился.

Но Мухаммед-Султан не ответил, продолжая неподвижно стоять и осматривать уже высокие стены мадрасы и все еще далекую от завершения ханаку.

— Долго кладешь!— сказал царевич.

Зодчий не ответил, а снова так же странно поклонился.

— Всегда вход ставят выше смежных стен. А у тебя он... ниже?

— Вровень, господин. Не ниже.

— Никто не говорил, что так хорошо.

— И не было бы хорошо. А мы башни воздвигаем. Они поднимутся и означат вход. К тому ж, стены украшены скупо, а вход изукрашен. Тем и хорош.

— В Иране так не ставят.

— Нет, господин. Не ставят. Я это здесь понял, от здешних мастеров. От отца я познал зодчее дело. А здесь научился сочетать зодчество с украшением стен. Хорезмийские мастера научили.

— Без украшений какое же зодчество!

— Излишние украшения затмевают зодчество, господин. Мало украсить — бедно будет; лучше уж вовсе не украшать. Много украшений — за красотой наружной не увидишь ни силы, ни тяжести самих стен. В древних, заветных стройках украшений не

клали, глазурей не знали, резьбы опасались. Кое-где проведут черту резьбой и замрут. Замрут и глядят — любуются линиями сводов, самою кладкою, спокойствием гладкой плоскости. Там одним пятнышком глазури все величие здания запятнать можно. Одно это пятнышко в глаз полезет, заслонит все здание. Нет ни пятнышка в древних зданиях, в родных моих местах, а глаз не оторвать. Вот я и мучился тут. Как быть: ту заветную красоту сюда перенести приказано, но и украсить ее глазурями, мозаиками, резьбой. Долго я бился: как уберечь заветную красоту под украшениями? Долго мучился, долго бился, пока нашел. Чтобы ни туда, ни сюда, а как на весах, стали бы, удерживая друг друга, тяжелые стены и легкий узор.

— Так-так... — говорил, словно себе самому, царевич.

— Есть такая красота: разум дивится ей, спеша разгадать, как удалось ее воздвигнуть? Разум дивится, а душа спит. А есть простая красота, ясная, разуму нечего в ней постигать, а душа перед ней ликует, как соловей перед розой.

— Так-так,— словно к чему-то прислушиваясь, повторил царевич.

— Иное лицо разукрашено алмазами, редкостными подвесками, тюрбанами, завитками, а само мертво. На украшения глядишь, а лицо под ними не замечаешь. Серьгами любуешься, а от лица глаза отводишь с досадою: «Эх, жалко мастера,— для кого работал?» А то встретишь иной раз — никаких украшений нет, ни особой красоты, а глаз не отведешь,— смотрел бы и смотрел бы, дивясь, радуясь, всей душой ликуя. А ведь наше дело, господин, в том и есть: создать из камня подобие этакого лица, чтоб оно без украшений и без особой красоты прельщало глаза человеческие.

— Так-так,— разговорчив ты!— рассеянно ответил Мухаммед-Султан.

И царевич покосился на незавершенную стену, за которую перед тем увели провинившегося старика-каменщика.

Там стоял один из стражей, отирая полой халата раскрасневшийся лоб.

— Ну?— повернулся к нему царевич.

— Всыпали, господин.

— Не слышно!

— И не услышишь. Стиснул зубы и перемолчал. Перемолчал, пока били.

— За то, что молчал, дай ему еще столько же.

— Чего?

— Ремня!

И с досадой Мухаммед-Султан пошел к строительству ханаки.

Невдалеке от ханаки кончали рыть обширную, глубокую яму, и слева, в глубине, каменщики уже укладывали по ее краям кир-

пичную стену: строили склеп и гробницу над древней могилой, с незапамятных времен притулившейся здесь, где из века в век строились и перестраивались усадьбы вельмож и царевичей. То придвигались к могиле дворцы, то рушились, а могила оставалась.

Новые дворцы ставили на новых местах, а у могилы насаждали сады. Так в последние годы она оказалась в глубине Мухаммед-Султанова сада, увенчанная знаменем, полинявшим на солнце, и волосяным бунчуком, откуда весной птицы выдергивали волосы для гнезд. К обветренному, обветшалому своду надгробия изредка приносил кто-нибудь из жителей то красивый обломок кирпича от давно исчезнувших зданий, то витые рога горных козлов, то пожелтелый кусок мрамора с непонятной вековой надписью, на память о прочитанной здесь молитве, хотя давно позабылось имя того, кого некогда опустили в эту могилу.

Мухаммед-Султан, стоя над краем ямы, смотрел, как мягко поддавалась земля круглым мотыгам землекопов, как время от времени в синеватом слое земли попадались то какие-то истлевшие кости, то глиняные черепки, неведомо как попавшие в этакие недра.

— Смотри, могилу не разори!— предупредил царевич десятника.

— Я и то им говорю: раскопались, размахались, а рыть надо исподволь, место святое.

— И кто там похоронен?— вступил в разговор Аргун-шах.

— Кто бы ни был!— ответил царевич.

— Очень уж стара могила. Не дай бог, прежде арабов засыпана. Тогда что ж...

— А что?

— Да какой же это святой, если до арабов? Языческий?

— И в прежние времена живали святые люди.

— Живали, да не истинному богу служили, а нивесть какому.

— Нынешний народ тут молится, и помогает! Значит, большой святой.

— Молятся. Гончары его чтут, заступником считают: он будто бы сыном гончара был. Ведь и деревьям молятся! В горах, сам видел, молятся, и помогает!

— Только б вера была. Это главное.

— Вера, да... — согласился Аргун-шах.

Они снова молчали, глядя вниз на землекопов.

— Ройте веселей!— сказал Мухаммед-Султан— Я вам мясо пришлю.

И пошел к дому.

Листья плавно опадали вокруг, иногда задевая за царевича, пока он шел через сад.

Мухаммед-Султан вошел в залу, полную гостей. Все сидели

на коврах вдоль стен. Длинными ручьями тянулись узкие скатерти, уже покрытые грудами лепешек, но гости не прикасались к еде, чинно и тихо беседуя в ожидании хозяина.

Едва он опустился на свое место, вслед за ним вошли его жены и сели неподалеку, около двери. Вскоре вбежали слуги с блюдами, торопливо расставляя их под нетерпеливыми взглядами гостей.

Хозяин порывисто разорвал на части лепешку и ее нежные клочья подал Худайдаде, своему визирю, сидевшему рядом. Разорвал и другую лепешку и, наконец, протянув к блюду руку, первым взял кусок мяса, предоставляя гостям потчевать друг друга, любезно упрашивать соседу соседа первым приступить к трапезе.

Принесли вино. Наливая полную чашу, виночерпий подавал ее царевичу; царевич подзывал гостя и подносил ему в знак особой чести. Став на колени, гость принимал чашу из рук царевича, пил ее до дна, и гости кричали, одобряя пьющего:

— Эгей!

— Э, брат Аргун-шах!

— До дна, до дна!

Так Мухаммед-Султан подносил вино старшим из гостей, одному за другим,— пьющих ободряли. Выпив, гость отодвигался, чтобы уступить место следующему, и никто не смел недопить большой чаши,— в этом была бы обида хозяину.

Только женщины, приняв безучастный вид, лишь изредка тихо переговаривались между собой и смотрели на пир, как на зрелище, нарочито глухие и слепые к разговорам и развлечениям мужчин.

Севин-бей, сидя неподалеку от Мухаммед-Султана, присматриваясь к сыну, радовалась: он не был столь жаден к вину, как ее муж Мираншах, пил изредка и понемногу. Ее развеселило, когда один из гостей подошел к Мухаммед-Султану. Задумавшийся о чем-то, еще совсем трезвый, царевич спохватился и прикинулся подвыпившим.

Только мать, все время следившая за ним, могла уловить это притворство. Она сдержала улыбку, но эта проделка сына очень осчастливила ее: если смолоду он так держит себя, значит и впредь не оплошает,— тот, кто хочет подчинять других, не должен подчиняться ни хмелю, ни страстям, ни пристрастиям.

Слуги вносили новые и новые блюда. Пахло жареным мясом, луком, уксусом. Стало шумно.

Темнело.

Зажгли десятки светильников. Многие из гостей разбрелись по ближним комнатам. Рабы стелили им на полу одеяла: свернув под голову халаты или подоткнув подушки, некоторые отлеживались, дремля или лениво переговариваясь.

Один гость, приподнявшись над подушкой, спросил у лежавшего рядом старика:

— Не слышали, про мирзу Искандера он не спрашивал?

— Пока молчит.

— Мирза Искандер еще не знает его!

— Знал бы, дождался бы: пил бы сейчас за здоровье правителя, беседовал бы. Правитель наш в дедушку!

— Как это понять,— не дождался, не встретил, будто заяц от волка, шмыгнул да и прочь. Видно, совесть не чиста?

— Что-нибудь таит на душе!

— Таит, а что?

— Посмотрим.

— Посмотрим,— то ли заяц от волка, а может, волк от зайца!

— Как, как?

— Соскочил с дороги да и притаился за бугорком. Ждет, пока заяц ему бок подставит.

— Бывает и так.

— Бывает! Да только, гляжу я, правитель наш не из таких, чтоб бок подставить. А?

— Бог его знает. Да...

Мимо лежавших прохаживались другие гости, искали, где бы самим прилечь, прислушивались...

В большой зале зарокотал бубен,— сперва мелкими россыпями, вызывая плясуна.

Вышел поджарый плясун, длиннолицый, с узким лицом, будто сплющенным на висках, туго затянутый в короткий полосатый халат, пошел плавно на легких ногах, поблескивая мягкими сапожками.

Бубен загудел глухо, томно.

Некоторые из гостей поднялись с одеял, вернулись в большую залу, собрались в дверях.

Мухаммед-Султан протянул руку, и ему подали нагретый над костром богатый бубен, сверкнувший перламутром и горячими искрами рубинов.

Все смолкли, когда пальцы царевича забились о гулкую кожу бубна.

Он хорошо играл.

Он играл с младенческих лет, странствуя среди воинов вслед за дедом. Играл на пирах и наедине, если на душе становилось тоскливо. Его учили старые бубнисты Самарканда, Азербайджана, Ирана.

Тонкие, длинные пальцы бились о бубен и, казалось, он выговаривает какие-то слова, кого-то умоляет, настаивает, уступает, смиряется. Вот рокочет далекая река. Конница идет по степи. Надвигается враг или встречный ветер. Конница переходит на рысь. Враждебные силы сталкиваются, две силы. И вот одна глохнет, отходит, затихает; другая резво продолжает свой путь.

Восторг гостей рванулся в таком гуле восклицаний, что пламя светильников заметалось, будто весь свет выражал бурный восторг царевичу.

А он, одушевленный возгласами хмелеющих гостей, снова поднял над головой бубен, и снова, будто уговаривая кого-то, то настаивая, то уступая, томно зарокотала тугая кожа.

И опять гости ободряли его жгучими возгласами.

Умолкнув, Мухаммед-Султан неожиданно заметил прижавшуюся к нему маленькую девочку. Он провел усталой ладонью по ее теплой щеке, на минуту закрыл все ее маленькое розовое лицо своей узкой мягкой ладонью и строго сказал:

— А теперь иди спать. Иди, Угэ-бики!

И она повиновалась, печально потупившись.

Вскоре и он встал и вышел. За ним ушли его жены.

Над городом уже сгустилась глубокая осенняя ночь, но пир продолжался: звенели струны дутаров и голоса славных певцов, плакали свирели и рокотали бубны...

Но в небольшую комнату все эти звуки пира доносились глухо. Здесь Мухаммед-Султан остывал от песен и вина, привалившись к подушке. Будто лениво, будто с неохотой он подробно расспрашивал двоих простых, неприметных людей о мирзе Искандере,— как он тут жил, пока в городе никого из царевичей не было, что делал, с кем встречался, какие вел разговоры, почему и как вдруг собрался к себе в Фергану, покинув Самарканд, когда весь город готовился встречать своего правителя.

Эти двое — Кары Азим и Анис Кеши — небогатые люди, чем-то завоевавшие доверие Тимура, давно, еще при жизни Омар-Шейха, были приставлены служить мирзе Искандеру, еще когда мирза Искандер не очень твердо умел ходить по земле.

И когда они рассказали царевичу все, что знали и помнили, дополняя друг друга, он отпустил их:

— Спросите на конюшне коней попрытче. Да не чешитесь, а скачите всю ночь. Чтоб завтра к ночи его настичь. Не то он заметит, что вас при нем нет. Скажите ему: потому, мол, отстали, что коней пришлось сменять: кони, мол, захромали. Либо что другое придумайте.

— А уж мы ему доложились, господин. Отпросились поотстать, чтоб семьям нашим на зиму припас запасти.

— Плохо придумали. Коли будет помнить, что семьи ваши тут, верить вам перестанет. Что за слуга господину, если семья слуги в руках у другого господина. Скажите ему: запасы, мол, запасать раздумали; велели семьям в Фергану сбираться. Так верней будет.

— Так верней, господин,— истинные слова.

— А я и без ваших семей до вас доберусь, коли оплошаете. От меня вам некуда...

— Истинные слова, господин.

— То-то!

И обоим проведчикам послышался голос Тимура в твердом голосе Мухаммед-Султана.

Отпустив проведчиков, Мухаммед-Султан пошел обратно к гостям. В темном переходе он наткнулся на десяток женщин, таившихся в этом закоулке и торопливо чем-то занимавшихся, звеня украшениями. Правитель схватил двоих за руки:

— Вы что здесь?

Одна так сильно закашлялась от испуга, что отвалилась куда-то к стене, а другая, что-то отбросив, смело ответила:

— Нам сейчас плясать, господин. Ждем, когда позовут.

Ее смелость не удивила его: прежде он не раз выказывал расположение к ее красоте.

— Избаловалась!

— Нет, господин,— проголодалась.

— А твои подружки?

— От самого рассвета не присели. Ничего не ели весь день, к пиру готовились.

— Где ж теперь раздобыли?

Его снисходительные вопросы ободрили ее, и она призналась:

— Своровали, когда рабы объедки от вас выносили. Больше сил не было. Едва на ногах стоим, а еще плясать позовут.

— Так; косточки глодали?

— Косточки, господин.

Ни слова не сказав ей, он пошел дальше.

— Он ласковый!— сказала, когда он отошел, успокоившаяся плясунья.— Чего его бояться? К нам же придет, когда озябнет.

— Ласков, я знаю; когда к нам ходит, ласков, а когда от нас уйдет, опасайтесь его, девушки!— ответила густым голосом широкобровая аравитянка Разия.

Перед входом в залу правителя ждал дворцовый есаул. Мухаммед-Султан прошел было мимо, но остановился:

— Там... эти плясуньи.

— Десять лучших, господин...

— Эти самые. Завтра их раздай всех. Рабам, на расплод, куда-нибудь за город, на виноградники. Пора им работать,— избаловались.

— Истинно, господин.

— Только до утра помалкивай, не то сейчас плохо спляшут. Пускай веселей пляшут. До утра не тревожь. Избаловались!

Есаул поклонился, а Мухаммед-Султан отправился трезвой походкой в большую залу. Но едва свет коснулся его лица, он поник и вошел в залу вялыми, нетвердыми ногами, пробираясь к

своему месту, и снова отвалился на подушки, слушать певцов, пить вино.

Мирза Искандер быстрей бы ехал, но арбы с женами и поклажами не могли угнаться за нетерпеливым царевичем. Он оставлял обоз — сотню рабов и слуг и две сотни воинов из охраны, а сам скакал вперед по дороге, чтобы неприметней скоротать столь тягучий путь.

Он скакал с двумя-тремя вельможами до каких-нибудь тенистых деревьев, до харчевни, повисшей над прохладной водой, усаживался там до времени, пока нагонят его арбы, что-нибудь ел или пил со всеми вместе, а затем отправлял весь свой поезд вперед, а сам оставался еще подремать или поговорить на привале, потом торопливо шел к лошадям и снова скакал, теперь уже догоняя своих; недолго ехал с ними рядом, а то и пересаживался с седла под навес арбы, но вскоре опять перебирался в седло и снова уезжал вперед до новой остановки.

Мирзе Искандеру шел шестнадцатый год, и Тимур отдал этому внуку Фергану, но при том велел помнить, что на все время, пока в Самарканде будет править Мухаммед-Султан, все земли Мавераннахра, все Междуречье, от реки Аму до реки Сыр, подчинены Мухаммед-Султану, а с теми землями и вся Фергана.

Дядьке царевича, носившему звание ата-бега, приказано было остерегать Искандера от поспешных поступков; вельможам, приставленным к этому царевичу, надлежало помнить, что воля и власть Мухаммед-Султана непререкаемы.

Но мирзе Искандеру не сиделось в Самарканде: пока не было Мухаммед-Султана, он развлекался в загородных садах, ездил на охоту, любил проехаться перед народом через базар, чтоб каждый человек мог полюбоваться им, внуком повелителя, оказавшимся в ту пору единственным царевичем внутри самаркандских стен. За долгие годы не случалось такого, чтобы в течение целых трех недель в Самарканде единственным из внуков Тимура был пятнадцатилетний мальчик, еще не успевший стяжать себе славы ни в одной из битв.

Мирза Искандер был вторым сыном Омар-шейха, второго из сыновей Тимура. Его старший брат, Пир-Мухаммед, тезка Джахангирова Пир-Мухаммеда, находился теперь в Иране, неподалеку от деда,— правителем городов Фарса.

Мирза Искандер часто думал о славе и могуществе своего деда, прикидывал, столь ли он велик, как великий Александр Македонский, Искандер Двурогий. Царевич читал «Александрию», историю Искандера Македонца, хорошо ее помнил, и часто задумывался, не настало ли время и ему, Искандеру Ферганцу, совершить подвиг и разгласить свое имя по просторам мира. Но

пока еще слишком велико было могущество деда, на долю внука не оставалось даже щели, чтобы начать что-либо великое.

Узкое лицо, близко друг к другу сдвинутые глаза, рыжеватые брови, сросшиеся над переносицей,— все это не было величественно, но царевич рассчитывал, возмужав, обрести ту достойную внешность, какую удалось ему разглядеть на нескольких, добытых у менял, древних серебряных деньгах, где, полустертое, угадывалось лицо Македонца в рогатом шлеме.

Искандер прогуливался по Самарканду, устраивал пиры и гулянья в царских садах, спеша запомниться народу, приучить к себе город Самарканд, пока там никого не было выше его. Он спешил проявить щедрость и великодушие, расточая дары, для коих посягал на припасы из садовых амбаров, но к запасам из дворцовых кладовых не имел власти прикоснуться.

И когда пришло известие, что Мухаммед-Султан выехал из Бухары назад, мирза Искандер, сожалея, что столь кратковременным оказался его разгул в Самарканде, медлил прервать это счастливое времяпровождение. Однако встретиться с глазу на глаз с Мухаммед-Султаном не желал: чем бы он смог оправдаться перед правителем, если правитель потребует отчет о проведенном здесь времени, если спросит, как смел он столь настойчиво требовать и столь жадно брать подношения от купцов, столь весело одаривать вельмож и приятелей, столь бесцеремонно похищать на пиры приглянувшихся горожанок и столь же бесцеремонно забирать на охоту приглянувшихся чужих лошадей.

Разве поймет Мухаммед-Султан, что не по своей вине мирза Искандер доселе не совершил великих подвигов, хотя готовность к подвигам давно созрела в душе мирзы Искандера.

Разве поймет придирчивый Мухаммед-Султан, что не из-за недостатка отваги, а из-за ее преизбытка, лишь до той поры, пока судьба не подвигнула его на подвиги, мирза Искандер тешит себя шалостями!

Дабы увильнуть от докучливого разговора и опасных объяснений с Мухаммед-Султаном, за два дня до его возвращения мирза Искандер не без сожаления покинул Самарканд.

Теперь он ехал, радуясь, что впереди его ждет Фергана, где власть его полна и сладостна, ибо там не будет никого, перед кем пришлось бы отвечать за свои поступки и решения.

Он проехал бы этот путь скорее и Мухаммедовым проведчикам труднее было бы его настичь, если б вдруг не случилось неожиданной задержки: нарядная арба, где ехала старшая жена царевича, арба, обитая тысячами мелких медных гвоздиков с причудливыми, как цветы, шляпками; арба, увешанная тяжелыми армянскими коврами, такая богатая и нарядная, вдруг накренилась набок, и расписанное самаркандским мастером колесо хрустнуло и рассыпалось.

Царевна успела выпрыгнуть, хотя и вывихнула при этом ногу. А сама арба, ударившись или неловко перекосившись, вся развалилась.

Это было бы забавно, если б не случилось среди дороги в малолюдных местах, где, с одной стороны, громоздились горы, а с другой — каменистые, пустые холмы. Только стаи жаворонков или перепелов поднялись с земли.

Туча серепьких птиц с неистовым щебетом и суетой покружилась над людьми и отлетела в сторону. Никого вокруг не было, и даже трудно было сообразить, откуда ждать или требовать помощи.

Мирза Искандер любил нарядные вещи, но о прочности их не любопытствовал, тонкая красота была бы оскорблена, думал он, если б он, как простой земледелец, ощупывал ее прочность. Он прельщался красотой коня, не заботясь о его силе и резвости, очаровывался дворцом, если даже его складывали из глины, но умели покрыть искусными и пышными узорами, он мог превознести человека за ловкое слово, не задумываясь, ловок ли тот человек в своих делах.

Но в жизни мирзы Искандера разочарования случались редко: если кони оказывались слабыми, он пересаживался на других, дворцы разваливались лишь после его отъезда, бесполезные люди еще не успели нанести ему непоправимого ущерба, а эта арба, которую без сожаления он отдал бы на дрова в Фергане, здесь так была нужна и так непростительно подвела хозяина!

Мирза Искандер рассердился.

Он рассердился на царевну, вопившую столь непристойно, словно она была простой девкой.

Он рассердился на мастера, делавшего арбу, но мастер остался в Самарканде.

Он рассердился на возниц, забывших, что в этих местах из гладкой земли то там, то сям торчат каменные зубья, как когти дьявола.

Ата-бег успокоил царевича и посоветовал поехать вперед, арбы под охраной оставить на месте, добраться до ближнего селения, а сюда послать плотников.

В это время, нагоняя царевичев обоз, подъехали всадники,—в сопровождении десятка воинов прибыли Кары Азим и Анис Кеши, задержавшиеся в Самарканде.

Прибывшие спешились и выразили мирзе Искандеру свое почтительное соболезнование по поводу непредвиденной задержки.

Мирзе Искандеру было не до любезностей. Он приказал всем вельможам следовать за собой, не желая смотреть, как обозный костоправ тянет ногу вопившей от боли царевны, уехал вперед.

Когда дорога пошла под уклон и повеяло прохладой, показались полуобнаженные ветки шелковиц и в их прозрачной осенней тени — светло-серые стены небольшой деревни.

Не прозрачная, но чистая, голубоватая, вода текла по каналу куда-то вдаль. Над водой висел деревянный помост, застеленный старыми паласами. Какие-то старики сидели над водой, беседуя. Здесь и сошел с седла мирза Искандер.

Здесь предстояло ночевать. К обозу послали плотников и поскакал гонец сказать, чтоб у разбитой арбы остался только возница с плотниками, а остальной обоз двигался бы сюда. Принялись устанавливать котел, собрались жители поглядеть на прибывших.

Снизу, с берега, слышались голоса работавших людей и удары мотыг о землю. Там, отведя в сторону воду, десятки крестьян чистили дно большой оросительной канавы. В это позднее время, когда иссякли горные реки, а поля не нуждались в орошении, надо было подготовить по всей стране тысячи больших канав и сотни тысяч мелких канавок к весне.

Тимур строго следил, чтобы земли были орошены, обработаны, чтобы не пустовал ни даже малый клочок земли, если он мог плодоносить. Старосты отвечали головой за такой порядок в своих уделах.

Вытаптывая великие пространства цветущих полей и садов, заваливая развалинами городов и селений великое множество каналов на чужой стороне, Тимур требовал у себя в Междуречье постоянных забот о земле и о том, чтоб не покладая рук трудились земледельцы на его земле.

Лишь старосты да ветхие старики могли посидеть на паласе, а у крестьян не было на это времени. Много сил, много усердия требовала земля от крестьян, чтоб торговые города не нуждались в хлебе и чтобы двести тысяч воинов могли спокойно готовиться к походам.

— Ну, что делали в Самарканде?— спросил царевич у двоих прибывших, у Кары Азима и у Анис Кеши.

Кары Азим ответил:

— Мы приглядывали, как там собираются вслед за нами семьи наши, господин.

— Надумали тащить за собой свои семьи?

— Надумали, господин.

— Зачем? Разве в Фергане мало красивеньких невест?

— За тех еще надо платить, а за своих уже заплачено, господин.

— Я вам куплю! Хотите? Подарю!

— Благодарствуем, господин!—нерешительно поклонился Анис Кеши.

— Не хотите?

— Свои привычнее, господин.

— То и плохо, что привычны. Интереснее привыкать.

— Это царское дело, а мы простые люди, господин.

— Ну, как хотите!— пренебрежительно передернул плечом мирза Искандер и, отвернувшись от них, велел кликнуть повара.

Проведчики переглянулись: «Как легко обошлось!»

А поутру, когда осенний туман еще застилал всю округу, снова двинулись к Фергане арбы мирзы Искандера, и снова он нетерпеливо вырывался вперед, оставляя позади своих спутников.

Геворк Пушок вглядывался в дымную даль. Уже много дней караван неуклонно шел к северу, узкой тропой через пустыню Усть-Урт.

Где-то впереди тянулся морской берег, но до моря было еще десять дней пути, и только небо переливалось холодными, зеленоватыми волнами, словно в нем отражалось неприветливое Каспийское море.

Как всегда, купцы ехали впереди на ослах, а позади шествовали верблюды, на этот раз окруженные хорошей охраной.

Купцов было немного, да и караван невелик. Но хотя и немного собралось купцов, оказались они людьми разными. Случилось тут двое хорезмийцев от Ургенча. Двое большебородых, схожих между собой, таджиков, ехавших только до приморского Карагана, всю дорогу беспокойно о чем-то шептавшихся, хотя повстречались они, по их словам, впервые. Было удивительно, что этих, ранее друг с другом не встречавшихся людей звали, как принято называть двоих близнецов,—одного Хасаном, другого—Хусейном. Трое персов, торговавших вскладчину, в тот раз волочили на десяти верблюдах хорезмийские ковры в Нижний Новгород, да еще ехал неразговорчивый ордынец с бородой, росшей клочьями, в узком ордынском кафтане, в желтых сапогах с зелеными задниками. Этот товару вез мало, жаловался:

— Знал бы, не ездил бы в этот Самарканд. Вез-вез кожи, а довез,— хоть выбрасывай: не только что цены нет, а и своих денег не выручил, хоть вези назад. Какая это торговля? Купил мелочишку всякую, чтоб с пустыми руками домой не приходить,— разорился за эту поездку.

— И что ж такое?— сочувствовал Пушок.

— А то,— брал в Булгаре кожи по тридцать, думал, как всегда, отдать в Самарканде по пятьдесят. Привез, а их и по двадцать брать не хотят. Еле отдал по двадцать пять. Да и то сумасшедший старик подвернулся,— в кожах, вижу, толк знает, а платить нечем. Ну, раз другие жмутся, уступил этому. Ради бога, во искупление грехов, на счастье дал ему в долг на продажу.

— Что же за старик?

— Прежде он большими делами ворочал, да свалился, Садреддин-баем зовут. Не слыхали?

— Что-то такое... И помню и не помню. Каков он?

— Да так... костляв, как верблюжий скелет. А глаза мраморные.

— И помню и не помню. И что же, думаете, вернет долг?

— Старый купец — в торговле хитер, в расчетах честен. А Садреддин-бай — старый купец.

— Опасно доверяться людям!

— Да вы его знаете, что ли?

— Я же не самаркандский!

Исподтишка Пушок приглядывался к спутнику,— по всему виден ордынец, да что-то есть в нем не ордынское. Ордынцы всегда в Самарканде обновок накупают, в них и едут, а этот очень уж строго следит, чтоб все на нем было ордынским,—видно, в Самарканд собираясь, из Нового Сарая запасное ордынское платье вез на смену, чтоб пообносившись за дорогу, снова в ордынское облачиться. Армяне тоже свою одежду блюдут, но и покупным не гнушаются, а этот жалуется на разоренье, а сам в свежем ордынском кафтане выехал, зеленые каблуки не стоптаны, и не видно, чтоб он сильно был огорчен своим разорением: пустые слова для отвода глаз!

Но чем непонятнее был этот купец армянину, тем больше он привлекал его любопытство. Пушок то и дело оказывался с ним рядом, хотя разговор у них больше не клеился, хотя ордынец большей частью отмалчивался, все же на стоянках они спали рядом, делились хлебом. Лишь изредка беседовали о торговых делах, о далеких базарах, куда хаживали сами или о которых слыхивали от приезжих купцов.

Более десяти дней прошло, как покинули они Ургенч, обнищавший, разоренный город, через который насквозь пролегала лишь одна улица, накрытая от солнца всяким хламом. И хотя такую улицу не всякий назвал бы базаром, но это и был ургенчский базар, некогда рассылавший своих купцов повсюду,— к городам на Инде, к Ормуздским островам, на реку Днепр в Киев, и в суровый дальний Новгород, и в морской Трапезунт. Ныне там купцы вели убогую торговлишку, но торговля шла, ибо, как ни запутал караванные дороги Тимур, как ни перепахивал сохами ургенчские развалины, как ни засевал их в насмешку ячменем да просом,— просыпалась, поднималась прежняя торговля, ибо тут скрещивались древние обжитые караванные пути, и не так-то легко их перепахать и засеять: человеческая память крепче крепостных кирпичей.

Десятый день шел караван к северу.

Хотя и зовется Усть-Урт пустыней, не пуст он и не одинаков — день ото дня менялся он,— то струились пески, кое-где поросшие седыми вершинками саксаула, то тянулись холмы, покрытые рыжими раскидистыми кустами иссохших трав, то простирались равнины, заросшие хотя и высохшей, а все еще голубой полынью. Кое-где зеленела трава, вылезшая после недолгого первого осеннего ливня, то снова пересыпались, то ли шипя, то ли перешептываясь, лиловые пески.

Иногда показывались в песках стада баранов и коз. Лохматые псы, ростом возвышавшиеся над козьими стадами, кидались стаей на караван и напарывались на копья охраны.

Пастухи спрашивали с проезжих за жалкую козу или рыжего горбоносого барана столько вещей в обмен, что купцам ничего не осталось бы из их товаров, согласись они на всем пути до моря на запросы пастухов. Но воины отбивали от стад потребное число скота, купцы с осторожностью выделяли пастухам кое-что из своих припасов,— муку или зерно, и редко кто из пастухов бывал недоволен исходом этой мены,— нечего было выбирать этим кочевникам пустыни, месяцами не получавшим ниоткуда ни горсти зерна, ни ломтя лепешки.

Теперь, когда дневные жары спали, когда дни стали легки для пути, на отдых располагались по вечерам, а в путь трогались на рассвете.

Когда случалось ночевать среди открытых равнин, выбирали места, где можно было верблюдов пасти неподалеку,— отпускать их вольно побаивались. Разводить костры норовили засветло, чтоб ночью на огонь не привлекать недобрых людей. Вьюки складывали в середине, а вокруг располагались воины охраны.

Нередко к стоянке подходили пастухи. Стояли и смотрели неподвижными глазами, будто окаменелые, как кто-нибудь из слуг раскатывал на разостланной коже тесто тонкими слоями, пока в котлах закипала вода, как резал тесто быстрым ножом на длинные, вроде соломы, полосы. А когда вода закипала, бросал тесто в котел, кидал кусок курдюка, щепоть соли и накрывал котел деревянной, потемневшей от жира крышкой.

Пастухам казалось, что, если б самим им довелось отпробовать этой сладкой пищи, все их болезни миновали бы, усталость позабылась бы; с такой едой жили бы они по двести лет на земле.

Но из купцов никто не предлагал пастухам отпробовать из кипящих котлов, а если и давали кому чашку этой похлебки, то лишь сперва выторговав за безделицу козленка или овцу: пища оседлых людей была неведома и соблазнительна кочевникам, и, видя, как варится в котле тесто, они, словно опьянев, становились сговорчивы и податливы на любую мену.

Иной раз на купеческие и воинские котлы глядели такие суро-

вые люди из-под овчинных высоких шапок, сами из-за недостатка в тканях покрытые шкурами, что и при крепкой охране купцам плохо спалось.

Более десяти дней так шли от Ургенча. Более десяти ночей так спали в пустыне Усть-Урт. И снова поднимались, вьючились и трогались в путь,— впереди еще оставалось десять дней пути по Усть-Урту до Мангышлака, а там, на морском берегу, в Карагане, надо было перегружаться на парусные бусы, плыть к устью Волги, по морскому пути,— в Астрахань.

А там, в Астрахани, став на подворье, оглядеться, послушать новости, погостить.

Так шли купцы древней торговой дорогой, ночуя то под низкими сводами келий на постоялых дворах, то под открытым небом пустыни.

Оставался один переход до большого караван-сарая, где можно было хорошо отдохнуть, пересмотреть, переложить товары, сменить больных или ослабевших верблюдов. И как всегда бывает, когда уже брезжит желанный, безопасный покой, на душе у всех стало веселей, спокойней. Уже не казались страшными проходившие перед вечером пастухи с большим стадом пыльных рыжих овец.

Спутники долго разговаривали, сидя у тлевших сучьев саксаула, пока караванщики стелили для купцов ковры и постели. Наконец прошли к вьюкам, составленным вместе, осмотрели, хорошо ли эти вьюки стоят, достали запасные одеяла: по ночам стало свежо, а перед утром случались и заморозки.

Персы улеглись вместе, по другую сторону вьюков, а Пушок, ордынец и двое таджиков — на большом плотном ковре ордынца.

Перед рассветом Пушку почудился какой-то стремительный конский топот. Армянин проснулся и приподнял голову: снилось или и в самом деле проскакал кто-то?

Степь была молчалива, но рядом с собой Пушок услышал, как странно клокочет горло ордынского купца. Видно, во сне это клокотанье претворилось у Пушка в конский топот.

«Как спит!»— подумал Пушок, поправил чекмень, сползший в ногах с одеяла, упруго протянул ноги, поглубже в тепло, наслаждаясь, как ему уютно в такую свежую, темную осеннюю ночь, глубоко вздохнул, радуясь холодному душистому степному воздуху, и снова сразу заснул.

Его растолкали на рассвете.

Он не успел испугаться, увидев над собой нескольких воинов из охраны. Стояли и персы, мелко дрожа от холода, сжимая руки на животе, сутулясь и глядя странными глазами через Пушка.

Пушок обернулся к ордынцу и замер, голова ордынского купца откинулась от груди, как крышка от чернильницы, а из раз-

резанного горла уже перестала течь кровь. Тонкая темная струйка достигла одеял Пушка, и Пушок, вскочив, отдернул от нее свои одеяла.

Один из таджиков — Хусейн, тоже проснулся, но лежал, поднявшись на локте, а другого — Хасана, укрывшегося одеялом с головой, расталкивали, как только что растолкали Пушка.

Весь этот день воины осматривали окрест всю степь, погнались за пастухами, взглянуть, нет ли среди них опасного человека. Но кругом сияла пустая, безлюдная степь, где далеко вокруг можно разглядеть всякого человека, если б там был хоть один человек.

Лицо Пушка за один день похудело: ведь совсем рядом с ним спал этот ордынец!

«Господи, господи, как тут режут!»— подумал Пушок и ежился, чувствуя себя нездоровым, будто опять, как летом, залезает в него лихорадка.

Староста каравана приказал отложить в сторону и проверить вьюки и все вещи ордынца.

Их осматривали, и со слов старосты, один из персов переписывал их:

— Узорочье шелковое, индийское — двести кусков. Гладкий шелк, тоже индийский — сто двадцать. Жемчуга индийского, розового... Надо б свешать. Достань-ка безмен...

Пушок, слушая длинный перечень товаров, оставшихся без хозяина, удивлялся:

«Ну?.. Говорил, разорен. Вон сколько вез! И ведь что вез? Ткани индийские, узорчатые,— как и у меня. Шелку гладкого сто двадцать,— и у меня сто двадцать! И жемчуга столько же точь-в-точь! Будто мой товар меряют! Откуда ж он его взял? Неужели оттуда же? От Тимура же? Где ж бы еще он достал этот товар? На базаре этого еще не было! От него! Видно, много нас от него ходит. Я пошел на Булгар, на Москву; этот шелк шел до Сарая. Видать, по всему свету нас рассылает. А каково идти с этим товаром, о том не думает!»

Оставалось еще девять суток степного пути до моря. А там море,— тоже неспокойный путь. А там, за Астраханью, другая дорога, не столь глухая и оттого еще более опасная.

Пушок топтался вокруг людей, ожидая, что вернутся воины, приведут злодея, и тогда станет спокойней, когда увидишь злодея в лицо.

Но как ни искали, никого в степи не нашли. На земле не оказалось никаких следов, хотя песок сохранил бы их до рассвета,— ветра не было.

На ордынце все оказалось цело, даже заветный мешочек с деньгами, торчавший из-под головы, хотя и пропитался кровью, остался цел.

Пушку столь нездоровилось, что хотелось вернуться, лечь где-нибудь у теплого очага на постоялом дворе, чтоб низко над головой нависали крепкие каменные своды, чтоб дверь была на крепком запоре...

Но впереди было еще девять суток пути, воины осматривали свое оружие, и отстать от них, остаться без охраны было страшно.

Караван поднимался, и Пушок пошел к своему ослу.

Тимур все дальше уводил войска на запад.

Шли по ночам, чтобы не изнурял воинов дневной зной, долго державшийся в том году, несмотря на осеннюю пору.

Тимур ехал, как всегда, вслед за передовыми отрядами, крепко сидя в седле, склонившись вперед, нетерпеливо глядя в темную даль, словно сквозь ночную тьму уже видел все то, на что случится смотреть при дневном свете там, впереди.

Следом, обрастая день ото дня присоединявшимися по пути отрядами, шла конница.

За конницей шла пехота.

За пехотой тяжело тащился огромный, растянувшийся на многие версты обоз, бережливо хранимый сильными отрядами джагатаев.

За обозом шли со своими юртами и скотом, как на кочевье, семьи джагатаев. Джагатаям дозволялось отлучаться к семьям и даже идти вместе с ними, присматривая за своим кочевым хозяйством, за стадами, здесь чинили платье почти на всех воинов, стирали белье, квасили кумыс, чтоб, продвигаясь в чужие земли и в незнакомой чужой земле, все воины Тимура чувствовали себя в войске, как в отчем краю, как на родной земле, на какую бы землю ни ступило все это необозримое войско.

Воинам было привольно в походе,— с них не взимали податей, их не изнуряли трудом, никого не казнили без строгого разбора,— войско было тем местом, где бесправные, забитые нуждой и хозяевами люди становились сыты и мечтали о добыче, о золоте, о пленниках, о своих лошадях, о дорогом халате, о сытой жизни после возвращения домой.

Не земледельцы, привыкшие к своему клочку земли, а проголодавшиеся бездельники, отбившиеся от работы горожане, искатели легкой жизни уходили из нищих родных лачуг в далекий поход, на чужие города кидались самоотверженно, спеша первыми навалиться на чужое достояние.

Скрипели колеса арб. Всхрапывали лошади. Позвякивало железо.

Едва останавливались на отдых, ловкие, исполнительные воины быстро расчищали площадки для юрт и шатров. Тысячи рук хватались ставить палатки, нарядные, богатые — для цариц, плот-

ные войлочные — для джагатайских семей, легкие полосатые — для воинских десятков.

Где еще на рассвете простиралась пустая степь, где вольно стрекотали кузнечики да кружили коршуны, вдруг вставал обширный, пестрый, шумный город.

Купцы протягивали плотные паласы над разложенными товарами. Возникал базар, тесный и крикливый. Усаживались важные менялы. Тихо присаживались на корточках, похожие на сытых коршунов, ростовщики, выглядывая тех, кто принесет им добро в заклад или под большую лихву займет денег, выставив троих поручителей: если и поразит должника меч врага, ростовщик взыщет свое с поручителей. Торговались, спорили. Расхваливали товар. Звенели медью, хваля самаркандские изделия.

Степное солнце нагревало груды дынь и арбузов, медь и железо, куски шелков и мягкой домотканины. И ко всему, ко всякому товару, тут же приценивались, примеривались покупатели, на досуге и от безделья бравшие многое из того, на что не было спроса в городе, что понадобилось в походе. Даже и то брали, что и не надобилось, но соблазняло воинов, словно щеголей, вышедших на праздничное гулянье.

Ремесленники располагались в том порядке, как размещались они на городских базарах,— шорники рядом с седельниками, медники неподалеку от кузнецов. Но воинские кузнецы ставили свои наковальни отдельно,— ковать коней, править оружие.

Под котлами загорались костры.

Тысячи дымов вытягивались к небу.

Людские голоса, звон наковален, конское ржанье, стук тесаков по бревнам, мычанье стад — все наполняло окрестность, и чужое, незнаемое место казалось давным-давно обжитым и родным.

Маленькие царевичи выбирались из арб.

Слуги подводили им заседланных коней.

Охрана окружала их и сопровождала, а они ехали между рядами шатров и палаток, будто по городским улицам, пока не выбирались куда-нибудь к пустынным холмам или выжженным безлюдным равнинам, пускали коней вскачь и наслаждались простором и привольем.

Иногда охотились, приметив стадо быстрых газелей, или пускали ловчих соколов и стрепетов, если поблизости оказывались болота, где в эту пору попадались ожиревшие осенние утки, доверчивые, дочерна синие лысухи или перепела с перелета.

Если случалось, что на охоту выезжал веселый Халиль-Султан, сопровождаемый своими охотниками, день становился праздником.

Любо было глядеть, как мчался он по степи, пригнувшись к седлу и, казалось, опережая коня своим стремительным, гибким

телом, как стрела, рвущаяся с лука. А коней у него было много, один другого лучше,— они были его гордостью, ими он щеголял перед завзятыми конятниками, простодушно забывая, что не конями, а отвагой и чистотой души знатен не только перед знатью, но и перед десятками тысяч простых воинов.

Всего лишь семнадцатый год шел Халиль-Султану, но младшим царевичам он казался бывалым, опытным человеком, и они втайне стеснялись его, считали лестным для себя ехать с ним рядом в походе ли, в степи ли на охоте.

При Халиле, казалось, степь оживала. Отовсюду вспархивала, взлетала птица; показывались газели или, протянув свои зеленовато-золотые тела, мчались прочь степные лисицы. На лис кидали беркутов и, случалось, одну, а то и двух лис удавалось добыть Улугбеку. Это бывали для него дни ликования. Добычу всех охот, будь то утка, дудак или газель, мальчик старательным почерком записывал на бережно хранимом листке бумаги, всегда лежавшем у него за пазушкой.

Раздолье в степи! Перед скачущими мальчиками вскидывались, красуясь, фазаны; тяжело, сердито подпрыгивали тяжелые дудаки.

Весело было стрелять газелей, мчась за ними следом, не чуя коня под собой, видя впереди лишь шустрые тоненькие ноги убегающей дичи. Как ни легки газели, текинский скакун Улугбека оказывался резвей и выносливей.

Какие-то скалы, слоясь, иногда придвигались к самой дороге, и тогда, спешившись, мальчики карабкались с луками наготове выгонять из-за камней голубых куропаток — кекликов.

Пока охотились, у бабушек поспевала еда, казавшаяся всегда вкуснее, чем дома, ибо ее овевал свежий степной ветер, а воду для котлов брали из живых горных рек или глубоких степных колодцев. Вода оказывалась порой солоноватой, но придавала кушаньям непривычный привкус.

На коврах расстилались узорчатые скатерти. Услужливые рабыни окружали обедающих. Улугбек усаживался возле бабушки, великой госпожи, строго наблюдавшей за внуком.

На все дни пути, до длительных остановок, Улугбек и все младшие царевичи освобождались от занятий с учителями.

Иногда внуков вызывал к себе дед, и мальчики скакали, принарядившись, мимо отдыхающих войск, любовавшихся внуками повелителя и выглядывавших того из них, кто смышленей и прытче, и, может, будет когда-нибудь тоже водить войско в походы захватывать новые земли, если к тому времени еще останутся земли, коих не захватит Тимур.

Воины лежали на земле, потягиваясь, развалившись, или прохаживались, разминаясь после седла.

Ремесленники занимались своими делами, склонившись над шитьем или починкой,— шорники, седельники, сапожники.

Важно отправлялись на пастбище табуны развьюченных верблюдов.

Кое-где паслись верблюды под вьюками, когда поклажа не заслуживала особых забот.

Иногда стоянки продолжались лишь день, с утра до вечера, иногда длились дня по два.

Когда приближался вечер, трубачи поднимали над собой отливавшие закатом медные трубы.

И вскоре город в степи складывался, исчезал, словно видение.

Призрачный город исчезал, и опять простиралась до самого неба или до горной гряды извечная, пустая, сухая осенняя степь.

Ветер сдувал с недавней стоянки обрывки тряпья, веревок, шерсть. И коршуны спускались к притоптанной земле, выглядывая добычу.

Лишь по дороге текли, как нескончаемая река, воины, обозы, караваны,— все дальше на запад.

Ржали кони. Скрипели колеса арб. Угасал закат.

Двенадцатая глава

МАСТЕРА

Разные люди жили в Оружейной слободке и не только жили, но там и работали,— мечники и лучники, стрельники и копейщики, бронники и всяких дел кузнецы, не только разных дел умельцы, но и от разных стран выходцы. И хотя в разных верах и обычаях рождены и взращены были эти люди,— раздоры из-за вер или языков между ними случались редко: каждый свою дальнюю отчизну помнил, но тут, вдали от нее, понял, что и в чужеземце нередко бьется большое сердце, а то и в земляке, бывает, вместо сердца гнилая кровь смердит. Многое пришлось испытать и перенести всем им, прежде чем сложилась в них эта приязнь, но, сложившись, она была крепка и нерушима.

И хотя некоторые из старост или старшинок, зажирев, норовили внести раздор между мастерами разных вер, это удавалось ненадолго: едва наступала общая беда, снова друг друга спешили выручить мечник араб и мечник грузин, хотя промеж них и стояла иная вера. А общая беда случалась часто: то купцы норовили скинуть цену на изделия мастеров, со слезами жалуясь на упавший спрос, то продавцы сырья накидывали цену, сетуя, что вздорожал привоз. На все откликался самаркандский базар,— на сборы в поход и на возвращение из похода, на удачи в битвах, когда войска Тимура нипочем распродают добычу, на городские праздники, на дворцовые празднества, рождения царевичей, свадьбы и

смерти,— из всего тщились извлечь прибыль бесчисленные большие и малые самаркандские купцы и дельцы. Другой горным снегом вразнос торгует, а и тут ждет случая, чтобы накинуть цену на снег.

И только мастера гнулись над железом, над медью, над сталью, то наваривая сталь на железо, то вбивая чекан в глухую медь, и не было им времени ни выжидать праздничных спросов, ни спешить ко дню ухода в поход,— и так спешили день изо дня, из года в год, всю жизнь.

Мастерские жались к улицам, откуда виден был весь рабочий день мастеров. Позади мастерских ютились тесные жилища и столь же тесные дворики. У иных во дворах росло деревцо, если было откуда провести через двор плодотворный ручеек. У иных красовались кусты цветов, но вокруг все пахло гарью и железом, стоял нестерпимый для свежего человека свирест и звон. Даже птицы сюда не залетали, даже листья редких деревьев, как и лица здешних жителей, казались здесь темней, чем в других слободках.

Дни похолодали. Кончался октябрь. Работать в прохладе стало легче, работа шла веселей.

Назар с Борисом проработали весь долгий день. Давно ушли с Тимуром в поход исправленные старые кольчуги. Работу Назара в Синем Дворце похвалили, при расчете мастера не обидели, чем еще раз дали понять, что повелитель хороших оружейников ценит.

Но из дворцовых кладовых Назар взял несколько сильно изорванных кольчуг, пообещав на досуге и эти починить и поправить. Взял не из корысти,— взял из почтения к тем стародавним, искусным мастерам, что некогда сковали по десять тысяч сваренных колец на каждую из кольчуг, да еще по десять тысяч несомкнутых, чтобы склепать ими сварные кольца в единую воинскую рубаху. Не простое это было дело сплести двадцать тысяч маленьких колечек,— ряд сварных, рядом склепанных. Каждое целое колечко охватывало четыре склепанных колечка, каждое склепанное охватывало четыре цельных,— так сплеталась кольчуга. И не только сплеталась, а и украшалась двумя-тремя рядами медных колечек,— оторочкой по вороту, по краю рукавов, по подолу.

Видя сколь мелки и ровны были колечки тех древних, может, еще киевских времен, русских кольчуг, взял Назар их к себе и, отковавшись к походу, принялся заклепывать боевые прорехи полюбившихся ему тяжелых рубах.

Они лежали теперь в мастерской, снова целые, снова крепкие, поднятые из дворцового хлама любовной рукой туляка. Но лежали они черные, покрытые ржой и нагаром. Надо было почистить их, ибо еще в летописаниях наших сказано, что страшно врагу глядеть на окольчуженное воинство, когда чистое железо голых доспехов сияет, как вода под светлым солнцем.

И Назар, черными руками перебирая кольчугу, сказал Борису:

— Теперь бы вычистить! Песок найдется?

Но темный песок, коим чистили прежние, сданные в поход кольчуги, давно притоптался на тесном дворике, а песок нужен чистый, зернистый. Такого не было.

— Надо свежего принести,— ответил Борис.

— Где найдешь? Тут, у кого и есть, всем нужен. Надо в другой слободе спросить.

— Я схожу.

— Вместе пойдем. Возьми мешок. Надо и мне разогнуться, глянуть на божий свет.

Долго они лили друг на друга теплую воду, отмываясь от кузницы.

— Завтра в баню идти. Там ужо отмоемся!— сказал Назар, вытираясь.

— А завтра разве суббота?

— А ты, что ли, забыл, какой послезавтра день?

— Батюшка Кузьмодемьян – как не знать,— обиделся Борис.

Близился день Кузьмы и Дамиана, небесных покровителей славянским кузнецам. В этот день по всей Руси никто из кузнецов не работал, а Назар чтил этот день и в дальней земле,— это был день, когда славянские мастера по железу, по стали, по меди разгибались над горнами и как бы озираясь во всю ширину страны своей; смолкали молоты, чтобы кузнецы могли прислушаться к наступавшей тишине, повидаться друг с другом, поговорить о делах своего сословия, прежде чем снова погрузиться на год в лязг железа, грохот и в гарь.

В стародавние времена покровителем кузнецов славянских почитался языческий бог Сварог, а сотни три лет назад, со времени Владимира Киевского, доверили славянские кузнецы свои молоты Кузьме и Дамиану, соединив обоих святых в одном имени — Кузьмодемьян.

Борис пошел через двор к своей мазанке и крикнул в дверь:

— Ольга!

Навстречу ему на порог выскочила худенькая, смуглая до синевы, черноволосая жена Бориса.

— Дай мешок, Ольга! Мешок.

Она исчезла за дверью и долго не показывалась.

Борису не хотелось отставать от Назара, и он ей крикнул:

— Чего копаешься? Давай скорей.

Она появилась, протягивая ему шкуру козьего меха.

Это была подстилка под их постелью, и она не сразу смогла выпростать ее из-под одеял.

Борис было рассердился, а Назар рассмеялся:

— Эх ты!..

— Ну, что это?— строго спросил Борис.— Я тебе — мешок, а ты мне — мех!

Ольга виновато попятилась, а Назар поспешил оправдать ее.

— Ничего, ничего. Обыкнет.

Назар жил один в небольшой келье при кузнице, а Борису уступил свое прежнее жилье, когда Борис женился.

Однажды Назар, глядя в невеселые глаза своего подмастерья, сказал:

— Был я, Борис, женат. Прожил с женой два года: хорошо прожил. Из Белева, она, тож кузнецова дочь с Оки, из Завырья. Захворала она, послал я ее к отцу, думал, там, в яблонных садах, окрепнет. А она там и померла. С тех пор я не женился: кузнецу, как попу, дозволено раз жениться — не то железо слушаться перестанет. А тебе, Борис, пора. Есть тут русские, которых по низовым селам ордынцы выкрали, привозят их сюда, тут продают. Хочешь, выкупи; сходи на базар. Может, найдешь по душе. На такое дело я тебя поддержу, после рассчитаемся. Не найдешь,— ищи тут по слободкам. Найдешь,— я тебе высватаю.

Огонек блеснул в глазах у Бориса и затуманился:

— Что ж я тимурам работников плодить буду? А, дядя Назар?

— Как воспитаешь!

Борис помолчал, но с того дня в базарные дни стал иной раз отпрашиваться в город, и, не спрашивая зачем, Назар отпускал Бориса.

Однажды Борис сказал:

— Видел я, дядя Назар, наших полонянок,— душа у них измятая, об отчем крове скорбят; с такой жить — только сердце мне надрывать, когда сам себя силом тут держишь.

— Сердца не надрывай,— жизнь строить надо с легким сердцем.

Однажды Борис прибежал с базара и застал мастера за какой-то мелкой клепкой, которой Назар любил заниматься без подручного.

— Пойдем поскорей, глянь сам, годится ли мне.

— Ты же себе выбираешь!

— Пойдем, глянь; не то другой кто перехватит, на мученье. У меня сердце просит, а разум молчит.

— Мудрено тебя понять. Пойдем, коль сомневаешься.

Но и сам Назар удивился, когда Борис привел его в тот угол рабьего рынка, где под длинным навесом сидели и стояли пригнанные с Инда пленники. Их было много, и продавали их задешево: они казались хилыми и непригодными к тяжелой работе, а таких не ценили: девушки же больше удивляли, чем привлекали самаркандских покупателей,— они тоже казались хилыми, сухощавыми, да и очень уж темными и кожей, и глазами, столь пугливыми, что ни ласки, ни мысли в них не проглядывало, и это отпугивало покупателей от них.

С тревожным, нетерпеливым сердцем вел Борис за собой Назара по этому печальному, молчаливому ряду, где на смуглых телах слившихся в единую цепь людей кое-где пестрели то белые покрывала с цветной каймой, то коричневые, то темно-багровые накидки, и порванные, и уцелевшие. Продавцы, горячась, выталкивали вперед то одну, то другую из девушек, что-то обычное, бесстыдное выкрикивая им в похвалу, похлопывали потными ладонями по дрожащим, будто в ознобе, телам. Сдвигали или срывали с пленниц покрывала, чтоб прельстить покупателя.

— Ты тут выбрал? — спросил Назар.

— Идем, идем. Тут!

Назар видел не то что пугливые, а какие-то обмершие, но горячие, иногда влажные, темные глаза, десятки глаз, смотревших куда-то мимо людей, но, казалось, даже и при взгляде на людей ничего не видевших. А телом все тут были схожи,— тоненькие, натертые для вида маслом, сжавшиеся, понурые. Продавцы успевали их неприметно ткнуть в бок пальцем, чтоб взбодрить, но этой бодрости ненадолго хватало.

— Идем, идем, не купил ли уж ее кто... Ан... Вот она!

Назар не заметил ничего, чем отличалась бы показанная девушка от всех остальных. Среди остальных были и приятней лицом, и рослее.

— Эта?

— Только не гляди прямо: купец заметит, такую цену заломит, что не выкупишь.

— Ладно. А чем она... Она тебе и понравилась?

— Эта подходит.

— А может, по ремесленным слободам сперва поискать из свободных? С теми хоть поговоришь. А с этой и говорить не сможешь! Она ведь не по-нашему... А?

— Язык-то? Пускай. Пока по слободам расспросим, этой уж не будет. Тогда что?

— Себе выбираешь. Сам решай!— И торопливо предупредил.— О деньгах не сомневайся, найдем.

И они выкупили и привели домой эту пленницу.

Они сели у себя во дворе, и Назар смотрел с удивлением на избранницу Борисова сердца.

«Чем она краше остальных?— думал Назар.— Там краше были и рослее! Вот, сердце-то человеческое!»

Она сидела между ними, положив подбородок на высоко согнутые колени, чуть скосив голову набок, и вслушивалась в их странный, медлительный, тяжелый язык.

Назар, взяв ее беспомощную, лиловатую, узенькую, как у обезьянки, руку на свою широкую крепкую ладонь, с любопытством разогнул и посмотрел ее маленькие пальцы.

— Глянь, какие тоненькие, остренькие. Мне б такие,— а то как мелкую работу делаю, сила-то мне мешает.

Борис засмеялся: так не вязались эти почти игрушечные пальчики с могучей десницей мастера.

Девушка, услышав грудной смех Бориса, посмотрела на молодца живым, теплым взглядом. Ей показалось, что после мучительных дней плена, после произвола хмурых, насмешливых воинов, впервые послышался душевный, человеческий голос.

Видно, с этой минуты, сперва с горя, а потом и от души, началась ее любовь.

— Тут и обвенчаться-то негде!— с укором сказал Борис, будто Назар виновен, что в Самарканде нет ни попа, ни храма.

— Бог видит. Будете на своей земле, там и повенчаетесь.

Назар сказал это так, словно у них обоих одна земля, у Бориса и у этой... как, бишь, ее звать?

Она догадалась, не без усердия, о чем ее спрашивают, и назвала свое имя.

Тут впервые оба кузнеца услышали ее голос,— до того она молчала, сжимаясь в комок, едва ей что-нибудь говорили.

Имя у нее оказалось непонятным, с каким-то гортанным окончанием и, уловив сходство в ее имени с привычным, русским, оба — сам Борис и его посаженный отец Назар — назвали девушку с Инда, как звали княгиню с Днепра,— Ольгой.

Шесть месяцев прошло, и уже многое начала понимать Ольга в русском языке. А вот с мешком оплошала.

Вскинув пустой мешок на плечо, Борис вышел следом за Назаром, и они пошли по улице в гору, обмениваясь приветствиями с многочисленными знакомцами, что-то ковавшими или паявшими в сени своих настежь раскрытых мастерских.

— Душа в ней певчая, голубиная. А язык не дается. Никак!— жаловался Борис.

— Обыкнет!— успокоил его Назар.— Нам и то оно не сразу далось. Сперва каждое слово с боку на бок переворачивали, как камень. А ведь обыкли.

— Намедни Ахметка, угольщик, смеется: «Ты, говорит, русом не прикидывайся. Чужой человек нашим языком так не говорит. Русы говорят, будто топором рубят, а у тебя я сам своему языку учусь,— он у тебя поет».

— Обыкли. Главное, суть понять. Я уж и с персами говорю без сраму. Не токмо понимают, а я уж и сам вижу, коли из них кто нехорошо говорит. Они ведь тоже не в каждом городе чисто говорят; на своем природном, а тоже спотыкаются. Иной раз такое слово скажут, что взял бы да поправил. А потом, думаю, ведь и у нас так,— очень-то осторожно только чужеземцы говорят, а свой народ в родном языке не стесняется — у каждого города своя речь.

Они шли переулками, где жили персы: и давние, испокон веков поселившиеся здесь выходцы из Ирана, и мастера, согнанные в Самарканд войсками Тимура. Персы разместились тут и ютились не по сословиям, не по ремеслам, а по языку, по вере.

На углу их слободы темнел большой четырехугольный пруд, обросший раскидистыми чинарами; была на краю пруда своя большая харчевня, откуда пахло крепкими приправами и какой-то душистой травой, которую там продавали пучками.

После долгого молчания Борис снова заговорил:

— Дядя Назар! А ведь и я в ее языке кое-что понял. Трудно, вязкий язык.

— Сперва всякое дело вязко.

— Да я не отступлюсь, я пойму.

— А что ж? И поймешь, не бойся. Ты смелей, она тебе жена,— ошибешься, помилует, поправит. Перед чужим человеком стыдно оплошать. Это правда, перед чужим человеком голову выше держать надо. А со своим... чего ж?

Они миновали персидский пруд, и Назар сказал:

— Тут, у каменщика, у Мусы, нет ли песку. Пойдем, зайдем.

Переулком, столь узеньким, что идти пришлось боком, они дошли до низенькой двустворчатой двери с такой искусной, мелкой, затейливой резьбой, что Борис, впервые зашедший сюда, восхитился:

— Вот бы нам такую решеточку выковать!

— Тут исконные мастера... Еще и не такое увидишь!

Медным чеканным молоточком Назар звякнул о похожую на ромашку шляпку гвоздя.

Они вошли во двор, и стало им не до того, чтоб разглядывать вещи.

В тени, под навесом, на камышовой плетенке, обратясь кверху спиной, лежал человек. Спина его, вся искромсанная, потемнела от багровых ран и синих подтеков.

Жена и сынок сидели над ним на земле и поочередно, устало, однообразно помахивали соломенным веером над уже обветрившейся, но воспаленной спиной. Видно, легкое дуновение веера облегчало больного.

— Что это?— запнулся Назар.— Кто его?

Женщина, стыдливо заслонившись покрывалом, ничего не сказала, а мальчик опустил лицо, чтобы утаить слезы.

Борис остался у калитки, а Назар подошел к больному и увидел его большой, глубоко запавший глаз, внимательно смотревший в глаза Назару.

Женщина встала и ушла, как повелевала скромность, чтобы не мешать разговору мужчин, и мальчик один остался, помахивая веером над отцом.

Кузнец опустился возле головы больного, из-под которой высовывалась худая рука с длинными, узловатыми пальцами.

— Муса! Кто же это? — сокрушенно нагнулся Назар.— Кто ж это? А?

Муса тихо, но твердо ответил:

— Правитель.

— Чего это он?

— Для вразумления,— не роняй кирпич — раз; а секут,— кричи, кайся, тешь палача; а терпишь, когда страдать должно, не смей терпеть — два.

Назар, нахмурившись, помолчал; погладил жилистой ладонью кузнеца шершавую ладонь каменщика.

Оба молчали.

Но молоток у калитки звякнул, и во двор вошли двое неизвестных Назару. Один был худ, мал, кривоног, очень подвижен, но, видно, ловок и крепок, хотя было ему не менее пятидесяти лет.

Реденькая русая бородка его почему-то была сдвинута набок, росла ли она так, набекрень, отгладил ли он ее так, но от нее и все его лицо казалось склоненным набок, будто он все время во что-то вслушивался или вдумывался, во что-то очень важное для него.

И когда хриповатым голосом он заговорил, и тогда казалось, что, говоря, он продолжает во что-то вслушиваться, сощурив маленькие глаза.

С ним пришел рослый человек, прямой, плотный, с густой длинной бородой, которая казалась слишком большой для его молодого лица, словно чужая, подвешенная. Он внес двух связанных пестрых кур, мотавших головами около его каблуков; отдал кур мальчику и отошел к Борису. А старший вошел, словно сразу всех увидел. Приложив руку к сердцу, он опустился на корточки возле больного и, встретив взгляд Мусы, долго смотрел в этот большой, пытливый глаз. Между ними, пожалуй, шел разговор, очень значительный для обоих, если можно называть разговором эти, так понимающие друг друга, их взгляды.

Наконец гость прохрипел:

— Потерпи, Муса. Заживает.

— Терплю.

— Заживает,— я вижу.

— Терплю.

— Наше дело терпеть. Стиснуть зубы и терпеть.

— За то и терплю.

— Пускай! Зато они задумаются, когда увидят, сколь мы выносливы, сколь тверды. Ты их отхлестал, а не они тебя! Спина заживет, а их твердость шатнется.

Потом он повернулся к Назару:

— Я вас знаю, мастер.

Он протянул руки к руке Назара.

Скользнув ладонью по сухой, горячей, быстрой руке, Назар удивился:

— Откуда?

— Вот, от Мусы.

Но Муса думал о словах гостя, тихо бормоча:

— Шатнется? А не разгорится ли ярость, свирепость их? Свирепость их нам страшней, чем их твердость. Твердость — дело их-нее, а свирепость на нас сорвут.

— А в диковину ль нам их свирепость?

— В диковину ль? Нет, мы на все готовы. В прежние годы потому и звали нас висельниками.

— Не нас, дядя Муса. Сами мы так себя называли. Когда мы шли на борьбу, мы клялись либо изгнать монголов с отчей земли, либо погибнуть на виселицах. Загодя обрекали себя не на пир, а на виселицу, только б своей дорогой идти. Своей!

И гость объяснил Назару:

— Мы назывались висельниками, сарбадарами. Это персидское слово. Вот Муса — перс, это его слово.

— Хотя и не наше: это по-таджикски — сарбадор, а по-персидски — сербедар, по-джагатайски — асилян... Или как? Разве дело в том, как сказать слово? Дело в том, как его понимать. Верно?

— Верно, дядя Муса!

— Так...— задумался Назар,— так... Мы вот тоже... Объединялись супротив монголов. Только мы идем не отдельными общинами, а всем народом.

Гость покосился на Бориса:

— Это кто с вами, брат Назар? Мы говорим-говорим, а не знаю...

— Был ученик, теперь подручный. Не сомневайтесь: я бы вас остерег.

— Не обижайтесь,— повернулся гость к Борису,— мы говорим-говорим, а ведь это не всякому скажешь.

— У нас с дядей Назаром жизнь одна,— ответил Борис.

— Одна? Истинно. И мы были народом, брат Назар! Пахари, ремесленники, садовники, рабы, городская голытьба, весь простой народ. Были с нами и многие из купцов; и книжные люди, вроде сына мавляны. Но мы шли за Абу-Бекром Келави. Это был простой человек, трепальщик хлопка. А тот, бородатый,— показал гость на своего спутника, севшего на землю у стены рядом с Борисом,— этот Хасан-ходжа, сын того сына мавляны. Но мы шли за Абу-Бекром Келави.

Хасан-ходжа проворчал:

— Мой отец не виноват, когда Тимур казнил Абу-Бекра, а моего отца пощадил. Отец был со всеми.

— Со всеми, и хорошо бился. Мне тогда семнадцати лет еще не было, а я его запомнил: хорошо бился. Но ведь он был среди своих, с нами говорил мало. С нами был Келави, а твой отец — с купцами, с учениками из мадрасы, с муллами, которые боялись монголов...

— Когда это было?— спросил Назар.

— Тридцать пятый год идет с тех пор.

— С монголами бились?

— С ними. Тогда по всей нашей земле самоуправствовали монголы. Не было от них житья. Ни ремесленному люду — нас заставляли, как рабов, работать; голодом морили. Ни земледельцам,— у них поля скотом травили, не давали урожай собрать; а кто соберет, тем даже на семена зернышка не оставляли. Ни купцам, которые помельче,— у них брали, что понравится, задаром; из города выехать за товаром не пускали. Большим купцам давали пропуск за большие деньги, тем был расчет от такого порядка: все караванные пути к рукам прибрали, а простым купцам стало невмоготу. Города запустели, нечего есть стало в городах. Негде стало на лепешку заработать.

— Так и у нас было!— кивнул Назар.

— Вот мы и перемолвились промеж собой, ремесло с ремеслом, город с городом, по всей стране, по соседним странам, куда дошли монголы со всеми теми людьми. И поклялись: лучше на виселицах сдохнуть, чем под монголами жить...

— Как у нас!..— повторил Назар.

— Истинно: как у вас.

— А разве про нас слыхали?— удивился Назар.

— Слыхали: мы во все стороны поглядываем, где кто и где как.

Гость начал было говорить дальше, но, глянув своим острым взглядом в глаза Назару, добавил:

— Знаем про вас, потому и говорим при вас.

И возвратился к рассказу:

— К нам тогда и пришел дядя Муса. Из Сябзавара, у них там свое царство было, сарбадорское...

— Из Себзевара по-нашему,— поправил Муса,— из Хорасана.

— Дядя Муса тогда помоложе был...

— Двадцати лет!— подтвердил Муса.

— И смело бился!

Назар спросил:

— А как же до боя дошло? Как с силами собрались? Одно дело — словами перекинуться, другое дело — войском стать.

— Истинно: войском собраться непросто было. Наши эмиры с монголами ладили. На службу к монголам шли. А войском эмиры правили, других войск не было. Поначалу мы исподволь боролись. Исподволь, но повсюду. То застигнем в деревне слабый отряд,—

порежем грабителей. То в пустой улице встретим двоих-троих,— проткнем их в спину. Искали мы себе воеводу, да они все затаились, к монголам припали. И сам Тимур служил у монгола, у хана, у Кутлуг-Тимура. Вроде визиря он у хана был. Но мы стояли на своем: мы знали, как такие, вроде нас, борются с чужим игом. Ведь вон у них, в Хорасане, еще лет за тридцать до нас сильное войско собралось. Отбились от нашествия, прогнали монголов, прогнали и всех, кто монголам мирволил, больших купцов прогнали с базаров, больших хозяев прогнали с земель. Понизили налог с народа, рабов допустили в войске служить, оружие рабам доверили, а случалось отличиться рабу, от неволи освобождали, возвышали, ставили начальником над воинами. Это большая сила была, а нам — великий пример. Они в главном своем городе, в Себзеваре, по-ихнему, правителя себе избрали Яхья-ходжу...

— Какой человек был!— поддержал Муса.

— Еще бы! Они от своего имени деньги чеканили!

Муса поднял голову, повеселев:

— Я доныне храню горсточку, не расходую; нуждаюсь, а храню: она мне дороже, чем мешок серебра, эта горсточка.

Но гость остерег хозяина:

— Лежи тихо, дядя Муса!

И продолжал рассказывать Назару:

— Разве это не ободряло нас?! О! Мы видели: не год, не два, а целых тридцать лет держится этакое царство. Маленькое, с ладонь, а никто не может его осилить! Это давало и нам силы. О!

Муса хотел было что-то сказать, но закашлялся и снова опустил голову, глядя куда-то в сторону запавшим глазом.

— Устал?— спросил Назар.

— Отдохни!— предложил гость.— Лекарь ходит?

— Ничего, сейчас отдышусь. Ходит.

— Чем лечит?

— Лежать, молчать. На солнце не лежать, а на ветерке. Черного винограду не есть, а белый. Баранину не есть, а курятину... Когда меня принесли...

— А кто? Я еще не слыхал,— сказал гость.

— Землекоп. Землю там копали. Вечером, когда я отдышался, он видит: я в память пришел. Закинул меня на закорки и донес. А как звать, не знаю: по-персидски не понимает, по-джагатайски не понимает. А куда нести, понял: «К персам?»— спрашивает. «Неси!»— говорю. Когда донес, тут я ему свой дом указал. Как его звать, не знаю: там их больше сотни согнано землю рыть, а откуда, не знаю... Когда меня принесли, кожи у меня на спине не было, одни клочья. Кликнули лекаря. Он травы нажевал, наложил на мою спину, сразу отошло. А какой травы, не знаю. Третий день, как снял с меня траву. «Теперь, говорит, ветерок нужен, прохлад-

ный ветерок,— кожа нарастать будет». Твой подручный, брат Назар, нашу речь понимает? А то я говорю-говорю, а не знаю!

— Понимает, брат Муса.

— Хорошо!— и Муса, устав, закрыл глаз.

— Борис, сходи, принеси винограду белого. Надо нам больного попотчевать.

И объяснил гостю:

— А то мы сюда шли — про болезнь его не знали.

— Да и я не сразу услыхал!— ответил гость.

Борис пошел, было, но вернулся и кинул на свое место мешок.

— Я тут оставлю, дядя Назар.

— Оставь.

Муса не понял их языка, открыл глаз и спросил:

— О чем это он?

— Пустое, мешок. Мы с ним шли чистого песку поискать, зерчистого.

— А! Возьмешь, сколько надо, на том дворе есть. Сынок тебе вынесет.

— А как же та битва сложилась?— спросил Назар у гостя.

— Битва? Я уж говорил: наш Тимур тогда монголу Кутлуг-Тимуру служил. Потом повздорили они. А когда сын того монгола Ильяс-ходжа пошел из Семиречья на нашу землю, Тимур собрал войско, с нашим эмиром Хусейном вместе; пошли они навстречу Ильясу-ходже, бить монгола. И побили бы, да бог не хотел: когда они около Чиназа встретились, такой полил дождь, вся земля размокла, одна грязь кругом. Лошади не идут, оскользаются, валятся. А у Тимура и тогда, как и ныне, весь расчет был на конницу. Конница при такой погоде не годилась, и побил Ильяс-ходжа Тимура с Хусейном. Начисто побил! Еле ноги унесли Тимур с Хусейном, едва успели через реку Сыр переплыть. О Самарканде и думать забыли, до самой реки Аму бежали, Хусейн и за Аму перескочил, в Балхе укрылся. Вот как...

— Ну, а потом?— нетерпеливо допытывался Назар.

— Ильяс-ходжа переждал дождь в Чиназе, обсушился и через Джизак пошел на Самарканд. Народ узнал об этом, видим,— беда: наши воеводы от монголов сбежали, надеяться нам не на кого. Толпимся мы на улицах, на площадях... Выходит вперед наш трепальщик хлопка Абу-Бекр Келави. Сзывает народ, призывает отбиваться своими силами. Мы его поддержали. Пришел к нам и сын мавляны; пошли они в соборную мечеть. Ты, дядя Муса, помнишь? Ты тогда уже среди нас был.

— Я раньше пришел: меня Яхья-ходжа к вам послал месяца за три до того, поразведать, не нужно ли вам чего.

— Пошли они в мечеть. Собралось туда народу тысяч десять.

Много народу собралось. Сын мавляны хорошо речь сказал. Вышел перед народом в чалме, халат ремнем опоясан, на ремне — меч. Хорошо сказал: о нашей земле, о простом народе, которому честно жить не дают. О купцах, которым из города не выехать. О муллах, которым молиться не дают. Своими словами он всех соединил. Были недовольные, недовольные везде есть, да не посмели спорить, молча уползли в свои щели. А мы принялись готовить город. Стен тогда вокруг Самарканда не было. Их еще Чингиз-хан порушил. А поставил их потом уже сам Тимур. У нас тогда строить новые стены ни сил, ни срока не было. Мы заложили снаружи все въезды в город, все улицы; оставили один въезд, на Большую улицу, от нынешних Железных ворот, с Афросиаба. А все переулки, все выходы с большой улицы тоже заложили. Так... Когда подошел этот Ильяс-ходжа, прошелся вокруг города, видит: все проезды между домами заложены, а на домах мы стоим. Попробовал было на нас кинуться, мы отбились. Он еще,— мы еще отбились! Если б тогда вы посмотрели, как мы отбивались! Среди нас бухарец был, Хурбек,— он так стрелял, ни одной стрелы мимо! Ни одной! А за ним и другие тянулись, друг перед другом. Дружно бились. Малые ребята и те не отставали, собирали монгольские стрелы, нам сносили. Отошел Илья-ходжа. Отошел, и опять вокруг города кружит. Наконец собрал свои силы и решился: ворвался на Большую улицу, а мы только того и ждали! Ударили мы с крыш, сверху,— пришельцам ни назад попятиться, ни в сторону свернуть. Сзади свои напирают, сверху наши бьют. Сами своих они там давили. Тысячи две их там полегло, пока вырвались. Постоял-постоял за городом Ильяс-ходжа, так и не решился на битву: ушел. На том мы с ним и расстались. Вот как это было.

Муса задумчиво проговорил:

— Будто вчера, а уже тридцать пять лет прошло.

Он поднял голову и посмотрел куда-то в сторону, словно его измученному телу давнее воспоминание прибавило сил.

Гость помолчал.

Муса снова опустил голову на руку и сказал:

— Все верно.

Тогда гость продолжал свой рассказ:

— Целый год мы хозяевали в Самарканде. Год! Мы поступили, как было у Яхьи-ходжи в Себзеваре. Муса нам помогал, да не один он был у нас оттуда. Снизили подати. Устроили войско. Прогнали больших хозяев. Дали поблажки рабам. Совсем их освободить не решались: среди нас много владельцев было, они разорились бы, озлобились бы, началась бы у нас междоусобица. Но облегчение рабам, какое могли, дали. Больше бы дали, да не успели. Был у нас твердый порядок. Дружба. Хорошая жизнь. Целый год! Перезимовали. Наступила весна. Ужс сады цвели, слышим: идет к Са-

марканду наш эмир Хусейн и с ним Тимур. Тогда считался эмиром нашим Хусейн, а Тимур при нем — вроде визиря...

Гость молчал, глядя, как и Муса, куда-то в сторону, словно переглядывая те далекие дни. Мальчик мерно помахивал веером, хотя день не был зноен, но не был и холоден,— в свои последние дни осень отдавала земле остатки неизрасходованного тепла.

Назар не хотел нарушать этого раздумья и ждал, пока гость сам заговорит. Гость вскоре продолжил рассказ:

— Вот так и вышло. Подошли к нам Хусейн с Тимуром, остановились за городом, на Кани-Гиль, и прислали нам сказать, что прощают нас за самоуправство, обещают забыть наш бунт и соглашаются опять нами править.

Гость усмехнулся:

— А Келави им хорошо ответил: «Мы, мол, прощения не просим. Это раз. Бунта не совершали, ибо власть свою здесь установил сам народ. Это два. А согласия на то, чтоб править нами, у них не просим, потому что и город обороняем и городом правим твердо и счастливо. Это три».

Назар одобрительно кивнул:

— Крепкие слова.

— Да. Прошло за этими переговорами недели две, не помню, сколько. Присылают они снова сказать, что желают говорить с нашим старшиной. А старшин у нас двое,— Абу-Бекр Келави и сын мавляны. Келави говорит: «Я им не верю. Не надо ходить туда». А сын мавляны спорит: «Тимур с Хусейном, говорит, бились против Ильяса-ходжи, как и мы. Если и разбил их Ильяс-ходжа — это божья воля: дождь монголам помог. Зачем нам, мол, ссориться с теми, кто заодно с нами против общего врага идет? Пойдем с чистым сердцем, поговорим».

Гость горько усмехнулся:

— Муллы умеют красно говорить. Они поддержали сына мавляны, затеяли с нами спор, на коране клялись, что ручаются за слова Тимура. Напоминали, как в борьбе с монголами Тимур был заодно со всеми сарбадорами. По их речам выходило, что Тимур — сам первый сарбадор. Потом они читали из книги, что велик грех, если кто поднимается против правителя, установленного богом, или раб против хозяина своего, а Хусейн, мол, законный кровный наш эмир, и всякое прекословие ему противно богу. Может, мы и не уступили бы ему город, но кто нас перекричал? Нас было в десять раз больше с Келави, но сын мавляны со своими муллами и книгами нас переговорил, перекричал, переломил. Послушали мы ученых мулл, послали к Тимуру с Хусейном нашего Келави с сыном мавляны. Послали... И не знаем, какой разговор был у них на зеленом поле Кани-Гиль. Не знаем. Только узнали, что Келави они казнили, а сына мавляны отпустили, даже оставили в мадрасе,

продолжать ученье. А сами въехали в город и принялись править по-своему. Через несколько лет Тимур прирезал Хусейна и начал править один. Обманул он нас, всех обманул. Так и кончилась наша жизнь.

— Так и кончилась?— недоверчиво спросил Назар.

— Так кончилась. Другая началась. Разве нам теперь подняться, как прежде, когда у Тимура одной конницы тысяч... более двухсот. У кого еще столько силы было? Нет, если мы все вместе поднялись бы, он вместе всех и задушил. Всех вместе, разом. Нет, мы разобрались, мы поняли, что такое Тимур. С монголами было тяжко, а с этим, со своим слаще ли? Те чужие, придут и уйдут. А этот — здесь, этот никуда не уйдет. Этот здесь год от году крепнет. Но мы поняли, мы знаем, кто таков Тимур.

— И что же?— любопытствовал Назар.

Гость молчал. Он сидел, утомленный ли долгим рассказом, удрученный ли воспоминаниями. Наконец он поднял лицо к Назару:

— А? Вы что-то спросили?

— Значит, на смену монголам пришло другое войско, и народ присмирел, радуется, ликует?..

Гость повернулся к Мусе, и встретил его настороженный взгляд:

— Как, дядя Муса?

— Как? Я так думаю: русы тоже боролись с монголами. Их, сказывают, тоже долго чужое иго давило...

— Да и теперь еще...— подтвердил Назар.

— Теперь не столь, как нас!— возразил Муса и ободрил гостя:— Они поймут, пускай знают.

И гость сказал:

— Мы и посейчас боремся. Пока не доканаем ихней воли, пока себе воли не выборем, не перестанем бороться.

— Легко сказать!..— усомнился Назар.

— Нынче у нас монголов не видать. Схлынули с наших земель, а кои остались,— переродились. Их место свои заняли.

— Какие это?

— Такие! Над родным своим народом двести тысяч мечей занесли. Над другими народами пуще чингизовых орд измываются. Легче ли тем народам от нынешнего Тимура, чем от прежнего Чингиза? Легче ли? Над вами Орда потеряла силу, как ни тужится вернуться на вас, да вы крепки. А над нами прежнюю, монгольскую, власть свой, Тимур, взял. Нас-то он тешит, бережет, а и то. А другим каково — персам, индийцам, хорезмийцам,— им каково? В Индии, в Армении, в Азербайджане — везде его сынки да дружки расставлены, везде вершат его волю, слушают его слово. Всем этим людям, тысячам тысяч людей, весело ли смотреть на нашего повелителя?

— Весело, да глазам больно!— ответил Назар.

— Можно ли нам перед другими людьми гордиться этаким своим повелителем, в глаза им смотреть? Стыд!

Он помолчал. Назар спросил:

— А те, в Хорасане, как?

— Сарбадоры?

Муса поднял голову, и гость, предугадавший волнение Мусы, поспешил ему сказать:

— Лежи, лежи, дядя Муса.

Муса опустил голову:

— Эх, Хорасан!..

Глядя на Мусу, гость сказал:

— Восемнадцать лет назад Тимур их задавил. Сам туда ходил, сам давил. Нет ныне того царства. Сорок пять лет их царство держалось. Против монголов устояло, против своих вельмож выстояло. А против Тимура не устояло. Царства нет. Но сарбадоры — народ. Царство разрушить можно, а целый народ разрушить можно ли? Шею людям можно согнуть, а ум согнуть можно ли? Они успели разойтись врозь, чтоб он их разом не истребил. Он пришел, а они уже разбрелись. Кого изловил, тех привел пленниками, рабами, а они в рабстве прежними думами думают, прежней любовью любят.

— В такой любви — главная сила!— сказал Назар.

— С этой любовью мы и держим свою клятву.

— Какую?

— Бороться.

— Как?

— Рушить под ним опору. Он на кого оперся? На больших купцов, на хозяев больших земель, на войско. Если каждый из нас купца собьет с дороги, от эмира поможет рабам сбежать, среди воинов единодушие порушит, будет ему это в радость? Нет, не будет. А ведь нас тысячи! Мы и среди воинов идем в поход, и среди крестьян ходим по землям эмиров, и среди караванщиков товары возим, мы и оружие куем, мы и одежды шьем, мы и коней растим, и крепости строим — мы везде.

— И как же?— спросил Назар.

— А так: если каждый за неделю хоть одно дело сделает, что противно Тимуру, так за год тысячи людей многое сделают. Многое!

— Назар согласился:

— Народ силен, когда у него одна забота.

— Силен! Вот вы ему кольчуги чинили. Мы знаем, нельзя вам было отказаться. А зачем вы еще рваные взяли? Их можно было кинуть, пускай ржавеют.

— Жалко было,— работа хороша. А вы и про них знаете?

— Знаем. Взяли три кольчуги и видели: вы их починили. А ведь три кольчуги троих воинов от многих сот безоружных людей защитят.

— От безоружных и одним мечом можно отбиться.

— Можно! Да не лучше ли кольчугой добрых людей закрыть, а не захватчиков от народного гнева?

— Ну что ж, я могу и не вертать тех кольчуг. Скажу,— совсем, мол, распались; нечего, мол, было чинить.

— Ваше дело.

— А не общее?

— Вам виднее.

— А зачем вам?— хитро прищурил глаза Назар.

— Наш человек поднаденет ее под халат, смелее пойдет на трудное дело.

— А часто бывают трудные дела?

Переглянувшись с Мусой, гость кивнул:

— Бывают!

— А зачем?

— Наши люди есть в Синем Дворце, есть в царских садах, есть среди стражей, стоят с голым мечом за спиной Тимура,— мы все видим. Недавно было: послал он товар, пограбленный в Индии, продавать на севере. Тех товаров на базаре еще нет, у купцов еще нет, а он спешит, пока цена не упала. Ему не так дорог товар, как дорого опередить купцов. Мы тот караван сбили с дороги...

— Около Кургана?

— Там.

— Смелое дело!

— Не очень,— в охране пошли наши люди, среди караванщиков — наши люди. Старшие задремали впереди, младшие не дремали назади.

— А надо ли было его свирепить?

— Надо! Он неделю просвирепствовал, из города в поход не шел, опасался.

— А куда добро дели?

— В стороне от Кургана есть ямы, где кирпич жгут. Там вьюки разобрали, приметный товар сожгли, сокровища и оружие спрятали,— в черный день пригодятся нашим братьям. Золотые изделия вам в кузню принесем,— переплавить, чтоб тех вещей не опознали.

— Приносите. Не сомневайтесь.

— Если б сомневались, не говорили бы.

— Я понимаю!— тихо сказал Назар и закрыл ладонью глаза, чтобы собеседник не заметил в них слез, ибо не честь мужику выказывать свои чувства.

— Недавно он послал человека в Орду,— добавил гость,— хочет взять Орду в свои руки, сам ее укрепить, сам ею ударить по вашей земле. Велел искать Тохтамыша: хочет Тохтамыша поднять, Едигея свалить. Орду сделать послушной.

— Так!— насторожился Назар, и глаза его сразу стали сухими.

— Мы послали двоих с наказом: остановить того купца.

— Зачем?

— Задержать время. Пока Тимур снова соберется туда послать, пройдет много времени.

— А как остановить?

— Словами его не остановишь!— строго ответил гость.

— Так...— задумчиво говорил Назар.— Так...

— Если он Орду осилит, тогда разгуляется. Тогда и нас здесь скрутит в бараний рог.

— И что ж тот купец?

— Вот, Хасан-ходжа нынче вернулся: купец не доехал до Орды.

— Вот ты какой!.. Назар протянул руку Хасану:

Звякнув по двери молоточком, вернулся Борис.

Вечерело, когда, взвалив мешок на плечо, Борис пошел домой вслед за молчаливым Назаром.

Многие из мастерских закрывались: в их глубине стало темно работать. Купцы шли с базара, неся семьям узелки с припасами.

Город затихал.

Уже стемнело, когда кузнецы вернулись к себе.

А едва проступила в небе осенняя предрассветная синева, Назар кликнул Бориса.

Они засунули черные кольчуги в большие глиняные корчаги, засыпали их светлым песком и принялись толстыми палками перемешивать там песок и кольчуги.

Ольга, глядя на усердие мастеров, улыбалась: так в корчагах толстыми палками горянки в Афганистане и в Индии сбивают масло.

Наконец руки мастеров устали, и тогда они повалили корчаги и долго катали их по земле.

Когда они достали кольчуги из корчаг, стряхнули и стерли с них почернелый песок, доспехи засияли, как чистые ручьи под багряным светом восходящего солнца.

— Нет!— сказал Назар.— Я не отдам!

Мастера бережно свернули их и снова уложили в корчагу.

Вырыли яму, закопали корчагу, сверху землю засыпали песком, и обоим кузнецам показалось, что там, в корчаге, у них запрятано про запас не только надежное железо, но и отблеск зари.

Тринадцатая глава

СУЛТАНИЯ

Уже брезжило утро над Султанией, богатым городом, раскинувшимся в ровной степи. Вокруг города не было стен, а стояли лишь высокие крепкие башни. Из-за их суровых плеч поднимался, растекаясь по небу, осенний рассвет. Во дворе ржали кони, ожидавшие своих нарядных хозяев, а хозяева толпились у крыльца, ожидая Мираншаха.

Мираншах, старший из двоих оставшихся в живых сыновей Тимура, покрикивая на слуг, неповоротливо одевался.

Многим из царедворцев хотелось отдыха, а не выезда на охоту. Хотелось отдыха после веселой ночи, когда праздновали, пировали, пили вино и любовались плясками пленниц и шествием рабынь, из которых любую Мираншах мог подарить гостю.

Мираншах, покряхтывая, одевался. В полутемных комнатах крепко пахло благовониями, щедро растраченными на вчерашнем пиру.

Царевичу не было еще и сорока лет, но после падения с лошади, когда он ударился головой, все тело сделалось непослушным: ноги стали вялыми и плохо держали его большое тело, хотя осталась прежняя привычка двигаться быстро.

Когда он, наконец, пошел по глубоким коврам, ему пришлось часто переставлять ноги, чтоб держать свое тело с надлежащим достоинством. Он почти бежал, вытянув вперед плотное, холеное лицо с большим приплюснутым носом, белое лицо, увенчанное темнорусыми волосами, обрамленное царственной черной бородой.

Так, мелко переставляя ноги, в раздувающемся халате, он, посапывая, проследовал перед слугами через большую залу. Дворцовый есаул посмел его задержать сообщением, что третий день в подворотне ждут гонцы и проведчики, дожидающиеся допуска к правителю.

— Ты ослеп, а? Выживаешь из ума: мы едем охотиться, а ты задерживаешь болтовней о слугах. Подождут до вечера.

— Я полагал, нет ли чего-либо важного?..

— Нет ничего важнее воли правителя, а он спешит — не то мы упустим время перелета! Глупец!

И снова его толстые, тяжелые ноги мелкими шагами заспешили по ковру к выходу. Он надел соболью шапку с острой макушкой и даже не взглянул на нескольких пыльных, усталых воинов, видно, откуда-то издалека прискакавших сюда.

Висевшая на его правой руке плетка метнулась своим ременным хвостом, когда он мановением руки приветствовал собравшихся.

Коня подвели ему к высокому порогу, чтоб царевич мог, не поднимаясь в стремя, сесть в седло — Мираншаху стало трудно под-

ниматься в седло, даже если его подсаживали: тело его не было ни ожиревшим, ни одряхлевшим, но стало непослушным.

Мираншах проверил, крепко ли пристегнут позади седла колчан со стрелами, удобно ли приторочен к луке седла шелковый аркан с петлей на случай встречи с табуном диких ослов. Давно никто не встречал здесь этих табунов, но Мираншах желал быть готовым на случай нежданной встречи. Аркан свисал с луки мягкими кольцами и слегка заскрипел под ладонью царевича.

Конь присел под Мираншахом и завертелся, было, но привычной рукой Мираншах тотчас укротил его и подчинил себе.

Нарядные конюхи побежали, ведя под уздцы Мираншахова коня, двинулись на поджарых лошадях сокольники и кречетники, держа перед собой ловчих птиц, накрытых синими клобучками.

Баловали застоявшиеся лошади, пока не вышли со двора на большую улицу. Тогда конюхи отпустили поводья царевичева коня, и все помчались полной рысью по городу.

Жители мгновенно скрывались, едва заслышав топот царской охоты.

Лишь на верха башен торопливо выбегали люди: это воины спешили попасть на глаза своему правителю, чтобы показать свое усердие и готовность.

За городом, в степи, было сыро и ветрено.

Стая перелетных птиц протянулась по мутному небу, и Мираншах поскакал ей наперерез, не разбирая дороги.

Спустив кречетов на дичь, поехали шагом, ревниво соперничая между собой своими ловчими птицами, их быстротой и хваткой.

Наконец показался раскинутый среди ровной степи просторный шатер, куда сквозь легкие шелка уже просвечивало румяное солнце.

Здесь предстоял привал после жаркой скачки и желанный отдых охотников.

Но из города прискакали трое воинов и просили визиря выслушать их. Визирь, едва спустившийся с седла, еще не успев отдышаться и размяться, сердито пошел к ним.

Визирь шел с нарочитой медлительностью, дабы показать воинам, что ему сейчас не до них, что он лишь милостиво снисходит к их просьбе, что нет в мире дел, достойных внимания, когда он сопутствует своему правителю.

Чуткой ноздрей визирь ловил запах жарящихся перепелов и уже хотел было вернуться к шатру, а разговор с воинами отложить.

Он думал:

«Осенние перепела! Повар-армянин жарит их на вертеле,— сверху корочка!»

Не в этой охоте набито столько перепелов: птиц привезли заранее, из города, но в эту пору здесь, в степи, нет птицы жирнее и слаще перепелов.

«Ах, как армяне готовят перепелов! А перепела с айвой, запеченные в глиняных горшках!»

Визирь насторожился, заметив на шапке у одного из воинов красную косицу,— знак царского гонца.

— Ну, что там?— пренебрежительно спросил он гонца, стремясь показать ему, что и здесь, в дальней Султании, визирь — могущественный человек.

— К городу подходит повелитель мира!

— Где, где?— не понял визирь.

— Подходит к городу.

— Кто?

— Сам повелитель и войска.

— Ты что?.. А?

— Весь город, господин, поднимается ему навстречу. Все готовятся. К вам давно посланы вестовые.

— Вестовые? Где это?

— Ждут приема во дворце правителя. Сказывали, третий день ждут.

— Он из Самарканда вышел, что ли?

— Из Самарканда.

— Когда ж он сюда дойдет?

— Нынче будет здесь.

Визирь, ничего не сказав, круто повернулся и на коротких ногах, привычных более к седлу, чем к земле, столь быстро побежал к шатру, что его с удивлением заметил даже Мираншах, в то время удобно садившийся на подушки, услужливо сдвинутые вокруг него.

Вид бегущего визиря был столь забавен, что Мираншах захохотал, показывая пальцем в сторону визиря, чтоб и другие посмеялись.

Но визирь был бледен и, не дав себе отдышаться, столь резко крикнул: «Повелитель!», что Мираншах привстал:

— Кто?

На мгновенье мелькнула догадка, что старый Тимур умер и завещал стать повелителем мира Мираншаху. Но лицо визиря посинело от отдышки; нет, радостную весть так не передают!

— Повелитель?— переспросил Мираншах, досадуя, что визирь тучен и не может сразу отдышаться.

— Повелитель вечером будет здесь!

Мираншах, перешагнув через скатерть, побежал к городу, видя впереди, на краю степи, у самого небосклона, вершины деревьев, куполов и широких башен Султании.

Он не мог бежать. Но ему казалось, что он бежит стремительно и неудержимо.

Однако его без труда догнали приближенные — эмиры и царедворцы — и принялись подсаживать на коня.

Одни совали его непослушную ногу в стремя, другие подпирали под локти, все теснясь к нему, мешая друг другу, оттискивая один другого, каждый торопясь шепнуть те насущные слова, каких только что и в мыслях ни у кого не было.

Мираншах слышал, не вникая в слова, молящие голоса своих спутников, сподвижников, сотрапезников:

— Государь! Милостивый! Владыка великодушный! Защитите, государь! Попомните, владыка, наше усердие. Не забудьте, государь моей преданности! Защитите, милостивый! Упование наше на вас, великий мирза!

Но чем настойчивей, чем горячей и тревожней звучали их шепоты, тем беспокойнее и страшнее становилось самому Мираншаху.

Он не заметил, что уже сидит в седле, что коня его тянут на поводу, что все устремились к городу, спеша сами там укрыться, либо что-то укрыть.

Беспорядочным, поспешным, как бегство, выглядело возвращение в город расточительного и пышного правителя обширных владений царства Хулагу, куда, как области, входили Азербайджан и Грузия, Армения и Северный Иран, Багдад и Шираз; богатой страны, достигавшей благодатных волн Черного моря, беспокойных валов Каспия, призрачных, как марево, вод Персидского залива и зыбких, как море, песков Месопотамии.

Чем ближе к своему дворцу приближался Мираншах, тем малочисленнее становилась его свита. Спутники искусно и неприметно отставали, чтобы свернуть в свои переулки и, уединившись дома, запереться ли там, отсидеться ли, обмыслить ли надвигающийся самум, укрыть ли имущество от нескромных глаз,— подготовиться к прибытию повелителя мира.

Дервиши попадались навстречу, порой увязывались за вельможами, заходили следом за ними в их дома, предлагая помолиться о ниспослании милости аллаха на достояние рабов своих.

Словно воронье, почуявшее запах мяса, всюду сновали в своих островерхих шапках дервиши-сунниты с посохами в руках и дервиши-шииты со своими топориками; настойчивые, неотвязные, они требовали молитв и подаяний, но, и получив подаяния, не отставали, присаживались во дворах или на порогах домов вельмож, хотя не до дервишей, не до молитв, не до дел благочестия было в тот день вельможам и царедворцам Мираншаха: все они знали, как взыскателен Тимур, как беспощаден ко всякой человеческой слабости. А слабостями, как золотым шитьем на халатах, как

жемчужными вышивками на высоких шапках, как накладным золотом на оружии, как серебряным чеканом на оседловке коней, как жемчужными бусами, вплетенными в конские гривы, как золотыми нитями, затканными в узорах иранских и пышных армянских ковров, отягощен был каждый из вельмож Мираншаха, ибо Мираншах, видя слабости друзей, легче прощал себе самому свои склонности и пристрастия.

Дворцы мираншаховых вельмож полны были серебряных чаш, кувшинов и подносов, покрытых иранскими, грузинскими или азербайджанскими чеканами и чернью или отделанных бирюзой; золотых чаш, усыпанных рубинами или смарагдами; гаремами, столь многолюдными и нарядными, что молва о них, где с завистью, где с ненавистью, где с боязнью растекалась не только по странам, подвластным Мираншаху, но и за пределами его земель; конюшнями, где стояли бесчисленные объезженные лошади, славные то красотой, то резвостью, то выносливостью на полях охотничьих скачек или конных игр.

Но Мираншах знал: не любоваться пышными дворцами вельмож пришел Тимур. Не смаковать славные изделия поваров пришел Тимур, не охотой тешиться, не красоте ковров дивиться.

Пришел Тимур смотреть, не на то, исправно ли ведут хозяйство земледельцы и обильны ли их урожаи, а исправно ли взысканы земельные подати, процветает ли базар и взыскивается ли сбор с купцов, обучены ли воины, стоящие на рубежах страны, безропотны ли жители подвластных областей царства, крепки ли стены вокруг городов и неприкосновенна ли казна повелителя, хранимая здесь для военных и государственных нужд.

И когда Тимур обо всем этом спросит, что скажет ему правитель необъятного удела мирза Мираншах?

И случилось так: когда Мираншах въехал в город с запада, Тимур уже вступил в Султанию с востока.

Клики народа, встречавшего повелителя, ударили Мираншаха, как мечом, по голове. Не видя ничего вокруг, он сорвал с луки седла шелковый аркан и, накинув петлю себе на шею, собрался свалиться с седла и разом кончить все тревоги и опасения, но в это мгновенье он увидел Тимура.

И в руках не оказалось сил, в сердце не нашлось твердости, чтоб прыгать с коня. Он тихо сполз с седла и с петлей на шее, потеряв шапку, с непокрытой головой и помертвелым взглядом, тихо что-то бормоча, пошел навстречу отцу на глазах у всего народа.

Мираншах что-то бормотал, высказывая покорность отцовской воле, поднося отцу конец аркана, накинутого на свою шею.

Тимур остановил коня и, хмурясь, вслушивался в его несвязную речь.

Мираншах бормотал что-то о готовности искупить всякую вину перед повелителем мира.

Но Тимур неподвижно слушал и молчал.

Мираншах просил отца взять конец аркана и затянуть петлю, ибо нечист перед отцом и повинен перед великим повелителем.

Тимур тронул коня, поехал прямо на Мираншаха и, чуть не наступив копытами на ноги сыну, проезжая мимо, сказал:

— Не срамись, сними петлю. Веревка у меня и своя найдется: твоя слишком красива.

И поехал.

Мираншаху осталось лишь следовать за отцом, быстро переставляя ноги, силясь не отстать от крупа царского коня, через всю площадь, перед толпами народа, пестрого, разноязычного, разноликого, но единого в своей неприязни к Мираншаху-правителю, как и в своей боязни перед повелителем Тимуром.

Тимур вошел во дворец, хозяйственно оглядывая убранство комнат, идя впереди всех, не говоря ни слова.

У перехода к женской половине дворца вельможи отстали. Только Мираншах и внуки пошли следом.

Сыновья Мираншаха Абу-Бекр и мирза Омар здесь встретили своего деда, неся ему подарки на золотых блюдах.

Тимур пальцами коснулся подарков в знак того, что принял их, и пошел дальше.

Наконец он увидел небольшую комнату с маленьким окном наверху, осмотрел дверь и сказал:

— Сними петлю, мирза Мираншах.

Царевич снял с шеи и подал Тимуру свой шелковый аркан.

— Разденься!— приказал Тимур.

Мираншах с трудом, путаясь в рукавах, принялся стягивать с себя многие халаты, надетые для выезда на охоту.

Тимур нетерпеливо, гневно глядел на эти тщетные усилия своего сына.

Кивнув внукам, стоявшим поодаль, он велел Халиль-Султану:

— Помоги ему!

Халиль-Султан быстро снял верхние халаты с отца и, кинув их на пол, хотел было снять и нижний халат.

— Это оставь! На, вяжи ему руки!— и Тимур протянул Халилю шелковый аркан.

Халиль отстранился:

— Дедушка, он мне отец!

Тимур помолчал, помахивая мотком аркана, хмуро глядя на Мираншаха.

— Мирза Хусейн!— позвал дед сына своей дочери.— На, вяжи его.

Султан-Хусейн, не посмев ослушаться, взял аркан и подошел к дяде.

— Всего вязать?

— Руки. Назад свяжи.

Со связанными руками Миранших был водворен в полутемную комнату и заперт длинным винтовым замком. Взяв себе ключ, Тимур распорядился приставить к двери стражей из своей охраны.

Внуки пошли дальше вслед за дедом. Один лишь Улугбек на минутку задержался, чтобы взглянуть в щель двери. Но из светлой залы в запертой комнате уже нельзя было разглядеть Мираншаха.

В большой зале женской половины повелителя встретили жены и наложницы Мираншаха со многими подношениями. Ни одной из них не выражая привета, по-прежнему хмуро и молча, Тимур смотрел на них, столь бледных и напуганных, что румяна на их щеках казались кровавыми брызгами на мраморных камнях.

Досадливо, прикоснувшись к подаркам лишь пальцами, Тимур принял дары только от двух женщин, от младшей жены Мираншаха Ширин-бики, которая была матерью Абу-Бекра, и от Перепелки, веснушчатой наложницы, родившей Мираншаху мирзу Омара. Подарки остальных Тимур не принял и один пошел по безлюдным комнатам гарема, сердито заглядывая то в одну, то в другую, где бросалось в глаза безудержное соревнование женщин одна с другой в роскоши и причудах.

Обитательницы гарема не решались возвращаться к себе, пока Тимур был там. Лишь служанки и рабыни то тут, то там падали перед ним и лежали, уткнувшись лбом в пол, пока он проходил дальше.

Он все осмотрел, открыл дверь во внутренний двор, где среди цветов беспечно и светло струилась вода фонтана.

Он прошел мимо воды под навес длинной пристройки, где помещались рабыни и пленницы. Многочисленные девушки, толпясь вдоль стен, смотрели на хромого старика испуганно, но с любопытством, а он остановился, оглядывая их прищуренными, твердыми глазами.

К нему смело подбежали старухи, такие же бесстыдные и угодливые, как и во многих иных дворцах и странах, где ему случалось бывать. Осклабясь, они кланялись, заглядывая ему в глаза. У одной из них был большой, но такой тонкий нос, что казался даже прозрачным, на щеке возле носа у нее темнела, как вишня, родинка, а над впалым ртом густо росли, топорщась седеющие усы. Ей Тимур сказал:

— Отошли ко мне. Есаул укажет, куда. Ту и вот эту. Двоих.

И зачем-то повторил по-армянски:

— Этот два давай-давай.

Он примечал все, что перестроено в этом дворце за те годы, пока он не бывал здесь. И видя ту или иную перемену, думал, к чему эта перестройка, зачем она понадобилась. Ему казалось, что многое снесено или перестроено лишь затем, чтоб что-нибудь строить. Бесполезной была невысокая круглая башня над переходом во внешний двор. Теперь на месте круглой сложили угловатую, переход искривили.

На внешнем дворе повелителя встретил дворцовый есаул.

— Здоров?— покосился Тимур на его немногословные и простые приветы.

Есаул не успел ответить. Тимур кивнул:

— Иди сюда!

Тимур присел на покрытую войлоком скамью и, глядя на желтую от солнечного света плотную землю двора, спросил:

— Себе много набрал?

— Великий государь! Брал, когда не мог отказаться. На все даяния правителя имею опись.

— По этой описи и вернешь.

— Не замедлю, государь, все цело, все цело.

— Вернешь. Я тебе своих писцов пришлю, вели составить роспись каждой комнате, каждому чулану. Чтоб ни одну нитку не проглядели,— все записать.

— Исполню, государь.

— Вызови купцов, самых почтенных, знающих. Оцени каждую вещь в каждой комнате. И в гареме на каждой красотке до последнего колечка, чтоб на все не только была опись, а и цена, и так распорядись: пускай купцы говорят две цены на каждую вещь,— пускай одни скажут, почем бы дали за такую вещь, а другие — почем бы взяли за такую вещь. Понял?

— Понял, государь.

— То-то. Письма твои получал. Сам пишешь?

— Грамотен, государь.

— Знак забар забываешь ставить.

— Случается, государь,— некогда.

— У меня не ты один так, у меня вельможи есть,— пишут почерком насх, а знак забар забывают ставить.

— Тоже, небось, дела, государь?

— Все большие комнаты запри. Из женщин только тех не тронь, у которых дети. Остальных — вон. Понял? А тех, у которых дети, отправь в Чинаровый сад.

— Сейчас же приступить, государь?

— Я распоряжусь о писцах; как придут, так и начинай. Роспись на всех есть, кому что давалось? Есть?

— Берегу, государь. Не при себе запрятана. Сперва надо достать.

— Достань. Принеси.

И Тимур уехал из дворца, велев семье размещаться за городом, в Чинаровом саду.

Тимур хорошо помнил этот просторный, светлый, прохладный город и поехал к его южным башням, к Арабскому кладбищу, к гробнице пророка Хайдара, почитаемого жителями всех окрестных земель.

Он миновал тесный, крикливый, пестрый Араб-базар с его крепкими пряными запахами, и весь народ видел, как просветлело лицо повелителя, когда перед ним забелели своды почитаемой гробницы.

На виду у всей Султании Тимур совершил молитву и поклонение перед могилой пророка Хайдара, чтобы набожные мусульмане разнесли отсюда славу о благочестии и смирении покорителя вселенной и подтвердили лестные слухи, накануне распространенные дервишами, что как пророк Мухаммед явился посланником аллаха, так Тимур явился убежищем халифата.

Отмолившись с усердными поклонами, Тимур выпрямился и, отослав всех царевичей и военачальников в Чинаровый сад, оставил с собой лишь одного Улугбека.

— Вот и прибыл я на твою родину,— сказал он мальчику, когда кони их пошли рядом.

— Я полагал: моя родина везде, где города принадлежат вам, дедушка!

Тимур одобрительно покосился на внука и промолчал, углубившись в какие-то мысли, пробудившиеся от этих мальчишеских слов.

Тут же, на окраине города, перед Тимуром поднялись хмурые древние стены дервишеской ханаки, более похожие на крепость, чем на пристанище слуг аллаха.

Перед серыми сводами входа, отдав коней воинам, Тимур постоял, как бы в набожном раздумье, и вошел в тяжелые ворота, окованные железными полосами, с выкованным на них причудливым узором, с древними суфийскими стихами, врезанными в неподатливую толщу дерева, в те ворота, которые он за пятнадцать лет до того открыл ударом копья.

В этой дервишеской ханаке, где со всех четырех сторон на каменный двор открывались двери полутемных келий, останавливались на ночлег или жили осевшие в городе странствующие дервиши, становившиеся год от года могущественнее и дерзче.

Тимур объявил, что желает остановиться здесь, среди богоугодных людей, отрекшихся от земных благ и сокровищ во имя благ небесных, во имя единственного сокровища — истины.

Не в первый раз избирал он своим местопребыванием такие ханаки,— в ханаке жил он, возвратившись в Самарканд после побед в Индии; в ханаках останавливался он, проезжая через Бухару: даже в солнечном, сказочном Дели ему нашли убогую, тесную ханаку, где он и жил в низенькой келье, пока для него убирали высокий дворец посрамленного Султана Махмуда, низвергнутого повелителя индийской земли.

Это был день, когда совершался закр — еженедельное радение султанийских дервишей.

Дервиши в своих узорных тканях, темно-бурых халатах, в островерхих шапках, обрамленных бурой бахромой с остроконечными посохами в руках, выстроились со всех сторон двора, как одна из сотен непреклонного мирозавоевательного воинства Тимура.

По одежде ничем не отличаемый от своей паствы, вышел вперед духовный наставник сил воинствующих слуг веры, выкрикивая благодарения богу за ниспослание в сию обитель Меча Веры, Заступника Благочестия, Прибежища Человеколюбия и Щита Ислама — Тимура.

И сотня могучих глоток, исторгнув вопль славословия, подтвердила слова наставника.

И еще, и еще, и снова, и снова, исторгая вопль за воплем, дервиши подтверждали свои слова взмахами каменных четок, коих резкий стук усиливал силу слов.

Их волнение нарастало.

Они двинулись кругом по краю двора, вскрикивая за словом слово, мерно следуя с поклонами друг за другом.

За каждым словом — один шаг вперед, вслед за шагом — один поклон.

Все громче и протяжнее звучали слова, все порывистее становились шаги, все глубже дыхание, все горячее глаза.

Наставник повернулся навстречу шествующим дервишам.

Чем быстрее двигались и кланялись дервиши, вскидывая постукивающие четки, восклицая, как клятвы или как заклинанья, слова молитв, тем быстрее кружился внутри дервишеского круга их наставник.

Два встречных движения, два встречных круга; устремленное направо шествие паствы, устремленное налево кружение пастыря.

Уже и дервиши в своем строю не только восклицали и кланялись, но и кружились, неуклонно двигаясь вправо, влево. Их кружение становилось быстрее, быстрее...

Тимур смотрел, стоя, как на молитве, прижав к груди ладонь. С опущенными руками, не мигая, смотрел Улугбек, видевший все это впервые.

— Слава богу!— восклицали дервиши, и вопль их, разом исторгаемый из всех глоток, разом, будто не из сотни уст, а из бездонной одной глотки, как удар стенобитной машины, пробивал брешь в небе и достигал аллаха.

Глаза дервишей стекленели, на разверстых губах скапливалась пена, отуманенные круговерчением головы тяжелели, длинные волосы липли ко лбам, то там, то тут кто-нибудь падал, судорожно содрогаясь на холодных плитах двора, но чем меньше их оставалось, тем стремительнее было вращение круга и каждого дервиша в кругу...

— О, они славили истинного бога, достигая совершенного постижения истины!..— объяснил внуку Тимур, когда наивный мальчик высказал свое удивление деду.

В кельях, отведенных им, было уютно. Камни стен столь пообтерлись за долгие века, что рука, коснувшись стен, соскальзывала, как со стекла.

Тимур хотел отдыха и в этот вечер никого не велел допускать к нему.

Лишь наставник дервишей, отлежавшись от своего кружения, вошел с поклоном.

Тимур отпустил Улугбека пройтись по ханаке.

Ворота оказались на крепком запоре, хотя никого из охраны внутри ханаки не было: стража осталась снаружи, за воротами.

Бродя по двору, погруженному в сумерки, вдоль длинного ряда затворенных либо приоткрытых дверей, Улугбек отовсюду слышал тяжелое дыхание, какое-то невнятное бормотание или несвязные восклицания, словно обитателям келий все еще чудились небесные виденья, все еще звучали откровения божественных уст.

В одном из углов двора Улугбек увидел узкую, как лазейка, дверцу и ступеньки за ней. Он втиснулся туда и в полной темноте, наощупь, полез по стертым плитам извилистой лестницы наверх.

Он выглянул на крышу и замер.

Султания, озлащенная вечереющим солнцем, привольно распростерлась, как на чеканном блюде; распростерлась столь широко, что края ее поблескивали где-то вдалеке, в дальних волнах садов, в голубом, полыхающем, легком небе, где виднелся завиток месяца, невесомого, светлого, как пушинка.

Но посреди этого сверкающего блюда поднимались купола дворцов, бань и мечетей, грузные, квадратные сторожевые башни, легкие минареты, светлые стены зданий — и все это сияло, изборожденное легкими чертами теней. Густой тяжелой грудой кое-где поднимались над зданиями верхушки больших деревьев, кое-где

мерцали то алыми, то белыми пятнами поставленные на плоских крышах шатры.

Узкие улицы, уже погруженные во мглу теней, казалось, лишь подпирали легкую высоту озаренных солнцем вершин города.

Высилась столетняя, дивная мечеть Худабендэ у мавзолея Ульджайту-хана, а неподалеку — тяжелый купол над гробницей Хайдара.

Стройный дворец красовался длинным рядом каменных куполов, круглыми башнями по углам, какой-то угловатой башней, поднимавшейся из-за плоских крыш — дом, где Улугбек впервые увидел свет, где впервые глотнул густой, как молоко, воздух бытия.

Мальчик смотрел на этот невиданный, словно приснившийся город, пока не послышалось внизу, как кто-то не то кликнул его, не то назвал по имени.

Глянув с каменных плит крыши во двор, Улугбек ничего не мог различить там, в густом сумраке, где уже зажигали светильники и в очагах раздували огни.

Нехотя вернулся он к лестнице, снова втиснулся в ее извилистое жерло и, нащупывая внизу очередную высокую ступень, опираясь ладонями о скользкие, будто просаленные стены, спустился во двор, к земле.

— Гулял?— спросил дед, устало откинувшийся к стене.— Я посылал тебя звать. Вели, чтоб принесли тебе бумаги и всего, что надо: будем писать. Как в Самарканде. Будем записывать. Сперва слушай, запоминай, а когда человек выйдет, будешь писать. Каждое слово запоминай, каждое имя; чего сколько и где что, твердо запоминай. Понял?

— Хорошо, дедушка.

— Покличь слуг, вели принести побольше бумаги. Чтоб всего хватило.

— Хорошо, дедушка.

— И Улугбек похлопал в ладоши, вызывая слуг.

Не вельмож, не отважных полководцев, не хранителей царских кладовых слушали они в тесной сводчатой келье.

К ним приходили дервиши, входили смирные, угодливые, робкие, опасаясь подойти близко. Не такими бывали они, бродя среди народа, гнусавя стихи корана или непонятные пророчества и речения, дерзко вступая во всякие двери и ворота, куда б ни повела их воля аллаха. Не так смотрели они на верующих, взимая с них подаяния, как подати, и принимая поклонение их, как повинность мусульман перед богом.

Здесь они застенчиво скрывали свое уродство, если оно у них было, да и уродств у них оказывалось меньше, чем на улицах, где народ верил, что уродства — это есть знак божьей милости, что

бог создал убогих затем, чтоб ими испытывать милосердие верующих.

«Кто убог — у бога!»— говорил народ.

Здесь дервиши казались крепче, моложе. Лишь глаза были у всех одинаковы — вороватые, быстрые, чтоб сразу все увидеть, приметить, понять, запомнить, и снова, закатившись, устремляться в небеса, к седьмому небу, к престолу всевышнего.

Они приходили поодиночке, некоторые — по двое, стыдливо подтыкая под себя обязательные лохмотья подола, присаживались на полу и ждали, пока не спросит их повелитель.

И Тимур спрашивал:

— Ну? Что видели, кто тут злодействует против посланца пророка?

Они говорили, называя имена, перечисляя проступки многих властных людей, описывая имущество, обширные поместья вельмож или царских слуг так деловито и памятливо, будто свое собственное. Они говорили о беседах, слышанных ими во многих здешних домах, усадьбах, харчевнях. О расточительной щедрости Мираншаха к своим любимцам, о его беспечности к своим войскам, об изобилии в домах любимцев Мираншаха и о нужде и ропоте среди его войск.

Едва уходил рассказчик, Тимур поворачивал голову к безмолвному Улугбеку:

— Ну?

И Улугбек повторял имена, названные дервишем, и дары, принятые тем или иным любимцем от Мираншаха. Тимур требовал, чтобы мальчик ничего не забыл, чтобы память его сохраняла все так же крепко, как память только что вышедшего дервиша.

— Пиши!— говорил Тимур. И внук записывал.

Улугбек с любопытством слушал дервишей. Сам привыкший к простому языку среди дедушкиных воинов, он не решался записывать такую тяжелую, неповоротливую речь, какой говорили дервиши. Они говорили джагатайским языком, равно понятным и оседлым земледельцам Междуречья, и кочевникам, изъяснявшимся на десятках своих наречий, каждый на свой лад. Они говорили и по-фарсидски, но не столь плавно, как разговаривали купцы на базарах Междуречья, и не так пышно, как писали иранские книжники. Язык дервишей был проще, народнее, не чуждался грубых оборотов пастушеской речи или слов земледельцев. Их язык был затем народнее, чтоб дервиш мог плотнее прильнуть к сердцу народа, услышать тайные его думы, крепче взять людей в свои руки.

Тимур знал, что среди дервишей бродяг и сыновья купцов, с детства привыкшие к иной речи, и дети вельмож, пожелавшие свершать подвиги не с мечом, а с посохом в руках. Но все они,

как сменили шелковые халаты на простое рубище, так и речь свою опростили, чтоб не было к ним недоверия от народа, чтоб раствориться в братстве дервишей, как ком глины растворяется в струях ручья.

Многие из них верили, что этот ручей несет их к вечному небесному блаженству из тягот и грехов земной жизни; иные же многолетним смирением и послушанием достигли доверия своих наставников, дабы в дервишеском платье насладиться теми земными благами, коих не сулила им обыденная жизнь.

— Ну, что ж ты?— спросил Тимур, заметив, что Улугбек пишет без обычной резвости.

— Думаю, дедушка. Как писать?

— А что?

— Нельзя так писать, как они говорят. Такого языка нет ни в одной книге.

— А разве нельзя писать так, как говоришь? Я говорю — меня каждый воин слышит. Так и писать надо, чтоб каждый тебя прочитал. Я велел ученым так писать. Они задумались, не умеют. А ты — мой внук, ты должен суметь. Бахауддин — великий дервиш в Бухаре, а как говорил? Как все. Как эти.

— Я постараюсь, дедушка.

— Старайся. Учись. Мне некогда было. Учиться мне было некогда, а то я сумел бы. А тут ты не мудри. Пиши имя — кто злодей? Что у него? Сколько? А как они говорят, не пиши. Это ты потом обмозгуй. Понял?

— Я пишу, дедушка.

И его тростничок быстрее бежал по скользкой желтизне лощеной бумаги.

Лишь немногие из дервишей терялись, не зная с чего начать свой рассказ. Столько было на их памяти разных дел, что не сразу могли они отобрать главное от второстепенного, а второстепенное от ненужного.

Иным казалось, что главный проступок мусульманина — проступок против бога, против веры, нарушение догм, несоблюдение обрядов. Но если, по недомыслию, дервиш начинал с этого, Тимур прерывал его:

— Это наставникам скажи. Они блюдут веру. Я блюду государство. Блюду казну, войско, города. Кто этому мешает, о тех говори. О тех, кто против,— особо.

И уже изрядно подготовленные указаниями своего наставника, дервиши говорили.

Один из них, босой, но в крепком, новом халате, с бородой, заботливо, вопреки обычаю, расчесанной, глядя такими маленькими глазами из глубины набухших, пухлых век, что взгляд его был невидим, тянулся хилым телом к Тимуру, бормоча:

— Вижу я вражью силу, великий брат. Не среди расточителей вижу. Она и там есть, и среди расточителей, а я ее среди простонародья чую. Чую. Да они таятся. А я в том ее чую, что таятся. Если б не держали зломыслия в голове, к чему б им было таиться? Таятся,— едва приближусь, смолкают. В хижины свои не зовут, а зайдешь, дадут ломоть хлеба и ждут, пока не выйду. Молчат и ждут. А если б разговор их был чист, чего бы им было молчать? Чего им ждать, разве дервиш мешает благонамеренной беседе? Вот и запоминаю дома их, хижины их, мастерские, где они усердствуют. Хожу мимо, приучаю их к себе, а они не поддаются. Иной раз в харчевне уловишь слово из их же беседы, да из одного слова речи не свяжешь, как не свяжешь четок из одного зерна, как из одного звена цепь не куется. Вот, государь, куда обращены мои труды. Во имя божие, я благочестивого наставника осведомлял о тех людях, мы помним их, кто с кем водится, кто с кем роднится, запоминаем.

— Сарбадоры?

— Они, великий брат.

— Не спускайте с них глаз.

— Трудимся, великий брат.

— На здоровье. А правитель ваш? Мираншах?

— И о нем знаю...

И снова Улугбек запоминал каждое слово, чтоб не оплошать перед дедушкой.

Разные люди укрыли тело свое рубищем дервишей. Усталые от пройденных дорог, озлобленные неудачами жизни; молодые, изнуряющие свою плоть подвигом веры; расслабленные телом и тем отверженные от повседневного труда; отвергнутые родом за дела, противные всему роду; истинно, всем сердцем верующие в милосердие божие; чуждые словам веры, но чуждые и земному труду; преступники, успевшие ускользнуть от кары столь ловко, что сам бдительный наставник не выведал их прежних дел; или столь годные для свершения подвигов во имя веры, что наставник, готовя их к подвигам во имя аллаха, скрыл былые заблуждения; приверженные тайным порокам, коим легче было предаваться в ханаках, во тьме душных келий, чем на виду набожных мусульман.

Разные люди укрыли тело свое в рубище дервишей и теперь проходили перед лицом повелителя вселенной и перед глазами внимательного мальчика, которому дотоле не приходилось видеть дервишей такими.

Много листков покрыл он записями имен, чисел, названий. Случалось записывать имена людей, которых он знал, которых любил детским сердцем, ибо они умели чем-нибудь расположить ребенка и надолго запомнились ему сердечной улыбкой, ласковым

словом, занятным подарком. Но он записывал их рядом с теми, которых не знал, и рядом с теми, которых недолюбливал, хотя и скрывал от деда свои привязанности и свои неприязни. Дед строго требовал от своих внуков царственного равнодушия к слугам своей державы, как сам дед был равно взыскателен к тем, с кем давно был связан общими походами и удачами, и к тем, кого втайне презирал за слабости или еще не испытал в делах.

Случалось Улугбеку слышать рассказы дервишей о том, что еще рано было понять ребенку, о людских пороках и склонностях. В этих случаях дед любил, чтоб рассказывали подробно. Расспрашивая, Тимур не стеснялся присутствием мальчика, ибо считал, что не имеет значения, раньше ли, позже ли узнает мальчик о том, что неизбежно узнает.

За эти дни под закопченными сводами ханаки перед глазами ребенка раскрылась такая жизнь светлой Султании, какую он увидел бы лишь тогда, если б стены в городе стали вдруг прозрачны, как стекло, и если б он мог оглянуть всю эту жизнь и видеть сразу все, что происходит за стенами домов, бань, базаров, мечетей, и если б он мог смотреть на всю эту жизнь, сразу видя все концы города изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. А тут он увидел все это за несколько дней, не переступая за порог темной, тесной, низенькой кельи.

Не только в Султании, уже и в окрестных землях все рассказывали, как повелитель мира, уединившись в убогой ханаке, предался благочестивым размышлениям, молитвам и делам веры.

Никто не смел нарушить царственного уединения, а из уст дервишей знали, что ангелы снисходят в убогую келью повелителя беседовать, наставлять и направлять его по пути служения истине, милосердия и ниспровержения врагов веры.

Лишь спустя несколько дней допустил он к себе знатнейших людей Султании, принимал поздравления с благополучным прибытием, подношения и лесть.

Но этих властителей, облаченных в пышные одежды, повергавших к стопам его драгоценнейшие дары, он принимал в простом халате, лишенном всяких украшений, сидя на простом камне, как бедняк.

Вельможи робели, устрашенные его скромностью, стыдясь за свое великолепие, страшась за свое достояние, столь неосторожно показанное зоркому ненасытному старику. Они и не догадывались, что он уже знал не только число их сокровищ, но и заветные углы, щели и загородные сады, куда скрыты эти сокровища, и даже многие из тех сокровенных тайников, куда они скроют еще не сокрытое.

В ханаке принимал Тимур и своих полководцев. Сюда приез-

жали внуки проведать дедушку — Халиль-Султан и Султан-Хусейн, Абу-Бекр и мирза Омар.

Однажды, перед своим отбытием из обители, Тимур надолго уединился с наставником ханаки, и вскоре после этого разговора заметно убавилось дервишей в Султании. Меньше встречалось их на базарах, на улицах, в харчевнях, но купцы, направляясь издалека в Султанию, встречали дервишей на дорогах в Багдад, в Смирну, в далекий Халеб, прозванный христианами городом Алеппо; по дороге в Трапезунт, где правитель именовал себя императором, хотя вся его империя уместилась бы на одном мизинце Тимура; на каменистых дорогах Армении; по пути в Грузию, где спесивые владельцы нищего селения или тесной долины присваивали себе титулы царей, чтоб не сидеть ниже своего соседа; на горных тропинках, ведущих в Анкару, где правил Баязед Молниеносный, упоенный победами над христианскими рыцарями в битве под Никополем на берегу Дуная.

Шли по разным дорогам, славя бога, босоногие дервиши, с острыми, как копья, посохами, властно протягивая за подаянием страннические чаши, уносясь в небо остриями своих трехгранных колпаков.

И всюду несли они рассказы о могуществе, власти и мудрости Тимура, коему сам пророк через своих ангелов подает благие советы, коего даже бог считает своим мечом и щитом.

И народы, подвластные трапезунтскому императору или грузинским царям, удивлялись скромности потрясателя вселенной, который не желал называть себя даже ханом, всю жизнь довольствуясь скромным титулом эмира, правителя области, хотя область его необозрима. Они не разумели, что не пышные титулы, за коими не было власти, а силу держал в своей руке Тимур, и это было весомей царских корон на головах бесправных правителей или императорского скипетра в хилых пальцах владыки трапезунтской пристани.

Всюду шли дервиши, славя имя и мощь Тимура, вселяя страх и повиновение в сердца дальних народов, глуша надежды и мечты об освобождении от Колчана Милостей.

На берегах Тигра, в Багдаде, дервиши приглядывались к суетливым купцам в тени развалин, оставшихся от прежних посещений Тимура, как они сбывают тюки шерсти, торгуют мягкой кожей и сушеными финиками, а ремесленники сутулятся в бедных рядах, приютившихся с краю от лежавших в запустении, заваленных щебнем и мусором базаров, еще недавно славных ремеслами. Неприветливые, неразговорчивые мастера редко откликались на дервишеский возглас, создавая убогие изделия и скрывая даже друг от друга свои дарования и уменье, ибо всем им памятно было, как лет пятнадцать назад всех искусных, всех лучших масте-

ров угнали, как стадо, в Самарканд, славить своим мастерством столицу Тимура, обогащать своими изделиями самаркандских купцов. Хмуро работали они, вспоминая утраченных братьев, друзей и учителей, боясь последовать за теми, от которых добрых вестей еще никто не дождался. Здесь каждый прикидывался неискусным в своем деле, довольный, что утаил свои таланты от Тимуровых глаз.

И в тенистом Мосуле, в тесноте кривых переулков и ступенчатых, как лестницы, улиц, не слышалось прежних песен, когда, бывало, мастера праздновали окончание недели, вечерами по четвергам собираясь на гулянье к берегам Тигра. Но мосульские купцы за эти годы стали веселей и живее, встречая здесь караваны из Сирии и перепродавая вавилонские товары в Багдад, в Исфахан, в Самарканд.

В Халеб и в Антиохию, к Средиземному морю шли дервиши, неся имя Тимура туда, где знали его лишь понаслышке, где слушали это имя безбоязненно и беспечно, как дальний гром, как отголосок грозы, отнесенной благосклонными ветрами в дальние страны, стороной от Сирии.

Шли дервиши в Анкару, поглядывая на города Баязета, полные сильных и смелых войск, закаленных в битвах на Балканах, в долгих и счастливых походах, крепко вооруженных, исправно обученных. Шли и примечали, сколь хорошо защищены войсками города Баязета: видно, вся его сила разбросана врозь по таким вот городам, как Сивас или Кесария, хотя осторожный властитель держит свои воинства всегда под рукой.

Шли дервиши через Тавриз, где на базарах было столько христиан и богоотступников-шиитов, что даже имя божие там приходилось славить с оглядкой, но славословия Тимуру всякий слушал, опустив глаза в землю, словно еще видел на ней следы подков его конницы.

Шли через Тавриз в Нахичеван и в Карс, где шумели на базарах турки и персы, но сами армяне помалкивали, скрывая свои достатки, торговые дела ведя втайне, ибо хорошо помнили, как опрокидывались их сундуки под ногами воинств Тимура, как уходили в Самарканд караваны, груженные не только золотом и товарами разоренных армян, но и древними, заветными книгами армянского народа, изукрашенными таким художеством, какое даже Тимур пожалел сжечь.

В горах Имеретии и на виноградниках Кахетии приютом дервишей служили лишь усадьбы джагатайских вельмож. Здесь народ молча трудился, не смея разогнуть спины, а князья надменно и величественно поглядывали на завоевателей, ибо крестьянам от своих полей уходить было некуда, а князья уже привыкли от врага

укрываться в горах, где ждали их в неприметных ущельях укромные хижины.

Так брели дервиши из Султании, когда Тимур, ожидая, пока подтянутся сюда длинные шествия войск и военных обозов, поглядывал во все стороны и устраивал дела бывшего царства Хулагу, недавнего владения Мираншаха.

Четырнадцатая глава

СТАН

Утром Тимур прибыл в Чинаровый сад, проведать семью.

Конюхи отвели лошадей, расседлали и принялись обтирать их шерстяными тряпками, зная, что еще немало придется походить этим коням за долгий день.

Здесь прежде стоял старинный, построенный тебризскими зодчими, удобный дворец Ульджайту-хана. Но Мираншах приказал снести старый дворец, не посчитавшись с тем, что Тимуру он нравился, что Тимур любил в нем останавливаться, когда бывал в этих краях. Старый дворец разломали, хотя сложенный из крепких квадратных плит, он простоял бы еще тысячу лет.

Тимур придирчиво осмотрел новое строение, воздвигнутое Мираншахом на прежнем месте: оно было хило, вытянуто кверху, чтобы представлялось высоким, и от этой высоты здание выглядело еще менее прочным,— казалось, если пнуть эту стену сапогом, она разлетится под ударом, как гнилая дверь в убогой хижине. Все здесь пестро,— не только потолки расписаны, но и самые столбы резные поверх резьбы тоже были расписаны во все цвета, будто это не дворец правителя, а москательный ряд , где торгуют красками.

Не было порядка и в убранстве комнат. В большой зале настелили всяких ковров, где рядом с темным, как ночной сад, туркменским ковром лежал покрытый зелеными, желтыми и киноварными узорами здешний ковер, а с краю протянулся царственный белый, тонко затканный алыми знаками какого-то неведомого Тимуру мастерства. «Будто образцы товаров выставил напоказ!»— сердито покосился Тимур.

Он вошел в помещения царевичей, где его еще не ждали. Поэтому он застал всех врасплох и радовался, что видит повседневную жизнь милых ему внуков, которую от него всегда спешили заслонить богатыми уборами и чинными обычаями.

Улугбек с Ибрагимом сидели в простеньких халатиках, занимаясь со стариком учителем.

— Уже приступили?— спросил дед.

— Бабушка велела. Сегодня начали!— ответил Ибрагим.

— А без бабушки.. Самим не хотелось?

Учитель стоял, согнувшись у стены, охваченный ознобом перед лицом столь опасного посетителя. Но Тимур даже не взглянул на него:

— Знаний надо самим желать. Тогда настигнете желаемое. Кого принуждают, кто идет нехотя, тот ничего не настигнет.

— Не настигнет или не достигнет, дедушка?— лукаво спросил Улугбек.

— Это одно и то же!— строго ответил дед.— Знания тоже норовят выскользнуть, если их не держать крепко. Чуть ослабил их, они и выскользнут. Как ночные бабочки!

И, не дожидаясь ответа от пристыженного Улугбека, Тимур пошел дальше.

Пока он дошел до комнат, где устроились его жены, там, узнав о его прибытии, успели приготовиться. Он застал всех приодетыми, собравшимися в большой зале, залитой белым осенним солнцем, отчего шелка и шитье нарядов сверкали особенно ослепительно.

Великая госпожа Сарай-Мульк-ханым не без труда разместила обширный гарем в тесном и нескладном дворце Чинарового сада.

Она знала, что размещаются в саду ненадолго, что осень в Султании рано кончается, что зиму зимовать здесь не будут, но огромный городской дворец был еще занят,— там один, в маленьком чулане, сидел Мираншах.

Великая госпожа сама перекладывала из котла на блюдо пропитание Мираншаху и отсылала ему через весь город под просмотром своих стражей, чтоб между ее котлом и устами низвергнутого правителя это блюдо не побывало в ненадежных руках: за жизнь Мираншаха она отвечала перед Тимуром, если Мираншах угаснет от яда, а не от меча.

Халиль-Султан уже не раз заговаривал с бабушкой о своем несчастном отце. Сарай-Мульк-ханым знала, что нежной любви к отцу у Халиля нет, что ни воинскими подвигами отец не стяжал сыновнего уважения, ни родительскими заботами не пробудил в Халиле любви к себе, но Халиль был сыном Мираншаха и не желал отстраняться от отца в тяжелые дни его жизни.

Халиль уже не раз заговаривал, прося заступничества великой госпожи за отца перед дедом. Другие сыновья Мираншаха, робея перед властной бабкой, не смели об этом ее просить, а только пытались услугами и послушанием расположить ее к себе.

Великая госпожа хорошо понимала мальчиков, но отмалчивалась. Лишь однажды она позвала к себе ближних советников мужа, членов его немноголюдного великого совета, и расспрашивала их о делах Мираншаха.

Но ни осанистый, украшенный пышной бородой, говорящий

тихим, ласковым голосом Шах-Мелик, ни длинный, жилистый, узколобый и длинноносый Шейх-Нур-аддин не смогли ничего сказать ей такого, чего она не знала бы сама. Лишь их намерения были ей любопытны, но своих намерений они еще не могли высказать, ибо не знали, в чем обвинит Мираншаха Тимур.

— Сами видете, великая госпожа,— говорил Шах-Мелик,— государь молился, отдыхал в тишине обители, его высокая мысль еще не снизошла к деяниям мирзы Мираншаха, а предугадать мысли великого государя нет возможности.

— А не жаль ли вам царевича, ведь он сын вашего повелителя?

— О великая госпожа! Мы смеем взывать лишь к разуму повелителя, но перед разумом его все равны,— доблестный воин ли, сын ли, эмир ли,— разум государя ко всем равно взыскателен, а путь к его сердцу вам, великая госпожа, знаком более, чем нам, смиренным воинам победоноснейшего из завоевателей,— возразил ей Шах-Мелик.

— Эх! Когда он спросит, мы ответим: а что ответим, увидим, когда он спросит,— объяснил ей Шейх-Нур-аддин, позвякивая оружием, с коим не расставался даже в ее покоях, где после его ухода долго пахло лошадьми и кожами.

Эти ответы ближайших соратников мужа не могли успокоить Сарай-Мульк-ханым. Если б дело было ясным, они отвечали бы ей яснее. Значит, Тимур замышляет, обдумывает, готовит что-то такое, о чем не желает еще ни говорить, ни советоваться ни с кем. Она знала, что, обратись к нему по такому делу, вызовешь его гнев, долгую немилость, когда он будет месяцами избегать встреч с ней, отклонять ее приглашения, выказывать ей равнодушие щедрым вниманием к какой-нибудь ненавистной ее избраннице. Так много раз бывало, если ей случалось раздосадовать его: он находил какую-нибудь красотку, устраивал празднества в ее честь, осыпал ее дарами и милостями, разбивал для нее сады или строил дворцы и потом говорил великой госпоже: «Здорова ли ты, царица, из-за свадьбы мне было некогда тебя навестить».

Она знала, что ее покорность не отвратит Тимура от других его жен, наложниц или пленниц, но ей было спокойнее, когда увлечения наложницами или пленницами чередовались по извечному обычаю, по мужской прихоти, по праву господина, а не по ее оплошности.

Вот почему она отмалчивалась, когда Халиль взирал на нее печальными глазами и даже когда заговаривал с ней о своем отце.

Спрашивая о здоровье, о детях или внуках, Тимур задерживался то с одной, то с другой из цариц.

Великая госпожа сделала шаг навстречу мужу, но вдруг, слов-

но очнулась от какой-то мысли, чуть попятилась и, колеблясь, замерла. Уже не первый раз она упускала случай заговорить с ним. Этого разговора очень добивался и очень ждал Халиль-Султан.

Тимур заговорил, глядя на нее обычным, не строгим, но и не ласковым, чуть пренебрежительным взглядом. И великая госпожа лишь отвечала на вопросы, так и не решившись просить повелителя посетить ее комнаты.

Она помыкнулась было заговорить с Тимуром, когда он еще стоял с ней рядом, осведомляясь у Туман-аги, хорошо ли ей здесь, но он отошел к оживленной Тукель-ханым, успевшей натащить в свои комнаты лучшие вещи со всего дворца, пока другие едва управлялись с распаковкой привезенного.

Тукель-ханым отвечала на его вопросы:

— Благодарствуем, государь. Устроились. При здешней бедности нелегко устроить обитель, достойную вашего посещения, государь, но поэты говорят: «Преданное сердце любящей жены украшает даже нищую лачугу».

— Поэты? Они много мусора валят под копыта наших коней!— ответил ей Тимур, смутно припомнив что-то слышанное от чтеца, какие-то искательные послания поэтов.

Сарай-Мульк-ханым еще попятилась.

Теперь стало уже невозможным перебивать разговор Тимура,— это было бы нарушением тех правил гарема, блюстительницей коих она сама была, старшая жена в большой привередливой семье повелителя мира.

Тимур боковым переходом миновал залу, где оставались его спутники и, намереваясь проверить городской дворец, где работали писцы, хотел уехать один.

Двор, обнесенный сводчатыми службами, опирающимися на могучие столбы, уцелел от прежнего дворца, построенного для Ульджайту-хана, а может быть, еще для старого Аргун-хана. В искусной кладке ничем не украшенных серых стен Тимуру нравилась величественная, непроходящая мощь и красота. Такую он требовал от зодчих в Самарканде, но обогащенную изразцами и мозаикой. Он не догадывался, что это убранство скроет ту мощь, которая ему нравилась: нарочитая пышность несовместима с истинным величием.

В тени двора ждали уже давно переседланные лошади. Тимур заметил, что они стоят неспокойно, норовя потереться о шершавые камни столбов, задирают задние копыта, чтоб почесать бока.

Постоял, глядя на бряцающих сбруей лошадей и, раздумав ехать в город, вернулся.

Войдя в притихшую залу, он позвал с собой некоторых из военачальников и старших внуков — Халиль-Султана и Султан-Хусейна.

Во дворе, взглянув на чистое, без единого облачка, небо, ткнул в эту бездонную синь плеткой и предостерег:

— Будет дождь.

— Небо сквозное, дедушка!— сказал Султан-Хусейн.

— Дело к зиме. Погода изменчива.

— Ветер с утра дул из Басры, государь. Оттуда дождя не надует! — усомнился Шах-Мелик.

— В стане все ли укрыты?

— Юрты расставлены.

— А слоны?

— Попоны для них везли в обозе.

— А наготове ли попоны?

— Догадаются, достанут!— беспечно сказал Султан-Хусейн.

— В походе друг на друга не валят свое дело. Каждый сам за себя стоит, как в битве! — покосился Тимур на внука и пошел к лошадям.

У восточных окраин Султании, в садах и на полях, раскинули свой стан войска Тимура.

Стан ставили по единожды, издавна установленному монгольскому порядку: одна юрта на десять воинов. Каждые десять юрт, составляя войсковую сотню, ставились вокруг юрты сотника. Вокруг шатра тысячника стояло десять кругов из десяти юрт в каждом. У входа в юрту сотника торчало знамя с тамгой сотни. У шатра тысячника высилось его знамя с полумесяцем под острием древка, с красным конским хвостом под полумесяцем.

Во главе тысячи стоял эмир, сам набиравший все это воинство из земледельцев своих владений, из горожан подвластных ему городков. Отбирать в войска старались бездельников, нерадивых, бесполезных людей. Смирных, трудолюбивых пахарей и садоводов без крайней нужды не трогали: земле надлежало давать урожаи, кормить воинов и обеспечивать землевладельцев. Не трогали и крупных купцов: их дело — сбывать награбленные в походах богатства и сперва дать доход эмирам, скупая добычу, а продав ту добычу, исправно платить подати сборщикам налогов, пополняя казну, нужную для новых походов. Не брали в войска искусных мастеров и опытных ремесленников,— с них сборы брал староста их ряда, вносил старшине базара, а старшина нес их подать в ту же казну, кормившую войско.

Добычу, собранную в битве, воины сдавали своему сотнику. Тот — тысячнику, а тысячник нес ее темнику, начальнику десяти тысяч сабель. Темники отбирали ценнейшие находки в казну, оставляя законную часть себе, и из этой части часть отдавали тысячникам. Тысячники, оставляя чуть больше законной части себе, остальное отдавали сотникам. Сотники, оставляя себе по

возможности наибольшую часть, остальное распределяли между десятниками. Воинам доставалось оставшееся от десятников.

Но иногда в походах брали столько добычи, что у воинов накапливался изрядный припас, и они спокойно дожидались того дня, когда в конце похода, а иногда и во время похода, им платили жалованье. Во время похода платили после больших и удачных битв, после захвата новых стран и разорения больших городов, когда добычи скапливалось много и предстояли еще более жаркие дела, для которых требовалась бодрость воинов. Однако Тимур всегда норовил выплату жалованья отложить до приказа о возвращении,— в этих случаях получателей бывало гораздо меньше и нерозданных денег в казне оставалось гораздо больше.

Но сколь ни долго приходилось ждать расчета, сколь ни падки были десятники и сотники на обсчет при дележе, воины не роптали: сидя дома, никакой работой столько не заработаешь, сколько доставалось каждому при дележе, и никто из них не ел дома вдосталь, а войскам Тимур всегда находил пропитание, хотя и случались тяжелые дни. Но у земледельца или у городской бедноты вся жизнь была таким тяжелым днем, а в походах случались и праздники. И как ни приметливы были десятники, а из любой битвы удавалось кое-что утаить,— то серебряное колечко, то клок дорогой парчи или что-нибудь из городского хлама, пригодное, чтобы сбыть скупщикам, следовавшим за войском, как шакалы за тигром.

И, главное, только в походе чувствовали себя люди свободными, как ни строго присматривали за каждым: в тимуровском войске жилось вольготнее, чем под присмотром старосты на родных полях, чем под приглядом хозяина на работе в родных городах. Здесь свободно дышалось от самого ветра, то знойного, то студеного, когда шли по приволью новых, незнаемых стран. И еще была у каждого воина надежда отличиться в битве, схитрить при ограблении города, утаить драгоценность, попасть в милость к сотнику, была надежда, возвратившись из похода, начать спокойную жизнь.

И каждый верил, что так оно и случится; и милость начальников заслужить, кинувшись в опасное место битвы, и сокровища добыть и утаить от зорких начальников.

Здесь, на краю смирного, почти своего города, войску разрешалось жечь костры. У каждой юрты горели очаги, земляки и приятели ходили друг к другу наведаться. Кое-где воины сидели, тихо разговаривая, или, в угоду радивому десятнику, чинили износившиеся за дорогу ремни, точили ножи и кинжалы, штопали одежду, чистили мечи или шлемы, но многие уже отдыхали, развлекаясь игрой.

Стан еще не весь был в сборе. Еще подходили войска, шедшие позади. Им определяли места стоянок в том же порядке, установленном еще Чингиз-ханом, коему Тимур всегда следовал, хотя и прикрывал языческое нутро своих воинов зеленым лоскутом знамени пророка Мухаммеда, знамени священной войны.

Хотя и тихо вели себя войска, усталые после душной, пыльной степной дороги, а все же весь гул голосов, ржанье или визг повздоривших лошадей, звон оружия, стук топориков у очагов, какие-то стуки, окрики, топоты — все это наполняло округу гулом, будто само море подступило к столетним башням Султании.

И только по внезапной тишине, наступившей в стане, горожане могли бы понять, что там что-то случилось.

Смолкли топорики и голоса, даже кони перестали ржать и взвизгивать,— в стан прибыл Тимур.

Он приехал проведать, хорошо ли дошли, правильно ли размещены его войска.

Он ехал по узкой тропе между юртами. За ним следовали Халиль-Султан и Султан-Хусейн.

Царевичи, хотя и проводили свое время в Чинаровом саду, в семье деда, но и у Халиль-Султана, и у Султан-Хусейна, пришедших с войском, здесь стояли свои шатры, возле их шатров блистали златотканые знамена, ибо Халиль-Султан в этом походе начальствовал над всем левым крылом, а Султан-Хусейн — над всеми осадными орудиями и тридцатью тысячами осадных войск, собранных из покоренных народов. В битве у Халиль-Султана было заботой беречь своих воинов и не щадить врагов; у Султан-Хусейна — беречь громоздкие и дорогие орудия, не щадя своих воинов. Но доблестью того и другого царевича в битве считалось умение сочетать бережливость с быстротой исполнения приказов Тимура.

Оба царевича ревниво следили за левым плечом деда,— куда он повернет коня, в чьем шатре остановится? Велика честь тому, чей шатер удостоит он посещением,— войско сразу узнает, кто в милости, кто в любви у повелителя мира.

Не поворачивая головы, Тимур поглядывал вдоль рядов юрт знающим взглядом, понимая все приметы этой жизни, запоминая всякую пылинку, если она нарушала чистый, как боевая сталь, порядок стана.

Сердце Халиль-Султана упало: дед проехал мимо поворота, где в глубине отливал золотом высокий бунчук начальника левого крыла войск.

«Гневен на отца, а я терпи!» — с досадой и горечью подумал Халиль. А лицо Султан-Хусейна сделалось неподвижным, и он прикинулся, что поправляет шапку на голове, чтоб Халиль не уловил в нем торжества и насмешки.

И вдруг круто, как это любил Тимур, он задрал морду своего легкого, горячего коня. Конь вздыбился и, повернувшись на одних лишь задних ногах, пошел прямо к бунчуку Халиль-Султана.

Тимур остановился у шатра, но остался в седле. Быстро спешившись, Халиль подбежал к стремени деда и, прижав к сердцу руку, поклонился:

— Окажите честь, государь!

Лишь тогда дед оперся о руку Халиль-Султана и вошел в шатер.

Сев напротив входа и возблагодарив бога за благополучное прибытие, Тимур усадил слева от себя хана Междуречья, правнука Чингиз-хана, своего послушного друга, безбрового Султан-Махмуд-хана. Рядом с ханом сел начальник правого крыла войск Шейх-Нур-аддин, с ним — Шах-Мелик, круглоглазый Аллахдада, и лишь после Аллахдады занял свое место Султан-Хусейн, ибо хотя Аллахдада начальствовал тоже над тридцатью тысячами воинов, но эти тридцать тысяч были боевой конницей, и Тимур считал их по значению выше, чем осадные войска царевича Султан-Хусейна. Следом за царевичем опустился Шейх-Мангнур, предводительствовавший слонами и в этом походе подчиненный восемнадцатилетнему Султан-Хусейну. Дальше садились, сами устанавливая свои места, остальные темники, оказавшиеся в стане.

Справа, где, по обычаю Тимура, на дворцовых пирах усаживались его жены, а на походных пирах — тысячники, сели начальники тысяч, размещаясь по возрасту. Сюда пришли только те из тысячников, которые состояли в левом крыле Халиль-Султана, как если бы Тимур остановился в шатре Султан-Хусейна, собрались бы тысячники из его стенобитных и осадных войск. Все понимали: Тимур гостил не у своего внука, не у царевича Халиль-Султана, чей шатер его осенял, даже не у начальника левого крыла войск, а у всего левого крыла своего воинства.

Тысячники, заняв места справа от Тимура, разместились по возрасту, и рядом с Тимуром оказался кривой на левый глаз, с глубокой вмятиной в левой кости лба старый соратник Тимура Хызр-хан, длинный старик с тонкими сухими губами и жидкими пучками желтовато-белых усов.

Хызр-хан был лишь десятником в битве за Ургенч, где отличился, когда предатель Кейхосров кинулся, с копьем наперевес, на ставку Тимура. У Хызр-хана убили коня, и, отягченный кольчугой, десятник отошел от свалки, видно, выискивая лошадь, чтоб снова сесть, но увидел Кейхосрова, мчавшегося во главе разгоряченной конницы, и, улучив мгновенье, не отстранился, а прыгнул на могучую грудь вражеского коня. Конь споткнулся и

опрокинулся, а Кейхосров, метнув к небу красными сапогами, свалился под свою же конницу. Отряд предателя смешался, вылакивая из-под лошадей своего разъяренного и одуревшего главаря.

Так было потеряно то мгновенье, которое нельзя было упускать Кейхосрову, ибо наперерез ему мчался заслон Тимура, и ставка повелителя стала недосягаемой для врага.

Когда принесли Хызр-хана, Тимур увидел лоб, вдавленный копытом коня, и глаз, вытекший под тем же копытом, и сказал:

— Отлежится, будет тысячником: смел, сметлив, предан.

С тех пор прошло много лет. Хызр-хан бился во многих битвах на берегах Волги и на берегах Тигра, на берегах Куры и на берегах Инда, он везде был смел, зорок, предан, но так и остался тысячником, ибо, чтобы стать темником, надо было владеть областью, с которой собиралось бы по десять тысяч воинов. Такой области Тимур Хызр-хану не жаловал, и Хызр-хан старел, возглавляя все ту же тысячу и славя бога за ниспослание Тимуровой милости.

Когда на пиру в Дели старейший из тысячников Сафарбек подавился куском телятины, старейшим из тысячников, неожиданно для себя, оказался Хызр-хан, никогда не думавший о своем возрасте. С тех пор бывшему десятнику случалось сиживать на пирах плечом к плечу рядом с бывшим атаманом Тимуром.

Халиль по долгу хозяина сел у входа и спросил деда, как почетнейшего из гостей:

— Велите нести кумысу, государь?

— Время кумыса прошло. Нынче дождь будет. Надо к непогоде готовиться. Давай бузу...

Военачальники переглянулись,— в этакий светлый день пророчит непогоду!

Один лишь Хызр-хан посмел вымолвить:

— Истинно, государь!

Тимур не любил, когда так поспешно с ним соглашались, если оснований к этому не было. Сощурившись, Тимур повернул голову направо:

— Почему это истинно?

На грозный вопрос Хызр-хан ответил твердо:

— Лошади чешутся, государь.

Тимур одобрительно кивнул:

— То-то!

В словах Тимура содержался тот приказ, который надлежало незамедлительно выполнить и, не смея встать от царской беседы, темники незаметно подзывали то одного, то другого из своих сотников, шепча им приказ: подготовить весь стан к ненастью.

Тем временем Тимур продолжал разговор с Хызр-ханом:

— И что ж ты?

— Велел, государь, всей своей тысяче сдвинуть юрты теснее, кошмы натянуть, дров запасти — все, что следует.

— А других не остерег?

— Указа не было. Я их остерегать начну, а они над стариком посмеются. Однако кое-кому сказал: вон Ходжи-Усуню; Кара-Огуз-хану тож. Они послушались, они меня знают.

— Ну-ка, брат Хызр-хан, по своему разуму не на своем ты месте. Сядь-ка от меня слева. Там тебе сидеть!

Это была великая честь! Большой почет! Высокая награда — тысячнику сидеть с темниками.

Взамен этой чести Хызр-хан предпочел бы получить в удел хороший тумень, тогда он разумно собирал бы по десять тысяч воинов; а остальных своих подданных сумел бы научить так трудиться, чтоб и этих воинов вдосталь обеспечить, и самому исправно получать подати.

Внесли большой глубокий котел и, поставив его перед Халиль-Султаном, подали царевичу резной деревянный черпак.

Налив золотую чашу густой бузы, Халиль-Султан, придерживая вздернутый длинный рукав халата, поднес чашу Тимуру.

Тимур, прежде чем принять чашу левой рукой, показал на свою бессильную правую руку и виновато проговорил Халиль-Султану:

— Извините!

Словно здесь не знали о бессилии его правой руки!

А приняв чашу, тотчас подал ее Султан-Махмуд-хану:

— Выпейте, великий хан! — попросил Тимур.

Султан-Махмуд-хан отказался, но отказался лишь из вежливости перед старшим по возрасту.

Тимур повторил:

— Выпейте, выпейте, великий хан!

Султан-Махмуд-хан снова отказался, но тоже лишь из вежливости, как перед отцом хозяина юрты.

Тимур настаивал:

— Выпейте, просим вас, великий хан!

Больше ничем не превосходил его Тимур, ибо ханом необъятного царства именовался он, Султан-Махмуд-хан, и взяв из руки Тимура тяжелую чашу, хан, лишь пригубив ее, возвратил Тимуру.

Халилю было неприятно это притворство деда:

«Повелитель мира показывает, что кровь Чингиз-хана значимей всяких побед и всякого могущества! Притворщик!» — думал Халиль-Султан, отгоняя более резкое восклицание: «Лицемер!»,

которое Халиль-Султан давно подавлял в своем сознании, не позволяя ему облачиться в слово.

Но Султан-Хусейну эта игра Тимура, видно, была по душе: он одобрительно улыбался, глядя, как Тимур уважительно допивал возвращенную ханом чашу.

Едва допив, Тимур протянул чашу не хозяину, а Шейх-Нур-аддину, и тем самым избрал его левым, почетным старшиной, чьей обязанностью было возвращать чашу хозяину.

Шейх-Нур-аддин неуклюже пересел вперед, на войлок, между Тимуром и хозяином, неумело запрятывая под себя свои долговязые ноги.

Он вернул чашу Халиль-Султану с капелькой бузы, недопитой Тимуром, ибо допить чашу без остатка считалось проявлением жадности и невежеством.

Халиль-Султан снова наполнил золотую чашу из деревянного черпака и подал ее, став на левое колено и по-прежнему оттягивая правый рукав, тысячнику Хурам-беку, занявшему по возрасту освободившееся от Хызр-хана верхнее место среди тысячников, рядом с Тимуром.

Так, по праву хозяина, Халиль-Султан избрал правого старшину, обязанного принимать чашу от хозяина и подавать ее гостям.

Старый вояка, покраснев от неожиданной чести настолько, что седая его коса, как показалось Халилю, задымилась, вспотев, подал чашу Тимуру.

Тимур выпил ее, никому не предложив, и отдал Шейх-Нур-аддину, а Хурам-бек тем временем занял свое место впереди, напротив Шейх-Нур-аддина.

Третью чашу Тимур, снова приняв ее из дрожащей руки Хурам-бека, пригубил и отдал Султан-Махмуд-хану, а хан протянул ее Шах-Мелику:

— Выпейте, брат!

Тем временем несколько воинов из десяти тысяч Шах-Мелика, сдвинувшись в кружок на мягкой белой кошме, метали кости.

В те часы, когда повелитель находился в стане, внимание десятников бывало поглощено присутствием повелителя, и воинам можно было спокойно пометать часок-другой эти обманчивые, покрытые сетью трещинок, пожелтелые от множества горячих и потных ладоней кости с черными коварными точками.

Маленький кашгарец, по прозвищу Заяц, горячился: три недели назад он проигрался дочиста. Проигрался настолько, как никогда не бывало с ним, заядлым игроком. Но и противник оказался упорным. Воин, по прозвищу Милостивец, хотя и не был кашгарцем, в игре оказался стоек и ловок. Остальные игроки, выходцы из Бухары, играли вяло, будто нехотя, а проигры-

вая, хитрили, ища причину, чтобы увильнуть от дальнейшей игры. Проиграли целый день, пока их не подняли в поход, и в тот день игру Заяц окончил с небывалым позором: проиграл ухо! Он сам не ожидал, что так случится. Когда нечего стало ставить на кон, Милостивец сказал:

— Попытайся. Может, отыграешь?

— А ставка?

— Давай на ухо.

Заяц поколебался. Если он проиграет, Милостивец отрежет ему ухо, и тогда целью всей жизни Зайца станет отыгрыш этого уха или выкуп его. Нет позора тяжелее, чем такой, когда собственное твое ухо принадлежит другому и валяется у него, завернутое в пояс или в тряпку.

Но еще глубже позор, означающий полное падение игрока, когда в условленное время потерявший ухо не сможет выставить ставку, равную цене уха, или выставит, но проиграет снова.

Тогда у выигравшего право на выигранное ухо возрастает вдвое, ставка к следующей игре на отыгрыш уха удваивается и срок отыгрыша укорачивается.

Если к условленному сроку бывший хозяин уха не выставит на кон условленной ставки или не отыграет уха, владелец этого выигрыша имеет право поставить выигранное ухо на кон в игре с другими игроками, назвав цену уха. И тот, кто примет и выиграет эту ставку, забирает ухо себе, завертывает его в свою тряпку и может в своих играх ставить, проигрывать и отыгрывать это ухо, будто это уже не ухо с головы живого воина, а козья шкурка или серебряное кольцо. И пока ухо перекатывается с кона на кон, нет в стане человека более презренного, более жалкого, чем воин со срезанным ухом, столь слабый, что несостоятелен для выкупа и неискусен для отыгрыша. И тогда, как ни свешивай косу на висок, как ни прилаживай шапку набекрень, ничем не скроешь своего срама и позора от наглых, насмешливых, назойливых взглядов, усмешек, вопросов!

Так вот, надо было случиться, чтоб Заяц, проигравшись дочиста, испугался, что проиграл небольшой крест, который давно, еще в Грузии, достался ему при схватке в одной из деревень. Крест был искусно вычеканен, и Заяц нередко любовался им, если бывал уверен, что никто не видит этой вещицы в его руках. Теперь десятник мог дознаться, что Заяц в своей игре ставил такие ценности, каких воину припрятывать не положено. Надо было во что бы то ни стало отыграть крест назад.

И когда он услышал от счастливого противника это пренебрежительное предложение: «Давай на ухо!», Заяц, вскипел: «Отыграю крест!» и ответил с усмешкой, уверенный в отыгрыше:

— Давай!

— На все?
— На все!
— Не много ли?
— Ухо!
— Дорожишься, трудно тебе будет отыгрывать.
— Моя забота!
— На, мечи!

Договорившись о стоимости всего своего проигрыша, Заяц на всю цену выставил ухо. Он был уверен, что, проиграв девять раз подряд, в десятый непременно выиграет: редко бывает, чтоб кость десять раз кряду оказывалась битой!

Заяц метнул. Вышло девять. Немного, но он и не ждал непременно всех двенадцати.

Метнул Милостивец. Вышло одиннадцать, чего не выпадало за всю игру.

Заяц попросил три дня сроку на возврат долга, но вгорячах слишком много посулил за выкуп и за три дня не смог достать даже половины того, что надо.

Через три дня он пришел к Милостивцу и, при трех свидетелях отозвав его в степь, за камни, молча стал на колени.

Милостивец так ловко, одним махом, срезал ему ухо, будто всю жизнь изо дня в день резал уши прославленным воинам завоевателя вселенной. При этом Милостивец дал обещание никому не показывать креста, предостерегая:

— Только б бухарцы не разболтали!

Но с бухарцами Заяц договорился, и за небольшие подарки они согласились молчать.

Так было проиграно ухо Зайца, и вот сегодня те же игроки снова сошлись для игры. Тут, на окраине чужого, хотя и давно завоеванного торгового города, Зайцу посчастливилось минувшей ночью принять от двоих запоздалых прохожих воздаяние за неприкосновенность их жалкой жизни.

Прикинув цену добычи, Заяц явился к Милостивцу и предложил отыгрыш.

Милостивец с оценкой добычи согласился, но за ухо назначил двойную цену, а выменять ухо на добычу без игры отказался.

— Твое право! — приуныл Заяц.

Играли уже час.

Надо бы сразу было ставить на ухо, но Заяц вздумал хитрить, отыграться помаленьку. Кости ему давались,— он выигрывал.

Разыгравшись, он, наконец, сказал:

— Ну, давай?
— Ухо?
— Давай!

Он поставил на кон договоренную цену и метнул. Вышло, как и в прежний раз.

— Девять!

— Священное число!— усмехнулся бухарец.

Милостивец постучал костями между ладонями.

— Ну!

— Одиннадцать!

— Не иначе,— это сам бог тут! — убежденно сказал бухарец, пока Заяц, обомлев, вглядывался в роковые кости.

— Ладно! — крикнул Заяц.— Ставлю второе ухо на отыгрыш первого!

— Срежу! — предупредил Милостивец.

— Ставлю!— настаивал Заяц.

Но судьба на этот раз уберегла последнее ухо Зайца: появился десятник, и надо было скрыть от его глаз все ценности с кона.

За это время буза в котле у Халиль-Султана кончилась. Все уже выпили по нескольку чаш: как ни медлительно двигалась чаша по кругу, никто, приняв чашу, не задерживал ее,— заставлять остальных гостей ждать считалось зазнайством, желанием привлечь к себе внимание, поставить себя выше других.

Халиль-Султан громко черпнул по дну котла, налил последний черпак, держа усталой рукой тяжелую чашу, и подал ее самому ближнему, сидящему налево от него молодому тысячнику, своему ровеснику, эмиру Дарбанди, приговаривая:

— Ну, на дорожку!

Эмир, пригубив, передал чашу соседу слева. Тот же передал ее следующему слева. Так и прошла эта последняя чаша от младших к старшим, и каждый ее передавал дальше; дошла она до Тимура, и он, пригубив, передал ее Султан-Махмуд-хану. Хан передал ее Шах-Мелику, Шах-Мелик — Султан-Хусейну и, наконец, дошла она, всеми пригубленная, но никем не выпитая, до Шейх-Нур-аддина. Шейх-Нур-аддин возвратил ее хозяину.

Халиль-Султан отпил и снова подал ее Шейх-Нур-аддину:

— Выпейте, выпейте, прошу вас, на дорожку!

— И только тогда Нур-аддин выпил ее всю.

Угощенье окончилось. Тимур встал. У всех внутри разливалось тепло, согревающее сердце и утоляющее печали.

И вдруг по плотному, гулкому шелку шатра забарабанил будто быстрыми пальцами по бубну, дождь.

Пятнадцатая глава

СУЛТАНИЯ

Мираншаху развязали руки в конце первого же дня заточения, но за это время из тесного чулана вынесли все, чем он мог

бы себя убить. Даже коврик, жалкий, потертый коврик, вынесли: узник мог надергать из него пряжу и скрутить петлю. Даже медную чашку заменили, деревянной.

Но Мираншах отнесся к этой заботе с удивлением: он надел петлю на шею в отчаянии, но даже тогда не решился ее затянуть, а теперь отчаяние сменилось постоянным, неотступным, как зубная боль, страхом.

За несколько дней уединения Мираншах исхудал и заметил в себе легкость, поворотливость. Ноги стали послушнее, хотя некуда было идти.

Мысль о ходьбе лишь обострила страх: ведь его могли заставить идти своими собственными ногами под меч палача, как сам он не раз заставлял преступников,— а порой и невинных людей,— идти через всю площадь в сопровождении палачей, а сам смотрел и даже, случалось, посмеивался,— у приговоренных был занятный вид!

Иногда он приговаривал к смерти какого-нибудь купца из христиан за неисправную выплату податей, если желал получить их с остальных купцов раньше срока и в большем размере, чем полагалось. Отлично действовало: едва срежут голову одному, как со всех уцелевших подать поступала немедленно и без всяких споров.

Иногда он приказывал схватить богатого мусульманина из того или иного ряда и требовал выкупа со своего ряда или с семьи. Это тоже помогало приумножению доходов, и все это было спокойнее, чем нападать на соседей, тащиться в поход, захватывать города,— ведь захваченное в походе поступало бы в казну, а казне хозяин отец, а не Мираншах. Сборы же с купцов шли Мираншаху: Тимуру не пришло бы в голову требовать дележа столь мелких добыч.

Казна не пополнялась, казна давно опустела, но ведь Мираншах не просил у отца помощи, сам справлялся со своими нуждами!

Мираншах был щедр, но разве щедрость позорит правителя? Нет, историки утверждают, что щедрость и великодушие украшают правителя! И ведь щедр он был лишь с теми, кто заслуживал щедрости, с милыми, веселыми, ласковыми людьми. Со злодеями, с хмурыми христианами, с покоренными народами, даже с мусульманами из пахарей или ремесленников он никогда не бывал щедр,— он помнил порядки отца: снисхождение к таким людям лишь развращает их. За что же гневен отец?

Мираншах жил беззаботно, жалел своих вельмож, не бывал с ними строг или придирчив, но за то и они платили ему преданностью.

Он напугался, когда узнал о прибытии отца,— кто не испуга-

ется, когда к дому подкрался тигр! А Тимур — хмурый тигр: никогда не поймешь, чего он хочет. Если б с добрым сердцем шел, не подкрадывался бы. А когда он крадется, кому не страшно?

Но если б он был настоящим, любящим отцом, разве не растрогался бы он, не прослезился бы, видя сокрушенного своего сына, уже вдевшего голову в петлю, покорного, смирного, послушного!

Нет, он не прослезился,— он его скрутил, как барана, пока не очистил для сына этот хлев, а теперь томит сына, царевича, как грузинского харчевника, как азербайджанского рыбника!

Разве это отец?

Мираншах размышлял, то обижаясь на Тимура, то с испугом прощая отцу его заблуждение, но сердце ныло от страха, не переставая, мучительно, во все эти дни одиноких раздумий.

Это сердце внезапно остановилось, укатилось куда-то под ноги, увлекая за собой и Мираншаха, когда он услышал за дверью шаги, которые узнал бы из десятков тысяч других шагов: мимо двери прошел Тимур!

Тимур прошел через весь дворец, а с ним шел дворцовый есаул, неся скатанные трубочкой описи. Но описей Тимур еще не спрашивал, он прошел через весь дворец до угловой башни, внутри которой был ход вниз, в казнохранилище.

У входа уже ждали начальник города Султании, назначенный Тимуром, и главный казначей владений Мираншаха.

Они спустились в подземелье, и Тимур потребовал у есаула:

— Опись!

— Вот она, великий государь.

— На ней ничего не написано!

— Нечего было писать, великий государь.

Главный казначей повалился к ногам повелителя.

Тимур при шатающемся свете внесенных светильников оглядывал эти крепкие подвалы, сложенные из огромных серых глыб.

— Кто ж держит казну в этакой склизи?

— Да уж... Истинно, великий государь.

— Тут хорошо не для казны, а для казнокрадов!

С откровенным удовольствием есаул подтвердил:

— О, истинно, великий государь!

— Кто строил?

— Неизвестно, великий государь. Может быть, тысячу лет держится.

— Много здесь побывало всякого-такого... за этакое время!— сказал Тимур не без сожаления, что в те далекие времена ему не довелось побывать здесь.

Своды, своды: тяжело нависая, своды удалялись в непроглядный мрак.

— Пойдемте! — позвал Тимур.

— Там ничего нет, великий государь.

— Несите светильники!

И они пошли, углубляясь под эти своды, где шаги их сливались в одну тяжкую, грозную, гулкую поступь.

— Оно будто спускается? — спросил Тимур.

— Сказывали, в давние времена оно уходило под дно моря, а выходило наверх в Баку.

Спутникам Тимура было страшно. Об этом подземелье ходили разные предания: сюда заточали узников, и потом от них не находили ни костей, ни клока одежды. Говорили, что брошенный сюда персидский царевич вдруг объявился в Шемахе, а когда его спросили, как он прорвался через ряды врагов, он ответил: «Между Баку и Шемахой никаких врагов нет».— А разве вы не из Султании? — «Нет, я из Баку!» — ответил царевич. Сказывают, это было сотни лет назад, но легенды эти жили среди жителей Султании. Другие рассказывали, что в глубине подземелья живет дьявол, и заточенных сюда он глотает вместе с одеждой и костями. А теперь все шли при слабом, замирающем свете, удивляясь, что пламя как бы прилегает к светильникам, словно кто-то дует на него и вот-вот затушит. Все робели, у всех было тяжело на сердце: «Жаль, что повелитель не знал всяких здешних басен, иначе он не шел бы так решительно дальше и дальше по этому проклятому подвалу!»

Но вдруг Тимур, не оглядываясь, сказал:

— Видно, и казну дьявол сожрал вместе с костями и тряпками!

В одном месте что-то звякнуло под ногой Тимура. Он велел поднять. Это был узкий кинжал без рукоятки.

Тимур провел клинок между пальцами и уверенно сказал:

— Арабский. Из Дамаска.

И снова пошел.

Наконец их дорогу преградила вода. Как они ни протягивали трещавшие, погасавшие светильники, ничего не могли разглядеть,— дальше стояла рыжая мертвая гладь воды, и во мраке казалось, что и своды в глубине сомкнулись.

Тимур долго смотрел, каким странным медным отливом отвечает вода на пламень светильников. Гладь воды была неподвижна, и если и лежало что-нибудь под этой водой, то где-то глубоко, навеки затаено или заколдовано там.

Все продрогли. Один лишь Тимур не замечал сырого, промозглого холода этих стен. Он повернулся и пошел назад, будто

с сожалением, будто ему тяжело было расставаться с этим зловещим местом.

— Так вот... Здесь и хранили казну?

— Здесь, государь.

— А из этой воды не было к ней доступа?

— Я велю осмотреть воду, если надо. Перейти ее, высмотреть, откуда она, глубока ли...— сказал есаул.

— Надо. Вели! Только верным людям!

И, пройдя несколько шагов, добавил:

— Людей ты подбери сам. Одного к одному. Чтоб потом сказок не сказывали.

— Подберу, великий государь!

— Чтоб верные были, но чтоб потом о них не жалеть.

— Я знаю, великий государь.

И опять, перед тем как подняться наверх, когда светильники снова разгорелись ярче, Тимур оглянул подвал:

— Пусто!..

И опять казначей хотел упасть к ногам Тимура, но устоял, простонав:

— Я только выполнял указы правителя.

— А почему мне не донес? Не понимал, что казна мне надобна? А?

— Откуда мне знать,— считал, что правитель, с вашего согласия... великий государь!

— Врешь! Знал. Я на пиры, на жиры свою казну не трачу. Я горсть возьму, берегу, пока не понадобится для войск. Отдам им эту горсть, они мне взамен тысячу горстей несут. И те не трачу, возьму, берегу, пока не понадобится... для войск!

— Великий государь!..

— Может, за казну я тебя простил бы. Да ты соврал. Ты знал, зачем мне нужна казна. Видел, как она уходит на ветер. Каялся бы, а ты врешь! За это не проси милости. Казна не мне, казна моему царству нужна. Самарканду. Понял?

И Тимур пошел наверх, удивляясь, что казначей, дрожа, звякает ключами, скрипит дверью, замком...

«Зачем? Что запирать? Надо было раньше запирать»,— думал Тимур.

За все эти дни в комнатах у есаула расспросили немало разных людей — купцов, базарных старост, дворцовых поставщиков, землевладельцев.

Тысячников и темников из войск Мираншаха спрашивал сам Тимур.

Наконец описи были закончены, и все имущество не только

этого дворца, но и всех остальных дворцов и садов Мираншаха подсчитано.

Городской дворец выглядел нежилым. Залы стали гулки. За дни описи ковры были скатаны к стенам, все вещи составлены в угол, в каждой комнате оставлено то, что оказалось в ней при Мираншахе. Тимур проходил по дворцу, словно вновь завоевал его.

Тимур созвал Великий совет, который был немноголюден. В Малом совете советников было в пять раз больше.

Не в высоких залах, не в парадных покоях дворца, а в тесном углу, у есаула, собрал Тимур Великий совет.

Из гулких зал Тимур вышел во внутренний дворик. За непогожие дни сразу потускнели деревья. Листва их не пожелтела, а побурела, и листья с легким жестяным стуком падали то в прудик у фонтана, то на кусты роз, то на сырую землю.

Тимур загадал, приметив отвалившийся от клена листок. В небе, вновь просиявшем после холодных дождей и ветров, листок падал так медленно, словно раздумывал, не вспорхнуть ли назад, на прежнюю ветку.

Исстари было заведено в Междуречье гадание по звездам. Десятки звездочетов служили при дворцах правителей, при мечетях, при базарах. Иные выслушивали вопросы и давали ответы возле почитаемых могил, а то и в нишах около городских бань. Гадал у звездочетов и Тимур, чтобы все видели, что он не пренебрегает небесными знамениями, но для повседневных своих дел он обходился гаданиями, привычными с детства: по сочетанию подброшенных и упавших камушков, по ушам коня в пути, по полету опавшего листка. Он считал, что бог всегда ответит, на любой вопрос даст ответ условленными знаками.

Он загадал:

«На землю упадет — могила; на воду — жизнь сохранить, но обесславить; на куст — оставить на виду, но держать в руках».

Листок, подобный раскрытой ладони, опускался столь медленно в тишине, в синеве неба, что, думалось, вот-вот он скроется куда-то в сторону и не ответит Тимуру.

Листок задел за ветку, задержался на ней и, вновь, соскользнув, плавно повернулся в воздухе.

Он опустился прямо на зеленый еще куст роз, но едва коснувшись живых листьев, еще раз повернулся, распластавшись, пролетел над самой водой и упал на середину дорожки.

«Так и я решил! — почти вслух подумал Тимур.— Бог согласен со мной, он сам видит...»

И облегченный от своих сомнений, повелитель прошел через угловой переход на внешний двор, к есаулу.

Кланяясь, советники раздвинулись, прося Тимура занять обычное место во главе их, на полу, на войлоке.

Но Тимур велел принести ему скамью:

— Нога болит, извините.

Иногда в зимние дни или при смене погоды, на рубеже осени и зимы или зимы и весны, ему трудно было уложить на полу свою негнущуюся, ноющую ногу.

Советники — старшие из темников, первые из эмиров, созывались для решения самых больших, самых трудных дел.

Они ждали слов Тимура, прежде чем заговорить самим. Они ждали от него вопроса, хотя каждый знал об этом вопросе и у каждого был готов ответ.

С молчаливым Султан-Махмуд-ханом, с широколицым, приветливым и доброжелательным Шах-Меликом, с угрюмым Шейх-Нур-аддином, даже с уклончивым, отводящим в сторону глаза сейидом Береке, не без подношений и не без щедрых посулов, по этому вопросу уже говорили и сама великая госпожа, и любимый всеми Халиль-Султан, и царевна Ширин-бики, жена Мираншаха.

Тимур через своих проведчиков и проведчиц знал о всей этой суете, посулах, просьбах и уговорах. Его сердило, что вмешиваются в такие дела, которые до дна он один понимает, но он сильнее рассердился бы, если бы великая госпожа отнеслась безучастно к участи Мираншаха или оказалось бы, что Халиль равнодушен к судьбе своего отца.

Советников удивило, что Тимур допустил на совет дворцового есаула, служившего здесь Мираншаху.

Но Тимур не только призвал есаула, а и посадил неподалеку от себя.

По обычаю, он попросил сейида Береке прочитать молитву и вслед за ней, едва дав ему договорить последние слова, спросил есаула:

— Твои описи при тебе?

— Здесь, великий государь.

— Оценки при тебе?

— Здесь, великий государь.

И повернулся к своему писцу:

— Наши описи здесь?

— Вот они, государь.

— Возьми у есаула, сличи.

— Сличено; все сошлось, государь.

— Много добра нашли?

— Не меньше, чем из казны пропало. Но при том установлено:

многие из сокровищ дворца принадлежали правителю до расхищения казны.

— Мне нужна казна, а не установления.

— Истинно, великий государь.

Тимур опять повернулся к есаулу:

— По моим записям, из дворцов здешних вельмож и любимчиков ценности взяты?

— Как мозг из костей, до костей выскоблили, великий государь.

Не все в Великом совете знали, что за немногие дни повелитель не только составил какие-то списки, но и опустошил все знатнейшие дома Султании, а владыки этих домов уже заточены здесь, во дворце, в подвале казнохранилища: Тимур не любил разглашать своих дел, пока дело не сделано.

— И что же? — спросил Тимур есаула.— Много добра?

— Во много раз больше, чем было в казне.

— Еще бы,— у казны здесь один подвал, а у расхитителей подвалов много.

Истинно, государь.

Тогда Тимур повернулся к Великому совету с облегченным вздохом:

— Вот мы и вернули казну!

И некоторым почудилось, что Тимур показал зубы из-под усов в знак улыбки,— это редко случалось —видеть улыбку повелителя.

Тогда Тимур обратился к совету:

— Если наш слуга украдет казну, доведет лишениями войско до нищеты, воинов разбалует, дозволив им искать себе пропитание вольной работой, помощников отвлечет от дел, рубежи государства оставит открытыми перед сильным, злым, жадным врагом, забудет, что города — это крепости, а не базары, доведет стены крепостей до разрушения; если своих купцов станет грабить, а у чужих принимать откупы за поблажки, если вместо полива земель пустит на плодородные земли стада, оросительным каналам дозволит зарасти травой и завалит их мусором, а хлеб станет закупать из соседних стран,— чего заслуживает наш вельможа, если вместо созидания предастся разрушению, вместо накопления — расхищению, вместо повиновения — своеволию? Если свой удел он мыслит не частью единого государства, а...

Гнев нарастал в Тимуре, и голос его пресекся. Перемолчав, он спросил притихших советников:

— Чего заслуживает такой слуга?

Великий совет молчал, и когда Тимур смотрел на этих вернейших людей, на свою опору, на людей, коими он сковал, как

обручем, все спицы гигантского колеса — своей империи,— советники опускали глаза, выжидая, чтобы повелителю ответил кто-нибудь другой.

— Молчите? Я скажу сам: казнь!

Он видел, как вздрогнули или как заворочались, все еще не поднимая глаз, эти твердые, безжалостные, суровые люди.

— И такую казнь, чтоб все видели! Чтоб каждому стало страшно!

Лишь Шах-Мелик, подняв строгое лицо, прямо глядя в глаза Тимура, возразил:

— Он вам сын, государь.

Тимур не ждал, что придется спорить. Он не привык спорить. Не бывало такого, чтоб приходилось спорить. Сейчас он мог впасть в такую ярость, что уже ни Великий совет, ни весь этот огромный дворец, ни вся вселенная не остановят его ярости, пока он не сокрушит всего, во что бы ни уперся!

С нарастающим гневом глядя в недрогнувшие глаза Шах-Мелика, Тимур встал со своей скамьи.

Но и Шах-Мелик встал с пола.

Казалось, Тимур накапливает силы для неукротимого, сокрушительного прыжка, выискивая в Шах-Мелике то место, куда вцепиться.

Но, стоя так, он еще раз услышал спокойные, твердые слова Шах-Мелика:

— Меня можно убить, государь. Не во мне дело. Но вам он сын...

— Таджик! Вы все жалостливы! А мне нужно...

— Не во мне дело. На Меч Ислама ляжет пятно сыноубийства. Будет ли он тогда Мечом Ислама?

— Это не твое дело. Пусть сейид скажет! Ну-ка!

Береке встал.

Государь! Всякому мусульманину известно, когда Ибрагим пожелал во имя божие заколоть сына своего Исмаила, сам бог отвел его меч в сторону.

— Я — не во имя божие. Мне надо укреплять государство, а не потакать!..

— Всякое дело, государь, становится известным богу.

— Есть дела, которые бог поручил мне самому здесь решать. Не вы ли, благочестивый сейид, это говорили? Говорили, а?

И, не ожидая ответа от сейида, Тимур осматривал молчащих, но уже не прячущих от него глаз советников.

Неожиданно он спросил есаула:

— Ну? Говори!

И есаул сказал:

— Нельзя, государь. Как можно? Каждый самый жалкий

человек скажет: «Повелитель, мол, детей из-за золота убивает, я, скажет, лучше, я хоть и нищ, да детей своих ращу, а не режу!» Тогда что? Царство ваше велико, а вы один. Надо, чтоб... Да что мне говорить,— вы сами своей великой мудростью уже постигли это!

Есаул угадал: Тимур, остывая, уже, хотя и неохотно, неумело, но уже отступал от своего намерения. Как всегда торопливо, искал новый путь к сокрушению неподатливого, как горная крепость, вопроса: «Если не казнь, то что же?»

И хмурый, похромав перед скамьей, Тимур сел:

— Ладно.

Советники говорили еще, но их речи, то прямые, то извилистые, лишь повторили сказанное Шах-Меликом: жизнь Мираншаху оставить, навсегда отторгнув его от дел государства. Царство Хулагу отдать тому, кого повелитель сочтет достойным, но пока сам повелитель здесь, правителю здесь нечего делать.

Тимур все глубже уходил в свои мысли, как всегда, когда говорилось о том, что он уже решил.

Дослушав, он спокойно ответил им:

— Утверждаю!

Помолчав, он поднялся:

— Я вашей мудрости внял! Теперь берегите рубежи: там опасный сосед.

Все знали, что Баязед, выведав о приходе Тимура, уже готовил войска, уверенный в своих силах, подчинивший уже немало стран по эту сторону Босфора, разгромивший рыцарей короля Сигизмунда на берегах Дуная.

— Чтоб идти на врага, надо знать, чем он силен; чтоб его победить, надо знать, в чем он слаб. Вот о чем пора знать. А? То-то.

Тимур загадал своим советникам загадку, и разгадать ее надлежало прежде, чем он снова созовет их на Великий совет.

Отпустив советников, Тимур вернулся в запустелый дворец.

К вечеру посвежело, и в безмолвных залах даже солнце казалось холодным. Нога ныла, и от этого старик хромал тяжелее.

Он увидел, как в одну из боковых зал воины принесли еще пылающий светлым пламенем жар и ссыпали его в каменное гнездо жаровни, под низенький стол.

Еще с утра, когда разболелась нога, Тимур натянул шерстяные, вязанные пестрыми узорами толстые чулки, чтобы согреться; надел белый бадахшанский шерстяной халат. В этой одежде таджика заметней стало лицо кочевника: узкие, оттянутые к вискам глаза, темные желваки скул, по-стариковски широкие, но редкие брови.

При виде ярких углей захотелось тепла. Тимур подошел к жаровне, от которой стражи тотчас отошли к дверям.

Нога ныла. Натянув толстое одеяло на столик над жаровней, Тимур до пояса накрылся согревшимся одеялом.

Стражи стояли у дверей, боясь шелохнуться. Тимур сидел один в темнеющей пустой зале.

Стемнело, а он сидел беззвучно: не хотелось даже за светильником посылать, чтобы никто не являлся сюда.

Согревшись, нога начала успокаиваться, но заныла сухая рука.

Тимур натянул одеяло на плечо. Стало легче, но и нога, и рука все же ныли, ныли...

Но еще сильнее ныла в нем тревога: «Великий совет воспротивился! Самые близкие люди не поняли: как всю жизнь, неустанно, не щадя ни себя, ни друзей, ни сыновей, ни войск, всю жизнь он расширяет свое царство. Разваливает города соседей, чтоб негде им было запереться от его гнева; десятки тысяч людей приказывает истреблять, чтоб уцелевшие благодарили за пощаду, славили его за великодушие и страшились бы его.

Больной, тащится он в новые и новые походы, чтоб не было других хозяев мира: он и один управится с этой вселенной, он и один сумеет удержать в ней порядок и повиновение. Внуков посылает под вражеские удары, чтобы все народы мира видели их, внуков своего хозяина, будущих хозяев всех царств на свете. Он никого не жалеет ради побед, ради царства, которое надо расширять. Расширять!

Растить бесстрашие внуков, приучать их, будущих владык, любить битвы и походы, не страшиться жестокости, не предаваться жалости, закалять твердость сердец.

Им он готовит вселенную, которую сам, с юности, по крохам копит — страну к стране, как деньгу к деньге, для своего наследника.

Ради этого он никого не жалеет. Тяжело было, когда послал в опасное место своего сына Омар-Шейха, когда надо было увлечь войско на превосходящую силу; знал, что там опасно, а послал. И Омар-Шейх пал: не отходить же назад! И поныне следит, чтоб внуки не пятились, чтоб подавали пример. А ведь из них каждый ему дорог, как каждый палец на своей руке. И потерять больно, и беречь нельзя.

А соратники, самые доверенные, самые выверенные... Ведь сколько дорог с ними пройдено, начиная с той скользкой, когда под ливнем вместе бежали за реку Сыр из Чиназа тридцать пять лет назад. Выверенные, как свой меч, отступились от воли повелителя, пожалели Мираншаха, смилостивились над отбившимся от рук негодяем, вырвавшим целое царство Хулагу из отцовской дер-

жавы. Смилостивились, а он — как дыра в сосуде; может, и невелика, да сколько в худой сосуд ни лей, всё вытечет, как ни мала дыра. А царство — сосуд, куда надо налить это самое... сокровища! И на века налить, навечно!

А когда он оставит правителями над покоренными народами и странами своих молодых, неопытных внуков, кто же присмотрит за единством их, если самые выверенные, старшие из соратников, склонны мирволить непослушанию, потакать мотовству.

Ведь дервиши подслушали, как не только на базарах, а и среди обленившихся вельмож в насмешку называли Мираншаха Мианшахом, что означает полу-царь, середка-наполовинку! Может, думали, что навоеванное отцом сын волен пускать по ветру? Никто не волен! И надо показать, что ни сын, ни внук — никто не волен!

Жалость казалась ему слабостью. Когда, случалось, спутники жаловались на зной, на стужу, на жажду, он один молчал, мог не пить, если остановка отдаляла победу, мог спать на голой земле, если для удобного ночлега пришлось бы сворачивать с прямой дороги. Мог и вовсе не спать, если надлежало опередить противника, и не сходя с седла, ехать; если даже тело деревенело от усталости, ехать! Зато никто не смел тогда жаловаться, когда в нем не было пощады себе самому. И все так шли, от него самого до каждого воина: не смея потакать своим слабостям, если надо было идти. Так они все и сюда пришли в первый раз, когда топтали Азербайджан, когда лбы разбивали об армянские башни, когда карабкались по лесистым грузинским горам, где из-за каждого куста нападали воины и старики-крестьяне. Как тогда, без сна, без еды, кидались от города к городу, от крепости к другим крепостям, из битвы в битву, чтоб не дать противнику ни опомниться, ни собраться с силами, пока не водворилась тишина по всей этой земле, где отовсюду тогда пахло гарью и мертвечиной. Не само собой далось царство Хулагу, когда он расширял свою державу до песков Месопотамии.

А эти старики, сами исхудавшие, почерневшие в том походе, теперь так великодушны к изнеженному бездельнику, ограбившему это самое царство Хулагу! К ротозею они отнеслись жалостливее, чем относились сами к себе. Себе не потакали, своих сыновей не облегчали от тягот походов, от опасностей битв, а бездельника, труса, лицемера, все как один, пожалели.

Говорили: ляжет пятно на отца за убийство сына. Говорили: народ возропщет.

Пятно? Это не их дело; не сам же он стал бы рубить ему голову. Так убрал бы, — ни единой брызги не капнуло бы в сторону отца! Он сумел бы! И эмира Хусейна, и подлого Кейхосрова разве он сам...

Возропщет? Народы всегда ропщут. И покоренные и, бывает,

свои тоже. Но ропщут втайне, с оглядкой. Разве он не знает? Ропщут! Но затем он и складывает башни из отрубленных голов,— семьдесят тысяч голов в Исфахане! В Исфизаре — башни из живых пленников, выше городских стен,— связать, и одного на другого, как кирпичи, а между ними известь, серую, быстро сохнущую... А потом заставить мулл вскарабкаться на рыхлую вершину, чтоб с ее высоты призвать верующих к благодарственной молитве! Во славу аллаха! Такие молитвы хороши, чтоб уцелевшие запомнили, чем кончается ропот в могущественной благочестивой державе Тимура. А его держава везде, куда бы он ни дошел. Ропот?! Не надо щадить тех, кто вздумает роптать. Чем их меньше останется, тем смирнее будут! Прежде чем рот откроют, голову прочь! Тогда и остальные сомкнут уста, покорятся с усердием...»

Нога ныла, будто из нее тянут жилу.

«Больно, а люди думают, ему хорошо! Он мало кого убил этой вот рукой, а она отсохла, болит, ноет...

Думают, ему хорошо, а покоя нет, нет покоя! Вот, пришлось вернуться из Индии. А ведь там много всего осталось, чего он не достиг, там бы еще надо было побыть, прибрать остальное, а пришлось возвращаться с полпути,— неспокойные вести шли о победах Баязеда. Китай, изгнав монголов, набирался сил. Орда оказалась в руках хитрого проходимца Едигея; Тохтамыш снюхался с литовским Витовтом, крался к Орде возвращать былую власть. А Орда, сиди там Едигей ли, Тохтамыш ли, зарится на Хорезм,— значит, нельзя с нее спускать глаз, нельзя в такое время оставлять свое царство без войск. Вот и вернулся. А было задумано пройти по всей Индии, завернуть на Китай, пощупать, не легче ли на Китай пройти оттуда... Если б только Москва придержала на это время Орду, он шел бы дальше. А Москва опрокинула Мамая и опять молчит. Сил набирается? Надо взять в руки всю Орду, совсем. А потом снова на Москву! Тогда не дошел, остерегся. До Куликова поля дошел, до самых мамайкиных могилок... И вернулся. Надо по-другому пойти, через Орду, через Булгар, как прежде Тохтамыш звал...

А эти советники... Пожалели... Им что! Он один знает цену каждому клочку земли. Он один...»

Тимур отвалился на войлок, чтоб вытянуть ногу, дать ей покой. Стало легче. Может быть, оттого, что согрелся, стало легче.

Боясь потревожить утихшую боль, лежал навзничь на жестком войлоке, незаметно, в раздумье, погружаясь в дремоту.

Одеяло сползло с плеча, голова закинулась на голый пол.

Стражи, переглянувшись, крадучись, перешагнули за порог, затворив за собой дверь: откуда им знать, как отнесется повелитель к тому, что они тут стояли, пока он спал, развалившись на полу, раскрыв рот, уронив с головы тюбетей. Таким его никому не

следовало видеть, сбитого с ног болезнью, слабостью или старостью.

И некому было ни укрыть его, ни подсунуть подушку ему под голову.

Тимур проснулся, когда рассвело.

Проснулся от боли. Теперь и шея и спина от лежанья на жестком полу болели.

За дверью шумел дождь, и от дверей несло сырым холодом.

Одним рывком, стиснув зубы, Тимур встал и на минуту замер от нестерпимой боли. Но сам нагнулся, поднял с полу тюбетей, крепко вытер лицо ладонью. Когда воины вошли на его зов, он уже стоял такой же, каким вошел сюда, словно не было ни внезапного сна, ни боли, неотступной, расползающейся по телу, как огонь по сухому суку.

— Есаула!— приказал Тимур.

Если он сам не спал, он не понимал, что нужные ему люди могли в это время спать, отсутствовать, предаваться своим делам.

Есаул знал нрав своего повелителя. Он был готов предстать в любую минуту. И он явился в опоясанном халате, в хорошо повязанной чалме.

— С чалмой мог и не возиться,— не мулла. Пока с чалмой возился, я ждал. А?

Есаул знал: явись без чалмы, пробрал бы за небрежность, за нарушение порядка. Да и чалма была повязана с вечера, лежала под рукой наготове, надеть ее было не дольше, чем шапку. Но не объяснять же это повелителю,— смолчал.

— Я велел подвал осмотреть. Не было из него хода? Не похищали казну через лаз, через щель?

— Ни лаза, ни щели не оказалось, великий государь.

— А проверяли надежные люди?

— И усердные, великий государь.

— А кто?

— Вельможи. Я их туда засадил и говорю: «Почтеннейшие, жизнь ваша принадлежит повелителю. Кто за собой знает вину, ищите выхода из подвала, другого выхода не ждите». Они, великий государь, все обшарили, всю воду истоптали, она нигде глубже пояса не стоит, из земли натекла, не из щели. А за водой — стена. Истово искали всякую щель, усердней истцов не сыщешь.

— Ты что ж... за прежние обиды с них взыскал?

— И за обиды, за прежние унижения взыскал, и ваше повеление надежно исполнил.

— Пойдем к ним.

Когда с тусклым фонарем спустились в подвал, узникам, отвыкшим от всякого света, язычок огня показался нестерпимо ярким.

Зажмурившись, они привыкали к свету, уже чуя, что близится решение их участи, еще не видя, что вошел сам повелитель.

Но он заговорил, и это ожгло их сильней яркого света.

— Все здесь?

Они молчали.

Он сказал в раздумье:

— Не думали попасть на место золота, которое отсюда брали?

Кое-кто всхлипнул, застонал, заголосил, но он снова сказал твердо и спокойно:

— У меня всегда так: кто на наше польстится, тот на том и сгинет!

Кое-кто запричитал. Слово «сгинет» не предвещало помилования.

Их лица показывались из тьмы, белые, оробевшие, искательные, обросшие, обрюзгшие, и снова пропадали во тьме.

Он стоял, глядя на участников Мираншаховых дел и развлечений.

— Все здесь? Может, забыли кого? Кто еще ликовал с вами? Говорите!

Но им казалось, что собрано здесь даже больше людей, чем бывало на пирах и охотах правителя. Они все здесь нашли друг друга.

— Молчите?

Тогда недавний визирь на отекших, больных ногах с трудом выдвинулся вперед:

— Болеем, простужаемся тут, великий государь!

Тимуру показалось, что собственная его боль от этих слов ударила с новой силой. Но стерпел и ответил по-прежнему твердо:

— Я не лекарь.

— Великий государь! Мы тут в ничтожестве, во тьме, в слякоти каялись, сокрушались. Ото всего сердца, великий государь, молим: примите в свою руку рукоятки всех сабель наших, испытайте остроту их и верность вам.

— Речист!

Фонарь задрожал в руке есаула, пытавшегося скрыть тайный свой смех.

— Ты что?— покосился Тимур.

— Истинно, великий государь, речист. За красноречие и назначен был визирем. На пирах это видная доблесть.

Тимуру не понравилось многословие есаула. Но попрекать его не стал и кивнул визирю:

Сперва испытаю острие ваших сабель на ваших шеях.

Это было его решение.

Не слушая мольб и возгласов, отвернулся и пошел наверх заставляя больную ногу ступать тверже, чем прежде, когда боль

не было, поднимая голову выше, чем всегда, когда не было этого сквозного прострела от шеи до сердца.

Он прошел сразу к маленькому чулану, где сидел Мираншах.

Толкнув дверцу, не входя, сказал:

— Эй, готовься! Повидаешь своих дружков.

И сомневаясь, понял ли его онемевший сын, пояснил.

— Днем на площади!

Как и те в подвале, Мираншах что-то завыл, или запричитал, или завижжал в ответ, но Тимур уже отошел от двери, и ее снова заперли.

Когда днем трубы проревели, скликая народ, по всем краям большой мощеной дворцовой площади запестрели жители Султании, появилась стража, раздвигая место перед дворцом, и народ теснился, гадая: что сулит, какое зрелище, какое известие, этот рев труб.

На галерею дворца, высоко над площадью, вышли участники Великого совета и внуки Тимура, а жены его припали к окнам, из которых им видна была та часть площади, откуда оттеснили народ.

Только младшим сыновьям Мираншаха Тимур не велел сюда приезжать из Чинарового сада.

Шах-Мелик побледнел и с удивлением глянул на сейида Береке и на Шейх-Нур-аддина, когда под рев труб на площадь вывели Мираншаха.

Воины шли по сторонам, а двое палачей вели недавнего правителя под локти. Тонкий нижний халат распахивался, раскрывая мятые штаны царевича. Штаны спускались на босые ноги. Ноги зябли. На голове была лишь белая несвежая нижняя тафья, а коса, которую Мираншах, чтоб выглядеть истым мусульманином, запрятывал наглухо под чалму, растрепалась и вылезла из-под тафьи.

Вслед за преступником выехал есаул. Но преступника отвели и поставили у подножия галереи, и Тимур видел только макушку сына, а есаул выскакал на середину площади, повертелся там на коне и вскачь понесся к галерее за указом.

Тимур сам кинул есаулу указ, и, задев конской мордой плечо Мираншаха, есаул отскакал к воротам, дал знак и медленно поехал впереди длинного шествия ослепленных дневным светом Мираншаховых вельмож.

Многие из них шли в богатых халатах, как застала их дома нежданная стража, но это богатство потускнело за время, проведенное в подземелье. Пятна грязи, синева поникших лиц, сырая обувь — все это казалось зеленоватой плесенью, осевшей поверх людей, еще несколько дней назад нарядных, заносчивых, беспечных, своевольных.

Некоторые из них успевали заметить своего правителя, одиноко стоявшего в исподнем халате у дворцовой стены, и понимали: пощады не будет.

Камни площади, обмытые утренним ливнем, не успели просохнуть. Тусклое небо нависало над городом. Ноги оскользались на камнях, а дружки Мираншаха шли по двое, возглавляемые былым визирем и недавним начальником здешних войск.

По обе стороны шли палачи с мечами в руках, стражи. Шли неторопливо, будто давая время собраться с мыслями.

Тимур стоял, выдавшись вперед, и никто не примечал, как подавлял он в себе несносную, неотступную боль.

Шах-Мелик, почувствовав плечом плечо сейида Береке, спросил шепотом:

— Что ж это, святой отец?

— Пренебрег словом совета!— шепнул сейид.

— Ох, нехорошо!— неожиданно громко добавил Шейх-Нур-аддин, тоже придвинувшийся к Шах-Мелику, но Тимур не услышал этого неосторожного возгласа.

Только Халиль-Султан вдруг рванулся к Тимуру, замер у его плеча:

— Пощадите! Дедушка!

Но и к нему Тимур не обернулся, хотя и ответил:

— Уйди отсюда.

— Я его сын, я отслужу, я искуплю!

— Уйди!— сказал Тимур с той хрипотцой, предвещавшей приближение гнева, при которой ни спорить, ни просить не смел никто.

Халиль замолчал, но не ушел. Даже не отодвинулся, может быть, готовясь на какой-то последний отчаянный, пусть даже бесполезный шаг.

Повернувшись на коне, есаул с седла поклонился в сторону Тимура и поднял над головой желтую трубочку указа.

Тимур ответил, показав есаулу раскрытую ладонь и разрезав ею воздух перед собой.

Палачи приступили к своему делу.

Тимур видел, как задрожала макушка Мираншаха, когда повергнутым на колени двоим передним преступникам ссекли головы, а тела их прижали к земле, чтобы кровь не разбрызгивать в стороны.

По неприметному каменному стоку потекла темная медленная струя, и Мираншах задрожал мелкой дрожью, может быть, от зимнего холода, при котором впервые ему случилось стоять в одном тонком халате.

Едва отволокли первых двоих, поставили на колени следующих.

Была такая тишина, что Мираншах услышал, как срубленные головы стукнулись о камни, откатываясь.

Так, пару за парой, палачи привычно одних отволакивали, других ставили на колени, а темная струя все дальше лениво ползла по стоку, которого и не замечали прежде, скача на гордых конях, Мираншаховы царедворцы.

Мираншах упал бы, но чуткие палачи успели подхватить его под локти. Он опомнился и снова стоял, как в чаду, видя площадь, людей, пляшущую лошадь есаула.

Только раз мелькнула ясная мысль:

«Если б мне прежде знать, какой негодяй мой есаул!»

Ему тогда на мгновенье показалось, что, раскуси он есаула прежде, было бы предотвращено все, что случилось теперь.

Но все это тут же и позабылось, заслоненное происходящим, вытеснившим из головы все мысли, все рассуждения: поставили последнего, для которого не нашлось пары. Те сгинули молча, обомлев, а этот, что-то воскликнул, повернувшись к есаулу и, видно, есаула его восклицание кольнуло, есаул так хлестнул свою лошадь, что она присела.

От этого удара сознанье Мираншаха прояснилось:

— Что же? Теперь... я?

Палачи взялись за локти царевича.

Халиль рванулся к самому краю галереи, готовый, может быть спрыгнуть вниз. Шах-Мелик ловко схватил рукав Халиля и дернул к себе. Не ожидавший этого рывка, Халиль пошатнулся и, ударившись спиной о грудь Шах-Мелика, выпрямился. Тотчас легкая, ласковая ладонь погладила руку Халиля.

Отвернись, Улугбек!— глухо отозвался Халиль и прижал к себе лицо мальчика.

Но палачи вели Мираншаха не к стоку, где, как вал, лежали тела казненных, тесно одно к одному, а повели его назад к воротам дворца.

Сейид Береке облегченно вздохнул, и Шейх-Нур-аддин ответил сейиду повеселевшим взглядом: Мираншах отбыл свое наказание.

Мираншаха по ступенькам провели на галерею и попытались поставить на колени перед отцом. Но Мираншах тяжело весь повалился к ногам Тимура.

— Ну? Насмотрелся?

— Отец!

— То-то!

И повелитель пошел в залы дворца, а за ним и остальные, стараясь подальше обойти валявшегося на их пути Мираншаха.

Над отцом опустился Халиль-Султан и помог низвергнутому правителю подняться. Это было нелегко, хотя Мираншах сам делал усилия, чтобы встать. Наконец с помощью стражей его снова поставили.

Отдышавшись, Мираншах тихо сказал Халилю:

— Видел? Как хорошо, как это хорошо он придумал.
— Что, отец?
— Когда он их казнил, они так и не узнали. А то как бы стыдно мне было! Поберег меня от стыда, как хорошо!
— Не понимаю, отец!
— Если б они знали, что их порежут, а меня нет, вот они злились бы! Вот бы обо мне думали. А так они и не поняли. Ловко? Думали, вслед за ними и меня!.. Дураки!
И Мираншах рассмеялся.
Халиль смотрел на рослого, рыхлого, обросшего щетиной, снова самодовольного человека: «Мой отец!»
Но это сознание шло не от сердца,— он не рос, не живал у отца, не слыхивал от него ни ласковых слов, ни заботливых наставлений, ни проборок.
Когда позже просто, но чисто одетого, вымытого, выбритого Мираншаха снова привели к Тимуру, Тимур долго разглядывал сына, опускавшего глаза и напускавшего на себя, а может быть, и переживавшего раскаяние и сокрушение.
— Ну?
— Вот он я, отец.
— Что будешь делать?
— Ваша воля, отец.
— Здесь тебе делать нечего.
— Я понимаю, отец.
— То-то.
Тимур опять молчал, глядя на сына, будто прицеливался, медля спустить стрелу.
— Поезжай!
— А куда?
— Тихое место — город Рей.
— Купцы там... Я с них большую подать взыскал. Опасно мне там, отец.
— Они рады будут.
— Это чему же, отец?
— Виду твоему. «Вот, скажут, лез на коня, а влез под коня!» Срам!
— Уж лучше куда-нибудь...
— Нет, туда,— там смирней будешь, среди пустого базара.
— Отец!..
— Собирайся! И живо; я велел твоему наставнику до свету лошадей приготовить.
— Да уж темнеет!
— Поспеешь. Есаул твой теперь твоим наставником будет, атабеком, а сыновей своих всех тут оставь, со мной.
— Меньшому четвертый год всего!..

— И хорошо: в голове мусора меньше. Ступай, сбирайся.

— А нельзя ли...

— Ступай!

По-прежнему дробно переставляя тяжелые ноги, но с гордо закинутой головой Мираншах пошел мимо сторонившихся вельмож. У двери он было остановился, словно надумал что-то возразить отцу или спросить о чем-то.

Он неповоротливо обернулся, но увидел лишь темный, весь в лиловых морщинах лоб отца, погруженного уже в какие-то другие заботы.

Потоптавшись, Мираншах не посмел вернуться, вышел за дверь, и больше он уже никогда не видел своего отца — эмира Тимура Гурагана.

Еще стуча колесами по камням, немногочисленные арбы Мираншаха двигались к выезду из города, еще закрыт был базар и сонные муллы шли в мечети к первой молитве, а Тимур уже вызвал к себе старшего из сыновей Мираншаха мирзу Абу-Бекра.

Царевич, едва проводив родителей в изгнание, был застигнут врасплох зовом деда. Хотелось побыть одному, свыкнуться с внезапной разлукой, поговорить с Халилем, который, хотя на целых три года был моложе, но к деду был ближе и лучше знал, чем грозит их семье все случившееся за эти дни.

Он пошел на зов невесело, предчувствуя новые козни от безжалостного деда, боясь его и сердясь на него за расправу с отцом.

Воины, неся перед собой светильники, шли по темным, предрассветным залам так быстро, что Абу-Бекр не мог замедлить шагов, подумать, зачем, для каких новых огорчений, идет к той угловой комнате, где всего несколько дней назад отец беззаботно беседовал с историками или рассматривал книги, исполненные лучшими переписчиками царства Хулагу.

Сухощавый и плечистый, как дед, но ростом не столь высокий длиннолицый и густобровый, как мать, Абу-Бекр поневоле торопливо шел следом за воинами, слегка ссутулившись, опустив глаза, оправляя молодую пушистую бородку.

Он приметил, что, всегда такой нарядный и уютный, их дом теперь похож на какой-то склад или кладовую, где все вещи свалены грудами у стен, а ковры скатаны или сложены.

«Все уже подсчитал. Мог бы снова расставить по местам!..— думал Абу-Бекр.— Что-то еще готовит. Поджечь, что ли, надумал? Немало на своем веку пожег».

И вдруг яркое пламя ударило ему в лицо: десятки светильников пылали.

Воины раздвинулись, и за дверью он увидел деда, склоненного над искусно изукрашенной книгой. Дед продолжал разглядывать тонкие узоры, обрамлявшие, как лентой, каждую страницу рукописи.

«Золото, лазурь, киноварь. Переписчик из Тебриза. История Рашид-аддина!» — узнал Абу-Бекр и увидел в нишах по стенам остальные книги отцовского книгохранилища.

«И это отцу не отдал! А сам неграмотен!» — думал Абу-Бекр, ожидая у порога, пока дед заметит его.

Тимур поднял глаза и дружелюбно спросил:

— Проводил?

— Сейчас уехали.

— Я им дал охрану, не бойся.

— Ваша страна хорошо охраняется, дедушка.

— Надо говорить «наша страна». Что ты, чужой, что ли?

— У нас здесь не всегда безопасно.

— Почему?

— Край государства. Непокорные народы вокруг. Покоренная земля, не свое Междуречье!

— Потверже правь, настанет тишина, послушание, безопасная жизнь. А непокорных покорять надо.

— Их во сто раз больше, чем было у нас воинов.

— Сотня хороших воинов всегда сильней тысячи мятежников.

— С мятежниками-то мы управлялись.

— Когда чужой народ молчит, а дань платит плохо, когда на своем месте своим трудом силы и сокровища копит, хоть он и молчит, а это опасней мятежа. Чужому народу не давай покоя. Дай ему поправиться, снова его обстриги. Постриг, — дай ему волю, дай покой, но глаз с него не спускай: поправится, опять обстриги, но помни: спешить — невыгодно, опоздать — опасно. Вот так правь, тогда я тебя любить буду.

— Меня?

— Тебя! Твой отец опозорен. Перед всем народом. За дело! Ему уж не быть правителем. Ты у него старший. Ты берись. Тебя ставлю правителем всего царства Хулагу.

— Нет, дедушка!

— Что? — Тимур не рассердился, а удивился этому непослушанию. — Что?

— Я не могу.

— Почему это?

— А мой отец?

— Будет править городком, какой ты ему дашь.

— Нет, дедушка!

— А что?

— Если вы своего сына наказали за неповиновение, как же вы от меня требуете неповиновения отцу?

— Повелевай, как правитель своим эмиром.

— Он мне отец! Как же я потребую повиновения от отца?

Тимур неожиданно закричал:

— Ты не сын бездельника, ты правитель царства Хулагу!

— Нет!— тихо попятился Абу-Бекр.— Нет, дедушка, он мне отец!

Тимур отшвырнул в угол книгу и отвернулся:

— Ступай отсюда.

«Мой внук!— думал Тимур.— А ему семья милее, чем весь мир. Вроде Халиля. Да, Халиль смел, Халиль воин. А этому не надо целого царства, ни войск, ни славы, только семью! Умен, а глуп!»

За порогом Абу-Бекра встретил встревоженный Халиль-Султан:

— Я услышал, вас дедушка звал. Не случилось ли чего?

— Случилось, Халиль. Он хотел напялить на меня венец этого царства, и чтоб наш отец служил мне.

— А вы?

— Что ты, Халиль! Разве можно?

— Не обижайтесь, брат,— я не знал, что вы столь тверды.

Абу-Бекр улыбнулся.

Они подошли к тому окну, откуда вчера царицы смотрели казнь казнокрадов.

Светало.

Тела уже убрали с площади, но собаки, огромная свора, большие, ростом с ослов, сбежавшиеся со всего города, грызясь и ощетинившись, вылизывали кровь с камней.

Их визг и урчание разносились по всей площади.

Абу-Бекр спросил:

— Ты на это смотрел?

Халиль-Султан передернул плечами и перемолчал.

— А я отсиделся в саду. Ждал вестей там. К самому страшному был готов. Да и остальные... Ведь всех их знал, были там и милые люди.

— Попробовал бы я отсидеться, да заметил бы дедушка! Вы с отцом наших порядков не знаете.

— И слава богу!— от души ответил Абу-Бекр.

Халиль снова смолчал.

С тяжелым сердцем царевичи отошли от окна, и Халиль спросил:

— Что же теперь?..

— Отпрошусь к отцу. Мне не нужно ни воинской славы, ни власти над царствами. Будут книги, будет тишина, иногда охота, иногда песни, и снова тишина.

— Разрешит ли вам дедушка,— он никому из нас еще не разрешал тишины.

— Да ты ее и не искал?

— Я? Нет. Ведь моя мать — монголка.

— К твоей матери я очень привязан.

— Да?

— Она во мне одобряла и растила любовь к тишине. Но когда отца она призывала к миру, отец впадал в неистовство, наперекор ей. Она поняла, что без нее он скорее успокоится, и уехала. Отец все сокрушал, когда узнал; хотел догнать ее, хотел вернуть. Потом затих, потом снова, пуще прежнего, зашумели пиры, охоты,— хотел забыться, а может быть, прятал страх перед дедушкой? Он предвидел неприятности, но не такую кару и не так скоро...

Халиль сказал:

— Мой дед Суфи был государем Хорезма, отбивал Ургенч от дедушки. Дедушка его убил. А я отбиваю города у других государей для дедушки.

— И моего деда он убил. Отца моей матери. А я не хочу никого убивать, ни покорять, ни завоевывать. Пусть каждый живет по-своему.

— Дедушка говорит: таджики — садовники, а не воины. Он предпочитает кочевников и походы... Я тоже.

— А я — в мать... садовник!

Из-за купола над гробницей пророка Хайдара блеснуло солнце.

Царевичи тихо шли, разговаривая, и казались совсем маленькими в огромных залах, где еще никого не было в этот час.

От Арзрума до Басры, от Шираза до Багдада базары содрогнулись, когда народ узнал, сколь легко теряют головы даже столь знатные и могущественные люди, как друзья и любимцы Мираншаха.

Говорили лишь шепотом. Едва завидев незнакомцев, смолкали. Опасались задерживаться на улицах. Торговые ряды обезлюдели. Многие лавки не открывались, а их хозяева, отправив семьи и достояния в укромные селения и усадьбы, сами хотя и оставались у себя, держали коней под седлом и плетку за голенищем.

Арабские купцы торопились выехать из Султании в Багдад или в Дамаск, грузины укладывали свои легкие вьюки на лошадей, армяне вьючили верблюдов, норовя проскользнуть в Сирию или Византию. Генуэзцы, подумывая о Трапезунте, бегали под благословение к своему епископу. На постоялых дворах чужеземцы суетились, торговались с погонщиками, искали верблюдов, лошадей, ослов, но не было заметно, чтобы где-нибудь спорили, как это прежде бывало, чтобы ссорились между собой. В эти дни все купцы легко понимали друг друга и у всех была лишь одна мечта,— подальше, подальше, пока товар цел, пока не оглашен какой-нибудь мирозавоевательный указ.

Но караваны, двинувшиеся из Султании, не успели отойти от города: указ был оглашен, а караваны остановлены. Выезд из городов купцам воспрещался.

Тимур узнал о запустении на базарах, о сборах купцов в дорогу, о страхах и опасениях горожан.

Он хотел, чтобы народы возликовали и восславили мудрость повелителя, низвергшего корыстолюбцев, чтобы доверие к справедливости повелителя возросло, но люди увидели не мудрость, а гнев, не справедливость, а жестокость, и оробели. Что же, разве не столь крепко было доверие народов к своему повелителю?

Он приказал рассеять испуг жителей, а от купцов Султании потребовал выборных к себе на двор.

Выборные, отправляясь во дворец, прощались со своими семьями или отсылали им наказ, как жить без глав семейств, ибо всяк мог быть обезглавлен столь же легко, как это случилось пасмурным днем на дворцовой площади.

Арабы в белых бурнусах или сирийцы в черных плащах, армяне с черными кушаками в знак того, что принадлежат к вере Иисуса, а не Мухаммеда, евреи с веревкой вокруг бедер, как язычники, индусы — менялы и ростовщики, с голубыми знаками на лбу, как идолопоклонники,— все они отправляли своих старшин к повелителю, забыв различие в верах, будто провожали родных на кладбище.

Их впускали во двор, и все они искали местечко подальше от галереи, поближе к стене, к воротам, где, однако, стояла конная стража с такими глазами, косами и зубами, что ждать от нее расположения и защиты не чаял никто.

Все, если и здоровались со знакомцами, делали это безмолвно и тихо, шаря глазами по сторонам: куда бы втиснуться, чтоб не торчать на виду.

Когда, прижимаясь друг к другу, не считаясь с различием в вере и с размахом торговых дел, каждый каждым спешил заслониться, во дворе показался новый глава города Султании, ибо другие властители еще не были назначены на место казненных.

Маленький ростом, упрятанный во множество халатов, надетых один на другой, накрытый огромной шелковой чалмой, он вышел, резво стуча подкованными каблуками грубых сапог, и объявил:

— Люди! Великий своими милостями, благочестивый, великодушный, отягощенный заботами о народе, премудрый повелитель мира созвал вас.

Созванные это уже знали, но по голосу, по походке, по глазам главы города спешили разгадать, в чем их вина, каковы их проступки, чтобы понять, к какому наказанию готовиться.

— Люди! Что скажете вы Мечу Справедливости, когда он

спросит, почему затихли базары, почему тайком бегут купцы из города, что замышляют? Разве в иных городах и странах торговля безопаснее, чем у нас? Разве там базары богаче и краше наших? А? У нас хуже, чем в других странах? Или товарам вашим там безопасней, или имуществу вашему спокойнее?

Вот в чем их вина! Они пытались бежать от Тимура, а всякий знал: у Тимура не было пощады беглецам.

— Люди! Он вас спросит. Обдумайте, что скажете? Как ответите? Чего не хватает вам?

Глава города постоял, почесывая щеку. Никто из купцов его не знал,— это был, если судить по одежде, бухарец. Значит, в Султании нет людей, достойных доверия, если даже главой города повелитель поставил приезжего человека. Это тоже не предвещало ничего хорошего.

А Тимур уже смотрел на купцов.

Он видел через узкое, как лезвие кинжала, окно весь этот двор, христиан, опоясанных черными кушаками, арабов, сверкавших голубыми белками недобрых глаз, евреев, спешивших улыбнуться, едва встречали взгляд главы Султании и поникавших, мрачневших, едва глава отворачивался.

«Разнесут худую славу, других купцов отпугнут. А нам надо сбывать побольше товаров, нам надо побольше купцов: чем больше купцов, тем богаче подати. Чем полнее казна, тем сильнее войско!»— думал Тимур, разглядывая богачей, заполнивших двор.

И когда повелитель вышел на галерею, купцы упали на колени, хотя двор был сыр и с утра не метен.

И снова глава города сказал:

— Говорите! Меч Справедливости внимает вам!

Долго никто не решался заговорить: первому — первый удар,— так давно было заведено Тимуром.

Но говорить было надо, и после новых приглашений главы Султании купцы заговорили. Но не султанийские, а дальние, сирийские:

— Справедливейший государь! Мы ехали сюда торговать, и мы здесь. В чем вина наша?

Тимур не ответил, а глава Султании снова пригласил:

— Говорите, говорите!

Но как сказать, что грузились, вьючились, спешили прочь отсюда из-за недоверия к справедливости самого Меча Справедливости?

Тогда, воздев руки, как на молитве, обратился к Тимуру старейший из султанийских купцов, старшина шелковиков, иранец Яхья Гиляни:

— Превеликий повелитель! От всевидящего ока вашего не

убереглись наши обидчики, взимавшие с нас незаконные поборы и подати. Нам ли не ликовать и не славить справедливость меча вашего, к подножию вашему прибегая со словом благодарения и покорности.

«Прибегая!— подумал Тимур.— Я видел, как вы тащились сюда, лицемеры!»

А Гиляни продолжал:

— Не под покровом ли Щита Милосердия мы спокойны за достатки и за скарб свой? Но зима надвинулась, и пришло время переложить товары на базарах — летние убрать, зимние привезти,— тем и занялись мы нынче...

«Хитер!— думал Тимур.— Отговорился!»

Уже и другие купцы осмелели и покачивали головами в подтверждение слов старейшего из них. Никто не ждал пощады, надеялись на снисхождение.

«Сколько золота набито в этом мешке?— думал Тимур, глядя на толстого, в распахнувшемся халате старика Гиляни.— И, видно, все спрятал, оттого и смел! Да я бы нашел, я бы нашел!»

Остальные после слов Гиляни лишь кланялись и жалко улыбались.

Тимур прошелся по самому краю галереи, от столба до столба, глядя себе под ноги.

Даже дыхание замерло у десятков этих лукавейших людей города: он решает, какой казнью наказать их за своеволие. Не надо было закрывать базар, надо было добро закопать потихоньку, без всяких прощаний с семействами, пускай бы жены пропадали пропадом,— сохранить бы товары, а жены найдутся! Надо было отмалчиваться, а не шептаться. Теперь попробуй-ка вспомнить, с кем за это время шептался, кому со страху доверился? Вот она жизнь,— долго ее бережешь, да в миг теряешь! И с кем вздумали хитрить, от кого прятаться! Спрячешься ли от смерти, перехитришь ли зверя?

И вот он повернул к ним твердое, неотвратимое лицо и кивнул:

— Торговать надо!

Они, застыв, смотрели, еще не уразумев его слов, а он уже пошел с галереи, больше не глядя на них, и скрылся за дверью.

Они переглядывались друг с другом восхищенными, сверкающими глазами, теснясь в воротах, отталкивая с дороги воинов.

Перед ними раскрывалась площадь, за ней высились каменные купола над базарными перекрестками, камышовые плетенки над торговыми улицами, ворота караван-сараев...

— О милостивейший, о справедливейший из повелителей, о повелитель мира, о Щит Добродетелей, о Меч Ислама!

Им и в голову не приходило, что он стоял за узким окном и следил за их восхищением, за их радостью, смотрел, как снова

поднимались их надменные головы, как становилась степенной поступь богатых, как снова арабы пренебрежительно отворачивались от евреев, как христианские купцы оправляли свои камзолы, чтоб не столь заметны были черные кушаки...

— Торговать! Надо торговать!— кричали они встречным торговцам.— Он не даст в обиду! О Колчан Милостей!

«Кинулись!— думал Тимур.— Как стадо на водопой. Овец, чем позже стричь, тем шерсть длиннее...»

И, закинув за спину руку, пошел на женскую половину дворца.

Его, по обычаю, встретила великая госпожа.

Он, ответив на ее приветствия, остановился:

— Ну?

— Все тут в запустении, не велеть ли разложить все как было?..

— Нет, вели складываться. Зимовать тут нехорошо. Пускай тут проветрится. Перезимуем в Азербайджане, в Карабахе. Там потеплей. Я туда послал, там готовятся. Поезжайте, пока погода стоит. Не то задождит,— наплачетесь. Устроитесь,— меня ждите.

И он пошел дальше, к тому дворику с фонтаном, где велел оставить для себя двух красоток из невольниц своего сына.

Шестнадцатая глава

ЗИМА

Снег пышными хлопьями опускался на Самарканд с вечера и всю ночь. Но земля была еще теплой и сколько ни падало снегу, он тотчас истаивал и впитывался в землю, а на кленах, не успевших сбросить всех листьев, снег оседал плотно и, отяготив листок, соскальзывал вниз и лежал на почернелой земле, долго сохраняя форму кленовых листьев, словно тут прошла какая-то сказочная птица, оставляя светлые следы своих лап.

Но и любуясь этим ранним снегом, Мухаммед-Султан не мог отделаться от беспокойства: если зима установится ранняя, со снегом, с холодами, придется все отложить, а дедушка не захочет слушать оправданий. Что для дедушки мокрые, вязкие дороги; он не слыхивал от своих воинов жалоб ни на зной, ни на стужу: кто посмел бы ворчать при нем! Прощаясь, он дал Мухаммед-Султану приказ, и надо было повиноваться. Обдумывая этот приказ, как это всегда случалось, когда дедушка ему поручал смелые дела, Мухаммед-Султан и сам увлекся. Но идти предстояло к северу, на Ашпару, там к своему войску прибавить ашпаринских воинов и ударить по монголам, чтоб они не думали, что, уходя в далекий поход, Тимур оставил свой край беззащитным; чтоб знали, что войск у Тимура достанет и для далекого похода, и для северных

недругов, и для монголов на востоке,— это раз. Пусть они думают, что все войска ушли в поход и что можно предаваться беспечным радостям. Тут-то и надо нападать, когда им и в голову не придет ждать нападения,— это два. Войска привыкли к боевым удачам старого повелителя, пойдут за ним хоть на стену, хоть в море,— верят ему. Пора знать войску, что молодой правитель Самарканда, наследник всей державы, не по одному родству, но и по воинской доблести достоин наследовать деду. Чтоб войска привыкли к Мухаммед-Султану. Дедушка стал стар, пора!— это три.

Но как двинуться, когда снег валит даже здесь, в Самарканде? Что же будет в Джизаке, в Шаше, в Отраре, на Ашпаре? А по монгольским степям теперь, небось, буйствуют такие бураны, что и врага из-за снега не разглядишь! Холода отпустят, размокнет земля; что это за конница, коли глина по самые маслаки! Что с обозом,— арбы увязнут по ступицу! Похороны, а не поход!

Невесело смотрел Мухаммед-Султан, выйдя до света в сад, на медленно-медленно ниспадающий воздушный снег.

Ноги озябли от сырости и, до тесноты запахнув халат, пригнувшись, он вернулся под сень галереи. Фонарь из промасленной бумаги горел тускло, залепленный снегом, но летящий снег в этом месте казался розовым. А за снежными хлопьями — сырость, холод, мрак.

Он сел у жаровни, покрытой толстым одеялом, протянул к жару ноги и подумал о Тимуре:

«У дедушки там, небось, тепло — солнце, розы... Он зимой в поход не пойдет, будет разведывать о Баязеде, высматривать дороги, выслушивать проведчиков... А мне ждать не велено, мне надо застать врага врасплох,— чем дальше Тимур, тем меньше опасаются; чем хуже дороги, тем меньше ждут; чем неприютней погода, тем уютнее спят,— тут и надо...»

Он кликнул десятника из своей стражи:

— Как рассветет, позовите ко мне Худайдаду, визиря.

И, укрывшись, попробовал поспать, но едва голова начинала туманиться, приходила то одна мысль, то другая. Обдумывая, начинал снова задремывать, и снова являлись беспокойные мысли, которые следовало додумать до утра.

Так пролежал до рассвета. Лишь когда сказали, что Худайдада прибыл и ждет, встал.

Перед седым старым соратником Тимура Мухаммед-Султан не захотел выдавать своих сомнений и колебаний.

Надев отличный халат, приосанившись, Мухаммед-Султан встретил старика, приставленного к нему дедом.

А визирь даже не потрудился приодеться — явился в рыжем шерстяном чекмене, в лисьей шапке, а не в чалме.

«В чем на конюшню ходит, в том и ко мне припожаловал,— приметил царевич.— Попробовал бы так к дедушке...»

Но и старик свое подумал:

«Великий государь с утра не наряжается: и без того грозен. А эти никак не уразумеют порядка!»

Мухаммед-Султан пренебрежительно кивнул на двор:

— Вдруг зима явилась!

— Да ведь нам-то дорога к северу!

— О том я и говорю...

— Не все ли равно, где с ней встретиться, у себя ли дома, в монгольской ли степи!

— Легче по сухой дороге, хотя б до Шаши...

Но, сказав это, Мухаммед-Султан усомнился, не выдал ли он своей тревоги этой оговоркой, и добавил:

— Я звал вас, чтобы сказать: дороги размокнут, идти придется дольше, не выйти ли раньше?

Опять сказалось не так, как хотелось,— вышло, что правитель спрашивает у визиря: «Не выйти ли?» А надо было просто приказать: «Готовьтесь выйти раньше».

— Мы готовы. Хоть сейчас пойдем. Обозы пошлем вперед, чтоб нас не держали. Решим выйти через неделю, обозы вышлем сегодня.

— Нет, через неделю еще рано. Пускай там покрепче уснут, успокоятся.

— Истинно, мирза! Подождем.

«Словно я испрашивал его согласия!»— сердился Мухаммед-Султан. И опять спросил:

— Сколько вы предполагаете оставить здесь?

— Войск-то? Тысяч десять оставим. Двадцать с собой поведем, тридцать с Ашпары снимем. Пятидесяти нам вполне хватит. Хватит, мирза!

— Десять? Что им здесь делать?

Как ни избегал Мухаммед-Султан спрашивать, выходило, что снова и снова он спрашивает старика. Чем старательнее избегал вопросов, тем больше их у него выходило.

— А Орда? Едигей! О нем нехорошие слухи. Лукав, поворотлив. Пока-то он не сунется, занят: добычу делит. А все ж...

— Добычу?

— На Ворскле, на реке, он разгромил Литву. И Тохтамыша с седла свалил. Весь обоз у литовского хана взял. Большой обоз, богатейшая добыча. Богатейшая!

«Завистливый старик!»— подумал правитель о своем визире и возразил:

— Я слышал, русские Орду побили на Ворскле. Потеряли одного из князей, как его... Полоцкого? Но разбили Едигея.

— Это купец такую весть привез. Бестолков он, этот купец. Проведчик должен верить не тому, что говорят, а тому, что делают. Они его одурили, он поскакал сюда. А затем одурили, что Едигей лукав, опасался, как бы великий повелитель на Орду не ударил, не отбил бы литовской добычи, пока Едигей обмывался после Ворсклы. А простак поверил, поскакал сюда, выказывать, сколь ретив.

— Однако ж князь у русов убит?..

— И не один! Да не у русов. Он литвин, этот князь, Витовту брат, либо дядя. Все Витовтово войско побито. А наш простак не подождал, не разобрался!.. И отсюда поехал без разума: взял у правителя товар, а охрану в Ургенче оставил, простым ордынским купцом прикинулся; как купца, его и прирезали. Хорошо, хоть товар цел, назад везут.

— Откуда вы знаете?

— Да ведь мирза!.. У меня тоже есть свои проведчики,— я визирь самаркандского правителя.

Худайдада явно посмеивался над молодым царевичем. Разве Мухаммед-Султан не знает, кто у него визирь, или не знает, что у визиря должны быть проведчики? Должны быть и много!

«Вот, поспешил с вопросом — и опять осрамился!»— попрекал себя Мухаммед-Султан. И сказал:

— Так вот что... В поход идти рано. Переждем?

— Не в них сила. Об Едигее мы узнаем прежде, чем он досюда дойдет. Эти до нас продержатся, а мы поспеем им на выручку. Десяти тысяч против Едигея все равно мало. На время, пока мы проходим, хватит. Если б всю землю мы на десять тысяч покинули, Едигей не прозевал бы! Чтобы мы тогда великому повелителю сказали? Не бойтесь, мы за ним присматриваем. Не поспеет, не сядет на наших ковриках!

И опять выходило, что Мухаммед-Султан все это спрашивал у визиря: как быть, как поступить?

Отпустив старика, он, сердясь, пошел в гарем, где уже шалили и взвизгивали детишки, проносясь из комнаты в комнату, а жены ждали его, не приступая к завтраку.

— Снег видели?— спросил он у девочек.

— Я их едва выволок оттуда,— снисходительно ответил за них Мухаммед-Джахангир.— Сам по колено вымок, пока их домой загнал: вздумали в снежки играть.

— Ты у меня благоразумен!— не без насмешки отметил отец.

— Самого едва загнали, когда намок по колена!— усмехнулась мать.

— Он нас не загонял. Он нас толкал в снег. А мы в одних платьях, едва отвязались!— сердито донесла маленькая раскрасневшаяся Уге-бики, на щеках которой сверкала крепкая, как на

яблочке, кожица. Без белил и румян, которыми до возвращения великой госпожи из похода девочек перестали украшать, пятилетняя Уге-бики казалась взрослее.

Сев к завтраку, отец притянул дочку к себе:

— Ну? Чем тебя угостить?

— Хурмой!

Он дал ей самый темный из редких привозных китайских плодов.

— Не вертись здесь!— покосилась на нее мать: хурму брали из Синего Дворца, где китаец-садовник один знал тайну, как хранить хурму между прутьями камыша на морозе, чтобы после холодов плоды становились нежными, сладкими, и старшая жена Мухаммед-Султана бережливо сама распределяла их среди семьи.

Уге-бики обиделась, но отец украдкой потрепал ее по спинке.

Худайдада, сойдя с галереи, встретил Аргун-шаха. Этот, глядя из-под пеноподобной чалмы тревожными глазами, спросил:

— Как он?

— А что?

— Не грозен?

— Царевич?..— удивился визирь.— А отчего бы?

— Всякое бывает!..

— Да нет, незаметно. А бывает и грозен?

— О!

— Что-то не примечал.

— В поход не готовится?

— Пока не слышно: трубы не трубят.

Аргун-шах опасливо ощупал чалму, халаты,— все ли ладно?— и остался у двери, чутко вслушиваясь, не кликнут ли его.

А Худайдада вперевалочку, покряхтывая, ушел по хлипкому снегу.

Отяжелевшие, студеные волны Каспия бились в корму, преследуя корабль, а когда случалось волне перехлестнуть через борт, она рассыпалась по палубе ледяным крошевом. Канаты обмерзли и теперь под солнцем сверкали, как стеклянные.

Астраханский берег был уже недалек, белый, застеленный снегом, под синим-синим морозным небом.

Пушок смотрел туда, где тянулись сараи, заметенные снегом, толпились лохматые люди в низине у самой морской воды, на пригорке — лошади, а за пригорком, вдали, в синеву неба поднимались тоненькие, как ниточки, белые струйки дымов,— там был город.

Глядя на берег, Пушок приходил в себя. Назад, на море, боялся оглядываться, смятенным духом подозревая, что, оглянись

он назад, не будет пути впереди, а возвращаться назад, в море, не стало бы ни сил, ни воли. Забыть бы скорей, как весь опустошенный, хуже, чем в лихорадке, валялся он то на палубе, то между своих вьюков за эти бесчисленные дни плавания, пока ревели вокруг морские дьяволы, цепляясь за снасти липкими пальцами, норовя утянуть в пучину людей, поклажу, весь утлый кораблик, дерзнувший в этакую позднюю пору на плавание. Укрыться бы, отстояться на Яике, в ордынском Сарайчуке, но дела тянули корабельщика в Хаджи-Тархан, в Астрахань, ради этого он и поплыл на своем ветхом бусе, а отстать от корабля и зимовать в Сарайчуке Геворк Пушок не мог: все свои деньги, опасаясь степных разбойников, оставил он в Бухаре у менялы — персиянина, а взамен взял лишь скрипучий лоскуток кожи с непонятными знаками на ней, астраханский меняла должен подтвердить эту кожицу, чтоб третий персиянин в далеком Булгаре принял ее за Пушковы деньги. Как бы зимовалось Пушку на Яике, когда деньги его в цепких руках менял; разве мог он там зимовать, не зная, пробудет ли меняла в Астрахани до весны, а может, вздумает да и отправится в свой далекий город Исфахан! Тогда кому сунешь свой лоскуток, кто закрепит его своей тамгой; не плыть же с пустыми руками назад по зеленому, глазастому морю! И Пушок, поглядев торговый Сарайчук, снова поплыл.

Теперь близился желанный берег. Волны гнали корабль к пристани, суетились корабельщики, перекрикивались. По берегу уже бежали люди, вслед за пристающим кораблем.

Бежали татары в лисьих и заячьих треухах, в опоясанных кушаками широченных шубах, повсюду отороченных длинными прядями овчин. Многие сжимали в руках плетки, короткие нагайки. Что-то кричали, скаля зубы, но вода, смешанная со снегом, волжская голубая вода, шумела между бортом и берегом, и татарских слов нельзя было разобрать. Глядя на клокастые шапки, на крепкие нагайки, на множество заседланных лошадей на пригорке, Пушок забеспокоился: приплыли беззащитными; велика ли надежда на два десятка одуревших от спанья бездельников, вооруженных ржавыми ножами и мечами, не точенными со времен Чингиз-хана; что могли они поделать с этой шумной ордой!

А татары уже были близко и на каком-то изгибе пути берег оказался над кормой; перед самым лицом у Пушка разбрызгивали снег на бегу тяжелые подкованные ордынские сапоги; сверху татары смотрели юркими глазами на поклажу, сложенную на палубе, на людей,— не могли не видеть: поклажи много, охраны мало!

И вот кинули причал. Поволокли через палубу тяжелые сходни. А татары уже столпились у самого борта, заслонив весь свет, расталкивая один другого, просовывали вперед раскрасневшиеся на морозе и вспотевшие лица, сверкали крепкими зубами, гляде-

ли запрятанными в щели веселыми ликующими глазами, наперебой крича:

— Давай, давай!

— Эй, купец, где товар? Берем! Берем!

«Ох и охти мне!»— думал Пушок, нашаривая под чекменем рукоять ятагана, сам понимая, что ничего не сделать тут одному ятагану против этой тьмы здоровенных, широкоскулых татар.

А они уже начали прыгать, взмахивая нагайками, с берега на палубу, уже бежали к вьюкам, ко всей поклаже и, отталкивая друг друга, давая один другому подножку, спешили наложить на купеческое добро свои неразгибающиеся, озябшие ладони:

— Мой! Мой!— кричали они друг другу, не уступая вьюков, будто для них и тащились сюда эти вьюки через степи и пустыни, через города и моря.

Пушок не мог пробиться через такую свалку к своим товарам, его оттесняли, отталкивали. Поскользнувшись, он было сполз за борт, но ухватился за чью-то шубу и уцелел.

Лишь когда бывалый корабельщик, сверкнув мечом, вскочил на вьюки, татары присмирели, и он велел убираться им отсюда. Но самые упорные, крепко державшиеся за вьюки и за канаты, остались.

Двое татар вцепились в обе руки Пушка,— один высокий, с черными круглыми глазами, в суконной шубе на красной пышной лисе, а другой с хилыми волосками остренькой бороды, широкоплечий, на кривых ногах и одетый бедно. Они заглядывали Пушку в глаза и негромко, перебивая друг друга, быстро, настойчиво хлопая его по плечам и рукавам, твердили:

— Эй, купец! Чего привез?

— Чем торгуешь, а?

— Какой товар? Деньги даем!

— Деньги тут; деньги тут!

— Да вот они! Какой товар?

«Деньги!— сразу отлегло от сердца.— Разбойники о деньгах не заговорят». Пушок отстранился от них:

— Погодите, купцы! Дайте отдышаться, милые.

— Ты только говори: какой товар?

— Говори, почем?

— Мы сразу берем,— вон наши люди. Другого купца не подпустят, не бойся! Вон наши люди!

— Нет, нет,— отступал Пушок.— Какие люди? Зачем?

— Никого не пустят! Не бойся, сами возьмем. Товар наш будет!

— Нет, нет!— отступал Пушок. И вдруг увидел родные высокие барашковые колпаки. Он закричал им, сам не помня на каком языке.

— Армяне!

— Ну, давай, давай!— теребили и терзали его татарские купцы, оттаскивая от еще далеких армян.— Зачем армяне? У нас свои деньги. Хорошо дадим!

Но Пушок уже рвался навстречу соотечественникам.

Нехотя, ворча, ордынские купцы отступились, хотя за вьюки Пушка еще держались какие-то татары, чего-то ожидая от Пушка.

Едва обменялись первыми взглядами, прибывшие армяне спросили:

— Откуда товар?

— Цена, цена?

— Самарканд? Ого! Я беру!

— Нет, нет, почтеннейшие!— отмахивался Пушок.— От разбойников уцелел, от татар уцелел,— не могу! Не свой товар.

— А? Не свой?..

— А где хозяин?— спрашивал торопливо, но уже потеряв к Пушку расположение, кругленький, в засаленном полушубке краснобородый купец в самой высокой шапке.

— Хозяина тут нет. Товар дальше везу.

— А где ждет хозяин?

— Там, дальше,— махнул рукой Пушок к синему небу.

— В Орде?

— А если в Орде?

— Зря. Там такие дела!..

— Что там?

— А что бывает? Режут!

— Ого!— насторожился Пушок.— Кто?

— А зачем нас окликнули?

— Да тут эти ордынцы!— жаловался Пушок.

— Эти что,— вот впереди наглядитесь!

— Куда мне сгружаться?

— На берег, на берег!— с досадой закричала из-под высочайшей шапки красная борода.

— Это вон в те сараи?

— Смотря, какой груз. Можно и сразу в город.

— А далеко?

— Довезут к вечеру. Волгой бы плыть, да она становится. По ней не пробиться. Вон тут татар сколько, дотянут.

— А не опасно?

— Кругом народу много, ничего. Поспевайте до вечера.

И армяне кинулись к другим купцам, приплывшим с Пушком.

Пушок, со страхом поглядывая на облепивших его вьюки татар, понял, наконец, что все это люди смирные, ждут только, чтоб, перехватив Пушковы товары у своих сородичей, самим довезти их до города, на своих лошадях.

Начали выгрузку.

Пушок спрыгнул на берег и сощурился, удивляясь, каким ослепительным, голубым огнем полыхает снег и скрипит под ногой, как новая кожа.

Лошади, завьюченные мешками Пушка, пошли бодро. По обе стороны, кое-где проваливаясь в снег, поехали с покриками многие всадники, ободряя вьюченных лошадей.

Пушок едва поспевал за своим товаром, тщетно приноравливаясь к деревянному узкому седлу, к острым ребрам степного коня.

С несмолкаемым гомоном проследовали они до городских ворот, и у ордынцев, стороживших ворота, завязался спор с караваном Пушка.

Армянину показалось, что вся его рать намерена штурмом взять город, а стражи намерены обороняться до последнего воина. Но один из провожатых объяснил, что стражи требуют корабельных поборов и без того не хотят пускать Пушка в ворота.

Холод уже пощипывал Пушка, к вечеру мороз крепчал, небо меркло, за стенами города по небу протянулись багряные полосы заката, и оставаться на ночь среди снегов Пушок не хотел. Он стал покладист и сам приступил было к стражам, но татары, везшие Пушкову кладь, спешили рассчитаться с Пушком и так свирепо кричали на стражей, что те согласились за поборами явиться к Пушку на постоялый двор.

Смеркалось, когда въехали в ворота армянского караван-сарая. Двор, несмотря на поздний вечер, был весь озарен несколькими десятками жаровен и очагов, где трещало масло на сковородах и густо пахло жареной рыбой. Из конца в конец перекликались постояльцы. Пушку слышались самые крайние наречия армянского языка,— иранские, сирийские, византийские; многие говорили между собой по-фарсидски, но и в эту легкую речь вносили властный голос своего народа.

Голос, показавшийся Пушку знакомым, кричал:

— Отрежь мне от хвоста! Слышишь?

— Сам знаю, где ты любишь.

— Иначе не надо. Не возьму!

— Бери, бери!

Пламя очагов, пылающих на верхней галерее, заслонялось торопливыми, говорливыми людьми. По всему двору переплетались, мелькали тени тех людей, то вытягивались через весь двор, то достигали крыш, то мгновенно исчезали.

Но вглядываться во все это не было времени.

Появился сутуловатый привратник, протянув к Пушку длинный, очень белый нос и отводя куда-то в сторону маленькие, как крапинки, глаза. Татары спрашивали, куда складывать товар, а

привратник глухим, тихим голосом клялся, что склады все заняты кладями давних постояльцев, лишь один склад в углу, хотя и откуплен, пока пустует. Если дать хозяину отступного, он разрешит подержать там Пушковы мешки.

Привратник понес к этому складу факел, но едва открыл тяжелую, визгливую дверь, оттуда пахнуло таким сырым холодом и гнилью, что пламя заметалось и пришлось подождать, вглядываясь во тьму этой таинственной пещеры, пока снова разгорится огонь.

Ржавые нити паутины свисали прядями с зеленовато-черного потолка; камни стен, прохваченные морозом, отблескивали то кровавыми, то зелеными звездами. Здесь, на полу, заваленном обрывками рогож, обломками корзин, в этом запустении, предстояло Пушку хранить все свои сокровища, весь залог своего грядущего благоденствия.

Здесь, в амбаре, было холодней, чем во дворе, холод пробирал Пушка, но он, пренебрегая ворчаньем привратника, не внимая крикам и угрозам татар, спешивших совьючить кладь со своих лошадей, сначала велел вымести и выбросить весь мусор с пола, прежде чем дозволил вносить сюда заветные мешки.

Когда привратник запер склад на замок и подал ключ Пушку, Пушок поверх этого замка повесил еще и свой, купленный в Самарканде у русского мастера.

Только когда все было заперто, замки и пробои проверены, а татары ушли со двора, Пушок потребовал себе келью.

Но и келий не оказалось, их было немало — по десять с каждой стороны большого двора, да по шесть с каждой стороны заднего двора, да четыре в воротах, но все заняты.

— Правда, есть одна...— задумчиво, припоминая, замялся привратник,— да в ней живут. Вот если заплатить отступного человеку, чтоб он из нее перебрался...

— А куда он переберется?

— Я его к себе пущу.

— А где эта келья?

— Наверху. Как раз напротив вашего амбара. Сверху можно поглядывать на свои замки.

— А сколько надо отступного?

— Я пойду узнаю.

«Не на морозе же спать,— думал Пушок.— И все у них занято! А ведь в городе, я помню, были и еще армянские караван-сараи!»

— Идите!— закричал сверху привратник.

— Где же он?— удивился Пушок, входя в узкую, промерзшую, явно давным-давно необитаемую каморку.

— Придет!— уверенно сказал привратник.

— Здесь холодней, чем в амбаре!

— Согреем!

— А где ж его вещи?

— Он, когда уходит, оставляет у меня.

— А здесь крадут, что ли?

— У нас? Избави бог! Никогда не было. Давайте для него денег, и я пойду, поищу дров.

Когда он ушел, Пушок вышел на галерею, где горели, догорали и разгорались очаги постояльцев.

— Рыба?— спросил Пушок у одного из армян, занятых своей сковородкой.

— А что же? Рыба! Сом!

Пушок тотчас узнал того краснобородого в высоченном колпаке. Краснобородый был увлечен сковородкой:

— Сом!

— А я, едва прибыл, услышал ваш голос.

— И что?

— Ничего, просто узнал.

— Еще бы!

В это время подошел очень толстый и широкоплечий человек с костлявым лицом, с маленькой головой и спросил у красной бороды:

— Ну?

— Мог бы и получше выбрать.

— Просили от хвоста, я дал от хвоста.

— Кто из нас не знает,— всякая рыба жирнее к голове, только сом — к хвосту. Я хотел пожирней: ты мне дал хвост, правильно. Но какой? А?

— Однако же вы взяли, и я хочу получить...

— Взял! А что я буду есть? Если бы я не взял, что бы я ел?

— Я хочу получить.

— Завтра рассчитаемся: видишь, я жарю!

Привратник вернулся, неся охапку какого-то хлама:

— Сейчас затопим. Будет, как в раю.

— В аду жарче. Так? Так. С такого мороза я хотел бы сперва пройтись через ад.

— Сделаем, как надо. Но где, вы думаете, я добыл дрова? Едва выпросил. Пообещал, что вы хорошо заплатите.

— Опять?

— Заплатить непременно надо. Это Хаджи-Тархан! Степь. Откуда тут дрова? А я добыл!

— Это разве дрова?

— По нашим местам!

Уже давно запахи рыбы и лука разжигали голод Пушка,

но очаг, примазанный к стене, отсырев, никак не разгорался. Дым не шел в дымоход, расползался по комнате.

Пушок достал из сумки медный бухарский светильник и велел привратнику налить туда масла.

— Откуда у меня?— удивился привратник.— Или выпросить у кого-нибудь? Так ведь никто не даст, если на этом не заработает: кому охота приносить масло из города, а потом отдавать себе в убыток?

— Ты мошенник!— уверенно сказал Пушок.— Я найду сам.

— Сперва рассчитайтесь за дрова.

Краснобородый обитатель соседней кельи охотно налил Пушку из глиняного кувшина, почернелого от масла.

— Сколько вам?— спросил Пушок.

— За это? Берите, берите,— у нас это не товар.

— А кто жил до меня в этой келье?

— Тут? Рядом? Вы взяли ее?

— А что?

— Зачем? Нищий вы, что ли? У нас тут сколько хотите, выбирайте,— есть хорошие кельи. А эта в углу, ее не прогреешь.

— На первую ночь сойдет.

— Если спать в шубе, на шубе, да тремя шубами покрыться!

— Как нехорошо!

— Поможем!

Он кликнул привратника:

— Ты деньги брал?

Отворотившись, привратник сказал примиряюще:

— Ну, ну...

— Я их вытрясу! Хозяину не скажу, а сам!

Он надменно вскинул красную бороду и, наслаждаясь растерянностью привратника, покорно поспешившего за какими-то ключами, пояснил Пушку:

— Здесь с ними только так! Попробуйте-ка у меня вина! Вино сюда возят с берегов Куры! Я вам уступлю два бочонка. Недорого!

На это Пушок отозвался осмотрительно:

— Потолкуем.

— Недорого!..

Но, держа, как скорпиона, отпертый замок, привратник уже звал Пушка за собой.

И вскоре его переместили в другую келью, чистую, обжитую, где сразу разгорелись хорошие дрова, а привратник только охал и клялся, что без хозяина он ничем не мог распорядиться и делал все, что мог сделать без хозяина, а хозяин ночует дома и явится только утром, потому что совсем недавно женат.

Утром Пушок отправился на базар.

Торговые ряды в городе оказались невелики и неприглядны. Купцы сидели в огромных шубах, и сразу трудно было понять, что за купцы, откуда, на каком языке с ними говорить. Но опытным глазом Пушок вскоре приметил, что купец познается по товару — персы сидели, выложив не весь товар, а только несколько кусков гилянского шелка или несколько щепоток краски, чтоб покупатели из других стран знали, где брать эти иранские товары; бухарцы держали перед собой тоже немногие щепотки или ломтики селитры, серебряной руды, какое-нибудь одно из медных изделий, пестрые ленты кушаков. Дальние персы с Ормузда предлагали пряности: перец, мускус, серую амбру. Ордынцы вывесили над головой шкурки сибирских зверей, китайские товары, купцы из Ургенча — хлопчатые ткани и покрикивали, славя свои товары:

— Камка есть! Чалдар; бес,— бери, бери!

— А вот мата! Ах, какой зенджень! Ха, для Москвы годится! Эй!

Пушок обернулся.

Пятеро русобородых, крепких людей шли по утреннему морозу, легко, как по солнцепеку. Высокие, запрокинутые назад шапки, распахнутые шубы на белках либо на красных лисах, суконные поддевки с красными, как и у армян, кушаками,— все это таким спокойным, крепким показалось Пушку, что он посторонился, хотя и не стоял на их пути, и приветливо заулыбался им. Он уже бывал в Москве и знал московское обхожденье.

— Чего привез?— спросил один из них у Пушка.

«Откуда он узнал, что я недавно приехал?»— удивился Пушок.

— Почти ничего.

— Дальше, что ли, едешь?

— Дальше.

— То-то я вижу: товара не кажешь, а видать, не перекупщик. Вчера тебя тут не было. Понимай, вчера с кораблем прибыл?

— Вчера.

— Из Джургеня, что ль?

— Не из Ургенча, из Самарканда.

— Там не бывал. Слыхать — слыхал: торговый городок. А собрался далеко ль?

— Воля божья,— может, и до Москвы.

— Ну что ж, отдыхай. Потеплеет, может, с нами тронешься. Нынче дорога нехорошая.

— А что?

— Хан дурит. Едигей.

— Вы из Москвы?

— Двое с нами москвитян, один новгородец, а мы тверичи. Заходи к нам на постой; спросишь русичей. Может случиться, товаром сменяемся.

— А какого товара вам?..

— Всякий берем, кто — что; из Самарканда прибыл,— небось, гурмыжское зерно продаешь?

— Жемчуг? Мало, сам Москве везу.

— Да как с нами едешь, нам друг с другом торгу нет, ну приходи так, погостишь, о своем Чагатае поведаешь.

Тверич, так же не торопясь, пошел к своим русичам, остановившимся около иранца с красками.

— Дорожится тезик!— пожаловался ему москвич.

— А дорожится, не бери. Зима впереди, поспеем. Чем мороз крепче, тем съезду меньше, цена-то и снизится.

— А вдруг наши санным путем, да как пожалуют! Набьют цену.

— Не бойсь,— дорожка-то заколодела, пока Едигей не обломан.

— Он может долго проломаться, а торговля не ждет!..

Пушок пошел дальше, приглядываясь и прицениваясь.

Днем его потревожили: базарный староста, проведав от стражи о его прибытии, наведался взыскать корабельный налог и товарную пошлину.

— Я не корабельщик, налог не мне платить!— заспорил Пушок.

— Мне слышно: вы с буса сошли с превеликим караваном; вас, видно, и вез тот бус. Платите, а не то...

Пушок не был расточителен и уперся. Уперся он и в уплате пошлины: староста требовал десятую часть товара, как с христианина, а Пушок считал себя лишь приказчиком мусульманина, мусульмане же платят две сотых с половиной, да и то лишь в том городе, где открывают торг.

Любопытные постояльцы собрались на их спор со всего караван-сарая, хотя и сочувствуя Пушку, но ради скуки подмигивая и старосте, чтоб сразу не уступал.

Больше всего Пушок опасался, что пристав потребует осмотра всех мешков, а мешки из-за холода еще не были разобраны, и перед постояльцами могли открыться такие сокровища, что потом и двух замков на амбаре не хватит.

Накричавшись, староста потянул Пушка на разбор к хану.

Сопутствуемые многими любознательными армянами, среди которых оказалось двое ветхих стариков, возглавляемые краснобородым, все пошли к хану.

Все уверяли Пушка, что постоят за него грудью, что хан их знает, что они видывали и не таких ханов за свою деловую жизнь.

После самаркандских дворцов дом хана Хаджитарханского показался Пушку глиняной закутой. Но ковры в сенях были хороши.

Провожавшие Пушка соотечественники не решились ступать на ковер и столпились у двери, чтобы слушать ханский суд, хотя и в отдалении, но своими ушами. Пушку пришлось перейти через сени и вступить в комнату.

Хан сидел на широкой, накрытой ковром скамье, поджав под себя ноги. Рядом стоял его визирь в суконной шубе, на лисах, тот, который на корабле хватал Пушка за рукав. Ханом уже оказался тот самый бедно одетый старик, что держал тогда Пушка за другой рукав.

Армяне в сенях напрягали слух, а Пушок поклонился и поднес хану белый отрез, годный для хорошей епанчи, и кусок зеленого самаркандского шелка.

Хан, пожевывая губами, не прикоснулся, как бы следовало по порядку, к Пушкову подношению, и смотрел рассеянно.

Тогда Пушок вынул из-за пазухи предусмотрительно припрятанный лоскут индийского шелка, дешевый, непрочный, из делийской добычи Тимура.

Хан потянулся вперед, чтоб лучше разглядеть редкий товар, важно откинулся и принял дары Пушка.

Выслушав купца, хан сказал:

— Корабельный налог корабельщик выплатит. Корабельщика ко мне приведут. А с товаров твоих взыщем по-нашему,— одну десятую. Все осмотрим, все оценим, подсчитаем и справедливо взыщем.

— Несправедливо, премилостивый хан! Первое: я не открывал тут торгу, дальше поеду. Второе: товар хозяйский, а хозяин из всех мусульман самый истинный.

— Но-но! Перед богом все мусульмане равны. За эти слова...

Но Пушок, не дослушав хана, снова засунул руку за пазуху и вынул бронзовую пайцзу с выбитыми на ней тремя кругами Тимуровой тамги:

— Все ли равны, премудрый хан?

— Кто ж твой хозяин?— оторопел хан.

Пушок молча держал пайцзу перед глазами хана. Хан, пригнувшись, будто сжался:

— Он?

Пушок кивнул.

— Его товар?

Пушок кивнул.

Хан заулыбался, привстал, но его жесткие редкие усы встопорщились, и той ласковой улыбки, какую хан намеревался выразить, не вышло. Вслед затем он спросил о здоровье Прибежища Обездоленных.

— Он у нас пять лет назад побывал. Могучий Меч Милосердия!

Хан умолчал о таком разорении Астрахани, какого этот город не переносил ни от одного меча, кроме Могучего Меча Милосердия, пять лет назад, когда вслед за Астраханью Тимур растоптал до тла и Новый Сарай.

О том, что Тимур далеко, хан знал. Но знал и о том, что Тимур ходит быстро и никто заранее не знает, куда он пойдет.

Хан пригласил Пушка покушать волжских стерлядей.

— Такой рыбы в Самарканде нет. А у нас она своя! Хорошо ли вам на постоялом дворе, не утесняют ли, не зябнете ли?

Пушок смелел, сетуя, что и зябнет, и товар свален почти что в погребе...

Армяне из сеней отпятились во двор и, пока Пушок еще беседовал с ханом, без обычных разговоров и без привычного оживления вернулись к себе в караван-сарай: этакого Пушка следовало опасаться.

Ранние морозы, частые метели, тревожные вести из Сарая, расположение хана, осторожные советы русских купцов — все это убедило Пушка зимовать в Астрахани.

Тут, толкаясь по базарам, прицениваясь, при случае кое-что перепродавая, он и зазимовал.

В Самарканде, вслед за снегопадом, прошли ливни. В ремесленных слободах крыши мазанок и стены отсырели, и однажды перед рассветом по многим улицам и переулкам с тяжким гулом обрушились стены дворов, а кое-где и мазанки.

Так часто, в дождливую пору, случается в Самарканде: держатся-держатся тяжелые глинобитные стены и вдруг, будто по сговору, повалятся в одно и то же утро по всей улице. Один купец из христиан говорил, будто сие есть следствие слабого, неприметного для людей землетрясения, но ему строго указали, что это промысел божий, и христианин согласился.

Дорога к мастерской Назара так размокла, что лошади увязали в ней, их ноги скользили и ползли в разные стороны, а пешеходы, если была надобность сюда идти, сняв туфли, босиком пробирались вдоль стен по холодной, густой глине.

Мастер работал, занятый отковкой частей к замкам. Это древнее русское ремесло он хорошо знал, но прежде, трудясь над кольчугами, замки делал редко. Теперь занялся этим, и Борис ему помогал.

Они ковали целый день какие-нибудь одни части, в другие дни — другие. Когда скапливался большой запас частей, Борис принимался сваривать или склепывать их, а Назар ковал одну за другой какую-нибудь новую часть. Так вышло, что еще не было в мастерской ни одного готового замка, но заготовок скопилось много, и недалек стал день, когда из мастерской выйдет целая

гора отличного товара, которым еще в давние, киевские, времена Русская земля славилась до берегов Адриатики и до варяжских земель. Теперь эту славу возьмет себе самаркандский базар, как немало уже иных ремесел, коими славились разные земли, ныне славили город Самарканд.

Столько искусных мастеров Тимур свез отовсюду сюда, что купцы стали привередливы, цены на изделия год от году падали, и тем, кто менее был искусен или не столь вынослив в труде, жить становилось год от году тяжелее.

Чем шире разрасталась слава самаркандских изделий, тем дешевле скупали их купцы у мастеров; чем славней становились самаркандские ремесла, тем труднее стало угодить купцам.

Вот и решил Назар изготовить такой товар, коего еще не умели здесь делать. Взамен длинных, как трубки, винтовых замков он задумал затейливые, с вынимающейся дужкой, трехгранные замки, что повиснут на дверях, как колокольчики.

Ольга, накрывшись с головы до пят плотным покрывалом, стояла в дверях, глядя на их работу.

Время от времени Борис кивал ей:

— Ну?

— Ха!— отвечала она, ободряя мужа.

«Эх, хорош русский язык,— думал Борис,— мало скажешь, а все понятно!»

И, сам для себя неожиданно, спросил у Назара:

— Когда ж домой-то, а? Дядя Назар!

— Домой-то?— Но, занятый делом, Назар долго не отвечал. Уже несколько частей отковал, а все не отвечал.

Лишь прервав дело, чтоб разогнуться, ответил:

— Когда позовут, тогда самая пора — время будет.

— У нас там, небось, метель! Ели скрипят. Мороз, небось, жжется. Снег под ногами повизгивает. А метель отметет, небо вызвездит, поутру — синь по небу. И тишина. Только синицы посвистывают, да хвостами кивают, норовят какое-нибудь семечко из-под рук урвать. Вот, Ольгушка, наглядишься на красоту. А?

— Ха!— весело согласилась Ольга.

— В том-то и дело,— ответил ей Борис.

Но, слыша все это, Назар молчал. Постукивал молоток в его крепкой руке, точной выходила из-под молотка нужная часть, и удары его не стали реже, когда он слушал Бориса.

Удивило их, что по грязи пробираются к ним какие-то трое людей, отпахивая халаты, чтоб не мазаться о сырые стены. Купцы? Для купцов еще не было у них товара, да и когда будет готов, мастера решили этот товар выдержать, пока не найдут хорошего покупателя.

Добравшись до мастерской и тут же одной ногой сползая к дороге, первый из троих хрипло сказал:

— Наше уважение славному мастеру!

— Пожалуйте!— позвал Назар, узнавая сбитую набок бородку сарбадора, с которым за месяц до того гостил у Мусы.

Ольга, по скромности, тотчас ушла во двор, а Назар кивнул Борису:

— Сходи-ка к ней, пока не кликну.

Гости вошли в мастерскую и опустились на корточки вдоль стены.

Назар отложил молоток и в тазу, теплой водой, принялся мыть руки.

— Я полью!— встал старший гость. И, поливая, шепнул:— Я вам уже говорил о нашей просьбе.

— Я помню.

— Мы доверяем.

— А без этого как?— взглянул ему в глаза Назар. И то, что они так посмотрели в глаза друг другу, было красноречивее многих слов.

Когда из мастерской Назар привел их в свою келью, двое младших гостей распахнули халаты, и под халатами у них оказались завернутыми в пояса золотые изделия искусной работы.

Назар одну за другой рассматривал эти вещи и расставлял, раскладывал их одна к одной, снова брал и снова дивился работе неведомых далеких мастеров.

Потом подошел к двери и кликнул:

— Борис!

Гости беспокойно переглянулись, а один из младших придвинулся ближе к изделиям, спрашивая:

— Кто это?

Назар обернулся:

— Земляк.

И гости успокоились.

Борис присел, любуясь. Разглядывал, но молчал: не его дело говорить, пока мастер не спросит.

Назар сказал:

— Не жалко?

— Жалко!— отвечал гость.— Но ведь... Надо людей послать. Может быть, далеко, надолго. С пустыми руками нельзя. Поедут, будто купцы за товаром, спросят их, они свою казну покажут, им вера будет.

— Когда надо?

— Второй день из города обоз идет. Войско готовится.

— Далеко ль? Я думал, ежели повелитель ушел, эти сидеть тут оставлены, с нами.

— Нас, видно, не опасаются. Уходят. Молчком идут; видно, внезапно напасть надумали.

— А на кого?

— Не столь велико войско, чтоб идти далеко. На Орду с таким не выйдешь... Думаем так: на монголов,— эти ближе всех. А зачем? Подумать надо. Не знаем: брать у них вблизи нечего, а вдаль идти — войска мало. Думаем: попугать идут. Куда бы ни шли, а своих людей послать с ними надо.

— Надо!— согласился Назар.— Свои люди везде нужны.

— Истинно.

И снова Назар склонился над изделиями:

— Жалко!

— Еще бы! Я недавно слыхал: один вельможа говорил при мне: великий, мол, повелитель неустанно трудится, походами себя изнуряет, тысячи людей щадит, чтобы те люди трудились бы, создавали ему красоту, воздвигали дворцы, украшали бы их снизу доверху, окружали бы вельмож красотой. «Вот, говорит, мы эту красоту создаем по милости повелителя, а народ ее не понимает, не хранит: ума, мол, нет в народе, чтобы истинную красоту постичь, мы, мол, вельможи, создаем и защищаем ее от народа, народ без нас дик и разрушителен!..» Мы и в самом деле собрались сюда разрушить красоту, которую вырвали из рук вельмож. Наш замысел — его словам в подтверждение.

— Авось!— ответил Назар.— Руки при нас. Может и вельможами хранима, да не ими создана всяческая красота. Руками народа созданная, народом и воссоздастся.

— Да как бы Тимур построил себе дворцы, если б не умельцы из Ургенча, из Тебриза...

— Не только дворцы, и самая мелкая частица в любом искуснейшем изделии чьей рукой сделана, брат мой? Все, все нами, простыми людьми сотворено. А коли случится иной один-одинешенек из вельмож и достигнет какого-либо ремесла, у нас же переймет, не иначе, от кого же еще? Да что-то и я не слыхивал про такого вельможу, ни про одного! Книгу написать могут, да и то лишь потому, что сызмалу к тому готовятся, а нас не допускают,— одно это и оттягали у нас. Но и так бывает: научится из нас один, десятерых выучит. Те десятеро в свой черед себе учеников подберут. Так исстари знание по народу растекается. Так оно и в книжной премудрости пойдет. Народ всему основа и сила. И некому его осилить, когда он весь вместе. Мы это знаем твердо у себя, на Руси.

— Нам трудней!..— задумчиво сказал гость.

— Вижу. Но и то вижу: один народ крепнет, другому легче.

— Это мы знаем: крепнет Русь, слабеет ордынский хан. Хан слабеет, нам опасности меньше. Но только наш Тимур не так по-

вернул это дело: нам бы строиться, ремесла развивать, сады растить, а он видит: Орда ему не грозит, сам грозу другим народам несет. Была б крепче Орда, он бы смирней был. Тут такой клубок, сразу не размотаешь, а чувствую: в одном клубке ваш народ с нашим, одна у нас доля. Потому и доверяем.

Глянув на двоих младших гостей, он добавил:

— Не я один доверяю. Многие. Нам с вами делить нечего, а нужда друг в друге у нас велика. Тут такой клубок, надо размотать, понять.

— Редко мы видаемся.

— Нельзя. Мы сегодня пошли, давно день выбирали, чтоб неприметно до вас дойти. Нонче грязь, если б и пошел кто за нами, приметно было бы.

— А все ж чаще видаться нам надо.

— Это золото,— сказал гость,— в малой части дадим своим людям, которые купцами едут; в большей части в своей казне сбережем: тяжело стало с купцами торговаться. Скупщики нас давить стали. Чтоб крепче спорить, чтоб не стать податливыми, нам под ногами твердая земля нужна.

Назар улыбнулся:

— Вот и обопрутся об это золото!

— Думаем так.

— Правильно. Только, надолго ль этого хватит? Ведь золоту конец виден, а скупщикам нет числа.

— Народ в своем числе не убывает!

— Народ? Он тогда не убывает, когда в нем сила растет. А мы, на Руси, в давние времена и такое знавали: народу много, а силы нет. Это когда все врозь живут.

— У нас это доселе так. Тимур хитёр, всех держит порознь; держит да поглядывает, чтоб воедино не сошлись; хочет из разных народов свое царство сложить, но чтоб каждый народ свое особое место знал, не заодно бы с другими, но в одном царстве. Крепко ли такое царство? Думаем, а не знаем...

Затихший, было, снова начинался дождь.

Гости поднялись.

После их ухода Назар долго разглядывал красоту, которая, стольких людей восхитив, кончится под ударами его молота, чтоб подвигнуть других людей на создание новой красоты.

Семнадцатая глава

ЦАРЕВИЧИ

Аяр прискакал в Самарканд из Герата с письмом от мирзы Шахруха. Объявив о себе на дворе правителя, гонец отправился в караульню обсушиться, закусить, поразузнать здешние новости.

В таких караульнях всегда бывало людно и тесновато: сюда сходились, здесь засиживались и усталые воины, и запасные слуги, и дворцовые лежебоки. Сиживали здесь чинно, перенося сюда повадки и обычаи из хозяйских палат, и оттого в караульнях часто бывало благообразнее, чем в знатных палатах. Проголодавшиеся, усталые, продрогшие, притворялись, что ни огонь под котлом, ни варево в котле, ничто никого не отвлекает от степенной беседы, хотя краем глаза, краем уха, краем ноздри каждый косил в ту сторону, где повар орудует у очага или вот-вот поднимет над котлом деревянную крышку.

Но, как ни чванились, здесь всегда и слова бывали прямей, и шутки веселей, и люди смешливей, чем в хозяйских палатах. Аяр, однако, нынче тут приметил иное: людей сидело немного, а те, что сидели, говорили мало, а если и беседовали, то не говорили, а переговаривались или перешептывались. Да и сидели они как-то наспех, бочком, будто не сели, а лишь присели, все в запахнутых халатах, а то и в опоясанных чекменях, словно вот-вот их покличут куда-то. Очаг под котлом еле теплился, изредка потрескивая искрами из-под пепла: видно, спешили разжечь, пихая в огонь что попало.

Все приметил Аяр наметанным глазом, но достоинство гонца не дозволяло ему лезть к людям с расспросами: сами скажут о причинах сих перемен.

Он прошел к очагу и, прикидываясь, что ничего не заметил, скинул сырой чекмень, обтряхнул шапку, стянул промокшие сапоги и, велев какому-то рабу просушить все это, растянулся неподалеку от очага на сухой, теплой, пахнущей хлебом кошме.

Он разлегся вольготно и независимо, предоставляя засидевшимся в городе любознательным людям допытываться от него, новоприбывшего, бывалого человека, новостей и повествований.

Он полежал, почванился, но самаркандцы не спешили к нему подсесть, занятые какими-то своими заботами, безучастные к гератским новостям. Да у Аяра и не было особых новостей; много раз побывал он в Герате, и эта поездка ничем не отличалась от прошлых. А все-таки жизнь в Герате — не та, что здесь, степенная, неторопливая; без суеты, без празднеств, но по-своему богатая жизнь. Мирза Шахрух — правитель не воинственный, но хозяйственный. Царевна Гаухар-Шад-ага, хотя и не наша великая госпожа, но в повадках, в распорядительности самой великой госпоже не уступит: властна, взыскательна; нередко сама спрашивает отчета от вельмож, чтоб бренные дела не мешали мирзе Шахруху соблюдать молитвы или беседовать со святыми людьми.

Дожидаясь, пока с ним заговорят, Аяр сам мучился от нетерпеливого любопытства: что же это такое случилось, что вокруг все заняты сами собой, разговаривают вполслова, вполголоса?

Аяр не стерпел и, перевалившись на другой бок, повернулся к людям:

— Ну? Что у вас?

Воины, смолкнув, посмотрели на Аяра, и ничего не ответили. Он переспросил:

— А?

Нехотя и не сразу, один из воинов отозвался:

— Все то же.

— Многих тут не видать.

— Да как их увидишь, когда их нет?

— Куда ж делись?

— Как куда? Ушли.

— Далеко ль?

Воин опять, словно в раздумье, перемолчал, и опять Аяру пришлось допытываться.

— Далеко ль ушли?

— Далеко ли, близко ли... Куда ведут, туда идут.

— Нынче-то они где?

— Где, где... В походе.

— Не всех же повелитель увел!

— Они не с повелителем. Они с обозом.

— С каким это?

— Ну...

Воин задумался: как бы ответить так, чтобы не сказать лишнего? Всем тут велено держать язык за зубами, да от этого Аяра не отмолчишься: насквозь видит — гонец! И воин нехотя ответил:

— С каким обозом? Сам, что ли, не знаешь?

— Давно?

— На той неделе.

— К повелителю везут?

— Да сказал же тебе: не в ту сторону.

— А... Так, так; в другую?

— Про повелителя я сразу бы сказал. А про это, как не велено, так я и помалкиваю.

— Про это, значит, пока помалкивают?

— Сам видишь!

— Еще бы! И с кем поехали?

— Сами по себе, вослед за войском.

— Войско-то с повелителем!

— Да они не за тем, они за нашим войском.

Вся караульня смолкла, прислушиваясь: ведь разговор затеялся про такое дело, о котором велено молчать. Не сболтнется ли чего лишнего?

Аяр отозвался так равнодушно, что все успокоились: этот не любопытен, этому можно говорить.

— Так...— тянул Аяр.— А я было думал за великим повелителем! А они за своим. Ну, это другое дело. Это что! Об этом и говорить нечего. Это, значит, они... туда?

Аяр махнул рукой, сам не зная в какую сторону. Воин подтвердил:

— Ну да, на Ашпару, на эту.

Воин было спохватился: может, и не следовало называть Ашпару Ашпарой? Но Аяр его успокоил:

— Про это кто не знает! Значит, пошли?

— Ну да!

Аяр, однако, не понял толком, что за войско пошло, почему на Ашпару в этакую пору, в самую зиму, зачем? Он уже приметил: вокруг все замерли, насторожились, хмурятся при каждом ответе воина. Аяр не решился расспрашивать дальше. Беспечно потягиваясь, он зевнул, бормоча сквозь зевоту:

— Про это кто не слыхал! Я думал, не случилось ли еще чего!..

Он знал: теперь, когда разговорились, все остальное ему расскажут без утайки только; торопить их не следует. Но тут раньше, чем предполагал Аяр, его вызвали во дворец, и пришлось наспех собираться.

Едва ли позвали бы Аяра во дворец столь поспешно, не окажись здесь в тот час Аргун-шаха.

Узнав о прибытии царского гонца, начальник города решил немедля сам его расспросить, чтоб явиться с новостями к Мухаммед-Султану и тем показать свою распорядительность в делах.

В прихожей толпились посетители, самаркандская знать и приезжие люди. Аргун-шаху не терпелось выказать перед ними свою занятость и свою власть. Поэтому Аргун-шах, вызвав гонца, не сразу его подозвал, сперва заставил постоять у двери, пока сам занимался то разговором с кем-то из подвернувшихся вельмож, то громко давал подробные распоряжения слугам и, лишь много времени спустя, как бы нехотя, повернулся к гонцу:

— Ну? Что у тебя?

— К мирзе Мухаммед-Султану.

Аргун-шах нахмурился:

— Я передам: что за дело?

— К самому мирзе.

— Я передам!

Но Аяр заупрямился, помня свое право:

— К самому мирзе!

— Ему не до гонцов.

— Подожду.

Аргун-шах не полагал, что в доме Мухаммед-Султана дедушкин порядок соблюдается и в правах гонцов: царских гонцов и у Тимура проводили сразу к нему самому. Не полагал Аргун-шах и того, что слуги, оповестив о гонце начальника города, не остановились на том, а оповестили и самого правителя.

Аргун-шах, сердясь, придумывал слово, каким бы он смог осрамить гонца, чтоб выйти с достоинством из этой перебранки, к которой, смолкнув, прислушивались все посетители. Но не успел; последнее слово осталось за Аяром: гонца требовал к себе Мухаммед-Султан.

Чтобы сохранить свое достоинство, Аргун-шах снисходительно сказал:

— А ну пойдем!

Однако, едва услышав вызов к правителю, гонец, будто Аргун-шаха и не было перед ним, резко повернулся к высокой двери и решительно, быстро пошел, зная, что все перед ним расступятся: царский гонец идет! И Аргун-шаху пришлось лишь следовать за Аяром.

Мухаммед-Султан, принимая от Аяра свиток простой бумаги, покосился на Аргун-шаха, вошедшего вслед за гонцом:

— А вы?.. Я еще не звал вас.

Аргун-шах замер, кланяясь:

— Я полагал... Не понадоблюсь ли?

— Я бы позвал.

— Ну, если не надо...— попятился Аргун-шах, шаря за спиной у себя растопыренными пальцами, чтобы не ткнуться спиной в дверь.— Если не надо...

— Не надо задерживать гонцов, когда они ко мне, а не к вам! Поняли?

— Понял, понял...

— То-то!

За дверью Аргун-шах остановился, чтобы сердце успокоилось, чтобы колени перестали дрожать; на это потребовалось больше времени, чем на весь разговор с правителем.

А Мухаммед-Султан, озадаченный, вертел в руках письмо Шахруха, написанное в Самарканд, но не правителю, а повелителю.

— В Герате не знают, что государь в походе?

— Весь народ знает.

— Почему ж тебя послали сюда?

— Было сказано: «Вези в Самарканд». Я еще переспросил. Мне повторили: «В Самарканд». Я и повез.

Царевич рассматривал наклейку, скреплявшую трубочку письма. Почерк самого Шахруха. Написано: «Благословенному амиру Тимуру от мирзы Шахруха...»

— Так...
— Я и повез...
— Так, так...
— И еще письмо, господин.
— Ну-ка!

Аяр подал другую трубочку, писанную на хрустящей, редкой индийской бумаге. На ярлычке: «Великой госпоже Сарай-Мульк-ханым в руки от гератской Гаухар-Шад-аги с почтением».

— Других писем не вез?
— Только эти два, господин.
— Кроме никому сюда не писали?
— Только эти, других не было.
— Ступай, отдыхай.

Мухаммед-Султан вскрыл письмо Шахруха: может быть, что-нибудь срочное сообщал Шахрух в Самарканд?

Нет, ничего срочного, ничего дельного: добрые пожелания, выраженные изысканно, но сдержанно: вопросы о здоровье, о доме, о семье... поклоны, написанные в строгом порядке, сперва Тимуру, потом великой госпоже, потом царевичам, всем царевичам, без поименования.

«Так,— думал Мухаммед-Султан,— мы не послали к нему известия о сборе в поход, не звали в поход, не сообщили, что вышли. Он прикидывается, что не знает о походе! Обиделся! Что ж, сообщу дедушке, а дедушка скажет: «Не знал? Значит, проведчики твои, сынок, слепы и глухи. А худ тот правитель, что правит без проведчиков, ждет, чтоб вести ему цапля на хвосте несла». Если б вы, дядя Шахрух, почаще поднимали глаза от книг, вам были бы видней дела вашего отца, знали бы, что он обид не любит, не послали бы сюда сего любезного послания».

На всякий случай письмо царевны Гаухар-Шад Мухаммед-Султан открыл, не разрывая ярлычка: лучше будет переслать его великой госпоже, снова заклеив, как было.

«Так, поклоны, любезности... Не тревожат ли великую госпожу Улугбек с Ибрагимом? Успешны ли в науках; послушны ли, почтительны ли...»

Дочитав это письмо, Мухаммед-Султан почесал щеку и улыбнулся:

«В приветах — мед, в вопросах — яд: вот, мол, вы растите моих сыновей, а я беспокоюсь, справляетесь ли вы, великая госпожа, не забываете ли о них за своими великими делами, учатся ли они у вас. Гератская госпожа в ярости, что мужем ее пренебрегли, в поход не кликнули, о походе не крикнули. А и у нее промашка: прикидывается, будто не знает, что великая госпожа увезла ее сынков в Султанию, а про то знает, что братца ее Мурат-хана в

Самарканде нет, не ему пишет, не на его письмо отвечает. Знает, что Мурат-хан на Ашпаре... Значит, вести отсюда получали после его отбытия. Что ж, великая госпожа поймет это письмо, она не любит, чтобы ей выражали недоверие, чтобы ей выказывали сомнение, чтобы кто-нибудь спрашивал, заботлива ли она к своим внукам. Многое она может простить, этого не простит, надолго запомнит! Вот и ваша промашка, гератская царевна!»

Повеселевший, словно получил отличные вести, царевич вышел к гостям, ожидавшим его в прихожей. Даже Аргун-шах, забыв недавнюю обиду, проявил расторопность, распоряжаясь приемом.

Мухаммед-Султан сказал ему:

— Вели, чтоб гонцу отдых дали. Пускай готовится: скоро ему опять скакать; пускай сил наберется.

Не хотелось бы Аргун-шаху потакать дерзкому Аяру, но слово правителя нынче равно слову самого повелителя! А была б воля Аргун-шаха ,он бы этому Аяру навеки-вечные отдых бы дал, чтоб никогда ему ни встать, ни подняться!

«А где же визирь?» — удивился Мухаммед-Султан, но, по обыкновению, не захотел спрашивать, дожидаясь, пока это само собой выяснится. Однако он намеревался взять визиря с собой в поездку по городу, чтобы все увидели и убедились, как ложны слухи о походе: правитель, мол, здесь, на виду, никто никуда не ушел, не уехал. Может быть, и следовало бы разыскать или призвать Худайдаду, проехаться вместе, но Мухаммед-Султан рассчитывал завтра, еще до рассвета, выехать вслед за войском. Оставался лишь один этот последний недолгий зимний день, чтобы обмануть горожан и, главное, чужих, монгольских, соглядатаев: выиграть время, пока они узнают, что правителя уже нет в городе.

На празднично убранном коне Мухаммед-Султан, не спеша, возглавил свою свиту.

Было свежо, хотя земля не только подсохла, но и пылила.

Рядом ехал его сын — Мухаммед-Джахангир, сзади — Аргун-шах, а следом — остальные.

На выезде Мухаммед-Султан покосился на недовершенные стены своих новостроек. Мадрасу сложили до сводов, над ханакой часть сводов свели и оставили так до весны,— класть стены на дожде и холоде ненадежно: высыхая, кладка может осесть, известь потрескаться. Но для сохранности кладки покрыли сверху войлоками, волосяными мешками, камышом, и среди голых деревьев все эти здания казались заброшенными. Мухаммед-Султан отвернулся:

«Будто дедушка тут воевал!»

Народ сбегался из переулков, из лавчонок, из ворот, толпился вдоль улицы, а Мухаммед-Султан вглядывался в лица, думая:

«Удивляет ли их, что я не в поход, а на прогулку еду? Все должны понимать: перед походом складываются, а не прогуливаются. Вон женщины из-под покрывал поглядывают. Во все глаза глядят, не то удивляются, не то любопытствуют. Да они всегда удивляются, что бы ни случилось. А вон старик, похож на древнего шаха: таджик, что ли? Такой, если удивится, прикинется, что для него на свете нет ничего удивительного: не то свое величие уронит. Мальчишки глядят больше на лошадей, чем на людей. Им слуги кажутся нарядней, чем мы: у слуг халаты пестрее. А те вот двое, пожалуй, монголы. Смотрят, а сами, как деревянные чурбаки: они и удивятся, а вид у них не переменится, всю жизнь — словно от солнца щурятся, словно вокруг голая степь. Ухитрились весь свет захватить, всеми царствами завладеть, а и по сию пору ходят, как будто с уздечкой к своим коням на тырло идут...»

Из тесноты узких улочек выехали на дворцовую площадь, где всю ее заполнили полосатые полотняные навесы над лотками со всякой всячиной, мелочью, безделицей. Какие-то испитые торгаши разложили там вперемежку блюда с вареной требухой, мотки крашеных ниток, ломтики белой халвы, нижние холщовые ермолки, орехи и фисташки, войлочные стельки и подковки для туфель, и много всего иного, что пестрело в глазах, и так было стиснуто у самой дороги, что лошадям приходилось идти осторожно, чтоб не наступить на жалкие товары, столько раз за день запылявшиеся, отряхиваемые и пылившиеся опять.

А торгаши, забыв о товарах, смотрели на проезжающих; смотрели, не скрывая удивления, но они удивлялись не тому, что правитель, оказывается, не выезжал ни в какой поход, а тому, как он гуляет по городу, тому, что каждая бляха на сбруе его коня дороже, чем все их имущество.

Тут, среди блюд с требухой и подносов с халвой и орехами, бродили нищие, прокаженные, дервиши, и каждый что-то возглашал и выкрикивал,— то ли, юродствуя, не замечали царевича, то ли юродствовали, чтобы он их заметил. Но за их воплями и причитаньем не было слышно разговора простых горожан, как ни вслушивался Мухаммед-Султан в голоса толпившихся людей.

Лишь въехав с площади под низкий каменный свод перекрестка, царевич услышал долгожданные слова:

— Поход, поход, а правитель вот он!

— Видно, врали.

— Еще бы,— вот он!

Мухаммед-Султан посмотрел на говорившего и увидел широкий темный нос над тяжелой, почти голой губой, где, видно, усы никак не росли, а только пух, как у евнуха,— бессмысленное лицо.

И вдруг этот человек сказал:

— А может, и не врали. Визиря, примечай, нету. Визирь, может, в походе. Никто не говорил, что сам он...

Мухаммед-Султан не дослушал, проехал, а хотелось бы вернуться, узнать:

«Что сам он? Что он сам?..»

Но возвратиться было нельзя, а спрашивать неизвестного проходимца невозможно, и Мухаммед-Султан с досадой подумал о нем: «Примечает!»

После говорливой толчеи выехали к Рисовому базару. И хотя здесь отовсюду звенели железом о камень, тесаками, топориками, гремели тяжестями, на больших скрипящих катках переволакивали тяжелые серые камни, но людских голосов почти не слышалось, и после базарного гомона здесь, казалось, стояла величественная тишина.

«Зима, а им ничто!» — удивился Мухаммед-Султан, хотя знал, что строительство соборной мечети не велено прерывать ни на один день, ни на один час.

Под узкими, как карнизы, навесами сидело на поджатых ногах длинной ровной чередой множество мастеров. Одни искусно, опытной рукой обтесывали плитки аспидного мрамора, другие вбивали отдельные буквы или надписи в такой же мрамор, третьи вырезали хитроумные узоры на глиняных плитках, четвертые делали какие-то свои работы, позвякивая острыми топориками.

По одежде мастеров видно было, сколь различны их отчие земли. Кого-кого только не было тут! Приведенные сюда из различных походов, а то и нанятые из дальних стран, лучшие мастера со всего света. И никто из них не смел поднять голову и разогнуться: надсмотрщики неслышными шагами прохаживались позади с гибкими прутьями в усердных руках. Но и в таком уничижении дружно и прилежно работали мастера: любимое дело было для них усладой, уводило их мечту прочь от этого мира, где властвовали недремлющие стражи, не умевшие ни мечтать, ни творить. Царственно, надменно прохаживались стражи и не знали, сколь ничтожна их власть над теми, кто может воплощать свои мечты в любимом деле. Не переговариваясь, понимали мастера один другого, когда надо было обменять затупившийся тесак или в чем-то помочь друг другу. Мухаммед-Султан, глядя на них, думал: «Палка надсмотрщика всех их соединила, всех направила на одно дело, все народы тут, как один, свершают то, что задумано дедушкой! Палку надо крепче держать, смотреть зорче».

Мухаммед-Султан впервые видел, как послушно и неутомимо работают слоны. Могучие, пригнанные из Индии, еще украшенные алыми или желтыми индийскими ремнями, некоторые с коваными запястьями на задних ногах, они шли один за другим, неся огром-

ные бревна или плиты, покорные воле хилых темнокожих индусов, восседавших на их просторных холках.

В надлежащем месте слоны бережно опускали свою ношу и, мотнув головой, будто с облегчением, поворачивали назад, отправлялись за новой ношей к длинному поезду арб, подвозивших, одна вслед за другой, плиты из каменоломен, с гор, где ломали, кололи и обтесывали камень каменотесы из Армении, из Азербайджана, из дальних горных стран, соревнуясь со здешними, коренными, и опыт, накопленный многими поколениями мастеров в разных концах земли, здесь соединялся в одно большое мастерство.

За городскими стенами раскинулись, как воинские станы, поселения различных ремесленников, пощаженных завоевателем для усердного труда и отовсюду сведенных к Самарканду. Люди лепили себе мазанки или ставили шалаши, но в память завершенных победоносных походов этим поселениям уже были даны названия славнейших городов мира — Дамаск, Шираз, Багдад, чтоб Самарканд между ними сверкал, как алмаз в окружении изумрудов.

Весь этот народ в ту зиму без отдыха трудился на строительстве соборной мечети, ибо Тимур велел завершить ее к своему возвращению, хотя ни он сам, ни зодчие не ведали, вернется ли он весной, проходит ли годы. И Мухаммед-Султан понимал: случится ли промедление в строительстве, оплошают ли мастера, многим придется отвечать за это, не будет поблажки и правителю.

Мухаммед-Султану давно следовало побывать здесь, но сборы в поход на монголов отвлекали его. И теперь, глядя на весь этот труд, на сотни работающих людей, на вереницы слонов, на бесконечный обоз арб, Мухаммед-Султан не мог понять, где ядро всего этого, верно ли свершается весь этот необозримый ход работ.

Не дожидаясь, пока перед ним предстанут главные зодчие, с возрастающей тревогой, он сам поехал к старикам, которым дедушка поручил здесь хозяйничать.

Услужливый надсмотрщик, отбросив свой прут, поспешал перед конем царевича, между складами кирпичей, каменными плитами, грудами бревен, рядами рабочих. Конь еле пробирался, часто оступаясь на тропе, где и пешеходу нелегко было пробраться.

Мухаммед-Султан следовал за вожатым, не отставая и не заботясь о своей свите, вынужденной протянуться длинной цепью, ибо ехать приходилось по одному, а спешиться никто не смел, когда правитель так ловко направлял своего коня между всеми преградами, словно где-нибудь в горном проходе.

Свита, протянувшаяся перед глазами множества чужеземцев, потеряла свою праздную, торжественную значительность. Виден

стал каждый всадник, и от каждого требовалось умение усидеть в седле, а лошади спотыкались, артачились, могли ткнуться мордой в переднего всадника. Прервав работу, все строители и стражи молча следили, как проезжали один за другим такие знатные, а сейчас такие растерянные вельможи Самарканда.

Увлеченных игрой в шахматы ходжу Махмуд-Давуда и Мухаммеда Джильду приезд правителя застал врасплох. Выронив ладью, Джильда кинулся к верхнему халату, но подумал, что сперва надо надеть чалму, потянулся к лежавшей наготове скрученной чалме. Он схватил ее за конец, и она вся, как проснувшаяся змея, вдруг развернулась во всю длину упругого шелка.

Ходжа Махмуд-Давуд, не снимавший ни чалмы, ни халата, первым оказался у стремени и помог царевичу спешиться.

Эти двое старых вельмож, много раз получавшие от Тимура трудные и опасные задачи, имели много власти, и царевич побаивался их. Но и они знали, что Тимур прочит этого внука своим наследником, и, если Тимур смертен, этот внук станет властен над жизнью всех соратников и вельмож своего деда. Зачтет ли он заслуги, совершенные для деда? Не пора ли выслуживать доверие внука: дед — далеко, а этот — вот он!

Мухаммед-Султан раньше не замечал в этих двоих такого почтения, такой угодливости и лести.

Он слушал их, усаживаясь на удобном помосте, откуда видны были строители, арбы, слоны, и присматривался:

«Как раболепствуют! Видно, совесть не чиста! Что-то тут не так!»

Здесь приятно пахло какими-то домашними яствами и дымком от жаровни. Взглянув в ту сторону, откуда долетал дымок, царевич приметил, как трудился повар, свежуя подвешенного барашка. Повар рукояткой ножа так усердно отбивал шкуру от туши, что и не заметил, как прибыл сюда правитель.

А Махмуд-Давуд, приметив взгляд Мухаммед-Султана, растерялся: «Не затем они здесь, чтоб барашками тешиться: сохрани бог, не сказал бы царевич самому повелителю, что они тут в шахматы играют, барашков жарят, а дело мол, делается само собой, не по их усердию!»

— Барашек вот... степной, пришлось прирезать.

— Заболел?

— Как? Почему заболел?

— А если не болел, почему прирезали?

Махмуд-Давуд совсем смутился:

— Да вот... жарить.

— Ну, ну!— согласился Мухаммед-Султан и спросил:— Справляетесь?

— Тяжело. Трудимся. Везде надо поспеть...

Наконец Джильда кое-как намотал чалму на голову и подсел к ним.

Но не успел он сесть, Мухаммед-Султан поднялся:

— Покажите мне. Как там работы?

Может быть, не столь ясно открылось бы ему величие дедушкиного замысла, не случись тут одинокого повара, столь углубленного в свое дело, будто кругом была пустая степь.

Теперь он понял, что уже нельзя уехать отсюда, не рассмотрев этого строительства. Только теперь он понял, как оно обширно, сложно, и как много значения придает ему Тимур, если столько сил здесь соединил, если все, накопленное во многих походах, и свою индийскую добычу, кинул сюда, на созидание сей мечети. Пока так, воочию, он не видел этого, царевич считал строительство соборной мечети одним из многих больших строительств Тимура. Сейчас перед ним впервые открылась истина,— все предыдущее зодчество было лишь испытанием мастеров, подготовкой опыта. Только сейчас Мухаммед-Султан это понял, хотя еще не мог сказать, что ему открыло глаза: множество ли тружеников, обширность ли пространства, занятого людьми, длина ли стен, определивших величие будущего здания, высота ли этого места...

Идти по двору пришлось с оглядкой, обходя ямы извести, кирпич и мусор. Кое-где еще рыли землю для бута, а рядом уже высились стены, уже каменщики сводили своды над рядами келий, где разместятся паломники, ученики или бродячие дервиши. На свежие стены накладывалась изразцовая облицовка, и в промежутке между стопами запасных кирпичей, из-за стоймя составленных нетесаных бревен, уже вспыхивали там и тут глазури поливных кирпичиков или мелкие узоры расписных плиток.

Но глазурные облицовки еще не соединились и казались лишь клочьями голубого ковра, наспех накинутыми на свежие стены.

Мухаммед-Султан, щурясь, пытался понять будущую высоту этих стен, по этим клочьям угадать весь изразцовый убор, представить весь облик, всю ширь и все величие могучего здания, как оно задумано дедушкой. Только теперь Мухаммед-Султан понял замысел Тимура: поставить посреди своей столицы мечеть, как воплощение всей своей огромной державы, сложенной из мелких частиц воедино. Ставил мечеть усердием многих народов, языков и вер во славу единой, истинной веры, трудом разных народов, но во славу единого владыки.

Царевич подумал: «Твердыню мусульманской веры творят язычники и христиане. Тем и очистится перед богом дедушкин меч от всякого пятнышка!»— и сказал Джильде:

— Много уже сделано, а что выйдет, никак не разгляжу.

— Сейчас!— ответил Джильда.— Пожалуйте, пойдемте.

Они дошли до середины двора, где под низеньким навесом на широкой доске стоял медный поднос, а на подносе что-то такое было накрыто расшитым покрывалом. По очертаниям покрывала царевичу показалось, что на блюде лежит баранья тушка, запеченная к пиру.

«Потчевать меня, что ли, будут?» — удивился Мухаммед-Султан.

Но тут явился главный зодчий, маленький человек с круглым румяным лицом, обрамленным черной пушистой бородкой.

— А ну? Что там? — кивнул царевич на поднос.

Зодчий, глядя на Джильду, взялся за покрывало короткими толстыми пальцами, но покрывала не снял, а сказал:

— Прежде послушайте меня.

Мухаммед-Султан нахмурился: не было такого обычая, чтобы ремесленники, воины или слуги медлили, когда их спрашивают. Мухаммед-Султан не знал, что этот хорезмиец достраивает Белый Дворец в Шахрисябзе, что Тимуром поручено этому хорезмийцу присматривать за строительством мечети Ходжи-Ахмеда в Ясе, что некогда этого мастера бережно, как ценную добычу, вывезли из развалин Ургенча, что уже в третий раз Тимур доверяет ему осмыслить облик величайших из своих строений, — что все три величайших здания в землях Тимура строятся по замыслу этого коротышки с толстыми, как у повара, пальцами.

А хорезмиец говорил:

— Здесь, господин, покрывалом покрыт лишь кирпич того здания, что, как пята, придавит всю эту площадь и, как гора, здесь возвысится. Чтоб увидеть это, надлежит мысленно умножить в одну тысячу раз то, что я открою. Надлежит мысленно увидеть над этим кирпичом сияние небес, солнечный свет; когда полуденные лучи белы и стены сего здания заблистают серебром, а поутру и вечером, когда лучи багряны, стены засверкают золотым отливом, а в лунную ночь замерцают, как бы гора жемчужин, насыпанная до небес. Мысленно, проницательным взором души, надлежит дополнить то, чего недостает бездушному камню, жалкому прообразу того, что увидит здесь повелитель вселенной, когда остановит своего победоносного коня на этом месте. Вот, великий господин, смотрите...

Он сдернул покрывало, нетерпеливо и опасливо, как с невесты в ночь обручения, и представил правителю образец, по коему строится это здание.

Подойдя вплотную к подносу, Мухаммед-Султан понял, как величественна будет эта мечеть, ибо соотношение всех частей было умно рассчитано, каждая часть казалась значительной, а соединившись, все они усугубляли величие здания.

Мухаммед-Султан, наклонившись, рассматривал и купола, и

десятки столбов, со всех сторон обступавших двор; увидел дверцы бесчисленных келий и входов, даже мраморные плиты, покрывшие всю ширь двора, и среди двора — мраморный водоем для омовений.

Мухаммед-Султан придал себе строгость, заметив перед молитвенной нишей крошечного, как рисинка, человечка, склоненного в молитве, и назидательно сказал:

— Этого незачем... Грех, когда смертный изображает божье творение... Коему...

Но зодчий заметил, как трудно правителю вспомнить то место из шариата, где записана эта истина, и поспешил объяснить:

— Он мне нужен, чтоб соразмерить рост человека с размером здания. А грешен не тот смертный, который соразмеряет творение божие, но тот, который изображает его. Не так ли, великий господин?

— Истинно так.

— Я помнил это и велел это сделать христианину; он и ответит перед богом!

— Истинно!— согласился Мухаммед-Султан.

Когда он шел к лошади, за еще невысокими стенами мечети он увидел почти законченные стены бабушкиной мадрасы и не без насмешки сказал Мухаммеду Джильде:

— Великая госпожа скорее вас строится!

— У нее свои строители; ее зодчие сменяют людей по дважды в день: едва одни соберутся на отдых, приходят другие, отдохнувшие. А нам и отдохнуть некогда, мы без отдыху трудимся.

— Однако откуда же она изразцы берет? Такие же, как у вас! У нее своих мастерских нет. Покупает?

Джильда пожал плечом и отмолчался, но правитель снова спросил:

— Покупает? А у кого?

Приметив, что старик побледнел и отвернулся, Мухаммед-Султан подумал: «Узнаем!» Но тут же вспомнил, что узнавать, пожалуй, уже некогда: надо спешить в поход, не до изразцов теперь!

На обратном пути, подъезжая к себе домой, Мухаммед-Султан словно заново увидел начатые свои заветные постройки и вдруг удивился: «Как они ничтожны». Они никогда не казались ему такими до нынешней поездки на Рисовый базар: «Тесные дворики, убогие кельи. Что за мадраса, что за ханака... А мечталось...»

И недружелюбно подумал:

«Дедушка на дожди не глядит, строит; а я дожди пережидаю; срамлюсь!»

И захотелось поскорее уйти прочь, уехать отсюда,— пропало желание продолжать то, что уже казалось ему никчемным, что,

казалось ему, не удивит дедушку, а вызовет у старика лишь покровительственную усмешку при взгляде на строительные потуги внука!

«Ехать надо! Поход, победа,— это дело; это главное. А строить тоже лишь, как играть в шахматы, на досуге... На досуге... Не ладится игра,— всех слонов и коней долой с доски! Долой с доски!»

Въехав к себе, он сразу же отпустил спутников, позвал ключарей и велел складываться, отбирая те вещи, без коих в походе не обойтись: запасные халаты, седла, праздничное оружие,— то, что надо уложить, увязать, навьючить уже не на верблюдов, а на лошадей, чтобы все это было у него под рукой.

Визирь Худайдада, идя к правителю, по своему пристрастию к хорошим лошадям, не прошел мимо навеса, где всегда стояли наготове заседланные лошади.

Закинув за спину руки, не глядя на раболепие конюхов, визирь прошелся мимо гордых лошадей, кивавших головами, будто они одобряли визиря и ободряли его.

— А чтой-то нынче кони не столь нарядны!— заметил, будто подумал вслух, Худайдада, не останавливаясь.

Конюхи услужливо отозвались:

— Велено запросто седлать. К дальней дороге.

Услышав это, Худайдада спохватился и, помрачнев, забыв о лошадях, повернул к покоям правителя.

Отмахиваясь от вельмож, медливших разойтись после поездки, изъявлявших визирю свое почтение, Худайдада прошел прямо к Мухаммед-Султану.

Царевич присматривал, как рабы старательно укладывали его запасную одежду в тисненые кожаные кабульские сундуки, и ворчал:

— Плотней клади, не то халаты в пути помнутся!

Визирь имел право входить к правителю в любое время и в любое место, кроме женских покоев.

Но этим правом визирь пользовался лишь при важнейших вестях или при нежданных событиях и тревогах. Появление Худайдады насторожило Мухаммед-Султана.

Опустив лоб, Худайдада ждал, чтобы остаться вдвоем. Мухаммед-Султан потоптался на тонких, обтянутых узкими голенищами ногах и, не желая прерывать сборы и укладку, отвел визиря в боковую комнату.

Свет сюда проникал лишь сверху, из-под потолка, через маленькое, как отдушина, оконце .В тусклом свете лицо правителя визирю казалось синевато-бледным, хотя еще не было сказано тех слов, от которых Мухаммед-Султан мог побледнеть.

Помолчав, в раздумье, Худайдада вздохнул:

— Вьючитесь?

— А что?

— Опоздали.

— Кто? Как?

— Мы, господин. Нынче утром наш проведчик гонца пригнал; опоздали мы, отстали.

— Из Султании? От дедушки?

— Это бы что! Из Ферганы, господин. Да уж и не из Ферганы,— из Кашгара. Мирза Искандер обскакал нас, пока мы тут мудрили. Наскреб, где ни есть, отрядишко, тысяч в двенадцать, да и махнул по монголам. А те, как мы и знали, никаких нападений не опасались, все кинули, да и ушли в степь. Теперь мирза Искандер уж назад идет, к себе в Фергану. Такого страху дал степнякам, не скоро очухаются. Отряд свой оставил в Кашгаре, а сам потихоньку назад идет. Потихоньку идет из-за большой добычи,— тяжело везти.

— Как же это? А? Как же это он? Кто его пустил туда? А?

— Сам. Собрался, да и айда! Полководец!

— Да его надо за это!.. Я дедушке скажу!

— Сказать надо. Надо и самим себя показать.

— Догонять монголов?

— Зачем? С них уж брать нечего. Все взято. Надо мирзу Искандера поучить. Как, мол, смел? Как это без спросу, без согласия? Как так?

— Что ж мне, седлаться да ему навстречу скакать?

— Зачем? Свою честь надо блюсти. Сами сидите здесь. Меня посылайте. Я сам управлюсь, как надо. По правилам великого государя, как в Султании,— сподвижников кверху задом, а самого воителя за шиворот да сюда: винись, вымаливай пощаду! А добычу его отберем: «не льстись на чужое!»

— А что ж Ашпара? Я уж сложился!

— Ашпара теперь ни к чему.

— Надо сказать, чтоб остановились, чтоб дальше не шли, шли бы назад. Теперь они могут здесь понадобиться.

— Уж я их остановил: уж я послал к ним. Иначе, как можно? Так ехать мне, что ль?

— В Фергану?

— Где встретится. Хорошо б их застать на походе, пока они ничего не чуют. Как они на степняков, так мы на них: цапцарап!

— Что ж, поутру поезжайте. Возьмите войска побольше и поезжайте.

— Зачем мне много? Ежели мне мало будет, я из его ж охра-

ны к себе возьму. Они там все меня знают, кто ж ослушается? А утра мне ждать некогда, сейчас и пойду.

— Время к ночи!

— И не в этакой тьме хаживали.

— А скрутить их надо покруче.

— Мирзу я сюда приведу, с ним сами беседуйте. А с остальными там побеседую. Ежели случится круто закручу, ничего?

— И тех, кто, может в Фергане отсиживается, а мирзу подбивал на поход на этот, и тех...

— Большой крик подымут.

— Пускай!

— У великого повелителя слышно будет!

— Пускай! Они его спросились?

— Нужен ваш указ. Моя рука тверже станет.

— Велите написать! Я печать приложу.

Мухаммед-Султан не любил писать сам. Ему казалось, что и почерк у него нехорош, и слог груб, у писцов складней выходило.

Следом за Худайдадой царевич вышел в покой, где уже стояли сундуки, скрепленные попарно для вьючки.

Домоправитель, втайне гордясь своей расторопностью, поклонился:

— Все, как приказано, великий господин.

Мухаммед-Султан не сразу его понял. Постоял, припоминая, будто что-то очень давнее, о чем говорит слуга. И вдруг, словно проснулся, быстро сказал.

— Довольно!

— Чего?

— Разберите да разложите все по местам.

Он шел, сам не зная, куда же теперь идти, с чего начинать. Так наполнены были эти дни, ни минуты не было свободной, и вдруг стало делать нечего.

Он сошел во двор, прошел под голыми деревьями к своим безлюдным новостройкам.

Быстро темнело, и в сером небе, торча кверху какими-то палками, пылетенками, стояли темные, серые недостроенные стены.

Холодный ветер, низкие белые облака на аспидном небе,— кругом было неприютно.

Мухаммед-Султан ходил, озираясь: никого нет, тихо, безмолвно...

«Как на кладбище!— подумал он.— Как на кладбище!»

Он замер, когда вдруг услышал за своим плечом голос:

— Печать, господин.

— Что? Какая такая?

Он обернулся и понял, что это стоит Худайдада, протягивая ему узкую полоску бумаги.

Мухаммед-Султан пошарил за поясом, где в складках, подвязанная к концу кушака, затаилась именная печать правителя самаркандского.

— Написали?

— Угодно выслушать?

— Нет, поезжайте! Мне скорей с мирзой поговорить надо. Остальных... покруче: хороший жеребец от табуна не отобьется, а какой отбился, того на племя не берегут. Вот, держите!

Мухаммед-Султан приложил к бумаге печать, с трудом присматриваясь в сумерках, на месте ли она приложена. Так и не разглядел, но идти домой, к свету, не хотелось: в сумерках легче быть повелительным со старым визирем. А Худайдаде было по душе, что молодой правитель приказывает так твердо.

«Чем больше строгости от меня требует, тем больше воли мне дает! Чем строже мне приказывает, тем больше на себя берет: повелитель с меня спросит, а я правителем заслонюсь. Говори, говори, построже говори!..»

Но Мухаммед-Султан вдруг замолчал, а потом порывисто, нетерпеливо отпустил визиря:

— Ну, поезжайте!

Он снова остался один; услышал, как за стеной проскакали всадники: визирь уехал со двора.

Тогда потихоньку он побрел к дому, думая:

«А все ж надо послать в Ашпару, к Мурат-хану, спросить, как там, все ли в порядке, не надо ли чего воинам, не ветшают ли крепости. А то я строил-строил... Землю пашут ли? Я туда переселил целую тысячу земледельцев, чтоб у крепостей свой хлеб был, а как они там хозяйствуют?»

Стало совсем темно. Проходя мимо караульни, царевич услышал Аяра,— гонец рассказывал о Герате:

— Там мирно живут, царственно...

Из темноты Мухаммед-Султан увидел своих слуг, сидевших вокруг тлеющего очага. На всех были опоясанные чекмени. У порога наготове лежало несколько переметных сум, чем-то набитых.

«В поход собрались, а похода-то и не будет!»— с досадой вернулся он к своим мыслям, уходя в дом и слыша, как Аяр в раздумье повторил:

— Царственно...

В одной из комнат Мухаммед-Султан наткнулся на опустелые сундуки: видно, слуги не успели их вынести, но ему показалось, будто кто-то укоряет его за то, что сундуки пришлось опорожнить. Он рассердился и закричал домоправителю, чтоб сундуки отсюда выбросить, а слуг из караульни прогнать.

С мотыгой под мышкой сгорбившийся пешеход проталкивался через самаркандский базар; шел неторопливый, но и не медлительный, такой, как и многие тысячи здешних жителей, создавших и прославивших свой знатный город.

День был свеж и ветрен.

Улица, просохнув, снова окаменела, и крепко стучали туфли пешеходов, когда Мухаммед-Султан, прислушиваясь к базарному говору, ехал на строительство соборной мечети, а ретивые скороходы расталкивали народ, расчищая проезд правителю.

Прижав к груди мотыгу, прохожий отвернулся к стене, чтобы пропустить всадников, и никто из них не полоснул нагайкой невежу, повернувшегося к правителю спиной, когда надлежало склониться в поклоне, а прохожий и не знал, как яростно взглядывали на него иные из всадников, как сжимали вдруг рукоять нагайки, но неуверенно опускали руки: никто из них не решился показать свою власть при Мухаммед-Султане, никто еще не знал его обычая, все только еще присматривались к правителю.

Так и проехали. Прохожему, видно, невдомек было, кто это ехал, но, глянув вослед свите, он сощурился, не то с усмешкой, не то с хитрецой.

Он вышел в Кузнечный ряд и в переулке, в зарядье, остановился перед раскрытой мастерской Назара.

В мастерской никого не было: заболел Борис.

Борис сидел на постели, согнувшись, сжав на животе руки, и жаловался Назару:

— Все от тутошней воды. Не могу с ней свыкнуться. Как глотну ее натощак, так она будто камень, во мне. Отвердеет в нутре, а потом жжет меня, все жарче, все жарче. Будто я не воды, а кипятку глотнул. Ой, дядя Назар, сладка самаркандская водица, да не по мне.

— Полегчает; отпустит...

— Ох, отпустила б она меня отселе; нашей бы, волжской, хлебнуть. У нашей и вкус-то, как сдобный калач; стерляжья вотчина! А тут и хлеб будто из глины: жуешь — хрустит, хочешь проглотить — к деснам липнет. Отпустила б она меня; а, дядя Назар?

— Не моя воля.

— Вот то-то и оно... А то от глотка до брюха, как кол забит. Что ж это такое? Разогнуться и то боязно: не стало б тягчее.

— Крепись: нам еще много ковья на переков положено.

— Ох, скоро сам стану железом на этакой наковальне.

Назар вдруг приметил, что кто-то его ждет в мастерской и, уходя туда, ответил Борису:

— Один ли ты под молотом? Другие крепятся ж!

Он вышел к посетителю, приглядываясь: где-то видел его, но где? И спросил:

— Тебе чего?

— Возьми вот мотыжку, отбей. Отбей, пожалуйста: вишь, затупилась. А похода на Ашпару не будет, так что золото пускай у тебя полежит. Когда нам казна понадобится, я за мотыжкой к тебе приду, только сперва отбей ее, пожалуйста. Она у тебя спокойней полежит, неприметней. На, возьми: а то затупилась. Будь здоров.

И пошел прочь.

Когда босые ноги заказчика застучали по дороге одеревеневшими от времени туфлями, Назар спохватился: «Сказать бы, нет тут никакой казны, чего, мол, мелешь?» Не успел сказать, заказчик свернул к рядам и пропал: по рядам много шло всякого люду. Так и пропал, словно все это приснилось. Назар встревожился:

«Нехорошо! Ведь что вышло? Я смолчал — и, значит, признался: у меня, мол, казна; знаю, мол, про какое золото слово молвишь! Как это нехорошо вышло!..»

С досадой кинул мотыжку в угол и задумался:

«Где я его видел? Не в Синем ли Дворце на дворе? Там разный народ, там...»

Но вспомнил и успокоился: «Он ведь приходил, когда они мне свою казну сдали. С тем... с кривой бородой. Что ж это я сразу его не опознал...»

Он поднял с полу мотыжку, почесал пальцем по лезвию и улыбнулся: «Ее и отбивать нет нужды, она и не затуплена!»

Вернувшись к Борису, Назар сказал:

— В поход наш супостат сбирался, да отдумал. Остался дома сидеть.

— С чего ж отдумал?

— Повремени, выведаем.

Подошла Ольга:

— Полдень вам!

— Полдневать?— откликнулся Назар.— Самая пора, а то я уже наковался. Ты как, Борис?

— Мне есть не во что: все нутро водой забито.

— Ешь! Каша воду выжмет.

Борис раздумчиво спросил:

— А как выведаем? Надо б скорей.

— Про что?

— С чего это он поход отдумал?

— А что?

— На монголов ведь шел. Как ни кинь, они Золотой Орде опора. То думал по опоре рубануть, то отдумал. То бы нам облегченье вышло, а так монголы, как прежде, спокойны: «Тимур, мол,

всю силу за собой увел, с этой стороны опасаться некого, можно за это время и на Москву набежать».

— Ты, я вижу, сметлив стал!— одобрил Назар.— Что ж теперь делать?

— Надо нашим дать знать: побереглись бы.

— Лежи. Я схожу, скажу. А то я уж подал весть: «На монголов, мол, ополчаются». Теперь той вести отбой дадим, остережем. Возьму замочек, какой поладней, снесу, покажу товар соседу.

— Каша холодает,— упрекнула его Ольга.

— Вернусь, поем. Время людей не ждет, голубушка.

Вздев на указательный палец, как перстень, светлый медный замок, чтоб был на виду, Назар понес его через весь Кузнечный ряд в дальний Гончарный конец.

Встретился писец кузнечного старосты. Спросил у Назара:

— Далеко ль?

— Заказ понес. Вот он, не угодно ли взглянуть, почтеннейший.

Писец занялся замком:

— Хитро! Как же его отпереть?

Назар неторопко разъяснил любознательному грамотею, как надо запирать и как отпирать.

— А кто таков заказчик? Кому понадобился такой запор? Что за этим запором храниться будет?

— Хозяйское дело: что под замок положит, про то сам один станет знать. Не угодно ли обзавестись подобным изделием?

— А вправе ли кузнец сам торговать? Чем наши купцы займутся, если мастера сами и торговать начнут?

— Ни заказы брать, ни свое ремесло сбывать нам от повелителя запрета не было. Кто задолжал купцам, кто от купцов сырье берет, у тех свои счеты. А я волен, хлеб не из чужих рук ем. Про то вам, небось, видно из ваших записей.

— Есть ли запись на ваш товар, не помню. Занятен замочек. Надо бы его на моей двери испытать.

— Найду для вас.

— А цена?

— Со своим человеком дорожиться грех .Я вам так принесу: не откажитесь от душевного дара.

— За дар благодарствую. Приму!

— Порадуйте темного человека.

Отвязавшись от недоверчивых взглядов писца, Назар для отвода глаз потолкался по людным переулкам, пока добрался до гончаров, посмеиваясь:

«Обошлось! И кому заказ несу, забыл спросить, посулу обрадовался. Недорог грамотей!»

КАРАБАХ

Табуны коней, несметные стада и отары паслись по плоскогорьям Карабаха, по тучным пастбищам, вспоенным зимним дождем.

Бурые, серые, черные воинские юрты, составленные по десяти вокруг шатра сотника, горбились среди холодных густых трав.

Белые облака тяжело плыли в темном, непогожем небе.

Уже не первый день стоял здесь стан Тимура. Среди тысяч воинских юрт высились просторные белые юрты повелителя, опоясанные алыми ремнями. Он пришел зимовать сюда, где много лет не бывал,— недаром исстари говорят, что все, кто бы ни глотнул карабахской воды, тоскуют о Карабахе и, как бы далеко ни ушли отсюда, придут назад.

Черным садом исстари звалась эта страна, где от края до края простирались сады, тенью своей застилая всю землю. Прежде простирались сады, а ныне распростерлись выпасы и выгоны, ибо на здешних травах могучей силой наливались кони, становились статней и ретивей, как ни на каких иных лугах. И если воины хотели одобрить чью-нибудь мужественную осанку и стойкий нрав, говорили в похвалу: «Как карабахский конь!»

Сама трава росла здесь буйно, исполненная живительных соков, и ни грозные холодные ветры, ни сокрушительные горные ливни, ни густые снегопады не смогли измять карабахских пастбищ. Ради приволья коней, для своей конницы еще в прошлые годы Тимур велел вырубить здесь сады, вытоптать поля, раскинуть во всю ширь Карабаха вольные выпасы.

Воздух был ясен, и по ветру далеко разносилось то мычанье стад, то норовистый визг молодых лошадей, то лай пастушьих собак.

Было сыро, свежо, ветрено. Вскинувшись, хлопали кошмы незапахнутых юрт. Быстрый дым стлался по земле, врывался в травы, а то светлел, поднимался столбом, но вскоре снова поникал и прижимался к травам.

Вздувались гривы коней, поставленных на приколы около юрт. Псы пробегали бочком, ставя грудь против ветра.

Воинам было здесь вольготно, еды давали им вдоволь. Люди бодрели, добрели, наливались, как кони, силой и резвостью: возня, игры, борьба, веселые взвизги и возгласы достигали белых юрт повелителя.

Он один был здесь молчалив и лишь изредка являлся посидеть в кругу жен или внуков.

Но во все это время у него перебывало немало людей. Разных

людей и в разное время. Были и такие, что являлись в ночной тьме и во тьму уезжали. Сменялись лошади на приколах, сменялись гости и вестники, а он слушал, скупо откликаясь на их слова, и молчал, молчал, думая свое, своими думами озабоченный, никому не высказывая своих забот.

Изредка он проезжал с одним лишь оруженосцем через те или иные становья, неожиданно останавливался, если хотел что-нибудь рассмотреть, и, не говоря ни слова, уезжал дальше, не замечая, как замирали люди при его появлении.

В эту пору никто даже из ближайших людей не смел заговаривать с ним. Он и не откликнулся бы, и при встречах все молчали, пока ему самому не надобилось спросить их. Спрашивал он редко, а если спрашивал, так не столько вельмож, сколько простых воинов. И опять, ничего не сказав, ехал дальше. Ни лисий треух, отвернутый на макушку, ни серый из верблюжьей шерсти чекмень ничем не отличали его от простых воинов, но укрывали от ветра и от дождей, а выезжал Тимур при всякой погоде. И чаще ездил он в непогожие дни, когда ему казались видней все непорядки и промахи в устройстве станов.

На закате Тимуру донесли, что длинным путем из Китая прибыло двое бухарских купцов и с ними какие-то китайцы.

Тимур велел привести к нему этих бухарцев и стоял перед своей юртой, глядя, как клубятся облака, прикинувшиеся причудливыми чудищами, и то протягивают по небу чешуйчатые хвосты, то вздымают пухлые хоботы.

Темнела, притихала долина, и кое-где по стану затепливались огоньки очагов.

Лишь завидев приближавшихся бухарцев, Тимур зашел к себе и сел напротив входа. Оба купца так схожи оказались между собой, словно двоились в глазах Тимура, хотя лица их не имели сходства. Оба шли легко и слегка наклонившись вперед, оба были стройны и высоки, оба носили халаты в обтяжку, затянув пояса так, что полы не распахивались на ходу. Оба поклонились одновременно, молча, и молча опустились рядом, поджав под себя ноги.

Не одна тысяча купцов из страны Тимура вела торговлю с Китаем. Тысячи их проходили со своими караванами той самой дорогой, кочевали на тех же местах, пили воду из тех же колодцев, где еще за тысячу лет до того, и за два тысячелетия до того, пролегал Великий Шелковый путь от побережий Тихого океана к городам Римской империи, где шли караваны, неся поклажу к берегам Янцзы, встречные — к берегам Тибра. Монгольские орды затоптали дорогу, разломали стены постоялых дворов, завалили грязью колодцы. Шелковый путь затих и зарос полынью, как русло иссякшей реки. Немало договоров заключал Тимур, чтоб расчистить торговый путь от степных разбойников, чтоб снова, как

прежде, протянулась древняя дорога от Китайского моря к Адриатике через самаркандский базар, чтоб по краям ее зацвели зачахшие города — недолго соблюдались договоры, набегали новые орды, сменялись цари и ханы, могучий торговый поток проточил себе другие русла, стороной от земель Тимура, и лишь редкие караваны, как одинокие упрямые роднички, порой сворачивали в это извечное русло между песков и камней.

Все чаще и чаще задумывался повелитель мира о новых походах, чтоб возродить Великий Шелковый путь, отвадить от него монголов, подчинить их волю своей воле, а весь Китай взять в свои руки. Здесь, у себя в стане, он держал и потомка монгольских ханов, чингизида Ульджай-Тимура, безропотного, неприметного, копившего в душе своей горечь при виде славы и могущества, которые достаются в удел не ему, а Тимуру. И чем больше побед и почестей доставалось Тимуру, тем крепче ожесточалось сердце Ульджай-Тимура, тем преданнее Тимуру становился он, ибо видел, что лишь милостью Тимура богат, что лишь по его милости в нужное время поднимется над своим народом, чтоб низложить весь тот народ под пяту своему благодетелю.

Но еще много городов покорить, много походов пройти, много битв выдержать надо было Тимуру, прежде чем повернуть свои силы в бесприютные степи монголов и посадить над ними исполнительного слугу, этого Ульджай-Тимура. Держал чингизида при себе, как держал запасных коней, на которых, может быть, и не придется никогда выехать в поле. Лишь изредка Тимур вспоминал о царевиче, посылал ему чашку вина из своего бурдюка или поднос еды со своего пира. Нечастой была такая милость, но чем реже она оказывалась, тем дороже была полузабытому всеми Ульджай-Тимуру. Одиноко мечтал он о раздолье монгольских степей, о своей белой юрте, которую поставит на холме над могилой Чингиза, о Китае, с которого прикажет собирать великую дань по обычаю своих предков, о китайском императоре, которого низвергнет, обесславит, лютой казнью казнит за изгнание из китайских городов монгольских баскаков и властителей. Ульджай-Тимур мечтал одиноко, но тем выше воспарялись его мечты, чем больше стран покорялось Тимуру. Как он усердно стал бы служить Тимуру, как угадывал бы всякое его желание, как жестоко искоренил бы по всем своим ордам всякую неприязнь к Тимуру, всякое своеволие. А там... ведь Тимур смертен! Ведь настанет время, и вся кочевая степь останется одному владыке, гордому чингизиду, царевичу Ульджай-Тимуру! О, тогда он вернется в Самарканд, сам сядет в Синем Дворце, повелит кинуть к его ногам этих ягнят, этих внучат Тимура, изречет им свою волю и, если будет в тот день расположен к милостям, помилует их, поселит их в юртах на краю своего необозримого кочевья...

Тысячи купцов из страны Тимура торговали в Китае, шли туда, приходили оттуда. Не столько шло караванов по былому Великому Шелковому пути, как в давние времена, того уже не было, но торговля шла, и среди тысяч купцов было немало таких, что в потайных складках халатов скрывали бронзовые пайцзы Тимура, открывавшие доступ в его высокое становье.

Теперь явились сюда двое из них, и Тимур ждал, что они ему принесли.

— Великий государь! Милосердный господь пресек земные дела китайского царя.

Тимур встрепенулся:

— Умер?

— Милосердный господь призвал его, чтоб злодей дал отчет в совершенных...

Тимур прервал бухарское велеречие:

— Давно?

— Второй месяц, как...

— Где ж вы плелись, почему не сразу мне...

— Двумя неделями ранее достигли бы мы победоносного воинства вашего, великий государь, когда б не произвол и не насилие ферганского правителя...

— Какого?— удивился Тимур.

— Благословенного мирзы Искандера.

— А что?

— Пребывая в походе, он встретил нас на дороге и вверг в полное разорение.

— При вас были пайцзы!

— Никто не пожелал взглянуть на них, доколе мирза Искандер не собрался в обратный путь.

— Какой путь? Откуда?

— Он захватил нас в Кашгаре, и лишь отправляясь домой, к себе в Фергану...

— Вы ошалели, ошалели, а? Как мирза Искандер оказался в Кашгаре?

— Великий государь! Благословенный мирза Искандер завоевал Кашгар, освободил монгольские кочевья от их стад и от их имущества, снизошел до сбора податей с кашгарских базаров и...

— И много собрал?

— От скрипа его арб, обремененных добычей, ныне сотрясаются дороги от самого Кашгара, до ворот Ферганы. А добытые стада покрывают все пастбища, какие смогло охватить наше зрение.

Тимур привык слушать от своих проведчиков всякие вести, добрые, тревожные, нежданные-негаданные, желанные и досадные, всякую весть умел слушать с неподвижным взглядом, чтоб никто не понял, радует ли, тревожит ли, пугает ли его новая весть. Но

это странное известие так озадачило старика, что он смешался:

— Ну, и что же он?

— Благословенный мирза...

— Да не мирза... Что ж этот китайский царь?..

Как всегда, когда на душе лежало что-то такое, чего он не мог понять, Тимур начал сердиться; сердясь, он заговорил быстрее, чем всегда:

— Злодей! Он сто тысяч правоверных мусульман повелел убить. Наших купцов, наших людей! Сто тысяч! Я ему!.. Как же он умер, когда мне с него надо... Он искоренил всех мусульман, он ислам искоренил по всему Китаю! Он должен был мне отвечать за это! А теперь... Кто сел на его место? Я взыщу с этого. Кто там теперь? А?

Перед возрастающим гневом повелителя бухарцы поднялись с земли и стояли, оба одного роста, оба одновременно кланяясь в ответ на каждое восклицание Тимура.

— Великий государь! С нами прибыли послы от нового царя.

— Послы? Как же они прибыли? Втайне?

— С нами. Они купцы.

Одному из вельмож Тимур поручил заботу о прибывшем посольстве и, наконец, отпустил бухарцев.

Он послал гонцов скакать в Самарканд и в Фергану за новостями и, оживленный, как в битве, быстро обдумывал все, что теперь надо делать, как поступить, когда новый император еще лишь осваивается со своей властью, когда...

Вдруг он вспомнил о монгольском царевиче и послал за ним.

Тоненький, как хилый мальчик, перед Тимуром предстал темнолицый старик с реденьким белым пучком волос на подбородке и суетливый, охваченный не то дрожью, не то множеством всяких движений, в которых, казалось Тимуру, не было никакого смысла.

Выждав, пока суетливость царевича слегка улеглась, Тимур снисходительно сказал:

— Вот что... Китайский царь испустил дух. Конец!

— О!

— Ты слушай: китайцы прибыли. От нового царя ко мне. Известить о горестной утрате. Я их завтра призову. И тебя. Чтоб они видели тебя, чтоб в Китае знали, что монгольский хан здесь. Что он со мной! Чтоб знали! Ты явись в ханском обличье. Своих людей подготовь, чтоб достойно с тобой пришли. Вы тут, может, позабыли, как держать себя надо, как свое достоинство надо блюсти. Так вели им опомниться, да и сам на это время опомнись. Чтоб

китайцы будущего монгольского хана при мне видели! Понял? То-то.

Оставшись один, Тимур поднялся: «Вот она, новая забота!» Его вдруг перестали так занимать и тревожить ближние дела, как они занимали и тревожили его еще сегодня. Хотелось скорей нанести удар по непослушным армянам, затаившимся в щелях своих каменных стен; пройтись в Египет, на вавилонского султана; сломить могущество Баязеда, нагнать тут на всех страху, сокрушить окрестные твердыни и потом... Китай!

Его охватило нетерпение. Он встал: «Китай!»

Он знал, что по всему простору Китая мерцает никем еще не тронутое золото, высятся фарфоровые башни над торговыми городами, плывут корабли, отягощенные товарами... Извечный Китай! Сразу он стал Тимуру необходим. Сразу завоеватель весь потянулся к этой новой мечте.

Он вышел из юрты, глубоко и жадно глотнул прохладного воздуха и остановился, глядя в сторону гор: за теми горами — море; за тем морем — степи; за теми степями — Китай. Китай!

Солнце в Карабахе западает медленнее, чем в Самарканде, где вечер краток. Дневной свет угасал не спеша, а ясная синева в небе меркла долго.

Младшие царевичи дважды в день занимались с учителями — ранним утром, едва наступал рассвет, и перед вечером, в конце дня.

Внуки повелителя разместились в нескольких юртах. Учителей допускали сюда лишь на время занятий. Днем царевичей навещали царедворцы, навещали и ровесники, товарищи игр и развлечений. Бывали дни, когда ездили на охоту или смотреть лошадей в табунах, где у пастухов находилось много забавных рассказов о лошадях, о походах, сказок о необыкновенных происшествиях: иногда запросто выезжали в степь проехаться, скакали там наперегонки, испытывая своих коней и на скаку подзадоривая друг друга; в другие дни ходили пройтись по воинскому стану, присматривались к обыденной жизни воинов, заходили посмотреть юрты старших царевичей.

Здесь Улугбек деловито, с озабоченным видом знатока, судил о лошадях своих и чужих, спорил о беркутах, сидевших на привязи, не без зависти любовался соколами Халиля, прося сокольничьих выносить птиц на свет из юрты. Самого Халиля заставали редко; они с Султан-Хусейном подолгу пропадали среди своих войск или в дальних станах.

В тот вечер, после занятий, Улугбек с Ибрагимом, как всегда, явились ужинать к бабушкам.

Царицы здесь скучали, и каждый день придумывалось какое-нибудь зрелище или празднество для их потехи.

В тот вечер, едва пришли мальчики, все вышли из юрт наружу и сели на коврах среди травы. Предстояло смотреть плясуний, привезенных из Индии.

Разожгли высокие жаркие костры, и, когда пламя поднялось, небо сгустилось и потемнело. Плясуньи неожиданно возникли между двумя пылающими кострами и в полыхающем свете засверкали украшениями.

Смуглые гибкие девушки плясали в нарядах легких и ярких, как лепестки.

Позвякивая бубенцами, припаянными к браслетам на запястьях и на щиколотках, девушки то мчались в цветистом коловороте, то, как древние медные изваяния священных танцовщиц, становились плоскими, и тогда движения их рук, их длинных гибких пальцев, повороты их пленительных лиц поведывали о чувствах и раздумьях, неведомых и непостижимых царицам Самарканда.

Сарай-Мульк-ханым, распорядившись привезти ей за тридевять земель этих полунагих богинь, хотела своими глазами взглянуть на отблеск того далекого мира, о котором наслышалась от внуков, погулявших по Индии, и от придворной знати.

Улугбек сидел рядом, за ее плечом, как Ибрагим сидел позади притихшей Туман-аги.

Насмотревшись, великая госпожа задумалась: пляски своих, домашних, рабынь, хотя давно ей прискучили, но были с детства привычны и потому казались милей, эти же чем-то растревожили и озадачили ее. Она не могла понять, чем растревожило ее это чужедальнее, необычное, гибкое, полное достоинства действо — ласковое, но и какое-то зловещее. Плясали ей будто и покорно, но будто и независимо...

Она полуобернулась к внуку, и он уловил в голосе бабушки несвойственную ей неуверенность.

— Ну, Улугбек? А?

Он ничего не сумел ей сказать, еще не поняв ее вопроса. Лишь помолчав, зная, что бабушка ждет его ответа, он придумал сказать ей:

— Как книга с рисунками, а надписи на неизвестном языке.

— Умник! — оживилась бабушка, но опять задумалась: не поняла, что хотел он сказать. Да ему и самому оставалось непонятно и темно, чем взволновали его странные пляски.

Девушек увели.

На смену им пришли служанки, неся подносы со сластями, расставляя блюда с ужином.

Зазвенев золотыми подвесками, монгольская куколка царица Тукель-Ханым оскорбилась:

— Дерзкие девки! Звякают у нас перед самым носом, ляжками крутят, а мы — смотри! Придумали этакое!

Но и она не знала, чем раздосадовала ее независимая красота растерзанного народа.

Когда мальчики пошли к своим юртам, после больших костров ночь казалась им непроглядной. Снова заветрило. Они шли сгорбившись, чтоб холодный ветер не проскользнул под халаты. Их юрты, по желанию деда, стояли возле воинских юрт, дабы царевичи сызмалу привыкали к походным обычаям.

Не любя дым внутри юрты, Улугбек распорядился развести костер снаружи, перед входом, а жаровню вкопать в юрте неподалеку от входа, чтоб можно было греться, дыша чистым холодным воздухом.

Протянув ноги к жару, накрылись стегаными одеялами и сидели, лениво разговаривая, озаренные мечущимся огнем небольшого костра.

Мыслями вернувшись к утренним занятиям, Улугбек сказал:

— В толкованиях достопочтенного Джалал-аддина Румского...

Но, видно, Ибрагим не слушал брата.

— У них пальцы, как ящерицы.

— У кого?

Вошел Халиль-Султан, вернувшийся из дальней поездки, и разговор прервался.

Скидывая с плеч чекмень, Халиль весело спросил:

— Хорошо поужинали?

— Жареные жаворонки!

— Жаль, опоздал.

— Смотрели делийских плясуний.

— Знаю; их сюда Пир-Мухаммед прислал. Я там и не таких видал. Эх, Улугбек,— Индия!

Халиль-Султан щелкнул пальцами, не находя слов:

— Индия... Индия!

Как рассказать о том, чему надивился он там за время похода!

Улугбек осторожно, затаив усмешку, спросил:

— Говорят, вы там даже стихи писали?

— Султан-Хусейн накляузничал? Успел!

Улугбек смутился и уклончиво пожал плечами:

— Разве один Султан-Хусейн был с вами?

— Один он совал нос ко мне в сумку.

— В сумку? Значит, стихи записаны?

Теперь смутился Халиль:

— Не все. Некоторые. Чтоб не позабылись. Записывал, для памяти; дедушкины приказы, индийские слова, мудрые изречения. Думаю, потом разберусь, что к чему.

Улугбек допытывался:

— А о чем они?

Ибрагим, повторяя лихое движение рукой, перенятое от кого-то из взрослых, по-взрослому прищурился:

— Небось, о любви!

Халиль-Султану не понравилось в Ибрагиме подражание взрослым, и он ответил не Ибрагиму, а Улугбеку:

— О чем? Э, о разном.

— А хорошо вы пишете?

— Если б был жив Хафиз, я съездил бы к нему, спросил бы. Да Хафиза уж лет двенадцать как нет. Откуда ж мне знать, хорошо ли? Записал, как спелось... А ты хочешь послушать?

Улугбек был и польщен, и обрадован, но и смущен таким прямым, бесхитростным вопросом старшего брата.

— Я? Я... Очень бы хотел. Если можно...

— Можно. Ну-ка, вот... как тебе покажется?

Халиль-Султан отвернулся куда-то в глубь юрты, припоминая ли начало, выбирая ли, с какого из своих стихотворений начать.

— Вот... Если заметишь что-нибудь, ты прямо скажи. Начистоту. Я тебя попрошу: ты их для меня перепиши. Начисто. У тебя почерк красив.

Улугбек поскромничал:

— Вы сами прекрасно пишете.

— Нет. Мне изощрять почерк некогда. Моей руке копье легче держать, чем тростничок.

Улугбек, стремясь соблюсти скромность, отказывался, но Халиль отмахнулся от его отказов:

— Перепиши, потрудись. Я тебе за это...

Он подыскивал, что бы такое посулить, чем бы порадовать Улугбека за услугу, и вдруг засмеялся, догадавшись:

— Я тебе сокола подарю! Хочешь?

Это превосходило все мечты Улугбека: соколы, приваженные к охоте на птиц, привозились издалека; лучших добывали на Руси, за морем, каждый такой сокол ценился дороже десятка хороших коней.

А Улугбеку давно мечталось поохотиться с хорошим соколом. Изредка он выпрашивал сокола на один запуск, часто просить стеснялся, но знал, что Халиль плохих соколов не держал.

Как ни сдерживался, но восторга не мог скрыть.

— Сокола? Благодарен за посул! А стихи... Если это угодно вам, перепишу со всем усердием.

— Ну какое ж?.. Не буду я читать! Лучше спою. Подайте-ка мне бубен.

Халиль-Султан прислушался к мерному рокоту тугой кожи, вскинул голову и весело сказал:

— Ну, хотите слушать?

И Улугбек, и увалень Ибрагим, тоже любивший стихи и втайне даже пробовавший сам сочинять, захлопали в ладоши. Правда, вкусы мальчиков не совпадали, им нравились разные поэты, хотя и тот и другой не всегда понимали тех поэтов, которых они восхваляли друг перед другом.

— Пойте, пойте!

Халиль еще порокотал гулким бубном, задумался, опустил глаза, и когда, казалось, что петь он раздумал, вдруг запел:

Среди лугов зеленых
 один брожу,
На снеговые горы
 пытливо гляжу.
Но кого ищу среди лугов,
 среди гор,
О ком грущу,
 не скажу.
Едва я встречу
 тот орлиный взор,
Едва схвачу я
 тот золотой узор,
Стану перед ней,
 как неживой, немой,
Ничего я ей
 не скажу.
Без нее весь свет
 мне станет тьмой.
И во рту язык мой —
 как не мой:
Со словом слов не свяжет
 ни одного...
Пускай ей сердце скажет —
 я не скажу.

Он замолчал, склонившись к рокочущему бубну, будто ожидая ответа откуда-то из глубины, из недр того глухого гула, но, так и не дождавшись, со вздохом повторил:

Я не скажу!..

Улугбек, не в силах скрыть торжества, неожиданно вскрикнул:

— Не скажете? А мы сами знаем!

— Знаешь?

Тогда мальчики оба захлопали в ладоши ликуя:

— Знаем, знаем!..

В это время тихий, до ужаса знакомый голос переспросил:

— О чем это вы знаете?

Все повскакивали из-под одеял, а Ибрагим, не сдержавшись, ужаснулся:

— Ого!

Заслонив свет костра, в дверях стоял Тимур, вглядываясь во глубь юрты и свыкаясь с ее мглой.

— Вот то-то что «ого»! — с укором ответил дед.

Он сел сам, прикрывшись одеялом, а когда уселись и внуки, усмехнулся, повернувшись к Халилю:

— Сказать не можешь, а петь — поешь?

— Вы знаете, дедушка, порой спеть легче, чем сказать. Спеть порой и без слов можно.

— Так черные киргизы поют. Тянут-тянут... Во всей песне два, три слова, а выходит песня. И хорошо выходит, все ясно, все сказано. Всего два слова, а наговорено все, что надо. Вот как надо. А у тебя слов много, я там постоял, послушал. Там воздух свежей, я оттуда слушал,— много ты спел, да много ль высказал? А? Они вон, мальчики-то, и без песни про это знают. И я давно эту песню слыхал: прежде чем ты ее сочинил, слыхал. Думал, ты уж позабыл, тут ведь, на ветерке, голова свежей! А ты все про то ж! Все про то ж...

Дедушка говорил, не сердясь: говорил тихо, но с укором. Не только с укором — говорил, сожалея, говорил, соболезнуя Халилю. А Халиль молчал, опустив глаза на смолкший бубен.

Тимур покосился: «Молчит? Упрям!»

Видно, это краткое раздумье или какое-то воспоминание освежило Халиля. Он поднял посветлевшее, словно умытое, лицо и улыбнулся:

— Дедушка, угодно ли вам, чтобы я еще пел?

— Нет, не угодно. Зачем мне? «Я скажу — я не скажу...» Мне угодно, чтоб ты это выбросил из головы. Начисто! Лучше послушаем чтеца. Вызови, Улугбек, чтеца.

Давно, еще в начале своего властвования, Тимур учредил при своем дворе должность чтеца рассказов. В обязанности чтеца входило не только чтение различных книг, но и рассказывание повестей, благочестивых преданий, коротеньких забавных происшествий, перенятых из индийских сказок о мудром попугае, из арабского «Ожерелья голубки» или насмешливых рассказов о мулле Насреддине. Улугбек не успел встать. Тимур уже передумал:

— Нет. Не надо, Улугбек. Не рассказчика будем слушать. Ты помнишь, я в Самарканде поручил тебе хранить книгу историка, который о нас писал и о вас с Халилем? Помнишь?

— Как же, дедушка!

— Цела?

— У меня в сундуке.

— Достань.

Книги лежали в сундуке Улугбека в порядке. каждая в своем шелковом чехле. В полумраке мальчик быстро нашел «Историю» на ощупь, но чтобы не ошибиться, поднес к двери, ближе к костру.

— Гияс-аддин?

— Он самый.

— Вот она.

— Дай сюда.

Тимур подержал ее в руке и, хотя было темно, удостоверился, что это и есть та самая книга, проведя ладонью по темным для него письменам; он помнил шелковистую гладь этой желтоватой бумаги.

— Эта самая. Я велел ехать с нами другому историку... как его? Он где?

— Низам-аддин неподалеку. Он учит меня истории.

— Какой?

— Теперь читает нам об Искандере Македонце.

— Вели звать: пускай сейчас явится.

Пока воины скакали за историком, Тимур спросил Улугбека, возвращая ему книгу:

— Что же он, этот македонец?

— Великий завоеватель.

— Сам знаю. Будь он велик — был бы здесь. А то,— где он? Что тут осталось от него?

Заговорил Ибрагим:

— Однако учитель объяснил нам: Мухаммед, пророк божий, назвал его в коране среди собеседников божьих.

— Я не спорю с пророком. Я спрашиваю: где великие дела македонца? Где? Если б велик был, дела остались бы! Великое — вечно. Человек уйдет, а его великие дела остаются. Фараоны были язычниками, а и то от их великих дел стоят пирамиды, башни, каменные львы с девичьими ликами. Многие видели — поныне целы. Я еще не видел, я еще посмотрю. Сам посмотрю. А от македонца что уцелело? Великий? Нет, великое — вечно!

Халиль-Султан покосился на дедушку:

«Ревнует! Дедушка ревнует».

В юрту впустили историка; было видно, что подняли его с постели, застали врасплох; его нерасчесанная борода всклокочилась; верхний халат он так боязливо и плотно прижимал к себе, словно решился вдавить его себе в живот, видно, кроме исподнего, ничего не успел надеть под халат.

— Ну? — строго спросил Тимур.— Македонца почитаешь великим? Этому и царевичей подучиваешь?

— Великим, великий государь,— по указанию пророка божьего...

— Еще раз говорю: я не спорю с пророком. Ему виднее. А я вот не вижу, где великие дела этого Искандера Македонца, где след его?

Историк стоял, испуганный словами Тимура; может быть, в них следовало усмотреть богохульство, языческую дерзость, а может быть, в них содержался глубочайший смысл, поелику Македонец, хотя и прославлен пророком, но был язычником?

Тимур неожиданно заговорил о другом:

— Я велел прочитать книгу историка... Гияс-аддина. Она тут, у мирзы Улугбека. Читал ты ее?

— Единожды.

— Дважды в ней читать нечего. Понял ее?

— Изысканный язык.

— Тем и нехороша. И потом: убивают людей, что ни страница — кровь!

— О ваших мирозавоевательных трудах, великий государь!

— Нехорошо. Надо писать: взят город. Кто умен, тот поймет — город не лепешка, голой рукой его не берут, калекам его не подают. Взяли — значит, убивали, жгли. Но ведь взяли! Вот и напиши: город взят. А он о дерзости врагов писал, как о подвигах. А о нас — как мы убивали. Вот, на, возьми книгу, перепиши ее. Ясным языком, не изысканным. Чтоб каждый понимал. Кровь поубавь. Я сам помню, без книги, где была кровь, где огонь. Мое дело! Возьми, пиши.

— Великий государь! Она написана другим историком. Принадлежит его руке.

Тимур удивленно запрокинул голову:

«И этот упрямится?»

Но историк ему был нужен, и, сдержав гнев, повелитель проворчал:

— Принадлежит его руке? Разве не я хозяин? Он писал мне, я ей и хозяин. Тот писал, теперь ты пиши. Пиши ясней: пиши основу, а не мелочи. Обдумай с умом. Возьми.

Низам-аддин несмело принял из рук Улугбека закрытую книгу и, не раскрывая ее, прижал к себе.

Тимур спросил:

— Этот Двурогий Македонец... У тебя — есть книга о нем?

— Есть, великий государь. Ветхий список, но есть.

— Когда тебя кликну, принеси. Почитаешь мне. Чем они ухитрились доказать, что он велик. Я эту книгу слушал, давно. Послушаю снова. Чем велик? А ты иди и думай, думай, а уж потом пиши.

Отпустив историка, Тимур натянул повыше тяжелое одеяло и откинулся на подушки.

Низам-аддин, засунув книгу за пазуху, чтоб оберечь ее от сырого ветра, еще нашаривал за дверью свои туфли, а к Тимуру уже вошел воин с вестью:

— Прибыли купцы из Герата. Сказывают, занятный товар привезли.

Ибрагим душевно сказал:

— Что же это? Из-за купцов дедушке не отдыхать, что ли? Надо отдохнуть, купцы подождут до утра.

Никто не смел давать советы Тимуру. Он не терпел, если ему говорили свое мнение, пока он не спросит сам. А тут малыш, такой ягненок, сунулся в дедушкино дело, советует. Надо б внучонка проучить. Но может быть, Тимур потому и любил бывать среди внуков, что лишь от них иногда перепадало ему участливое сердечное слово, нечаянная ласка, проблеск простой любви. Все остальные люди были обязаны выражать ему свою преданность, и лишь внуки выказывали то, что зрело у них на душе.

Тимур провел костлявой ладонью по прохладной щеке Ибрагима и встал:

— Надо глянуть.

Ибрагим, осмелев, настаивал:

— Ночь, дедушка! Темно. Никакой товар не виден. Утром видней. Посидите с нами. Отдохните у нас, дедушка.

— Отдыхают те, у кого силы иссякли. А кто может двигаться, должен двигаться. Вы-то ложитесь: вам пора. Пойдем, Халиль. Захвати бумагу: может быть, что-нибудь записать понадобится. А вы спите, не ждите Халиля: мы можем долго разбирать товар. Спите, мальчики. Я узнаю, здоровы ли ваши родители в Герате, а завтра вам Халиль скажет, каково им живется, здоровы ли... Спите.

Улугбек удивился: дедушка всегда брал с собой не Халиля, а его, если предстояло что-нибудь записывать. Теперь взял Халиля! Это и озадачило мальчика и раздосадовало, словно право записывать для деда было навечно присвоено Улугбеку, словно Халиль посягнул на заветное право Улугбека.

Тимур пошел пешком, давя сухие, хрусткие былки бурьяна, невидимые в темноте.

Вскоре он различил гератцев, стоявших у костра, и позвал их.

Гератцы долго топтались у входа, уступая друг другу честь первым последовать за хозяином, ибо каждый из них боялся первым предстать перед ним.

Воины затеплили светильники. Юрта заблистала ворсом шелковых ковров, окованными сундуками. В ней не было никакого оружия.

Купцы разложили чужеземные диковинки. Тимур милостиво принял это подношение. Ничего другого купцы ему не показывали: они приехали сюда не торговать,— это были его проведчики, и товаром их были те вести, которых Тимур ждал.

Он слушал, все более и более хмурясь, о сыне своем мирзе Шахрухе. О своре богословов и книжников, обступивших царевича, завладевших его помыслами, направлявших его поступки. Эти богословы из Аравии, из Ирана сбежались в Герат, как гиены на падаль. Обжились в Герате, стали чванливы, заносчивы, устраивают пышные богослужения в мечетях, а в остальное время держат Шахруха, как взаперти, во дворце, обложив его книгами, по неслыханной цене скупая ему старые книги со всего Ирана, посылая людей за книгами в Индию, наживаясь на этой приверженности Шахруха к наукам. Имена этих шейхов, святош и мракобесов, одного вслед за другим, четко записал Халиль.

Царевна Гаухар Шад-ага сама ездит на постройки; ездит смотреть, хорошо ли строятся и перестраиваются крепости; сама дает распоряжения о выдаче содержания войскам. Сама назначает и снимает вельмож; даже печать мирзы Шахруха носит у себя на поясе, а он свою подпись ставит лишь в том месте указа, где она царапнет своим ноготком.

Она сама раздает и области. Во всех областях сидят ее соглядатаи, ей доносят, по ее слову, случается, сверкает меч палача или срывается с тетивы стрела подосланного убийцы.

Не государственный разум, а причудливый ум, покорный женским прихотям, правит той страной, пока правитель мирза Шахрух обсуждает с каллиграфами и художниками новый список сказаний Фирдоуси или размышлений индийских историков, пока разряженные бродяги ведут перед правителем споры о том, следует ли считать Искандера Македонца пророком, поелику в коране сказано, что сам бог говорил этому язычнику: «О Двурогий!..»

Велико ли, исправно ли войско у мирзы Шахруха? Оно невелико, число его не увеличено, но содержится исправно. Однако все тысячники подобраны и назначены не правителем, а его супругой, царевной Гаухар-Шад. Все ей служат, не о силе Тимуровой державы радеют, а перед царевной выслуживаются.

Из тысячников там теперь мало таких, что прославлены в походах Тимура,— больше тех, чьи деды прославлены в походах Чингиза. Имена всех этих тысячников четко записал Халиль: в нужное время дедушка подумает над каждым из этих имен.

Ночь истекала.

Перед утром снова заветрело, и во тьме по всей степи зашелестела трава.

Улугбеку казалось тяжким одеяло, ниспадавшее с жаровни.

«Почему дедушка взял с собою Халиля?» — думал Улугбек, сдвигая одеяло с плеча.

Он совсем откинул одеяло. Стало свежей, но ему не спалось.

Много времени спустя он начал было задремывать, но вдруг очнулся: ему почудилось, что дедушка возвращается в юрту. Но, очнувшись, он понял, что ни дедушки, ни Халиля нет,— только ветер шелестел травой в степи.

Спать не хотелось. Улугбек опять подумал:

«Почему Халиля!» — и заплакал, уткнувшись в постель, чтобы Ибрагим не услышал рыданий, которых мальчик никак не мог удержать.

Девятнадцатая глава

ЦАРЕВИЧИ

Предрассветная лазурь, как изморозь, проступила на башнях Синего Дворца, но во дворе десятки факелов едва могли рассеять густую ночную тьму.

Во двор торопливо входили воины, тесня друг друга. Молчаливо, почти бесшумно, вводили вьючных лошадей, спотыкавшихся под грузной поклажей, прогнали толпу пленников или невольников со связанными за спиной руками. Отирая рукавами пыльные лица, воины вели за собой усталых заседланных коней. Так случалось, бывало, возвращаться хромому Тимуру из удачного набега. Но этих возглавлял не Тимур, а Худайдада, не менее пыльный, чем его спутники. Он один въехал в ворота, сидя в седле.

Пламя факелов заблистало на остриях копий, на кованых поясах и конских бляхах.

Едва вошел последний воин, ворота наглухо захлопнулись.

Услужливые рабы суетливо кинулись развьючивать лошадей. Пленных прогнали через двор, светя им факелами, в дворцовые подземелья. Освободившихся лошадей развели по стойлам. Все исполнили быстро, привычно.

Лишь факелы остались пылать, пока рабы расторопно подметали двор, и долго в неторопливом зимнем рассвете высились дворцовые башни, мерцая бирюзой у вершин и обагренные факелами снизу.

Наконец Худайдада вышел на въезжий двор, осмотрел, любуясь, подведенного ему свежего коня и выехал со двора к дому правителя.

Худайдада застал Мухаммед-Султана на конном дворе.

Царевич стоял невдалеке от навеса, глядя, как конюхи выводят из денников пофыркивающих лошадей, пропахших за ночь клевером и навозом.

Намеченных к седловке окатывали свежей водой. Некоторые из лошадей приседали, дыбились или рвались из рук, но подручные конюха кидались с теплыми сухими тряпками и вытирали им спину, бока, грудь, спеша, чтоб лошади не простудились.

Худайдада молча, почтительно поклонился.

— С благополучным возвращением! — ответил правитель.

Как ни хотелось царевичу поскорей расспросить старика, он снова отвернулся к лошадям, чтоб Худайдада не заподозрил здесь нетерпения и любопытства.

Да и Худайдада, казалось, забыл о тяжелой дороге и о всех своих недавних делах, поглощенный красотой лошадей, единственной красотой, которую не могла заслонить от него никакая другая красота на свете.

Мухаммед-Султан кивнул на коней:

— Горячи они у нас!

— Горячи, верно. Степные, дикие. Свежие, что ль?

— Эти вон недавно из Джизака; с выпасов. Едва объездили Теперь ничего, обошлись.

— Хороши.

— Туда дедушка арабских жеребцов запустил. Лет десять назад.

— Ну, джизакские табуны известны!

Еще помолчали.

Мухаммед-Султан показал:

— Те, вон, два, от дедушкиных арабов — вторым поколением.

— Серый-то статен, да что-то голова мала. А так, как отчеканен!

— Передние ноги не длинноваты?

— Задние зато как крепки! Обскачется.

Опять помолчали.

Обтертых коней начали седловать.

— Ну, пойдем! — повернулся царевич к дому.

Усадив Худайдаду, Мухаммед-Султан вежливо осведомился:

— В семье у вас благополучно ли?..

— Благодарствую. Еще не видался; я прямо к вам.

— Ну, как там?

— В Фергане я их не застал. Дороги вокруг города молчком занял, а сам сходил в мечеть, базар посмотрел, с людьми поговорил. К утру мои люди несколько гонцов перехватили,— скакали из Ферганы к царевичу, остеречь, о моем прибытии оповестить. Я сперва разобрался, кто их слал. Днем ко мне и самих вельмож привели. Ну, сперва я добром спрашивал, отмалчиваются. Я пристращал — заговорили. А когда ремешки покруче затянул, так и совсем размякли, дружков назвали и все такое.

Рассмотрел ясно: кто подстрекал, кто в том корысть получал, кто по чистому невежеству желал отличиться. Среди прочего перехватили письмецо Мурат-хана тож...

— Да он же на Ашпаре!

— Будь он на Ашпаре, не писал бы из Ферганы. А он не только что в Фергане, а и на поход подбивал царевича: «Отличись, мол. Воинствуй, побеждай, набирайся опыта, расти свою славу». Ну, как есть он царевне Гаухар-Шад-аге кровный брат, ремешком я его не стал крутить. А только при остальных вельможах говорю: «Тут нехорошо. Надо немедля в Самарканд ехать». А сам знаю: против моей воли не пойдет, понимает, что весь он есть в моих руках. Хоть и не ждет добра в Самарканде, хоть и жмется, а послушался. Я ему при всех говорю: «Не бойтесь, охрану я дам; не то — дорога пустынная, боязно». А сам знаю: он заносчив, самому Гияс-аддину Тархану сынок, самолюбив, охрану у меня не возьмет, со своей поедет, ведь не знает, что и в его охране мои люди есть. Скажи я «опасно», он, может, и взял бы. Да я не сказал, я сказал: «боязно». Так и вышло — говорит: «Мне ли боязно? Сам доеду, без вашей охраны!» Я его при людях остерег, все слышали: «Дорога пустынна, говорю, смотрите!» Мурат-хан не внял, сам по себе поехал. Охраны десятка полтора было с ним. А что они сделают, полтора десятка? Так и вышло: день ехал, другой ехал,— все хорошо. А на заре случилось на него нападение. Люди его хватились было обороняться, да у него кто-то лошадь вспугнул, и она понесла, а седок в стремени запутался. Растрепало седока до смерти, еле опознали — по перстеньку да по сапогу.

— Нехорошо! — сплюнул Мухаммед-Султан.— Нехорошо: такой случай уже приключался. С его же гонцом. А теперь — с ним самим. Догадки будут.

— Что ж поделаешь! Сами говорите: лошади у нас горячи.

— Горячи, это верно,— степные, дикие! — подтвердил Мухаммед-Султан.

— А иначе как было быть? Послать его к вам? А вам как быть? Надо б его с остальными наказывать, а в Герате обидятся. Помиловать? А куда его деть, помилованного? Назад в Фергану или в Герат? Добра от него не будет, а зло свое он и туда понесет. К государю послать — так и у государя та же притча выйдет. Только на себя его гнев навлечем: государь не любит, чтоб перед ним притчи ставили, когда их самим можно раскусить.

— Об этом я не говорю . Вот о лошади только. Лучше б было как-нибудь иначе его...

— Может, на старости оплошал; иного не выдумал.

— Ну, а потом?

— А потом так, побыл я два дня в Фергане, разобрался во всем: кого надо было, запер на замок, и для всех врасплох поднялся да и кинулся мирзе Искандеру навстречу. Увидели они меня: не верят своим глазам. Воспитатель царевича на меня: «Как смеешь?» Я ему — указ. А он мне: «Указ не признаю, печать не на месте». Я только тут и посмотрел — печать в самом деле не на то место попала: мы ее наверху и сбоку припечатали. Вижу, хочет время выиграть! «Нет, думаю, печатью не загородишься». Велел я хватать, начавши с воспитателя. Всех зачинщиков связали, мирза только ногами топочет, а что сказать мне, сам не знает: оробел. А дальше вернулся я в Фергану, дал там, какие надо, указы. Кое-кому помог на месте помереть, тридцать человек сюда привел. Из царевичевой добычи, да и казну тоже сюда привез. Вот и вернулся. Самого царевича в Синем Дворце запер: лихорадка его бьет, пускай отлежится.

Внесли голубое деревянное блюдо с маслом, покрытым горячими тонкими, как бумага, лепешками. Разорвав и скатывая трубочкой, Мухаммед-Султан макнул лепешку и предложил визирю:

— Кушайте! Лихорадка бьет? Пускай отлежится,— поедим, тогда уж и поглядим. Печать мы, значит, не туда поставили?

— Мне невдомек было, когда сам я неграмотен, а там народ темный. Сошло: бумагу видят, печать видят, а что к чему, не смеют спросить, без спросу слушаются.

— Будь у вас две печати на месте, да не окажись воинов, и двум печатям не поверили б. А когда перед тобой воины, печать против них — не щит!

— Истинно.

И оба долго ели молча, наслаждаясь теплом хлеба в утреннем холоде.

Худайдада съел много, насытился; сказалась усталость: потянуло в сон. Он заметил, что Мухаммед-Султан кончил есть еще раньше, но не встает. Правителю не хотелось говорить с Искандером, он оттягивал время встречи, обдумывал ее.

Прежде был охвачен гневом, нетерпелив, спешил расправиться со своевольником. Но когда срок расправы приблизился, Мухаммед-Султана охватило не то сомнение, не то робость. Чем больше он сидел, молча и задумчиво, тем меньше оставалось сил, чтобы говорить с Искандером.

Мухаммед-Султан ехал в Синий Дворец с усилием, будто на крутую гору, Худайдаде всю дорогу приходилось осаживать своего коня, опасаясь опередить правителя.

Они прошли не спеша через мрачную роскошь приемных зал. В большой купольной зале ласточек еще не было — они зимовали в Индии, но скатанные ковры и пол сохраняли следы их

гнездованья: белые пятна помета пестрели отовсюду в этом огромном помещении, куда с отъезда Тимура никто не заглядывал.

Мухаммед-Султан угрюмо прошел еще несколько комнат и наконец спросил:

— Где он?

— Дальше. В маленькой над воротами.

— Оттуда весь город виден.

— И ладно: пускай любуется,— не его город.

Мухаммед-Султан вяло свернул в сводчатый проход к воротам.

Вдруг он увидел в уединенном углу двоих рабов, которые, обнявшись, чему-то смеялись. Веселье рабов сперва озадачило правителя, а вслед за тем вызвало в нем неистовый гнев. Он было сам кинулся на них, замахнувшись плеткой, но опомнился и только крикнул:

— Прочь!

Оба невольника мгновенно куда-то спрыгнули и пропали с глаз, но их веселье еще стояло у него перед глазами. Он заспешил к двери, за которой сидел Искандер.

Мухаммед-Султан нетерпеливо потопывал ногой, пока винтовой ключ, взвизгивая, углублялся внутрь замка.

Искандер сидел, когда распахнулась дверь. Он настороженно встал и, разглядев Мухаммед-Султана, почтительно поклонился ему, как младший брат старшему.

Мухаммед-Султан, не отвечая, разглядывал Искандера, умеряя в себе еще не стихший гнев. Наконец спросил:

— Довоевался?

Искандер глядел круглыми глазами, весь какой-то узкий, сплюснутый. Однако карие глаза смотрели пытливо и прямо.

— А, мирза Искандер? Довоевался?

Искандер не отвечал, все так же прямо глядя в глаза Мухаммед-Султану.

— Мальчишка! Как ты посмел?

Искандер подернул плечом, будто и сам удивлялся своей выходке.

— Куда лез? Войск тут нет, а ты!.. А если б они да за тобой бы следом? А? Тогда что?

— А вы? Вы сами на них тронулись, не опасались, что дедушка далеко.

— Проведал?

— А как же. Вы за мной, а я за вами... Почему бы мне не проведать о вас?

— Я сперва спросился у дедушки.

— А дедушка спрашивался?

— Как? — не понял Мухаммед-Султан.— У кого ему спрашиваться?

— Когда он в моих годах был, он ждал, чтобы его послали? Нет! Он сам надумывал, сам ходил, сам побеждал. Не так ли?

Слова Искандера озадачили было Мухаммед-Султана, но он ответил:

— Равняешь себя!

— Нет, беру пример.

— Как прилежен.

— Разве победителей судят?

— Слыхал,— это из преданий об Искандере Двурогом. Там это сказано: «Победителей не судят». Ты возомнил себя победителем?

— Степняки отдали мне свою казну, а не я им.

— Тебе дали удел,— сиди. Правь. Возмечтал о чем, у меня спросись: правитель-то я, не ты. Тебе дан город, а мне эта страна, вся. Дедушке видней, кому что давать. Он над нами, мы ему служим. Забылся? Все должно быть в одной руке. Тогда она сильна, тогда ей никто не грозен. Тогда она всем грозна.

— Дедушка дядю Мираншаха осрамил, низверг. А за что? Слыхали?

— Ну-ка, за что?

— Что там сказал дедушка?

Мухаммед-Султан, опасаясь подвоха, смолчал. Искандер пояснил:

— Дедушка спросил дядю Мираншаха: «Зачем кормил войско, которое тебя не кормило?..»

— Вот то-то, что не кормил, не обучал, распустил войско. За то ему и...

— Каково оказалось войско, о том я не говорю. Дедушка спросил: «Зачем кормил войско, которое тебя не кормило? Рядом — богатые враги, чего ждал? У врагов — казна, почему не брал? Мою, отцовскую, брал, а вражескую берег, оставлял врагам». Вот что сказал дедушка.

— Дедушка правителем сюда поставил меня, а не тебя. А ты без спросу... А? А не стало б дедушки, ты что ж, отбился б от нас?

Искандер смолчал.

Мухаммед-Султан строго сказал:

— Вот тебя привезли ко мне. Будешь теперь здесь сидеть, для порядка. Чтобы в Фергане был порядок.

— Значит, сперва меня ограбили, потом заперли. На правах правителя?

— Правитель должен не только править людьми, но и выправлять их.

Искандер по-прежнему прижал к груди руки и вежливо, низко поклонился.

Мухаммед-Султан постоял, ожидая, не скажет ли чего-нибудь Искандер.

Так ничего и не дождался, а стоять молча было, пожалуй, недостойно правителя, словно ему очень нужен был ответ этого мальчишки.

Мухаммед-Султан быстро отвернулся и вышел.

Оставшись один, Искандер отошел к окну.

Мухаммед-Султан снова вспомнил о веселых рабах, проходя место, где они тогда смеялись. Понадобилось бы много усилий, чтобы их разыскать: в лицо он их не знал, а в Синем Дворце рабов сотни. Да и в чем их вина?

Он хмуро поехал домой.

Росла неприязнь к Искандеру. Сердила его дерзость: мальчишка, а спорил!

Мухаммед-Султан проехал уже более полпути, когда досада на Искандера возросла настолько, что Мухаммед-Султан повернул коня и поскакал обратно.

Быстро, чуть не бегом, миновал он залы и велел отпереть дверь узника.

Искандер все еще стоял у окна и, казалось, не удивился возвращению правителя.

С порога Мухаммед-Султан крикнул:

— Ты знаешь?.. Без дедушкиного указа своим домом управлять и то надо с оглядкой. Без дедушкиного указа даже о себе самом думать не должно. А не то что...

Искандер, не отходя от окна, упрямо ответил:

— Если б в наших летах дедушка о себе самом не думал, да на своих соседей не поглядывал, он не стал бы нашим дедушкой.

— Так вот, и сиди здесь. И просидишь, пока я не дождусь указа от него. Он сам скажет, что мне с тобой делать.

Искандер ответил, вежливо поклонившись:

— Доносите!

Это было сказано, будто ударено.

Искандер отвернулся к окну, и Мухаммед-Султану ничего не оставалось, как в еще большей досаде уйти отсюда.

Наступили сухие морозные дни, безоблачные и бесснежные. Снег лежал лишь на горах, то блистая там, то розовея.

Было морозно, но не холодно. Холод стоял лишь в огромных нежилых залах Синего Дворца, когда Мухаммед-Султан, одевшись в теплые стеганые халаты, приподняв бобровый воротник, слушал допрос приближенных Искандера.

Некоторые из них оказались молоды, дерзки и во всем потакали затеям своего царевича. Их привезено сюда было два-

дцать девять человек, и во всех было что-то общее,— строгие зеленые халаты, туго повязанные небольшие чалмы, худощавые лица.

Лишь воспитатель царевича, избранный Тимуром из своих старых сподвижников, появился царственной поступью и телом оказался тучен.

Поверх багряного халата по всей груди он распустил бороду, как павлиний хвост, и глянул на Мухаммед-Султана с осуждением, как на расшалившегося малыша.

— Однако важен! — тихо сказал Мухаммед-Султан своему визирю.

Худайдада хмыкнул:

— У кого есть что-нибудь в голове, тому важничать незачем.

Оба эти старика тысячи верст прошли в различных походах, почасту их стремена звякали одно о другое в часы, когда мирными беседами коротали они время тяжелых воинских дорог. Теперь Худайдада спрашивал, Мухаммед-Султан слушал, а воспитатель приневолен был отвечать.

Кончили спрашивать, и настало то беззвучное мгновение, когда правителю должно решить и сказать приговор.

— Что ж...— не глядя на важного старика, решил Мухаммед-Султан.— Повелитель мира учит нас резать тех норовистых овец, что отбиваются от стада. И этого, и тех остальных освободим от голов, что вывели их из покорности и послушания.

Побледнев, воспитатель Искандера сердито возразил:

— Повелитель мира двадцать пять лет держал меня у своего мирозавоевательного стремени. Не было трудного дела, перед коим я сплоховал бы во имя великого повелителя. Не вам ли я о том напоминаю, сами можете знать, кем я приставлен к мирзе Искандеру и кому я служу при мирзе Искандере.

— Мне ль не знать! — ответил Худайдада.— Да ведь воля здесь царевича, не нам с тобой от его воли отпрашиваться.

— Я поставлен на свое место самим повелителем, ему одному и спрос с меня, перед ним одним повинен.

Мухаммед-Султан зло посмотрел прямо на старика:

— Что ж... заковать да послать тебя на суд к дедушке? Этого просишь? Я пошлю. А дедушка о том же спросит. Будешь ему отвечать? А? Что ты ему скажешь? Ты мне скажи, что ему скажешь. Проси меня, я, так и быть, пошлю тебя.

Воспитатель провел ладонью по лицу, опустил голову и весь вдруг изменился. Ничто в нем не сдвинулось с места,— так же сияла борода по груди, так же широки оставались плечи, но выглядел он совсем другим человеком: спесь слетела прочь, и старик сразу стал прост, каким был в давние годы, когда кидался в свалку своих первых битв.

— Ну? — переспросил Мухаммед-Султан.— Я уважу твои заслуги. Послать к дедушке?

Воспитатель поднял ясное, скорбное лицо и строго, повелительно, как бы воспитаннику, ответил:

— Нет. Не надо. Соверши все... сам.

Эту казнь скрыли от глаз народа: правитель не решился бесчестить царевича, не испросив согласия дедушки, а ждать дедушкиного согласия пришлось бы долго,— он зимовал в Карабахе.

На внутренний тесный двор Синего Дворца вывели Искандера со связанными руками, поставили его среди двора; вывели веспитателя вместе с его племянником, а следом, по двое, остальных ферганских вельмож.

Мухаммед-Султан стал лицом к Искандеру. Искандер был бледен, но посмотрел на правителя внимательным, строгим взглядом.

Первым отрубили головы младшим приближенным Искандера.

Искандер между двумя палачами стоял так близко к казненным, что временами брызги крови долетали до его сапог. Но Искандер не пятился, не отстранялся, стоял неподвижно, твердо, и казался легче и тоньше, чем всегда.

Когда дошло до старика, он из рук палачей испытующе оглянулся на Искандера и кивнул ему, прощаясь.

Искандер опустил глаза и стал еще белее, хотя Мухаммед-Султану казалось, что человек не мог быть бледней.

Когда борода странно метнулась на камнях, как гусиное крыло, Искандер снова прямо и строго посмотрел в глаза Мухаммед-Султану.

Мухаммед-Султан медлил, прежде чем дать знак палачам, и во все это время царевичи смотрели в глаза друг другу.

Наконец Мухаммед-Султан откинул голову, как бы в раздумье, и дал знак, чтобы Искандера подвели к нему.

— Насмотрелся? — спросил правитель.

— Вдосталь.

— То-то.

В этом восклицании Искандеру послышался дедушкин голос, и его бледное, твердое лицо улыбнулось.

Худайдада из-за спины правителя слушал ответы Искандера, расставив ноги, вытянув вперед и наклонив набок седую голову. Мухаммед-Султан милостиво спросил:

— Боялся?

— Нет.

Мухаммед-Султан смутился.

— Как это... нет? А если б я не захотел помиловать?

— А что бы сказал дедушка? Ведь вы...

Мухаммед-Султан, нахмурившись, потупился:

— Что я?

— Вы сыграли тут то же зрелище, которое дедушка придумал дяде Мираншаху. То же самое. Я за себя не тревожился, я знал: вы ничего своего не придумаете.

— Это как же так?

— Вы — тень дедушки. Только тень, увы!

Худайдада отодвинулся от Мухаммед-Султана и попятился.

Но Мухаммед-Султан придвинулся к Искандеру, тоже побледнев, и отрывисто, тихо сказал:

— У большого человека и тень большая, а воробей, как ни прыгай... я сам погляжу, как это ты предстанешь перед дедушкой, как будешь стоять, что станешь сказывать!

— И предстану, и скажу! Он поймет, он разберется!

— И станешь!

— От души! Только б скорей.

И опять Мухаммед-Султан смутился:

— Перед самим перед дедушкой!

— Только б скорей!

— Ну... когда призовет.

Двадцатая глава

ДОРОГА

Астраханский снег, приглаженный морозными степными ветрами, блистал наледью и стал столь скользок, что по улицам люди ходили гужом, держась один за одного, но на пригорках, случалось с бранью и смехом валился весь гуж, и потом все подолгу поднимались, на четвереньках пятясь до нехоженой обочины.

По оледенелой тропе Геворк Пушок шел, как канатоходец над пропастью, пока достиг ворот русского постоялого двора.

Здесь, на подворье, жили купцы из Москвы и Твери, и двери их, обитые войлоком плотно закрытые, не выпускали тепла наружу. Купцы сидели в исподних портках, босые, сообща готовя обед. Один, промыв кусок баранины, еще мокрыми руками резал мясо на небольшие части; другой крошил лук, третий мыл котел; четвертый, нащипав лучины, возился у очага.

Пушка встретили приветливо, усадили на скамью, и не успел армянин распахнуться и нарадоваться теплу, как и мясо, и лук уже оказались в котле, под котлом заполыхало пламя, русичи сели вокруг гостя, и завязалась беседа о хитросплетениях базарных дел.

— Дела такие, что и смех, и грех! — рассказывал тверич.— Намедни персиянин жемчугов нам продал задешево, а вчерась прибегал — плачется: Тимур дорогу из Ормузда перекрыл, жемчуга в цене против прежнего возросли впятеро, а пути домой тому персиянину теперь нет. И денег взял мало, и уехать некуда. Молит нас вернуть ему жемчуг за лалы: лалы, мол, индийские, на них цена стойкая на Руси, от лалов прибыли будет не менее, чем от жемчуга, а купец тот жемчуг тут бы сбыл.

— Как дитя! — с осуждением сказал длиннолицый новгородец.

— Мы ему толкуем,— ты, мол, купец: что продал, про то позабудь, а он плачется, молит,— меняй да меняй. Ну, столковались мы с ним. Нипочем отдает лалы, только б жемчуг назад выручить. Отдали мы ему жемчуг назад, а нонче ходит по базару, как очумелый: Тимур пропустил караван из Ормузда через Султанию. Никого не обидел. Через Дербент тот жемчуг сюда провезли, да и всякого иного товару.

— Был слух! — подтвердил Пушок.— Поутру прибыли.

— Прошли через Дербент, и жемчугу опять прежняя цена, никто на него не зарится, а лалов у того купца уж нет, да и ни у кого их нет,— они все тут, у нас...

Москвитин сказал Пушку:

— Надумали мы домой трогаться, пока путь крепок. Не то весной не проедешь на распутице.

— А Едигей... Орда? — обеспокоился Пушок.

— Едигей нонче притих: опасается Тохтамыша, силу на бой копит, русских купцов не трогает, чтобы Москву не сердить,— проедем.

— А я?.. Я, в таком случае, с вами!

— Да мы что ж?..— переглянулся с остальными русичами бойкий москвитин.— Кладись с нами. Веселей поедем.

Новые дальние дороги открывались перед Пушком.

Азия осталась позади. Впереди ждала армянина хмурая, холодная земля. А ведь как ладно сиделось бы под крепкой кровлей, в густом тепле у тихого очага за неторопливой беседой. Но добрым товарам не лежится под сводами складов и кладовушек; будто живые птицы, ворочаются они в мешках и коробьях, доколе не дорвутся до торга, доколе хозяева не вспорют брюхо мешкам, не срежут пут с коробьев,— тогда вывалятся товары на вольную волю, купцам на руки, разлетятся по белому свету, по городам и селениям, закрасуются на многом множестве людей, и уж никто не соберет их назад во едино место, ни в мешки, ни в коробья. Не лежится им вместе, не дремлется, манит их дальний путь, толкучий торг, умелая хватка опытных рук. Не лежится товарам, а за ними следом в дорогу тянется и сам купец.

Пришло время Пушку обновить свой кожаный лоскуток у менялы, чтобы по глухим вьюжным степям не влачиться с деньгами: спокойней поедется, когда твое достояние затаится неприметным лоскутом в складках чулка, нежели когда обвиснет оно грузным серебром или золотом в поясе на животе.

Никому неведомо, каков выпадет путь, как встретит купцов Орда, что там за страны и что за властители, не потянутся ли шарить по одеждам да по вьюкам гостей...

И опять по гололедице пошел Пушок к астраханскому меняле, притулившемуся под горой с краю от базара. А спускаться под гору при гололедице,— и наплачешься, и насмеешься сам над собой.

Не персиянином, а хорезмийцем оказался астраханский меняла, у Пушка же всякий раз тяжелело сердце при упоминании Хорезма: неизгладимо запомнилось пробуждение среди хорезмийской степи, когда клокотала кровавая пена в рассеченной глотке ордынца, хотя никаких хорезмийцев поблизости не оказалось тогда.

Пушок не застал менялу. Лишь слуга в сером истертом полушубке сидел на тюфячке, протянув ноги под кошму, к жаровне.

Сел и Пушок на том же тюфячке, той же кошмой накрыв озябшие ноги, и сперва разглядывал перед собой кошму, нашитые на ней разноцветные лоскутки сафьяна, изображавшие бараньи рога и тюльпаны, а потом, от нечего делать, обратил взгляд на слугу менялы.

Слуга сидел, опустив тяжелое лицо, подернутое желтизной. Скосив глаза, он смотрел на Пушка не поворачиваясь к нему. В уголках длинных темных глаз слуги, Пушку показалось, затаилась не то гордость, не то укор.

— Что ж не идет твой хозяин?

Все так же не обращая к Пушку равнодушное лицо, нехотя, словно Пушок, войдя в эту затхлую конуру провинился, слуга проворчал:

— Задержался. Базар!

Пушок размышлял: «Хорош слуга угодливый, учтивый, удалой, а этот, видно, сидень, лежебока!»

И сказал с укором:

— Хозяин с холоду придет озябший, проголодавшись. А ты его чем встретишь?

— Сам принесет.

— А ты зачем?

— Я обсчитать могу, а он недоверчив. Час проторгуется, медяк выторгует.

— Бережлив?

— Не такими наш Хорезм извечно славен.
— А кем?
— Зиждителями.
— Что это такое?— не поняв слова, насторожился Пушок.
— Вы армянин, ваш народ древнего ума. Во своей земле книги писали, песни творили, города созидали, храмы. Армяне извечные зиждители красоты, искатели мудрости. Мы — тоже. Вот что такое зиждители.

Пушку показалось, что слуга сказал это с почтением к армянам, но с пренебрежением к нему, хотя Пушок разве не армянин? Чем не армянин?

— Чем же вы... зиждители?— полюбопытствовал раздраженный Пушок.— Можешь доказать?
— Пока хозяина нет, я все могу.
— Давай, с самого начала.
— С начала? Начали мы, хорезмийцы. Давно, неведомо когда. И вот уж тысячи лет наша жизнь— то созидание, то оборона от нашествий, то воссоздание ,то опять оборона. Все было у нас: города, храмы, книги, песни. Почти семь веков назад явились арабы. Явился их вожак, Кутейба, и объявил нам, что их бог лучше, что во имя их бога нам надо забыть все, что тысячелетием мы вырастили, создали, нашли. Велел нам забыть все, ибо истинная вера — у арабов; истинный разум — у арабов, а нам надо даже свою память выбросить, запомнить лишь те из истин, что истины для арабов. Мы не согласились, мы бились, мы...
— И ты? Семь веков назад и ты бился?
— Если б я жил тогда, и я бился б. Но разве деды дедов моих не во мне? Если не во мне, в ком же они? Герои бессмертны,— в ком же ныне деды дедов моих, павших в битвах за свой народ?
— Ни у нас, христиан, ни у вас, мусульман, ничего не сказано о бессмертии на земле. Истинное бессмертие обещано лишь праведникам в садах небесных.
— А разве смертен народ? Умирают люди, а народ вечен.

Припоминая беседы с книжными людьми на ночевках в постоялых дворах, школу при церкви Богородицы в Трапезунте, где он когда-то учился грамоте и слушал монахов-учителей, Пушок, не очень уверенный, можно ли так выразить свое сомнение, сказал:

— Умирают и народы. Вечно лишь человечество, да и то лишь до Судного дня.
— Какое человечество? Без народов? Такого человечества нет!
— А народа нет без людей. Люди же смертны, значит — смертен и народ.
— Нет... Нет! У народа меняется вера, нрав, обычай, язык меняется. Со своими сородичами, со своими соседями народ мо-

жет смешаться и соединиться,— и все же вечен! В древних книгах есть имена древних народов. Где они? Где тохары, где кушаны... Вот, купец, вы странствуете и, небось, замечали,— есть города где и по-армянски говорят, и притом у каждого города, у горожан, есть свои слова, свои обычаи, свое обличье. У одних излюблено одно, а у других — другое. И, глядишь, на каждое армянское слово в таком армянском городе, у коренных здешних армян, сыщется иное слово, местное, иной раз почти забытое, а то и более ходкое, чем армянское. Это значит, давний народ живет в том городе посреди армян, в самих тех армянах, их устами говорит свои слова, их руками чертит свои узоры, их глазами глядит на свою землю, на свои реки, на свои звезды! Этим и богат народ; в этом — красота человечества.

— Откуда знаешь? Кто ты такой? Слуга — слугой, а рассуждаешь! Кто ты такой?

— Разве не было у нас ученых? Четыреста лет назад жил среди нас Бируни, Абу Райхан ал-Бируни...

— Имя арабское...

— Имя?.. Мы семьсот лет мусульманствуем. После побед Кутейбы. Арабскую веру арабы сделали нашей верой. Но кроме веры есть память. А память хранит, как во имя веры искореняли в нас память.

Пушок, заметив, что его собеседник, начав говорить об одном, сбивается на другое, возвратил его к прерванной мысли:

— Ты сказал: Бируни — хорезмиец.

— Истинно. А имя? Он был арабской грамоте обучен, а природной, своей, никто из нас не ведает, какова она была, что писали наши праотцы, того не помним.

— А была ли? Ваша-то, особая, была?

— А вот, дослушайте-ка: сам Бируни написал так...

Слуга поднял, запрокинул голову, и эта голова с полузакрытыми густо опушенными глазами, с большим тонким носом, с большим твердым ртом показалась Пушку величественной, как на какой-то древней монете.

Припоминая, но не сбиваясь, слуга прочитал нараспев, как читают чтецы корана:

— «Всеми средствами Кутейба истребил и ниспроверг всех, кто знал хорезмийское письмо, кто ведал заветные предания хорезмийцев, всех ученых хорезмийцев истребил; и впредь покрылось все это мраком забвения, не осталось следов от прежних наук, ни того, что знали они о себе, когда пришел к ним ислам...» Так написал Бируни.

— Выходит, все позабыто! Откуда ж ты знаешь?..

— Остались камни и песни. «Откуда эти стены? Что здесь было?»— думаем мы, когда ходим по своей земле.—«Кто сложил

эту песню?» — думаем, когда устаем петь. И память просыпается.

— Однако и у Бируни арабское имя, и пишет ваш народ арабскими буквами, и сам бог у вас арабский. Чего ж вспоминать, когда арабы свое дело сделали?

— Арабским письмом пишем. Но пишем то, что зарождается в нашем сердце. Арабскому богу молимся, но о счастье своих земель, об удаче в своих делах, о том, что нужно нам, хорезмийцам. Кутейба тысячи воинов, прародителей наших, истребил во славу милосердия божьего. Ни единого листка, ни единой из наших книг не пощадил, дабы мы читали только коран. Да и не дали тогда нам никаких других книг арабы. Так мы стали мусульманами, а прадедов своих, созидателей и героев, стали называть язычниками и невеждами, ибо Кутейба называл их так...

— Твои слова едва ли понравятся вашим богословам.

— Богословам? Есть веры, поднимающие народ; есть веры, подавляющие народ. Есть богословы, идущие заодно с народом, а есть иные, мечущие отравленные копья в грудь своему народу. Нас было немного, но у нас была своя вера, тайная.

— Кто ты такой? Посмотришь — слуга. Послушаешь — грамотей.

— Я был писцом книг в Ургенче. В своем деле искусен, по своей земле славен. Книги моего письма ныне и в Самарканде есть, и в Герате.

— Как же стал слугой?

— По мановению мирозавоевательной десницы хромого воителя.

— Как же это?

— Наши братья в каждом городе есть. Мечтали, как я. Когда арабы разорили нас, мы сохранили свой ум, свое уменье. Не иссякла сила наших рук, не иссякла любовь к созиданию, и арабы между нами распадались, как иссохший комок глины. А мы из той глины слепили кирпичи и семь веков воздвигали себе снова города, башни, школы. Воздвигали по прежним правилам, а не по указам арабов. Но многое из того, что успели мы создать за долгую череду столетий, растоптала монгольская орда в недолгой череде битв. Иссякли оросительные ручьи и зачахли наши сады. Запустели караванные пути и заглохли базары. Обезлюдели области и замолкли наши школы. Упало мастерство в ремесленных слободах, одичали книжники, и само небо затихло, оттого что птицы, из-за бескормицы, покинули наши поля и города. Только по зорям то там, то тут слышались наши древние песни, если поблизости не оказывалось ордынцев. И вот на базарах, в ремесленных слободах было замышлено между гончарами, медниками, кузнецами, между многими людьми, соединиться и выгнать ор-

дынцев. Из Самарканда тогда приходили люди, говоря, что им тоже тяжко, что и у них есть такие же мечты; приходили из Ирана, из Бухары. Дальние и соседние города думали эту думу. Я со всеми был. И на дело борьбы мы сговорились копить золото, копить оружие. Я был грамотнее многих, слава у меня была добрая, и люди доверили мне хранить накопленное. И об этом не знал никто чужой, даже в моей семье никто не знал. Знал только слуга. Он был удалой, учтивый, бойкий, угодливый и, случалось, ему одному я доверял перепрятать наше сокровище, когда опасался дошлых ордынских соглядатаев. Уже многое наш народ успел и сумел восстановить и создать. Уже снова потекла вода к садам и полям, поднялись стены зданий в городах, даже городские стены удалось кое-где поднять. И вот явился Тимур. Что за полтораста лет мы успели поднять, все завалил снова, снова полилась наша кровь, погнали наших искусных мастеров строить города вдали от Ургенча. И вот случилось, что схватили меня, когда я рубился с мечом в руке. Схватили — и сотник джагатайской конницы выгнал меня на продажу. Был я изнурен, даже шатался, и гнать меня на дальние базары сотнику было боязно: не свалился бы я на дороге; выгнали продавать на месте. А вы знаете,— купцы караванами идут следом за войском, скупают добычу, скупают и пленников. Купил меня купец и в числе многих моих земляков повез продавать за море, сюда, в этот самый город Хаджи-Тархан. Не смейтесь, хотя и смешно: стою я тут на базаре, ходят покупатели. Смотрю — и сердце мое остановилось: идет мой слуга по базару,— бойкий, удалой. Ну, думаю, это он меня ищет, чтоб из неволи вызволить. Останавливается передо мной, молчит, посмеивается. Спрашиваю тихонько.—«Где наша братская казна? Уберег ли?» «Вся при нас!»— говорит.— Если б не она, сам бы не откупился, и раба себе не на что было б приобрести». «А на что тебе раб?» «Я теперь купец,— говорит,— мне положено иметь раба». И вот купил он меня. И пятнадцать лет нет мне от него ни житья, ни смерти. Исчах мой разум. Пальцы разучились писать. Только иной раз сижу один и сам себе говорю о родной земле, будто пишу историю. Я и написал бы, если б нашлось на чем. Да бумага здесь дороже золота, пергамент редок, а мне много надо написать. Чтоб не забыть, я сижу и обо всем этом твержу себе, повторяю. Как явились арабы, как топтали нашу землю ордынцы, как явился Тимур...

Дверь вдруг взвизгнула: явился меняла...

В шубе, крытой синим шелком, из-под глубоко нахлобученной шапки он еще с порога уставился на Пушка приценивающимся взглядом:

— Ожидаете?

Не сводя глаз с Пушка, кинул узелок на руки подоспевшего

слуги и, слегка сдвинув шапку назад, сел на место, откуда только что поднялся слуга.

Слуга унес узелок во двор, на кухню, а меняла уселся удобнее и сказал:

— Так... Ожидаете! А чего?

Пушок показал согретый на груди кожаный лоскуток.

— Я это раньше видел. При вашем первом появлении. Зачем мне снова это смотреть?

— Я еду дальше.

— И вознамерились забрать у меня деньги?

— А если они мне нужны?

— Сколько вы будете платить?

— Зачем? Я за все заплатил.

— Может быть, вам кажется, что я сижу на деньгах, что на каждом моем плече — по мешку золота, что стены этого дома сложены из денег, что стоит мне раскрыть ладонь, как из ладони потечет ручей золота? А?

— Пустые слова!— рассердился Пушок.— Здесь есть пристав... Он вас заставит...

— А он мне принесет денег, если своих у меня нет?

— Ладно,— отрезал Пушок,— я не требую денег. Вы напишите, что подтверждаете подпись, поставленную здесь, напишите имя менялы в Ордынском Сарае, а я возьму свои деньги там. Здесь не нуждаюсь. И конец.

Меняла с заметным облегчением снова осмотрел кожицу:

— Нежный лоскуток. Бархат! Даже жаль марать его надписью.

— И подписью!— напомнил Пушок.

— Не беспокойтесь.

Меняла отложил кожицу, медля отдать ее,— в ней было немалое сокровище. Пусть полежит перед глазами.

Он спросил:

— Слуга кляузничал?

— На кого? Нет.

— Слуги — такой народ. Бездельник! А негодяй: он был моим господином. Он не считал меня за человека. Он держал меня в голоде, в тряпье. Он был взыскателен, сварлив. Но бог милостив. За безбожные мысли, за жестокость он покарал нечестивца, низверг его со всеми его богопротивными книгами. Книги погорели, иные расхищены, а сам приведен в рабство, в ничтожество, жив единственно моей милостью, моей щедростью. Служит, пока не наскучил. Наскучит — возьму раба расторопного, дельного, а этого продам. Пока тешусь его унижением; смотрю на него и радуюсь: как велик, как справедлив бог,— достойного раба он поставил господином, злонравного господина ввергнул в рабство.

— Это сам ваш бог совершил?

— Руками своего избранника, эмира Тимура, да ниспошлет бог ему побед и долголетия.

Наконец надпись и подпись просохли, кожица вернулась на грудь Пушка, и армянин покинул менялу, ушел с этого темного двора.

Он пошел взглянуть, как собираются русичи, сговориться, как будут грузить обоз. Да и хотелось еще посидеть в тепле среди спокойных, как бы медлительных, но расторопных людей. Он пришел. Но едва дернул на себя обитую кошмой дверь, какие-то девки, горбоносые, тонконогие, выскочили, смеясь, от русичей и, накрывшись с головой полушубками, побежали через двор.

— Это что ж за ласточки?— спросил Пушок, войдя в тепло жилья.

— Утешительницы!— виновато потупился новгородец.

— Вот тут какое у вас житье!— не без зависти пошутил Пушок.

— По грехам нашим!— лениво ответил тверич.— Не от праведных помыслов...

Пушок просидел здесь долго, и уже смеркалось, когда он пошел домой.

Наступал последний вечер в Астрахани. Дул теплый ветер с Каспия.

— Ветер попутный. Добрый знак. Ветер попутный!— весело замечал Пушок, уже взволнованный предстоящей дорогой и радостный, что предстоит этот опасный, но полный нежданных событий путь.

Он свернул в боковой переулок, где идти было легче: здесь снег не столь был притоптан и поскрипывал под ногами: «Москва... Мо-сква... Мо-сква...»

Морозные ночи обволакивали Геворка Пушка непроницаемой тишиной, когда лишь лошади всхрапывали да полозья саней повизгивали на длинной, длинной зимней дороге от Астрахани к ордынской столице.

Днем ехали, но случалось и по ночам тянуться медленному обозу по гладким снегам.

Ехали то по волжскому льду, то порой сворачивали направо, на левые низкие берега, двигались по нехоженому хрупкому насту; беззаботно вилась эта дорога, как вилась сама Волга-река.

От Старого Сарая, с низовий Волги, к ордынской столице Новому Сараю можно было ехать коротким путем, насквозь по степи, оставив Волгу далеко слева. Этот путь был прям, как стрела, этим путем за пять лет до того прошел Тимур со всем своим воинством, когда дотла разорил города Орды. Но степной дороги купцы опасались: там много бывало всяких встречных проезжих,

сомнительных попутчиков и разгульных ватаг, а постоялые дворы там стояли редко, и всему купеческому обозу пришлось бы сутками тянуться по открытой степи, как по голой ладони, на виду у всех степняков.

Волгой же в зимнюю пору ордынцы ездили меньше, хотя селенья и зимовки скотоводов тут попадались чаще, и во впадине реки обоз шел скрыто от тех, кто гулял по степному раздолью. За зиму бураны нанесли со степи на реку горы сугробов, кое-где снег высился круто, на неприступную высоту, но после недолгих оттепелей корка на снегу надежно затвердела, а наст хорошо слежался.

По берегу, по самому гребню, плелись обочь от обоза волчьи стаи, но лошади уже свыклись с ними и шли без сбоя, а люди опасались не волков, коих легко отбить копьем да и окриком отогнать, опасались лишь, не привлекли б волки разгульных людей со степи, не догадались бы степняки, приметив волков, что Волгой проходит торговый обоз. Обоз людей опасался, а не волков.

За этот день купцы намеревались пройти последний переход до ордынской столицы. На постоялом дворе не задерживались, лошадей кормили, не распрягая, подвесив торбы. Но как ни ладили, не поспели дойти и к вечеру. Уже недалеко оставалось, но декабрьская ночь покрыла их низким небом, а теперь и ночь кончалась, последняя ночь декабря.

Пушок лежал в санях, тепло укрытый овчинами. Нехороший, кислый дух шел от жестких кож полушубка, в бороду набились колючие соломинки. Русичи на передних санях давно безмятежно спали, поговорить Пушку было не с кем; он лежал, вглядываясь в низкое серое небо, и ему казалось, что справа, у самого прибрежнего гребня, небо начинает туманиться, предвещая рассвет. Но по хребту, заслоняя небо, плелась темная волчья стая.

Истекала последняя ночь декабря. Кончился год одна тысяча триста девяносто девятый. Кончился четырнадцатый век, увековеченный многими битвами, решившими на многие века участь многих народов.

Отшумели битвы на реке Воже и на Куликовом поле, и Москва, разогнувшись, хозяйственным оком окинула окрестные русские земли. Кровью и слезами славян напиталась черная земля на Косовом поле, когда турок Мурат победил Лазаря Сербского, и на века на сербский народ навалилось гнусное иго турок. Сын Мурата, молниеносный Султан Баязед, разгромил папских крестоносцев-рыцарей на Дунайском берегу, и страх, как чад от лесного пожара, пополз по притихшим городам Европы, превознося могущество и славу победителя рыцарей. Притихли ордынские города, растоптанные хромым Тимуром, рухнули стены индийских крепостей, и сам прекрасный Дели еще дымился от Тимурова по-

сещения. Веселые, многолюдные города Ирана обезлюдели. Еще не встал из руин Багдад, где Тимур под мраморными сводами кормил своих лошадей...

В эту ночь от императора Византии и от римского папы послы привезли в Анкару Баязеду новогодние подарки и сердечные поздравления, посланные с ненавистью и страхом: воинство папы уже лежало в земле под Никополем, а Византия сама считала себя обреченной Баязеду.

Многие из властителей не спали в ту ночь.

В Испании кастильский король дон Энрико, заинтригованный славой Баязеда и вожделея к несметным сокровищам Востока, вознамерился установить с непобедимым султаном дружбу и поискать в его земле выгод для своей короны. Он направился к капелле, чтобы там, слушая сладкоголосый хор мальчиков, встретить Новый год. Он шел легкой, порхающей поступью, помахивая черным, тонким, как прутик, хлыстом, отчего прозрачные кружева манжет раскрывались, поблескивая золотым плетеньем. Король остановился у входа в капеллу и в свете свечей просил допустить к нему тех проницательных кавалеров, что поедут с его грамотой в Анкару. Он не намеревался посылать щедрых подарков, он сам нуждался в подарках, но печати на пергаменте будут большими и великолепными, а подвесную печать отольют из серебра.

В эту ночь султан Баязед разрешил тем из своих жен, что происходили из папской веры, отпраздновать по их обычаю встречу Нового года. На пир пришли и остальные из старших жен, но перед каждой из католичек был поставлен золотой семисвечник с горящими восковыми свечами — все это было не латинское, а сербское или византийское, но самоцветные камни украшений сверкали в эту ночь ярче, в сиянии свечей и глаза красавиц казались теплее.

Султан сам пришел посидеть с ними. Он шел по вязкому ковру, пригнувшись под высокой лоснящейся чалмой, спустив ее конец на лоб, чтоб длинная бахрома затеняла ту его бровь, под которой не было глаза.

Султан шел, слегка приседая, время от времени поволакивая ногу, и выискивал место, где ему захотелось бы сесть.

А в то время в Дамаске египетский султан Фарадж лежал в душной тьме на стопе нежных одеял, накрывшись ароматным легким покровом, и думал, думал, как хитрее обвести грубого монгола Тимура, как не войском, а лукавством уничтожить джагатайские войска, ибо собственные войска Фараджа были хотя и нарядны, но малочисленны; как опрокинуть Тимура и гнать, гнать до самого Самарканда и дальше, хотя Фарадж не знал ничего, что было бы дальше Самарканда.

Фарадж кликнул негра, невидимого в душной темноте, и велел привести луноликую монголку, завезенную сюда откуда-то из Астрахани. Несколько дней назад ее купили для султана вместе с пятью черкешенками. Фарадж решил расспросить ее о Тимуре. Пусть она рассказывает все, что знает: по девичьей простоте она расскажет что-нибудь такое, о чем и не догадаются донести грубые купцы! С девушками Фараджу всегда было легче разговаривать, чем с купцами или военачальниками,— он давно это заметил. Но едва она вошла со светильником, ему наскучило думать о Тимуре.

Не спал в ту ночь и Тимур.

В шатре, просторном, увешанном тяжелыми коврами и оружием, Тимур не жил. Но здесь стоял резной точеный из слоновой кости трон, и Тимур, поджав левую ногу, а больную ногу спустив, сидел на этом троне, а джагатаи по обе стороны от него держали светильники.

Он только что кончил разговор с китайскими послами. Он говорил с ними строго и отверг письмо китайского императора, ибо император считал данью те подарки, которые Тимур время от времени отправлял в Китай. Нет, Тимур не признавал себя данником Китая и перечислил перед безмолвными китайцами все заблуждения их императора.

Один из китайцев держал опущенными длинные руки с длинными пальцами. На одном из пальцев темнело кольцо, широкое, и, видно, тяжелое, с большим камнем, мерцавшим, как синий огонь.

Тимур смотрел на кольцо и думал, что все сокровища, собранные среди развалин Ирана, Индии и остальных стран, ничто, если не соединить их с богатством Китая, которому нет числа. И чем больше он смотрел на кольцо, тем жестче звучал его голос.

И он велел держать китайских послов, как пленников, пока будет думать о Китае...

В ту ночь в Новом Сарае Едигей позвал к себе одного из своих воевод. Хан, закинув руки за спину, втягивая затылок в плечи, прохаживался, а воевода стоял, прижавшись к косяку двери, и смотрел на морщинистое, отечное лицо хана, а когда хан отворачивался — на его неразгибающиеся пальцы. Едигея тревожил Тохтамыш. Тревожило, что Тохтамыш куда-то скрылся, где-то затаился. Это казалось опаснее, чем в те времена, когда Тохтамыш отсиживался в Литве, подговаривал на поход Витовта Литовского, на глазах у всех точил свой ятаган на Едигея. Тогда Едигей знал: удар будет с Литвы; знал, к чему готовиться. А теперь знал лишь одно: Тохтамыш точит кинжал, но где? Тохтамыш не мог успокоиться,— старший из потомков Чингиза, разве он откажется от своего удела? Нет, будь на его месте, Едигей не отка-

зался бы. Едигей удивился этой мысли: «Я нынче и есть на его месте!» Тохтамыш был ханом Золотой Орды, пока Тимур не явился, чтобы его наказать, пока не была проиграна битва под Чистополем и другая битва на Тереке. Тогда на ханство поднялся Едигей, на Тохтамышево место.

Надо было подыскать верных, смелых, неприметных людей, чтобы, выследив Тохтамыша, вошли к нему в доверие.

Ночь кончалась. Всю эту ночь хан Едигей вместе с верным стариком воеводой выбирали людей. Но едва выбрав, отвергали, искали других...

Над заснеженной морозной Москвой, отблаговестив, еще гудел соборный колокол: великий князь Московский Василий Дмитриевич вернулся от утрени, чтоб, недолго отдохнув, приниматься за дела. Как и его отец, Дмитрий Иванович Донской, Василий дела начинал затемно. Но в это утро наступили его именины, исполнилось ему тридцать лет, предстояло отстоять обедню, провести день с гостями.

В сенях государя дожидались бояре. Великая княгиня Московская Софья, дочь Витовта Литовского, внучка Ольгерда, ушла к себе, а рыжеватый, подслеповатый Василий остановился. Сын покойного боярина Захария Тютчева, Федор, подошел, тихо говоря:

— Из Орды человек прибыл, от Тохтамыша. Просится к тебе, государь.

— Что за человек?

— Ближний к Тохтамышу. Кара-ходжой зовут. Сам он из Юргеня, хорезмец. С Тохтамышем и на Литву бегал, и ныне при нем.

— Чего ему?

— Прислан просить, чтоб ты Тохтамышевых сынов сюда принял; тут бы их растить, пока он Орду станет вызволять от Едигея.

— Поразмыслим. А Кара-ходжу пока подержи в чести. Посулов никаких не сули, но и молчание не досадуй: дай нам время.

— Ходжа поторапливает. У них там, говорит, спешка.

— Без него знаем, что у них там. Дай нам время...

А в небе уже ясно проступила муть, обозначавшая утро.

Геворк Пушок высунулся из овчин: впереди, из снежной степи, темной полосой показался город. Как бы хотелось поговорить об этом. Но купцы все спали. Полозья саней все также повизгивали на мерзлом снегу, и оттого на свете все казалось особенно тихим.

Тихо было и в степи Карабаха. Улугбек, вернувшись с приема китайских послов, где он брал от них грамоту и нес ее дедушке, еще не ложился. В его юрте ночевал Халиль и проснулся, когда пришел Улугбек. Царевичи долго разговаривали. Об охоте, о

ловчих птицах, какие левчее. Оба оказались согласны в том, что соколы по набою превосходят всех прочих птиц.

Наговорившись, Халиль встал и уехал,— ему надо было застать воинов врасплох. А зачем, Улугбек не понял.

Он вышел из юрты и стоял перед угасающим костром. Из недр пепла вдруг временами вырывался синий огонек. Но все реже, все реже. Парчовый халат плохо грел. Мальчик сжался от холода, а уходить не хотелось. Небо мутнело, но вокруг по земле было еще темно. Звезды истаивали, и лишь одна мерцала, вспыхивала то зеленой, то лазоревой искрой в этом небе над Карабахом, где, как бы нехотя, наступало утро.

Конец первой книги

книга вторая

КОСТРЫ ПОХОДА



Часть первая

ВЕСНА 1400 года

Первая глава

ДЫМ

Дым пожарищ поднимался над землей Карабаха. То стлался, белый и густой, то взвивался черными столбами в ясное, как родник, мартовское небо.

Воинства Тимура стронулись с привольного зимовья. Двинулись, сопутствуемые стадами и обозами. Двинулись, как кочевье, но кочевье необъятное и безудержное.

Расплескивая тяжелую грязь, скрипя, покачиваясь, тащились арбы, макая в лужах края ковров и войлоков.

Обегая неповоротливые обозы, провялившей целиной шла конница.

Волочилась пехота, подоткнув полы халатов либо заправив их в обширные штаны, давя сапогами вязкое весеннее месиво.

Вперемежку с отрядами пехоты деловито торопились гурты ослов с мелкой поклажей.

С краю от воинств, протянувшись тысячегорбой непрерывной цепью вдоль подножья гор, шествовали верблюжьи караваны. Шествовали стороной от дороги, там, где с незапамятных времен пролегли узенькие, как строчки, тропки, протоптанные давно исчезнувшими путниками, мирными караванами странников и купцов.

Дым пожарищ висел над прозеленью свежих трав, над первыми всходами полей, над садами, где деревья набухали соком, над реками, полными пены и ропота.

Когда потоки пересекали дорогу и конница шла вброд, кони тянулись теплыми бархатными губами к студеным струям.

Из придорожных кустарников вспархивали птицы. Звенели их первые песенки. Но люди в ту весну не пели песен.

Молча шло воинство. Молча, едва заслышав о нем, уходили прочь жители. Молча уходили в степную ли глушь, в горные ли щели, ухватывая из скарба лишь то, что могло их пропитать в скитаньях. Молча уходили с пути, где шел Тимур.

Тимур ехал между двумя внуками.

Из них один — сын Тимуровой дочери Султан-Хусейн, возглавлявший конницу, в тот день несшую караул.

— Другой — Улугбек, подвернувшийся деду, когда на рассвете дед вышел из своей юрты к седлу.

С внуками Тимуру незаметней казался переход, длинный, однообразный, не суливший ни занятных случаев, ни боевых встреч.

Ехали обочь людского потока, но некуда было отстраниться от густого, как чад, запаха коней и человеческого множества, от скрипа и визга колес, от топота... Все это слилось в гул, какой бывает, когда с гор рушится лавина.

Тимур подолгу молчал, поглядывая в сторону дымов, вглядываясь вдаль.

Всюду, то тут то там, виднелись дымы, отмечая поиск передовых легких отрядов, что рыскали, как рыси, намного опередив воинство.

Страну эту, Азербайджан, считали землей, давно подвластной повелителю мира, своей землей, где у каспийских берегов сидел шах Ширванский, давно послушный правителю, поставленному Тимуром над этими странами. Шах Ширванский Ибрагим строил дворцы и мечети в Баку и в своей Шемахе, и правитель ему не мешал. Правитель правил страной, и шах не мешал правителю. Но как ни считали эту землю своей, а можно ли было не обшарить всего, что попадалось на пути, когда есть на что позариться, есть что прибрать к рукам.

Осмуглевшие на зимних ветрах передовые воины принюхивались к долинам и ущельям: не потянет ли вдруг из неприметной лощины дымком жилья, теплым духом добычи.

Но окрест всюду селенья стояли впусте. Лишь изредка попадался то немощный старец, то замешкавшийся землепашец, помедливший покинуть обжитые рукоятки своей сохи. Кое-где билась собака на привязи, либо в покинутом хлеву обидчиво мычал некормленный буйвол.

Для вразумленья сбежавших жителей, а чаще чтоб душу потешить, рушили кровли приземистых жилищ, псов пробивали копьями, а то, что могло гореть, жгли. Пусть, мол, знают: нет милости тем, что бегут с пути повелителя.

Оттесняя друг друга конями, ближайшие из сподвижников, высшие военачальники и старшины родов, следовали за Тимуром; одни — устало горбяесь в седле, другие — красуясь посадкой и выправкой.

Кони, благодушествуя на тихом ходу, порой принимались рьяно кивать головами, пофыркивая, бряцая серебряными наборами уздечек. Коней очухивали, похлестывая плеткой по темени, остепеняли ударом рукоятки по холке.

Разговор у вельмож не вязался: каждый сосредоточенно следил за малейшим движением повелителя, пытаясь распознать его мысли, а то и предугадать намерения.

Тимур, привычно покачиваясь в лад шагу коня, ехал в рыжем грубом чекмене, в лохматом треухе. На заре их охлестнула дождем мимолетная тучка, и теперь чекмень, темнея сыростью на плечах, казался заношенным, как на табунщике.

Тимур поглядывал на белые, медленно всплывающие, на стелющиеся черные и рыжие, близкие или дальние дымы, на эти зыбкие вехи неотвратимого нашествия, предвестники близких или дальних битв.

Вдруг Тимур резко осадил коня.

Так резко, что внуки проехали вперед, а кони спутников уперлись мордами в спину повелителя.

Полуобернувшись, он ткнул плеткой в сторону дымов.

Его не поняли: дымы с самого рассвета тянутся с той стороны, впереди их пути.

Но повелитель показывал им на дымы, ибо ничего другого не виднелось там.

Он снова три или четыре раза ткнул в ту сторону, уже рассерженный недогадливостью соратников.

Только теперь они приметили: не впереди, а сбоку, на востоке, вились к небу белые столбы дыма. Они поднимались в стороне от пройденной дороги и вились вверх, как бывает, когда под сырую солому снизу подложат сразу большой огонь. И загорались костры один за другим через равные промежутки — один, другой, третий,— убегая все дальше и дальше в сторону. Это была тревога! Так разгорались сторожевые костры на вышках, давая знак о нашествии врага. Но кто там поставил вышки? Куда и кому подавали эту весть о беде?

Протолкавшись через плотный поток своих войск, не щадя плетей, к горам помчалась сотня удальцов под началом Кыйшика.

Тимур, сдерживая топчущегося коня, ждал, откликнется ли новый дымок.

Откликнулся.

Откликнулся в том месте, где его и ждал Тимур, на равном расстоянии от крайнего, на самом высоком из холмов.

Тронув коня каблуком, Тимур поехал, но ястребиные его глаза не отрывались от этих безмолвных дымов, от непонятной дали предгорий.

Конная сотня Кыйшика, преодолевая овраги, перемахивая щели, мчалась к горам.

Когда, наконец, подскакали к ближнему из дымов, никакой вышки не оказалось: на высоком холме, на обрыве, стоял про-

шлогодний шалаш, сторожка на краю бахчи. Вокруг, по исполосованной грядами желтой земле, чернели полусгнившие за зиму плети дынь. Валялась, будто в насмешку, рваная туфля, влипшая в землю. А шалаш догорал, разбрызгивая по ветру завитки горелой соломы.

Как ни шарили вокруг, ни в оврагах, ни внизу у реки не нашлось никого, будто шалаш загорелся сам собою.

Но такой же дым взвился на отдаленном высоком холме, отделенном от этих мест ущельем и горной рекой. Нелегко было съезжать к реке, то по каменистой осыпи, то по мокрой глине отвесного берега. Река, неся густую весеннюю воду, наполняла темными водоворотами все свое русло, и найти брод удалось не сразу.

Когда ж нашли, когда перешли, когда, измокнув, измазавшись, вскарабкались по оползавшей глине наверх, и этот костер уже догорал. Никого и тут не застали. Но отсюда увидели, как высоко взвивается новый дым на черноверхом холме далеко впереди.

Поскакали напрямик, то взбираясь на холмы, то съезжая с них, то объезжая их по отвесному краю. От этакой скачки даже отборные кони взмокли, спотыкались, всхрапывали: отяжелевшие от недавнего отдыха, они еще не втянулись в походную службу, горячо брали начало пути, но быстро выдыхались.

Однако с пустыми руками нельзя было вернуться к повелителю.

Дозорные здесь, видно, не ждали столь скорой погони. От дыма отбежали двое людей в острых высоких шапках, какие носили азербайджанцы, и кинулись к горам. Не щадя взмокших лошадей, широко обтекая окрестные холмы, погоня кинулась за беглецами.

Вскоре оказалось, что склон, покрытый старой осыпью, весь завален осколками красных камней, острых, как шипы. Не только рысью, а и шагом кони не могли здесь пройти.

Воины спешились.

Охватив предгорье широкой цепью, полезли наверх. Двое убегавших легко, как горные туры, перескакивали с камня на камень.

А преследователи, не привыкшие ходить пешком, карабкались, спотыкаясь, до крови избивая колени и руки о скользкие острия камней.

Занятый погоней, Кыйшик не смотрел в сторону, где на вершине отдаленного холма разгорался новый костер. Да никто и не успел бы этот костер заглушить: его отделяла новая гряда холмов с их склонами, потоками, кручами. А всадники — не птицы.

Двое в островерхих шапках убегали выше и выше.

Подъем становился круче. Справа разверзлась и уходила все глубже горная щель. Впереди громоздились неприступные горы.

Беглецы ушли бы, но их прижали к горам.

Карабкаясь, обессилевшие воины Тимура надвигались на двоих остановившихся беглецов.

Уже стали видны их лица.

Один коренаст, приземист, бородат, вытирал лоб ладонью. Другой молод, худощав, и его впалые, бледные щеки непрерывно вздрагивали, словно он что-то быстро-быстро говорил, не раскрывая рта.

Кыйшик крикнул им:

— Попались! Эй, попались!

Чтобы отдышаться, запалившийся Кыйшик приостановился.

В этот миг беглецы рванулись в сторону, и старший из них мгновенно исчез, словно вошел в землю. Младший еще бежал; петля аркана, ловко накинутая ему на плечи, свалила его.

Лишь добравшись до него, воины увидели бездну, куда спрыгнул его друг. Там темнели огромные камни и в головокружительной глубине ворочался поток.

Младший извивался в путах. Но его скрутили, как вьюк, и понесли вниз, куда идти оказалось еще тяжелей, чем карабкаться наверх: туда их увлекала погоня, а теперь сказалась и крутизна горы, и вся их усталость.

Перед ними всюду холмились безлюдные предгорья, да откуда-то снизу, издалека доносилось ржанье ожидавших их лошадей. Отдыхать было некогда: все знали, как нетерпелив повелитель, когда ждет. А он ждал их.

Дымы с этой высоты виднелись далеко-далеко, в стороне, взвиваясь то на одной вершине, то на другой,— ближние догорели и поникли, подав весть дальним. Дальние, догорая, еще тянулись вверх.

Весть ушла. Весть дошла до цели. Зачем и кому она послана? Что сулит она воинству Тимура?

Пленник расскажет! Даже если он намертво сомкнет уста, их разомкнут! Сам Тимур ждал этой вести. Сам ждал ответов этого безбородого юнца с лицом, измазанным землей и кровью.

* *
*

Тимур ехал к долине, где в тот день предстояла дневка, чтобы дать отдых коням.

Он ехал дорогой, по которой не езживал с той давней поры, когда завладевал Азербайджаном.

С той поры запомнился ему каменный домик над крутым поворотом говорливой реки, осененный тремя тысячелетними чинарами, распластавшими могущественные кроны над строением и над изгибом реки.

Ему помнилось, как тогда он прохаживался в их тени, дивясь необъятной толще стволов, любуясь домиком, покинутым и беззащитным,— невелик домик, всего четыре столба на террасе, но каждый столб, лоснившийся от времени, покрыт был такой искусной резьбой, какую прежде нигде не доводилось видывать.

Когда, пнув ногой дверцу, он вошел внутрь этого пустого строения, уже смеркалось. В лицо пахнуло затхлой сыростью.

Тимур велел внести факелы. В их пламени, исторгавшем струи копоти, он долго разглядывал расписной потолок, разгадывая роспись, как умел разгадывать легенды ковров. Разглядывал звезды, изображенные не как созвездия, а как соцветия, соединенные причудливыми стеблями: малые звезды — завязи; большие — раскрывшиеся цветы. На потолке было написано то небо, которое сияло в полночь над этой долиной. Стебли означали пути звезд. Он знал звезды. Он их хорошо знал, привыкнув за длинную жизнь к ночным походам, когда, пересекая пустыни или степи, научился по звездам проверять свои земные пути. Он знал звезды, как знают их караван-вожатые, как знают их корабельщики, как знают их скотоводы, проходящие со своими стадами по ночным пастбищам.

Он разглядел и стены. Вокруг все было невелико, смиренно. Маленькие ниши для книг или для чаш, черная узкая ниша для очага. Но на удивленье искусно сложены были стены, ничем не украшенные,— каменщики уложили плоские кирпичи так ловко и разнообразно, словно выткали каменные ковры.

В том походе с Тимуром был его сын Мираншах. И когда Тимур, сопровождаемый этим сыном, вышел снова во дворик, он сказал, любуясь всем, что окружало его здесь,— двориком, изгибом реки:

— Как они сумели,— одно к одному; как в песне,— одно слово прислоняется к другому. Вынь одно — и вся песня развалится.

Мираншах промолчал.

Тимур осматривал все вокруг, по привычке ища ошибок у создателей этой усадьбы, каких-нибудь слабых мест, как всегда, когда предстояло взять вражескую крепость или сокрушить врага. Но тут все было на месте. И это нравилось ему, но и досадовало: ведь не у него в Самарканде стояло это, а в чужой стране.

Наконец он кивнул головой на середину двора, где среди площадки, выложенной светлыми плитами, обрамленный гранитной каймой, торчал разросшийся куст одичалых роз:

— Тут надо б водоем, а они розу воткнули!

Мираншах промолчал, но заметил злорадство в голосе отца и понял, что отец не хотел поддаться восхищению перед этим зодчеством, но что восхищение его не рассеется от одного лишь этого одинокого куста, выросшего здесь, может быть, даже без ведома зодчих.

Тимур, не то удивленный, не то обиженный молчанием сына, спросил:

— Где эти мастера? Вон как сумели! А?

Мираншах не знал никаких здешних мастеров и только молча пожал плечами.

Позже, отдохнув, Тимур обычно призывавший к себе чтеца, или рассказчика преданий, или певца, в этот вечер велел привести к нему здешних зодчих. Но зодчих в этих местах не нашлось. Привели спотыкавшихся от растерянности и робости двоих садовников из соседней деревни, местного купца и какого-то хромого виноградаря.

— Чей дом?— спросил их Тимур.

Купец, стоя на коленях, виновато кланялся:

— Снизойди, великий государь, узнать: мы зовем это — Дом Звездочета. Ибо премудрый Махмуд, сын Абу-Бакра, прибыл сюда из Мараги, дабы дожить здесь свою старость в уединении. Это построено ему.

— Звездочет, а понимал...— заговорил было Тимур, но усомнился, достоин ли азербайджанец слушать мнение повелителя о каком-то старом звездочете. И купцу так и осталось неведомо, что именно понимал звездочет.

В тот давний вечер Тимур только спрашивал... Он так и не сказал никому, нравится ли ему что-нибудь в этой стране, которую он обагрял кровью и заревами.

— Где зодчий?— спрашивал Тимур.

— Лет полтораста назад его призвал аллах к своему престолу.

— А еще каких зодчих знаешь?

И ему говорили о стройных мавзолеях Нахичевана и об их строителе по прозвищу Аджам.

— Где он?

— Его призвал аллах более двухсот лет назад.

Тимур насторожился: они называют мертвецов! Но снова спросил:

— А есть и другие мастера в ваших краях?

Ему говорили о разных мавзолеях, украшенных резьбой по штукатурке либо одетых глазурными изразцами, составлявшими пленительные узоры на многогранных или на круглых, на стройных, как столбы, башнях и на мавзолеях — в Салмасе и в Барде,

в тихом Карабогларе и на берегах озера Урмии, в городе мудрецов Мараге,— по всей Азербайджанской земле.

Ему называли имена славных зодчих — Ахмеда, сына Айюба, Абу-Бакра, который был отцом Аджама, и Махмуда, сына Саада...

Но едва Тимур спрашивал, где найти этих мастеров, ему, огорченно опустив глаза, снова отвечали, что мастера эти призваны к престолу аллаха двести или сто лет назад.

Сощурив глаза, чтобы скрыть свой взгляд, Тимур терпеливо снова спросил:

— А где живые?

Садовник отвечал, а виноградарь поддакивал ему, согласно кивая головой:

— Азербайджан никогда не оскудевал мастерами, великий государь. Есть зодчий Юсуф, сын зодчего Якуба, Отец этого Якуба, дед этого Юсуфа, был Хамид. Он воздвиг радующий глаза мавзолей над гробницей премудрого Рашид-аддина. Нынче тот мавзолей...

— Видел. Хорошо был построен.

— Внук этого Хамида, сын зодчего Якуба, зодчий Юсуф жив. Славный строитель! Он воздвиг многие мечети в разных местах, бани в Тебризе, торговый ряд в Шемахе...

— Где он — Юсуф?

— Недалеко отсюда, в горах, Его водит мальчик. Увы, уже много лет, как он ослеп. Он больше ничего не может, великий государь.

Во весь тот вечер ему так и не назвали ни одного зодчего, какого он мог бы взять отсюда к себе в Самарканд.

Тимур ничем не выдал ни гнева, ни даже нетерпения: ровным голосом спрашивал, молча выслушивал ответ, снова спрашивал ровным голосом.

Во весь тот вечер, сидя с отцом, Мираншах гневно ворочался позади Тимура, но молчал.

Когда Тимур, наконец отпустив азербайджанцев, пытливо взглянул на сына и спросил:

— Ну?

Мираншах хрипло ответил:

— Я бы их плетками, они б про все сказали!

— Как ты их понял?

— Они прикидывались, а вы, отец, слушали их вранье!

— Зодчих я и без них найду. Мало ли мастеров взято в Самарканд. Не в них дело. Я хотел народ понять. Я затем их слушал, чтоб их понять.

— Как это?

— Из них ни один не выдал ни одного зодчего. Почуяли, что мне нужен зодчий. И не выдали! А ведь не знатные люди, не во-

еначальники,— простой народ. А все заодно! Здешние садовники, а знают своих зодчих, чтут уменье своего народа. Гордость в себе таят. Уменьем своего народа до смерти горды. Их знобит от страха, а крепятся. Вот какие! А не узнай простых людей, не поймешь, как взять их народ в руки. Как их держать в руках...

— Плетью и цепью, отец. Тигров и то так держат.

— На тиграх не пашут. Ничего ты не понял.

— Я давно понял, отец: народ должен быть смирен. Слушать их вранье — значит, потакать им. А чтоб их держать, нужна цепь; а чтоб ободрять — плеть.

— Цепь на целый народ негде выковать: железа не хватит. А ежели не цепью, тогда чем? Вот я к ним и приглядывался: чем?

Тимур поднялся. Пора было спать. Но прежде чем уйти от сына, переспросил:

— А? Чем?

— Мечом, отец.

— Мечом берут. А держать надо чем?

Мираншах молчал. Тимур ответил:

— Держать надо толком. Для каждого народа нужен особый толк. Одному — один, другому — другой.

Мираншах молчал. Тимур, сердясь, объяснил:

— Чтоб знать, какой толк годится тут, надо знать тутошный народ. Ты будешь править этим народом. Вот и посиди, подумай: какой толк годится тут?

Рассерженный молчаньем сына, Тимур, прежде чем лечь у себя в шатре, походил около реки, под деревьями. Потом обошел вокруг домика, который, казалось, настороженно вслушивался в ночную тишину под неподвижным светом луны.

Позади домика Тимур увидел водоем, восьмиугольный, обложенный серыми плитами, и проворчал:

— Кто ж копает пруд позади дома! Тут бы нужен двор, конюшни... Что ж он, лошадей, что ль, не держал? Звездочет...

Обойдя домик, Тимур снова вышел во двор, увидел черные ветки одичалой розы, остановился около, пробормотал:

— Воткнули розу незнамо куда!

И, успокоившись, пошел спать.

На рассвете Тимур увел свои воинства дальше и с тех пор не бывал здесь.

Теперь снова он ехал туда,— спустя столько лет ему захотелось снова побывать под сенью тысячелетних чинаров, в том маленьком домике, где, казалось, обитала чья-то горячая бессмертная душа. Он приказал готовить там стоянку и теперь ехал туда ворча с досадой:

— Дымы, дымы... тревогу затеяли!

Улугбек спросил:

— Кто, дедушка?

Тимур не ответил. Но от простодушного вопроса досада возросла: в том-то и дело, что он сам не знал — кто.

Они проезжали через обезлюдевшее селенье, где уже похозяйничала разрушительная рука передовых отрядов. У входа в лачугу лежал труп крестьянина; обгорелая, чадящая балка нависала над ним, но кровля еще держалась на пробитой стене.

— Это город, дедушка?— спросил Улугбек, которому хотелось говорить с дедом.

— Логово змей!— резко ответил Тимур и приказал начальнику конной стражи:— Срыть начисто! Чтоб знали!

— И еще не успели выехать из узких улиц, а уже затрещали и задымились бревна, заухали, рушась, глинобитные стены, застучали тесаки по стволам садов.

Еще не успели доехать до соседнего селенья, а там уже буйствовали воины, все валя и все сокрушая.

Чьи-то вопли всплеснулись было, но вмиг смолкли. Лишь деревья еще вздрагивали вершинами, противясь тесакам.

Улугбек, любуясь, оглядывал небольшие, как молитвенные коврики, поля, обложенные по краям грядами камней, зазеленевшие озимью.

Кое-где тянулись узкие пашни. Вились, как пряди расплетенных кос, длинные борозды, еще не провядшие после пахоты, ожидавшие сева. Тут и там среди этих пашен валялись сохи, покинутые, видно, наспех возле недопаханных полос.

Зелень всходов, радостная, как детский смех, беспечно сияла то там то сям. Поля пшеницы, ячменя. Курчавились густые всходы клевера. И нигде ни крестьянина, ни буйвола, ни пса. Всюду — лишь воины. Всюду взблески железа и стали — оружия, начищенного перед походом.

Улугбек поглядывал не без гордости, не без самодовольства на дедушкиных воинов, лихо сидевших на конях. Но дедушка, буднично хмурясь, сутулился в седле, время от времени что-нибудь приказывая начальникам.

Он кивнул на сияющие зеленя:

— Пустите сюда стада. Довольно тут пахать. Пасите тут.

Улугбек понял, что этих полей больше не будет, и тогда увидел их какими-то иными, и тогда заметил в них многое, чего не замечал прежде. Так всегда ему представлялось в новом облике то, о чем он узнавал, что больше не увидит этого,— люди, которых уводили на казнь, здания, обреченные на слом... Он вдруг примечал в них что-то такое, что запоминалось надолго, какие-то особенные черты и подробности, ускользавшие прежде и вдруг открывавшиеся в последнее мгновенье их бытия. Но как это случалось, почему это становилось иным, он не мог понять.

Улугбека отвлекло от раздумья открывшееся на повороте пути небольшое селение. Прижатое к предгорью, оно поднималось, улица над улицей, по склону холма. На соседней горе уже лежала синяя тень, а селенье светилось, озаренное ярким послеполуденным солнцем. Видно было, как там бесчинствовали воины, разламывая кровли и стены, пытаясь разбить стены башен, сложенных из больших камней.

— Так им! Так им!— сказал Тимур.

Улугбек вглядывался, запоминая отроги улиц, ряды строений, древние бойницы в стройной башне, приземистый, темный купол бани,— все, чего больше никто не увидит, чего больше никогда не будет на земле.

Новый поворот пути вдруг открыл внизу долину, где над свободным изгибом серой реки раскинулись еще голые ветки обширных чинаров.

На берегу виднелись люди в разных халатах. Вились голубые дымки очагов. Табунками стояли, опустив головы, заседланные лошади. Пестрели полосатые разлапистые шатры, горбились коренастые юрты.

Тимур вздернув коня на дыбы, остановился:

— А где... дом?

Едва глянув в яростные глаза повелителя, двое из караула поскакали к чинарам, а Тимур, обернувшись к вельможам, повторил:

— Дом!.. Где?

Улугбек был здесь впервые и не понял дедушку. Но вельможи пятили своих коней, переглядываясь между собой.

Тимур настаивал:

— А?

Все молчали, глядя вслед воинам, торопившимся к чинарам.

Тимур, нетерпеливо, все еще топчась на месте, настаивал с нарастающей яростью:

— Дом Звездочета! Где?

Он не хотел знать, что из этих соратников некому ответить на его вопрос: все они находились с ним, никто за эти годы не бывал здесь. Но ему необходим был ответ. Без промедленья, без оговорок. Куда пропало то, к чему весь этот день он направлял коня?

Видя, что от них он не получит ответа, не желая ждать, сразу забыв о спутниках, о внуках, он кинул коня вскачь и помчался, распрямившийся, легкий,— поскакал по извилистой, головоломной тропе вниз, к чинарам.

Все отстали, не решаясь так ехать здесь, где каждый шаг коня был опасен.

Он один ворвался в гущу растерявшихся людей, застигнутых

врасплох. Двое стражей еще не успели ничего узнать, а он с одного взгляда понял, кого надо спрашивать.

Мясник азербайджанец, свежевавший барана, когда подскакал Тимур, встал перед ним обомлевший, дрожа мелкой дрожью, бессознательно вытирая окровавленные ладони о бедра.

Тимур, глядя в помертвелое, круглое, лоснящееся лицо, шептал:

— Где Дом Звездочета?

— Государь... Великий...

— Ну?

— Не виноват... Не виноват! Не я!

— Ну!

— Великий... Не я!

— А кто?

— Уж давно. Года два как... Приказ был.

— Чей?

— От правителя... от самого — да благословит аллах его имя,— от самого, от Мираншаха...

— Что... Что? Когда?

— Уж года два назад... Сам Мираншах, да благословит аллах...

Ярость Тимура вдруг сменилась горячей волной горечи, волной горя и боли.

Он слез с седла и, подхваченный под руки, медленно, тяжело хромая, поплелся к шатру, раскинутому на той площадке, где прежде стоял дом. Перед входом в шатер вскинул гибкие ветки, усыпанные багровыми шипами, одинокий куст одичалой розы.

Он молча опустился на зеленый тюфячок и махнул, чтобы все отошли прочь.

Вокруг наступила тишина. Никто не знал причины гнева повелителя. Никто не смел говорить. Даже, казалось, дышать все вокруг перестали. Лишь лошади на приколах похрапывали да позвякивали чем-то. Да издали достигал сюда гул воинств, проходивших на походе стороной от этого уединенного места.

Когда, наконец, ближайшие из вельмож приблизились к шатру, они увидели его, сжавшегося в комок, маленького среди огромных подушек.

Не предлагая вельможам ни сесть, ни даже войти в шатер, он тихо спросил:

— Ну? Видели?

Все молчали.

Уставясь в широкую бороду Шах-Мелика, повторил:

— Видели? Кого миловали...

Тимур поднял длинное, отяжелевшее лицо; блеснули маленькие, глубоко запавшие, полные горя глаза.

Сказал с укором:

— Кого оправдывали?.. Мы созидаем, а он рушит! Дикий кабан!

Ждали гнева, ярости, а он, трудно поднимаясь с тюфячка, запутавшись в полах халата, никак не мог встать, не замечая, что наступил на полу халата, и только укорял:

— А вы... размякли, потатчики... Как вдовы! Вам бы няньками... Кормилицами! А?

Все молчали, по опыту многих лет зная, как опасен Тимур, когда гнев его еще затаен где-то внутри, еще свернут в кольца, как готовый к прыжку удав. Лучше отмолчаться, лучше попятиться: кто откликнется первым, по тому хлестнет первый удар.

Но теперь гнев его не открывался. Да и такие глаза у Тимура мало когда доводилось видеть. Может быть, и никогда не доводилось.

Он вышел из шатра мимо расступившихся вельмож и, медленно прохаживаясь, пошел по двору, закинув за спину руку.

Длинный правый рукав свисал, как пустой, а на левой руке болталась плетка, подскакивая всякий раз, когда он ступал больной ногой.

Он бормотал в раздумье:

— Мы воздвигаем, а он рушит. Что нам нужно, то ему постыло. Ему что нужно? Что ему нужно?

Тимур подошел к самому краю водоема.

Холодная серая весенняя вода темнела перед его глазами. Присев, зачерпнул воды в ладонь. Еще и еще. Потом мокрой ладонью вытер лицо. Снова зачерпнул воды. Сполоснул рот. Сплюнул.

Встал. Складки халата распрямились. Плечи поднялись.

Вторая глава

СИНИЙ ДВОРЕЦ

В стороне от шатров, в низине у реки, темнел круг юрт, где ждали связные от войск, посланцы от правителей городов и стран, гонцы. Там в полумгле юрты на кошме сидел Аяр.

Пахло мокрым войлоком и сырой землей..

Аяр добрался сюда утром. Здесь встретил многих давних знакомцев из разных городов. Поговорить было с кем.

Но разговаривали мало, тихо, зная, что повелитель уже прибыл сюда. Тревожно поглядывали на каждого, кто подходил к юрте: не за кем ли нибудь из гонцов?

Но еще никого не звали.

Эту зиму Аяр прозимовал в Самарканде, среди челяди Синего Дворца, где ему, непоседливому, невтерпеж было бездеятельное ожиданье. При правителе, при Мухаммед-Султане, содержалось

наготове немало запасных гонцов. Из них многие относились к досугу беспечно — бились целыми днями в кости, слонялись по людским кухням, рассказывали друг другу сказки или вековечные истории о героях и волшебниках. Но Аяр с рассвета уже искал себе занятий. В погожие дни ходил по базарам, приглядывался к торговле; в непогоду прохаживался по дворцовым дворам, по мастерским, между разноязычными, разнолицыми ремесленниками Тимура.

Под сводами дворцовых переходов и подвалов завелись знакомства. Чужеземная одежда не заслоняла от Аяра душу тех, кто ту одежду носил. Кто мало странствовал, тому иноземец в диковину, тому за непривычной одеждой и сам человек чудится загадочным и чуждым. А кто насмотрелся на чужеземные обычаи, привык и чужеземцев понимать, как своих сородичей. Аяр много стран повидал на своем веку, побывал среди многих народов и, расхаживая по мастерским, вспоминал то одну, то другую из пройденных дорог.

Он приметил: тут издалека и отовсюду сюда свезенные мастера строго блюли свою родную одежду; строже, чем у себя в родных краях; блюли ее не только как память о далекой родине, а и как знак вечной верности своим народам. Обносившись, на скудный достаток шили обнову, требуя, чтобы все в ней было скроено, как в той, в которой ушли из отчей земли.

Но между собой эти выходцы из столь разных стран жили как один народ, вместе снося тоску по родному очагу, делясь водой и хлебом. Сидя длинными рядами, бок о бок работали уйгуры и армяне, арабы и хорасанцы — ряды шорников, ряды ткачей, ряды серебряников: в Синем Дворце мастеров размещали не по языкам, а по ремеслам. Здесь одни в стукотне и звоне чеканили, другие в чаду варили сплавы; иные в духоте и в полутьме ткали и все изделия рук своих сдавали кладовщикам.

Посторонним людям доступ сюда был закрыт, мастерам не было выхода отсюда. Но кто же остановит царского гонца, не подвластного никому из стражей! Аяр заходил сюда часто. И не без выгоды.

Сперва похаживал, поглядывал,— кто из мастеров искусней других, каков над ними надзор, каков ведется их поделкам учет, каковы нравом стражи, шатающиеся с длинными прутьями в руках позади мастеров.

Когда Аяр ко всему вокруг пригляделся и подневольные мастера пригляделись и попривыкли к Аяру, перекинулись раз-другой мимолетным словом, гонец с мастерами, мастера — с гонцом.

Но как ни изнурен, как ни угнетен человек, а и у раба есть свои мечты. Одним еще мечтается о родном городе с высокими башнями, садами, об отчем крове, о семье, о шустрых маленьких пальчи-

ках своих детей... У других надежда омертвела,— этим мечтается лишь о ломте свежей лепешки, которая пахнет глиной домашнего очага, о кислом яблочке, о стручке перца.

Раз-другой пронес сюда Аяр и лепешку, и яблоко. Подал мастерам, как подают узникам, во имя аллаха. А когда мастера приметили, что Аяр может проносить из города запретные ноши, принялись просить, приступили заказы заказывать, посулы сулить:

— Не задаром просим, дадим кое-чего...

Аяр зорко приглядывался к изделиям собеседника, нарочито удивлялся:

— А чего?

— А вот — свое рукоделье. Может, возьмешь да сбудешь? А случится сбыть, купи мне...

Так многие, суя в руку Аяру то, что удалось утаить от стражей, наказывали купить кому что...

Сперва Аяр разборчиво брал лишь такое, что вынести мог неприметно, а сюда проносил лишь то, что не оставляло следа, чтоб улик не осталось: если сушеных абрикосов, так без косточек; если орехов, то без скорлупы. Притом не только берегся стражей, но недоверчив был и к мастерам: из мастеров выбирал самых умелых, ибо их изделия легче сбыть; из лучших мастеров — самых суровых, чтоб лишнего разговору не вышло; из суровых — самых понятливых, чтоб, шепнув одно слово, сразу обо всем договориться. Перед остальными прикидывался то тугим на ухо, то бестолковым на намек, и тут уж ни на какие уговоры не поддавался.

В один из дней он пошел на базар, за пазухой неся от араба ткача лоскут полосатого шелка, от азербайджанца — медные бляшки для седельной сбруи, от перса — бронзовую чернильницу с коралловой шляпкой.

На базаре из-за студеного ветра народу было мало. Купцы сидели нахохлившись, в толстых стеганых халатах, а то и в ярких шубах, подбитых лисьими мехами. Насупив на брови шапки, купцы поплясывали перед лавчонками, разминая застывшие ноги, а покупатели, наскоро накупившись, сжимая окоченевшими пальцами узелки, то и дело утирая рукавами носы и усы, пробегали, оскальзываясь на обмерзшей дороге.

В крытых рядах было темно. Снег намело сквозь щели навесов, и время от времени морозный комок сквозь щель падал вниз, оставляя за собой седое облачко. Из-за такой погоды в рядах застыла необычная тишина.

Все же, выходя из-под круглых сводов базарного перекрестка, Аяр высунул из-за пазухи край лоскута, и встречный, торопливо проходивший старик, будто осекся, круто остановился.

— Сбываешь?

Аяр высунул лоскут до половины:

— Если вам очень нравится, почтеннейший...

Явно прельстившись, но не прикасаясь к лоскуту, старик опасливо остановился.

— Дорожишься?

— А где такой шелк дешев?

— Брал бы цену, был бы торг...

— А шелк-то каков!

Старик долго щупал лоскут, словно шёлк от этого размягчится или затвердеет; понюхал, пожевал губами, помолчал и вернул Аяру.

— Привозной!

— Дорога длинная...

— Багдадский!

— Приятно, когда покупатель с понятием.

— А цена?

— По дороге и цена. И к тому же: воздух, а не шелк!

— Вот и нехорошо, что воздух. Мне б поплотней.

— Кому что! — пожал плечами Аяр и равнодушно засунул лоскут назад за пазуху.

Старик пожевал губами и пошел прочь, но не ушел.

Оглянулся. Остановился.

Аяр запахнул свой халат.

Старик вернулся.

— Дай еще посмотреть.

— Холодно, отец, попусту распахиваться.

— Давай!

Старик долго непослушными пальцами отсчитывал деньгу деньгой, будто из каждой выжимал сок.

Забрав покупку, он отошел и снова остановился, разглядыв ее. Снова долго щупал ее, смотрел на свет, втайне радуясь, что самого Багдада она так прямо далась ему в руки.

Эта сделка ободрила Аяра. Он пошел по базарным закоулк веселее, смелей.

Закатанные в шерстяной пояс, у него свисали с живота еще сбытые медные поделки, но не раскладывать же всякую мелочь дороге: и ремесленные старосты пристанут, и купцы своего выбо ного подошлют. Он решил отдать этот товар кому-нибудь из м ников; осторожности ради не местным, а каким-нибудь иноз ным, завозным, — персам ли, азербайджанцам ли, — но спохват ся: персы, пожалуй, догадаются, откуда взят товар, по ремес опознают мастера; да ведь и азербайджанцы тож: у мастеров гл на чужие изделия остер, наметан.

В этих сомнениях он шел мимо мастерской Назара. Назар с дел, отбивая плоские, с узором, кольца для уздечек. Аяр приост новился:

— Успеха мастеру!
— Да ниспошлет бог и вам...
— Колечки на уздечки?
— А разве не хороши?
— У меня на всю сбрую набор завалялся. Издалека привез, да думаю: к чему он мне?
— Ежели не надобен, чего ж ему валяться?
— Да что же, сам я, что ли, тут лавку открою? Мне это дело не по седлу, почтеннейший. Вот взяли б да и сбыли б заодно со своими колечками.
— Колечек-то я наковал на весь базар. Оптом сбуду. Наше дело свое рукомесло сбывать, не чужое.
— А взгляните, не подойдет ли?
Аяр раскрутил пояс и высыпал нарядные бляшки перед Назаром.
Назар раскладывал их перед собой широко, чтоб понять, как все они распределятся на сбруе, приговаривая:
— Ну, ну, глянем... Чего ж не глянуть?.. Работа в самом деле не здешняя.
— А вам это и сказано, почтеннейший.
— Мало ли что говорят люди. Люди говорят, говорят... Хоро-
ая работа. Откуда такая?
Аяр, вспомнив родину, мастера азербайджанца, ответил:
— Ширванская.
— Далеко наши гонцы доскакивают.
— Куда пошлют!— ответил Аяр и опомнился: «Да откуда же
меня знает?»
На Аяре не было ни гонецкой шапки с красной косицей, ни ко-
кого ятагана с тамгой на эфесе, дававшего гонцу право на ско-
о смену коней в пути.
— Может, я и не гонец, почтеннейший!..— захитрил Аяр.
— Да я как-то в крепости вас приметил.
Аяр забеспокоился:
«В крепость хаживает! Зачем? Не оплошал ли я?»
А между тем Назар продолжал:
— Давно оттуда? Из этого, из Ширвана?
Аяр совсем смутился:
«Как быть? Сознаться, что давно там не бывал, а мастер спро-
, откуда взялись эти медяшки. Сказать, что теперь оттуда вер-
ся,— а может, он в крепости прознал и мои пути, во лжи ули-
, нехорошо обо мне помыслит!»
Аяр не был равнодушен к помыслам людей о нем: каковы
ни были сами те люди, но их помыслы о нем должны быть поч-
ельными! Аяр очень ценил от кого бы то ни было почтительное
ношение к себе, он не знал, что ненависть врагов не умаляет

расположения истинных друзей, не знал, что льстивый голос врага опасней, чем укоры друга.

Аяр гордо погладил свою жидкую бородку и многозначительно ухмыльнулся:

— Мало ли дорог у гонца!

— Что говорить,— много! Ой, и много ж нынче дорог у царского гонца!— Много дорог царь ваш прошел, по многим ходит. Подумать страшно, куда нынче зайдет!

— Повелитель свои дороги сам знает!— наставительно возразил Аяр.

— А как же! Знает! Хорошо должен знать. Потому и не везде ходит.

— Это как так?

— Где скользко, где морозко, где народ крепок, туда небось не идет!

— Это что за слова о нашем повелителе!— Вскинул голову Аяр, встревожившись: не услышит ли кто-нибудь таких странных слов о Тимуре. Вокруг никого не было: мастера в такой холод занимались каждый своим делом, а случайных путников не проходило.

Назар, приметив беспокойство Аяра, усмехнулся:

— Да какие это слова! Осторожен, говорю. Дорогу свою знает... А вам-то не случится ли снова в тот Ширван сходить?

Тут глаза Аяра и Назара встретились. Взгляд мастера был спокоен, миролюбив, и Аяру вдруг стало неловко, не захотелось гордиться перед этим человеком с таким ясным и понятливым взглядом; Аяр ответил просто:

— Разве сам я себе выбираю дорогу!

— Да мне и не к чему знать. В Ширване у меня небось никого нет. А всю эту мелочь оставьте; как-нибудь сбуду. Как сбуду, так расплатимся.

— У меня и еще такой безделицы много, почтеннейший.

— Приносите, может, и ту продадим.

Аяр вернулся к невольным труженикам Синего Дворца, роздал им покупки. Доверие к Аяру у мастеров укрепилось, хотя они молча понимали, что не без изрядной корысти столь великодушен этот гонец. И с того дня повелось: из Дворца он выносил, с базара приносил. Смелость и ловкость возрастали с каждым днем, и все больше серебряных «княжат» застревало у гонца между пальцами.

Едва ли выпало бы такое раздолье Аяру, будь в Самарканде сам Тимур; без Тимура здесь все шло по-другому,— и надсмотрщики стали не столь приглядливы, и стражи не те, что были. И сами мастера, словно проснулись, посмелели, поживели. Многое в городе изменялось, когда уходил Тимур,— казалось, и город просторней и люди рослей.

Когда после зимних туманов задождил прозрачными ливнями

конец февраля, Мухаммед-Султан вызвал Аяра: выпала гонцу дорога к самому повелителю.

Перед дорогой Аяр зашел в мастерскую. Мастера приметили и новые сапоги, и новую алую косицу на шапке гонца и поняли: собрался в путь.

Многие попытались дознаться, в какую сторону лежит эта путь-дорога. Но Аяр отмолчался, отшутился:

— Долга ль дорога, дело покажет; длинна ли, конь скажет.

Но когда о том же спросил азербайджанец, отливший бляшки и много других мелких искусных вещиц, отнесенных к Назару, Аяр многозначительно подмигнул:

— К тебе.

— В Ширван?

— Навряд ли.

— В Марагу?

— А что?

— Там, на базаре, позади Купола Звездочетов, где Медный ряд...

— Знаю.

— Ширван-базар называется...

— Многословен ты!

— Сказать там человеку два слова.

— Что за слова?

— Ждем, верим.

— Родня, что ли?

— Родня.

— Я скажу два слова, а услышат два уха. Да вдруг не те? Этак я и сам без головы останусь.

— Всего два слова: отблагодарим!..

— Бляшками? Прошло время с ними шутить.

— Отблагодарим!

— Чем уж!..

— Намедни серьги отливал. Большой сердолик в щель закатился.

— У тебя?

— С меня взыскали б! Главный обронил. Искали — не нашли. Кругом обшарили — нету. А вам найдем.

— Хороших сердоликов давно не видал. Да хорош ли?

— Целебный камень. Если носить, кому помогает от печени, кому от...

— Знаю.

— За Куполом направо третья мастерская. Там старик, совсем стар. Вот ему сказать: из Самарканда, мол, Реза велел сказать: ждем, верим.

— А вдруг да нет того старика? Помер!

Узколицый азербайджанец, у которого усы вились из-под большого, тяжелого носа, взглянул тяжелыми, как камни, круглыми глазами, медленным, пытливым взглядом посмотрел на Аяра — «передаст ли, не выдаст ли?»— и уверил гонца:

— Старик там всегда есть.

Разговор прервался: во мглу мастерской, пригибаясь под сводами, вошел главный. Аяр успел шепнуть.

— Вечером зайду за сердоликом.

И, сменив по дороге гонецкую шапку на простой треух, пошел к Назару получить должок за последний принос медного ковья и литья.

В мастерской работал один Борис. Он обтер о кожаный фартук черные ладони и вышел сказать Назару о приходе Аяра; вернувшись, объяснил:

— Вчера мой мастер кувалду на ногу обронил, теперь лежит. Пойдем к нему.

Борис провел Аяра через мастерскую в небольшую низенькую келью, по всему полу застланную серыми кошмами. На приземистой широкой скамье лежал мастер, до плеч накрывшись стеганым зеленым халатом.

Аяр посочувствовал:

— Заболел?

— Да не то чтобы... А не могу стоять на ноге. Лежу жду, пока она снова меня держать будет.

Аяр сел на край скамьи.

— А мне ехать пора.

— В какую теперь сторону?

Борис стоял у двери, и Аяр покосился на него:

— В какую сторону ни пойди, все стороны темны без денег.

— Ваш товар я сбыл. Выручка — вот она.

Назар приподнялся и отвернулся к стене, вытягивая из-под подушки кисет с деньгами.

Аяр смотрел на широкие плечи кузнеца, на его смуглую мускулистую шею, осененную подстриженными в кружок густыми волосами. Что-то прочное, не то воинское, не то крестьянское, было, что-то очень сродни Аяру в этом хорошо сложенном теле Назара.

Но Аяр строго напомнил:

— Цена — как уговорились. Меньше не возьму.

Назар, не поворачиваясь к Аяру, высыпал деньги на ладонь и, отсчитывая их, ответил:

— Зачем меньше? По уговору. Вот она, выручка...

Он засунул кисет обратно и повернулся к гонцу:

— Хватит на дорогу?

Аяр не ответил, деловито углубившись в подсчет денег.

Назар спросил:

— Так в какую же теперь сторону?

Аяр по привычке хотел уклониться от прямого ответа, но Назар спросил так дружелюбно и просто, что Аяр, как и в первый свой приход сюда, сам того не чая, ответил так же прямо и просто:

— К самому. К повелителю.

— За Хвалынь, значит!— усмехнулся Назар, не скрывая, что хорошо знает, где теперь находится Тимур.

Аяр насторожился: не оплошал ли? Негоже тайные дела царских гонцов выносить на базар!

Назар уловил тревожный взгляд Аяра и равнодушно сказал:

— В такую дождливую пору только у себя дома хорошо, под плотной крышей.

Перекинувшись быстрым взглядом с Борисом, он добавил:

— Поди, Борис, да поскорей, понял?

Едва Борис вышел, Назар повторил:

— Дело к весне. Дороги теперь скользкие, не расскачешься!

Аяр соглашаясь, посетовал:

— У нашего брата-гонца дороги всегда скользки.

— Все мы весь свой век векуем на оскользе.

— Весь век!— согласился Аяр.

Они не спеша разговаривали на том базарном языке, где слышались слова персидские и тюркские; на языке, которым говорили не одну сотню лет на всех базарах просторной Азии. И хотя давно было пора Аяру уйти и собираться в дорогу, ему не хотелось уходить от мастера, из этой теплой, тихой кельи, от спокойной, неторопливой речи Назара, словно прибыл Аяр наконец домой. И сам не знал, откуда взялось это чувство. Может быть, он просто устал от вечной настороженности, от долгих бездомных скитаний...

Вернулся Борис и на безмолвный вопрос Назара ответил лишь отрывистым кивком головы.

Аяр, как бы винясь, говорил Назару:

— Весь век в седле, а вашей земли не видел. Вашими дорогами не ездил. Москва далека!

— Не так чтобы...— задумчиво ответил Назар.— Не так-то и далека...

— Русских много видел, а земли вашей не знаю.

Вдруг в разговор вмешался Борис:

— А русских — где?

За Аяра ответил Назар:

— Русских кругом много. Тут без тебя гонец рассказывал: в каждом большом городе — на ремесле, на земле, в садах — везде много нашего народу.

— Тысячи!— подтвердил Аяр.

Борис усомнился:

— Откуда же столько?

Опять ответил Назар:

— Ордынцами навезены. С Волги, с Оки — отовсюду, где ордынцы невзначай грабили, где безоружных врасплох застигали. Там нахватают, сюда сбывают. А отсюда уйти назад — длинна дорога: стража кругом, негде по пути притулиться, куда уйдешь! Вот и живут как бог даст. Иные десятки лет тут живут, в труде, в терпении, в помыслах о родной стороне, о своей земле.

Борис заметил по-русски:

— Воля божья. А я так помышляю: настанет пора — вызволят. Москва-то крепнет!

Аяр, вздрогнув, взглянул на Бориса:

— Что ты сказал о Москве?

Назар покосился на Аяра, но ничего не примстил в гонце, кроме любопытства.

Борис отмолвился по тюркски:

— Москва мне родина.

В это время, постучав колечком, подвешенным к двери, вошел коренастый сарбадор, у которого рыжеватая борода сглажена на одну сторону.

Аяр и сарбадор быстро, настороженно оглядели друг друга, словно две тонких, кривых сабли, звякнув, схлестнулись в воздухе, и тотчас каждая скрылась в своих ножнах.

Назар объяснил Аяру:

— Сосед наш. Шерстобой. Вишь, войлок тут на полу,— от него. А с войлоками зимой теплей.

Аяр согласился:

— С войлоком теплее.

— О Руси беседовали?— спросил кривобородый.

Ответил Аяр:

— Вот, говорю, ездил много, а Русской земли не видывал.

— Ваши дороги там лежат, где наш повелитель ходит.

— Истинно, почтеннейший!— согласился успокоившийся Аяр.

Назар сказал кривобородому:

— Теперь вот снова наш гонец в путь собрался.

Кривобородый улыбнулся:

— Если б в сторону повелителя ваш путь лежал, мы туда поклон бы послали.

— Поклон легко везти: места не занимает!— согласился Аяр.— Кому?

— В Мараге-городе не случится ли побывать?

— А вдруг случится?

— Есть там Ширван-базар. Позади Купола Звездочетов.

— Знаю!— усмехнулся Аяр.

— Есть на том базаре литейщик. Зовут его Ализода. Ему сказать: просил, мол, человек из Самарканда поклон передать. Просил,

мол, сказать: ждем товару, верим, что товар будет хорош. А покупателей у нас, мол, по всему нашему Междуречью есть сколько надо. Только б товар хорош был! Не запамятуете?

— Сказать нетрудно, да как бы не забыть...

— А мы чего-нибудь дадим на память! — решил Назар.

Аяр удивился:

— Кому же из вас этот товар? Кузнецу одно надо, а шерстобою другое!

Кривобородый объяснил:

— Будет товар хорош, каждому годится!

Назар заколебался:

— Вот только... Чего бы вам на память дать?

Аяр небрежно отмахнулся:

— А чего не жалко...

— Народ мы бедный, хорошую памятку взять неоткуда; мелочь давать — недостойно...

Кривобородый, решительно засунув руку за пазуху, вытянул, обтер о халат и протянул Аяру белую, похожую на плоскую пуговицу, вещицу:

— Вот, случилось этой осенью купить у воина. Примите!

Аяр взял из его ладони круглую костяную серьгу. На ней был искусно выточен крошечный слон и две порхающих птички.

Кривобородый приговаривал:

— И вся-то не больше ногтя, а ведь уместил же резчик целого слона в ней и птичек с распахнутыми крылышками!

Аяр не сумел скрыть удивления:

— Мала, а мастерство.

Назар:

— Мала... Мала, а вот человек изощрился, и что задумал, то все и вместил! Не размером меряй мастерство, о труде судить не по величине, а по уменью надо.

Аяр:

— Мастерство явное!

Он хотел еще что-то сказать, но спохватился, — незачем радоваться подарку: любой подарок надо принимать как вещь незначительную, — когда наидрагоценнейшую диковину принимаешь как должное, как нечто обычное, тогда уважение окружающих к тебе возрастает; если же удивительному удивляться, над непонятным задумываться, прекрасным восхищаться, не возвысишься в глазах людей! Нет, людям надо представляться человеком видавшим виды; чтоб они не считали тебя подобным каждому из них.

Пренебрежительно подкинув серьгу, Аяр поймал ее на раскрытую ладонь и усмехнулся:

— Трудился резчик, видать, немало над ней. А к чему? Что с ней делать? Какая от нее польза? Может, в девичье ушко она и

годилась бы... Да и то, будь цела к ней вторая серьга. А для уха воину навряд ли она подходит. А, почтеннейший?

— Это вам видней!— согласился кривобородый.

Аяр продолжал разглядывать серьгу:

— Не наша!

— В походе небось добыта!— предположил Назар.— Может, индийская...

Борис задумчиво сказал:

— А ведь было время — было их две вместе. Да поди-ка найди теперь, где она та, пара-то от нее. Может, и есть где, за тридевять земель отсель, а поди-ка найди! Так и с людьми тоже случается... Да и чьей прежде она была, об той тоже ежели подумать...

Аяру пора было уходить. Но уходить от этих людей не хотелось. Сказал Борису:

— Верно говоришь, пара-то от нее где? А без пары что ей цена!

Уже стоя посреди кельи, как бы завершая главный разговор, вздохнул:

— Ваш народ — неразговорчивый народ, невеселый. Строгие люди! Как их ни обхаживают, они своей земли не забывают, в нашу веру не идут. Скольких видел — все одинаковы: дичатся, таятся. Между собой, как братья, тесно живут. Видно, хороша ваша земля, когда так помнят!

Назар охотно согласился:

— Хороша!

— Дичатся, таятся, будто чего-то ждут. Каждый чего-то ждет. И все вместе чего-то ждут. Будто непременно что-то для них сбудется! Непонятен ваш народ, почтеннейший. Чего ждут?

— Им виднее!— ответил Назар.

Аяр еще потоптался среди комнаты. Спрятал серьгу за пазуху, но медлил уйти.

Когда ж, пригнувшись, проходил в дверь, он заметил, как через двор легко перебежала стройная темнолицая женщина.

Поутру, едва отворили городские ворота, Аяр покинул Самарканд.

Третья глава

ДОРОГА ГОНЦА

Аяра сопровождали четверо воинов. У каждого — свежий конь из джизакских табунов Тимура, под чекменем — короткий ятаган, в руке — легкое копье.

Вокруг простиралась зимняя, бесснежная, серая гладь степей. Вдали синели горы, то задернутые туманами, то покрытые суровым снегом.

Потянулась длинная, на многие дни, мокрая, скользкая, дальняя дорога. Через степи, горы, пустыни, через родные свои селенья; через чужие покоренные города, через становища одичалых племен, через нежилые развалины недавних городов, где повелитель пожелал создать пустыри, чтобы умелых мастеров отсюда увести в свои города; через чужие заброшенные поля, куда повелитель пожелал пустить пустыню, чтобы земледельцев отсюда переселить на свои земли, чтобы их руками рыть оросительные канавы на своих полях.

Аяр сидел в седле небрежно, но крепко. Воины, приноравливались к нему, то сбавляли рысь, когда пересекали безлюдные места, то пускались вскачь, когда показывались селенья, чтоб народ сторонился перед ними: велика честь селенью, что по его улице мчится царский гонец.

В отяжелевших от дождей и от пота чекменях, в широких лохматых треухах, одними лишь копьями напоминали они, что не простые всадники скачут следом за красной косицей гонца, но сами воины повелителя.

Кругом простирались мутные февральские просторы, словно в воздух, как в воду, плеснули молока.

В Каршах, в тесном древнем городе, остановились ночевать под кровом многолюдного, шумного карван-сарая, заслоненного от базара строем больших, ветвистых карагачей. Аяр знал эти деревья летом, когда, смыкаясь кронами, они распростирали густую благотворную тень. Теперь они высились голые и неподвижные.

К ночи заветрело. На черных ветвях карагачей большая стая ворон подняла неумолчный гомон, перекликаясь с другой стаей, носившейся в хмуром, темнеющем небе.

Зимние деревья никого не могли укрыть от студеного сырого ветра с востока. Ветер загулял и по просторному двору караван-сарая, сметая на людей мусор с кровель.

Аяр, разогревшийся от быстрой езды, скинул чекмень, скинул теплый халат и, прежде чем отдыхать, прошел на конный двор выбрать сменных лошадей, чтоб их подготовили ему к рассвету.

Для долгого отдыха в пути у гонца не было времени: пути гонца, как и все переходы караванов, четко расчислены в книге «Дорожник», и этого расчисленья никто из гонцов и никто из караванщиков не смел нарушать. Каравану полагалось идти от Бухары до Каршей четыре дня; гонцу — три. Каравану идти от Каршей до Балха — восемь дней; гонцу — пять. И так по любой дороге, до любого города. Если гонец на сменных, отстоявшихся конях ухитрялся пройти расчисленный путь быстрей, награждался.

Стемнело. Уже не видно стало городских строений, а ветер не унимался. И вдруг повалил снег. Накаркали вороны! По снегу не расскачешься. Вот тебе и Карши — родной город великой госпо-

жй — царицы Сарай-Мульк-ханым. Потому и город ныне прозывается Каршами, а не прежним именем — не Несеф. Карши — значит дворец. А дворец в Несефе поставил правнук Чингиза Казан-хан, отец великой госпожи, тут и родилась она, в этом самом дворце, тут и росла до пятилетнего возраста, пока не убил Казан-хана хан Казаган. Как зять Казан-хана нынче прозывается Тимур гураганом, ханским зятем. А дворца того в Каршах уже нет. Хан Тохтамыш разрушил тот дворец лет десять назад, когда повздорил с Тимуром. Где-то он нынче, неблагодарный Тохтамыш-хан? Дважды Тимур ходил его бить за неблагодарность. Под Чистополем во чистом поле бил. На Тереке-реке бил. А все еще цел Тохтамыш-хан, а все еще где-то скрипит зубами, точит меч, не угомонился, не поклонился повелителю мира.

Может быть, тысячу лет стоит этот город Несеф, нынешний Карши. Много дел тут поделалось, много всяких людей побывало, пожило, сошло в забвенье. Много снегу сюда наметало со степи, много его здесь перетаяло. А вот опять наметает, метет, валит. А на рассвете надо выезжать и ехать наскоро.

Всю ночь Аяр вскакивал, выходил глядеть, не стихает ли снег, не светает ли утро.

Когда в предрассветной синеве выехали из ворот, Аяра знобило. Никак не мог согреться.

На городских кровлях лежали белые тяжелые слои снега. Весь город казался разглаженным белыми плоскостями кровель; и между ними вздымались в небо серые султаны голых тополей да желтели сырой глиной стены строений.

Кони увязали в снегу, в глубоком, рыхлом снегу, прикрывшем всю землю ровной гладью. Кони то оскользались, то спотыкались — не разглядишь ни канав, ни кочек.

В каршинской степи, на бескрайнем просторе, понесло навстречу всадникам студеным ветром. Заиндевела шерсть лошадей. Слезились глаза от стужи, от ветра.

Когда добрались до Маймурга, смерклось. Заночевали в низенькой келье постоялого двора, заполненного большим овечьим гуртом.

Под заношенным холодным одеялом Аяр ворочался всю ночь, пересиливая себя, не желая поддаться тяжелой слабости, силясь перебороть болезнь.

Утром, ослабевший, пошатываясь, он все же сел в седло и поехал дальше. Но все трудней стало ему держаться в седле. Тело настойчиво тянулось к земле, к покою. Впереди был постоялый двор — Рабат-Астан. Можно было остановиться там. В этом Рабате редко останавливались, предпочитали добираться до Миянкалы, укрепленного караван-сарая, где всегда стояло много проезжих, где были запасы корма для лошадей и верблюдов и хорошая хар-

чевня. Но не только до Миянкалы доехать, а и до Рабат-Астана у Аяра не хватило сил.

В какой-то небольшой, до кровель заваленной снегом деревушке Аяр остановился. Воины помогли ему дойти до первой мазанки.

Постучались в черную от времени низенькую калитку.

Вышел старик в широких засаленных овчинных штанах. Их шов кое-где распоролся, и в прорехах торчала бурая овечья шерсть. Серые глаза слезились над свалявшейся бородой, похожей на лоскут овчины.

Длинная домотканая рубаха, распахнутая на груди, на пронзительном ветру не могла укрыть от стужи костлявого старого тела, но старик неторопливо здоровался с гостями, неторопливо вел их по двору, гремя по оледенелой земле одеревенелыми туфлями, надетыми на босу ногу.

В приземистой лачуге, в темной комнатке под черным низеньким потолком, на глиняном полу ничего не было, кроме истертой войлочной подстилки да глиняного кувшина у двери. Но вошедшим сразу показалось здесь теплей, чем снаружи, хотя теплей здесь было лишь оттого, что толстые стены укрыли иззябших путников от ветра.

Один из воинов начал было объяснять хозяину, что Аяр заболел, но старик, как бы успокаивая их, поднял перед воином ладонь, приговаривая:

— Погоди, погоди...

И торопливо нырнул в другое жилье, откуда принес две овечьи шкуры. Он расстелил их на войлоке, и Аяр беспомощно опустился на них. Постояв над ним, старик снова ушел. Он вернулся с широким, много раз латанным шерстяным чекменем, накрыл Аяра и сказал:

— Лежи.

Воины внесли переметные мешки и поставили их у стены около двери, а седло уложили возле Аяра, чтобы ему было на что опереться. Но прежде чем лечь, Аяр, закрыв глаза, вытянул из-за голенища кисет, засунул его за ворот, где под мышкой был у него потайной карман, и сказал воинам:

— Хозяин меня обережет, а вам тут места нет. Поезжайте, ждите меня в Рабат-Астане. Да сыщите там лепешек или еще какой еды, а завтра один из вас привез бы мне сюда. Тут у них у самих ничего нет.

— Есть! Есть! Гостю найдем!— самоотверженно заволновался хозяин.— Обидеть нас хочешь?

Аяр послушался, но остерег свою охрану:

— Ждите меня в Рабате. А тут ни у кого ничего не трогать, не брать.

Воины переглянулись с неудовольствием: не в их обычае было

отказываться от того, что можно вырвать. Если сам царский гонец захворал, никто за такое дело не попрекнул бы. Однако Аяр был тверд:

— Езжайте, не то до темноты не поспеете!

И, потеряв силы, лег. Он только сказал, когда хозяин проводил воинов:

— Мне ничего не надо, отец. Дай мне поспать.

Но хозяин вскоре принес в черной глиняной плошке разогретое сало, растер Аяру грудь и густо намазал ему пятки и ладони.

— Дитя я, что ли...— возражал Аяр, но подчинялся этой отцовской заботе, которой не знавал за всю жизнь с младенческих лет.

Уже в дремоте спросил:

— Как имя, отец?..

— Онорбай.

— Богатое имя!

— Только оно одно богато!..— усмехнулся хозяин.— Лежи отдыхай.

— А я — Аяр.

— Знаю, воин сказывал...— И опять хозяин усмехнулся теперь, видно, этому нелестному прозвищу гонца.

К утру у Аяра озноб утих, а днем под напором яркого солнца и теплого ветра сугробы истаяли. Лишь кое-где в тени оставались сизые пятна хлипкого снега. Аяр лежал обессиленный, голова отяжелела, все вокруг казалось непонятным, как во сне: откроет глаза — сидит старик и что-то скоблит ножом; другой раз откроет — уже вечер, и в дверях стоит широкоплечая коренастая девушка; третий раз откроет — ночь, где-то грызутся собаки, видно, схватились с волками.

Прошел один день, и другой день прошел, и Аяру полегчало. Оставалась лишь слабость да тяжесть в голове. Но больной уже сидел, разговаривал с хозяином, выходил наружу погреться на свету.

Из сырой земли, как зеленые язычки, высовывались ростки тюльпанов, предвещая весну.

Старик, подойдя к росткам, сказал:

— Они уже с неделю как выглянули, поманулись на солнце, да снег их привалил. А они устояли, дальше тянутся. И примечаю: росли и под снегом, не переставали расти.

Но Аяр все еще ленился поддерживать разговор.

Во дворе и в доме домовито хозяйничала широкоплечая рябоватая девушка. Подметала сереньким веником, разжигала кизяк в глиняном очаге, на краю двора, где пекут лепешки; пробегала, стуча тяжелыми кожаными туфлями, посверкивая смуглыми щиколотками из-под румяных шальвар, накинув на голову детский

халатик, и небрежно, по обычаю, заслонялась полой халатика от постороннего мужского взгляда. Нередко случалось, что она проходила мимо, заслоняясь полой халатика совсем не с той стороны, откуда на нее смотрел Аяр.

Он молчал, но смотрел на нее. Ему нравилось на нее смотреть: не стройна, не легка, рябовата, и руки измазаны сажей, и на лбу полоска сажи — видно, провела по лицу рукой, а смотреть на нее было приятно: как она домовито ловко хозяйствует среди этой глиняной утвари, где у нее вода, мука, тесто... Приседает перед очагом и, совсем распластавшись на корточках, поддувает огонь под комьями кизяка. Вот вскинулась, ухватилась за пучок сухого бурьяна, подбросила в очаг. Пламя заиграло перед ней. Она не отодвинулась, только заслонилась от пламени ладонью. Вот поплескала из кувшина водой на руки: будет брать тесто. Мало помыла руки, бережет воду.

— В воде нуждаетесь?— спросил Аяр хозяина.

— Колодец есть овец поить. Сами не пьем: солона.

— А где же берете?

— Эна там, в балке,— красные камни где лежат, видишь? Там вода есть. Летом засыхает; летом из колодца пьем.

— Дочь хозяйствует?

— Жены нет.

— Нету?

— Тринадцать лет уже нету. Когда Тохтамыш-хан на Карши ходил, увели жену. А я дочь схватил, да за пазуху. Ягненок подвернулся, только что народился, и его за пазуху. Да в балку, там за камнями залег, притаился. Тохтамыш ушел, я вернулся. Дочь выходил и ягненка выходил. Ей три года было. Ягненку — три часа отроду. Обоих выходил. А сыну шесть лет было, он сам спрятался: на кровлю залез, там залег, затаился, его и не приметили. А жену увели.

— Сын жив?

— С повелителем. С самим. Что жив, что нет — разницы нет, когда он с повелителем. Десятник.

— Трудно вам двоим?

— Мне шестьдесят лет было, я всё один жил. Шестьдесят лет, а кругом все одно — степь, бараны, колодец. Тут случилось, мимо пленных гнали много — тысячи людей. Это повелитель Хорезм взял, погнал народ в Самарканд. День мимо шли, другой день шли. Я смотрел: черные, серые, одни глаза краснеют, идут, идут... Пять дней мимо идут, на шестой идут,— вижу, на шестой день одна девушка захромала, ногу вывихнула. И уж ей не идти. А не идти — убьют. Я изловчился, выдернул ее из толпы да за угол. Она догадалась, поползла за стену. Да так и осталась. Вот мне и жена. А и не думал жениться.

Чем кормить? Да и выкупить невесту было не за что: отдашь всех баранов, а самому что останется, где шерсть брать? Вот и осталась, и явилась у меня жена. Ха! Ах, какая жена!.. Увели. А теперь где взять? Да и зачем? Лучше той нигде нет. Та — одна была такая! Я весной шерсти наберу, летом она ниток напрядет, в травяном отваре выкрасит, зимой сидит — ковры ткет. Об эту пору я брал у нее ковры, да в Карши, на базар. Продам — чего-нибудь для дома куплю, с базара несу. Какая жизнь была! Увели...

— А дочь не ткет ковров?

— Может. А где шерсть взять? Баранов тогда ж угнали. Какие у меня и остались — все черные. А одной черной ниткой какой ковер выткешь? От жены один коврик уцелел. Она тут за домом его ткала, он у нее еще на приколах был растянут, они его не заметили. Да он и не весь был готов. Вот дочь по этому ковру и училась. И поняла. И могла б ткать. Да где ж взять шерсть?

— Чем же кормитесь?

— Барашка выращу, сведу на базар, назад зерно несу. Тут муку намелем — вон у нас жерновок,— лепешки печем, водой запиваем. А этой осенью волки на проезжего коня кинулись. Конь отбился, да зад весь изорван. Проезжий бросил коня, а мы с соседом коня задрали: коню все одно — пропадать. Теперь тут у нас с осени колбаса провисает. Станет тебе полегче, сварю тебе, попотчую.

— Да, отец... не проста жизнь-то!

— Ух, какая!.. Каждый день разная. Как ручей играет.

— Жизнь-то?

— Да.

— Ты и родился здесь?

— Испокон веков. А где ж еще жить? Разве можно!

Вокруг темнела ровная, гладкая каршинская степь. Ни деревца, ни кустика. Только кое-где камень торчит или горбится холмик.

Подошли большие степные собаки, с обрезанными ушами, с пушистыми култышками на месте хвостов. Хозяин приветливо глянув на них, сказал:

— Ночью они двоих волков тут задрали. Там вон, около камней. Я пошел, хотел шкуры снять. Где там: клочья!

А девушка все ходила мимо, все ходила...

Закрыла жерло печи деревянной заслонкой: там, внутри, лепешки, прилепившись к своду, пекутся над жаркой золой. Начисто отмела сор от печки. Ухватила глиняный кувшин, распрямившись, вольно запрокинув голову, побежала к далеким камням за водой. Ветер отпахивал в сторону полы халатика, раздувал ее широкую, заплатанную рубаху.

— Что ж это она босая?

— В обуже тяжело,— далеко ведь!— степенно объяснил старик.

— Еще снег кое-где... холодно.

— А то и по снегу ходим без обужи: где ее взять?

— Холодно ведь!— повторил Аяр.

— Сын мой обут небось: он воин, десятник. А тут кругом ты обутых видал? У нас добычи нет...

— А все ж вы тут намного богаче живете, чем там!— сказал Аяр, вспомнив покоренные земли.

— Еще бы, мы тут свои повелителю-то! И воинов ему даем, и хлеба; баранов ему растим. И воинов даем, и кормим воинов. А он добычу берет, правит нами!

Старик говорил степенно, но Аяру почуялось, что в словах старика мелькнуло подобие той усмешки, какую он приметил, когда сказал старику свое прозвище. Если даже и мелькнула эта усмешка, сейчас она не задела Аяра, ему было хорошо здесь, спокойно. Как было ему спокойно у Назара на базаре, так и здесь, не то что среди воинов или на постоялых дворах.

Девушка уже возвращалась со степи, слегка прихрамывая, и глиняный кувшин твердо стоял на ее голове. Шла навстречу сырому свежему ветру, свободно и равномерно помахивая руками в лад своим мелким шагам. Под глиняным кувшином сама она казалась слепленной из красноватой глины: встречный ветер прижимал к ней рубаху, и она пробивалась сквозь ветер высокими острыми грудями, широкими крутыми бедрами, узким овалом живота. Такие глиняные игрушки случалось находить на Афрасиабе — богинь в развевающихся хитонах. Ника ли, Афродита ли, своя ли согдийская Дева попадалась самаркандским ребятам на Афрасиабе после дождей ранними веснами; ребята бегали туда искать такие игрушки, чтобы потом играть, обряжая бывших богинь в пестрые лоскутки.

Ожившая, шла она с этой темнеющей вечерней степи, издревле увенчанная тяжелой тиарой кувшина.

В это время, как журавлиное курлыканье, донесся звон караванных колокольцев. Шел караван со стороны Каршей. Аяру не по душе было сейчас глядеть на караван, на людей, которые едут, может быть, из самого Самарканда. Его тянуло уйти от этого каравана. Он бы встал. Но хотелось дождаться девушку.

Она была уже недалеко. Но вот Онорбаевы псы кинулись к дороге с угрожающим лаем. Из-за дома на дороге вдруг показались путники на ослах. За ними, надменно неся высокоумные головы, величественно следовали верблюды. Караванные псы, теснясь к ослам караванщиков, отбрехивались от нападавших на них здешних псов, ощеривались, огрызаясь; в драку не лезли: здесь была чужая земля. В этой собачьей кутерьме, в звоне коло-

кольцев верблюды шествовали один за другим и все так же величественно, медлительно сменяли друг друга, связанные между собой короткими арканами — один конец на седле переднего, другой конец — в ноздре следующего — и мерным, беззаботным шагом уходили в далекую даль.

Но девушка осталась по ту сторону дороги. А караван был велик. Верблюд сменял верблюда. Возникали и пропадали вдали караванщики на маленьких осликах, а девушка, опустив на землю кувшин, ждала по ту сторону дороги. До нее от Аяра было всего два шага, но теперь надо было ее ждать оттуда, может быть, очень долго ждать,— ведь в иных караванах идут сотни верблюдов; бывает и тысячи верблюдов идут, позвякивая колокольцами, всегда тем же величественным, медлительным шагом, презрительно запрокинув надменные головы.

Аяру показалось обидным это шествие каравана. Никогда караваны не мешали Аяру: все уступали дорогу царскому гонцу. А тут он ничего не мог поделать. И чем дольше шел этот караван, тем нужнее становилось ему, чтобы девушка была здесь, в этом дворике, где без нее могут сгореть лепешки, где без нее чего-то не хватает Аяру.

А бесконечный караван шел, шел...

На хорошем, рослом осле проехал дервиш в островерхом куколе.

— Божий человек...— сказал Аяр, чтобы хоть чем-нибудь скрыть свою досаду, но сказал это с такой досадой, что старик охотно поддержал его:

— Где стадо, там и волк.

— Как это?

— Человек кормится от стада. Стадо кормится от степи. А степь рождает волков. Хочешь избавиться от волков, зажги степь. А чем тогда стадо кормить? Ха-ха.— И сплюнул:— Ох, о аллах!..

Аяр задумался, взглянув на старика.

Через несколько дней Аяр уже снова мог сесть в седло. На прощанье Онорбай положил в мешок гонцу лепешек, еще горячих, но уже черствых, как сухая глина; положил кусок черной конской колбасы и пару луковиц,— здесь, в голой степи, лук с трудом выменивали у проезжих, и Аяр оценил щедрость хозяина. Но Аяру нечем было отдарить Онорбая. Желая хоть чем-нибудь порадовать его, Аяр предложил:

— Там, в войсках, не встречу ли я твоего сына, отец... Может, сказать ему что-нибудь? Как мне его там сыскать?

— Он в коннице у Султан-Хусейна. Его имя Мумтоз, а кличут его там Курсак, то есть Пузо.

— Что это ему такое прозвище дали!

— Он жрать любит.

— Аяр уловил в словах старика неприязнь к сыну.

— Так что ж мне ему передать?

— «Воюй, мол, воюй!» Ему там самое место.

То приостанавливаясь у двери, то чуть-чуть прихрамывая, пробегала по двору, но, видно, без всякого дела, рябоватая коренастая девушка, по-прежнему делая вид, что прикрывается от постороннего мужчины краем полосатого детского халатика.

Аяр приметил, что в это утро девушка густо начернила себе брови, соединив их в одну черту поперек всего своего круглого лица. Теперь ему казалось, что она смотрит на него не своими маленькими, куда-то исчезнувшими глазами, а этой темной, как бы сощуренной чертой.

Аяр вытянул из-за пазухи маленький сверток, развернул его, вытащил индийскую Назарову серьгу и показал Онорбаю.

— На, отец, возьми. Отдай дочери.

— Ценность дарят; когда сватают.

Аяр зажал серьгу, раздумывая:

«Мне-то сватать! В седле, что ли, ее поселю? Где же мне своей семьей жить? Где жилье свое ставить? Кто ж меня с седла на землю отпустит? А она ходит, ходит. Можно б и посватать...»

Он сказал Онорбаю:

— Я, отец, тебя не хотел обидеть. Память тебе хотел оставить.

— И без этого запомним. Не надо.

Аяр снова спрятал серьгу за пазуху.

«Откуда у них детский халатик?» — подумал Аяр. И медлил расстаться с этой глиняной приплюснутой к земле хибаркой, с голым, утоптанным овечьими копытцами двором, где дремали, привалившись к стене, серые, как волки, матерые черномордые псы... Медлил расстаться с этим полосатым детским халатиком и сказал Онорбаю:

— Буду назад ехать — непременно вас навещу.

— Да ведь нас уж не будет.

— Как это?

— Вон тюльпаны язычок показали. Это они нас в степь кличут. Навьючим свои сокровища на осла, овец выгоним, да и айда по степи пастись, до зимы. Если уж только зимовать вернемся. Да нынче, сам знаешь, жизнь человека не крепка. До зимы далеко загадывать! А летом где нас найдешь? Сами не знаем, где будем. Чем от дороги дале, тем жизнь целей. Нынче такое время!..

Подошли двое соседей Онорбая, молчаливые старики в изношенных шерстяных халатах, такие же зимовники этого маленького зимовья.

Аяр по-сыновнему низко поклонился им, обнял плечо Онорбая и пошел к коню, успев скошенным взглядом заметить девушку, замершую у пустого очага.

* *
*

В Рабат-Астане Аяр, не сходя с седла, поднял заждавшихся его воинов:

— Засиделись? Седлайте скорей, едем!

Путь лежал через пустынную степь, где лишь изредка встречались маленькие стада скотоводов, двинувшихся на кочевье; один раз пришлось объезжать большую отару каракулевых овец, предшествуемую пастухами, сопутствуемую навьюченными верблюдами: перегоняли скот знатного хозяина.

Когда добрались до Нишана, хотя кони у Аяра были хороши, он велел сменить их на свежих, чтобы не ждать, пока эти отдохнут.

Среди ночи поднимался: не проспать бы рассвет. Он раньше всех просил отпереть ему ворота и, едва их со скрипом и всякими присловьями отворяли, пускал коня вскачь. Ему не терпелось наверстать дни, потерянные за время болезни. Он сменял лошадей всюду, где замечал свежих и крепких карабаиров, которых ценил выше остальных лошадей.

К переправе через Аму поспели лишь к вечеру. Здесь пролегал южный рубеж Мавераннахра, Междуречья, простиравшегося между реками Сыр и Аму. Тимур считал Мавераннахр исконной вотчиной, своим заветным уделом, сердцем своего необъятного царства. Отсюда не всякого выпускали, дабы не оскудевали людьми ни города, ни земли Мавераннахра, где трудились сотни тысяч бесправных переселенцев из всех завоеванных Тимуром пространств.

Ночью переправы не было. За рекой вдали высились крепостные башни города Керки. На этом берегу теснились крепкие стены обширных постоялых дворов, караван-сараев, скотопригонных рабатов.

Лишь к рассвету приставали сюда каюки перевозчиков и на берег выходила охрана, составленная из отборных стражей, столь привередливых и самовольных, что даже Аяр, неприкосновенный царский гонец, робел, глядя, как проезжих здесь обшаривали и опрашивали.

Лошадям накинули халаты и тряпье на головы, чтобы не пугались воды, завели их за жерди посредине каюков, сами встали, держа конские удила, и Аму забурлила желтыми водоворотами. Кое-где раскрывались воронки, и казалось, из речной пучины высовываются круглые львиные морды, разевая пасти.

«Пронеси, аллах!»— думал Аяр.

Отлогий розовый берег приближался. Поднимались еще заслоненные берегом плоские кровли пригорода, крепостные зубчатые стены, будто слепленные детьми из глины, угловатые башни, приземистые и нестрашные, тоже будто глиняные,— город Керки.

Пока судачили с охраной, пока грузились, плыли да выгружались, прошел весь день. К постою на городской рабат поспели незадолго до ночной молитвы куфтан, перед самым закрытием ворот.

Аяровы воины собирались погулять в городе, потешиться на вечернем базаре, но Аяр дозволил им лишь сходить в баню, где исхудалые банщики при жидком свете плошек наскоро поразмяли воинов, устало помыли их, торопясь закончить длинный, изнурительный банный день.

Еще до рассвета Аяр поднял свою охрану. Прежде чем мусульмане опустились на первую молитву, он уже поднялся в седло и мимо мечетей, мимо молящихся, под осуждающими взглядами набожных людей заспешил к городским воротам.

Но привратники ждали, пока жители закончат молитву. Когда же, наконец, открыли ворота, в город пошел большой караван из Мерва.

Аяр потребовал остановить караван. Привратники не посмели спорить, верблюдов оттеснили к стене, и Аяр протиснулся прочь из города.

Древнее кладбище, начинавшееся у городских стен, застроенное надгробиями и ветхими мавзолеями, было безлюдно. С сырой земли вспорхнули сороки. Между гробницами встал какой-то дервиш с остроносым кувшином в руке и снова нагнулся, чтоб поднять с земли молитвенный коврик. Это все, что Аяровы воины успели поглядеть в Керках; едва проехали мимо осыпающихся стен мавзолеев, дорога выпрямилась, и Аяр погнал коня вскачь.

Иногда недавняя болезнь сказывалась: начинала тяжелеть голова, немели ноги. Аяр спешивался, подтягивал или отпускал стремена, чтоб изменить положение ног, снова садился и гнал коня.

Когда потянулись пески пустыни, подули теплые ветры, засинело небо, замелькали шустрые пестрые птицы.

Постоялые дворы стали редки, а их серые стены высоки, вода из колодцев горька, люди медлительней и молчаливей.

Однажды проехали по дороге, густо усеянной древними черепками давно разбитых корчаг и кувшинов: некогда этой дорогой многие поколения людей возили пресную воду в безводные селенья. Вода для земли — как кровь для тела: всюду, где удавалось отвести ручей от дальней реки, его берега оживали, земля просыпалась, с лихвой воздавая тому, кто утолил ее вековую жажду. Сотни тысяч пленников, рабов, земледельцев согнал Тимур в безводные степи, чтобы расчистить и расширить каналы, заглохшие после нашествия Чингиза. В Мургабской степи, в Афганских долинах, на полях Хорасана рыли они оросительные канавы: Тимуру был нужен хлеб, чтоб кормить воинов, а воины, чтоб завоевывать земли. Но эти земли, где некогда колосились хлеба, давно заросли верблюжьей

колючкой и горькой полынью: им не хватало воды. Ни усилия рабов, умиравших от жажды, чтобы прорыть русло ручья, ни плети надсмотрщиков, ни опыт земледельцев, согнанных сюда от своей недопаханной полосы, чтобы взрыхлить пашнями зачахшие просторы, не могли пробудить землю, почившую под копытами Чингизовой конницы, истоптанную его кочевыми стадами. Нужны были сотни тысяч земледельцев, молодых и любящих свои поля, а они, отвыкшие от рукояток сохи, нынче сжимали рукоятки сабель в непрестанных походах Тимуровой конницы.

Аяру предстояла переправа через Мургаб. Реку заслоняли густые заросли тростника. Лишь узкая тропа пролегала через сплошную чащу. Здесь нужно было дождаться утра: каюки перевозчиков ушли на левый берег.

Не въезжая в камышовые заросли, Аяр остановился в небольшом селенье. Сняв с лошадей переметные мешки, воины пошли к небольшой мазанке, прислонили мешки к ее крепким, будто прокаленным, как у кувшинов, глиняным стенам, сели на землю в холодке.

Солнце стояло еще высоко. Старуха в узкой красной рубахе, в белой высокой, как башня, чалме разжигала сухой тростник в очаге. День был так светел, так ярок, что огонь костра на этом солнце горел невидимый, бездымный, будто сухой тростник сам, без огня, сгорал от солнечного света.

Неподалеку от дома длинный человек в черной, из целого барана, шапке, завернув за пояс полы халата, до колен засучив штаны, ходил босой следом за деревянной сохой. Соху задумчиво влачили иссиня-черные, белорогие горбатые быки, понурив головы под тяжелым ярмом.

Лоснясь на солнце, быки двигались под бирюзовым небом, тяжело ступая по лиловатой земле пахоты, а хозяин, то наваливаясь на соху, то приподымая ее, охрипнув, кричал и кричал, ободряя и понукая быков.

Видно, он пахал уже долго. Увидев приезжих, он вонзил соху глубже и, отпустив быков от ярма, пошел, хромая, к дому. Пока он пахал, хромота его никак не была заметна, но теперь обнаружилось, что хромает он больше, чем сам повелитель. А когда подошел ближе, он оказался еще кривым на левый глаз.

Вытирая мокрое лицо полой халата, он остановился около Аяра и, словно сразу обессилев, резко опустился на землю, сел, привалившись спиной к стене.

Лицо опять взмокло, и опять он утерся полой халата.

— Давно пашете?— спросил Аяр.

Довольный, что с ним так запросто заговорили, хозяин придвинулся ближе:

— Пятый день. Еще дня на два осталось.

Старуха поставила перед ним кувшин холодной воды и глиняную плошку. Налив воды, хозяин протянул плошку Аяру, но Аяр, видя, как хозяин облизывает серые толстые губы, отслонился:

— Пей! Пей сперва сам.

Жадно сжав плошку ладонью, пахарь пил маленькими, редкими глотками, неторопливо, долго, как бы пробуя вкус воды. Так вернее утоляется жажда. Если же пить большими глотками, живот наполнится и отяжелеет раньше, чем утолишь жажду. Тот, у кого мало воды, умеет пить воду.

Шуршали камыши и порой потрескивали. Они тянулись вдоль берега, отходили по болотистым землям далеко в сторону. Можно было неделями плутать в их беспросветных зарослях по хитрым звериным тропкам, где бродят несметные семьи кабанов, где на прогалинах пасутся чуткие олени, где охотятся, пощуривая зеленые глаза, камышовые коты, пятнистые барсы, где владычествуют тигры, еще более могущественные и надменные, чем сам Тимур.

А хозяин рассказывал Аяру:

— Отпашусь — начну стену лепить: вокруг всего поля нужна высокая стена. Не то кабаны войдут, не столько зерно пожрут, сколько вытопчут. Ни дынь, ни арбузов на бахчах не вырастишь, коль не огородишься. Истинные язычники — поганые кабаны.

— Не тяжело одному хозяйствовать?

— А как быть? Двоих сыновей отдал. Одного убили от Тохтамыша, на Каме-реке. Другого — в Индии, когда на Дели ходили. Сам десять лет лук из рук не выпускал. Да, слава аллаху, изломали меня под Багдадом, отпустил меня повелитель домой. А ведь дело такое: чужие поля топчешь, а свое хочется запахать да засеять. Чем по своему больше горюешь, тем свирепее чужое крушишь. Я такой. Люблю на земле действовать. В походе золото берешь, шелками мешок набиваешь, а сам глядишь, где бы тут горсточкой отборных семян разжиться да на свою землю снести.

— Рад теперь, что отвоевался?

— И рад бы! Да ведь человек не всегда рад...

— А что?

Но хозяину не хотелось отвечать на вопрос царского гонца. Заслышав среди однообразного шелеста камышей какой-то хруст, смолкший так же сразу, как и возник, хозяин повернулся к зарослям.

— Не тигр ли крадется? Может, лошадей ваших нанюхал. Тогда держись: ятаганами не отобьешься.

Но это был не тигр. Неприметной дорожкой выехал из камышей на тонком, как газель, сером коне коренастый сутулый старик в мерлушковой шапке, сопровождаемый вооруженным юношей на гнедом иноходце, и стороной проехал мимо, кинув косой взгляд на Аяра.

Старик поехал вдоль поля к высокому, как крепость, дому, и вечерние лучи тянули за всадником длинные синие тени. В небе сгущалась синева. Полоса зарослей зарозовела.

— Кто это?— спросил Аяр.— Я его где-то видел.

— На переправе, может? Он там десятник караула. А над нами — правитель.

— Свиреп?

— Не скажешь. Ничего худого не скажешь. Делает свое дело. Я, что должен исполнять, всегда исполню. Я такой!

— А что?

— Да ничего! Он мне земледельничать не мешает. Нас сам повелитель на землю посадил: «Земледельствуйте, а мне на воинов хлеб давайте. Я вас берегу, вы меня кормите». Что он зерно у меня берет, его право, не мне обижаться! А вот надсмотрщик этот правительствует без обиды, берет что надо взять, а вот душа от него сохнет, как глотка от жары.

— Чего ж она сохнет, если он лишнего не берет?

— Нет, не берет: я повелителев выслужник. А вот что не по мне — что ни день едет сюда, проверяет меня. У меня в свое дело кровь влита. Я урожай соберу, отдам, что должно. А чего он стоит у меня над душой? Как подъедет, руки опускаются. Стоит и смотрит, а у меня руки обвисают, как ботва без полива. Не могу ими шевелить, не могу ни пахать, ни полоть. Чего он смотрит? Оттого смотрит, что считает, сколько у меня чего народится. У него нос, как безмен. Раз поведет — и все взвесил. А я не вешаю зерно, когда сею; не вешаю, когда жну. Мне сама работа дорога — как земля пахнет, как быки идут, как со своей сохой борюсь, будто она живая. Измучаюсь, а рад. А он стоит, и я понимаю, как не понять, ему моя радость неведома, ему дела нет, как пахнет земля, как мне быки отвечают, как проглянут первые всходы, как земля воду пьет. Он на это не смышлен: он смышляет насчет урожая. Ему урожай нужен, урожай! А в урожае не сбор, не жатва, а вес. Он зерно на вес считает. А разве зерно — это вес, когда оно живое?

— Его дело, он обязан.

— Разве я против? Да зачем над душой стоять? Дай мне земледельствовать в радость. Зерно ведь я ему отдам! А они повсюду. Где пашут, где пастухи пасут, там и они. Мы растим, а они считают. Вот кабы над душой не стояли, дали бы каждому вволю своему делу радоваться.

— Этого я не пойму, чего ж ты хочешь?— строго сказал Аяр.

— Сами-то пахивали, почтенный гонец?

— Как-то не случилось. Сперва был мал, а потом земли не было. Сызмалу в воинах.

Небо стало лиловым, прозрачным. Засветились звезды. Ста-

руха опять подкинула сушняку в огонь, пламя взвилось, запахло полынной горечью дыма. Что-то зашипело в котле.

Сгущалась ночь.

Ночевать легли наверху, на кровле. Отсюда шире раскидывались необозримые, темные заросли камышей. Вдали под луной поблескивала река.

Всю ночь шелестели камыши, и сквозь их шелест что-то всхлипывало — вода ли в болотах, кабаны ли бродили.

* *
*

Хорасан охватил Аяра волнами теплых ветров, небесной синевой, первой прозрачной, как марево, прозеленью весенних садов, зацветавших то розовыми облаками персиковых деревьев, то зеленоватыми, когда расцветал миндаль, то лиловатыми. На склонах холмов густая и сверкающая зелень молодой травы мерцала то синими, то желтыми искрами первых цветов.

Облака, легкие и переливчатые, как мыльные пузыри, улетали в синеву высокого неба.

Там и сям громоздились развалины, обглаженные ветрами и дождями за двадцать лет, минувших после первых вторжений Тимура на эту землю.

И сами сады, так широко раскинувшиеся у предгорий, давно одичали: это весна пробудила старые деревья, оставшиеся без хозяев.

Чем ниже в долину уводила Аяра хорасанская дорога, тем чаще то там то сям вставали из-за холмов или из-за деревьев немые полурухнувшие здания, обвалившиеся своды, холмики глины, из которой торчали клочья истлевших циновок — остатки покинутых жилищ, следы замершей жизни.

Все реже попадались сады. Раскрылись пустые поля, зазеленевшие под влажным весенним ветром. Но эта поросль оказывалась не зеленями озимей, а лишь недолговечной зеленью степной травы, обреченной зачахнуть, едва просохнет напоенная зимними дождями земля. То тут то там дорогу пересекали овраги — мертвые русла былых оросительных ручьев. И кругом — ни земледельцев, ни скота, ни даже собак.

Только сама земля, как вдова, хлопотливо убиралась и прихорашивалась, как было заведено во времена ее счастливой жизни. Одиноко встретила она светлый праздник весны, все вокруг украсив и безропотно прикрыв руины, знаки неотвратимой нищеты и запустения.

Аяр въехал в долину, где тысячи людей, сведенных сюда со всего Хорасана, рыли канал. Уверенный, что хорасанские земли навсегда стали частью его удела, Тимур велел оросить поля Хорасана,

Серые рубища, изорванные на локтях и на спинах, измазанные, измокшие под ночным дождем, не прикрывали костлявых, посинелых тел, обросших всклокоченными волосами землекопов. Сил землекопам хватало лишь на то, чтоб, едва приподняв мотыгу, соскрести в сторону горсть глины. Там, где на своей земле молодой земледелец одним взмахом мотыги сбрасывает тяжкий пласт, им надо было долго трудиться. Казалось, они не прорывают, а процарапывают русло. Им было невмоготу — не было ни сил, ни того, что пробуждает силу — любви к делу. Зачем, для кого было им здесь напрягаться? Лишь бы избежать лишнего удара от надсмотрщиков, лишь бы дотянуть до полудня, когда каждому дадут чашку варева и клок лепешки.

И ни говором, ни движеньем — ничем не нарушало степного безмолвия и безлюдья это множество людей, тяжело трудившихся в степи. Лишь скрипели камни или песок под мотыгами, да хрипло, глухо звучали окрики надсмотрщиков. Не было слышно даже вскриков, когда палка ударялась о чью нибудь нерадивую спину, будто били не по живому телу, а по сухой глине.

Аяр насмотрелся на такие работы, когда по слову повелителя десятки тысяч людей— и своих, и рабов — напрягались на строительствах то великих зданий, то оросительных каналов, то крепостных стен. Везде было то же — горбились ли ряды каменотесов в горах, месили ли глину строители крепостей в пустынях, складывали ли мечети и дворцы в городах и в пригородах. А в стороне уже рыли могилы десяткам, а то и сотням тех, что обманули надсмотрщика, сбежав в сады аллаха или в преисподнюю, уверенные, что в преисподней не будет хуже. Навеки рядом ложились те, что дошли до своих могил с каменистых берегов Куры, с песчаных побережий Евфрата, с зеленых набережных Инда, с ледяных откосов Волги-реки. И все в последний раз обращали к небу остановившиеся глаза, которым так и не довелось снова глянуть на родные реки.

Аяр с седла, проезжая мимо, смотрел на однообразные ряды тысяч людей, на однообразные вялые движения немощных рук. Как несхоже у этих людей начиналась жизнь, и как одинаково у всех она завершится! Им не было исхода, их жизни не хватит на то, чтоб дождаться чего-нибудь в жизни, и если прежде не каждый это понимал, теперь, здесь, в этом безысходном труде, они все это уже твердо знали: они будут рыть, рыть, рыть, пока не слягут в могилу. Только там разогнутся и могут не шевелясь ждать справедливости и милости от бога, ибо все религии, все веры обещают людям милость и справедливость.

Не справедлив ли Тимур, что повелел оросить эти исчахшие поля, которые он двадцать лет назад повелел вытоптать?

Не милостив ли Тимур, что дал мотыгу десяткам тысяч покоренных людей, когда сотням тысяч таких же вырыл могилу?

— Милостив и справедлив повелитель наш!— громко проговорил осторожный Аяр, проезжая мимо надсмотрщиков.

— Хвала аллаху!— дружно подтвердила послушная Аярова охрана.

Начальствовавший на строительстве сын самаркандского Джильды Шавкат-бек, завидев царского гонца, послал звать Аяра отдохнуть. Аяр не посмел отказаться: это было б обидой молодому вельможе.

Гонец завернул к шелковому шатру, воздвигнутому на холме, откуда широко оглядывалась все полоса работ.

Повара горячо работали, обжаривая для Шавкат-бека мясо на вертелах, пока над очагом поспевал широкий котел плова. Пахучий синий дымок разносило далеко вокруг.

«Как небось он щекочет ноздри у тех, кому этой еды не положено!»— подумал Аяр, идя к шатру, и при этой догадке он почувствовал раздражение. Но почему это его раздражает, он не задумался.

Очень бледный, бледный до странной синевы под впалыми щеками, тонконосый, кривоногий Шавкат-бек, скучая от безделья в этой пустыне, развлекался лишь тем, что требовал неутомимого усердия от всех, кто здесь работал. Теперь он велел кликнуть гонца, чтоб, придержав его здесь, выведать какие-нибудь новости, городские сплетни, а может быть, и важные известия.

Раздражение не покидало Аяра. Гонцу не по душе были жирные пятна пота на белых рубахах плотных поваров, прохладная тень шатра, самаркандские корчаги с припасами, накрытые чистенькими дощечками, не по душе был этот хилый, еще молодой, но одряхлевший владыка тысяч жизней, отданных ему в полную власть.

— Садись, гонец. Отдохни, целое утро проскакавши. Помойся с дороги. Ступай, ступай, помойся! Да скорей назад иди: расскажешь, что там у вас...

«Брезгует, что ли, мной?»— продолжал сердиться Аяр и отказался:

— Не смею, господин: государь взыщет, ежели задержусь. Великая благодарность за честь.

Не решаясь неволить царского гонца, господин распорядился дать гонцу на дорогу лепешек, но своей досады не сумел скрыть:

— Очень уж ты усерден, я гляжу.

— Воля повелителя!..— поклонился Аяр, почтительно принимая от повара горячие лепешки и с удовольствием вдыхая вкусный запах свежего хлеба.

Аяр по походке своей стражи понял, с какой неохотой возвращаются его воины к дороге, как бы им хотелось посидеть здесь,

обгрызая баранину, поприпекшуюся к вертелам, попивая неведомо откуда завезенный сюда холодный кумыс. Он и сам посидел бы: время было подходящее, чтобы, пополдничав, понежиться в холодке, дать и коням волю. Но что-то такое случилось в душе Аяра: комок застревал бы у него в горле на этом холме, откуда видны тысячи людей, из которых никому никогда в жизни не суждено было отведать ни горячих лепешек, ни барашка на вертеле.

Пустынная степь после полудня захолмилась, и вскоре дорога вошла в ущелье, обваленное по краям зеленоватыми скалами, запятнанными голубым лишайником.

Здесь намеревались отдохнуть у родничка. Ладонь Аяра уже не раз оглаживала мешок с припасами: все давно проголодались, а лепешки еще не остыли. Аяр помнил, как похрустывала на них тоненькая корочка, когда он засовывал их в этот мешок.

Один из воинов негромко затянул древний напев о приволье гор, где возлюбленная бежит, оставляя узенькие следы...

Но что-то серое, сливаясь с окружающими откосами, метнулось в сторону от дороги и залегло в камнях.

Воины насторожились.

Поехали, сдерживая лошадей, сжав наготове копья:

«Не барсы ли?»

И когда уже совсем подобрались к этим камням, из-за них порывисто вышел человек и пошел навстречу воинам.

На нем был серый, истлевший, рваный хитон. Серое тело проглядывало в клочьях ткани. Серая борода спускалась клочьями от темных щек. Округлившиеся глаза смотрели прямо в глаза Аяру. Оправляя, теребя и снова оправляя ворот одежды, человек остановился среди дороги, ожидая:

— За мной?.. Догнали?..

Аяр смотрел на оборванца, гадая по его выговору: кто он, армянин, грузин? Гонцу было ясно, что человек этот как-то умудрился уйти от надсмотрщиков, таился здесь, чтобы, переждав погоню, куда-то брести, где его, может быть, никто и не ждал, где ему, верно, и приютиться было негде, где некому было его накормить и укрыть..

Беглец стоял, переминаясь на черных ногах, обуглившихся на жесткой земле. Поправлял ворот рубища:

— Нате, нате, вот он я!

— Нет, мы не за тобой...— ответил Аяр, отводя взгляд от неподвижных глаз беглеца.

— Едемте!— сказал он воинам.— Не наше дело: нам спасибо не скажут, как станем шарить по дорогам, когда нам другое велено. Не за то нас милует повелитель наш!

— Хвала аллаху!— согласно отозвались послушные воины. И опять они поскакали к той, известной Аяру скале, где снизу про-

бивается скупая струйка родничка, обросшая, словно курчавой зеленой бородой, какой-то мелкой мягкой травкой, свисающей с влажного камня.

Но думавший о чем-то своем Аяр на мгновенье отстал от спутников, быстро вытянул из седельного мешка еще теплую лепешку и, словно невзначай, выронил на дорогу.

А беглец стоял, переминаясь на горячей земле, и смотрел вслед удалявшимся воинам.

* *
*

Как ни хотелось Аяру посидеть со знакомцами на постоялых дворах, побродить по базарам в дальних городах, он не задержался ни в полуразрушенном Рее, где еще встречались гончары, умевшие покрывать блюда и чаши такой росписью, что глаза радовались, словно взирали на благолепие рая, полного праведников и гурий. Ни в тесной, людной Султании, куда сходились отовсюду паломники поклониться могиле пророка Хайдара. Ни в Мараге, городе мудрецов и звездочетов, где еще высился мавзолей над гробницей хана Хулагу, стены школ и обсерваторий, воздвигнутых за сотню лет назад; в Марагу пришлось свернуть, ибо гонцу сказали, что повелитель направляется в этот город и что всем гонцам надлежит ждать его здесь.

Однако по приказу Тимура все гонцы из Мараги, не задерживаясь, направлялись ему навстречу, где бы ни случилось встретить его.

В тот день навстречу повелителю выезжал неповоротливый, заносчивый гератский купец. Оставив в городе свою стражу, изнемогшую от непрерывного пути, Аяр присоединился к гератцам, и, хотя свою поездку они пытались обратить в прогулку, Аяр заставил их ехать скорей. При царском гонце купец присмирел и повиновался, покряхтывая, когда приходилось, сокращая очередную дневку, снова трогаться вдаль.

Иногда к ним присоединялись или встречались им «короткие» гонцы. По дорогам Тимура ездили «сквозные» гонцы, такие, как Аяр, пересекавшие просторные области с каким-нибудь тайным или срочным делом; эти отличались красной косицей на шапке, красным темляком на ятагане, дававшем не только право брать по дороге любого коня, но и в любом доме брать коню корм, чтоб не задерживаться; но были и «короткие» гонцы, ездившие между двумя городами, между двумя правителями. С этими считались меньше, но Аяр любил расспрашивать их: они о своих краях про все знали лучше и, робея перед красной косицей, иной раз поверяли Аяру такие новости, каких и своему десятнику не посмели

бы рассказать. Они на всем пути Аяра попадались повсюду, на любом ночлеге. Не в пример прежним поездкам, Аяр нынче не расспрашивал их, он уже наверстал время, потерянное из-за своей болезни, но следовало быть начеку: сохрани аллах, вдруг повелителю покажется, что слишком мешкотно ехал Аяр из Самарканда!

Нежданно среди дороги гонцов спешили. Повели к речной излучине. Поместили в темных юртах под огромными, еще голыми чинарами. Велели здесь сидеть, здесь ждать повелителя.

Как торопился Аяр, как боялся потерять хотя бы один день, а тут день уже угасал, день уходил...

Гонец сидел в полумгле юрты, на кошме, где пахло мокрым войлоком и сырой землей.

День угасал, день уходил, но все сидели и ждали. Гонцов не задержали бы здесь, если б повелитель был далеко отсюда. И когда вдруг все затихли, насторожились, Аяр понял: повелитель прибыл.

Теперь, сидя на кошмах, они тревожно взглядывали на каждого, кто подходил к юрте: не за кем ли нибудь из гонцов?

Но все еще никого не звали.

Четвертая глава

СТАН

День уходил. Последние лучи, долго пробивавшиеся сквозь облака, светили пронзительно.

Улугбек сидел на краю пруда, ограненного серыми плитами, глядел, как весеннее изобилие воды колыхалось, колебля опрокинутые навзничь отражения вечереющего мира — белую юрту дедушки, на нее наползала недобрая горбатая тень; стражей в позлащенных отсветами румских доспехах у входа в юрту. Отражения воинов дрожали на воде, словно их трепало в лихорадке либо в ознобе. Змеей извивалось древко знамени, воткнутого перед юртой.

Улугбек соскучился в одиночестве здесь, в стане, где у всех было много дел, обязанностей. Воины, приставленные к царевичу, хлопотливо постелили ему возле воды узенький тюфячок, пахнувший лошадьми. Спать еще не хотелось, хотелось побыть одному, благо наставник отлучился.

В этом походе, когда мальчик бывал подолгу оторван от бабушкиной опеки, дед из своих испытанных тысячников приставил к Улугбеку дядьку, известного среди войск по прозвищу Кайиш-ата, что значит Ремень-батюшка.

Жилистый Кайиш-ата всю жизнь провел в седле, и не было для него разницы — мчаться ли вперегонки со своими соратника-

ми в сечу, на вражью конницу; влезать ли по лестницам на крепостные стены, чтобы сбросить с них осажденных; прокрадываться ли по козьим тропам, над безднами, в тыл к зазевавшемуся противнику; лежать ли неподвижно в оледенелой степи, подстерегая самонадеянных врагов, крадущихся в тыл к Тимуру. Ни боли, ни устали не ведало тело старого воина: тело ли, ятаган ли — наравне служили Кайиш-ате, всегда готовые для удара по врагу во славу повелителя.

И когда повелитель не для битвы, а для назиданий поднял этот иззубренный ятаган и повелел ему блюсти охрану царевича, исподволь приохочивать его к походным обычаям, к воинскому обиходу, великая честь оказывалась Кайиш-ате. Он повиновался, но впервые оробел перед истиной, вдруг открывшейся: пора битв окончилась для него. Дотоле он не замечал, что ему уже семьдесят лет. Сам не замечал, а повелитель заметил! Значит, чем-то выдал Тимуру, что наступили эти самые семьдесят лет! Велик почет соратнику повелителя, избранному в блюстители царевича, но Кайиш-ате этот почет горек: куда проще кинуть свою тысячу воинов наперерез врагу, чем разъяснять пытливому, дотошному юнцу преимущества тех или иных воинских ухваток. Старику были столь явны эти преимущества, что не находилось никаких доводов для их доказательства.

Поэтому между питомцем и наставником часто случались недомолвки, подобные такой. Однажды Кайиш-ата рассказывал о походе на Каму-реку и о своей встрече с передовым отрядом Тохтамыша:

— Вижу, пеших у него меньше, конными же он сильнее меня. Я своих конных придержал, а пехоту выпустил. Всегда делай так.

— А почему? Разве не следовало приберечь то, что сильнее? — удивился Улугбек.

— Нет. Как я поступил, так лучше. Повелитель тоже поступил бы так. Я разбил ордынцев, и повелитель пожаловал мне всю добычу. Поход только начинался, повелитель был щедр.

— Я не утверждаю, что следовало поступить иначе, но почему надлежало решить только так?

Старик растерянно помолчал. Улугбек ждал доводов. Тогда, плохо скрывая раздражение, Кайиш-ата ответил:

— Я врать не привык. Сказано «так лучше» — и конец!

Улубек в таких случаях снисходительно усмехался, делая вид, что вежливо улыбается, а Кайиш-ата и без этих улыбок побаивался малолетнего царевича, не в меру любознательного, не по возрасту грамотного, дедушкина любимчика, и никогда не упускал случая отлучиться. Сейчас такой случай выпал: стража сменилась, юрта царевичу поставлена, день заканчивался. Приближенные с беспокойством ждали Тимура, уединившегося в своей

белой юрте. Такое уединение не предвещало милостей, и приближенные, как при общей опасности, становились дружнее между собой, перешептываясь, переминаясь с ноги на ногу. Кайиш-ата отправился к ним, молодцевато перепрыгнув через ручей.

Он тоже временами отражался в ручье, и Улугбек примечал его, опрокинутого вверх ногами.

Солнце почти зашло за гору. Проточный пруд почернел, озаренные последними лучами люди и деревья стали яркими и сказочными на воде, некогда отражавшей стройный Дом Звездочета.

Теперь не Дом Звездочета, а ветвистые чинары, еще голые, лишь кое-где покрытые прошлогодней листвой, опрокидывались в глубь вод и казались мальчику то гривастыми, рыжими львами, то, содрогаясь на текучих струях, оборачивались острогорбыми верблюдами. То вдруг почудилась огромная, во всю ширь водоема, краснобородая, в шапке голова дедушки.

Улугбек прилег на тюфячке и заснул бы, утомленный долгой ездой в твердом седле, но любопытство возобладало над усталостью: выйдет ли дедушка?

Отражения вельмож, то выступая в лучах заката, то исчезая в тени, сменяли друг друга, растягивались, сжимались, извивались, корчились на медлительной воде. Сейид Береке согнулся большим псом, но с бородой, вытянутой и перепутанной струями, как пучок серых змей. Дородный Шах-Мелик, беседовавший с Шейх-Нур-аддином, в отражении вышел синим быком с белым кувшином на голове. А принаряженный Кайиш-ата представлялся треугольником. Таким его делали широкие жесткие халаты, узкие плечи и островерхий тюбетей.

Но вот через всю воду, от берега до берега, протянулся дедушка, склонился и, видно, зачерпнул воды — все отражения зарябили, затрепетали, словно он взял в горсть всех этих величественных людей, кинул их, и, выпав из его ладони, они раскатились, рассыпались, как горсть медных полушек и мелкого серебра. Он не то попил из ладони, не то оплеснул лицо и, выпрямившись, постоял над прудом, может быть, разглядывая оттуда своего внука. Вода успокоилась. Лишь слегка колеблясь, снова пролегла через весь пруд длинная особа повелителя — бурые сапоги, вызолоченный закатом халат, розовый блик чалмы. Улугбека позабавило различие между дедушкой, высоким, но крепким, и этой длинной-длинной, зыбкой, гибкой, как камыш, цветистой тенью на воде.

Видно, вода прибывала. Улугбек смотрел, как выгнулось отражение деда, трепещущее, но без головы, знакомое тело деда, искаженное и обезглавленное потоком, непрестанным, как сама жизнь.

Вдруг солнце погасло, запав за гору. Больше ничего не отражалось в серой воде. Быстро смерклось, и сразу похолодало.

Улугбек ушел от водоема. Навстречу ему заспешили слуги.

Воины, несшие караул, поднялись и подтянулись. Пахнувший лошадьми тюфячок несли следом: другого под рукой не было, ибо Улугбеку следовало помнить, что здесь воинский стан, а не обоз с царицами, что он здесь в походе, а не на гулянье. Простая пища, скупой обиход — зимовье кончилось, началось дело — таков был порядок для всех: и для простых воинов, и для внуков властителя вселенной. Сундучок с книгами тащился в обозе, разносолы — у царицыных поваров, на попонах пока не принуждали спать, но и шелковых одеял не захватили, с собой везли только то, что удобно вьючилось на лошадей. Довольство дозволялось лишь на больших стоянках, когда подтягивался обоз и воины смешивались с купцами, лекарями, ремесленниками, со всяким сбродом, тащившимся при обозе, а джагатаи наведывались к семьям, бредшим со стадами с краю от войск. Такие стоянки длились иногда по нескольку дней, а между ними обходились краткими дневками и настороженными воинскими ночлегами.

Тимур сел перед своей юртой. Поставили факелы, осветившие повелителя, казавшегося черным на пестром, как цветник, здешнем ковре.

Шейх-Нур-аддин держал полотенце, пока слуги поднесли серебряный тазик и полили Тимуру на руки. Всем с дороги хотелось есть, но прежде чем дать знак к началу ужина, Тимур спросил о гонцах.

Как ни наготове сидел Аяр, но едва его кликнули, сперва было пополз по кошме, как ребенок, прежде чем успел встать на ноги.

— Ноги, что ль, отсидел?— усмехнулся скороход, вызывавший к повелителю.

— Да не то чтоб отсидел...— отмахнулся Аяр.

Тряхнув плечами, заботливо поправив бороденку, проверил, наготове ли заткнутые за пояс свитки писем. Идя, притворно ворчал:

— Ног не отсидел, а насиделся тут вдосталь.

— Первым позван!— утешил скороход, но это утешение лишь встревожило Аяра: каков нынче повелитель, не выпадет ли на голову гонцу нечаянный гнев, скопившийся за день в сердце повелителя.

Но гнев не выпал. Тимур притулился в углу небольшого ковра, опершись на кожаную подушку и как бы заслонившись ею, так близко от факела, что свет, перекинувшись через голову Тимура, оставлял ее в тени, освещая лишь ноги и ковер. Стоящий на корточках возле ковра писец поднялся и пошел навстречу Аяру.

Приняв свитки, писец не сказал гонцу обычное «спасибо», означавшее «ступай», но и не дал никакого знака, позволявшего уйти. Гонец стоял в тревоге: спокойнее было бы уйти отсюда, с глаз долой.

Приближенные, вельможи отошли на такое расстояние, чтобы быстро предстать перед повелителем, если он подзовет, но и не настолько близко, чтобы слышать письма. Один лишь Аяр замер на виду у всех и стоял, слушая чтение.

Правитель Самарканда после поклонов сообщал о несостоявшемся походе на Ашпару и гневно винил в этом мирзу Искандера. Сообщал о наказании сподвижников мирзы Искандера. Когда было упомянуто о расправе с Мурат-ханом пошевелился. Еле заметным движением ладони он прервал чтение. Чтец, выжидая, смотрел на Тимура, а Тимур думал:

«Умен! Сообразителен. Расторопен. Надо написать Шахруху, чтоб выразил своей царевне-супруге наше сожаление о несчастье с ее братцем. Однако с намеком присовокупить: потеряла, мол, возлюбленного брата и преданного друга. «Преданного друга!» Если не глупа, поймет. А она не глупа. Лучше б ей было жить не умней, а смирней!..»

— Там и от гератской царевны письмо?— спросил он чтеца.

— К великой госпоже. Запечатано.

— Я сам ей прочитаю, дай-ка сюда.

Чтец на коленях подполз к ковру и протянул один из свитков Тимуру.

Повертев свиток в руках, Тимур указательным пальцем поскреб заклейку, сунул его в рукав и дал знак читать дальше послание Мухаммед-Султана. Слушая многословные жалобы на самоуправства и бесчинства негодника мирзы Искандера, Тимур думал:

«Кто там ему пишет? Сам писать не охоч. Кому поручает, надежен ли писец? Мурат-хана спроводил, а вокруг немало осталось всяких лазутчиков, соглядатаев, лицемеров. И такие есть, что рады двум господам служить: нам — из усердия, Шахруху — из корысти, чтоб в беде было куда сбежать от нас...»

Опять заерзал, упершись в подушку, и прервал чтение, когда среди казненных сподвижников Искандера услышал имя воспитателя.

— Атабега мирзе Искандеру дал я. Я не сумел бы сам его спросить, что ли? Вот и умен, казалось, и расторопен, да спешит за меня решать? Хочет своим умом обходиться?.. Оба самоуправцы!..

Он вдруг увидел Аяра и, раздумывая, как бы приглядывался, словно в коротком халате гонца, в шапке ли с красной косицей, притаилось что-то оттуда, из Самарканда, что могло, казалось, раскрыть, отразить все самаркандские случаи этой зимы. Еще не поддаваясь возрастающему гневу на Мухаммед-Султана, Тимур сердито махнул Аяру:

— Иди, иди. Скоро назад поскачешь!— И думал, глядя вслед гонцу:

«Если при мне моих ставленников хватают, сами их режут, без спросу.... Это разброд! Я их... Я их... Я воздвигаю, я собираю, а они... »А?

Чтец ждал, поглаживая пальцем бумагу, чувствуя, как затекают ноги, и не смея шевельнуться. Тимур смотрел неподвижным, тяжелым взглядом в ту сторону, куда ушел гонец и где теперь сгустилась непроглядная тьма карабахской ночи, казавшаяся еще непроглядней отсюда, из-под полыхавшего факела.

Когда дошли до письма от Шахруха, Тимур крепче уперся в подушку. Пока тянулись благочестивые пожелания и любезности, Тимур все еще думал о Мухаммед-Султане.

«Верно смекнул насчет монголов,— когда Искандер их спугнул, не следовало самому к ним соваться. Да ведь я приказал ему идти туда, мог бы сперва спросить меня, а не самому решать, идти ли на Ашпару, дома ли отсиживаться. Верно решил, да без спросу. Хорошо, что верно решил, смекалист. Да как это сам, без спросу?.. Надо его самого спросить: как это так?..»

Но вскоре старик уже думал о сыне:

«Как это красноречив мирза Шахрух! Кланяется, кланяется, а пишет в Самарканд. Обиделся, что не позвал его с собой в поход. А о походе не мог не знать. Без Мурад-хана опоздал узнать, да когда писал, уже знал, что нет меня в Самарканде. Знал!.. Притворяется».

Вдруг в памяти мелькнуло детское худенькое лицо с большими, пугливыми, неискренними глазами, и старик сразу понял сына:

«Не обиду выказывает,— испуг скрывает. Сперва, с перепугу, ждал меня к себе, в Герат. Узнавши, что я свернул на Мираншаха, ободрился. Теперь прикидывается: я, мол, не пугался, даже о вашем выходе в поход не ведаю!

А если пугался, значит совесть нечиста. Чем? Все ли я знаю о его делах? Надо выведать. И поскорей, пока он спокоен. Какими любезностями начал, а ведь не духовному наставнику, не книгоеду пишет, а отцу! Часто кланяется, чтоб между поклонами я не успел его разглядеть. Кланяется, не подымая глаз. Притворщик, каким с младенчества был!»

Тимур обдумывал, как отозваться на это письмо, что оно скрывает? Оно затем и послано, чтобы что-то скрыть:

«Ну царевна написала, только чтобы и тут от мужа не отстать, а сам он зачем написал?»

Он потрогал пальцем глубоко засунутое в рукав послание от Гаухар-Шад:

«Что он скрывает? Испуг был, да уже прошел. Обида была, да обиду заглушила радость, как узнал, что не на него, а на Мираншаха я свернул. Не за богомольство, не за книжность боится моей кары. За какие-то большие провинности боится. За какие? Что у него там?..»

Ничего не сказав, отпустил писца и кивнул воинам, чтобы помогли встать с ковра.

Поддерживаемый под локти вельможами, постоял, вглядываясь в сторону костра, где пламя часто заслонялось многочисленными людьми, толпившимися перед огнем.

— Чего там толкутся?— спросил он Шейх-Нур-аддина.

— Который в горах костры палил, приволокли. Толкутся — разглядывают.

— И мы глянем!— ответил Тимур.

Державшие его под локоть отступили: он не любил, когда его поддерживали на ходу, словно снисходили к его хромоте, словно у него силы иссякают.

Улугбек лег в своей юрте, велев поднять кошму у изголовья, чтобы дышать всей ночной прохладой, свежим ветром с гор, запахом весенней травы.

Где-то в темноте спросонья попискивали птицы. Тут и там слышался их дремотный пересвист. Ворковала вода в реке. Лязгала сбруей привязанная неподалеку лошадь. С прохладой, с запахом земли и трав смешивался запах лошадей и дыма костров... Почудилась длинная дорога. Да нет — это дедушка в позлащенном халате и без головы... лег поперек потока, а поток течет... течет... течет...

Сухой и длинный, всех выше ростом, Тимур хромал, высоко вскидываясь, словно среди пеших спутников скакал, подпрыгивая в невидимом седле.

Он пошел напрямик сквозь темноту; ему светили факелами, но он не смотрел под ноги, видя перед собой лишь пламя костра, где уже заметили его приближенье и замерли.

Пленник лежал с закрученными назад руками. Временами он раскрывал рот и, глубоко вздохнув, снова плотно сжимал тонкие губы. Большие темные глаза, казавшиеся заплаканными из-за воспаленных век, строго поглядывали то на одного, то на другого из явившихся с Тимуром. Сам Тимур не привлек внимания пленника, может быть потому, что очень уж бедно выглядел Тимур рядом с приближенными, блиставшими в свете костра то белой, изукрашенной золотом рукояткой кинжала, то дамасской саблей, то позолоченным панцирем. На Тимуре никакого оружия не было — только нагайка свисала с левой руки.

К Тимуру от костра вышел внук, Султан-Хусейн; это его воины несли караул на дневном походе, они и захватили пленника; поэтому, считая пленника своей добычей, Султан-Хусейн сам ждал Тимура, чтобы щегольнуть перед дедом своей исполнительностью, своей добычей, своей удачей.

Небольшой ростом, верткий, он глядел дерзкими, красными и словно крутящимися быстрыми глазами то в бороду деда, то на

его сподвижников; стоял, опустив одно плечо, как бы наготове принять чей-то удар, ударить ли кого-то.

— Что он говорит?— спросил Тимур о пленнике.

— Всячески спрашивали — молчит!— ответил Султан-Хусейн и брезгливо сплюнул.

— А может, плохо спрашивали?

Султан-Хусейн передернул плечами от обиды и от досады:

— Едва ли плохо. Только ломать не стали, ждали вас.

Пленник молчал, пока его везли, перевьючивая с уставших лошадей на свежих, пока спрашивали здесь. Он молчал, лишь время от времени широко раскрывая рот, словно выкинутая на песок рыба, чтобы, как глоток свежей воды, глотнуть воздуха. И снова отводил глаза от вопрошавших и сжимал рот, как бы ни спрашивали, как бы ни понуждали, как бы ни мучали.

— Поставьте-ка его, я сам спрошу.

Пленника поставили. Ему было трудно держаться на ногах, и воин, пленивший его, поддержал его под локоть.

Спокойно и как бы увещивая, Тимур спросил:

— Язык, что ль, отнялся?

Пленник теперь, когда его поставили, повел вокруг глазами и впервые сказал:

— Ночь уже.

Это были его первые слова за весь этот день.

— Вот и скажи — кто дым пускал?

— Люди.

— Какие такие?

— Своей земли хозяева.

«Почему он прежде молчал, а вдруг заговорил?»— подумал Тимур.

Султан-Хусейн побледнел от досады, что, промолчав при всех прежних расспросах, этот негодяй отвечает деду. Теперь дед подумает, что прежде не сумели допросить!

— А сколько у тебя своей земли?

— У меня своей нет.

— А говоришь «хозяева»!

— Здешние люди здешней земли хозяева.

— А, ты вон о чем! Кызылбаш?

— Нет, адыгей. Адыгей.

— И как тебя звать?

— Хатута.

— А заодно с тобой тож адыгеи?

— Здешние люди.

— Кызылбаши?

— Азербайджанцы.

«Почему он начал говорить?..»— напряженно думал Тимур, рассеянно спрашивая Хатуту.

— Азербайджанцы? А чего ж ты с ними спутался?
— Мы заодно.
— Кто это?
— Здешние люди.
Тимуру не понравился столь прямой, почти вызывающий ответ. Повелитель с трудом сумел сдержать себя от гнева и по-прежнему спокойно, как бы попрекая, кивнул:
— Вон оно что! Свою землю берегут от меня.
И вдруг подумал:
«А ведь и Шахрух тоже! Так же вот — землю, которую я ему дал, от меня прячет, от меня бережет. Затем и писвмо послал, прикинуться послушным, мне глаза отвести. А с его согласия, в согласии с ним, его змея своих прихвостней на место моих людей повсюду натыкала. По всей той земле, что я ему поручил блюсти, они со своей царевной своих слуг заместо моих ставят! Вот оно что! И сей сынок от меня отпасть хочет. Не как Мираншах,— не дуром, а потихоньку, неприметно, с наипочтительнейшими поклонами обособиться от меня; затем и пишет так: я, мол, ведать не ведаю, что повелитель в походе; отцовых дел не касаюсь, куда посажен, там тихо сижу, до остального мне дела нет! Вот оно что! Ну что ж...»
— Выходит, я землю беру, а хозяева у нее остаются прежние... Какие хозяева!
Пленник не понял этих слов, но не переспрашивать же этого старика, в словах которого не было ни гнева, ни пренебрежения.
В Тимуре закипал гнев на сына, на Шахруха, и этот хилый, полуживой пленник уже меньше занимал Тимура. Расспросить его надо было, но окружающих удивляла и снисходительность к пленнику, и рассеянность Тимура.
— У меня своей земли тут нет!— повторил Хатута.
— Чужую, значит, пахал?
— Не пахал. Я сперва овец пас, а тем летом рыбу ловил. Рыбу ловили на базар, до самого нашествия ловили.
— Где?
— Неподалеку тут, под Ганджой. На Куре.
— Осетров?
— Лавливали.
— Разве адыгеи рыбу ловят?
— Когда баранов нет, а есть надо.
«Почему он разговорился?»— не мог понять Тимур, дивясь, с какой охотой и как доверчиво отвечает этот измолчавшийся мальчик.
— Сколько вас там, хозяев?
— Откуда мне знать?
— Берегись. Тебя заставят вспомнить.

— Если бы ты был самим великим падишахом, как заставишь? Как я скажу, когда не знаю?

— А кто был другой с тобой?

— Рыбак.

— Еще кто с вами?

— Все люди своей земли.

— А с этим.. С этим рыбаком кто был еще?

— Нас двое с ним. Нас у него восемь человек рыбачило, а когда он собрался в горы, одного меня взял.

— Тебе одному доверял?

— Да нет — я был пастухом, легче хожу по горам.

— А что он говорил, когда тебя звал?

— Говорил: надо старое сено сжечь. Чтоб мышиные гнезда не расплодились. Мы зажгли, он говорит: «А теперь бежим, они нас загрызут за эти гнезда».

— Почему ты молчал, когда тебя спрашивали?

— Лень было говорить. Спать хотелось. Мы всю ночь на эту гору лезли.

— Врешь! Небось целую ночь просидели на горе, поджидали, на дорогу поглядывали. А?

— Я не говорил, что мы прошлой ночью туда лезли. В другую ночь лезли. А прошлую ночь сидели в шалаше, на дорогу глядели. Это верно, глядели в долину. Сверху далеко видно. Да больно уж холодно там ночью. Разве заснешь? А потом меня везли, днем не давали поспать. Вот я и молчал.

— Врешь! Не потому молчал.

— А что мне отвечать? Они тоже спрашивали, сколько нас. А что попусту отвечать, когда они сами видели: нас было двое.

— А на других горах?

— Я тех не видел. Те далеко от нас.

— А говоришь, с вами все люди.

— Да не все же залезли в горы!

Тимур вдруг понял:

«Молчал — хотел время оттянуть. Теперь знает: все с гор успели сойти, а кто и не ушел еще, тех ночь скроет. Днем молчал, ночью молчать стало незачем. Теперь он до конца будет прикидываться, что других не знает. Думает меня перехитрить — ждет, что я ему голову снесу, а перехитрю его я: оставлю ему голову. Вот тогда и поглядим, что он с ней станет делать? К этому он не готов. Тут он и попадется!»

— Ладно! Ступай поспи, да и лови свою рыбу.

Окружающие переглянулись, удивляясь, как это повелитель, ничего не добившись, отпускает пленника, доставшегося с таким трудом.

Султан-Хусейн, торопливо встав перед дедом, с готовностью предложил:

— Теперь поговорю с ним я. К утру все скажет!

— Отпусти его. Пускай ходит своей дорогой.

Один Шейх-Нур-аддин сразу понял эти слова и тотчас выделил рослого бородача в иранском панцире провожатым:

— Проводи его. Да прежде чем отпустишь, покорми, побеседуй, дай отдохнуть поспокойней: слыхал ведь — он спать хочет. Береги его.

И, распорядившись, Шейх-Нур-аддин поспешил вслед за удалявшимся Тимуром, а воин повел отпущенника к своей стоянке. Если бы пленника не вести под руку, он никуда не пошел бы, ноги его не несли, он опустился бы тут же на темную землю.

Тимур возвращался к своей юрте, готовя ответ Шахруху.

«Рано поутру послать людей в Герат. Кого? Из них ни один не должен быть ни сострадальцем царевичу, ни почтительным книголюбом, ни богобоязненным, ни почитателем духовных наставников, всяких там суфиев, святых старцев. Ни каким-нибудь сородичем Гаухар-Шад-аги, гератской царевны... Значит, и не всякий барлас на это годится...»

Вдруг он заметил, что не идет, а стоит в раздумье. И вельможи почтительно и неподвижно замерли, ожидая его. Значит, он думал, а они ждали! Прежде он не давал им времени ждать, пока сам думал. Стареть стал, что ли? Он всегда так умел думать, что люди не успевали заметить, думает ли он. Всем казалось, что любой вопрос он предвидел заранее и отвечал раньше, чем спрашивающий успевал договорить. О нем рассказывали, что все он знает заранее, что ночами беседует с пророком о будущем и потому знает ответ на все, ибо знает, о чем его спросят, знает, как обойти врага, ибо заранее знает все замыслы врага. Так говорили о нем, и он не опровергал этого.

Торопливо и строго он сказал:

— Чего же стали? Я вот гляжу — ночь хороша!

— Весна!— догадливо подхватил Шейх-Нур-аддин, хотя видел опущенное к земле лицо повелителя и понимал, что не так любуются красой весенних ночей.

Снова все пошли к юрте. И только Тимур не замечал, как заманчиво пахнет от котлов, где повара, отдав страже перестоявшийся плов, заложили новый, но теперь опасались, не передержан ли и этот, да и удался ли он, готовленный уже не с прежней охотой, не с прежним воодушевлением, а ведь плов каждый раз требует нового рвения от поваров, и как у каждой красотки есть что-то свое, особенное, так и у каждого плова есть свое, неповторимое.

Тимур ушел в юрту, а его вельмож окружили рабы с кувшинами, чтобы полить гостям на руки. Всем стало легче и веселее: день, наконец, кончился, настал, наконец, хотя и в столь поздний час, час покоя.

Рассаживались на кошмах вокруг медных тазов с кусками печенки, печеной на углях. Разламывали лепешки. Переговаривались, но от шуток воздерживались и разговаривали вполголоса: повелитель был неподалеку, и никто не знал, расположен ли он слышать их.

В юрте повелителя хмуро горел светильник. Писец, согнувшись на корточках, записывал распоряжения невидимого в темноте Тимура.

Он велел привести гератских купцов, прибывших еще днем. Отчаявшись чего-нибудь добиться в этот день, гератцы уже легли спать и теперь, когда их позвали, натыкались друг на друга и ползали среди постелей, словно их застало землетрясение.

Гератский купец, став перед светильником, ничего не видел в полутьме юрты, кроме тоненького язычка пламени, и кланялся в эту сторону, ожидая, что кто-нибудь войдет. Он вовсе растерялся, когда памятный ему голос Тимура прозвучал совсем с другой стороны:

— С чем прибыли купцы?

— О великий государь! Из того, чем торгуем, не потребно ли чего великому государю?

— Я что-то запамятовал, ты чем торгуешь?

Купец почуял что-то недоброе в том, что Тимур, прежде не раз хваливший его товары, теперь вдруг запамятовал это. И спесь, и наигранное благодушие покинули гератца. Он еще не успел ответить, как Тимур вдруг спросил:

— Откуда ты узнал, что я в этих краях?

— Как откуда? Кто же этого не знает, великий государь.

— В Герате узнал, где меня искать?

— А где же? В Герате!

— И поехал сюда торговать?

— Затем и спешил.

— А назад когда собираешься?

— Распродамся — и назад.

— А тут закупать чего думаешь?

— Да благословит господь его имя, мирза Шахрух, правитель наш, наказывал мне поискать среди здешнего разоренья, не попадется ли редкостных книг хорошего письма, с изображениями жизни, с украшениями; купить, чего бы это ни стоило. Есть, говорит, по Азербайджану прекрасные переписчики. Исстари были. Теперь там, мол, не до книг. Пока, говорит, великий государь там свер-

кает своим мирозавоевательным мечом, можно такие книги достать, каких при другой погоде не сыщешь.

— Сам мирза так говорил?

— Затем и призывал меня.

— Значит, он знал, что сюда ко мне товары везешь?

— А как же ему не знать, великий государь? Да он не мне одному — многим людям сюда такой же указ дал: скупать книги хорошего письма, либо большой древности.

— Утром я пришлю к тебе посмотреть твои товары. Ступай.

Когда купец, косясь на светильник, вышел наружу, здесь, в ночной тьме, никого, кроме караула, не было, и воин повел купца на место мимо безмолвных юрт, мимо спавших на кошмах воинов, мимо коновязей, где тоже было тихо.

Но Тимур не ложился, сон не шел. Он, наконец, выбрал тех троих из своих сподвижников, которых поутру тайно пошлет в Герат.

Он один пошел по спящему стану.

На кошмах вповалку спали воины. Всю землю далеко вокруг сплошь покрыли тысячи уснувших людей, будто вся она занесена черными валами песка из пустыни.

Он постоял неподалеку от лошадей. Они всхрапывали и вздыхали во сне. Не слышно было хруста — не ели, а спали. Значит, с вечера их хорошо накормили. Оводам и мошкаре еще рано быть, еще холодно, и лошади стояли спокойно.

Он снова вышел к воде и сел на камень послушать ее беспечное течение. Что-то беспокойное, тревожное будили в нем ее неустанное движение, тихие всплески, непонятный, проносящийся мимо него, без него, независимый от него поток.

Ему хотелось что-то понять, но самый вопрос ускользал, он не знал, на какой вопрос хотелось найти ответ. Что-то непонятное будила в нем вода, и хотелось это понять. И что она в нем будила, понять он не мог: в его душе никогда прежде не поднималось это чувство.

Он перешел на другой берег и вышел к месту, где прежде стоял Дом Звездочета. Он обошел кругом этот невидимый, уже исчезнувший дом, как когда-то обходил его, когда дом еще стоял здесь. Какой-то щебень подвертывался под ноги. На каменной плите, бывшей некогда порогом, он снова сел. Мрамор плиты был холоден, очень холоден. От такого сиденья могла разболеться нога. А болеть на походе не было в его правилах. Он встал, раздумывая, нет ли где-нибудь места, где он мог бы посидеть среди этой ночи. Но, кроме его постели, в юрте, нигде ничего не могло найтись, все взято теми, кто спал теперь вповалку широко вокруг. Не спали лишь безмолвные караулы, но им не полагалось сидеть,

им не полагалось никаких сидений. Даже седла с лошадей небось все сняты, чтобы служить изголовьем воинам.

Тимур постоял, вглядываясь в темноту, и возвратился к Дому Звездочета. Вот что наделал Мираншах! Все дуром, все дуром! Все наперекор отцу! А Шахрух у себя все бережет, ничего не разрушит, но и едва ли что-нибудь создаст. А что и бережет, бережет для себя. Не для отца, не для приумножения великой державы, а для себя одного. Вот уж сколько лет книги скупает, заказывает переписчикам, а заполучив такую книгу, запирает ее в сундук, оберегает и от солнечного света, чтобы не выгорели чернила, и от посторонних глаз, кроме редких собеседников, удостоенных чести раз в год полюбоваться той или другой редкостью из сундуков мирзы Шахруха. Таким и сызмалу был, таким и рос: отвернется от всех и разглядывает что-нибудь, сколько раз даже от отца халатом закрывал какую-нибудь безделицу, пока сам на нее не налюбуется, пока сам ею не натешится. С матерью никогда от души не разговаривал, с этой робкой таджичкой, которую и Тимур не очень жаловал. И никогда Тимур не прочил ни Шахруха, ни Мираншаха в свои наследники. Уже не было Джахангира, отславился отвагой Омаршейх, сраженный стрелой курда, и уж лучше было потомство Джахангира, внуки Тимура, чем эти двое уцелевших незадачливых сыновей. Он прикажет своим тайным послам в Герате быть суровыми с царевичем, прикажет им быть решительными. Даст им право расправляться с каждым, кто окажется виноват! Только самого царевича не велит трогать, хватит с него и острастки, нельзя двоих своих сыновей сразу выставлять на позор. Небось, прослышав про расправу с Мираншахом, Шахрух уже присмирел, а остепенился ли, переменил ли своих советчиков? Сам не переменил, так ему их переменят. И без всякого почтения!

Но Тимур устал ходить по темноте, натыкаясь то на щебень, то на камни, то останавливаясь перед какими-то ямами, закрытыми прошлогодним бурьяном.

Он вышел к юрте царевича Улугбека и остановился у входа, прислушиваясь. Тяжело дыша и ворочаясь, там неспокойно спал Кайиш-ата, но Улугбека не было слышно.

Тимур обошел юрту кругом. Караул оцепенел, узнав повелителя, а он приметил поднятый край кошмы и догадался, что там спит внук. Пригнувшись, он вошел в темноту юрты, где светлее было лишь у поднятого края кошмы, и сел на край одеяла у изголовья внука.

Кайиш-ата неслышно поднял голову, вглядываясь в темноту, и не столько зрением, сколько изощренным слухом узнал повелителя по хрипловатому дыханию, по привычке посапывать, когда он думал.

Тоненькая рука с длинными пальцами лежала поверх одеяла, а другую руку мальчик во сне подсунул под щеку.

Тимур взял эту слабенькую, прохладную руку и подержал ее.

Долго бы он сидел так в безмолвии, один со своими раздумьями — неизвестно, но Улугбек вдруг проснулся и, счастливый, что видит деда так близко от себя, боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть это желанное видение.

Дед, однако, почувствовал, что мальчик не спит, и рукой, привыкшей поглаживать разве только лошадиные морды, ласково и нерешительно провел по щеке внука.

— Ну, как ты?

Старик явно радовался, что среди этой тьмы и безлюдья, среди десятков тысяч разоспавшихся людей нашелся собеседник.

Улугбек смолчал, но поцеловал руку деда. Потом неожиданно спросил:

— Дедушка! Почему, если у противника конница сильнее, чем у вас, а пешими вы сильнее, вы посылаете в битву пеших, а конницу, которая слабей, чем у противника, придерживаете в запасе? Разве так готовят победу? Разве не лучшую силу надлежит придерживать? Мой достопочтенный отец-наставник утверждает, что вы поступаете так.

Кайиш-ата в темноте даже раскрыл рот, в страхе ожидая ответа повелителя и негодуя:

— «Памятлив, змееныш!»

Тимур оживился, счастливый, что маленький внук один среди ночи размышляет о воинских делах:

— Глазомер нужен. Насколько кто сильнее. Когда перевес и тут и там невелик, пехота сильная вскоре потеснит слабую, а вражья конница кинется на выручку своей пехоте. Тут надо выждать, довести бой до крайности. Дать вражьей коннице увязнуть в битве. Когда она разбредется, уморится, в горячке позабудет о твоей засаде, тогда и пусти свою конницу, числом меньшую, зато свежую, распаленную ожиданием. Она будет сильней не числом, а духом.

Кайиш-ата тяжело задышал, заворочавшись от беспокойства.

Тимур вспомнил о нем и добавил:

— Видишь, наставник тебя верно поучал.

На душе у Кайиш-ата посветлело, и, успокоившись, он протянул ноги, подсунул руки под голову,— за всю жизнь раз выпадет этакий случай беспечно развалиться в присутствии самого повелителя.

«Не дал меня в обиду! А тот... Ах, змееныш!»

Но Тимур вдруг сказал:

— В битве каждый раз надо по-нову думать. Новая схватка — новая загадка. А вдруг у врага силы свежие, а ты свои подвел сразу с длинной дороги? Твоя конница не поспеет отдохнуть, а лошадей надо опять гнать, да во всю мочь. Откуда ж им взять мочь, когда они перед тем долго шли? Значит, прежний опыт не годится, надо по-нову думать. Да притом раздумывать некогда: воинские отгадки надо наскоро смекать!

Погладив голову мальчика, Тимур встал, приговаривая:

— Ну спи, спи. Рано еще! Расти полководцем. А думать сам учись, книги тебя не научат победам. Надо думать самому, да быстрей, да ясней, чем думает твой враг. По книгам историю учат, а победам по книгам учиться — значит назад глядеть. Глядеть надо вперед, да подальше видеть. А пока спи. Рано еще! Спи, набирайся сил. Полководцу нужна сила.

Когда дед, приговаривая «рано еще!», ушел, Улугбек полежал, прикидываясь уснувшим, дабы, избави бог, не вздумал заговорить Кайиш-ата, ворочавшийся неподалеку.

Не спалось: мальчика будоражили видения предстоящих битв, когда он вырастет и поведет войска к победам. Он, крадучись, поднялся, накинул халат на плечи и вышел наружу.

Ему представилось, как такой же ночью он пойдет к своим войскам, как поднимет их и поведет на внезапную битву. Он, как Халиль-Султан, кинется первым, впереди всех, на слонов так на слонов, на львов так на львов. Сквозь визг стрел на ревущего, ощетинившегося врага, с одним лишь коротким копьем в руке!.. А за спиной будет развеваться не жалкий халатик, а белая воинская епанча.

Он боевым шагом вышел к пруду, где сидел накануне вечером.

Небо чуть посветлело к утру, и мальчика поразило то большое дерево, которое вечером стояло голым. Теперь все его ветви густо покрывала крупная черная листва.

«За одну ночь! Какова весна!»

Улугбек стоял в удивлении:

«Листья у чинара всегда велики, но отчего они черные?»

Вдруг, проснувшаяся раньше других, где-то взвизгнула и заржала лошадь, может быть, прося водопоя. И вот вся лисвта на дереве сразу шевельнулась, как при порыве ветра, вдруг вся вспорхнула, поднялась в небо.

В небе на одно мгновенье замерла над деревом, но тотчас поднялась выше и, хлынув вкось, исчезла в темной стороне неба.

Задрожав от ужаса, Улугбек потерял с плеч халатик и мелкими шажками побежал назад к юрте, боясь оглянуться на опять голое дерево.

На всю жизнь запомнился ему этот непостижимый взлет листь-

св. Часто он вспоминал о нём и через многие годы, размышляя о неизъяснимых чудесах мира.

Он не догадался, не разглядел, что это лишь огромная, на перелете из Индии, стая скворцов заночевала здесь и, почуяв близость утра, поднялась всем своим множеством, чтобы нести весну на родину, на север, к подмосковным проталинам, где уже кончался март.

Пятая глава

МОСКВА

Обмерзшая скляница оконца чуть заголубела во мгле опочивальни,— светало.

Великий князь Московский Василий Дмитриевич встал, прошелся в исподнем по вязкому ширванскому ковру, тронул кончиками пальцев намерзший на стекле иней: на дворе март, а морозно; оттого и теплынь в палатах, печи по дважды в день топлены.

Устоявшийся воздух душен, сух, пропах пряными травами, с осени для приятного духа подкинутыми под перину.

Голубеет скляница оконца, розовеет стеклышко лампады, но в опочивальне еще темно.

Василий черпнул ковшиком квасу из дубовой сулеи, обтер усы шелковым платочком и тем же платочком снова накрыл сулею. Нашарил на скатерти тоненькую восковую свечу, затеплил ее от лампады и перенес баловной язычок огня на большую свечу, стоявшую в тяжелом витом подсвечнике перед венецийским зеркальцем. Из бездны зеркальца взглянули, из-под прямых бровей, золотистые глаза на бледном лице, припухшем у висков.

В углу, над кованой медной лоханью, Василий поплескал водой из рукомоя, чтоб не молиться немытому, и присел на скамью одеваться; не было обычая, чтоб в исподниках перед холопьями топтаться, одевался всегда сам.

Поколебавшись, достал не повседневный, а праздничный кафтан, где на фряжском бледно-лиловом бархате вышиты серебряные лилии.

Причесываясь, снова погляделся в зеркало. Выпрямил пробор на подрезанных в скобку волосах, начесал челку на лоб, проверив пальцем, ровна ли. Потрогал лицо: отчего это припухает под скулами? Лицо показалось желтоватым, небольшая лопаточкой бородка — рыжеватой. И ее расчесал. Веснушек пока не видать,— видно, на этот год отстали.

Молился, уважительно кланяясь спасу — родительскому благословенному образу, отцову, Дмитрия Ивановича Донского, бла-

гословенью. Обходился одной молитвой: читал «Отче наш», убежденный, что эта молитва обращена к покойному родителю; а ему на небеси видней, чего испросить у господа для сына своего Василия; ему видней! Оттого и перед спасом стоял с почтеньем, полагая, что отец сам внемлет сыну своему Василию, сам видит его, со всеми его нуждами, заботами, хлопотами.

Дочитав молитву, немножко еще постоял, считая неловким сразу отвернуться: не по спешным делам к спасу обращается, а с утренним сыновним поклоном.

Огляделся: не забыл ли чего в опочивальне. Эти ночи коротал один, один и молился,— государыня, великая княгиня Елена Витовтовна, почивала в теремах у мамушек, по случаю говенья: шел великий пост.

Отблескивала от свечи округлая бронзовая рама зеркала; неподвижно свисало серебряное кованое паникадило, византийское, дареное, кое-где золотясь на гранях. Огонек лампады обагрял серебряные лилии на кафтане, и на все это наплывал призрачный, как голубой дымок, рассвет.

Василий застегнул девять круглых серебряных шершавых пуговиц, туго пролезавших через жесткие петли, и уж совсем было застегнул и нижнюю пуговицу, да остановился, подумал и решительно расстегнулся, скинул на скамью богатый кафтан и снял с вешалки из-за занавески расхожий суконный, зеленый, бормоча:

«Ни к чему, ни к чему, ну его!»

Соскоблил пятнышко воска с обшлага и пошел к двери.

В клети ждали отроки. Иные были в летах, а еще не выслужились, прислуживали государю.

Едва он вышел, поверх кафтана ему на плечи накинули алую шубку, от прохлады в сенях.

В сенях стояли ближние бояре, ожидая утренних распоряжений от Василия Дмитриевича, либо за советом, либо поведать о ночных случаях, буде случаи были.

Перед плотными, рослыми боярами великий князь остановился, словно юношек, хотя был и росл, и статен, но он был обыденен, не по сану прост, будничный человек: не пятил грудь перед боярами, не распускал бороду по груди, не хмурил бровей в знак высокоумия и власти. Остановился запросто, как огородник перед кочанами капусты, а не великий князь перед вельможами своей державы. Но этакой его простоты пуще огня боялись бояре: по простоте ему случалось такие думы с маху решать, какие по обычаю надо бы решать долгими советами. И хотя по виду Василий нетороплив, а поспевает свое решенье сказать твердо,— видно, думает про все сам, загодя, не дожидаясь, пока бояре на думе обдумают. От этого казались его решенья скорыми и, случалось,

разражались над головами, как гром из погожих небес. Что-то было в Василии от отца, от Дмитрия Ивановича, хотя тот был дороден, а этот сухощав, тот волосом черен, а этот русоват, тот был приветлив, а этот всегда будто чего-то ждет, прежде чем слово сказать.

Пощуривая золотистые глаза, переминаясь с ноги на ногу, пожевывая к чему-то губой, он слушал поочередно то одного, то другого из бояр, слушал лишь то, чего нельзя было отложить до утреннего выхода.

Будто ленясь, Василий отвечал медленно, но слова его были кратки и смысл всякий раз ясен,— ни додумывать его слов, ни, поеживаясь, ждать повторенья, в надежде, что он изменит решенье, не приходилось.

Один из бояр сетовал:

— Ведь какая несообразность, государь: у князя Тимофея Иваныча с Попова леса на твой двор брали по два пуда меду в год. Нынче в том лесу пятьдесят десятин выжгли под пахоту, а твои ключники за то востребовали уж по три пуда. Лесу стало мене, а меду давай боле! Откуда же его брать бортникам, коли лесу поменело. Несуразность это, взыскивать мед с пахотных угодий, а не с бортных, государь!

— Прибавилась пашня — значит, людей по тем местам прибыло. Прибыло людей — значит есть кому по лесу шарить, рои искать. В лесу места много, отселе пчел согнали, они в иное дупло перенеслись. Было бы кому доставать. Людей у нас мало, а пчел довольно. Прибавились люди на пашню, стало кому и на борть сходить. Сам-то он небось бедней не стал, коли новый починок у меня в лесу отпахал! Отдаст три пуда, справится!

И, кланяясь, боярин отпятился.

Когда сени почти обезлюдели, Василий спросил Тютчева, которому за знание восточных языков часто доверял иноземные дела:

— Ну, как?

— Насчет чего, государь?

— У тебя там посол Тохтамышев цел?

— Всякой день торопит, торопит.

— Да что ж, проведи к нам. Послушаем посла.

— Когда, государь?

— А сейчас. Сюды.

— Он небось еще почивает. Не чает вызова.

— Что ж это до тех-то пор спит?

— Азият.

— Понятно, а нехорошо.

— Чего ж хорошего!

— А ты вели глянуть. Коли уж продрал глаза, так шел бы.

Послушаем, как станет говорить. Увидим, к чему клонит. Тут в сенях и послушаем. Не велик хан Тохтамыш, чтоб его гонцам в Думной палате паникадила зажигать да вельмож скликать,— поговорим без суесловья. А что грамотки он привез, ты и вспорешь, ты и переведешь. Пойди-ка.

И сказал, оставшись вдвоем со стариком, с князем Тарусским:

— Тохтамыш издавна обижатель народу нашему, а мы извечно добром зло рушим.

— Добром и крепнет Москва, государь. Зла не помнит.

— Помнит-то помнит! Как позабыть: через два года после Куликовской победы тот змей Тохтамыш обманом подполз к Москве; батюшка Дмитрий Иваныч в Кострому кинулся войска скликать, а нас с матушкой народу оставил, чтоб в народе спокойствие укрепить. Да мы не дождались, Киприян-митрополит вывез нас из города, а Тохтамыш сюды дорвался, весь Кремль пожег. Тогда великие рукописанья совсюду в собор свезены были, на сохраненье. Все те заветные наши рукописанья под самый купол были наложены. А ему что! Он все пожег. Город скоро отстроили, как все Тохтамышево воинство прочь согнали, а рукописанья отстроишь ли?! Их тысячу лет писали! Кто помнит, что там было писано в этакой-то горе сокровенных книг! Этакое зло да не помнить? Как забудешь,— этого не забыть. Да ну-ка добром тряхнем, оно, может, ему досадней всякого зла.

— Да что ж, когда не с мечом в руках прибегает, пускай!

— Не с мечом, а почему? Неоткуда взять. Да я дам! И сабелек, и чего иного воинского надо, дам. Сей гонец, пока посиживал у меня в подклети, поклянчивал и сабелек своему хану, и разной прочей боевой сбруи. Они ему на Едигея надобны, и я дам на Едигея. Едигею не до нас станет, пока дома не управится. Дадим Тохтамышу, чтоб подоле управлялись. Когда свой дом загорается, впору свой пожар тушить, а не суседа подпаливать, суседу спокойней. Нам до поры станет спокойней от Едигея. Ась?

— Рассудительно!— одобрил Тарусский.

— Нам не наново рассуждать об Орде! На всякое ордынство до отвалу нагляделись. Да и кому из нас Орда ненаглядна? Кто ею не сыт?..

Но Кара-Ходжа не прохлаждался,— ниспровергнутый Тохтамыш-хан не из ордынской столицы, не из Сарая послал своего посла к Москве, а из укромного захолустья, где притулился от Едигеевых ищеек. Едигеевы ищейки и проведчики шарили повсюду, вынюхивали Тохтамышев след, не суля Тохтамышу ни добра, ни милости, буде нападут на след, а оттого все дела надо было решать скорей, не то Едигей нащупает своими скрюченными пальцами ханскую ли семью, ближних ли людей беглого хана. Потому

велел Тохтамыш-хан Кара-Ходже непременно договориться, без промедленья, как бы ни тяжело было, но договориться, и как бы ни договориться, но без промедленья!

Кара-Ходжа спозаранок уже сидел наготове, лишь бы не опоздать с ханским поручением, лишь бы не опоздать. Невтерпеж ему было московское медленье, день за днем сидел наготове, да не звали. Заговаривал с приставом, кланялся Тютчеву, молил поскорей отпустить назад, но Москва его жаловала, баловала, привечала, а позвать к государю не торопилась: великий князь разведывал по Орде, на кого обопрется Тохтамыш-хан, если поднимется, какую силу возглавит, не больше ли будет беды Москве от силы Тохтамышевой, нежели есть от Едигеевой; разведывал меру падения Тохтамышева, сыскали место, где затаился Тохтамыш-хан — Едигей не сыскал, а Василий сыскал — на русском базаре промежду русских купцов.

Тютчев ханского гонца провел черным ходом в сени и поставил перед Василием.

Став перед Василием, гонец растерялся: кому из двоих кланяться,— он увидел возле Василия князя Тарусского; черный, расшитый золотом охабень на Тарусском ослепил ордынца. Будь наряден сам великий князь, Кара-Ходжа, может быть, и не приметил бы, нарядны ли его бояре, а тут при просто одетом Василии гонец подумал:

«Как же богат и как хитер Московский Василий, что так прибедняется. Тут, видно, легче самого себя перехитрить, чем этакого простеца!»

И все, чем готовился обвести Василия, показалось детской затеей, едва увидел желтые, с голубыми искорками в глубине, глаза великого князя.

Откинув назад порывистые, цепкие руки, а острое лицо вытянув вперед, Кара-Ходжа заговорил горячо, бегло.

Тютчев, приняв от Кара-Ходжи скатанное трубочкой посланье, подал Василию, а Василий, надорвав заклейку, вернул трубочку Тютчеву:

— Читай нам!

Тютчев успел быстро разобрать все письмо бывшего ордынского хана. Пустословие приветствий пропустил, но уловил искательный и льстивый подголосок в этой части послания.

Отстранив, как пойманную змею, развернутый длинный свиток, Тютчев то пересказывал своими словами, то переводил дословно:

— Пишет: просит Тохтамыш-хан Золотой Орды великого Московского князя Василия Дмитриевича принять от него, от великого хана, младших, малолетних сыновей на воспитанье, на житье в Москву.

Кара-Ходжа вслушивался в голос Тютчева, косясь куда-то в стену, будто искал щель, чтоб невзначай юркнуть туда и там пропасть, притаиться. Нет-нет да глянет мельком на московитян и снова косится в стену. А Тютчев продолжал негромко, безо всякой торжественности:

— Пишет: почитая, мол, как брата, как брата прошу великого государя приютить под славной своей рукой, строго опекать, на ум наставлять, к воинскому делу приохочивать для совместных побед, в науках просвещать, отеческой заботой согревать, в залог обоюдной любви и дружбы, младых отроков-тохтамышевичей на рост до возрасту.

— А в коей они вере?— спросил Василий.

Тютчев перевел ответ Кара-Ходжи:

— Мухаммедане.

— Как же это я их наставлять стану, когда у них вера не та?

Кара-Ходжа возразил:

— Бог един.

— Да во многих лицах! Они небось и в троицу не веруют?

— Бог един!— повторил Кара-Ходжа.

— К единоверцам своим отослал бы — небось сам-то у хромоногого Тимура уму-разуму научился, туда б и отпрысков своих отдал.

— Боязно: нет веры Тимуру.

— Разве что! А то послал бы.

— Нет веры Тимуру! Сердит Тимур-Аксак на моего государя.

— Не остыл за пять-то лет?

Кара-Ходжа потоптался, все так же косясь в стену, и промолчал, но Василий и сам хорошо знал, что оттого и бесприютен нынче Тохтамыш, что вышел из доверия у Тимура, и, видать, надолго вышел; и в ту сторону заколодели пути-дороги у самаркандского, у Тимурова выкормыша, и, видать, надолго заколодели.

Василий кивнул куда-то в сторону, в угол, где подразумевалась западная сторона:

— А то к Витовту послал бы, к Литве. Витовт Ольгердович мне тесть, возрастом умудрен, твоему хану испытанный, полюбовный друг, поелику на Воркле-реке совместно побиты были от Едигея.

— Другим нет веры, великий государь,— одному тебе!

— Да с чего бы?

— Просит великого государя наш великий хан дары от него принять...

Кара-Ходжа, вдруг засуетившись, обернулся: позади надлежа-

ло б стоять его спутникам с дарами, да Тютчев оставил их за порогом, желая, чтоб беседа у великого князя с гонцом протекала без лишних глаз.

Теперь боярин дал знак, и в сени вошли трое ордынцев, неся накрытый богатой вышивкой небольшой подарок.

Кара-Ходжа повторил:

— Дозволь, великий государь, поднести от Тохтамыш-хана памятку. Бедную, бежецкую, да чем богат; молит не взыскать, принять.

— Какую уж памятку! — отмахнулся было Василий, но Кара-Ходжа все кланялся, и Василий слегка протянул руку к гонцу.

Кара-Ходжа, согнувшись, поцеловал камею, вправленную в перстень на указательном пальце Василия.

Затем, отступив, снял покрывало с ларца, и спутник поставил этот ларец на руки Кара-Ходжи, поверх покрывала. Так ханский дар был поднесен Василию.

В ларце оказалась золотая чеканная чаша, доверху наполненная переливчатым байкальским жемчугом.

Глянув на чашу, Василий чуть побледнел и, прищурившись, разобрал часть надписи, которую еще в юности он читал на этом древнем киевском золоте:

«Се чаша князя великого Галицкого Мстислава Романовича, а кто ее пьет, тому во здравие, врагу на погибель».

Взятая Ордой в битве на Калке в тысяча двести двадцать четвертом году, чаша эта была отбита у Мамая на Куликовом поле в тысяча триста восьмидесятом. Дмитрий Иванович Донской отдал ее вкладом в Чудов монастырь на оклад иконы, что стояла над могилой митрополита Алексея Бяконта. Да, видать, не успел монастырь перелить чашу на оклад до Тохтамышева разорения, увез чашу Тохтамыш из разграбленной ризницы снова в Орду. Восемнадцать лет она дома не бывала, а вот она опять!

— Видать, забыл, где ю добыл! — проворчал Василий, но ни бояре, ни ордынцы, не разобрали его слов, хотя и приметили любопытство князя к подарку.

— Благодари хана за подношенье! — усмехнулся Василий Кара-Ходже.— А насчет ханских чад... что ж, так скажи: пускай шлет, примем. В любви придут — с любовью приветим. Не в московском обычае руку отводить, буде на дружбу к нам рука тянется. А со злом потянется — отрубим. А за ханский присыл я отдарю доброй сабелькой, да кольчужек ему велю передать: ему ныне такие дары нужней злата, дороже жемчуга.

И, дозволив гонцу снова поцеловать перстень, велел Тютчеву:

— А гонцу на дорогу шубку выдай желтого сукна, что зеленым шелком обшита, а то небось нехристь зябнет при наших-то холодах.

И ушел в горницы, говоря Тютчеву, несшему следом за ним ханский подарок:

— Видать, забыл, где ю добыл! А может, напомнить вздумал, как прежде сюды заходил, постращать вздумал? А только испугом нас не возьмешь, кто и ходил нас пугать, все сами от испуга кончились, а мы и доселе живехоньки на своем месте. А с добром послал, по забывчивости, не нам чураться, когда к нам с добром льнут. Москва исстари так: другу помогу даст, врагу с охотой могилку выроет. Ась?

Тарусский сказал своим раскатистым голосом:

— При нынешних делах могли б мы и лучше этого приимок ждать, великий государь.

Василий покачал головой:

— Ан, видно, дать ему не из чего: из добычи дары дарит, из сокровищницы. В своем хозяйстве на подарки товаров нету, обносился. И спасибо ему: из сего приимка вся его сила видна, все его имущество.

Василий кивнул на подарок:

— Хороша чарочка. Да и как ей дурной быть? Нашей ведь работы, киевской. Возьмем, вернем ее Чудову.

Тютчев добавил:

— И покрывало то не свое, не ордынское шитье — грузинское рукоделье.

— Может, у Тимура нечаянно утянул, из Самарканда,— у них это запросто. А не то и сам с Терека уволок — он смолоду и сам туда хаживал, удалой атаман. И как теперь быть: ханских чад басурманскому обычаю учить — сам тому обычаю не учен; к своему обычаю их привадить — Тохтамышу зазорно. Так сие толкую: не в науку мне даются, не в обучение, не на рост хан их шлет,— притулить до времени, пока самому негде притулиться. А там — как бог даст.

— Небось так,— согласился Тютчев.

— Пускай промежду собой воинствуют, пускай воинствуют...

Поднимаясь по холодной лестнице в терема к семье, Василий приостановился, смотря на Москву: вся она еще укрывалась снегом, серая, бревенчатая. Кое-где высились каменные белые стены храмов, башен, звонниц. Стояли дома простые и затейливые, одни боярские, сложенные из дубовых бревен, другие — из толстенных сосен, и по дереву одни стояли в утреннем свете желтоваты, те — буроваты, эти смуглы, дубовые, сосновые, еловые дома Москвы, у кого какие! Бояре ставили хоромы из дуба: прочен был дуб, ве-

чен, много его росло вокруг по лесам, да грузно дубовое бревно, возить его тяжело, оттого и не каждому двору был такой лес под силу. Задешево шел сплавной сосновый лес, по весне его много сюда сплавляли плотами, готовые трубы плотники задешево распродавали на берегу Неглинной-реки, да реки-то еще скованы льдом.

— Март, а морозно!— жаловался Василий.— Какая тишина! Как она тиха, Москва, пока не вся проснулась. А уж как встанет, так что ей мороз!.. Какая тишина!

Шестая глава

ШИРВАН

На плитах каменного пола горел светильник, чадя в черные своды кельи.

Сквозь низенькую, как лаз, дверь, слегка колебля свет, сочилась свежесть наступающей ночи.

Старец сидел, сутулясь перед светильником, смотрел на длинное пламя, то освещавшее все лицо, то лишь углублявшее морщины на лбу. Смуглое лицо казалось темней от чистой белизны седин, сросшиеся брови курчавились завитками, мелкими, как у белого ягненка, курчавилась и круглая борода, окаймлявшая эту смуглоту. Выпуклые глаза, темные, как черные сливы, слегка подернутые голубым налетом, не отрывались от огня и порой поблескивали красноватым отливом.

Он перебирал длинные четки деревянных шариков, и пальцы, тоненькие, почти девичьи, изредка приостанавливались, замирали и снова, как бы спохватившись, шарик за шариком отбирали у бесконечной нити.

Как ни наполнял маслянистый чад всю эту келью, старец улавливал влажные струи воздуха, доносившие запах набухших почек, молодых листьев, миндальную свежесть весенней земли.

Иногда старец улыбался, еле слышно пропев стихи:

Миндаль зацветет и отцветет во мне,
Птица взлетит и свершит полет во мне,
Необъятный мир во мне уместится,
Во мне побыв, со мною умрет во мне.

Прислушавшись с улыбкой к новорожденным строчкам, он задумывался над рождающейся строкой.

Может быть, ночь напролет длилось бы это бдение, но уединенный покой прервался: в дверь втиснулся гость. Он остановился в дверной нише, куда лишь порывами достигал слабый свет. Не ступая на порог комнаты, поклонился. Молча взял пустой кувшин, стоявший у двери, и ушел, исчезнув во тьме.

Когда, наконец, он вернулся и опустил на место тяжелый кувшин с водой, старец, может быть додумывая какую-то неподатливую строку, проясняя какую-то смутную мысль, смотрел на гостя пытливо, но молча, словно не в словах, а в облике этого человека искал ответа на свой вопрос.

Над бледным лицом гостя высился, как купол, барашковый рыжий островерхий колпак, а желтоватое лицо казалось мастерски выточенным из слоновой кости,— столь совершенны были все мельчайшие черты лица. Прорисованными тонкой кистью казались усы, спускавшиеся к пушистой молодой бородке. Лишь глаза были поставлены неровно, словно вдохновенный мастер, утомившись, лишь небрежно мазнул здесь чёрной тушью; они смотрели прямо и строго.

Маленькой рукой с короткими пальцами гость поправил усы и, как бы в раздумье, откинул руку, прежде чем, прижав ее к сердцу, поклониться.

Поклонился он не прямо старцу, а, казалось, светильнику.

Старец посетовал:

— Вот и стемнело, милый Имад-аддин.

— Перед обеденной молитвой видели дым, отец Фазл-улла. Бог вынул из ножен карающий меч своего гнева.

— Идет сюда?— И улыбнулся:— Это придумали муллы, дабы оправдать нашествие. «Бич божий». «Карающий меч божьего гнева!»

И опять с тревогой спросил:

— Идет сюда?

— Он сдвинулся с зимовья. А можно ли знать, докуда доберется степной пожар? Однако знаем: смрад пожарища достанет и досюда, как в прежние годы. Я пришел спросить, не уйти ли нам.

— Куда?

— Люди уходят в горы. Там много неприступных ущелий. Скарб берут с собой, а чего нельзя взять, зарывают.

— Нет. Останусь. Беженцев кинутся догонять, искать. А нам надо жить неприметно. Мы будем неприметней, если останемся.

— А вдруг сюда придет его войско?

— Мы ему опаснее внутри его войска.

Старец опустил глаза, помолчал и твердо сказал:

— Не в оружии наша сила. Числом мы бедней, воинским опытом — слабей. Нет в нас жестокости, коей пересилили бы его жестокость. Он конями нас передавит, не вынимая мечей. Но в нас есть сила духа — она порождает могучие слова. Мы останемся укреплять дух народа, дабы сохранить народ.

— Сохранить народ? Словами? Его воины перекликаются кличами и разят мечами, а мы, перешептываясь, таясь по углам, победим?

— А мы созовем уцелевших. Когда нашествие схлынет, мы их сплотим. Они снова станут народом. Кто любит свою землю, свой язык, свой обычай, снова сбредутся вместе, снова здесь станет народ, хозяин здешней земли.

— Мы сами смертны!..

— Исчезну я, уцелеешь ты. Оба падем — уцелеет память о нас. Наша гибель вспомнится и тому, и другому, они встретятся, задумаются, вспомнив нас, вспомнят наши слова, поселятся рядом, пока к ним не подойдет и третий, и сотый, и пятисотый. И снова здесь заживет народ, хозяин здешней земли.

— Да будет так, отец. Оставайтесь с нами. Я принес вам хлеба.

— Как же уходят в горы,— ведь им надо взять с собой побольше хлеба. Где им взять?

— Мы весь день собирали им припасы у тех, кто остается.

— Много остается?

— Одни — из-за болезни и слабости, другие — в надежде на милосердие Хромца. Третьи — в ожидании его милостей. Мы — для нашего дела. Но кого Хромец может взять в рабство, пускай уходят. Чем меньше ему достанется, тем он слабее, тем народ наш целее.

После раздумья гость добавил:

— Пускай уходят. Там много отважных. Они сговариваются, собирают оружие, где могут. Откапывают: у кого было, снова биться!

Старец нахмурился:

— У Хромца двести тысяч конницы. По словам дервишей,— триста тысяч. В былые годы мы бились и прославились подвигами. Он раздавил нас. Числом и опытом. Что могут три тысячи против трехсот тысяч? Даже тридцать против трехсот? Он накапливал силы, опыт, ярость, а мы питались травой, кореньями, всю зиму мерзли, нам и укрыться стало нечем. Нет, не грудь в грудь мы столкнемся с ним — только силой духа. Только силой духа! Наше дело — снова всех сплотить, когда настанет час. А час настанет.

Гость промолчал, но вдруг заторопился:

— Спрячьте хлеб, отец. Прошлой ночью Хромец вышел. В три дня его конница может дойти сюда. Время не ждет — я пойду.

Старец пошел к двери следом за гостем. Когда, соступив в нишу, гость пригнулся, чтобы пройти в дверь, старец остановил его, положив маленькую ладонь на теплую спину гостя.

— Берегись, Имад-аддин: всюду его уши, всюду его глаза.

Имад-аддин выпрямился и обернулся к старцу. Старец ласково улыбнулся и поднял глаза куда-то к высокой шапке Имад-аддина.

— Берегись мулл. Помни: они почитают его, как меч божьей кары. Они внушают пастве, будто Хромец ниспослан нам богом, будто неповиновение ему есть неповиновение божьей воле. Берегись их.

— Внушают пастве, чтоб тот меч не смахнул чалму с их головы, а то и голову с плеч.

— Знаешь это, так пуще остерегайся их: эти, которые берегут себя, не щадят никого. Помни!

— Помню, отец.

— А ты хотел отправить меня, когда вы остаетесь!

— Вы старше всех нас, отец.

— Тем легче миру во мне погаснуть со мной.

— В старом ли, в новом ли сосуде хранится вино, о вине судят не по сосуду. Вино хранят не ради сосуда. Разве не так отец Фазл-улла?

— Ладно. Я и с вами поберегу сей сосуд. Авось смогу утолить жажду друга, когда мир станет душен для нас.

Гость, обернувшись, обнял плечи старика:

— Отдохните, отец. До зари недалеко.

— Новые стихи писал?

— Записывать некогда. А так... обрывки то вспыхнут, то погаснут.

— А я складывал. Да как их запеть — в такие ночи только волки воют.

— Запишите их, отец. Есть на чем?

— Клочок бумаги найдется.

— Запишите их, отец Фазл-улла!

Старец снова улыбнулся:

— Право, я уцелею. Надо уцелеть. И ты берегись, не горячись. Поглядывай по сторонам.

— Спрячьте хлеб, отец. Я не знаю, приду ли завтра.

Гость ушел, но старец остался у двери, глядя в глубину ночи.

В ту ночь по всей Шемахе, по всему Ширвану, по всей Азербайджанской земле слышались в весенней тьме то торопливые, то крадущиеся шаги. То стук копыт по камням. То мгновенно смолкающий детский вскрик. То приглушенный вздох, то топот, то шорохи... то снова торопливые шаги многих людей. И как благословенна была в ту ночь эта густая, непроглядная весенняя тьма. К ней прислушивался старый поэт и мудрец Фазл-улла ал-Хуруфи из своей уединенной шемаханской кельи.

А по городским переулкам, впервые радуясь, что по указу Тимура городские стены снесены, что дороги из города открыты во все стороны и надвратные башни невозмутимо молчат, безучастные к путникам, уходил народ.

Там кого-то горячо, кратко и тихо напутствовал другой поэт, ученик Фазл-уллы ал-Хуруфи — Имад-аддин Насими.

Люди уходили из Шемахи. Люди уходили из городов Азербайджана, зарывая все, что не могли унести. Торопливо уходили с пути, где шел Тимур.

Многие, проводив семьи в горную глушь, спешили в неприступные крепости обновить, пока есть время, древние стены, запасти воду, хлеб, оружие. Этих ободрял подвиг отважного Алтуна.

Пятнадцатый год в крепости Алинджан-Кала около Нахичевана Алтун со своими братьями отбивался от Тимура. Длительным осадам, яростным приступам противостояло непреклонное упорство защитников Алинджан-Калы.

Из века в век хозяева здешней земли, как булатный меч в огне, ковали булатный меч своей воинской воли.

Тысячу лет, из века в век, сотни раз приходили в эти края завоеватели. В медных или войлочных доспехах, в крылатых шлемах или в меховых шапках, на разных языках разговаривая, сюда они приносили одно и то же — разорение и гнет.

Отбиваясь от нашествий, из поколения в поколение крепче и острей становился доблестный меч народа. И как ни отважны, как ни свирепы в битвах бывали бывалые воины Тимура, они гибли под стенами Алинджан-Калы, а крепость стояла.

Осаждающих разили меткими стрелами, на них скатывали тяжелые валуны, их обливали полыхающей нефтью, и они пятились от ничтожного укрепленьица, когда все могучие крепости рушились под натиском войск Тимура.

Он сам побывал у этих стен. Он кинул к стенам Алинджан-Калы сперва отряды, набранные среди недавних пленных, которых воодушевляли на приступ шедшие позади усатые барласы. Когда жестокий урон ослабил осаждающих, Тимур послал испытанных воинов, подкативших под стены тяжелые тараны. Воины сотнями падали со своих лестниц, а тараны, облитые нефтью, заполыхали.

Тогда, решив взять осажденных измором, Тимур окружил крепость караулами и, раздосадованный, ушел.

Ничего не щадя, никого не милуя, он прошел по Армении, прогремел грозой по Грузии, зашел в Шемаху и снова двинулся на Алинджан-Калу.

Тимур снова испробовал все, что прежде приносило победу,— тараны под медными кровлями, лестницы, укрытые кожаными

щитами, усердие барласов, даже тяжелую пушку с изображением голубя, купленную у генуэзских купцов в Трапезунте. Алтун выдержал удар Тимура, крепость устояла.

Еще не спеты, еще не сложены песни об этой горстке людей, в битвах с самим Тимуром отстоявших не серые камни крепости, а золотую честь своего народа.

Теперь из Шемахи не было пути к Алинджан-Кале: между Ширваном и Нахичеваном, клокоча, катился, как бурный горный паводок, губительный поход Тимура.

Самоотверженные юноши наспех сговаривались о встречах в ущельях, где их старшие братья, в прежних схватках познавшие сноровку и нрав Тимуровых военачальников, собирались в отважные подвижные дружины хозяев своей земли. Собирались для внезапных нападений на грозных врагов, на обозы, на кочевья, на ночные караулы и дозоры — на всех, кто незваный-непрошеный явился сюда топтать поля, ломать сады, рушить тихие города Азербайджана. Собирались мстить разорителям и, свершив подвиг, скрываться в родных дебрях, где каждую тропу знали с детства, таиться, выслеживая малейшую оплошность Тимуровых людей, и внезапно являться для новых подвигов.

В этой стране, где Тимур владычествовал, дня не проходило без жарких схваток там или тут. Тимур приказывал наказывать дерзких без жалости, и не было пощады улицам, где нежданная стрела пронзала беспечного пришельца; не было пощады селениям, где, заночевав, дозорный отряд Тимура встречал рассвет в собственной крови; казнили всех прохожих, пойманных на дороге, где накануне неведомые люди разоряли караван завоевателя. Казнили беззащитных, безобидных путников, а неведомые люди смело появлялись в других местах, нанося новые потери Тимуру, перенося свои пристанища из ущелья в ущелье, из края в край по родной земле.

Нередко пойманных волокли к самому повелителю. Он опрашивал их то добром, то раздирая их на части, но мстителей не убывало, внезапные стрелы снова и снова пронзали отважнейших из завоевателей. Так прежде погиб сын Тимура Омар-Шейх, так иногда гибли без чести, без славы знатнейшие, ближайшие из людей повелителя. Этих завертывали в плотные саваны и долгой дорогой отвозили в Шахрисябз, на кладбище, где лежали предки Тимура, где погребали старших в роду барласов. Но лестная честь лежать в благословенной земле не утешала. Смерть вдали от шумных битв страшила. Не столь заманчивыми казались поиски легкой поживы в стенах завоеванных селений.

И вот, среди ласковой мартовской мглы, веками выкованный, как святыня, переданный из поколения в поколение, булат народной отваги обнажался снова, когда зарева и черные дымы

нашествия поднялись над городами и селениями азербайджанцев.

Дым оповестил людей о появлении Тимура. Гроза надвигалась. Надо было поспеть со всеми делами до ее прихода.

Старец, перебирая длинные четки, стоял в каменной келье, вслушиваясь во тьму.

Откуда-то с гор дунул предутренний ветерок. Близился час первой молитвы.

Вдруг вдоль узких улиц заполыхали факелы.

Двое всадников, едва поспевая, скакали, подняв факелы, как развернутые знамена, вслед за шемаханским беком, спешившим к дворцу Ширван-шаха.

Ширван-шах Ибрагим Дербенди усидел на своем шатком троне, снискав милость Тимура знаками смирения и послушания. Шах снискал милость, но не доверие, ибо у Тимура никогда не бывало доверия ни к одному из покоренных владык, как бы ни были они послушны и любезны. Да и среди ближайших соратников едва ли были такие, за кем исподтишка он не приглядывал бы. За шахом приглядывал и твердо направлял его вялую поступь отличившийся в Индии Тимуров тысячник Курдай-бек.

Бек потребовал доступа к шаху, не взирая на ночной час.

Впереди незваного гостя понесли факелы через гулкий двор, вверх по крутым каменным ступеням, по каменной галерее, мимо сводчатых ниш, пока, наконец, не остановились в зале, мерцавшей, как перламутровая, от мельчайших росписей, покрывавших все стены от карнизов до полу.

Бек вперевалку прохаживался по зале, нахлестывая себя плеткой по сапогу, пока шах в дальнем покое поднимался с постели.

Шах зорко, украдкой переглянулся с ближайшими из неподвижных слуг, прежде чем с беспечной улыбкой выйти к беку.

После неизбежных поклонов бек проворчал:

— Крепко ж вы спите в этакую ночь, благословенный государь.

— А что за ночь?

— Проспали!

— Что случилось, почтенный бек?

— Кызылбаши о чем-то пронюхали. Вся голь поднялась — и прочь из города. А вы себе почивали на мягкой постельке.

— Я тоже кызылбаш. А вот ничего такого не пронюхал, никуда пока не сбежал. Кто огорчил вас?

— Куда это и по какой причине народ из города бежит, как от чумы?

— Бежит?

— А то вы не знаете! Вам отвечать повелителю, когда спросит, куда это побежал народ и почему. Повелитель спросит вас, благословенный государь. Вам отвечать!

Улыбаясь и пошлепывая туфлями, шах в широком халате, накинутом поверх розовых шелков белья, прошелся, слегка наклонив голову. Неожиданно он остановился прямо перед беком:

— А разве великий повелитель поставил вас сюда не затем, чтобы мой слух и мое зрение стали острей? Если чего-то я не дослышал, он спросит с вас. Я не доглядел — с вас же спросит.

— Я не собака, чтоб хватать людей на улицах.

— Люди на улицах? Сейчас?

— Теперь уж нет. Улицы пусты. Ушли! А куда? Какой был слух, что случилось?

— Я не издавал указа ни выходить на улицы, ни уходить из города.

— Кто ж их погнал среди ночи? Сами спите, так хоть караул бы поставили!

— Ночные караулы выставляете вы, почтенный бек. Зачем мне вмешиваться в ночные дела? Вы у нас — князь ночи.

— Караулов не хватит, чтобы перегородить все переулки. Ворота-то в городе ни одни не запираются. Стен нет!

— Не подговариваете ли вы меня восстановить стены, срытые по указу повелителя?

Бек шумно и размашисто прошелся по зале, отвернувшись к стене и небрежно оглядывая искусную роспись — узоры, цветы, птиц...

В раздражении, словно оступившись, он ткнул плеткой в стену:

— Птички?

— А что?

— Греха не боитесь!

— Я не читал в коране, что птички — грех.

— И я не читал. И без корана известно, что всякую живность изображать грех,— птиц, скотов, девок... тут не языческая Индия! Вот доизображаетесь до всякого такого!.. Богословы-то не погладят по головке.

— Коран молчит об этом. А разговоры, не подтверждаемые кораном, суть суесловие.

— «Кораном, кораном!» Я не мулла. У меня повелитель спросит, куда сбежал народ из города. Почему кызылбаши сбежали от своего шаха? Чего стоит шах без народа? Что я отвечу? Что скажу? А вы —«птички, коран»! Не до птичек! Где народ?

— Почтеннейший бек, где мой народ?

— Что мне отвечать повелителю?

— Я не учитель ваш, вы — не ученик мне. Сами вы разумеете, как поступить. Я лишь догадываюсь, как вы поступите,— поутру наберете каких-нибудь ротозеев на базаре, какие попадутся, прежде чем соберется базар. Они сознаются, что ночью пытались уйти из города. Затем вы приведете их назад на базар, чтобы все в Шемахе видели негодяеев, пытавшихся уйти из города, и повесите их для острастки и для вразумления, всему базару напоказ. Повелитель узнает, что вы строги, что никого не пускали, что не хватило времени для поимки всех остальных.

— Я и с караульщиков сдеру шкуру. Но народ-то ушел! Куда? Куда и по какой причине ушел? Как только караулы меня известили, я кинулся к вам. Везде уже пусто. Одни кошки шныряют поперек улиц. Ни души! Что случилось?

— Я догадываюсь, если вспомнить, когда народ бежит без спросу. Когда уходит, от своих очагов.

— Повелитель идет? Ну, ну... откуда они пронюхали раньше нас? Повелитель? Сюда?..

Бек замер при этой мысли:

«Придет сюда... Вызовет к себе... Где народ, спросит... Что сделано за зиму?»

А шах, улыбаясь, говорил:

— Я вам коня дарю, почтеннейший бек.

— Что за конь?— спросил без радости бек.

— Араб.

— У вас есть?.. Откуда? Долго ж прятали от меня!

— Зимой купцы привели. Я взял. Для подарка вам. Вдруг повелитель пожелает видеть и меня и вас. Вам понадобится хороший конь в дар повелителю.

— К повелителю с одним конем не явишься!

— Ну, если хорошенько заседлать!.. К тому ж, от меня будут другие подарки.

Бек задумчиво поклонился, поблагодарил и, приговаривая: «Почивайте, а то уж светает!», ушел.

Ширван-шах, сожалея, что из-за бека опоздал к первой молитве, прошел по безмолвным и еще темным комнатам в свои маленькие жилые покои.

Следовавший за ним слуга, длинный сутулый старик, принял с его плеч халат и пробормотал:

— Кто мог, все ушли.

Как бы себе самому, шах в раздумье откликнулся:

— Я не мог сам раздавать им хлеб. Пошлем через купцов.

— Хлеба-то им мы и сами соберем. А вот оружие бы им!..

— Что ты! Откуда?

— Оттуда!— грубо ответил слуга, кивнув куда-то в глубину дворца.

Шах опустил глаза и отмолчался.

Слуга спросил:

— Не убрать ли и нам кое-что?

— Но так, чтоб в глаза не бросалось.

— Виду не подадим.

— Днем напомни: надо распорядиться, чтоб стража наша приоделась, почистилась. А у кого хорошее оружие, убрали б. Пускай старье начистят, какое от прежних шахов долежало до нас. Чтоб не думали, что у нас есть сила. Надо наготове быть.

— Вот и вышло бы хорошо,— исправное оружие собрать да отослать в горы: коль его надо прятать, тут оно будет лежать без дела. А там, на первых порах...

— У меня одна голова, а у Хромца глаз много.

Слуга смолчал.

Утро близилось, но в тесноте шахских покоев еще не рассеялись теплые сумерки, пропахшие сонными людьми и хлопчатыми одеялами.

За дверью прозвучал женский смех: в спальнях разговорились спросонок разбуженные призывом к молитве, но поленившиеся сразу подняться, милые шаху девушки.

Ибрагим-шах прошел мимо.

Пригнувшись, он вступил в тесный переход, откуда — плита над плитой — высокими ступенями лестница уводила наверх, в круглую башню.

В нише под нижними ступенями горел светильник, освещая лишь нутро ниши, оставляя переход в темноте.

Затворив за собой тяжелую, окованную дверцу, шах постоял один у начала лестницы. Свет падал лишь на широкую с длинными узловатыми пальцами руку шаха, поднявшего передний подол розовой рубахи, чтоб не мешала восходить по высоким ступеням.

Другой рукой он огладил ладонью стену около ниши,— так же ли ровна и столь же ли шершава она здесь, как и везде вокруг.

Взяв светильник, он осмотрел стену в этом месте и медленно пошел наверх.

Когда лет пять назад золотоордынский хан Тохтамыш разорял города Ширвана, в Шемахе его застала весть, что против его сил надвигается сила Тимура.

Войско Тохтамыша, утомленное битвами и разгулом в Азербайджане и Грузии, порастерявшее немало лихих рубак, было еще

рассеяно по всей стране. Пока Тохтамыш скликал своих удальцов, Тимур был уже недалек. Многих не дозвались, и оружие, много оружия, Тохтамыш уложил в обоз, а сам повел войско прочь от своего былого покровителя.

Обоз не догнал своего хозяина: на Тереке-реке Тимур настиг Тохтамыша, и рука Повелителя Вселенной, вознесшая Заяицкого хана Тохтамыша на Золотоордынский престол, опустевший после Куликовской битвы, на Тереке свергла Тохтамыша с престола Золотой Орды.

Как некогда бежал Мамай глухими степями в чужие пределы от Тохтамышевой погони, так сам Тохтамыш кинулся через ту же степь искать пристанища в чужом краю.

Обоз остался, еще не весь захваченный Тимуром. Длинные возы с оружием попали в руки Ширван-шаха Ибрагима. Оружие оказалось всякое — и ордынское, кованное тяжело и грубо, и нахватанное в прежних походах удачливого Тохтамыша,— ширванское, армянское, московское, даже самаркандских оружейников из Синего Дворца, некогда подаренное Тимуром своему ставленнику в Золотую Орду.

Как ни много было его, оно улеглось в тайнике шемаханской башни, утаенное от Тимура. Ибрагим столь бескорыстно уступил Тимуру остальной обоз, что недоверчивый Тимур поддался на Ибрагимову щедрость и не спросил, все ли возы отдает ему Ибрагим.

О, если б проверил,— ни клятвами, ни улыбками не сберег бы своей головы Ширван-шах Ибрагим.

Он медленно поднимался со своим светильником. Башня была высока, ступени круты, мысли тяжелы.

Внутри башни, освещенная четырьмя узенькими бойницами, круглая сторожка издавна полюбилась шаху. Башня высилась над дворцом, дворец высился над всем городом, город высился над широкой долиной. Далеко вокруг раскрывался простор. Из северной бойницы виднелись соседние горы, еще заваленные снегами. Из другой — предутренняя дымка долин, сады, плавно сползающие из города в долину. Из третьей — край соседней башни, ее рубчатая кладка плохо отесанных несокрушимых глыб; темнели края дальних лесов в предгорьях. Из западной бойницы открывалась та дорога, по которой может прийти Тимур.

Между бойницами темнели ниши. В них повседневный обиход Ибрагим-шаха: серебряная плоская чашка, а на полу под ней — длинногорлый, как журавль, серебряный кувшин, покрытый, как черным кружевом, кубачинской чернью. В соседней нише — расписанная травами персидская шахматная доска, закрывавшаяся, как ковчежец. На ней— желтый стеганый колпак, на случай вет-

реной погоды, если шах поднимался на верх башни, к ее зубцам.

В нише, обращенной к Мекке, золотился вбитый в камень маленький полумесяц, обрамленный, как узором, куфической надписью — славословие аллаху. Здесь лежал большой коран в зеленом сафьяне, а на полу, на ковре,— деревянная подставка под коран, разукрашенная в Багдаде перламутром и костью, и рядом с подставкой, полуприкрытая подушкой,— маленькая книга в истертом красном переплете — стихи Низами.

Пол, покрытый тяжелыми коврами, глушил шаги. Шах прохаживался, круг за кругом, вдоль темных стен, припоминая минувший день... Круг за кругом.

Шах знал, что еще утром с башен заметили условный дым. Шах приказал тайно поведать об этом вельможам и купцам — богатейшим, которым требовалось время, чтобы надежно укрыть свои сокровища.

Но кто оповестил, кто так дружно во всех закоулках поднял и увел городскую бедноту, ремесленников, поденщиков?.. Кто?

Слуги донесли шаху сперва о том, что базары, оскудевшие за последние годы, торгуют хуже, чем в обычные дни: никто не брал ничего, кроме хлеба, быстро распроданного. Купцы прибежали во дворец, прося ссудить их зерном из шахских закромов. Шах отказал: «Уже вечереет — время думать о молитве, а не о торге». Потом донесли, что базары совсем обезлюдели,— люди не гуляли по торговым рядам, не толпились на площади поглазеть на факиров или чтецов, не рассаживались по харчевням побалагурить с друзьями. Уже вечером донесли, что шемаханцы уходят из города. Уходят целыми слободами, унося скарб, уводя скот.

В эту ночь народ впервые озадачил шаха.

«Кто поднял его, кто его повел в горы? Это мог бы сделать шах через своих глашатаев. Это могли бы сделать муллы через свои мечети. Но шах не посылал глашатаев, а из мулл никто ни словом не обмолвился перед паствой. Как грубо и как страшно спросил бек: «Чего стоит шах без народа?»

Народ уходил и прежде прочь от врага. Так бывало и перед монголами, и перед Тохтамышем, и перед Тимуром. Бежали, кто куда мог. Случалось, из разных селений бежали навстречу друг другу, а то — и в стан завоевателей, не разобравшись, где стоят свои, где — завоеватели.

Но теперь они ушли дружно, непреклонные и неудержимые, в горы, куда не посмеют забираться отряды Повелителя Вселенной, если он не пошлет вслед за ними большие силы. Они скупили хлеб, какой только смогли достать. Им дали хлеба из домашних

припасов многие жители, оставшиеся дома. Все это знал шах. Собственные слуги отважились просить шаха, чтобы он отпустил купцам хлеб из своих кладовых. Он отказал: ведь Тимур мог дознаться, что шах снабдил шемаханских беглецов хлебом. Если это и следует сделать, сделать это следует тайно.

Круг за кругом шах ходил внутри башни.

«Кто там живет среди народа; у кого есть такая власть — поднять сразу всех?»

Шах приостановился.

«Что это за народ,— молчит, молчит, а вон как — весь встал и ушел! Никого не спросившись! Будто им нет дела до шаха. Будто у шаха нет власти остановить их!»

Он опять пошел вдоль стен.

Нет, остановить их не было власти у шаха. Только оружием. Но тогда народ возненавидел бы шаха, а в это темное время нельзя усмирить народ ни плетью, ни виселицами. В это темное время следует дружить с народом. Как спросил бек: «Чего стоит шах без народа?» Тогда и Тимур сменил бы здесь шаха, ему нужен шах, имеющий власть для исполнения указов, а не для украшения дворца. Как же вернуть власть над народом? Слуга сказал: «Хлеба мы им сами соберем, а вот оружия бы им!» Нет, оружия он не даст. Размуровывать, когда вот-вот могут сюда войти... И кому давать? Кто их ведет, куда их ведут, на кого они обратят оружие? Туда надо послать хлеб. Караван с хлебом, а их предупредить. Они нападут. Никто не сможет обвинить шаха,— разве ему запрещено посылать караваны из Шемахи в Баку?.. Народ узнает, кто послал им хлеб; поверит, что шах заодно с народом. Но оружия он не даст. Оно пригодится ему самому: Тимур не вечен, Тимур давно живет... Надо послать им чего-нибудь из одежды. В горах холодно, армяки каждый день будут напоминать о великодушии шаха. Но оружия он не даст,— самому пригодится...»

«Куда ж они ушли? Все успели уйти»

Опять приподняв подол рубахи, Ибрагим поднялся на верх башни.

Его ударило холодным ветром. По долине стлался туман, застилая дальние дороги. Солнце еще не поднялось, но заря уже поднималась в небе прозрачным заревом.

Шах постоял, сгорбившись от холода, вглядываясь в даль. Туман покрывал всю долину, застилал дорогу.

Потирая ладонями локти, шах, шлепая по ступеням туфлями, поспешил по лестнице вниз.

А заря все выше, все выше расплывалась над высокой зубчатой башней, поднявшейся над туманом. Башню видели издалека,— с гор, из долин, из ущелий. Ее замечали раньше, чем откро-

ется самый город. Ее, оглянувшись, долго видели те, кто покидал Шемаху.

Сады, еще не успевшие зацвесть, спускались темными уступами с городских окраин в долину. Птицы, перепархивая среди набухающих почками ветвей, перекликались, встревоженные безлюдьем.

По узкой улице, мощенной широкими плитами, по уступам поднимавшейся к базару улицы, двое дервишей, ударяя остриями посохов в неподатливые плиты мостовой, с развевающимися волосами под ковровыми куколями, почти бежали наверх, в город, неловко перепрыгивая с плиты на плиту.

Старец в полутемной келье отошел от двери, погасил светильник, но еще долго вслушивался в необычное безмолвие шемаханского утра.

Седьмая глава

ВОЛКИ

На походе Тимур любил встречать утро в седле.

Спросонок, прозябшие в предрассветном холодке, воины в эмноте приспущенными рукавами или полами халатов обтирали ошадей, влажных от росы, и, набросив холодные, сыроватые этники, ловко седлали. Лошади хитрили, вздрагивали, надували эка, когда им затягивали подпругу. Но привычные руки быстро справлялись со всем, что не ладилось, и вскоре, по строгому аспорядку, уже все шли в общем потоке похода. А позади только бесчисленные костры стана еще долго дымились в предутреннем тумане.

Мартовские рассветы над Азербайджаном разгорались погожи́ми зорями, но случалось, небо, так и не проглянув, темнело: порывистый ветер нагонял тучи, и все вокруг вдруг пригибалось под порным холодным ливнем, не подвластным Повелителю Вселенной.

Людям радостна весенняя гроза, когда она рвет в клочья грузе зимнее небо, омывает слежавшуюся за зиму землю, и, едва, еживаясь, отойдут мохнатые грозовые тучи, небо вспыхивает кующей синью, смелее распрямляются молодые травы и проглядывают первые листья на ветках.

Радостна людям весенняя гроза, прокатывающаяся, как властный зов, поднимающий всю округу к земному торжеству, к первым песням, к первым цветам.

Но в ту весну с гнетущей тоской жители всех окрестных тран прислушивались к черной грозе, ползущей по весенним дорогам: что задумал скрытный Хромец, уже не в первый раз, при-

щурившись, озирающий эти земли? Куда собрался? На какую дорогу повернет своего коня?

Он молча ехал, а позади на десятки верст протянулось его воинство, его обозы, кочевья.

Неподалеку за ним следовала его служебная сотня, десять юрт, где состояли гонцы, писцы, толмачи-переводчики, ближние слуги. Впереди гонцов, поднятый на древке копья, колеблемый ветерком, золотился лисий хвост — гонецкий знак. На стоянках он вздымался над гонецкой юртой, и ночью, когда вспыхивало пламя костра, лисий хвост вдруг являлся над юртой из тьмы небес. У разных десятников и сотников были свои знаки, помогавшие среди воинских тысяч быстро сыскать того, кто требовался.

Аяр степенно следовал среди других гонцов, ожидая, пока понадобится. На время к ним поместили и отпущенника Хатуту, велев десятнику беречь адыгея, за которым зорко приглядывал грузный великан в персидском панцире.

Все ждали, все гадали: зачем повелителю нужен этот адыгей? Хатута болел, тяжко кашляя, и отмалчивался, когда великан или десятник заговаривали с ним. Аяр, присматриваясь к юнцу, иногда пытался навести его на разговор:

— Адыгей? Никогда не видал адыгеев. Что за народ?

Хатута не отвечал, отчуждался, но Аяр и не докучал ему, тут же прикидываясь, что не спрашивает, а только размышляет вслух, принимался за какое-нибудь дело — латать халат, скоблить каблук, штопать мешок. И порой примечал, что теперь уже Хатута украдкой подглядывает за ним.

Так день за днем Аяр приручал адыгея, как пойманного зверька. От скуки, от безделья приручал: нет человеку корысти от прирученного волчонка или от этакого хилого заморыша. Однако Аяра подстрекало и любопытство: что за мутная доля выпала Хатуте — отпустили, так пускай бы шел на все четыре стороны, а буде собираются снова пытать, так незачем его лечить: слабый человек доверительней, откровенней. Держали б среди узников, коих немало гнали вслед за воинством, доколе дойдут до них руки властителей.

— Что в нем такого, в этом адыгее? И что это за народ?

Длинное-длинное, впалое, серое лицо. Длинный прямой нос с крутой горбинкой над самыми ноздрями, словно кто-то подрубил этот нос. Когда же, откашлявшись, Хатута разрумянивался и, казалось, веселел, его лицо гляделось красивым.

При кашле его костлявые лопатки странно, угловато проступали под домотканиной, словно Хатута прятал крылья под тонким домотканым халатом, пожалованным взамен рубища, порванного при поимке.

А поход шел и шел своей длинной дорогой. Синели дальние

кряжи гор. Шумели сизые водовороты рек. Все гуще зеленели доверчивые всходы осиротелых полей.

Выздоравливая, Хатута ненароком приручался к Аяру, но еще нелюдимее становился, когда являлись десятник или великан. Изредка он отзывался, но отвечал скупо и сам никогда не заговаривал, сам никогда ни о чем не спрашивал.

Мимоходом, будто таясь чужих ушей, Аяр бормотал:

— Не скучаешь о своих?

Хатута откликался украдкой:

— Они далеко!

— А тут, окрест, что ж, никого нет?

Хатута непонятно хмыкал и поникал.

Аяр спешил отмахнуться от своего неосторожного вопроса, успокоительно приговаривая:

— Эх, почтеннейший! На что мне они? Бог с ними, коль они и есть. Бог с ними!

Достав из сумки шило и ремень, Аяр углублялся в ненужную починку и тем заканчивал разговор.

Но ведь и Хатуте невмоготу становилось повседневное молчанье, неотступная настороженность. Он исподволь следил за Аяром, и ни разу не случалось заметить ни приязни Аяра к великану, ни приятельства с десятником. Нет, между гонцом и воином из войск Шейх-Нур-аддина проглядывала даже неприязнь, порожденная тайной завистью воина к привольной службе гонца и презрением гонца к усердию воина, не воинским делом задумавшего выдвинуться и возвыситься среди воинов. Аяр держался обособленно, а когда у него завязывался разговор в юрте, это бывал обычный то шутливый, то ленивый разговор соскучившихся людей. Хатуте Аяр нравился своим равнодушием к делам пленника: спрашивал, а не допрашивал; угощал — не навязывался. Да и когда угощал, потчевал не только Хатуту, а и других, если кто случался поблизости. Но когда вблизи не было никого, Аяр незаметно подсовывал адыгею то ломтик вяленой дыни, то горстку прозрачного изюма, то щепотку черного кишмиша — что-нибудь такое, чего не хватало воинам на походе.

И однажды Хатута заговорил сам:

— Меня везут, везут, а куда?

Теперь подошел черед Аяру хмыкнуть и отмолчаться: сказать, куда его везут, означало сказать, куда идет поход, а кому охота объяснять чужому человеку замыслы повелителя! Да в войсках никто толком и не смог бы сказать, куда нацелен поход Тимура.

Но Аяр не хотел прерывать разговор.

— Куда? Кто это знает! Это не наше дело, куда идем. Куда ведут! Заскучал, что ли, почтеннейший?

— Пора и заскучать.

— А есть по ком?

— Нет, не по ком. Но и так — тоже тоска: везут, везут...

— А отпустят — куда денешься?

— Куда ни деться, но и так — тоска.

— Я это давно вижу, да что ж поделаешь?

— Делать-то ничего не поделаешь, а хорошего мало!

— Терпеть надо! Кто не терпит? Каждый свое несет.

— Свою ношу каждый несет. Только б чужую сверху не наваливали!

— А это кому как выпадет. Иной всю жизнь под чужим сокровищем гнется, а свою пушинку поднять сил нет.

— Бывает, и сила есть, да не дотянешься до своей пушинки: руки коротки.

— Говоришь, как пожилой.

За этим разговором их застал десятник, невзначай возвратившийся в юрту. Смолкли.

Войска проходили стороной от Мараги, когда Тимур приказал стать на большую стоянку.

Не в торговом людном Тебризе, до которого отсюда было рукой подать, а среди предгорий, по берегу мутной торопливой реки ставили юрты, рыли пещерки под котлы, заколачивали колья коновязей.

На взгорье раскинулась ставка повелителя — его круглая, белая, перехваченная красными ковровыми кушаками юрта, окруженная расшитыми и щеголеватыми юртами цариц, полосатыми шатрами стражи, серыми кибитками слуг.

С высоты взгорья открывался весь стан, весь этот кочевой город, тесный, но строгий в его нерушимом порядке, осененный колыхающимся лесом разнообразных знаков, примет, флажков, поднятых на древках над юртами — одни выше, другие ниже — по воинскому уставу. Ни лишнего шума, ни суеты — каждый знал свое дело, свой долг, свое извечно установленное место.

Долго предстояло стоять здесь: Тимур вызвал сюда войска, зимовавшие в Иране, сюда двинулась пехота, отставшая по пути из Самарканда и отзимовавшая в Султании.

Один за другим, наскоро откланявшись, а то и молчком, поскакали царские гонцы к Шахруху в Герат, ко внукам повелителя, правившим навоеванными царствами,— в Иран, в Индию, в Шираз, в Хомадан, в Кандагар...

Настали погожие дни, и на заре, и вечерами весь стан поглядывал, как поднимается высоко в небо тонкая лазоревая струйка дыма мирного очага перед белой юртой повелителя. Иногда удавалось подглядеть, как Тимур, усевшись перед юртой, спустив с

плеч халат, голый до пояса, снимал тюбетей, чтобы брадобрей брил ему голову.

При нем в те дни находились лишь две из младших жен и семь наложниц, заботившихся о тепле его одеял и порядке в юртах.

Но прибыл, наконец, царский обоз, и царицы разместились по своим юртам.

Младших царевичей — Ибрагима и Улугбека — отпустили поохотиться в степи.

Сопровождаемые друзьями по играм, охраняемые лишь легким караулом, они проехали через весь стан и увидели мирное тихое раздолье, покрытое яркой травой, казалось, пылающей зеленым пламенем под весенней яростью солнца. Временами не солнце слепило их, а эта пронизанная солнцем зелень.

Пощуриваясь, нежась в тепле апрельского дня, царевичи отъехали от охраны в сторону безлюдных холмов, где первым пушком еще нежной листвы манили к себе редкие кустарники и какие-то синеватые цветы. С ними ехал один лишь племянник царского чтеца и рассказчика мальчик Ариф.

Жители бежали из этих пределов. Ничто не нарушало тишину, кроме жужжания первых пчел. Кое-где приходилось сворачивать, чтобы объехать покинутые пахарями пашни, неудобные для езды.

Пронизанные солнцем, мерцая молодой зеленью, кустарники казались прозрачными, и между ними мальчики увидели притаившихся фазанов, а едва стайка поднялась на крыло, Улугбек пустил стрелу. Один из фазанов метнулся, но не упал. Улугбек хлестнул лошадь и между кустами поскакал вслед за стаей. Ибрагим и Ариф тоже подскакали к кустам.

Вдруг лошадь, шарахнувшись, ударила Улугбека о хлесткие ветви, сама оцарапалась сучьями и вздыбилась, Улугбек усидел, но лук выронил и тотчас увидел лобастую волчью морду, застывшую, как перед прыжком.

В руках ничего не было, кроме ременной плетки.

Конь не ждал воли всадника и, перескочив через стелющуюся ветку, понес Улугбека прочь.

— Волки!— крикнул Улугбек мальчикам.

Это было невиданным делом,— стая волков среди белого дня погналась за всадниками.

Трое мальчиков мчались среди предательского покоя незнакомой земли, а волчья стая, не отступая, настигала и уже обегала их.

Вдруг поперек пути протянулась незасеянная серая пашня. Улугбек свернул влево по целине, но тут, у края пашни, на траве лежала поваленная соха. Уже не было времени ни удержать ко-

ня, ни перекинуть его через нее, и Улугбек зажмурился. Конь, опомнившись, успел перемахнуть через дышло, но тотчас захромал. Улугбек оглянулся.

Он увидел Арифа, стоящего на пашне возле упавшей лошади,— видно, Ариф въехал на вздыбленные пласты земли и повалился вместе с лошадью. Волки цепочкой зажимали его в кольцо, сужая круг.

Спрыгнув наземь, Улугбек с одной лишь плеткой в руке побежал к Арифу, крича на волков и спотыкаясь о развороченную землю, проваливаясь в борозды, видя перед собой лишь худенького бледного друга, поднявшего в руке комок сырой земли.

* *
*

Халиль-Султан осматривал стоянку своих войск в глубине стана, когда скороход передал ему волю великой госпожи, ожидающей внука к себе.

Халиль не видел бабушку еще с карабахского зимовья: он был в походе, а бабушка следовала в обозе. Не сомневаясь, что она зовет своего питомца пообедать с ней, и помня, как нетерпелива бабушка, когда подходит время обеда, Халиль поспешил к холмам, где под развевающимися на древках стягами стояли царские юрты.

Еще у подножия холма Халиль спешился, передал чумбур воину и пошел по крутой тропинке наверх.

Шатер великой госпожи состоял из четырех белых юрт, сдвинутых вместе. Большие монгольские тамги, алые, словно написанные кровью на белизне драгоценной кошмы, алый коврик у входа, два белых флажка на высоких алых древках, воткнутых по обе стороны входа, означали местопребывание великой госпожи. А небо над юртой переливалось, как голубой прозрачный ручей, пронизанное теплыми волнами весны.

Зная, как любит бабушка, когда, лелеемые ее заботой, они с Улугбеком являются на ее зов скоро и запросто, Халиль, не останавливаясь, быстро прошел мимо рабынь и служанок, суетившихся в первой юрте, и, разбежавшись, толкнул узенькие створки ее двери.

Но едва взглянув в шатер, обмер, опустив руки и затоптавшись на месте: у приподнятого края кошмы, отвалившись к сундуку, сидел дед, железными глазами глядя на дерзкого пришельца. Бабушка стояла неподалеку от входа, цедя из подвешенного бурдюка кумыс в деревянную плошку.

Увидев растерявшегося царевича, Тимур закивал ему:

— Войди, войди. Мы тебя звали.

Как ни любил дед своего Халиля, Халиль ни разу не являлся в юрту повелителя этак вот, как сейчас, с разбегу. Смущенно он опустился у порога, оправдываясь:

— У бабушки ко мне дело? Вот и...

— Иди сюда,— похлопал ладонью Тимур около себя. И повторил:— Мы тебя звали.

Халиль сел около деда.

— Мы тебя звали,— сказала бабушка, неся Тимуру плошку, полную кумыса,— почитать нам письмецо гератской царевны. Может, эта грамотейка такое написала, что нашим писцам выговорить не под силу.

Дед молча подал Халилю свиток, уже изрядно потертый и обмусолившийся в его рукаве.

Халиль, удивившись, как легко отстал под его ногтем плотный ярлычок заклейки, быстро раскрутил свиток и увидел знакомый почерк самой Гаухар-Шад-аги, почерк старательный и оттого неровный.

Невольно повторяя запомнившуюся еще с детства привычку Гаухар-Шад-аги растягивать слова, Халиль углубился в чтение.

Приветы, приветы, строго по обычаю, без искринки тепла. Приветы, как их писали и за сто и за двести лет до нее, похожие на драгоценные камни, от многовековой поволоки утратившие игру. Упование на милость и щедрость аллаха к ее детям Ибрагиму и Улугбеку...

При этих словах великая госпожа быстро, но вопросительно глянула на повелителя, а он, хотя и не смотрел на нее, уловил ее смятение, ничем, однако, это не выразив.

Он по-прежнему молчал, уткнув взгляд в пол.

«Не тревожат ли, не обременяют ли, не огорчают ли хранимую милостью божией госпожу наши дети Ибрагим и Улугбек, да ниспошлет им бог свое милосердие. Соблюдают ли почтительность, успешны ли в науках, как надлежало бы им быть...»

Теперь великая госпожа опустила взгляд, чтобы муж не уловил в ее глазах ненависти к снохе, непомерно кичившейся знатностью своего джагатайского рода, а Тимур мельком взглянул на нее и понял ее чувства: с великой госпожи за внуков спрос принадлежит деду, он дал этих царевичей великой госпоже, дал он, а не Гаухар-Шад-ага, не перед ней и отвечает за них великая госпожа.

«Учит! Напоминает, какими надлежит быть царевичам. А мы сами не знаем? Какими им быть, какими их растить!» — думал Тимур, зная, что и великую госпожу обожгли эти вопросы.

— Ибрагим ей и не сын даже! — хрипло сказала Сарай-Мульк-ханым, не поворачиваясь к Тимуру.

— Она старшая у Шахруха, она и об Ибрагиме спрашивает, он тоже сын ее мужа!— возразил Тимур.

Сарай-Мульк-ханым повернула к нему покрасневшее от обиды лицо: неужели он не понимает, как оскорбителен ей этот допрос от Шахруховой змеи.

— Пусть бы даже и сын!

Теперь Тимуру захотелось подразнить ее:

— Материнская тревога: умеют ли у нас достойно растить.

— Что ж, я ей...— вспыхнула было великая госпожа, но, вспомнив о притихшем Халиле, не договорила и пододвинула Тимуру шарики жареного теста к кумысу.

— Да Ибрагима и не я ращу! Как же я за него отвечу?

— Ты старшая у меня, с тебя и спрос. А уж ты сама с Туман-ака спросишь, коль она плохо растит Ибрагима.

— И что ж, отвечать мне ей?

— Отчего ж не ответить?

— И отвечу! — загорелись глаза Сарай-Мульк-ханым.

Тимур, ободряя ее и успокаивая, кивнул:

— Вот и ответь, царица.

— Ты мне и напишешь, Халиль. Поласковей надо. Будто мы ей очень благодарны за милостивое попечение о наших питомцах.

Вдруг створки двери вновь широко распахнулись от торопливого удара, и перед всеми предстал Улугбек, опередивший Ибрагима и Арифа, раскрасневшихся и также без спросу ввалившихся к великой госпоже.

— Волки! — крикнул Улугбек.

Тимур с беспокойством вытянул шею и нахмурился.

— Кто это волки?

— Мы от них, мы вскачь, а они следом — догнать не догоняют и отстать не отстают. А сперва так спокойно кругом было, мы от охраны отъехали...

— Как же это: тут — и без охраны? Кто вас так отпустил? — вскинулся Тимур.

— Ведь никого кругом нет! Земля тут давно наша! — возразила великая госпожа, отпустившая внука на эту охоту.— Но караул с ними я послала!

— Они отстали! — объяснял Улугбек.— А потом подоспели, когда мы с Арифом среди волков остались.

Тимур быстро спросил:

— А Ибрагим?

— Он успел ускакать.

— Один, без вас?

— Он поскакал за караулом.

— Ха! Ускакал? — еще более нахмурился Тимур.— Значит, это просто волки, звери?

— Я же говорю, волки!

— А, ну это ладно. Как же это ты, Ибрагим? Ускакал? Там волки, а ты ускакал?

И усмехнулся: «Волки»... Но задумался и сказал внучатам:

— У меня тоже с волками дело было. На реке Сыр. Мы под Чиназом с монголами бились. Дождь лил, кони вязли, не шли. Монголы нас пересилили. Мы — прочь. У кого кони покрепче шли, из грязи первыми выбились. Мы с Хусейном, с эмиром, скачем впереди всех. К вечеру все от нас отстали. Одни мы вдвоем скачем — я да эмир Хусейн. Ночь настает. Впереди — непроглядная степь, а надо спешить. Надо и на врага спешить, и от врага спешить, когда такая злая доля выпадает — от врага бежать. И когда так вдвоем, не щадя коней, шли мы через Голодную степь, окружили нас волки. Стая! Я вижу их, коня повернул, да на них. Один не успел увернуться — я его по башке ятаганом. Думал отогнать, а — нет, это им нипочем. Один опрокинулся — другие набегают. Я опять им навстречу. Один из них забежал сзади — моего коня за хвост! Конь волка лягнул, а я вывалился. Упал на больную ногу, не могу встать никак. Какой подвернется поближе — я его ятаганом по лбу либо по глотке. Один свалится, стая не убывает. Как сумел, поднялся — да на них. Как они увидели, что я встал, да не от них бегу, а сам на них кидаюсь, поджали хвосты — да бежать. Как собаки! Тут главное: не оробеть. Как тебе ни тяжело, улучи время да кидайся вперед сам. Кого больше, тот всегда ждет, что от него побегут. Тут ты сильного и обмани: не пяться, а сам на него наседай. Тем диких коней смиряют, тем и врага громят. Лошадь мою эмир Хусейн успел поймать. К этому времени догнали нас еще двое-трое беглецов из-под Чиназа. Дальше ехали через весь Мавераннахр, до самого Балха ни одного волка не попалось. А промешкай я там, не бывать бы мне вашим дедом, ребятки. В ту пору мы от волков не прятались. В ту пору нам люди страшней были. Только потом мы узнали, как народ нас боялся,— это нас и спасло. Это хорошо, когда враг тебя боится! Твои силы вдвое возрастают, когда враг тебя боится. То-то, Ибрагим. А сбеги от меня в тот раз эмир Хусейн, и одолели б меня волки. Молодец, Улугбек, что на них кинулся: ты мой внук!

Он усмехнулся криво и как-то внутри себя:

— Вот и одолел я, сперва волков, потом и эмира Хусейна.

И, покосившись на великую госпожу, велел внукам:

— Пойдите, почиститься вам надо. А ты, Халиль, погоди...

Он еще долго молчал, молчал и Халиль, а великая госпожа отошла к бурдюку и долго, задумчиво снова цедила кумыс. Ни

слова не говоря, она подала эту плошку Халилю, а он принял, не сводя глаз с деда.

Наконец Тимур сказал:

— Волки не волки, а кто их знает? Что у них на уме? Позовем, пока есть время, да посмотрим. Ты подготовься, подбери людей да съезди, позови сюда шаха из Шемахи. Зови полюбезней, а по сторонам гляди пожестче. Таких и людей возьми, позорче. Пока мы здесь стоим, пока наши воины подходят, повидаемся с шахом.

Халиль отставил кумыс и встрепенулся:

— Сегодня же выехать, дедушка?

— Ну, как управишься. Хоть завтра.

— Сегодня ко мне пехота подошла. Я ее еще не всю поставил: тут не хватило шатров, а свои они не поспели подвезти.

— Прикажи, другие ее поставят, а сам не позже как завтра поезжай. Привези к нам шаха.

Заметив, что Халиль поднимается, Тимур опять удержал его:

— Погоди. Когда ты здесь сидишь, незачем писцов звать. Напиши-ка от нас правителю в Самарканд, Мухаммед-Султану, пускай бы привез сюда Искандера. Сам пускай привезет. Разберем их спор сами.

— Я только за бумагой схожу.

Сарай-Мульк-ханым:

— Не трудись, есть у меня Улугбекова. И чернила, и палочки эти ваши. Люблю смотреть, как он пишет, заставляю при себе писать.

А когда Халиль кончил писать короткое и простое указание Мухаммед-Султану о выезде к войскам, бабушка сказала ему свое письмо в Герат.

Халиль сам начал ее письмо неизбежными славословиями милостям и щедротам аллаха, коему великая госпожа вручала попечение о мирзе Шахрухе и о всем доме его, о семье и о делах его.

Бабушка следила за тростничком в красноватой, обветренной руке Халиля и улыбнулась:

— А Улугбек, поди, глаже пишет!

Как и повелителю, ей не выпало время учиться грамоте, но ее влекло к этим однообразным сплетениям линий, кое-где изукрашенных точкой либо черточкой, из коих непостижимо получались слова. Тут ей чудилась какая-то магия, подобная знаниям лекаря, что, приложив палец к телу, уже ведал, какой травкой лечить недуг; магия, подобная наитию ее супруга, Повелителя Вселенной, коему сам аллах ниспосылает знание тайн, потребных для побед над всеми народами. Магией считала она всякое знание и силу, данные немногим людям и неведомые

простым смертным. И чтобы соприкоснуться с тайной, присаживалась к внукам, когда им случалось писать при ней. Чтобы закрепить в глазах повелителя свою причастность к магии письма, она повторила, покачав головой:

— Глаже, глаже...

Тимур осуждающе покосился на свою государыню:

— А ты б взяла да сама и написала бы.

— Мне это ни к чему: внуки помогают!

— То-то.

Склонив голову ниже к бумаге, старуха ждала, пока Халиль, наконец, спросил, угодно ли бабушке присовокупить к приветам также и пожелания.

Не разгибаясь, она твердо согласилась:

— А как же! Напиши,— дети, мол, благоденствуют, в науках преуспевают, деду покорны, бабку радуют, о доме не тужат и в Герат не манятся: на разлуку с наставниками охоты в них нет,— столь прилежны к занятиям.

Она распрямилась, подумала, туго сжав запавшие внутрь рта губы. Поглядела на повелителя, выжидающего ее дальнейших слов, и, снова склонившись к бумаге, добавила:

— И так тоже напиши, дети, мол, не столь книжной премудрости, сколь ратному делу привержены, конями занимаются, по охоту езживают, на дикого зверя с единой плеткой выхаживают и здравы, веселы назад к наукам присаживаются.

— Что же, науки — блюдо, что ли, это? «Присаживаются»! — передразнил Тимур.

— Ну, а как же сказать? Не на ходу ж они грамоту учат.

— Ну, скажем: «назад к наставникам прибегают».

— Да хоть бы и так: ей все равно не до таких слов станет, как вычитает о том, каковы они тут у нас.

— Не таковы, какими бы там росли! — согласился Тимур. Великой госпоже этих слов было довольно, большего одобрения своему письму она и не ожидала: он согласился, что ее стрелы бьют в цель.

Но втайне она знала, что эти двое внучат растут иными, чем изображены в ее письме,— книжной премудростью они увлечены боле, чем ратным делом.

— А подрастут — и еще лучше станут! — утешая больше себя, чем отвечая мужу, убежденно сказала великая госпожа.

Когда письмо было окончено и скатано трубочкой, великая госпожа поймала свою золотую печатку, висевшую на ремешке на поясе, и вдавила ее в ярлычок. Халиль заклеил свиток.

Только теперь старухой снова овладела ненависть к снохе, ненависть давняя, но разбереженная дерзкими вопросами Гаухар-Шад-аги.

Предаваться этому чувству было некогда. Подошло время проводить мужа. Тимур, опираясь о сундук, поднимался, она подоспела ему помочь. Сопровождаемый Халилем, Тимур ушел.

По обычаю, он должен был один навестить меньшую госпожу — монголку Тукель-ханум, но близилось время обеда, и дед позвал с собой Халиля к обители меньшой госпожи.

Увенчанная позлащенным шишаком с пышным султаном на верхушке, составленная из обширных белых юрт, соединенных войлочными навесами с багряной и золотой бахромой, ставка Тукель-ханум занимала больше места, чем юрта самого повелителя. Ее дверца была высокой, и Тимур перешагнул через порог не сгибаясь.

Царица стояла в двери, и видно было, как под румянами, гуще румян и преодолевая толщу белил, покраснело ее лицо,— она гневалась: повелитель был волен провести утро у великой госпожи, но давно наступила пора обеда, который он должен отведать у нее. Теперь другие жены повелителя могли сказать, что у старухи ему веселее, чем у меньшой госпожи, если он так медлил там. Она не знала, что он там делал, ничего не знала о письмах, но она стыдилась даже служанок, давно сказавших ей, что обед готов, и тоже удивленных задержкой повелителя в юрте старухи.

Постукивая браслетом о браслет, она сдерживала свое нетерпение, приказав служанкам смотреть, не идет ли повелитель, чтоб она успела его встретить. Досада ее росла.

Теперь она увидела и Халиля. И не столько ради повелителя, как перед этим славным отвагой юношей, быстро овладела собой, почтительно кланяясь и пятясь, пока Тимур шел к своему месту.

Чванясь не так перед повелителем, как перед Халилем, успевшим загореть, простоватым и столь любимым в войсках, Тукель-ханум почти не прикасалась к еде, а если и касалась, то лишь из снисхождения к этому простому вареву — жирному рису белого плова, грубо наломанным ломтям редьки, к привезенному из Ургута горному луку — ансури.

Тимур отхлебывал красный, почти черный густой мусаллас — самаркандское вино, отстоявшееся за многие годы.

Она приготовила ему обед, какой он любил у себя дома, выражая этим подневольное уважение к обычаям мужа. Но, сама едва прикасаясь к еде, выказывала мужу, что ей привычней тонкие блюда китайской кухни, какими кормили ее на родине пекинские повара.

Ей хотелось есть. Она всегда ела много. Но теперь крепилась и отстраняла все, что ставили перед ней молчаливые рабыни.

Тимур приметил ее пренебрежение к мастерству самаркандского повара, сварившего этот плов, но сказал:

— Спасибо, царица. Вижу, ты поняла вкус самаркандских блюд: все оттуда вывезено. И вино тебе сыскали хорошее. И ансури хорош.

Вино успокоило и согрело Тимура. Ему веселей думалось, как велик этот стан, на многие версты покрывший вокруг всю землю. Каким небось страхом охвачены народы на всем пространстве вселенной, когда он стоит здесь, собирая и готовя свое могучее войско.

Обед окончился. Халилю следовало уйти. Он замечал, как все время, пока он сидел здесь, Тукель-ханум поворачивалась к нему то плечом, покрытым тяжелым жемчужным оплечьем, то искоса и украдкой поглядывала через плечо, слышит ли он ее, когда она что-то говорила повелителю.

Вдруг вбежала старая монголка, старшая над служанками Тукель-ханум, и зашептала своей госпоже.

Тукель-ханум, пугливо взглянув на Халиля, сказала Тимуру:

— Неотложное дело; Шейх-Нур-аддин просит пути к повелителю.

Никому не дозволялось тревожить Тимура в часы, когда он посещает своих цариц. Но здесь сидел внук, и Тимур, снисходя к столь важным вестям, что сам Шейх-Нур-аддин решился нарушить обычай, велел впустить своего соратника:

— Выйди, Халиль, к нему — проведи его сюда.

Тукель-ханум неприметно проверила, ровно ли свисают по спине тяжелые золотые подвески на косах, и кругленькой крепкой ладонью разгладила тяжелый желтый шелк платья.

Шейх-Нур-аддин поклонился Тимуру, поклонился царице, но не прошел к подушкам, где мог бы сесть, а остался у двери и сказал:

— О повелитель. Двух ваших гонцов убили.

Тимур приподнялся, но, став на колени, не успел встать:

— Кто?

— Нашли убитых, а следов нигде нет.

— Где это?

— Одного отсюда неподалеку — едва ли до второй молитвы успел проскакать. Другого подале, на другой дороге.

— А послали ль искать? Кого послали? Пойдемте!

Он наконец поднялся и, не оглядываясь на хозяйку, с которой надлежало еще бы посидеть, торопливо покинул ее юрту.

Тукель-ханум одна постояла около ковра, с которого убирали блюда. Прижала ладони к глазам и, размазывая румяна, заплакала.

Потом утерлась подолом. Лицо ее стало желтым, глаза —

маленькими в припухших узких щелках. Непослушная прядь со лба выбилась из-под шапки и защекотала ей лоб. Она попыталась смахнуть прядь, принимая ее за муху, но прядь не улетела.

Она снова потерла лоб. Вдруг увидела на ковре кость, недоглоданную Тимуром. Она с детства любила мясо на костях, любила глодать кости.

Глянув, закрыта ли дверь, взяла кость и, всхлипывая, занялась этой костью, обгладывая ее, пытаясь высосать мозг, запекшийся внутри, и понемногу успокаиваясь.

* *
*

Убитых гонцов привезли и положили перед гонецкой юртой.

Тимур пришел посмотреть их. Толпа воинов и гонцов, окружавшая убитых, шарахнулась в сторону, когда подошел повелитель, а, отшарахнувшись, там и осталась стоять. Он же велел осмотреть убитых.

Свитки оказались целы, засунутые у одного за голенище, у другого за пазуху.

У одного стрела пробила глаз и выглянула из виска, у другого — пробила висок и теперь торчала из глаза.

— Хороши стрелки! — сказал Тимур и повернулся к толпе воинов:

— Хороши, а?

И все робко, но убежденно выразили свое восхищение. Тимур стоял, глядя на убитых, задумавшись.

— Да, хороши! А где они? А? Кто-они? А?

Из расспросов гонецкой стражи узнали, что один из гонцов был убит при въезде в каменистое ущелье, поросшее в том месте небольшим кустарником; другой — когда проезжали по улице разрушенного селенья, среди развалин. Оба раза стражи сперва растерялись, а когда опомнились, сколько ни шарили вокруг, никого не сыскали.

— Стражей отлупить плетьми, при всех, чтоб впредь успевали ловить злодеев. И чтоб другие запомнили: надо так жить, будто враг уже нацелил свою стрелу тебе в голову. Когда спишь, и то надо настороже быть. А когда едешь, не спать. Дать им плетей. Для памяти! Для острастки, чтоб понимали: кругом война!.. Война кругом! А? Мы в походе, а может, на гулянье? А?

Шейх-Нур-аддин, стоя позади Тимура, говорил царевичу Султан-Хусейну:

— Оба пробиты одинаковым видом: целено в висок. И тот и другой стрелок знали себе цену, верили своей стреле. И там и тут подстерегали не прочих воинов, а гонцов,— при одном пять воинов караула скакали, при другом — трое воинов карау-

ла, а все воины целехоньки, пробиты только оба гонца. На выбор бьют.

Тимур, не оборачиваясь, сказал:

— Волки! Как из-под земли накинулись — и прочь. И след простыл!

Потом, взглянув через плечо на Шейх-Нур-аддина, приказал:

— На те места послать побольше конницы. Все кругом осмотреть, всех выловить, кто не наш. Авось попадутся! А гонцам в охрану давать полный десяток, да с десятником. Без того по здешним дорогам гонцов не выпускать. До самой Султании.

Шейх-Нур-аддин не сразу пошел, оставаясь среди сопровождавших Тимура воевод.

Тимур повернулся к нему и крикнул:

— Слыхал, что сказано? Чего стоишь? Посылай! Не завтра ж искать? Чтоб во всю прыть туда скакали. Ищите! К утру доставить нам этих... волков. Ну!

Нур-аддин, присев от неожиданности, опрометью кинулся к стремянному. Едва он сел в седло, карий белоногий конь шарахнулся, огретый смаху тяжелой плеткой, и, крутя запрокинутой головой, понес Нур-аддина через торопливо сторонящихся воинов, а Нур-аддин хлестал и хлестал коня, мчась к стоянке своей конницы.

Тимур помолчал, думая о чем-то, наконец, словно очнулся от забытья, торопливо сказал Султан-Хусейну:

— Там этот... с гор. Как его? Который костры палил! Отпусти его на все четыре стороны. Да одного. Да зорче глядите, куда пойдет. Пускай свободно ходит, но чтоб каждый шаг нам знать. Не трогайте, пальцем не трогайте, чтоб никак не почуял, что мы его видим. Сумеешь? А на дорогу одарите халатом. От нашей милости. А халат дайте, чтоб издалека виден был. Надо поскорее рассмотреть все его пути-дороги. Волки-то небось кругом рыщут! Он у нас отлежался, насиделся, успокоился — веселей пойдет.

В это время Аяр, на виду у Тимура, вышел из гонецкой юрты, сторонкой обошел распростертых у юрты двоих своих неудачливых знакомцев и пошел было к лошадям: ему уже приказали собираться в Самарканд.

Вдруг сам повелитель позвал:

— Эй, гонец!

Аяр замер.

— По дороге, гонец, поглядывай. Да без десятника не выезжай. Да косицей на ветру не размахивай, под шапку подсунь. А то и вовсе шапку в мешок спрячь, до Султании. А на голову, что у всех воинов, то и сам надень. Слыхал? То-то! Да чтоб все гонцы это знали. Не то я с гонцов и спрошу, коль не поберегутся.

Аяр смахнул шапку с головы и, оставшись в белой исподней бухарской ермолке, едва покрывавшей выбритое до синевы темя, хотел было дальше идти, когда Тимур с насмешкой добавил:

— Лихой гонец, а лепешек по дороге не теряй.

Ноги Аяра ослабели от этих страшных слов. Тимур уже отвернулся и захромал в сторону. Его тотчас заслонили сподвижники, сопровождавшие Тимура, и толпа. А гонец стоял, не в силах сойти с места.

«Кто ж это приметил? Кто ж меня выдал? Ведь все они ехали, не оглядываясь. Я задним остался, когда лепешку выбросил. Кто ж подглядел? Ведь только свои воины были, из друзей-приятелей, кто ж из них?

И как ведь милостив повелитель наш! Знал, а виду не высказывал. На прощанье только сказал! Помнил! Про простого гонца всякую оплошку запоминает, а зря обидеть не обижает. Ведь это дороже любой награды сказано: «лихой гонец!»

И, всей душой отдаваясь власти повелителя, пригретый его укором, Аяр рванулся к лошадям, чтоб мчаться, как ветер, навстречу всем волкам, наперекор всем ураганам на свете, во славу повелителя. Нет, уж теперь он лепешку не выронит. Кому надо, тому повелитель сам подаст.

«Но кто ж из них выдал? Кто из них приметил?»

А Тимур шел к себе, тихо ворча:

— Кругом рыщут!.. Кругом! Видно, давно не пуганы. Из земли, что ли, поднимаются? Никого нет, а стрелы летят. То дымок пустят с горы на гору, то стрелу с тетивы, а никого нет!

Часть вторая

КУПОЛ ЗВЕЗДОЧЕТОВ

Восьмая глава

ХАЛАТ

Ранним утром Халиль сам поехал на степные выпасы отобрать запасных лошадей для долгой поездки.

Солнце едва лишь тронуло вершину дальней горы,— по склонам гор и в долине еще расстилалась мгла, словно стоял пасмурный день, но день обещал быть ясным: голоса людей звучали звонко, птицы летели высоко в небе.

Троих воинов налегке и на крепких конях Халиль послал в Шемаху к Курдай-беку, чтоб ждал гостей и оповестил Ширваншаха Ибрагима, а сам, сидя на соловом карабаире, сверху поглядывал на лошадей, которых старательные табунщики прогоняли перед ним.

Смотреть коней было любимым делом Халиля. Глядя на их непокорную вольную стать, он и отдыхал от походной суеты, и думал о чем-нибудь, о чем некогда было подумать среди соратников,— не торопился он и сейчас. Лишь по временам он покрикивал, тыча плеткой в сторону коней, и мгновенно петля аркана, взвизгнув, обвивала шею намеченной лошади.

Наконец он тихонько ударил своего коня и с сожалением поехал назад к стану, еще оглядываясь на успокоившийся табун, который, покорно откликаясь на ржанье лошадей, отбитых для Халиля, отходил к предгорьям.

Парной запах утренней еды и сырой шерсти юрт окружил его, едва он въехал в тесноту стана. Караульные, скатывая одеяла или войлоки, готовились к смене ночной стражи: после гибели гонцов Тимур приказал страже строже нести охрану стана, чаще проверять караулы и все становье окружить рвом, насыпью и обставить большими щитами.

Халилю встречались толпы людей из недавних пленных, взятых в войско, спешивших на рытье рвов, как крестьяне на поля, с мотыгами, закинутыми на плечи, в подоткнутых халатах. Многие шли босые

«Никогда из этого сброда не выйдет воинов!» — думал Халиль, поглядывая на худые, тонкие ноги, на костлявые руки невольных вояк.

У гонецких юрт он заметил оживление и, узнав среди толпы нарядного Султан-Хусейна, хотел было незаметно проехать мимо. Но его внимание привлекла необычная торжественность, с какой Султан-Хусейн восседал в красном высоком седле на разукрашенном коне, и Халиль остановился поодаль.

У юрты стоял Хатута, бледный и дрожащий не то от страха, не то от утренней свежести, казавшейся с устани всегда ознобной. Лицом он повернулся к Султан-Хусейну, но смотрел куда-то под копыта царевичева коня, словно видел земные недра, попираемые конем, или обдумывал трудную задачу, слыша над собой слова Султан-Хусейна:

— Милостью нашего повелителя дарован тебе вольный путь. Ступай, куда хочешь.

Отпуск пленника на волю был такой редкостью, что воины сбрелись сюда, как на праздничное зрелище и, притихнув, все слушали волю Меча Справедливости.

— Ступай, радуйся, славь милосердие повелителя. Живи, как знаешь. А отпускаем тебя не как злодея из темницы, а как гостя,— дарим тебе халат. Носи; где пойдешь в этом халате, везде тебе путь открыт.

Из толпы вышли двое слуг. Один поднес плотно сложенный халат, другой быстро снял с Хатуты старую потертую шапку, надел ему на голову новую, с расшитым донышком, и помог поверх бедного халата надеть дареный — алый, с широкой зеленой полосой вдоль спины, с широкими зелеными полосами поперек рукавов. Тут же Хатуту опоясали зеленым платком и поддержали под локти, дабы он устоял, кланяясь царевичу за величайшую милость.

Но Хатута не знал, что надлежит поклониться, забыл ли, растерялся ли. В алом лощеном халате столь приметный, что даже издали все видели его, он не поклонился, а только спросил:

— Можно, значит, идти?

Султан-Хусейн насмешливо кивнул:

— Ладно, иди... Только у нас на дорогах тревожно. Тебе спокойней, если попутчика найдешь. Ступай, ступай.

— Ну что ж... А попутчика... Где ж их искать? Как-нибудь и сам дойду.

Уже ничего не отвечая ему, Султан-Хусейн повернул коня и тут же увидел Халиля, тоже тронувшегося прочь.

Съехавшись, царевичи направились в глубь стана.

Султан-Хусейн спросил:

— Мухаммед-Султана вызвали! Слыхал?

— Вызвали — так, верно, приедет.

— Попадет ему тут от дедушки! За самоуправство, за расправу. Искандер такой же внук деду, как и сам Мухаммед-Султан. Правитель самаркандский!

Халиль отмолчался.

Султан-Хусейн настаивал:

— Правитель правителем, а тут ему не Самарканд! Чем виноват Искандер? Повоевал? Да ведь с победой! Крутоват правитель. Сохрани бог, когда такой над нами останется, когда дедушка... того... этого самого...

Халиль повернулся к нему, ожидая, что скажет он еще.

— Этого самого... Предстанет пред престолом всевышнего. Для дальнейших собеседований с пророком божиим.

— Ты что же, за дедушку сам судишь?

— А ты... Поскачешь пересказать мои слова дедушке? Я же с тобой, как с братом. Ну ладно, ну перескажи! Я же не против тебя. Ты что? Ты — как мы все. А я тебе о правителе самаркандском. Он уже и наследник, уже и на деньгах имя его чеканят, уже и войско ему свое дано. Сорок тысяч! А зачем? А чтобы любого из нас усмирить, когда из нас явятся несогласные с волей дедушки. Он вон какой, правитель самаркандский! А тут его цап-царап да к ответу, на суд к дедушке!

— Завидуешь?

— Чему? Что на суд вызвали?

— Что судить его не за что.

— Ты, значит, за него?

— Я за дедушку.

— А я думаю: пора посмотреть, кому из нас с кем будет легче. Я считал, нам с тобой делить нечего. Пора, подумай, с кем кому быть. Дедушке-то вот-вот семьдесят исполнится. А ведь и сам пророк столько не прожил!

— Дедушка перед всем большим советом зовет наследником Мухаммед-Султана. Не мы с тобой вселенную завоевали. Не нам с тобой и делить ее.

— А то смотри, сорок-то тысяч и у меня наберется!

— Я в Шемаху еду. Мне некогда. Люди небось давно заждались. Прощай.

Халиль, не дожидаясь ответного прощанья от Султан-Хусейна, повернулся и поскакал узкой тропой между юртами.

В это время утренние лучи расстелились по протоптанной земле стана. Юрты зарозовели.

Вскоре он увидел завьюченных лошадей и сидевших перед юртой своих попутчиков. Усевшись в кружок над желтым шелковым лоскутом, они с нарочитой бесцеремонностью резали холодное мясо и ломали лепешки. Разговаривали, не прожевав

еды, чему-то смеялись громче, чем обычно. Такой завтрак запросто перед дорогой сближал их и радовал этой близостью, неведомыми радостями предстоящего пути.

Все они при появлении Халиля встали, но принялись усердно указывать ему его место в их кругу, на чьем-то сложенном халате. И он сел, говоря:

— Ну, запасных лошадей я отобрал. А то конюший мог нам таких сбыть, что и... Подарки-то шаху хорошо увьючены?

— Еще бы! В паласах завернуты; в случае чего, не промочит ни дождем, ни на реке, буде где вброд поедем. На самых высоких лошадей навьючили. Как надо!

— Гонцов я уже послал, чтобы оповестили в Шемахе. Велел им, чтоб по дороге нам везде все подготовили.

Низам Халдар, любитель похозяйничать в дружеских поездках и пирушках, мастер и плов приготовить, и освежевать барашка, и даже спеть, когда взгрустнется, повеселел, засмеялся, разламывая лепешку:

— Кушайте, кушайте — дорога впереди.

Вдруг появился Аяр. Он ждал у юрты повелителя, чтобы, приняв письма, ехать. Но повелитель, приказав всем гонцам быть наготове, не посылал никого. Он ждал вестей от конницы, оцепившей места, где накануне погибли двое гонцов.

Увидев Аяра, повелитель послал его глянуть, вышел ли в путь караван Халиля.

Выслушав вопрос дедушки, пересказанный Аяром, Халиль ответил:

— Скажи повелителю: садимся на коней. А сам ты далеко ль, гонец, скачешь?

— По воле повелителя — в Самарканд.

Халиль отпустил Аяра, но, когда гонец уже собрался в дорогу, его около лошадей окликнул Низам Халдар:

— Эй, гонец! Царевич кличет.

— Мне бы ведь пора... Как бы повелитель чего не сказал. Вон моя охрана — вся уже в седле! — объяснялся Аяр, дабы собеседник понимал, что одному лишь повелителю подвластен царский гонец, но тут же торопливо расправлял редкие волоски незадачливой бородки, чтоб предстать перед царевичем в достойном облике.

Халдар повел его за юрты, за шатры, где, сидя на своем стройном коне, гонца ждал Халиль-Султан.

Когда Аяр приблизился, Халиль склонился в седле так низко, что деревянная лука седла почти коснулась его груди, и тихо сказал:

— Тайное дело исполни, гонец. В Самарканде.

— От повелителя нашего какие тайны? — из осторожности возразил Аяр.

— А мне услужить не хочешь?

Аяр устыдился своего притворства и от души сознался:

— Кто же из нас не молит бога о ниспослании счастья и удачи милостивейшему из царевичей!

— Будешь в Самарканде, зайди, гонец, к тиснильщику... Знаешь?

— Знаю, еще бы!

Халиль улыбнулся: знает тиснильщика, значит и всю историю Халилевой любви знает!

— И дочери его отдай этот маленький подарок. И скажи: у мирзы Халиля не только крепка рука, рукоять булата держа, но крепче булата слово и сердце мирзы Халиля. Запомнил?

— Истинно: крепче булата слово и сердце...

— А это на дорогу тебе, купишь сластей своим красоткам.

И Халиль дал Аяру узенький, длинный кисет мелких денег.

Когда, отогнувшись от луки, царевич пустил коня, Аяр, возвращаясь к своим лошадям, задумчиво покачивал головой и грустил:

— Ведь и мне бы пора найти твердость сердца, твердость слова: сказать ей. А ее уж и не сыщешь теперь, где там! Степь! Степь широка...

Он бережно пощупал завернутый в шелковый лоскуток подарок. Браслет? Два одинаковых браслета.

Не смея развернуть лоскуток, он запрятал его глубоко за пазуху.

Узнав, что Халиль уже в седле и ждет их, спутники Халиля, заметавшись, поспешили к лошадям. Все вдруг вспоминали что-то, что еще надо бы было здесь сделать, кому-то что-то бы сказать...

Но дорога на Шемаху вскоре развернулась перед ними, а день, как и надо было, оказался погож.

Хатута брел к Мараге.

Древняя дорога то протягивалась пустырями, то переваливала через голые холмы,— она казалась шрамом на земле, втоптанная в красноватую почву, втоптанная за сотни лет сотнями тысяч прохожих и проезжих путников, караванов, посохами паломников и полчищами нашествий. Кое-где у самой тропы лежали каменные завалы, ограждавшие чью-то усадьбу, сад или поле. Местами над дорогой свешивались деревья садов, покрытые листвой, еще молодой, а уже отягощенной бурой пылью.

Листва на деревьях выглядела черноватой с багровым отливом,— не то что чистая зелень Шемахи. Мутное небо казалось

густым, хотя день был так светел, что алый халат пылал на Хатуте.

Дважды его обогнали всадники, ехавшие в город из стана. У одних всадников оружие висело поверх одежды, у других оно виднелось под халатами. Хатута шел, помахивая прутиком, подобранным на тропе.

Всадники проехали, обрызгав пешехода тяжелой маслянистой пылью. Никто не сказал ни приветствия, ни доброго напутствия путнику, как заведено по исконным обычаям. Но и за то слава аллаху, что не задержали, не обидели,— боязно одинокому пешеходу на далеких дорогах, когда повсюду шарят Тимуровы люди и воины или шляются одичалые головорезы, отбившиеся от своих войск. О, благодарение за милостивый дар повелителя, за дорогой халат: видно, он и вправду бережет беззащитного человека.

Стало легче на душе, когда возникли стены древнего города, повидавшего на своем веку и опустошительное нашествие сельджуков, разрушивших город, растерзавших безоружных жителей; и грабежи Тохтамыша; и первый приход Тимура, напомнившего повадки и нрав своих предшественников.

Но лет за полтораста до Тимура Марагой правил хан Хулагу, внук Чингиз-хана. Марага была его столицей. Отсюда он повелевал своим царством, раскинувшимся от Хорасана до гор и озер Великой Армении, от побережий Персидского моря, от горячих долин Месопотамии до азербайджанских берегов Каспия.

Сын младшего из сыновей Чингиз-хана, Хулагу, занимаясь делами своего удела, ждал часа, когда, пережив старших наследников деда, станет великим ханом над всеми уделами, над всеми ордами, над всеми царствами, подвластными потомству Чингиза. Когда умер великий хан, Хулагу пошел в Монголию. Но путь от Мараги по Монгольским степям долог, Хулагу опоздал: его брат Хубилай, явившись из Китая, уже занял юрту великого хана. Он пожаловал Хулагу лишь титулом ильхана — владыки народа. Ильхан Хулагу вернулся в Азербайджан и пошел на Сирию. Египетский Султан двинул против полчищ Хулагу сильное войско и отогнал монголов. Хулагу снова вернулся в Марагу. Здесь он затаил свои воинские мечты и предался наукам: он всю жизнь помнил, как гордились перед ним своей ученостью шахи и шейхи, одоленные его силой, но неодолимые в их надменности. Хулагу тоже собрал ученых; ему повезло: между ними оказался Насир-аддин Туси, математик, астроном, геометр. Хулагу знал, сколь высоко ценит Насир-аддина сам халиф Адиль-Мустазим в Багдаде, знал, как хотел бы халиф переманить к себе прославленного ученого. Хан пожелал досадить ха-

лифу и построил в Мараге Дом Звезд, щедро наполнив его всеми приборами, известными в те времена, приказал собрать сюда рукописи и книги со всего своего обширного царства. В помощники Насир-аддину Туси он дал многих ученых.

Двенадцать лет Насир-аддин изучал небо над Марагой и составил списки звезд, названные в честь Хулагу Ильханскими. Подобных и равных им не было ни в Азии, ни во всем мире; точность их, даже много веков спустя, удивляла звездочетов всех стран.

Насир-аддин перевел труды Эвклида и Архимеда, Менелая и Птолемея, Гипсикла и Автолика. Его «Изложение Эвклида» помогло многим грядущим поколениям ученых, его книги о числах, о звездах, об углах, о камнях, о лечении болезней долго жили, как и труды его сотрудников, работавших в тихих кельях Дома Звезд в Мараге.

Среди городских строений еще виднелась полуразвалившаяся башня Дома Звезд, поднимались стройные, как свечи, минареты, своды бань и галереи мечетей, горбились купола над базарными перекрестками, когда Хатута увидел Марагу. Он приостановился:

«Какой из них Купол Звездочетов?»

И повторил тайные слова своего ганджинского наставника: «А случится в тех краях бывать, помни: Купол Звездочетов, там спросить старика Али-зада медника. Ты ему скажешь: хозяин, мол, здешней земли. Он отзовется словом медь. Ты ему тоже скажи: медь. Запомнил? Он тебе покажет дорогу к нашим людям, если дело будет...» Марага, Тебриз, Султания — везде были свои люди, но Хатута легче бы умер, чем назвал бы их чужим ушам.

Хатута пришел сюда, ибо Марага была ближе других городов от стана, где повелитель народов, Щит Милосердия, Меч Справедливости, Тимур Гураган даровал милость и свободу своему ничтожному пленнику.

На узких улицах города там и сям между приземистыми домами горбились холмы, поросшие лохматыми рыжими сорняками. Из глинистых обвалов торчали обтесанные камни руин. Сюда соседи сносили свой мусор — валили в кучи золу, кости, тряпье.

Улицы показались Хатуте более тихими, чем дорога между садами, которой он пришел. Там шумели на вольном ветру деревья, там журчали ручьи, а здесь безмолвствовали дома, молчаливо шли прохожие, облаченные в линялое тряпье или в поношенные халаты.

Базар тоже был тих: крестьяне, расторговавшись, разъехались, купцы еще сидели в приземистых лачугах под холщовыми

навесами, видно, лишь из торгашеского упрямства, а не в надежде на покупателей.

Длинный араб в черном бурнусе переходил безлюдную площадь, ведя за собой десяток верблюдов, ступавших столь бесшумно, словно все они двигались, как туман, не касаясь земли.

Хатута пошел следом, догадываясь, что араб направляется к постоялому двору вьючить караван.

Вечерело. На западе, над озером Урмией, висело лиловое, почти черное облако, снизу позлащенное уходящим солнцем.

На постоялом дворе, сложенном, видно, еще в давние годы из тяжелых камней, в одной из раскрытых келий сидели тесным кружком поджарые арабы, молча пережевывая скудный ужин. Верблюдов отвели к вьюкам, занимавшим большой угол двора.

Хилый старик в коротенькой одежонке, не достигавшей голых колен, всунул тоненькие ноги в огромные кожаные туфли и, волоча эти туфли по уложенному круглыми плитами двору, отвел Хатуту в отдаленную келью, где валялось какое-то тряпье, гостеприимно предоставляемое постояльцам.

Когда Хатута шел через двор, все, кто обитал здесь, выглядывали и провожали его взглядами; нарядный яркий халат влек к себе все взоры, как пламя светильника в ночной темноте.

Следом за Хатутой на постой прибыли воины Тимура. Десяток, возглавляемый громкоголосым десятником, кричавшим через весь двор указания конюху. Воины привели с собой на длинном аркане рыжего барана и вскоре принялись свежевать его, готовясь к ужину.

Они громко разговаривали и грубо подтрунивали над одним из своих, который стыдливо отмалчивался. Они корили его, что когда-то, еще в прошлое лето, он проиграл свое ухо и столько времени не смог его отыграть. Он только отмахивался, возражая:

— Отыграюсь, еще есть мое право. Отыграюсь! Что ж, какая мне жизнь без уха! Ухо непременно надо вернуть. Уж это правда!

И отвечая так, он все время, по привычке, прикладывал ладонь к тому месту, где прежде у него было ухо.

Когда перед сном Хатуте пришлось пройти мимо этих загулявших воителей, ни один из них даже глазом не повел в сторону алого халата, словно никто и не прошел мимо.

Хатуте в эту первую в жизни ночь, когда он остался один, свободный и как бы возмужавший, захотелось полного покоя. Он попытался запереться в келье, но ветхая дверь плохо затворялась. Дряблое дерево крошилось, когда он нажимал на косяк.

Он подложил под голову бережно сложенный дареный халат, заснул, но временами просыпался: ему казалось, кто-то приотворяет незапертую дверь. Успокаивался и засыпал снова.

С утра он пошел на базар. Здесь прежде шумела большая торговля. Здесь скрещивались многие пути: из Ирана на далекий Халеб, к Средиземному морю, от Каспия на Ирак, в Месопотамию, из Басры на Византию. Лавчонки, бывало, теснились между каменными постоялыми дворами, кирпичными караван-сараями, банями. Теперь торговля затихла: самаркандские купцы полюбили другие дороги, из Азербайджана товары пошли через Хорасан на базары Мавераннахра. Марага осталась в стороне от больших путей, да и купцы боялись нынешних порядков — Тимур охранял и поощрял лишь тех, кто полезен для торгового Самарканда.

Хатута шел, глядя на ремесленников, работавших в полутьме землянок, вырытых по краям базарных улиц, примечал, что и тут оскудели ремесла: все производилось лишь на потребу местных жителей, а жителям стало не до изощренного мастерства, брали только самое насущное не на праздничный, а на повседневный обиход. На такие базары Хатута насмотрелся и в Гандже, и в Шемахе. Но в Шемахе Ибрагим-шах сумел улестить Тимуровых сборщиков дани, не столь разорял своих купцов, уберег и многих ремесленников. Здесь же довлела нищета простого народа. Множество убогих, калек, голых ребятишек с круглыми животами, толпились во всех рядах. Да и купцы выглядели не лучше.

Встречались на крепких конях Тимуровы люди: воины, вельможи. Воины попадались и пешие. Брели торговые люди, прибывшие из стана и даже из Мавераннахра. Шмыгали между местными людьми какие-то деловитые прохожие, успевавшие насмешливо и пытливо заглянуть в каждую мастерскую, в каждое лицо; во всех этих прохожих проглядывало довольство, пренебрежение к такому базару, к его скудости, к убожеству жителей древней Мараги.

По Медному ряду Хатута прошелся раз и другой. Его окружал устойчивый, слитный звон меди под молоточками, как будто звон цикад в летнюю пору.

В конце ряда, неподалеку от базарного перекрестка, где над скрещеньем базарных рядов, будто раздвинув ноги над прохожими, приподнялся сводчатый Купол Звездочетов. Хатута постоял, проглядывая всех пешеходов, и затем пошел, задерживаясь то у одной, то у другой лавчонки, спрашивая, где тут работает старик Али-зада.

Наконец он остановился около старика, повязанного синим тюрбаном и лениво чеканившего какой-то узор по краю медной плошки. Тяжелый темный нос старика свисал над широкими,

как голубиные крылья, белыми усами, над короткой бородкой, выпяченной вперед:

— Мастер Али-зада?

— Здравствуй, сынок. Купить чего-нибудь хочешь?

— Хозяину здешней земли медь нужна.

— Мы сами медь берем, из меди мечи куем.

— Медный меч мягок, нам бы потверже.

— А ты откуда?

Хатута смотрел прямо в маленькие проницательные глаза старика.

— Из самого стана.

— Сбежал?

— Хожу не таясь: выпустили.

— А сам ты откуда?

— В Гандже жил. Поймали в горах. Подержали и выпустили.

— Выпустили? Это не в их обычае. Не их нрав. И костей не ломали, и жил не тянули, и выпустили?

Хатута сказал, как он попался в горах. Старик прервал его:

— Долго ты тут не стой! Возьми медь. Придешь в другой раз. На, погляди чашку да и ступай. В другой раз скажу, как тебе быть.

Хатута увидел в чашке холщовый кисетец с мелкими деньгами и, отпахнув халат, засунул деньги за пояс. Старик, раздумывая о чем-то, похвалил халат.

Хатута похвастал:

— Милостивый дар Хромца.

— И за что только?..

— Как гостя отпустили. Никто из них на меня даже глянуть не смеет, пока на мне этот халат.

— Никак не пойму... Нет, никак...

Хатута пошел, а старик, глядя, как пылает среди серых одежд лощеный алый самаркандский халат, забыв о своем молоточке, покачивал головой:

— Никак, никак... К чему это?

Когда Хатута свернул в один из закоулков базара, двое дремавших неподалеку калек поднялись и, приседая кинулись к углу, за которым скрылся Хатута.

Старик дрогнувшей рукой схватил и повесил на гвоздь над дверью медный кувшинчик, заблиставший над черной пастью медницкой мастерской.

Вскоре с другой стороны ряда подошел тяжелой походкой лохматый черный медник, работавший наискосок от старика, и, почесывая горло под бородой, воззрился на кувшинчик, покачивающийся на гвозде:

— Не дорого просишь?

— Дорого! — ответил старик.— Человек бежит от Хромого. Я ему помог. А вижу, по его следу идут. Если не успею уйти, скажи, кому знаешь.

— Я тоже приметил. Алый халат?

— Да. Он не знает, что ведет по следу. Его остерегите. А мне надо уходить. Да как? Закрою лавку — они сразу приметят. Так уйти — кто-нибудь тут ждать меня станет, туда ж попадется.

— Уходи, будто куда-нибудь на скорую руку, а мастерскую открытой оставь.

Шел какой-то прохожий. Слишком не спеша шел, а к товарам не приглядывался. Али-зада махнул рукой на покачивающийся кувшинчик:

— Ты тот не бери. Вот другой тебе годится, лучше того...

Черный медник принял тяжелый кувшин и щелкнул по тулову. Кувшин не зазвенел. Али-зада пробормотал.

— Сверху медные деньги. Внизу серебро. Кому отдать — сам знаешь.

Взяв кувшин, покупатель пошел не сразу к своему месту, а, будто прогуливаясь, подкинул кувшин под локоть и постоял еще перед двумя-тремя мастерами.

Когда он вернулся к себе, кувшинчик над лавчонкой старика еще покачивался, но лавчонка была уже пуста.

Черный медник увидел, как в тени перед Куполом Звездочетов какие-то двое людей остановили Али-зада.

К ним подошла городская стража. Затем всех их заслонили базарные бездельники и ротозеи, столпившиеся вокруг.

— Что там? — спросил медник одного из прохожих.

— Старика Али-зада задержал какой-то покупатель. «Ты, говорит, меня обсчитал, когда я у тебя товар брал». Ну стража всех их повела. Там разберут.

— Обсчитал? Что ж, может, и обсчитал. Базар велик — всякое бывает.

А когда прохожий ушел и черный медник понял, что за ним присмотра нет, он поставил тяжелый кувшин к стене и задвинул его своими изделиями, приговаривая:

— Помоги, всемилостивый, рабу твоему Али, чтоб он и там сумел их обсчитать. Помоги ему, милостивый, милосердный...

Хатута купил тонкую, как бумага, лепешку и, скатав ее свитком, по запаху приправ пытался определить, где сможет поесть. Он давно не ел и проголодался. Случай помог ему. Он увидел низкую и темную, как пещера, каменную харчевню, вымощенную большими стертыми плитами, вошел туда и сел на скамью. Из печи ему достали пузатенький горшок похлебки.

Хатута ломтиком лепешки помешал густой мутный навар, нащупал куски баранины, разглядел желтые шарики гороха.

Вдыхая милый пахучий пар, наломал лепешку в горячий горшок, ожидая, пока остынет эта огненная, такая желанная пища.

Вошел ученик мадрасы, уже немолодой в небрежно повязанной чалме, в синем дешевом халате с красными кисточками на груди, с книгой под локтем. Как завсегдатай, он поздоровался с поваром, и тот достал ему с полки хлеб, прежде чем вынуть горшок из печки.

Скамья была невелика, и Хатута отодвинулся, чтобы и ученику дать место.

Вытирая фартуком шею, повар сказал ученику:

— С тех пор как у нас стан стал, на базаре нет баранов. Чтоб хорошего барашка взять, до зари на дорогу выходим, там и берем. А на базаре нипочем хорошего не выбрать!

— Ладно! — ответил ученик.— Всех не поедят. Были бы целы пастухи, бараны расплодятся.

— Я тоже так думаю. А пока тяжело.

Ученик промолчал. Но в харчевню никто не заходил, и повар спросил, чтобы разговор не погас:

— Книгу читаете?

— Она у нас здесь написана. Насир-аддин написал.

— Слыхал. Земляк! Как не слыхать? Великий ученый.

— И человек великий. Насир-аддин. Он же — Абу-Джаффар-Мухаммед ибн-Гасан аль-Туси. Книга же эта — «Ильханские описи звезд», а если сказать по-арабски,— «Зиджи Ильхани». Какой человек! Сумел всех наших ученых собрать! Дал им хлеб, а кругом народ помирал с голоду. Дал им место всем трудиться вместе. Нашу науку сохранил. В такое темное время сохранил светильник от...

В это время двое калек с порога попросили еды у повара и сели на пороге, чтобы разделить между собой лепешку. Ученика удивило, когда один из калек, садясь, не оперся ни на костыль, ни на стену.

Хатута спросил ученика:

— Он еще жив, этот ученый?

— Он лет полтораста как жил! — нехотя ответил ученик и кивнул повару: — По всему базару ни в одной харчевне такого вкуса у пити нет, как у вас.

Хатута, выплюнув кислую косточку алычи, добавил от себя:

— Хорошо сварено!

Но почему переменился разговор, он не понял. Ему хотелось бы еще послушать от грамотного человека рассказ о великом ученом из здешних мест.

— И что же этот звездочет? — спросил он ученика.

— Ничего. Повар спросил, кто написал эту книгу. Я ему сказал. Больше ничего.

Повар тоже посмотрел на ученика с удивлением. Но тот так занялся едой, что неловко было мешать ему.

Один из калек вдруг прохрипел:

— Повару какое дело до книг? Дело повара — левой рукой поймать барана, а правой рукой подать жареную баранину. А книга зачем? Из книги нет тебе шашлыка, нет тебе похлебки. Дай-ка нам к хлебу головку чесноку!

— Кому чеснок, а кому и книга! — возразил повар.— Народ — это не только живот, народ — это и голова.

— А и головы неодинаковы,— ответил калека,— в одной печи — горшки с пити, а в другой печи — холодные кирпичи.

Повар обиделся:

— Первая печь похожа на живот наших победителей, а вторая — на брюхо нашего народа.

Ученик еще ниже склонился к еде, а Хатута впервые за долгое время засмеялся хорошей шутке.

Ученик, запрокинув голову, допил через край остаток похлебки, расплатился и, оставив на скамье недоеденную лепешку, ушел.

Калеки еще сидели на пороге, когда между ними, перешагнув через костыль, Хатута вышел из харчевни.

Ученик, проходя по Медному ряду, приостановился около черного медника и приценился к чернильнице, припаянной к медному пеналу. Такую удобно носить: ее можно запихнуть и за пояс, и даже в складки чалмы.

Разглядывая ее, ученик сказал:

— У ноздреватого Раима в харчевне двое калек. Я их здесь не встречал, какие-то пришлые. Ходят на костылях, а ноги у них здоровые.

— А кто там еще харчевался?

— Тоже нездешний. Купец, что ли,— халат дорогой, алый. У нас неоткуда такой взять.

— Алый халат? Он хорошо сшит. Да как бы с плеч не свалился, не дай бог! Вам не подойдет эта чернильница. Она для вас дорога, ученый человек. Извините.

Ученик вернул ее хозяину и торопливо ушел, но изредка останавливался у каких-нибудь лавчонок, всматриваясь то в того, то в другого из тех, кто плелся по рядам следом за ним.

По всему Медному ряду, не затихая, молоточки звенели медью, сливаясь в непрестанный цокот, как звенят цикады в знойные вечера.

От Купола Звездочетов древняя улица тянулась к пустырю, где медленно ветшала и рушилась башня, некогда воздвигнутая Насир-аддином Туси. В тени руин, где рылись собаки, разгребая базарную свалку, валялись глиняные корчаги с отбитыми краями,

двое калек что-то говорили быстроглазому молодому стражу, прикинувшемуся, будто никак не может затянуть пояс на штанах.

* *
*

Ранним утром Хатута пошел к старому привратнику постоялого двора взять воды. Старик, накинув на плечи войлочный армяк, сидел на земле в чисто подметенном уголке двора, расставив перед собой кувшины с водой.

Когда Хатута нагнулся за кувшином, старик заговорил:

— Тайное слово сказать хочу. Послушай, да не сердись.

— Зачем же сердиться?— насторожился Хатута.

— О халате об этом...

Но в это время за водой пришел другой постоялец, и старик замахал рукой, как бы возражая Хатуте:

— Потом! Потом... Потом рассчитаемся.

Хатута, обеспокоенный, взял воду, а когда, помывшись и одевшись, принес кувшин обратно, старик, поглядывая на воинов, просыпавшихся невдалеке, торопливо сказал:

— Подумай-ка: так этот прекрасный халат ал, ну — как огонь! К чему ни прикоснется, от него пожар.

Безухий воин повернулся в их сторону, и старик причмокнул языком.

— Какая красота! И ведь издалека виден всему базару!

«Видно, и впрямь халат красив!— подумал Хатута, уходя со двора.— Даже этому старому венику по вкусу».

Он шел через площадь, где во всю ее ширь толпились крестьяне, устанавливая корзины ранних овощей, мешки сушеных слив, персиков, яблок. Все это были убогие товары. И только ковры, расстеленные в конце площади, у глухой стены, казались цветниками на утреннем солнце, словно ткачи сплели их не из грубых ниток, а из своих долгих мечтаний о цветении отчей земли.

Под Куполом Звездочетов в сыроватой мгле, пропитанной запахами лаков и красок, в каменных нишах сидели торговцы расписными ларцами, ножами в затейливо разукрашенных ножнах, стегаными колпаками и шапками, развешанными на колышках по всем стенам до самого свода. Держа длинные шесты, шапочники поднимали свои изделия на недосягаемую высоту и навешивали на колышек; торговля еще только начиналась.

Базарный длинноусый страж, величественный, как султан, разгуливал, снисходительно поглядывая по сторонам. На нем был короткий кафтан со сборами вокруг пояса и широкие зеленовато-бурые штаны, спущенные на красные туфли.

Хатута прошел мимо и вышел в Медный ряд.

Лавка Али-зада оказалась пуста. Она была открыта, но на полках не стояло ни кувшинов, ни другого товару.

Если бы старик запаздывал к открытию базара, на лавку был бы спущен навес, а товары ждали бы своего хозяина на полках: медники, работая в своих лавчонках, на ночь не уносят товары домой, а нередко в теплые ночи и сами ночуют в мастерских около своих изделий.

Озадаченный Хатута постоял, поглядывая вдоль рядов,— не покажется ли Али-зада.

Но Али-зада не появлялся. Была пора поесть; Хатута пошел, время от времени оглядываясь на лавку литейщика, к пекарне, где на толстой доске уже лежали горячие тонкие листы лепешек.

Как и накануне, свернув лепешку трубочкой, Хатута направился к харчевне. Каменная, похожая на печь, харчевня тоже оказалась пустой. Печь не топилась. Глиняные горшочки и широкогорлые кувшинчики валялись на полу около печи.

Стоя у порога, Хатута смотрел внутрь, не понимая, как случилось, что среди всего базара, где в этот час было тесно и людно, людей не оказалось лишь там, куда он пришел.

Перейдя улицу, Хатута зашел в другую харчевню и сел там, бережно подтянув, чтоб не помять, свой халат.

Пока ему наливали крепкую утреннюю похлебку из голья, он осмотрелся: белые, чисто оштукатуренные стены, ничем не украшенные; толстые, гладкие до блеска доски скамьи, двое поваров в белых рубахах, в белых штанах. Двое торговцев, евших столь торопливо, что не могли разговаривать, словно состязались, кто скорее доест.

В открытую дверь виднелся угол площади. Там развьючивали караван, снимая с пыльных верблюдов какие-то кожаные сундуки.

Уловив его взгляд, повар, подавший похлебку, сказал:

— Самаркандские купцы товар привезли. Теперь только у них и есть товары. Скоро узнаем, что привезли.

— А что может быть в таких сундуках?

— А все может быть. У них все есть. Только у них и закупаются наши торговцы.

Услышав слова повара, один из торговцев быстро оставил свою плошку и выглянул в дверь — им не было видно каравана.

Другой, тоже прервав еду, выскочил в дверь, и никто из них не вернулся.

Оставшись один, Хатута спросил повара:

— А где хозяин харчевни, что напротив?

— Раим? Ой-вой, его вчера стража увела. Он чего-то кому-то наговорил. И ведь не так глуп был, а чего-то наговорил. Никто не знает,— увели и... Вот и все.

Хатута занялся едой, думая о пропавшем Раиме.

Когда похлебка была почти доедена, Хатута поднял голову и вздрогнул от неожиданности: неподалеку сидел человек, появившийся неслышно, как бы возникнув из доски! Немолодой, одетый бедно, но опрятный и сидевший независимо, он не был похож ни на купца, ни на воина, ни на землевладельца,— словно мог жить на свете человек сам по себе, не занимаясь делом.

Хатута снова склонился к плошке, доставая лепешкой кусочки голья из навара.

Человек так же свободно и молча сидел на скамье, ничего не спрашивая у повара, ни к чему не приглядываясь, но Хатута заметил, как один из поваров подтолкнул локтем другого, и оба они завозились около печки, не разговаривая между собой.

Так же молча повар пришел взять опустевшую плошку и лишь по обычаю спросил:

— Не добавить ли?

— Спасибо.

Хатута положил на скамью несколько полушек, не зная цену еде. Повар взял лишь половину:

— Много даете. Это пити столько стоит, да и то с нашей лепешкой, а вы ели похлебку из голья!— и проводил Хатуту до порога.

— Ты с него мало взял. Задаром кормишь!— сказал молчаливый посетитель.

Колени у повара задрожали от этого замечания. Но, низко кланяясь, он попытался оправдаться:

— Они со своим хлебом. Мы им ничего не добавили. За что ж брать? А накинем цену — никто к нам и не пойдет.

— Смотри берегись!— сказал посетитель, выходя.

Повар тихо сказал другому повару:

— Вот, обошлось! Милостив аллах! А, и так никто у нас не ест, — чем рассчитываться? Разве это малые деньги для простого человека? Удачливому торговцу под силу, а народ-то вон, сушеное яблоко жует да водой запивает. А этому показалась наша похлебка дешева!

— Подослан!

— Они везде!

Хатута вернулся к мастерской Али-зада. Здесь ничего не изменилось. Лавчонка пустовала.

Теперь негде было узнать — как жить дальше, куда идти, что делать: на все это мог ответить только Али-зада.

Весь остальной день Хатута ходил по базару, разглядывая бедные товары здешних торговцев, видел, как сидят на коврах, заламывая цены, приезжие самаркандские и гератские купцы: у них были любые товары, как в давние мирные времена, о которых здесь вспоминали и рассказывали лишь пожилые люди. Во-

круг суетились марагские перекупщики, умоляя сбавить цену и дать местным торговцам заработать на привозном товаре. Но приезжие, неулыбчивые, неразговорчивые купцы, лишь переглядывались между собой, выжидая и опасаясь друг друга: кто из них посмеет сбить цену на привозной товар!

Так целый день, нигде не задерживаясь. Хатута походил по разным рядам, а перед вечером вернулся к Куполу Звездочетов и вышел в Медный ряд.

У лавки Али-зада стоял осел между двумя тяжело нагруженными корзинами со всякими медными изделиями.

Хатута оживился: «Вернулся старик!»

В мастерской, повернувшись спиной к свету, старик расставлял по полкам кувшины разных форм, маленькие ведерца, плошки, подносы.

Хатута стал у входа, не решаясь окликнуть старика, блюдя почтительность, ожидая, пока тот сам не обернется.

Но обернулся к нему иной старик — в черной барашковой шапочке, горбоносый, с длинными-длинными седеющими усами и с печальным взглядом круглых серых глаз.

Хатута, даже не сказав старику обычных приветствий, вернулся на постоялый двор, не зная, что делать дальше. Весь вечер он сидел один, повторяя затверженное со слов наставника в далекой Гандже:

«А случится попасть в сторону Урмии, проберись в город Марагу. А там помни — Купол Звездочетов. Медный ряд. Мастер Али-зада. Старик. Старик там всегда есть».

— Вот тебе и всегда!

Поздним вечером на постоялый двор прибыли какие-то новые люди. Хатута слышал, как провели лошадей на задний двор, и кто-то приказывал конюху поберечь этих лошадей. Голос показался знакомым и чем-то был приятен, но Хатута не смог вспомнить, кто бы мог говорить этим голосом. Он лежал, затворившись, и не знал, куда же ему теперь деваться из этого города.

Перед рассветом его разбудил скрип двери. Приподнявшись, Хатута увидел из темноты кельи лишь полосу светлеющего двора, но дверь снова закрылась, и было слышно, как, шаркая тяжелыми туфлями, кто-то ушел прочь, так и не переступив порога кельи.

В то утро у кувшинов с водой никого не было. Уже одевшись, он встретил у ворот старика-привратника, едва стоявшего на своих голых костлявых ногах и дышавшего тяжело,— видно, заболел. Выпуская Хатуту из ворот, старик, прокашлявшись, тяжело сказал:

— Сынок, я к тебе пошел было, да помешали. Хочу я тебя остеречь,— бойся ты своего халата!

Но тут же, заметив посторонних, договорил:

— Ступай, ступай, сынок. Погуляй. Какой приметный халат, какой приметный!

Хатута, еще не решив, не зная, что делать дальше, как и накануне, долго бродил из рядов в ряды, кое-где приценивался к каким-то безделицам, зная, что ничего не купит, и купцы, запрашивая с него неслыханные цены, тоже опытным глазом видели, что этому прохожему ничего здесь не нужно.

Но Хатуту тревожили сомнения:

«О чем твердит старик?—«Халат, халат». От хана дар. Неприкосновенный. Дают же купцам пайцзу, чтоб нигде их не задерживали. А мне халат такой дали. Я в нем куда хочу, туда иду... Привратник говорит: «Он к чему ни прикоснется, от него пожар!» Какой пожар? Старик говорит: «Приметен. Приметен?»

С этими мыслями Хатута вновь вышел к Медному ряду, решив расспросить нового хозяина мастерской о литейщике Али-зада.

Но около мастерской, разглядывая какой-то поднос, стоял коренастый, ловкий воин, то крутивший поднос, то, видно, шутивший с хозяином.

Хатута перестал остерегаться воинов Тимура; вера в неприкосновенность дареного халата порождала в юноше беспечность, прежде ему столь чуждую, что многие трудные дела друзья поручали ему с полным доверием.

Рассчитав, что воин скоро уйдет, Хатута направился к мастерской, как вдруг так удивился, что затолкался среди прохожих и отошел назад: в этом воине Хатута узнал Аяра.

— Из самого Самарканда просили вам сказать... это ведь третья мастерская от Купола? Я верно сосчитал?— спрашивал Аяр у Али-зада.

— Третья, третья... А кто же вы такой? Из Самарканда и ко мне?

— Да уж кто я такой... Проезжий воин. Оттуда сюда ехал, не случилось зайти, теперь отсюда туда опять еду. Вот и зашел, и куплю чего-нибудь. Выберу. У нас ваше ремесло ценят. У нас отсюда примерные мастера есть. Вот один и велел сказать, в третьей мастерской справа по Медному ряду... Мол, ждем, верим.

Старик придвинулся к Аяру ближе:

— Как, как? Он сказал — верит или верят?

— Сказал: верят...

— А другое слово как? Ждет или ждут?

— Сказал: ждут.

Мастер не смог скрыть радости. Его лицо оживилось. Он оттянул на всю сказочную длину свой уныло свисавший ус и накрутил его на палец, явно причиняя себе боль, но этой болью усмиряя радость.

— Родня, что ли?— недоверчиво спросил Аяр.

— Родней родни!

Этот ответ насторожил Аяра: не оплошал ли? Ведь после милостивых слов Тимура о лепешке гонец зарекался касаться чужих дел и печалей. А нежданно-негаданно опять попал впросак... От родни, ради милосердия, отчего бы и не передать поклон, а если это не родня, а какие-то дружки, не стоило бы с ними связываться: кто их знает, что у них на уме?

— Вы вот донесли от них слово, добрый человек, а случится вам их увидеть, скажите и вы им одно только слово: «бодрствуем!» Скажите им, милейший. И тот вот кувшинчик,— видите, невелик, а сколь искусен! — примите от нас, в подношение, а случится — им там покажете — работают, мол, ваши братья; помнят, мол, ваше дело. Так и скажите им: «помнят, мол, ваше дело».

Аяру показалось благим и великодушным поступком свезти слово от мастеров мастерам. Он это понимал: хорошее дело только тогда и спорится, когда мастера перекликаются между собой, когда трудятся сообща. Да и кувшинчик был ему по душе: невелик, в сумке легко уложится, а работа завидная.

— Отчего ж два-три слова и не передать, если они порадуют добрых людей!— усмехнулся Аяр.

— Передайте, передайте!.. Да сохранит вас всемилостивый!

И, засовывая кувшинчик в переметный мешок, Аяр собрался попрощаться, как вспомнил еще об одном деле и спросил:

— А где тут у вас литейщик, в Медном же ряду, именем Али-зада.

— А у вас еще есть дело?

— Тоже поклон передать.

— Вот ведь!.. Али-зада — это я. Литейщик Али-зада.

Аяр не смог сразу смекнуть, как это вышло,— из Синего Дворца азербайджанец сюда поклон послал, и тому же мастеру посылают поклон кривобородый самаркандец и этот русский... Этот Назар! Что ж это за мастер Али-зада, если стольким людям в Самарканде известен? Что же тут за этим кроется? Пожалуй, без самого литейщика и не разберешься.

Человек из Самарканда... Не какой-нибудь там привозной, а коренной самаркандец, просил кланяться. И сказать: товару, мол, они ждут. Верят, что товар хорош будет. А покупателей на тот товар у них везде вдосталь. Только б товар хорош был. Ну, а я, по вашему кувшинчику судя, понял: не зря они ваш товар ждут. Товар хорош, почтеннейший!

— Да, товар хорош. От души. Все наши силы в нем, в этом деле, в товаре в этом! Так и ответьте им: за поклон, мол, истинная благодарность. А товар будет. Есть товар. Пускай ждут, пускай верят. Будет товар. Будет!

— Вот и выполнил я два обета, не сходя с места.

— И вот тоже, добрый человек, места мало займет, возьмите тоже на память — медная цепочка. Коня случится привязать. Такие только у нас куют. Как змейка!

Прельстился и цепочкой Аяр и посулил наведаться к самаркандскому знакомцу, пообещать ему в скором времени хороших товаров от азербайджанских мастеров.

Но разговор затянулся, а гонец не в путешествии здесь, не с торговым караваном, а только лишь скачет через этот городок, столь почему-то известный стольким людям на свете, словно это сама Бухара или хотя бы Герат.

Он перекинул через плечо небольшую переметную сумку коврового тканья из Карши и пошел.

Вдруг в толпе он увидел воспаленные глаза Хатуты, глядевшего не то испуганно, не то радостно прямо в глаза Аяру.

— Ты еще тут? — удивился Аяр.

— А где ж?

— Убегай! И халат свой... в нем не убежишь. Не испытывай терпение аллаха, уходи, пока цел.

И, подкинув мешок на плече, Аяр отвернулся, беспокойно поглядывая, не приметил ли кто-нибудь этой мгновенной встречи, не уловило ли чье-нибудь ухо его невольных слов.

Встревоженный Хатута не посмел идти вслед за Аяром. Постояв еще немного, красуясь лощеным шелком среди нищеты, он быстро подошел к лавке литейщика.

— Не скажете ли вы, куда девался...

— Уходи отсюда, сынок. Нету, нету для тебя тут товара. Дорог мой товар. Не подойдет тебе. У привратника на своем дворе попроси кувшин. Он тебе даром отдаст. Иди поскорей, да никуда не сворачивай. Да не заговаривай ни с кем.

К Хатуте вернулась его прежняя душа: он среди врагов, не прогуливаться явился он в Марагу. Его торопят. Может быть, на новое дело.

«Вот оно в чем дело! Приметный халат! А я верил.. верил! Разве врагам верят?»

Он шел прежней походкой, не торопясь: шел, прогуливался по этим рядам, а душа его рвалась, словно беркут, хотя и привязанный к его руке, но уже бьющий крыльями для нового полета.

В воротах постоялого двора он не сразу повернулся к привратнику, а, как бы вправляя ногу в спадавшую туфлю, шепнул:

— К вам послали. Кувшин для меня у вас.

— Я знаю. Пойди полежи. Я потом позову.

Несколько воинов вывели во двор из-под навеса заседланных лошадей. Наскоро проверяли подпруги, подтягивали ремешки у

приторoченных к седлам вьюков. К ним из опустевшей кельи вышел Аяр.

Хатута вдруг вспомнил,— это голос Аяра он и слышал на рассвете! Но сейчас он, отвернувшись, прошел мимо и затворил за собой дверь. Он слышал, как застучали копыта коней, тронувшихся в путь.

«Отчего на гонце нет гонецкой шапки? Не знай я его в лицо, так и не догадался бы, что сам царский гонец изволил проследовать городом Марагой...»

В нем расслаивались, как расходятся два ручейка, два чувства: теплое, хорошее чувство к собеседнику в трудные дни, пережитые в гонецкой юрте, и неприязнь к верному слуге хромого повелителя, к этому ловкому гонцу, понабравшему всяких изделий у нищих медников и...

Он думал, чем бы еще попрекнуть Аяра. И тут же вспомнил его быстрые, сказанные без жалости, но полные участия и тревоги за судьбу юноши, предостерегающие слова на базаре.

Чувство к Аяру двоилось. А дороги их уже разошлись, может быть, на долгие годы, может, на вечные времена. У тех — впереди Самарканд. А у Хатуты... А что у Хатуты? Ведь в этом халате он сам как беркут: и под куколем, и на цепи. А конец цепи — в крепкой руке хромого хозяина. Теперь он это понял.

Девятая глава

ШИРВАН

Дождь шумел над Шемахой. Косые струи смывали пыль с деревьев, мутные ручьи, пенясь, мчались вниз по ступенчатым переулкам.

Базар обезлюдел. Разносчики со своими лотками и корзинами попрятались и стеснились под сводами каменных рядов, в узких крытых переходах, в нишах бань и мечетей.

Купцы, поджав ноги, отсели поглубже в свои лавчонки, глядя, как вода размывает глинистые карнизы их торговых лачуг.

Кое-где навесы, укрывавшие базар от солнца, не выдержали дождя, протекли; струи, похожие на ржавые мечи, ударили по укрывшимся. Вскрикивали, бранились, смеялись, толкались шемаханцы, отшатываясь от этих мечей.

Никто не смотрел, мало кто видел, как, накинув халаты на головы, сгорбившись под тяжестью ливня, въехали в Шемаху Халиль-Султан и сопровождавшие его воины.

Но Ширван-шах Ибрагим с утра поглядывал через стрельчатую бойницу своей башни в ту сторону, откуда мог бы прийти

Тимур, откуда теперь ждали его внука, чей приезд означал, что Тимур не собирается сюда сам, что на сей год этот гость минует сады Ширвана.

Отступив от бойницы, Ширван-шах опускался на ковер и, подсунув подушку под локоть, перебирал четки, раздумывая.

«Если Тимур сюда не жалует, шел бы мимо своей дорогой. Что он задумал? Зачем послал сюда любимого внука? Что несет нам этот высокий гость?»

Он уже дважды за это утро ходил вниз, в комнаты, где сидели писцы и куда по разным делам являлись приближенные. Ширван-шах не любил голые стены полутемных приемных комнат и, решив дела, спешил обратно наверх.

Побывал он и на женской половине, подышал опасным, как благоухание дурмана, теплом этого уюта, полного нежных запахов.

Но в то утро нигде ему не сиделось. Только здесь, в башне, откуда видна дорога на Марагу, он чувствовал себя на месте, как единственный дозорный своего народа, ныне разбредшегося по всей стране. Он поглядывал вдаль с той смущенной тревогой, какая появлялась у него всякий раз, когда в Баку, с высоты Девичьей башни, случалось вглядываться в приливы и прибой зеленого Каспия.

Перебирая четки, сидя в сухом тепле, под неукротимый шум дождя он разглядывал большой темноватый кубинский ковер. Он любил ковры своей родины, донесшие ее славу через весь мир до дворцов Венеции и торговой Генуи, до сумрачных покоев Брюгге и Дельфта в далеких Нидерландах, до снежной Москвы, до белых палат господина Великого Новгорода. Искусные руки ткачих даже в эти тяжкие годы ткали ковры и в людной Гандже, и в уединенной Кубе, и здесь, в Ширване, и в Казахе, и в Карабахе.

«В Карабахе?..— Ширван-шах насупился.— В Карабахе теперь едва ли до ковров бедным девушкам...»

Ему рассказывали, как там, в горном маленьком селении, воины Тимура ворвались в лачугу и застали девушку, кончавшую ткать ковер. Ей мало оставалось до конца работы. Большой прекрасный ковер был почти готов. Воинам было привычно хватать девушек и для своих утех, и для рынков, где на них всегда было спросу больше, чем на любую другую воинскую добычу. У нее в руке оказалась большая игла, и девушка воткнула ее в горло первого воина, тронувшего ее. Тогда другой зарубил ее.

Она упала на ковер, и завоеватели поленились снимать со стана тяжелый ковер, залитый кровью. Но эта гибель мгновенно стала известна всем жителям, таившимся среди камней. Они в едином порыве кинулись на обидчиков, и никто не ушел от народного гнева.

Девушку они завернули в окровавленный ковер и в этом тяжелом драгоценном саване погребли ее среди родных скал.

Говорят, нынче нет мстителей, столь неуловимых и столь беспощадных, как эти мирные горцы, вдруг прозревшие для святой мести.

Ковры Азербайджана... Тонкие узоры, перенятые у своей цветущей земли, у ее садов и стад. В Гандже ткут изображения животных — верблюдов, баранов, зверей,— окружая их сплетением родных растений; эти ковры нелегко читать, хотя их изображения крупны и краски ярки; пятна различных красок, как бы споря друг с другом, сплетены в ганджинском ковре в столь крепкое единство, что, и ссорясь между собой, не могут расстаться. Карабахские соединяют на своем поле как бы пятна солнца, из-за гор упавшие на цветущие луга. Тебризские золотисты, и рисунок их затейлив, тонок и требует от девушек долгого, прилежного труда...

Ковры Азербайджана... Они не столь строги, как туркменские, не столь сложны, как иранские, но они ласковы, пышны, нарядны, как азербайджанские царевны.

«Тебризские золотисты... Тебриз, Урмия, Марага... теплые земли родины, отторгнутые нашествиями кочевников, правителями, явившимися с диких кочевий... Настанет ли время срастить эти разорванные части одного тела?..»

И опять Ширван-шах Ибрагим вставал взглянуть на дорогу из далекого Тебриза.

«Надо переманить гостей сюда, к себе. Хозяину в своем доме легче направлять мысли и желания своих гостей. Здесь нам легче разглядеть их тайные помыслы...»

Наконец он увидел их. Он не был зорок, да и дождь засекал всю даль косыми струями. Но он сразу опознал их, заметив, как легко они, даже под дождем, сидят в седлах, словно парят над бодрой поступью своих коней.

Въехав на взгорье, где стоял дом Курдай-бека и у ворот толпились его промокшие стражи, Халиль-Султан увидел, как между раздвинувшимися людьми протиснулся вперед сам Курдай-бек, еще сухонький в свежем лощеном халате, только что надетом по случаю высокого гостя. Видно, Курдай-бек не успел даже опоясаться мечом, как надлежало воину, выскочил нараспашку, как купчишка, а не военачальник, облаченный доверием повелителя в коварном Ширване. Это обидело Халиля: «Мог бы и за город выехать меня встретить, не размок бы!»

В назидание беку он не сошел у ворот, чтобы принять поклоны хозяина и выслушать его приветствие, а, отодвинув Курдай-бека грудью своего коня, въехал во двор. Следом за ним въехали и его спутники. Курдай-беку пришлось бежать между конями гостей, чтобы поспеть к стремени царевича, когда он пожелает спешиться.

Мощенный черными плитами небольшой гулкий двор наполнился ржаньем лошадей, лаем собак, криками приказывающих и откликами слуг. Хотя было еще лишь начало дня, слуги засуетились с фонарями: в доме имелось много темных помещений, понадобившихся в этот час,— подвалов, погребов, подземелий, пристроек. Халиля под руки ввели в большую залу, где все приготовили для его пребывания.

Он ненадолго остался один, пока слуги доставали ему свежую одежду. Ударом ладони он отворил деревянные резные створки окна, выходившего на задворки базара. Комната наполнилась шумом воды. Узкая улочка спускалась мимо мечети, осененной купами больших раскидистых деревьев. Напротив мечети, на плоской кирпичной кровле какого-то каменного строения, пузырилась вода; длинные деревянные желоба сбрасывали серые струи на середину улицы. Под плоской кирпичной кровлей, как бы уставленной опрокинутыми чашами, вершинами небольших сводчатых помещений,— могла быть ханака — пристанище паломников, мадраса — общежитие учеников, мог быть и старый постоялый двор, уцелевший от тех мирных времен, когда еще и самые базарные ряды, и лавки, и караван-сараи — все складывалось из крепкого камня, из хорошо обожженных кирпичных плит, когда и торговля в этих краях была крепка, обширна, богата.

Мокрая худая собака одиноко бежала по этой улице, невзирая на дождь. Но дождь затихал.

Халиль, упруго ступая босыми ногами по сухому теплому ковру, отошел от окна, допустив к себе слуг с одеждой и Низама Халдара, но когда сюда же сунулся с любезностями сам хозяин, Халиль попросил его подождать, пока не позовут.

Курдай-бек помнил Халиля отважным, но ласковым и кротким царевичем, каким он был в Индии. Не таким прибыл он сюда. Курдай-бек оробел. Робость возрастала, пока хозяин топтался перед дверью гостя. Сомненья в своих делах росли. Когда же его позвали к царевичу, он вступил в залу совсем не тем, каким ввалился было запросто со спутниками Халиля.

Без почтения к возрасту и к воинской славе Курдай-бека Халиль коротко приказал:

— Говори.

— О чем сперва?

— Ширван-шах чего хочет? Что делает?

Курдай-бек сбивчиво, но без утайки рассказал о бегстве народа, о потакательстве Ширван-шаха своим купцам, здешним ремесленникам, о снисхождениях к земледельцам.

— Хитрит. Все хитрит, чтоб поменьше нам перепадало, побольше бы им.

— Ему?

— Не ему самому, а им всем: купцам бы поприбыльнее торговалось, мастеришкам бы повыгоднее работалось, в городах бы не голодалось. Ну, значит, все одно к одному.

— А вот нападают на наших... Это его люди? Ведь это сюда дымом дали знать о нашем выходе. Тогда и началось — нападения, всякий разбой на дорогах. Значит, оно отсюда идет. Тут гнездо. А ты что знаешь об этом гнезде?

— Ну, я тут вешал. Прямо на базаре. Всем напоказ. Для острастки. Кто попадется, петлю на шею, и слава аллаху.

— Разбойников?

— Попадались и разбойники. Разве они скажут? Молчат! Отрекаются, отнекиваются. Да я знаю: раз попался, не жди милости, чего бы они ни придумали сказать,— петлю на шею, и слава аллаху.

— А пробовал ли дознаться, где эти разбойничьи шайки кроются? Откуда собираются? Оружие им отсюда не дают ли? В городах ли они, в горах ли?

— Ну как их узнать? Мы и так, выйдем в базарный день за город, перехватаем пеших, которые к городу пробираются, а конных — с коней долой. Приводим, спрашиваем. Сперва добром спрашиваем. Не сознаются — вешаем. Для острастки это хорошо.

— Сознавались?

— Пока аллах миловал, таких негодяев не было.

— А Ширван-шах своих отрядов не посылал разбойничать против нас? Оружия никому не давал?

— Не видно было. Там у меня свои люди есть, я им даю коечто от своего достатка. Пока никто не замечал, оружия он не давал. Нет, не слыхать.

— А есть у него оружие?

— Не видно. Я бывал там, поглядывал. Да и мои люди там тоже... Не видно.

У Халиля не было времени долго расспрашивать хозяина: в дом собирались шемаханцы поздравлять царевича с приездом. Курдай-бек заметил, что своими ответами не порадовал, а расстроил гостя. Ему от души хотелось сказать хоть что-нибудь, что могло бы утешить Халиля:

— Поищем. Может, и найдем. И оружие. И разбойников. Как не быть, должны быть. На глаза не попадаются, а уж, верно, есть! Я ведь больше за ним, за самим приглядываю. А вокруг мало ли что делается! Как за всем усмотреть?

Но по сердитому быстрому взгляду Халиля Курдай-бек понял, что его дело не поправилось.

Удрученный и растерявшийся, ушел он хозяйничать в своем доме, где все кипело как в котле.

Во дворе, натыкаясь друг на друга, люди бегали с вязанками

дров, выкатывали из подвалов запасные котлы, вели послушных баранов, выскребали старые котлы, несли снопы пахучего клевера под навесы, вытирали сухими попонами лошадей, здоровались между собой, тут же опасливо поглядывая на разгоряченных старших слуг, почувствовавших себя, как в угаре внезапной битвы.

От Ширван-шаха явился его визирь осведомиться о благополучном прибытии хранимого милостью аллаха, восхищающего глаз человеческий юной красотой, умиляющего умы всего мира беспримерной отвагой, драгоценного царевича Халиль-Султана.

— Ширван-шах считал бы великой милостью аллаха, буде великодушный царевич снизойдет к мольбам смиреннейшего Ширван-шаха, избрав его жалкую хижину для своего высокого местопребывания.

Визирь стоял в синем шелковом переливчатом камзоле, тесно облегавшем грузный живот, а сборками, спускавшимися от пояса, укрывавшем от нескромных взглядов остальное. Короткие ноги от широчайших шальвар казались еще короче. А шальвары, расшитые яркими узорами, трепетали при каждом слове визиря, говорившего нараспев, но с одышкой.

Красный кушак, тоже изощренно расшитый прилежными рукодельницами, повязан был жгутом, отчего все казалось пышнее — и кушак, и живот, и огромный, усыпанный драгоценными камнями кривой кинжал, засунутый за кушак.

Халиль откланивался на любезные восклицания визиря, но переехать во дворец Ширван-шаха отказался: лишь завтра он переступит высокий порог осведомиться о здоровье хозяина. Визиря же царевич просил остаться, дабы разломить здесь черствую лепешку страннической трапезы.

Визирь остался.

Такое изобилие и на пирах Тимура бывало не всегда. Блюда сменялись блюдами. Пар, пропитанный ароматами и запахами приправ, синеватым облаком распластался под потолком. Над плечами гостей непрерывно протягивались руки слуг, сменявших блюда, ставивших кувшины пряных шемаханских напитков и хмельных самаркандских и армянских вин.

Визирь сидел на пиру неподалеку от Халиля и удостаивался милостивых улыбок царевича, услаждающего сердца человеческие кротостью своей царственной красоты. Вслед за каждой улыбкой, по почину своих сотрапезников, визирь лихо поднимал чашу крепкого золотого армянского вина, хотя и содеянного нечестивыми руками безбожных христиан, но из лоз, взращенных милостью истинного бога. А выпив, самоотверженно опрокидывал чашу над головой в знак, что ни капли не осталось, не выпитой во славу благословенного царевича.

Видя внимание царевича к этому неповоротливому хмелеюще-

му вельможе, остальные гости щедро заботились о чаше толстяка, он же, непривычный при дворе Ширван-шаха ни к обильным пирам, ни к запретным напиткам, среди этих простых, хотя грубоватых, хотя и невоздержанных людей, радовался, как дитя, оказавшееся посредине подноса с халвой.

Да и лестно было визирю Ширван-шаха сидеть среди людей, еще недавно внимавших повелителю всей вселенной.

«Повелителю! Какому!.. Который все может! Который... лишь только взглянет, и целое царство одним махом,— как шакал курицу! Который... чуть коснется человека — и... конец! И нет ни человека, ни... Вот ведь какие люди сидят вокруг. Какие... милые люди. Ради таких людей... О боже, о боже... Для таких людей... Вместе с ними так хорошо и так безопасно. Ведь с ними... О, что угодно можно сделать, если быть вместе с такими людьми. И как душевны: сам царевич, сам возлюбленный внук самого повелителя вселенной, вот он рядом, как все! И ведь помнит, поглядывает: пьет ли его гость! Пью-пью!.. Я же истинный, преданный всей душой... О боже... Почему не пить? Когда все...»

Вдруг полусонный визирь по глубокой, за долгие годы стойко укоренившейся привычке, вспомнил, что подошел час вечерней молитвы. Не сразу он сумел подняться и пробраться вдоль стены позади гостей.

Один Курдай-бек заметил усилия визиря и догадался о благочестивых намерениях гостя.

Курдай-бек не был набожен, да и редко размышлял о мусульманских правилах и не понимал, в чем разногласие между суннитами и шиитами. Но здесь, среди азербайджанских шиитов, ему льстило собственное превосходство в делах веры, ибо считал, что сунниты, в лоне коих родился, ближе к истинному богу, нежели почитатели пророка Али. Заметив намерение визиря выйти, чтобы стать на молитву, Курдай-бек поглядел ему вслед насмешливо и с тайным злорадством, как на докучного слепца, резво шагающего к глубокой скользкой яме.

Но Халиль-Султан, заметив уход визиря, быстро встал и вышел следом.

Очень неясно было визирю, что это за комната, куда он зашел, где только царевич... Один. Стоит. Улыбаясь, смотрит, слушая визиря. И визирь напрягает все силы, чтобы стоять прямо, и оттого, виновато смеясь, качается из стороны в сторону в поисках опоры.

— Истинно преданный, всей душой!.. О Али!.. Всей душой.

Царевич выпил лишь чашку вина, лишь столько, чтобы прогнать дорожную усталость да согреться после дождя. Он смотрел ясными черными-черными глазами, одними этими глазами смеясь.

— Вот, «преданный, преданный», а за поясом этот прекрасный кинжал. Против кого? Где здесь враги? У вашей особы есть вра-

ги? Я устраню их. Я желаю благоденствия вашей особе. Я могу быть надежным другом. Против кого оружие, кого опасаетесь?

На лестные слова царевича визирь отвечал улыбками и поклонами, что давалось нелегко.

— О, этот кинжал... дед мой получил... От шахов Ирана. За дружбу. Какой кинжал!

— Красив! Очень красив! А откуда оружие у вашего народа? Кто дал народу? Вы?

— О благословеннейший!.. Я вам подарю! Я этот кинжал вам!..

— Нет, зачем же? Он украшает вас. Но что за толк от такого кинжальчика? Лучше примите маленький подарок от меня. Примите.

Халиль стянул с большого пальца толстое золотое кольцо, индийское, с багряным лалом. Он сам любил это кольцо, но ни одно другое не напялилось бы на палец визиря.

Влюбленно глядя на замерцавший при свечах лал, визирь поднял было голову для поклона, но пошатнулся.

Халиль поддержал его за локоть, повторяя:

— А откуда ваш народ обзавелся оружием? Кто ему дал?

— У них оружие?— Визирь испугался и на мгновенье обрел устойчивость.— У них есть оружие?

— А разве оно не от вас?

— Ни-ни!.. Мы им не дали!..

— У вас не нашлось?

— Как это! В том-то и дело: есть, но не дали! Как это дать? Мы не дали.

— Да ведь оно без толку поржавеет у вас. Зарыто где-нибудь?

«Отрицать? Видно, они уже знают! Может, царевич за этим оружием и явился? Нет, визирь не таков, чтобы играть с огнем: милость повелителя благотворна, от гнева же его нет спасения. К тому же, почему на таком прекрасном пиру не говорить с царевичем, как гость с гостем, по-братски».

— Не поржавеет,— оно в башне. Замазано. Там сухо.

— И много его?

— Все там. И то, что своего было, и что от Тохтамыша... Не поржавеет. Ни-ни! Там пролежит... и ничего!

— Значит, не дали?

— Ну как это дать? Ведь им только дай!.. Они его разнесут по всем горам, по всем щелям. Кто принесет назад? А где же себе взять, когда понадобится?

— А когда понадобится?

Визирю все тяжелее становилось говорить. Голова тяжелела:

— Не будет повелителя, вот и понадобится.

— Кому?

— Как кому? Шаху.

— А вдруг чернь изловчится да отнимет? Может, надо хорошие караулы туда послать? Это какая башня? Отдельно стоит?

— Нет. В которой сам шах. Он там всегда сам. Откуда им знать, где оно! Когда оно... замазано.

— Ну, берегите его. Берегите. А откуда же разбойники вооружились?

— Свое собрали. У кого что. Сперва ушли, потом собрали. Мы — нет-нет... мы... Сохрани нас бог от этих головорезов! Ой, сохрани бог.. Бог всемилостивый..

Пол колыхался под ногами визиря.

Явились слуги и повели визиря обратно на пир.

Халиль-Султану хотелось свободы от духоты, шума, суеты пира.

Он опять подошел к окну.

После дневного дождя в завечеревшем городе стало прохладно, тихо.

За окном он снова увидел крышу древнего здания. Там, за куполами, похожими на опрокинутые чаши, горел огонек и какие-то люди неподвижно сидели, внимая певцу.

Еще в прежние поездки по этим местам Халилю случалось послушать, как пели здесь, как бывало рыдали от страсти азербайджанские певцы.

Он прислушался; певец пел:

Ее смех курчавится, как волоски на висках...

Глаза Халиля потеплели! Как похож этот свежий вечер на самаркандскую весну, на самое-самое начало весны, когда еще не таял снег в горах.

Он повторил:

— ...как волоски на висках!

У Шад-Мульк они черны и тоже курчавятся. А свои сорок девичьих косичек она заплетает в одну змею и ею туго обкручивает голову, но конец выпускает, как край чалмы, и пучок косиц свешивается над головой, как хохолок. Лишь перед выходом в гости отпускает она свои косички за спину, как сорок змеек. Лишь в гости. А когда он приходит в их дом, и она ходит при нем, не скрываясь, ее косички всегда связаны в одну большую, в одну тугую, в одну до синевы черную... А кончики топорщатся, как хохолок. И если он шепчется с ней, они щекочут его лицо.

Он улыбнулся.

— Как волоски на висках!.. Ее смех курчавится... Им, верно, хорошо там сидеть на крыше около огонька и слушать песню. Видно, это милые люди, у каждого какая-то любовь. Не пойти ли к ним?

Поднималась молодая луна.

Гости еще не разошлись, шумели голоса: там оживились, разговорились в отсутствие царевича.

Халиль приказал позвать Низама Халдара, которого полюбил в этой поездке за веселый нрав.

— Как бы нам пройтись по городу, брат Халдар?

— Не опасно ли? Кругом разбойники. Пришла весть: опять небольшой обоз перехватили, из Султании. Всю охрану перестреляли. И это уже в который раз в этих местах! Наши люди боятся здешних дорог. Сам Курдай-бек перестал выезжать в город, отсиживается дома. Стража его, говорят, ночью боится темноты. А на вас такой халат!

— С Курдай-беком еще будем говорить. А халат... Ты прав, лучше мой дорожный надеть.

— Он не просох еще. Ведь под каким дождем ехали!

— Поищи чей-нибудь на пиру. И пойдем. Душно здесь, а там вон поют. Слышишь?

Сам любивший петь, Низам Халдар прислушался.

— Не знаю этой песни. Никогда не слыхал. Хороший голос.— И, послушав еще, убежденно повторил: — Очень хороший.

— Сходим к ним. Они нам еще споют.

— Я пойду поищу халат.

Но нашелся только отложенный к стене кем-то из гостей синий азербайджанский армячок.

— Тогда уж и шапку давай азербайджанскую. Погляди там.

— Шапка не шапка, есть колпак из рыжей овчины, как у них у всех. Надевайте. Она с этим же армячком лежала.

В воротах, приняв их за расходящихся гостей, слуги Курдай-бека открыли калитку.

Они прошли через безлюдную базарную площадь, мутно озаренную мерцающим светом месяца, и свернули в ту узенькую ступенчатую улочку, где напротив мечети темнело старинное здание.

В низеньком портале тяжелая створка ворот нехотя подалась, когда Низам надавил плечом.

Какой-то юноша встретил их, удивленный, что кто-то забыл запереть ворота.

— Как вы вошли?

— Там отперто.

— А что вам?

— Мы наверх. Туда, где поют.

— К отцу Фазл-улле? А кто вы?

— Приезжие певцы.

— Ступайте. Знаете, где лестница? Там, направо, в самом углу, внутри стены .Там темно. Ступеньки слева.

— Спасибо!

И они ощупью поднялись на крышу, а юноша, опасливо выглянув на улицу, торопливо запер ворота на широкий засов.

Они постояли за одним из куполов, чтобы нежданным появлением не прервать певца. Он пел:

Если б капли слез не стекали мне на уста,
Я бы умер от жажды в духоте этих лет...

Халиль шепнул:

— Отец Фазл-улла?.. Кто это такой?

— Кто его знает! Посмотрим.

Скрытые куполом и мглой, они разглядывали старика, кротко улыбавшегося и покачивавшего головой в лад песне.

Мир и достоинство озаряли это смуглое, обрамленное белой пеной бороды ласковое лицо.

Слушая, он шептал что-то. Может быть, повторял для себя мучительные, сладостные слова певца.

— В духоте этих лет...— повторил и Халиль. И задумался: в духоте этих лет...

Когда песня смолкла, Халиль вышел к певцам. Под взглядами насторожившихся хозяев Халиль сказал, что, забредя в эти края из Мавераннахра, они, любители петь, прельстились песнями, петыми здесь. Им еще хочется послушать, и зачем же слушать украдкой или таясь на улице, когда можно не только слушать, но и поблагодарить певцов.

— Из Мавераннахра?— строго спросил старик Фазл-улла.— О чем там люди теперь поют?

— Много разных песен.

— Спойте нам.

Халиль, не уверенный в своем голосе, просил петь Низама. И взяв из чьих-то рук дутар, Низам долго прислушивался к его ладу. Он звучал ниже и глубже, чем дутары Самарканда. Но вскоре Низам овладел этими струнами и тихо спросил Халиля:

— Что петь?

— Мы с тобой на чужбине, брат Халдар! Спой мою любимую из песен Камола,— шутливо ответил Халиль.

И Халдар запел о чужбине:

Эта шумная улица кажется мне пустынной.
Нет друзей у меня, и разлука тому причиной...

Старец закрыл глаза и, подняв лицо к темному небу, зашептал слова, видимо хорошо ему знакомые; Халиль уловил:

Здесь чужие дожди, и чужая на обуви глина...

Старец обвел всех печальным взглядом, и все ответили ему взглядами, когда Халдар, высоко подняв голос и забыв о дутаре, допевал:

...Я брожу и мечтаю о родине милой...
О чужбина, чужбина, чужбина, чужбина, чужбина!..

Все помолчали после этой песни. Наконец старец сказал:

— Он родился вашим земляком. Умер нашим земляком.

Халиль, сожалея о покойном поэте, вздохнул:

— Да, Камол Ходжентский.

— Я видел, как он бедствовал, как нищенствовал, как умер в Тебризе, не имея пристанища, на голой циновке, с камнем под головой вместо подушки. И нам нечем было ему помочь. Хромой все разорил вокруг. Все ходили босые, голые, голодные. Камол!.. Двенадцатое лето идет, как он умер. Они с Хафизом, как два соловья, перекликались. Камол у нас, в Тебризе, Хафиз — в Ширазе. И почти вместе покинули мир, чтобы петь в садах аллаха.

Низам Халдар шепнул:

— Они говорят «Хромой». Слышали?

Халиль провел ладонью по руке Халдара.

— Молчи. Послушаем.

Старец вспоминал:

— Он жил среди нас в Тебризе. Явился Тохтамышхан. Слез, и крови, и горя не меньше было, чем от Хромого. И Тохтамыш увел Камола к себе в Орду, в Сарай. Тохтамышу был нужен собственный соловей в Сарае. Лет пять мы ничего не знали о нем. Но он вернулся. Вернулся к нам, чтобы бедствовать вместе. Только нам довелось его пережить. А переживем ли мы бедствия?.. Переживем ли? А ведь Камол мечтал об этом! Ты, милый Имад-аддин, пел эту песню. Спой нам, Имад-аддин!..

Молодой голос откуда-то из мглы негромко предостерег старца:

— Отец! Рядом, у Паука, пируют. Там царенышь появился. Если они услышат, не было б беды.

— Им не до наших песен. А вокруг простые люди, сами не смея петь, запершись у себя по домам, прислушиваются. Пусть и гости из Мавераннахра послушают своего Камола,— ведь этот поэт учился в Самарканде, к нам оттуда пришел.

Молодой человек высунулся, чтобы взять дутар. Ненадолго его лицо приблизилось к светильнику, и Халиль увидел желтоватое, словно выточенное из слоновой кости, лицо юноши, но не уловил взгляда его странных, показавшихся раскосыми глаз.

Маленькая с короткими пальцами рука протянулась к дутару, и, откинув другую руку, Имад-аддин задумался, припоминая слова.

Вскоре он уже пел, отодвинувшись во мглу:

Самому султану не покорить тебя, влюбленный.
Ни цепям, ни темницам не смирить тебя, влюбленный...

Он пел о милой, но казалось, что милая эта не простая девушка, что не любовью юноши рождена эта песня, что поет певец о любимой родине и что нет в мире силы, чтобы сломить эту любовь.

Но Халиль слышал в ней только славословие стойкой силе простой любви.

Песня взволновала Халиля. Милая была так далеко — за грядами гор, за песками степей, за волнами широких рек... Но где бы ни была она, а он — с ней. И это незыблемо. Чуть закроешь глаза и видишь эти серые створки бедных ворот. Низенькая, с высоким порогом калитка. Виноградные лозы на корявых опорах. Прудик под раскидистым деревом...

О, Самарканд!

Резвые ноги, оставляющие на песке узкий след. Быстрый, сразу все понимающий взгляд веселых глаз. Быстрый, чуть хрипловатый и чуть растягивающий слова голос... О Шад-Мульк!

Песня взволновала Халиля. Он тихо повторил Халдару:

— Поговорим потом. Пока послушаем.

Его слух, обострившийся в походах, уловил легкий стук кольца в воротах, скрипнула створка, кто-то пришел и поднимался, постукивая каблуками по каменным ступеням.

Вскоре на крыше показались еще трое азербайджанцев.

Имад-аддин, отложив дутар, обратился к старику:

— Может быть, мы проводим уважаемых приезжих гостей и тогда побеседуем о наших делах?

Халиль отклонил намек Имад-аддина:

— Нам некуда спешить. Жаль покидать людей, с которыми нас побратала песня. Разве мы помешаем вашей беседе?

— Мы беседуем здесь о наших друзьях,— ответил Фазл-улла. Вам, скучно слушать о нашей нужде и о тех, кто огарчает нас.

— Разве могут быть враги у вас?— любезно спросил Халиль.— Кто видит вас, становится вашим рабом.

— А разве враги друзей не враги нам?

— Враги друзей? Значит, вы подтверждаете, что друзей у вас много!

— Все, кто любит родину, друзья мне. А родина наша хороша и несчастна.

— Мы не хотим мешать вашей беседе, но если мы не мешаем, нам некуда спешить,— упрямо повторил Халиль.

Старец заколебался, но к нему придвинулся Имад-аддин и зашептал что-то.

Тогда старец отстранился и громко и твердо возразил ему:

— И в Мавераннахре есть простой народ. Пусть посидят с нами.

Месяц вонзился в облака. Мгла сгустилась. Халиль не видел лиц троих, поднявшихся на крышу последними, хотя они опустились на коврик совсем рядом. От ближнего остро пахло какой-то степной травой.

Не дожидаясь вопроса, а может быть, торопясь, один грубовато спросил:

— Отец! Нас послали за хлебом. Где взять? Ведь там и дети с нами. Не хватает на всех.

Имад-аддин резко прервал его.

— Поговорим потом. Подождите.

— Нам до света надо туда вернуться. Нас ведь ждут. Как быть?

Имад-аддин встал и сердито ответил:

— Пойдемте. Отец к нам попозже придет.

Он увел их вниз, и там, во дворе, они зашли в какую-то келью.

Насторожившийся Халиль спросил:

— Откуда они?

— С гор. Пастухи. Пасут наши стада!— ответил старец.— Простите, мне уже пора отдохнуть.

Больше нельзя было оставаться здесь. Халиль, однако, спросил:

— А можно ли в другой раз послушать вас?

— Приходите. Мы иногда собираемся петь. Иногда — поговорить о стихах.

Халиль простился с Фазл-уллой и, задумавшись, спустился во двор.

Улица была все также безлюдна, но в тени мечети, вдоль стены, стояли какие-то люди. Какие-то люди сидели на крыше наискосок от мечети. Может быть, это сидели те, о которых старец сказал, что простые люди, сами не смея петь, прислушиваются к песням юноши с лицом, выточенным из слоновой кости.

— Им хотелось поскорее избавиться от нас!— сказал Низам Халдар.

— У них свои дела,— уклончиво отозвался Халиль.

— А слышали, как эти негодяи называют повелителя?

— Они и Курдай-бека прозвали Пауком. Что ж поделаешь: простые люди.

— Простые?

— Не из царедворцев же Ширван-шаха!

— Пастухи тоже простой народ. Но зачем пастухам шляться среди ночи?

— Сейчас мы пошлем нашего десятника. Пусть подстережет этих... пастухов. Мы разберемся, где у них стада, которые кормятся хлебом.

И засмеялся.

— Дадим урок Пауку, как надо ловить разбойников.

Они поднялись по темной улице к площади. Когда оставалось несколько шагов до двора Курдай-бека, озаренного факелами, пятеро стражей с огромными копьями в руках окликнули Халиля:

— Кто идет?

— Свои.

— Своим тут незачем шляться. Стойте!

Их окружили. Старший увидел азербайджанский армячок на Халиле:

— Какие ж это свои? Хватай их!

Им закрутили руки назад и поволокли во двор Курдай-бека.

Халиль молча упирался, а Низам Халдар, увидев среди двора здешних конюхов, прохрипел:

— Эй, отгони от нас этих...

Халдара толкнули, и подвал, где содержались узники, поглотил царевича.

Конюх узнал Халдара и побежал к Курдай-беку. Не сразу его допустили в комнату.

Хмельной и усталый Курдай-бек отмахнулся:

— Кто б ни попался — базар рядом. Поутру всем напоказ — петля на шею, и слава аллаху!

— Да гляньте ж! — закричал конюх. — Гляньте ж, кого они поволокли, — это ж ваши гости!

— Какие там... Их же с улицы! Из ночной тьмы! Какие ж гости? Пьян? А?

— Наши, которые от повелителя.

Курдай-бек с сомнением поднялся было, но поленился и вместо себя послал писца.

Засов уже задвигали на двери темницы, когда писец, ленясь и нетвердо шагая, вышел во двор. Он был рад, что засов задвинут и на этом все кончится, ибо открывать темницу ему не приказывали.

Но конюх, лучше понимавший, что означает поимка гостя, прибывшего от повелителя, поволок писца к двери, сам отодвинул засов и, крепко держа за халат ослабевшего писца, крикнул в черную пропасть подвала:

— Эй, гость! Выходите!

— Дай нам руку! — глухо откликнулся Халдар. — Из этой ямы нелегко вылезти.

Следом за Халдаром наружу выбрался и Халиль. Вырвав из чьих-то рук плетку, он кинулся в зал. Но у дверей его остановили:

— Чего тебе?

— Где этот ослиный зад?

— Кого тебе?

— Курдай-бека! Кого же еще?

В это время один из шемаханцев, загулявший на пиру, закричал:

— Вот он вор! Поймали! Ай, молодцы! Стащил кафтан мой! И колпак!.. Держите! Держите крепче!

Курдай-бек, любопытствуя, пошел к столпившимся у дверей. Он растолкал гостей, чтобы тут же, на глазах у всех, повесить воришку и такой скорой расправой украсить пир, по примеру повелителя, склонного каждый большой пир сопровождать казнями преступников.

В это время вырвавшийся у стражи Халиль с размаху ожег лицо Курдай-бека ударом плетки И добавил, крича:

— Знай, кого хватать. Знай, кого! Знай!

Курдай-бек осел на пол. Гости отшатнулись.

Халиль сорвал с головы колпак и швырнул его в лицо хозяину.

Царевича узнали.

Все, кто были, кинулись прочь из комнаты.

Только визирь мирно спал на своем месте.

В этой суете ушло то время, когда ночная стража могла подстеречь сомнительных пастухов.

Десятая глава

КУЗНИЦА

Марага еще спала. В приземистых мазанках, в сложенных из каменных глыб лачугах спали простые люди Мараги, намучившиеся за день, и лишь на подстилках у домашнего очага обретавшие краткий покой. Спали ремесленники, ленившиеся на короткий срок уходить из своих мастерских. Спали кузнецы и медники неподалеку от приглохших горнов. Чеканщики — среди расступившихся кувшинов и ведерок. Пекари — около ларей с мукой. Колесники — под сенью новых арб. Швецы, подсунув в изголовье скопившиеся за день обрезки тканей. Спали купцы, запершись на засов, спустив с привязи широколобых лохматых волкодавов. Спали в караван-сараях и на постоялых дворах заезжие люди, иноземные купцы, воины-завоеватели, караванщики, привычные к ночлегу под чужими кровлями.

На перекрестках больших торговых улиц, уставшие бодрствовать всю ночь напролет, задремывали ночные воинские караулы.

Луна завершила свой путь по звездному небу. Звезды потускнели.

Прокатилась и смолкла ночная перекличка ослов. Близилось время подниматься к первой молитве, дабы у аллаха испросить мира и удач на грядущий день.

Хатута сидел во тьме кельи, когда перед рассветом услышал, как, просмурыгав по двору тяжелыми туфлями, старик остановил-

ся за дверью, постоял там и, тихо отворив узкую створку, вошел с кувшином в руке.

— Спишь?

— Какой сон!

— Снял бы ты свой халат.

— Давно снят. Вот он, тут.

— Дай, я его схороню. А ты надевай-ка мой. Он неприметный, войлочный, как у всего здешнего люда. На-ка, надень да ступай ко мне в сторожку, посиди там, пока народу на улицах нет. А как услышишь, что люди идут, ступай и ты. В мечеть,— так в мечеть. На базар,— так на базар. Где люднее, там и побудь со всем народом. Надвинь шапку пониже, да ходи повеселей, посмелей, как с чистой совестью. А как весь базар проснется, отправляйся к дому, где городской судья судит, в самой середине базара, от Купола Звездочетов налево, через Сундучный ряд. Там, в том ряду, ихний караван-сарай, Султанийский. Из того караван-сарая самаркандские купцы своему каравану ищут проводника на Шемаху. Дорога тебе знакомая. Скажешь: пришел, мол, из тех мест к брату, да брата, мол, не нашел, приходится назад идти. А что им проводник нужен, на базаре, мол, слыхал. Про меня молчи. Они тебя возьмут, так дня через два либо три отсюда тронетесь. А там зря на глаза не лезь, но и без крайности не прячься,— не приметили б, что боишься кого. За два дня тебя едва ли хватятся, а и хватятся — не сразу на след нападут. В лицо тебя мало кто помнит, а охоту ведут по алому халату. Бог милостив,— выскользнешь из города, а вокруг — дорог много.

Говоря это тихо, медленно, старик устал от долгой речи и, помолчав, прислушался.

Постоялый двор спал. Где-то далеко за городом, на кладбище, жалким детским плачем рыдали шакалы.

— Вот как, сынок! Запомнил? А там — в Гандже — свое место сам найдешь, а случится в Шемаху зайти, помни: там за базаром, когда стемнеет, песни поют. То в одном доме, то в другом. Понял? Халат давай, я его схороню.

— Спасибо, отец!

Старик в темноте туго скрутил лощеный халат, просунул его в горло кувшина, опустил на кувшин крышку и, отослав Хатуту вперед, подождал, прислушиваясь у приотворенной дверцы.

Постоялый двор спал.

Громко шаркая, старик пошел по гладким плитам, неся свой кувшин, словно полный воды, в тот угол двора, где за низкой глиняной стеной обмывались постояльцы.

Там никого не оказалось, и вскоре старик вышел оттуда с пустым кувшином.

Когда он проходил мимо кельи, где гостила стража из стана, один из воинов, приподняв голову, спросил:

— Уже и помылся, отец? Видно, пора и нам подниматься?

— Вот-вот на молитву призовут. Скоро и рассвету быть,— ответил старик, направляясь к себе в сторожку.

С улицы слышались неторопливые шаги и тихий разговор идущих к мечетям.

Сторожка оказалась уже пуста.

Тем утром в дом городского судьи прибыл внук Тимура, сын его дочери, Султан-Хусейн.

Он прибыл со своими людьми, чтобы заняться узниками, схваченными в городе за последние дни. Тимур приказал дознаться наконец, что за враги вырастают словно из-под земли и вновь исчезают, будто проваливаются сквозь землю, на всех дорогах вокруг воинского стана. Нападения разрастались по всему Азербайджану, нападения на небольшие отряды, на ночные стоянки войск, на караваны, на гонцов, на воевод,— меткие стрелки из неприступных мест внезапно осыпали стрелами даже большие отряды, убивая людей на выбор, сперва высмотрев, кого убить. Это задерживало Тимура, приводило его в ярость.

В подвале судейского дома, рядом с темницей, палачи скоро приготовили все для допросов, а на широкой скамье постелили ковер для Султан-Хусейна.

Он спешил отличиться перед дедом, не хотел отстать от других воевод, разосланных по тому же делу в ближние города, и решительно, поджав ноги, сел на свое место.

Широкое лицо лоснилось с дороги. Бородка плохо прорастала на крутых скулах, подрагивающие ноздри казались непомерно большими, когда вздернутый нос был так мал. Торопливые маленькие глаза мгновенно рассмотрели все подземелье.

Выпустив джагатайскую косу из-под шапки, подбоченясь левой рукой, он велел ввести узника, схваченного первым.

— А других готовьте. Как их брали, в том же череду и к нам ставьте. Про первого что известно?

Ему рассказали.

— Признался?

— Виляет.

— У нас не вильнет! Давайте.

Видно, этот узник не противился, сам шел в страшный подвал,— он вступил сюда, замигав от света, скупо проникавшего через два небольших окна, открытых в глухой двор. Синий лоскут, туго повязанный поверх маленькой шапки, не растрепался, но старик привычным движением пальцев оправил его на голове. Расправил и усы, широкие, как голубиные крылья, и ладонью от горла вверх приподнял выдающуюся вперед небольшую бородку.

— Почему не связали?
— Стар и слаб. И смирный,— ответил старший из стражей.
— Стар, а разбойничаешь?
— У нас один разбой: медь плавить да чекан чеканить. А медь не меч. Без такого разбоя не во что стало б воду налить.
— Отлаиваешься?
— Я правду говорю, по заветам пророка божьего.
— В праведники готовишься? Сперва с земными делами разберись. Разбойнику в алом халате денег давал?
— Не помню такого.
— Люди видели: он твои деньги за пояс заткнул.
— А не доставал ли оттуда? Может, расплатиться хотел. За день покупателей столько пройдет — всех не запомнишь.
— Какой купец! И всем деньги даешь?
— Не помню, чтобы такое было.
— Освежим память!
Султан-Хусейн шевельнул бровью, и палачи накинулись на старика.
Кровь отлила от его лица, шапочка свалилась вместе с тюрбаном. Старик, закрыв глаза, когда становилось невмоготу, вскрикивал:
— Медь, медь, медь!..
Его на минуту отпускали. Султан-Хусейн спрашивал:
— Вспомнил?
Старик молчал, его опять хватали палачи, и снова он пересохшим ртом хрипел:
— Медь, медь медь!..
Наконец потерял сознание.
Втолкнули следующего. Это был повар Раим. Руки ему связали за спиной, отчего плечи казались еще шире и круче.
Терявший терпение Султан-Хусейн крикнул:
— Говори! Сразу все говори! Иначе...
— А я скажу; чего вам от меня надо?
— Разбойников прикармливал? Задаром, а?
— Моя похлебка. Баранину за свои деньги беру. Баранов сами свежуем. Кого надумаю, того угощаю. С кого надумаю, с того деньги беру.
— А с кого не брал?
— Кто мне по душе, с тех могу и не взять.
— С разбойника в алом халате брал?
— Брал. Он нездешний. Наши шелков не носят. Нашим не до шелков...— Дернув большой круглой ноздрей, повар добавил:— Тут у вас и воняет-то, как на бойне.
— Не твое дело. Кто это «ваши»?

— Наши? Хозяева здешней земли. Их и покормим, когда им есть нечего. А пришлые нам на что? Мы их звали сюда, что ли? Кому случится между нами жить, пускай живут,— нашими станут, коль с нами заодно баранов растят. А когда являются наших баранов резать, а своих сами едят, такие не годятся. Их за своих не считаем, это хозяева не нашей земли.

— А где твои дружки, которые с оружием на наших кидаются?

— Таких дружков нету.

— А вот кидались твои дружки. Вспомни-ка! Да и назови.

— Как же назвать? Я не видал, кто из них кидался.

— Вспомнишь!

И опять работали палачи.

Повар крепился. Лишь раз он заговорил, когда его ненадолго отпустили, и, Султан-Хусейн спросил:

— Вспомнил?

Покрутив головой, чтобы превозмочь боль, он не ответил, а только удивился.

— Ох, ну и мясники!. .

И больше от него уже ничего не смогли добиться.

Третьим ввели, держа за обе руки, рослого рыхлого человека, глядевшего красными ненавидящими глазами.

Султан-Хусейн, все еще никак не напавший на след врагов, сам был готов, отстранив палачей, терзать своих немотствующих узников:

— Признавайся, негодяй! С кем якшался? Откуда с алым халатом в дружки попал?

— Ты, вижу, не в своем уме. Не знаю, как тебя звать.

— Как звать, не тебе знать. Сознавайся, пока спрашивают, где разбойники?

— Ты и есть разбойник! Иначе кто же ты? Кто мирного купца хватает, обирает, терзает. Кто, а? Ошалел?

— Ты сюда на беседу пришел? Где же это ты купец,— у разбойников в берлоге твоя торговля?

— Самарканд не берлога.

— «Самарканд»! Где с алым халатом снюхался?

— Кто это?

— На базаре с ним шептался? Денег ему давал?

— Ну, уж это мое торговое дело. Когда велю писцу о товаре письмо написать, сам знаю, чего мне надо. Ты лучше отвяжись,— я до самого повелителя дойду, а вас, разбойников, угомоню.

— Навряд ли дойдешь!

С ним расправлялись с особым усердием: он успел укусить палача, в другого плюнул, третьего лягнул каблуком. Он кусался, бранился и визжал, пока не захрипел, выпучив глаза. Тогда его бросили.

Но когда он повалился, из-за пояса у него выкатилась медная самаркандская пайцза на право торговли в чужих краях.

Султан-Хусейн забеспокоился:

— Что ж это, наши же купцы в свои караваны стреляют?

Купца выволокли. На его место привели нового узника.

Этот оказался сухощавым, подвижным азербайджанцем. Выскочив от толчка на середину подвала, он быстро огляделся, увидел Султан-Хусейна и любезно поклонился.

Султан-Хусейн прищурился:

— Попался?

— А именно на чем?

— На алом халате. Для каких дел ты его заманил к себе в лавку?

— Грех такое вспоминать.

— А ты вспомни. А не то мы напомним!

— Дело мужское: написать письмецо. Посланьице с выдержками из стихов Хафиза. Для подтверждения чувств

— В каком смысле?

— Тайное посланьице. Красавице.

— Тайное? А красавица хороша?

— У нее муж. Я желал выразить ей свое желание, когда муж отбыл с караваном.

— Нас не задуришь. А в алом халате у тебя дружок?

— Старый знакомый. Лет пятнадцать вверяю ему тайны души.

— Пятнадцать лет пишет?

— Не менее. Я тогда еще холост был. Соблазнительницам души напишет одно. Красивым мальчикам — другое. Владеет!.. Слогом владеет.

— Чем кормишься?

— По золотому делу — кольца, серьги, когда до Тохтамыша здесь золото было. В нынешних обстоятельствах золота на виду не может быть, сами разумеете. Пришлось заняться перекупкой пленниц. Бросил: дешево берешь, кормить — кормишь, а перепродать с выгодой трудно. Спрос плохой. Но если вам наговорили, будто я втихомолку золото перепродаю,— врут! От кого его взять? У кого было, давно отдано: тут везде глаза да глаза.

— Наговорился? Теперь отвечай прямо: этого, в алом халате, откуда знаешь?

— Я ж говорю: пятнадцать лет он мне пишет.

— Да он неграмотен!

— Именем пророка Али! У него красивейший почерк — пылевидный! Так мелок — как маковое семя! Глаза разбегаются! Витиеват, но это и надо!

— Значит, он там нам морочил голову? И к тому же... Как это так? Пятнадцать лет тебе пишет, а ему отроду менее двадцати.

Что ж он, со дня рождения?.. А?

— Ему сорок! Я на два года старше.

— Ты, может быть, сумасшедший? На цепи не сидел?

— Сохрани, аллах милостивый!

— Второй негодяй толкует мне, что разбойник стал писцом. Сговорились?

— Но это истина, и это знает сам всемилостивый аллах!

— Кто же, по-твоему, этот в алом халате?

— Как кто? Если вы его не знаете, какое вам к нему дело?

— Твое дело отвечать!

— Имя его Заид Али. Он — уважаемый писец нашего почтеннейшего городского судьи, да помилует его бог от гнева повелителя! За красивейший почерк он и ценим милостивым судьей.

— Пока не скажешь правду, велю тебя пощекотать. Ну-ка!

Но он не переносил боли. Взвизгивая, он терял сознание, едва начинали его вытягивать.

Его отливали водой и опять спрашивали. Он, облизывая губы, сквозь боль кричал, повторяя, что в алом халате к нему приходил сорокалетний писец городского судьи Заид Али.

Когда, не веря ему, палачи повторяли вопрос, он снова терял сознание.

Бегло допросили еще нескольких узников, оказавшихся почтенными людьми, в свое время откупившимися от Тимура при взятии города и ныне продолжавшими свои базарные дела. Все они утверждали и клялись самыми нерушимыми клятвами, что в алом халате по базару расхаживает всему городу известный писец Заид Али.

— Сговорились? Я камня на камне не оставлю от всего вашего поганого логова, если не сознаетесь!

— Но мы клянемся!.. Нам правда дорога! Заид Али — это есть Заид Али. Кто его тут не знает?

Вопреки строгому приказу Тимура, запретившего даже мизинцем трогать Хатуту, пока он расхаживает, наводя на след, вопреки приказу следить за Хатутой не горячась, не хватать его собеседников, если это будет заметно Хатуте, Султан-Хусейн не мог тянуть: ему хотелось прежде всех остальных воевод выведать прямую дорогу в разбойничий вертеп и, нагрянув на них, перехватав всех, показать деду свое усердие, затмить всех остальных царевичей, стать первым среди них.

«Пускай полюбуются — вот я и не от сыновей, а всего только от дочери повелителя, а таких лихих среди них ни одного нет!.. А когда к деду проникнешь в сердце, тогда легко станет вытеснить оттуда всех прочих любимчиков — Халиля этого, Улугбека-грамотея, сопляка Ибрагима. На место самого Мухаммед-Султана можно стать!.. Но если тут облизываться, когда надо покру-

тить жилы отпущенному негодяю, толку не добьешься! Тут надо решать, как во время битвы. Быстро и враз! И без жалостей! Дед наказывал беречь Хатуту, дабы не терять след к новым и новым разбойникам. А вот они все — какой от них толк? Они разве правду скажут? Мулла и то не всякий раз в правде сознается! А это ж злодеи, чего ж от них ждать? Надо сразу брать гуся за голову».

Проведчики, посланные на поиски, вскоре обнаружили алый халат, и Султан-Хусейн сам выехал к его местопребыванию, на базар.

Под сенью Купола Звездочетов с алым халатом почтительно беседовал усатый блюститель базарного порядка, величественный, как султан.

Султан-Хусейн поехал прямо на алый халат, и скороходы, бежавшие впереди царевича, закричали:

— Берегись! Дорогу, дорогу!

Этот, в алом халате, посторонился и оглянулся, оказалось — это худой, рябоватый человек с большим бельмом и реденькой бороденкой.

— Преобразился?

Не владея собой, Султан-Хусейн накинулся на него, прижимая его конем к лотку с колпаками. Колпачник, побледнев, кинулся сгребать обеими руками колпаки с лотка, а Султан-Хусейн, наступая на рябого, готового испустить дух от неожиданности, кричал:

— Преобразился?

— В чем... я виноват?

Султан-Хусейн вспомнил писца: он попадался ему на глаза у судьи. Не замечая сбежавшейся толпы, Султан-Хусейн кричал:

— Халат!.. Откуда?

Пятясь, писец неожиданно сел на лоток колпачника, а снова встать оказалось уже некуда.

— О аллах! Всемилостивый! Благословеннейший! Я, ничтожнейший, ничтожнейший, ничтожнейший, посмел купить.

— Где?

— Тут вот. За этим куполом.

— У кого?

— Нищенка была. Старуха. Под чадрой. Муж, говорит, помер. Деньги сейчас же нужны. Цена малая. Прельстился. Прельстился! Знаю — грех, ведь вдова. Аллах взыщет. Корысть человеческая. Прельстился! Благословеннейший! Милуй! Милуй! Каюсь, прельстился...

— Скинь халат! Скинь!— закричал Султан-Хусейн, не в силах сказать ничего другого, чтобы раздавить словами этого негодяя, этого... Который все перепутал, замутил такое великое дело!

Пересохшим голосом он приказал стражам:

— Берите его!

Обернувшись к пятящемуся важному стражу, Султан-Хусейн прохрипел:

— Ты куда смотрел? Кого здесь стережешь?

Ударом плетки он скосил тяжелый тюрбан на голове стража и, повернувшись к толпе, закрутил над собой той же плеткой.

— Видали? Писцом прикинулся? А сам — у разбойников. Им письма писал. Мы это знаем! А вы ему потакали! От нас под халат не спрячешься, мы каждого насквозь видим. Осмелели? Разбаловались? Разбойничье семя!..

В ярости он поскакал к себе, не глядя ни на стражей, уводивших поникшего писца, ни на базарный люд, разбегающийся от царевичева гнева.

Вдруг его наметанный глаз увидел прижавшегося к стене круглощекого румяного десятилетнего мальчишку в серой рваной рубахе, в черной засаленной шапчонке на голове.

Круто повернув крутящегося коня, Султан-Хусейн еще раз осмотрел озорника, глядевшего, не потупляясь, на блистательного всадника, и велел скачущим позади:

— Прихватить этого. Пригодится.

Эта встреча слегка утешила его.

* *
*

В караван-сарае, прозываемом Султанийским, постояльцы поднялись раньше, чем забрезжило утро.

Завьюченные верблюды, то жалобно, то возмущенно вскрикивая и ревя, вставали, понукаемые караванщиками.

Отстояв утреннюю молитву, караван-вожатый с нарочитой строгостью, сопровождаемый кое-кем из купцов, деловито обошел длинный верблюжий ряд, возвратился к головному верблюду и, взобравшись на осла, принял повод.

Хатута перехватил линялым кушачком бурый войлочный халат, поглубже надвинул лохматую шапку, уселся на своем осле и поравнялся с караван-вожатым.

Ворота открылись, и караван пошел.

Пересекли площадь. Вошли в узкую щель Медного ряда.

Хатута смотрел на медников, стоявших на коленях перед своими горнами или звеневших молоточками по красным, податливым листкам меди.

Хатуту удивило, что многие из мастерских, открытые, заставленные изделиями, были безлюдны — ни мастеров, ни подмастерьев не было в них, словно все они наскоро и ненадолго ушли отсюда.

Черный медник сурово взглянул и отвернулся, когда караван пошел мимо его мастерской.

Али-зада скользнул серыми печальными глазами по лохматой шапке и тоже показался Хатуте бледнее и задумчивее, чем прежде.

Миновали и Купол Звездочетов, где оказалось не столь тесно, как бывало, хотя все торговцы сидели у своих товаров.

Когда свернули на улицу, протянувшуюся до самых руин Дома Звезд, на круглой площади, перед воротами городского судьи, увидели такое множество народу, что пробиться оказалось нелегким делом.

Люди неохотно расступались перед караваном. Все смотрели в сторону ворот, где на свободном месте красовались на конях воины, осаживая собравшихся.

Караван не мог пробиться дальше и остановился.

Хатута, стиснутый толпой, оказался на своем осле на голову выше пеших и увидел свободную площадку, где пятеро узников, со связанными руками и ногами, стояли около высоких арб, с которых свешивались арканы. Петли этих арканов уже были накинуты на шеи узников. Едва арба тронется, петля затянется — и узник упадет. Возчики сидели на лошадях, впряженных в арбы, и ждали знака трогать лошадей.

Хатута сразу узнал двоих узников — медника Али-зада, который дал ему денег, и повара Раима. Остальных видел впервые — один был дороден и одет в распоровшийся самаркандский халат, другой, худощавый азербайджанец, все время что-то кричал, обращая взгляды к небесам, третий, с большим бельмом, рябой и безбородый, был так бледен, что казался изготовленным из ваты. Его поддерживали двое воинов, дабы он не повалился и не затянул свою петлю раньше времени.

Осаживаемый воинами народ шумел, и слов худощавого азербайджанца Хатута не мог разобрать.

Но все затихли, когда выехал Султан-Хусейн, сопровождаемый судьей и какими-то всадниками, неизвестными Хатуте.

Размахивая плеткой, Султан-Хусейн повернул к народу разъяренное лицо и закричал:

— Разбойники! Вздумали с нами воевать? Какие воины! Эти между вами скрывались, да попались. От нас не улизнуть! Смотрите на них! Да сами смекайте, кто из вас охоч первым за ними вслед ехать? Все смотрите на них! Кто охоч! Веревок хватит. Я вас отучу разбойничать!..

Хатута видел только Али-зада. Непокрытая голова старика мелко дрожала, но смотрел он не боязливо, а внимательно, словно собирался ответить на слова Султан-Хусейна. Слева лицо ста-

рика было синим — от удара или от другой какой причины. Н. бородка так же гордо выступала вперед.

Резко хлестнув плеткой вниз, Султан-Хусейн крикнул:

— Вези первого!

Арба скрипнула. Лошадь не сразу тронулась с места, Али-зада поморщился, но не как от боли, а как бы с досадой. Упал, и Хатута уже не мог его разглядеть.

Хатута опустил глаза и лицо и мог бы сам свалиться, но люди вокруг плотно обступали его, и упасть было некуда.

Мгновенье спустя, он очнулся и, опершись о плечо ближайшего из людей, выпрямился.

Вдруг только теперь он понял прежде не понятые слова своего друга, спрыгнувшего в бездну в горах: «Старик всегда там». Этот Али-зада погиб. Но в Медном ряду на своем месте уже сидит другой старик, с тем же именем, с тем же сердцем.

Жалость к старику слилась с гордостью за безмолвный подвиг этих старых людей. Прикусив губу, Хатута смело и с торжеством глянул на Султан-Хусейна, который снова хрипло крикнул:

— Вези!

Хатута опустил глаза, чтобы не смотреть на повара, повернувшего лицо не менее гневное, чем у Султан-Хусейна.

Хатута не видел, как тронулась эта арба, только слышал, как шум, подобный морской волне, прокатился по народу. И наступила тишина, когда должен был прозвучать новый приказ царевича.

Но народ, не услышав этого приказа, затолкался. Все вытягивали шеи, пытаясь расслышать какие-то негромкие слова Султан-Хусейна.

Султан-Хусейн крутился перед купцом, одетым в самаркандский халат.

Султан-Хусейна вдруг осенила догадка, что расправа со своим купцом в далеком, чужом городе, на глазах у покоренного народа, над самаркандцем, расправа смаху, как с чужеземным пленником, может рассердить дедушку. Это сошло бы, если б он приволок в стан подлинных разбойников, но из них ни один не признался; ни с колчаном, ни с мечом ни одного не схватили, блеснуть перед всем станом пока нечем было, не следовало ли при такой незадаче побережнее обойтись с купцом?..

Палачи ждали, пока, впадая в еще большую ярость от неудачи, Султан-Хусейн силился сообразить, как поступить: купец уже стоял с петлей на шее, дедушкины проведчики, неведомые внуку, тоже непременно подглядывают за всем этим делом, где-нибудь хоронясь среди толпящихся зевак.

Палачи ждали.

Расправа приостановилась, и народ, запрокидывая головы, следил за малейшим движением царевича.

Наконец он негромко сказал палачам:

— Этого погодите... Что ж это, самаркандский купец и разбойничает на дорогах? У нас таких купцов не может быть. Попался? А теперь каешься?

Купец не мог собрать слов вместе. Он только бормотал:

— Разбой! На базаре грабите! От товаров увели! Где теперь мой товар? Воры!

— Этого погодите... А тех двоих давай вези!

Две арбы, тронувшись разом, столкнулись колесами и не сразу пошли. Азербайджанец успел крикнуть:

— Я тебе еще покажу!

А писца достаточно было отпустить, чтобы он сам свалился вниз.

Когда арбы, визжа колесами, отъехали, волоча за собой упавших, перед Султан-Хусейном остался один этот самаркандец.

Султан-Хусейн, запальчиво и явно сожалея о своем намерении, велел:

— Э, молодцы! Развяжите его. Пускай идет. Иди! Убирайся отсюда. Торгуй!

Но купец не трогался с места. Только растирал затекшие руки и приговаривал:

— Чем? Сперва ограбил, а теперь «торгуй»! Я еще до повелителя дойду, я спрошу, где мой товар. Чья шайка растащила? Кто в ней атаман? Он тебе объяснит, как со своими купцами обходиться. Он поучит тебя уму-разуму. Еще как поучит!..

Султан-Хусейн быстро сообразил, что уже не просто купца, а свою собственную погибель выпустил на свободу. Он громко, чтобы слышал весь народ, закричал:

— Пожалел человека! А гляжу — разбойника чуть-чуть не упустил! Ну-ка, молодцы, берите его. Ведите назад в яму. Он еще вспомнит разбойников! Я сам поведу его к повелителю. Ему это будет не то, что раз помереть!

И поскакал к дому судьи.

Народ хлынул вслед за арбами, волочившими казненных.

Толпа поредела.

Караван опять пошел, погромыхивая колоколами.

* *
*

Караван шел уже далеко от Мараги.

Начинались земли Ширвана, владения Ширван-шаха Ибрагима. Азербайджан, разорванный на княжеские владения, не был един.

В те времена каждый шах, каждый бек, каждый самый мелкий владетель, чванясь друг перед другом, опасаясь друг друга,— все стремились на своем уделе иметь все свое, чтобы не зависеть от соседа, чтобы сосед не посмел ухмыльнуться: «У меня, мол, и ковровщицы свои, и медники свои, и златоделы, и оружейники, и хлопководы, и виноделы и садовники свои, и что бы ты ни вздумал, все у меня свое, ни в чем я не уступаю соседу». И хотя у одного не мог созревать хлопок, он приказывал сеять и хлопок, чтобы сосед не сказал: «У меня, мол, есть, а у тебя нет!» И хотя у другого не вызревал виноград и вино выходило кислым, как уксус, но его виноградари и виноделы, бедствуя на бесплодной земле, ходили за чахлыми лозами, давили тощие гроздья, чтобы хозяин при случае мог похвастать соседу: «У меня вино свое, и хлопок у меня свой, и пшеница у меня своя». Народ бедствовал, трудясь над делом, доходным в другом месте, но начетистым в этом уделе, а хозяева упорствовали, дробя на части родную страну, боясь друг друга и злобно завидуя, если соседу удавалось что-нибудь такое, чего не было у других.

Шахи, беки, владельцы уделов рвали родную страну на клочья, и Азербайджан не был един. Но един был народ Азербайджана. Едино было сердце народа. Как и всюду, здесь тоже каждый город гордился своими особыми приметами, обычаями, ремеслами, зданиями. Своими героями и событиями прошлых времен. Но мастера, славившие Тебриз или Урмию, славили и Шемаху, и Ганджу, ходили работать из города в город, обмениваясь навыками, радуя друг друга общими мечтами, общими песнями, вместе вспоминая и оплакивая тех, кого вырвал из их семейств и из их содружеств и увел в далекую даль Мавераннахра хромой Тимур.

Караван шел. Начинались земли Ширвана, оставленные Тимуром под властью Ширван-шаха; не столь часты стали встречи с приглядчивыми разъездами Тимуровых караулов; казалось, воздух здесь легче и земля свежей.

В один из дней каравану Хатуты повстречался караван, охраняемый сильной конницей. Ширван-шах Ибрагим, сопровождаемый Халиль-Султаном, направлялся к Тимуру.

На тонконогом караковом жеребце ехал тяжеловатый для такого легкого коня Ширван-шах. Из-под дорожного суконного армяка, расшитого по синему полю красными полосами, поблескивал то голубым, то лиловым отливом шелковый кафтан.

Ласково и спокойно глядели глаза Ширван-шаха, хотя ехал он к Тимуру и сам, видно, не знал, что принесет ему эта опасная встреча.

Озабоченным и строгим казался Халиль-Султан, о чем-то говоривший с Ширван-шахом.

За ними следовали перемежавшиеся между собой всадники — Халилевы и Ширваншаховы, тоже все на отличных лошадях разных мастей. Двух лошадей — одну пегую, другую соловую — вели в поводах. Ехали не спеша, чтобы не оторваться от нескольких арб с навесами, накрытыми коврами. Видно было, что в арбах кого-то везли, но полосатые паласы, покачиваясь сзади арб, мешали заглянуть внутрь. Гнали табунок лошадей. На нескольких арбах лежала разная поклажа.

Два тюка — длинные, скатанные трубкой черные кошмы — показались странными самаркандцу из каравана Хатуты.

Он не стерпел и отстал, чтобы расспросить встречных возчиков: как идут, какова дорога?

Пока они, съехав с дороги, разговаривали, караваны разошлись. Один — молчаливый и окруженный воинами, неприветливо, дерзко глядевшими со своих седел. Другой — тихой поступью под миролюбивый глуховатый звон.

Пустив осла вскачь, отставший самаркандец догнал свой караван и, опасливо поглядывая во все стороны, поведал, как накануне, когда проходили через небольшое ущелье, караван обстреляли неведомые разбойники и успели скрыться, пользуясь тем, что никакая конница не могла преследовать их среди скал и трещин.

— Отчаянные головы! Вот, обстреляли! А зачем? Взять из этого каравана — ничего не возьмешь, когда он под такой охраной. А пятерых убили. Рядом с шемаханским визирем ехал наш Курдай-бек. Беседовали между собой. И тут — стрела! Курдай-беку в висок, без промашки. И еще две стрелы в него же! И конец! Визирь поскакал, хотел заслониться шахом. И уж он только из-за шаха выглянул — ему стрела в лоб. Видать, это шаху для острастки: берегись, мол. Остальные трое — наши, из охраны. Когда погнались было за злодеями, их и пронзили. Курдай-бека с визирем завернули каждого в кошму, теперь везут с собой. Остальных на месте похоронили. Шайки у них маленькие, как песчинки, но всюду. Всюду! По всей ихней земле. Вся земля у них с таким песком перемешана. Вот какие дела! Попробуй-ка торгуй при таких дорогах! Да и покупать-то тут некому, одна нищета.

«Эх, купцы,— думал Хатута.— Знают, что дороги под стрелами, что народ обнищал, а и на стрелы лезут, ища прибылей даже в этой разоренной стране!»

К вечеру остановились перед караван-сараем, у входа в ущелье. Верблюдов кормить. Предстояла стоянка в небольшом тихом безлюдном селении.

Хатута побрел поразмяться среди развалин, среди каменных груд, между обгорелыми или обломанными деревьями покинутых

садов. Трава кое-где заглушала кусты роз, в траве валялись черепки глиняных чаш и кувшинов. Пахло тлением и полынью.

Позади двора, на обрыве над речкой, он увидел черную кузницу, где, несмотря на густейшую темноту, еще работали кузнецы.

Хатута, на всем пути пытливо приглядывавшийся ко всем встречным, не упустил и теперь случая посмотреть здешних людей: не одни ведь воины Тимура обитают вокруг караван-сараев — кое-где есть и коренной народ.

Не будь народ един в разорванном на княжеские владения Азербайджане, порвись его единство, начисто опустела бы вся эта земля, обездоленная и обезлюженная набегами Тохтамыша, нашествиями Тимура, десятками тысяч клавших здешних людей в могилы, десятками тысяч уводивших в горький полон. Но уцелевшие, утаившиеся находили убежища в тех областях, где в ту пору оказывалось тише, а когда пожарище нашествия стихало, возвращались на пепелище, и жизнь их возрождалась на родном месте.

Хатута зашел в кузницу и, хотя никакого дела к кузнецу у него не было, сел у двери.

Кузнецы, не отрываясь, ковали подковы.

Наконец, кинув изделие, огненное, казавшееся прозрачным и восковым, в ведро, откуда взметнулась вода и вздыбился пар, кузнец повернулся к Хатуте. Он был почти гол, с одним лишь кожаным фартуком на бедрах.

Обагренный светом раздутых углей, он был велик, плечист. Его плечи, грудь, живот густо обросли черной медвежьей шерстью. Он покосился на Хатуту.

— С караваном?

— Сейчас пришли.

— Издалека?

— Марага.

— Наши?

— Самаркандцы. Купцы.

— А ты?

— Проводником до Шемахи.

— Хромой без проводников все наши дороги знает. А купцы, что ли, не знают? Зря связался.

— Ты тоже на здешнего не похож.

— Армянин.

Хатута, никогда не ходивший дальше Мараги, никогда не бывавший в Армении, усомнился:

— Разве армяне бывают кузнецами?

— Отчего же не быть, если надо?

— Армяне — это купцы.

— Что ж, по-твоему, в Армении лошадей куют не молотком, а кошельком?

— А еще что делают?

— Что здесь, то и там!— усмехнулся кузнец.— Ты тоже не похож... Азербайджанец? А язык у тебя с присвистом, с прищелком. Соловей — не соловей, но и не азербайджанец.

— С присвистом?— удивился Хатута.— По роду я — адыгей. Но вырос здесь.

— Как же к ним в караван попал?

— Надо ж кормиться.

— На этот крючок и попадаются. Они тебе крошку хлеба, а ты им взамен — свою голову.

Хатуте показались слишком смелыми такие слова. Он откликнулся:

— Мы хозяева своей земли.

— Тогда другое дело!— ответил кузнец.— Тебе железа надо?

Хатута быстро смекнул, что, когда в Медном ряду откликались медью, кузнецу сподручнее отозваться железом. И повторил:

— Железом верблюдов не куют.

— И так правду сказал!— засмеялся кузнец.— Ну, посиди, посиди. Тебе ничего не надо?

— Надо понять, как дальше быть.

— А ты почему проводником?— переспросил кузнец.

— От Хромого ушел.

— Тогда... Зачем тебе в Шемаху?

— А куда же еще?..

— Надо бы тебе к своим.

— Где их взять! Они на дороге меня не ищут.

— Верно сказал. Считай, что я тебя нашел, покуда тут укроешься.

Хатута насторожился: первый раз видит человека, как довериться?

А кузнец увещевал:

— Переждешь тут, в горах. У нас там шалаш есть. Как придут наши люди — с ними уйдешь.

Хатута сомневался:

«Если б думал выдать меня Тимуру, только свистни: они вон, кругом. Надо, видно, верить, иного ничего не выдумаешь».

Разговор вдруг прервался: неожиданно, откуда-то из тьмы, появился азербайджанец, одетый по-крестьянски, но с длинными, тонкими пальцами горожанина, которыми он пытался развязать неподатливый узел серого башлыка.

Он только взглянул в глаза кузнецу. Армянин, отложив молоток, отошел с ним к стене. Азербайджанец торопливо заговорил:

— Семь лошадей. Две совсем расковались. Остальных — пере-

ковать бы. Подковы стерлись: как где камни—оскользаются. А нам это никак не годится, сам понимаешь. Нельзя ли помочь, Арам?

— Сюда нельзя. Караван пришел. Чужого народу много. Где лошади?

— За рекой. Недалеко.

— Вон мой подручный сходит. Не бойтесь. Темно, но свет зря не жгите. Он и в темноте сделает. Справится. Подковы подберет.

Он отошел к углу, где лежала кучка подков, накованных за день. Порылся в них, отбирая всякие, какие могут понадобиться. Потом отозвал подручного:

— Ступайте. Да потише — там кузницы нет.

— Знаем, Арам. Спасибо.

Вдруг, когда они уже скрылись было в темноте, кузнец крикнул им:

— Стойте-ка!..

И повернулся к Хатуте:

— Ты спрашивал, как дальше быть. Зачем тебе в Шемаху? Иди к этим.

— Наши?

— Хозяева своей земли.

Азербайджанец стоял на самом краю темноты, слабо освещенный отсветом углей. Хатута подошел к нему. Поздоровались.

И тьма закрыла их.

Кузнец вернулся к наковальне. Подвинул светильник поближе. Подозвал другого подручного.

И опять подкова за подковой выходила из-под послушного молота и, как падающая звезда, прочертив золотой след, возмущала воду.

Одиннадцатая глава

СТАН

Утро, поднимаясь из призрачной дымки, озарило юрту повелителя.

Белая теплая кошма, изборожденная черточками теней, чуть колыхнулась, когда Тимур вышел. Он остановился, щурясь, оглядывая широкий стан, уже проснувшийся. Прислушался к равномерному, негромкому гулу голосов. Пригляделся, как трепещут бесчисленные знамена и значки на утреннем ветерке, как взвиваются первые дымки костров. Острые степные глаза Тимура мгновенно подмечали малейшее нарушение обычного порядка — где собралось воинов больше, чем следует: «Что там у них?»; где стоит заседланная, понурая, неуместная там лошадь: «Кто туда

приехал?»; где завязалась возня у воинов, соскучившихся от однообразия: «Скоро разомнутся!»

— Скоро разомнутся!— проворчал он, отворачиваясь от стана. Не торопясь, похрамывая, минуя караул, зашел он за юрту, откуда виднелись на склоне пригорка новые юрты, поставленные для ожидаемого Ширван-шаха.

Тимур долго стоял, закинув руку за спину, глядя на эти юрты. Может быть, он, повернувшись к ним лицом, уже и не смотрел на них, нечего было рассматривать там так долго.

Но здесь, заслоненный своими юртами от всего стана, он был один. Здесь никто его не видел, кроме, может быть, одного лишь беркута, парившего высоко наверху.

Вся даль, затянутая волнистым маревом, дымилась, согреваясь под первыми лучами солнца.

Ему не хотелось уходить к себе в полутемную юрту. Скоро к нему придут Нур-аддин и потомок Чингиза — Султан-Махмуд-хан, явится Шах-Мелик. Сядут разбирать вести, накопившиеся за ночь от проведчиков, прибывших со всех сторон — из Армении, из городов Баязета Османского, из Сирии, из Мавераннахра, из многих мест.

Хорошо было бы полежать на этой густой, еще не успевшей выгореть траве. Да нельзя: не ребенок, не простой какой-нибудь воин, люди удивятся, если увидят, его на траве. А ведь сколько, бывало, спал на голой земле, без всякой подстилки. Порой и травы-то никакой не было — твердая земля да сухие колючки.

Больной ногой он провел по траве, и трава легла широкой полосой: пока тяжела от росы.

Не торопясь, похрамывая, возвратился он к дверям юрты. Постоял около стражей, кругломордых, смуглых, с глазами, спрятавшимися в узеньких щелочках, словно от затаенной улыбки,— барласы. Их пушистые рысьи треухи покрывали всю голову, спускались на спину. Барласы стояли неподвижно — по двое с каждой стороны дверцы, держа остриями вверх короткие копья, не смея дышать, пока он смотрел на них.

Он смотрел на них, но, может быть, он и не видел их — нечего было рассматривать в них так долго.

Тимура отвлекли трое вельмож, соблюдавших охрану его юрт и проглядевших его выход. Они бежали снизу, со стороны стана, не чая ничего доброго за свою отлучку.

Но он только сказал:

— Шах приедет — где принять? А?

И они поняли, что оплошка их не в одной лишь отлучке, а в несообразительности: как не догадаться, когда за шахом поехал сам царевич, везут шаха с почетом, надо и принять его не в обыденной юрте — надлежало еще до рассвета поставить богатый

шатер, чтобы чужой правитель видел не только могущество, но и великолепие Повелителя Вселенной.

А он, больше ни слова не сказав, ушел к себе.

В юрте с двух сторон кошмы были приподняты снизу, чтобы через юрту струился легкий сквознячок. Тимур то поглядывал в эти просветы, то в сторону, откуда поблескивала на солнце трава и доносился ворчливый голосок какой-то степной птицы; то в другую сторону, где виднелись бесчисленные, как деревья в лесу, столбики дымков над очагами, откуда достигал сюда привычный гул стана.

Казалось, это остановилось большое мирное кочевье, остановилось на отдых в приятном месте на берегу многоводной реки. Накануне подошли войска, составленные из хорасанцев. Огромное войско Тимура состояло из десятков тысяч воинов-чужеземцев — их брали в плен, из них отбирали лучшую часть в свое войско, остальных отсылали на работы или сбывали на рынки рабов; если же оказывались пленники, негодные даже для продажи в рабство, таких выводили в степь и уничтожали. Тимур не различал: стадо ли овец, табун ли коней, толпа ли пленников — здоровые оставлялись, слабые и старые уничтожались. В хозяйстве не оставлялось ничего обременительного, ничего бесполезного: Тимур хозяйственно правил своим уделом, вместившим многие страны и десятки царств.

За эти дни в стан пришло много войск, вызванных сюда Тимуром. Едва заняв отведенные им места, едва поставив свои шатры и устроив очаги, они уже ничем не нарушали жизни стана, будней долгой стоянки, хотя хорасанцев пришло не менее тридцати тысяч.

Вчера Шахрух пригнал гонца с оповещеньем, что, получив указ Тимура, собирает свое войско и вскоре сам приведет его под знамена повелителя. Но Тимур решил не ждать Шахруха, послал в ответ сказать, чтобы Шахрух не спешил выступать в поход, а получше бы вооружился. Вельможам, собравшимся в Герат для наведения порядка, он приказал отложить расправу с Шахрухом: перед походом не следовало обижать сына.

Внук Пир-Мухаммед, правитель Фарса, на указ деда отмалчивался. Не старший Пир-Мухаммед, не сын незабвенного Джахангира, находившийся в это время далеко у границ Индии, а другой внук Пир-Мухаммед — сын убитого курдами Омар-Шейха, брат самовольника Искандера, женатый на сестре Гаухар-Шад-аги, гератской царевны. Его молчание Тимур понял как нежелание идти в поход и как неповиновение указу, что могло случиться не без воздействия царственной Гаухар-Шад-аги.

Теперь, прохлаждаясь на сквознячке, Тимур сидел, поджав одну ногу, и никак не мог найти спокойное положение для боль-

ной ноги — то ставил ее, то вытягивал; она ныла, хотя погода стояла сухая, как всегда в такое время в этих местах, и ничто не предвещало ненастья. Но, время от времени потирая ладонью нывшую ногу, он, глядя в сторону, чутко слушал своих советников.

Шах-Мелик говорил о проведчиках, прибывших из Мавераннахра. Мухаммед-Султан, отменив, по вине Искандера, поход на монголов, возвратил в Самарканд лишь часть войск — остальным велел разместиться в маленьких крепостях, незадолго перед тем построенных по реке Сыр, и на Ашпаре, на границе кочевой степи. Ослушник Искандер содержится в Синем Дворце под стражей. Ему лишь изредка разрешают поездки в пригородные сады, но всегда в сопровождении надежных спутников. В доме старшины тиснильщиков, отца дерзкой девки Шад-Мульк, жизнь идет обычно, за дочерью никаких выходок не замечено и в поведении ее ничего зазорного пока нет. Купцы довольны торговлей этого времени, но ремесленники некоторых цехов жалуются, что купцы прижимают сбыт изделий, сбивают цену, предпочитают брать изделия от чужеземных искусников из Синего Дворца, где товар хотя и дороже, но заманчивей для покупателей. Землевладельцы при оросительных работах весь труд сваливают на своих подданных, а воду, когда она приходит, забирают себе: сады поливают, а на полях у крестьян урожаи плохи из-за недостачи воды. К тому ж эти же вельможи часто вступают в спор с землеустроителями, препятствуют рытью и очистке оросительных канав, ссылаясь на полновластные свои права на своих землях. В Самарканде продолжают строить большую соборную мечеть, а зодчие великой госпожи кладут мадрасу. В мечети возводят лишь стены келий с обеих сторон двора, а в мадрасе уже начали сводить своды. Джильда готовится послать своего человека к повелителю похвалиться успехами строительства. К великой госпоже из мадрасы шлют гонцов каждую неделю, и от нее часто прибывают люди. У них там всего в достатке, а у Джильды, на строительстве мечети, то золота не хватает для глазури, то бычьей крови: глазурь выходит тусклая, ее бракуют, а хорошей под рукой нет. А великая госпожа, когда с боен крови не привезут, приказывает, не жалея, резать свой скот; ей кровь со степи возят в бурдюках по ночам, когда прохладно, а золото и серебро для глазури у ее зодчих запасено в избытке, из-за этого задержки не бывает — ни просить, ни ждать им не приходится. Про золото же говорят, будто Джильда много для себя утаивает, потому и для мечети на глазурь не хватает. А то и так говорят: мол, Джильда готовые изразцы с большой выгодой продает людям великой госпожи — что надо бы на постройку мечети везти, везут на мадрасу и мол, сама великая госпожа распорядилась эти изразцы и другое что нужное у Джильды брать, чего бы это ни стоило.

Писец сидел слева от Тимура и время от времени по знаку повелителя записывал для памяти то одно, то другое из донесений проведчиков. По своему обычаю Тимур лишь выслушивал новости, а свои решения обдумывал после, наедине, и, обходясь при том уже без советников, один решал судьбы людей, находившихся от него иногда за десятки дней пути.

Проведчики из Фарса сообщили, что Пир-Мухаммед, сын Омар-Шейха, к походу не готовится, а занят беседами с учеными лекарями и по их наущению варит какие-то зелья, занят изготовлением опасных ядов, а для какой надобности, узнать пока не удалось.

Проведчики из соседней Мараги донесли о суровой расправе Султан-Хусейна со всеми узниками, дабы выпытать у них о разбойничьих шайках, но выпытать он ничего не смог, адыгея же упустил. Когда этого адыгея долго нигде не видели, пошли его искать на постоялый двор, а там в келье оказалась на месте только дареная шапка с донышком, вытканным в Шахрисябзе. Султан-Хусейн велел следить за этой шапкой. Два дня ждали, что адыгей за нею вернется. Теперь потеряли след. Сгоряча царевич пытал своего купца, самаркандского. Даже хотел его удавить, да побоялся, отвел назад под замок. Теперь ни с чем едет назад, ведет купца, как разбойника, сюда на расправу. Выехал бы раньше, да дня два развлекался с уличным мальчишкой, будто здесь не мог найти никого лучше.

Шах-Мелик еще излагал донесения проведчиков, когда неподалеку послышался конский топот: вслед за тем воин вызвал Шейх-Нур-аддина, возглавявшего охрану стана.

Шейх-Нур-аддин пошел к юрте писцов. Невдалеке от этой юрты его ждал воин, спешившись, но не отходя от своего коня. Шейх-Нур-аддин узнал десятника из своей конницы:

— Чего тебе?

— Дурная весть, да будет благословение аллаха на вашей милости.

— Откуда?

— Я был при тысячнике Шейх-Маннуре, выехавшем встречать. Нас послали охранять царевичей Ибрагим-Султана и мирзу Улугбека, которых повелитель, да будет благословение аллаха над ним, послал навстречу мирзе Халиль-Султану, да будет благословение аллаха над ним, и ширванскому шаху. Накануне, как нам встретиться, мы стали на ночь в степи; откуда ни возьмись, вчера на заре напали на наше становье разбойники. Числом восемь человек. Убили наших двенадцать воинов да шестерых подстрелили не до смерти, да ниспошлет им аллах великую милость и примет их в садах праведников.

— А где разбойники?

— Поскакали все восьмеро в разные стороны. Пока наши вскочили в седла, от тех один след остался. Туман! Видим — кони недавно подкованы, на ходу легки, опять же — туман, их искать, в какую сторону гнать погоню? Так и махнули рукой. А меня Шейх-Маннур, да будет к нему аллах милостив, послал сюда сказать: так, мол, и так. Мирза Улугбек крайне гневался: почему, кричит, не догнали. Да где там.

Шейх-Нур-аддин вернулся к повелителю в смущении: Шах-Мелик едва лишь кончил говорить о неудачах Султан-Хусейна в розысках по Мараге, об исчезновении адыгея, а тут — еще о разбойниках! Повелитель может в такую ярость впасть, сохрани, аллах милостивый!

Приседая на длинных худых ногах, подобрав полы халата до колен, пригнувшись, мелкими шагами вошел Шейх-Нур-аддин в юрту Тимура и опустился на ковре поближе к двери.

Но Тимур следил за ним.

— Что там у тебя?

— Милостивейший, гонец прибыл от каравана царевичей. Опять разбойники! Восемь человек.

— А царевичи?

— Сохранил аллах всемилостивый. А из наших воинов двенадцать человек отбыли к престолу всевышнего.

— А разбойников?

— Туман был. Ушли.

— То горы, то туман, то реки, то камни — нам все мешает, а им никаких помех нет. А?

Он уже готов был приказать Шейх-Нур-аддину взять тысячу или две тысячи своей конницы и послать их по следу, окружить негодяев, изрубить на куски!

Но тут же и спохватился — тысячу, две тысячи в погоню за восемью негодяями! На виду у всего стана! Что же подумают воины о могуществе этих восьми человек!

Побледнев от усилий сдержать гнев, Тимур спросил:

— Там простые воины слышали этого, твоего вестника?

— Кругом воины. И коня ему держали, и кругом там воины...

— Теперь по всему стану вести пойдут: разбойники, мол, уже и царевичам угрожают. Вот-вот, скажут, и нас всех стрелой проткнут. Знаешь, что такое слух? А?

Бледный, он поднялся и, тяжело падая на разболевшуюся ногу, прямо через круг своих советников пошел к двери. Шейх-Нур-аддин, оробев — не на него ли кинулся повелитель, отвалился к стене юрты, а Тимур, перешагнув через длинные ноги, вышел наружу.

Но когда он вышел наружу, перед ним, сверкая золотыми полосами переплетающихся цветов и узоров, вышитых по багровому самаркандскому бархату, не менее драгоценному, чем само золото, предстал высокий шатер, воздвигнутый в честь прибывающего Ширван-шаха. Низ шатра был натянут на тяжелые колья, отлитые из красного золота, покрытого тончайшим чеканом, работы тебризских златоделов.

Отпахнув тяжелую, но податливую полу шатра, Тимур заглянул внутрь. На земле плотную белую кошму застлали восьмигранным алым самаркандским ковром с проблесками золотых нитей в узоре.

Верх шатра подпирался врытым в землю шестом, выточенным в Индии из слоновых бивней, которые, навинчиваясь один над другим, поднимали верх шатра на желаемую высоту. Два светильника, отлитые из красного золота в мастерских Синего Дворца мастерами хорасанцами, стояли по обе стороны царского седалища, выточенного из слоновой кости в Ормузде и присланного оттуда царевичем Мухаммед-Султаном в подарок дедушке. Со стен свешивалось оружие — мечи, сабли, ятаганы, кинжалы, все рукоятки коих переливались, как жар в печи, от множества драгоценных камней и алмазов. Щиты, развешанные в каждом из восьми углов шатра, также мерцали от драгоценных камней и редкостного чекана.

Если б он не знал, под какой несокрушимой охраной всюду следовал за ним в больших походах этот шатер — десять больших кованых сундуков,— Тимуру могло показаться, что шатер этот возник внезапно, по причуде волшебника, среди полянки, где незадолго перед тем лишь поблескивала росой на утреннем солнце голубоватая степная травка.

Это сверкающее видение, напомнив о многих победоносных делах, утишило гнев повелителя, и, обойдя шатер, Тимур стал уже не столь хром и не столь бледен.

Он прошел еще несколько шагов.

Там присланный от Шейх-Маннура очень бородатый всадник, держа свою лошадь на чумбуре, повторял окружавшим его воинам и писцам рассказ о нападении азербайджанцев. Слушатели столпились около рассказчика, а гонцы, ожидавшие приказа о выезде, прислушивались, полулежа на земле. Было кому разнести новость во все концы вселенной.

Как всегда бывало при появлении Тимура, одни блаженно заулыбались, кланяясь и глядя прямо в глаза повелителю, другие, испуганно прижимая руки к груди, потупившись, кланялись, отодвигаясь подальше.

Тимур громко, чтобы все слышали, спросил всадника:

— Сколько было этих... кызылбашей?

— Человек восемь, да ниспошлет вам милость аллах всемогущий.

— Ты мулла, что ль? Говори ясно: сколько?

— Восемь.

— А наших?

— При Шейх-Маннуре, нашем тысячнике, да благословит... ой, двести! Двести воинов да царевичи со своей охраной. Всего не менее трехсот человек.

— Сколько наших убито?

— Двенадцать доблестных воинов.

— А кызылбашей?

— Все ушли.

— Все?

— Целехоньки ушли.

— Как сумели уйти?

— Пока наши поспели к приколам, пока отвязали, да пока в седла вскочили, да пока за щиты выехали, разбойники ушли. Разъехались злодеи в разные стороны. Куда ни гонись, больше одного не догонишь. Да и где искать? Перед рассветом — туман. Небо светлеет, а земля кругом — еще темная. Как рассвело, следы разглядели. А разбойников вокруг — ни одного не видать.

— А ты говоришь: «доблестные воины». Доблестные не разоспятся среди чужой степи, врага не подпустят, а увидят — так не упустят. Можно стадо козлов в горах перестрелять — и невредимым домой вернуться. Доблестных воинов безнаказанно стрелять нельзя. Этих перестреляли, значит, не воины они были, а козлы! Козлы! Постреляли их — туда им и дорога. Воин всегда настороже. Тех же, что погнались, да не скоро собрались, велю Шейх-Маннуру на виду у всего стана бить палками — по тридцати палок каждому. На память. Остальному всему стану — для размышления. А кызылбашам — спасибо! С их помощью очистим наше войско от козлов. Нападают — спасибо! Ведь бояться их нам смешно. А остерегаться, и одного врага каждому из нас надо оберегаться...

Тимур переступил, устав стоять на одной ноге. Уже к нему подошли из юрты и молчали у него за спиной все его советники. Он добавил:

— Ты вот... «доблестные»! За то, что ротозеев, козлов нашими доблестными воинами величаешь, тебе за то — тоже тридцать палок. Распорядись, Шейх-Нур-аддин. И немедля, и с барабанами, чтоб слышно было на весь стан. И указ зачитай, за что бьют. Истинно доблестных воинов я не дозволю с козлами мешать.

Тимур, отвернувшись, ушел к себе в юрту, сопровождаемый вельможами.

Шейх-Нур-аддин остался, глядя, как взяли у всадника чум-

бур из рук, как скрутили ему руки спереди и повели вниз к стану. Тогда и сам Шейх-Нур-аддин пошел вниз, к приколам, где держали его коня.

И вскоре по стану загрохотали барабаны; взревел было и карнай, да его Шейх-Нур-аддин велел унять: не подумал бы приближающийся к стану шах ширванский, будто тут в его честь трубы трубят. Понадобится в его честь трубить, другой приказ будет — этим Шах-Мелик ведает; он и Султан-Мухмуд-хан уже проехали встречать Ширван-шаха перед щитами, у въезда в стан.

Барабаны грохотали, привлекая зрителей к месту, расчищенному среди стана для таких нужд. Когда стан ставился, тогда и такое место оставлялось. Среди воинов было даже между собой в обычае звать это место регистаном, как звались площади перед ставкой повелителя в Бухаре, в Самарканде, во многих знатных городах, где на таких площадях оглашались указы, свершались казни, праздновались празднества.

Барабаны грохотали. Шейх-Нур-аддин возвышался на высоком коне позади барабанщиков. Воины от своих юрт сходились поглядеть, кого, за что и как будут наказывать. Виновник удивленно смотрел со скрученными руками, оттопырив толстую и почему-то очень красную губу над огромной черной бородой.

Когда барабаны смолкли, Шейх-Нур-аддин выехал вперед барабанщиков, вынул из-за пазухи бумагу и, не будучи грамотеем, держа бумагу в руке, сам глядя на сгрудившихся зрителей, объявил вину бородатого воина: называл, мол, доблестными воинами ротозеев, дозволивших обстреливать их безнаказанно, будто они вовсе и не воины, а горные козлы либо степные джейраны. А повелитель никому не дозволит, чтоб его воинов, истинно доблестных, смешивали с этакими ротозеями, что простых кызылбашей догнать не в силах, ибо кызылбашей кто ж боится! Надо врага опасаться, надо врага всегда подстерегать, едва он высунется — тут ему и конец! А этот ротозеев хотел звать доблестными. А этим-то доблестным здесь же вечером всыпят по тридцати палок, за нерасторопность и за ротозейство. Кызылбашей испугались! В погоню ездить им лень! Под стрелы подставляются, а нет того, чтоб самим врагов перестрелять! И этих-то да именовать доблестными? А за то и наказуется тридцатью палками этот вот... как его звать?.. Как бы там его ни звали!

Когда барабаны смолкли и Шейх-Нур-аддин выехал вперед барабанщиков, к стану приблизился караван Ширван-шаха и после недолгой встречи у щитов с прибывшими встречать его Султан-Махмуд-ханом и Шах-Меликом караван чинно, медлительно пошел между юртами стана.

Впереди ехали Султан-Махмуд-хан и Шах-Мелик.

Следом — Ширван-шах Ибрагим и Халиль-Султан.

За ними следом — царевичи Улугбек и мирза Ибрагим.

А уж потом — вельможи, воины, обоз.

И в дружине Шейх-Маннура, гордясь и красуясь, ехали и те тридцать или сорок воинов, что несли ночную стражу и прозевали нападение, ехали, еще не чуя, что им уже готовилось к вечеру по тридцати палок.

Караван проходил среди стана, когда барабаны загрохотали снова и палачи заработали над распростертой спиной виновника.

Чинно, медлительно проходил караван в нешироком проезде между юртами, а из-за юрт поблескивали доспехи и оружие бесчисленных воинов, одетых по-разному, и по-разному вооруженных, и лицом не схожих, будто собраны от разных народов со всей вселенной, но выглядевших одинаково свирепыми, сытыми и довольными, какими воины Тимура всегда виделись шаху ширванскому.

Барабаны грохотали, и палачи с увлечением делали свое дело, когда Ширван-шах Ибрагим поравнялся с Шейх-Нурaддином, ответил поклоном на поклон военачальника и остановил коня.

Весь караван остановился.

Ширван-шах, кивнув на истерзанную спину, по которой палачи продолжали бить, спросил:

— За что?

— Плохо охраняли ваш караван от ваших разбойников.

Ширван-шах предположил, что говорят о том нападении, жертвой коего пал его собственный визирь, и молча, не то одобрительно, не то в знак признательности, кивнул.

Лошади у шаха и у Халиля закивали головами, радуясь, что остановка затянулась. Но Ширван-шах тихо стукнул коня стременем, и караван снова медленно и стройно тронулся дальше через расступившийся стан.

Барабаны смолкли, ибо счет палок исполнился. В наступившей тишине наказанного попытались поднять и поставить на ноги.

Оглянувшись, мирза Ибрагим заметил усилия воинов поднять своего соратника и пробормотал Улугбеку:

— Что за воин — его ставят на ноги, а он обмяк, как после вина. Борода у него перетягивает.

Улугбек, побледневший, как это всегда с ним бывало, когда он смотрел казни, пожал плечами:

— Хорошего воина дедушка в обиду не даст!

И маленькие царевичи, надменнее и заботливей взрослых, выправили свою посадку, свою осанку, проезжая под взглядами десятков тысяч людей, сбежавшихся полюбоваться караваном.

Но сбежавшиеся — бесчисленные воины, случившиеся в стане купцы, ремесленники, работавшие поблизости — смотрели не на царевичей — этих мальчиков им часто случалось видеть в стане,— жадно смотрели на обоз, на арбы, то нарядные с глухим ковровым навесом, то простые, нагруженные тяжелыми мешками и вьюками; гадали, прикидывали, что везет шах на этих арбах. Припасы ли? Подарки ли? Кому? Какие?

Караван в той же тишине, так же медлительно поднялся на взгорье и приблизился к юртам, расставленным для ширванских гостей.

Откланявшись, царевичи оставили Ширван-шаха размещаться и отдохнуть с дороги, а сами втроем с Халилем съехали вниз, к стану.

Здесь им предстояло разъехаться — Халилю к своим войскам, а мальчикам, проехав по краю стана, подняться на холм, где пестрели юрты цариц.

Но Халиль позвал мальчиков к себе:

— Я переоденусь после дороги, и вместе поедем.

Улугбек никогда не отказывался от приглашений Халиля. Ибрагиму приглашение старшего брата тоже было лестно. И, не дожидаясь, пока их догонят сопровождающие, все втроем они поскакали к ставке Халиль-Султана.

У юрты Халиля столпились его приближенные — темники, подчиненные ему, тысячники, его писцы, даже его музыканты. И двое поэтов, сопровождающих царевича в походе — маленький круглощекий Мавляна Бисатий Самаркандский и сутуловатый, опирающийся на посошок Исмат-улла Бухарский, обучавший Халиля правилам поэзии и порой неприметно поправлявший стихи своего ученика.

Эти поэты, пользуясь расположением Халиля, вошли в юрту вслед за ним.

— Не посещало ли вас вдохновение в этой поездке? — спросил ходжа Исмат-улла.

— Стихи мы там слушали. Стихи Камола пели . Они там знают нашего Камола Ходжентского.

— Камол? О мирза, он от нас, но он не наш.

— Он в Ходженте родился, в Самарканде учился, как же не наш?

— Он славил то, что противится нам. Потому они его и пели!

— Там милый старик. Он и свои стихи пел.

— В Ширване? Там обитают поэты. Мне довелось заполучить список стихов шемаханского поэта ал-Хуруфи, попавший в руки одного из наших богатырей. Я потом затерял этот список, но стихи там встречались искусные. Однако мысли их противны аллаху.

Исмат-улла смолк, когда Халиль вышел из юрты, чтобы помыться.

Ожидая его возвращения, поэт оглаживал бороду, оправлял складки своей высокой белой чалмы, изысканным движением пальцев то откидывал, то перебирал янтарные четки — продолговатые, чуть мутные зерна индийского янтаря. Другой поэт сидел, напыжившись, не глядя ни на царевичей, ни на Исмат-уллу, сосредоточенно думая о чем-то, и вдруг сказал:

— Хуруфи. Фазл-улла. Встречал его в Тебризе. Он потом из Тебриза сбежал. В Ширван сбежал, от нас. Лукавый старик, он требует от поэзии трезвости. Он вредный старик. Хуруфи... А его ученики — хуруфиты. Проповедники! Во имя аллаха бичуют властителей, забыв, что властью наделяет достойных людей... кто? — аллах наделяет. Этот Фазл-улла поучает, что каждая буква божественна, ибо все буквы являются частицей корана, записанного теми же буквами. А посему: все написанное теми же буквами — священно. И стихи, утверждающие, что человек есть основа вселенной, что в каждом человеке живет бог,— эти нечестивые стихи, понимай, тоже священны, поелику написаны теми же буквами, что и коран! О аллах всемилостивый, ты один видишь всю бездну их заблуждений!

Исмат-улла согласился с Бисатием:

— По этой причине я и выбросил нечестивый список, содержавший богопротивные стихи! Хуруфи своих учеников совращает с пути истины, а у него великое множество последователей. Я слышал о некоем юноше, коего восхваляют ширванцы — какой-то поэт Насими. Но он не Насими — его зовут Имад-аддин, и он пишет на языке здешнего простонародья и мутит мысли своего народа. Ширванцы восхваляют его! Я беседовал с теми, которые, выдавая себя за ученых, сберегли жизнь и привезены нашим повелителем в Самарканд. Они скрывают свои мысли, но они — последователи этого Хуруфи и этого Насими, и сами они все хуруфиты, и считают, что мы не смели нарушить покой их народа, и что настанет время, и они все снова освободятся от нашей защиты. Я их разгадал, но они таятся. Там даже дервиши есть заодно с ними!

— Они всегда таятся. Не доверяйтесь им! Нет, нет, не доверяйтесь!..

Поэты поднялись, улыбаясь, ибо возвратился Халиль. Исмат-улла уронил четки и, наступив на них голой пяткой, неожиданно поскользнулся и неловко сел, когда все кругом стояли. Халиль надевал одежду, пристойную для встречи с повелителем.

Неожиданно сев, Исмат-улла заколебался: сидеть ли ему или подняться? В этом случае все заметят, что он то встает, то

садится. Но, посидев, сгорбившись, он все же счел за благо встать.

Приметив все эти сомнения поэта, Улугбек подтолкнул Ибрагима. Мальчики переглянулись и, не сдержавшись, рассмеялись.

— Чему вы? — спросил Халиль и подумал: «Какое-нибудь озорство!» Но в присутствии посторонних людей не хотел разговаривать с ними запросто.

Ибрагим быстро нашелся:

— Мы вспомнили, как раскачивал бородой воин, которого наказали.

— Не всегда величина бороды соответствует величине заслуг! — ответил Халиль.

Подъезжая к ставке Тимура, Халиль-Султан оставил младших царевичей и свернул на крутую тропу к дедушкиной юрте.

Мальчики поехали дальше, к юртам цариц.

Тропинки, глубоко вбитые конскими копытами, вились, как серые змейки, между затоптанными лужайками. Юрты стояли коренастые, крепкие. Люди сновали вокруг, заботливо и домовито блюдя уклад оседлой жизни.

Кое-где перед дверцами юрт высоко на шестах висели сетчатые перепелиные клетки, накрытые яркими шелковыми лоскутами. Один из перепелов громко и часто вскрикивал, хриповато беря подъем, захлебываясь в протяжке и четко чеканя отлив.

Останавливаясь, Ибрагим одобрил:

— Хорош перепел.

— Мне они больше нравятся на вертеле,— поддразнил его Улугбек, зная пристрастие Ибрагима к перепелиным кликам, хотя и сам любил переклик этих птиц.

Мальчики часто спорили. Любили спорить. Даже в отношении к поэтам их пристрастия не совпадали.

Улугбек сказал:

— Как бранится достопочтенный Бисатий, когда вспоминает шемаханского поэта... Я его не читал. Насими? Значит — ветреный. Таков смысл этого прозвища?

— Видно, достопочтенный Бисатий тоже не читал стихов Насими. Где бы их достать?

— Через этих поэтов это едва ли возможно! — засмеялся Улугбек, но тут же втайне подумал: «Не поможет ли Халиль: он там был!»

— Любопытно: что это за поэт, о котором наши наставники говорят с таким порицанием. Непременно нужно достать. Непременно!

И каждый из мальчиков затаил желание — первым раздобыть, если не список, то хотя бы несколько стихотворений Насими.

Около большого точильного камня, оживленно перебраниваясь, несколько воинов, засучив рукава, ловко точили клинки сабель и ятаганов. Мгновениями из-под стали выкатывались яркие звездочки искр. Воины то склонялись к камню, то разгибались, опробуя большим пальцем остроту лезвия. Даже пробовали подбривать волосы на руке, приглядываясь, хорошо ли берет.

Воины так были увлечены, что никто даже не повернулся к проезжавшим царевичам.

Здесь им предстояло разъехаться,— Улугбеку к своей воспитательнице, к великой госпоже Сарай-Мульк-ханым, Ибрагиму — к своей воспитательнице, к царице Туман-ака.

— Я очень надеюсь, что ты раздобудешь эти стихи! — напомнил Ибрагим.

— Буду признателен, если ты тоже поищешь. У тебя больше времени для этого...

Но втайне каждый хотел обязательно сам достать стихи ширванского поэта — это стало делом чести для каждого из них.

Они расстались, оба размышляя над этой задачей, припоминая, кто из их учителей или слуг мог бы помочь в ее решении, и о способе сделать это так быстро, чтобы другой не успел бы ни придумать, ни предпринять чего-либо.

Улугбек еще не доехал до великой госпожи, как увидел Халиль-Султана, скачущего от ставки повелителя.

Мальчик остановился, поджидая старшего брата.

Спешиваясь, Халиль сказал:

— У дедушки полководцы. Расспрашивают их, все ли в достатке, о припасах, об оружии. Пока они там совещаются, проведаю бабушку. Пойдем.

Подходя к юрте великой госпожи, Улугбек увидел нескольких из слуг Халиля возле длинного свертка, закатанного в мешковину. Они ждали Халиля, но, видно, не рассчитывали, что он появится так рано. Все они кинулись к свертку, с усилием подняли его и понесли вслед за царевичами.

Внуки застали бабушку раздосадованной: она наказывала вельможу Хамза-Мурзу, золотоордынца, много лет назад приставленного к ней Тимуром и в течение этих лет ведавшего хозяйством великой госпожи.

Вельможу они увидели в диковинном положении — его щиколотки, крепко обмотанные канатом, были вытянуты на человеческий рост к перекладине, а голова, на которой чудом держалась тюбетейка, упиралась в землю. Кровь приливала к голове этого тучного человека. Временами он хрипло вздыхал, то открывая налитые кровью глаза, то пытаясь закрыть их.

Улугбек задержался здесь, любопытствуя, а Халиль прошел к бабушке, приветствуя ее.

Слуги внесли следом за ним и сверток. Халиль попросил ее принять его скромный подарок из Ширвана.

Бабушка милостиво разрешила:

— Давай уж, давай. Покажи.

Перед ней развернули огромный шемаханский ковер, для которого даже ее юрта оказалась мала.

— Тесно здесь, Халиль. Тесно. Уж мы его на воле развернем, на степи. А за привоз спасибо. Спасибо.

Она ласково обняла его и поцеловала где-то около уха. В это время Улугбек, вступив в юрту и увидев мягкий ковер, не удержался от соблазна и, ловко перекувырнувшись по ковру, предстал перед бабушкой.

Но и эта проделка ее не развеселила . Она была чем-то так раздосадована, что, даже присев с внуками, чтобы расспросить их о поездке, слушала их ответы рассеянно, пожевывая губами.

Халиль, улучив заминку в беседе, спросил:

— Чем виноват Хамза-Мурза, что столь вознесен пятками кверху?

— Посуду нашу из сундука, деревянную, что с Волги привезена, точеная, расписная,— он ее как деревянную ни во что ставил. Надо было воинам чашки выдать, он ее и выдал. А мне взамен какую-то медную наложил в сундук, грузинскую, либо еще какую здешнюю, из добычи. Мне же деревянная нужна: медь да серебро тут у каждого на пиру. И золотом никого не удивишь. Наши все обзавелись до отвалу. А деревянной ни у кого нет: ее с Волги возят, через ордынский Са́рай, через море. Из нее любое варево ешь, не обжигаясь, спокойно. Я его остерегала — береги, мол. А он раздал: ему чеканная медь и серебро здешнее — ценность. Это он хранит. А что мне любо, то вздумал раздать. Вот я и велела ему повисеть на перекладине.

— Да он так задохнется, бабушка. У него уж все лицо раздуло. Вот-вот и конец! — предостерег Халиль.

— Авось вытерпит.

Пока царевичи беседовали с бабушкой, весть о расправе с Хамза-Мурзой достигла многих его друзей, находившихся в чести и в доверии у Тимура.

Один из них, пользуясь отсутствием великой госпожи, присел на корточки около головы провинившегося вельможи, пытаясь говорить так, чтобы тот понял его:

— Потерпи, брат. Сейчас побегу к повелителю. Выпрошу тебе снисхождение. Ведь так ты и помереть можешь. Еще немного — и конец! Потерпи. Я побегу.

Но Хамза-Мурза, хрипя и отдуваясь, бормотал:

— Не смей, не смей... Сколько смогу, стерплю. Ведь она узнает о ябеде, велит меня подвесить, уже не за щиколотки, а

за... за шею повесит. А не то пятками ж к конскому хвосту — да в степь пустит... Коня-то. Либо еще что... придумает. Лучше стерплю. Вытерплю, так выживу. Не дай бог так... на макушке стоять. А лучше так, чем к коню-то. Она все равно на своем настоит. Ее указы повелитель... когда ж он отменял? Она нынче грозна... чего-то. Не пойму... чего бы ей? Ох...

Лишь наговорившись с внуками, она отпустила Халиля:

— Дедушка, видать, уже ждет тебя... Ступай. А ты, Улугбек, посиди. Покушай у меня. А уж когда пойдешь, тогда и велишь отвязать ослушника. Второй раз моими сундуками не размашется. А махнет, так и голову потеряет.

Но Улугбеку хотелось проводить Халиля. Они вышли вместе. Хамза-Мурза уже не кряхтел, не вздыхал. Он тяжело свисал с перекладины, и только по жилам, вздувшимся и дрожавшим у него на висках, видно было, что он еще жив.

Идя с Халилем, Улугбек заговорил о поэтах Ширвана:

— Не скажете ли вы, милый Халиль, где добыть стихи ширванских поэтов — Хуруфи и Насими? О них ваш наставник отозвался столь дурно, что просить об этом его...

— Он говорил, что список стихов Хуруфи у него был?

— И что он — увы — выбросил его.

— Таким «увы» никогда не верь. Им что попадет в руки, не выбросят. Где-нибудь на дне сундука, под халатами или под штанами, он у него цел. Спрятан. Но вот стихи Насими, как я понял, он знает лишь понаслышке.

— Мне тоже так показалось.

— Но поищем. Я пошлю своего Низама Халдара к ширванцам из свиты шаха. Мы вместе ехали. У него там теперь много друзей. Он среди них разузнает.

— Хотя бы несколько стихотворений. Что это за поэт?

— Как звать? Насими?

— Его имя — они сказали — Имад-аддин, прозвище — Насими.

— Имад-аддин? А другой?

— Хуруфи. Старик.

— Имад-аддин и старик? — Халиль-Султан остановился, удивленный догадкой: — Вечером я спрошу у наших поэтов, как имя этого старика Хуруфи. Если его зовут Фазл-улла, я их видел. О милый Улугбек, если это они... Если это они... Занятно! Хуруфиты? Занятно!..

— Да, да, они говорили: Фазл-улла!

— Занятно...

Остальную дорогу Халиль шел молча.

Улугбек не решился пойти к деду без спросу, откланялся и, немного постояв, чтобы полюбоваться на шатер, сверкающий

перед юртой деда, на шатер, хорошо знакомый, но каждый раз восхищавший мальчика своим великолепием, пошел обратно, радуясь, что Халиль, может быть, поможет ему превзойти Ибрагима в розысках стихов Насими. Каковы бы они ни были, эти стихи, лишь бы заполучить их раньше, чем Ибрагим.

Тимур, видно устав сидеть, стоял один среди юрты и пошел навстречу Халиль-Султану:

— Ну, вернулся? Миновала тебя стрела?

«Ого! Дедушка уже получил вести. Как он успевает? Кто же это из моих людей служит дедушке!»

— Слава богу. Миновала стрела.

— Почему они тебя пощадили?

— Бог милостив!

— Нет, это они тебя пощадили. Почему?

— Я им не являл никаких милостей, дедушка.

— А вот пощадили!

— Не знаю, чем заслужил я эту пощаду...

— Учись читать письмена битвы. Смотри: три стрелы в Курдай-бека. Он там оплошал. Досадил им. Они ему — три стрелы, все без промаха. Стрела рядом с тобой, но мимо — в своего визиря, чтоб ты знал,— они стреляют без промаха, но не в тебя. А почему?

— Не знаю. Я, клянусь, не заслужил от них снисхождения. Ничем.

— Значит, через тебя они меня остерегают... Ну, что там, в Ширване?

— Я узнал: оружие у них припрятано. Оружия много. Шах народу не дал. Даже хлеба не дал.

— Бережется?

— Не знаю. Может быть, не хочет.

— Через кого ты узнал? Этого человека убрать надо, чтобы слух не шел.

— Нет, я сам узнал.

— А они знают, что ты узнал?

— Нет.

— Да ведь человек этот небось не тебе одному служит! Не подослан ли, а не то наговаривает на шаха, счеты с ним сводит. Умный человек говорит не то, что есть, но то, чего хотел бы... А шах умен. Не обхитрил он тебя?

— Нет, дедушка!

— Как же ты уверился?

— Визиря я напоил, колечко ему подарил да спросил. А потом его назад на пир отвели и приглядывали, не расхвастается ли моим колечком. Он хмеля не осилил,— как вернулся от меня, заснул. Тут незаметно колечко с него сняли. Мне назад при-

несли. Поутру ждали, не спохватится ли, протрезвившись. Спохватится о колечке — помнит и разговор. Помнит розговор — так хватится колечко искать. К утру протрезвился, а не вспомнил. Да и потом, по пути, перед тем, как на нас напали, я его испытывал. Нет, запамятовал. А теперь уж не вспомнит: злая стрела к нам добром обернулась.

— А вдруг вспомнил бы, каково б тебе было: дареное назад утянул!

— Я своим людям приказал бы все ковры, где пировали, вытрясти; из всех углов велел бы весь сор вымести. Оно нашлось бы. На этот случай оно у меня весь тот день под рукой было.

— То-то, чтоб было, когда такое дело.

— Вы, дедушка, меня попрекнули, что я, мол, дареное назад утянул. Это нехорошо?

— Кто ж скажет, что хорошо!

— А если нужно!

— Неловко это — то дарить, то назад брать.

Халиль, исподтишка покосившись на деда, глядевшего в сторону, вдруг решительно спросил:

— Что кольцо! Десяток кобыл — вот и вся цена такому кольцу. А когда целое царство дарится да назад берется?

— Ты о чем?

— Случалось ведь, дедушка: дадите вы удел или владение беку или эмиру, своему выслуженнику, соратнику, а то и внуку, а затем, когда надо,— себе назад!

— Когда надо! Понял? Когда надо! И нехорошо это... ты с дедом говоришь! А?

— Мой дед любит прямое слово.

— Когда надо сказать такое слово. А тут оно к чему?

— Есть люди, нехорошо об этом шепчутся: «Какая ж, говорят, это моя земля, если утром ее мне дали, а вечером могут другому передать».

— Люди? Таких запоминать надо.

— Всех не запомнишь, дедушка. Есть такие и среди наших сподвижников. И из старых тарханов. «Нам бы, говорят, навеки; чтоб детям и правнукам перешло, как он сам всю вселенную за своим родом закрепляет». Ворчат!

— Многие области я так и дал, навеки. И не отбирал. И не собираюсь отбирать. Своим людям дал, чтоб весь век сами помнили и во веки веков чтоб их потомство помнило, что дано мною, и за то моему потомству во веки веков преданно, верно служить должны. Кто ж из них ворчит?

— Эмиры, беки, тарханы... Я не про них хотел сказать. Я спросить хотел: не пойму, что тут хорошо, что тут плохо. Хоро-

шо ли им напоминать, что земля эта волей вашей дана, вашей волей может быть и отнята, чтоб не возомнили себя царями внутри вашего царства. Или, когда будут уверены, что дано им навеки, хозяйствовали бы, благоустраивали бы землю.

— Навеки лучше. У них заботы будут. Когда враг явится, свою землю ретивей оборонять встанут. И кому я даю землю? Кто передо мной выслужится, а не по древнему их праву, не по предкам. А все их земли подвластны правителям областей. А правителями областей кого я ставлю? Внуков. А внуки-то мои — одна семья. Беки эти и эмиры от моих внуков никуда не скроются. Когда все земли до самого края будут в руках одного нашего рода! А род — это одно.

— Проведчики мои сколько раз приносили мне такие слухи. А я не знал, кто тут прав, кто ворчит попусту. Потому и спросил. Простите меня, дедушка.

— Спрашивай, когда надо. Это хорошо. Хуже, когда от деда таишься.

— Я, дедушка?!

— Дары своей, этой... послал? А зачем было тайком? Принес бы мне, я тем же гонцом и отослал бы.

«Негодяй гонец! — подумал, бледнея, Халиль.— Запомню его!..»

Но Тимур, словно угадав подозрение Халиля, добавил:

— Этому гонцу — за тридцать бы палок. А то и сорок: не первая хитрость за ним замечена! Да ускакал. Не погоню ж за ним гнать! Вот и смел, и надежен, а лукав. Надежен, а лукав. Как тут быть? Ехал сюда, так беглеца хотел прикормить, лепешку ему дал. А беглец тот нарвался на караул. Видят, белая лепешка у него. Дознались — от гонца получил. А в тот день той дорогой один гонец ехал. Этот вот самый, который твои дары повез. Гонец хитрит, как мимо меня чужое дело повез. Внук тоже хитрит, от деда таится! Грех твой не велик, да ведь кто медную полушку стянет, тот и от золотого динара рук не отдернет! А?

Халиль потупился: «Не гонец выдал... Кто же? Опять из моих людей кто-то деду служит! И усердно служит!»

А дед, помолчав, добавил:

— Ступай. Скоро шаха звать. Надо собраться, да и ты приберись: в шатре принимаем. То же и мальчикам прикажи,— чтоб приоделись как надо.

— Простите, дедушка!

— «Простите»!.. А ездилось хорошо?

— Слава богу. Только вот Курдай-бека...

— Незачем было его сюда везти: где подстрелили, там и схоронили бы. В Ширване он нас срамил, а не славил. Прикажи, пускай сейчас и хоронят. И чтоб без лишних глаз,— не на

кого любоваться. Чтоб и Ширван-шах узнал: Курдай-бек у нас не был в чести.

— При шахе мог ли я, дедушка, вашего сподвижника среди дороги закопать?

Тимур нахмурился:

— «Сподвижника!» У них, у многих, время подвигов миновало. Давно миновало. Да он ведь в нашем роду знатен. Куда ж его?.. Вот и послал в Ширван. Считал: верен будет. И он был верен. Да ведь при вере и голова нужна. Тут я просчитался. А среди дороги... Что ж? Какими дорогами ходим, по всем тем дорогам — наши могилы.

Он задумался и, едва Халиль ушел, позволил слугам снимать с него будничный халат.

Он молчал, пока одевался, и только когда уже поверх тяжелого златотканого халата ему затягивали расшитый жемчугами ремень, вдруг сказал:

— По всем дорогам!..

Слуги не поняли, что угодно повелителю. Но он, так и не сказав больше ничего, отпустил их.

Двенадцатая глава

САЗАНДАРЫ

В шатре было бы темно, но наверху отпахнули косой клин, и на бесчисленные драгоценности хлынул водопад предзакатных лучей.

В это мгновение Ширван-шах вступил в шатер.

Тимур возвышался на своем костяном седалище. Позади, поблескивая серебром доспехов, замерли барласы. Справа — младшие царевичи. Слева — ближайшие из вельмож.

Халиль-Султан встретил, взял Ширван-шаха под руку и подвел к Тимуру.

Пригнувшись, Тимур обнял Ширван-шаха. Ширван-шах сел на другое седалище, поставленное напротив повелителя.

Пока гость обменивался с хозяином вопросами о благополучии семьи, дома, хозяйства, о здоровье и о делах, окружающие неподвижно стояли,— и вельможи Тимура, и сопровождающая Ширван-шаха шемаханская знать.

Затем Тимур обратил лицо к шемаханцам. Они низко ему поклонились; и Тимур ответил им, слегка наклонив голову. После этого все вышли, остались лишь Ширван-шах с дербентским князем, своим племянником, и Тимур с Халиль-Султаном.

Позади Тимура по-прежнему высились барласы, но считалось, что они не понимают фарсидского языка и не помешают беседе.

Тимур спросил:

— Благоденствуют ли люди Ширвана?

— Не более, чем необходимо, чтобы отдать вам, через мои руки, столько, сколько вам угодно брать с Ширвана.

— Значит, сетуешь: тебе мало остается?

— Лепешка для себя и лепешка для гостя у меня всегда есть.

— А оружие у тебя для кого? Против какого гостя?

Шах взглянул на племянника, но тот не уловил этого мгновенного взгляда: юноша не сводил глаз с Тимура и в одних лишь уголках глаз повелителя заметил торжествующую усмешку.

Шах быстро спохватился и улыбнулся:

— Если бы вы знали, повелитель царей, что это оружие я могу употребить во вред вам, вы его взяли бы у меня много лет назад. Еще тогда, когда вы оставили его мне.

Теперь Тимуру пришлось скрывать смущение:

«Хитрит? Когда я ему оставил?»

И придал голосу равнодушие, спрашивая:

— На кого же оно бережется?

— Против тех, кто посягнет на Ширван, где хранят верность вам. Значит, против ваших врагов.

— И оно лежит у тебя без дела?

— Полезна ли вам преданность шаха, у коего нет ни оружия, ни народа? Тогда его преданность проистекала бы лишь от его бессилия.

— А народ тебе предан? Послушен?

— Да.

— Значит, по твоей воле побежал он в убежища, когда услышал топот моих коней?

Ширван-шах опустил глаза, ища ответа на прямой укор Тимура.

Тимур снова усмехнулся уголками глаз:

— То-то!

— Я не указывал людям уходить.

— А указывал ли им остановиться?

— Вы были далеко, повелитель, и у меня не было сил остановить целый народ.

— Значит, власть твоя над ним слаба!

— Но я не дал им ни оружия, ни хлеба...

— А ты говоришь: у тебя есть и оружие, и народ! Оружие есть, а народ?.. Шах без народа — как рука без пальцев...

И, смутившись, втянул в рукав свою правую руку, где не хватало двух пальцев.

— Повелитель царей, скажу прямое слово: пальцы целы. Но если бы я вздумал останавливать людей, они ушли бы из моей власти. Чтобы править и повелевать, нужна сила. Когда сила ве-

лика, нужно доверие народа. Отпустив народ, я сберег его доверие. И силой этого доверия я держу его, чтобы он не мешал вам.

— А стрелы в меня пускают люди или камни?

— Непокорные мне головорезы.

— Однако они убивают моих людей.

— Моего визиря они тоже убили.

Этот ответ озадачил Тимура:

«Он их подослал убить своего визиря! Чтобы ответить мне так, как ответил! А может, чтобы убрать человека, разгласившего тайну. Надеялся, что он еще не указал нам тайник с оружием, он опасался, что может указать... Тогда он еще до выезда к нам уже знал, что мы узнали. Был кто-то среди слуг Курдай-бека, кто мог подслушать болтовню пьяного визиря! Откуда у него оружие? Я ему дал? Когда это?»

Прикинувшись, что занят своей больной ногой, ища ей удобства, он скрыл от шаха свое раздумье и, снова подняв голову, сказал:

— Да... Визиря. Да примет его аллах в садах праведников. А оружие... Оно блестит лишь в руках воинов, в подвалах — ржавеет. В руках смелых воинов оно пошло бы к новым победам.

— А в Ширване... остался бы шах, бессильный отразить даже ничтожного врага, буде такой явится в тыл ваших мирозавоевательных воинств.

Тимур не переставал торопливо вспоминать все случаи, когда шаху могло достаться оружие. И лишь перебрав многие случаи, когда шах мог бы его достать или купить, вдруг понял:

«Тохтамыш! Обоз Тохтамыша! Я тогда поверил шаху! Теперь он говорит: ему, мол, оставили. Притворился, что взял с моего ведома! Как быть? Не сознаваться же теперь, что я тогда оплошал! Доверился ему, не проверил всего обоза, всей добычи от Тохтамыша!»

Твердо, но снисходительно, Тимур сказал:

— Незачем оружие прятать далеко. Пока его достанешь, да пока раздашь, да пока приучишь к нему верных людей, враги ждать не будут. Я его тебе оставил, а ты от меня же его таишь. Зачем? Зачем тебе прятать от меня то, что я же тебе оставил от Тохтамыша!

Шах побледнел. Тимур покачал головой:

— Нет, от меня не прячь. Я оставлю тысяч десять своих воинов. Пошлю с тобой в Ширван. Они пока постоят там, поучат твоих людей обхожденью с оружием, а я той порой схожу в поход. Ты береги во всей этой земле порядок, утихомирь своих разбойников. И мою семью береги. Я свою семью пошлю в Султанию. Ты мне отвечаешь за них! Побережешь?

Шах встал и поцеловал руку Тимура:

— Клянусь!

Тимур обнял шаха и, опираясь о его плечо, поднялся. Шах поклонился:

— Повелитель царей, снизойдите к нищенским дарам смиренного странника.

— Спасибо.

— Я прошу вас перейти из этого чертога в шалаш, поставленный над нашим убогим подношением.

Тимур снисходительно сошел с трона и пошел к выходу. Прямо перед своим шатром он увидел яркую, как солнечный цветник, палатку из славного ганджинского шелка. Пока длилась беседа с Ширван-шахом, шемаханцы успели воздвигнуть эту палатку, и, не входя в нее сам, лишь приподняв перед повелителем полу палатки, Ширван-шах впустил туда Тимура, оставшись снаружи.

Последний, уже багряный луч пробивался сквозь желтизну легкого шелка палатки, и внутри стояла прозрачная червонная мгла.

Тимур ступил на ковер, привезенный в дар, зачарованно глядя, как ослепительно хорош он, поблескивая по всему полю золотыми нитями, вплетенными в прихотливый узор, где перемешались птицы, цветы, звери; перемешались. не нарушая строгой закономерности линий. Он был во сто крат богаче и краше того восьмигранного ковра, коим с гордостью устилали праздничный шатер Повелителя Вселенной! Это оценил и понял Тимур в одно мгновенье, едва взглянув...

Но среди ковра, подняв глаза, Тимур увидел главный подарок шаха.

Семь красавиц, прикрытые лишь прозрачным, как дымок, шелком, попирали ковер розовыми узенькими ступнями. Все они замерли, как птицы, затаившиеся при появлении беркута.

Он придирчиво посмотрел на них, как только что глядел на ковер. И, встретив их темные глаза, он потупился, поймал языком кончик своего уса, окрашенного красной хной, и прикусил ус.

Все это озарял последний, самый яркий луч, готовый вот-вот мгновенно и безвозвратно погаснуть...

Тимур счел невозможным задерживаться здесь, хотя бы на одно лишнее мгновенье. Он вышел из палатки к шаху, поблагодарил его, скользнув ладонью около сердца, и пригласил на ковры, где готовился пир.

Халиль-Султан, следуя за ними, восхищался:

«Хороши проведчики у госпожи бабушки: прежде всех узнала, какими дарами порадует дедушку Ширван-шах. Оттого и сердилась весь день, с того самого часу, как прибыл Ширван-шах сюда в стан».

Халиль, видно, плохо знал бабушку, хотя она и вырастила его. Она втайне гордилась, как велик и великолепен гарем ее мужа, где она владычествовала полнее и безграничнее, чем сам повелитель. А забавы с красавицами лишь возвышали мужа в ее мнении: ими утверждалась молодость мужа, его сила, его мужская честь. Она не столь пренебрежительно относилась бы к Шахруху, если бы, восхищаясь прекрасными книгами, он не забывал, что и женщины прекрасны. Бабушка с детских лет твердо знала: «Мужчине надлежит быть лихим не только в битвах, не только в конных играх, но и в ненасытных состязаниях, любовных утех! Истинный мужчина не может быть иным! Другое ее сердило. Ее сердило, что проведчики Тимура оказались пронырливей, чем ее люди. Ее люди утром слышали, как самаркандские проведчики, выведав о плутнях Джильды, выболтали повелителю то, что она считала крепкой тайной.

...Но, может быть, эта досада не столь бы возросла, если бы Ширван-шах придумал какой-нибудь иной подарок.

На длительных пирах всегда бывает затишье, время, когда гости отваливаются от яств, чтобы не торопясь побеседовать, или выходят,— одни — стать на молитву, другие — поразмяться. За это время повара допекают или достают из котлов очередное угощенье.

Когда настало такое затишье, Тимур вышел, чтобы неприметно для гостей осведомиться, нет ли безотлагательных дел.

Ему сообщили, что в стороне от пира ждет возвратившийся из Мараги Султан-Хусейн. Тимур понял, что, не осознай внук своих промахов, возвратись он с честью, он явился бы прямо на пир, сел бы в кругу царевичей.

— И купца с собой приволок?— спросил Тимур.

— Он и мальчишку тайком прихватил оттуда.

— Я про купца спрашиваю!— строго напомнил Тимур.

— Привез!

— Проведи купца ко мне. А сам царевич пускай подождет, пока позову.

Купца привели к уединенной небольшой юрте, куда не смел приближаться никто незваный.

Купец, упав на колени, кланялся повелителю, севшему в глубине юрты. Разглядывая исхудалого, не то загорелого, не то обветренного купца, Тимур спросил:

— Торгуешь?

— Как торговать, когда везешь-везешь товар, а тут, не успеешь распродаться, хвать тебя, как разбойника! Да было б кому хватать, а то — и посмотреть не на кого, а уже полководец, людей судит!

— Ты что ж, хочешь мне полководцев ставить, а меня наладишь сапогами торговать?

— Не мое дело! Но и судить надо с толком! Это что ж,— сижу торгую, а тут тебя хвать — и «разбойник!» А мои деды и прадеды еще до Чингизова разоренья торговали, а не разбойничали, всему Самарканду известно. У меня и нынче в Самарканде материн брат известный купец — Садриддин бай, кто его не знает! Что ж мы за разбойники! Теперь весь мой товар разграбили, когда меня от товаров уволокли; ни выручки при мне не оставили, только что душу не успели выпустить, да и то лишь по великой милости божьей — на волоске удержался. Меня ж обчистили, да я же и разбойник! Повелитель, великий, милостивейший, справедливейший! Накажи злодеев за надруганье над всею торговлей нашего Самарканда! Этак никто и не поедет торговать, когда прямо с базара, от товара, известного человека хвать — и остался купец в простецком халате.

— Долго рассказываешь!— перебил Тимур, быстрым взглядом оценив запылившийся, измятый, но очень дорогой халат купца, и приказал звать Султан-Хусейна.

— Как же это ты своего купца схватил?— спросил Тимур царевича, едва дав ему высказать обязательный ряд приветствий.

— Заподозрили: с головорезами торговлю завел, всем их там обеспечил. Мы от него добивались, по какой дороге к ним добирается, через каких людей с ними дела ведет, где их сыскать. Он — отнекиваться. А мы его покрепче скрутили. Уж я бы дознался, да как, думаю, своего купца, самаркандца, перед всяким сбродом бесчестить. Ну и отпустил, привел сюда, на ваше сужденье. А он с этим, в алом халате который, с ним перешептывался.

— А где он, этот... в алом халате?

Султан-Хусейн опустил глаза. Тимур настаивал.

— Ну?

— Они там все заодно. Спрятали его. Я б от этой Мараги камня на камне не оставил,— разбойничий вертеп!

— Успеется. Там и так мало что осталось. Теперь тут шуметь не время,— она у нас за спиной останется, дальше пойдем. А ты лучше вспомни, как он от тебя ушел? Туда тысячу человек послали, за ним приглядывать, через него дорогу выследить к этому самому разбойничьему вертепу. А ты на мальчишку польстился, а разбойника упустил. Ты за мальчишкой туда был послан?

Султан-Хусейн, недовольно покосившись на приумолкшего купца, попытался выиграть время:

— Как же отвечать... При нем?

— Что он услышит, все при нем останется, отвечай.

— Я весь базар перевернул. Халат нашелся, да не на нем!

— Знаю, о деле говори,— как ушел?

— Так вот и ушел.

— Вот, не тех хватали! Толку не было!— неожиданно сказал купец.

Тимур, ничего не ответив на это, велел купцу, выйти, а царевичу сказал:

— Возьми его, мирза. Да не упусти. Он тут о моих полководцах судит. Не торговое дело о воинах судить. Отведи его, да кто там еще с ним есть?

— Двое перекупщиков при нем было. Тоже из Самарканда. Я тех пальцем не тронул.

— Они здесь?

— Привел. Нельзя было их там оставить, когда хозяин здесь.

— Побереги их. Держи их всех наготове. Я тебе дам знать.

Тимур ушел к пирующим. Наступил уже поздний вечер. Пир продолжался среди пылающих костров, высоко вскидывающих яркое пламя, отчего тьма вокруг стала непроницаемой. Но из этой тьмы десятки тысяч глаз следили за всеми, кто передвигался и шевелился в свете костров, за искрами над кострами,— за пиром повелителя, гадая, чем кончится этот пир,— по многому опыту воины знали: повелитель тогда лишь пировал и развлекался, когда, что-то обдумав, что-то решив и подготовив, как бы с облегчением предавался недолгим радостям накануне тяжелого труда, перед выполнением задуманного. Он и на пиру не столько занимался шемаханскими гостями, сколько тешил своих соратников.

Для гостей, чтобы уважить их, он велел привезти к этому дню из Тебриза самых лучших азербайджанских певцов-сазандаров.

Трое сазандаров вошли согбенные, с опущенными глазами, с ладонями, прижатыми к сердцам. Синие короткие кафтаны были перехвачены багряными кушаками, поблескивали белизной вороты шелковых рубах. На всех троих были надеты островерхие черные шапки. Скромно поместившись с краю от круга пирующих, один украдчиво проверил настройку своего тара, другой провел смычком по круглой, как кокосовый орех, каманче, третий откашлялся в рукав.

Ширван-шах повернулся к ним, к этим своим соплеменникам, отторгнутым от Ширвана, может быть, забывшим в толчее Тебриза заветы предков о единстве своего народа, разобщенного на мелкие ханства, истерзанного нашествиями завоевателей, розданного по чужой воле во власть разноплеменных владык. И одеждой они отличались от дербентцев и шемаханцев, и в лицах их сквозило солнце иранской земли.

Ширван-шах, потупившись, с болью ждал их песню, понимая, что у этих смиренных, задавленных чужим гнетом людей не может быть иных песен, чем песни их хозяев.

Вдруг, будто сверкнув саблей по воздуху, проснулась под смычком струна каманчи и запела. И древний строгий маком, из поколения в поколение переданный лад, зарыдал, как огромная, размером во всю эту ночь, душа азербайджанского народа.

Играли лишь двое — тар и каманча. Певец поддерживал их рокотом бубна, ждал, приглядываясь к Ширван-шаху, и взгляд этого простого певца не раз встречался с напряженным и вопрошающим взглядом Ибрагим-шаха.

Но вот он запел. И едва первые слова достигли шаха, он насторожился,— это была песня Насими, которого шах знал, ибо юный Насими был знатен и нередко появлялся во дворце Ширван-шаха. Певец из отчужденного Тебриза с мучительной тоской пел слова шемаханца, словно хотел сказать, что истерзанный Тебриз внимает далекой Шемахе:

Взглянули розы на тебя, и зависть гложет их.
И сахар, устыдясь, узнал про сладость уст твоих...
Ресницы бьют меня в упор под тетивой бровей.
И снова ненасытный взгляд ждет новых жертв моих.

Все слушали эту сильную песню, время от времени кивая головами в лад ей. Один Ширван-шах размышлял:

«Вызов? Он поет слова хуруфита, втайне борющегося с завоевателями. И это поет здесь, на пиршестве завоевателей! Прямо в лицо самому страшному из них!..»

И, наконец, подыгрывая сам себе бубном, певец спел последние строки:

Слезами вновь мои глаза сейчас кровоточат,
Готов я кровь тебе отдать из красных жил своих.
Сними с лица чадру,— она затмила нам луну,
Не дай, чтоб Насими сгорел в мучениях глухих...

Допевая, певец взглянул прямо в глаза Ширван-шаха Ибрагима.

Ширван-шах понял:

«Это вопрос! Он просит, чтобы я открыл им свое лицо. Ну что ж...»

И Ширван-шах, как бы в знак согласия, опустил глаза, кивнул головой и, опять взглянув в глаза смолкшего певца, улыбнулся.

Все вокруг поняли улыбку шаха как любезную признательность за воистину прекрасную песню.

Один лишь Халиль, услышав имя создателя песни, забеспокоился:

«Опять этот Насими! Видно, он у них знаменит! Не забыть бы о просьбе Улугбека. Надо поискать список этого поэта... Не забыть бы подослать к ним Низама Халдара!..»

Певцу подали плошку вина.

Он отпил, поставил плошку возле себя на коврике и, обтерев рот расшитым платком, повернулся к товарищам. Они подтягивали струны, меняя настройку, готовясь к другому макому.

И певец запел снова: шаха поразил выбор слов для этой песни,— из «Книги Искандера» Низами певец выбрал место, наизусть известное Ширван-шаху: Искандер, готовя войско на Дария, спрашивает совета у мудрецов. И ответ мудрецов запел певец:

Да цветет это царское древо, чья сила
Велика и о мощи своей возгласила!
Пусть держава твоя будет вечно жива,
Пусть врага твоего упадет голова!

Ширван-шах боялся обернуться к Тимуру, чтобы не выдать певца: как отнесется повелитель царей к славословиям, явно направленным его царственному гостю Ширван-шаху.

Но тотчас Ширван-шах услышал одобрительный возглас Тимура, принявшего пожелания победы на свой счет и оценившего их как доброе предзнаменование перед походом.

Ширван-шах облегченно вздохнул, но все же к Тимуру не обернулся, притворяясь, что внимательно слушает маком и что разделяет эти пожелания повелителю:

Все слова твои — свет. Весь исполнен ты света,—
И не нужен тебе свет людского совета.
Но коль нам на совет повелел ты прийти,
Мы пришли, ослушанье у нас не в чести.
Вот что в мысли приходит носителям знанья
И премудрым мужам, достойным признанья...

Певец, спев это, прежде чем пропеть самый совет премудрых мужей, приостановился, давая товарищам показать их замечательное мастерство на таре и каманче и как бы собираясь с мыслями. Поэтому внимание слушателей обострилось: что скажут мудрецы?

Тимур тоже, словно торопя певца с ответом, проворчал:

— Ну!.. Ну!..

Ждал и Ширван-шах, прикинувшись, что что-то соскабливает с рукава.

Если ненависть жжет злое сердце врага
И ему только гибель твоя дорога,

Обозлись же и ты! К неизменным удачам
На коне нашей злости мы яростно скачем.

Юный ты кипарис, ива старая — он,
Кипарис же не должен быть с ивой сравнен!..

Что страшиться врага, если враг твой таков,
Что и в доме своем он имеет врагов!..

Тимур подумал:

«Это пророчество! Истинно: у Баязета есть враги, которые сослужат службу мне! Надо приласкать певцов,— пусть все видят, мы строги к врагам, но милостивы даже к этим кызылбашам, если они служат нам!..»

Но Ширван-шах понял сазандаров иначе:

«Теперь это — совет! Они говорят, ты, Ширван-шах, кипарис. Он, твой враг, старая ива. Обозлись! Не страшись! Обездоленные люди Тебриза велели им сказать мне эти слова. Там они ждут мой ответ — с ними ли я...»

Ширван-шах, вынув из-за пояса шелковый кисет, помыкнулся кинуть его сазандарам, но цепкая рука перехватила его запястье так крепко, что кисет выпал. Это Тимур удержал Ширван-шаха.

— Ты гость? Я отблагодарю их сам!

И он кинул им свой кожаный тяжелый кошелек, проявив щедрость, удивившую всех его соратников. Все они, напрягая память, припомнили слова спетого макома и разгадали его как пророчество, как доброе напутствие своему повелителю.

Но сазандары, униженно кланяясь Тимуру, смотрели на Ширван-шаха Ибрагима, и Ширван-шах, уже не стесняясь, одобрительно и ободряюще кивал им.

Соратники Тимура оценили одобрительные улыбки Ширваншаха как поощрение сазандарам за славословие Повелителю Вселенной, как знак Ширваншаховой верности.

Заветрело. Пламя костров заколыхалось, то взметаясь вверх, то откидываясь навзничь. Тени метались по лицам пирующих, и не всегда было видно, кто улыбается, кто хмурится на этом ночном пиру.

Тимур подозвал какого-то тысячника. Тот подполз на коленях к повелителю, выслушал его отрывистые распоряжения, отполз и, став на ноги, почти бегом отправился к Султан-Хусейну.

Когда на пиру наступило последнее затишье, перед тем как разойтись, для развлечения прогуливающихся и уже отяжелевших гостей неподалеку от ковров, где пировали, устроили расправу над провинившимися. В костры подбросили топлива и в мятущемся багряном свете торжественно, с объявлением их вины, повесили самаркандского купца с его приказчиками.

Объявляя их вину, Султан-Хусейн оповестил столпившихся вокруг, что сей купец ради барыша опозорил доброе имя самаркандского купечества, снюхавшись с разбойниками и поставляя им по сходной цене любые товары. Другие двое способствовали ему.

Шах-Мелик, стоя неподалеку от Тимура, сказал Халиль-Султану:

— Неладно это. Он мог и не знать своего покупателя.

— Нынче, с самого въезда в стан, то расправы, то похороны.

Тимур уловил их негромкий разговор и сердито, упрямо опустив голову, ответил:

— Пускай видят. У нас виновным пощады нет. Пускай сами берегутся. Смирней будут, когда наглядятся. Ты говоришь, неладно это. А отпусти я их, они б разнесли слух, что внуки у меня дуром судят. Даже своих не милуют. Вот, скажут, как волки, на людей кидаются. Нехороший слух пойдет. Понял?

И велел Шейх-Маннуру вызвать барабанщиков и наказать те четыре десятка воинов, что не догнали восьмерых разбойников, напавших на выезд младших царевичей.

Расправившись с купцами, Султан-Хусейн по обычаю подъехал к повелителю, отдал коня воинам и стал около Тимура.

Тимур, видя, что все отвлеклись зрелищем сорока вояк, распростертых на земле, обагренной пламенем костров, повернулся к Султан-Хусейну:

— А вину-то купцу ты выдумал. А?

— Я не вину выдумал, дедушка, я добивался, чтоб он сознался. Я ведь по вашему указу разбойников искал. Как найдешь, если строго не спрашивать?

— Хм... Нет, ты попомни, мирза: виноват-то не купец, а ты. Признай я купца правым, это тебе было бы бесчестьем! Купца я удавил,— это тебе мой подарок. Иной ты подарок навряд ли скоро заслужишь. Пока и за этот в долгу. Попомни это.

И видя, что гости уже нагляделись и, прохаживаясь, снова возвращаются к скатертям с угощеньями, он тоже пошел с гостями.

Ширван-шах возвращался к пиру, осторожно ставя ноги среди этих ночных колдобин, где ничего не разглядишь. С ним шел его племянник, ступая смелей, но не решаясь опередить дядю.

Он тихо сказал Ширван-шаху:

— Целый день у них расправы. Слава аллаху, все со своими.

Ширван-шах, все еще раздумывая о встрече с тебризскими сазандарами, намереваясь позвать их погостить в Шемахе, рассеянно ответил племяннику:

— Волки едят волков не в добрый год. Видно, вожак изверился в своей стае. Недаром сегодня пели: «что и в доме своем

он имеет врагов». А от таких расправ враги не убывают, а возрастают. Таятся, повинуются, а ненавидят. Он сам себе...

Но в это время они увидели около себя Халиль-Султана, шедшего с Шейх-Меликом, и Ширван-шах смолк.

Усталые гости любовались плясунами, привезенными из Фарса. Персидские мальчики, одетые девушками, встряхивая длинными, завитыми косицами, подплетенными к их длинным волосам, плясали, то подмигивая гостям, то бледнея в упоении томного танца. Одежды их были не столь скромны, как у девушек, и движения чувственнее и смелее.

Пляски нежили и возбуждали пирующих.

Наконец Тимур встал. Поднялись и гости.

Милостиво, даже дружелюбно расстался Тимур с шемаханцами.

Он вышел за круг костров, увидел мутное пятно своей юрты, где ему приготовлена постель.

Он пошел туда один, шагая уверенно и быстро. Закинул руку за спину. Подходя к юрте, поймал языком кончик своего длинного уса и прикусил...

Халиль-Султан, приметив ожидавшего его Низама Халдара, подозвал этого приятного человека и, пробираясь пешком между юртами, просил его поискать у шемаханцев и купить список стихов поэта Насими, сколько бы это ни стоило. А если у них нет при себе этой книги, чтоб сказали, у кого в Шемахе можно ее купить.

У юрты Улугбека Халиль-Султан остановился, решив ночевать здесь, чтобы не идти в темноте через спящий стан к своей постели.

Улугбек не спал, едва лишь вернувшись с пира.

Когда Халиль вошел и сел, Улугбек заговорил:

— Слышали? Тебризцы пели этого Насими: «Взглянули розы на тебя, и зависть гложет их!..»

— Это не очень ново: у персидских поэтов бывали стихи сильнее.

— Но ведь тех уже нет, а этот живет среди нас!

— Нет, Улугбек,— не среди нас, а в стороне от нас. Но в одно время с нами. Ты не забывай: не все с нами те, кто живет в одно время с нами.

— Оттого и терпят всякое... Им же хуже!

— Не всем хорошо с нами!— ответил Халиль.

Он сбросил халаты. Босой, в одной лишь тонкой длинной рубахе, в легких шелковых штанах, подошел к дверце, чтобы закрыть ее, и увидел неподалеку, на пригорке, среди догорающих костров пира, слуг. Они убирали скатерти, скатывали большие ковры. Но, и скатывая ковры, вдруг хватали, смеясь, друг у друга

куски мяса или кости, завалявшиеся на скатертях. Прерывали работу, чтобы прожевать, и, жуя, опять принимались за работу.

Костры догорали. Время пира прошло. Непроницаемо густа была ночь над мирно засыпающим станом.

Тринадцатая глава

МАРАГА

Ранним утром, когда облака еще покрывали весь стан непроглядным туманом, Ширван-шах отбыл в обратный путь. Шейх-Мансур повел в Шемаху тысячу воинов из старых боевых войск, дабы сопровождать Ширван-шаха в пути и охранять его в Ширване.

Наконец солнце пробилось сквозь туман, облака поднялись и отплыли к горам, трава заблистала такой густой и радостной зеленью, словно наступала весна.

Тимур вызвал брадобрея, сел перед юртой, по обычаю обнажившись до пояса, и приказал брить голову.

Весь необозримый стан видел своего повелителя, скромно склоненного перед острием бритвы, хотя он никогда не склонялся перед острием меча.

Тимур сидел покорный под ладонью брадобрея, и плотное, неподатливое тело воина поддавалось холодку утра, будто холодок терся о смуглую гладкую кожу спины.

Весь необозримый стан насторожился в ожидании перемен: так вот, на утреннем ветерке, повелитель имел обыкновение бриться лишь в предвкушении походов, побед, больших празднеств.

И хотя никакого указа не было оглашено, весь стан, каждый десяток со своим десятником, в который раз, осмотрели всю оседловку, подергали, проверили каждый ремешок; придирчивее, чем в иные дни, протерли оружие: принялись чистить доспехи. Кончилось всякое баловство, игра в кости, возня, празднословие. Даже те, что уходили за стан к предгорьям пострелять из луков, посостязаться в беге, повременили спозаранок отдаляться от своих десятников,— ждали, пока утро пройдет.

Уже одетый, покрыв голову не чалмой, а шапкой, пошел Тимур в юрту великой госпожи.

Он застал там еще двоих из цариц, которым полонянка, искусная рукодельница, показывала свое шитье — вышивку: серебряные павлины с золотыми крыльями и зелеными хвостами,— покрывало для одеял, когда куда-нибудь в угол пышной стопой их укладывают на день до вечера.

Царицы, почтительно сложив на груди руки, вышли. Рукодельница, изгибаясь, выползла вон, в юрте осталась одна великая госпожа.

Она уже знала, что мужа из похода предстоит ждать в Султании, но в какой день отправляться туда, не было известно.

Отодвинув к сундуку тяжелое покрывало, Сарай-Мульк-ханым, проворно перебежав через юрту, поспешила положить подушки на место, где обычно садился Тимур.

Но он не сел. Пройдясь по ковру и оглядываясь вокруг, словно примериваясь, много ли у нее клади, он кивнул на вороха одеял, на сундуки, на ковры:

— Сбирайтесь!

По неуловимым приметам она почуяла, что он досадует на нее, знала, за что досадует, но затаилась, чтобы ни единым знаком не выдать своей прозорливости. По этому ее усилию он сразу понял: «чует!» Равнодушно отвел от нее глаза и, молча приложив руку к сердцу, пошел из юрты.

За дверью он наткнулся на Улугбека, неведомо откуда, без чалмы и халата, появившегося перед ним:

— Дедушка! Весь стан готовится выступать.

— Я не приказывал.

— А они готовятся!

— Да ведь ты-то — с бабушкой, в Султанию.

— Проводить вас... возьмите, пожалуйста!

— Ты откуда это, чуть что не с постели?

— Возьмите, пожалуйста!..

— В поход собрался?

— Дедушка!

— Что ж... До Мараги проводи. Проводи, мирза!

— Спасибо! Дедушка! Спасибо!

Тут появился воспитатель царевича Кайиш-ата, торопливо несший Улугбеку шапку и халатик, но при виде беседующих деда с внуком остановился поодаль, переминаясь с ноги на ногу.

Тимур сказал старику:

— Снаряди мирзу, да сам его и проводишь, как тронемся. Да на обратный путь у вас чтоб хороший караул был, присмотри. До Мараги с нами пройдетесь.

— Спасибо, дедушка!— ликовал Улугбек.

— Ступай посиди смирно.

И, обращаясь уже к ним, к обоим, добавил:

— Да пока помалкивайте.

Тимур ушел. Улугбек облачился в халат и не смог бы сидеть смирно: он поспешил к Ибрагиму, сомневаясь, можно ли сказать брату о предстоящей поездке, разгласить дедушкин замысел в юртах царицы Туман-ака, где обитал ее питомец Ибрагим, или им там еще не должно знать о сборах повелителя.

Тимур ушел к себе и кликнул ближайших советников.

Они пришли, сели перед ним в круг, а он, усевшись чуть в

стороне и поодаль, похлопывая плеткой по ковру, но прикидываясь спокойным и медлительным, сперва велел говорить все, что ведомо от проведчиков о дорогах до Арзрума и об Арзруме. Это были армянские земли, но за Арзрумом уже стояли воины Баязета.

Он слушал, когда кто-нибудь из советников говорил и остальные добавляли то, что им известно по тому делу, но сам молчал.

Потом спросил о войсках, внимательно вдумываясь в каждое известие, осведомился, сколько и каких войск, где находится, в каких местах каждое из них примкнет к большому войску, и все ли исправно и готово в каждом из тех войск.

Оказалось, что запаздывают лишь войска, вызванные из Грузии, хозяйничавшие там по всей стране, но при горном бездорожье тех мест не поспевшие собраться вместе.

Тимур, хлопнув плеткой крепче, чем до того, сказал:

— Не надо их ждать. Велим им тут оставаться, блюсти порядок. Пока Ширван-шах своих кызылбашей угомонит, покою тут нет. Да и Ширван-шах при наших войсках смелей и старательней. Грузинскому ж эмиру Георгию милости не выказывать; держать его в страхе: он таков,— ему милость, а уж он мнит, что мы к нему подольститься хотим. Когда наши отойдут оттуда, надо, чтоб меч над ним висел. Этот эмир хил, а спесив, таким нельзя верить. Чем больше на ком доспехов, тем слабей воин. А грузинские беки со всех боков мечами обвешаны, будто мечи сами за них врагов побьют! Не от них нам помеха, но их надо крепко держать, чтоб на свои горы не оперлись: люди у них — в горах, там есть и сильные люди. И горы у них круты. Горы спокойней, когда их беки в наших руках, беки безвредней, когда на горы не могут опереться. А отводя оттуда наше войско, надо их там припугнуть, там-сям города поломать, пожечь, пошуметь, чтоб всей их земле чудилось, будто мы не уходим, а только что назад пришли. Туда б мирзу Султан-Хусейна послать, он такое умеет, да мирза нам понадобится. Кто туда сходит постращать?

Переглянувшись, перекинувшись двумя-тремя именами, выбрали темника из тех, что суров по нраву, но без которого не жаль обойтись в большом походе.

Было решено десять тысяч конницы вести через Сасунские горы, боковой дорогой на Арзрум, чтобы силы армян повернули навстречу этим тысячам и, повернув на боковую дорогу, опоздали бы встретить большое войско на большом походе: надо было выиграть время, чтобы без помех пройти возможно дальше к Арзруму, ударив армянам в спину.

Так, дело за делом, заблаговременно рассчитали весь путь, определили места, где постоять станом для соединения войск, где не щадя сил идти большими переходами, в какие города свернуть, какие из торговых городов растоптать, покончить с их торговлей,

какие сохранить, дабы бесполезными осадами не губить своих людей, не задерживаться в ущерб основному походу.

В тихой юрте, где через приподнятый низ кошм струился утренний сквознячок, предрешалась судьба далеких городов, селений, сотен тысяч людей, в тот светлый солнечный час поздней весны занятых повседневными заботами, трудом, сборами к свадьбам и постройкам, к выезду в дальние пути, либо к встрече долгожданных друзей с дальних дорог. Там шумели базары; пели женщины над колыбелями; шалили ребята в теплых тенистых переулках; старцы, любуясь древней красотой своих городов, милых с младенческих лет, шли со своими ровесниками к базарам; буйволы, клоня добрые морды под тяжестью своих каменных рогов, волокли грузные телеги по твердым убоистым дорогам от тихих селений к городам; писцы мыли руки, готовясь наполнить пустые листы пергаментов словами мудрецов и поэтов; зодчие поднимались на свежие стены, додумать красоту созидаемых зданий...

Их судьба и все ими созданное решилось в это утро, в тихой юрте, где, снова хлестнув по ковру плеткой, Тимур уперся рукой в ковер, чтоб подняться, и говорил, покряхтывая:

— Сбирайтесь. Как завечереет, пойдем.

* *
*

На рассвете Тимур въехал в Марагу.

Тимур въезжал в город, когда на улицах еще не рассеялась ночная мгла. В мечетях коленопреклоненные молящиеся душой и мыслями были далеки от бога, когда он проезжал мимо мечетей. Город, неприглядный в этот час, удивил Тимура: как мало руин, как стойко сохраняли жители целость своих лачуг. Сохранились караван-сараи, сохранились мечети. Сохранился базарный купол, ряды лавчонок.

Высился купол мавзолея над могилой Хулагу-хана. Не столь обширный и величественный, как купол мавзолея Ульджайту-хана в Султании, но внушительный купол.

Люди на глаза не попадались, но всюду виднелись следы их недавнего пребывания: лавчонки и мастерские оставались открыты, у стен виднелись коврики и подстилки,— сторожа только что лежали или беседовали здесь.

Тимур ехал неторопливо, сдерживая коня. Все поотстали, чтобы не наседать на повелителя. Еще медленнее по обе стороны поезда шли ряды пеших барласов, на случай, если б по сторонам улиц оказались жители или толпы зевак.

Лишь Улугбек ехал около деда, не отставая, приглядываясь к тому, что привлекает дедушкино внимание.

— Дедушка! Как у нас в Самарканде!..

— Что как у нас? О чем ты?

— Голуби!

— А...— и Тимур впервые заметил голубей. Они гурковали, вспархивали и разгуливали по кровлям базарных рядов, по Куполу Звездочетов.— Да, голуби откуда-то.

С юных лет Тимур любил базары. В каждом новом городе, прежде чем осмотреть город, он осматривал базар и тут понимал всю душу, всю суть еще неведомого ему города.

Теперь, с годами, все реже и реже доводилось ему судить о городах по базарам: куда бы ни приводили его дороги похода, всюду открывались лишь развалины лавок, обезлюдевшие торговые ряды, а товары оказывались расхватанными передовыми частями войска. Приходилось судить о городах по воинским добычам или по облику пленников.

Но базар в Мараге, обнищавший, с тоской влачивший свою горькую участь, удивил Тимура:

— Вон сколько мастерских! И в каждой видны изделия. Брали мы отсюда мастеров, а они, смотри-ка, опять расплодились!

В Медном ряду он остановился перед одной раскрытой лавчонкой и велел воинам показать ему, каковы там товары.

Ему подали искусной работы кувшин с длинным горлом, с надписью, тонко насеченной на медном тулове.

— Как аист! А написано что?— спросил он Улугбека.

Улугбек принял кувшин из рук дедушки и, поворачивая его, прочитал:

Эй, виночерпий! Чаши вновь
Нам наполняй вином скорее!

— О дедушка! Это стихи Хафиза!

— Хафиз! Это оборванец из Шираза. Видел его. Дерзит, а сам еле на ногах стоит. Видно, любит встречаться с виночерпием!

— Он умер, дедушка.

— Когда же успел?

— Давно.

— Умер?

И вдруг Тимуру на мгновенье стало жаль, что уже нет на свете дерзкого старика, который почему-то запомнился: длинный синеватый нос гуляки, неповоротливые, лишенные страха глаза. Может, потому и запомнился, что на свете мало было глаз, глядевших в глаза Тимура без страха, запросто, как смотрит чело-

век в глаза человеку. Он даже не внимал Улугбеку, который, торопясь выказать свои знанья деду, говорил:

— Этими стихами начинается каждый список Хафиза. Это всегда первая газелла в его собраниях стихов...

Гладя сухой ладонью шершавую надпись на меди, Тимур приказал показать, что там еще за товары у медника.

Осмотрел чаши, тоже украшенные надписями, но читать их не стал. Облик чаш ему понравился.

Медь изделий была плоха,— видно, что работа сделана наспех, без должного прилежания, но если бы мастер не владел большим уменьем и опытом, он не смог бы так небрежно и наскоро создать эти дешевые вещи,— создавать прекрасное с такой легкостью можно лишь после долгих лет кропотливого труда над драгоценными вещами, лишь тогда, пренебрегая случайными покупателями, изготовляют такие вот безделицы, но по-прежнему блюдя красоту, ибо верность красоте стала уже неотъемлемой от таланта.

— Вот, брали, брали мастеров, а они тут по-прежнему! Базар тоже успели поправить. А ну-ка, в той лавке какой товар?

И он разглядывал новые изделия.

Наконец, подозвав Шейх-Нур-аддина, поручил ему разослать своих людей по базару, высмотреть хороших мастеров и забрать их, как прежде водилось, вместе с чадами и домочадцами в Самарканд:

— У нас на всех дела хватит.

Тронув коня, он поехал дальше, разглядывая ряды лавчонок, проницая быстрыми глазами мглу внутри лавчонок и весь таящийся там скарб и товар:

— Тут еще можно сыскать мастеров!

На круглой площади, неподалеку от Купола Звездочетов, Тимур свернул к дому судьи, где повелителю готовили утреннюю еду. Здесь ему предстояло провести день, чтобы войска, которым надлежало идти впереди, прошли через город на большую дорогу. Здесь же предстояло выслушать новые донесения проведчиков и вечером покинуть тех, кто провожал его в далекую трудную дорогу похода.

— Дороги, дороги, мирза! Сколько дорог!— сказал он Улугбеку задумчиво. Мальчик заметил, что, еще разглядывая длинногорлый кувшин со стихами Хафиза, дедушка о чем-то задумался, и эта задумчивость, которую прежде редко приходилось замечать, никак не рассеивалась все утро.

Но спросить о ней Улугбек не решился, да, может быть, и не сумел бы.

На судейском дворе, сплошь застланном огромными коврами, десятки знатных людей кинулись к стремени гостей, чтобы снять с седел Тимура и его внука.

Марага принимала их, чтобы на сотни лет запомнить этот кратковременный день посещения, облачить его десятками легенд, воспоминаний, преданий, хотя никого из коренных жителей Мараги не было ни на этом дворе, ни на всех тех улицах, где проехали памятные гости.

Вскоре Тимур ушел к военачальникам. С ним остались Халиль-Султан и Султан-Хусейн. Улугбек со своим воспитателем поехал смотреть Марагу.

Во дворе, сменяя друг друга, толклись пропыленные, озабоченные походными делами всадники, посланные от тех или других тюменей. Появились гонцы и проведчики. Случалось, что, по недосмотру, лошади с визгом схватывались грызться, их успокаивали окриками и ударами плеток. Двор наполнился запахом горячих лошадей. Душком кож и дорожной пыли наполнился дом.

Через город и по боковым дорогам в обход городу шли тысячи молчаливых воинов, пеших, конных. На скрипящих и стонущих колесах везли тяжелые осадные тараны, лестницы, грузные медные пушки, изукрашенные львиными головами, гербами Венеции и Генуи, освященные знаками распятий, изображениями католических регалий. Прошло стадо индийских слонов, приученных еще делийскими султанами к участию в боях. Это воинство шло из Султании, где зимовало; шло длинной обходной дорогой, своим движением устрашая то одну страну, то другую, где через купцов или странников пытались разузнать и угадать, на кого направляется нашествие Тимура.

Они шли будто и неторопливо, но каждая их стоянка и каждый переход были заранее рассчитаны и предопределены. Лишь накануне это шествие свернуло к Мараге и тут же влилось в поток большого похода, войдя в то место потока, что было им назначено. Так были предусмотрены места и для десятков тысяч других войск, шедших еще где-то очень далеко, боковыми и обходными дорогами, совершая на своем пути предначертанные воинские дела — захваты городов, осады, разорения, но в должный день, в должном месте обязанные выйти к большому походу и занять в нем каждый свое место.

Некогда здесь, в Мараге, звездочеты, следя из Дома Звезд за простором вселенной, дивились непреклонному движению небесных светил, их непреложному распорядку. Теперь Тимур, сидя в духоте и сумраке судейского дома, обдумывал и рассчитывал земные пути своих грозных тюменей, направляя их непреклонное движение, подчиняя непреложному распорядку их битвы, их стоянки, и все помехи, все трудности их дорог, предугадывая прежде, чем тюмени вступят на эти дороги.

Это движение людских множеств на земле должно было под-

чиняться столь же четкому распорядку в пространстве и во времени, как и движение светил в небе.

И не было пощады тому, кто продвигался по предначертанному пути быстрее или медленнее, чем ему указано, будь он знатнейшим из темников, веди он по воинским дорогам десятки тысяч отборной конницы, будь он тысячником из старейших соратников Повелителя Вселенной, пространствуй он по пространствам завоеванных стран стремя о стремя с Тимуром всю его жизнь, будь он простым десятником,— со всех был один спрос, никто не смел сбиться ни с предначертанного пути, ни с предписанных сроков движения. Но горе было и тому, кто, соблюдая предначертания повелителя, сам не проявлял боевой смекалки, кто ждал советов издалека, не умея или не смея своим разумом понять на месте свой долг и, проявив отвагу, добиться удач и добыч.

Давая указы соратникам, слушая задыхавшихся от усталости гонцов, Тимур один охватывал взглядом земные пространства, где сейчас шли, бились, гибли, торжествовали или отдыхали от битв его воинства.

Задымились селения и поля Великой Армении. Пришли вести о первых потерях и о первых удачах. И по этим первым ударам меча о меч, меча о камень, народного гнева о меч завоевателя надо было понять силу, ум, повадки и волю противника.

Уже горели селения армян на пути к Вану. Около Нахичевана схвачено шествие армянских монахов, уносивших в горные монастыри церковные сокровища и мешки древних пергаментных книг. Жители города Ани заперлись в одном из больших храмов и на приказ отпереть двери ответили через бойницы стрелами. По дороге к Двину собрано около двадцати тысяч землепашцев и виноградарей, ныне они стоят в ущелье, ожидая своей участи. Земледельцы, захваченные врасплох, оборонялись слабо, но земледельцы дальних селений бегут к городам, чтобы, запершись там, умножить ряды защитников. В городах, где нет стен, в крепости обращены храмы, соборы, монастыри, даже каменные караван-сараи.

Тимур сидел, поджав под себя здоровую ногу, протянув больную, и, глядя на ковер, молча слушал людей, сменявших друг друга. Только тонкий темный палец что-то чертил на ковре или лишь гладил длинные линии узора, словно это были извилистые, извечные линии земных дорог.

Только раз он поднял голову и, повернувшись к Халиль-Султану, сидевшему поодаль, тихо сказал — не то царевичу, не то себе самому:

— По всем дорогам... По всем дорогам...

Но вошедший новый гонец отвлек его, и, опять глядя на ковер, он слушал о движении войска, посланного на Трапезунт.

Улугбек, сопровождаемый воспитателем и многими вельможами, проезжал по Мараге, знакомясь с ее достопамятными местами.

Он осмотрел мавзолей Хулагу-хана. Наверху, между кирпичами, пробилась рыжая трава, как щетина на давно не бритой голове. Портал осыпался. Ступеньки были сбиты и стерты. Какой-то нищий старик, положив рядом свой посох, стоя на коленях и упершись взглядом в стену, молился, не задумываясь, был ли свят покойный хан, да и был ли мусульманином.

Он осмотрел базар, древний Купол Звездочетов, где по-прежнему было безлюдно, лавки и мастерские распахнуты и еще полны всякими жалкими товарами, но хозяев не виднелось ни в одной из них. Однако под Куполом Звездочетов несколько марагских купцов, расстелив ковер по земле, просили царевича принять их подарки на память о посещении города. Они поднесли ему витиевато расшитые халаты, куски шелка, переливчатого и почти прозрачного, большой мягкий тяжелый ковер и в парчовом чехле книгу, переписанную почерком насх с таким редкостным совершенством, что, забыв об остальных подношениях, Улугбек, не умея скрыть восхищения, залюбовался ею и полистал ее. Кроме заглавного листа, прорисованного тончайшим, подобным черни на серебряном блюде, орнаментом, где сочетались киноварь, золото и смоляная тушь, на многих страницах сверкали столь же яркие изображения небесных светил и звездочек, взирающих в небо с четко вычерченных башен.

Кайиш-ата неодобрительно косился на восхищенного царевича, ибо считал унизительным для царского звания столь явное внимание к дарам ничтожных людей из ничтожного поселенья; к тому же внимание не к оружию, а к какой-то книжке,— недостойно царевича!

Один из купцов, довольный расположением царевича к книге, решился подсказать:

— Написана полтораста лет назад здесь, в нашем городе, нашим земляком, великим ученым Абу Джафаром Мухаммед Насир-аддином Туси. Здесь и переписана, преславным писцом...

— Не обременяй царевича, да ниспошлет ему аллах свою милость на вечные времена!— вступился Кайиш-ата.

Улугбек не посмел выйти из повиновения воспитателю при столь большом числе свидетелей, закрыл книгу и сам вложил ее обратно в плотный, жесткий чехол, где по краям золото парчи уже стерлось.

Но купец продолжал говорить, теперь уже обратившись к воспитателю, но так, словно продолжал говорить это царевичу:

— Отцы нам сказывали: здесь в те времена, когда написана эта книга, хранилось пятьсот тысяч книг. Их собрал в походах наш хан Хулагу. Пятьсот тысяч таких вот книг. У нас здесь, в Ма-

раге! А теперь где они? Вот, одна уцелела, вручаем ее. Да сохранит ее аллах во славу нашего города!

— Кайиш-ата вдруг произнес:

— Щедрость разоряет купцов, но украшает город.

Улугбек, никогда не слыхавший от своего воспитателя никаких изречений, так удивился, что забыл об окружающих и спросил:

— О, это вы сами сейчас придумали?

Кайиш-ата, насупившись, назидательно ответил:

— Я лишь след, оставленный на земле конем Покорителя Вселенной.

— Значит, это дедушка говорил?

— Он сказал бы это лучше!— уклончиво потупился Кайиш-ата.

Улугбек обернулся к купцу:

— А еще у вас есть хорошие книги?

— Выносят на базар. Но ведь не каждый день!

— А нет у вас книги стихов Насими?

— Нет, милостивейший,— это в Ширване. У нас нет.

«И здесь его знают!»— приметил Улугбек.

Кайиш-ата приказал одарить купцов памятными халатами в благодарность за подношения и увлек Улугбека дальше, продолжить осмотр города.

Они посмотрели баню, в которой, по преданию, любил мыться хан Хулагу, возвращаясь из походов. Баня стояла много веков. Ее плоский купол, окруженный шестью меньшими куполами, стал темен и, казалось, покрыт склизкой плесенью. Порог был выложен из разноцветных мраморов и гранитов, и, как говаривали старики, строил ее зодчий из Рума, из византийского города Константинополя.

В стороне, на взгорье, высились темные, полурухнувшие стены.

— Там была крепость?— спросил Улугбек.

— Это Дом Звезд!— ответил сопровождавший их марагский житель, работавший переводчиком в доме судьи.

— Чей, чей?

— Там жили великие ученые. Наши, здешние. Но с ними и многие отовсюду — из Индии, из Рума. Даже были из Китая. Здесь стояло много зданий. В одних жили, в других хранили книги. Те пятьсот тысяч, что свез сюда со всего света хан Хулагу. Здесь высилась башня, откуда рассматривали небо. Здесь в отдельном здании день и ночь работали лучшие писцы и на разных языках переписывали книги.

— А что там теперь?— спросил Улугбек и повернул своего коня в сторону руин столь решительно, что никто не успел его отвлечь. Весь выезд нарядных вельмож и воинов свернул в тесные переулочки, где еле можно было протиснуться двум всадникам

в ряд. Поехали, глядя, как над плоскими приземистыми лачугами величественно и скорбно возвышаются остатки рухнувших стен, кое-где украшенных уцелевшими зелеными изразцами.

Узенький переулок вывел на холмистый пустырь, осененный тенью руин. Вся земля вокруг горбилась от куч щебня, черепков и всякого мусора, натащенного сюда с базара, касавшегося своим краем этого пустыря.

На пустырь выехали только Улугбек с воспитателем и проводник азербайджанец. Остальным здесь не нашлось бы места,— все они стеснились в щели переулка.

Стены казались особенно темными, заслонив от Улугбека солнце. Низ стен, сложенный из плоских кирпичей, выветрился, и здание, казалось, вот-вот всей своей громадой рухнет.

Но сухощавый кривоногий старик копался под самой стеной, что-то силясь отковырнуть от нее. Неподалеку покорно стоял его осел, которому, видно, давно наскучили все людские дела. Вслед за появлением Улугбека из-за стены вышел мальчик, еле прикрытый рваным холщевым рубищем. С орлиной горбинкой на носу, с длинным разрезом темных глаз, оборванец, гордо и царственно запрокинув голову, вглядывался в прибывших.

Старик, увлеченный своим делом, позже всех заметил появление всадников.

— Что он делает? — спросил Улугбек у Кайиш-ата.

— Копается в мусоре, только и всего.

Но старик, услышав их разговор, разогнулся на своих широко расставленных ногах и объяснил:

— Кирпичи. Кирпичи берем. Тут такие, каких уж нигде не добыть.

Улугбек заметил, что в переметном мешке, перекинутом через осла, обе стороны отвисли от тяжести наложенных туда кирпичей.

— Ломик бы нам. Нет ломика! А голым рукам плохо поддается, — известь крепка. Кирпич к кирпичу, прямо скажем, припаяны.

— Зачем они тебе?— удивился Улугбек.

— У нас тут Хромой воевал. Не знаешь, что ли? Всех без крова оставил. Кто из людей уберегся, который уж год по-собачьи живет, — в норах. Да докуда ж так жить? Теперь слышим, он сам, Хромой, сюда гостить прибыл. Так думаем, когда он здесь гостит, не станет нас ломать. Вот и взялись строиться. Строимся. А из чего? Кто нам кирпичей выжжет? Здесь берем. Надо ж чего-нибудь под стены подложить. Да и стены, сколько хватит, хорошо из этого ж, из жженого. Он вон какой, — звенит!

Улугбека поразил этот старик неприязненным отношением к Тимуру. Внук знал, что деда иногда зовут Хромым, но не этой

же черни звать его так! Отчуждаясь от собеседника, Улугбек все же не решился грубо прервать беседу со старым человеком. Глубоко вкоренившаяся почтительность к возрасту собеседника оказалась сильней вспыхнувшей неприязни к старику, сильнее раздражения от дерзкого, наглого простодушия. Холодно, но вежливо Улугбек спросил:

— Кругом много зданий. Что ж вы на одно это напали?

— Какие кругом? Гробницы, мечети,— это все святые стены. Их ломать грех. А такие вот кому нужны? Вот и берем. Ну, пожалуй, на сегодня баста. Конец! Не то мой осел ведь не слон, больше и не понесет,— объяснял старик и спросил внучка:

— А ты там что? Откопал сколько-нибудь?

Мальчик покачал головой.

— Да трудно поддается. А битый здесь собирать — пускай другим останется: что за толк в битом?

Кайиш-ата снисходительно поддержал разговор.

— Вот ты тут колупаешь, а стены-то на тебя не повалятся?

— Что ты, брат ты мой! Они не первую сотню лет держатся; чего ж им на меня валиться!

Улугбек тронул коня, чтобы объехать по пустырю вокруг этих беспорядочных, но величественных развалин.

Вслед им, неумело побежав за конем Кайиш-ата, старик доверительно и торопливо спросил:

— Ты вот, вижу, около властей. Скажи, пожалуйста, как теперь этот Хромой, накажи его аллах, не поломает нас, коль с благословенья аллаха мы у себя построимся?

— Пошел вон!— пугнул его Кайиш-ата, не считая удобным в присутствии азербайджанцев бить старика за дерзостные слова о Повелителе Вселенной.

Удивленный и обиженный старик, отойдя к своей поклаже, сорвал досаду и обиду на осле, колотя его и погнав прочь, но у входа в переулок остановился, видя, что весь он полон величественных всадников, воинов, и пройти этой дорогой не сможет ни один осел, даже без поклажи.

Улугбек смотрел, как высоки, как прекрасны некогда были эти стены. Кое-где уцелела розовая известка, расписанная непонятными знаками; а кое-где сохранились изображения людей — одни уже утратили голову, но в руках держали какие-то странные угольники и линейки или книги. На других — остались головы без тела, сосредоточенные, мудрые головы мыслителей, седобородых или еще юных. Звезды в странных сочетаниях. Осколки надписей на арабском и на персидском языках.

В одной из башен, рухнувшей лишь наполовину, внутри вилась каменная лестница. Своды входа уже рухнули. Свалилась и вершина башни. Куда вела эта лестница — в верхние кельи или на

высокую кровлю? Крутые плиты ступенек были стерты,— видно, много людей поднималось и спускалось по этой лестнице. Куда они ушли? Теперь по ней можно подняться лишь в небо.

Уцелел обрамленный изразцами свод над входом. Но помещения, бывшие за этой дверью, рухнули. Что было там, кто входил в ту дверь, что за ней скрывалось, какая, чья жизнь?

Улугбек тихо, присмирев, объезжал всю площадь развалин, и перед ним открывались все новые и новые осколки минувшей жизни. Кельи, со следами полочек в нишах, с остатками надписей на стенах.

Птицы, похожие на горлинок, но длиннохвостые, ютились в высоте развалин, где был бы купол, если б не рухнул, оставив лишь карниз для птичьих гнезд.

Заслышав людей, стая собак вырвалась из зияющего подземелья, словно застигнутая за нечестным, постыдным делом, и кинулась спасаться в закоулках ближних руин.

Вокруг накопилось много мусору и стоял тошнотворный запах гниения: эта сторона примыкала к окраине базара, и торговцы сваливали сюда всякий базарный хлам и сор.

— Дом Звезд? — спросил Улугбек. — Так это называется?

— Да, да! — подтвердил азербайджанец. — Великие ученые трудились, съезжались сюда со всех сторон света. Их имена драгоценны. Наши ученые хранят их труды; мудрость, накопленная здесь, переходит из поколения в поколение, — она бессмертна в памяти человеческой. Она обогатила разум многих народов.

— А лесенка, где они ходили, уже...

Но Улугбек не сумел выразить свое чувство, возникшее при виде обжитой лестницы, у которой не стало ни начала, ни конца.

Вскоре он выехал снова на базар, где было так же безлюдно. Лишь какая-то нищая старуха, заткнув за пояс линялых шальвар подол серой рубахи, ставя далеко впереди себя кривую клюку, медленно брела на дрожащих ногах, помахивая пустым мешком и глядя далеко вперед из-под седых волос. Вдруг, приостановившись, она усмехалась чему-то, качала головой и опять шла, не замечая, как тихо, как пусто там, где еще недавно теснились люди.

Усталому царевичу захотелось домой. Его домом было местопребывание Тимура, где бы он ни находился: лишь возле деда становилось ему спокойно и хорошо.

* *
*

Тимур отпустил военачальников и советников, которых держал, пока решал дела столь многочисленные и разные, что нельзя было предвидеть, кто из соратников понадобится ему.

Теперь они сами принимали гонцов, принимали в том подвале, где незадолго перед тем усердствовал Султан-Хусейн. Сюда подавали и всякие блюда, ибо сподвижники Тимура проголодались, пока он держал их у себя под рукой. Здесь кормили и приезжих людей. Здесь стелили им одеяла для недолгого отдыха. Подвалы были просторны и прохладны.

Тимур один остался на том же месте, где провел весь день.

Он так же сосредоточенно разглядывал ковер, на котором сидел. Лишь велел за спину и под локоть уложить подушки. И ему принесли те, что брали в поход,— из мягкой тисненой кожи.

В этом недолгом раздумье был его отдых, та полудрема, когда яснее, чем в присутствии людей, он понимал все события, решал все вопросы, порожденные этими событиями. Тогда приходило успокоение, а будущее казалось почти осязаемым.

Наконец он откинулся на подушки и очнулся.

Он встал и прошел в садик, заслоненный домом от двора и от всей суеты двора.

Вдоль садика тянулась длинная приземистая пристройка. Видимо, прежде здесь жили жены хозяина,— маленькие дверцы открывались прямо в садик, под сень старых деревьев, где торчали какие-то чахлые, пыльные кусты цветов. Здесь немало случилось всяких происшествий, немало наговорено всяких россказней, спето песен, пролито слез...

Теперь в тесных кельях исчезнувших обольстительниц разместились Улугбек с воспитателем и несколько ближайших вельмож Тимура, у которых не было в походе своих войск,— казначей повелителя, начальник личного караула, а с ними — и духовный наставник Сейид Береке.

Тимур прошелся под деревьями, замечая то пару женских туфель на краю водоема, забытых в спешке, то закатившийся под куст глиняный разрисованный шарик, которым играли дети. Еще несколько дней назад, совсем недавно, здесь мирно шла другая жизнь. На своем веку Тимур видел множество городов, останавливался в бесчисленных зданиях, посещал несчетное число домов, дворцов, келий. Но куда бы он ни пришел, всегда и везде он своим появлением изменял жизнь, протекавшую там до его прихода. Ни разу не было случая, чтобы и при нем продолжалась та жизнь, какой была она за день или хотя бы за миг до его появления. Как жили там до него, ему было суждено лишь угадывать. Так было и здесь. Он прохаживался по садику, спешно освобожденному от людей, чтобы он мог здесь пройтись. Некоторые из келий были и теперь пусты — его вельможи куда-то отлучились. Лишь в келье Улугбека разговаривали. Дверь была открыта. Не доходя до двери, Тимур, неслышно ступая, подошел и прислушался.

Там вели речь о каком-то старике, назвавшем Тимура попросту

Хромым. Этот старик собирался построить дом взамен разоренного нашествием Хромого.

Голос Султан-Хусейна:

— Вот мы разбойников ищем, а один из них был перед вами тут как тут, а вы поехали себе, а его оставили на воле. Эх, вы!

Грубоватый, хриплый, может быть рассерженный, ответ Кайиш-ата:

— Старик по недомыслию грубил. Разбойники домов не строят. Разбойники чужие дома разоряют.

Султан-Хусейн:

— Разоряют, но чужие, а свои гнезда чинят. Вон и Хулагу-хан разорял, разорял, а себе дворцы понастроил, и здесь, и в Тебризе, и Дом Звезд, и еще всего немало, что его тешило. Тоже — Тохтамыш. И у нас, и здесь немало всего наломал, а у себя в Сарае сразу принялся строить. Только дедушкин приход ему помешал. Дедушка ему тем ответил, что весь его Сарай перевернул ему вверх дном. Вот и разбойники!

Улугбек:

— Дедушка ломал, ломал, а какой же он разбойник? Дедушка сколько всего настроил! Хулагу-хан здесь строил, дедушка в Самарканде. Дедушка разве меньше строится?

Голос Халиль-Султана:

— У нас в Самарканде говорят: «Когда разбогатеет степняк — женится; когда самаркандец — строится»...

Вдруг все смолкли. Что-то произошло в келье. Тимур оглянулся: кругом никого не было, некому было встревожить их. Лишь опустив глаза, он заметил на дорожке перед открытой дверью кельи протянулась его длинная тень. Тень Тимура они увидели перед своей дверью и смолкли.

Больше он не мог скрываться от них и подошел, со света плохо видя тех, что сидели во мгле кельи.

Все замерли, стыдясь своей беседы, не зная, много ли он слышал из того, что они наговорили. Торопливо поднимаясь, молчали.

Не помня, что ему уже случалось так вот, нечаянно, подслушать беседу внуков, он вступил в келью.

— Скучаешь по Самарканду?— спросил он Халиль-Султана.

Халиль, смутившись, смолчал было. Но дед, не садясь, ждал ответа. Все неподвижно стояли. Он один, прохаживаясь перед ними, остановился перед Халилем:

— А?

— Да, дедушка, кому ж не мил Самарканд!

— То-то!.. А тебе, Улугбек, понравилась Марага?

— Дедушка! Мне они книгу подарили. Старинного письма. О чем — не знаю, но как переписана! Почерк насх.

— Насх?— насмешливо переспросил Тимур.— А о чем, не знаешь!

Я ее хотел посмотреть, да вот...

Улугбек с укором обернулся к воспитателю.

— А что?..— спросил Тимур.

Кайиш-ата виновато объяснил:

— Я приказал все подношенья вьючить. Пока мы обозревали город, все, что нам подносили тут, увьючивали. Ведь нам спозаранок — в путь, когда ж еще вьючиться! Книга эта тоже уложена со всем остальным. Где ж ее теперь искать?

— Да, в путь. Скоро в путь. Время — к вечеру.

— Там, дедушка, дом, в котором все ученые мира жили. Осталась одна лестница.

— Все ученые мира?.. Всех не соберешь.

Кайиш-ата наставительно напомнил Улугбеку:

— Великий повелитель собирает ученых со всего света в Самарканд. Ныне у нас там их больше, чем во всем мире.

Тимур строго возразил:

— Всех их как собрать? Они — по всему миру.

— Хулагу-хан, говорят, тоже собирал! Они там писали книги. У них было пятьсот тысяч книг,— сказал Улугбек.

— Знаю. Мне тоже говорили об этом. Хулагу-хан собирал себе. Себе, чтобы не досталось другим. А сам и не знал, ни чем заняты ученые, ни что написано в этих книгах.

Тимур не знал, чем бы еще опорочить славу Хулагу-хана. Он смолоду насмотрелся на обычаи монгольских завоевателей. Он помнил поросшие травой городские площади Самарканда, Бухары, Термеза. Он одного к одному собирал себе соратников, чтобы бороться с завоевателями. Он нападал на караваны монголов, ставших беспечными от самоуверенности, он нападал на их стада, топтавшие былые пашни, превращенные степняками в пастбища, он, обросши соратниками, нападал на городские базары, чтобы изгнать оттуда монголов. Он развертывал свои походы все шире и шире. Он уверял и себя и других, что ведет борьбу за освобождение земли от монголов для тюрков. Тюрки шли с ним отбивать Хорезм у Золотой Орды, тюрки шли с ним отвоевывать у монголов Иран, Азербайджан, Армению. Тюрков водил он на Золотую Орду, чтобы поразить монголов в самом их сердце. Много дорог пройдено, много еще надо пройти. Он изгнал их из Индии, но они еще владычествуют в Китае. Но прежде чем изгнать из Китая, надо пройти через степи самой Монголии, уничтожить их там. Но прежде чем идти на Монголию, надо закрепить за собой эти земли: нельзя у себя за спиной оставлять Баязета Османского,— у Баязета опытные, закаленные в походах, отважные воины. И воинов этих у него не менее двухсот тысяч. Такую силу нельзя

оставлять у себя за спиной. Столько дел у человека на земле и так мало времени! Он все ходит и ходит по всем дорогам, по всем дорогам...

— Ты понимай, кого хвалишь!— продолжая прохаживаться по келье, строго сказал он Улугбеку, хотя и не хотел обижать своего любимца в эти последние часы перед долгой разлукой.— Ты понимай, кто что совершает, кто для чего совершает... Где оно, что построили сами монголы? Где книги, ими написанные? Где их ремесла, их города? Где? Они только чужое брали. Только чужое! Тут, эту Марагу, этот Дом Звезд, здешние строили. Не на монгольском, а на арабском языке они написали здесь свои книги, на персидском. А монголы были среди ученых? Здесь, в Мараге, были? Хоть один? Ни одного не было! Здешние перехитрили хана,— он им Дом Звезд строил, книги им свозил. А хану не это было дорого, ему — только б было где коням пастись, да назад бы в степь, да великим бы ханом сесть. И было так: бросил тут все, кинулся в степь, да опоздал,— другой его опередил,— Хубилай. Пришлось вернуться в Марагу. И так все они. Тохтамыш тоже: хотел ученых к себе переманить,— они не поддались, не поехали. Силой кое-кого к себе в Сарай завез, а они от него назад сбежали, едва он ослабел. Нет, ты их не хвали. Ты всегда понимай, как и для чего свершают люди свои дела.

Халиль-Султан видел, что Тимур раздражен словами Улугбека, хотя и скрывает свое раздражение. Но чем так задел Улугбек Тимура, Халиль понять не мог. С тревогой вслушивался он в слова деда. Он знал ревность Тимура к монголам, еще в юности много горечи принял от них дедушка. Халиль знал, как неутомимо, всей своей силой, всем своим могуществом шаг за шагом, всю жизнь захватывал Тимур область за областью, страну за страной, вырывая их у монголов. Но как некогда сам Тимур с горстью смельчаков кидался на многочисленного и сильного врага, так потом, то тут то там, горсточки смельчаков кидались на многочисленные воинства самого Тимура. И не всегда ему давалось справиться с этими смельчаками сразу, иногда это длилось долго, отнимало много сил, наносило войску большой урон. Почему дедушка никогда не думал об этом, почему, думая о нападении на него десятка или сотни смельчаков в завоеванных областях, дедушка не вспоминал своей молодости. А, может быть, помнил?

Тимур вдруг подошел к Улугбеку и, сощурив глаза, как бывало при великом гневе, но не с гневом, а с укором, сказал:

— Ты говоришь: Хулагу-хан строил, дед твой тоже строит. То-то, что не «тоже». Тот строил чужое, чужими руками и для чужих. У него своего ничего не было. А мы свое строим. Что было порушено, поломано у нас монголами, что за годы их влады-

чества утрачено, надо назад вернуть. Сразу по всей тюркской земле не отстроишься. Самаркандом начали. Еще кое-где. Но у нас свои строят, по-своему. А чужих мастеров я собираю, чтобы они нашим помогли. И чтоб они строили нам наше.

И вдруг крикнул, будто в гневе хотел перекричать противника, а не оробевшего юнца:

— Наше! Запомни это!

Но тотчас подавил свой гнев и тихо, почти шепотом договорил:

— Вот она, в чем разница!

Он подошел к двери, как бы раздумывая, уйти ли, еще ли поговорить. И вернулся к Улугбеку:

— Мы идем, идем... По всем дорогам. Что ни дорога, везде наши могилы остаются. Везде остаются. А у них, у монголов... могил-то и они много оставили, а зачем шли? Все вытоптали. Где у нас вода текла, поля были, все вытоптали. И у нас, и в других землях, куда б ни дошли! А что взамен принесли? Что построили? Сам Чингиз-хан, богатырь, мудрец, а и тот,— даже могилы не осталось. Бугор в степи — вот и вся могила. А на бугре — трава и кобылы пасутся. Вот тебе и Чингиз-хан...

Халиль-Султан понимал, что все эти мысли долго накапливались в душе дедушки, что не все он сказал, может быть, даже не сумел всего сказать. Но Улугбек нечаянно задел у деда нечто такое больное, наболевшее, чего сам Тимур никогда прежде не высказывал никому.

Только теперь Халиль-Султану понятнее стали и дела и замыслы деда. Но чтобы их понять, еще многое следовало узнать и о многом подумать: да и все ли было понятно самому деду в его делах?

А Тимур говорил:

— Тоже — Тохтамыш... Скорпион! Кого видит, того и жалит. А зачем? Я его пригрел, он на меня кинулся. К себе в Орду пришел, ордынцев поразорил. Русы его щадили, своими делами были заняты,— ему бы сил набирать да строиться, а он на русов кинулся, на Москву. От русов к Литве убежал, его там пригрели; а он Витовта обманул, повел на Едигея, у Едигея себе Орду отнимать. Хотел себе орехи чужими зубами грызть. Едигей Витовту зубы выбил, да и Тохтамышевых не поберег. Так и кидается из стороны в сторону со своим жалом. Скорпион! Монгольский выкидыш...А у нас свой дом. Нам надо чинить его. Вот как... И Едигей из того же мяса. И кости такие ж, как у них у всех!..

Мысли Тимура кидались из стороны в сторону, и он не хотел или не мог высказать то главное, что наполняло его не то тревогой, не то болью.

— И ведь живучи! Ходишь, ходишь, а они все по-прежнему. Сколько ни ходишь,— все по-прежнему.

Неожиданно он подошел к двери. Постоял, глядя на деревья. И ушел.

Все они смотрели ему вслед, как, даже хромая, шел он гордо и властно; быстро, но неторопливо.

А он вернулся в ту комнату, где прежде сидел на темном ковре, но на ковер не опустился, а прошелся, поддаваясь покою одиночества.

Он хорошо помнил свою молодость, помнил, как одной лишь отвагой, дерзостью начинал борьбу с могущественными ханами. Эту борьбу он не всегда вел честно. Честно он ее редко вел: он был слабее своих противников, и честность в такой борьбе была опасным союзником. Нет, он любил заставать врага врасплох. Он привык к ночным переходам, когда другие боялись выйти в степь, и успевал далеко уйти от одних противников, чтобы внезапно накинуться на других. У него были разные противники, но все они были единым врагом, сколько бы их ни было. И он добился победы над ними, всех уничтожил. Одних так, других иначе. В том-то и дело: он хорошо помнил свою молодость и очень хорошо понимал, что она прошла, давно прошла, пятьдесят лет назад. Он стал другим, но когда являлись не многочисленные, не могущественные враги, а маленькие шайши, их-то и боялся! И стремился всех до последнего истребить там, где поднимались восстания. А восстаний бывало много,— года не проходило, чтобы где-нибудь кто-нибудь не восставал: лет тринадцать назад восстал Ургенч. На другой год поднялись сарбадоры в Сабзаваре. В том же году поднялся Герат. Потом Исфаган. И везде за оружие брались простые люди, не монголы поднимались на него, а города, им же освобожденные от монгольского ига! Он в пример всем расправлялся с повстанцами, без пощады. Но вот и в эти дни, здесь, опять и опять поднимаются люди на него, как сам он когда-то поднимался на монголов! А ведь он пришел, чтобы привести эти земли в порядок; уже не первый год он освобождает их от горького наследия монголов. А здешние люди не понимают разницы... И Улугбек не понял! Книгу принял из книг Хулагу-хана. Вон сколько времени здесь хранили, полтораста лет хранили эту книгу как память о времени Хулагу-хана. А ведь сколько дорог пройдено, чтоб развеять всякое монгольское наследие, развеять эту память о них. Сколько дорог!..

Он остановился. Хлопнул в ладоши и явившемуся слуге велел позвать начальника своего обоза.

Тот прибежал, не прожевав еды, вытирая рукавом измазанные жиром губы.

— У тебя в обозе зодчие есть?— спросил Тимур.

— Двое. Есть двое. Остальных не взял, отослал с тем обозом, в Султанию.

— Один нужен. Кого из них взял?

— Самаркандца Бар-аддина, этого, который в Руме бывал, да бухарца Зайн-аддина.

— Не бухарца, нет,— Бар-аддина... Пришли ко мне.

— Как? Сейчас?

— Сейчас же, если они недалеко.

— Я их тут держу: они после вас двинутся.

— Ну так сыщи его и пришли.

Едва обозный ушел, явился слуга спросить, не угодно ли повелителю кушать.

— Нет, нет, убирайся отсюда!

И опять ходил и ходил по ковру, пока не привели к нему зодчего Бар-аддина.

Глядя на тонкого сухого старца, облаченного в белый халат, на длинную узкую бородку, седую, но с золотистым отливом, какой появляется на столетнем серебре, Тимур отослав всех прочих, сказал:

— Ты, зодчий, вернись. Отправляйся в Шахрисябз. Знаешь?

— Как же, милостивейший, бывал. Там завершают Ак-Сарай, такой дворец, каких в мире не бывало! Величайший дворец, каким не владел ни единый властелин во всей вселенной. Ни у вавилонских фараонов, ни у румских кесарей не было подобного, какой завершают вам.

— Не на дворец смотреть едешь. Иди сразу на кладбище. Там мой отец погребен. Там и Джахангир, сын мой — тоже там. Вот около, от них неподалеку, сооруди мне, как это?.. Румское слово.

Зодчий не решался подсказать, но Тимур поторопил его:

— Ну?

— Мавзолей?

— Нет. Мавзолей там есть. Ящик, куда кладут.

— Саркофаг?

— Сооруди саркофаг, каменный. Возьми мрамор и прикажи резчикам камней работать быстро. Быстро! Понял?

— Так, так, слушаю, милостивейший.

— К нему крышку. На петлях. Как сундуки делают. Петли поставь медные, золотые, какие хочешь, но чтоб не ржавели, чтоб в любой час можно захлопнуть. Понял? Как соорудишь, дай знать. Но чтоб крышка была открыта и всегда наготове.

— Милостивейший! Чтобы определить размер, надо бы знать, кому же это... предназначается?

— Это?.. Мне.

— Милостивейший! Зачем?

— Тебе, зодчий, немало лет. А?

— К восьмидесяти, по великой милости аллаха...

— Тогда поймешь: когда знаешь, что саркофаг готов, что крышка открыта и ждет, некогда станет попусту тратить время. Будешь помнить, что она ждет, и легче поймешь, чем надо заниматься, где успеть, пока она не дождалась. Понял?

— Мне помогает это сознание. Думаю: время к восьмидесяти — и спешу, и успеваю.

— То-то! Отправляйся. Помни: твое время к восьмидесяти. Надо поспеть. И держи язык за зубами. А чтобы тебе дали все, что понадобится, я прикажу.

Зодчий ушел.

Тимур сразу, наконец, успокоился и сел. Глаза его повеселели.

Он приказал звать царевичей и тех, кто прибыл сюда, в Марагу, чтобы проводить его.

Гости шумели за столом, но сквозь этот шум Тимур улавливал отрывки тех или других разговоров, когда собеседники не догадывались, что повелитель издалека может слышать их.

Несколько барласов, испытанных соратников Тимура, вспомнили о хане Хулагу. Марага всем тут напоминала об этом хане, словно он с рассветом вставал из своей гробницы и незримый толкался между людьми по всему городу, пока все не разойдутся на ночь.

Рассказчик вспомнил, как лет полтораста назад, когда Хулагу подошел к Самарканду, богатей Масуд-бек выехал ему навстречу за город и на лугу Кани-Гиль расставил для гостя шатер, затканный чистым золотом. Хулагу удовольствовался таким щедрым гостеприимством, гостил, пировал и ушел, не тронув города Самарканда.

— Золотой шатер! Весь золотой!— повторил рассказчик.

Другой, покосившись на Тимура, но не встретившись с ним взглядом, ухмыльнулся:

— Что ж, выходит, побогаче, чем у нашего повелителя!

Третий из вельмож вздохнул, не то жалея о том времени и восхищаясь, не то удивляясь, как это оно могло быть:

— Было время!.. А? Было время!

И повеселевшие было глаза Тимура снова погасли: «Живучи монголы. Полтораста лет в памяти, как пировали, как гостили! И, мол, шутя могли взять Самарканд, да не подумали!.. Как же коротка жизнь — никак не поспеешь управиться. А сам не управишься, кто закончит?»

Тимур вскоре встал. Пришлось и гостям разойтись,— следом за ним встали внуки. Надо было спозаранок подниматься в дорогу.

На заре все снова собрались.

Улугбек, поцеловав руку деда, смотрел ему вслед.

На шустром невысоком коне Тимур возвышался над окружавшими его полководцами.

Он долго был виден Улугбеку. Дедушка уехал какой-то тихий, покорный, словно обреченный на этот, им же задуманный поход.

Вслед за тем подвели коня и Улугбеку. Воспитатель и спутники окружили его. И мальчик вдел ногу в стремя.

А Тимур был уже далеко. Ожидавший его большой тюмень дружно двинулся за ним следом, едва повелитель выехал на дорогу и возглавил войско.

Снова потянулась дорога похода. По новой, каменистой, чужой земле.

Он ехал, а впереди уже стлался по земле дым пожарищ.

Четырнадцатая глава

УХО

Из Мараги Улугбек поехал большой торговой дорогой на Султанию. Вскоре пришлось остановиться: навстречу шли, теснясь, раздвинувшись во всю дорогу, войска. Обозы, обозные караулы, овечьи отары...

Густая, рыжая пыль, тяжело, лениво поднимаясь, застилала округу, и само шествие войск, и всю даль во все стороны. Лишь кое-где, в разрывах волн пыли, вдруг возникали верблюжьи ряды караванов, чьи-то воздетые на древках бунчуки и знаки.

Это шествие тянулось по всей дороге. Нужны были бы часы, а может быть, и дни пути, чтобы его объехать либо переждать.

Кайиш-ата, прокашливаясь и утираясь, наскоро посовещался с военачальниками из сопровождавшего их караула и попросил царевича свернуть на объездную тропу, где встречных не предвиделось, куда и пыль похода не дотекала.

Все круто свернули, съехали с дороги вниз, как в русло иссякшего ручья. Пригнувшись, продрались под низко нависшими зарослями лоха, сплетшегося с лианами одичалых виноградников, и вскоре гул встречного похода заглох в стороне, небо прочистилось. Стезя, виясь из-под покрова лоз, выползала на открытые холмистые просторы, и безлюдные просторы открылись далеко вперед.

Ехать пришлось гуськом — то поодиночке, то по двое, и не столь скоро, как обычно. Облака время от времени заслоняли солнце, но не омрачали светлого, погожего дня.

Ехали перекликаясь, перешучиваясь. Там, где удавалось пробираться в ряд втроем или вчетвером, не спеша разговаривали.

Обочь от Улугбека двигались: воспитатель царевича Кайиш-ата и сопровождавший своего ученика историк Низам-аддин.

Улугбек сказал:

— А дедушка теперь где-то между армянами!

— Монголов с них сгоняет,— поучительно ответил Кайиш-ата, памятуя слова Тимура, накануне сказанные в Мараге, в келье царевичей.

Историк смолчал, покосившись на воспитателя.

Было за полдень, когда поперек дороги, спустившейся в овраги, пролег небольшой ручей, говорливо струившийся по камушкам, обмытым до голубизны.

Отдых казался преждевременным, но, попав на эту дорогу не по замышлению, а нежданно, стоянок заблаговременно нигде не подготовили, а потому решили стать здесь, не зная, будет ли впереди место удобнее этой котловины среди холмов.

Дорога отлого спускалась к ручью и так же отлого выходила из ручья на тот берег. Лишь вдали она круто взбиралась на холмы, выжженые засухой до желтизны, и там, по холмам, разбрелись белесые пни сплошной поруби,— видно, в некие годы здесь рос густой лес, да кем-то начисто сведен,— может быть, воинами Тимура в их минувшие приходы сюда. Только этот след и остался от людских посещений; все остальное — холмы, пригорки, взгорья — безлюдствовало, безмолвствовало, миролюбиво, безмятежно распростершись под небом погожего дня.

Лишь над отлогим берегом, над лужайкой у воды, уцелели два древних дерева с узловатыми ветвями и редкой листвой. Но когда, ослабив подпруги, коней отвели пастись и на лужайке расстилали кошмы, в сени деревьев обнаружились сложенные из валунов очажки под котлы, а вдоль ручья там и сям в примятой траве оказались черные круги от чьих-то недавних кострищ. Путники, видно, издавна повадились отдыхать на этой тропе, а то и ночевать здесь, у слабенького, но свежего ручья.

Кайиш-ата насторожился: что за люди странствовали стороной от наезженных дорог, кому полюбилась эта извилистая обочина? Еще суровее стал он, когда в траве около свежего кострища подвернулась связка новеньких подков — семь подков, связанных ремешком.

Как матерый кабан, опасливо вступая в неизведанную лощину, внюхивается, вглядывается, так и Кайиш-ата привередливо оглядывал ближнюю округу: не по нраву ему эта ложбинка у ручья, открытая со всех сторон беззащитная лужайка. Вокруг горбились пригорки, среди пней поруби кое-где торчали кустарнички. Стан царевича Улугбека оказывался здесь словно на дне котла. Но что поделаешь — вперед послали воинов и слуг подыскать на незнакомой дороге места последующих стоянок, ибо по всему видно,

еще дня два предстояло пробираться этой дорожкой среди междугорий, доколе не прочистится от обозов большая дорога.

Слуги поехали, а пока вперед идти некуда, и Кайиш-ата приказал становиться здесь на ночь.

Приказал становиться, но душа не лежала к этой котловине: не для стана, для разбойничьего привала хороша такая укромная берлога. И старый воин беспокойно и строго приглядывал за всем, блюдя наказ повелителя бережно доставить царевича под сень бабушкиной опеки, в Султанию.

Пока устраивались, Улугбеку постелили одеяла поверх кошмы, и он стоял на постели босой, распахнувшийся, беседуя с историком и поглядывая на хлопоты слуг и воинов. Улугбека тешила деловитая толчея на дорожных привалах, пока устанавливались шатры, собирались и отправлялись на свои места дозоры и караулы. С хрустом и треском наламывалось для очагов сухое топливо, а самые котлы вваливались в ручей для мытья. Окрестность проснулась, очнулась, словно обрела новый смысл и зажила новой жизнью, ибо в ее лоно пришло много людей, и у каждого нашлось здесь столько неотложных дел и столько забот.

В черном лоснящемся халате, узко затянутом по бедрам и широко раскрытом поверх пояса, стараясь не сутулиться, Кайиш-ата то являлся к Улугбеку, то снова спешил приглядеть за всем, всем распорядиться, каждого поместить в должное место.

Но когда он поехал осмотреть караулы, улучив этот момент, историк не без ехидства усмехнулся вслед воспитателю:

— «Согнать монгол с армян!» Это не мух с меда сдунуть.

— Много хлопот у дедушки!— откликнулся Улугбек.

— Вчера повелитель изволил сказать о монголах, будто это дикость какая-то!

— А что?

— Над ханом Чингизом есть мавзолей, а никакой не бугор. Уж это зря — мавзолей там есть! Почему повелитель это бугром величает? И еще у них сотни монастырей. Будды в монастырях. Свитки древнейших рукописаний. Здания нелепые, причудливые, но тоже есть. И как ни нелепы, а величественны.

Улугбек вспомнил слова Тимура, слова жгучей досады на монгольских захватчиков. Там, в Мараге, стоя у стены в келье царевичей, историк Низам-аддин тоже внимал этим словам. Низам-аддина поразили несправедливые суждения повелителя:

«Разве он не знал, что еще за сотни лет до того сложены монастыри и храмы в кочевой монгольской степи, написаны неисчислимые свитки священных преданий, сказаний, повестей. В монастырях и в храмах по стенам, по коже, по бумаге изображены затейливые, как сны, события, чудовища, обитатели небес и недр, соитие блаженных душ и мятежных тел. Руками самозабвенных

мастеров высечены из камня, отлиты из бронзы, выточены из кости образы самого Будды, пленительных бодисатв, мудрецов, отшельников, подвижников, блудниц. Из сей сокровищницы ничего не вывезли, никому не дали, ни одному из покоренных народов, никому ничего не дали из этой сокровищницы монгольские завоеватели. Но об этой сокровищнице не мог не знать Тимур, всю свою молодость проживший среди монгольской знати. Не мог не знать!»

Мимо своих монастырей прошли по родным степям монголы в чужие степи на дороги войн, на завоевание вселенной. Будда не вдел ногу в стремя нашествия. Он лишь проводил их долгим взглядом, глядя вслед людской суете и корысти, и опустил глаза для созерцания и тысячелетних раздумий в тишине и уединении степных монастырей и храмов.

Кочевая степь ушла на завоевание вселенной, и не Будда, а сотни шаманов, рокоча хвостатыми бубнами, сопутствовали злу, вопреки незыблемой мудрости мира.

«Неужели,— размышлял историк,— шаманские пляски заслонили от повелителя ту далекую Монголию, которой он не видел, но о славе которой не мог не слышать среди спесивых, хвастливых, чванливых монгольских владык? Дым, смешавшись с пылью, застилал небеса, когда шли монгольские полчища, но с тех пор, за сто лет, в стране Джагатая пыль нашествий давно осела. Зачем же он закрывал глаза, когда мог видеть тысячелетнюю мудрость монголов?»

Правда, благочестивый историк Низам-аддин не почитал мудростью нечестивые шаманские шабаши, и самый буддизм представлялся ему мерзким язычеством. Но купцы, бывавшие в монгольской степи, на расспросы историка поведывали о монастырях, о свитках, о непонятной красоте, притаившейся, пригревшейся среди кочевых просторов, как змея в камнях.

«Разве Тимуру не случалось слышать таких же рассказов от очевидцев? Нет, он знал, но пренебрег истиной!»

Историк не понимал, что воин смотрит не на наряды врагов, а на их оружие, что воин не глядит на убранство врагов, дабы оно не мешало ему видеть меч или копье в их руках, не внемлет слову врагов, дабы оно не мешало ему понять их замыслы.

— Монголов стряхнуть — не мух с меда сдунуть,— повторил Низам-аддин.

— Философствует,— полупрезрительно, полунасмешливо отозвался о своем воспитателе Улугбек, явно подражая историку.

— Невежда! Сорок лет стоит при Мече Справедливости, а на деле — как был, так и есть — степняк! Какова была голова, и поныне такова...

— А дедушка к нему милостив. Видно, есть за что: дедушка попусту не жалует!

— Повелителю мечи нужны, а от меча мечтаний не требуется; ни чувств, ни мыслей.

Беспрекословное, бездумное повиновение, установленное в войсках, историку казалось низменным. Он с неприязнью, с пренебрежением относился к военачальникам и соратникам Тимура, за которых, за всех, мыслил один Тимур. Но чем острее становилась в историке эта неприязнь к бездумным соратникам повелителя, тем пышнее выражал он им свое восхищение. Всю дорогу он искал самые обольстительные слова, когда случалось говорить даже с Кайиш-ата, и тем сильнее ненавидел этого степняка, замечая его равнодушие к велеречию, безразличие к самому историку,— даже седло он, пожалуй, ценил выше!

— А дедушка все равно стряхнет!— вдруг убежденно и весело, повернувшись лицом куда-то в сторону большой дороги, сказал Улугбек.

— Ну да! Кто же сомневается!— торопливо согласился историк.

Историк понимал, что, стряхивая монголов с плеч народов, некогда покоренных монголами, Тимур возлагал на эти плечи свое бремя. А было ли тюркское бремя легче монгольского, Низам-аддин не задумывался: он жил не среди чуждых ему народов, а у стремени повелителя, коего величал Мечом Справедливости, хотя, выходцу из разоренного Ирана, ему и Тимур был чужд.

Но Низам-аддин, хотя и не писал своей истории в походе, памятливо примечал многое в окружающей походной жизни, чтобы в спокойном месте, затворившись, писать книгу, которую намеревался назвать «Зафар-нома»—«Книга побед». Для описания дел и слов повелителя историк выискивал в своей памяти примеры и прообразы из давних событий, из дел и речений давно минувших мудрецов и владык. Размышляя о делах и словах повелителя, историк отвергал все, что не согласовалось и не имело подобия в деяниях и в речениях великих мужей древности. И, не желая смешиваться с толпой неграмотных, грубых сподвижников повелителя, историк терпеливо покрывал свою голову чалмой, обременительной на глухих пыльных дорогах, но удобную в пути войлочную шапку не желал надеть, дабы не уравнять себя с Кайиш-ата, покрытым, как все на походе, простою шапкой. Историк был убежден, что его ум не зависит ни от каких велений владык и времени. Был убежден, что лишь его ухо, ухо историка, слышит сердцебиение своего времени. Он не задумывался, достаточно ли только слуха, чтобы понять меру сил и здоровья людей и сокровенный смысл событий: ведь столь часто случается, что сердце

бьется размеренно и спокойно, когда болезнь или кинжал уже готовы остановить его. Он доверял лишь своему уху: оно было для него единственным мерилом.

Кайиш-ата тоже не подозревал, что по чужой, а не по своей воле живет и воинствует всю свою жизнь, что по велению повелителя, а не по влечению сердца, не по склонности всех своих сил живет он. Он и не подозревал, что повиновение повелителю давно заменило в нем все собственные желания. Он искренне верил, что недаром шумели годы походов, сотни битв и схваток, когда сердце Тимура и сердца его воинов бились одним биением. Кайиш-ата казалось, что с годами у всего огромного воинства стало биться одно, единое для всех, сердце: все понимали друг друга со взгляда, с одного движения, у всех сложились общие привычки, склонности, никто никому ни в чем не хотел уступить, никто не мог ни отстать, ни отгородиться. Тем и крепла сила этого из десятков тысяч сложившегося войска. Годы понадобились на это. Но чем суровее и опаснее были те годы, тем крепче соединяли они людей между собой. Историк, сторонний наблюдатель событий, не постигал этой главной истины, определявшей исход многих битв и побед Тимура, ибо редко была у завоевателя другая опора в чужих пределах, среди ненависти чужого народа.

Такие, склепанные в одну махину, полчища воинов шли за своим вождем, подминая страну за страной, подавляя народ за народом, и не задумывались, не было ли бедой для других, то что для них самих было благом.

Да и разумел ли кто-нибудь тогда такое благо, которое могло бы стать благом для всех?

Во вселенной многие жаждали могущества. Некоторые овладевали могуществом. Но никто из могущественнейших не догадывался в те времена, что величайшим могуществом мог овладеть лишь тот, кто, упрочивая свое благо, другим народам нес не зло, а тоже благо: могущество крепло не только силой своих плеч, но поддержкой друзей, готовых подпереть своими плечами друга, если одному не хватит сил для тяжких нош, для больших подвигов.

Этого не знал македонец Александр Двурогий, хотя в поисках блага для себя он сплотил десятки тысяч отважных воинов. Он покорял многие страны и победоносно прошел через весь мир, какой только мог охватить своим разумом. Но воинства его схлынули, как волны океана с прибрежных скал, а скалы остались прежними.

Этого не знал Чингиз-хан, добывая блага своим сподвижникам и в чаянии тех благ соединяя монгольские племена и роды. Но монгольское благо завоевателей было злом для тюрков, для

славян, для иранцев, для всех иноплеменников, до кого бы ни дотянулись монгольские копья, до кого бы ни долетели смертельные стрелы, для всех, кто стиснул зубы под тягостью монгольского блага.

Тимур был уверен, что знает благо, насущное для тюрков. Монгольское благо для них было злом, и это зло надлежало искоренить, возвратить вселенную ко временам благоденствия, каким Тимуру представлялась жизнь до монгольских нашествий. Он приметил трещину в монгольском щите и ударил по ней, будя ненависть своего народа к чужестранным завоевателям. И, сокрушая монгольское иго, он полагал, что творит благо для всех. Он был беспощаден с теми, кто это благо считал бедой. Историк Низам-аддин походы Тимура почитал за благо.

Трещиной в щите Александра Двурогого и в щите Чингиза, как и во всех щитах прочих завоевателей, было то зло, какое они несли покоренным народам. Это зло порождало ненависть год за годом, разрастаясь, расширяло трещину в щите завоевателя.

Ненависть, как зерно, могущественно прорастала на угнетенной земле, прорастала годами, десятилетиями, столетиями, и в свой срок росток вдруг отвердевал мечом и разрубал щит завоевателя, свершая благой подвиг, ибо освобождение от угнетателя всегда есть благо и добро.

Ненависть порабощенных, угнетенных, покоренных народов и есть та трещина в щите угнетателя, которая расширяется, доколе не разломит щит, как бы крепок и велик он ни был!

Так за двадцать лет до того на Куликовом поле Дмитрий Донской пробил выкованный Чингизом щит Золотой Орды, полтора столетия подавлявшей Русь.

Так Ян Гус и Ян Жижка прозрели трещину в перехлестнутом белым крестом, в прокопченном ладаном щите римского папы, поднятом королем Сигизмундом над добрым народом Чехии, и готовились ударить по католическому щиту в те годы, когда Тимур наносил удар за ударом по щиту Чингиза, придавившему страны Азии. Щит Чингиза трещал и разваливался под яростными ударами тюрка Тимура.

Но Дмитрий Донской, Ян Гус и Ян Жижка на своих щитах поднимали заповедную мечту соплеменников и соотечественников, а самаркандский щит Тимура множеству вольнолюбивых тюрков казался тяжелее, чем обветшалый щит Чингиза, множеству тюрков, мечтавших жить на своей земле без чужеземных щитов над головой, жить хозяевами родной земли, своей отчизны. Но этому не внимало ухо иранца Низам-аддина, прижатое к стремени повелителя.

Не раз случалось, что меч Тимура, занесенный во имя сокрушения монголов, ударялся то в иранские, то в тюркские, то в иные

щиты несговорчивых, непокорных народов. И Тимур неистовствовал, впадая в ярость от того, как непонятливы все эти народы, не желавшие признать, что щит Чингиза есть зло, а щит Тимура — благо.

Из неприметных расселин, таясь в безмолвных холмах, хозяева своей земли следили за караваном Кайиш-ата. Караван стал на дне котловины у прозрачного ручейка. Старик в белой чалме, в светлом сером халате беседовал с мальчиком, стоящим среди одеял. По напускной важности старика хозяева поняли, что не он главный в этом стане. Мальчик был одет нарочито как все воины на походе, но мальчик не воин и на него не обратили внимания. Все остальные суетились, двигались, каждый чем-то был занят и увлечен, и хозяевам долго не удавалось понять, кто же главный там, среди этого муравейника. Они видели высокого старика, сутулого, но вдруг распрямлявшегося, что-то кричавшего то в одном, то в другом месте стана. Они видели и сосчитали воинов, несших караул и свободных, видели семерых воинов, отползших от суеты в боковую ложбинку и там, под сенью редких кустарников, расположившихся на разостланных халатах. Все свое оружие они сложили в стороне, засучили рукава и предались отдыху, занявшись игрой в кости. Только один из них иногда вставал и отходил к десятку лошадей, стреноженных, отпущенных попастись вдоль ручья, где трава посвежее. Стоило этому воину подняться на холм, пройтись по его колючей от засохшей травы макушке, и воин увидел бы за этим холмом такую же ложбинку, в ложбинке лошадей, а возле — несколько десятков хозяев своей земли, притулившихся в укромном уединении этого места и готовых снять стрелой каждого, кто заглянет к ним. Однако из стана никому не было досуга бродить по окрестным холмам, искать и разглядывать соседние ложбинки: благо есть место, где позволено постоять станом.

Стан охранялся. На всех тропинках стали караулы и засады, словно нападающие не могут миновать тропинки. Словно люди не ходят по целинной земле. Незащищенным оставили русло ручья, словно маленький, коням по щиколотку, прозрачный ручеек, устланный мелкой галькой,— не дорога для тех, кто вздумает обойти караулы.

Хозяева своей земли следили за станом. Они видели слуг, увлеченных возней с котлами, с очагами, с топливом. Среди слуг были и соотечественники хозяев этой земли,— их легко было опознать по рыжим высоким колпакам, по синим казакинам, опоясанным красными кушаками. Долговязый, сутулый старик на поджаром коне обскакал все тропинки вокруг, оглядел, хорошо ли стоят караулы. Хорошо стоят, правильно, не подпустят врага к стану, если враг пойдет на них по дороге, если пойдет правиль-

ным строем, охраняя крыльями голову, по заветам хана Чингиза. Даже если б среди ночи, пренебрегая тьмой, на стан напала вражеская конница, в стане успели бы подняться на оборону. Опытный воин расставил караулы и засады и оборонил свой стан на глухой дороге. Но хозяева своей земли высматривали не воинскую сметку, не силу, а слабость бывалого воина.

А семеро воинов, ускользнувших из-под присмотра военачальников,— а может быть, это была засада, засланная сюда военачальником?— увлеченно играли в кости.

Среди воинов, данных в охрану царевича Улугбека, состояла и та сотня из войск Султан-Хусейна, что ходила в Марагу ловить разбойников, да вернулась с пустыми руками. А в этой сотне шел и тот десяток, где кашгарец Заяц осенью проиграл свое ухо опасному игроку по кличке Милостивец. С тех пор всю зиму и всю весну по всей сотне не переставали подтрунивать над незадачливым Зайцем: стыд и срам воину, не способному отыграть назад собственное свое ухо! А Милостивец во все это время мытарил Зайца: охотно вступал в игру, но едва кашгарец ставил на кон ухо, отвиливал от игры, ловя всякий повод, прикидываясь, что вдруг вспомнил о неотложном деле, что кто-то его кликнул, и прерывал игру, вставал, поглубже засовывая за пазуху или бережно и медлительно закручивая в кушак пресловутое ухо, давно иссохшее, завернутое в затвердевшую тряпицу. Заяц же, помышляя лишь об отыгрыше, лишился в игре всякого благоразумия, всякой осмотрительности. Он не раз пытался поставить на кон свое уцелевшее ухо, мечтая лишь отыграть отрезанное. Но Милостивец, втягивая Зайца в игру, шел лишь на простые ставки — на мелкую походную добычу, довольный, что отчаяние туманит голову Зайцу, что, в запале наращивая ставки, он всегда играет до полного проигрыша. Вокруг всегда собиралась толпа воинов, знавших обоих игроков. Каждый раз, едва заводилась игра, окружавшие заключали между собой условия, ставя одни на Зайца, другие — на Милостивца, словно не двое отважных воинов Повелителя Вселенной, а два перепела бились смертным боем!

Уселись они и в этот день в стороне от толчеи, в затишье, пометать кости, попытать удач. Давно не выпадало случая поиграть: то кому-то из них случалось маяться в карауле, то одного посылали в разъезд, а другого ставили в караул, то оба попадали в караул, но в разные концы стана. Наконец выпал денек спокойно поиграть.

Расстелили попону. Сели. Подогнули подолы халатов под колени ..

— Так...— сказал Милостивец.— Что ж делать?

— Начнем!— прикидываясь спокойным,откликнулся Заяц.

— А ставка?
— Не к чему время тянуть,— ставлю ухо на ухо!
— На отыгрыш? А как ценишь ухо?
— Говорю ж: ухо на ухо!
— Нет. То ухо мне на большой ставке досталось. А толку что? Держу, держу его при себе, а выкупа нет. А нет выкупа — оно в цене падает. Чего стоит ухо, когда у тебя сил нет его ни откупить, ни отыграть? Второе выиграю, два уха за пазухой понесу, а польза есть? Нет. Этак возьми два ореха, да и носи за пазухой. И то: на орехи хоть кто-нибудь польстится, а ухо твое кого прельстит, когда ты его откупить не в силах?

Оскорбительные слова! Вскочить бы, да меч наружу, да отстоять бы честь, смыть бы кровью хулу!

Хулу-то смоешь, а ухо так и останется не отыгранным, не откупленным! Тут таков оборот, что и кровью пятна не смоешь. Надо смолчать, стерпеть, снести срам до отыгрыша. А уж потом посчитаться с хулителем за дерзость, за весь позор. Тогда, если и накажут, по обычаю, кровью за кровь соратника, и на казнь можно стать с достоинством!

Заяц стерпел, миролюбиво спросил:
— Как же ты его ценишь?
— Срезанное?
— Ты же говоришь, оно дороже моего целого!
— Дороже! Ему цена...— Милостивец, прищурившись, словно все подсчитал, назвал наконец, такую цену, что все ахнули: «Ой-вой, вот как дорожится!»

Заяц, кое-чем поживившийся в Мараге, держал все накопленное серебро наготове за пазухой.
— Может, скинешь да без игры дашь выкупить?
— Выкупай! Но скинуть — не скину.
— Столько дать не могу.
— Играй. Ставь на половину. Два раза выиграешь — твое счастье. Проиграешь — эту половину серебром отдашь.
— А если свое ухо выставлю?
— Приму за полцены. К живому уху доложи серебром. До полной цены срезанного. Выиграю — у меня два твоих уха будет, а что в них за корысть? Полцены доложи серебром, при выигрыше мне хоть капля серебра останется. А без этого что?
— Ох, дорожишься!— заколебался Заяц.

Но, давно приглядевшись к Зайцу, в игру вмешался десятник Дагал:
— Прими-ка меня в игру.
— Что ставишь?
— Ухо почем считаешь?
— Я сказал.

— Скинь, пойду на ухо!

— А сколько поставишь?

— Этого хватит?— спросил Дагал, кладя на кон золотую, замысловатую, как кружево, серьгу, украшенную подвесками из лалов.

— Что ж одну кладешь? Парой им было бы веселее!

— Хватит!

Прежде чем дать противнику кости, Милостивец наметанным глазом осмотрел серьгу, подкинул ее на ладони и, дабы соблюсти порядок, заспорил:

— Что ж это? Одна серьга! За такое ухо!

— Какое такое? Хозяин с осени, за всю зиму, не осилил его выкупить. Чего ж оно стоит?

Милостивец не мог опровергнуть эту истину, а Заяц с похолодевшими губами терпел посрамленье: о его собственном ухе говорят, как о какой-то кызылбашской серьге! О аллах, сколько серег, да и колец, да и кое-что покраше прошло через руки хожалого воина, а все не впрок! Кто-то копит, собирает, гремит в поясе и кольцами, и запястьями и под седло заправляет лоскуты парчи, а у Зайца добро не держится. Как бы эта добыча была тут кстати! Случилось бы в Армению пойти, небось снова кое-что к рукам пристало бы. А тут вон, поди, другие пошли в Армению, а Зайца — назад, на голую дорогу. Пока вернешься да достигнешь той Армении, что же там останется!..

Заяц все же вмешался в спор, заявив о своем праве метать первым:

— Я еще не отказался; ставлю в полцены правое ухо, докладываю серебром.

— Наш почтеннейший десятник принял мою цену. Уговор у нас твердый. Ему и метать.

Заяц покорно уступил, пощупывая закрученную в поясе кое-какую мелочь. Как ни щупал, перекрыть ставку Дагала он не мог: кружевная серьга с лаловыми подвесками — большая ставка.

Дагал взял кости и метнул.

Покатившись, они легли было, но одна из них, отскочив чуть в сторону, ударилась о складку кошмы и задержалась на ребре.

Заяц на лету подсчитал: «Семь!»

Но кость с ребра легла на бок: «Пять!»

Заяц обрадовался: «Проиграл!» Он сам не понимал, почему ему было бы легче, если б его ухо осталось за прежним хозяином. «Пять! Меньше не бывает! Прощай серьга, почтеннейший десятник!»

Сощурившись, чтоб скрыть ликующий взгляд, метнул Милостивец.

Кости раскатились, но вдруг, как живые, сбежались навстре-

чу друг дружке и легли рядом,— невелико выпавшее Дагалу число — пять. Но изредка выпадает и меньшее: «Четыре!»

Дагал протянул черную ладонь, и Милостивец, хмуро порывшись за пазухой, вынул ухо и положил десятнику на ладонь.

Дагал шутливо подкинул на ладони заскорузлую плоскую тряпочку, содержавшую ухо кашгарца. Ухо, некогда внимавшее колыбельным песенкам, соловьиным свистам, шепотам милых красоток, громоподобным воинским кличам, мольбам поверженных врагов и воплям пленниц, ухо воина, личное ухо Зайца, стало вдруг собственностью десятника Дагала, и он шутливо подкидывал его на ладони, словно прицениваясь, чего оно теперь стоит, это его имущество.

Заяц замер: в новых руках это ухо казалось ему намного дальше, чем прежде. Втайне он надеялся, что, выиграв у него, набрав в разных играх вдесятеро больше, чем можно запросить за ухо, Милостивец смилостивится и возвратит ухо природному хозяину, но теперь в руках Дагала этот выигрыш оказался наравне с любой вещицей, кидаемой на кон, и он вправе за нее спросить, сколько бы ни взбрело в голову.

В довершение позора, зрители, дотоле молча толпившиеся вокруг, теперь обрели голоса и перешучивались насчет Зайца. Что-то кричали ему такое срамное и обидное, что и понимать их не хотелось!

Ерзая на коленях по потной попоне, Заяц принимался то скрести спину, то снова щупал в поясе убогую марагскую добычу и не знал, что делать, как вдруг его язык, будто сам по себе, выговорил:

— А если б мне выкупить, почтеннейший?

— Можно. Сменяю. Стоит оно — доброго коня. Давай, сменяю на коня.

— Коня?!

— И не из табунов. А жеребца под седлом. Возьму. Пока не приведешь, на другую цену не согласен. Все слыхали мое слово, братья?

И воины, толпившиеся вокруг, наперебой подтвердили:

— Слыхали слово!

Это был железный уговор, и Заяц понял, что слово, сказанное Дагалом,— булатное слово. Надежда на отыгрыш ушла, наступило время несмываемого позора, и этому позору не будет конца. И что бы он ни свершал, какими бы подвигами ни отличился, навсегда останется позорищем и посмешищем всего войска одноухий воин, ненадежный для игры, слабый для богатой добычи. Он бы пошел на все, стал бы самым свирепым и самым отважным из всего войска, но это была бы служба Повелителю Вселенной, а

ухо перекатывалось на ладони десятника. И никакой кровью, никакой отвагой не вырвать его назад из этой растопыренной ладони, шутливо перекатывающей почернелую, плоскую, заветную тряпицу.

Но Заяц попытался еще раз:

— Я бы поставил на кон другое ухо.

— При всех сказано: ставь коня. Но если очень желаешь, соглашусь: ставь ухо на ухо, а коня в придачу... Коня отдашь до осени. Не повезет взять коня в битве, выкупи у тех, кому повезет, а как пойдем стать на зимовку, приведешь мне коня. При всех поклянешься привести,— я поверю, подожду.

— Клянусь!

— Ухо на ухо, коня в придачу?

И мертвеющими губами Заяц повторил при всех:

— Коня в придачу...

В это время кто-то догадался, что подошло время побывать у котлов. Все давно проголодались: выехали до света, а теперь солнце уже клонилось к вечеру. Прервав игру, пошли к котлам.

Дагал добыл у повара баранью кость и с завидной ловкостью, одним рывком губ, сдернул с нее начисто все мясо.

Воины, спеша угодить десятнику, одобрительно засмеялись.

Дагал же, словно совершив удалой подвиг, взял еще одну кость. Рванул мясо, но оно не поддалось. Прикусил его покрепче и еще рванул. И опять ничего не вышло.

Сердито он вернул кость повару:

— Что ж, сырым потчуешь? Сперва надо допечь, а уж тогда и воинов потчевать.

Повар оправдывался:

— Баран больно жилист. Тут не своего стада берешь,— хватаешь, что попадется. Не самаркандская баранина, не с Гиссарских лужков. Тут, бывает, и не разберешь: козел козлом, а зовется бараном.

Но Дагал, наметившись на новую кость, поучительно напомнил:

— У хорошего повара и козел слаще дыни!

— Истинно. Да ведь жилист! Что ж мне, эту кость царевичу подать, а вам ляжку?..

Пока ели, стемнело.

Кайиш-ата беспокойно поглядывал, угодят ли царевичу повара,— старику впервые выпала забота об Улугбеке,— не при повелителе, не под крылом у бабушки, а в чистой степи вся забота обо всем свалилась на одного воспитателя.

Историк затребовал было каких-то разносолов, но Кайиш-ата беззастенчиво напомнил ученому, что в степи и в походе город-

ским прихотям потакать не будет. А Улугбек радовался грубой еде, ибо все простое, воинское напоминало ему привычки деда. И эти повадки Улугбека примиряли воспитателя с воспитанником.

Пока совсем не смерклось, постелили постели. Воины разлеглись по обе стороны ручья, поближе к прохладе.

Кайиш-ата еще раз поехал проверить караулы. Стан затихал, стала слышна какая-то степная птица, попискивавшая невдалеке, среди холмов.

Уже совсем стемнело, и дремота овладела людьми, и то там то тут раздавались сонные вздохи, всхлипывания, всхрапы... Птица смолкла. Высоко над головой сплетались, переливаясь, созвездия. Еще попищала и вскоре опять смолкла...

И вдруг посреди стана во тьме, будто черный обвал ввалился в котловину, загрохотал топот множества коней, как бы несметный табун помчался на приутихший стан.

Улугбек еще лишь приподнимался из-под одеяла, но Кайиш-ата с одним только кинжалом в руке уже встал над просыпающимся царевичем.

К ложу Улугбека, расстеленному на земле, мчалась из тьмы волна неведомых всадников. Через мгновенье все было бы растоптано копытами, все, кто тут лежал. Один Кайиш-ата принял налет грудью в грудь, еще думая, что это чей-то табун сюда прорвался, коля кинжалом подвернувшегося коня, другого ударив плечом, и всадники, плохо видя во тьме, проскакали по краю одеял, на которые свалился с разрубленной головой воспитатель царевича, своей тяжестью валя с ног привставшего Улугбека.

Кайиш-ата растил свой опыт в битвах с большими, сильными войсками, в осадах городов, в неотразимых приступах на могущественные крепости, в искусной обороне от коварных, но известных врагов, а гнев простых людей, их неукротимая отвага, их порыв к битве не были изведаны опытным воином Тимура, и ни он сам, ни его посты, зорко стоявшие на своих местах, не поняли, откуда взялась посреди стана эта сеча во тьме.

Ибо не орлом с распростертыми крыльями, не беркутом, не по заветам хана Чингиза, а словно клинок меча, вонзилась внезапная конница в самую середину стана, разбрасывая срубленные головы успевших подняться, топча лежавших.

Крепким ударом разломив стан, как спелый арбуз, надвое, с разбегу мстители проскакали до конца лощины, рубя саблями всех подвернувшихся, и возвратились на растерявшихся воинов снова, прежде чем те опомнились и кинулись к лошадям, которых спросонок и в кромешной тьме никто не успел достать. Налетев с той же скоростью, мстители отбили воинов от разбредшихся коней, нанося клинками и копьями удары, удары, удары...

Иные из нападавших напоролись на копья или не успели отбить удары мечей и сабель. Но весь стан был истоптан, истерзан, все смешалось — вспышки разметанных костров, взблески сабель, и тьма, и сеча, взвизги лошадей, и храп, и хрип, и возгласы боли, и вопли торжества. Крутящаяся тьма, исполосованная, словно зарницами, искрами от ударов булата о булат, подков о камни, искрами сухой травы, занявшейся от углей...

Не в силах ничего понять в этом круговороте, Улугбек выполз из-под тяжести мертвого тела, привалившегося к нему. Вскочив, ткнулся в историка, бившегося как в ознобе, и, кинувшись в сторону тишины, вывернулся из коловорота ночной сечи туда, откуда не слышно ни толчеи, ни топота, и побежал.

А у ручья, где заночевал десяток Дагала, нападение пронеслось, никому не повредив: мстители прокрались в стан руслом ручья, глушившего конский топот. Выбираясь на берег, они еще лишь свыкались с тьмой и проехали, не заметив спавших воинов. Не спал только Заяц: поутру, сразу после первой молитвы, они сговорились с десятником Дагалом метнуть. Даже если весь стан встанет на поход, они успели бы метнуть,— бросить кости —это одно мгновенье, а об условии договорились. В случае проигрыша, Заяц отдает в этот же день последнее ухо, а осенью перед зимовкой приводит десятнику коня. Раздумья гнали прочь сон, и Заяц первым услышал странные топоты и разглядел всадников, кравшихся в стан. Он юркнул в сторону, бормоча:

— О аллах милостивый! Кто это? Кто это? Сперва осмотреться! Кто это?

К этому времени, промчавшись через весь стан, мстители мчались на стан обратно. Топот их, и лязг сабель, и толчея сечи приближались к ручью и к Зайцу.

Перескочив через ручей, Заяц смутно видел столпившихся в схватке сперва на берегу ручья, а вслед за тем среди самого русла.

Заяц отбежал, гадая, где ему безопаснее, но все еще топчась возле всадников. Так же быстро, как и появились, все поскакали куда-то в сторону и снова схватились там.

Перед самым Зайцем в распахнутом халате пробежал Дагал, держа перед собой, как свечу, саблю.

Кидаясь за ним вслед, Заяц спохватился:

— О аллах, мое ухо там!

Услышав за собой топот Зайца, ничего не разбирая во тьме, Дагал обернулся и взмахнул саблей, но, видно, сам не ожидал, что будет рубиться: сабля, свистнув, выскользнула из ладони и, метнувшись над Зайцем, исчезла.

Навык ли воина, упоение ли битвы кинули Зайца на Дагала, прежде чем оба опомнились, и простым ножом (единственное, что

при нем было) Заяц заколол десятника. И уже не прислушиваясь, далеко ли, близко ли бьются люди, потянулся к поясу Дагала, где, верно, спрятано ухо. Но пояса на десятнике не оказалось, и неоткуда было узнать, где он его оставил, где потерял, сам ли снял, в сечи ли ему сорвали... Не было уха и за пазухой: какая ж может быть пазуха, когда халат распахнут!

Улугбек бежал из котловины в гору. Здесь — ни толчеи, ни топота — все это позади: котловина клокотала, как закипевший котел.

Улугбек бежал в гору, когда на тропе его остановил караул. Их было всего десяток. Десятник не сразу понял и не сразу опознал царевича.

Но голос Улугбека, горячий, гневливый, нетерпеливый, приказывал. Звал их скорей вниз, в котловину. Не дожидаясь ответа, Улугбек прыгнул в чье-то седло и увлек за собой покорный, ошеломленный караул в гущу схватки.

На подъезде десятник остановился было, всматриваясь в непроглядную темень, не чая удачи при такой сутолоке, но царевич мчался вперед, в самую сечу, и отстать, оставить его без себя никто не посмел. Весь десяток кинулся следом и с размаху с горы, с привычными кличами, вонзился, как перед тем вонзились в котловину хозяева своей земли, в толпу всадников.

Внезапное появление свежих сил, тьма, мешавшая разглядеть, велики ли эти силы, спугнули мстителей.

Сеча пресеклась.

Редко, глубоко дыша, как после тяжкой ноши, Заяц стоял над Дагалом, не понимая, что ж теперь делать, где же оно, заветное ухо.

Вдруг с топотом мимо снова пронеслись всадники. На несколько шагов отстав, вслед за ним проскакала лошадь без всадника. Заяц не успел даже отстраниться, его забрызгало не то водой, не то мокрым песком.

— Ушли?

Сразу все стихло. Осталась лишь тьма да чадившие, потрескивающие каким-то горящим жиром, рассыпанные повсюду тлеющие угли.

Заяц перебрел через ручей и затем торопливо, вороватo вглядываясь в землю, вдруг наклонился над чьим-то распростертым телом, ощупал его, ощупал голову... Чья-то незнакомая, может быть, разбойничья голова...

* *
*

Из тьмы повсюду слышались стоны, зовы о помощи.

Лишь когда небо, туманясь перед рассветом, позеленело, огляделись.

В измятой траве всюду пораскинулись изрубленные, истоптанные воины. Не столько было порублено, сколько потоптано. Некоторые отползали к ручью. Между людьми валялись и лошади, пробитые копьями, некоторые из них, не в силах шевельнуть ногами, приподымали беззащитные головы. Кто держался на ногах, все бродили между павшими.

Улугбек, вернувшись на свою кошму, разглядывал распростертого поперек одеял Кайиш-ата. Бледный, ссутулившийся историк тоже откуда-то прибрел сюда и стал возле царевича.

Подошли и те трое военачальников, что в подчинении у Кайиш-ата вели свои сотни на охране каравана.

Один из них после долгого молчания вздохнул:

— С двух ударов.

— Нет,— возразил Улугбек,— он на них кинулся, коня ударил кинжалом, другого толкнул плечом, а они его раз ударили и проскакали мимо. С одного... Саблей.

— Ну как же раз? Голову рассекли, по темени, один удар. Ухо начисто ссекли — другой удар.

Но Улугбек упорствовал:

— Я видел: одним ударом его сбили. Только одним!

Военачальник не посмел препираться с царевичем и заговорил о делах.

— Как теперь быть? Кто ж караул возглавит?

Улугбеку, как внуку повелителя, надлежало ответить. Ему на глаза первым попался историк, и Улугбек, поворотясь к нему, распорядился.

— Вы сказали, будто в своих местах принимали участие и отличились в битвах. Возглавьте.

Никак не ожидавший этого Низам-аддин как-то странно присел на одну ногу, попытавшись поклониться царевичу в ответ на небывало лестное предложение, но растерянность его была столь очевидна, что кто-то из военачальников, не сдержавшись, ухмыльнулся.

А в это мгновенье перед Низам-аддином открылся весь ужас, вся бездна нового положения, в какое он попал: он даже не знал, как поставить, а когда надо — как поднять, а когда подойдет время — как остановить войска на походе. А в случае боевых дел, знал лишь одно: прочь с дороги, подальше от вражеской конницы, от грубости воинов, и не представлял себе людей, которым было бы приятно и желательно ввязываться в битву или жертвовать головой. Как же быть, когда вдруг понадобилось заявить о своем усердии?

— Не может быть!— бормотал он.— В Иране — песчаные пустыни; там одно, здесь совсем иное. Не могу. Нет, нет, не могу.

И наконец, уже не скрывая страха перед своим новым положением, признался:

— Я этого не могу!

Тогда Улугбек, смутно припоминая какие-то поучения Низамаддина, своего учителя истории, напомнил ему:

— А дедушка во всех странах одинаков. Ему — пески ли пустынь, горы ли, города ли... Всегда одинаков: он видит врага, а не землю под врагом. А враг — везде враг.

И втайне гордясь, сколь памятлив, и радуясь своему царственному праву решать важное дело, Улугбек, отворотясь от историка, обратился к старшему из военачальников, благосклонно поклонившись:

— Прошу вас... Дедушка ценит вас.

Это короткое, вскользь сказанное признание, что Повелитель Вселенной где-то, при неведомых обстоятельствах, оценил заслуги этого старого своего соратника, ударилось радостным, ликующим, молодым румянцем в дряблые щеки седого воина, и он, в свой черед растерявшись, только кланялся:

— Пожалуйста, пожалуйста.

А историк опустил глаза со стыдом, но и с облегчением, со сладостным восторгом, что беда прошла мимо.

Старый военачальник, еще не утишив радость, побежал к коню, чтобы переставить караулы, осмотреть людей, сообразить, какое дело нужнее при этих непредвиденных делах:

«Догнать бы, да наказать бы, проучить ночных разбойников! Но их давно и след простыл, с полуночи-то... Да и этих холмов вокруг никто не знает. Тут, когда не знаешь, где ступаешь, и холмы-то не только что чужды, и враждебны все!..»

Неподалеку, в толпе воинов, вдруг раздался громоподобный смех. Смеялись одни заливисто, другие — визгливо, третьи — хмурым, ухающим смехом, но смеялись все. Смех, столь неуместный здесь, где надо приступить к рытью могил, привлек внимание всего стана. Услышал его и Улугбек и велел разузнать, чему обрадовались люди.

Историк вознегодовал:

— Дикость! Опасность вот она, рядом! Чуть что, и разбойники снова тут, и голову с нас долой! А им — ха-ха-ха!..

Вскоре, ведя за собой Зайца, толпа приблизилась к царевичу. Один из Дагалова десятка объяснил:

— Этот вот, по кличке Заяц, проиграл ухо нашему десятнику.

— Ему не я проиграл.

— Как так? Дагал-ата твое ухо выиграл?

— Мое.

— Видите. как путает! А Дагал ночью предстал перед presto-

лом всевышнего, и теперь сей Заяц клянется, что еще прежде нападения свое ухо успел отыграть. Мы усомнились. Он нам его представил: завернуто в тряпицу, в ней прощупывается ухо. Мы были склонны поверить, хотя свидетелей при игре не было. Но у нас есть — вот он,— кабулец Пулат. Очень приметлив! Он щупал, щупал, а затем спрашивает: «Ты какое ухо отыграл? Заяц пощупал голову и говорит: «Левое». Кабулец к нам ко всем обратился: «Бывает ли, спрашивает, человек с двумя правыми ушами?» Мы отвечаем: «Нет, таких не видывали». Взгляните же,— говорит кабулец,— тут правое и у Зайца на голове правое!» Развернул тряпицу, все видим: правое! Вот и смех: как прикинулся нас одурачить, а выходит — самого себя!..

Воины, даже в присутствии царевича, не смогли сдержаться, и смех загремел снова.

Улугбек попросил показать ему ухо. И на развернутой тряпице, как драгоценность, это ухо показали царевичу. Ухо было не слежавшееся, давно засохшее ухо Зайца, свежее, со свежим срезом, поросшее седыми волосками.

— Где ты его взял?—спросил подъехавший военачальник.

Заяц, потупившись, глухо повторил:

— Это мое. Отыграл.

— А проиграл когда?

Здесь стояли соратники, помнившие, как еще в Султании, осенью, было проиграно злосчастное ухо. Кто-то ответил за Зайца:

— Осенью.

— С осени?.. А это только что отрезано!

— Где взял?— спросил Улугбек, приглядываясь к уху. Вдруг он схватил это ухо и, отбежав, наклонился к покойному воспитателю.

Все окружили царевича: ухо Кайиш-ата!

Заяц, срезал в темноте первое попавшееся ухо, не ждал, что опять скоро понадобится показывать его перед всем народом. Рассчитывал, что оно отлежится в поясе, что, вернувшись из поездки, когда немало дней пройдет, он объявит о своем отыгрыше... И проговорился, прохвастался!..

Страшно Тимурову воину выпасть из доверия у своих соратников, а тем паче у своего же десятка. От оплошавшего соратника все заспешили отмахнуться: не дай бог, обо всех подумают, что таковы!

— Что это за Заяц?—спрашивали они друг у друга.— Никогда он никому не был по душе!

Вдруг один приметливый воин, возившийся около мертвого Дагала, нашел у него в рубахе под мышкой тайничок,— а там и се-

ребряные, и золотые добычи, и ссохшееся Зайцево ухо. Приметили, и то, что Дагал не порублен, а заколот. А нападение совершено на конях, сеча шла с коней, как же и кто мог заколоть Дагала?

И тогда, катаясь по земле у ног Улугбека, Заяц, сбиваясь, захлебываясь, во всем покаялся.

День стояли в котловинке, разбираясь в делах,— кто пал, кто изранен и до Султании не доберется, кто остался в караулах, и не пограблен ли караван.

Караван оказался целехонек. Но потери велики — из каждого десятка четверых не досчитывались.

Военачальники, собравшись к Улугбеку, судили Зайца.

Они просили Улугбека не щадить виновного:

— Войско на походе...

Улугбек, выслушав свидетелей и признание злодея, вспомнил, с какой твердостью, как сурово дедушка добивался круговой дружбы среди воинов. А тут воин заколол своего же десятника, срезал ухо начальнику царевичева караула и потом, как жалкий пленник, гнусил слова раскаяния, пытаясь не только каяться, но и лгать. А ложь в устах воина — тоже тяжкий грех.

Лишь историк, уставший от всех событий, привалился к скомканной кошме и накрепко заснул, приоткрыв рот, словно удивленный странным биением сердца у этой зыбкой, изменчивой вселенной... Единым биением сердца у всего этого неисчислимого множества сердец, которое зовется воинством Тимура; единым биением, чего бы это ни стоило...

Улугбек сказал:

— Три злодейства.. Тридцать стрел.

И присутствующие хором, скользнув ладонями по бородам, откликнулись:

— Благодарение аллаху!

Перед рассветом, чтобы поспеть пройти подальше, пока солнце не накалит голые каменистые холмы, караван поднялся в дальнейший путь.

При сборах всех удивил историк: из бесхозяйной рухляди, разбросанной среди травы, подобрал простую воинскую шапку и надел ее, сбросив чалму:

«Враги всюду! Вдруг, глядя на чалму, примут за вельможу да и пустят стрелу! Уж лучше сберечь голову в шапке, чем чалму без головы».

Зайца вывели в степь и поставили неподалеку от тропы на виду у всего каравана.

Уже забрезжило утро, когда прямо позади злодея встали все, оставшиеся от Дагалова десятка, в том числе двое, поставленные на место Дагала и на место Зайца. И еще два десятка по обе стороны — справа и слева.

Остальное войско смотрело, не сходя с коней. Караван стоял, выжидая знака.

Солнце приподнялось из-за туманных гор. Близился зной.

Историк сорвавшимся, петушиным голосом крикнул Улугбеку:

— Ну давайте, давайте!..

Военачальники покосились на ученого, преступившего рубеж дозволенного: царевичу никто ничего не смел указывать.

Улугбек же стеснялся дать впервые в жизни смертный приказ.

Но по уставу приказывать полагалось ему. Он хорошо помнил, что дедушка тут был бы решителен и скор. Но Улугбек не знал, какое слово надо тут крикнуть.

Он молча кивнул.

Не все сразу его поняли. Но вслед за теми, что спустили стрелы, стреляли и остальные. Тридцать стрел — один прямо, другие искоса — впились в тело Зайца.

Улугбек снова кивнул, трогая коня, и воины поехали следом. Караван пошел.

Заяц остался лежать в пустой степи, топорща вверх переные стрелы, будто, прислонившись ухом к земле, вслушивался, далеко ли проходят люди.. Но он не услышал, как дружно идет по земле войско, как отдаляясь, все глуше, глуше топот...

А утро разгоралось, как сухой костер.

Часть третья

КАМНИ АРМЕНИИ

Пятнадцатая глава

САРАЙ

В Сарае в том году сентябрь выдался хмур. Через Урал, сквозь дебри Прикамья, наползли непроглядные тучи. Задождило, заветрело, захолодало, забило белыми струями ливней бревна новостроек, серую глину лачуг. Буйные заросли чертополоха поднялись на черной погорельщине.

Сарай медленно отстраивался после достопамятного Тимурова нашествия. Допреж того Орда сама обыкла творить нашествия, а пять лет назад Тимур показал ей, каково самой сносить незваных гостей.

За пять лет с маху, запросто, большого города не подымешь, да и народ поредел: многие поразбежались — кто в лесные захолустья, кто — к северу, в русские края, кто полег на полях битв под Чистополем, на Каме-реке, на волжских берегах. Немало народу уведено в полон. Но были и такие, что перекинулись к Тимуру, ушли в рядах его мирозавоевательных воинств, искать повелителю побед, а себе — добыч.

В Сарае не было дня, чтоб не вспоминали Тимурова посещенья, в беседах, на торгу, дома за едой, матери у младенческих колыбелей, отцы, сокрушаясь, что сына на помощь звать неоткуда. Не только семейств или хотя бы одинокого человека — камешка не осталось в Сарае, что улежал бы на своем месте при посещении Тимуровом.

Кто ушел, не все вернулись: обжились, осели на бежецких местах. Первыми появились купцы: им в лесах не сиделось, в битвы не манилось, в походы не шлось. Их базар манил, им на торг шлось, им у своих лавок сиделось.

И когда во все стороны от базарной площади Таразык еще зияли пустыри и погорельщина, площадь уже обстроилась рядами крытых палаток, заезжими дворами, дубовыми караван-сараями с амбарами для товаров, где кузнецы двери для верности оковали железами. И торг ожил.

Но ожил не в прежней силе. Против прежнего многого недоставало.

Купцов обнадеживало, что исконное торговое место не обманет: исстари стоял Сарай на торговом пути из Руси в страны мусульман. Первый большой мусульманский рынок на пути из Руси на базары Востока — Астрахани, Шемахи, Хорезма, Ирана, Индии... Не на местном — на перевалочном, провозном товаре рос сарайский торг, богатея перекупкой, посредничеством. Недаром первыми отстроились караван-сараи Бухарский, Армянский, Нижегородский, называемый также Русским, и какой-то странный горбатый с деревянными башенками по углам двора — Крымский, куда привозили товар христианские купцы из генуэзской Каффы, из-за теплых морей. В тех караван-сараях нередко шла мена, свершались сделки, минуя площадь Таразык, с ее огромными медными весами, от которых и пошло название площади.

Те весы, по преданию, сняты с коромысла Батыевым баскаком на нижегородском торгу, когда там со всех русских городов взыскивалась дань для сарайского хана. Доски были медные, почернели, висели на кованых цепях и столь велики, что зимами, когда в город свозили мороженые туши, на одну доску весов накладывали по три, а случалось — и по четыре воловьих туши.

И чего только ни побывало на тех весах! И тюки с генуэзскими или венецийскими клеймами и с немецкими крестами, и новгородские мешки с красными метками хозяев, и вьюки из Ирана, длинные, узкие, из коричневой шерсти с красными перевязками, и лубяные или берестяные коробья от нижегородских корабельщиков, и широкие холщовые мешки сибирских меховщиков, с нашитыми у горловин цветными — красными, зелеными, черными лоскутами для обозначения, что за меха в мешках,— красные — соболь, зеленые — белка, черные — куница, желтые — горностай: опытный глаз издали, не вспарывая мешка, видел, чем богат сибирский купец.

Каких только земель пыль ни оседала у этих весов, вдалбливалась в сырую глину площади Таразык суетливыми, тяжкими, расторопными, острыми, широкими коваными, стоптанными, всякими-разными каблуками купцов,— пыль далекой Адриатики, Великого Новгорода, душного города Бухары...

На медных досках весов до Тимурова прихода были целы и неразборчивые надписи. Однако русские купцы пытались читать те надписи и смеялись, радовались, что сюда, в этакую чужеземную даль, достигает родная русская речь, врезанная в медь лет полтораста, а то и двести назад:

«Свесь добро, да с разумом». «Гирей мерит, а глазу верит». «Весу верь по товарам, а не по гирям». «Люби товар не по весу, а по цене».

Надписи окаймляли узкой полосой каждую доску, а посредине доски в круге стояло по клейму: на одной доске — лев, на другой вздыбленный единорог.

Нынче из тех досок висела одна, с единорогом; другая вместе с цепью пропала при Тимуровом посещенье, и замену ей отковали сарайские медники, а сарайские кузнецы — железную цепь. И на новой доске, где быть бы льву в круге, вычеканили, как на деньге, имя Едигея и ему благочестивое пожелание удачи в делах. Кому была надобность в весах, весовщик, прежде чем положить товар на доску, уравновешивал весы. И каждый раз доски подолгу бултыхались то кверху, то книзу, будто тяжбились между собой торговая русская сметка и ханское ордынское величие.

Величие Едигея блюлось здесь строго. На Золотоордынское седалище он приволочился из Самарканда, не то в коннице, не то в обозе Тимура, своего поильца-кормильца. Притащился сюда не в недалеком, а в еще прежнем нашествии Тимура, лет за десять до сего, в 1391 году. Беглый полководец Белой Орды Едигей в Золотой Орде искал себе благ, суля Тимуру союз в борьбе с Тохтамышем, преданность и сибирские меха.

Хан Тохтамыш, претерпев от Тимура полный разгром на берегах Камы под Чистополем, бежал в Литву, а раскормленный на самаркандских лепешках тучный Едигей, покряхтывая, восшел на седалище ханов Золотой Орды, хотя и не всегда решался титуловать себя ханом, ибо природным ханом был беглец Тохтамыш, а Едигею, по ветхому Мамаеву обычаю, приходилось до поры до времени прикрываться именем то того, то другого юнца из послушных потомков хана Чингиза.

После сарайского пожарища, на погорелом месте Тохтамышева стана Едигею слепили кирпичные палаты, обнесли их кирпичной стеной, на углы поставили восьмигранные бревенчатые сторожки с острыми, как у шлемов, железными кровлями. И в этих сторожках посменно сидели караульные, презрительно глядя вниз, на базар, сонно — вдаль, за Волгу, а за Волгой, за далью заливных лугов, синели степи.

Пока Тохтамыша привечал великий Литовский князь Витовт, Едигей засылал иноземных купцов к Витовту, то в Киев, то в Вильну, глядя по тому, где в те годы обретался Тохтамыш, разведывать о замыслах коварного беглого хана. Надежных ордынских людей Едигей посылал в Москву к великому князю Василию Дмитриевичу, зятю Витовта, с наговорами на тестя: «Вон, мол, тестюшка-то пригрел твою змею, московского разорителя, злодея Тохтамыша. Не на тебя ли, мол, Василий, готовит тестюшка твой ту змею? А остерегаю я тебя, мол, только по издавней любви и по всей отеческой о тебе заботе. Берегись Литвы, не иди к ней в дружбу, доколе там на тебя этакая змея припасена».

Но, неусыпно ослабляя связи между Литвой и Русью, Едигей пекся лишь о том, чтобы этим ослабить и Литву, и Русь. И Москва не поддержала Литву, зять не помог тестю, когда, подстрекаемый нетерпеливым Тохтамышем, Витовт из Киева пошел в поход на Сарай. На берегах невидной речки Ворсклы Едигей подстерег Витовта с Тохтамышем и, прежде чем те изготовились к нежданной битве, сокрушил все их силы, разбросал самонадеянное воинство по речным берегам. Пали славные литовские воины, именитые богатыри. Сам Витовт едва унес ноги. Но Тохтамыш вывернулся из-под руки Едигея. И эта самая желанная добыча, ради которой вся битва готовилась, выскользнула из Едигеевых рук, исчезла бесследно. Теперь выпало Едигею не столько радости победе и достойной добыче, сколько забот о розыске хана. Пока хан был на виду, он был опасен, но не страшен. Страшен он стал теперь, когда не поймешь, с какой стороны его ждать. И второй год пребывает Едигей в неведении. Ловит Тохтамыша, разведал, что таится он где-то тут, под боком, в самой Орде; может быть, сохрани аллах, таится в самом Сарае, но нащупать его никак не дается, а пока не нащупаешь, не возьмешь.

Едигей догадывался, что так наглухо не скрылся бы в Орде беглый хан, если б не было здесь у него своих надежных людей. Значит, в самой Орде есть силы, враждебные Едигею, может быть среди самых близких слуг и вельмож есть друзья Тохтамышевы, прикинувшись друзьями Едигеевыми. Кое-кого для острастки взяли, попытали, помучили, но взято ли было невпопад, люди ли оказались твердые, ничего не выпыталось, не вымучилось.

В этой душевной сумятице, не льстя себя надеждами на расположение Московского князя, Едигей принялся чинить помехи московским купцам, рассчитывая ослабить русские города, закрыв им прежнюю торговлю с понизовыми волжскими базарами, перехлестнув речной путь из Москвы, из Нижнего, из Твери на юг, на Восток.

После битвы на Ворскле, возомнив, что Москва без Литвы присмиреет, смирится с волей Орды, Едигей московских корабельников ниже Сарая не пустил. Корабли отстаивались у берега, купцы жалобились, а сарайские перекупщики перенимали русские товары с кораблей на берег, оценивали, будто добычу, ликовали в предвкушении и впредь великих выгод, да нажглись: русские корабли ни с товаром, ни за товаром не стали ходить в Сарай.

Вскоре товар, привозимый снизу, из стран Востока, залег по сарайским амбарам, по караван-сараям и лабазам, а иноземные купцы толклись по городу, ища покупателей, грозясь, как бы ни было это разорительно, увезти свои товары назад.

Едигей чаял разговаривать с Москвой свысока. Возмечтал вернуть Орде времена Батыевы, годы захватов, баскакского хозяйничанья на русском торгу, безропотного послушания русских князей, затаивших гнев и втайне точивших мечи для отповеди.

Едигей мудрил год, мудрил другой год... И притих Сарайский базар, запустели пристани, не с любовью кланялись хану именитые сарайские перекупщики.

Уже доносили хану верные люди: сарайские купцы перешептываются, ищут управы на крутой нрав хана. А Едигей понимал: не доглядишь — взбунтуются, другого хана себе купят — сговорчивого. При Мамаевых временах ханов меняли без проволочек, не мешкая. Сам Мамай, потакая купцам, над природными ханами на этих дрожжах поднялся, доколе не ударил Дмитрий Донской с размаху по всей опаре, раскрошил всю квашню.

Уже доносили хану, что московские купцы поехали к Витовту договариваться, чтоб древний русский торговый путь по Днепру был им чист. А Днепром можно и к Черному морю выйти, минуя генуэзскую Каффу, исконной русской дорогой через Византию, через Царьград на Трапезунт, в страны Ирана, в Индию... Через Византию — к Дубровнику, к Венеции, в Геную... Знакома русским дорога и через немецкие города: до Батыева разоренья Киев крепко стоял на той дороге. Теперь в Киеве Витовт, на Едигея сердит, с московским зятем пуще прежнего захочет родства и дружбы, не откажет московским купцам.

Доносили хану и о иноземных купцах, слонявшихся без торговых дел по Сараю: генуэзцы грозятся на той неделе, как ни горько, снова грузить непроданный товар, возвратиться к себе в Каффу. Иранцы уже сговариваются плыть назад до Астрахани...

Выходило: у восточных купцов нет тут сбыта, да и закупить нечего, а русские ищут других путей. Будет в других краях, в других городах встречаться Москва с Востоком. И тогда — прощай Сарай с его деревянными рядами, с бревенчатыми караван-сараями,— сгниют впусте, истлеют, как бездыханное тело,— тишь и тлен расползутся по купеческим городам Золотой Орды.

Кинутся купцы навстречу друг другу, искать пути по Днепру — на Киев, на Смоленск, на Москву, на Тверь. Им еще прибыльнее будет, чем тянуться караванами по безводным степям на Волгу, да плыть по неделям, не видя ни единой пристани, среди своевольных кочевников да степных зверей.

Видно, ушло Батыево время: в Киеве русских купцов ныне не перехватишь, Днепра не перегородишь; видно каждому: нет уже у Орды той силы, что была при Батые, даже и той нет, что при Мамае была.

Едигею, как ни горько, подошло время поразмыслить, как из

такого капкана выйти. И выйти с честью. Как поднять торг, не суля московскому князю никаких посулов, чтоб Василий не углядел в этих посулах, до какого худа оскудела Золотая Орда. Как не упустить вниз по Волге в обратный путь восточных купцов, дабы не распустили по всем землям слух о сарайских обстоятельствах? Как, минуя оглядчивого, опасливого князя Василия, вернуть на волжские торговые пути русских купцов, чем их задобрить, какими милостями; чем их заверить, какими посулами? Окриками дел не поправишь, угрозами купцов не зазовешь:

— Этак, выходит, собственными руками задавить свой же базар!

Громоздкий, отечный, одышливый Едигей, сутулясь, похаживал по длинной узкой горнице, примыкавшей к гостевой палате, где принимал своих вельмож и вел дела.

Похаживал по скрипучим, гнущимся доскам пола, косясь на сырость, темными пятнами проступавшую по низу кирпичных стен; от них пахло плесенью, погребом. Из-за этой сырости нельзя было покрыть стены коврами,— видно, булгарские умелые каменщики, кладя ханскую палату, делали свое дело без любви к хану, без заботы о крепости и красоте стен. Небось у себя, в Булгаре, и Черную палату, и минарет крепче клали и краше!

Серый халат слегка сполз с одного плеча, и Едигей, казалось, кособочится, да и голову он привык держать с наклоном вправо, будто прислушивается к чему-то.

Похаживал один; подходил к узенькому, как бойница, оконцу, в которое видно было лишь дождливое небо вверху да кирпичная стена снизу.

— И Тохтамыш недаром где-то затаился: видит, как оскудевает Сарайский базар. Радуется, как свирепеют купцы, как злобствуют на Едигея! Таится и своего часа ждет. А то, глядишь и посулы кому-то сулит... Кому ж? В Самарканд ему уж не сунуться... Может, Москве сулит?

Похаживал, прикидывая на глаз поход Тимура.

— Султанию занял, Шемаху. Теперь ни морем, ни по берегам от Астрахани на Иран пути нет. Трапезунт отрезан, обойден. В Армении хозяйничает. С той стороны тоже пути не стало. Одна дорога осталась — от Царьграда на Дамаск. А оттуда... Куда ж оттуда?.. Нет, Тимура не обойдешь. Он, правда, купцам потворствует. Это тоже помнить надо; Тимуром купцов не застращаешь: за пропуск взыщет и пустит. У него так! Не зря сам торгует. Даже в Сарае его приказчики водятся. И, видно, богатый товар, да не ухватишься: с таким купцом не сторгуешься, Повелитель Вселенной! А Москве что! Она Днепром пробьется на Царьград, а оттуда большие корабельные дороги во все стороны!.. Жег ее Тохтамыш, эту Москву, жег, да не выжег. Эх!..

Мутное время на Золотую Орду наползло, как эти сентябрьские дожди на худые кровли Сарая.

И льет, и льет — то ливнем хлынет, затопчет, как вражья конница, то заморосит, словно туман льнет к земле, и эта морось сквозь любую стену сочится, никуда от нее не отслонишься.

В гостевую палату хана наведываются иноземные купцы порасспросить, не дозволит ли хан взять товары, да куда-нибудь плыть — либо наверх через Булгар к Нижнему, либо вниз — к Астрахани.

Знатные ханские люди, заходя в палату в халатах из ярких, из каляных самаркандских шелков, чванясь друг перед другом белизной и лихой повязкой чалмы, отвечают гостям с нарочитой благосклонностью:

— Не дозволит. Еще нет указаний. Государю недужится. Нынче выхода не будет.

А за порогом льет, льет обложной дождь.

* *
*

Льет, льет сентябрьский дождь над Золотой Ордой. Волга затянута непроглядным туманом. Тут и вспомнится прозрачный самаркандский зной, с апреля до ноября ясное небо, темная, темная густая листва над гладью водоемов, темная тень в сени карагачей и чинаров, горлинки на карнизах, гуркуя, выговаривают:

«Геворк Армянин... Геворк Армянин...»

А тут — кап, кап, кап... И дела таковы же: кап, кап, кап...

Геворк Пушок, прибыв в Сарай, сгоряча отдал часть своих товаров здешним перекупщикам. Большую часть товаров отдал под залог. Полного расчета тогда не добивался, а чем дальше время идет, тем труднее стало добиться. Теперь у многих сарайских купцов по амбарам лежат эти Пушковы товары. Лежат без движенья, ожидая сдвига в ордынских делах: сбыта нет. Купцы держат закупленный товар наготове; и продать некуда, и назад не отдают, и не рассчитываются — нечем.

Застыли дела у сарайцев, замерли дела и у Геворка Пушка: купеческая судьба неотделима от жизни всего базара. А базарная жизнь как река: то она искрится золотом, то несет муть и мусор. И в той реке отражается вся страна. Что ни день, меняется неверная река, нельзя ни на миг с нее глаз спускать... Не гладка, не пряма купеческая тропа на базаре, не утоптанна, скользка. Едва с базара отлучишься, на другом потопчешься, вернешься — будто впервые в темный лес забрел: дела переменились, давай, не щадя сил, другую тропу искать, а то и новую через бурелом протаптывать. Сентябрь на исходе, а торговли нет!

Топчется Пушок по Сараю, выманивает у купцов свои же деньги, свои же товары. По всему городу всякая тропинка, всякое бревнышко давно известны, давно прискучили. Всех купцов со всем их торговым родословьем на весь век запомнил Геворк Пушок. Делать тут давно стало нечего: сарайцы накупились, на новые закупки казны не осталось, торговать не с кем.

Надо бы, надо бы к Нижнему пробиваться, и Едигей не посмел бы Тимуровой пайцзой пренебречь, пропустил бы Пушка с индийскими товарами, да товары-то, отданные сарайцам,— не свои! Когда не свои, не рассчитавшись, не бросишь их по чужим амбарам.

В тяжелых, непривычных ордынских сапогах с желтыми отворотами по черной, вязкой, непролазной земле бродит Пушок, с тоской поглядывая на небо: давно бы время по Москве ходить.

Дощатый настил перед ларями потемнел от мокряди. С крыш стекают холодные струи, норовя залиться за шиворот. Купцы отворачиваются, при виде Пушка на глаза напускают дремоту. А было, когда у Пушка товар брали, ластились, зазывали. Нынче же никому нет охоты рассчитываться, когда торговля затихла. Но и назад закупленный товар отдавать охоты нет: купец до той поры крепок, пока деньги его вложены в добрый товар, деньги же в кошеле — это мертвые деньги, как зерно на печке день ото дня всхожесть теряет. Деньги надо держать в добром товаре, а Пушков товар хорош, надежен, только б стало кому продать.

Сто раз каялся Пушок, что не послушал дельных слов от русских купцов, с которыми из Астрахани сюда пробирался, когда звали ехать дальше, не стоять в Сарае. Не послушал, остался поторговать в Сарае, большой выгоды искал. Те небось давно в новый путь собираются, астраханскими закупками расторговавшись кто в Москве, кто в Твери, кто у себя в Великом Новгороде, а ты, Геворк Армянин, сам себя перехитрил: меси сарайскую грязь, перепродавай из левой руки в правую, из правой в левую драгоценные свои товары, индийскую добычу Повелителя Вселенной... Меча Справедливости!

Пушок шел по скользким мосткам мимо купцов, напряженно вслушиваясь, не окликнут ли его, не заговорят ли о расчете: «Забрали, мол, помним, сколько чего забрали. Как дело двинется, хоть ты нам и с большим запросом товары запродал, да дело слажено, расчет будет полный». Такое бы сказали, и то у Пушка на душе повеселело бы . Нет, отворачиваются, отмалчиваются, а многие из них не ордынцы, не басурмане — свои, армяне; хватали, не торгуясь, тем и обольстили Пушка. Как ни запрашивал, брали: товар редкостный. Хорошо бы заработал Пушок, такой барыш в Самарканде никому не снится, да теперь — ходи жди; как

милостыню, свой барыш выклянчивай! У своих же, хоть и сарайских, а все же у своих, армян!

Не в Армянском, а в Бухарском караван-сарае стал на постой Геворк Пушок. Не к лицу ему было, Тимурову пайцзу объявляя базарному старосте, селиться среди армян.

В Бухарском караван-сарае купцы пять раз за день молятся, а едят всего только два раза — перед базаром, после первой молитвы, и другой раз — вернувшись, перед сном.

Неуютно жилось здесь Пушку среди запертых келий, среди опасливых купцов из Бухары, из Самарканда, из Ургенча; каждый весело и шумно заговаривал, но едва разговор касался торговли, люди замыкались: каждый торговал втихомолку, и к армянину ни у кого здесь доверия не было: «Христианин, а с пайцзой Повелителя Вселенной. Таких остерегаться надо: никто не знает, зачем таких подсылают за тридевять земель к мирным купцам».

Но еще в Астрахани Пушок понял, что купцу место на постой надо выбирать не по языку, не по вере, а по пайцзе. В Астрахани армяне сперва его с душой приняли, а как узнали, чей товар везет, оказался Геворк Пушок и в Армянском караван-сарае, как в чужеплеменном плену.

Пушок шел через весь базар к базарной окраине, к остаткам Армянской слободы,— там остановились проплывающие из Нижнего в Астрахань армянские купцы.

Пушок шел, осторожно ставя ноги: столько липкой грязи натащили прохожие на дощатые мостки, что не было разницы между этой узкой стезей и простой дорогой...

Попадались ордынки, но при встрече с мужчиной отворачивались, заслоняясь концами платков от круглых Пушковых глаз. И над Бухарским караван-сараем сияло неприглядное целомудрие; зазвав блудницу с базара, проводили ее к себе в келью крадучись, словно с чужого склада ворованный товар несли. Другое дело — сходить на базарные задворки, где давали гостям пленницу: туда сам идешь крадучись — не велика честь на такой двор зайти, вороватому хозяину в глаза смотреть, объяснять наглому, сытому пустослову, за каким товаром зашел. А он еще переспрашивает со всякими присловьями, чтобы у гостя потом обиды не было.

Русичи веселей жили, свободней, да к себе на подворье чужих людей не допускали; туда и ордынец запросто не забредет. Русичи при Едигее и с ордынцами нелюдимы стали; больше закупали сибирский товар: меха, мед, воск, орехи, а своего сбывали мало, на Русь ездили редко да и то по особому уговору с Едигеем...

В мясных рядах высились мокрые, склизкие столбы с крюками. Сюда привоз с боен берут ранним утром, к полудню остается товару мало; Пушок, проходя, отвернулся:

«Баранина? Она в Орде суха и овчиной пахнет. Говядина синяя, жир не белый, а желтый. Бывает и зеленый жир! Конина — не для нас, сами услаждайтесь!»

На Зеленом рынке торговали огородники, крестьяне. Большая часть пригородных огородников родом была из русских городов, в плен взятые, в рабство проданные. А рабов в Орде, если у них не было своего ремесла, отпускали на землю. Выкупиться на волю никто не мог: с земли тяжкий налог и всю базарную выручку отдавали хозяевам, но и не голодали, жили семьями, считали эту жизнь за благо,— лишь бы не тащиться, как с тысячами других случалось, пешком через безводные степи в далекую Азию, а там через руки перекупщиков попадать неведомо в какие руки, неведомо на какие муки. Свой полон, как самый доходный товар, ордынцы сбывали и в Мавераннахр, и в Иран, и в Аравию, генуэзцы, скупая его у ордынцев, перепродавали в черноморских городах, турки его скупали в Каффе и в Анапе, везли за море. И люди, сторванные от родимых пашен, выловленные в родных лесах, ранеными схваченные в битвах, старцы и девушки, юноши и старухи шли, пока сил хватало, от города к городу, от базара к базару, из рук в руки, толпами, шествиями, оберегаемые конными сторожами, степными собаками.

Против такой доли доля пригородных сарайских огородников казалась почти что царской: сиди над своими корзинами, торгуй.

Они сидели длинными рядами на грязи, накрывшись дерюгами, рогожами, а то и самими корзинами от настойчивого, мелкого, бесперебойного дождя. Обросшие бородами, строгие, глядя исподлобья всепонимающими, недобрыми глазами. А в корзинах под их узловатыми, широкопалыми руками чернела редька, алела морковь — заячья отрада, золотилась репа, медью светился лук.

Не было у них заветных сладких корешков и травок, какими благоухают армянские базары в Трапезунте, в Сивасе, в Арзруме, в Карсе, в святом Эчмиадзине, в больших и малых городах армян. Здесь великие товары переваливают с корабля на корабль, со склада на склад, из амбара в амбар, а базар сер, бесцветен. Уныл и при дожде. Уныл и на солнце. Торгуют будто исподтишка: из своего амбара берут, а сами озираются, будто из-под полы тайком тянут. Добрый купец не втайне торгует, а на всю площадь, чтоб видно и слышно было из конца в конец по всему городу, чтоб видели, что за славные товары, когда отбою нет от покупателей! Так в Армении, так и в Самарканде заведено, а тут и купцы-то из своих дверей выглядывают, как мыши из нор.

Опостылел Сарай Геворку Пушку. Отвести душу шел Пушок на Армянский двор, где, по слухам, стали на короткий постой

приплывшие из Нижнего армяне, проплывающие вниз к Астрахани.

За базаром, по дороге к Армянской слободе, между досками мостовин кое-где пробивалась бойкая травка. Пушок, сторонясь грязи, жался к заборам и тынам, где росла осунувшаяся от дождя крапива, где, бодрясь, цеплялись за Пушка репейники.

Над улицей на шестах или на длинных жердях, высунутых из слуховых окон, свисало и сохло белье: серая, белая, линючая домотканина, то вдруг витиевато вышитый цветными нитками платок. Улица стала узка. Бревенчатые стены сдвинулись, оставляя лишь щель, а не улицу. Эта щель уперлась в тяжелые серые обитые медными петлями ворота Армянского двора.

Маленькая, круглая, высоко, на локоть от земли, врезанная в створку ворот, взвизгнула медными петлями калитка.

Прежде чем впустить Пушка, сквозь щель приоткрытой калитки его оглядел привратник. Оглядев, спросил:

— Откуда?

— Здесь живу. На Бухарском подворье.

— На Бухарском? Там не живут армяне.

Привратник сказал это по-армянски. Но Пушок не сразу понял речь этого худого и, видно, злобного сероглазого стража. Таким языком говорят армяне в Византии или в Генуе. Речь плавная. Но ей наперекор глядели серые глаза — жестоко, холодно, недружелюбно. И он повторил:

— Там не живут!..

— А я вот там.

— А к нам зачем?

Видно, в Сарае постоялые дворы чуждались один другого. Такой отчужденности не замечал Пушок на других базарах, где ему случалось живать.

— Из Нижнего у вас стоят?

— К ним?

— Хочу повидаться.

— Постой. Пойду гляну, есть ли такие.

И калитка перед Пушком плотно закрылась. Он слышал, как привратник, лязгнув железом, задвинул засов.

Дождь, притихший было, снова заморосил и сильнее прежнего. Мокрый холодный ветер налетал с Заволжья, с широких степей.

Сложив на животе руки, покорно и долго ждал Геворк Армянин, пока соотечественники откликнутся из-за калитки.

Отворачиваясь от мокрых струй, Пушок не заметил, как калитка отперлась, открылась и привратник, высунув голову, оглядел улицу. От неожиданности Пушок оторопел, когда услышал за спиной голос привратника:

— Ты один?
— А с кем же?
— Тогда входи.

Высоко задрав подол, Пушок перешагнул через высокий порог.

Внутри двор, мощенный синим от дождя камнем, оказался чист и безлюден. Как в монастыре, со всех сторон двора чернели низенькие крепкие двери на медных петлях с медными узорчатыми скобами. Стены выбелены. Двери черны и, казалось, натерты маслом — поблескивали под дождем серебристыми бликами. Суровый двор: камни сини, двери черны, лишь узкий дощатый карниз над белой стеной покрашен красной краской.

Видно, армяне обновили свой двор после Тимуровых бесчинств в Сарае. К тому же стены двора толсты. Пушок еще в воротах заметил, как толсты и крепки стены: тут можно было выстоять против большой осады; берегли армяне место, где складывали свой товар.

Привратник, сухощавый, хилый, шел впереди Пушка, высокомерно, как владетель двора, подняв голову, не снисходя к посетителю с Бухарского подворья.

И Пушок, видя перед собой этот уверенный, неторопливый, хозяйственный шаг, терялся и робел, словно не к соотечественникам шел, а на суд каких-то кровожадных ханов, словно вели его к самому Тимуру на суд.

Проезжие гости, сидя на синевато-сером ковре у порога своей кельи, только что кончили обед. Синей линючей холстиной вытирали жирные пальцы, каждый палец отдельно. Губы еще блестели от сала. На блюде между ними лежали обглоданные кости и остатки незнамо где добытых пахучих, горьковатых травок, всякой приятной зелени.

Их было трое, и все они теперь смотрели на приближающегося Пушка. Один, с голубовато-бледным длинным лицом, подергивал похожим на молоток носом и чмокал, дергая щекой, надеясь высосать застрявшую между зубами пищу. Его лицо облегала каштановая бородка, узкая и густая, как выпушка на вороте, нашитая искусным скорняком вокруг всего длинного лица, от висков до кадыка. Этого звали древним именем Мкртич.

Другой, круглолицый Саргис, вытирал жирные пальцы о свою кольчатую красноватую бороду, и во всем его лице, даже во всем его облике, главенствовал, казалось, только крошечный, кругленький синевато-темный нос, выставленный впереди всего лица, хотя нос этот был столь удивительно мал. Впрочем, и сам этот купец Саргис оказался очень мал ростом.

Третий же, облаченный не в купеческий казакин, а в ветхую монашескую рясу, костлявый, сутулый, смуглый, был так длинно-

ног, что, сидя с поджатой ногой, а другую поставив, коленкой он достигал своего виска. К тому же, выставив навстречу Пушку свое лицо, он пригнул голову, до бровей заросшую густыми вьющимися седеющими космами. Но борода его не вилась, опускалась длинными струями на грудь, начинаясь под самыми глазами. Руки его казались лапами зверя, до самых ногтей покрытые густой жесткой черной щетиной. Имя его было Акоб.

Все трое, склонившись друг к другу над блюдом, смотрели на приближающегося Пушка как бы одним взглядом, хотя и взгляд и глаза у каждого были особенные, таили каждый что-то свое.

Никто не встал навстречу Пушку. Все выжидающе смотрели и молчали.

Пушок, приблизившись, но не решаясь подойти вплотную, поклонился.

Армяне недружно, каждый по-своему, ответили ему молчаливыми поклонами. И опять молчали, ожидая, что скажет Пушок.

Он, постояв, еще раз поклонился.

— Узнав о благополучном вашем прибытии... Так? Чувствую желание, поскольку соотечественники... Так? Так!.. Вот и зашел.

— Наконец Мкртич ответил:

— Далеко следуете?

— Москва.

— Товар?

— Разная мелочь. Понемногу — жемчуг, драгоценных камней... Мешочек. Изделия из кости, серебряные вещи. Разная мелочь, разная. Но все в таком роде.

Круглолицый Саргис предложил:

— Вы бы сели!

Присаживаясь, бочком с краю, Пушок спросил:

— Каков там базар?

Длиннолицый Мкртич, держась отчужденно и строго, возразил:

— Мы не из Москвы. Мы из Нижнего.

— И как там?

Ответил Саргис:

— Русь добрый завозной товар всегда берет. Платить у них есть чем. Только давай, вези!

— На какой товар спрос?

— Только давай! Все берут, чего у самих не хватает.

Но Мкртич, хмурясь, поправил Саргиса:

— Дрянь не берут. Не обманешь! Жемчуг — так чтобы ормуздский. Они его гурмыжским зовут. Лалы — так добывай им

бадахшанские, алые с синим огоньком. У кого товар нехорош, лучше тут сбыть, чтоб зря не возить.

Саргис поддался любознательности:

— У вас-то товары добры ли?

— Разные. Жемчуг действительно с Ормузда. Парча — индийская. Изделия из кости, серебро — все оттуда же, Индия. И камни, какие везу...

Мкртич, хмурясь, как бы укорил Пушка:

— С таким товаром легко: много места не занимает.

— Да ведь у меня этой мелочи был караван. Вьюков около восьмидесяти еще осталось.

Мкртич и Саргис, не вставая, на коленях подползли ближе к Пушку, и Мкртич недоверчиво спросил:

— Откуда ж столько взять, чтоб все было добрым товаром?

— Самарканд дрянью не торгует!

Тогда все время молчавший Акоб, порывистым движением откинув назад космы своей седины, каким-то птичьим голосом воскликнул не то в изумлении, не то в испуге:

— Самарканд?!

— А что?

— Почему ж армянин — из Самарканда?

— У нас там полно армян.

— Живут?

Пушок еще не понял, какого ответа ждет от него побагровевший Акоб, когда Мкртич строго, как бы допрашивая, усомнился:

— И мы там бывали. Закупимся в Самарканде ли, в Бухаре ли — и домой! Вы же шествуете из Самарканда на Москву. Где же дом?

Домом Пушка были караван-сараи, постоялые дворы, степные рабаты на многих, многих торговых дорогах. Ни разу не довелось Пушку разбогатеть, занять верное место на базаре, обзавестись семьей, купить дом. Столько раз выпадало счастье; казалось, вот-вот в руках дом, семья, собственные караваны... И вдруг — ах, и ничего нет!.. Сколько раз! Всю жизнь — вот-вот... И каждый раз — ах, и ничего нет! Судьба есть судьба! Хотя языческие философы поучали, что свою судьбу человек носит в самом себе и волен ее подчинить себе... Носит в себе — с этим Пушок не спорит. Но подчинить — это не в силах человеческих: судьба есть судьба!

Но ему не хотелось срамиться перед армянскими купцами — он ответил им небрежно:

— Дом? Как где? В Самарканде!

— И велик?

— Зато крепок!

Акоб снова с таким же испугом и недоумением взвизгнул:

— И еще цел?!

Столь же недоверчиво спросил и Мкртич:

— Это у Тимура-то армянский дом крепок?

— А что?

— Вы не слыхали, что ль, каков он с армянами?

— Когда это было! Более десяти лет прошло. Да и тогда в Самарканде он армян не трогал.

— Более десяти? Да он сейчас там, у нас!

— Я слыхал, он в Армении. Да ведь он дальше идет, через Армению он только проходит! Дальше идет на Вавилонского султана...

— Только проходит? А воззвания наших пастырей? Не слыхали?

— Какие?

— А кровь, а огонь! А девушки, а женщины наши расхватаны нечестивыми иноверцами...

Акоб перебил Мкртича с отчаянием в голосе:

— А книги наши разметаны, пожжены. Святыни наши истоптаны. Не осталось камня на камне от монастырей, от городов... Я же иду оттуда! Я этим двоим только вчера тут встретился! Я это сам видел! О Иисус!..

Мкртич перебил Акоба:

— Наши дома пожжены, поломаны. Семьи неведомо где! Где сам народ наш? Мы встретили его, брата Акоба,— вот и стали на этой проклятой пристани. Не знаем, куда деваться? Куда держать путь? Армянские подворья в Астрахани разграблены. Почтенные старцы погублены. А? Он только проходит? Дальше идет? Куда? Куда идет эта чума?

— Какие воззвания? — испуганно переспросил Пушок.— Не слыхал никаких воззваний...

Мкртич, с недоверием отшатнувшись, крикнул:

— Не слыхали? Может, и нет желания слыхать?

— Как — нет? Что вы!

— Тогда слушайте!

Мкртич протянул руку к Акобу, и Акоб из кожаного мешочка, свисавшего на ремешках с его шеи, достал скатанный трубочкой потемнелый пергамент.

— Читайте ему! — гневно велел Мкртич.

Отстранив трубочку на всю длину руки, одним пальцем Акоб развернул и, прищурившись, тихо принялся читать послание:

«Вам, народ айказян, армяне! Слушайте!

Где бы ни были вы, слушайте!

Великое зло сотворено на земле нашей! Горе нам!

Безжалостный, бессовестный, свирепый, преисполненный ярости, слуга дьявола появился с востока, из города Самарканда, главарь разбойников, коновод убийц. Имя ему Тимур-Ланк!

Горе и вопль всем нам, армяне! Ибо растерзана вся наша страна от Арчеша и до Иберии, до Куры-реки Агванской, до городов Вана, до стен Сибастии, ныне именуемой Сивас, вся отдана на растерзание, на расхищение, на разбой, предана погибели, резне, насилиям, порабощению, залита кровью невинных.

Всех горестей — ни рассказать, ни описать, армяне!

Родная земля взывает к вам:

«Сын мой! Горе мне, горе! Горе дню твоего рождения, горе мне и горе отцу твоему. Горе разломанным рукам моим, что обнимали тебя, сын мой, отнятый у меня для растерзания; сын мой, кинутый в пучину горести!..»

О армяне! Помощи, помощи ждем от вас!

Это пишу я, видевший своими глазами страну, заваленную телами убитых, тысячи женщин и невинных младенцев, угоняемых, как стада, в нечестивое рабство, разрушенные города, где ничего не осталось, осквернение святынь, голод, нищету.

Голыми, без всякого стыда, босыми, подобно скоту, бродят уцелевшие среди развалин. Ни у кого не осталось достояния, некому выкупить родных и земляков из плена.

Книги наши из монастырей и сокровищниц расхищены. И даже на выкуп благих книг из нечестивого плена ни у кого нет достояния.

Я оповещаю об этом, чтобы слезами гнева омыли вы раны и язвы нашего народа.

Это видел своими глазами я, Фома, монах из Мецопа.

О армяне! Где бы вы ни были, спешите на помощь! Выкупайте из плена людей — кровь нашего народа! Паче людей выкупайте наши книги — ум нашего народа!

Читайте это слово всем армянам. Велите им передавать это слово всем армянам, которые встретятся.

«Помощи! Помощи!..»

Акоб поднял мокрое от слез лицо и взглянул в серое сарайское небо.

Мкртич и Саргис опустили головы, чтобы скрыть волнение, а может быть,— утаить тревоги.

Пушок смекнул:

«Повелитель снова шарит по армянским сундукам! Доберутся и до этих! Сам не доберется — здешний хан не упустит случая!»

Пушок украдкой оглянулся: нет ли поблизости кого-нибудь из сарайцев. И спросил:

— Вы только армянам читаете? Здесь никто не видел у вас это?..

Раздавив ладонью слезы на глазах, Акоб сказал:

— Меня послал сам вардапет Фома. Я пронес это, перешагивая через мертвецов, через развалины городов, и везде читал армянам. Везде плакали. Многие собирают деньги и посылают с верными людьми.

— А, кроме армян, вас никто не слышал?

— Пусть и нечестивые знают, как велик наш народ в дни бедствия.

— Да это же против Повелителя Вселенной!

— Это о разбойнике?

Пушок повернулся к Саргису.

— Вы будете жертвовать? Пошлете деньги?

— Горе, горе! — покачал головой Саргис.— Где наши дома? Куда деть товар? Мы подаяние пошлем. Но здешние армяне хотят увезти свой товар из Сарая.

— Куда?

— Разное думают: в Каффу, к генуэзцам. В Константинополь, к единоверцам.

Пушок смекнул: «Сбегут, не расплатившись со мной!»

Мкртич, хмурясь, добавил:

— Никто не знает, докуда дойдет эта чума. Он бывал и в Каффе, он может дойти и до Константинополя. Он может пощадить армянских купцов — такое бывало, но армянским товарам от него не жди пощады!

Пушок встал.

— Я пойду. Дела, дела!

Акоб спросил:

— Как получить вашу жертву? Народ в беде!

— Я дам, я дам. Прощайте.

Не замечая привратника, стоявшего поодаль, Пушок заспешил к воротам. Привратник намеревался со скорбным поклоном выпустить Пушка из калитки, но Пушок, торопливой рукой оттолкнув привратника, сам отодвинул засов и почти выпрыгнул через калитку наружу.

Он поспешил, не глядя ни на дождь, ни на вязкую грязь улицы, не по обочине, а серединой дороги, назад на базар.

«Они собираются удирать отсюда! С моими товарами!»

Его охватило нетерпение, решимость.

Он громко застучал каблуками по мосткам и гневно обратился к первому подвернувшемуся купцу из тех, что взяли у него в долг кое-какие товары:

— Торгуете?

— А что? — сонно и нехотя откликнулся должник.

— Давайте расчет!

— Ах, я уже говорил. Нельзя же об одном и том же...

— Расчет! — закричал Пушок.— Три тюка у меня откупили! Расчет! Немедля! Иначе вся твоя армянская лавчонка полетит в когти дьяволу!

— Что вы! Что вы! — очнулся купец.

— Расчет! Вставай, негодяй! Добывай деньги! Я иду к хану, я ему скажу! Деньги!

— Сейчас, сейчас! Что с вами? Армянин, в такие дни!

— Какие дни? Я попрошу хана спросить, какие это такие дни, чтоб увильнуть от расплаты? К вечеру чтоб были деньги, если хочешь уцелеть!

Уже высовывались из-за товаров и другие купцы. Кое-кто остановился. Выглядев тех, с которых следовало получить, Пушок кинулся и к ним.

Больше не было тихих речей, не было просьб ускорить расчеты. Пушок повелевал, кричал, наподдавал подвертывавшуюся под сапог лавочную рухлядь.

— К вечеру деньги. Полностью! Как уговорено. Ни на таньгу меньше!

Кое-кто предложил вернуть Пушку товар.

— Мне? Обратно? Бракуете самаркандский товар? Мошенники! Платить, как уговорились! Ни на таньгу меньше!

Так, пройдя по всему ряду, свернув и в ряды ювелиров, где тоже оказались его должники, хотя и мусульмане, а не армяне, пройдя и по ряду торговцев тканями, везде покричал, погрозил, побушевал Пушок.

Как на крыльях, свернул он на площадь, на вязкую площадь Таразык, где за весами виднелись ворота ханских палат.

Так торопливо, так смело ринулся Пушок в ханские ворота, что стражи не успели или не решились придержать его. Он ворвался в гостевую палату и, поднимая на ладони Тимурову пайцзу, не кланяясь, подошел к ханскому вельможе, чинно выступавшему под шелест самаркандского халата.

Вельможа благосклонно было склонил венчанную чалмой голову, но Пушок не обратил внимания на его благосклонность и, сверкнув пайцзой перед глазами вельможи, потребовал:

— К хану!..

— Нынче ханского выхода не...

— Выходов мне ждать некогда! Веди к нему!

Вельможа видел в руке купца пайцзу Повелителя Вселенной, его тамгу — три кольца: два внизу, одно сверху; и как ни поверни, так и останется: два внизу, одно сверху.

Не смея глядеть в круглые, дьявольские, налитые кровью глаза Тимурова купца, кланяясь и при том наступая на полы своего халата, он поспешил довести Пушка до ханской двери и открыл ее перед Пушком.

А когда она закрылась, поглотив их, все слышавшие беседу Пушка с вельможей поспешили на базар оповестить всех об этом взбесившемся армянине, у которого даже перед ханом Золотой Орды нет ни смирения, ни почтения, ни страха. И тогда все должники Пушка обрели страх и почтение к Пушку и поспешили выполнить его требования, вечером полностью за все рассчитаться с ним.

А Пушок стоял перед Едигеем в том длинном, узком покое, где Едигей любил, прохаживаясь, думать о судьбах стран и об участи людей, зависимых и независимых от Золотоордынского хана. В том покое, где никто не смел тревожить хана Едигея, не всегда решавшегося титуловать себя ханом, но ни одному из ханов не дававшего власти над Золотой Ордой.

Едигей, брезгливо и сурово взглянув на ворвавшегося, откинул голову, вжал ее в плечи, посмотрел на растерянного вельможу и, наконец, вник в слова Пушка. А вникнув, внял им.

Пушок, размахивая пайцзой, кричал:

— Самаркандского купца разорять? А? Что ж это? Товар закупили, а платить? Я сижу, сижу, жду, а они что? Повелитель Вселенной послал меня куда? В Москву. А тут перехватывают товар, запирают к себе в амбар — и конец. Так? Я дойду до Повелителя, он мне хозяин! Я скажу: сарайские купцы забрали твой товар! Так? Я скажу!

Едигей, разглядев пайцзу, обеспокоился:

— Кто забрал товар?

— Вот они! Все тут!

Пушок пригнулся, вытянул из-за голенища трубочку пергамента и развернул:

— Тут все! И с кого сколько! Вот они! Мне надо для Повелителя закупки делать. А в Москве как я их сделаю, когда деньги в Сарае, по рукам у сарайцев. Так? Я ж не от себя, я от Повелителя! Так?

Едигей крикнул вельможе:

— Вы что же? Купец торгует, товар расхватан, от нас помощи ждет. А вы?

Вельможа, не видавший такой строгости от Едигея, кланялся, бормоча:

— Пожалуйста! Пожалуйста!..

Едигей, не слушая вельможу, приказывал:

— Пристава ему дать. Пускай идет по базару. Все, кто тут записан, чтоб расчет... Немедля! А заспорят,— лавку — на запор, а должника — на цепь, пока не расплатится. Вот!

Но Пушок не отступал.

— К тому ж мне на Москву надо! Чтоб по дороге никаких помех! А то вон что делается: проплывешь ночь, наутро новая застава, опять стой! Река чтоб была чистая!

— Соберетесь плыть — своих людей с вами пошлю.

— Ну вот! — одобрил Пушок, все еще тяжело дыша, все еще не в силах отдышаться от своего подвига.— Ну вот! Так? Так!

Вельможа сам повел Пушка на Таразык. У весов нашел пристава и велел ему сопровождать Пушка.

— Слово хана: «Немедля расчет!» Кто заспорит, помни слово хана: «Лавку — на запор, должника — на цепь!» А будешь запирать своим замком! Понял? И ключи — мне!

Пристав повел Пушка по рядам, с готовностью спрашивая:

— Этот должен? Нет? Вспомните-ка, ведь это человек богатый. И к тому ж армянин.

И, случалось, нечаянные негаданные люди оказывались среди должников Пушка в этот хлопотливый сентябрьский день перед отбытием из Сарая.

* *
*

Сарайские сапоги Пушок носил еще с лета. К ним он прикупил рыжий сарайский чекмень из жесткой шерстяной домотканины, круглую войлочную шапку с острым донышком. Армянские кудри подкоротил, чтоб не торчали из-под шапки. И теперь казалось Пушку, нет в нем отличия от прочих сарайцев. Он был готов в путь. Но Едигей медлил с посылкой своих людей, обещанных Пушку в попутчики.

Дни ожидания Пушок не потерял попусту: из Сарая на Москву провоза долго не было, на многие азиатские товары не только в Москве, но и в Нижнем спрос возрос. И взамен тюков, сбытых сарайским купцам, Пушок богато закупился другими товарами, не столь знатными, как индийские тюки Повелителя, но не менее доходными на повседневном торгу. Закупки же свои Пушок делал задешево: сарайские армяне спешили распродаться, встревоженные нерадостными слухами, зная, что в тревожные дни деньги спрятать легче, чем товары, да и в пути они занимают меньше места.

Свои закупки Пушок предпочитал совершать среди армян, приговаривая:

— Почтеннейший, зачем дорожитесь? Хотите свой товар для нечестивых мухаммедан сберечь? Берегитесь: они у вас отнимут задаром. А я — христианин! Мне грех христиан разорять, я вам деньги плачу. Так? Зачем же перед христианским купцом дорожиться? Лучше дать дешевле, но своему, чем дать выгоду, но неверному. Так? Так!

На Бухарском дворе Пушковы закупки увьючивали, и вьюки складывали в сухих лабазах. За немногие дни вьюков набралось на целое судно. Но судна еще не было: Едигей медлил, отбирая людей, которых посылал с Пушком до Нижнего.

Наконец Пушок пошел к Едигею поторопить хана.

У ханских ворот стражи перед купцом скрестили копья.

— Нельзя!

— У меня дела! Дела! Так? Как же нельзя?

— Милостивый хан заболел.

— Почему?

— Болен! Нельзя!

Но из палат, увидев Пушка, появился в раздувающемся самаркандском халате ханский вельможа. Он выражал почтение, даже подобострастие Пушку и тут же — гнев на стражей:

— Пустите! Пустите! Не видите, разве, кто это?

Ведя Пушка в палату, он приговаривал:

— Молим аллаха о здоровье нашего милостивого хана. Болен, тяжело болен. Но я ему скажу о вашем прибытии. Иду сказать.

Все, кто был в гостевой палате: писцы, военачальники, приближенные хана, муллы — все поднялись, кланяясь Пушку. Пока он ждал, все стояли, украдкой перешептываясь:

— Пайцза Тимура...

— О!

— Самаркандский. Подослан...

— О!..

И вскоре ханский вельможа сам повел купца к хану.

Через длинную палату прошли в маленькую келью, в полутьму, где Пушок не сразу мог оглядеться. Наконец увидел хана в углу, на деревянной кровати, прикрытого стеганым малиновым одеялом.

Приподнявшись на локте, Едигей сказал:

— Поезжай, купец. Судно готовится. День-другой пройдет, можешь товар на судно класть. Да помни: будешь в Нижнем — русским купцам говори: в Сарае, мол, товару много, товары хороши, дешевы. Обид никому не будет, а барыш — всякому. По Волге, мол, люди на каждой пристани — и в Услане, и в Урде, и в Казани — до Булгара Волгу послал стеречь; русским купцам обид не будут чинить. Так и скажи. А с тобой своих людей посылаю до Нижнего, чтобы с нижегородцами уговор сделали; пускай с нами торгуют. А ты пусти по Руси весть: Сарай богат товарами, русских купцов ждет. Понял? Не правоверные ведь, — дерзкие нечестивцы, а вот зазываем!..

И хан в досаде снова повалился на подушки.

— Кланяюсь за помощь, милостивый хан, за сбор недоимок с должников моих. От души повезу добрый слух о Сарае.

Но хан уже не отвечал, катая голову по подушкам.

И день-другой спустя, на скрипучих арбах, в длинных телегах, перевезли Пушковы вьюки-тюки к Волге, на пристань. Сперва было укрыли товар рогожами, но вдруг распогодилось: засветлело небо, прорвались тучи, целый месяц недружелюбно клубившиеся над Сараем.

Наступил последний вечер перед отплытием.

Солнце, будто стосковавшись по приволжской земле, ударило рдяным, полыхающим закатом. От такой ярости света задрожали бы, зазвенели бы золотые деревья, если б их не клонил к земле крепкий холодный ветер последних дней сентября.

Летели, кружась по берегу, красные листья и, достигнув Волги, опрокидывались в нее и уплывали.

Стоя на корабле, Пушок глядел на покидаемый город.

С берега Сарай казался неприглядным: круто вверх от пристани подымались извилистые тропинки. Постройки стояли к реке задами, грязными дворами, виднелись кучи золы, перемешанной с тлеющим тряпьем. Топорщились шесты, унизанные бельем, обсыхающим на ветру. Но и там, где не сушилось белье, над крышами торчали шесты и жерди, дожидаясь дня, когда у хозяек будет стирка. Над всем городом торчали они выше серых бревенчатых сторожек, высившихся из-за тесовых кровель. Перекликались соседи, за заборами взвизгивала детвора, горланили петухи, потревоженные закатом, от которого отвыкли за дождливое время.

Закат полыхал, обагряя клубящиеся тучи.

Вдруг, заслоняя тучи, словно объятый заревом, в развеваемой на ветру истрепанной, латаной, порыжелой рясе, с волосами, вздыбившимися над головой, на берегу встал Акоб, глядя с высоты берега вниз, на корабль Пушка.

И снизу, из тьмы, из паутины снастей, Пушок взирал с испугом: на закате жалкая сермяга Акоба золотилась, переливалась, как драгоценная парчовая риза, лицо его, озаренное пророческим сиянием, казалось, проницало всю даль, простертую между монахом Акобом и Геворком-купцом.

Закат тускнел на нем, пока он нисходил к пристани.

Приметив Пушка, хотя и запахнувшегося ордынским чекменем, Акоб, опираясь о посошок, спустился по скользкой тропе к судну и крикнул:

— Э, брат армянин!

Пушок при этом окрике рад был, что Едигеевы люди еще не прибыли на корабль, а вьючники и корабельники разбирали поклажу под палубой.

— Что надо? — спросил Пушок.

— Мне с вами плыть!

— Далеко ль?

— К нашим братьям до Нижнего. В Нижнем армянские дворы полны. Понесу им послание благочестивого Фомы вардапета.

— Нельзя! — ответил Пушок. — Корабль полон. Глянь на осадку: еще чуть — и волна нас захлестнет. Нельзя!

— Я должен прочитать им послание! — решительно сказал Акоб и, опершись о берег посошком, перепрыгнул на сходни.

Пушок посторонился, помолчал и, вдруг оживляясь, спросил:

— Денег надо?

— Даяние? На выкуп?

— На пропитание, на дорогу! На! Бери, и — прочь отсюда, вон за те мешки! Ордынцы, сохрани Христос, увидят — они тебе такой тут устроят Нижний, что и Тимур-Ланк покажется родным отцом.

— Спасибо, что остерег, брат!

— И до Нижнего из-за мешков не выглядывай! Хоть бы рясу-то догадался бы снять!

— В рясе я останусь до гроба!

Пушок покосился:

— Да? До гроба?

Но на взгорье показались те четверо ордынцев, и слуги их, и караул, данный им в дорогу, ради кого и посылал Едигей этот корабль в Нижний.

Ночь простояли, размещая по кораблю поклажу.

Перед зарей, едва на минаретах отзвучали возгласы азана, на мачте развязали парус. Корабельники, упершись баграми в берег, оттолкнулись от земли, и волжские волны застучали в дощатые борта.

Шестнадцатая глава

КНИГИ

Тимур шел.

Копыта конницы стучали по каменистой, то по розовой, то по синей, по твердой земле Армении.

Между пустынными холмами, безлюдными, как кладбище, между холмами, необозримыми, как море, кажутся тенью от облаков пятна садов, чистые полосы виноградников. На склонах холмов и между садами пожелтелые, побронзовелые простерлись несжатые поля. Кое-где еле приметные, приземистые, словно втоптанные в землю, темнеют убогие землянки селений.

А на холмах, над безднами, у извилин дорог, хмурятся тысячелетние храмы, порыжелые под смуглым загаром веков, как подернутая ржавчиной сталь доспехов.

Издалека эти храмы, монастыри, руины кажутся отрогами скал, лишь подправленных рукой человека. Есть храмы и монастыри, изваянные кайлом зодчего, словно резцом скульптора, из единой скалы, где внутри — не щели, не пещеры, но алтари, приделы, трапезные, тайники ризниц, кельи — все высечено из одного камня. Его сердцевина изукрашена резьбой, колоннадами с капителями из каменных лоз, арками, нишами книгохранилищ, и все это — лишь сердцевина одной горы, нутро одного камня. Сюда в трудные дни нашествий притулиться, утаиться от врага сходятся тысячи людей, и каждый обретает пристанище.

Может быть, и в тот день внутри той или этой горы они слушали своих пастырей, пели литургию своему Христу или предавали анафеме имя чужеземца, попирающего их родину.

Несговорчивый народ, жесткий, как жестка здесь сама земля, неподатливая пахарю. Здешнему земледельцу неотъемлемой частью самой жизни кажется вечная, безысходная борьба с камнем — выкапывать ли его из пашни, чтоб расширить поле, выдалбливать ли в нем жилье, кельи, храмы, алтари. Все здесь твердо. Даже виноград хрустит на зубах, всякую виноградину приходится разгрызать, как хрящ, всякий армянин противится воле чужеземца, каждый мирный храм, едва к нему приблизишься, оказывается крепостью с неодолимой толщью стен, узкими бойницами и стойкими бойцами за решетками бойниц.

Купцы расславили эту землю, как блаженный сад,— и виноград, мол, здесь хорош, и народ смирен, и города гостеприимны, и купцы щедры. Щедрость купцов! Из каждого зубами приходится вырывать каждую горсть серебра, о выкупе торговаться до одури, пока мечом не поковыряешь эти их города, пока сотню голов не срубишь, тогда уцелевшая тысяча скаредов раскошеливается!

Но Тимур не догадывался, что иные люди приходили сюда не с копьем, а с посохом, что мирному гостю и земля видится иною. Исстари купцы находили здесь и кров, и прибыль, и гроздь винограда, нежного, пахнущего миндалем или мускусом, и кувшин воды, холодной и прозрачной, и собеседников, мудрых и ласковых, и женщин с кротким взглядом пушистых глаз.

Мирно переговариваются струя со струей в ручьях, безобидные буйволы томно, но неутомимо волокут по неровным дорогам тяжелые арбы, груженные урожаем или товарами, песни рождаются над камнями селений, светлым раздольем лежат долины, свежа тень садов, щедры дары виноградников, благоухан-

на красота тяжелых роз, когда страну эту посещает гость с посохом, а не враг с копьем.

Но на случай вражеского прихода армяне исстари в селениях своих жилища ставят приземистые, глубоко врытые в землю, неприметные для завистливых пришельцев. Кроют их земляной крышей, еле возвышающейся над землей двора, ниже соседних холмов. Достояние свое хранят в переметных сумах, всегда готовые уйти в убежище от нашествий. И прежде чем взяться за рукоять сохи, по рукоять засовывают нож за пояс, выходя из дому; в поле идут бороздою за сохой, готовые с пашни выйти против врага.

Тысячу лет жили так, дробя каменные россыпи под пашни, на голых камнях растя райские сады, багряные розы и плодоносные виноградники, снося бедствия войн, а едва забрезжит мир, нетерпеливо возвращаясь с мотыгой к вытоптанной земле.

История Армении — это сказание о тысячелетиях упорного мирного труда на неподатливой земле, о камнях, претворенных в поля, дабы камень стал урожайным деревом, мускулистой лозой, багряной розой.

Есть ли еще земля, где столько пролито крови? Есть ли еще народ, сложивший столько песен о дружбе и о любви?..

И среди всей этой страны, как могущественный черный лев, пригнувшийся к прыжку на недруга, горбится Арарат. Всему народу, всей стране виден древний библейский Арарат, священный Масис, слегка прикрытый снегом и облаками.

Тимур, поглаживая коленями кожу седла, косится на этого черного льва, с которым встречается уже не впервые.

Конь повелителя идет, позвякивая серебром набора; копыта конницы стучат по каменистой, твердой земле среди безлюдных, как кладбище, среди необозримых, как море, холмов Армении.

* *
*

Тимур косился на черного льва...

Здесь все было иным, чем в Азербайджане.

Здесь не набрасывались на завоевателей врасплох, на стоянках, из неприметных расселин. Здесь закрывались в осаду и каждую скалу, каждую башню, каждый храм приходилось брать приступом, терпя потери, как при взятии крепости. Пренебречь же, пройти мимо, оставляя позади этих ожесточенных и непонятных врагов, осторожный воин опасался. Он привык позади себя оставлять утоптанную дорогу, здесь же на всей дороге

валялись валуны, а колоть валун мечом — меч тупится и время уходит.

Жители Нагорного Карабаха, юноши Сюнийских гор, собрались в скалах и поднялись на вершину горы Бардог, называемую чужеземцами Такал-Тау, окруженную теснинами.

Когда воины нашествия зашли в узкий горный проход, защитники били их сверху простыми камнями, скатывали на них осколки скал. А стрелы, пущенные воинами, не долетали до высот, где укрываясь за камнями, армяне оказывались неуязвимыми. Не было пути, чтобы их обойти, и не было крыльев, чтобы подняться на эти выси. Здесь, в сырой горной щели, полегло столько воинов, сколько редко приходилось терять при взятии городов.

Тимуру нашли армянина, согласившегося подкупить старшину славных защитников Бардога.

Посланец Повелителя Вселенной пошел. Но путь его пролег в такой мешанине камней и раздавленных воинов, смятых шлемов и осколков скал, что пробираясь к горе, армянин размышлял и ужасался, а дойдя до уступа, где его, скрестив копья, встретили, он попросил защитников принять его в свои ряды и дозволить ему погибнуть или победить рядом с ними.

Тимур послал другого.

Этот армянин, пренебрегая страшным зрелищем, вскарабкался вверх по козьей тропе. Его не тронули.

Он поднялся на вершину скалы и увидел стан отважных. Им ложем служили бурки и войлоки, а кровлей — небесный свод. С ледников к ним стекали тонкие ручейки, но пищи с собой у людей было мало.

Среди стана, где надлежало бы сложить боевые припасы, стояли небольшие носилки, накрытые златотканой ризой.

Проходя мимо, посланец Тимура насмешливо спросил юношей:

— Видно, монастырские сокровища либо достаток своих купцов затащили вы на этакие выси!

— Нет! — отвечали ему.— Здесь только книги, собранные со всех окрестных селений и монастырей. Мы не дадим их.

— Видал воинов со щитами, николи не видал с книгами.

Но ответа посланец не дождался: его поставили перед седым человеком, рослым, жилистым. Ссутулившийся, он казался небольшим. Жесткая, щетинистая борода росла плохо, топорщась. Сквозь эту колючую седину просвечивали синеватые складки старческого лица. Он был старшиной селения Когб, именем Мартирос.

Еще в прошлое Тимурово нашествие Мартирос вышел на борьбу с завоевателем. Среди защитников крепости Алинджан-

кала, где армяне и азербайджанцы оборонялись как единый народ и устояли, Мартирос сражался в простых воинах. Вождь осажденных, славный Алтун, отличив мужество и мудрость Мартироса, поставил его начальствовать над одной из крепостных стен. Все заодно стояли, оборонялись и выстояли.

Теперь он сплотил вокруг себя новых птенцов из горных гнезд, а враг был прежний.

Мартирос поднял ласковые, мечтательные глаза на посланца и, не спрашивая, ждал.

Посланец, желая показать независимость от этой горной голытьбы и гордясь именем посла Тимура, снисходительно спросил:

— Что ж вы забрались сюда, как козы!

— Ты армянин? — спросил Мартирос.

— Армянин! — высокомерно ответил посланец.— Мой род из Карса.

— Карс разрушен! Прекрасного Карса больше нет на земле.

— А вот из-за таких, как твои оборванцы! Воюете, гневаете повелителя, он и карает вас, и ломает наши дома! Из-за вашей гордыни!

— Божья воля: одним он дает гордыню, другим — дома.

— А на что вам гордыня? Чего вы упрямитесь, когда вам и защищать-то нечего! Одно достояние с собой приволокли, да и то — книжки, которых небось и читать-то из вас некому.

— Чего ты хочешь? — прервал Мартирос.

— Повелитель сказал: сдайтесь. Каждому он подарит халат и денег, было б, вернувшись домой, каждый мог обновить свой дом, купить буйволов и смирно жить. Заупрямитесь, откажетесь — он перебьет вас!

— Если б он мог убить нас, он убил бы. Но доселе не сумел нас перебить, не перебьет и впредь.

— Э, он каждому даст рабов из числа пленных, было б, вы только повелевали б на своих полях. И каждому даст молодых рабынь.

Посланец оглянулся на собравшихся за его спиной юношей, горных орлят, и громче повторил обещание повелителя:

— Каждому молодых рабынь! А?

Но Мартирос тоже громче прежнего спросил:

— Ты армянин?

Посланец начал сердиться:

— Я уже отвечал тебе!

— Видел ты армян, возделывающих землю руками рабов? Видел ты пленных красавиц в армянских семьях?

— Вам дадут, я посмотрю.

— А что он обещал тебе? За вранье, за прельстительство, за ложь своим братьям?

— Я к вам из жалости... Он всех вас перебьет. Чуть шевельнет пальцем — и...

— Он уже шевелил сотнями своих воинов, и все они, не шевелясь, лежат внизу. Пойди сюда, глянь на своего повелителя!.. Смотри на него.

Посланец подошел к краю скалы, взглянул и отодвинулся: глубоко внизу, как в бездне, золотясь на солнце, пролегла долина, сужавшаяся к ущелью, над которым стоял Мартирос. Долина, подобная ковру с мелким узором, вся заставленная палатками, воинами, табунами коней.

Взблескивало оружие на солнце. Вспыхивали, отсвечивая, золотясь, шлемы, панцири, щиты. Десятки тысяч войск стояли у подножия горы Бардог, глядя на эту гору, не видя пути к ее вершине, не желая терять дни на обходный путь.

Два человека стояли на обрыве над долиной, глядя вниз, на высокий с золотым шишаком шатер. И снизу не могли не видеть этих двоих.

Мартирос показал:

— Ты еще не глядел сверху на своего повелителя. Глянь-ка: вон его конь. Отсюда — он не больше мыши. А? Мышь на приколе! А самого и не разглядишь,— вон они там копошатся: кто из них — он?

— Берегись так говорить!..

— Я сказал: нас он не уничтожит.

— Берегись!

— Я сказал.

— Что ж мне ему ответить?

— Мы сами ему ответим. Он, верно, смотрит оттуда сюда.

И двое защитников подняли посланца над скалой и, размахнувшись, скинули его вниз, к подножию, к повелителю.

Он видел это, ибо тотчас послал на приступ легкую конницу, но кони оскользались на косых гранях скал и шарахались назад, когда сверху скатывались камни. Тем воинам, что проскочили и уже нацелились копьями на защитников, ответом были стрелы. Легкая победа не удалась. Уцелевшие вернулись в стан.

Тимур послал на приступ отборную тысячу копьеносцев Султан-Хусейна, набранных из горцев, тысячу копьеносцев, которым поручал самые отважные дела при взятии крепостных стен. Эти тоже карабкались, оскользались, распластывались, как ящерицы, на отвесных утесах, опираясь о ничтожнейшие впадины, нащупывая малейшую шероховатость на крутизнах, соразмеряя дыхание с движением, лишь бы подняться чуть выше. Но камни и стрелы осажденных сбросили и этих. Султан-Хусейн, поглядев, как катятся, раскалываясь на скаку, камни со скал, отскакал к стану с пустыми руками.

Тимур, подосадовав у безвестной горы Бардог, пошел длинной, обходной дорогой, ибо впереди предстояло много битв и осад, нельзя было давать врагам время на приготовления к осадам и оборонам, и у горы оставил лишь сотню воинов, чтобы защитников горы Бардог, которую сам он называл Такал-Тау, взять измором. Когда защитники, выстояв в осаде много дней, узнали, что враг сам истомился и оставил их, пошли вниз.

Они шли, подняв на плечах носилки, накрытые златотканой парчой, словно несли своего царя или мудрого пастыря, главу своего народа.

Они ушли в уединенный укромный Мецопский монастырь, и монах написал там вечные слова о их подвиге на память будущим временам.

* *
*

Тимур пошел дальше, наверстывая дни, потерянные у горы Бардог. Он давал короткие дневки, заботясь лишь о конях: им нужен был отдых, чтобы дойти до цели, не дав врагам время на приготовление к осадам и оборонам. Но эти безудержные переходы изнуряли и воинов, и коней. Немало селений, монастырей и храмов уцелело, и много людей спаслось из тех, что оказались в стороне от дороги: Тимуру некогда было искать их, а отходы в сторону замедлили бы движение войск.

Тимур, казалось, сросся с конем... Он похудел от бессонной дороги, ел лишь черствые лепешки, чтобы не ждать, пока повара сварят мясо. Он потемнел лицом, ибо солнце палило, пыль пылила, а помыться и перестоять зной было негде и некогда.

И все же время от времени его отряды схватывались с армянами, затворившимися в каком-нибудь храме, или опустошали селения, если это было недалеко. Но как бы близко ни завязывались эти схватки, общее движение войск замедлялось.

Опустошив, разорив, обезлюдив Армению лет за двенадцать до того, Тимур не ждал, что повсюду придется снова сражаться, опять завоевывать то, что считалось покорной, смирной страной.

Он не мог постигнуть упорства армян, ибо, рассеянные по многим странам, они невелики числом на своей земле. Ими много лет правил Мираншах из Султании, они исправно платили дани, налоги, подати, сборы, все, что ни вздумал бы взыскать с них Мираншах, попустительствуя их купцам и монахам, щадя их базары и монастыри. Перед Мираншахом были послушны, робки; теперь же, когда Тимур пришел сюда сам, казалось бы, страх должен был подавить армян. Ведь ни хорошего войска,

ни даже царства у них в ту пору не было. А они каждый камень ставили дыбом на пути завоевателя!

Он не мог постигнуть их упорства, а непонятный враг — самый опасный, ибо при таком враге нельзя ничего предусмотреть, ничего нельзя предвидеть. И за спиной оставлять таких людей нельзя, когда идешь не городок усмирять, а в земли сильного, самого опасного из всех врагов на земле — Османского султана Баязета, коего христианские полководцы прозвали Молниеносным. Многие догадывались, что Тимур ополчился на Османского Баязета, но все видели — прямой дорогой он не шел на него, подкрадывался исподволь, обходя стороной прямые дороги на Баязетово царство. Временами казалось, что у Тимура и в мыслях нет никаких османов: путь его войск сворачивал на какой-нибудь армянский город, там сражались, захватывали и растаскивали базары или брали большой откуп с купцов, переходили горными дорогами к другому ничтожному городку, и вдруг замечали, что городок этот стоит на прямой дороге к становьям Баязета. Но, либо перейдя эту дорогу, либо снова свернув с нее, Тимур шел в другую сторону.

Самому Баязету его люди много раз доносили то тревожную весть, что Тимур ведет свое войско на него, то тревожная весть сменялась успокоительной: ушел в другую сторону.

Сам Баязет примечал лишь, что с каждой новой вестью, даже если джагатай Тимур опять ушел куда-то в горы, он все ближе подбирается к османским городам, к заставам Баязета.

Приближенные Баязета спокойно перешучивались:

— Манит джагатая наш кебаб, да боится пес нашей палки!

А Тимур, выйдя к большой дороге, остановился снова: замышляя этот поход, Тимур забыл о народах, через чьи земли пролегал его путь, упорство всяких сельских старшин, неприязнь лохматых пастухов, даже бешеную злобу их косматых собак, кидавшихся на лошадей и терзавших отставших всадников. Эти мелкие козни сердили Повелителя Вселенной, беспокоили его больше, чем встречи и схватки со знатными полководцами. А сердясь на этих врагов, мелких, как пыль, он растрачивал сил больше, приказывая то брать ничтожную крепостцу, то уничтожать людей, затворившихся в одиноком храме. Рассылал тысячников обшаривать окрестные горы, карабкаться по Карабаху, влезать в ущелья Сюнийских гор, выжигать горные леса, стращать монахов по монастырям, хотя, блюдя монгольский обычай, зря монастырей не разорял и армянских попов щадил, если они выражали свое смирение.

Останавливаясь станом, Тимур приказывал ставить его шатер всегда на вершинах холмов, откуда во все стороны видны поля и дороги, долины, засыпанные осколками скал и развали-

нами давних, покинутых городов, дабы враги, если таятся среди камней, отовсюду видели завоевателя, его несокрушимую мощь, его непреклонный путь через страну армян.

Мецопский монастырь оказался в стороне от этого пути.

Там над теснотой строений широко раскинули свои мозолистые и мускулистые ветки тысячелетние чинары и орехи. Созревала айва, прикрывая серебрящимися листьями желтые плоды, большие, как человеческие головы. Нежными ветками раздвигая каменные глыбы, густо разрослись кустарники барбариса. Сотни птиц ютились и гнездились здесь, насыщая воздух свистами, теньканьем, перекликом.

Под сенью густых крон двор монастыря казался темен, тесен, сыр. Со всех сторон высились строения — собор, кельи, трапезная. Среди жилых серых, хмурых стен просторно было лишь розоватым, украшенным каменной резьбой, древним усыпальницам — приюту умерших.

Огромные красновато-бурые и зеленовато-серые плиты плотно устилали весь двор. Хмуры, тяжелы камни стен. Низок и коренаст, как пещера, вход в собор. А резные листья чинаров, а темные листья орешин покачиваются. Свет, изредка пробившись до глубины двора, то вспыхивает, то колышется, и в этом движении теней, света в прохладе воздуха бьется столько жизни, что и двор, и стены, и монахи в побурелых рясах кажутся веселее и ласковей.

Но не веселы, не ласковы годы, рухнувшие на землю армян, как черный обвал.

Монахи приняли старшину Мартироса и сюнийских изнуренных юношей, принесших носилки с книгами с горы Бардог.

Опасались, не заглянут ли и сюда, в эту укромную тишь, воины завоевателя. Не идут ли они по следу Мартироса, как порой сутками волчья стая в горах преследует усталого оленя.

В сени деревьев, в густой тени, в тяжелой, как ряса, мгле, по холодным плитам двора расстелили чистый холст и по холсту разложили книги. Чтобы каждую обтереть от дорожной пыли, завернуть в лоскут и надежно спрятать, пока не минет бедственная пора.

Различны книги, как различны и люди — одни велики, тяжелы, темны; другие тонки, переплетены в светлую прозрачную кожу. В каждой таится смысл, неведомый, пока не вникнешь в нее. Пока не обдумаешь ее всю, от заглавной буквы до последних, завещательных строк написавшего ее.

В полумраке двора на белой холстине рядом лежали книги, а люди — монахи, сюнийские юноши, старцы, земледельцы,— столпившись, в молчании смотрели, ибо редко кому довелось

видеть перед собой сразу столько книг. А были здесь и такие люди, кому посчастливилось впервые увидеть книгу.

Не смея прикасаться ни к одной из них, стояли неграмотные горцы, пытаясь понять, как умещена мудрость человеческая внутри этих переплетов, кожаных, деревянных, холщовых, парчовых. Как из поколения в поколение беззвучно переходят громоподобные слова мудрецов, гнев людской и любовь человеческая.

Над самой маленькой из книг склонился монах Фома и поднял ее с холста. Дощатый, обтянутый холстиной переплет замыкался медной застежкой. Листки самой рукописи были много тоньше ее крепкого переплета.

Монах Фома, хилый, маленький, далеко отставлял локти, отчего на тоненьких руках широкие рукава рясы казались крыльями сокола, только что спустившегося с полета. Пальцы с короткими плоскими ногтями он зачем-то то растопыривал, то сжимал, а проницательные серовато-желтые глаза то задумчиво затихали, темнея на восковой белизне лица, то временами вспыхивали неукротимым гневом, доходящим до ярости.

Большим угловатым пальцем он расстегнул книгу, и темный взгляд потеплел: он увидел стихи покойного поэта Фрика.

Покачивая большой длинноволосой головой, словно кто-то пел ему эти стихи, монах перелистал страницы.

Все смотрели на него, ожидая, не поделится ли он со всеми великой тайной, сокрытой в пожелтелом пергаменте.

Сам ли не в силах сдержать велнение, поняв ли ожидание людей, Фома прочитал голосом густым, раскатистым, как надвигающаяся гроза, сперва негромко, потом громче, а вслед за тем — на весь двор:

В нас веры пламень не потух,—
Все исповедуем мы вслух:
Блаженна, матерь божья, ты,
Отец, бог-сын и святый дух!

Но мы неверным преданы,
Что мучат нас огнем войны,
И, храмы божии круша,
Возносят знаменье луны.

Враг наших женщин продает!
О, сколько между нас сирот.
О, сколько крови пролито
И сколько каждый день невзгод!

Доколе будем мы страдать?
Доколе в рабстве изнывать?
И ты, о боже, терпишь все!
Где ж пресвятая благодать?

И ты за нас не мстишь, творец!
Ты бедам не кладешь конец!
Ты ж знаешь, что из плоти мы,
Что мы не камни без сердец!..

Увы! Мы — не тростник речной,
Но гибнем жертвой огневой:
Ты нас покинул на костре,
Как ветку, как хворост сухой...[1]

Вдруг Мартирос сказал:

— Ветка бесчувственна и сгорает. А народ не вязанка хвороста. Народ выстоит. И в огне выстоит! Да, да!

Он решительно взял из рук Фомы книгу стихов, застегнул ее, поцеловал, приложился к ней лбом и, положив ее к остальным книгам, повелительно напомнил:

— Ну, давайте! Никто не знает, далек ли враг. Пока есть время, скроем их.

Тихо, но так же нетерпеливо спросил Фому:

— Куда их убрать?

Фома кивнул головой:

— Пойдемте!

Мартирос и Фома повернулись к людям, пытливо всех оглядели. Оглядев, позвали за собой пятерых юношей и ушли со двора.

За углом монастырской стены они увидели тропинку, по которой ходили к роднику за водой. Она круто спускалась к реке, белея между большими камнями.

В стороне от тропы между необъятными чинарами темнело грузными каменными крестами монастырское кладбище.

Вслед за Фомой и Мартиросом пятеро юношей прошли между камнями и надгробиями.

Под одним из чинаров лежали мотыги, ожидая, кому из мецопских братьев понадобится могила.

В низкой, словно насупившейся, нише, под каменным сводом усыпальницы предстала некогда розовая, но в течение веков потемнелая тяжкая гробовая плита.

Фома долго молчал над плитой, потом обернулся к спутникам, то глядя вниз, то взглядывая на того или другого из людей. Он сказал покорно и миролюбиво:

— Станем на колени, братья!

Все опустились.

Фома заговорил тихо, но его голос звучал то гневным зовом, то стоном:

---

[1]. Перевод Валерия Брюсова.

— Братья! Армяне! Здесь схороним мы мудрость мужественных людей, наших прадедов. Схороним для правнуков. Никому не ведомо, долог ли будет день невзгод. Никому не ведомо, кому суждено сгореть, кому уцелеть. Помните слова нашего брата Мартироса: вязанка хвороста сгорит, весь же народ сжечь невозможно.

Мартирос перекрестился.

Пересохло ли горло, взволновался ли он, но Фома заговорил еще тише, пресекающимся голосом:

— Нас здесь семеро. Тот, кто уцелеет, пройдет ли год, пройдут ли десятки лет, пока стихнет беда, пока восторжествует мир... Тот, кто уцелеет, когда уверится, что беда прошла и небо просветлело, придет сюда. Примет благословение настоятеля сей обители, возьмет мотыгу, вынет сокровища и возвратит их народу.

Его слушали, опустив головы, упершись взглядом в тяжелую плиту.

Речь Фомы вдруг окрепла:

— Но поклянемся гореть на костре и молчать! Замерзать на снегу — и молчать! И под ножом палача молчать! И перед гневом чужих владык молчать! И в самой могиле молчать, доколе не просветлеет небо над землями Арарата!

Он поднял голову, словно его слушал кто-то с высоты клубящихся облаков. И властно продолжал:

— Место и тайну лишь мы, семеро, знаем. Восьмого не будет! Восьмому не скажем. Клянемся: «Во имя отца, и сына, и святого духа...» Повторяйте за мной...

Голос Фомы рокотал, как надвигающаяся гроза, сливаясь с гулом остальных голосов:

— Во имя отца, и сына, и святого духа! Мы, семеро, знаем; восьмому не скажем, да поразит нас гнев божий, коль вымолвят уста наши тайну, коль назовут место, где лежит сокровище разума, веры народа нашего!.. На огне молчать, на снегу молчать, под ножом молчать! Вовеки молчать! Доколе не сгинет, как чума, бешеный пес, враг, да низвергнет его во ад господь милосердный. О боже праведный, присноблаженный, ты слышишь! Ты один слышишь нас!

Не вставая с колен, смотрели на место, которое каждому надлежало запомнить на всю жизнь, как самое заветное, что заветнее, чем сама жизнь.

Первым, снова крестясь, встал Мартирос.

— Святой отец! Пора!

Фома согласился:

— Ступай, Мартирос. Возьми с собой двоих отроков, и на-

чинайте носить, третий пусть сторожит, чтоб никто не шел за вами следом, чтоб никто не высмотрел, куда носим.

Мартирос позвал троих юношей и ушел в монастырь, а Фома позвал двоих оставшихся, дал им мотыги и велел бережно, чтоб не расколоть плиту, чтоб даже царапин на ней не оставить, сдвинуть ее, вросшую в землю.

Плита упрямилась.

Фома, помогая, уперся в нее сперва ладонями, потом, пригнувшись, узеньким плечом. Все напряглись, но плита упрямилась.

Возвратился Мартирос. Двое юношей принесли носилки с книгами.

Они опустили носилки, присоединились к работавшим... Наконец плита уступила им.

Она открыла под собой черную глубину склепа.

Фома протиснулся в щель. Повисел, нащупывая под собой твердь.

Мартирос сказал:

— Надо б кому-нибудь порослее.

Не зная, глубоко ли там, Фома спрыгнул.

Вытесанный в каменистой горе склеп внутри был сух. Некогда, может быть тысячу лет назад, может быть еще прежде, чем пришли сюда первые воины халифата, здесь был погребен знатный или святой человек, о ком ничего не сохранилось в памяти. Игумен Мецопа указал Фоме это место как монастырский тайник, куда лишь в самые тяжелые дни, в столетие раз, пряталось самое заветное, что в то или другое столетие было самым заветным для людей. Бывали годы, когда народ хранил здесь оружие, в другие годы — священные реликвии или драгоценности. Теперь снесли сюда книги. И никто не знает, что было самым насущным из того, что за тысячу лет сберег этот тайник.

Когда все книги, обернутые лоскутьями, сложенные стопами одна над другой, были накрыты плотным покрывалом, плиту надвинули на ее исконное место.

Монах Фома поклонился до земли этой плите.

Мартирос сказал юношам:

— Теперь вам, всем пятерым, надлежит разойтись в разные города, в разные области. Живите там осторожно, блюдя тайну для грядущих, светлых лет. Если в огне нашествия сгорит и погибнет один из вас, другой уцелеет в богохранимом городе. Каких бы трудов ни стоило, уходите дальше, дальше от этого места и друг от друга. Каких бы трудов ни стоило, вернитесь сюда, но лишь дождавшись, когда небо прояснится от края до края. Может быть, десятки лет пройдут, мы с Фомой, сорокалетние люди, исполнив свой земной срок, отойдем в иной мир,

не дождавшись, пока небо прояснится. Вы молоды, ваш срок длиннее. Вернитесь сюда, хотя бы через десятки лет, хотя бы согбенными старцами, хотя бы из-под десницы смерти, вернитесь, чтобы отдать народу его книги, как бы ни трудно было дойти сюда, вернитесь! Да сохранит приснoблаженный вас и твердость души вашей при всех испытаниях.

Он обнял каждого.

— Прощайте! Дети мои, милые сыновья! Будьте тверды, будьте долговечны...

Фома, прежде чем всем разойтись в дальние края, расстаться, может быть, на долгие, долгие годы, с ожесточением поднял руку.

— В последний раз мы вместе. Давайте же вместе и проклянем антихриста! Повторяйте за мной!..

И они повторили:

— Ты один слышишь нас! Молим те, Христос: да низвергнет врага во ад, да низвергнет врага во ад, да низвергнет врага во ад господь милосердный! Да будет враг проклят, проклят, проклят! На вечные времена!..

Он помолчал мгновенье, и все снова, как один, будто утверждая сказанное, единодушно повторили:

— На вечные времена!

И эти последние слова некоторые из клявшихся, изголодавшиеся, истомленные невзгодами, понесли в своей памяти не как утверждение проклятия, а как клятву верности своему делу.

Семнадцатая глава

АРЗРУМ

Повечерев, захолодало.

По серым склонам седлообразных гор влачились сизые облака.

Тимур, сколь ни рвался вперед, остановился: войска отставали.

Он остановился на окраине Арзрума в древнем армянском монастыре, где ему застелили попонами и коврами низкую, прокопченную, как печной свод, келью.

Пока замешкавшиеся повара, обжигаясь, готовили ужин Тимур, запахнувшись от сырости в теплый халат, прохаживался по монастырскому двору.

Чуть поотстав, трое соратников сопутствовали повелителю в неторопливой прогулке. Подкованные каблуки завоевателей звонко цокали по скользким, широким, как лужи, плитам двора.

Монахи, стиснувшись у тесного окна в келье игумена, следи

ли, как внизу бродит высокий сухощавый старик и, запрокидывая голову, разглядывает стены многовековых зданий. Темное лицо истомлено не то скукой, не то досадой, не то лишениями. Усы, подстриженные над губой, отпущены над уголками рта. Ноздри припухлы, словно принюхиваются, а глаза полузакрыты, и нельзя понять, смотрят ли они, отягчены ли дремотой... Но когда он вскидывает голову, монахи замечают, как пристально разглядывает он их священные стены. То разглядывает, а то вдруг зачем-то постукивает по кладке рукояткой плетки, словно это кувшины, выставленные в гончарном ряду на продажу.

Он щадил монастыри и монахов, попов и храмы, соблюдая монгольский, Чингизов порядок,— легче было договориться с десятком попов или монахов, чем с тысячами оголтелых оборванцев, всегда глядевших на победителей, ощерившись, как затравленные кабаны, чего бы им ни сулить: слову своих попов внимают благоговейно и покорно, а от милостивого слова повелителя шарахаются, как от острия копья. Но уж если монастырь воспротивится или храм укроет противника, карающий меч не щадит ни попов, ни старцев, ни святынь. То и дело требуется острастка и попам, и монахам, дабы укрепить смирение в народе, в строптивых хозяевах нищих лачуг и этого холодного неба, которое они упрямо называют своим, армянским небом.

Прохаживаясь, он молчал.

Молчали и соратники, не смея заговорить с ним, не решаясь разговаривать между собой.

Он разглядывал здания монастыря, сложенные из больших обтесанных камней.

По обе стороны ворот высились две стройные башни, украшенные витыми столбиками, вытесанными из красноватых кирпичиков. Между столбиками виднелись треугольные изваяния, а в основании каждой из башен, на обрамленной причудливыми узорами тяжелой плите, изваян двуглавый орел, венчанный венцами Византии,— память о временах, когда Византия владела и этими стенами. Далеко залетал ее орел! Ныне же султан Баязет намерен засадить того орла, как старого петуха, в свою османскую клетку...

Взмахнув по воздуху плеткой, Тимур, прихрамывая, опять пошел, по-прежнему приглядываясь к пристройкам: тяжелые камни, обжитые,— не дымом, а закопчено; не огнем, а опалено. Тяжелые камни плотно, спокойно лежат, как бы вчера уложены. А витые столбики, втесанные в их гладь, поднимаются высоко и наверху соединяются в легкие полукружия арок. Ловко вытесаны столбики, и если со стороны глянуть, мнится, будто они отстают от стены, будто тянутся к сводам, как натянутые канаты, не прикасаясь к стенам. Их венчает иссеченный из порфира

фриз со сложным сплетением листьев и лоз. И на мраморном бруске, вложенном в кладку свода,— какая-то надпись. Молитва, что ли?

Он покосился, полуобернувшись к спутникам.

— Молитва? А?

Они не поняли,— время молитвы еще не подошло, и он это сам знает. А о какой еще молитве может быть речь?

Переминаясь, они промолчали, а он рассердился.

«Молчат!.. Да и откуда им знать, что там писано. У армян и надписи-то какие-то... Как ржавые цепи. Ха! Как железные путы для буйволов!..»

Он сказал:

— Крепко строили. Я еще в прежние годы тут бывал, а цело! Может, они за эти годы отстроились? А?

Но и этого спутники не знали, давно ль строено все это, за нынешнее ли время воздвигнуто. Отмолчались и опять зацокали каблуками, как копытами, по звонким плитам.

А монахи боязливо, жадно следили, оттесняя друг друга от окна.

Сколь ни рвался Тимур вперед, но войска отстали. Левое крыло в горах Месопотамии било курдов коварного Кара-Юсуфа: нельзя оставлять врагов позади, когда впереди тебя ждут другие враги. С курдами и тоурменами Кара-Юсуфа бились в горах Месопотамии на берегах Тигра, за Багдадом. Они уходили к Дамаску: стены Дамаска были крепки, и властитель их опирался на дружбу султана Баязета. За тем же щитом укрылся и сам Кара-Юсуф.

Левое крыло войск — в Месопотамии, а правое простерлось до берегов Черного моря, до владений Мануила, императора Трапезунтского, добиваясь от Мануила покорности, послушания, ибо Трапезунт, хотя и мал и слаб, но владеет множеством кораблей, столь необходимых Баязету, чтобы с Балкан переправить своих воинов на Понтийские берега, собрать свои силы против Тимура.

Тимур остановился в Арзруме, ожидая, пока сможет соединить эти свои распростертые крылья, как закидывает за спину крылья беркут, спустившийся на дорожный камень, дабы вглядеться в землю, полную добыч и опасностей.

Дорога предстоит не по безлюдным горам, не через безмолвные руины,— предстоит трудный воинский путь. Впереди — крепости Баязета, султана Османского, прозванного Молниеносным за быстрый ум, за скорую поступь в походах, за стремительную смелость в бою. Коварный враг! Опытный полководец, победитель рыцарей, собравшихся со всей Европы, осененных знаменами, освященными самим папой Римским. Саблями Баязетовой

конницы изрублены самонадеянные рыцари на Дунайском берегу, их крестовые знамена втоптаны в сырую землю под Никополем; лишь их предводитель, венгерский король Сигизмунд Люксембург, успел бежать, но, внимая его рассказам, весь католический мир впал в столь великий страх, что почел себя уже обреченным султану Баязету, ниоткуда не ожидая спасения.

Султан закончил завоевание Болгарии и Македонии, потоптал земли Венгрии и, попирая города одряхлевшей Византии, готовился к последнему подвигу, к осаде Константинополя, дабы объявить его столицей своего царства, которое он сделает просторным, как вселенная. В прошлом году осенью византийский император Мануил Палеолог кинулся в христианские страны молить единоверных королей о помощи против нечестивого Баязета. Европейские владыки принимали Мануила с почетом, тешили гостя пирами и празднествами, но на новый крестовый поход против Баязета ни у кого из королей рвения не пробуждалось.

Тимур еще весной послал Баязету письмо, требуя выдачи Кара-Юсуфа и эмиров, сбежавших к султану от Тимура, когда он взял их города и владения. Тимур знал, что у султана эти беглецы, выторговывая себе милостыню, сеют смуты, возбуждают гнев султана на Тимура. Тимур понимал: пока эмиры обретаются среди османов, Баязет считает себя вправе требовать от Тимура возврата земель и городов беглым эмирам, выдав же их, признал бы право Тимура не только на беглецов, но и на все их владения.

Баязет ответил дерзко, отказав выдать своих друзей и грозя освободить жен Тимура от супружеской верности. Это было оскорбление, вызов, угроза. Тимур смолчал. Но от Багдада до Трапезунта никому не стало пощады, кто мог бы поддержать Баязета,— ни армянам, ни курдам, ни арабам, ни иным народам, кто бы они ни были, какому бы богу ни молились, кому бы из ханов ни платили дань: во всех этих краях никого не должно остаться, никого, кто помешал бы Тимуру спокойно пойти вперед.

Чтобы идти вперед, воинам надо было соединиться, отдохнуть от битв в далеких походах, соскучиться по новым подвигам. И Тимур остановился. Он не считал ни азербайджанцев, ни армян способными задержать его движение. Они задержали. Он не успел перешагнуть через горы Тавра и дал Баязету целую зиму, чтобы собраться с силами!..

Он прохаживался по монастырскому двору, то разглядывая мраморные бруски и плиты, вделанные в розоватый камень древних стен, то вдруг что-то спрашивал у спутников.

Чем больше беспокоил его вопрос, на который никак не находилось ответа, тем тише он ходил, тем неподвижнее висела его рука, державшая плетку.

Ему доносили, что города, лежавшие впереди, уже запирались в осаду, повинуясь воле Баязета. Значит, Баязета они опасались больше, чем Тимура; значит боялись гнева не Тимурова, а Баязетова.

У Тимура наберется тысяч двести воинов, пеших и конных. Но у Баязета их не менее того. Воинство Баязета раскинуто по горам Тавра, и в Понтийских горах, и на балканских землях, по ту сторону моря. И кораблей у Баязета мало, чтобы переправить сюда все свои войска, с того берега. Понимает ли он, что войска ему пора собирать, что для этого нужны корабли? У Тимура войско тоже растянулось от Черного моря до Персидского залива. Когда все его воины соберутся, если еще подозвать войска, расставленные для защиты Мавераннахра от кочевников и китайцев, из городов Ирана, с гор Индии, из Герата от Шахруха, от Мухаммед-Султана из Самарканда, их наберется еще тысяч сто. Всего тогда будет тысяч с триста... Но у Баязета тоже есть кого позвать: ему подвластна Сербия, покоренная его отцом, султаном Мурадом, и Фракия с Болгарией, и Македония, завоеванные им самим. И Вавилонский султан из Дамаска может ему помочь... Ему есть кого ждать, кого скликать.

Тимур не так прост, чтобы сунуться на Баязета, не собрав всех сил, не обезопасив себя от армян, от курдов, от кызылбашских разбойников...

«Разбойники, а вот... остановили! Целая зима пропадет, целую зиму выиграет султан!»

Давно не приходилось думать о враге равной силы, тут числом не сломишь. Чтобы решить задачу, надо рассчитывать так, будто сил у врага вдвое больше. Тогда и найдешь верный ответ, хотя ответ этот не прост, под ногами не валяется. Но сколько раз Тимур лишь потому и побеждал легко, что враги, в заносчивом самомнении, преувеличивали свои силы, будь то число или мужество... Думать о враге надо без боязни, но и не преуменьшая его сил. Главное: искать победу, не преуменьшая сил врага,— только тогда ее и найдешь.

— Под ногами не валяется! А?

И опять спутники не знали, как ему ответить. Но, обернувшись к ним, он увидел своего казначея, переминавшегося у ворот.

Никто не смел нарушать раздумий повелителя — прогуливается ли он, дремлет ли, глядит ли вдаль.

Казначей не решился войти во двор. Решился лишь стать на

виду. Но уже само его появление здесь означало, что есть неотложное, важное дело.

Отстав от Тимура, Шах-Мелик пошел к казначею.

— Чего ты?

— Обоз пришел. Добычу привезли. Куда ее?

— Постой здесь.

И Шах-Мелик вернулся к Тимуру, снова медленно следуя за ним в этой прогулке, ожидая, пока повелитель, когда нужно будет, сам спросит о казначее.

Но Тимур не спросил: обойдя двор, он сам подошел к воротам и, когда склонившийся казначей оказался рядом, приостановился:

— Что там?

— Добыча, великий государь. С Вана, из Сюника. Куда ее?

— Что в ней?

— Не посмел глядеть: запечатана.

— Покажи.

Он прошел в трапезную, большую, гулкую. Теперь, когда завечерело, она казалась еще обширнее от темноты. Четыре бойницы, пробитые в стенах, уже не могли рассеять густеющую мглу и казались светящимися голубыми ковриками, прибитыми к черной стене.

Но вслед за Тимуром внесли факелы, и тотчас стены обагрились и засияли, а бойницы показались черными полосами.

На каменные плиты, кое-где выщербленные за многовековое бытие, выволокли полосатые шерстяные мешки, у коих горловины перехватывались волосяными бечевами со свинцовыми печатями на узлах.

Тимур велел срезать печати.

И едва кривой нож смахнул печать с узлов, из мешка покатились серебряные и золотые кувшинчики, лампады, кадильницы, чаши.

В живом багряном пламени трепетали отсветы, словно со всех этих изделий стекала кровь.

Сверху, через оконце под потолком, на все это смотрел игумен, а из-за его плеча — монахи поглядывали в глубь трапезной, как на дно водоема. Кто-то из монахов охнул:

— Утварь, храмов божиих!..

Тимур велел:

— Разберите, что тут серебро, что — золото. Нельзя же так... навалом. Всему надо цену знать.

Казначей несмело возразил:

— Печати царевичевы,— от Султан-Хусейна. Сам я не посмел вспороть. Вот и вышло навалом.

— То-то. А в других — что?

— И тех не вспарывал.
— Давай.
Срезали и другие печати.
Некоторые мешки пришлось трясти, взявшись за углы,— из них через силу, словно бы упрямясь, вываливалась слежавшаяся одежда: парчовые ризы и облачения, по зеленым и голубым сукнам затканные узорами из золотых нитей — прилежное мастерство армянских и грузинских златошвеек. Ризы из пурпурных венецианских, из синих византийских бархатов, тоже расшитые золотыми и серебряными звездами, кругами, розанами.
Из тяжелого длинного мешка вытрясли груду книг. Дощатые, обтянутые порыжелой кожей переплеты застучали по плитам пола, как камни о камень. Переплеты, окованные по углам железными кружевными скобами, застегнутые литыми серебряными пряжками, как панцири, оберегали то заповедное, как душа, что вложено в эти книги вдохновением и раздумьем.
Большая книга, выпав на пол, не легла плашмя, как другие, а стала на обрез, словно ощерившаяся волчица.
Тимур толкнул ее носком сапога. Она даже не шатнулась.
Тогда казначей шагнул к ней и, пнув ее, опрокинул на груду остальных, жалуясь:
— Описей к этим мешкам не прислано.
— Опись сам составь. И на книги не забудь: армяне ими дорожат — при выкупе, не торгуясь, как за своих вельмож, платят. А пока вели сложить как было, запечатай своей печаткой да убери.
— В крепости все подвалы и каменные лабазы уже полны: оружия навезли, одежды всякой, ковров... Некуда класть. В обоз, что ли, отослать?
— В обоз? Незачем за собой волочить. Скоро назад пора,— в Карабах на зимовку. Холода тут!
— Горы. Высоко зашли.
— Высоко,— согласился Тимур.— Идем, идем,— и все в гору.
И, запахиваясь в халат, пошел из трапезной, советуя казначею:
— Ты здесь, в монастыре, сложи. Небось найдутся амбары. Стражу поставь. Назад пойдем — возьмем.
А монахи смотрели сверху, перешептываясь: что это там за книги? Но никак не могли разглядеть из-под потолка. Неожиданно игумена потребовали к казначею. Казначей хотел знать, есть ли в монастыре надежные кладовые.
Дряхлый старец, опиравшийся на руку плечистого келейника, заколебался.
— Осмотри. Мы покажем.

Опираясь о монаха правой рукой, левой упираясь в посошок, сгорбившись, игумен повел казначея по монастырю.

Он показывал кладовые, за низкими коваными дверями или за решетками из толстых прутьев. Но и двери, и запоры везде оказались сбиты и выломаны воинами, очищавшими монастырь для повелителя.

Казначей приметил небольшой подвал под одним из сводчатых амбаров. Но игумен, вдруг оживившись, отсоветовал:

— Сыро там. Если же подвал выбирать, есть другой, под трапезной. В сытные времена там припасы хранили.

Казначею не понравились слова игумена: будто нынешнее время хуже каких-то стародавних сытных времен, но смолчал и неторопливо спустился крутым ходом в темное подземелье.

Смешанный запах плесени и пряных трав обеспокоил казначея:

— Сыро и тут.

— Арзрум — холодное место! — уклончиво ответил старец.

Казначей заметил на земляном полу гнилые головки чесноку или луку, засохшие пучки каких-то трав, перевязанные соломинками, и, послав воинов подмести подвал, заспешил на свежий воздух.

Когда перевязали каждую горловину мешка, казначей опечатал каждый узелок своей печатью и сам постоял над лестницей, при свете чадящих факелов, следя за каждым мешком, опускаемым в темные недра подвала.

Он своими руками запер кованую решетку и навесил на петли медный самаркандский замок, запирающийся винтовым ключом.

Таким же замком он запер и низенькую железную дверь, задвинув ее широкий засов. Ключи же на ремешках привесил к поясу, уже отягощенному связкой прочих ключей — длинных, винтовых, какими заперты тысячи дверей по всем улочкам и закоулкам Самарканда или Бухары; веницийских — с плоской бородкой, где прорезаны литеры или крестики, и русских с крюками, с колечками из желтой меди. Каждый надлежало хранить дороже жизни,— страшно голову потерять, да голова своя,— куда страшней провиниться перед повелителем: ключик не велик, но к великим соблазнам путь пресекает!

Стражами к дверям казначей приставил курдов.

Обутые в мягкие туфли поверх плотных, негнущихся чулок, в коротких, до коленей, стеганых халатах, перехваченных вязаными пестрыми кушаками; с ножами и кинжалами, засунутыми за пояса, курды так хищно поглядывали из-под рыжих шерстяных чалм, что казначей сам робел, когда оставался с ними с глазу на глаз. Покинув их в темноте двора, он заспешил прочь, боясь отстать от факельщиков.

К ночи заморозило.

Полетел редкими пушинками первый снег.

Тимур велел принести себе в келью жаровню и, как издавна повелось у него, каким бы ни был усталым, прежде чем спать, велел пускать к нему проведчиков,— он никогда не оставлял до утра ни гонцов, ни проведчиков, сошедшихся за день, ибо могли явиться вести, нуждавшиеся в скорых решениях.

Едва трясущийся, припадочный оборванец уходил от ковра Повелителя Вселенной, через другую дверь входил дородный, но раболепствующий самаркандский купец. Едва закрывалась дверь за купцом, входил дервиш, закатывая глаза от привычки общаться с аллахом. Едва уходил дервиш, появлялся левантиец в широком бурнусе, волоча подношение — переметный мешок с пряностями и драгоценными благовониями в подарок. Даже старуха, взлохмаченная костлявая ведьма, вползала к нему, нашептывая, как заклинания, тайные вести об известных людях, предающихся запретным порокам, ибо и сподвижников своих, ближайших своих соратников, Тимур желал знать как самого себя. После ведьмы в воздухе еще трепетал острый запах нечистой женской плоти, а уже входил слепой старец с острогла-зым поводырем...

Оборванец, явившийся из Фарса, рассказал, что тамошний правитель, внук повелителя, сын Омар-Шейха — Пир-Мухаммед занимается не царским делом: лечит своих слуг по книге стародавнего бухарца Ибн Сины, а теперь вдруг надумал сам варить какие-то зелья. Сказывают, яды варит. А на кого те яды готовятся, про то толкуют разное.

Об этих делах внука Тимур уже знал. Какой лекарь! Яды? Зачем яды? А ведь ему дан указ собрать, вооружить и готовить войско, стоять наготове, ждать, когда позовут сюда. Войска он не собрал, припасов для воинов не запасает, сам сюда не собирается, яды варит! Придется послать за таким правителем Фарса, здесь с ним поговорить...

О Самарканде новости принесены двумя людьми. Мухаммед-Султан, собираясь везти сюда повинного Искандера-мирзу, на время поездки старостой Самарканда и управителем оставляет Аргун-шаха. Решение еще не объявлено, но Аргун-шах уже многих в городе оповестил, что править все это время будет он. Кое-кому пригрозил, что вот, мол, скоро он останется в городе головой, тогда наведет истинный порядок. И какими казнями казнит повелитель повинного Искандера, Аргун-шах тоже многим заранее сказал.

«Болтун!» — подумал Тимур о далеком Аргун-шахе, и когда вестник удалился, велел писцу писать указ, дабы Мухаммед-

Султан на время своей поездки старостой Самарканда оставил Худайдаду.

Люди сменяли друг друга, и он слушал их. Раскрывалась жизнь на большом ковре вселенной, от Индии до ордынского Сарая, от китайских стен до византийских башен над Босфором, до сводов константинопольской Софии, до торговых площадей Венеции.

Сподвижники Тимура тоже расспрашивали пришлых вестников, чтобы накопившиеся вести потом пересказать ему, но многие пришельцы предъявляли то маленькую медную деньгу с тремя выбитыми на ней кружочками, то перевязанную тремя узелками красную тесемку, пришитую либо к халату, либо к поясу. И как волшебным ключом в арабской сказке, перед ними открывалась дверь, за которой их словам внимал Повелитель Вселенной.

Долго сидел он и слушал, слушал, временами приказывая писцу написать указ или что-то отметить на вощеной дощечке для памяти.

Много прошло людей, прежде чем доступ к нему получили сподвижники.

Вошел Шах-Мелик.

Рассказав о войсках, расставленных в Арзруме, в крепостях Хасан-Кала и в Аш-Кала, в селениях Кетеване и в Пирнакапане, о войсках, идущих к Арзруму и остановившихся верст за семьдесят отсюда за перевалом Коп-Хан, а на Трапезунтской дороге — в Хинисе, Шах-Мелик сообщил, что вместе с караваном генуэзских купцов, направляющихся из Трапезунта в Тебриз и далее до Хорасана, прибыл гонец из Хиниса. И добавил:

— Среди купцов едут двое франкских монахов. Один из них спрашивал, где находится повелитель наш.

— А куда едут?

— В Султанию, к их епископу Иоанну.

— Еще что?

— Здешнего монастыря игумен просит допустить армян-ходатаев. Явились пленных выкупить.

— На какие деньги?

— С пустыми руками не пришли бы...

— Откуда у них? От нас утаили!

— К нам же и принесли!

— Что ж, поторгуемся... Вели им подождать, а к нам генуэзских приведи. Они где?

— Караван-сараи полны, а снаружи холодно. Я им дал место в Мурго-Сарае, под минаретом.

— Монахам скажи — быть тут к утру, а купцов приведи.

— Они с дороги. Уже легли, пожалуй.

— Их только помани: хороший купец среди ночи торговать

вскочит! Пока они от Мурго-Сарая сюда дойдут, пусти к нам этих... армян с деньгами.

Армянские купцы при свете двух ламп сидели в розоватой мгле в келье игумена.

Вдоль темных стен стояли монахи, глядя на четверых людей, совершающих христианский подвиг — выкуп единоверцев. Нелегко было им среди обнищалого народа собрать столько денег, чтобы явиться сюда.

Игумен, упираясь одной ладонью в стену и прижав другую к разболевшемуся боку, превозмогая боль, увещевал ходатаев:

— Братья, умысел ваш свят. Знайте: внизу под трапезной мешок книг наших. Их там более трех десятков...

— Тридцать восемь в мешке! — подсказал один из монахов, смотревших через окно в трапезную, когда Тимур там разглядывал добычу.— Да еще четыре: из-за серебряных окладов на тех книгах их переложили в мешок с золотой утварью.

— Выкуп страдальцев из рабства — святое дело! — говорил игумен.— Тягчайшие грехи прощаются человеку за выкуп брата своего из рук неверных...

— Но в подвале томятся наши книги! — напомнил младший из ходатаев.

Игумен настойчиво сказал:

— Выкупайте людей. И чтоб выкупленных отдали вам тут же. И вы уводите их немедленно.

— Ночь на дворе, святой отец!

— Неволя темнее ночи. Уводите их и сами с ними уходите. И чем дальше уйдете, тем целей будут ваши головы.

Младший из ходатаев повторил:

— А книги?

Игумен настойчиво повторил:

— Избавление книг — святое дело... Но...

Боль прервала его слова, и, пока старец, запрокинув лицо, растирал бок, старший из ходатаев сказал:

— Люди выстрадают, выживут. Книги же, истлев среди ветоши, исчезнут навеки. Из них же в каждую вложена жизнь человеческая. В иные же — по нескольку жизней. Поколениями предков хранились. А тогда разве легче было хранить? Мы же, не спасши их, что завещаем потомкам?

Игумен договорил:

— Людей, людей!.. У монастыря нет сокровищ на выкуп людей. А на избавление книг от неволи благословлю наших монахов. Дай нам совершить благой подвиг.

Старший из ходатаев спросил остальных:

— Книги или людей?

Они было заспорили, но тут дали знать, что повелитель ждет их.

Заспешили, отряхивая и обдергивая рубища, убогие, заношенные, залатанные, заштопанные, ибо лучших не сумели уберечь.

По темным студеным переходам и через заснеженный двор их довели до кельи Тимура.

Остановились, разглаживая бороды, обтирая ладонями лицо, вышептывая у провожатых, в шапках ли входить, обнажив ли головы: иные из мусульманских владык понимают как бесстыдство и дерзость появление просителей без шапок, будто их волосы могут кого-то веселить. Иные же, видя шапку на голове христианина, понимают это как дерзкую потугу прикинуться мусульманином: людей же, столь легко отрекающихся от обычаев своего народа, не почитает никто. А как Тимур?

Шах-Мелик улыбнулся.

— Великий Повелитель снисходителен к христианским обычаям: у кого шапка нехороша, может войти без шапки.

Переступая порог, они зажмурились: нестерпимо ярко горели свечи в низенькой келье. Своим сводчатым потолком келья напоминала юрту, бедную тесную юрту нищего кочевника.

Упершись в неизменные кожаные подушки, Тимур смотрел на вошедших. У сутулого, седого старика от холода покраснел нос, слезились глаза, словно он только что плакал. Здесь его обдало теплом, и по телу сразу пошла мелкая дрожь озноба. Другой, коротконосый, с тяжелой челюстью, которую не могли укрыть ни усы, ни борода, смотрел большими выпученными глазами, облизывая толстые губы круглым синим языком. Третий был молод, но в его черных волосах белело несколько седых завитков, как светлые завитки вышивки на ферганской тюбетейке.

Этот рано поседевший армянин понравился Тимуру, спокойным ли и печальным взглядом темных глаз, скромным ли, покорным обликом. И Тимур спросил, глядя на него и как бы минуя старших из ходатаев:

— Ну?

Но армянин не решался заговорить прежде старших. А старшие молчали, ибо Тимур спросил не их, а этого юнца, которого они взяли с собой из почтения к богатству его родителей, хотя у юноши не осталось ни родителей, ни богатств.

Тимур снова спросил:

— Чего просите?

— Единоверцев выкупить.

— А деньги? Откуда?

— Собраны среди набожных соплеменников во имя божие.

— А как дань платить, прикидываетесь нищими! А?

— О повелитель! Это же по крохам...

— А выкупив, куда их? Рабов себе покупаете?

— Даруем свободу им, во искупление грехов наших.

— Выходит, я вам помогаю выслуживаться перед богом? Беру пленных, а вы деньги из тайничка достанете, и грехи с себя долой! А?

Ему казалось, что он шутит с ними, но их сковал страх от его хриплых, отрывистых окриков. Дрожь, бившая старшего из ходатаев, стала удушливой: спазмы перехватывали дыхание, ломило онемевшие челюсти.

А Тимур еще громче кричал:

— А?

Они не смели и не могли ничего ответить.

— Почем намерены платить? Кого берете? Есть попы. Попов купите? Купцы есть из Вана, из Карса. Богаты, да скупы — отказались откупиться. Или девушек надо? Может, дочерей ищете? Или жен? Выкупайте, не то в Иран на базары отошлем. Там быстро раскупят. Детей нет, не брали, некуда девать,— побросали собакам, чтоб злей были. А девушки есть! А?

Его забавляли эти армяне, хмурившиеся, когда он вздумал пошутить. Он устал от долгой череды людей, с которыми приходилось говорить строго, чтобы обо всем дознаться.

— А? Почем платите?..

Пучеглазый, облизнув губы, прошепелявил:

— Пленные нонче не в цене. Набрали их много, некуда девать. Пленных-то!

— Кто покрепче, пойдут на базары — раскупятся. Кто ремесло знает, к себе, в свои города погоним. Дойдут — будут работать. Свалятся по дороге — канав хватит для каждого. Выкупайте, если это богоугодное дело. Берите!

— А цена?

Тимур назвал им цену.

Армяне растерялись: он требовал вдесятеро дороже, чем стоили рабы на базарах. Но раба себе там мог купить только мусульманин. Армян армянам не продавали, армянин армянина мог только выкупить.

— Дороговато.

— А?

Молодой вдруг заспорил:

— О повелитель! Милосердие равно перед богом, совершает ли его мусульманин, христианин ли. Будьте и вы милостивы, о повелитель! Ведь бог вознаграждает великодушных.

— Ты купец?

— Испокон веков весь род наш...

— Тогда торгуй, а не богословствуй. Не то попам что делать? О боге их дело рассуждать.

И вдруг почему-то вспомнился ему Шахрух, сын, приверженный богословию...

Тимур вдруг почувствовал гнетущую, необоримую усталость. Откинувшись на подушку, он тихо сказал Шах-Мелику:

— Цену я им сказал. Сколько могут, пускай берут. Отдай им.

И махнул в знак того, что беседа окончена.

Но молодой армянин помедлил, отстав от старших.

— О повелитель! А книги?

— Какие?

— Наши. Если б цена...

— За ваших полководцев я беру вдвое против простых пленных. На книгу — та же цена. Дешевле не дам. Вдвое... вдвое.

Ночь на дворе, глубокая ночь. Он облокотился на подушку, опустил усталые плечи. И велел вынести светильники, чтобы кончить, наконец, этот долгий день. Но слуги не успели взяться за подсвечники,— вернулся Шах-Мелик, оповещая:

— Генуэзцы прибыли.

Тимур выпрямился, оправил подвернувшиеся полы халатов:

— Веди.

Они вошли в толстых плащах, ниспадающих почти до полу. Замерцали белизной воротники, обшлага, обшитые кружевом. Двое были в широких сапогах, третий в узких туфлях с круглыми пряжками, изображавшими львиные морды, в полосатых чулках. Один из чулок слегка сполз и перекосился. Все генуэзцы показались Тимуру одинаковыми, пока по обычаю низко кланялись, припав на правые колена, касаясь круглыми шляпами стертых до блеска плит пола. Одного каштанового оттенка у всех были волосы, подстриженные в скобку. Одинаковые темно-русые бороды.

И лишь когда он увидел их лица, понял, как они не похожи,— широколицым оказался старший из них; его глаза светились, взгляд то соскальзывал в сторону, то останавливался на Тимуре, словно что-то выпытывая.

Другой был худощав. Его щеки и виски глубоко впали, отчего кости выпирали из этого длинного лица, похожего на череп, а подбородок просвечивал сквозь бороду. Но темные, в глубь глазниц запавшие глаза глядели с доброй и веселой улыбкой.

Третий чем-то напоминал того самого молодого армянина, который только что порывался здесь выкупить книги: в его взгляде Тимур уловил ту же скромную простоту, ту же спокойную печаль.

Тимур заметил, что у костлявого генуэзца один сапог еще покрыт пылью, а другой обтерт, и видно — наспех: головка обтерта, а голенище осталось в пыли. Блестели лишь узкие полосы в подъеме, натертые ремешками шпор.

Тимур не любил этой христианской привычки смотреть собеседнику в глаза. А генуэзцы смотрели, и Тимуру приходилось говорить с ними, напрягаясь. Не мог же он чего-нибудь требовать от них, не умея смотреть чужим людям в глаза!

Старший из них, много раз бывавший на иранских базарах, говорил по-фарсидски,— переводчик не требовался.

Другой, с костлявым лицом, лишь время от времени вставлял фарсидские слова, но понимал всю беседу.

Они везли бархаты и сукна, мелкое оружие — кинжалы, короткие мечи,— узорчатые шерстяные ткани, несколько кусков парчи, изделия из серебра и стекла — украшения и утварь. Они знали, чем прельстить иранских купцов.

Они встретили караван императора Мануила Палеолога, направляющегося к франкскому королю за помощью против Баязета. В Генуе они видели людей Баязета, прибывших на генуэзские верфи и к корабельщикам Генуи и Венеции проведать, нельзя ли там нанять или купить корабли и сколько там найдется кораблей. Султану галеры надобны для осады Константинополя.

— Для осады Константинополя?— переспросил Тимур.

— Истинно так, государь.

— Откуда знаете, что для осады?

— Люди Баязета — это наши же генуэзцы. Двое из них, правда, армяне. Послал их Баязет, но мы их давно знаем, давно с ними торгуем. От нас им незачем таиться. С ними двое османов, но они даже не понимают нашего языка.

— И что же... эти корабли? Найдутся?

— Такую цену сулят, что купцы не устоят. Сами понимают — губят христианское дело, но галеры, пожалуй, дадут: как откажешься? Выгодно, слишком выгодно, чтоб отказаться!

Костлявый добавил:

— Баязет, когда Константинополь возьмет, там в одном храме золота больше, чем во всей Генуе. Возьмет — рассчитается.

— Да, расход оправдает!— согласился Тимур.

— О, еще бы!

— А в Константинополе что?

— Страх. Молят помощи во имя Христово. Хотят нанять наше войско. Тысячи четыре наберут. А у Баязета под Никополем было более двухсот тысяч! В городе страх. А в Пера и в Галате, где наши живут,— нужда, голод. Есть нечего. Торговать нечем! Разорение. Голодные люди не защитники. Им нечего защищать. Город чужой, есть нечего. Император побежал за помощью, а братец его Иоаннис Палеолог, правитель города, призывает людей к обороне. Людей призывает, а самим жрать нечего! Кто же к нему соберется!

— Значит, против Баязета Константинополь не устоит?

— Нет сил противиться!

— Значит, корабли ему на осаду нужны?

— Без кораблей какая ж осада, если с моря город будет открыт?

— А ваши короли, христианские владыки, не помогут?

— Не слышно. Это лучше нас монахи знают. С нами доминиканские монахи едут. У них и письмо к вашей милости.

— Какое?

— Не знаем: это их дело. Но, слышно, от короля.

Младший из генуэзцев, менее терпеливый и еще равнодушный к делам королей, к осадам городов и войнам, еще не понявший, что торговля и войны, купцы и короли, как две руки, связаны общей грудью, единым сердцем и одной головой, сказал:

— О великий государь! У нас хороший товар. Хорошему покупателю мы можем показать редкостнейшие вещи!

Тимуру уже не терпелось остаться одному и разобраться во всем этом ворохе вестей:

— Завтра я посмотрю. Завтра я позову вас.

Он отпустил их и, упершись в подушку, задумался.

Светильники вынесли. Осталась гореть лишь одна свеча.

Продолжая думать о Баязете, в ответ каким-то своим мыслям, он сказал:

— То-то!

Он думал о Баязете. Много собралось вестей за этот вечер. Но все они укрепляли уверенность, что одним рывком победы у Баязета не выхватишь. К такому врагу надо исподволь подбираться. Исподволь, и хорошенько собравшись с силами!

Измученное многими днями безудержного пути, бессонными ночами, да и всем нынешним долгим днем, тело отказывалось повиноваться Тимуру,— оно так отяжелело, так хотело тепла и покоя, что руку поднять не был сил...

Воины придвинули ему подушки. Накинули на него стеганый шерстяной халат...

И, наконец, тихая, похожая на далекую песню, полудрема овладела им:

«Хорошо бы позвать певца, чтобы пел какой-нибудь неторопливый, мудрый маком под тихий плеск струн».

Но сил не было даже приказать, чтобы привели певца.

Замерцало что-то мирное, светлое, подобное морю... Корабли...

— Корабли Баязета!.. Сперва на Константинополь, а потом... Трапезунт... Письмо! От кого? Письмо откуда?

Еще не успели отойти воины, укрывавшие его халатом, а он уже стоял, скинув халат, откатив подушку, и кричал:

— Где Шах-Мелик? Сюда его! И в этой... как ее?.. Трапезной, что-ли?.. Настелить ковры. Свечи туда! Все там прибрать. Скорей!

Шах-Мелик, еще занимавшийся армянским выкупом, замешкался.

Тимур снова послал за ним, нетерпеливо расхаживая по келье, как тигр по клетке.

Шах-Мелик явился, идя усталой, хотя и почтительной поступью. Тимур в гневе сам пошел ему навстречу: он не терпел, чтобы, получив его приказание, полководцы выступали степенно — они должны были бежать, а сев в седло,— мчаться! Война не терпит медлительных людей. Никакой подвиг не свершается неторопливо. Победа подобна степному жеребцу,— ее надо обскакать, чтобы заарканить. И чтобы заарканить на всем скаку, у нее по глазам надо понять, куда она кинется, куда вильнет. Кто хочет побеждать, должен быть неутомим, стремителен, знать, чего хочет. И не медля кидаться на то, что хочет взять!

— Где был?

Удивленный Шах-Мелик кивал куда-то за дверь:

— Там!..

— Где эти... как их. Где они?

— Взяли свой выкуп. Восемь десятков я велел выпустить. Они спешили уйти... Только молодой,— опять книги...

— Какой выкуп? Я тебе о тех, что из Трапезунта.

— Но они уже были здесь.

— Монахи! Монахи с письмом...

— Купцов подняли с постелей, привели. А монахам сказано: быть здесь к утру. Я сказал монахам: «Повелитель устал. Придите завтра к утру».

— Ты пускаешь слух о нашей усталости? А? Баязету нужна наша усталость, наша болезнь: он спокойнее будет! А? У монахов письмо!

— Призвать их?

— В трапезную. Чтоб видели: мы бодрствуем. И светильники туда, ковры... и созвать... Кто тут у нас?

— Царевичи в походе, государь. Еще не вернулись.

— И сейчас же! Я иду туда. Зови монахов, веди их туда ко мне!

Он пошел бодро, молодо вскинув плечи. Только раз, переходя двор, поскользнулся на свежем снегу, но устоял на ногах и еще быстрее кинулся к дверям трапезной.

Длинный узкий каменной тяжести стол был отодвинут к стене. Каменный пол застелили нарядными ширванскими коврами. Десять светильников стояли, образуя неширокий проход, как в саду между цветущими кустами.

В глубине поставили походное седалище, иранское, по черному лаку расписанное золотистыми листьями и розовыми соловьями.

Тимур один вошел и прошелся по ковру между светильниками.

Он ясно представил, как сейчас войдут эти монахи, поднятые с постели, заспанные, испуганные внезапным вызовом, после того как их отослали спокойно спать. Как будут стоять, тоже заспанные, его соратники и кто-то прочитает письмо... От кого? Он еще не знал, не успел узнать, кто ему послал письмо — друг или враг.

Он подумал:

«Всем покажется, будто это письмо столь необходимо, что каких-то проезжих монахов он принимает как королевских послов, и столь им рад, что не смог подождать до утра...

А монахам небось уже подали оседланных лошадей, они уселись в седла и теперь едут сюда по ночному городу, окруженные факельщиками, охраной, напоказ всему городу, на глазах у всего войска.

Хорошо, что люди давно спят! Хорошо, что не сбежится народ любоваться, приветствовать и потом разгласить по всей округе, что повелителю привезли письмо... От кого?

Для победы нужна быстрота, но не спешка. Нет, нет,— не спешка».

Твердой походкой Тимур вышел из трапезной. У дверей стоял Шах-Мелик, ожидавший соратников, чтобы их расставить в должном виде, и монахов, чтобы их встретить и ввести к повелителю.

Тимур вышел, говоря:

— Убери все это. Чтоб — никаких следов от этих приготовлений! И людей отпусти, чтоб никаких глаз, никаких ушей... Монахов — ко мне в келью. И никаких людей!

Он вернулся к себе. Не келья — темная пещера или бедная юрта в пустынной степи,— горела лишь одна свеча. Жесткое походное ложе — небольшой ковер, узенький тюфячок на ковре. Да пара потертых кожаных подушек...

Он велел оставить одну эту свечу и опустился возле подушек.

От кого бы ни было это письмо, оно послано из-за спины Баязета. Нельзя ничего обдумать, если не знать,что там, за спиной у Баязета. Но это должно остаться никому не ведомым, то, что пишут оттуда... Кто бы ни писал.

Он согнул ногу, подправил под колено полу халата и, глядя на пламень свечи, вслушивался в каждый голос, в каждый звук со двора: что там, за спиной Баязета?..

Женоподобные — безусые, безбородые — лица доминиканцев возникли перед Тимуром почти внезапно. Монахи ступали неслышно, черные плащи соединяли их с той тьмой, откуда они вступили в слабый круг света.

Двое.

На головах черные капюшоны. Из-под черных плащей поблескивают белизной перехваченные желтыми веревками рясы.

Один бледноват, и на лице — пятна синевы там, где хотелось расти усам и бороде. Смиренно опускает глаза и длинными, но узловатыми пальцами перебирает длинную-длинную нить четок.

«Небось в дороге такие четки хороши, коня хлестать!»— покосился Тимур.

Другой, скрестив пальцы на животе, хотя и не был толст, выпятил грудь и, отрасти он себе бороду, выглядел бы отпетым разбойником, каковых немало повидал Тимур на своем веку. Лицо чуть отвернул в сторону, а глаза скосил, словно ожидая удара шпаги, готовый на мгновенный ответный удар.

Между упершимся в подушку восседающим на полу повелителем и рослыми доминиканцами стоял Шах-Мелик.

Больше здесь никого не было.

Доминиканцы направлялись в Султанию, к султанийскому епископу. Они не ожидали встретить Тимура здесь: в Константинополе им сообщили, что он еще в Султании. В Трапезунте они узнали, что он в Шемахе. Лишь по дороге сюда до них дошел слух, что великий эмир находится впереди своих войск.

— Зачем вам надо было знать, где я нахожусь?

Похожий на разбойника монах склонил голову еще более влево, выслушал вопрос Тимура и, не сводя с него цепких глаз, без запинки пересказал слова повелителя латынью.

Первый монах ответил густым, как басы органа, тягучим голосом:

— Скажи, брат Сандро: мы обязаны вручить великому эмиру письма всемилостивейшего короля нашего.

Сандро перевел и добавил от себя:

— Из сего следует, сколь бессмыслен был бы наш дальнейший путь: когда брат Франциск за тем и свершает сей путь, чтобы вручить письма.

Брат Франциск ловко перекинул четки в левую руку, быстро достал из складок плаща два скатанных трубочками пергамента, и Шах-Мелик принял их из его руки.

Но чтобы прочитать их, он отдал оба свитка брату Сандро. Не сгибая шеи, Сандро резко поклонился одной только головой и вскрыл первое послание.

Это оказалось обращение Карла Шестого Валуа, короля Франции, к великому эмиру Темирбею с просьбой отнестись с доверием к брату Франциску Сатру, коему поручено передать письмо короля и на словах рассказать о событиях, о коих епископ Иоанн в Султании еще не мог сообщить великому эмиру, ибо Иоанн сам услышит о них лишь от заслуживающего доверия брата Франциска. Заслуживает доверия и брат Сандро, прежде находившийся в Султании и ныне снова возвращающийся туда для вящей связи между Францией и епископом Султанийским, а также для попе-

чения о купцах из Генуи и Венеции, бывающих в землях великого эмира.

Тимур, слушая обращение, разглядывал брата Сандро: с ним уже было послано одно письмо королю Карлу, но тогда письмо для короля отдано было епископу Иоанну, а Иоанн отправил с письмом этого вот Сандро, о котором Иоанн позже говорил Тимуру:

«Сей брат предпочитает рев морских пучин благочестивому пению органа, а на коне сидит крепче, чем на церковной скамье».

Письмо короля — это ответ на письмо Тимура, отправленное еще весной, когда было послано и первое письмо Баязету. В те дни, через того же епископа Иоанна, но с другим гонцом, Тимур отправил послание и в Англию королю Генриху Четвертому Ланкастеру. Генрих еще не успел ответить.

Тимур сказал:

—Когда Редифранса просит доверять вам, я доверяю.

Оба доминиканца низко поклонились.

Затем Сандро прочитал, тут же переводя на фарсидский язык, письмо короля:

«Карл, милостью божией король франков, великому государю Темирбею. Привет и мир!

Великий эмир! Ни закону, ни вере не противно и разуму не вопреки, следует считать полезным, когда короли и правители, невзирая на различия в языке и вере, по доброй воле устанавливают и укрепляют между собой узы уважения и дружбы, ибо сие ниспосылает благоденствие и мир на их подданных. И посему, великий эмир, ведайте: монах Иоанн, епископ, переслал через брата Сандро послание, коим вы желали нам здоровья и осведомлялись о делах наших и просили нас возвестить о походе и победе нашей, по милости божией ниспосланной нам. На словах о ней скажет брат Франциск, находившийся в ту пору в Константинополе. И мы полагаем великую пользу и уповаем на помощь божию, когда меч ваш обрушится на голову врага всего мира и вашего врага — Баязито, что послужит на благо нашему намерению посылать купцов ваших-наших для спокойного и беспрепятственного торга среди ваших-наших народов. О вашем намерении, касающемся того Баязито, соблаговолите оповестить нас, дабы мы могли содействовать, как вам угодно было пожелать, в том деле, о коем устно, через монаха Иоанна, епископа, а сей Иоанн устно через брата Сандро, сообщали нам. Благодарение вам за милостивые пожелания и приветы, а также за многие милости, дарованные вами многим христианским людям, нашим подданным, беспрепятственно посещающим ваши владения по торговым делам, а также по делам веры. Мы готовы столь же содействовать выгодам ваших людей, буде посетят наши земли, где представится на-

доблесть, в той же мере, как это угодно вам, и даже более, если будет нужно.

Дано в Париже в третий день июля, в год господа нашего Иисуса Христа тысяча четырехсотый».

Тимур слушал, вдумываясь в каждое слово.

— Редифранса пишет, якобы брат Франциск скажет нам о великой победе доблестного короля.

— Великая победа; великая победа! Император Византии воззвал о помощи, и наш благочестивый король внял его мольбам. В год господа нашего тысяча триста девяносто девятый король наш отправил на помощь императору Мануилу маршала Бусико и с ним две тысячи рыцарей и отважных воинов на семнадцати кораблях. Они привезли изголодавшемуся народу в Константинополь много хлеба и поддержали дух наших братьев в Галате и в Пера. Воины сошли с кораблей в Константинополе и заняли многие селения и крепости по Босфору и по Геллеспонту. Османы бежали оттуда, и это очень подняло дух наших людей. После таких побед император Мануил спокойно выехал, дабы посетить христианские королевства.

Франциск, дожидаясь, пока Сандро переводил его рассказ, вглядывался в лицо Тимура, пытаясь понять, какова сила этого рассказа, оценит ли «повелитель монголов» доблесть франкских героев.

Темное лицо Тимура ничего не выразило.

Франциск сказал:

— Наш благочестивый король полагает благом, если великий эмир ударит Баязито со своей стороны. Он предлагает союз и помощь.

Этих слов Тимур нетерпеливо ждал. Его бровь чуть шевельнулась, и Франциск оценил это как добрый знак.

— Мы напишем победоносному Редифранса,— ответил Тимур. Да будет вражда к этому турку постоянной в сердце вашего эмира. Мы поможем рыцарям, когда ваш милостивый король призовет прочих королей и рыцарей для удара по турку со своей стороны. Это поможет нам. Это приблизит победу. Об этом мы напишем, когда Иоанн-епископ пошлет человека к своему королю. Скажите об этом Иоанну в Султании.

Подданным французского короля принадлежали и Галата и Пера, торговые пригороды Константинополя. Французский король правил в те годы Генуей и Венецией, и его слово могло удержать купцов от аренды или продажи кораблей Баязету.

Но с этим делом медлить нельзя. Нужно послать письмо, не дожидаясь, пока доминиканцы съездят в Султанию.

— Кто из вас отвезет королю мой ответ?

Доминиканцы, переглянувшись, молчали.

— Сейчас же, завтра же!

Доминиканцы колебались.

— Кошелек золотых вам на дорогу и хорошие подарки вашему королю. Как, брат Сандро?

Этот разбойник внушал больше доверия. Тимур показал на него Шах-Мелику:

— Собери его в дорогу. Выдай все, что надо. Письмо он утром получит. Пусть утром скачет назад в Трапезунт — и айда в Париж, на полном скаку!

И неожиданно для растерявшихся монахов спросил у Франциска:

— А в Галате у вас, слыхать, голод? Люди мрут?

— Очень голодно.

— То-то.

Он отпустил их, не сомневаясь в их согласии на поездку. Решение было найдено — ударить Баязета сразу с обеих сторон! Тут уж никакая хитрость, никакая молниеносная быстрота его не спасет. Только отпустив монахов, он заметил, что в келье мерцает голубой свет: брезжило тусклое арзрумское утро, и отсвет снега пробился сквозь щель окна в эту остывшую, захолодавшую келью.

Тимур вслед за монахами вышел наружу. Послушал, как зацокали по мерзлой земле подковы. По звуку стальных подков узнал, что монахи приезжали на своих лошадях. Копыта Тимуровой конницы, подкованной более плоскими, железными подковами, стучали иначе.

«Что же это они, не пожелали прибыть на моих лошадях? Блюли достоинство своего короля, что ли? Редифранса!..»

Он привык этим странным именем называть короля Франции, ибо принял за королевское имя слышанный от генуэзских купцов титул Карла — ре ди Франса.

Подковы смолкли, когда всадники свернули на улицу, немощеную, скованную ночным заморозком. Весь Арзрум, плоский, прижатый к земле, безмолвно расстилался в утренней мгле. Хмурый, неприютный город, лишенный деревьев, кое-где приподнимал купола древних храмов да несколько башен с осыпавшимися вершинами.

Вдруг Тимура поразил крик о помощи, резкий в этой предрассветной тишине.

Он обернулся.

С краю двора, у трапезной, казначей хлестал пытавшегося заслониться руками курда плеткой по лицу, по голове, по бритому темени. Кожа кое-где треснула, потекла кровь...

Другой курд побежал было к казначею, протягивая перед собой руки, моля о пощаде.

Но, прежде чем второй добежал, казначей выхватил саблю и глубоко врезал ее между плечом и шеей повинного курда. Он разрубил бы и второго, но его удержали собравшиеся воины.

Тимуру не хотелось идти к себе в келью. Обойдя толпу, он вошел в трапезную и велел привести казначея.

Казначей явился, пытаясь утишить свое возбуждение, но странно вздрагивал, как это бывает у детей после плача.

— Что у тебя?

— О великий государь! Я виноват, я виноват, я виноват!..

— Говори!

— Эти курды воры! Грабители!.. Я, как стало светать, позвал здешнего ученого-армянина. Взяли по факелу, пошли в подвал. Вчера армяне пристали: продай книги, продай книги! А книг-то мы не разобрали. Надо было глянуть, что за книги. Надо было вспороть мешки, да оценить каждую: по книгам — и цена. Армянин — книгочей, в этом деле сведущ. Гляжу, курдов на страже только двое, да и те не снаружи, а в сторожке спят. Остальные где? Не знают. Отпираю подвал, а оттуда ветром на нас! Такой ветер — бороду мне к груди прижимает, факелы задувает — сквозняк! Спустились, глянули — а из подвала — другой ход, дверь нараспашку! Вот и несет ветром. Я —за мешки. Которые с одеждой — пятьдесят семь мешков,— все целы. Которые с книгами — тех нет. Бегу к выходу, а он у них из подвала — прямо на огород. На снегу поперек гряд — следы. Бежим по следам,— что такое?— двое монахов зарубленных, армянских. Третий еще жив, ползет по снегу. «Кто тебя?» «Курды из стражи». «А почему ты здесь?» Слово к слову — понял: монахи здешние ночью через черный ход, о котором нам не сказали, выволокли мешки с книгами. А курды из стражи их увидели — да на них! Двоих зарубили, третьего не добили, остальные разбежались, ушли. И курды, ухватившись за те мешки, тоже ушли. Я кинулся к этим, которые спали. Стал спрашивать, а они проспали, ничего не могут сказать. Вот я на них и напал, не стерпел.

— Где же мешки?

— Бегу искать.

— А армянин, который с тобой был, не знает? У них сговору не было? Они ведь все заодно.

— Не спросил. Я его сгоряча к первым двум привалил.

— Горяч!

— Государь! Великий! Я виноват! Я виноват... Я их догоню!..

— Без тебя догонят. Ты остальные мешки пойди прибери. Небось сгоряча на сквозняке кинул? Запри их и жди, пока с тебя спрос начнут.

Из тридцати человек братии в монастыре не отыскали никого.

По крутым, стертым каменным ступенькам поднялись в келью

игумена. Оказалось, она изнутри закрыта на засов. Но ни на зовы, ни на приказ, ни на стук ответа не дождались. Мечами взломали дверь. Выбеленные голые стены. Старый тяжелый стол у окна. Плошка с обмерзшей по краям водой. Широкая тяжелая скамья. Соломенный тюфячок, латаный лоскут вместо одеяла. В нише — истрепанный молитвенник. На скамье мертвый старец. Решили, что умер он с голоду: ни крошки хлеба в келье не нашли.

Никто здесь не скажет — кто же унес мешки с книгами?

Поскакали искать по дорогам. Но дороги вокруг Арзрума — горные. Колдобины, колеи расходятся в разные стороны, а на мерзлой земле следов не остается. Ущелья лишь слегка, как тесьмой, обшиты наметенным за ночь снегом, но тропы бесснежны, и следов на каменистой земле нет...

На склонах гор немало курдских селений, но еще больше — армянских землянок: нарыты, как кротовые бугорки, то тут, то там. В каждую разве заглянешь!..

Пришли Султан Махмуд-хан и Шейх-Нур-аддин. Не было лишь Шах-Мелика, укрывшегося где-то, чтобы вздремнуть.

— Этим армянам я бы такие тут книги написал! Век бы помнили!— сердился Султан Махмуд-хан.

Шейх-Нур-аддин поддержал хана:

— Этот монастырь срыть, чтоб камня на камне не осталось, скатить все эти камни под гору, а тут гладкое место оставить! И какие бы армяне ни обнаружились, рубить каждого на четыре части! Грамотеи!

Но Тимур возразил:

— Мы прикажем учредить здесь мадрасу. В сих кельях люди сядут коран изучать. Армянам в назидание,— в их исконном святилище учредить приют мусульманской премудрости. А?

И ушел к себе в келью, велев прислать к нему писца.

Дневного света здесь не хватало, хотя солнце уже взошло. Перед писцом стояла свеча, а Тимур, отвалившись на подушки, закинул голову на руки и обдумывал письмо королю.

Надо было хотя бы припугнуть Баязета с запада. Это задержало бы его на том берегу, на Балканских землях. Хотя бы часть его войск задержало, хотя бы войска подвластных ему балканцев...

Писец уже в сотый раз разглаживал ладонью смуглый листок скользкой бумаги. Проверял на ногте острие тростничка. Вдруг он сказал:

— Великий государь! Один генуэзец в Мурго-Сарае сказывал, будто ихний франкский король сошел с ума, который письма пишет. Его запирают под замок, а когда очухается, опять выпускают управлять франкскими землями. И все указы и письма, сказывают, пишет не он, а от его имени другие люди.

Тимур даже глаз не скосив в сторону писца, ответил:

— Нам от него нужен не рассудок, а меч... Пиши...

Писец, помня прежние письма Тимура, уже надписал на фарсидском языке обычное вступление:

«Амир Тимур Гураган, да будет он долголетен!..»

— Пиши: «Государю Редифранса. Да соизволите принять от сего своего друга сто тысяч приветов и поклонов с пожеланием благоденствия.

Да будет ведомо светлому разуму вашему, что прибывший сюда монах Франциск передал ваши царственные письма и поведал нам о доброй славе, о величии и могуществе вашем, и тем осчастливил нас.

Он поведал и о походе вашем с многочисленным воинством, когда — по милости всевышнего — враги наши-ваши сокрушены и побеждены.

Ныне отправляется к вам монах Сандро из Султании и поведает вам все наши пожелания и обстоятельства.

Мы и впредь желаем получать ваши царственные письма о здоровье и победах ваших, дабы сии добрые вести услаждали и радовали нас.

Мы и впредь с почтением и милостиво примем в наших владениях ваших купцов, окажем им те же почет и уважение, каковые оказываются нашим купцам в стране вашей. Да не учинит никто над ними ни насилия, ни притеснения, не взыщет лишнего, ибо благодаря купцам мир благоустроен.

Есть ли между нами что-либо неразрешимое?!

Да будет на многие годы царствование ваше счастливым!

Привет и мир вам!..»

Закончив писать, писец, подержав листок возле свечи, чтобы чернила высохли и обрели блеск, протянул послание Тимуру.

Но повелитель уже снял с пальца и сам протянул писцу перстень-печатку с изображением тамги — три кольца, составленные треугольником.

На той печатке по краям был начертан и девиз Тимура: «Расти-русти — правда спасает».

И писец благоговейно приложил перстень к бумаге.

Подумал и приложил еще раз.

Отослав писца, Тимур вызвал Шах-Мелика.

С глазами, красными от бессонницы, с белыми полосами на припухшем красном лице, соратник вскоре явился, но Тимур понял, как тяжело было тому прервать сон,— эти полосы на лице — отпечаток подушки, эти красные глаза только что взирали на чреду сновидений...

Отводя глаза от заспанного лица Шах-Мелика, Тимур распорядился собрать в дорогу монаха Сандро, а если старому соратнику угодно, то и Франциска.

— Они уже ждут! — неодобрительно ответил Шах-Мелик.

— Приведи их, я передам на словах... Надо, чтобы Баязет опасался удара от Редифранса. Это его задержит по ту сторону моря... Надо, чтобы он задержался!.. В этом все дело. Монахи, значит, готовы?

— Когда учуяли золото, забыли про сон!

— А подарки для короля? Дай и опись к ним: там ведь тоже народ разный. И покорми монахов.

— Им не до того: спешат! Поедят нынче в Хасанкале, завтра — в Хинисе.

— Позови их.

Но прежде чем доминиканцы вошли, Тимур поспешил сменить халат. Вынесли свечу, но постель оставили. Чтобы никто не догадался, что после прибытия в Арзрум уже двое суток у Повелителя Вселенной не нашлось времени сомкнуть глаза.

Восемнадцатая глава

КУРДЫ

Судьба городов подобна судьбе человека: в годы молодости они окружены веселыми голосами и песнями, в годы славы и величия украшаются и богатеют. Но приходит пора забвения, когда на другие дороги сворачивает караван событий, и город дряхлеет, его былое, гордое имя вызывает лишь усмешку или досаду у тех, кто, спотыкаясь о древние руины, пробирается по его запустелым трущобам, попирая прах, внимавший гулам побед и ликований.

Много великих событий свершилось, много могущественных владык и мудрецов побывало под сенью древнего Терджана. Ныне стал он лишь постоялым двором на дороге с запада на восток — из Эрзинджана в суровый город Арзрум.

Но в Эрзинджане уже стояли охранные воины Баязета, а в Арзрум прибыл сам Тимур. Терджан оказался в промежутке между двумя могущественнейшими силами, и, хотя во вселенной уже запахло грозой, Терджан лишь воспрянул от многовековой дремоты и повеселел: не столько на базарных площадях, сколько в узеньких переулках засуетились торговцы, зашевелилась вороватая, торопливая торговля, закрутились тайные и темные дела. Из Арзрума купцы свозили добычу, задешево скупленную у воинов, свершивших походы по Грузии и Армении, прибывших из Ирана и Азербайджана, со многих победоносных путей. Эрзинджанские скупщики, каждый по достатку, брали и увозили к себе и рабов, и лошадей, и одежду, и ковры, и медную утварь.

Улучив случай, воины и сами сбывали здесь ратный прибыток, когда удавалось что утаить от цепких глаз десятников.

Пленников продавали в рабство, пленниц могли дать на время, дешевы были дети. Подешевели лошади, ибо близилась зима и на подножный корм опускались ранние вьюги с отрогов Тавра.

Порой, ни на кого не глядя, по переулку торопливо шел кто-нибудь из военачальников, размахавшись плеткой и глядя лишь куда-то вперед. Люди расступались, опасаясь задеть такого прохожего: следом за ним обтрепанный ли раб с медным кольцом в ноздре, либо с несмываемым мазком черной смолы на лбу, либо с тавром хозяина, выжженным каленым клеймом на скуле, хмурый ли воин, отводя от людей взгляд в сторону, тянул в поводу двух-трех верблюдов, вьюченных длинными мешками или круглыми узлами — добычей, утаенной от тысячников и от пронырливых соглядатаев.

Опытные глаза базарных завсегдатаев спешили опознать товар, предназначенный к скорому сбыту, и неотступно шли следом, пока в каком-нибудь укромном тупике продавец — десятник ли он, сотник ли — начнет упрямо торговаться, прикидываясь, что лишь с пренебрежением нисходит до торговых дел.

Опасаясь встреч с такими продавцами, кося глазами по сторонам, воины вынимали на ладонь из-за пазухи то серебряные серьги, то лоскут златошвейной вышивки, порой закрапанной потемневшими пятнами крови или засеянной завитками женских волос. Не столь сыры стояли дни, как намесили грязь под ногами. Чтобы не вязнуть в ней по щиколотку, люди жались к обветшалым стенам, ссорились из-за места, из-за цен. Иногда хватались за ножи и кинжалы. Остальные шарахались прочь от греха. Но вскоре снова внимали торговым зовам, всматривались в новые товары, зарились на заманчивое добро.

И на ходу приговаривали, нашептывали, выкликали каждый свое:

— Халаты! Весь мешок продаю. Новехоньки-целехоньки! Армянский покрой. Суконные есть! И шелковые есть. Есть-есть! Бери! Мешком! Я не такой, чтоб в розницу,— отдаю мешком.

— Эй! — шепотом и подмигивая, манил другой.— Пару красавиц хочешь? Две луны! Продал, да покупатель побежал за деньгами, замешкался. Хочешь, посмотри; пущу...

Не сходя с места и похлестывая по сапогу ременной уздечкой, седоусый воин, похрипывая, восклицал:

— Лошадей! Отдаем! Со степей, свежачок!

— А я — красавицу. Из первых рук...ненаглядная моя!

Сосед, раздражаясь, отпихивал его, приговаривая:

— «Ненаглядная!» Их, вон, полны сараи. Нашел товар! Пусти, кто тут халатами хвалится?.. Сколько у тебя в мешке?..

Вражда у Тимура с Баязетом нарастала, но торговых путей между ними она еще не пресекла: каждый из владык показывал

себя покровителем торговли, попечителем купцов на караванных дорогах и на постоялых дворах. Это не было бескорыстное благородство, ибо у каждого из владык немало ходило собственных караванов. Но свое знатное имя хозяин прикрывал полой чужого халата: Тимурову поклажу везли самаркандские или бухарские купцы. Баязет свои дела вел через генуэзцев, а через армян или греков торговал египетский султан Фарадж, которого по старой памяти называли вавилонским султаном.

Из владений Фараджа, из Дамаска, через земли Баязета, через Сивас и Эрзинджан по-прежнему шли караваны в Арзрум, оттуда через владения Тимура на Тавриз, на Тегеран, к берегам Персидского моря, до Басры или до Бушира, откуда вьюки перегружаются на корабли и отплывают в Индию.

По-прежнему шли караваны, по-прежнему, мирно покачиваясь, расплескивали свой задумчивый звон колокольцы, и поводыри охрипшими голосами, восседая на ослах, распевали томные песни.

В Терджане над людской толчеей хмурился неприглядный пасмурный день, когда через перевалы, уже оледенелые, по тропам над кручами, по сырым долинам, подернутым туманами, из Эрзинджана по пути в Тавриз пришел большой караван.

С верблюдов свисали ковровые попоны, обнизанные тяжелой бахромой и кистями. Высоко завьюченную поклажу покрывали измокшие под дождем полосатые паласы. По ковровым уздечкам, плетеным недоуздкам, по украшениям из белых ракушек, какими славятся караванщики Халеба, видно было, что караван прошел длинную дорогу от берегов Нила или Средиземного моря и несет свои вьюки в дальние края.

Караван шел по городу, и как еще недавно его колокольцам внимали снежные горы Тавра, теперь звон их повторялся у стен собора святого Григория, ныне обращенного в мечеть, в стройных нишах Богородицкой церкви, в глубоком чреве городской бани, в дымных подвалах базарных харчевен — по всему древнему Терджану, пока не раскрылись ворота приземистого караван-сарая Араб-хан, где колокольцы смолкли, а верблюдов, поставив на колени, развьючивали.

Вслед за верблюдами к воротам Араб-хана побежали, таща свои жаровни и котлы, шашлычники и продавцы снеди,— спеша накормить проголодавшихся путников, дабы и самим прокормиться. Запахло горелым салом и маслом, завился над воротами голубой и зеленоватый чад.

Отважно перешагивая через грязь, кинулись к Араб-хану базарные дельцы и бездельники, ибо прибыл не только свежий товар, но и свежие вести, и люди, на которых любопытно глянуть, и чужеземные купцы, с коими лестно поздороваться.

Громко и крикливо под гулкими сводами заговорили праздные бездельники, показывая, что на этом базаре без их участия не обходится ни одно дело. А кто пришел с истинно торговыми целями, те в глаза не лезли, о делах и товарах разузнавали шепотком, о новостях разведывали исподтишка и как бы ненароком.

С верблюдов снимали вьюки. Развьюченных снова ставили на ноги и выводили со двора. Под ногами у верблюдов завертелись изголодавшиеся воробьи, но базарный люд пошел вон из Араб-хана: караван, побыв на постое, понесет свои вьюки дальше, и никаких дел в Терджане прибывшие купцы вести не будут.

Хозяева Араб-хана размещали привередливых и надменных арабских купцов, клянясь, что лучшие кельи давно заняты. Но в стороне от арабов перед хозяевами возник путник, немногословный, в сереньком поношенном халате, в серенькой измоченной дождем чалме. Засунув под мышку тонкий посошок, снял небольшой переметный мешок с осла и почтительно, но непреклонно потребовал от хозяев:

— Почтеннейший! Мне келейку. Небольшую, но чтоб без лишних глаз, поспокойнее.

— Хм... Келейку?

— Управляйтесь с этими, почтеннейший. Я подожду. А потом проводите меня! — И показал на ладони маленькую медную пайцзу с тремя кружками, сдвинутыми в треугольник.

Он стоял, чуть-чуть склонившись от почтительности, ожидая свою келью так уверенно, что опытные хозяева тотчас заметили в нем человека бывалого, твердого в своих делах. Ни притеснять такого гостя, ни томить не решились.

А он, едва переступив порог кельи, прислонил к стене свой мешок и вышел, постукивая посошком, побродить по базару, — скромный купец из Суганака, доверенный приказчик Повелителя Вселенной — Мулло Камар...

Он возвращался к хозяину, исполнив поручение: купец провел караван с индийскими товарами Тимура от Самарканда через Иран, через земли Баязета. Он дошел до сутолочных, крикливых базаров Дамаска. Он нашел достойных покупателей на все сокровища, доверенные ему Тимуром.

Видя редкостные изделия, дамасские купцы, давно соскучившись по индийским товарам, зная, сколько охотников найдется на каждую индийскую вещь, горячились, набивали цену. Опасаясь друг друга, боясь, как бы товар не попал в другие руки, ища скорой выгоды, спешили. Мулло Камар, отмалчиваясь, бережась суеты и спешки, ждал. Чем спокойнее и медлительнее он был, тем нетерпеливее становились покупатели. Слух о товарах Мулло Камара расползался по базарам. Из разных рядов появлялись покупатели. Они горячились друг перед другом, все

выше и выше набивая цену. Мулло Камар ждал. И лишь когда цена намного превзошла всю мыслимую цену, он расторговался, взяв неслыханный барыш. Чем нетерпеливее покупатель, тем неторопливее следует быть купцу. Мулло Камар еще в Суганаке постиг эту заповедь. Когда сбываешь редкий товар, если уверен, что, кроме тебя, такого никто не привезет, жди, чтоб у покупателя разгорелись глаза, задрожали руки и развязался кошелек,— в Суганаке эти заповеди сложились в торговле со степняками, где легко сбывалась всякая заваль, ибо степи пусты, а человеку нужны не только хлеб и утварь, но и наряды, и лакомства.

Здесь не степь, не пустыня — здесь славные, полные многих прекрасных изделий города, но пути из Индии надолго были пересечены дорогами войны. Война, растаптывая один базар, обогащает другой. Забота купца в том и состоит, чтобы успеть, схватив товары с обреченного базара, перебежать на другой и там разложить их раньше, чем спохватятся соперники.

В Дамаске, в Бруссе, в Халебе Мулло Камар посещал не мечети, не прославленные здания, воздвигнутые гением эллинов, римлян или византийцев, не святые камни, куда устремлялись набожные паломники, но торговые ряды, где трудились мастера, выделывая тысячи диковин из меди и серебра, из золотых нитей и шелка. Но прельщался Мулло Камар не этой красотой, не соблазнительной снедью, запах которой туманом вился над базарами, маня и опьяняя; не обнаженными плясуньями, зазывавшими купца в темные щели неизведанных приютов, прикрыв синей или алой шалью только уста, ибо соблюдали скромность; даже не черным напитком, который украдкой продавали бродяги из Йемена, цедя его из медных кувшинчиков в маленькие белые чашки, хотя от напитка пахло райскими плодами и пылким телом, и один глоток освобождал человека от усталости и уныния. Не эти соблазны держали Мулло Камара в Дамаске: здесь он увидел ряды кузнецов, ковавших клинки сабель и кинжалов,— гибкую, как лоза, сталь. Не то занимало его, сколь нарядно они умели украсить рукоятки и ножны, в слоновую кость врезая лалы и сапфиры: любая рукоятка хороша для клинка, если он гнется, будто живой, не ломаясь. Сама сталь зачаровала его: отковав клинок, оружейники подкидывали лоскут шелка, легкого, как марево, и, сверкнув сталью, рассекали шелк, пока лоскут еще плыл в воздухе. Изо дня в день Мулло Камар посещал этот ряд.

Слава о мастерах дамасской стали давным-давно достигла самаркандских стен. Но Мулло Камар впервые сам видел, как работали прославленные мастера, никому не выдавая тайну своего волшебства. Овладеть этой тайной мог лишь тот, кто овладеет самими мастерами.

В этих рядах Мулло Камар вызнал имена не только славнейших дамасских оружейников, но и учеников их; от лучших, не скупясь, добыл их лучшие изделия. И, лишь наглядевшись на это ремесло и все, что мог здесь запомнить, запомнив, ушел с попутным караваном в Халеб, поглядеть этот древний город, обнесенный стенами сказочной толщины и украшенный базаром, где многие улицы, бесчисленные торговые ряды и лавки ремесленников укрыты от зноя каменными сводами, с тусклыми оконцами на верху каменных куполов. Здесь вели торговлю со всем побережьем Средиземного моря, отсюда увозили к берегам Мраморного моря и за море шерсть и хлопок, воск и мыло, фисташки и пшеницу и тысячи услаждающих душу пряностей и радующих глаз изделий, каких нет ни в Дамаске, ни в Самарканде.

В Дамаске и в Халебе Мулло Камар порой засиживался в харчевнях или на каменных скамьях, изваянных еще римлянами, на краю водоемов, где собирались в часы зноя разговорчивые базарные завсегдатаи.

Он слушал чужие беседы, сам спрашивал и приглядывался, что за народ владеет этими городами.

Это был шумливый, смелый, но добрый народ. Горсть фиников и чашка холодной воды радовали их, как удача в жизни. Остальное они считали даром от великой щедрости аллаха. Довольствуясь малым, они могли пойти на жертвы и подвиги, лишь бы сохранить свой скудный, но сладостный родной мир.

Намереваясь взглянуть на Бруссу, где пребывал в ту пору султан Баязет, Мулло Камар, остерегаясь дорожных случайностей, отыскал армян-менял и тяжелую ношу своей счастливой выручки сдал, взяв взамен несколько невзрачных лоскутков порыжелой кожи, где менялы выжгли калеными клещами их тайные знаки. Но, прежде чем надписать имена своих собратьев, от коих намеревался Мулло Камар востребовать деньги обратно, меняла спросил, далеко ли направляется почтеннейший купец.

Мулло Камар заколебался: где ему понадобятся деньги? Везти ли их в неприкосновенности в Самарканд и вручить из рук в руки казначею Повелителя Вселенной, закупить ли здесь товары и с выгодой сбыть где-нибудь по пути к Самарканду?.. Мулло Камар не ценил денег, если они лежат в кошеле, увязанные крепким ремешком, или заперты в сундуках. Деньги лишь тогда радуют и кормят человека, когда вырываются на чужом базаре из рук, становясь товарами, а потом, на других базарах возвращаются, удвоившись в числе. Даже если при неудаче число их уменьшится, когда-нибудь они возрастут снова. И в этом — вся жизнь торгового человека.

Мулло Камар колебался: вдруг перед ним раскинутся соблазнительные товары, можно ли не взять их, не попытать счастья?

Он попросил армянина написать имена менял в Бруссе, в Сивасе, в Эрзинджане, в Арзруме...

— О! — воскликнул меняла армянин.

— Разве знает купец, где его ждет товар? — пояснил Мулло Камар, заподозрив меняю в нежелании написать столько имен.

— Я не о том! — возразил армянин.— Но это — дороги по нашей земле!

Другой армянин осторожно намекнул на разорение, постигшее их далекую родину:

— Там теперь что купишь?

— Купец редко знает, что за товар ждет его впереди,— повторил Мулло Камар.

Переглянувшись, армяне удержали Мулло Камара:

— Вы ищете караван на Армению?

— Сперва я поеду в Бруссу.

— Из Бруссы вы поедете в Армению?

— Если на то будет воля аллаха...

— Мы уважаем волю аллаха, но спрашиваем о земных помыслах раба божьего.

— Помыслы есть,— из Бруссы — через Армению...

— Я вас отведу к караванщику. Он позаботится о вас, пока вы достигнете Бруссы. Там он вас перепоручит другому караванщику, а тот позаботится о вас по пути через Армению.

Мулло Камар понял, что у менял зародились какие-то замыслы, и забеспокоился, с надежными ли людьми связал он свои деньги:

— Зачем мне обременять вас заботами?..

— Мы вам предлагаем дело. Торговое дело.

— Если это действительно дело...

— Города Армении разорены. Хромой джагатай разорил наши города, наш народ. Огню предал священные камни монастырей и храмов...

— Камни в огне не горят! — возразил Мулло Камар.

— Но сгорают священные реликвии и книги. До нас дошли люди оттуда, донесли вопль и воззвания пастырей наших. Здешние армяне дали обет выкупить из плена все наши книги. Какие удастся спасти, выкупим, чтобы хранить их в христианских землях, в надежных местах. Мы послали в Армению наших людей. Но люди не вернулись. Вы мусульманин. Вам дороги открыты. Вы знаете торговое дело; в ваших руках много денег... Если дадут хорошую цену, почему бы и не привезти товар?

— А цена?

— На вес серебра. И оплатим дорогу.

— Щедро! — признался Мулло Камар.

И тут же забеспокоился: «Проговорился!» Не в его привычках соглашаться, не поторговавшись... Но и не просить же на вес золота,— он понимал, что это немыслимо: они прямо и твердо дали цену и выставили условия, от каких дельный человек не отмахнется.

Тут же он думал:

«Этот товар дорог для армян, но для тех, кто владеет им, не умея читать по-армянски, такая добыча — лишь обуза! Взять почти даром — продать на вес серебра!»

И он повторил:

— С ценой согласен!

— Когда ждать вас обратно?

Этого Мулло Камар еще не знал: воля повелителя неведома. Отпустит ли Тимур своего купца, когда Мулло Камар выложит ему такую выручку!

А сам тут же смекал:

«Ведь и у самого повелителя в добыче найдется немало армянских книг. Зачем они повелителю, если безмолвные пергаменты не обратить в звонкое золото?..»

— К лету! — ответил Мулло Камар. И это был крепкий торговый сговор.

— О себе дайте знать через встречных караванщиков. И не бойтесь — сколько сыщете книг, мы все возьмем.

— Вы щедры! — с удивлением посмотрел Мулло Камар на собеседника.

— Скупайте смелее! — настаивал армянин.— Не просчитаетесь. Как для вас хождение в Мекку есть благочестивый подвиг, так для нас — спасение наших книг, ибо это — наш обет богу.

Они говорили ему, что несколько десятков книг удалось достать. Они внесли их вкладом в армянский монастырь в Венеции.

Заботу о Мулло Камаре поручили хлопотливому греку, уводившему свой караван до далекой Бруссы.

Шесть ворот у города Халеба.

Мулло Камар переселился в душный, пыльный караван-сарай у тех ворот, через которые уходил караван грека.

Здесь толклось много разных людей,— кого любопытство влекло в далекий путь; кто вьючил изделия Халеба, чая выгод; кто глядел на дорогу, кого-то ожидая с той стороны. В многоязыких перекликах, в пестрой сумятице, Мулло Камар, день за днем ожидая, пока грек навьючит своих верблюдов, размышлял о книгах Армении, удивлялся армянской щедрости и упорству, изредка, когда хотелось покоя, вынимал книгу Хафиза, с которой не расставался, храня ее в тесном мешке вместе с клинками дамасской стали...

Наконец верблюды взревели, колокольцы звякнули, и однообразная дорога по знойной пустынной стране повела Мулло Камара в Бруссу.

Даже после тенистых фисташковых рощ Халеба Брусса явилась купцу подобной раю. Могучие кипарисы царственно покачивались, заслоняли ясное, как весной, небо. А там, где деревья расступались, из-за их темной зелени проглядывали стройные мечети, купола мавзолеев, мавританские арки дворцов. Под сенью широко раскинувшихся чинаров журчали ручьи, звенели медными кувшинами женщины, окутанные светлыми шелками. Пели продавцы и разносчики. Степенно и торопливо шли арабы в широких бурнусах, турки в тяжелых шерстяных чалмах и в широких складчатых штанах из верблюжьей шерсти. В белых длинных рубахах и черных безрукавках, громко разговаривая, куда-то спешили греки. В тонких тканях и как бы прозрачные от белизны их одежд, звонко стуча твердыми каблуками, сдержанные в движениях, прохаживались круглоглазые мавры. В синих камзолах, запахнутых на груди, сурово шли черноволосые армяне. Вездесущие генуэзцы проходили пружинистым шагом. И всюду сновали мальчишки, облаченные в такое рванье, что лишь их родители могли определить, к какому народу принадлежат толпы этих неугомонных ребят. Они перекликались и переругивались, мешая слова множества языков. И если б не повелительные окрики стариков, они когда-нибудь смешались бы в какой-то новый единый народ, ибо радости, заботы, земля и небо Бруссы — все было у них общим и для каждого на всю жизнь родным.

Но над этими улицами, над базарами и толпами, на высокой скале, как бы висят над городом могущественные стены крепости, сложенной еще для защиты от Вавилона или от фараонов, подновленной римлянами, а ныне занятой челядью и воинами султана Баязета. Там, в мечети святого Дауда, перестроенной из древнего армянского монастыря, Баязет молится. Из тех вон похожих на замочные скважины окон он смотрит в бесконечный простор. Ему видно оттуда, как стая белых птиц улетает в сторону Мраморного моря, а может быть — к Босфору, к башням Константинополя...

С толпой приезжих купцов и паломников Мулло Камар побывал на крепостной горе, поклонился могилам шести старых султанов, в мечети Дауда полюбовался гробницей Орхана, но заглянул и в те тесные переулки между стенами мавзолеев и мечетей, где в древних каменных сараях разместились отборные воины Баязета, его караулы и охрана. Отсюда он взглянул вниз, на широко расползшийся город, то плоский, то вдруг горбящийся десятками куполов, серыми стенами мечетей, перестроенных

из христианских храмов или воздвигнутых заново попечением османских султанов. Люди брели там, заполняли улицы, спешили, занятые повседневными делами, и даже не глядели сюда, на могучие стены, полные воинов и оберегающие султана, имя которого ныне страшит окрестные государства и страны, будто не султан, а сама чума таится здесь, за этой вот стеной, выжидая своего часа.

А снизу сюда долетал лишь то легкий запах жарящихся фисташек, то горький чад горелого лука.

Мулло Қамар побывал и в окрестностях Бруссы, поклонился праху Османа Первого — первого османского султана. Изукрашенная мрамором и яшмой, его гробница восхитила бы Мулло Қамара, если б не поглядывал он по сторонам, где раскинулись шатры османских воинов, охранявших Бруссу.

Он осмотрел и мавзолей султана Мурада, отца нынешнего Баязета и победителя короля Лазаря Сербского. Мулло Қамар любовался, как тени стройных, еще молодых кипарисов, подобно вдовам, склоняются к мраморам усыпальницы. Но из-за кипарисов виднелась деревушка, именуемая Чекерки, что значит — кузнечики. Не кузнечики, а конница Баязета виднелась в ней на постое, и звенели там кузнецы, ковавшие лошадей.

Было лишь одно место, где Мулло Қамар насладился без забот. Неподалеку от города, в горячем роднике Қаплиджи, пахнущем серой и клокочущем, он то купался, то отлеживался на теплых коврах. Банщики служили ему, подавая сладости и предлагая еще более сладостные забавы.

Отсюда город выглядел иным, заслоненный покачивающимися кипарисами, из-за которых показывались башни, минареты и купола. Так здешние танцовщицы прельщают сердца взирающих, ибо через их широкие шальвары от щиколоток до пояса проходят длинные прорехи, и во время танцев шаловливые гурии как бы закрыты и как бы нет.

О соблазны, о искушение путников — неведомые города и неизведанные радости! Мулло Қамар предпочитал неторопливую беседу в харчевне или в бане, в полуденный час на краю базара, под древесной сенью или у мраморных водометов, каких полна прекрасная Брусса.

Ему рассказывали, что здешние купцы уже сговариваются с константинопольскими греками о цене на дома, на караван-сараи, даже на греческие монастыри в Константинополе, ибо, когда султан Баязет займет Константинополь, брусские купцы хотят иметь там свою собственность. Рассказывали, что греки, смущенные благородством турков, желающих купить то, что вскоре они могут взять даром, как военную добычу, охотно отдавали за бесценок лучшие здания города. Даже составились

особые понятые, дабы свидетельствовать о сделке,— один из них — турок, другой — христианин.

Рассказывали, что войска султана Баязета уже подошли вплотную к Константинополю и ныне город открыт лишь с моря да по узкой береговой полосе, что, едва пройдет эта зима, султан въедет в Константинополь.

— А с востока надвигается амир Тимур! — как бы невзначай высказал свои опасения Мулло Камар.

— О! — отмахивались собеседники.— Не посмеет сунуться. А сунется — тут и останется. Не знает он, что ли, нашего отважного Баязета? Молниеносного! Непобедимого Баязета!

Но более осторожные передавали слухи, исходящие сверху, из крепости:

— Султан рассчитал так: взять Константинополь. Оставить там охрану, на случай появления франкских рыцарей, а все войска, как только освободятся, двинуть на хромого Тимура, сбросить его в море Каспий и простереть пределы своего царства до Кавказских гор, а потом пойти на Иран, где некому с ним бороться. И царство Османов расширится от Бруссы до Басры!

— А там — один шаг и... Индия! — восклицает другой собеседник.

Такие беседы в харчевнях влекли Мулло Камара сильнее, чем стоны бубна и жалобы дудок в приютах, где пляшут красавицы.

Наконец Мулло Камар нагляделся на Бруссу, утолил жажду ее прозрачной водой: близилась осень.

Бруссу рассекал и делил надвое стремительный горный поток. По ту сторону жили армяне и греки, по сю — мусульмане. Идя над водоворотами по древнему мосту, сложенному еще римскими рабами, может быть, теми же, что построили водопровод в Халебе, Мулло Камар качнул головой:

«Эх! Слыхал я про халебское чудо, а посмотреть так и не удосужился!»

С мусульманского берега он перешагнул в тесноту армянских проулочков и там после настойчивых поисков нашел деревянный невзрачный дом Вахтанга-аги, занимавшегося перевозкой брусских кладей через горы Тавра.

Здесь, дожидаясь дня, когда выйдет караван на Тавриз, Мулло Камар приглядывался к мирной жизни армян — к играм детей, к хлопотливым скромным женщинам, прявшим шерсть или вязавшим бесконечные чулки, или месившим тесто. Хотя зола накрепко прилипала к тесту и потом хрустела на зубах, армянские пресные хлебцы полюбились Мулло Камару. Ему по душе был мирный уют армянского дома, скупой, даже суровый

уклад жизни и эта удивительная, непреклонная верность обычаям, своей вере, своему миру.

Наконец караван пошел.

Мулло Камар, дремля, сидел на осле, а осел шел через многие города султана Баязета.

Кое-где бродяги пытались напасть на караван. Завязывались схватки между охраной и нападавшими. Однажды разбойники отбили караван от стражи. Но из них мало кто заметил серенького путника в серой чалме на сереньком незавидном осле.

— Паломник? — спросили разбойники.

— Во славу аллаха! Возвращаюсь с богомолья...— ответил Мулло Камар.— Помилуйте грешника, как милует нас грешных аллах милостивый!..

Разбойники, пограбив кое-что и отняв осла у Мулло Камара, скрылись, едва завидев возвращающуюся охрану.

Но рваные сапоги, залатанные лоскутками порыжелой кожи, никого не прельщали.

Пересев на другого осла, Мулло Камар отправился своим путем дальше, через новые и новые города, крепости, селения, постоялые дворы, где хозяйничали воины Баязета, где распоряжались спесивые османы, а торговлю в цепких руках держали греки, армяне и генуэзцы.

Мулло Камар примечал: хороши ли базары и крепки ли стены в тех городах, многочисленны ли воины и воинственны ли. А осел так же понуро шел, дробно переступая копытцами, по городской ли мостовой, мимо высоких стен и древних башен, по нагорным ли тропинкам Понтийских гор, над безднами ль высокого Тавра.

Так прибыл Мулло Камар в маленький древний Терджан, уже зная от встречных караванщиков, что Тимур стоит в Арзруме.

* *
*

Постукивая палочкой по площади, где из-под грязи просвечивали остатки мостовой, опираясь на палочку в переулках, где ноги скользили по грязному месиву, вглядываясь в продавцов и в товары, Мулло Камар прошелся по Терджану.

Он увидел пути, пройденные войсками Тимура, всю меру разорения стран, откуда они пришли в Арзрум, всю твердость их рук, когда они брали то, что спешили отдать здесь, в тесных сырых закоулках Терджана, и на что Мулло Камар поглядывал лишь мимоходом — все это достояние, вырванное вместе с жизнью прежних хозяев, все это — не товар для купца, направ-

ляющегося в страну, где собраны эти вещи: волчьими оглодками не насытишься!

Ни лошади, ни рабыни, ни разрозненные серьги или запястья не влекли Мулло Камара — это лишь пыль больших событий, а дельный купец сам творит события, чтобы снимать с них свою добрую долю.

Вдруг он остановился.

В глубокой нише чьих-то тяжелых ворот трое курдов разглядывали полосатый мешок, перекладывая в нем книги.

— Чем торгуете? — как бы шутя спросил Мулло Камар и чуть не сломал палочку: с такой силой уперся в нее, чтобы не проскользнуть мимо.

— Книги, вот...— застенчиво ответил курд, явно стыдясь этакой безделицы, когда кругом торгуют серьгами и запястьями.

— Про что писаны?

— Кто знает? Один из нас грамотей — этот вот, да язык-то не наш.

— А что за язык?

— Кто его...

— Откуда они у вас?

Курдам не хотелось говорить, но избежать ответа тоже нельзя: затем и приволоклись сюда, чтоб отвязаться от тяжелого мешка.

— Из армянского монастыря. У армян взяли.

— Сколько ж вам за этот мешок?

Двое из курдов хотели поскорей сбыть свою добычу. Но третий сказался упрям.

— Мешком не отдадим. Нам армяне за каждую заплатят, как за пленника.

Двое заворчали было, но, вспомнив, что третий из них — грамотей и что в Тимуровом войске вот-вот выслужится в десятники, смолкли.

Упрямец настаивал:

— Вот в серебре вся!..

— Говори же цену!..— спешил Мулло Камар.

— За пленных берут...

Как бы припоминая, упрямец задумался, помолчал и добавил:

— А за книги — вдвое: на этой неделе сам повелитель так определил. Армяне увидят нас — торговаться не станут! Сразу возьмут!

— Нам бы только армян разыскать! — добавил другой курд.— Тут они толкутся, да сами все в обносках...

— Сколько ж вам... Книг там сколько?

— Около сорока там...

— Это сколько же выйдет?

— Цена — по книге: эта вот — вся в серебре. Ей цена...

Двое других курдов заторопили своего грамотея:

— Прохожие тут, отойдем за ворота!

Но Мулло Камар повел их к себе в келью: спокойней было пересмотреть товар без помех.

На затоптанном паласе, устилавшем келью, разложили все эти потемнелые, писанные неведомыми людьми, кое-где закапанные воском книги.

И все четверо — трое курдов и сам Мулло Камар — смотрели на них с удивлением и опаской: этакие деньги за них платят, а понять ничего нельзя.

Здесь, у себя дома, как ни кратковременно это пристанище, Мулло Камар заговорил о цене спокойно, прижимисто.

Но и упрямец курд, поняв, что купец от покупки не откажется, настаивал на своем.

Они спорили бы долго, но Мулло Камар вдруг вспомнил, что денег у него, кроме дорожной мелочи, нет. Ни одному из здешних менял, если они здесь есть, никакого кожаного лоскутка не предъявишь: деньги можно взять либо в Эрзинджане, либо в Арзруме.

— Поедем в Арзрум, там рассчитаемся!..— предложил купец.

Курды, переглянувшись, молча ухватились за книги и не без досады принялись кидать их обратно в мешок.

— Стойте,— потерял спокойствие купец,— подождите!..

— Или давай деньги. Или нам пора уходить.

— Подождите!..

Мулло Камар торопливо думал, как взять, где, у кого взять столько денег. Ведь выходило, что добрую долю своей счастливой выручки надо было отдать этим оборванцам! А здесь — чужой город...

— Посидите здесь. Я схожу за деньгами.

— Нет! — отказались курды, начинавшие опасаться ловушки.— Мы уходим отсюда.

— Где же я вас найду?

— Не ищи нас! Прощай!..

Тогда Мулло Камар ухватился за рукав упрямца.

— Подожди, я принесу деньги!

Но чем настойчивее он удерживал их, тем неудержимее хотелось им уйти подальше от этого места.

Второпях Мулло Камар набавил им цену.

Но это лишь напугало курдов: сторговавшись, купец вдруг просит их получить больше, чем они запросили!

Снова переглянувшись и подталкивая друг друга локтями,

один взвалил на спину весь мешок, другие ухватились за углы мешка,— все трое кинулись прочь из Араб-хана, уверенные, что стража уже ждет их у ворот.

Но ворота оказались отперты.

Лишь на улице они осмелели и не знали, как отделаться от назойливого старика, цеплявшегося за них и обещавшего деньги, которых у него самого не было.

Мулло Камар, видя, как исчезает эта вожделенная покупка, боялся лишь потерять курдов из виду. Гонясь же за ними, он лишь ускорял их шаги и терял всякую надежду раздобыть деньги при таком положении.

Мулло Камар еще раз набавил цену. Он сулил им почти все, что мог получить у менял, все, что нажил в Дамаске. Чужие деньги, повелителевы, но ведь он вернет их с лихвой!

Он бежал за курдами, не в силах понять их испуга, не в силах от них отстать.

Они оказались уже где-то за людными улицами, на каких-то пустырях, среди чьих-то гниющих костей, спугнув стаю бродячих собак...

Видя, что, кроме одурелого старика, за ними никто не гонится, курды остановились.

Мулло Камар, задыхаясь, потеряв где-то палочку и потому оскользаясь даже на ровном месте, последний раз напомнил, что вывалит им эту неслыханную кучу денег, если дадут ему время.

Упрямец, подмигнув остальным, согласился:

— Ступай, мы подождем здесь.

«Они сбегут»,— думал Мулло Камар. Но что еще мог он сделать?

— Я приду сюда с деньгами.

— Мы подождем!— повторил упрямец и тут же напомнил:— Приноси! Однако сколько сейчас обещал. Меньше мы не возьмем.

Когда, растопырив руки, Мулло Камар пошел по скользкой тропе, со страхом понимая, что денег ему неоткуда взять, курды заколебались: «Ждать ли старика, который вместо денег может привести сюда стражу и незаметно окружить их тут... Уйти бы! Но и столько денег никому не снилось! Если разделить их поровну на три части, каждому хватит до конца жизни. Каждый сможет жить, как падишах!»

Они сговорились укрыть книги в какой-нибудь хижине на другом краю города, а самим порознь притаиться на дороге, по которой купец вернется сюда: видно будет, один ли он сюда идет, ведет ли за собой стражу.

Тем временем Мулло Камар возвратился в Араб-хан и спросил хозяина.

Очень толстый, румяный, пощипывая жиденькую бородку, хозяин смотрел ленивыми и добрыми глазами на опасного купца, что утром предъявил пайцзу хромого разбойника — Повелителя Вселенной.

Мулло Камар спрашивал хозяина, найдется ли в Терджане ростовщик, способный за очень большую лихву одолжить очень много денег на несколько дней, пока Мулло Камар съездит за деньгами в Арзрум.

— А под какой залог?— спросил хозяин.

— У меня с собой товаров нет.

— Тогда никто не даст.

Отчаяние охватывало Мулло Камара: сказочная добыча ушла!

Но хозяин, перестав щипать бороду, протянул к купцу руку и сказал:

— А пайцза? Она в самом деле от него самого? От Хромого? Покажите-ка ее.

— Вот она!— нашаривая за пазухой могущественную медяшку, заспешил Мулло Камар.

— Покажите-ка!..

Хозяин лениво и ласково осмотрел ее — три кружка, составленные треугольником.

— Да, настоящая. Но как эта при такой пайцзе у купца нет с собой ни денег, ни товара?

Мулло Камар с досадой стянул с себя сапог и, тыча им в лицо хозяину, закричал:

— Вот они!

Хозяин попытался отодвинуться, но, будучи грузен и неповоротлив, не смог, хотя купец, предъявляющий то самаркандскую пайцзу, то рваный сапог,едва ли не базарный сумасшедший, каких немало развелось в эти суетные годы и общение с коими небезопасно!

Мулло Камар, наконец, заметил испуг хозяина, показал на заплатках сапога те армянские клейма и знаки, что превращали любой такой лоскут в серебро или золото.

Наконец хозяин пообещал Мулло Камару найти ростовщика, что под залог пайцзы даст деньги на малый срок, но под такую лихву, какой Мулло Камар никогда не слышал.

Возмущенный, что с него хотят столько взять, купец напомнил, что пророком божьим запрещено ростовщичество.

Хозяин, снова пощипывал бородку и, возвращая купцу пайцзу, вздохнул:

— Кто хочет взять, равно нарушает заветы пророка, как и тот, кто хочет дать. К тому же, человек, который найдет столько денег,— армянин. Мусульманские заветы не касаются ни его, ни тех мусульман, которые ведут с ним дела.

Мулло Камар понимал, что без пайцзы не так легко будет ему

выехать на дорогу, где повсюду бродят воины мирозавоевательного воинства. Но книги следовало взять сейчас же, пока их не перехватили какие-нибудь армяне! Пока курды не перебрались на другой базар, не отправились в другой город.

Армянин внимательно осмотрел голенища и предложил, оставив пайцзу Мулло Камару, взять в залог оба его сапога.

На пререкания и раздумье времени не осталось. Мулло Камар разулся.

Армянин, бережно приняв рваные сапоги, отсчитал купцу кошель серебра и золота.

В нескладных стоптанных туфлях, принятых от армянина в придачу к деньгам, стуча и шлепая на весь базар, Мулло Камар пошел на поиски курдов.

С трудом он нашел дорогу на обетованный пустырь. Ужаснулся, не увидев там желанных курдов. Возликовал, приметив, как крадучись пробираются к нему двое из них. Оробел, поняв, сколь одинок и беззащитен он здесь со своим сокровищем. Даже на помощь кликнуть некого!

Они ограбили бы его. Но зачем, когда он сам принес им заветное сокровище! А мешок этих книг тащить куда-то снова, когда так хотелось скорее отделаться от такого мешка!..

Пока двое проверяли содержимое кошеля, третий, самый упрямый из них, отправился за мешком.

Он уже показался на краю пустыря, изнуренный тяжкой ношей, когда эти двое, переглянувшись, исчезли так скоро, что Мулло Камар, обернувшись, не увидел ни кошеля, ни курдов.

Он увидел лишь упрямца, который, раньше, чем купец, поняв все происходящее, кинул мешок и тоже исчез, словно все это лишь померещилось Мулло Камару. Упрямец ринулся преследовать лукавых сподвижников, а купец остался в надвигающихся сумерках, среди слякоти, на незнакомом пустыре, наедине с мешком, который поднять не было сил.

Уже в темноте возвратился Мулло Камар в свою келью, сопровождаемый каким-то бродяжкой, согбенным под тяжестью мешка.

Очень тяжел мешок! Таков будет вес серебра, причитающегося купцу в Халебе!

Девятнадцатая глава

МЕШОК

За ночь в Арзруме выпал свежий снег, но утром в разрывах тяжелых туч порой проблескивала густая синь неба, и тогда по белым склонам Эйерлидага, Седла-горы, опрометью мчались синие косяки теней.

Морозило. А где-то в Трапезунте еще цвели розы. В Ереване и в Султании собирали урожай гранатовых садов. В садах Самарканда ещё висели тяжелые гроздья позднего винограда, но Повелителю Вселенной суждены этой осенью не сады и розы, а холодные камни сурового Арзрума да ветер с гор, пронизанный мерцающим инеем.

Голубой тулуп, подбитый белой овчиной, накинули на плечи Тимуру, когда с плоской крыши трапезной он разглядывал темные камни строений, деревянные крашеные трубы над убогими лачугами, клубы белого дыма по всему городу и мерцающую инеем далекую даль.

Конница шла на зимовку в Карабах, ибо здесь, среди оледенелых полей и голых гор, не было подножного корма. Отогнаны в долины Азербайджана и стада, сопровождавшие войско. Но пехоту Тимур держал здесь и сам медлил уезжать: с весны, едва откроются перевалы, отсюда двинется он дальше. А дальше — города и крепости Баязета, готовые закрыться в осаду и сопротивляться каждому шагу завоевателя, когда он пойдет вперед. А вперед он пойдет, ибо Вселенная слишком тесна, чтобы вместить двух могущественных властелинов.

«Слишком тесна!»— думал Тимур, глядя в белую, заваленную снегом даль. Нельзя уйти отсюда, нельзя пойти ни в степи на монголов, ни через горы на Китай, ни даже к себе домой в Самарканд, оставив Баязета набираться сил, покорять новые народы, растить богатства и воинства. Навоевавшись в христианских странах, султан сам придет за Тимуровыми землями, придет в большой силе, ибо победы приумножают силы победителей. Придет непременно, ибо и он знает: «Слишком тесна!..»

Тимур отсюда пойдет только туда, за туманные перевалы Тавра. Назад же или поедет победителем, или его отнесут в белый саркофаг, который небось уже раскрыт для него в родном Шахрисябзе. Другого пути нет!..

Он спустился по крутым ступенькам, натягивая сползавший с плеча тулуп, и постоял еще во дворе, где воздух был промозглым и холодил сильнее, чем там, на открытом ветру. Согревшись в келье, он спросил, не сысканы ли мешки, похищенные из подвала.

Шах-Мелик, во все эти дни находившийся при повелителе, рассказал, что погоня настигла армян, отданных по выкупу. Но при них не нашли ни книг, ни мешков. Однако среди выкупа оказалось трое монахов из братии, сбежавшей из этого монастыря.

— Где они?

— Этих троих привели. А выкуп отпустили.

— Спрашивали их?

— Клянутся, что сбежали, ничего не взяв. А о мешках и слыхом не слыхивали.

— Еще что?
— Из армян же взяли одного купца, который ретивее остальных рвался книги выкупить. Остальных увещевал, чтоб не людей, а книги выкупать.
— Какой это?
— Молодой из них.
— Помню!— твердо сказал Тимур.— Давай их сюда.
Промерзнув в легких рясах, монахи вошли, сжавшись, поеживаясь, безучастные к своей судьбе, ибо холод остудил в них все порывы.
С ними ввели и молодого армянина, тоже продрогшего, с покрасневшим лицом. А вокруг глаз лицо побелело. Но глаза его смотрели спокойно, с приязнью, прямо в глаза Тимуру. И повелитель не столь сурово, как намеревался, сказал:
— Спроси их, Шах-Мелик, зачем ушли из монастыря. Игумена своего, почтенного старца, бросили на голодную смерть. Так разве можно? Куда спешили?
— Мы одни оставались здесь!— ответил монах.— Как на острове промеж пучин. Что тут делать? Чего ждать? В ту ночь игумен нас призвал и сказал: «Уйдите к своему народу». И мы пошли.
— А зачем наши мешки уволокли?
— Нас при том не было. На тот подвиг игумен избрал других братьев.
— Вы про то знали?
— Знали.
— Все трое?
— Все знали.
— Пошли бы да крикнули б нашей страже!
— А своих братьев предать?
— А воровать — это... своим братьям? А?
— Жизнь человека коротка. Ею владеет бог. Народ же владеет и тем, что создано им тысячу лет назад, и тем, что создаст через тысячу лет. Иначе не было б народа. Мы же тысячи лет своей землей владеем.
— Этой?
— И этой, и вокруг.
— Этой мы владеем!
— Приходило много воинов и в прошлые времена. Но хозяин у нее один, прежний. Он и впредь ей один хозяин: ее возделал народ, он ей и хозяин во веки веков.
— Ты сказал: жизнь коротка. Вами народ и кончится.
— Пока цело то, что народом сделано, он не помрет. Наше дело — сберечь побольше из того, что сделано. Тут самые камни служат этому делу, ибо кем они обтесаны, тому и верны, о том и напоминают.

Молодой купец, рванувшись вперед, прервал монаха:

— Люди что! Поживут, их и нет. А книги остаются. Потому я и просил продать нам, если есть, армянские книги. Говорят, привезли вам. В мешке. Никто не видел, что за книги. Но издали люди заметили, что книги древние. Я и говорю: не людей, а бессмертные книги нужно выкупить для народа. Да меня не послушали. А теперь вот книг тех и у вас нет, и нам не дали. Где они?

— Тебя затем и привели, чтобы ты сказал нам, где они?

— Когда мы отсюда ушли, никто не слыхал, что книги пропали.

— Помоги нам. Поищи среди армян. Найдешь — мы их вам продадим, берите!

— Что ж, я поищу!

— Иди! — отпустил его Тимур.

Но когда кто-то из монахов тоже подвинулся к двери, Тимур сказал Шах-Мелику:

— А этих повесить.

Монах успел ответить:

— Веревками народ не свяжешь.

И тотчас их всех троих поволокли стражи, всегда готовые показать свое рвение и расторопность, если повелитель мог заметить это.

В оконце пробивался узкий луч солнца.

— Распогодилось?

— Едва ли надолго!— усомнился Шах-Мелик.

Вернулся конный отряд, искавший по окрестным деревушкам курдов, отбивших у монахов мешок с книгами. Отряд вернулся с пустыми руками: курдов вокруг много, но либо немощные старики, либо женщины, а остальные находились в войске Тимура, либо среди тоурменов Кара-Юсуфа, которые отхлынули куда-то за Багдад. Никаких других курдов не попалось.

День протекал, как все эти дни — приходили проведчики. Приезжали гонцы. Отсылались гонцы. Являлись соратники совещаться о прокорме войск, о выплате жалованья воинам, о передовых отрядах, посланных в обход городов Баязета, в Эрзинджан, в Кемах, даже в далекий Сивас, поразведать, что там за люди, каково там будет войскам Тимура, когда весной пойдут в те края.

Многие могут сложить головы в таких поездках, но ехали охотно: каждый рассчитывал уцелеть; уцелевший же возвращался с хорошей добычей, ибо являлись они везде невзначай в селения, еще не тронутые нашествием.

К вечеру снова повалил снег. Повалил тяжелыми хлопьями.

Стражи среди двора развели костер, топтались вокруг огня, совали в пламя обмерзлые сапоги. А снег падал в огонь. Неожиданно к Тимуру вошел Шах-Мелик. В походе у ближних людей было право: если есть спешное дело, входить к повелителю без спросу.

— Что ты?

— Книги нашлись.
— Все?
— Целый мешок.
— Где?
— У нашего купца отняли.
— Он же и стащил?
— Клянется, будто купил. Пайцзу нам сует.
— Откуда он?
— Из Эрзинджана прибыл. Клянется и к вам просится.
— Пусти. Послушаем.
Внесли светильник.
Покашливая, Тимур протянул руки к жаровне и задумался.
Из раздумья его вывел Шах-Мелик; ему, видно, надоело ждать, и он, обойдя жаровню, появился, хоть и поодаль, но перед глазами повелителя.
— Привели.
Не отнимая рук от жаровни, Тимур круто обернулся к двери.
В двери он увидел памятную серую чалму над сереньким халатом.
В удивлении Тимур забыл о жаровне.
— Ты?
— Истинно, великий государь.
Тимур встал, и Шах-Мелик догадался, что повелителю угодно остаться наедине с купцом, ибо пошел купцу навстречу, дабы разговаривать тихо, не для праздных ушей.
— Прибыл?
— Деньги в товаре, великий государь.
— Что за товар? Откуда?
— Здешний, армянские книги. На них цена велика.
— Оттуда сюда вез?
— Здесь взято. А сбыть еще не успел. Не дали: выхватили из рук, словно бы я их не купил. А где же бы я их взял?
— Подослал людей и выкрал у нас?
— Великий государь!..
— Ну?
— Здесь купил. Туда повезу, там цену дают. Можно бы и еще, от вас бы... попадаются же в походе. Вот их тоже заодно... Туда же.
— Цену и здесь дают.
Вдруг, дернув головой, как бывало, когда находилось внезапное решенье, хлопнул в ладоши и возвратившемуся Шах-Мелику велел привести молодого армянина, с беспокойством спросив:
— Его отпустили, да можно догнать?
— Он здесь. Куда пойдет ночью?
— А твои книги? Где?

Повелитель Вселенной повернулся к Мулло Камару.

— Вырвали из рук. У меня теперь ничего нет.

— Где они?— строго спросил Тимур у Шах-Мелика.

— Под охраной.

— Пришли их сюда. И армянина тоже.

Когда Шах-Мелик вышел, Тимур снова спросил своего купца:

— Ну?

— Насмотрелся! В Бруссе считают, якобы никто их там не посмеет тронуть. А у мамлюков в Дамаске тишина: наши войска, мол, до них не достанут, далеко. И в Халебе такие же мысли.

Расспросить Мулло Камара не было времени. Двое воинов, широко расставляя ноги, неуклюже пятясь, втащили тяжелый мешок и опустили перед повелителем.

— После расскажешь. Не мне, так Шах-Мелику. Покажи книги.

За эти дни, от холодов ли, от возни ли с тяжелым мешком, у Мулло Камара разболелась спина, не стало сил гнуться. Чтобы развязать мешок, пришлось сесть на корточки.

Сверху лежала самая ценная, по мнению Мулло Камара, окованная серебряным окладом.

Тимур узнал ее. Это были те самые книги, тот самый мешок, что исчез из здешнего подвала.

— За сколько ты их купил?

— Отдал все, что было.

— Много ли?

— В Дамаске продал все товары. Какую цену назвал, ту и взял.

— За мой караван?

— Своего у меня не было.

— Как же ты столько денег кинул на книги? На те деньги можно целый базар скупить.

— Сам их отдал. Они сперва меньше просили.

— Так. А теперь что?

— Продам с лихвой. Надо отвезти в Халеб. Там — баш на баш: мешок книг на мешок серебра. По весу. Твердо сговорено.

— Значит, это мои книги?

— ...И я же их и туда отвезу.

— Покупатели и здесь есть.

Пока искали молодого армянина, Тимур расспрашивал Мулло Камара о далеких городах, где всюду стоят войска, с которыми предстоит сразиться.

Тимур спрашивал, не увеличилось ли войско Баязета в Бруссе за дни, пока там прохаживался Мулло Камар. Тимур хотел знать, не перевозит ли Баязет свои войска,— выйти сюда, навстречу.

Нет, Баязет упрямо держал свои силы вокруг Константинополя,

ожидая лишь благоприятного дня, чтобы накинуть петлю на шею Византийской империи...

Наконец выяснилось, что армянин ушел в город, но стражам у монастырских ворот обещал к ночи вернуться.

Тимур метнул взгляд на погасшее окно.

— Ночь уже, вот она!

Мулло Камара он отпустил:

— Иди. Поместись в караульне. А покупку свою тут оставь.

Слуги оттащили мешок книг к стене, придвинули светильник и внесли ужин.

Но Тимур еще мыл руки над медным говорливым тазиком, когда во дворе затопали кони. Прибыл царевич Халиль-Султан, ходивший со своей конницей на Трапезунт припугнуть императора Мануила Трапезунтского.

— Припугнул?— спросил Тимур у внука.

— Я потребовал, чтоб он приготовил для нас сорок галер. И держал бы наготове.

— Зачем нам они?

— Чтоб он не дал их Баязету. Баязет уже подсылал к нему.

— Так. Этого Мануила мы позовем к себе. Поговорим здесь.

— Я там оставил наших воинов. На всех перевалах. Если же он сунется в море, мы возьмем город. Он это понял. Посылает привет, поклон и письмо.

— Так.

— Встретил генуэзских монахов.

— Едут?

— Видел их на ночлеге в Хинисе. Скачут, не жалея ни седел, ни задов.

— Горсть золота резвее лучшего скакуна!

Халиль ел, не стесняясь, вытягивая шею и открывая рот раньше, чем успевал поднести кусок ко рту. Лицо его потемнело, обветрило и засмуглилось за дни похода на Трапезунт. Тимур видел в нем прежнего мальчика, сметливого, послушного, какого любил в зимнюю пору взять к себе на колено, запахнуть халатом и слушать, как трепетно бьется маленькое сердечко.

Тимур сказал:

— От бабушки вчера был гонец. Улугбек болел. Теперь поправился. У них в Султании — еще розы...

— А из Самарканда?..— спросил было Халиль, но тотчас спохватился, что о Самарканде не следовало бы спрашивать так, словно он хочет это знать не менее, чем о бабушке...

Тимур уловил его порыв, но смолчал. А Халиль поспешил поправиться:

— Не было гонца? Мухаммед-Султану пора бы выехать.

— Он выедет в конце зимы. Весной будет тут.

— К походу на Баязета поспеет?

Тимур не любил кому бы то ни было говорить: собирается ли он на Баязета, когда пойдет, какими дорогами. Кое-что все же пришлось разгласить: иначе заблаговременно не поймешь, не поддержит ли Баязета какой-нибудь из королей, страха ради. Не разведаешь его друзей и соседей...

— Собираешься в поход?

— Как вам угодно, дедушка.

— То-то.

Тут Шах-Мелику сказали, что армянин вернулся. Тимур приказал его звать.

— Что за армянин?— спросил Халиль.

— Книги у нас выкупает. Вон мешок лежит.

Армянин, не ожидавший, что в поздний час потребуется Повелителю Вселенной, растерялся. Но Тимур благоволил к нему:

— Нагулялся?

— Я нашел купцов, которые могут дать деньги, если книги продаются.

— Денег у них хватит?

— А сколько за эти книги?

Тимур назвал ту страшную цену, какой было бы довольно для целого базара. И добавил:

— Это своя цена. А еще и прибыль нужна. Без барыша, что ж за торговля?

— Где же взять столько денег? Мы кругом все в нищете. Собираем по капле, отнимаем хлеб у своих голодных детей, выгоняем сирот на улицу, лишь бы спасти книги! Это они в мешке?

— Хочешь посмотреть?

Тимур послал за Мулло Камаром. Купец поспешно явился.

— Развяжи мешок! — приказал Тимур.— Покажи ему книги. Может не цельным мешком, а в розницу выкупать. Сколько денег наберет.

— Великая милость!..— поблагодарил армянин.

Мулло Камар, снова сидя на корточках, принялся вынимать книги, но, как истый купец, не спешил совать товар покупателю, а сперва сдувал с книги пыль, вытирал ее рукавом или полой халата, клал возле себя и вытягивал на свет следующую.

Так вынул он первые пять или шесть книг.

Окованную серебром он положил впереди, как самую ценную. Остальные по обе стороны.

— Вот они!

И отодвинулся, предоставляя покупателю свободно и вволю налюбоваться товаром, прежде чем заговорить о цене.

Армянин раскрыл первой не серебряную книгу, а небольшую в белом пергаментном переплете с золотым тиснением.

Легкая продолговатая книга послушно раскрылась, но армянин, быстро перелистав лишь начало и конец, отложил ее в сторону и взял другую.

Последним, уже не торопясь, раскрыл он тяжелое Евангелие в серебряном окладе.

Потом он протянул руку к мешку.

— А те?

— Поговорим сперва об этих!— остепенил его Мулло Камар, даже не ожидая указаний Тимура, уверенный, что армянин прикидывается спокойным, оттого что хитер.

— Об этих я не могу говорить. Этих мы не возьмем.

— Цена тяжела?

— Нет, это не наши книги.

— Как, как?

— Это греческие книги. Церковные. Зачем они нам?

— Как греческие, когда их армяне украли!

— Не знаю. Может быть, они не развязали мешка. Тащили, чтобы после рассмотреть.

Тогда Тимур, силясь скрыть досаду и сдержать нарастающий гнев, сурово спросил у армянина:

— Греческие?

— Великий государь! Разве я виноват?

— Смотри остальные!

Книги были тотчас вывалены грудой среди кельи.

Армянин торопливо поглядел их все, одну за другой.

— Откуда они? Ни одной армянской тут нет. Только греческие. В каком-нибудь старом монастыре залежались. Вот только лоскуток пергамента. Кто-то страницу заложил, это из армянской книги лоскуток... Да, да, это по-армянски. Из какой-то старой книги вырвано. Мудрые слова! Хозяин этих книг, знай он армянский язык, не вырвал бы из древней книги листок, чтоб заложить свою книгу...

Армянин снова перебирал их одну за другой, бормоча свои замечания.

Наконец разогнулся и, протянув один лишь маленький, с ладонь, лоскуток, сказал:

— Вот все, что тут было по-армянски. А это — грекам. Да им ведь нынче не до книг. Книг у них — полон Константинополь! Да и Трапезунт... Византийские, церковные книги. А у армян своя вера. Похожая, но своя. Нам зачем эти книги?..

Мулло Камар начал было складывать свою покупку назад в мешок, но, прервав это дело, какими-то странными, очень мелкими шажками прошел вдоль стены, чтобы стать ближе к повелителю.

— Свое бы разорил... А то ведь!.. Государь, милостивейший!

Невнятные слова, но Тимур понял их сразу. Сдерживая ярость,

он готов был одним тигриным прыжком сграбастать этих обоих — Мулло Камара и армянина, и — на мелкие части!..

Того, чтоб не бросал деньги незнамо на что! А того — что купить не хочет!..

Но молча следивший за всем Халиль-Султан вдруг громко расхохотался — так развеселила его какая-то дробная, растерянная улыбочка Мулло Камара при округлившихся от ужаса глазах.

Этот смех словно плетью хлестнул Тимура. Он, уже не в силах сдержаться, прохрипел внуку:

— Прочь отсюда, остынь на холодке!

И этого было достаточно, чтобы и самому успокоиться, остыть и, опустив глаза, задуматься.

Мулло Камар, прижавшись к стене, дрожал. Дрожал тоже смешно — каждой своей частью отдельно: руки дрожали мелкой дрожью, плечи вздрагивали реже. Голова тряслась, как и руки. А глаза глядели, не в силах оторваться, в одну точку, в лицо Тимура.

Армянин, безучастно отойдя от разбросанных книг, тоже стал у стены, не зная, что же делать дальше.

Один Шах-Мелик, наглядевшийся за свою жизнь на многое, спокойно переступал с ноги на ногу и ждал.

Армянин взял на ладонь лоскуток пергамента, вырванного из книги, и перечитал его:

«Без слов нет истории. Поелику возникает жизнь, возникает сей жизни история. Ибо каждое движение жизни есть достояние истории. Посему сказано: «В начале было слово». Ибо без слова нет истории бытия, а всякое бытие есть история...»

Дальше обрывалось, да и здесь не все можно было понять. Можно было лишь догадаться, что чья-то рука разорвала старую книгу, писанную армянским историком. Это, видно, первая страница той книги, которой уже нет на свете. А ведь историю писали и Мовсес Хоренаци лет с тысячу тому назад, и Стефан Таронци, а мог это и великий Вардан сам написать своей рукой.

Порывисто сжав ладонь, армянин скомкал отрывок пергамента и торопливо мял его, мял, чтобы он превратился в комочек, в шарик: если не удастся его унести, кинуть в рот и стиснуть зубами!..

Вдруг ему показалось, что Шах-Мелик понял его затею.

Перестав мять шарик, он его крепко сжал, готовый на борьбу, если вздумают отнять.

Но Шах-Мелик отвернулся, и армянин успел сунуть шарик за пазуху.

Тимур поднял голову и посмотрел на Мулло Камара.

— Оплошал?

Мулло Камар, хватая себя за грудь, забормотал:

— Оплошал, милостивейший, оплошал!

— Ступай, одумайся. И ты, армянин, уходи. Иди куда хочешь. Не хочешь ли чего из книг взять?..

— Зачем мне?

— Как хочешь...

Но, глянув вслед Мулло Камару, позвал его назад:

— Стой! Ты скажи: конницу у них видел?

— Какую?

— Баязетову! Какую же еще?

— И ту, которая при нем, в Бруссе. И по дороге встречалась.

— Какие у них лошади?

— Как у всех там.

— Арабских кровей?

— Красавцы!

— Хороши. Но не для битвы... запальчивы. У нас их лошади есть. У Халиля есть. Он их любит.

— Не скажу, не знаю, каковы для битвы. А когда скачут, глаз не оторвешь!

— Ну, иди. Иди!

— Оплошал! И как, сам не пойму. Как во сне!

— Иди, одумайся.

Оставшись вдвоем с Шах-Меликом, Тимур сказал:

— Вели их назад в мешок собрать да брось туда же, в подвал. Спрошу Султан-Хусейна, откуда раздобыл такую добычу. Как вернется, так и спрошу.

Он сам поднял с пола свой синий тулуп и попытался накинуть себе на плечи. Но не смог, и Шах-Мелик помог ему.

Он вышел во двор и сразу увидел Халиль-Султана.

— Замерз?

— Я около костра...

— Не хочешь ли проехаться?

— Не темно, дедушка?

— На снегу дорога виднее. У тебя арабских кровей есть тут?

— Лошади?

— Не слоны же!

— Я всегда их держу.

— Вели, какие покрепче, нам заседлать.

— У меня всегда наготове стоят заседланные.

— Поедем. По морозу хорошо!..

Халиль-Султан свистнул, и воины, мгновенно понимавшие его знаки, подвели лошадей.

Они проехали мимо костра, вспугнув стражей, и вскоре повернули в пустынную долину.

Охрана, в меру отстав, ехала следом.

А мешок с книгами, ухнув, повалился на то место в подвале, откуда был выкраден.

КОСТРЫ

Накинув на плечо старенький переметный мешок, обзаведясь посохом, Мартирос пошел дорогой, предназначенной ему в Мецопском монастыре.

Сед, невзгляден, соблазна для пленения он не являл, потому путь ему выпал в сторону больших Тимуровых дорог, где воинствовали завоеватели.

Его обетом было, когда выпадет случай, помогать своим людям: раненого ли поддержать, ребенка ли укрыть от гибели, вызволить ли человека из плена, искать обездоленных и всюду свершать благое деяние в тяжкую пору бедствия.

Монастырь и возглавил этот тихий, незаметный подвиг народа, когда ни властители, ни витязи не могли собрать сильного воинства для обороны, ибо вся Армения была разорвана на мелкие области, а народ — разобщен.

Лишь монастыри, подавая друг другу весть по узким горным тропкам, ободряли отважных, собирающихся небольшими братствами для отпора мечом, привечали немощных и детей, укрывали ищущих убежища, принимали на сбережение скарб ремесленников, сокровища владык, достояние старцев, достаток купцов, поклажу воинов, пожитки бедняков, всякое насущное имущество, какое кто смог спасти от разорителей и злодеев. Отдав это монастырю на сбережение, разные люди уходили каждый своим путем: сильные — на борьбу, хилые — за мылостыней, купцы — на поиски прибытка, старцы — творить добро, Мартирос шел творить милосердие.

Светло, словно только что в бане вымыто, розовело его старческое лицо сквозь реденькую, жесткую седину.

Ноги в мягких постолах ступали бесшумно. Лишь посох изредка постукивал о камень.

Он спускался с гор в долину, сокрушенно глядя на пустые, разбитые, разбросанные, как глиняные черепки, остатки селений. На ямы землянок, куда рухнули обветшалые кровли.

Лишь кое-где, непонятно как, уцелели немногие домашние птицы, взлетавшие или убегавшие в тень камней, едва чуяли на себе взгляд прохожего странника.

Среди одного из пустырей к нему пристала молодая серая собака. Долго принюхивалась к его следу, осторожно преследуя старика.

Оба были бездомны и голодны.

Она освоилась, свыклась с Мартиросом, присмирела и долго бежала рядом. Но, не доходя до одного из селений, вдруг взвизг-

нула и сгинула. Мартирос задумался и прилег в канавке, высматривая, нет ли кого живого среди руин.

И живые оказались: из-за полуобвалившейся стены появились трое воинов и шажком проехали стороной.

Собака сослужила Мартиросу — остерегла. Но больше не показывалась, и он ушел один. Если б собака не приставала к нему, не плелась возле него, теперь он, может быть, и не заметил бы, насколько он один среди селений без населения, в сени садов без садовников.

Он шел и шел по умолкшей, опустелой земле.

Когда утомлялся, он поворачивался к Арарату, который казался ему мирным, усталым буйволом, прилегшим во дворе своего хозяина — своего народа, готовым в заветный час по зову хозяина встать на ноги, чтобы заново пахать, передвигать тяжести от края до края и по всем дорогам Армении влачить соху или арбу, отяжелевшую от доброго урожая.

Идя, Мартирос приговаривал:

— Сбудется. Сбудется!..

И силы возвращались, ибо Арарат, родной Масис, напомнил старику о годах молодости, напоминал, что Мартирос здесь у себя дома, с колыбели здесь у себя дома. И шишковатые намятые ноги ступали тверже.

Мартирос перешел перевал, и другие горы родины поднялись и заслонили гору Арарат. Зашумели другие ручьи. Потекли иные реки. Даже у земли здесь был иной цвет: камни вдоль пути громоздились то багряные, то черные, словно их окровавили вражеские мечи, опалили костры нашествий.

Однажды, перейдя гору, Мартирос вышел со своей узкой стези на большую горную тропу и увидел, как извилисто она опускается в долину, кое-где нависая над пропастью, кое-где отклоненная от бездны кустарниками, уже обагренными заморозками.

Неширокая горная тропа, усыпанная пыльными камешками, утоптанная стадами, которых прежде так много паслось среди этих гор... Бывало, этой тропой много караванов шло к перевалу, издалека неся вьюки и на Азербайджан — в Шемаху, в Дербент; и на Иран — через Марагу и Тавриз в Фарс, в Хорасан...

Ныне она лишь копытами конницы избита: ею прошел Тимур, скачут его гонцы, идут его воинства. Теперь надо было сторожиться, беречься нечаянных встреч... Но короткий осенний день истекал, и в эту пору к перевалу никто не поднимался. Никого не встретив, Мартирос уже в сумерках вышел к селенью, покинутому хозяевами, но занятому заставой Тимура. Надо было миновать недоброе место стороной и в ночной тьме.

Вдруг старика кто-то толкнул под колено. Чуть не споткнувшись от неожиданности, он оглянулся, и на сердце его потеплело:

несколько дней побродив где-то, его догнала, узнала и приветствовала бродячая собака.

Она перед ним ударилась грудью оземь, вскочила и смело пошла впереди. Он, радуясь этой встрече, сам почувствовал в себе больше твердости, смелей поднялся с тропы на крутой откос, чтобы миновать заставу.

Со двора караульни долетали резкие окрики стражей и глухой гул множества людей. Ему почудились армянские слова.

Мартирос вслушался. Занятые чем-то во дворе, стражи отсутствовали на дороге. Он перебежал ее и вышел по другую сторону двора. Темнота сгущалась. Теперь лишь собаки могли его приметить среди камней и кустарника.

Он поднялся с камня на камень по откосу горы, и двор оказался внизу. Но тьма мешала разглядеть там что-либо.

Навык горца помог ему, находя в темноте опору ноге, почти по отвесной скале спуститься к невысокой стене двора, сложенной из камней.

Мартирос ступил на плоский верх стены и у своих ног увидел людей, заполнявших весь двор. Они переговаривались между собой тихо, но голоса их, сливаясь, порождали тот глухой гул, который и привлек сюда Мартироса. Он вслушался: речь была армянской.

Старик лег на верху ограды, грудью прижавшись к камням, и вскоре, свыкнувшись с темнотой, неподалеку от стены различил нескольких человек, сидевших тесным кругом и тихо разговаривавших.

Мартирос прополз ближе к ним и тихо позвал. В замешательстве там смолкли. Он негромко повторил:

— Армянин зовет вас. Не бойтесь.

Крадучись, люди придвинулись к стене. Если б те подняли руку, а Мартирос опустил бы свою, их пальцы соприкоснулись бы.

Он услышал, что это пленные мастера, собранные вокруг Вана и в Карсе. Есть люди из Арзрума и Ахл-ата. Каменщики и зодчие, серебряных дел мастера и резчики, кожевники и ткачи. Их собрали при взятии городов, оторвали от множества пленных, и теперь направляют через Азербайджан и через Иран в города Тимура — в Бухару или Самарканд.

— Длинна дорога!..— сказал Мартирос.

— Кто ее выдержит?..— безнадежно откликнулся собеседник.

— А кто и выдержит, не на праздник придет.

— Что же делать? Уйти некуда. Было б куда уйти, перелезли б эту стену и разошлись бы: охрана невелика. Да куда перелезть-то? Везде догонят. Потому нас и не сильно охраняют — на четыреста пленных два десятка конных стражей.

— Кто у вас старший?

— У нас, у семнадцати человек, у ткачей, старший — Ованес.
— Это я,— объяснил плохо различимый в темноте высокий старик.
— По голосу слышу — ты не молод. По росту сужу — не слаб, не согбен. Подойди поближе. А вы, братья, отойдите.
Когда старики остались вдвоем, Мартирос сказал Ованесу:
— Ваш путь пойдет через Марагу, когда свернете на Тавриз. Перед Марагой ли, минуя, ли ее, на ночлеге ли, при другом ли случае, уходите. Скройтесь. В камнях ли, в ямах ли, в любой щели. А ты, или другой верный человек, улучи время, прикинься нищим, убогим, кем можешь. Иди на базар. Там в Медном ряду у Купола Звездочетов ищи лавку литейщика. Он старик. Запомни имя — Али-зада. Запомнишь?
— Али-зада. Литейщик.
— Купол Звездочетов...
— Купол Звездочетов... Али-зада.
— Скажешь ему: хозяева своей земли хозяевам своей земли кланяются.
— Хозяевам их земли?..
— Покупай у него что-нибудь, разглядывай. Милостыню ли проси; как можешь, стой и расскажи ему, сколько вас. Он покажет дорогу. В горы ли, еще ли куда: ему видней.
— А там ли он? Люди в наше время...
— Старик всегда там. Не тот Али, с которым я был братом лет пятнадцать назад,— другой Али сидит. Но Али-зада, литейщик, всегда на своем месте.
— Да он, видно, азербайджанец. Мусульманской веры...
— Это его дело. Я тебя посылаю не в мечеть, а на базар.
— Понял тебя. А ты кто?
— Раб божий. Запомни мои слова.
Мартирос спрыгнул. Камень ограды скатился из-под его ноги и застучал.
Большие черные псы, захрипев недобрым лаем, кинулись к Мартиросу.
Очнувшийся страж верхом на коне поскакал на голос собак и, вглядываясь во тьму, крикнул:
— Кто там?
Мартирос потянул из-за пояса нож, понимая, что, если и отобьется от одной собаки, другая его свалит. С другой справится, а там еще есть ,и следом за ними — страж на коне.
Вдруг на хриплый лай в ответ раздались визги и шум грызни. По вою слышно было, что собаки схватились насмерть. Но их визг откатился куда-то в сторону гор. Страж отстал от собак и вернулся в караульню.
Мартирос понял, что это его приблудная собака отважно

встретила стаю сторожевых псов и одна против всех кинулась на них.

«Человеку и то урок!— подумал Мартирос, тревожно вслушиваясь.— Что же теперь с ней будет?»

Растерзали ли ее сторожевые псы, сбили ли ее со следа, но Мартирос больше уже не видел ее: она явилась на исходе этого дня, казалось, лишь затем, чтобы сослужить ему последнюю службу.

На рассвете он увидел, как подняли и погнали дальше, в незаемую даль, его пленных собратьев. Он приметил высокого старика. С плоским лошадиным лицом, весь устремленный вперед, он нетерпеливо, словно что-то разглядывал там впереди, высоко нес голову, не замечая никого ни из тех, кто плелся с ним рядом, ни стражей, восседавших на острых седлах, вздымая хвостатые пики. Стражи... Их белые шапки сходствовали с тоурменскими, каких много бывало в Армении в прежние годы, но лица у всех стражей, желтоватые с маленькими узкими, как черточки, глазами, не напоминали ни одно из рослых и мужественных тоурменских племен.

«Кого только ни приволок с собой этот Хромец!»— подумал Мартирос.

Днем он увидел большое шествие женщин, которых гнали отдельно от мужчин.

Их сопровождало несколько воинов на маленьких бойких лошадях. Под одним из дюжих воинов, то и дело радостно запрокидывая голову, шел пегий конек, трехшерстный, с белыми, как тело, губами, степной монгольский конек.

И такой конь не в диковину был на этих дорогах — столько монголов прошло здесь, топча землю, не ими возделанную, разламывая города, не ими воздвигнутые, губя жизни, не ими рожденные...

Женщины шли в синих одеждах под черными покрывалами. Выгоревшие на солнце, пропыленные, стали серы эти покрывала. Серы были и лица пленниц.

Шли понурые, усталые от слез и жалоб. Одни — прихрамывая на разбитых ногах, другие — упрямо ставя непослушные ноги, напрягаясь, чтобы идти по дороге, которая не сулила им ни покоя, ни радости.

Он не сразу уловил, что за ласковый, с детства знакомый гул сопровождает их.

Заслонившись кустарником, прислонившись к камню, он слушал, и, когда они проходили мимо, совсем неподалеку от него, когда уже видны были их глаза, устремленные вперед, но взирающие не на дорогу, а на нечто видимое лишь им одним, на ту мечту или на ту жизнь, что была, цвела, но рассеялась, как рас-

сыпаются отцветшие одуванчики, Мартирос услышал и слова песни:

Ты, вода, теки, теки,
Тельце детки облеки...
Сновиденья над тобой,
Детке тишь да покой...
Баю-бай, баю-бай...
Злой, уйди, не обижай.
Отойди, уйди, кто зол;
Пропади его осел...
Баю-бай...

Колыбельную песню пели они. Древнюю колыбельную, которой, бывало, утешали и убаюкивали их самих, и матерей, и дедов их...

Остались ли их дети в покинутых домах, когда разрушены их семейные очаги?.. Не прижмутся к их груди детские губы. Не вскрикнет от счастья дитя, встречая их у порога... Черный порог неволи, чужая земля впереди.

Они проходили мимо, серые от пыли, от скорби, под низко опущенными покрывалами.

Они шли на перевал. Мартирос пошел в долину.

Он еще проходил предгорья, когда увидел дым. Насторожившись, но ускорив шаги, он вышел к расселине, где на обрыве стоял древний храм, именуемый Сурб Киракос, куда в детстве Мартирос приходил однажды с бабушкой на богомолье.

Вокруг храма стоял небольшой конный отряд — десятка два всадников. Они привалили к дверям груду хвороста и жгли его. Пламя уже карабкалось по дереву дверей, дым полз по камням портала, поднимался к карнизу и, обволакивая купол, растекался по ветру.

Утром того дня монахи и уцелевшие жители соседних селений погрузили на арбу монастырскую утварь, несколько книг, два или три старинных ковра, побуревших за долгие годы от дыма очагов или от дыхания нескольких поколений, владевших ими. Надо было это имущество убрать в горы, ибо хранить его в тайнике становилось трудно: завоеватели обжились в этой долине и могли нашарить тайник.

Буйволы поволокли арбу, а люди пошли поодаль, приглядывая за дорогой, пока возница торопил медлительных буйволов.

Арба скрипела. Буйволы, вскидывая к небу влажные ноздри, напрягались, когда под колеса подворачивались камни. Возница не решался кричать им те привычные слова, которых слушались буйволы.

Они дошли бы до знакомых ущелий, откуда, разделив между собой кладь, люди поднялись бы в недоступные кручи, к тем каменным хижинам пастухов на высокогорных выпасах, где не было

уже ни стад, ни пастухов, где вскоре разгуляются лишь метели. Они дошли бы: долина позади оставалась пустынной. Но навстречу им показался отряд воинов.

Заметив воинов еще издалека, арбу свернули к одинокому храму Сурб Киракоса. Но и воины, заметив арбу и людей, свернули к храму.

Люди выхватили из арбы всю кладь и успели, добежав до храма, затвориться.

Воины застучали по двери остриями копий и саблями. Но крепкое дерево не поддалось.

На приказ отвориться и выйти из бойниц отвечали проклятиями.

Воины притащили к дверям хворост и зажгли.

Буйволы, стоя в упряжи, смотрели печальными красноватыми глазами и тянули к огню свои лиловые губы, обросшие синеватой шерстью.

Мартирос пошел к храму, заметив, что его уже увидели, и, зная повадку завоевателей, он шел своей дорогой, чтобы они думали, будто ему незачем скрываться от них.

Статные, обжившиеся в битвах воины с пренебрежением поглядывали на сутулого кривоногого старика. Он был слаб от усталости и голода, его небритые щеки поросли стеклянной щетиной. А посошок в его руке — не оружие.

Воины, спешившись, поглядывали на Мартироса, уверенно дожидаясь, пока дверь сгорит и храм откроется.

Лошади их, поставленные в стороне, чтобы дым не тревожил их, были наготове. Лишь один воин, в белой шапке, похожий на тоурмена, сидя на корточках, сторожит лошадей, не спуская глаз с горящей двери.

И дверь рухнула, когда Мартирос был неподалеку.

Перескакивая через огонь и угли, откидывая горящие ветки в сторону, воины рванулись внутрь храма, уверенные в себе, ибо не в такие одинокие храмы, а в ворота могущественных крепостей каждому из них случалось врываться с копьем или с мечом в руке.

Но здесь, в узкой двери, их встретил отпор.

Отчаяние — могущество слабых. И этого могущества воины не ждали. Некоторые из них покатились внутрь храма с пробитыми головами, другие отпрянули от дверей, дабы изготовиться к новому приступу, а Мартирос, не помня себя, вмешался в свалку.

Вместе с толпой воинов он ворвался, втиснулся внутрь храма. Люди, разбежавшись по всем углам, прислонившись к стенам, отбивались.

Воины наседали, озлобленные упорством этих безоружных врагов. Но многие из людей успели вырвать оружие из воинских рук или поднять с полу.

Мартирос увидел под ногами бьющихся узел, из которого выглядывала какая-то огромная книга и нитка перламутровых четок.

Старик, кинув посох, ухватился за книгу, оттолкнул плечом воина, отбивающегося от крестьянина, проскользнул между бьющимися и сквозь дым выбежал наружу.

Он побежал к лошадям, хотя тяжесть книги была ему едва по силам. Книга мешала ему вскочить в седло, да и возраст обременял его в эту решающую минуту жизни. Лошадь отшатывалась, когда он пытался одной рукой ухватить поводья.

Наконец он перекинул книгу на седло и, одним рывком садясь в седло, успел поймать падающую книгу.

Лошадь заартачилась, почуяв на себе незнакомую руку, закрутилась, но он стиснул ее бока, ударил ногой, и она, еще косясь, понесла его с тяжелой ношей.

Пока он управлялся с лошадью, тоурмен в белой шапке опомнился, что-то крикнул своим и кинулся в погоню за Мартиросом.

Храм стоял над неширокой горной рекой.

Тропа, по которой скакал Мартирос, вскоре свернула на эту реку, потянулась по берегу.

Долго ли он скакал, вспомнить некому.

Воин погони метнул ему вслед копье, но промахнулся. Мартирос, однако, понял, что погоня уже настигает его, и круто свернул к реке, намереваясь перескочить или перебраться вброд на другой берег, ближе к теснинам гор.

Однако стрела пробила плечо Мартироса. Книга становилась непосильной тяжестью для руки.

Еще стрела ударила в спину Мартироса.

Он круто, последним усилием, повернул коня к воде.

Ему бы доскакать до ущелья, сбросить книгу в кустарники, скрыть от нечистых рук...

Но красные круги уже крутятся, крутятся перед глазами. Он видит горный поток. Бьет бока коня, чтоб перепрыгнуть...

И, падая с седла, успевает кинуть книгу в студеную воду, в ледяной крутящийся, крутящийся, крутящийся поток.

Совершилось чудо.

Через сотни лет земледелец, черпая воду в ручье, нашел необычный камень. Камень оказался тяжел.

С трудом поднял его со дна и выволок из воды пожилой крестьянин, хозяин своей большой земли.

Он увидел надпись на верхнем пласте камня. Это была книга! Пропитавшись чистейшей кремнистой водой книга окаменела. Ныне хранится она в Матенадаране, где собраны все армянские

книги, спасенные предками в темные прошлые века. И слова, написанные на ней, не смыло ни водой, ни временем:

«В начале было слово. И слово было богу. И бог был словом!..»

* *
*

Тимур скакал по ночной снежной равнине, сопровождаемый Халилем, и поглядывал вдаль на костры, разложенные воинами по улицам холодного Арзрума.

Охрана, отстав от повелителя, удивлялась, когда он вдруг пускал коня вскачь и мчался с таким стремительным порывом, что даже Халиль едва поспевал за ним.

Прижав одной коленкой седло, всей своей тяжестью упершись в левое стремя, Тимур привставал, огромный в своем широком тулупе, а арабский горячий конь казался маленьким под таким седоком.

Тимур гнал его, не давая ни мгновенья для передышки, а чуть замечал непокорство, хлестал. Однажды конь было вздыбился, но Тимур укорил его таким ударом, что скакун тотчас покорился воле всадника.

Огромный всадник в развевающемся треухе, в сгорбившемся от ветра тулупе почти стоял, а конь летел, не видя дороги, следуя малейшим повелениям узды.

Так сперва мчались по еле заметной дороге. Но вскоре Тимур, потеряв ли дорогу, соскучившись ли следовать ею, свернул в поле.

Обмерзшее, оно не было гладким, какие любы ленивым всадникам и глупым коням. Этот конь был умен. Он мчался, не спотыкаясь, хотя непривычная ему плетка злила и гнала его, не давая ни мгновенья отдыха.

Так мчался он долго. Наконец Тимур повернул обратно к городу, но скорости не сбавлял.

Охрана давно отстала и потерялась где-то в снежной мгле. Халиль, захлестанный снегом, почти ослепнув от встречного ветра, мог лишь следить за дедом, нигде не успев настичь его.

Халилю было видно, что конь уже иначе выбрасывал ноги на скаку, чем в начале поездки, но дед по-прежнему не давал ему передышки.

Так, стремительно мчась, Тимур взлетел по крутому пригорку к стенам Арзрума и лишь около монастырских ворот сдержал коня. Они проскакали мимо костров, где толпились воины и пахло печеным мясом. Мимо стражи. И въехали в монастырь.

Тимур легко, резво сам соскочил с седла и, отдав поводья подбежавшим воинам, огладил, оглядел, ощупал всего коня. Загнанного, вздрагивающего, отличного коня арабских кровей.

Он прижал ладонь к груди коня. Он погладил взмыливщийся, горячий живот. Он пощупал переднюю ногу, пронизанную мелкой дрожью.

Потом посмотрел и Халилева коня.

— Такой же!— сказал Тимур.— А ты его меньше гонял.

Падал медленный, величественный снег.

Раскрасневшийся, повеселевший, Тимур подошел к костру.

Халиль спросил:

— Наши крепче?

— У Баязета таких лошадей на всех не хватит. Другие слабей. А и такие наших не пересилят.

— Значит, дедушка, будет Баязет?

— Вселенная не стоит того, чтоб иметь двух повелителей!..

— Значит...

Но Халиль не решился спросить, когда они пойдут на сильнейшего из врагов, с каким только доводилось встречаться Тимуру.

Дед понял его.

— Перевалы закрыты. Видишь, какой снег!

И Халиль понял, поход предрешен. Но время еще не наступило.

Внук шел позади деда, а дед, подойдя к костру, остановился, хотя ему и не было холодно. Задумался, глядя в пылающий хворост.

Может быть, ему мерещились пылающие города, скачущие между пожарищ всадники, битвы, когда пламя с пламенем встречается, зашипев, затрещав, и ветка падает в середину костра.

Снег летел так же мирно, так же тихо, и белые звезды снежинок падали, падали, падали в огонь.

Конец второй книги

Коротко об авторе

Имя народного писателя Сергея Бородина золотыми буквами вписано в летопись советского исторического романа.

Родился Сергей Бородин в Москве 25 сентября 1902 года. Детство его прошло в старинном городе на Оке — Белёве, где он окончил Реальное училище имени В. А. Жуковского. В будущем писателе очень рано пробудился интерес к живописи, литературе.

В 1926 году Сергей Бородин окончил Высший Литературно-художественный институт имени В. Я. Брюсова в Москве. С 1925 года он член Союза писателей СССР.

Все последующие годы писателя заполнены поездками по Дальнему Востоку, на Тихий океан и на Турксиб, в Казахстан и Таджикистан, на Памир и в Армению... На материале этих поездок были написаны романы «Последняя Бухара», «Египтянин», сборник новелл «Мастер птиц», повесть «Рождение цветов», неоднократно изданные и переведенные на многие языки народов СССР.

В ноябре 1940 года Сергей Бородин завершил кропотливый и напряженный труд над историческим романом «Дмитрий Донской», который был удостоен Государственной премии СССР и принес писателю поистине мировое признание.

После выхода «Дмитрия Донского» все мысли писателя прикованы к истории Средней Азии, к образу завоевателя Тимура, и с 1950 года Сергей Бородин переехал в Ташкент и стал вплотную работать над многоплановой исторической эпопеей «Звезды над Самаркандом».

В 1955 году выходит первая книга эпопеи — «Хромой Тимур», а вслед за ней — «Костры похода» и «Молниеносный Баязет». За две первые книги «Звезды над Самаркандом» писатель был удостоен Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы.

Последняя, четвертая книга его эпопеи о Тимуре — «Белый конь» — была лишь начата. И приходится только сожалеть, что мы не прочитаем этой книги.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга первая

Часть первая

1399 год

Часть первая

Султания

Книга вторая

Часть первая

Весна 1400 года

Часть вторая

Купол звездочетов

Часть третья

Камни Армении

Сергей Петрович Бородин

ЗВЕЗДЫ НАД САМАРКАНДОМ

Первая книга «Хромой Тимур» и вторая «Костры похода»

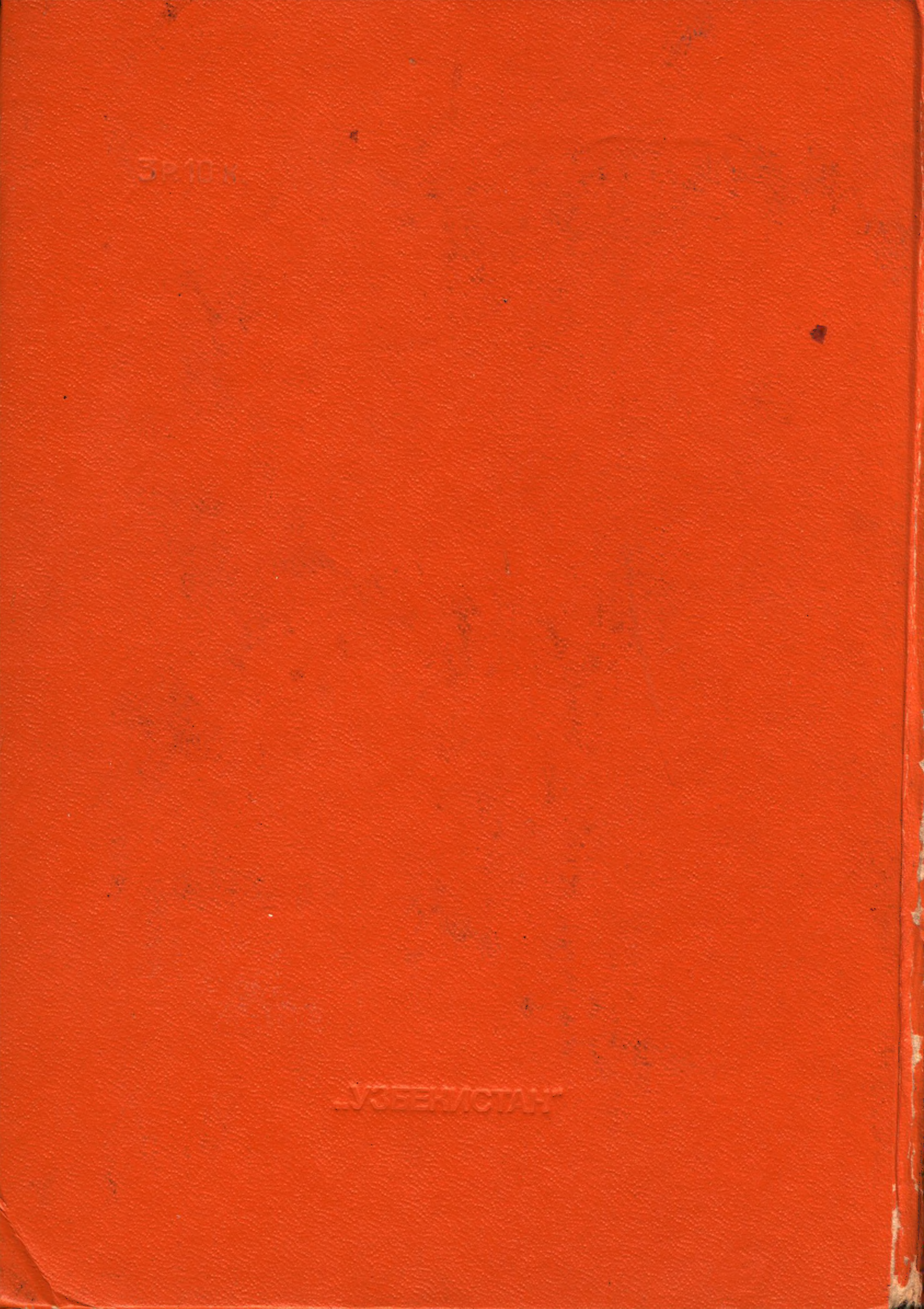
Текст книги печатается с издания Государственного издательства художественной литературы УзССР — Ташкент, 1958, книги II — с издания Издательства литературы и искусства им. Гафура Гуляма — Ташкент, 1975 г.

Редакторы *И. Зеленская и Р. Москалева*
Ответственная за выпуск *В. Колегова*
Художник *Х. Хайдаров*
Худож. редактор *К. Алиев*
Техн. редактор *Т. Аббасов*
Корректор *Л. Федотова*

Сдано в набор 1.07.1980 г. Подписано в печать 11.02. 1981 г. Формат 60x84 1/16 Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 45,00. Уч.-изд. л. 47,76 Тираж 200000 (1-ый завод 1—100000) экз. Заказ № 317. Цена 3 р. 10 коп.

Издательство «Узбекистан». Издательский № 215—80 Ташкент, 3—700129. Навои, 30.

Полиграфкомбинат Ташкентского полиграфического производственного объединения «Матбуот» Государственного комитета Узбекской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ташкент, 3—700129, ул. Навои, 30.


3 Р. 10 К.
„УЗБЕКИСТАН"

С. БОРОДИН

ЗВЕЗДЫ НАД САМАРКАНДОМ

КНИГИ
1-2